

УДК 882-94
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Ц27

Издано при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в рамках Федеральной целевой программы «Культура России»

Подготовка текста, предисловие и примечания Ст.Айдиняна

В оформлении переплета использовано фото работы С.Птицына

Художник А.Рыбаков

Цветаева А.И.

Ц27 Воспоминания. В 2 т. Т. 2. 1911–1922 годы / Анастасия Цветаева; изд. подгот. Ст.А.Айдиняном. – М.: Бослен, 2008. – 800 с.

ISBN 978-5-91187-054-6

Второй том «Воспоминаний» А.И.Цветаевой включил в себя части, относящиеся к концу 1911 – середине 1922 годов. С одной стороны, это очень счастливый период в жизни сестер: они выходят замуж, у них рождаются дети. Марина Цветаева полна творческих замыслов, она пишет все больше стихов, создает пьесы, Анастасия работает над прозой и выпускает две свои книги. Продолжается дружба с М.Волошиным и возникает новая – с С.Парнок, О.Мандельштамом, Т.Чурилиным, П.Антокольским, Ю.Завадским, С.Голлидэй... С другой стороны, это очень тяжелый и страшный период: во время Гражданской войны обе сестры теряют самых близких и дорогих людей. Но надо жить и не терять надежды. И в конце концов Марина получает долгожданную весть, что ее муж, ушедший на фронт, не погиб и находится за границей. Отправляясь к нему, она навсегда расстается с сестрой.

Книгу гармонично дополняют два очерка – «Встреча с Мариной», где автор рассказывает о своей поездке 1927 года в Париж, и «Последнее о Марине. Елабуга», в котором восстанавливаются события, предшествующие гибели удивительного поэта Серебряного века М.И.Цветаевой.

УДК 882-94
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Запрещается полное или частичное использование и воспроизведение текста и иллюстраций в любых формах без письменного разрешения праволадельца

ISBN 978-5-91187-054-6

© Ст.Айдинян, подготовка текста, предисловие, примечания, 2008
© Дом-музей Марины Цветаевой, 2008
© Оформление. ООО «Бослен», 2008

Часть шестнадцатая ПУТЕШЕСТВИЯ ПО ЕВРОПЕ. В МОСКВЕ

Глава 1 ВАРШАВА. БЕРЛИН

Мы встретились в Варшаве. Борис был дружелюбен и оживлен, как всегда в пути и среди людей, казался юношей, почти мальчиком. Я удивлялась тому, как могла я — без малого год назад — поверить, что ему двадцать семь лет! Все улыбались нашей юности, принимали за новобрачных — какими мы по существу и были, только вынужденные не называться одной фамилией, по невозможности перед родными и обществом придать нашим отношениям форму законного брака — ни папа, ни мать Бориса не дали бы на брак согласия. Боясь за меня, младшую, — всего, что может принести вред здоровью, папа не согласится, ввиду моей молодости и ввиду непонятности, фантастичности такого мужа. Так же поступит и мать Бориса, это было ясно и из того телефонного разговора, и из редких, туманных упоминаний его о матери.

Варшава! Польша! Город, страна моих предков! Не по этим ли улицам проходила, проезжала мамина мать, красавица Мария Бернацкая? Птичий щебет польского языка, о котором, десятилетия позже, я писала в годы моих бедствий и встреч с польскими женщинами:

Птицы ли тебя нащebetали
Польских прадедов моих язык,
Или шелковым огнем в тебе смешались

Плеск знамен и гневных сабель стали
Плещущий сереброкрылый крик?

Я оглушена, как весенним птичьим гомоном, этим звуком, где-то дремлющим в моих полурусских жилах*. Хватаю за руку Бориса, счастливая, чувствуя, что сияю, что хорошо — и, ударом в сердце, внезапное озарение: да ведь он-то — поляк, вылитый! В сто раз больше, чем я: тонкость черт, горбинка носа, темная синева глаз, темные ресницы и брови — и золотые волосы! Чем не поляк? И эта природная грация, осанка — у такого молодого! Эта посадка головы, холодок в каждом движении (презрение к жару вовне...). Увлеченный моим утверждением, на час поддаваясь игре, он начинает играть роль «польского гранда» — и как она удастся ему!.. Варшава принимает нас в шумные объятия Маршалковской, Уяздовской и Иерусалимской аллеи — блистательных улиц своих. Как на московском Кузнецком мосту — плывут и тают навстречу лица красавиц, к природным чертам которых приложены все тайны кокетства и ухода за красотой, так по улицам Варшавы летят нам навстречу, как во сне, гоголевские панны, одна восхитительнее другой!

Знаете ли вы польских панны, раз утверждаете, что красивее всех женщин на свете — итальянки, испанки, парижанки... Это потому, что вы в Варшаве не были! Не шли по Уяздовской! Они несутся нам навстречу легкой вереницей, похожие друг на друга, как сестры славной польской семьи, все тонконосые, пепельно- и светловолосые, темнобровые — как кисточкой провела им природа эти тонкие полоски под светлым пеплом волос, над светлой тьмой глаз, — и эти губы во всем их разнообразии — горделивые, огонь отводимых взглядов — вот уже и нет их — вспыхнув, исчезли!

А наряды! Но только гоголевскому — ничьему больше! — перу описать их, и как бы мне ни хотелось, прекращаю: две прославленных польских панны: панна из «Вия» в гробу (обернувшаяся — колдуньей) и та, из «Тараса Бульбы», Андриева, на очи и кудри которой взглянув, «погиб казак»... — они останавливают мое перо.

* Марина и я — наполовину русские, на четверть польки, на одну восьмую — германки и одну восьмую — сербки. — *Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, примеч. авт.*

Мы сидим в ресторане и едим нечто волшебное, выбранное за непостижимость названия, и пьем веками прославленный польский мед. Метрдотель приставил к нам лучшего из своих помощников, но не помню, предупредил ли он Бориса (узнав иностранца) и пренебрег ли Борис предупреждением, — или, поверив игре в поляка, тот просто с восхищением глядел, как легко и свободно обращаются пан и пани с знакомым им польским медом. Итог получился неожиданный для нас: беседуя за фруктами, слушая музыку, хваля качество и густоту напитка, сказочно-вкусного, не затрагивающего наши головы нисколько, решив, что достаточно быть в ресторане, пора идти, мы остались сидеть, пораженные *полной* невозможностью встать. Мы сидели, как налитые свинцом ниже стульев, утерев нацело владение ногами, и смеялись, нагнув над фруктовыми тарелочками лица, дабы кругом не поняли, что с нами. Кто учил нас так искусно играть? Мы еще и еще ели фрукты, заказывали «кавэ бяла» — спаси нас, прадедов кофе! Ах, какой же кофе упоительный!.. Неутомимо слушали мы в этот вечер музыку — какая чудесная музыка!.. Счет рос, возбуждая уважение и подобострастность лакеев и метрдотеля, а мы, туша, как папиросу, душивший нас смех о бокал — с «дюшес», о ломтики апельсинов (как может есть Борис гранат — не выношу!..), — незаметно проверяли под столом — ноги: пока, наконец, моля судьбу о силе воли и талантах актерских, *встали*, и я, опираясь о руку Бориса, *прошла* через весь зал...

Еще помню в Варшаве туман деревьев какого-то парка, блеск магазинов нерусского, заграничного типа, усаженные пышными деревьями улицы с не по-московски широкими тротуарами, несущиеся автомобили и помню старую Варшаву: Stara Miasto* — кривые улочки, узкие, как во Фрайбурге, Виттенберге, Базеле; площади, окаймленные, как стены колодца, крутокрышными домами с тяжелыми воротами и наружными лестничками, от которых веяло романами Диккенса. И — снова мчится поезд, Россия — позади, едем по полям Царства Польского, и везде — этот блестящий щебет «муви».

Впереди — Германия, так знакомая и языком, и обычаями, и где немного страшно оказаться, потому что я там так не-

*Старое место (польск.). — Примеч. ред.

давно была — тому назад полтора года! девочкой в полукоротком платье и широкополой шляпе — бок о бок с Мариной. Как легко взбегали мы после купален Эльбы по крутым улочкам Лошвица в дни наших детских эскапад... И через восемнадцать месяцев я вновь там — женщиной, ждущей ребенка, и со мной (обвенчаемся, когда будет можно, не тревожа родных) — мой... муж!..

Как все это стало! Чьей волей!? Я совсем не того хотела...

Я должна прочесть «Le Lys rouge» France'a, чтобы узнать про витую ложечку. Лицо Нилендера — тонет во мне глубже и глубже. Так тонуло, угасая вглубь, мамино кольцо, опущенное ею в озеро, где утонул Людовик II Баварский, король, отказавшийся от престола.

Из глубины подымается незнакомое чувство, вопрошающее, почти томящее: как могла я так жить эту осень, так отдаляясь от Бориса — после Эсбо, после тех дней с «Идиотом», после его писем мне в Коктебель, что я его брошу, обожающих и прощающихся, после тех майских дней, как я могла слушать сомненья о нем — Драконны... Разве он был виновен в том, что мы так редко виделись осенью; ведь из-за папы он не мог приходить ко мне... Я просто забыла Бориса, какой он, погружаясь в свою грусть, в свое одиночество, кидаясь к своему девичьему прошлому! Когда этот укор готов был перейти в раскаянье, какой-то трезвый голосок во мне возразил: «А как мог он допустить такой разговор его матери со мной? Почему так долго не говорил о необходимости решения, отъезда вдвоем куда-то, а только — слушал меня?..» — «Но для того, чтобы уехать со мной от матери, братьев, под острым взглядом сомневающейся во всем сестры, разве он не вынес дома — целую, верно, бурю? Уехал? Так чего тебе надо?..» Такой шел в тайниках диалог...

А поезд мчал нас, миновав границу, уже по германской земле, по знакомому с детства Vaterland'y*, как косой срезавшему жаркое щебетанье польской речи, залив вагоны, перроны станций и городов инакозвучащими звуками немецкого говора, гордыней иного типа — степенной и деловой.

*Отечество (нем.).

Я увижу Галю Дьяконову! Мою Галочку! Неужели это возможно? Она — на французской Ривьере, лечится от туберкулеза. Мы приедем к ней (нам все равно куда ехать!) — и я с ней познакомлю Борю! Он, конечно, понравится ей! О, она все понимает!

...Говорят, Аня Калин учится пению, у нее голос... — где-то в Германии? В Лейпциге? Нет, какой-то другой город... Я ее так давно не видала... Увидимся ли мы когда-нибудь?

Только бы Марина писала мне часто, как мы уговорились, — тогда ко мне не вернется мое одиночество. (Может быть, мне не надо теперь читать «Le Lys rouge»? Пусть золоченая ложечка лежит в своей прошелестевшей папиросной бумаге на дне чемодана, таинственная, как все на свете...)

Да и когда читать? Мы все время вместе. Борис тоже ничего не читает. Вчера раскрыл, когда я засыпала, «О достаточном корне четвероякого» — нет, не так, обратно, наверное! — Шопенгауэра, но поезд так кидало, что он не смог читать, отложил с досадой (ужасно кидает европейские поезда!). И спать почти невозможно в поезде: во-первых, пересадки, границы, потом, *vagon lit** мы не взяли из-за чудовищной цены на короткое расстояние — одна ночь! — а потом эта ночь оказалась такая длинная, когда ее надо сидеть и качаться о плечи соседей, о полукруглые выступы угловые, между мест... Голова разболелась, хочется скорей доехать в Берлин, остановиться в гостинице.

Фридрихсбанхорф — вокзал, знакомый по лету 1910 года, когда ехали с папой в Дрезден — встречает нас не останавливающейся с нашего детства классической суетой переезда. Любимый оркестр вокзальных звуков и запахов обратен действию «польского меда»: легким шагом проходим мы вслед за *Träger'*ом** перроном и залами, а голова, глаза, слух — опьянены гулом, грохотом, сверканьем фонарей, свистками паровозов, спешащей толпой.

Путешествие! Что сравнится с тобой из сокровищ жизни? Ты — стихия, подобная морю, пожару, волшебствам осеннего леса, подобная метаморфозам небес, расцветающих

* Спальный вагон (англ.).

** Носильщиком (нем.).

закатами и Авророй, чертежами созвездий и россыпями одиноких звезд, льющих солнечные и лунные бездны... В горных цепях туч бой молний и радуг, и вдруг, когда вовсе не ждешь, — тишина... Так и ты, Стихия Движенья, Неизвестности, Новизны и Нежданностей, в смене дня и ночи купающая начала и концы, — куда ты несешься, как Гоголем воспетая тройка, сметая разлуки и горести всесильным дыханьем, поящая нектаром забвенья готовую отчаяться душу, — Путешествие. Часть жизни, ставшая в ряд с Весною и Осенью, с их все сметающими потоками...

Мы остановились в той же гостинице, где останавливались с папой по пути в Дрезден, — «Russisher Hof»*. Но как все иначе теперь! Тогда старый герр профессор с двумя дочками, девочками. Теперь мы входим — юные иностранцы, и я прошу, если свободен, № 309**, я тут была два года назад. По случайности — он свободен!

Мы идем по бархатной тишине коридорного ковра, мимо закрытых дверей, за которыми чьи-то жизни, в свою молодую, сумбурную, чемоданную... В большую светлую комнату в два окна, за тюлем которых — смутное сиянье улицы и смутный ритм этажами заглушенной ресторанной музыки, в котором ухо — слышит? Или лишь тщится? — знакомый узор... Я узнаю — другое: наши кровати с Мариной! Две деревянные, темно-желтые, полированные, широкие, и одеяла и на них — édredon***, как в Лозанне, — мы так тогда с Мариной обрадовались им, с Лозанны не видев... Направо — зеркальный шкаф, только тогда он был — ближе к окну, теперь — к двери. В это зеркало Марина гляделась, отходя со всегда сдержанным вздохом — о короткой, ей думалось, шее, о прямых волосах, о глазах не таких больших, как хотелось...

Узнаю в лихорадочном мгновенном обзоре умывальный, мраморный, и фарфоровые умывальные чашки, — и блеск и тени убранства потолочной лампы, в полутьму погружающие потолок, высокий, над праздником освещенной комнаты — и рисунок оконного тюля, навеки уже забытого — а он жил, как при нас, — и везде — Марина, та Марина, вдруг

* «Русский двор» (нем). — Примеч.ред.

** По странной случайности этот номер вдруг сейчас всплыл в моей памяти. Я никогда не вспоминала его с тех пор... 1911—1963!

*** Легкие пышные пуховики, которыми покрываются (фр.).

на миг так обретенная, как не даст и письмо ее, уже выросшей, из квартиры Эфронов, о которой мы ничего не знали тогда...

Этот номер гостиницы, где мы прожили несколько дней и куда я так бесконечно-случайно вошла, — сохранил мне с такой оглушающей силой мою Марину, что — почти зашатало меня!

Борис размещал чемоданы, мою дорожную корзиночку, портпледы (я взяла столько вещей в жару сборов, — еще большая, глубокая, самая большая, какая в московских магазинах нашлась, корзина шла багажом — в Женеву, куда мы ехали прежде других мест). Я стояла у окна, отбросив штору, смотрела на синеву и огни Фридрихштрассе, узнавая... — и был легкий озноб дали — к Борису, которому нельзя протянуть это мое волнение узнавания, потому что оно ему чуждо, несмотря на всю его фантастичность, на всю глубину.

На Фридрихштрассе, Унтер-ден-Линден — любопытный блеск витрин с eine Mark Bazar* — по 47 копеек мы покупаем самые разнородные вещи — золоченые графины со стаканом, тоже золоченым, письменные приборы, альбомы, несколько полдюжин носовых платков в плоских коробках, перевязанных золотинками, серебрянками, шелковинками, блокноты, коробки почтовых бумаг всевозможных типов, дамские рубашки, сорочки мужские, галстуки — все это нужное и столько еще и еще ненужных — за дешевизну, за цвет, за ворс, за форму, за непонятность. Нагруженные, едем в автомобиле в гостиницу, а затем — в Тиргартен, сад с оголенными ветками и белыми статуями германских цезарей в безвкусном изображении. И затем — в ресторан, не гостиничный. В еще более дорогой и роскошный, где сорим деньгами, заказывая черную русскую икру, гречневую кашу, грибы, цветную капусту (зимой!) и какое-то чудное мясное кушанье, незнакомое. Сколько смеху! Сколько Борисова остроумия! В тонких рюмках — вино, рейнское (кислое! Мне не нравится, ему — очень). Не хочу рейнвейн, мне — портвейн, мадеру. И снова — гостиница — опять Унтер-ден-Линден — опять — нас уже узнают — ресторан, в глиняном кув-

*Распродажа по цене — одна марка (нем.).

шинчике — кюрасо, в другом — бенедиктин, и спор — какой ликер лучше. И уже ночь.

В номер 309 гостиницы на Фридрихштрассе ко мне и к Борису пришел Эллис. Через кого мы списались, дали знать ему о сроке и адресе? — память не сохранила. Это было поразительно: Эллис в Берлине, мы — в Берлине! Один раз, каким-то чудом случайности, после долгого перерыва, Лев Львович пришел к нам в дом 16 мая 1911 года — теперь шел 1912-й — тогда он встретил у меня Бориса. И теперь мы втроем оказались в берлинской гостинице!

Впервые Лев Львович видел меня на взрослом положении. Его тон был грустно-галантен, и грусти в нем было так много, что галантности — мало совсем. Но ее веяние еще более оттеняло грусть.

Эллис грустил в нашей комнате потому, что мы равнодушно слушали о Докторе*, а он не мог теперь говорить ни о чем, кроме него. Он звал нас на лекцию Доктора, которая будет сегодня там-то и там-то, эта лекция, он считал, совершенно необходима для нас, пропустить ее — почти преступление. Мы находимся в беспросветной тьме. Наши глаза откроются. Доктор укажет нам путь.

— О, если бы вы только увидели Доктора!.. У него нечеловеческое лицо! Он — сожжен духом. Это — сверхчеловек. Это — великий посвященный...

Но, печальны каждый по своему и не веря в Докторову панацею, Борис и я упрямо не соглашались идти слушать Штейнера.

Эллис стоял перед нами в длинном сюртуке, его тонкая черная фигура резко выделялась на фоне гостиничной «роскоши», отделялась от мебели, стен, окон — качественно; говоря о Докторе, он сам горел, сжигаемый тем же духовным огнем! Он походил, казалось мне, на Иесту Бьёрлинг из книги Лагерлёф, на бродячего проповедника, на монаха какого-то вдохновенного ордена — францисканского! — но мне было жаль, что он не свободен в выборе своего пути, что пришел «к тихой пристани», он, Чародей наш, Маг, колдовавший над нами и нашим домом в те невозвратимые годы, в ту нашу отроческую весну! Он — *покорил* свой

* Рудольф Штейнер, глава антропософов.

непокорный дух. Как же это случилось? Он стоял теперь, опершись руками о спинку кресла, и зеркало повторяло его в позе полета, угрозы, предостереженья, гипнотически пожирая собой наши надменные и холодные души, — это был тот же он, который молился, грезил, звал, обличал и до недр восхищался нами, когда мы рассказывали ему — о сокровенном, о своем...

И все это богатство «уперлось» в одного Штейнера?.. — с горечью думала я, глядя на знакомое лицо с точеными монашескими чертами, лоб, переходящий в лысину, тяжелый рот, усами несколько скрытый... (он — покори́л свое тело? — мелькал во мне неутихавший — наоборот, за последние дни с Борисом разговаривавший, вопрос...).

Да! Из Эллиса исчез нацело сказочник, танцор, лукавец, исчез поэт. Больше — *бунтарь*, мятежом взрывавший поочередно по ходу своего кругового хождения по домам Москвы — все души, ему на этом пути встречавшиеся. Стоял перед нами, забыв страну (и планету, быть может) — аскет-монах, палимый одной жаждой — преобразовать мир и увести его пламенем души своей — во след Рудольфу Штейнеру! И уже не было на лице его «уса, взлетевшего высоко», надменного полукольца, и движенья были — другие...

Теперь я думаю: жаль, что мы — Борис и я — так и не вышли из оцепенения протеста, не вышли из своих безумий — в безумье другого — в тот день! И не увидели Штейнера.

Что я знаю о нем? Что ехали к нему со всей Европы — и ездили, и ходили за ним. Туда уехал и Эллис, и Белый, и его жена Ася (А.А.Тургенева в учении этом и до сих пор). Он говорил — как никто. Умер после Первой мировой войны. После пожара, погубившего антропософский храм в Дорхане.

Мы вышли из гостиницы — вместе. Эллис — на лекцию Доктора, мы — в ресторан. Глаза Льва Львовича еще раз печально остановились на мне, знакомая рука пожала мою и Борисову. Зимний берлинский ветер хлестал в лицо уходящего, трепля полы узкого, немодного его пальто. Трость стукнула несколько раз, утихая. Был зимний день 1911 года.

Мы больше не встретились никогда.

Не зная, допишу ли до 1927 года (в работе о поездке к Горькому этого не значит), кратко скажу тут: переходя пло-

щадь перед собором Св. Петра, близ Ватикана, я (тридцати трех лет) увидела карету. Она ехала по направлению к Ватикану. Кто-то шел (итальянцы? русские?) — я не помню, но был вопрос (мой), ответ (их): «Кардинал». Я успела увидеть согнутую фигуру, тонкий профиль — и все мгновенно исчезло, потухнув в исчезнувшей раме окна, каретного, как кем-то провезенный портрет... — Эллис? Неужели — он?

В 1921 году я встретила в Москве на площади, где теперь стоит на постаменте Маяковский, Марию Ивановну Сизову, образ сказочной чистоты в рассказах Эллиса 1908–1910-х годов. (Я у него тогда была «Девочка в черном», она — «Девушка в белом». От нее я узнала, что последняя весть о Льве Львовиче Кобылянском — Эллисе, что он — кардинал. Недавно, в 1962 году, мне говорил С.А.Цветков, это опровергая, что Эллис умер монахом в католическом монастыре.

И что еще о Берлине? Как мы покупали Борису пальто. Обойдя несколько магазинов, не найдя ничего элегантно-скромного (мне хотелось первого, Борису — второго), мы зашли в странное заведение внизу, в подвальном этаже, и там влюбились оба сразу в чудесное пальто — клеш, но благородно-скромного цвета: стального. Оно было дорого, это еще более нас к нему расположило, говоря о его достоинстве, и мы вышли из подвала усталые, но счастливые такой благородной находкой.

Зеркало платяного шкафа отразило Бориса — шляпа была куплена еще до того, тоже серого, только синего оттенка, он был так хорош! (*distingué**! — думалось мне; «не бросаюсь в глаза!» — думалось, вероятно, Борису, ненавидевшему наряды, жестоко дразнившего меня тягой к косовороткам...). А наутро я проснулась — от хохота: он был невероятен. Хохотавший — извивался и, в смехе отчаяния, делал вид, что падает. Я не узнала его — сзади (не привыкнув еще к новому пальто и со сна). Но зеркало отражало лицо и фигуру в невероятных гримасах и пляске, и то, что было на нем надето, было лягушино-зеленого цвета: при вечернем свете купленное пальто...

Мы уж заливались в два голоса! Пальто Борис привез позже в Москву и отдал выкрасить в черный цвет.

* Изысканный, элегантный (*фр.*). — *Примеч. ред.*

И снова дни в магазинах, в Зоологическом саду, где Борис изучает орлов (вершками от кончика клюва до кончика хвоста) и хищных зверей, в ресторанах, снова russische «каша» и russische «икра», и спаржа, и рейнвейн, и мое сладкое кюрасо, и волшебное мясо кувалдами в соусе «а-ля Шатобриан»... Меня еще не начинало тошнить.

Борис был в первый раз за границей, но с такой мгновенностью схватывал дух всего, что видел — Польши, Германии, с таким совершенством стилизовал теперь каждое движение, каждую интонацию немцев, манеру говорить, держаться, важно курить дешевые сигары, апломб и обожание Фатерланда, что через несколько дней уже нечего было делать его острому познавательному уму и гиперболическому остроумию в Берлине, и мы ринулись дальше, в Женеву. Ехали мы экспрессом, а когда выходили из гостиницы, покидая ее, вся немецкая челядь — лакеи, горничные, нам и не служившие, выстроились по оба бока лестницы, и мы раздавали налево и направо, без счету, россыпь звонких монет, поддерживая свою славу щедрых иностранцев — славу России!..

Глава 2 ШВЕЙЦАРИЯ

Я не знаю, почему мы выбрали Женеву — из всех других городов. Я в Женеве в детстве была, мы приезжали из Лозанны с пансионом Лаказ, но воспоминание об этом было совсем нереально, рассыпалось алым жемчугом тонувших в закате городов, еле видных, по далеким берегам Лемана — Монтрé, Территé, Невшатель... Может быть, Борис стремился в страшные владения Бонивара, в Шильонский замок! Помню, как мы входили на трап-мостик, ведущий к Шильонскому замку через темно-мерцающую вокруг деревянных столбов воду. Из всей «фотографической пленки» тех женевских дней этот «кадр» выступил вперед, в свет, и стоит. Тьма, поглотившая эти дни, его не коснулась.

Я помню чувство моего шагания рядом с Борисом, переполненным касаньем к судьбе Шильонского узника, словно это касанье не в нем, а во мне — так оно мне передалось

через его сурово-сосредоточенное лицо, оторвавшееся от дня, перенесшееся назад, в мрак, сырость и цвель истории, в муку, почти ни с чем не сравнимую. Будто это я шла рядом с самим Бониваром или с его привидением, заглянувшим столетия спустя в еще стоящую крепость. Чуть сужены глаза Бориса, и чуть дрожали ноздри, и бесшумен его легкий шаг, когда мы поворачивали за угол скользкой каменной стены, когда трогали цепь, впаянную в нее, когда выглянули в стеновое отверстие над водой, куда выбрасывали тела умерших.

Блещущий солнцем день. Леманское озеро лежало серебряным слитком, и по нему таяла зеркальная голубизна. Как могла я рассказать Борису, что, перерезая историю Шильонского замка, меня рвут на части воспоминания моего детства — то, как мы шли тут восемь лет назад вереницей девочек и девушек с мадемуазель Маргерит. Было нельзя протянуть — подарить Борису тот пансионский наш день! (Подарить? Так только я ощущала, он бы это осознал не подарком, — насильем, раздражающим и неловким, прозвучал бы ему, мертво, мой рассказ...) Господи! Отчего же так? Отчего я через него, зеркально отражая и загораясь, трепещу его Бониваром, тем, что в нем живет Узник его судьбы? И почему же Сережа Маринин одним дыханьем с ней дышит? А мы... Сурово-сосредоточенно лицо Бориса, мрачен взгляд, оторвавшийся ото дня, перенесшийся назад, во мрак, в тайну истории.

Женева! Тень Жан-Жака Руссо над тобой, как большое облако, оно осеняет твои мосты, струи реки и все твои здания, сейчас опушенные снегом. Вдвоем с Борей выходили на нарядные от снега женевские улицы и входили в вертящиеся двери магазинов — покупать друг другу подарки и все, на что взглянет глаз. Как весело! Это же детство, неумирающее!.. И мы бурно впадаем в детство, выходя, нагруженные легкими тяжестями коробок, пакетов и свертков, под летящий серебриющийся снег. Дружные, в одно слитые. (Как не сливает нас даже ночь и все темные глубины раскрывшейся нам близости, бросающие нас друг к другу — отбрасывающие во всегда следом идущую трезвость...). Звук католического колокола, зовущий в кафедральный собор. И возвращенье домой, в номер гостиницы, в уют ужина, еды и вина.

Помню еще один дождливый, со снегом, женеvский вечер. Мы возвращались домой, когда нам навстречу двинулся горбатый безбородый человек. Он просил. Но, видно, устав не получать — улицы пустели, прохожие, редкие, спешили мимо него, — он пошел — и встретился нам. Мы открыли кошельки, вынули серебро, дали. Горбач притронулся к головному убору и исчез за углом. И тогда мы впали в какой-то транс. Это была нестерпимая жалость! Мы не понимали, как мы могли дать ему *так* мало!.. Мы бросились за ним. Его след — простыл. Он исчез.

Мы кидались во все близлежащие улочки. Его не было. Но мы не могли успокоиться, не могли сдаться такой нестерпимой яви, что он ушел от нас — с такой малостью... Он *просил!* Ему не давали! Может быть, у него дети... Господи, что делать? Как мы могли упустить его? Все перестало существовать, кроме него. Мы метались, догоняя исчезнувшее, спешили вперед, возвращались, заглядывали в ворота дворов... Все тщетно! Нищий Горбач исчез — и мы более никогда его не видели. Но он жив во мне до сих пор...

Под окном нашим — уличный певец (шарманщик?). Мы бросаем ему деньги. Еще и еще. Наши монеты в бумажке ловят уже многие из толпы. Жадно! Тогда кто-то из нас бросает в толпу — золотой... Может быть, не отставая друг от друга, — мы оба? Как ловят! Крик, кто-то поймал...

Женеvское озеро! Так зовется оно издавна, а нам оно — Марине и мне — лозаннское озеро! Синее озеро нашего пролетевшего, как сон, канувшего в прошлое детства, — и в одно прекрасное утро я выполнила то, к чему рвалось сердце: я уехала на пароходе в Лозанну. Одна.

Я искала дом наших ночных молитв и дней борьбы с искушениями, дом, откуда мы шли утрами воскресений — верницей пансионата — к мессе, учились на *vegrandâh* и играли в садике меж кустов роз и платаном под присмотром ласковой м-ль Маргерит, и куда приходил в черной сутане мосье л'аббэ говорить нам о Боге, о рае и аде, о назначении человека на земле.

Я иду, я не узнаю дома. Все слилось в памяти! Дома так похожи... Я метнулась к соседнему, было вошла в него. Нет, назад... Этот? Да, этот, этот, — но почему же он стал ниже? Его два тяжелые этажа с выступами сжались. Он? Я растерянно

стою и смотрю. Он? И что-то вдруг неуловимое и родное, как неслышная лавина, двинулось и задавило: оглушенная, спешу вперед, загнипнотизированно смотря на вдруг позвавшие меня двери с нависшими углублениями, украшениями, темно-коричневые, с тяжестью колец вместо ручек, и я, как в сон, вхожу в широкий путь к ним, в каррэ отступающего тротуара — широкие плиты — между двух grilles (решеток с проволочными сетками), поперечными, и уже стою у отступившего от улицы входа в бывший пансион Лаказ! «Бывший»... Я узнала это три минуты спустя, от отворившей мне горничной... Но я еще не услышала этого. Я потянула блестящую ручку звонка, круглого, и жду и живу удесятеренной жизнью страха, ожидания, замершего — от радости? — сердца, — нет, уже во всю мощь колотящегося, в висках стук, я ничего не слышу от этого стука, хоть слух и ловит — шаги? нет? не идут? потянуть ручку звонка еще раз? И волшебнo-беззвучно становится передо мной девушка в белой наколке и фартуке и смотрит. Сбивчиво, просительно, повелительно — все сразу, я спрашиваю — и поясняю, кто я, кого хочу видеть, когда я жила тут, зачем приехала.

И должно быть, что-то в моем лице было, что остановило ее естественное желание — закрыть дверь. Она сказала, мило мне улыбнувшись:

— М-ль Лаказ? Их уже нет здесь, м-ль! Они уехали тому назад... Может быть, м-ль желала бы войти и поговорить с начальницами?

— С удовольствием. И я бы хотела вновь увидеть комнаты, где моя сестра (она в России теперь) и я девять лет назад...

Девушка открыла мне двери и пригласила войти. Я иду за ней по полутемной (как и тогда!) широкой и длинной передней, и стенная лампа справа висит там же, как висела тогда. А я забыла, что тут была лампа — как я могла? Удивительно: я не помню ни одного живого лица — тех, с кем я, разумеется, говорила, ни сказанных слов. Я помню лестничку, нашу лестничку, не витую, но один раз на узком пути поворачивающуюся, и верхний коридор с комнатами по бокам и шкафами (в одном из них Маруся тогда проснулась, сонная уйдя туда из нашей комнаты, и звала меня, запутавшись в пальто и зонтах, и я ее там нашла, и мы вместе, почти еще во сне, вернулись в комнату, в постели). Я стою на пороге нашей ком-

наты. В ней — страшно смотреть — кровати стоят на тех же местах. Наши кровати! На них лежат чужие одеяла. Перед ними — новые коврики. Я забыла, что окно — такое! Но страх не все увидеть — вдруг кто-то придет, и прервется!.. — гнал дальше. Тихонько перекрестясь, я повернулась идти. Марина! Маруся! Все разрывалось такой болью — только ее мне нужно было сейчас! А она — далеко, не со мной, с Сережей, и — счастлива! Не знает, что я — тут...

На пороге комнаты напротив, куда дверь была раскрыта, я остановилась на миг: комната Ольги, Аглаэ и Астины... Комната — та же, узнаю стены, окна. Кровати стоят иначе, на столе посреди комнаты — незнакомые вещи. Тоска нелепая об Ольге, Аглаэ — пронзила меня... Я жила столько лет, их забыв... Где они? Сзади кашлянула девушка. Я обернулась, благодаря ее.

Я еще вижу себя стоящей на стеклянной веранде, где мы учились за большим уютным столом. Тут теперь несколько парт и столов. Через стекла в саду мелькают фигуры учениц. Я пугаюсь. Оттого и пуст дом, что они — на прогулке, в маленьком саду с огромным платаном. Скорее, назад! Довольно! Не надо людей, детей — они сейчас совсем нестерпимы! Через гостиную, где полутемно (тут шли зимние вечера с музыкой, чтением... пели «Le petit navire»*, сюда к нам вошел Кот-Мурлыка), спешу — прочь, к выходу! Воспоминания — душат. Такой силы их — не ждала! Я ехала — «исполнить долг». А вышло, что до сих пор тут живу, что мне восемь лет... Все притаилось и набросилось, мстя за забвение!.. Не вздохнувшая прошлым, а разбитая им, вышла я на Boulevard de Grancy, положив в руку горничной крупную монету, слыша ее удивленную радостную благодарность, кивая ей и перебегая, чтоб спастись, улицу — там, где была и исчезла кондитерская, — скорее прочь с нее, в другую, другие, чужие — назад к Боре! Прибежищем оказался он мне сейчас, он, со своим отвращением к выражению чувств, со своим надменным холодом, — ждущий меня, которую не ждал тут никто. Но еще Ouchy! Туда.

Через час позади было и оно, место наших прогулок с мамой весной 1903 года, берег озера, отель дю Шато, где жили

* «Кораблик» (фр.). — Примеч. ред.

родные Ольги и Аглаэ, и откуда к воде неслась музыка, над берегами загоралась иллюминация, и огоньки отражались светлыми столбиками в темнеющем озере — там, где оно изгибалось. Теперь тут не стояли столики, не было иллюминации, был день. От всего устав, я спешила только к Борису. В потускневшей синеве неба шпиль кафедрального собора был ярк. Крутокрышие улицы, позабытые аллеи каштанов... Освобождение! Моя, наша с Мусей Лозанна — кончилась! Я уже еду — назад в свою жизнь. Вдруг что-то качнуло меня, я резко остановилась над спуском — вниз.

То, мимо чего я спешила, что считала чужим, мне ненужным, — была лестница, по которой Муся и я бегали от мамы — в булочную за сдобными изюмными хлебцами, с нее и по ней — вихрем к маме, жившей где-то тут — близко!.. Я стояла и пожирала глазами ступени, точно они — могли вернуть маму, детство, Мусю... И тогда, в каком-то расширившемся зрении, я узнала поворот улицы, стену дома, купу деревьев, чей-то сад и светлую даль внизу, мимо которых хладно, слепо спешила. Они стояли и жили тут все года, не изменившиеся, теплые, наши, отпустив нас на волю новых лет и иных мест, терпеливо ожидая свиданья.

Мы покидали Швейцарию. Мы ехали на Ривьеру, к морю, в те места, где природа Франции так похожа на итальянскую. Мы хотели побывать в Монако, посетить игорные дома Монте-Карло. Мне надо было увидеться с Галочкой.

Из Москвы пришла весть о близкой свадьбе Марины и Сережи. Видя мое частое недомоганье, Борис становился заботливей. Пробужденный в нем нашей физической близостью мужчина открывал в себе будущего отца? Мне иногда делалось нехорошо, я быстрее уставала. Погружение в тайны пола — при открывшемся в нас тут интеллектуальном и психофизическом сходстве, погружение в то, что религия зовет грехом, — боролось во мне с материнством.

Я много видела браков с тех пор, всех типов и возрастов. Я не знаю объяснения тому, что в близости моей с Борисом нацело отсутствовала та нежность, которая скрашивает день двух принадлежащих друг другу, — не только скрашивает, а наполняет каждое движение их бытового дня особым молчаливым значением: благодарностью, может быть. Теп-

лотой! Даже в тех браках, где, по существу, нет любви. И вот в Борисе и мне, несомненно, сложно и романтически, с болью друг друга любивших, этой нежности, этой теплоты не было. Не было благодарности — и это при полном, повторяю, психофизическом сходстве и силе влечения и удовлетворения. Отсутствовало чувство принадлежности друг другу. Отсутствовало душевное слияние. Оно было лишь интеллектуальным сходством переживания, погружения в неизведанную, исследуемую тьму, в законы свободы и произвола. И это не имело пути — к дню, трезвому, веселому, приключенческому, к романтике наших исконных вкусов, кое-где сливавшихся, кое-где отстранявшихся — каждый к еще более исконному своему. И может быть — по лунному свету* нашему, и его и меня, по «М» и «Ж» вейнингеровских определений — даже скользила вражда друг к другу, бросая и отбрасывая эти два перепутанных в каждом из нас понятия. (В этом, должно быть, лежали корни нашего необычного будущего.)

Чувствовали ли мы, глухо, смутно, грешность такого «бестеплового» соединения? Во всей потрясенности наших сексуальных существ силой переживания — виделась иная возможность этого, светлая и невинная, в другом сочетании, чем наше, с покорением интеллекта — любви. В незнакомом нам чувстве отдачи себя мы — не отдавали. Каждый из нас — брал.

Глава 3

ФРАНЦУЗСКАЯ РИВЬЕРА. МОНТЕ-КАРЛО. РАССТАВАНИЕ

И вот я — на Ривьере! На той, где я тринадцати лет мечтала умереть, сидя в кресле, как «Большая» на картине Ярошенко, как героиня «Последней весны» Клодта. В моем сходстве с матерью лежала опасность туберкулеза — так говорила родня. Как все иначе теперь! Как быстро исполнилась мечта: не на исходе молодости, уходя от ненавистной отрочеству зрелости, непонятной, враждебной — а в самом начале юности! И как иначе подошла возможность смерти: я, может быть, действительно тут умру, давая жизнь сыну,

* Определение В.Розанова в его «Людах лунного света».

как умерла Варвара Дмитриевна Иловайская-Цветаева, родив брата Андрея. Врач же сказал мне, с волнением перед моим упорством отказа от аборта, что я рискую, что тело не готово к материнству, девически узко. Но решение мое выносить ребенка твердо, и я вновь, как в детстве, у Средиземного моря; оно блещет, бушует, пиньи, как в Нерви, качаются в ветре, французский язык знакомо ласкает слух, мы молоды, мы вдвоем, и — ...сие незримо:

Во всем разлитое таинственное Зло,
В цветах, в источнике, прозрачном, как стекло,
И в радужных лучах, и в самом небе Рима!
Все та ж высокая безоблачная твердь,
Все так же грудь твоя легко и сладко дышит,
Все тот же теплый ветр верхи деревьев кольшет,
Все тот же запах роз — и это все есть — смерть!*

...Ницца! Это слово мы слышали еще в Нерви, когда впервые прозвучали слова «Сан-Ремо» и «Наполи», «Сорренто» и, может быть, «Бордигера», и страшное (потому что там люди стреляются, когда проигрывают) — «Монте-Карло» — и вот она, Ницца, тонущая в солнце и море, и пальмах, блестящая морской пеной и белизной вилл, томящая нежной жарой, пахнувшая гвоздиками, померанцами и тем, чем пахло в Нерви, терпким запахом жестких кустов с гляncем мелких листьев. И — лавром?

Мы стоим на набережной и смотрим в волны, глаза сужены от блеска и голубизны, и широкий разлив волн, медленных, мелких, шелковых, потому что — штиль. И бесконечная водная даль!

Мы сегодня бродили по магазинам, выбирая, купили, мне — модельное манто (темно-зеленого тонкого сукна с широким, мягким воротником черного пана с шелковистой легкой бахромой... Воротник схвачен подбором из черного шелкового сутажа — узор как кружево, и японский широкий рукав падает с плеча мягкой складкой — почти фантастическая красота! Нам это манто сняли с витрины, мы покупали, не считая денег — потому что было нельзя

* Тюгчев.

расстаться с сочетанием этих — зеленой матовости и черного бархатистого блеска — а то, что это еще вдобавок было манто и оно мне легло на плечи — была уже особая восхитительность. Маленькая шляпа с эспри — вверх легким султаном — и я смотрю на себя в зеркальном блеске — замороженно. Я так мало увлекаюсь нарядами, так далеко от их волшебства, но — нельзя оторвать глаз от моего отражения. Борис отошел, шуточно — в позу Наполеона, руки скрещены на груди, и смотрит со строгим любованием. Он — в новом серо-синем костюме; впервые я вижу его европейцем во всем блеске мужского очарования, — я так благодарна ему, что он надел ненавистный ему «хомут» — с белизной воротничка и манжет он еще восхитительней. Он соглашается и на мою фантазию — сняться. Мы снимаемся вместе (и увы, выходим через несколько дней ужасно: образцовыми карикатурами того, что отражалось в зеркале: фотография облитая взрывом смеха нашего — как чернилами!

И везде — музыка, из окон (рояль, пение), из дворов (бродячие оркестры, струнные), и оркестры гостиниц, и ресторанов, и городских садов...

Ницца! Здесь жила (живет? я же адрес не знаю!..) мать Марии Башкирцевой (она в переписке с Мариной!) и, кажется, сама Мари тут жила еще девочкой, уже королевой с портрета, в светловолосом ореоле косы надо лбом и надменным личиком с не по-женски умным взглядом...

Она умерла двадцати четырех, от нее в мире — томик дневника и Маринино ей посвящение, она умерла девушкой, от чахотки, она любила художника Бастьена Лепажу, он умер немного раньше нее, от того же, — Марина говорила — они похоронены в одном склепе...

А я живу. Но жить — это так непонятно, так легко умереть, никто не знает своего дня, ни у кого нет будущего, людей метет метель по векам и векам, сколько их успокоилось под землей... А мы — живы, но все так глубоко таинственно, так случайно, мы, может быть, уже завтра не будем стоять тут, все — мгновенно, «бесследно все, и так легко — не быть!»*

Волны льются, как медленная мелодия, и растопленные море и небо — слились. «Вы — музыка Паганини, зловещая

* Тютчев.

и прекрасная...» — сказал мне перед расставанием Нилендер. А Борис говорит, что мы, конечно, расстанемся: «Вы не можете любить меня, это — ошибка...»

Марина, Марина! Ее нет, когда мне так нужно, она счастлива, когда я в таком смятении — и мне некого упрекать, потому что я хочу ее счастья, но оно увело ее от меня! И, может быть, я не увижу сына — Варвара Дмитриевна видела своего сына Андрюшу всего восемь дней... И мамина мать — маму — так мало! Может быть, верь я тогда в Бога, как до того и как после того, я бы...

Но ранняя горечь крылом сомнения тронула детскую лозаннскую веру, хоть я молюсь, ложась, и Боря мне говорит: «Молитесь, я люблю, когда Вы молитесь...», но это скорее — привычка, дань прошлому, чем зов — к Богу. И печаль безверия? полуверья? кладет траур на весь жар дня, потому что от этого некуда деться: «...Все тот же запах роз — и это все есть — смерть...»

А если правы мы, а не Эллис, если в ресторан, где музыка и вино, ехать умнее, чем на лекцию Штейнера, если действительно нет Бога — или какой-то, как у Бориса — таинственный Иегова (грозный старинный Бог, от которого и евреи, не признающие Библии, отказались...) — то в чем же наш долг и в чем радость, и откуда быть верности в чувстве, когда все течет и все изменяется, по Гераклиту Эфесскому, «все бесследно» у Тютчева, и Герострат жжет Эфесский храм!?

Я не помню названия места, где на французской Ривьере в то время лечилась от туберкулеза Галя Дьяконова. Опять одна, как в Лозанну, я поехала к ней. Был какой-то весенний день, хоть была там, в России, в нашей с Галей Москве — зима. Мы страшно обрадовались. Галя была в матроске, в широкополой девической шляпе, выглядела длинным подростком. Она движением наших насмешек над нарядами подруг в ту зиму тринадцатилетия в гимназии Потоцкой, тыкала смуглым длинным пальчиком в мою шляпу и в мое манто и, подымая густые брови над узкими карими китайскими глазами, давилась смехом. Я была ей «Аська», причудница, играющая в «даму», и веселью не было конца! Где-то мы ели — в ресторане — вспоминая Никитскую, весну четыре года назад, кос-

халву, вербу, «тещин язык» и «Американского жителя», и те карамели «прозрачные», квадратиками, и неразлюбленный ирис.

Нет, Галя не была еще в такой шляпе! Ей надо было купить шляпу, и мы пошли в магазин, и там, подавая нам несусветный выбор шляп подносами, корзинками, корзиночками с целым садом цветов и лент, продавщица обратилась ко мне — о Гале: «M-elle votre fille?..» («Мадемузель ваша дочка?..») ...Мы едва не упали с Галей от смеха! И Галя долго дразнила меня. Мы выбрали M-elle моей fille широкополую светлую шляпу с минимумом цветочных веток и продолжили меж пальм и садов наш озорной путь.*

Маленькое государство Монако — между Италией и Францией — насчитывает сто человек войска. Оно блещет военным снаряжением и совершает военные упражнения на дворцовой площади с непреерекаемым чувством национального достоинства.

В государстве Монако — король.

Он живет во дворце. Увы, нам не удалось его увидеть, как мы ни старались. Самое главное в государстве Монако — городок Монте-Карло. Он, как солнце, распространяет лучи далеко за пределы своего государства — по всем странам земного шара: в Монте-Карло съезжаются люди всех нацио-

* (Я боюсь хронологически ошибиться о Гале. В моей работе о Горьком, где и поездка в 1927 году в Париж к Марине из Сорренто). И.Г.Эренбург поправил мне 1912 год встречи Гали Дьяконовой с Элюаром на 1913-й. В этой поправке я сомневаюсь. Мне кажется, именно в эту зиму лечения Гали она встретила в санатории с Полем Элюаром.

Может быть, я путаю, но ее рассказы о нем мне брезжятся и через год (1912—1913) в Москве. Я твердо знаю, что она мне о нем рассказывала после их первого знакомства и до ее отъезда к нему (в 1914? 1915?) — через минированное море. Как же она могла познакомиться с ним в 1913-м в санатории? Да, осенью и зимой 1914—1915 года она была в Москве, и мы виделись, и я ездила с ее отцом к ней в подмосковный санаторий, и я бывала у них в их новой богатой квартире в Трубниковском (26, будущий Дом ученых). Но когда же она впервые мне о нем рассказала — о юноше в костюме Пьеро, необычайно умном и талантливым, полном, как и она, причуд вкуса и страсти к искусству? Мне думается, в тот день, когда покупали шляпу...

Настает 1964 год. Мы не виделись с 1927-го. Я узнала в 1969 году от И.Г.Эренбурга, что в 1930-м Галя и Элюар расстались — после семнадцати лет — и, позже, он женился, а Галя вышла замуж за испанского художника необычайного направления, Сальвадора Дали. Элюар умер в 1952 году.

нальностей и садятся за игорные столы. Тут за рулеткой погибают богатейшие состояния и всходят звездами — новые, вновь появившиеся. Здесь, среди потрясающей красоты природы, на фоне пейзажа Шехерезадиных сказок, среди прекраснейших пальм Ривьеры, под лиловым небом и серебряно-золотящимся солнцем, под звуки нежнейших в мире оркестров — разорившиеся в одну ночь богачи пускают себе пулю в голову. Жив и цветет рассказ о человеке, потерявшем за игорным столом три миллиона и застрелившемся оттого, что у него остался всего один миллион!..

И вот в это самое Монте-Карло мы поехали, Борис и я. Борис, бредящий Достоевским, прочитавший мне вслух его «Игрока».

Зеркала высокого торжественного входа в палаццо игорного дома отражают наши две движущиеся фигуры — стройный молодой мужчина в элегантном серо-синем костюме, в темной мягкой шляпе, ведет под руку молодую женщину в темно-зеленом манто.

Они идут уверенно (и «спокойно») среди других входящих и выходящих приверженцев этой безумной жизни, этих падений и взлетов, в этом жаре отчаяния и азарта. Это, конечно, завсегдатаи гибельного палаццо — так надменно они озирают идущих, знакомые им двери, за которыми вершатся судьбы под доносящийся голос крупье. Его звук сходен с криком филина, и какая-то *dance macabre** веет вокруг отражающихся в зеркалах и уходящих вдаль столов. Но им, этим двум молодым иностранцам, не страшен ни голос крупье-филина, ни блеск глаз игроков, коршунов и их жертв — один шаг их, идущих под руку, плавный и легкий, говорит о их самообладании. Они разговаривают на каком-то своем языке (другим непонятно, что мужчина назвал сумму, которую поставит, в первый, затем во второй раз), и вот они уже готовы пропасть в кружащемся омуте, унесшем, как щепки, затонувшие в нем состояния и ракетой взносящем (на миг, может быть) блеснувшие миражом богатства. Мужчина делает шаг, пропуская вперед свою спутницу, когда другой голос — совий — останавливает его близ двери. Стол, за столом человек во фраке?

* Пляска смерти (*фр.*). — *Примеч. ред.*

сюртуке? — не запомнить, так феерически быстро он подымается из-за стола.

— Madame velluillez... («Мадам, будьте любезны...»), — и он делает жест, знакомящий их с существованием на этом столе живущей книги, распахнутой на чистейшем листе: кажется, мадам была названа первой. Опрос посетителя: кто таков, страна, возраст. Ответ дамы записан: имя, фамилия, возраст — Россия. Дочь профессора Московского университета. Тогда совий голос:

— Monsieur, velluillez...

Сердце мое начинает биться глухим предчувствием (так кажется мне сейчас, а тогда, может быть...).

Желая, видимо, казаться «важнее», назваться некой *категорией* людей (ибо его категория — изучателя Канта — не котируется в Палаццо Игры), Борис сообщает сове, что он студент.

И тогда происходит метаморфоза в привычных совьих хватках: они перестают быть совиными, и тоном почти отеческим, усталым, — сев назад в свое кресло, человек с прискорбием (поучающе):

— Pardon, mais les étudiants n'ont pas le droit de visiter... («Простите, студенты не имеют права посещать...») — и полное название знаменитых игорных домов Монте-Карло!

Мы стоим и смотрим. Мы уже не слушаем, что говорит страж, мы смотрим туда, куда мы не войдем, воспоминанье о чем кончится у его начала — и запоминаем навек мгновенную, как в калейдоскопе, картину анфилады, зелень сукна, может быть, горки золота, лица, над ними склоненные, лица стоящих за плечами сидящих. Слух ловит звук монет, шелест банкнот, шепот, восклицания, выкрикивания крупье, гул, сходный с пчелиным, затем мы повертываемся и, молча, тем же шагом, каким вошли, ничем не выдав на всем скаку остановленного азарта, ядовитой заразы, готовившейся нас поглотить, выходим в день Французской Ривьеры, в пальмовое королевство Монако, в сверкающий, словно в зеркале отраженный, блестящий день, синеву и солнце и мимо дворцовой площади, где марширует игрушечное войско, салютуя своему королю, идем к раскинувшемуся вперед, вправо и влево, сколько хватает глаз — морю. Оно лежит совсем тихое, совсем светлое, посередине, и только там, где гаснет

влево и вправо горизонт, — воды вспыхивают нежной голубизной. Стоим и смеемся!

Наши поездки в окрестности Ниццы закончились выбором маленького местечка в стороне, среди прибрежных гор. Дом-отель, где мы поселились, был на горе и в густой зелени, и эта зелень была рассыпана по горе пригоршней роц. Я помню неизвестные высокие деревья, точно в лупу увеличенные ветки мимоз. Из всех мест, мне знакомых, это напоминало — в большом масштабе — ялтинский парк Эрлангера, где мы с Мариной в 1905 году бегали с двоюродным братом Володи Цветаевым и рыжим псом Бушум. С того прошло шесть с половиной лет. Впереди было — внизу — море, справа — совсем рыжие скалы, в солнце — золотые глыбы и утесы. Вправо была — Франция, влево — Италия.

Мы сходили вниз, и Борис продолжал учить меня стрелять. Я стреляла в волны, у берега. Мы рвали мимозы, их было столько, что все горы, деревья были пропитаны их запахом. Был разгар зимы, все цвело, ходили легко одетые. В доме мы занимали две комнаты, высокие и просторные, — через коридор, как в Эсбо; только теперь — моя была вправо по ходу коридором, а Борисова — влево. Видимо, было русское Рождество (европейское мы провели в Женеве), и мы раздобыли подобие елочки и как-то ее украсили. Был вечер, уютный, глубокий, в моей комнате было полутемно. Мы дарили друг другу подарки; я тайком радостно купила Борису в глубинах антикварной лавки (в гостях у Диккенса!) стариннейший двуствольный пистолет, огромный, тяжелый, изогнутый, точно неведомый музыкальный инструмент, с позеленевшими инкрустациями. Борис — мне: два высоких древних подсвечника (для четырехгранных свечей!), торжественных и таинственных, рассмотреть украшения которых был настоящий труд. Тщетно искал Борис в Канне и Ницце четырехгранные свечи или возможности их заказать для меня... Подсвечники зияли четырехугольными дырами, и в пустоте сияла — старина.

В Москве зима, а у нас, у Лазоревых берегов, на горе, поросшей мимозами, — весна. Скоро Маринина свадьба.

В синюю звездную ночь у нас горела елочка, и за бутылкой вина и тортом мы вспоминали Москву. Мысленно поздрав-

ляли Марину и Сережу, подняв за них новогодние бокалы. Шел 1912 год!

Что сулил нам Новый год? Решимся ли мы соединить наши жизни так, как это делают все, поселимся ли мы вместе после нужного для Москвы, для папы, чудного для нас, смешного «законного брака», или каждый пойдет своим путем, пренебрегая внешними формами? Останусь ли я жить за границей, если Борис захочет жить в Москве? Поеду ли с ним? Останусь ли жива или умру? Мы ничего не знали. Мы прислушивались, может быть, к душевным движениям друг друга, проверяли отношение друг к другу? Бог весть.

Что заставило Поля Элюара и Галю, уже имея дочку нескольких лет, расстаться, Элюара — уехать жить на Таити, Галю — остаться в Париже, затем им жить вместе вновь, опять расстаться — и «идти своим путем»?

Я вспоминаю те недели в Трауас с нежностью. Что-то было и в той природе, и в нашей молодости, и в складывавшихся каждый день заново — отношениях — весеннее, как запах мимоз.

Мы много ходили. Борис пробовал мне читать свой любимый «Пиквикский клуб» и своих «Трех мушкетеров», свои «Мертвые души» в ожидании дня, когда мы прочтем вторую половину «Идиота». Лазили по горным тропинкам, спускались к морю, часто ездили в Ниццу на полдня, на день и возвращались домой. Казалось, мы живем тут — давно. Будем — долго?

Я не написала об одном еще сильнейшем, чем стрельба, Бориса и моем увлечении: мы купили маленький «Кодак» 6 x 11, помнится, и яростно снимали окружающую красоту. Вечером, запасшись всеми существующими волшебными порошками, превращали порошки в жидкости, наливая их тонко и едко пахнувший растворенный яд в не менее волшебные сосуды, мы в углу комнаты, превращенной в лабораторию средневековья, при свете красного фонаря, наклонялись над зельями. В них, как в гоголевских сказках, начинало появляться чье-то обличье — человека, дерева, горы или моря, или их — на века слившегося объята; силою ядов и, может быть, страстью нашего смотренья там вырастали крошечные рощи мимоз по фантастически изогнутым холмам надморья. Возникали, как в микроскопе (нет, об-

ратно ему, растящему невидимо-крошечное), как раз уменьшенные, как на географической карте, пейзажи, пойманные объективом и — вдруг — дарящие себя из облачности и мглы неумолимо-правильным сочетанием черных массивов и белых прозрачностей пленок.

На станции Лётрайас, у поезда, в который готовы были сесть, чтобы ехать в Ниццу, большой уже щенок, белый с желтым, попал под колесо, перебегая, должно быть, пути. Он плакал и выл, беспомощно пытаясь встать, и тащился, дрожа и жалобно глядя на людей, своих, до сего часа, друзей, сейчас на него не обращающих внимания, спешивших каждый мимо него. Каким родным мне стал в этот миг Борис! Мы бросили поезд и занялись судьбой бедняги. Мы куда-то бегали, доставали материал для перевязки, ласкали и утешали песика, благодарно лизавшего нам руки и терпеливо давшего перевязать лапу, затем ходили по всем станционным дверям, рассказывая случившееся, и устроили наконец щеночка у какого-то доброго сторожа и тогда, взволнованные и нежные друг к другу, продолжали свой путь.

Таков был Борис. Иногда он казался совсем непонятным по какой-то холодности сердечной, по фантастической отвлеченности, к которой не было пути и в которой он замыкался, как в крепости, недоступный притоку простых человеческих чувств. Он мог холодно наблюдать — слезы (это я пережила позднее). Но к щенку он отнесся совсем как я, как бы — Марина, Сережа. И вот однажды он мне рассказал, как его брат Николай, получив на экзамене на аттестат зрелости при округе не ту отметку, которую, считал, заслужил, — «подошел к экзаменатору и дал ему пощечину».

Негодование комом сжало мне горло. Овладев собой, я сказала ледяным тоном: «Какой грубый человек ваш брат!»

Я не помню ответа! Но эти свои слова я помню отлично. С них начался наш первый разрыв с Борисом. Я не помню — ни его словесный ответ, ни каких-либо ссор между нами ни до этого случая, ни после него. Но то, что последовало после мною сказанного, было — решение Бориса уехать назад в Россию.

Этому трудно поверить, и я, сколько смогу полвека спустя, попытаюсь объяснить две вещи: это его решение — при моей

беременности и мое согласие на его отъезд, не смягченное моей беременностью. Может быть, проще всего для объяснения этих двух вещей будет предположить в нас двоих равную степень гордости? Оскорбленности? Или, тайно, каждый из нас стремился остаться наедине с собой по каким-то интеллектуальным своим свойствам? Или мы не по-настоящему любили друг друга, или мое материнство возросло уже до того, что мне отец моего ребенка не так уже и был нужен? Знаю одно: я не попросила Бориса остаться, даже в самый час его отъезда, и не испугалась остаться одна, ни одним движением — ни человеческим, ни женским не постаралась его решение смягчить. Но галантно предложила проводить его до русской границы, так как он плохо знал языки. И мы приступили к отъезду.

Чтоб не забыть: материальная сторона отсутствовала в наших поступках, то есть молчала по той причине, что я была вполне обеспечена матерью, не говоря об отце. Отъезд Бориса с этой стороны никак не влиял на мою жизнь.

Но я не сказала одно: Борис бредил Испанией, и я, вспомнив это, предложила перед отъездом из Ниццы — поехать туда на несколько дней «на прощанье». Борис колебался. Его лицо дрогнуло сложными чувствами — желанием увидеть романтическую Севилью? благодарностью мне? Но что-то сжалось у его рта и ноздрей, и он ответил отрицательно — ехать так ехать! И мы поехали. Меня Испания не влекла.

Папины письма и письма Марины, друзей продолжали идти на Ривьеру, а мы уже выходили из поезда на так недавно покинутом вокзале Варшавы, столицы Царства Польского.

Поезд в Москву шел назавтра, и мы остановились в гостинице, в знакомом блеске и прелести музыки, вина, фруктов, любимых блюд, и вечер провели весело в цирке.

В цирке была борьба. Внимание наше привлек борец — худой, темнокожий (смуглый), бородатый и немолодой. Его каждый раз клали на лопатки, и он, сердясь, как-то не то ревел, не то выл — как животное. Был он нестерпимо жалок. Эта жалость снова сблизила нас. (Может быть, оба мы удержали вздох — о расставании?). Но гордость молодости диктовала *ne pas revenir sur ses pas**.

На другой день поезд увез Бориса в Москву, а я осталась одна в Варшаве.

* Не пересматривать раз решенного (*фр.*).

Глава 4

ОДНА В ВАРШАВЕ. БУКЕТ В ЦИРКЕ. РИМ. КАТАКОМБЫ. ФЛОРЕНЦИЯ. ВСТРЕЧА С ГАЛЕЙ ДЬЯКОНОВОЙ

Я собиралась ехать на Запад первым же поездом, на другой день, но жизнь сулила иначе: неожиданно оказалось, что ехать за границу я с моим паспортом не могу — он давался на один выезд. Но как несовершеннолетняя и имеющая опекуна, я не могла получить вторичную отметку на паспорте о выезде без разрешения опекуна. Мой опекун был — папа! Как могла я телеграфировать ему из Польши, когда я считалась на Французской Ривьере? Расстроить его такой непонятностью я не могла. И я решила дать телеграмму дяде Мите: может быть, он сможет получить нужные мне бумаги в канцелярии генерал-губернатора! И я осталась в гостинице ждать его ответа. Я просила его не тревожить папу, сообщала, что здорова. Но когда я пошла за деньгами в отделение банка Юнкерса, где у меня был аккредитив, выданный мне в Москве на Кузнецком в банке Юнкерса для всех городов (кажется, и тогда так называлось?), оказалось, что в моей банковской книжке кончились все листочки, на которых записывались выдаваемые суммы (мы брали небольшими суммами), — денег было еще, несмотря на нашу широкую жизнь, много, но листочков на получение — не было, и мне пришлось и по этому поводу запрашивать Москву.

Так я вынужденно осталась жить в гостинице с весьма тощим остатком наличных. Сидеть до ночи в номере — не хотелось. Я вспомнила о цирке — борьбе — том борце и решила идти в цирк. Борьбу я терпеть не могла (молодежь увлекалась борьбой не меньше, чем Испания боем быков), но я не могла забыть того рычащего беднягу. Я купила большой букет роз и гвоздик в пышной зелени и поехала в цирк.

— Этот букет, — сказала я капельдинеру, — вы подадите по окончании состязания тому борцу, который вчера все проигрывал. Наверное, и сегодня тоже. Не ошибитесь: он темнокожий, с бородой, худой, согнутый. Вот (я дала ему хороший «на чай»), если правильно выполните, получите еще столько же! Прошу вас, не ошибитесь! — И я вручила капельдинеру букет. Он удивленно принял его (в его практике

такого не значилось) и повторил «задание». Затем мы расстались, а я пошла сесть на место.

И Марина, и я любили всегда цирк. (Позже Марина говорила, что цирк — это высокое искусство. «За ошибку платят жизнью. Тут уже нет халтуры! *Мастерство!*»)

Но в этот вечер — оттого ли, что на душе было смутно? что после вчерашнего вечера тут вдвоем — я была одна? оттого ли, что ждала борьбу, — я не так, как всегда, чувствовала себя в цирке... (а не были ли это знаменитый цирк Чинизелли с высочайшим искусством наездничества, гремевший по всей Европе?). Но когда на арену вышла пара борцов, из которых один был мой, тот самый! — я ощутила нечто подобное тому, что в Монте-Карло парило над столами рулетки.

Партнер «бедняги» был сытый розовый немец, игравший бицепсами, красовавшийся почти женской грудью. Он, конечно, вмиг бы покончил с «дикарем» — слабым и жалким, но для интереса публики длит мученье того. Но вот ловким жестом, показав всю свою мужскую красу, он положил дикаря на лопатки. Рукоплескания хлестнули арену градом.

Победитель кланялся, побежденный, даже уже не рыча, уныло, стоя в стороне, расправлял усталые члены.

В эту минуту на песок ступил капельдинер с моим великолепным букетом. Я превратилась в зрение. Все другие чувства замерли. Сердце будто остановилось.

Увидя букет, победитель молодежато приосанился. Может, и крутанул ус? Сердце мое забилося сильнее, чем его: страх, что капельдинер, меня в толпе потерявший и не верящий во вторую мзду, может скривить душой и ему подать букет — стиснул меня почти физической болью. Еще миг — шаг — и я стала счастливейшим человеком на свете: бодро минуя победителя, того, кому с Греции, с Рима «гремят раскаты»*, капельдинер (душа, друг!) прошел всю арену и вручил роскошь выбранных мною роз — побежденному!

И сразу — вся патетика мига — с размаху, ласточкой! — в Жалость! Но такую — палящую! ту, нашу с Мариной, с Борисом, мышкинскую, о которой Рогожин: «Твоя жалость пуще моей любви»...) О, как он, Дикарь, испугался, удивился — отступил, растерялся, но капельдинер настойчиво

* «Кому-то гремят раскаты» — из стихов Марины.

совал букет — как наконец *поверил!* как схватил, как *прижал* к груди! И — в то время, как (боковым зрением вижу...) тот, победитель-то! стоит как соляной столб — мой Дикарь кланяется, кланяется вместе с букетом, ошалело что-то ища в зале глазами, дикарскими. А я, верно, улыбаюсь глупейшей, блаженнейшей из улыбок, сама выходя из состояния мгновенного соляного столба...

И уже ничего не вижу от вдруг появившихся (из того соляного столба) слез... Господи! Как *мало* могу для него сделать! А кажется — ушла бы в его берлогу — с ним...

Но был еще один счастливый человек в этот вечер: капельдинер. И, может быть, не одной мздой. Тем, как благодарил я его и как мы оба смеялись.

В этот час покинувший меня Борис, может быть, подъезжал к Москве.

А затем начались, как и должно в смене «да» и «нет» жизни — мучения: ответы из Москвы не шли. Тревога росла. Деньги кончались. Повторялась история в Гельсингфорсе. Но тогда мы были сильны — вдвоем! Я была одна (и меня вдобавок сильнее тошнило...). Уже нельзя было мне обедать за табльдотом гостиницы, ни требовать еду — в номер: я не оплатила поданный счет. Начались хождения в кафе, питье кофе с хлебцами. Если завтра не придет распоряжение в банк Юнкера — интересно, что буду есть?

Почет — падал. Гостиничная челядь смотрела на меня мрачно. Я надменничала в ответ — вовсю.

Но Бог милостив — и в разгар моего капиталистического ничтожества из Москвы пришла телеграмма от дяди Мити, сообщавшая, что бумага мне выслана. Как я полюбила в этот день милого доброго дядю Митю с по-медвежьей густой бородой, напоминавшего мне в детстве карлика с папиными глазами из-под узеньких золотых очков!

А когда есть было уж совершеннейшим образом нечего, кошелек был пуст и наутро кофе был лишь мечтой — из Москвы с Кузнецкого, из банка Юнкера — пришло распоряжение в Варшавский банк Юнкера о выдаче мне новой чековой книжки (да, вот как «оно» называлось!). Ох, какой я закатила обед в этот день в ресторане презренной гостиницы! С русской икрой, черной, зернистой, как бросала

«на чай»! И по лестнице — по оба бока «челядь» гостиницы, вчера меня презиравшая, получает от меня несчетно «на чай», я выбегаю в нежный свист и шелест польской речи — прощайте, прощайте! Еду — бензинный дымок автомобиля охватывает меня знакомым передвокзальным волнением (заграничным! В Москве мы в автомобилях не ездили), и, мягко покачиваясь в низкой каюте, летящей (за ее окнами — сверкают огни Варшавы), я мчусь на вокзал...

Думаю, что раньше всего я поехала в город (я забыла какой), где мы с Борисом оставили «на хранение» ту злополучную полосатую деревянную картонку, которая разлетелась у нас на перроне перед отходом поезда, вывалив из себя все свои несусветно-разнообразные «потроха». Я поехала за картонкой. Это было, должно быть, во Франции. Затем вспомнилось, что мы собирались побывать в Риме, послали туда мою колоссальных размеров корзину. И, может быть, после картонки — я поехала за корзиной в Рим. На ее дне жила моя любимая — еще бабушкина? — диванная подушка, атласная; и бездна ненужных никому, кроме меня, вещей. В них дышала душа Трехпрудного... Ведь я их везла «к новой жизни», или, если судьба умереть вдали — как кусок своей прошлой жизни.

И весь узор моих переездов того месяца (еще в Москве — зимнего) я чертила самым малопонятным образом: я катала хлебный шарик и кидала его на карту. Куда он падал — туда я брала билет. Милый папа с его наставляющими советами в письмах — что осматривать, где останавливаться, как лечиться.

Чем я была виновата, что так шла моя жизнь, что на семнадцатом году я была так одинока, так далеко, с такой невозможностью кому-нибудь о себе поведать, получить — от кого? помощь.

Я ни в чем не каялась, никого не винила. Все шло, как должно было быть, раз так поступалось, так подсказывала душа. Встреча с Борисом дала много горечи. Но разве одной горечи? Разве не столь же — счастья? Кто мог мне сказать, когда я была не права: в Эсбо, не сдаваясь на зов плоти, борясь с тягой к любимому? В Москве, решив ради него побороть себя и пойти на близость, ради него и ради того, чтоб, «бросив кость» плоти, вернуться к поре наших

интеллектуальных встреч? В Берлине, Женеве, на Ривьере — погружаясь в то чувство, которого отвращалась? Я никогда не кривила душой. Понять меня *во всем* могла одна Марина. И я скоро с ней свижусь. Она написала мне, что после свадьбы они выедут за границу. Мы встретимся в Париже. Это будет — скоро. А пока — мне надо ездить и ездить, чтоб заглушить тоску. За месяц я объездила девятнадцать городов, это — помню.

...Итак, Рим. Разочарование! *Новый* город, улицы, магазины, как все везде. И только, когда взяв гида, выхожу на Форум — остатки древней площади, развалины, колонны, синева небес — тогда я стараюсь вникнуть, почувствовать: «вот это — древний Рим»... В Колизее мы ходили долго. Поражала колоссальность размеров этих полукруглых рядов, сохранность невероятной постройки. Тишина. Где-то на том конце шла экскурсия. Я, купив «Кодак», делала снимки. В фотографической ванночке оживали этажи Колизея. Был лиловый от синевы день. О Ватикане я помню свое утомление от усердия гида и то, как у меня закружилась голова, я пошатнулась и толкнула большую вазу на постаменте. Она закачалась — я замерла от испуга, но она уже успокоилась. Лицо гида было тоже испуганно. Но все обошлось. Голос гида, итальянская речь пополам с французской.

Помню Сикстинскую капеллу: свою опрокинутую голову, боль шеи и озиранье скульптур потолка, что не «скульптуры» — не верится, — что живопись: тела, и тела, и тела — точно все тела с начала мира! Затем голова уж на плечах не держится — в руке зеркала, в нем отражается потолок Сикстинской капеллы, но я уж ничего не воспринимаю, ребенок томит меня — хочу домой, лечь...

Наутро я — в соборе Св. Петра. Высота, холод, золото (может быть, солнечные лучи?). Трепет моря свечей над спуском в гробницу апостола Петра. И просторная площадь собора, направо от нее — Ватикан. Вечером я иронически записала в дневник: «112 метров высоты купола собора Св. Петра — как Высоко!» (смысл был тот, что не поражает *физическая* высота!). Но я помню розоватое небо над Монте Пинчио, запах Нерви и еще какой-то... Так было тут и пять-сот лет назад...

Римские катакомбы! Меня туда повез гид. Ехала — после Музея Ватикана, Колизея, собора Св. Петра — через силу. Я стала очень уставать, но не пожалела потом, что поехала, презрев физическую слабость. Еще у входа в катакомбы на меня пахнуло знакомым духом католичества. Монахи продавали святые картинки с бумажным кружевом рамок, какие мы в Лозанне с Мариной благоговейно хранили: Христа и Мадонну в венце звезд: маленькие кожаные складные иконки св. Екатерины, св. Терезы и других святых, четки. День сверкал.

Я помню тьму подземных ходов, поворачивающих и узких, местами расширявшихся в подобие комнат. Мы шли при свете факелов. Я старалась вообразить, что тут шли первые христиане, ждавшие смерти — за свою веру в Христа. Как они были счастливы! (И как была счастлива я, восьми и девяти лет, стоя на коленях, перебирая четки в ночной темноте, считая не число молитв, а число четок — пятьдесят или шестьдесят, если не ошибаюсь, и между каждым десятком их — «Отче наш»)... Звук шагов то был тих под землей, то раздавался; нежданно: пахнуло сыростью. И вот мы вошли в расширение, под земляные своды и остановились над гробом: под стеклом лежал скелет. А вокруг черепа с дырами глазниц и оскаленными челюстями — россыпь кудрей, белокурых, схваченных наверху высоким резным гребнем. Золотость волос так горела, что казалась обрызнутой золотой пудрой. Стало тихо. Мы стояли, смолкнув, и каждый, думаю, думал *о себе* — так... (Лермонтов, «Боярин Орша»!).

В Риме я вступила во владение моей корзиной. На железнодорожном складе, где она дожидалась меня, я раскрыла ее, с трудом развязав узлы веревок, и хотела было заняться разумным распределением вещей, с тем чтобы взять нужное, а пока мне ненужное — переадресовать куда-то дальше. Но, подняв ее тяжелую скрипучую крышку и почуяв дикую глубину мозаично уложенных вещей, вещей и вещиц, книг, которых мне сейчас совсем не хотелось читать (так они казались наивны, просты, однобоки — о, кроме Достоевского! но на нем был запрет) — я вспомнила, что под маленькими картинками в рамках, диванными подушками, альбомами, топорщится густой — в развернутую руку, слой (видовых и жанровых) открыток, — увлечение детства и отрочества.

Из них часть я хотела взять с собой в свое неизвестное будущее, но не в силах была отобрать их из тысяч, так и ухнула скопом на книги, занимавшие все дно. Ужаснувшись затем виду их множества и веса, я нашла им чудесное применение: зарыла в них запрещенный, без разрешения на него, старинный Борисов пистолет. Понимала, что ни охоты, ни времени не будет ни у кого пощупать весь этот пуд! открыток, — и пистолет так проедет все страны, на дне невероятной корзины, доедет так до Москвы. Я постояла над развернутым корзиночным чревом, в котором все было точно так же туманно, как мое будущее, — и решила ничего в ней не трогать, а переадресовать ее дальше. Только куда? И, думаю, она направилась в — Париж... Мне было захотелось взять из нее наматанный на палку толстый рулон серебристой плотной старинной материи, но, не чувствуя никакого влечения к портникам, примеркам и прочим женским занятиям, я оставила рулон — дремать среди фантастических соседств — до поры.

Куда я поехала из Рима? Не помню. Хлебный шарик падал иногда так причудливо по карте Италии! Но во Флоренции я побывала. Из дней там я помню галерею Уффици, необыкновенную водную тишину ее зал, малолюдность и свое медленное, от усталости, передвижение по ним и солнечным лучам, их перерезавшим.

Помню какой-то мост — полукругом? Его отраженье в воде Арно и серый, древний как мир камень уличных плит, по которым, казалось, раз в десять лет пройдет человек. Отсутствие уличных звуков само было — звук, душа музыки. Я стояла над Арно, сравнивая воду его с водой Тибра, и мне показалось, что я люблю Флоренцию, что жить надо — только здесь...

Как я назову ее, если не умру и будет дочь? А — сына? (Сердце хотело — дочери, но моей печали и одиночеству утешением представал — сын...) С самого въезда в Италию, куда мы не доехали с Борей, — нет, и ранее, когда мы туда собирались, я несла в себе, словно второе дитя, замысел и мечту увидеть — Нерви. Морскую колыбель нашего детства с Мариной.

Слезы в четыре ручья, Маринины (Мусины) и мои, еще горели, казалось, на моем семнадцатилетнем лице. Но было

страшно приступить к выполнению замысла. И, должно быть, шарик не падал на Нерви — по дрожанию замиравшей руки...

Но прежде чем продолжить мой рассказ — перед его следующей главой я хочу сказать, что в той самой непролазной гуще открыток я много лет спустя, в советское время, нашла две вести, драгоценные: светлую и темную.

Первая — надпись на итальянской картолинке — вид сада, его выхода на скалы — к морю, что с этого места Бёклин писал свою картину. Значит, мама видела свое будущее, глядя на репродукцию этой картины на стене своей тарусской комнаты — задолго до болезни и отъезда в Италию... Она вошла в эту картину! Стала той женщиной на каменных ступенях над морем, которую написал, предчувствуя ее героиней, — Бёклин! (Так полюбить, как там — мама, и так победить любовь — долгом... Конечно, именно мама явилась в мечтах Бёклину!) И как любила она эту картину за годы до того, как туда войти. Разве это все — не чудо? Но зачем надо было, чтобы я узнала это (о маме!) после Марины, и ей — никогда не узнать того, что фантастически романтичнее всех романов на свете! Правды...

Глава 5 LUIGI LEVI*

Не помню, из какого города я ехала в Венецию — туда упал на карте хлебный шарик (моя судьба). Переезды в Италии, да и вообще за границей, по сравнению с Россией — коротки. Но трудно мне будет забыть тот переезд.

Клонило ко сну. Усталая, душевно, телесно, одинокая, вне возраста, сидела я, облокотясь спиной о стенку вагона, головой в уголок, готовая уснуть, когда отворилась дверь и вошел человек — высокий, худой, в пальто. Была ли на нем шляпа? Дорожное кепи? Я помню только — лицо. Смуглое, узкое, горбоносое. Черные брови. Удивительно живые глаза... Взгляд его обежал новую комнатку его жизни, беглый приют — беглый взгляд! Но он все вобрал — стены, окно,

* Луиджи Леви (лат.).

цвет чемоданов чьих-то, меня, еще каких-то спутников — пассажиров, летящий за окном пейзаж. Он поклонился, положил багаж, еще раз оглядел все тем же быстро впитывающим взглядом и сел, дружелюбный ко всем — вдумчивый, скромный. Я закрыла глаза, но в них стояло его лицо, нежданно-родное — где-то виденное? На кого-то похожее? И во внезапной тихой радости — не захотелось спать.

Если он жив и мог бы прочесть мою запись — может быть, он сказал бы, что я ошиблась, что был не вечер, а полдень или раннее утро, и вовсе все было не так. Может быть, его память сохранила все так, как было, — весь разговор, все слова, весь путь — наш и поезда?

Ни тем разговора — ни одного из начальных слов — ни пути. Даже не знаю, сколько мы вместе.

Ты — как круг, полный и цельный.
Цельный круг. Полный столбняк...

В этом столбняке памяти я стараюсь найти слова. Когда он вошел, я думала о моей предстоящей безрадостной жизни с Борисом. Как случилось, что вошедший и я начали говорить? и о чем? Как случилось, что мы, говоря при других, так быстро психологически сблизились? Что они уже нам не мешали? Став, *двое* — кругом, где в вихревом движении колеса (фортуны?) стерся узор спиц и полет стал тою неподвижностью, которая зовется — Счастьем?

Мне нечего предложить в ответ, кроме этих вопросительных знаков.

Он ехал из Англии. Его звали Луиджи Леви. Ему было, кажется, тридцать два года? (И вдруг: а не двадцать ли семь?). Он кончил курс в Оксфорде или Кембридже — а был итальянец. Нет, значит, не тридцать два — двадцать семь. Он ехал домой, к родителям, в Милан.

Что я сказала о себе? Если б вспомнить! Что — русская. Имя? Кажется, я не назвала себя. Возраст? Отшучивалась. И в шутке сказанных «двадцать семь» хотела, чтоб участвовал и Борис, так некогда со мной о себе пошутивший? Или формулой числа десятка целого лет моим настоящим возрастом я хотела упростить для спутника — понимание меня, моего усталого тона, моей не восторженной моло-

дости, укуса змеи печали? Намекнула ли я на Бориса рядом со мной? Но, умолчав, солгала ли? Со мной была только его *тень*. Только *память* о его необычности. И его ребенок во мне... Еще не вошла печаль от Бориса в мои дни, когда Нилендер назвал меня «музыкой Паганини — зловещей и прекрасной». Разве не в четырнадцать лет хотелось умереть от поперек пути легкой тени от форм земной любви?..

Эта ли струя паганиниевская захватила дух?.. Толя Виноградов, бородатый студент, писавший мне, еще четырнадцатилетней: «Я люблю вас давно...» Лёва Сикстель, скромный чудный мальчик — как нам было трудно расстаться... И так недавно — вокзал московский, расставание с Нилендером после второй «Зимней сказки», до сих пор недочтенной от верности Борису...

То, под шуливой и острой речью, молчание, что бросило ко мне в те прощальные весенние московские дни — Бориса?

И может быть, не Паганини на этот раз прозвучал во мне, а то, как *опрокинут* был им во мне Паганини, то, как (будем же говорить простые слова о сложной человеческой радости!) — то, как *зажглось* мое грустное «двадцатисемилетие» — от взгляда — голоса — слов его, ко мне обращенных? Может быть, раньше, чем мы осознали, мы стали — счастливы?

Поезд летел. Мы, должно быть, уже были одни в купе, и мне кажется, был день, — там, где-то. Мне казалось, что я без конца давно знаю Луиджи, так *свыклась* уже с необычностью его появления, так слита с ним, с его тонким умом, в котором мне столько знакомо, и с душой, в которой мне так просторно и так тепло, что уже невозможно проститься! С этим сердцем, в которое я вошла. «И не выйду!» (Это он говорит мне...). Так *чуждо* мне в его французской речи, свободной — редкое для итальянца произношение. Так таинственна Англия за его плечом — и только Милан страшен тем, что он летит нам навстречу (что тогда будет — я снова буду в бездне, одна?). Нет, эта мысль не достигает меня, я сейчас так свободна в том наставшем и тихом, под шумом крыл, счастье — что сама смерть, меня стерегущая, отступила — стала поодаль (ждет свой час?). Это жало — не оно ли делает ярким мой взгляд сквозь (я, впрочем, уже от-

кинула ее, сняла вместе с шляпой) вуаль, и, боюсь, уже в его руках мои руки, и что же он говорит мне!..

— Вы — та, которую я ждал и *должен* был встретить. Я никого не любил, как вас. Я не знаю, почему вы одна. Куда, зачем едете. Но я не могу жить без вас. Я прошу вас: вверьтесь мне. Мы поедем в Милан, к моим родителям, я представлю им вас как мою невесту, как будущую мою жену.

— Вы сумасшедший. Вы не знаете меня, ничего не знаете о моей жизни... — сказала я ему, сжав его руки и пытаюсь отнять свои.

И уже я смеялась потому, что мы перед счастьем бессильны. И оно прекращает слова...

О, зачем вы оставили меня, Борис, зачем уехали, когда мне так одиноко, зачем смогли от меня оторваться, когда я скоро умру, может быть? Затем — зачем отдали меня этому новому чувству, этому волшебному человеку, с которым мне так жарко от его магического понимания — с вами было так часто — холодно... И который (о, я это чувствую всем им, его голосом, его взглядом) — который вам — враг... За то, что вы могли, хоть и на время, меня оставить, потому что он — не может...

Милан близится. Я в каком-то ужасе. Но я все время пытаюсь опомниться, я не забываю. И зачем отравить счастье и веру в наше будущее, его *часы* со мной! Разве в такое стремление (человека интеллектуального, сильного, много видевшего) можно влить яд слов о том, что мы сейчас расстаемся, что мой путь — не его путь, что *врозь* наши судьбы! Что я ношу ребенка другого и не знаю, по-настоящему ли этот другой меня любит и будем ли мы вместе! Я не могу ему сказать, что его родители мне — чужие. Что он *должен забыть меня!* Ждать и искать *другую!* (А мне навеки запомнить: то, что *могло* быть!..)

Не помню, была ли ему пересадка по дороге в Милан или... Не помню карты Италии. Мне и сейчас ее затмевает лицо, тогда оно мне было дороже всех лиц. Поезд мечется по шпалам и рельсам, как мое сердце. Снова натиск о Милане, о его доме. Мольба! Мой отказ. Тогда, в горе, он идет мне навстречу: хорошо, он поедет в Милан один. Он все расскажет матери и отцу. Через три дня он будет в Венеции. У меня. Вместе! Он не может расстаться со мною на

дольше! «Хорошо», — говорю я. Я лгу — *впервые* раз в жизни! Господи! Я лгу — для *него*! Я не могу убить его сейчас, *своей* рукой! Я же понимаю, что с ним! Потому — потому что — *не будь* Бориса — я бы, может быть, поехала в Милан! Чтобы стали мне *не чужими* — его родители...

Он берет мои руки. Он целует их. Он почтительно сдержан. Так хорошо воспитан! Английское воспитание! Им он смиряет свою итальянскую душу. Но глаза — безумны. Он смотрит на меня безотрывно. Старается верить мне, что мы встретимся. Хочет запомнить лицо мое. На целых три дня! На целую жизнь разлуки! Знаю я...

Поезд летит по вечерним полям Италии.

— Я люблю вас! Я не смогу никогда любить другую! Вы дадите мне слово, что будете ждать меня в Венеции? — говорит он.

— Да, даю! — в ужасе отвечаю я. «Господи, помоги же мне! Дай не затмиться разуму! Не растить моего ребенка в доме этого человека! Не сменить вот сейчас Москву и всех — на Милан! Не бросить мою жизнь вверх — как мячик! Помешай мне войти в неведомую жизнь — как домой! Как мне было бы чудно и тихо после всех мучительных сложностей с Борей, всего одиночества там, в России, — остаться в его стране, в *нашей* с Мариной, с *детства*, Италии... Борис!»

Поезд стоит. Мы вдвоем на площадке вагона. Он назвал мне гостиницу в Венеции, где я должна остановиться и ждать его. Через три дня мы увидимся — *будем вместе!*

Первый звонок. Он смотрит на меня неотрывно. В его карих глазах есть золото. Я запоминаю его лицо навек. Горечью последних минут. Сейчас он сойдет — станет сном. Завтра я не поверю, что он был! Трезвость завтрашнего дня, ты — смертельна. От тебя, уж сейчас — озноб. Говорит. Слушаю голос. Еще с *ним*... Второй звонок! Он хватает мои руки. Он еще раз берет с меня обещание. Он заставляет меня повторить название гостиницы. Третий звонок. Он что-то прочел в лице — он вскакивает с подножки назад, в вагон, взмахнув чемоданом.

— Сходите же, поезд трогается!

— Нет, не могу. Обещайте мне еще раз...

— Обещаю! Сходите же, поезд идет...

— Нет, не могу. Я остаюсь!

— Вы упадете!

— Вы обещали...

— Улица Нерона, двадцать один... — в отчаянии кричу я, вырывая свой взгляд из его...

Он спрыгивает с подножки на ходу. Ночь сметает его, как призрака.

Я стою одна на площадке вагона, закрыв глаза. И в них проступают слезы.

«Я не остановлюсь в той гостинице, и вы там не найдете меня...»

Думаю: зачем было это послано Жизнью? Борис — отошел, исчез... Взамен подошел Луиджи. Отместка?

...А ведь я не рассказала никогда о Луиджи Борису. Чувством долга поборола его.

Я твердо знала — всей моей душой, всем моим молодым телом — и знаю это и старым умом — что он не дрогнул бы, узнав, что во мне ребенок — другого. И бросился бы помешать свадьбе с этим другим... И навсегда безответен вопрос: почему — ни тогда из Парижа, ни позднее из Москвы — я не написала... Как я могла удержать себя от письма Луиджи? Оно было нужно не только ему, но и мне — как хлеб — в те дни. Какая сила заставила меня уверить себя, что надо из его жизни исчезнуть, стать не больше чем сон... Почему в этой аберрации я прожила дни, недели, месяцы, годы? Храня его имя у самого сердца — и этого не сказать ему... что не только он, но и я себе не простила мое молчание: кто, как не он, понял бы *все* и этим, быть может, утешился? Кто дал мне тогда право решать за него? Право дать ему *возмутиться* мною — вместо права другом войти в мою жизнь — и понять. И откуда была сила во мне отнять у себя долг, горькую радость ему о себе рассказать, объяснить — ведь он был самым близким мне человеком тогда!

Вернуть ему этим письмом свободу... Ненаписанием — ввергнуть в отчаяние... То, что казалось мне помощью ему — просто исчезнуть, мне теперь кажется поступком невероятным, недопустимым. Единственным, которого было сделать нельзя. Но я его сделала. И как мне себя — простить?

Но и мне надо его забыть! Иначе жить — невозможно...

В эти мои венецианские дни, в которых цвела любовь ко мне навеки погашенного, как погашают свечу, Луиджи Леви

и мое, его зовущее сожаление о сделанном, моя просьба — простить (столь же пламенная, как его укор, рвавшийся ко мне через гущу той насильнопогашенности), страх его последней минуты на вагонных ступеньках — меня потерять, заставивший обратно вскочить в вагон, страх, уничтоженный *нацело* жаром моего обещанья! Обернувшегося — *обманом*... Не любила — *любила!* в этом-то и был ужас! *Поллюбила*, имея в себе дитя другого, и впереди, в этой разлуке с Борисом, может быть — одну смерть...

Марина слушала — всю собой. Как дрожало — как мое — ее сердце... Дослушала. (До его отчаяния в Милане: «Нет, не могу! Остаюсь!» И мое ему в горе: «Сходите! Вы разобьетесь! Мы встретимся — через три дня!..» И его мне последней: «Вы *обещали!*»)

— Ася, сказала Марина, и лицо ее было бледно, как *его* лицо в тот час, — в этом слове он оставил тебе всю свою *веру* в тебя... На высоте вашей встречи, на уровне ее душевного *чуда*... ни попытки поцеловать — *итальянец?*.. — ни сыска о твоей жизни... потому, что *ты* его жизнью стала! *Это* ты понимаешь? И как же ты...

Я этот миг — ждала (но она сейчас все осознает!). Как судьба стояла она передо мной. Как моя совесть. Как некая парка, готовящаяся остановить, пересмотреть жизнь. *Смять*, рукой, нить жизни... Но слишком похожи душою мы были, чтобы ей не пойти путем, которым прошла я.

— Ася! — сказала она дрогнувшим голосом. — Да... Борисов ребенок! Хотя ты, как я, *чувствуешь*, что Луиджи бы его *обо-жал*... это же неизбежно! потому что ты — первая его большая любовь. Но...

Марина обо что-то запнулась.

— Милан... Италия... — сказала она вдумчиво, — русскому мальчику (скороговоркой: — Я уверена, у тебя будет *сын!* У нас — дочь...). Да... Борису бы — хороший урок! Ты знаешь, как я люблю Бориса, — но *так* оставить тебя. («Урок» — если бы в *книге!* — я себе.) Но ты не можешь *так* учить человека! Такой удар нанести! Ни мама бы не смогла — и ни я... Ася! — сказала она торжественно, медленно. — Раз он тебя полюбил, Луиджи, — значит, нет выхода! (Нить в руке Парки натянута, светится...) Его *судьба* — судьба твоего Луиджи — *тебя* потерять. Ася, ты *любишь* Луиджи! Но ты не можешь ему под-

твердить это, чтобы не усилить горя его, — когда он узнал бы — все! И ты хочешь, чтобы он счел тебя недостойной, беспечной — так ему легче будет... Да, ты права.

Я молчала. Она все поняла.

— И ты несчастна с Борисом... но *другого* выхода — нет...

Глава 6 ВЕНЕЦИЯ. НЕРВИ. ПАРИЖ

...Венеция! «Королева Италии!» Я в Венеции — первый раз. Но ее вековое великолепие мне еще волшебнее, оно еще больше терзает потому, что мне за каждым поворотом чудится Луиджи Леви, которого я обманула, остановившись в другой гостинице, и обмануть — должна! уехав раньше, чем он сможет приехать. Избегая его, которого хочу видеть больше, чем всех на свете, я делаю себе Венецию почти миром: я покидаю ее через два дня. Здесь я без гида, меня ведет по ее улочкам и каналам — мое одиночество, сейчас встревоженное и согретое этой невероятной встречей... Венеция, впервые увиденная, невероятный город моей разлуки...

Да, улочки — улиц, насколько мне удалось увидеть, в Венеции нет. Улочки — узки, и переходы, висящие в воздухе. У входных дверей — фонари, похожие на те, что вокруг Пушкина на Страстной площади. Горбатый мост. Замшелые ступени. Я иду по Средневековью, по Возрождению, в днях Леонардо да Винчи. Мало прохожих. Поворачиваю — и выхожу к Каналу Гранде — широкой реке, по которой снуют гондолы. Гондольер гребет стоя, двухсторонним веслом, погружая его в воду то справа, то слева, поворачивая его привычным — века! — грациозным движением.

Крошка лет двух ковыляет в метре от края набережной, за которой волны. Никого. Я хватаю ребенка за руку, веду его к ближайшим дверям. По-французски, с итальянскими словами поясняю и отдаю его женщине. Она, рассмеявшись, поет на тосканском наречии нечто, в чем различаю: «О, наши дети не падают в воду!...» — и берет ребенка — с улыбкой.

Поворачиваю еще. Узкие каналы почти зеркальны. Торчащие из них столбы обросли зеленой тиной, издают запах

цвели, как в Шильонском замке. Каменные ступени входных дверей прямо сходят в воду.

День. Все ослепительно голубое и синее, кроме узких каналов, сходных то с черной тушью, то со струями олова, то, когда отойдешь, — с зеркальной полоской, отражающей небо.

Я выхожу на Пиацетту. Бездна света, тепла. Колонны. На одной — Св. Марк, на другой — его лев. Камень плит. Вхожу на площадь Св. Марка. Она — четырехугольная, как Кремлевская площадь в Москве. Площадь Св. Марка мне представляется — меньше. Ее длинные и задняя стороны (если помню верно) — заняты чем-то вроде арок, за ними, как в Феодосии, — лавочки? Там, где у нас Василий Блаженный — стоит собор Св. Марка. Над входом — скульптура коней, три, четыре. Посредине площади — множество голубей. О соборе я помню — синеву, зеленоватую, от мозаик — сумрак и торжественное ощущение истории. Эти своды! Тишина... Слезы, которые душишь...

Спешу дальше. Дворец дождей? И другие. О них помню только отражение в воде и другие — кружевные — отражения. И комнатки пыток под крышей — или я их видала во сне? — где нагревом свинцовых стен мучили узников.

Но главное, что я помню в Венеции, — это переход дня в вечер: сгущающуюся — в синеву сумерек — голубизну дня, первое трепетанье фонарей, светлых, как сон, и их водяную тень. Темнота небесного свода над дворцами и крышами, над темнеющими гондолами и сверкающей бездной вод. Никакой детский театр не повторит театральных эффектов лазури, превращающейся в синюю мглу. Город сон, город призрак. Нет, главное, что помню в Венеции, — это ночь. Черную зеркальную сеть каналов. Черноту Лидо. Лучащиеся звезды огней. Черную бездну вод, слившуюся с бездной неба.

В эти мои венецианские дни, в которых цвела любовь ко мне навеки погашенного (как погашают свечу) Луиджи Леви, и мое его зовущее сожаление о сделанном, моя просьба простить, столь же пламенная, как его укор, рвавшийся ко мне через всю гущу той насильной погашенности, его последней минуты на вагонных ступеньках, страх меня потерять, магнетически потрясший его, заставивший обратно

вскочить в вагон, страх, уничтоженный нацело жаром моего общения, принятый как залог того будущего, которого он так хотел — в то время как этот жар был лишь страхом, что он останется в поезде и что я не смогу ускользнуть, ускользание это мне бывшее — непременно! не потому, что я его не любила — любила! В этом-то и был мой ужас! Полюбила, имея в себе дитя другого, и впереди, в этой разлуке с Борисом, может быть — одну смерть...

О, эти венецианские дни моего обреченного — Борис! — одиночества, только вы меня утешали, итальянское пение с гондол, нервийское детство — и вы, всплеск весла гондольера, и скольжение гондол, по волнам, по средневековую зеркальных каналов с висячими фонарями подъездов, сходящих в синюю, черную глубь...

Святой Марк, опершись о щит? (мне не видно снизу). Его лев, стерегущий Пиаеттуи Лидо; нашубыстролетящую жизнь с ее непонятностью, с узором восхищенных минут и минут отречения, так слитых, что рождают идею возмездия... И собор Св. Марка, все поглощающий сине-зеленым светом стенных мозаик, древних, как морская глубь. Его своды! Его тишина! Эти слезы, которые душишь — вздохом, зовом. Молитвой? О, если б молиться, как мы молились в Лозанне... Нет, нет, не Штейнер с его кармами и множеством существований, с его вдохновенным (само-?) обманом! Разве одной этой мелодии с гондолы не достаточно, чтобы навеки понять, что мы живем один раз, что сейчас надо все исполнить — все постичь — все отдать — за все попросить прощенья...

Я спешу из Венеции. Завтра, когда я уеду — придет он. Езжу, хожу, смотрю и снимаю — Палаццо дождей с его кружевным отражением в канале, Мост Вздохов, сухопутные улочки, магию перехода Венеции Голубой в Венецию Черную — и вечером, разрядив волшебный ящичек «Кодака», я, как и с Борей, одна — на коленях перед ядовитыми ванночками, вызываю, колдовством малинового фонаря, миниатюры дворцов, мостов и каналов, навеки залученных гондол, ступеней, волн.

Наутро печатаю в солнце и шлю — в Россию — город, где Луиджи завтра меня будет искать.

Я обхожу все, чтобы забыться. Венецианская фабрика стекла. Цветного, сияющего переливами золота зелени, си-

него в лиловизну, купающуюся в блеске радуг, восстающую из них великолепием мыльного пузыря! Посуда, стаканы, чашечки и флаконы всех величин и форм и белая вязь венецианских кружев по цветному стеклу. Но лучшее — не оторвешь глаз — венецианские бусы! С виду легкие, потому что красок зари, утренней и вечерней, от мельчайшей бусины, плавно, к самой большой — они горят тончайшими узорами позолоты, розовости и зеленого, как явление самой Авроры. Я стою и смотрю в темновато-затрапезной мастерской (явное Средневековье!). Мастер держит на спице горячую, еще мягкую бусину и тончайшими кисточками, мгновенно их окуная в жидкие краски, наносит на бусину, хватая то одну кисть, то другую, легкий пестрый узор. Затем кисточкой самой тонкой, окунутой в золотое озерце блюдца, он трогает там и сям — точка, извив — бусину — настоящим золотом. И ловким движеньем — кидает в горку песка — стынуть.

Так рождаются и растут венецианские ожерелья, невесомые, по прозрачности на вид и тяжелые на ощупь и вес. Я купила себе золотисто-зеленые и зелено-золотистые, еще сбрызнутые розовостью зари. И — в подарок Марине, Драконне, Лидии Дмитриевне — светло-лиловые, синие, алые...

И еще была одна вещественная прелесть в Венеции: кожаные венецианские изделия: портбювары, записные книжки, кошельки. Светло-коричневые и желтые, темно-коричневые, с темным цветным и золотым тисненьем — от них тоже веяло стариной, драгоценной и непонятной.

Отсюда тоже черпаю в свою страсть — привезти подарки. Это розы меж шипов путешествия (утомленности его, одиночества, неизменной тоски по родине...). Непонятен и подозрителен человек, из путешествия едущий назад с пустыми руками! С чемоданом белья и костюмов себе, в добротном и дорогом пальто...

Да, и вот случилось же (как могло? Я одумалась — и задумалась только сейчас...), что ту плоскую, особой формы мандолину — испанскую (?), которую я где-то купила и привезла, и повесила себе в московскую комнату, я не подарила брату Андрею, так похожему на испанца и игравшему на мандолине.

Краснею. Позор. И уж хочется мне оправдаться, прицепясь к факту, что далее я у себя этой мандолины не помню...

Может быть, я, уезжая из дому к жизни с Борисом, и подарила ту мандолину брату?

С самого въезда в Италию, куда мы не доехали с Борей, нет, и ранее, когда мы туда собирались, я несла в себе, словно второе дитя, мечту и замысел увидеть Нерви — морскую колыбель нашего детства с Мариной, место маминого воскресения к жизни после умиранья, московской болезни и пути, место, где мама встретила с большой любовью своей жизни.

И вот, несмотря на тоску мою, я выполнила замысел, я *приехала!*

...Я — в Нерви! Это так невероятно, что я еле касаюсь земли, точно не иду — или не я иду. Я готова протирать глаза, вновь и вновь (Генуя — памятник Гарибальди, воспоминание о вновь увиденном — Марина, без тебя!) — Кампосанто (как поблекло оно теперь, в свете иной, взрослой оценки скульптуры...). Порт, где мы со вздохом разочарования увидели море — позади. И я приехала по той же маленькой (кажется, еще меньше) железной дороге Генуя—Нерви (и дальше), над которой мы — Муся, я, Володя и Жорж Миллер и Вова Курдюмов — прыгали на маленьком мостике в саду «Русского пансиона» по пути к морю! И я увидела этот мост...

Я не смогла остановиться в «нашем» пансионе, потому что его не существует, хоть дом цел, но теперь и им, и своим владеет сосед — Шиккерт, соединил два пансиона — *все* комнаты заняты! Я объяснила причину своего приезда, мне разрешено пользоваться табльдотом Шиккерта, но жилище я себе сняла в сером чужом доме на Каполунго, у хозяйки-итальянки — маленькую высокую полутемную неуютную комнатку.

Я чувствую себя совершенно чужой в Нерви — и тут, и за шиккертским табльдотом (в детстве нашем, Муси и моем, между А.Е.Миллером и его более фешенебельным соседом Шиккертом реяла ироническая вражда — по крайней мере, так казалось нам, детям) — и теперь я живу уже у победившего Шиккерта, поглотившего наш родной «Русский пансион».

Плохая погода. В моей комнатке холодно. Мне нездоровится. Я не хочу (не могу?) идти к табльдоту и сижу в серых

стенах. Вдруг — стук в дверь, и входит человек средних лет. Русский. Он услышал, что тут — соотечественница и болеет. Не надо ли мне чего? Чем помочь? Он удивлен моей молодостью. В комнате, без шляпы и пальто — я еще совсем девочка. Почему я одна? Я приехала из России? Нет — да. Видя, что я не расположена к откровенности, гость принимается помогать мне по своему разумению. В чем была эта помощь — я сейчас позабыла, но помню, что... он куда-то уходит, о чем-то хлопочет, что-то несет (спиртовку — сварить чаю? Согреться мне в моем неуютном углу?). Он отечески, товарищески заботлив. Он живет поблизости, в Больяско. Я там бывала? В детстве?

Он достигает цели — мне теплей, я веселею, благодарю его. Но почему я одна? Почему Борис не со мной?

Наутро был чудный день, и я поехала в Больяско, место частых прогулок в нашем детстве из Нерви, с мамой, с Тигром, с Володей.

Маленькое местечко на морском берегу было то же, что тогда. Я, как во сне, узнала какие-то домики, какой-то каменный полукруг. Волны плоско бежали, шурша песком.

Вот я стою на грифельных скалах бывшего сада «Русского пансиона» и сада Шиккерта, над скалой «Лягушка», откуда мама, выздоровев, бросалась в море, увлекаясь плаванием, у нашей «пластины», где мы жгли с мальчиками костры под пиниями, меж лесенок, выбитых в скалах, сходящих к морю (правая — бёклиновская). Вот Володин грот, а дальше за поворотом — Жоржин... Стою — и меня качает дикая звериная тоска!

Я еще помню себя, сидящей за табльдотом пансиона Шиккерта среди незнакомых людей, но помнящих наши времена, не знающих о том, что мы сидим в нижнем этаже «Русского пансиона», не знающих и не думающих ни о чем. Я сижу, как мертвая, мне не восемнадцатый год, мне все двести...

Да, так вот за этим столом мне подали телеграмму. От Бориса. Она была по-французски. В ней он звал меня в Москву, чтобы повенчаться, и добавлял, что после этого от нас зависит — разойтись, если захотим. Я улыбнулась странности текста — с точки зрения почтовых чиновников. Венчаться? Ну, что же... Если надо! Видимо, они это решили (Боря, Драконна, Марина?) для папы. Если скоро ехать — еще можно

все сделать так, что никто не заметит мое положение. Лишь бы папа дал согласие — и все было бы так, как ему надо перед открытием Музея и Москвой.

Вскоре после Нерви я направилась в Париж для встречи с Мариной. Венчаться можно было только после Великого поста. Я не спешила в Москву. Побывать с Мариной было мне насущней, чем вновь свидеться с Борисом. Я еще не отдохнула от непонятности в нем многого, от загадки его ответа на мои слова о его брате. Соглашалась я на возврат в Россию для венчания — ради папы и ради — сына. У него же должна быть — фамилия... Но я не сразу поехала в Париж — еще было рано. Мне не хотелось там быть одной.

Я помню, что кидаю на столе нервийской комнатки шарик на карту, выбирая, куда брать билет. Он не упал в Милан, друг мой Луиджи Леви...

Где я получила весть о том, что Марина и Сережа ждут меня в Париже? Я не вспомню пути в Париж. Более: странным образом я не помню моих первых ощущений в Париже, моей встречи с ним — как не помню от себя отдельно в раннем детстве — Москвы: так Париж для моей юности оказался родным городом. Никакого «ознакомления» с ним. Точно я всегда жила в нем! Реалистически можно попытаться объяснить это — рассказами мамы, всплывавшими только при сочетании букв — «Париж». Так — Париж жил с нами незримо после мамы до часа, когда, раскрыв том дневника Марии Башкирцевой, мы ее обрели в Париже, мамином и своем.

Что же странного в том, что три года спустя, отягощенная всем этим, я сошла, сбросив Берлин, Женеву, Трайас, Рим, Венецию, Нерви — на перрон в ощущении, что пришла домой. Даже Эйфелева башня, «чудо высоты» (!) и рекламы, и тот «Париж», куда «приедешь — угоришь», был родной Елисейскими Полями, Латинским кварталом, антикварными лавочками, Сенной, каменным святилищем, где спит Наполеон, Тюильери, Версалем и Лувром.

Без сомненья, Марина и Сережа встретили меня на вокзале, но в памяти не сохранилось об этом. Я поселилась в той же гостинице, что они. Были разговоры о вышедшем втором Маринином сборнике, и Марина подарила мне, с нежной надписью, маленький томик в картонном чехле,

страницы — петитом, и бархатная обложка — «Волшебный фонарь». Цвета моей обложки не помню, были разных цветов — малиновые, синие, зеленые — в картонных футлярах. Походили они на молитвенник. Она раскрыла мне книжку стихов на стихах о нас и мне — «Неразлучной»...

Борис и Сережа! В добрые дни Борис был ко мне внимателен. Но откровенности душевной, ровной меж нами, — не получалось. Причина лежала в нем: я всегда могла говорить обо всем, что поняла и почувствовала. Но его сдержанность, отвращавшаяся угрюмо, застенчиво и немного брезгливо от того общения, которое ему было чуждо природно, мне (ответно-деликатно, зеркально) закрывала рот. При Сереже я говорила с Мариной о Борисе — откровенно, конечно, потому что Сережа был мне брат... Сережа был открыт, горяч, добр, внимателен и *стремился* к общению. И он любил Марину (значит, в большой степени, и меня). И он все понимал. Знал, и ценил, и любил Бориса. В нем, как и в Марине, была та же восхищенность Борисом, как во мне. Меня огорчала отъединенность его, но накал его личности, его талантливость, обаяние всех увлекали. Потому мне было легко с ними. Им ничего не надо было объяснять. Только рассказывать. Они жадно ждали моих рассказов о моей новой жизни, о причинах разлуки с Борисом, поняли меня в каждом шаге и решении и одарили меня — завалили! — тем двойным — мужским, женским, человеческим сочувствием, которое мне было так бесконечно нужно тогда, после моего месяца одиноких переездов по городам, после Лозанны, Луиджи Леви и Нерви.

Как слушала Марина — о Нерви! Ее, нашем... Нет! Это не было «слушать» — она со мной прошла — по улочке Каполунго, со мной села за табльдот Шиккерта, бродила по грифельным скалам Средиземного моря у нашей «пластины», где остыл след наших костров, по каменным ступеням лесенок, шедших к морю. На миг оторвавшись от Сережи, крепко сжав его руку. И гору Портфино увидела падающей в море, мордой вперед, медведем, как мы, за Янычарами в Коктебеле — прыжком по этим горам, близнецовым — назад к Сереже, к его невыпущенной руке (а я стою одна в их номере парижской гостиницы с одной телеграммой Бориса в кармане...).

Рим, Флоренцию и Венецию — все вглотнула Марина, и тот не виденный мной Милан. Как она слушала! Мост Вздохов! Мамины и Эллисовы Данте и Беатриче — Маринины! Как они запыхали в ней! Форум, прославленная песнями Пиацетта — Марина Цветаева их на земле не увидела? Не посетила? Так скажут биографы? *Ошибутся!*..

Я помню, как я лежу в широкой постели рядом с Мариной, а по другой ее бок Сережа, братски лежим — после дня в Париже три уставших тела — и говорим о Москве. Они обвенчались в Палашевской церкви Рождества Христова (где икона «Взыскание погибших»).

После Парижа поедут в Палермо. Еще куда? Приедут в Москву к торжеству открытия Музея, а лето будут где-нибудь под Москвой, перед родами. Марина ждет ребенка немножко позднее меня.

А я скоро поеду в Москву, скажу папе и Андрею, что после Пасхи — моя свадьба, скажу папе, что это необходимо (что это нужно не мне — я не скажу, чтобы не встревожить папу); познакомлю их официально. Мать Бориса? Как хочет. А дальше — где, как будет возможна моя жизнь с Борисом, какая жизнь? Будем ли жить вместе? Один вопросительный знак! Ясно только одно — эта свадьба нужна для папы перед лицом Москвы — и для, если я смогу родить его (буду жива или нет — все равно) — сына. «Вы родите большого парня!» — слово мне французского врача.

А завтра мы втроем едем вверх по одной из ног Эйфелевой башни — смотреть сверху Париж.

Вагонетка — лифтик ползет вверх по железной ноге башни. Глазища Сережи лукаво светятся:

— Ася, а вы не боитесь, что мы сорвемся? Нога ведь вблизи только толстая, а издали вы же видели, какая она тонкая?

Не давая договорить, Марина:

— Перестаньте, Сереженька! Асю сейчас затошнит! И меня тоже! Не верь ему, он всегда...

— А меня и без башен тошнит! Ах, как тут хорошо! Париж — точно из перламутра!

— Подожди, выше еще лучше будет! Ася, а помнишь на Воробьевых горах?

— Еще бы! Я так боялась, а ты меня презирала!

— Как, и вы ездили кататься туда? — восхищенно Сережа. — Это называлось то «французские», то «американские» горы! Вверх — вниз, дух захватывало!

— И вы там бывали? (Марина задумчиво и счастливо.) Ася, и мы могли там тогда встретиться...

А мы уже высоко над Парижем, и он ширится и тонет внизу, сверкая рыбьей чешуей серых крыш под солнцем. Его сады — кучки морских водорослей. Больше мы, Марина и я, по близорукости ничего не видим. Сережа дразнит нас, рассказывая небылицы, будто бы зримые им.

С этажа на этаж пересаживаемся из вагонетки в вагонетку, все выше. Для чего пересадки эти — мы с Мариной не понимаем: Сережа «объясняет» все с тем же лукавым в глазах огоньком, мы сперва доверчиво («из любезности» — ибо к технике равнодушны) слушаем и в какой-то момент обе, в один голос:

— Заврались, Сереженька, да?

Лицо его более чем серьезно — строго. Брови нахмурены, рот сжат. Но нас уже не поймать на удочку, наш насмешливый смех побеждает обиду Сережиной маски — и смех рушится в три ручья. В раскрытый бумажный мешок бананов, откуда длинные пальцы Сережи извлекают желтую, на концах подгнившую ветку, и мы отрываем себе усладу пустынь и сказок — изогнутые турецкой туфлей (саблей) мучнистые душистые плоды — бананы.

Париж тихих — и края им нет! — улиц, без магазинов, одни дома и сады. Париж платановых и каштановых аллей, Париж площадей, где еще тлеет история именами, колоннами, арками, где в час пролетает три тысячи автомобилей... где ты, Париж старины, еще в нашей панораме живущий? Город дам в кринолинах, мужчин в цилиндрах, глядящих в небо на первые воздушные шары...

И парижские набережные, где я тайком от Марины, одна, останавливаясь у старых, как мир, «витрин» деревянных ящичков со стеклом, выбираю Марине запоздалый свадебный подарок (ни она не будет на моей свадьбе, ни я не была на ее, — как странно судьба устроила, как ей удивилась бы мама...). Сколько просмотрено старины! Марина — только ее и любит. Сколько раз мое сердце охватывало любованьем узоров топазов, бирюзы, хризолитов, гранатов в серебре

(мое канувшее бабушкино ожерелье, темным огнем так долго горевшее на моих отроческих платьях... сорвавшееся с первых девических!..). И прощаюсь, прощаюсь, как с ним простилась — то не уверена, что понравится цвет, то — не хватает денег — пока вдруг нерушимо решаю: *это!* Все отдам (только на путь оставлю!), ускорю отъезд — *это* ожерелье должно перейти к Марине! Не оторву — и она не оторвет глаз: сияет вязь лиловых аметистов, спускаясь удлиненно на грудь, длинней к середине, и каждый подвесок окаймлен мелкими стразами*. (В этом ожерелье Марина на фотографии двадцати четырех—двадцати пяти лет на фоне инкрустации.) Сиянье перламутровых чешуек... волшебное ожерелье! С трепетом спрашиваю цену. Одолеваю. Выхожу, неся клад. Даже тошнить перестало! Ступаю шагами счастья...

Лувр! Темно-серый дворец, глубокий колодец, где в тиши, шепотах, осторожных шагах идущих цветут чудеса. Где не хватает сил, дыханья, восхищения — обозреть половину. Где мой восемнадцатый год, тайная горечь, недоумения, усталость беременности и — природное озорство, подняв голову, еще только ступив на ковер лестницы, заявляю: «Не буду осматривать знаменитых картин. Только одну Джоиконду!» (И что по пути — к ней!)

И хоть, конечно, по пути видела много, но помню только ее: вот она, в воровских руках побывшая, и в руках маньяков, и в земле? — вновь цветущая (хоть за ней — слух, что *не она это* — копия! Оригинал — спрятан...) — но и моим, в живописи не столь сведущим глазам *ясно*: это — она! Таких не бывает копий! Леонардо, твоя! И я ему шепчу — в века, канувшие: себе, в весну, ту нашу с Б.С.Т., минувшую! — «Только утро любви хорошо!» Да? Ваших уст не коснулись поцелуем, ваших рук — объятием! Вы любили, промолчав — простились! Тайна вашей любви — вечна! Мона Лиза, слава тебе!

Я стою и гляжу — и не могу наглядеться, и кто же наглядится на тебя! Не улыбка, только ее начало, то самое утро любви — и века печали, утро и вечер вместе, встреча и расставание, гордость молчания и кротость сложенных рук. Этот взгляд — томный, смиренный (и чуть ядовитый...), змеиная мудрость в кротости голубиной... И прозрачная даль — за всем, свет леонардовой кисти. Свет и призрачность. Стою и гляжу...

* Страз — осколочек, искра (необработанного) алмаза.

И, помнится, в 1927-м я вспомнила себя в 1912-м перед стеклянной дверью кладбищенской часовни, где погребены художник Бастьен Лепаж и его ученица — художница Мария Башкирцева. То стояние и это — слились в одно. Стеклянная дверь. Большая комната. Портреты Марии в рамках. Ее бюст. Мертвенной белизной пытается он повторить ее розовую белизну и сиянье золотоволосости. На середине пола — нечто, указующее спуск вниз, там — склеп, две могилы. Рядом легли брат с сестрой, один за другим, она — вслед за ним, в землю сошедшие. Не коснувшиеся друг друга. Крик души: «И так умереть, в двадцать четыре года, на пороге всего!» Последние слова ее дневника: «Мне слишком трудно подниматься по лестнице»... Стою, лбом к стеклу двери. Смотрю туда, где во всю заднюю стену — последняя картина Марии: углем, огромная, бледная — *так несходная* со всеми дотоленаписанными, реалистическими — с ее мальчишками (известный ее «Митинг»). Аллегорический? Если память не изменяет — скамья. Дерево. Не платан ли? В воздухе ли с него листья? На земле. Фигура женщины. В темном? Уходящее, тающее, прощающееся — отступающее, слабая, в смерть? «Она скоро, может быть, и за мной? Родами?» — думаю я. Стою. Одна. Боря!

С далеких вокзалов — гудки поездов. Вечное парижское утро!

Рано. Пласты солнца по широким плитам тротуаров. Ряды платанов, их широколиственная тень. Тишина еще только там где-то начинающегося (гул города) дня.

Молочная, у дверей ослик с тележкой и молочными жбанами. Дети, мальчики в фартучках крест-накрест играют в (волчок), их тени — о вычурные решетки сада, чьего-то. И кто-то проходит с бумажным мешочком горячих каштанов, за углом на жаровне поджаренных.

Так же как приезд мой в Париж вдруг обертывается обратной стороной бинокля, бледнея и тая, так и отъезд. Я не помню его. Ни прощанья с моими близкими. Слишком острой болью он оборачивается? Боль поглотила вокзал, свертки с бананами, шоколадом, сыром, всем, что совали мне, знаю, Марина, Сережа — наперебой. Книжки — чтоб за чтением не думалось... Обещанья писать. Палермо — Москва и Москва — Палермо. И мой поезд мчится в Москву.

Глава 7 СНОВА МОСКВА

И вот я в Москве. Я живу не в бывшей детской. Почему? Слишком больно? Или, может быть, потому что второй муж Драконны, Владимир Аввакумович Павлушков, там живет, ради уединения, готовясь к государственным экзаменам? (Он — ее племянник, моложе ее и, кажется, — идет слух — она на брак с ним согласилась потому, что боялась, что он из-за ее отказа покончит с собой.) Да, наверное, это было в ту весну; почти год назад, в 1911-м его в моей комнате не было.

Я живу в маленькой, наверху, где в детстве стояла кровать Андрюши и над ней в овальной черной багетной рамке фотографии его умершей мамы, в венке на распущенных волосах. Где годы юности жила Марина между турецким диваном и суровым большим столом, письменным. Под гравюрами Наполеона и Римского короля, его сына. Где Марина перевела роستانовского «Орленка». Мои последние недели в покидаемом отцовском доме!

Корзина, гигантская, полная того, что могло мне понадобится, останься я надолго за границей, шла назад в Москву, объездив множество городов и несколько стран. Она пришла на московскую таможду, и меня пригласили туда для осмотра ее содержимого. Чудом (лени таможенных чиновников? Или моей удачи?) там вернулся, в завале слоя открыток с картинками — тот старинный пистолет, что я подарила Борису, тяжелый, стиля «Трех мушкетеров», инкрустированный, двуствольный, музейная вещь, вряд ли способная выстрелить по зеленоватости стволов и затворов судя, но все же — «оружие». За него, не найдя его, с меня не взыскали штрафа. Но из маминогo приданогo был в корзине найден и мне предъявлен рулон серебристого нерусского полушелка-полушерсти, из которого я хотела и не захотела сшить себе платье. Смеясь, рассказала я на таможене историю поездок рулона — в Россию — из России — и вновь в Россию. Мой бесхитростный вид и юмор не оставили в чиновниках сомнения: мне поверили, улыбались, сочувствовали, умилялись, может быть, моей молодости и неопытности и — взяли с меня всю сумму пошлины, так как на рулоне цела была — пломба.

Так я прожила мои последние недели в Трехпрудном (конец Великого поста и Пасху).

Я завесила (на последние эти мои дни дома) стены лицами Достоевского, Леонардо да Винчи и Моны Лизы — Джоконды, легким золотом венецианских бус... Тут же тускло золотились купленные в Париже, в антикварной лавочке у Сены — два бра в виде ветки листьев, из которых поднимались по два старых подсвечника, в четыре свечи. Не вокруг ли бабушкиного портрета висели они (как позже в нашей квартирке с Борисом на Собачьей площадке)*. На столе стояла бронзовая черная статуэтка римской волчицы и двух ее сосунков — основателей Рима.

Из Палермо шли письма: Марина и Сережа собирались в Россию. Они писали о том, как чудесно в Палермо, им не верилось, что в Москве — еще снег. Помню письмо, полученное мной от того Сережи С-лена, с которым я каталась на Патриарших прудах на коньках за два года до того. Он звал меня навестить его в больнице где-то на окраине Москвы. Я поехала. Ему было лет восемнадцать—девятнадцать.

Встретил меня в саду, большом и зеленом, в сером халате, изменившийся. На мой наивный вопрос, чем болеет, сперва замялся, затем дал понять, что он — пил и родные уговорили лечиться. Я продолжала разговор с ним, но по мне прошел холодок: как страшна была жизнь, такая разнообразная в роде мучений, и как далека была его трагедия от меня... Шел со мной по дорожке, а вдали такие же тени в халатах — юноша, мне знакомый, такой мне казавшийся милый, когда ехали по льду, держась за руки, под какой-то старинный вальс — и как чужд он сейчас, жалок и непонятен... Надо быть особенно ласковой, чтобы не обидеть его!..

— Вы, Ася, вы обе с Мариной жалеете человека за его лохматый затылок! — с любовью говорил мне Сережа.

Да, так оно получалось: за что-то, от него не зависящее, чего он и не замечает сам... Господи! Разве в мире Твоем одна жизнь человека, смертью кончающаяся, одна эта обреченность его — недостаточна, чтобы его жалеть? Всех, потому и жалко... Но этого человека, такого молодого, в больничном халате, я жалела мотивированной жалостью.

* Домик уничтожен недавно, при постройке Нового Арбата в 1963 году.

Драконна, казалось, подавляла вздох. Высокий, худой, с белокурой, высоко надо лбом мелко-вьющейся шевелюрой, молчаливый и ко многому иронический, Володя не отходил от нее. Шура, ее сын, на год моложе меня, жил с отцом и бабушкой на даче в Удельной.

Об Эллисе не было слышно. Об Асе Тургеневой – что она вся во власти Рудольфа Штейнера. Как и Андрей Белый. Кто-то сказал мне, что Таня Тургенева выходит замуж за Сергея Михайловича Соловьева (поэта, писателя, друга Толи Виноградова, племянника философа Владимира Соловьева и внука историка – Сергея).

Письма из Палермо шли, мне казалось, редко. Я готовилась к разговору с папой. Увиделась с Ниной Мурзо и ее братом Женей, с которым всегда так дружно и душевно разговаривали. И так нежен он был с сестрой, так рыцарственен, любовался ею и гордился. Их мать Евгения Александровна встретила меня так добро! Свиделась с Валей Карловой. Жорж Смирнов по-прежнему ухаживал за ней.

Я ничего не знала об Ане Калин. Боль о ней в сердце была все та же. Галочка? В этот месяц в Москве я с нею не свиделась: о, не забыла бы! Слишком мы были близки... Она, верно, все еще лечилась на Французской Ривьере, где мы виделись с ней.

Наконец пришел день моего разговора с папой. (В Париже мне сделали на врачебный заказ корсет, плавным фасоном своим скрывавший мое положение. Я просто казалась немного полней.)

Открытие Музея близилось. Кончался Великий пост. Мы были вдвоем в столовой. Ласково, серьезно и мало-словно я сказала папе, что прошу его согласия и благословения на мой брак с Борисом. «Это необходимо, папа...» – сказала я. Поцеловала его и его руку. Он смутился, не ждав того. Позже Драконна сказала мне, что папа считает себя виноватым, что не сумел уберечь меня... Дорогой папа!..

Борис много раз упоминал о двух своих друзьях детства, с которыми вместе учился в седьмой гимназии – Борисе Бобылеве («Бобылике») и Коле Миронове. Первый из них должен был быть моим шафером. Второго в Москве не было.

Вторым шафером я хотела брата Андрея. Мы шли с ним вдвоем по денежным делам, возвращаясь из банка. Он, как

и в начале зимы, удивлялся моему тупоумию насчет акций, ренты и банковских операций.

— Андрей, — сказала я, когда мы переходили площадь между розовым Страстным монастырем и памятником Пушкина, — скоро будет моя свадьба. Ты будешь моим шафером?

Не удивляясь (ничему, как истинный джентльмен), Андрей ответил будничным тоном:

— Это когда будет? На Красной горке* — в воскресенье? Кажется, ничего такого... Наверное, смогу...

В условленный с папой день Борис был приглашен к нам. В гостиной состоялось знакомство папы с Борисом. Был чинный разговор. Борис был очень почтителен. Больше! В глазах его, через общий его с сестрой Марусей трухачевский холод, я уловила некую внезапную теплоту — первую вспышку Борисовой дальнейшей умиленности — папой. Говорили о том, как Борис намерен дальше учиться. О факультете его брата Николая.

Впрочем, папа, должно быть, догадывался о правде и раньше. В одном из писем мне за границу он писал о своем желании, чтобы я выбрала себе какой-нибудь предмет для изучения и выражал печаль о моем раннем «матримониальном жаре». Я, так легко этот жар отдавшая горечью согласия на Борисов отъезд, тоже с печалью прочла эти слова папы. Но я не могла ему объяснить моего отношения к этим вопросам, мне самой так трудно постижимым. Ни рассказать ему о моем прошлом страхе перед физической связью, с таким трудом преодоленном.

Подходила Пасха. Мне шили платье — белый шелк, кружева валансьен, шлейф. С высокой талией, как во времена Первой империи.

И не было Марины, чтоб любоваться мной в платье ее, Наполеоновской эпохи. Платье шилось у преемницы известной Ламановой, искусной и фешенебельной дамы. Я ездила на примерку с Александрой Олимпиевной, суетившейся и переживающей все с ей присущим ироническим жаром.

Драконна и Лидия Дмитриевна радовались благополучному обороту дела. Папа был до глубокой ночи занят близ-

* Воскресенье на Фоминой неделе.

ким открытием Музея, назначенным на начало лета. Марина приедет, моя дорогая Марина — и мне станет весело с ней!.. А пока — в городе, где живет Нилендер, где я вижу с Борисом и где жду, может быть, смерть, я не иду к д-ру Чайковскому!

Пасха. Весна, ранняя. Думается, я виделась с Марусей, сестрой Бори. Встреч не помню, но знаю свое теплое, нежное чувство к ней. И она любила меня.

А затем Боря познакомил и со своим лучшим другом, Борисом Сергеевичем Бобылевым. Не у него ли, в его студенческой комнате на Арбате? С первого взгляда на Борю Бобылева я была бы тепло и радостно очарована им, если бы не тоска моих дней, не усталость от всех и всего и не мой Борис, в присутствии которого я целиком была поглощена им одним. Боря был красивее, может быть, Борис — ярче, острее.

Боря Бобылев был того же роста, что Борис. Смуглее — легкой, нежной, юношеской смуглостью. Темно-каштановые волосы его были густы и волнисты, серо-голубые глаза, линия надбровных дуг и носа гармонировала с полным и добрым ртом. И была в нем, во всех его движениях, смехе, манерах — женственная мягкость, прелестная в юноше мужественном и смелом, каким он явно был. И все-таки я восприняла его как-то потушенно — так недоуменна, во всем моем увлечении Борисом, была душа. Я приняла Борю Б. как друга Бориса, принимая на веру и не открывая себя.

Еще ранее — вскоре после нашей встречи в Москве — Борис рассказывал мне об одном несчастном музыканте, композиторе, очень бедном — Ник. Мих. Зорине. Он писал давно задуманное произведение, и ему нечем было жить. Он пробовал все, ничто не удавалось. У него оставалась одна надежда — выиграть по выигрышному билету. Если и это — розыгрыш был скоро — лопнет, ему ничего не оставалось, как покончить с собой. Его характер — застенчивый до предела, тоска от непризнанности, одиночество — завели его в безвыходный тупик. Борис и Боря Бобылев приняли в нем участие, ободряли, слушали его музыку, хвалили (Боря Бобылев играл на скрипке и высоко оценивал талант Зорина). Горе композитора усилилось недавней смертью матери, глубокой старушки, единственного его друга.

Я загорелась желанием помочь Зорину. Денег свободных у меня после заграничной поездки было мало; акций маминых оставались крошки. Я готовила Борису подарок — его мечту: мотоцикл. На проценты с ренты маминого капитала надо было жить. По маминому завещанию мы имели право трогать только проценты (капитал же — лишь в сорок лет).

Я предложила Борису пятьсот рублей для помощи Зорину. Знакомство состоялось. Жил Зорин где-то на Патриарших прудах, высоко. Это был человек средних лет, больной, одутловатый — и мне брезжатся... кружевные манжеты на его пухлых руках. Рука с таким слабым, мягким пожатием! — но была сила его вдохновенной игры, — так как кружев этих в 1912 году давно никто не носил, то не стилизация ли Зорина Борисом «под старого маркиза» — прикрепила эти кружева в моей памяти к рукам композитора? Кружев, должно быть, не было, была власть Борисовой фантазии.

Зорин по деликатности не согласился на переданное ему предложение Бориса — денег в помощь: он переведет свое пианино (единственное, чем он владеет) — на меня, А.И.Цветаеву — в случае своей смерти или невозможности мне вернуть долг.

В ответной застенчивости я согласилась на то, что он хочет, лишь бы передать ему деньги. Но Борис? или он? — предложили еще более удобную — естественную — форму дела: Николай Михайлович будет давать мне уроки музыки. И как мало ни подходило это моему настроению — я согласилась и стала под руку с Борисом подыматься на высокий этаж, утешая себя тем, что летом это станет уже трудно и уроки прекратятся сами собой.

Что я играла — не помню. Ноты — появились. Был ли Зорин менее педагог, чем композитор, была ли я плохая ученица на восемнадцатом году (хуже, чем на сороковом, когда вновь начала учиться, с увлечением и заслуживая похвалу), но я не помню своих успехов, хоть, чуть позже, было на лето 1912 года взято напрокат пианино в квартиру, после свадьбы.

Александра Олимпиевна и я ездили по Москве, отыскивая нам с Борисом квартиру. Ходили и мы с Борисом, но его участие в выборе было так отвлеченно — с мечтой о чердаке, о войлоке на полу и железном умывальнике, он так абс-

трактно умилялся моим стремлениям к уюту и старине и так мало понимал в этом, что я с нежным юмором освободила его от этого дела, и вскоре мы с Александрой Олимпиевной квартиру нашли: она была в первом этаже четырех- или пятиэтажного кирпичного дома, в переулке Средней Пресни (Предтеченском) возле церкви Св. Иоанна Предтечи. В ней было четыре комнаты — большая столовая с итальянским окном, налево от нее уже комната Бориса — турецкий диван и письменный стол, и из столовой две двери в смежные комнаты — мою гостиную и меньшую — спальню, коридорчиком соединенную с ванной. Стоила она, помню, пятьдесят пять рублей в месяц. Это было дорого, но я устала искать. Старинного уюта — не находилось.

Шла закупка необходимой мебели для столовой, спальни; столовый прибор был выбран у «Мюра и Мерилиза» — модный тогда — белый с синим, рубчиком. Папа подарил мне гостиную мебель красного дерева с металлическими пластинками в стиле «Жакоб», старинном. Холодильник — коричневый шкафчик, внутри металлический, с полками и глубокой, рядом, коробкой для льда. Лед ежедневно доставляли на дом, утрами.

Незадолго до свадьбы квартира была почти устроена, вещи из магазинов и из Трехпрудного (машинами) и приданое привезены. Венчальное платье готово. Я была очень утомлена, грустна, встревожена, не чая, когда отдохну. Марина... Марина!

Выходи я замуж так любя, как Марина — Сережу, — счастливой, уверенной в будущем, как она, — я бы звала и звала на свадьбу всех, кого знала, — пусть бы пришли все! Но в том состоянии полной неуверенности в Борисе и в моем с ним союзе, в ясном сознании, что ни ему, ни мне эта свадьба совсем не нужна, что она нужна только Москве, папе и будущему ребенку, я участвовала в приготовлениях к ней только внешне; это была — роль. И я от нее утомлялась — не только физически. Было решено свадьбу устроить скромно, позвав только тех, кого мне хочется, самых близких, кто обидится, не быв позван. Церковь была выбрана — дальняя, в селе Всехсвятском, уютная старая церковка в лесу. Туда со мной Лидия Дмитриевна отправила своего племянника

«Илюшку», Илью Николаевича, говорить о венчании поехали вдвоем с ним, смеясь, так как он был очень веселый, остроумный и умел шутить, как никто; я заражалась от него. Вспоминаю эту поездку с добрым чувством. Мы смеялись весь путь. Казалось, мы едем «в шутку». Что церковь числится при убежище престарелых воинов — казалось нам для свадьбы такой юной четы! — тоже очень смешно.

Знал ли «Илюшка», что со мной неразлучно предостережение доктора Чайковского, его уверенье, что я могу не разродиться, будучи девического сложения?

День свадьбы. Я жду моего второго шафера, Борю Бобылева. Солнце полнит залу лучами, и светлые их столбы, кружащие мириады пылинок, повторяют какой-то день детства. Только что уехал парикмахер, приехавший меня причесать. Прическа — высокая, необычная. Что-то напоминает в ней прическу императрицы Александры Федоровны. Это изменяет мое лицо в зеркале, делает меня выше.

Я прохожу залой, гостиной, вхожу в кабинет папы. Сердце бьется.

— Папа, — говорю я и не могу унять волнение в голосе, — я пришла просить твоего благословения! Благослови меня...

Папа тронут. Он не ждал от меня — такого старинного. Он встает, идет в спальню, выходит с иконой. Лицо его тепло и взволнованно. Я становлюсь перед ним на колени, наклоняю голову. Папа благословляет меня — истово, как благословил бы меня его отец, мой дед, о. Владимир. Я встаю и целую папину руку. Ему не удается ее отдернуть (как он пытался, когда я сказала ему, что мне необходимо венчаться с Борисом и просила его согласия).

Он нежно целует меня, благодарный за неожиданное в новом поколении кроткое прилежание к старине. И я еще раз целую его руку.

На свадьбу Бори мать не приедет. Я помню в доме из подруг моих — только Нину Мурзо, милую мою, добрую, все понимающую подругу (ее брату Жене я в альбом написала на память: «Замужество — это все же тихая пристань»... Далее шло о том, что корабль не встречает более мерцающих

огоньков по дороге, не рассекает волн. Одни и те же огни отражаются в глубине, лодки тихо, еле-еле качаются...).

Мы ехали в церковь по-новому, на автомобилях. В одном сидела я с Александрой Олимпиаевной, в другом — папа и Нина Мурзо. Размещение других я не помню. Боря Бобылев приехал ко мне, как полагается.

В ту минуту, когда трогается наш кортеж (папин автомобиль впереди, мой — за ним), я замечаю, что мы с Александрой Олимпиаевной забыли розовый атласный коврик, на который должны вступить жених и невеста! В смятении мы велели шоферу повернуть назад. Но с заметившего наше движение переднего автомобиля — усердные и повелительные знаки — не возвращаться: это папа, придерживаясь старины, что это — дурная примета для брака — не позволяет. И мы поворачиваем за ним — вперед.

Ранняя весна в лесу. В скромной церкви села Всехсвятского «Убежища увечных воинов» тихо и солнечно. В первый раз я вижу Николая Трухачева, брата Бори. Он строен, в пенсне, шатен. Лицо строгое. На Борю и похож и не похож. Его товарищ — Н.А.Зубков, русское простое лицо; оба в студенческом. Они — Борины шаферы. А мои — как хороши, оба! Один лучше другого! Андрей — в студенческом мундире, стройный, элегантный, узколицый, какие глаза, темные кудри — красавец! И Боря Бобылев — тоже высокий, волосы тоже волнистые, каштановые, чуть светлей Андрея, эта девически-юношеская красота нежной весны. И всех их прекрасней — мой Борис! Во взятом напрокат сюртуке, впервые в жизни надетом, точно он на него сшит, точно всегда в нем ходил — природная, кровная грация! Цвет его пышных волос, строго назад зачесанных, строго срезанных у шеи и лежащих легким шатром, — того же цвета, что солнечные лучи по церкви.

Он взволнован? И отчего же взволнованна я? Я этого не ждала... И когда старичок-священник соединяет Борисову и мою руки, произнося заклинательные слова, я вдруг чувствую, что не Борис и не я, а он решает нашу судьбу, нашу жизнь вместе, и я в трепете наклоняю лицо к обручальным кольцам...

Что-то творится и с Борисом. Он бледен и очень серьезен. Мы забыли, что за нами — шаферы держат венцы над

нами, что родные и друзья позади — мы идем за стареньким батюшкой вокруг аналоя торжественно, поглощенно, заглянув в какую-то священную бездну, и ни один из нас не заметил, кто первый вступил на белую атласную полосу, церковную, положенную под наши ноги... Мой шлейф. И трепет свечей вокруг!

Свадебный обед в ресторане «Прага» у Арбатских ворот. Высокий позолоченный зал. Смеющееся личико Нины Мурзо, улыбающееся — ее брата Жени, строгое — Николая Сергеевича Трухачева (он беседует с папой об университете). Маруся, Николай Александрович Зубков (говорят, гитарист и певец), брат Андрей, Александра Олимпиевна и молоденький граф Татищев, товарищ Коли и Бори, знакомый мне по катку — светлоглазый и светловолосый, почти мальчик. Я забываю еще и еще кого-то: помнится, было четырнадцать-пятнадцать человек.

Папа подымает тост за дальнейшее успешное учение присутствующей молодежи. Бокалы всех усердно тянутся к нему. Я понимаю, что он расстроен отсутствием Бориной матери. Зато он вдвойне добр и приветлив ко всем нам.

Я не помню ни блюд, ни вин. Все было заранее выбрано и заказано, стол был красив. Первым, устав, к прерванному труду поднялся ехать папа (ему в то время было около шестидесяти пяти лет), он уехал. Собиралась и Александра Олимпиевна. И тогда, совершенно неожиданно, вспыхнула между Колей Трухачевым и Колей Татищевым ссора. Я не помню повода. Но, должно быть, молоденький граф чем-то задел брата Бори — потому что оба вскочили, и над залом пронеслось слово «дуэль». Их нельзя было удержать! Отводя руки друзей, разнявших и уговаривавших, они вышли из зала. Мы все вскочили. Я требовала прекращения инцидента, взволновалась испуганно... (радовалась, что папа уехал). Бросился, помнится, и Борис за братом, и товарищ Коли, Н.А.Зубков.

...Наконец, вернулись — убедив, разведав, и (кажется) Коля Татищев принес свое графское извинение...

Шумно и весело сели мы вновь за стол, чокнулись — за примирение, и шары апельсинов, гранатов, груш и виноградные гроздья завершили свадебный пир.

Нам подали автомобиль. Борис почтительно (рыцарь — даме) помогает мне сесть, весенний ветер треплет мою вуаль, серебристую, я ее отвожу от лица, запахивая в Ницце купленное манто, темно-зеленое с черным, поправляя мой восковой венец в волосах. Борис сел рядом.

Автомобиль — открытый. Из распахнутых окон нами покинутой залы — поздравления и приветствия, нам машут руками и платками...

Автомобиль уже мчится по Поварской, к нашей новой квартире, и я все отвожу вуаль от лица, ею играет ветер...

Глава 8 ВОЗВРАЩЕНИЕ МАРИНЫ

Марина приехала из Сицилии! Смуглая и — выросла? Они всегда вместе, Марина и Сережа, — и ни одного стихотворения о Сицилии! Они, может быть, поедут в Тарусу — должен же Сережа увидеть места нашего детства! Конечно, уж после открытия Музея.

— Ты хочешь на все лето в Тарусу?

— Нет, далеко. До родов мы с Сережей будем где-нибудь под Москвой. А ты?

— К Борисову отцу на хутор не время, конечно! И эта их степь... Пустая во все стороны! После Нерви, Коктебеля, Тарусы и Финляндии. Да и зачем я там нужна?

— Конечно! И мать не была на свадьбе! Бог с ними, не ездил, зачем они тебе? А тарусская дача навеки ухнула! Андрей прозевал? Ты писала — кончено с дачей! Торги город назначил, а Петров, земский начальник (брат Лоры, за которой Андрей немного ухаживал) — ему, накануне: «Какие-то торги... Вы пойдете? Кто к ним пойдет?» — «А вы?» — «Не собираюсь!» (коварно). Андрей не пошел — и дача досталась Петрову... — *Наша дача!* — говорит Марина. — Все детство! Господи, и где умерла мама!.. Какая подлость города — *не нам*, почти двадцать лет снимали, столько раз хотели купить, *они* все оттягивали!.. Что им профессор? Земский начальник важнее...

— Я не могу о Тарусе думать... Ну тебе, конечно, с Сережей — другое дело...

— А ты с Борисом не хочешь?

— Нет... Ему — не надо, а мне — одна боль... Андрей зовет нас гостить к нему, снял дом в имении Раечки Оболенской, подружки Лёры.

Мы стоим в зале Трехпрудного, в ее солнце. Впервые — как гости... Есть ли время это осознать? Жизнь не останавливается, летит, требует внимания себе.

— Ну, а как твое положение? Ничего? Легче? Я тоже хорошо. Доктор говорит — в начале осени.

— Думаю, мне раньше.

— Как назовешь? Если сын?

— Сын. Мне и доктор сказал, во Франции.

— Ну, они ошибаются!

— Андрей.

— Правда? Решила? Если дочь?

— Не знаю. Да я знаю, что мальчик. А ты?

— Выбираю для дочери имена. Трудно выбрать!

— А если сын? Лев?

— Дочь будет!

Кто-то шел, разговор прервался. Перешел на открытие Музея, переделку венчальных платьев — у моего надо отрезать шлейф.

— Ты была со шлейфом! Как интересно! Я — нет.

— Так ты помни: ко мне приедешь — посмотреть, когда все будет устроено у меня!

— Да мы, верно, сразу в Тарусу поедем... Хорошо бы туда успеть до открытия...

— Таруса без дачи! Где остановитесь? У Добротворских?

— У Тети.

— Хорошо, что вы не задержались в Палермо! Я боялась, что вдруг день открытия назначат, а тебя нет!

— Ну, разве бы я осталась! После телеграммы сразу бы выехала. Господи! Я так рада за папу — наконец...

— Папа ужасно устал! Лёра тоже скоро приедет. Говорит, в присутствии Государя...

— Ну, конечно. Он же будет на открытии памятника Александру III? А Музей-то поважней памятника!

— Еще бы! А у тебя чудно выются волосы, Марина! Лучше, чем у меня!.. Это ж — чудо...

Стою в моей пустой комнате в Трехпрудном. Тут сейчас никто не живет. Как это случилось? Впервые за столько лет — никто.

Как тихо... Солнечный предзакатный луч пересек стену. Крест Палашевской церкви горит острым блеском. Кролик перебежал двор, исчез за акациями. Какие старые у погребца ступеньки, покосившиеся... Вдруг с сокрушающей силой: Мама!.. Пустота к горлу подошедшего часа, вещей шепот, что все прошло, все пройдет, — ядовитой болью к глазам. Слезный яд капает в руки, к лицу прижатые в беспомощной тоске.

Нет, это — бунт. Сколько людей было... Где все? Любили, не хотели расстаться... Леви! Луиджи! Где тот, кто вывел меня отсюда? Никого, — ни его, ни Марины... Я и тот, что во мне — будет! Захотел быть... Маленький мой! Одна в мире? Зачем живу я? Зачем умерла мама?

На стене — кусок темного золота, последний косой луч. От церковного креста одна сверкающая верхушка. Кто-то идет по мосткам.

Глава 9 ОТКРЫТИЕ МУЗЕЯ

Открытие Музея Изящных Искусств имени Александра III. Все сегодня знают, что это имя начинающемуся еще только Музею дано было первой жертвователем*, старушкой, лежавшей в тяжелой болезни, едва ли не смертной. Над Москвой стоял унылый и торжественный колокольный гул. Больная спросила, по какому случаю. Ей ответили, что умер государь Александр III. Тогда она выразила пожелание, чтобы Музей, которому она оставляет состояние, был назван его именем.

После многих сомнений и колебаний день открытия Музея назначен в 1912 году на 31 мая. В те же дни предназначалось открытие памятника Александру III, над Москва-рекой, близ храма Спасителя и маленькой церковки от него слева — у тогдашних Пречистенских ворот**. Был

* Помнится мне, 120 тысяч?

** Теперь там нет ни памятника, ни обеих церквей.

год торжеств по поводу 300-летия Дома Романовых (династии). Я не знаю теперь, какое из этих двух торжеств: памятник и Музей — было раньше; опишу, как удобнее по ходу рассказа.

Позднее теплое, даже жаркое утро. Толпы под строгим наблюдением полицейских, конных и пеших, ждут момента, когда взовьется покрывало, скрывающее от москвичей памятник.

Марина и я и, вероятно, Сережа и Борис тоже здесь. Томительно-беспокойно и долго. Голубые небеса, блеск Москва-реки и золото кремлевских куполов. Вьются трехцветные флаги. Наконец, по взмаху чьей-то руки в белой перчатке, тяжело и не сразу — и кто-то уже, в поте лица, волнуется о задержке, — разворачивается и подымается, и скользит тяжелая занавесь, окутывающая фигуру (бронзового? каменного? — не помню) царя-великана. И толпам предстает, сидя на постаменте, на троне, широкоплечая фигура Александра III, с широкой бородой-лопатой. Все помнится мне в памятнике, которым вряд ли заблестало имя скульптора, — прямоугольным: трон, плечи, борода, голова и то, что ее украшало (корона? венец?). Было ли портретное сходство с царем — не знаю. Я не видала его. Но памятник, видимо, мало понравился москвичам, потому что вскоре пошла из уст в уста, у ворот, на бульварах, среди простого люда сочиненная прибаутка: «Стоит комод, на комодѣ обормот, на обормоте шапка». Нет, было — длиннее, одно звено ускользнуло из памяти.

Был ли военный оркестр? Или звонили колокола? Молебн? Память мне изменяет. С церемонии открытия Музея прошло более столетия. Моя сестра Марина дала художественное (гротескное, как ей свойственно) описание открытия Музея. Опишу и я. Но перед этим не могу не сказать, каким взволнованным днем было 31 мая — для нас, Цветаевых. О папе я не берусь сказать — оно и в слова не ложится. Шестидесятипятилетний, вынеся пожар Музея и удар после маминой смерти, последние напряженные годы непосильных трудов по обоим Музеям (Румянцевскому, где директорствовал, и по новому, им создаваемому), в Университете и на Высших женских курсах, где читал лекции по истории

изящных искусств; после нескольких обострений сердечной серьезной болезни, чудом вынесший травлю министра просвещения А.Н.Шварца, папа держался только крепостью духа, непостижимым упорством радостного служения делу, высоким счастьем близившегося исполнения непомерного своего замысла и труда, светлой верой в великое назначение Музея, – в просвещение грядущих поколений России. Что испытывал он в тот день 31 мая – не мне сказать. Я помню нас, его родных, семью его брата Дмитрия Владимировича (дяди Мити), его близких друзей из младшего ему поколения – профессора-классика Аполлона Аполлоновича Грушка и Алексея Ивановича Яковлева (тоже уже профессора тогда?), часто нас посещавших. Они вместе с нами с трепетом ждали великого дня.

Я знаю, что их было много, и кроме них, все его соратники по Музею и любимые и любящие ученики (из них я встретила на торжестве пятидесятилетия Музея – профессора Алексея Алексеевича Сидорова, Веру Константиновну Андрееву-Шилейко и Ксению Михайловну Малицкую, самих уже старых, сказавших о папе слова сердечной и восхищенной преданности). Знаю, что их было, не названных мною, – множество. Но мне было в те дни только семнадцать лет! И я помню сосущую тревогу о папе в нас, его непослушных и трудных детях, в нас, таких разных от двух папиных браков, в нас четырех.

Папа, безмерно утомленный, ложился уже всегда поздно ночью. Видя его сильно постаревшим за последнее время, мы понимали, что он именно теперь может рухнуть, *не дожить* до открытия Музея! Сердце было сжато не у одних нас: дядя Митя эту весну появлялся чаще, стараясь в чем-то помочь, что-то изменить в распорядке сна, в соблюдении режима, диеты питания и отдыха, предписанных профессором Шервинским, «сердечником».

Ждали ли мы Добротворских? Елена Александровна, кухня папы, с юности тепло входила во все трудности и заботы его жизни. Ни первая, нежно-любимая жена папина – Варвара Дмитриевна Иловайская, ни мама, Мария Александровна Мейн, его помощница по Музею, не дожили до его дня! Обе ушли на четвертом десятке лет...

Помню Анну Александровну Адлер, Лёрину крестную (подругу ее мамы), Надежду Александровну Сытенко (подругу мамы). Обе еще красавицы, светские женщины. И, конечно, нашу дорогую Драконну, Лидию Александровну Тамбурер.

Но отрывочна моя память — то мне нездоровилось, то брало время и силы устройство новой жизни в отдельной квартире, то приходилось (занятие Марине и мне ненавистное!) ездить к портнихе: этикет торжества, на коем будет присутствовать царская семья, предписывал: дамам — белое закрытое платье. А мое венчалное было немного открыто, шитое по моде Первой империи, и были беседы с Елизаветой Евграфовной*, с Лидией Александровной и поездки с Александрой Олимпиаевной к портнихе, преемнице знаменитой Ламановой, с кружевами валансьен для высокого воротника — ими было отделано платье. Марина, шившая венчалное уже в мысли о Музее, избежала мучения этих поездок.

Мужчинам этикет предписывал — сюртук (фрак?), тот самый фрак из песенки Беранже, о котором так трогательно пел под гитару Петр Николаевич Лампси, закатывая черные, как маслины, греческие глаза? Но что было делать нашим двум мужьям, столь юным, что они не только не обладали сюртуком, но и не держали его никогда в руках?

Борис, было поднявшийся на дыбы против этой враждебной ему (восстание туркменских князей, стоившее им при Петре I владений и княжеского герба) одежды, был усмирен только теплым Серезиным юмором, завлекательным, и включился немедленно же в игру. Называя друг друга «дорогой», пародируя Добчинского и Бобчинского, они собрались вместе ехать брать напрокат их первые на свете сюртуки.

Майская синева наполнила стеклянные переплеты потолков белого мраморного здания на площади бывшего Кольмажного двора на Волхонке. Жара, множество людей и волнение делают тягостным ожидание. Я не помню ни министра Витте, ни древнего сановитого старичка в золотом мундире, ни Иловайских (Маринины воспоминания). Но я бы хотела не забыть в том дне архитектора Романа Ивановича Клейна и другого сподвижника папы, главного жер-

* Цветаева, жена дяди Мити.

тователя, на средства коего много лет рос Музей, — Юрия Степановича Нечаева-Мальцева. В апофеозе папином, потоком солнечной теплоты освещенном Мариной, этим двум принадлежит заслуженная ими честь.

Приезды, приезды. После многих движений приглашенных по главной лестнице цветного мрамора, по прилегающим к колоннадам галереям, церемониймейстер расставляет нас, рассекая надвое семьи: мужчин по одну, дам по другую сторону близящегося «следования высочайших особ».

Стоя в первом ряду, Марина и я делаем из всех сил незаметные знаки Сереже и Борису, дабы и они как-нибудь очутились в первых мужских рядах.

Душно. Тесно. Томительно. Где папа? Каким светом залиты мрамор ступеней и колонн, лестницы, торжественная белизна залы, Славы над ней! Стекланные потолки стремят в хлад Музея весь блеск весны. Фейерверк света! Было бы упоительно, если б немножечко в эту жару больше сил!.. Как долго...

Как во сне, помню пробежавшее по рядам волнение, напряжение глаз, сердцебиение. Пролетающую фигуру церемониймейстера, — царская фамилия вошла в Музей.

Я помню вдову Александра III — «царицу-мать» Марию Федоровну (невысокая худощавая дама в белом. На темных (с проседью?) волосах — маленькая белая шляпа. Точность черт, еще более правильных, чем черты отсутствующей сегодня «царицы-жены» — Александры Федоровны).

Царь прошел совсем близко, по красной дорожке ковра. Он очень похож на свои портреты в присутственных местах. Роста не выше среднего, еще молодой, русский. Усы и бородка. В военном мундире. Большие, яркие, длинные «романовские» глаза.

Я помню папину немного сутулую, уютную фигуру в черном профессорском сюртуке, его наклоненную круглую и седую голову — выше головы царя. (Так они проходили, после торжественного молебна, весь путь осмотра Музея в то время, как (он позднее нам рассказывал) царь задавал вопросы и папа на них отвечал.) Почему я не помню четко ни молебна, ни духовенства? Может быть, потому, что

мое внимание было привлечено необычайным зрелищем стройного восьмилетнего мальчика на руках (в той позе, как носят двухлетних) высоченного матроса, бережно, как нянька охватившего его здоровенными своими руками, внесшего в залу Славы и так державшего наследника все время длившегося торжества. Мальчикова рука на шее дядьки, привязанность царевича, обреченного на смерть (матерью) к няньке-матросу, вызывала в памяти другого обреченного (отцом) царевича Алексея — сына Петра Первого. И другого мальчика с другим дядькой — Гринева с Савельичем. Все знали наследника по серии его портретов в витринах магазинов, и под каждым — его длинный титул, так не идущий кудрявому младенцу и мальчику в матроске, по-военному отдающему честь. Видела я его в первый раз. Он был красивее всех царских детей. Тогда усиленно ходили слухи, что он не сможет царствовать, так как болен гемофилией (несвертывание крови), — стоит ему в игре упасть, оцарапаться — кровь идет, и ее останавливают с трудом. Называли имя знаменитого доктора Бадмаева, говорили (позднее, впрочем) о словах, сказанных Григорием Распутиным, что цесаревич-наследник проживет лишь до четырнадцати лет.

Умрет, — думалось мне, — уже в восемь лет не может бегать, играть, как все дети! — думала я, сама неся в себе маленького сына, глядя на большого мальчика на руках дядьки.

Мрамор, свет, блеск под солнечными потоками через стеклянные потолки. Цветные колонны лестницы, белоснежные — в зале Славы...

Два слова о царских дочерях. Мы их с детства знали по календарям. Старшие — Ольга и Татьяна — были примерно нашими с Мариной однолетками, Мария и Анастасия — моложе нас. Ольга более узколица, чем сестры, русское лицо. Своеобразнее — Татьяна: чуть выдающиеся скулы придают ей что-то татарское. Все они в белом, в больших белых шляпах. Мария — ярче, красивее сестер, она еще подросток. Моя тезка, Анастасия, родившаяся в моем раннем детстве, узколица, светлые волосы подрезаны на лбу, как и у Марины и у меня в детстве, как у девочек тех времен; она еще ребенок.

Но вот все это — ожившее с календарей, проблеснув, пройдя в двух шагах от нас, двинулось дальше, а затем — торжество освещения, молебен.

Я помню свою усталость, жару майского дня, долгое стояние в рядах дам — и вряд ли это было менее томительным, чем медленное продвижение в толпе, по парку Ясной Поляны осенью 1910 года. Тогда страдали мы от холода, теперь от жары. Близоруко щурясь, искали мы глазами Сережу и Бориса среди блиставших орденами, звездами и мундирами сановников, представителей знати и просвещения Москвы, а может быть, и России. И, думаю, все это покрывалось накаленным волнением за папу, за его волнение сегодня, его путь сейчас бок о бок с сильными мира сего. В этот его долгожданный, неповторимый день. И было тихое торжество радости в наших своевольных, своенравных, не в него пошедших сердцах: не папе дарят что-то сейчас сильные мира сего, а он дарит им и всем, кто сейчас здесь, всей России — созданный им Музей! Как мало принесли радости ему — мы... И как много — этот его *сын*, в мрамор заключивший все сокровища истории. Этот наш, сегодня венчаемый, брат! «Колоссальный младший брат!» — как сказал тогда кто-то из нас. И как принимает царь Музей из рук папы, он, подписавший его несправедливое увольнение из Румянцевского музея, да еще — без пенсии...

...Папа проходил с «высочайшими гостями» по залам Музея, показывая и разъясняя, как всегда поглощенный предметом беседы, а мы, стоя в рядах белоснежных «высокопоставленных» дам, отыскивали близорукими глазами наших юных мужей в их первых на веку сюртуках и сине-зеленый студенческий (при шпаге!) мундир брата Андрея.

Я не помню здесь описанную Мариной Анастасией Модестовой — дочь папиного друга (полуйтальянку, пылкую его поклонницу) — я о ней писала в предыдущих частях — о весне 1909 года. Не помню лавровый венок Модестовой, на поднос положенный и преподнесенный папе в час его апофеоза.

Но я помню наш дом в Трехпрудном, залитый солнцем в дневные часы по окончании музейного торжества, обед, куда были приглашены близкие и родные. И помню дома по-

дарок папе Марины: ко дню открытия заказанную ею золотую медаль с силуэтом Музея и на обороте подпись: «31 мая 1912 года». И мой подарок папе — огромный букет разноцветных роз. (Такого он не получал никогда! — радостно думала я, протягивая папе розы...) И льнут к этому дню слова, папой сказанные (прочтенные мною в папиной биографии, написанные недавно моей сестрой Лёрой — Валерией Ивановной Цветаевой): вспоминая двух спутниц своей жизни, одну за другой уведенных ранней смертью, он сказал: «Семейная жизнь мне не удалась, зато удалось служение родине...»

И я радуюсь, что есть фотография, где после шума торжеств папу и Нечаева-Мальцева сфотографировали на ступеньках Музея. «Дух Музея и тело Музея» — как кто-то назвал их. На ступенях ими завершено дела.

Часть семнадцатая

В МОСКВЕ

Глава 1

ДОМ НА СОБАЧЬЕЙ ПЛОЩАДКЕ

Кто мог подумать, что все так случится, как случилось оно с «Марининым домом» — *этим*, в таком восхищении найденным? Он как-то сам пошел в руки, как голубь ручной, — чуть ли не в первый день поисков.

Разгар лета 1912 года, к осени. Мы обе ждем наших первенцев.

Марина и Сережа входят ко мне — в самозабвении.

— Ася, нашли! Ты себе не представляешь!

Сережа, от счастья перебивая:

— Асенька! Это такое маленькое чудо!.. Мы уже сняли его на три месяца! Вы сможете с нами пойти туда? Мы — еще раз?

— Ася! Подумай: № 8, как дом в Трехпрудном!

Идем.

— Небо совсем как в Италии, правда?

— Как над Lavarello...

— Fido и Stella, да? Белые... Они были шпицы, да?

— А мы с ними *купались* в траве... правда! Незабвенный Володя Миллер!

Лиловый от синевы день. Собачья площадка, тот бок ее — напротив Дурновского переуллка. Уютная калитка в воротах.

— Это, чтоб когда *черным* ходом. Тогда — через двор. А парадное — с улицы.

Сережа:

— И от него до комнат — три ступеньки и потом стеклянный коридор!

Но Марина уже подталкивала меня куда-то вниз, через порог низкой двери.

— Ты понимаешь, там — кухня. Отдельно, как отдельно в Трехпрудном. Только у нас внизу там был *флигель* — отдельный, а тут — по лестнице — вниз.

Сережа:

— А дверь эта отделяла другой от входа в комнаты. Запаха в кухне не будет, а кухарка — чтоб *ей* душно не было — вот эту дверь откроет во двор — и к ней пойдет свежий воздух.

Мы гуськом спускаемся в маленькую преисподнюю, длинная, поместительная комната, потолок сводчатый.

— Я бы *тут* себе кровать поставила (твердо, Марина).

— Ну, а она, может быть, захочет — вдоль... пожалуй, уютней. И от плиты дальше...

— Как хочет! Я бы тут поселилась — тихо... как на краю света, а ты?

Я:— Нет, *эту* фантазию Борис, может быть, мне не дал бы исполнить, у него ведь своих больше, чем у меня. Может быть, *он* бы тут захотел себе келью подземную, может быть, с мотоциклом бы жил... поселился. Знаешь, Марина, он его любит как живого, как — зверя...

Мы подымались по лестнице вверх.

— Чудный Борис! — сказала Марина. — *Обожая* Бориса... А Сережа его как полюбил... Он как из XVIII века! Мотоцикл чепуха! Это мелочь!

— Мелочь? В нем шестьдесят лошадиных сил! Или шестьсот, я не помню! И опасный.

— Пройдет. Наскучит! — утешала Марина.

Вынутым из кармана ключом — как хозяин! — Сережа отпирал парадные двери.

— Только мне подозрительно, Сереженька, как хозяйка сказала: «Ладно, пока сдам... Если отложу капитальный ремонт — до весны». Зачем только эти хозяйки — у таких чудных домиков...

Мы входили в длинный коридор с истертым дощатым полом, на нем — выношенная поблекшая ковровая дорожка,

в еле еще зримых узорах. Но стекла в замысловатых переплетах (кое-где в уголках торчали не захотевшие вылезти узенькие цветные осколки) были чисто вымыты, в них сейчас, углом, попадало предвечернее солнце, как кошка, ластясь о ноги вошедших.

— Тут чудно будет жить! — сказала Марина. — Сейчас увидишь, какая тут детская!

Сереза распахнул тяжелую парадную обитую дверь — черноклеенчатую.

— Узнаешь? — сказала мне Марина, — как по черному ходу в нашем доме... в Трехпрудном...

В ее голосе дрогнула, неуловимо, печаль. Мы стояли в маленькой, но довольно высокой передней.

— Бра! Видишь? Стенное, керосиновое.

— Лампа стенная, собственно. И шар матовый, как у нас был в зале...

На вешалке, стоячей, ничего не висело.

Кроме той, через которую мы вошли, было две двери, под углом друг к другу. Мы вошли в правую, в ее две белые створки, и очутились в просторной комнате, в два окна, выходящие на Собачью площадку. В этой комнате между двух дверей в передней, другая вела в столовую — следующую комнату, было то, о чем, в изобилии впечатлений Марина не упомянула — был (этого даже в Трехпрудном не было!) камин... Настоящий камин, как в старинных книгах, которые в детстве читаешь.

— Ася, за окнами будут мчаться санки, кони будут отбрасывать снежные комья, а в каминной трубе будет гудеть огонь... Языки пламени будут взвиваться над треском березовых дров... Серезенька, мы *тут* поставим рояль, будущий... Вот так!

Марина мерила длину стены.

— Тут — тот диван, который мы видели в антикварном арбатском... Это будет ваш кабинет, да? Где вы поставите ваш письменный стол? Вот в этом углу у окна? Мы повесим тяжелые занавески — чтобы на вас не дуло, чтобы вы не простуживались... чтобы вашим легким...

— А как вы, Мариночка, хотите, чтобы я занимался при свете окна с тяжелыми спущенными занавесками? — с неиз-

менным, немного лукавым юмором отвечал Сережа. — Мне кажется, лучше вот *так* поставить письменный стол.

— Да, пожалуй... Вот тут мамину этажерку с нотами. А где книжный шкаф?

Как-то так получалось, что, еще не ввезли вещи, а для них уже не хватало места...

— Ну, если так: рояль — здесь, стол — там, то где шкаф, может быть, тут поместится?

Марина обходила стены и мерила, примеряла, мысленно переставляла...

— Марина! — кричала я из соседней комнаты. — Ты ж мне не сказала, что в этой комнате нет окон!

— Как нет? *Есть* окно — в потолке! Чудное окно, потолочное! — увлеченно поясняла Марина. — Это будет — столовая! Я думаю — круглый стол — тут...

Мы стояли в маленькой квадратной комнатке, кроме двери в переднюю и в «кабинет», имевшую еще дверь — в продолжении начатой «кабинетом» и «столовой» — анфилады. Но в открытую дверь эту видно было — насквозь, взглядом проходя, следующее, по прямой, помещение — и еще одну раскрытую дверь, в четвертую комнату. Все четыре шли анфиладой по прямой: три из них — «кабинет», две последние были одной длины, так как все они равнялись — длиной — ширине домика. Только та, которую уже назвали «столовой», была короче, так как из отрезанной ее длины состояла передняя; поэтому «столовая» была квадратная, остальные же — продолговатые.

Полюбовались на мутное потолочное окно, на его стеклянные слои. Больше ничего примечательного в этой комнате не было. Нет, было! В стене, противоположной передней, темнел стенной шкаф, начинавшийся не от пола, а на аршин выше: две широкие, красного дерева, полированные, с резными украшениями створки, открывавшие за собой уютную глубину, делившуюся двумя полками.

— Какая прелесть! — сказала Марина. — Тут я поставлю любимые книги: в два ряда, тут и три бы устались, но — вынимать неудобно...

— Но, Мариночка, это же шкаф — в *столовой*. Это, вероятно, скорее буфет... — заметил Сережа, закрывая створки шкафа,

и повернул воткнутый в одну из них фасонный ключ. Послышался мелодичный, почти музыкальный звон.

— Чтоб в такую волшебную шкатулку ставить — посуду? — негодуя отвечала Марина. — Неужели вам нужен буфет? Тут будут жить — книги!

— Отлично! — сказал Сережа.

— Покажем теперь, Сережа, Асе мою комнату! — сказала Марина, устремляясь в третью по ходу комнату, не считая передней.

Переступив порог — которого, наверное, не было, мы стояли в правом переднем ее углу. Неожиданно слева, по короткой ее дальней стороне — так как комната всей своей длинной простиралась налево, появилось окно. Оно, видимо, шло во двор.

— Вот эта будет — моя, — сказала Марина.

Окно этой комнаты приходилось к тем двум «Сережиным окнам», выходящим на Собачью площадку, — под углом. Окошко было меньше тех, на улицу глядящих окон, и мимо этого, Маринино, окошка не могли, по идее ее, санки промчаться — за ними была глухота дворика, его мир, его уют и его тишина. Оно, должно быть, было заколочено или заклеено, потому что никому из нас не пришло в голову попытаться его распахнуть. Слева от него в уголку длинной стены была дверка, но она была закрыта, и она тоже, как и окошко, была меньше других.

— Это выход на черный ход, на площадку над сходом в кухню, — пояснил Сережа и тронул крючок, но он неожиданно легко откинулся, и мы вышли туда, где побывали в начале осмотра. Тут была раскрыта во двор — дверь.

— Какая-то неожиданность, да, Ася? Вот это мне и понравилось! Знаешь, прельстило, — увлеченно говорила Марина, — какое-то тут есть — волшебство... Не все смогут жить в такой квартире — ты чувствуешь? Окна, двери — где их не ждешь... Одно окно выше — там, у Сережи, это окно — ниже... Во всем этом есть — *замысел*...

— А вот тут, у вас, Мариночка, непременно должна быть занавеска, от потолка — и до полу, — не менее увлеченно говорил Сережа, — и тут она висела, деля длину комнаты надвое. Маленькая, в общем, комната — но она сама разделяется на

две части: та, которая составляет часть анфилады, по прямой линии от кабинета через столовую (позади) и вперед, в детскую, а по *этот* бок занавески, между ею и окном — будет, наверное, ваша спальня?

— Ненавижу спальни, — сказала Марина. — Люблю спать на диване. Вид кровати — *чужой* вид. Тут я диван поставлю, по стене, смежной с детской. А у окна — письменный стол — мой тут, Сережа, поместится?

Они вымеряли — по памяти — Маринин мужской письменный стол, ей в пятнадцать лет папой подаренный.

— Пойдите, вот так — правее, еще правее... *Вотшел!* — радостно объявила она, точно стол был под рукой. — А в эту дверь я буду выскальзывать. Иногда рано утром, когда не могу спать, во двор — когда встает солнце...

Не шутить Сережа не мог — глядя на Марину обожающим взглядом огромных — скорее темных, чем светлых глаз, он сказал, поддразнивая:

— А вы уверены, что оно с *этой* стороны всходит?

Ответ был вполне неожиданный: нелюбознательствуя (восток, запад).

— Когда мне это понадобится — *взойдет!*.. — сказала Марина, поднимая на Сережу чуть укоризненный и уже прощающий взгляд.

«Анфилада» — кончалась: мы стояли в детской. Пройдя Маринину по ходу шагов наших, не остановясь перед топкой печи, незаметной, мы все разом остановились перед объемистой, выступающей изразцовым кубиком печкой, от полу и почти до самого потолка она являла собой как бы *сердце* комнаты.

— Синим обведены изразцы, как наверху, в *нашей* детской! — счастливо сказала Марина. — Наша дочь будет любить эту печку, как я любила — как себя помню, ту! Ты еще с няней твоей жила в Лёриной (Лёра еще не кончила свой Екатерининский институт), а Андрюша еще жил со мной в детской...

Она стояла у окна (оно, как и в предыдущей комнате, было в ее коротком торце, выходя тоже во двор), распахнув большую — в четверть окна — форточку и чиркнув спичкой у вынутой папиросы, стала курить в окно.

— Не приучайтесь, Мариночка, курить в этой комнате! — голосом мягким, точно погладил кота, не удержался сказать Сережа.

Неожиданно кроток был краткий ответ:

— Тогда — не буду...

И выпустила во двор клуб дыма.

В детской достопримечательностей, кроме примечательной печки, — не было. Она была глубокая шкатулка (а крышкой ее была — дверь).

Мы теперь начинали путь назад через комнаты в обратном порядке. Только на пороге Марина остановилась:

— Детскую кроватку, наверное, туда, подальше от печи... Или — сюда вот?

— Да, лучше — к *этой* стене, — добро добавил Сережа. — Этот домик, я спрашивал, слывет — теплым, но чтобы не у наружной стены...

Мы стояли теперь во дворе. Тут тоже ждала нас — неожиданность: то, что сперва показалось нам маленьким двориком, вдоль стеклянного входного коридора, оказалось лишь закоулком двора; ни кустов, ни деревьев тут не было. Но, шагнув еще шага три, мы очутились в широко открывшейся части большого двора, с высокими деревьями и низкой подпушкой кустов. Тут царил великолепный господский дом, которого наш домик был — флигелем. Дом был двухэтажный, напоминал собой макет дворца. Чисто вымытые стекла черно, таинственно блестели. Парадное с затейливым навесом стояло на высоте нескольких ступеней. Собак во дворе не было.

— И подумать, что во всем этом доме живет только одна хозяйка его, — кроме челяди! — сказал Сережа. — Что она делает во всех этих комнатах? Уже пожилая...

Мы выходили к началу маленькой, продолговатой Собачьей площадки, она была вправо от нас. Посреди было скромное подобие скверика. По обе длинные ее стороны — старинные домики, друг с другом несхожие.

— Тут, в одном из них, Пушкин бывал, — сказала Марина. — Вот по *этим* камням проходил... В какую входил дверь?

— В тот дом вход, кажется, был с Николопесковского! — сказал Сережа.

Твердо распределив, где что будет стоять — только перезвезти, — Марина так радовалась, сняв домик этот на три месяца.

Но настала чудная погода. Надо было ехать в Тарусу, познать Тью — с Сережей, он ей так понравится... А Тью — Сереже, он такой никогда не видел. И они поехали.

А когда они оттуда приехали, через несколько дней, — оказалось, что Тью сказала им, что жить по квартирам — не дело, что им нужно купить свой собственный дом, чтобы устроиться в нем на всю жизнь, а не зависеть от какой-то хозяйки. И тогда Марина вспомнила про этот ремонт весной: когда они только что въживутся в тот чудный домик — а хозяйка захочет заново все переделать, Тью — права...

И когда Тью обещала им оплатить покупку небольшого особняка — тогда только поняли, что это — как в сказке, они будут жить в подаренном доме, который они сами найдут. Кроме счастья, веселья и молодости, которая фантастична, была, в этой вдруг открывшейся жажде *своего* дома, пружина вспыхнувшей страсти собственного жилья. Мы-то с Мариной хоть родились и жили в доме отца, а все же — не в нашем, наследники его были Лёра и брат Андрей, и в какой-то — страшный, невыносимый день он должен был стать — не нашим... Лёра и Андрей были совсем другие, чем мы, — и они этот дом не любили. Они говорили о его недостатках и неудобствах. Об *этом* они говорили согласно, хотя и были совсем непохожие: Лёра любила во всем — простоту и чтобы чистый воздух, Андрей хотел стильную старинную мебель, говорил — что в доме собрано все разных эпох, как на Сухаревке, мечтал все устроить иначе... Обо всем этом было лучше не думать, и пока мы жили там — мы умели не думать. Теперь же, когда Марина с Сережей так одинаково все чувствовали, — пусть ищут, конечно, свой волшебный дом... И тогда бы первый «Маринин дом» перешел ко мне — по наследству.

Глава 2 ПОИСКИ РОМАНТИЧЕСКОГО ГНЕЗДА

— Третьего дня, вчера — весь день! Ничего! — говорила Марина. — Понимаешь — совсем все чужое — в одном доме

крыльцо, как в Трехпрудном, — так же выступает к мосткам, и крона дерева почти над крышей парадного, и нижние комнаты немного похожие, но нет анфилады. В другом — Арбат, родной переулок, но вместо антресолей — мезонин... И какая-то затхлая лестница...

— Вы не по объявлениям ездили?

— И по объявлениям, и так... *Люди* дают адреса... Ни от одного сердце не загорелось — придется в Замоскворечье... Ни одного такого двора, как в Трехпрудном. Есть уютные — точно там в детстве когда-то была. Сереже один домик понравился, — но вообще *без* лестницы — это же не Дом!

— Такой, как наш, — не найти... Да и велик вам...

— Будем еще искать. Тьо так добро дала деньги! Так поняла нашу мечту — иметь *свой* дом... Знаешь, где искали еще? В Неопалимовском, на Плющихе — где Тьо с дедушкой жили...

— Я от того дома помню только собачью будку, — сказала я, — и собаку, и еще — кусок крыши, и на ней сережки тополиные...

— Тебе года три было, наверное, мне — пять. Когда дедушка болеть сильно начал, его повезли за границу. Они дом продали, — а потом дедушка Тете стал в Тарусе искать усадьбу, чтобы ей после него там жить... Нет, я дом в Неопалимовском хорошо помню, ну, такой нам не по карману, нам — маленький! Но ты понимаешь, надо, чтобы об него душа зажглась...

— Ну еще бы! Но ведь Сережа у тебя *сам* уютный. Борис только о мотоцикле мечтает. Ему *вообще* дома не надо никакого. Я думаю, в Замоскворечье...

Из Замоскворечья Марина с Сережей приехали восхищенные. Но ничего не найдя.

— Понимаете, Асенька, — говорил оживленно Сережа, — Марина почти в каждом доме находила что-то похожее с домом в Трехпрудном! Я уверен, что Марина найдет!

Марина ко мне бросилась:

— Ася, но какой кот! Точно сейчас из трубы вылез! Черный! И такой ласковый... *Мурлыкал* — как катает орехи, такая крупная вязь... Он так выгибал голову — противоестественно! Он ничего не замечал — он смотрел мне в глаза, понимаешь? Сережа сказал — оборотень... Но этого не может быть! У него же глаза были совсем невинные, небесные...

— Голубоглазый кот?

— Совсем не голубоглазый. Как бывает иногда на закате... Как мое хризолитовое кольцо! И при такой ласковости — такое чувство достоинства, котиное... как в Трехпрудном Васе...

— Ты изменила черному трехпрудному Васе... — сказала я укоризненно.

— Как родной брат! Сережа от него увел меня — за руку! Ты сама б от него не ушла!

Только теперь познакомились мы — Марина в своих странствиях по ту сторону мостов, я — по ее подробным рассказам — с Замоскворечьем. Мы почти никогда там не бывали, никто из друзей там не жил, должно быть, наша юность шла от переулков Патриарших прудов — мимо Никитских, по улочкам Поварской, Арбата, Пречистенки и Остоженки. Реже — Плющихи, еще реже — Девичьего Поля, Погодинской.

Теперь воплощался целый, нам новый, кусок Москвы. Оживленные рассказы Марины рождали и во мне интерес к невиданному, дотоле чуждому. Это, может, странным покажется, что москвички, до десяти и восьми лет в Москве жившие, с четырнадцати и двенадцати лет вновь там поселившиеся, только на лето уезжавшие чаще всего в Тарусу, изредка, с отрочества, за границу, не знали своей Москвы. С 1906 года, с возвращения после почти четырех лет из-за границы, со смерти матери и до наших замужеств, Марина — два раза, я — один раз выезжали из России: Марина летом 1909 года в Париж, где прослушала курс истории французской литературы в Alliance Française и втроем с папой и со мной летом 1910 года под Дрезден и в Саксонскую Швейцарию. Мы плохо знали Москву. Но, напомним (а тем, кто не читал моего первого тома «Воспоминаний» — скажу), что со смерти матери Марина по собственному желанию ушла на год в интернат, а вернувшись домой, запиралась, до замужества, зимами в своей комнате, не отрываясь от чтения. Ее жизнь была — в книгах: французских и немецких, эти два языка мы с детства знали, за границей же совсем в них вошли, как в два родных дома. Зиму шестнадцати лет Марина провела за переводом «L' Aiglon» Edmond Rostand

(«Орленок») — на русский (сложный, блестяще выполненный стихотворный перевод). Она почти не выходила на улицу. Разве когда я, не уйдя на каток, где пропадала часами, входила к ней, зовя выйти, или она, зайдя ко мне прочесть новые стихи, потягивалась, как после сна собака, говорила мне: «Пойдем?»

И мы шли. Но это всегда было ненадолго. Мы шли по Тверской, и некий консерватизм вкусов вел нас и по ней всегда вниз, к Кремлю, по раз заведенной дороге (см. стихи Марины «Тверская», 1910). В обратную сторону к Брестскому вокзалу (теперь — Белорусскому) мы никогда не ходили — Тверская тех мест с ее Тверскими-Ямскими была — чужая. Затем каждая возвращалась в свою комнату, к тетрадам стихов (я — дневника), к чтению запоем (я — наших классиков, с двенадцати до шестнадцати лет). Откуда же нам было *знать* Москву? Любознательности этой у нас не было. Почему? Одна из причин этого — постоянное чувство тоски по умершей в тридцать семь лет матери. Это окрашивало — дни, душу (см. стихи Марины «Маме», 1908). Это была первая катастрофа в жизни в тринадцать и одиннадцать лет.

«Москвичками» — мы не были. Марина, с 1922 по 1939, семнадцать лет не бывшая в Москве; я, по странному совпадению, тоже еще дольше из Москвы отсутствовавшая (с 1937 по 1959 г.), просто не удосуживались Москву — изучать: мы ее просто — любили. И теперь, в восемьдесят шесть лет, живя в ней вновь уже больше двадцати лет, я скромно молчу, когда речь принадлежит — москвичам. Они знают имена ее архитекторов, даты и стили домов... Я ничего не знаю. Только два здания, годы их воздвижения я помню: Музей нашего отца (все детство, открытый 31 мая 1912 года, после — восьми лет работы в нем, с 1924-го по 1932-й). И по странной случайности памяти в мои, должно быть, пятнадцать лет (?) — Казанский вокзал. Остальное — в детстве и отрочестве — Кремль, отблески старины русской и в Марине, и во мне — это в порядке исторической феерии, сновиденья. В 1912 году, ожидая своего первенца, возжелав по-своему «гнезду», Марина глазами, ногами (см. «Оду пешему ходу») — «изучала» Замоскворечье.

— Если б ты видела этот дом! — говорила упоенно Марина. — Двор — маленькая усадьба. В углу, как в нашем детстве, заброшенный домик колодца. Две огромные будки, собачьих; одна — пустая, в другой — яростный пес. Но он на меня скоро перестал яроститься и даже махал хвостом. Я хотела к нему подойти, я уверена, он бы меня ни за что не тронул, но Сережа меня не пустил! Дом — с антресолями, сбоку похож на наш. Но — колонны, парадный. О цене мы и не спорили. Я просто стояла и любовалась. Два флигеля. Деревьев еще больше, чем в нашем дворе. На качелях девочка — лет восьми. Сидит, чуть покачивается, ногой в землю, а на коленях — книга, читает. Я бы к ней подошла, но ее позвали, она убежала. Целый мир! Но девочка — не как мы, а с косами. Окна в шесть стекол. Мы как будто в гостях побывали.

— У собаки? — сказала я.

— Рыжая; большая; дворняга. Но, должно быть, кошек гоняет; ни одной во дворе... А потом — другой дом; бедненький и уютный. Но просто дом, без верха. Значит, нет лестниц. Мы ушли.

— Вы забываете, Мариночка, еще дом в том маленьком переулке, помните? — напоминал Сережа. — Два розовых дома... ворота и две калитки. Но их надо было покупать — вместе. Если бы порознь — оба в хорошей сохранности, каждый — в зеленом дворе...

— Нет, там что-то мещанское было в них, — сказала Марина, — особенно их хозяйки...

— Хозяйки — да, мещанки, — умиленно засмеялся Сережа, — но на дом их мещанство не перешло...

— Розовые... Я бы не хотела *жить* в розовом доме...

— Но дом же можно — покрасить...

— В голубой? И в голубом не хочу... Но на завтра у нас еще есть адреса, мы поедем. Бориса нет дома?

— На мотоцикле. Идемте скорей обедать! Я тоже голодная, вас ждала... Сейчас нас Устюша покормит.

— Ася, но помимо домов какие-то чудные переулочки... Почему-то мало людей — или мне так показалось? И люди какие-то ласковые, и так смотрят... Знаешь, мне это все напомнило — Тулу, помнишь, я в детстве с мамой ездила в Тулу. Какой-то особый уют... Хорошо, правда? Сереженька, если

мы в Замоскворечье поселимся? Даже на Тарусу немного похоже — кусты бузины... мальвы под окнами...

Вскоре, может быть, на другой день, Марина пришла усталая.

— Не поедем сегодня! Передохнем... Собственно, *один* дом *остался* в душе, но, наверное, не по средствам: очень уж какой-то торжественный — правда, Сережа?

— На Ордынке тот? Да, но он очень *стар*, там ремонт нужен... И слишком уж много комнат, ни к чему... А хозяин — в нем что-то от Диккенса, да? Такой — лорд! И, мне кажется, злой... Но — картинный!

— Лорд? Он на Плюшкина был очень похож, — сказала Марина, — только моложе. А еще в одном — Ася, *какая* собака! Ты знаешь, мне кажется, я никогда не видала такую собаку!.. Я бы из-за нее одной могла купить тот дом... Но Сережа не согласился — говорит, через год — рассыпется...

— Проще было бы *собаку* купить!

— Они же не продавали! Кто же такую собаку продаст?! Это был дух дома...

— Попросту — домовой?

Марина не слушала:

— Мне кажется, я без нее не смогу полюбить другой дом.

Глава 3

НАХОДКА. ДОМ В ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ

— Ася, все решено! — сказала однажды в один прекрасный день Марина. — Покупаем! Уже и сил нет искать дольше, но главное — *мы нашли дом*, который похож на трехпрудный! Не все, конечно, но и лестница на антресоли, и такие же друг за другом зала и гостиная, и за гостиной — *маленький кабинет!* Вместо спальни. Я ненавижу спальни, ты тоже? Сережа будет жить внизу, в кабинете, а я — наверху, рядом с детской. Тебе понравится, вот увидишь! Моя комната длинная, небольшая, и два окна друг к другу углом, как у тебя в углу в нашей бывшей детской! Сразу видишь все закоулки двора! Там большая береза, и возле нее маленькие, и кусты. Кусты всюду. Сегодня не можешь? Тогда адрес за-

помни. Может быть, сама к нам приедешь. Мы там будем завтра до вечера! Улица Полякова. А дом — в переулках, на углу Первого Казачьего и Екатерининского. Очень тихие. Такая провинциальная старина... Мы будем очень торопиться с перевозкой вещей — ведь из разных мест: у Лили и Веры, из Трехпрудного... Я уже папе сказала, он обещал посмотреть. Это лучшее из всего, что мы видели, — и как-то совсем отдельно, как будто очень маленькая усадьба. Мне даже показалось так: выйдешь, завернешь за угол — и река, косогоры... Сережа сейчас у сестер. Хочет забрать свои книги, учебники. Как только переедем, сразу засядет учиться, хочет скорее сдавать экзамен, при округе... Только бы температура не помешала! Но печи — хорошие, туда соседка их заходила, пожилая, уютная. А наверху — три комнаты. Одна даже лишняя — большая, почти как детская. Но моя — странная, узкая и волшебная. Я сразу почувствовала, что — моя...

— Я *очень* за тебя рада! Наконец! Завтра приеду.

И во вдохновении, от Марины зачерпнутом, я на другой день окунулась в ее восхищение. Двор, какой двор! Акации и тополя, как в Трехпрудном, а посередине — береза! Кусок Тарусы. В пустой будке собачьей — увы! — пса не было, но он будет! Дом без пса? Но коты мелькали, разношерстные, дикие, — приручатся!..

...Почему-то двое ворот, под углом! В разные переулки! Так только в детских книжках бывает!

Будущий мой сын не давал быстро взойти на лестницу — Марина еще всходила легко. Наверху, на площадке лестничной, меньше, чем обводили перила, — так в нашем детстве было — три двери: две напротив друг друга, а одна — перед последней ступенькой. Эту раскрыла Марина:

— Детская! Видишь: просторная, чтобы бегать, потом... Тут — кровать, а тут — нянина. Нянки у печей любят!

Выходя, показывая направо:

— В эту комнату я еще ничего не придумала — какая-то без уюта, еще непонятная. А вот *эта* дверь — в мою! Иди осторожно, не задень за угол перил!

Мы стояли в комнате вдвое уже, чем детская. Чем-то она казалась странной и «нашей». Может быть, тем, что окно

в ее правом торце расширяло ее ширину, в то время как второе окно, если стоять у торца правого, было почти незаметно, вписано в конец длинной стены. И отчего-то казалось, правда на миг, пока не сообразишь, что, наверно, комната не прямая, а с поворотом — поворота же не было.

— Нравится? — увлеченно сказала Марина. — Теперь слушай: вот тут, между окном и вторым, под углом к нему, — понимаешь? Тут поселилась *душа* уюта, даже еще в пустой. Тут будет жить диван, тут я сплю. Над ним — гравюры: Наполеон и «L' Aiglon». А вот мест для письменного стола — два. И тут, кажется? А там — еще лучше!.. Не решила.

Все понимая, все чувствуя, я чувствовала и понимала и то, что дать *совет* Марине теперь, когда расстановка воздушная, — это значило бы *прикреплять* что-то к месту, когда оно все — *schweben* (по-немецки — парит? Но парить — это как-то застыть в воздухе. А *schweben* — это медленно *плыть* в воздухе — а эти оба стола — *плыли!*) и мешать им плавать — было бы грубой ошибкой.

Мы слишком знали друг друга в этих вещах, с детства — без слов. Не ошибались!

— Книжный шкаф, мамин, будет у Сережи внизу, в кабинете. Мы купили на Арбате, в антикварном, два кресла красного дерева, может быть, их тут?.. Посмотрим! А вот *мечту* мою давнюю (мне стало трудно по антикварным) — Сережа давно уже ищет. Я говорю о шарманке! Я ее так хочу, но вот в этой комнате ей как-то нет места, шарманка должна иметь свой, глубже, чем комната, угол... Чтобы она *оттуда*, из глубины играла... Раз ее невозможно носить!

Мы спускались.

— Когда это научатся по этой лестнице *дети* спускаться? — раздумчиво сказала Марина, пропуская меня вперед. — Держись за перила! Наши *дети*, когда и мы-то не очень... Падают они будут, что ли?

— Мы-то не падали? Отчего-то не падали!

— Та лестница была — как стрела, а эта — какая-то с поворотами... Тут одна ступенька — вдруг — мелкая, я чуть не упала вчера, ожидая, что она — глубже... Ася! Уборная — тут в углу, под лестницей. А напротив — совсем ненужная еще комната: никакая, и на отлете. Мы, наверно, ее сдадим: пусть

кто-нибудь тут живет, сам по себе. У выхода. Зачем-то такую комнату выдумали?

Мы входили в первый этаж дома — с черного хода, с низа лестничной клетки.

— Полукруглая, понимаешь?

— Очень странная. Никогда полукруглых комнат не видела.

— Во сне — видела. Но эта — отчего она *темно-желтая*?

— И это не обои, по-моему, — сказала я неодобрительно, — это какой-то состав... И тут как-то пахнет особенно! Марина! Тут же нет окон!

— Да, окон нет... А тут негде им быть: кругом комнаты!

— Я никогда не видела комнат без окон...

— Но ты знаешь, она вовсе не полукруглая, у нее *углы* полукруглые! — сказала с интересом Марина. — Как у багетных рам.

— Я бы не хотела жить в этой комнате!

— Да никто и не будет, — сказала Марина, — мы сделаем тут — столовую...

Дверь, через которую мы вошли, была посередине комнаты. И справа и слева было еще по двери. Впереди стена была цельная, глухая.

— Как ты хочешь обходить низ дома? — спросила Марина. — Справа, через залу и гостиную, или слева, через Сережин кабинет?

— Через залу! Мне хочется как-то ко всему этому — приглядеться, свыкнуться! Из столовой — тоже, как в Трехпрудном, дверь в залу... Но там зала была высокая, а столовая низкая, под антресолями... а ведь и тут антресоли тоже... Как же тут так получается? Что ровная высота?

— Я этого ничего не понимаю и не пойму! — твердо и без тени любознательности сказала Марина. — Смотри: так же как у нас — здесь из залы был выход вправо, в переднюю, а влево тоже идут анфиладой — зала, гостиная, кабинет. Если *эти* комнаты увеличить, в лупу — то будет Трехпрудный! Как же я могла не купить этот дом? И ведь не бог вещь сколько Ты могла подарить мне — но хватило как раз! Сколько Ты дала — столько и назначили. Точно знали, что больше — нет! Как во сне!

Мы медленно обходили одну за другой комнаты. Но в то время как Марина говорила о *сходствах* двух домов, я, молча, замечала их различия: зала была не угловая, не выходила, как в отцовском доме, частью окон во двор. Не было той, улетающей к потолкам, высоты. Все было сжато, приземисто. *Деформировано*, но это надо было *скрывать* от Марины... Раз она *так* видела... Мне надо было себя тренировать на виденье сходства, чтобы хоть *приблизиться* к ее состоянию счастья. Что-то было грешное в моей зоркости, беспощадности наблюдения. «Я должна раствориться в Маринином состоянии!» — сказала я себе строго.

В зале было, помнится, три окна: в Первый Казачий? Екатерининский? Этого я не знала.

— Тут был у нас, в Трехпрудном, буфет, — сказала Марина в зале и показала на пустой угол между передней и залой.

— А сбоку и над амбразурой окна во двор (тут окна не было) — висел, столько лет, портрет Варвары Дмитриевны Иловайской...

«Опять я о несходстве... — сказала я себе. Ни одного слова об этом...»

«Переступив порог» — его не было — из залы в гостиную, я остановилась: два полукруга кафельных печей влево по ходу, *такое* повторение печей гостиной Трехпрудного, что шаг замер: мы стояли точно в по волшебству уменьшенной, с детства знакомой гостиной — ниже, уже — но макетно повторенной!

— *Поняла*, как похоже? — радостно сказала Марина. — Как же не купить *нам* это? Чтобы к *чужим* людям попало это невероятное сходство? Никому, кроме нас, не нужно? Зала, гостиная — те же! И передняя! Я как вошла... Там поставлю два дивана, напротив друг друга, купим старинные, и столы к ним — овальные, круглые... А возле печей — подставки закажем высокие — канделябры... Они — есть! Люстру купим; с подвесками. Помнишь, какое-то звено упало, хрустальное, и в нем огоньки, разноцветные... Только бы Сережа не надорвался с этими своими экзаменами! Мамина чахотка и к нему прицепилась... Хочет в один год все, столько! Разве возможно? (Вздых.) С пятнадцати лет больной...

Память мне изменяет. Прошло шестьдесят восемь лет. Была ли дверь из гостиной в Сережин маленький кабинет? Или тут кончалось подобие анфилады? Нет, должно быть, была — иначе Марина не спросила бы меня — как я хочу начать осмотр низа дома! Но если была — то, стало быть, именно там, где в Трехпрудном, и, стало быть, было не подобие, а повторение, только в масштабе — меньшая анфилада! Конечно, *все так и было!* Но, *войдя* в кабинет, вы оказывались в совсем другой комнате, решительно *не* похожей на папину: и не только тем, что папин кабинет был большой, по размеру равный гостиной, а тем, что эта комната была просто крошечная, в одно окно, выходявшее в закоулок двора. У папы были книжные полки — целая стена книг. Папины два окна выходили на улицу, как и зала, и гостиная, удлиняя фасад. (В доме Трехпрудного было семь окон фасада, в этом, стало быть, — пять.)

Но неожиданный уют был в этом будущем кабинетике, заглядывающем в зелень двора узеньким карандашным окном. Собственно, эта крошка слила в себе две комнаты: кабинет и спальню (которой тут не было). А там, где из спальни Трехпрудного была дверка в маленький коридор, к черному ходу — тут, в левом боку этой комнатки, была дверь в ту темно-желтую столовую. Так дом, проглотив спальню, или же ее не родив, являл собой частичное повторение дома в Трехпрудном, пятиоконный фасад вместо семиоконного, бесспальный дом, но лестничный, антресольный и березовый (а в Трехпрудном берез не было!). И была наша молодость, заменив детство, — радость и мощь нам принадлежащего будущего!

Так казалось нам. Кто же имеет власть видеть будущее? Кто поверил бы в тот час — наш, сегодняшний час, в закон превращения, более могучий, чем явь, нам в тот день так трезво служивший? Только в музыке звучит он, закон катастроф, слияния прошлого с будущим, неожиданностей, грохота черного грома — с арками радуг, глотающих гром, открывающих вход на небо! Но к чему тут метафоры? Я только хочу сказать, что не напрасно детство боком прижато о юность — и кто же их разберет? Не тот же ли закон детского одиночества, льнущего к книгам, к вещам, к жи-

вотным, открывался Марине в те дни в законе, названном «счастье?»

В слиянье с другой душой, неожиданной и близкой, ближе даже, чем две *наши* души? Он уже входил с черного хода, высокий, веселый, все знающий, радостный, — в нем она могла утопить каждый свой вздох. Кто поверил бы тогда в грядущие катастрофы сознания, способные — *разлучить?*

«Разлука» назовется через несколько лет книжка стихов, крик души Ярославны, Психеи и Эвридики! Всему свое время — и слава закону жизни, умеющей — иногда *не спешить...*

Был солнечный день. Подводы везли к дому вещи, выгружались сундуки, шкафы, столы, диваны и кресла. Бурно, как громовые раскаты, шла расстановка всего, примерка, перестановка, гремела шагами лестница — это счастье вселялось в дом, где скоро откроет глаза Ариадна, огромные свои, как у отца, только светлые, сказочно-недетские глаза. Кто посмеет при мне утверждать, что жизнь Марины — трагедия, что Марина была несчастна? Шли не дни, шли годы — и счет я им знаю — нет, они *бесконечны* — Марина была *счастлива!*

Глава 4 ЛЕТО. МАРИНА

Мы живем на Средней Пресне, в Предтеченском переулке. Доустраиваю квартиру с охотой. Радость тормозится равнодушием Бориса: уют, мной любимый, ему не нужен. Он помогает вешать, нести вещи, отстраняет меня от тяжелого, вредного, но душой не участвует.

Марина:

— Замучилась! Но зато — какие отыскала обои! Изъездила всю Москву! Приезжай посмотреть!

— Жаль, что не видала мои! — отвечала я.

— Лучше моих быть не может! Коричневые, зеленые, синие, перепуталось. Заросль. А какого цвета твой?

— Лиловые (упоенно, Марина) — гирлянды! И — тень. Ну, увидишь!

И, кажется, с не меньшим интересом, чем дом увидеть, я ехала посмотреть обои: неужели лучше моих в гостиной? Так долго искала... (Детство, видно, еще не совсем ушло!)

Большая Полянка, переулки. Старые добротные ворота, зеленый уютный двор, кусты. Береза. Как наш. Часть комнат — низкие. Над ними вторым этажом антресоли.

Уже не так легко (осенью — роды) всхожу по лесенке на Маринин голос: Ася, ты? Здравствуй! Ну, входи! Потом все посмотрим! Смотри!

Марина торжествующе распахнула дверь в свою комнату. Я ступила шаг, и на Маринино (чуть в тревоге) «Ну, как?» покатился мой, не жданный ни ею, ни мной, пораженный, счастливый смех: зеленые и коричневые, синие и лиловые, перепутавшиеся ковром заросли...

— Гирлянды, густые. Нравятся? (неуверенно уже, Марина).

А я смехом давилась, заливалась, как пес лаем...

Ее терпение, нетерпеливое, готовилось, от гордости, лопнуть. В мой лай:

— Так это те же! Мои же!..

— Твой???.. (и уже в привычный дуэт-унисон): По всей Москве! Только эти!

Я, выпадая из дуэта, удивленным (опомнясь) соло:

— Но почему же ты говорила — лиловые?

— Общий тон! Сине-лиловые!

— И — гирляндами! Где же они?

— Разве не видишь! Только их много... — и, успокоенно: — Значит, ты лучше нигде не нашла? Я очень рада! А правда, какая же гадость — все остальное! Какие-то полосы...

— Полосы. Или — цветочки, как этикетки...

— От мыла! Ужас! Как они — не видят?

— Кто? Продавцы? Что расхваливают?

— Те, кто будет жить и смотреть на...

В два голоса:

— «Глазки и лапки» — гоголевские...

Странно, что я не помню дворника в этом Маринином доме, и могло ли так быть — дом без дворника? Но я положительно не помню ни одного признака дворника, и в этом

тоже было отличие от дома в Трехпрудном, неотделимого от Ильи, Антона и Алексея с их гармониками, картузами, тулупами, фонарем и звонками к ним вроде Алексеева «коровьего рева», тщившегося вызвать его из глубей младенчески-молодеческих снов.

Из сеней в Маринином доме, купленном за сходство с домом в Трехпрудном, шла лесенка на антресоли, уютная, но на лестницу нашего детства не похожая, так как в этой было два марша под поворотом, а наша была прямая, стрелой вверх.

Но запахи в доме были старинные, настоявшиеся, как настойки, и их не выгонял, как не выгоняет ни из одного старого дома, ни ветер в — настезь! — окна, ни въезд других хозяев с другими вещами — запахи жили в доме сами собой, и их нельзя было расчленить на: запах нафталина, накаленных керосиновых ламп, снадобья, которым кормят паркет полотеры, аромат печенья из кладовой, или пронесенных из кухни кушаний, или чьих-то, здесь некогда царствовавших духов. Категория запахов старого дома была иная, неназываемая, это были тонкие смешения всего перечисленного, и еще многого, и они жили не в воздухе — воздух можно было сменять постоянно, он мог быть свежим, весенним или жарким от вошедшего в дом летнего дня, но стены (сменяй — не сменяй обои!), двери, окна, ступени лестниц, перила, полы — вся шкатулка дома насквозь пахла неуловимой прелестью старины, не имевшей ничего общего с «прелью», а скорее воскрешавшей — для сравнения — мелодии затихающих старинных романсов, которым аккомпанемент шел не на рояле, а, может быть, клавесине?

И когда в распахнутые окна Маринино и Серезино новоселья шел горячий солнечный день, а в распахнутые двери вносили мебель из Трехпрудного или из антикварных магазинов (Маринину и Серезину усладу), верилось, что жизнь здесь настанет надолго и будет настаиваться, как вино... (Что этого не случилось — в том тайна, быть может, и эпохи, и, конечно, сердце въезжавших...)

Каждая вещь, вносимая в дом и уставляемая на место облюбованное, вдвинутая и одобренная в своем местоположении — взглядом, сразу вживалась в свой угол, в прислон

к стене, как пускает корни посаженный под окном куст. И когда, расставив сегодня несколько (вдобавок к привезенным вчера) поселяющихся в доме вещей, Марина и Сережа, отходя, оценивали зрелище зорким вопросительным любованием — в комнатах, все более накалявшихся их присутствием, их фантастикой, их счастьем, вещи зацветали, как тот куст, — тенями, отраженьями в зеркале, наклоном картины, вдруг вглотившей рояльную гладь, зазолотившимся углом гравюры в старинной раме, драгоценными рядами книжных корешков, похожих на органные флейты, — и когда, внесенная радостными руками Сережи, Марилина любимая скульптура Амазонки (голова и плечи) воцарилась на верху книжного маминного шкафа — в грациозно-печальном повороте ее головы, сверху увидевшей комнату — проснулась в доме Первого Казачьего переулка — Греция, с ее героями и богами, душа будущих Марининых Тезеев и Афродит, Федр, Ипполитов, Ариадн.

А потом, устав от расположения мебели, мы сиделись в уголке двора и начинали выбирать имена будущим детям. От избытка щедрости (и имен!) мы вкушали и ощупывали их — и перекрестно взвешивали в ладони; закрыв глаза, проверяли на ухо; пробовали на зуб: из всей россыпи Кириллов, Северинов, Ирин, Олегов — Ольгу, Анну, Риту (Янковскую)*, Бориса, Алексея, Андрея, Софию, Леонида, Адриана (Adrienne Lecouvreur), Сару (Бернар), Нину (Джаваха)... Пересыпали их в руках, как нервийские цветные стеклышки, отшлифованные Средиземным морем, как коктейльские сердолики, халцедоны, агаты... И нам не хватало дня!

Глава 5

ЛЕТО. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПУДИНГА. ГАРЯ УСТИНОВ. РОЖДЕНИЕ СЫНА

Лето в Москве! Как знакома эта начинающаяся пыль вперемешку с запахом масляной краски — где-то красят дом; крики разносчиков, продающих первые ягоды, первые

* Из Марилиной отроческой повести «Четвертые».

сливы и яблоки, сперва привозные, затем — свои. В Москве я, собственно, в первый раз живу летом, но знаю эту летнюю Москву по кусочкам весны, поздней, и началу осени — все детство: перед и после Тарусы. Сады, сады, скверы; бульвары — их зеленая череда через всю Москву: Сретенский — Рождественский — Петровский — Страстной — Тверской, коронованный памятником Пушкина, — Никитский — Пречистенский и, другой чередой — Новосинский — Смоленский — Zubовский — густые, как парки, как лес, где, как в Александровском кремлевском саду, как в Екатерининском парке — и в солнце всегда тень!.. Куда ни идем с Борисом (он ведет меня бережно под руку) — везде эти сокровищницы старых деревьев с кронами, как гигантские беседки, с тенью крон — как пруды. Мы тащим тяжелые бумажные мешки с черешнями, абрикосами, вишнями (почти черны от спелости, почти сладки, хоть владимирские...), предвкушая скоро и сливы всех цветов, а размером — как яйца, и любимую (мою) — «коричневку», яблоки в детстве корзинами от Тети и Добротворских...

Устюша, пожилая, узколицая, не без старинной уютности кормит нас то собственным меню, то (когда — я должна сказать) — «по Молоховцу». Когда Боря не уносится на мотоцикле, в доме весело, я почти не ощущаю тоски.

Летний вечер. Окна Бориной комнаты и столовой открыты, за занавесками изредка мелькает тень проходящего по Предтеченскому переулку. Устюша отпущена — суббота. Завтра мы сами будем готовить, мы уже выбрали что — по Молоховцу, долго выбирали! Борис упивался странностями названий, предлагал самые невозможные, невыполнимые и так чудно смеялся, так потирал руки, ходя по комнатам и фантазируя, — что тяжести отпали с души! Мы сейчас будем читать Шерлока Холмса, два новых выпуска, мы их уже поделили, а потом обменяемся — и будем проверять, кто раньше догадался, что затевает Холмс и кто настоящий преступник — на какой странице Борис догадается (мною — прочтенное), зорко буду следить!

— Не подкопайтесь! — упоенно говорит он. — Не поймаете, уже в первой главе все пойму!

Бросив Молоховца, предвкушая часы головокружительного чтения, Борис еще не принимается за него, а, ходя кругами по комнате, выдумывает одно за другим названия приключений, которые он бы мог написать, пародируя уже существующее: «Сорок четыре подземных коридора, или Тайна голубого карбункула», «Таинственная тень на занавеске» — повелительный жест на колыхнувшуюся занавеску, «Сумасшедшая графиня», «Синяя маска и похищение наездницы-звезды цирка Чинизелли», «Загадочный бой часов в пустом замке», «Поддельный король пиратов срывает банк в игорном доме Монте-Карло», «Светящаяся тень фрегата у мыса Сак».

— Хватит, Боря, хватит!.. — кричу я. — Я начинаю читать! Ешьте вишни!.. А когда начитаемся по горло — будем ужинать, а потом вы мне начнете «Дядюшкин сон» или «Село Степанчиково» (про Фому Опискина?). Помните, вы говорили: «Обидели... — закричал Фома»?

— Боря, я съем все вишни!

— Но вы забываете, что в моей власти все абрикосы?

Он танцует возле меня, давая мне заглянуть в огромный пакет — и отскакивает, затем, грациозно обняв пакет, словно талию дамы, несется с ним в балетном вальсе, жонглерски бросая себе в рот золотые шары и их поедая.

— Боря! Они — немые!.. Дайте сейчас же пакет!

— Не подкопаетесь! «Сверхъестественная жадность жены под видом заботы о муже» или «Смерть от холеры самоотверженного Рыцаря, спасшего Даму от пожирания в одиночестве пяти фунтов абрикосов с острова Суматра!»

— Боря, пожалейте ребенка! Я докончу черешни, если вы не перестанете есть немые абрикосы!

— Рыцарскому ребенку не повредит даже и корзина бананов с острова Целебас...

Он сдается только на звук сыгранного мною плача. Он садится рядом, утешает, сам «всхлипывая» от жалости, пока, наконец, я не сую ему в руки Шерлока Холмса и блюдо вишен и не встаю выложить и мыть абрикосы.

Когда я вхожу, он занял три четверти дивана гостиной и ворчит, подвигаясь, давая мне место с краю, не отрывая глаз от страницы в два столбца мелкой печати, ощупью беря

розово-золотые шарики, пахнущие Коктебелем, удовлетворенно мурлычет.

Но когда возвращается Устюша, Борис начинает свой фантастический танец вокруг мотоцикла и, проверив его возможности движения на холостом ходу, шипенье и грохот, уносится на нем по тихому переулку, обещая через три часа быть дома — и возвращается через сутки, иногда — через двое.

Летний день. Солянка. Белые корпуса воспитательного дома, построенного Екатериной. Линия зеленых деревьев. Борис ведет меня под руку. Мне уже тяжело ходить. Дракonna узнавала. Из известных докторов этой специальности не уехал на лето только один Холмогоров.

— «Воспитательный дом» — это звучит не почтенно, — говорит Борис.

— Да, но тут есть платное отделение, и я заранее сняла комнату. Чтоб быть уверенной, если что-нибудь вдруг начнется — сразу ехать туда. Там всегда дежурят доктора.

— Вы в этом уверены?

Мы входили в глубокую нишу ворот.

— На монастырь здесь похоже, правда? Тишина, чистота и строгость.

— По-моему, похоже скорее на военный плац при Аракчеве! — отвечал Борис, пропуская меня вперед, в дверь, нам указанную. Мы входили в особый мир. Толщина стен — амбразуры — строгая высота окон, строгая государственная старина, восемнадцатый век.

Оставив Бориса ходить взад и вперед по белой пустой прохладе, я вошла в кабинет Холмогорова. Среднего роста пожилой седоватый человек, осмотрев меня, пожевал губами, на минуту задумался.

— Вам следует вызвать преждевременные роды, сударыня! — сказал он. — Таз узок. Надежды на расширение — мало. Я бы советовал. Семнадцать лет — успеете еще родить, разовьетесь. Можете не разродиться...

— А ребенок?

— О ребенке в таких случаях думать не приходится. Спасать надо мать. Мы — не пророки, но...

— Нет, — сказала я, отвращением к такому исходу преодолевая застенчивость, — не согласна. Доношу. Будь что будет! (говоря, я отметила, что в построении фраз мгновенно заразилась манерой доктора).

Узнав, что ребенок лежит нормально, я попросила Холмогорова присутствовать на моих родах. Затем мы с Борисом пошли в контору, где уплатили за отдельную комнату на месяц вперед.

О мнении доктора я Борису, разумеется, не сказала.

— И теперь вы будете носить еще три месяца! — шуточно поддразнивал Борис.

— С тем условием, Боря, чтобы половину времени носили вы! А Лев Толстой говорил, что природа должна была распорядиться, чтобы носила и рождала женщина, а кормил бы мужчина!

— Э, — сказал Борис, — дудки! Вы хотите меня сделать птицей? У птиц...

— У Мензбира, да? И вы сейчас пойдете про сантиметры от кончика клюва до кончика хвоста?.. Боря! Смотрите, продается новый выпуск Ната Пинкертон! Дорогого Ната, который днем и ночью видит сны, что он — Холмс...

А на другом углу — глаза разгорались: продают сливы! Синие, как у Добротворских!

— Мы возьмем очень много, вы понесете в двух руках по гигантскому пакету!

— А третьей рукой буду вести вас?!

— Боря, это свинство: один пакет — для еды, другой — для варенья! Я же сварила только два пуда еще...

После ухищрений мыдвигаемся от лотошника — я с солидным пакетом, Борис — с двумя пакетами-великанами: один — кистью руки, другой — углом согнутой руки (той же) и подбородком. Второй рукой он ведет меня.

— Пять пудов варенья! Они съели его к Рождеству и должны были ползими...

— Боря, завтра мы отпускаем Устюшу, и я буду делать желе из вина с узором из винограда внутри или — пудинг с сабайоном! Что лучше?

— Пудинг. Джентльмен вкушает только пудинг!

— Надо завтра купить цукатов. Изюм есть.

...И когда, по уходе Устюши, мы остались вдвоем, кроме собаки, началась жизнь по Джерому К. Джерому: люди и собака на равных ролях, и дом стал подниматься, как волшебное тесто пудинга по Молоховцу, в праздничных запахах горячих цукатов, распаренного изюма, кипящих в меду орехов, взбитых желтков, вина — корицы — коринки, ванили («Перцу!» — сказал Борис.). В желтом тазу кипели сливы в сиропе.

Пудинг плавился в духовке и, изнемогая, благоухал ароматами Шларафенланда. Мы, усталые и возбужденные предвкушением, смотрели по Молоховцу на часы. Но возбужденнее всех был щенок. (Как мы не залили его сладкими снадобьями?) Он носился — нюхал — прыгал, старался лизнуть, как не опрокинул то, что мы несли в мисках, где толкли, сбивали, мешали мечты Елены Молоховец?

Но вот стрелка часов указала конец трудов. Сейчас начнется торжество поглощения!

С волнением вынула я первый мой в жизни пудинг: золотой, осыпанный сухарями, повторивший все углубления и выпуклости жестяной фигурной формы. Он вышел из нее без единой ущербинки. Я сияла.

— Боря, не толкните, пожалуйста! — сказала я умоляюще, беря блюдо с красавцем. — Ох! Держите щенка, он собьет меня с ног.

Схватив в охапку пса, Борис, держа его на отлете, заглянул мне в лицо:

— У вас сейчас, Ася, такие расширенные зрачки, как бывают у барышень от, кажется, ландышевых капель!

— Дразнитесь потом, когда наедитесь пудинга! — гордилась я, радуясь, что донесла сокровище до столовой. — Уф! Я села, разгоряченная не меньше, чем пудинг.

Боря уже несся с соусником, где благоухал розами и гвоздиками золотистый, светлей пудинга, — сабайон.

— Боря, не пробуйте до конца обеда!

— Нет, этого я уже не могу! Попробовать надо сейчас, есть — потом... Ма-аленький кусочек! Сперва вы, потом — я! — Он нагнулся над пудингом и еле, как бы лаская, дотронулся до него ножом.

— Боря, вы осторожно! Он — нежный...

— Гм... — промычал Борис. — Отчего он дрожит? Да нет, не так дрожит, как вы думаете, — повысил он взволнованный голос, — он дрожит весь!

— Что за чепуха, Борис!

— Чепуха?! Чепуха, да? А вот поглядите: в него нож не входит. Отпрыгивает! — Борис хохотал странным хохотом, и я вскипела:

— Что вы мудрите над ним? Что вы с ним делаете?!

— Что я с ним? Что вы с ним сделали?

— Вы отлично знаете, что я все сделала точно по Молоховцу! — отвечала я, удерживая слезы. — Я только муки положила больше, по-своему — я боялась, что будет жидко!

— Сжечь эту книгу! — кричал Борис.

— И мука была первый сорт, мне ее показала Устюша...

Но Борис не слушал. Он не вникал, не хотел, как я, понять, в чем же дело!

— Такие книги еще в средние века предавали аутодафе на городской площади перед ратушей! — одним духом восклицал он, несказанно меня раздражая этим, — опять — от меня отрывом. Он всегда говорил не на тему, а где-то рядом, свое... Упоенность его иронии была уже маниакальна. Она пахла порошком Бертольда Шварца. Казалось, еще миг — и на этом злосчастном пудинге, порывая и со мной, и с нашим «домом», он шагнет к двери — выйдет за нее — и пойдет (и, может быть, не вернется...) Чем шутливей он был — тем было страшнее. Жизнь с ним была прозрачна. Но на сей раз я ошиблась.

— Глядите! — Борис бил пудинг лезвием ножа, все выше нож подымая, а пудинг только подрагивал.

Зрелище было необычное. Любопытство взяло верх над всеми чувствами. Нагнувшись над пудингом, мы смотрели на него во все глаза. Но в лице Бориса зажигалось ожесточение. Его отточенный профиль делался еще как-то отточеннее, ноздри дрожали, казалось, не от запахов ванили и цукатов. Нечто от коршуна мелькнуло в синем прищурившемся глазу — и, вскочив, бросился в кухню:

— Вот чем я располосую это сатанинское кушанье! — кричал он и, махнув косарем (длинный кухонный нож, которым Устюша колола лучину для самовара), — рассек надвое

пудинг: в последний раз крупно, всем собой дрогнув, он тяжело расселся на две части, наполнив столовую неземным запахом своих составных частей. — Это калоша, а не пудинг! — ликовал Борис свою победу. — Из таких пудингов можно делать ботики для сырого снега, такими пудингами надо кормить... — он не находил слова.

Я пораженно рассматривала гладкую, как запотевшее зеркало, внутренность обеих половин, украшенных узором орехов, изюмин и разноцветной вязью цукатов. Я ничего не понимала. Концом косаря я кромсала туго не поддающуюся массу и совала себе в рот, пробуя: оно было упоительно сладко, душисто и сложно по вкусу, но жеванью — не поддавалось. Борис, видимо, раньше меня это проделав, выплевывал тщету эксперимента в кухонное ведро.

— Стойте! — сказал он. — Я придумал! Работайте над одной половиной, я — над другой: вынимайте оттуда цукаты и все прочее, кромсайте чем попало эту адскую штуку, это inferнальное произведение, эту демонскую издевку Молоховца! Я буду это рвать пальцами!

Смеясь «горьким смехом», мы принялись за работу.

— У нас постоянно бывали пудинги в Трехпрудном, — говорила я смущенно и огорченно, — но...

— Вы хотите сказать, что такого пудинга вы никогда — да! — такого пудинга не было на земле с начала мира, даже в эру, когда одни ихтиозавры и — стойте! Идея! — Борис нагнулся под стол, где бродил, как и мы, прервав свое возбуждение, наш молодой друг (странно — я не помню его имени). — На! — и кусок «пудинга» полетел на пол.

Щенок подошел, но, может быть, обжегшись, фыркнул и сел над ним, видимо, сторожа остывание. Борис зорко следил за псом.

— Если он не тронет это сатанинское блюдо — значит, это благородная собака!

В эту минуту щенок хапнул остывший кусок и, помяв, проглотил. Мне почему-то стало легче.

— Видите! — сказала я. — Значит, вкусно! Это только наши зубы не могут.

— Я не хочу больше глядеть на эту собаку! — сказал Борис. — В ней соединились все дурные качества, которые существ-

вуют на свете! Она в союзе с этим пирогом! Если б она сосала его, как мы пробовали, — это бы еще полбеда! Но она проглотила...

— Боря! Смотрите!

Пес, подойдя к брошенному мною второму куску, внимательно его нюхал, облизывал. Тянул носом, попробовал лапой и вдруг — отошел...

— Я был прав! Это благородная собака! — восхищенно сказал Борис.

Теперь обе половины пудинга, из которых мы вынули все содержимое, являли подобие неких сот. Борис сбросил его в кухонное ведро, и мы принялись поесть кучу вынутаго, политую сабайоном.

Я откидывала на тарелочку — Устюше. Она пришла вечером и, узнав о случившемся, бросилась к ведру, всплеснула руками:

— И мне-то ничутьючки не оставили! — В ее голосе было презрение.

— Дорогая Устюша! — говорил (с жестами Плевако или Кони*) Борис, встав перед ней в позу. — Пес не ел! Ничтожное существо с хвостом отвергло то бесславное кушанье! А вы хотите, чтобы мы позволили есть это (жест в сторону помойного ведра) нашей уважаемой домохозяйнице!

Устюша не слушала. Она кричала свое:

— Столько добра испортили! Да как же так вы...

Затем она кинулась к полке, где стояли мешки с мукой и крупой.

— Вот и видно, что господа! Толку нету! — раздался ее гневный окрик. — Мука-то белая целехонька! Из чего же вы пудинг-то пекли? Эх вы.

Из крахмала, картофельного...

— Точь-в-точь! — восхищался Борис. — Именно, именно! — Этими словами выражал презрение своим близким дед из «Детства» Горького, именно так: «Эх вы», — только дед для выразительности добавлял к сему изречению еще неподражаемую букву «и», которая шла в бесконечность...

* Известные юристы-ораторы тех времен.

С этими словами он ставил перед не утихавшей Устюшей тарелку с сабайоном в цукатах.

...И опять я одна, жду Бориса. А вдруг роды начнутся раньше — бывает же! Так тяжело уже стало ходить!.. Одна — и Устюша — и больше никого... Обида бросается мне в сердце и голову. Как он может оставлять меня одну в это время? Час за часом ожидание становится все тяжелее. Откуда приходят слезы? Из каких-то темных глубин, где таятся предчувствия, копится горе. Отчего все немило сейчас? Я могу играть, ноты ждут, гармония звуков — утешит... Нет, растравит! «Почему не читаю?» — говорю я себе и себе отвечаю: «Потому что — жду!» Зачем, для чего — выходить из своей души, жертвовать ею, входить в душу другую, какие-то дни и часы жить одной жизнью с этой душой, так привязываться — и вдруг его нет, ты ему не нужна, он находит себе жизнь где-то рядом, а ты — ты ничего не находишь, не ищешь, не хочешь искать, а только тоскуешь, потому что продолжаешь жить с ним, которого нет!.. Какая нелепость! Какой дикий удел! Прав Отто Вейнингер в резком различии «М» и «Ж», как он их зовет — и если не хочешь быть несчастной лютым несчастьем — осознай и ожесточись, растопчи тоску, выйди из той души, держи свою двумя руками, не давай себя, отбери, стань собой! Мужественно прими одиночество. Чтоб тобой не играли как в биль-бокэ: прыг к тебе, прыг от тебя — хватит!..

Была глубокая ночь. Был звонок. (В те ли дни было, что Борис вернулся после двух дней отсутствия? Похудевший, в пыли, со сломанным мотоциклом.)

— Хитроумная машина! — сказал он, втащив ее и поставив, — то она меня, то я ее! Но ей — легче. Она меня везет — на горячем, а я — без! Только воду лакал! Ничего с утра во рту не было! В копне, под которой я ночевал...

— В копне?!

— А что вы удивляетесь? Ту ночь я заночевал у одного изумительного мужика — такую речь я давно не слышал! Что ни слово — то бриллиант! Старик! Я за этого старика отдам все на свете!

— И меня?

— Вы говорите глупости.

— По-моему, вы сказали!.. Устюша, несите кушать! Зачем я подарила вам мотоцикл?!

— Асенька, если б вы знали, как чудно нестись на нем, вы бы... После родов я непременно вас прокачу!

— Мне, Боря, недостает только этого...

Будь Марина и Сережа в Москве — может быть, я была бы счастлива? Сережа такой ручной — не дикарь, как Боря. Марины нет! Но есть ее стихи. И я в них ухажу с головой! Читаю «На радость». Оно посвящено Сереже. Кончалось оно:

Им очаг и бремя плуга,
Нам — простор и зелень луга...
— Милый, милый, друг у друга
Мы навек в плену!

...Значит, и ей очага — не нужно! (А — мне?) Да, им двоим — мир! Все — вместе! А нам — все врозь! И я снова — как в Оку окунаюсь, в теплый тарусский день... В стихи Марины этого лета в Тарусе. «В светлом платьице, давно знакомом...»

...Не целуй! Скажу тебе как другу:
Целовать не надо у Оки!
Почему по скошенному лугу
Не помчаться нам вперегонки?

Мы вдвоем, но, милый, не легко мне, —
Невозвратное меня зовет!
За Окой стучат в каменоломне,
По Оке минувшее плывет...

Вечер тих — не надо поцелуя!
Уж на клумбах задрожал левкой...
Только клумбы пестрые люблю я
И каменоломню над Окой!

Значит, Марина водила Сережу на нашу драгоценную, отнятую дачу, старую дачу... Но сквозь эту мысль пробивалась

(как трава у тропинки) — другая: Последние строки! Значит, и у Марины — даже с Сережей — растет бунт?!

Мы вдвоем, но, милый, не легко мне,
Невозвратное меня зовет...

И ей не всегда с Сережей легко? Значит, эта нелегкость в природе вещей? Таких душ, как наши. Потому что ведь не всех зовет — невозвратное! Не все — помнят! Не все — вспоминают!

А мы — мы с детства друг другу говорили (и маме!): «А помнишь?»... Вспоминание ушедшего и ушедших уже тогда было как опьянение, оно и у мамы было. Оно не прошло — не пройдет. И мы не можем быть верны одному, потому что верны — всем...

— Здесь живут Трухачевы? — Голос был юн и несмел.

Из полутемной передней в столовую навстречу Борису входил кто-то темный, чуть ниже его, скромно одетый.

— Вы — к?..

— Я — к Асе. К Анастасии Ивановне...

— Ася, к вам! — Борис прошел к себе.

— Господи! Гаря!.. Как ты изменился — я не сразу тебя узнала!

— Вы — вы тоже...

— Я — да! Я думаю, что изменилась. (Я смеялась.) Поперек себя. У меня скоро будет сын, Гаря! Боря, куда вы ушли? Идите к нам, входи же, Гаря! Я сейчас велю дать чай. Ах, она ушла, ну я сама! Борис, познакомьтесь с нашим гостем, это давний друг — почти что детства, пожалуй! Боря, придете? (Я стояла в сомнении на пороге, и на меня из черной рамы глядел Достоевский.)

— Иду! — сказал из-за стола Борис.

— Гаря, как ты нашел меня?

— Мне Людмила Ивановна дала ваш адрес, Добротворская.

— Мой муж, Борис, — тарусский друг Гаря.

— Трухачев.

— Устинов.

— Идите в столовую, я сейчас сделаю чай и приду!

Я минуточку постояла в кухне, радуясь, что Гаря пришел и что Боря, кажется, милый сейчас! Пусть посидят вместе! Не торопясь, я готовила чай, посуду, печенье, варенье, сахарницу, молочник, поднос.

Синее пламя спиртовки горело ласково. Был хороший час. Без тоски? Я прислушалась. Да, без!

Чудно даже... Могаведь вспыхнуть тоска... Гаря — («Гарька» тогда все звали. Я одна звала «Гаря») — отрочество.

...Ока — костры — песни, скрытая нежность...

Нагрузив поднос, толкнув дверь, я вошла, почти счастливая той нежностью — нет, не скрытой! свободной и радостной, распахнувшейся — скоро — роды — может, смерть? И все просто и чисто, светло...

Пока я, поставив поднос (мне показалось, что — ловко разгружала его), ярко, остро, добро взглядывая на Бориса и Гарю, слушала их голоса, мне казалось, я хорошею: у них на глазах. И тотчас же, в четком голосе Бориса, в смутном — Гари, я поняла, что ошиблась: только я радуюсь. Боре — все равно. А Гаре — Гаре тяжело и не нужно? Ему хочется отсюда уйти...

Нет, я не сдамся! Не заражусь! Его заражу собой! Гаря, мой Гаря — и не радуется свиданию, какой-то чепухе поддается, ложной... Пришел — и уйдет, не согретый? И я бросилась в бой:

— Гаря, не скучай! Я — вижу! Пей чай, ешь варенье — ты знаешь, сколько я его наварила? Три пуда! Вот — во всех вазочках, пробуй из всех! Боря, вам крепкого? Гаря, рассказывай: ты в Москве — как? Надолго?

— Нет, я... я устраиваюсь. Буду учиться. Еще не решено где. Я снова уеду в Тарусу. Вы там давно не были...

— Вы — вы! Почему не зовешь «Ася»?

— Ася, — с улыбкой говорит Гаря.

— Ну вот, Боря, спасибо, мне — хватит! — Я оставляю рюмку, высокую, куда Борис хочет налить вина — до краев; он налил Гаре и себе, поставил бутылку, давно начатую, вынутую им из буфета.

Подымая рюмку, Борис — Гаре:

— За ваше устройство в Москве!

Гаря привстал, застенчиво. Чокнулся:

— За здоровье Аси! За ваше!

Горячим холодком, медленно, как в соломинку.

Гляжу на смуглое, чуть розовое, пополневшее Гарино лицо. Немного подурнел. Видно, бреется. А глаза — те же! Золотые угольки...

— Гаря, я очень рада тебе. Сколько мы не видались?

— Давно... А вы не собираетесь в Тарусу? (Борису.)

— Надо будет собраться...

— Приезжайте, у нас хорошо...

— Да, придется! Ася и Марина так любят Тарусу...

— Марина Ивановна тоже давно не были...

— Марина тоже ждет ребенка, Гаря. Ее сейчас нет в Москве.

— Я слышал, они в Испании были?

— Нет, в Сицилии. Ездил с мужем. У нее очень хороший муж. Вот Борис его очень любит...

— Да они и сами хорошие...

Не поняв, о ком Гаря, я, смеясь:

— Все хорошие: Марина — Борис, ты — я... Ну, а как Шура Успенский?

(Вспыхнул? Нет? Показалось?)

— Приезжают... Летом были с Сережей. На математическом учится...

— Не женат?

— Не слышать...

— А Мишка Дубец?

— Рыбачит.

Звонок.

— Боря, сидите. Я иду!

Я выхожу в переднюю. Запоздав, привезли лед в ледник. Я смотрела, как сыплются в цинковый узкий колодец тяжелые куски голубоватой прозрачности, от их шелеста шел холод — в сердце: «Сейчас Гаря уйдет...»

Когда я вернулась в столовую, неся блюдо слив, синих, глядя на их сизые, запотевшие бочки и густую, синюю, местами коричневую синеву, я знала, что все потеряно, я проиграла, никакой встречи не было, концы все разомкнуты, сегодня все прошло окончательно, и Гаря никогда не при-

дет! (Почему же я оживилась, его увидя? Глупее я, что ли? Добрее? Проще? Все — строже меня, все — гордецы... Почему ж я над собой — укротитель?..) Когда я вернулась в столовую, Борис и Гаря говорили о рыбной ловле. Гаря звал приезжать на Оку — что-то рассказывал. И вдруг — встал:

— Я у вас засиделся...

— Как, Гаря! Уже? Так скоро!..

— Еще есть дела... поздно.

— Гаря, останься! У нас поужинаешь, дела — завтра!

— Оставляйтесь, Гаря! Сыграем в шахматы...

— Спасибо, Борис Сергеевич. Да я уж забыл — играть...

— А то сыграли бы!

— Пойду, надо.

— Ну, если так... Заходите, Гаря, когда сможете. Не церемоньтесь! А потом и на рыбную ловлю с вами поедем. Это уж — непременно...

Неумело, вяло пожав нам руки своей узкой рукой, Гаря надел картуз — и стал цыганом.

Я стояла в дверях, глядела, как он уходит, что-то договаривая вслед...

Гаря не пришел к нам больше.

...В Тарусу я попала одна на несколько дней через год, его там не увидела. Затем попала в Тарусу в 1926 году, когда моему сыну было тринадцать лет. С ним. Гари на свете уж не было — умер от тифа в 1918 году, в палате тарусской больницы, лечила его Люда Добротворская. Был матросом, ходил с револьвером, срывал и бросал иконы. Говорят, сильно пил... Ходил с бородой, многие не узнавали. Ему не было двадцати пяти...

Из ящика маминогo письменного столика я вынула и держу в руках тонкий карандашный рисунок: женщина в старинном наряде с прялкой в маленькой нежной руке. Сбоку внизу — надпись косым красивым старательным почерком: «На память Асе от Миши Монахова. Таруса. 1907 год».

...И будто живой этот профиль точеный и кружева рукава... Тихо, я одна. Может быть, в первый раз я гляжу в этот подарок, за пять лет.

Я никогда не увижу ни Мишу, ни Гарю. Какой-то подсчет странный — юности. Может быть, я скоро умру?

Как он хорошо рисовал! Если б учился... Работает где-нибудь конюхом — сторожем, как отец. А в профиле женщины на рисунке сходство с профилем самого Миши. Тихий был — не такой, как Дубец. Тот...

Я сижу на ковре своей бесполезной — никому не нужна — гостиной, чешу белую спину щенка. Как он вырос! Скоро мы переедем на ту квартиру на Собачьей площадке. Что-то болит спина.

— Нет, не буду обедать пока, подожду Бориса Сергеевича! — говорю я Устюше.

Думаю: а он, может быть, уж пообедал у матери и ушел к друзьям — к Зубкову, Татищеву, может быть, к Бобылеву? Я никогда не спрашиваю куда. А Лёра — за границей. В Англии, кажется... В Лондоне? Ходит меж диккенсовых домов! Марина писала, неважно себя чувствует. Хоть бы уж лучше переезжала в свой дом! Ближе к докторам... И вместе бы!

Щенок вскочил и помчался к выходной двери. Через минуту мимо окна своей легкой походкой прошел Борис. И в то время как я в передней бросила ему руки на плечи, я увидела этот жест, но в Марине (кровно, из меня) на плечи Сереже:

— Сере-еженька...

Даже вздрогнула.

— Совершенно пустая была эта Тверская-Ямская! Ну, я помчусь! И откуда ни возьмись — мальчишка; ну такой стервец, перебежать хотел! На всем скаку пришлось затормозить — как я не слетел, не знаю! А тут — свисток, городской — «протокоу составлю» — двенадцать верст, а вы скойко шпарите?» Еле от него отвязался!

— А мальчишка?

— Хо-о!... И след простыл... Есть будем? (Из ванной веселый голос, потоки воды...)

— Борис, я беспокоюсь о Марине — ей нужны ванны в эту пору беременности, я каждый день беру, это же велено, а она... — говорила я, пока Устюша несла обед.

— Напишите ей, Асенька. Если у них в доме нет, пусть к нам приезжает!

— Непременно напишу. Ей давно надо быть в городе! Если б они были с Лилей и Верой, те бы стали настаивать, но

они... У меня что-то спина ноет. Поедим, и я лягу. Сейчас уж почти вечер... А вы мне вслух читаете?

— Может быть, наоборот, пройтись вам? Или мы с вами достаточно сегодня гуляли?

— Хватит, я полежу.

— Отлично. А я читаю вам «Мертвые души» — идет?

Кончив обед, наложив себе блюдо слив, мы идем в гостиную (в белой спальне моей я только сплю, под бабушкиным портретом с незабудками в блюдцах на полочке). Я ложусь на диван, а Боря садится рядом — и мы проваливаемся в Ноздрева и Чичикова, в Манилова, Собакевича и Коробочку — волшебством его мгновенного перевоплощения, неподражаемым талантом чтеца!

И вот в это самое время, прямо в голос отца, прямо в Го голя — начал рождаться наш ребенок. Из меня что-то хлынуло. Без боли — неожиданно, но я достаточно читалась Жука «Мать и дитя», чтоб понять.

— Боря, это воды пошли! Так иногда бывает — скорей за автомобилем!

Я вскочила. Борис бросился вон из дому, что-то крича Устюше. Пока она несла мою давно уже приготовленную корзиночку для больницы и хлопотала, причитая и ободряя, я, смиряя дрожь, говорила:

— Пусть уж скорей! Я уж и так заждалась — тяжело ходить, хватит! (И это был сыгранный тон — тот, каким бы говорила не раз рожавшая: я «держала фасон»...)

Мы несемся по вечерней, уже темной Москве, автомобиль, мягко качая, подбрасывает, у меня мелкой дрожью стучат зубы, я, сжимая их, что-то говорю Борису. Он растроган, нежен, взволнован, старается меня успокоить. Но я сейчас гляжу вперед — только *к ребенку*, только к родовым мукам — *не к смерти*. Я ее не чувствую, не боюсь. (И где-то я радуюсь освобождению от ноши, уже мешающей жить.) Но волнение совершающегося захлестывает все составные части события: какая-то острая ясность сознания, точно ветер в лицо, будто стал на морском берегу.

Солянка. Деревья, Екатерининские корпуса, тот монастырский двор или плац — Борис открывает дверцу, поддерживает меня, ведет, мы входим по ступеням, по ковру — крашенный пол — в коридор второго этажа «платного отделения».

Навстречу — женщины в белом, в косынках, сестры милосердия.

Няня сейчас доложит акушерке.

— Номер шестой? Квитанция? Ох, да у вас как раз истекает срок — не беспокойтесь. Номер свободен, числится еще за вами.

Мы идем за белой женщиной до двери палаты. Тут она обертывается к Борису:

— Теперь вам придется уйти.

— А нельзя мне остаться в коридоре? Или внизу? — говорит Борис, волнуясь. Какой мягкий, незнакомый тон! (Нет, так он говорил, может быть, в ту весну в Трехпрудном...) Страшно трудно расстаться с ним! (Без него я буду бояться. При нем — не боюсь...)

— Нельзя, папаша. Идите! Вот родится сынок или дочка — тогда пожалуйте! — говорит няня. — А сейчас идите!

Еще при Борисе, пока он, сдав меня, ждал в коридоре, меня осмотрела акушерка.

— О, да вам еще не скоро родить! Не раньше как завтра к вечеру! — сказала она. С этим и уехал Борис...

Ночь. Белизна, чистота, тишина. Я хожу по своей комнате, дивясь на толщину оконных амбразур, на больничный халат на мне, вспоминаю прощальный взгляд, который мне бросил Борис, — он не кончился, он длится, он — со мной. Я хожу в промежутке между схватками, они редки и не очень длинные, и их можно терпеть. Когда они начинаются, замираю, облокотясь обо что-нибудь в той позе, как меня застало, и пережидая, пока мученье пройдет. Тяжелее схваток, которые я терплю, потому что они неизбежны, — одиночество, которого могло не быть. Дрожь продолжается. Может быть, это не только волнение, а и холод — высоких два окна раскрыты в ночь (в сад?), и оттуда шелест и холод. А на мне сверх рубашки один летний халат.

Но вот начинаются крики в одиночной палате напротив моей, через узкий проход. Подымается суета, беготня, мелькают белые халаты, раздаются приказания, а крики растут — и становятся почти непрерывны. Вот тогда меня начинает трясти озноб. Как мучается женщина! (Сочувствие.) Вот так

и ты будешь мучиться! (Страх за себя.) Наконец, я не могу больше выносить эти крики. Они нечеловеческие. Это — вой. Я нажимаю кнопку звонка. Долго — никого. На повторный приходит няня.

— Вы не слушайте! — говорит она на мой вопрос, — у ней седьмой ребенок, прирост последа — вот и кричит!

Но вскоре ко мне входит другая женщина в белом, наливает мне в мензурку капель. Пахнет валерьянкой.

— Выпейте! И зачем вы все ходите? Силы надо беречь, вам же долго еще!

— Мне так легче... — малодушно, просительно: — Неужели я так буду кричать, как она?

— А зачем? Покричите немного — и все... У ней — тяжкие роды...

Ночь идет. Как бесконечно долги часы! Это уже не одна ночь, их несколько, одна за другой. Первая была, когда было еще легко и тихо. Потом — крики ее (и мои схватки длинней). Светало. Потом — холоднее, вой ее и моя усталость ходить. Труднее пережить схватки. Потом стало светло. Сколько я здесь? Очень уже давно (я так изучила комнату — кровать, кушетка (какой-то особенной формы) — комод — умывальник, дорожка ковра — и опять кровать, кушетка, комод, умывальник — и так медленный круговорот без конца.

Который сейчас час? Что делает сейчас Боря? Не спит. Ласкает щенка? Читает, может быть. Устюша спит... Схватки становятся больше — длиннее. Это похоже на то, как когда медведю дают, в лесу оставляют приманкой, сало, а в нем пружина — и когда сало тает там, пружина освобождается и начинает распирать медведя. Гады — охотники! Бедный медведь! Но схватки похожи только на это, больше ни на что. Когда становится трудно, я говорю себе, что медведю — трудней — он погибает, я — нет. И его пружина мучает, чтобы он умер, а у меня схватки — чтобы родился ребенок. Крики, вой и суета в палате напротив стали еще сильнее — как ужасно!.. Но о чем бы я ни думала — я помню, что ни одной мысли о моей смерти родами у меня не было. Сколько их было за всю беременность! Родами — их смелó. Я не вспоминала ни д-ра Чайковского, в начале зимы настаивавшего на аборте, ни Холмогорова, еще месяц назад говорившего, что

надо искусственно вызвать роды, потерять ребенка, спасти себя. Мой материнский инстинкт и в девическом семнадцатилетнем теле говорил мне — нет. Теперь — меня волновал только вопрос, когда же я начну кричать? (Несомненно же будет больней, чем сейчас. Когда же я начну?) Теперь я только стонала — вполголоса, помогая схватке. Это была ласка себе, помощь ей. Так хотелось притулиться к чему-то...

Не могу ходить больше. Ложусь на кровать. Беготня, голоса напротив вспыхивают, как костер. Крик растет, раздирает дом, вылетает в сад, обрывается. Слушаю: одни их голоса; она смолкла. Неужели она... И вдруг дом разрезает надвое удивительным тонким криком, жалобным, царапающим, несмелым... Это ребенок кричит! И я чуть не плачу от радости. Но это один миг. Мне становится так тяжело, точно та пружина опустилась и давит. Что-то новое. Я пугаюсь. Негодую: почему я одна? Никто ко мне не идет! Целую ночь, с тех валерьяновых капель! А пружина уже не распирает круговым поясом, как всю ночь, а давит вниз, и становится очень больно, так, что я пробую крикнуть, — немного: может быть, облегчит? — нет, не легче. И я не кричу больше — надо беречь голос на день и на вечер — только вечером ведь... Как! Так — до вечера? И — сильней... Я мечусь по постели. Низ таза точно взят в клещи, и его распирает. Если б без передышки — нельзя вытерпеть! Задыхаюсь! Да придут они, наконец? Одна и одна... я нажала кнопку звонка. Тишина. Меня позабыли! Не снимаю палец, давлю кнопку жесточно. Тогда наконец прибегает няня.

— Позовите мне акушерку! Мне плохо!

И тогда приходит акушерка и осматривает меня, она что-то кричит няне, звучит имя и отчество д-ра Холмогорова, мне:

— О, да вы уже сейчас родите...

Подымается суета. Няньки бегут, меня поднимают, на руках несут на кушетку, слышу:

— Уж и схватки прошли, и потуги... А силенок — уж мало... Головка уж показалась! Полотенца!..

— Вот так! Берите, беритесь руками за два конца, и как начнется потуга — помогайте! Тянитесь за полотенце! (Середина полотенца закинута за конец кушетки, концы — мне в руки)

– Скоро?! – стону я. – Уж не могу больше!

– Теперь уж скоро! Ну, ну, тяните...

Я вижу знакомую мужскую голову над белым халатом. Доктор! Волосатые руки, перчатки, прозрачные.

Я очень томлюсь. В слабости воли, в муке я беру руку доктора, держу, не отпускаю. Слышу свой – не свой голос:

– Можно? Мне так легче...

Ласковые слова ответные, усмехающиеся.

– Ну, ну, – помогает мне акушерка, – ну, еще раз...

– Дайте ей рюмку вина! (Голос доктора.)

– Я не хочу вина!

Мечусь, пробую зажать рот. Голос доктора, строгий:

– Пейте, так надо. У вас мало сил!

Разжимаю зубы, глотаю с отвращением вино, которое обычно люблю. Снова потуга.

Клещи, сжавшие меня где-то у бедер, разжимаются нестерпимой болью, я хватаю концы полотенца, и вдруг – с легким шелестом – выскальзывает из меня что-то, косою сплетенное (помню именно так), последним, уж не моим усилием – и блаженная тишина! Бессилие...

Так ли я отдыхаю, бурно, что – засыпаю? Голова в уюте к плечу...

– Э, нет, так не пойдет! (Голос доктора.) Дайте бульону. Сейчас спать – нельзя!

И когда мне ко рту – носик чайника, белого, и тонкой струйкой теплый бульон – различаю звук... точно что-то шлепают! Как вальком – белье на реке...

– Поздравляю – с сыном! (Кто сказал? Акушерка? Доктор? Не помню.)

Блаженно: я *знала*, что сын...

И тогда, на смену тем звукам шлепка – негодующий, крепкий, пронзительный крик ребенка! Обиженный, недовольный, требующий.

– Ишь, как кричит! Кушать хочешь? Погоди, ишь какой... да дай же справиться с тобой, в порядок произвестись, мамаше представиться... Ну, любуйтесь!

Мне к лицу совали большую белую куклу, двигавшуюся под свивальником, розовое личико из белой пеленки, окружавшей его наподобие чепчика. Глазки, темно-сизые, от носа

к вискам внизу (как у сенбернаров), резкие ноздри. Рот кривился, готовясь плакать.

— Восемь часов пятнадцать минут! — сказал кто-то.

— А отец уж который раз приходит. Надо пойтить сказать. Роды длились чуть больше, чем девять часов.

Чудное летнее утро. Серебряно шелестят за окнами палаты деревья густым шелестом, полосы солнца перерезают прохладный колодец комнаты, на высоком потолке — синеватая тень. Дали ли мне спать до того, как в первый раз поднесли мне к груди моего сына? Или только все уговаривали пить, когда вошел ко мне Борис? Все тонет в этой синеватой тени памяти, в счастливом шелесте того утра. В том блаженном освобождении от мук ночи все тянуло дремать. Не забыть сказать Драконне, что она так правильно описала миг рождения ребенка — внезапность отдохновения вслед за последним, уже безболезненным выскальзыванием (когда уже прошла головка?). Но ведь плечи — не уже? Должно быть, сжимаются... снова на миг — сплю. Завтрак? Не помню. Что-то тяну из чайника, лежа. Замерев от интереса и любопытства, повернув вбок голову, опустив глаза, слежу за ракурсом крошечного личика у груди, за искусно и жадно (когда научился?) сосущими губками. Сосет-сосет и глотнет, размеренно, — уже опыт! У той груди не так ровно сосал! Засыпает — жаль... Не увижу — никак не могу понять — на кого похож, — и черты! Пеленка сбилась, закрыла пол-лба (лоб — большой!). Боюсь разбудить, замираю, плечо неловко легло о подвернувшуюся подушку, локоть устал. Ничего, пусть спит. А какое странное чувство, когда ребенок из тебя тянет — кажется, не отдельное какое-то таинственно в тебе заclubившееся молоко, а тебя саму будто... И как будто лежишь, ничего не делаешь, ребенок трудится, а ты устаешь! Или это только после усталости родов? Застал ли меня Борис — кормящую? Помню его оживленное, растроганное, будто заострившееся после ночи лицо, глубину улыбки, смягчающую остроту его черт, и в луче у плеча — горящие солнцем светло-золотые волосы, тонкие, как у меня, пышные, как пух. Он сидит, опустив меж колен руки, ко мне нагнувшись. Просит не го-

ворить — устану. Смотрит на сына, и лицо такое взволнованное, точно не я родила, он родил.

Кто первым после Бориса ко мне приехал? — Лидия Александровна, дорогая Драконна; Александра Олимпиевна? Когда папа приехал? Их я помню — в тумане. Папу — вижу, как он проходит по палате, наклонив голову, стоит над своим внуком, первым, как подходит ко мне, целует, садится у кровати, как велит не говорить, лежать тихо... (Вспоминает ли, как Марина родилась, за ней — я? Так вот лежала мама...) Или помнит, как восемь дней выздоравливала первая жена после рождения — тоже сына — Андрюши, моего брата, и как на девятый день (за шитьем крестильной рубашечки) вдруг стало ей плохо, потеряла сознание — и это было не обморок, как он думал, а — смерть...)

Только очень строго, добрым своим голосом папа наставляет меня лежать тихо, не подниматься рано, слушаться докторов! Потом он опять подходит к ребенку, долго смотрит, заговаривает с ним, смеется, говорит, что хороший мальчик.

— А Лидия Александровна сказала, что *он на тебя* похож, папа! — говорю я. — Честное слово — «вылитый Иван Владимович»!

— Ну, уж она скажет — вылитый! Что тут еще видеть... Пусть хороший будет — вот главное! А на кого похож...

— Папа, ты будешь крестным отцом? Непременно! Ты скажи, чтоб я знала — будешь?

— Ну, ну, буду, не разговаривай только и не волнуйся. Ты теперь ребенка кормишь, тебе нельзя...

— Папа, ты скоро Маринину дочку увидишь!

— Ну, ну, уж дочь! По заказу вы, что ли, задумали?

— Вот увидишь. Я ж знала, что сын! Может быть, назову Андреем... От Лёры есть письмо? Марина тебе в Музей не звонила? Не пойму, где она, неужели на даче? Ей же надо ванны брать...

Папа что-то говорит про Марину, он беспокоится...

И я снова, на миг, сплю.

Написанный мной в палате, где родился мой первенец, рассказ о Пушкине имел странное содержание: от «я» (мужского) шло повествование о том, как этот кто-то, в одино-

честве и печали, шел по Москве, ночной, летом — и как услышал за спиной шаг, тяжелый, в нем было что-то от металла — его догонял человек. Подошедший был в длинном пальто, рука была заложена за отворот, старомодный, другая была за спиной, и он ею держал шляпу, высокую, с изогнутыми краями. Они пошли вместе, и их разговор был печален и странен. Пушкин, сошедший с памятника, темно говорил о том мире, о тоске жить не здесь, о бессилии нарушать запреты, — только ночью он может сойти — и перед зарей должен снова стоять на пьедестале и глядеть на ходящих внизу...

Откуда в те дни была эта мрачность, этот диалог двух бродящих в ночи?

Только помню восторг в лице Бориса, когда он прочел мной написанное.

— Это — лучшее, что вы написали! — сказал он.

Я пробыла около девяти дней в больнице и, слабая, но уже выздоровевшая, приехала с будущим Андрюшей в ту старинную квартиру на Собачьей площадке (напротив Дурновского переулка, ведущего на Арбат). Туда уже без меня Борис с Александрой Олимпиевной и Устюшей перевезли все из Предтеченского переулка.

Номер дома на Собачьей площадке был тоже восемь, как дом в Трехпрудном.

Глава 6

АЛЯ. В ГОСТЯХ У МАРИНЫ

Еще лето — и уже осенний день. Сережа и я у «Мюра и Мерилиза», на одной из лестниц у широкого провала, где внизу сверкает фарфор и стекло осветительных приборов.

— Ася! Одну чашку шоколада! Это же очень быстро!

— Сережа, не искушайте! Я очень хочу чашку шоколада, но маленький ждет, мне уж время кормить его!

— Ася! Но ведь еще одна чашка питья — шоколад это же и питье маленькому. *Полезно!* Асенька!

Смеюсь, отмахиваюсь от Сережиного нарочито сыгранного, лукавого, убеждающего лица:

— Сереженька, он плачет!

— Не рассердитесь, послушайте, — с неподражаемо сыгранной «мордой» искусителя улещает Сережа, — он, может быть, поплакал и, устав плакать, уже уснул! Спит, Асенька. А шоколад такой чудный и детям полезный... Няня уже напоила его в ожидании вас сладкой водичкой (маска искусителя достигла предела выразительности. Восхитительные Сережины глаза смотрят в самую душу), — а я бы за шоколадом рассказал вам такую изумительную вещь...

Помню этот диалог, наш смех, людей, мимоидущих, с покупками, и широкий квадрат провала с сияющим дном из ламп, люстр, бра. И ощущение молодости, возвращающейся силы и радости жизни так стоять, смеяться, спорить и рваться домой, где маленький сын, сощутив в плаче большие темно-серые глаза, повелительно зовет, требует, негодует. И успокоение нас обоих, его и меня, каждый день по несколько раз, когда после коротких отчаянных криков, проб, чмоканий, упусканий соска и вновь его обретения — Андрюша в уютной, уже умелой моей повадке усесться, обняв его и поддерживая, — начинает, уже насытившись, блаженно дремать у груди...

Палата больницы. Впервые вижу Марину среди белых постелей, стен, занавесок — ее золотисто-русую голову с отросшими почти до плеч волосами, лежащую на подушках в послеродовой слабости.

— Трое суток!! — говорит она. — Понимаешь, и думала — никогда не кончится! Ты молодец — девять часов, а я... Помнишь наши мечты — двенадцать человек детей?!

Я умиленно и насмешливо:

— Помню лет пятнадцать—тринадцать было, да? И чтоб все от разных отцов — от одного скучно...

Марина, кивнув:

— Но, видно, что-то неладно со мной, без всякого удовольствия думаю о повторении этого когда-нибудь...

— А температура?

— Не падает, то есть медленно... все держится. И такая слабость — знаешь (удивленно, чуть подняв от подушки голову), я просто бы не смогла сейчас встать!

— Господи! Еще бы! У меня было куда легче, но я тоже пластом лежала! Знаешь, мне Драконна как-то рассказывала про себя с Сережей и Шурой — и так чудно меня уверила, что все — что бы там ни было — кончится в минуту блаженства, когда ребенок выскользнет — и лежишь, точно ты сама только что родилась, все то кончилось и все заново! Я все ждала этот миг, и мне было легче! И наконец он пришел!

— Да... Нет, у меня — это было, конечно, что Драконна чудно рассказала, но у меня не все сразу кончилось — до сих пор боли... И трудно кормить.

— А что доктор говорит?

— Так, ничего он плохого не говорит, но и не говорит, что все хорошо. Сережа беспокоится очень, а я...

— Понимаю. Ты на себя надеешься...

— Справлюсь, конечно. Только противно, что так томительно долго это все. И неприятен процесс кормления. Не знаю, как буду кормить. И молока мало, маленькой не хватает...

— Ну, это сначала. У меня тоже так было. Потом будет хватать.

— Не знаю, не думаю. Уже несколько дней прошло!

— Но ты же болеешь! Пройдет — и наладится. Трое суток — это же ужасно, что ты перенесла! Да, скажи! Крик тебе помогал?

— Крик?

— Марина, какая прелесть! Я знала, что ты тоже... — мой вопрос был немного провокационный. — Ты не кричала?

— Нет. И ты тоже, конечно? Не помогло бы — зачем же кричать? Не стонать — трудно.

— Мои слова! Почему ж они так кричат? Как та женщина кричала, напротив моей палаты!

— И здесь тоже. Стыдно, может быть, но меня раздражало. Да! — Я пробовала, как легче: стоять, лечь, как дышать, сама себе помогала, ни один человек не сказал, как легче — сам учишь себя!

Восхищаясь сходству, захлебываясь, как всегда, пониманием, я рассказала, что помогало одно: в схватке — замирать в той позе, как она тебя застала, а в потуге — глубоко дышать,

тогда не так больно. Если день-два жар у тебя не спадет — вызывать второго доктора! Чтоб он подтвердил слова этого.

— Да, Сережа то же самое говорил.

— Ну Марина, почему же ты не даешь мне поглядеть на маленькую? — взмолилась я, — пусть спит, я на спящую погляжу!

— Нет! Только когда раскроет глаза! Хочу видеть, как ты их увидишь! Она уж просыпается, слышишь? Сейчас *ее* принесут!

Что-то кряхтело и возилось в конце комнаты. Затем — низкий и сильный крик.

Маринина кровать стоит по стене справа от окна. Ей на постель положили дочь. Пережидая приступ плача, Марина, привстав на локте, держит ее так, чтобы ребенок был в полосе света.

— Нагнись, чтобы лучше видеть, слови миг, когда она передохнет в крике, — тогда глаза раскроются во всю ширь!

Я стою, наклоняясь над круглолицым темно-розовым существом, и хоть личико корчится в богатейшей мимике новорожденного, я успеваю четко отметить несходство с моим сыном. (Значит, не в нас они?) В это мгновение веки девочки открылись, и огромной величины голубые глаза осветили — нас троих.

— Господи, Марина! Какие глаза!

Чуть покраснев от удовольствия? любования? гордости?

— Большие, да? — коротко сказала Марина. — Цвет — ничей из нас, форма глаз — Сережина.

— Поразительные глаза! — повторяла я, не отрывая своих от детского личика. Девочка, казалось, что-то «рассматривала» над собой, замерев в позе раскрытости этих двух синих провалов, потом веки моргнули, она стала ежиться — и залилась плачем.

— На твоего не похожа? У него, ты говоришь, темно-серые? А черты?

— Все разное! Совершенно! Еще говорят, дураки, что «все дети — одинаковые»...

— А на кого похож мальчик: на тебя, на Бориса?

— Не поймешь. И так говорят, и так. Папа был?

— Еще вчера. Тоже глазам удивлялся. Драконна придет сегодня!

– Значит, разница между ними – три с половиной недели, – говорила Марина.

– Андрюша – я его назову Андреем (еще не крестили, на днях я уже ходила в церковь Николы на курьих ножках), он уже больше не красный, и черты уж немного оформились. Рот – скорей мой. Нос – не поймешь. Глаза Борисовы, потому что, знаешь, чуть-чуть от носа к вискам вниз – обратно, чем как у Гали Дьяконовой. Не по-китайски. Скорей, как у Оскара Уайльда, у Бориса, если приглядеться, тоже так. А девочка, по-моему, вся в отца.

– Да, все находят. Ох, сейчас кормить – опять будет боль. А у тебя молока много?..

– Марина! Как же ты ее назовешь?

– Может быть, Ариадна, – полувопросом, Марина, – не знаю. Еще не решила...

Часть восемнадцатая

МОСКВА

Глава 1

НАШ ДОМ

Я не описала наш домик. Это был флигель «хозяйкиного» большого дома в глубине двора (наш выходил в переулок у начала Собачьей площадки*). К хозяйке мы только раз в месяц, помнится, носили 35 рублей. Больше мы ее не видели и жили, как у себя.

В домик, светло-зеленый, парадный вход был с переулка, следовало несколько ступеней и шагов восемь—десять по коридору, слева застекленному. Теплая обитая дверь вела вправо в крошечную переднюю (освещенную тем самым лунным шаром на стеклянном кронштейне, который освещал наше бредовое хождение — мое с Нилендером — по комнате Трехпрудного перед моим отъездом за границу, год назад). Направо была дверь к Борису, прямо — в столовую. И была еще, как на черном ходу Трехпрудного, дверка в узенький коридорчик, откуда можно было выйти на черный ход во двор и вниз по крутой каменной лесенке с чугунными перилами — в кухню. Этой лестницы я, совсем как в детстве, боялась: ее неприглядности, промозглости осенью, морозности — зимой. В ней чуялась какая-то ужасная чужая жизнь (из книг Золя, быть может?) — что-то, что

* Из-за него Марина и взяла в начале лета эту квартиру себе, до своего дома. И такое же радовало ее в 1914 году в снятой ею квартире в Борисоглебском (до сих пор цел), где она прожила до 1922 года.

может внезапно прийти и настигнуть, как в страшном сне. Но кухня была уютная, длинная, белая, в ней потолочное окно (лунный сумрак), включала обеденный (круглый? — не помню) стол, стулья и глубокий, резной, красного дерева стенной шкаф, куда были вдвинуты все банки сваренного мною варенья (четыре пуда, из коих два закисло и два засахарились и вновь переваривались по советам Ирины Евгеньевны).

Соседняя комната, тоже проходная, была моя: ее проходная часть (из столовой в детскую) пуста, только стояли у стены мамин мягкий серый диванчик и кресла. Жилую часть комнатки отделяли тяжелые драпри* (Трехпрудного). За ними были мой диван и у окошка мамин письменный стол. На стене — бабушкин портрет, венецианские бусы, фотографии Трехпрудного. Спальни в квартире не было. Детская — просторная, розовая, с выступающей печью, уютная. В ней жили Андрюша и кормилица.

Я подошла к новой теме — Марининой и моей жизни.

Синее небо над желто-зелеными березками Маринино и Сережиного двора.

Конец сентября 1912 года. Няня вынесла на солнышко маленькую Алю, ходит с нею на руках, одной рукой поправляя висящие на веревке крошечные кофточка, распашонка, пеленка. Дворовый пес дремлет у будки. Услышав звук брошенной калитки и мой шаг, он было принимается лаять, но мы — няня с ребенком и я — исчезаем в шкатулке черного хода, и лай смолкает. Полутьма и уютные запахи старого дома: немножко — печеньем? — проходной в Тарусе у Тью, где варился кофе на керосинке?

— Няня, Марина Ивановна наверху?

— Утром были, потом Сергей Яковлевич свел их вниз, у него лежат, в кабинете.

— Все болеют?

— Болеют.

Я наклоняюсь над Алей, она спит. Веки, опустившиеся над глазами, обнимают полукруги такие большие — в полтора раза больше обычных глаз детей этого возраста.

* Занавеси со складками (*фр.*).

— Красивый ребенок! — говорю я.

— Да уж таких красоточек и не видано! — гордо говорит няня и начинает подыматься вверх по лесенке.

Я прохожу столовой в маленький Сережин кабинет. Там на диване лежит с книгой Марина в пышном платье, узор: россыпи цветочных веток по темно-лиловому фону.

— Здравствуй! Ну как? Что читаешь?

— Беттину перечитываю.

— Марина, ты очень желтая!

— Все не проходит. И очень устаю от кормления!

— Как жаль! А я так привыкла кормить Андрюшу, не больно, и он хорошо растет!

— А меня — на днях дождь был, холодно, везде дует — на стуле вносили к Але, чтобы ее не брать вниз в сырость и сквозняки. Не знаю, сколько так будет продолжаться...

— Сережа где?

— Скоро придет, у сестер.

— Ты как, старой няней довольна?

— Чудная! Я же тебе говорила, что она у Льва Толстого шестнадцать лет в доме была экономкой, то есть у старшего сына его, Сергея Львовича, в доме в Хамовниках!

— Интересно! (Марина откладывает книгу, вытягивается всем телом, руки за голову, в позе отдыха, подвинувшись, чтобы мне было место сесть рядом.) Что рассказывает? Расскажи!

Старая няня рассказывала, как, поступив к Сергею Львовичу Толстому в роли экономки, в их дом в Хамовниках, где теперь музей, наутро: «Выхожу я во двор сказать, чтобы дров принесли печи топить, — не видать никого. Идет по двору старичок, борода длинная, из себя неказистый. «Дедушка, — кричу я ему, — дровец захвати да тащи в дом, печи топить велю...» А он из себя хоть невидный, а такой вежливый. «Сейчас, — говорит, — матушка, принесу». И принес! Я себе в дом пошла по другим делам. Ничего и не знаю. А как в комнаты-то вошла — старичок-то с господами сидит на диванах... Горничной, я: «Кто ж он будет-то им?» А она мне: «Граф это, баринов отец, Лев Николаевич...» Я чуть со страху ума не решилась! Сгонют меня теперь, думаю, с места... ну, ничего, обошлось — пос-

менялись они, да все тут... Они у нас, говорят, завсегда так одеваются...»

— Все больше про Софью Андреевну, — знаешь, ее все-таки жаль: изменял ей, и многие годы ей было очень тяжело с ним. Будто бы сама Софья Андреевна ей это рассказывала — за шестнадцать лет, конечно, много узнаешь! И ребенок за ребенком — разве это молодость? Одиннадцать человек, кажется, их было...

— Зачем он на ней женился!?

— Старушка — маленькая, худенькая, некрасивая, такая уютная — Андрюшу обожает! Да так осуждает Толстого: «От молодой жены и с цыганками гулять, это разве порядок?»

— Цыганки так чудно поют... Сережа недавно купил пластинки Вари Паниной — придет, услышишь! Знаешь, Ася, пройди по комнатам, мне хочется, чтобы ты все посмотрела! А потом расскажи, как ты у себя все устроила на Собачьей, мне очень хочется знать... Я ведь еще не скоро, наверное, смогу приехать к тебе! Папа у меня был, похвалил все. Он такой трогательный! Да, скажи — ты хотела про мать Бориса!

— Все спрашивает его про Андрюшу. Думаю, не утерпит — придет. (Вздых.) Пусть придет, Бог с ней!

— А ты не очень уж ее так встречай! Это все-таки свинство, ее поведение... на свадьбе не быть!

— Да, но — я говорила тебе? — Борис спросил ее, записывать ли ее крестной матерью, она сказала, что да, и крест золотой прислала.

— Вы в церкви крестили?

— Нет, погода плохая была, священника домой пригласили. Папа такой трогательный был! Он мне говорил — Але тоже будет крестным отцом! Ты окончательно решила — Ариадна?!

— Да! А как Борис?

— Господи, не сказала! Такое счастье! Согласился продать мотоцикл! У меня с этим мотоциклом молоко пропадет! Не могу больше!

— Это очень внимательно с его стороны, он же так им увлечен... И что же хотите купить? Что-нибудь из старины?

— Нет, может быть, пианолу. Помнишь, у Адлер была?..

— А, это чудно! Я потом, когда встану, тебе покажу новые пластинки к моему патефону.

Я уже выходила из кабинета — в гостиную.

Странное, как во сне, чувство: меньше и ниже, но это гостиная Трехпрудного: так же, как там, она проходная, — дверь в кабинет и дверь в залу, направо меж двух (меньше) печей — гостиная мебель, ковер; налево — два окна.

Но диван — не с мягкой спинкой, из трех серединок, равных, обведенных каймой дерева, а с выгнутой спинкой красного дерева. На стенах — вместо картин маминой кисти — больше гравюры, старинные... Выхожу в залу: похожая, как младшая сестра, скромнее и меньше. Не черный рояль, а наш — тарусский, с потерянной дачи, коричневый, на котором мама играла шесть лет назад в вечер нашего возвращения!.. Кронштейн, бра. Но там, где была дверь в низкую столовую, — тут двери нет. Как во сне... так, через десятилетия, можно, полузабыв, сомневаться о двери, была ли? Так, в старости, может быть, можно спутать, сместить, сдвинуть память о памяти, принять одно — за другое... но я стою — и противлюсь, и сердце сжато тоской: неужели я иначе чувствую, чем Марина? Неужели ей не тоскливо это смещенное сходство? Как когда в калькоманиях, сильнее подтянув влажную, уже соскальзывающую с изображения оболочку, видишь дрогнувшую смазанную картинку... Лютый приступ тоски! Нельзя это сказать Марине — больной, — нет, и здоровой — нельзя. Что-то тронуло ее в этом доме за сердце, она билась за него, получила, работала над устройством всего, так старалась... Может быть, это я — слепая? Грубая, не чувствую, не понимаю?

Я должна этот дом полюбить! Ведь ни один дом не напоминал тот, только этот? Иду и уже облегченно вхожу в дверь в углу, явно не туда выходящую: вместо нашего черного хода (сеней), дверки в папин коридорчик, в спальню и лестницы к нам наверх — та столовая, странно-овальная, в которую я вошла из здешних сеней с лестницей и через которую, пройдя, отворила дверь в кабинет — Сережин.

Смелая уже смещенность, несходность, возвращает реальность яви, ощущение сна тает, я веселею. И, входя снова к Марине, готовлюсь уже с облегченным сердцем хвалить,

но Марина, не подымая головы от книги, что-то мычит на начатую мной фразу, и в этом звуке ее глухая просьба не помешать, просьба простить, что не слышит — *дочитывает!* Затем, быстро дочитав (главу? абзац? страницу?) сильным хлопком закрывает книгу и, очнувшись в меня, как я из дома Трехпрудного в этот, Марина сказала:

— Чудно пишет Беттина!.. (Забыла про дом, нацело! Молодец!) — Знаешь, в нашем издательстве, которое мы с Сережей выдумали, — «Оле-Лукойе», я тебе не говорила? — я хочу выпустить маленькую книжку стихов — выбранные из двух моих книг. Обдумываю предисловие. Сережино «Детство»*, рассказы, где он пишет о себе и о Котике... — Она прерывает себя: — Температура у него не в порядке, я так беспокоюсь, что опять вспыхнет процесс!

В этот миг, все исправляя, освещая, — точно в сумерках зажженную лампу с порога — Сережа! Высокий, узколицый, родной, добрый — радостный (снимая шляпу), пожимая мне руку:

— Мариночка! Какую книгу я раздобыл для экзаменов — не представляете! (Он сияет!) — то самое издание, о котором говорил тот студент! И атлас, и тригонометрию...

— Да? (Марина еще раз, в него просыпаясь.) Как чудно! То самое? — ответно светясь и переливая радость через край. — Сереженька, будем сейчас есть — ладно? Ася пришла... А потом будем заводить цыганские песни!

— Барыня, как кормить-то будем? Сюда Алечку принести? — стоя в дверях, няня.

* Я помню свое впечатление об этой в 1912 году вышедшей книге, которое и до сих пор не изменилось. Многие, ее теперь читавшие, согласны со мной: рассказы талантливы, яркие, остры по наблюдательности и памяти; детская психология передана с огромным теплом, умиляет и восхищает. Детство в старой Москве дано отлично. В рассказе «Волшебница» автор, восемнадцатилетний юноша, дал образ Марины. С нежным тонким юмором подмечены ее характерные, странные в быту черты; ее необычность, сила ее поэтических убеждений, отрыв от окружающей ее среды, уничтожающий все привычное, взрывающий все формы будничной ненавистной жизни. Я восхитилась и до сих пор восхищена его проникновением в душу Марины, так недавно ему встретившейся, неподражаемой правдой его психологического анализа — в самом жару его любви к ней. Он остался верен Марине до конца своей жизни.

— Кормить? Уже? Сережа, на черном ходу — как? Не холодно? На лестнице? Выйдите, посмотрите! Может быть, сюда Алю можно? Закутаем! А то опять тащить меня на стуле...

Иногда, покормив и наглядевшись на Алю и поужинав, мы, втроем, у Сережи слушаем патефон — Глинку и все то, что в Трехпрудном, и Варя Панина поет своим низким, почти мужским голосом, медленным, темным, о том, что все прошло, все пройдет — жизнь остановилась, все — кануло... Ничего в мире нет, кроме песен!

Глава 2

В ГОСТЯХ У МАТЕРИ БОРИСА. СЕМЬЯ ТРУХАЧЕВЫХ. БОРЯ БОБЫЛЕВ. СЕРЕЖА СОБОЛЕВ

Недалеко от нашей первой, оставленной квартиры в Предтеченском — квартира матери Бориса: второй этаж двухэтажного углового дома на Малой Грузинской. Мы позвонили; нам, сбегав по широкой лестнице, открыла пожилая прислуга, и Борис ведет меня под руку — вверх по крутым ступеням. Я немного волнуюсь: Борисова мать пригласила меня к обеду — она, год назад просившая меня по телефону «оставить ее мальчика», он должен учиться, и я, «взрослая женщина», должна это понять. Она, не поехавшая проводить сына, когда он уезжал за границу, и не бывшая на нашей свадьбе. Все это, должно быть, перевешено рождением внука!

Крошечный мальчик в чепчике и распашонке наколдовал это приглашение во враждебный мне до сих пор дом.

Говорю я себе — эта самая, о которой я прочла целую книгу Мопассана в имени Оболенских, летом — и так тосковала над ней! И как «обыкновенна» эта наша трагедия, сколько их на свете.

Борису этот, мне вражеский дом, — родной дом! Бодро и весело ведет он меня по так знакомой лестнице, привычной его шагу. А мои шаги сами собой идут медленней: непонятна и не из приятных навязанная мне роль: когда Андрюше минуло почти пять недель — мне исполнилось во-

снадцать лет... И не все еще знакомо мне сейчас в предстоящем — оно, как и многое еще впереди, — в первый раз!

Боря отворяет дверь, пропуская меня — в переднюю — но я в тот же миг перестаю воспринимать его: он нацело вытесняется идущей мне навстречу небольшой худой женщиной, еще не старой — Борины глаза, Борин нос — и в протянутом навстречу — полусмущенном, полунежданном объятье вырываются у нее — потрясенно — слова:

— Ася! Да ведь вы же — девочка!

Смущена и я. Стою с заложенными (как взрослая!) волосами, в платье со шлейфом... все в совершенстве тут — в первый раз!

В волнении, окунутом в застенчивость, в сложной смуте чувств, поправляя одной рукой взрослую свою прическу (мамина русая коса короной над пышностью моих русых волос, поднятых и заколотых), другой рукой придерживая шлейф черного бархатного платья, я вхожу с матерью Бориса в большую, многооконную комнату с длинным столом посредине. В смятении знакомства, более годажданного, отвечая на вопросы, с кем-то еще здороваясь, я не заметила, как и куда исчез Борис (мгновенно, может быть, позабыв меня, он растворился в атмосфере родного дома, может быть, ходит большими шагами, насвистывая, по своей бывшей мальчишеской комнате или уже уткнулся в распахнутый том Шопенгауэра? Брема? В то увлекательное ему путешествие Свен Гедина, которым нас, девочек, мучили семь лет назад в пансионе Бринк?), — одним страданием меньше! Не успела вспыхнуть тоской об оставленности еще раз! Еле успеваю отвечать на вопросы Ирины Евгеньевны и ее, с ней давно живущей подруги — Марии Александровны, столь противоположных друг другу наружностью, что я то и дело подымала лицо — к одной и повертывала его на уровне своего роста — к другой. Спасибо им за это бросившееся мне навстречу внимание, в котором я, не осознав ухода Бориса, не ощутив странности этого одиночества первых же минут в его доме, уже плыла по чьему-то доброму и ласковому отношению, в коем — это сердцем моим отмечалось — была нота виновности передо мной, запоздалой раскаянности за небрежение мной до сих пор.

Теперь думаю: что означал уход Бориса? Привычно-мужскую (плюс юношеская неопытность) небрежность?

Ирина Евгеньевна: продолговатое, худощавое лицо, темно-синие (темней сыновних) глаза, честно, прямо глядящие. Некоторая строгость рта, в улыбке мягчавшего, строгость в тугом зачесе назад ото лба волос, темно-русых с проседью. Ее лицо — на уровне моего.

Мария Александровна: круглое худое лицо, широкий разрез глаз, голубых, сейчас приветливых, где-то в глубине тоже строгих; правильность черт; помнится, бóльшая седина, чем у ее подруги. Ее лицо смотрит на меня с высоты ее роста, взгляд изучает меня и удовлетворен изученным.

Что единит этих женщин? Наряд. Он подчеркнуто скромен — темные юбки и английские кофточки (немного позднеей я узнала, что их совместная жизнь вызвана их общей философией: толстовством). Свободная от уз семейственности, независимая экономически, имея небольшие деньги по наследству, Мария Александровна, встретив сходность взглядов в многолетней, несущей иго семьи Ирине Евгеньевне, вошла подругой в ее дом, стала членом семьи, помогала растить детей и вести хозяйство. Дети — трое сыновей и дочь, сорванцы, платили неблагодарностью, дерзкими шалостями. Их отец, муж Ирины Евгеньевны, вел себя с подругой жены почти открыто-враждебно, насмешливо, иронично ко второму в доме экземпляру издания своей жены; обе женщины нерушимо хранили дружбу, стойко неся трудности семейной жизни и окружающих их характеров, как порученное им жизнью — дело. Помню, как этот рассказ мой заинтересовал Марину, как она слушала и расспрашивала, как входила во все подробности моих наблюдений над моей новой семьей. И меня спрашивали о сестре, издавшей уже две книги стихов.

Обед. Мы сидим за столом, рядом со мной Борис, чинно, я весела, — игра, на глазах старших, в «молодое счастье», презренье всех трудностей пережитых, блеск пылающей простоты ролей. Кто сказал, что все так стремительно-сложно, перепутанно и мучительно — не расплести узлов? Все в совершенстве — просто сегодня: я — молодая мать и жена, мы рассказываем о нашем сыне, мать Бориса

приедет на днях в гости к внуку, летом все поедем на хутор к отцу. Напротив нас через стол — брат. Вместо синих глаз — льдинки пенсне, за ними острый взгляд, карий; вместо золотой пышности волосяной — четкая подстриженность русых волос. Те же резкие ноздри, прямой нос (короча). Та же высота лба и внезапное сходство в улыбке. Он впадает в наш рассказ об Андрюше — он бывает у нас, видит его, подтверждает раннюю красоту черт. Лица двух пожилых женщин тают в умилении и заинтересованности, в предвкушении свидания. Все очень просто и ясно на свете. Блюдо сменяет блюдо, ловкие руки горничной приносят-уносят, хозяйственные приказания отдаются в заведенном порядке гуманного тона, в почти равенстве «господ» и «прислуг» толстовских, раз и навсегда принятых установок. От сладкого вина (хоть я только одну рюмку себе позволила — больше нельзя, кормлю) — чуть шумит голова, затейливый десерт (поданный самой поварихой Пашей, пожилой — царство пожилых женщин, мне так мало ведомое!) — упоительно прохлаждает, и куда-то летит день, час за часом, я волнуясь, запаздывая к кормлению, — и я это все повторю Марине, получая взамен — ее жизнь...

В тот же ли раз, нет — наверное, во второй — я сижу вдвоем у Ирины Евгеньевны, в ее комнате — налево по широкому коридору (далее — комната Марии Александровны, «Масейки», как звали ее в детстве Коля, Боря, Маруся; Сережа, первенец, старше их на несколько лет), может быть, комната Сергея Николаевича, их отца, кладовая и кухня в самом конце коридора — расположение их ускользает из памяти. Знаю, что Боря и Николай Сергеевич живут по другую сторону коридора. Там же ли комната Сергея Сергеевича? Его в Москве нет. Он почему-то в Воронеже лечится, недалеко от хутора отца.

Вечер. Глубокая шкатулка комнаты мягко освещена светом настольной лампы. В углах — тень. Смутно вижу широкую, скромную, покойную кровать, чинную. Над нею и над небольшим (вроде мамино, чудится) письменным столом — портреты в рамах, фотографии; может быть — дагерротипы, старинные, как были у мамы. (Маме было бы теперь сорок четыре года. Ирине Евгеньевне — пятьдесят

один.) Все в комнате идеально чисто, нигде ни пылинки, порядок в доме почти маниакальный, как я узнала позднее. Уютно и добро вводя меня в прошлое семьи и свое, времен девичества, мать Бориса показывает мне фотографии свои и детей с их рождения: большеглазых, величавых младенцев с тенью трагически-ранней интеллектуальности в рано обозначающихся чертах. Как они разны все и как чем-то сходны! Не оторвать глаз. Великолепен четырехлетний Сережа в глубоком кресле, в старинном костюмчике — тяжелоглазый, чуть свысока глядящий, чуть иронично — не ребенок, а перл!

Коля — темноглазый красавец в матросском костюме... Нет, в лице второго сына моей свекрови — самосознание и холодок. Что-то перебирают руки, женские, пожилые, маленькие, худые, как и она вся, они скользят по блестящим пластиночкам фотографий, сортируя их, быстро отодвигая иные. Я ловлю одну — большелобая девочка с туго завязанными — бант надо лбом — волосами. Печаль в светлых глазах; выражение несчастья.

— Это кто?

— Ах... — перебивая меня: — Марья Сергеевна. Вы ее видели, кажется. Мне тяжело о ней говорить. В семье, Ася, бывают такие случаи: неизвестно в кого рождаются или берут от родных все дурные черты. Я когда-нибудь вам расскажу...

Она тянет мне что-то явно другое, потому что ее нахмуренность, горькая, дала место умиленному воспоминательному восхищению, с которым борется в улыбке — грусть. И одно слово: «Володюшка...» Ясноглазое веселое личико, круглое, совсем маленького. — «Какой мальчик был...» — одними губами.

Я гляжу. Хвалю, сожалею — отдаю дань ее горю, чьей-то ушедшей во тьму, так радостно начавшейся жизни. Но я вся рушусь в другое лицо, не ушедшее! Оно здесь, в комнате через коридор, это восьмилетнее, как поясняет его мать, лицо Бориса, оно разительно то же, которое со всего разбегу льда, коньков, музыки врезалось в мое сердце и жизнь десятилетия спустя: величавостью взгляда напоминая самого старшего брата; спокойно, трагично-спокойно раскрыты мальчишеские, яркие, почти огромные в худобе лица глаза;

горбинка, чуть обозначающаяся, тонкого носа с дышащими как на ветру ноздрями. Надменный? Скорбный? Чем-то и беспощадный, недетский рот. Детский проборчик коротких, чинно подстриженных светлых волосиков; детская курточка нетеперешнего фасона; вышитый якорь. Вот какой он был семи-восьми лет, когда не отрывался от Мцыри! Тонкая шейка — лицо поднято, как цветок на стебле, и такая страшная грусть веет от золотого росчерка «Фотография Асикритова», что стою, онемев, забыв, где я, что я, кто со мной, еще раз и еще клянясь в верности этой встрече, этому человеку, перечеркнувшему мне все дотоле бывшее, все радости и печали встреч — и Нилендера, и Луиджи Леви и — несть им числа...

Но уют чинной комнаты, где шло отрочество Бориса, где мне рассказывает о себе его мать, тень в углах и свет на разложенных — складывает их — фотографиях возвращает меня к дню, к минуте, к обязанностям визита: и я слушаю рассказ доверяющей мне старой женщины, становящейся мне родной, — давние годы ее жизни в доме отца в костромских лесах, о встрече со щеголем-лицеистом, о их свадьбе и о ее горестях и слезах на хуторе среди степей Задонска-Воронежа, в нелюбимых и чуждых степях...

Я слушаю эту простую, чистую, женскую душу, уже вошедшую в тайну старости, мне неизвестную, и смотрю на фотографию молодой девушки в старинном платье, в старинной прическе; она облокотилась о высокий столик и смотрит на меня прямым взглядом Ирины Евгеньевны. Она ничего не знает о будущем — как не знаю я. Она еще только приехала из тех костромских лесов в Москву впервые, в Москву, где в Неопалимовском переулке живет десятилетняя Маня Мейн. Они, может быть, встретились где-нибудь в московской конке или в магазине, не заметив друг друга, и Ирина Клементьева* не знает, что младшая дочь Мани Мейн будет женой ее, Ирины, младшего сына, и эта дочь войдет в Ирину комнату и будет слушать, юная, повесть Ириной юности...

Как таинственно все на земле, как волшебное... Вот Ирина Клементьева со своим женихом Сергеем Николаевичем

* Девичья фамилия матери Бориса.

Трухачевым, в модных нарядах тех дней — иллюстрация к тургеневскому роману! Ничего не вижу сходного в этом щеголе — с его сыновьями, ничего не знаю, читаю последние главы книги: слушаю голос матери о трех взрослых ее сыновьях — о каждом тон отчетливо иной; с волнением — через нее — вхожу в среду этих трех мужских душ, постигаю что-то, до сегодня совсем неизвестное.

Она говорит о Сереже тоном восхищения его ранним развитием — она еще в тех днях, когда им гордилась, но в розе ее счастья о нем оса тревоги и горя — о его болезни: он пьет. Коля: явное поощрение матери всему в нем — он умен, четок, горд, пробивает себе путь. И тепло сияют ее глаза, когда о Борисе, о младшем, она тихо произносит: «Мой Вениамин»...

Слушаю — и уже несчастна: постигаю всем существом, что она не знает своего сына, что ей — никаким образом не понять моих отношений с ним, моих мук о его закрытости и непонятности, ни моей страстной тоски о какой-то его обреченности!

Она, его родившая и вырастившая, о тайнах его души не имеет понятия. Ей показалось бы чьим-то злым вымыслом все, что меня в нем терзает... Как поверила бы она в тот один факт, что он оставил меня, беременную его сыном, ее внуком, — одну, в далекой стране, семнадцати лет, обидясь за резкое слово о его брате... (Мой рот нем.) Я уже полюбила его мать. И не буду второй осой во второй розе ее сердца...

Прыжком назад в только что забрезжившую мне радость тепла и уюта, с мамой ушедшую, — я греюсь о наше с ней сходство в отношении к Борису, от нее я только что услышала слово ласки, которым иногда зову ее сына: Борюшка. Так зовет его и она. Во взрыве нежности к ней за одинаковость этого обращения я хотела бы утопить всю тягость пережитого, сжечь о его свечу мотылька своей постоянной тоски.

И еще мне хочется спросить — броситься в спор — убедить-упросить-опровергнуть ее холод и отвержение дочери, этой трагической девушки, так вошедшей в мое сердце. В четырнадцать лет она ее поселила отдельно, платя за ее квартиру и стол... За что такая жестокость? Разве не тот же рок в до-

черях, что в сыновьях? Но я чувю, что мне рано говорить об этом. Подожду! К нам шла «Масейка», звала к чаю.

Странное, необъяснимое совпадение! В то время как началась и крепла моя дружба с моей бывшей «обидчицей» — матерью Бориса, — началось охлаждение в моих отношениях с ним. Чем вызвалось? — не знаю и по сей день. Что-то враждебное начало скользить между нами. Он становился моим обидчиком! Ребенок, ради которого мы, врозь после первого расставанья, соединили наши жизни, который так тепло спаял нас в летние дни его ожидания, теперь, родившийся и на наших глазах растущий, только на часы и минуты любования им и умиления, интереса — вновь единил нас. Фон наших дней, шутливость, веселье еще в первой квартире в Предтеченском переулке — в этой, нами взятой за уют и старинность квартире — иссякли. С начавшейся семьей, во взрослых ролях мужа и жены, какая-то горечь пала на нас, на каждого — по-своему. Борис часто и надолго уходил — к товарищам? К матери? Его стали почти ежедневно навещать его друзья и друзья брата Николая Сергеевича: весельчак, гитарист, студент Зубков и еще один их общий товарищ, фамилия которого исчезла из моей памяти — написала и вспомнила — Макаревич!

То общее времяпрепровождение, в котором шли наши дни летом, теперь, с осени, — как-то само собой прекратилось. Юность, новизна, веселье стали прошлым. словно вздох лег между нами. В Борисе скользили холод, жесткость.

Я помню, как вечером, зимой, я спускалась по крутой каменной мокрой и темной лесенке, ведущей в кухню. На мне было черное платье из бархата, круглая бриллиантовая брошь и кольцо с бриллиантом. Выйдя от тепла вечно горящего камина, я куталась в боа и дрожала от холода. Я шла сказать что-то об ужине. И вдруг — я остановилась на ступеньках, и у меня безумно забилося сердце: «Когда-нибудь, и это наверное, это более наверное, чем этот день, я буду лежать в точно таком же мраке и сырости, в полном мраке и под тремя аршинами земли!»

Рванув дверь, я громко крикнула прислуге приказание и, не входя в тепло освещенной кухни, держа длинное платье, как бы закусив удила, улыбаясь, побежала наверх.

У камина, в комнате Бориса, сидели у огня несколько человек и, увидев меня, уже приготавливали мне место. Я поглядела на них страшно-острым, внимательным и одновременно широким взглядом и молча села у огня. Меня укрывали маминой бархатной шубой. Прекрасные лица всех нас были ярко освещены.

В комнате Бориса, часто и при мне, пели романсы и песни, и меж них — песню о Стеньке Разине, утопившем княжну. Мне — не знаю, но тонко чувствую почему, каждый раз при этой песне становилось горько, одиноко, оскорбительно, меня заливали тоска и негодование до самых краев сердца. Я слушала, опустив голову над чашкой чая, веселые молодые мужские голоса, певшие так беспечно, так юно, так пошло-юно, как мне казалось, гибель персидской княжны от руки атамана Разина, — и мне мнилось, что они сами таковы, все, до единого — беспечны, грубы, поверхностны, через край налиты своим мужским правом, гордостью, спесью, каждый из них бросит в воду «княжну», как только «друзья» станут не его дороге с насмешкой...

Они пели. И мне казалось тогда, что это меня они топят, во мне все кипело и угасало, мне хотелось встать и сказать им, что я их презираю, но что-то горечью держало сжатым горло, в котором уж стоял и душил меня — клубок.

Я постоянно жила на самом краю души. Это была лихорадка. Я тогда звала только слова, как: смерть, любовь, безнадежность. Мне не хватало воздуха. Жизнью всех вокруг были: спокойствие и обыденность. Моей жизнью были: нестерпимая красота — и смерть.

О всех я тогда могла бы сказать брезгливо: «Как они малы... малы... малы...»*

Страницы моего дневника стали горьки. В них звучало негодование. Вспоминая Борисов ответ мне: «Прошное? А что такое прошное? Сломанная картонка!» — я писала: «Аплодирую Вам!»

Борис часто бывал с товарищами. Но не товарищи восставали против меня, нет. Они были ко мне веселогалантны, внимательны, но эта внимательность была вне-

* Из моей книги «Дым, дым и дым», 1916.

шняя, как к жене друга. (Из них никто не был женат. А он был моложе их, ему было всего девятнадцать.)

Из среды этих чужих мне и ненужных людей выделялся Боря Бобылев, красивый юноша, друг Бориса с двенадцати лет. Сначала я как-то мало обратила на него внимания. Теперь оно рождалось и крепло в моем начавшемся одиночестве, в чувстве утраты Бориса, мне не подвластной.

Они были однолетки. У них было одно имя, одно отчество. И они были необычайно привязаны друг к другу. Среди их бесед часто упоминалось еще и третье имя, имя их общего друга по той же седьмой гимназии (на Страстной площади), наискось от Страстного женского монастыря, где учился и которую кончил и мой брат Андрей, — имя Коли Миронова. Шутивно он звался «Мироныч» (как Бобылев — «Бобылик»). Он опаздывал в Университет, куда поступил на юридический. Его ждали из Сибири, где служил его отец. Бобылев был студент-химик, химией увлекался и часто возвращался к этому влечению в беседе. Я слушала молча, с чувством, что я старше его — вдвое. Мне только что минуло восемнадцать. Боря Бобылев был единственный из друзей моего Бори, кто, не застав его, не уходил, а дожидался, говоря со мною.

Я никогда не рассказывала ему о Борисе — ни о знакомстве нашем, ни о заграничной поездке, ничем не давала понять наших рушащихся отношений. Все фактическое — отсутствовало. Но я не могла играть в веселость. Грусть, одинокость, удержанный вздох были ясны. О них — и в молчании горело вокруг меня все. Вот в эту печаль вошел Боря Бобылев, как рыцарь, как брат, как нежнейший друг.

Он ни слова не говорил о своем отношении ко мне и не добивался понять мое. Он просто дышал моим воздухом, входил ко мне, как домой, просто радовался, что я есмь. И с каждой встречей мы все глубже погружались в эту радость общения, которому не искали имени.

Что я знала о нем? Что он живет отдельно от родителей, в комнатке в Кривоарбатском. Что у него есть отец, которого он любит, мать, которая не любит и не понимает его,

своего старшего сына, все внимание отдавая младшему — Юрочке, подростку-спортсмену, снимающему телефонную трубку не со словами: «Я слушаю» или «Я у телефона» (как мы все говорили), а на иностранный лад возглашающему: «Алло!» (имитируя английское произношение).

Еще я знала из рассказов моего Бори, что «Бобылик» делал прыжки из третьего этажа и не раз пробовал разные лекарства и снадобья, с которыми ему приходилось иметь дело в занятиях по химии, рискуя желудком и головой — так, для пробы и интереса. О каких свойствах это говорило? — я не знала, не расспрашивала. Что-то родное было в этом. Кажется мне, что основное чувство мое к Боре Бобылеву — восхищение его пониманием, благодарность за то, что мне, тогда так трудно дышавшей, в каждый его приход становилось легче дышать.

Он теперь приходил — ко мне. Мы сидели на диване в моей маленькой комнатке под бабушкиным портретом, парижскими двухсвечными бра и венецианскими бусами, среди моих детства и юности, и я читала ему дневник моего отчаяния. Оно было не о Борисе — а шире и дальше, оно пропитывало все вокруг. Мне не виделось ничего впереди, что бы давало надежду. Религия во мне рушилась, таяла. До рождения Андрюши я еще молилась (и Борис говорил мне: «Молитесь, Асенька, я люблю, когда вы молитесь...»). Теперь некому было говорить это, и то смутное тепло, которым меня грела молитва, уступало место трезвой горечи поселившегося во мне безверия. Какой-то ужасный холод начинал пронизывать все.

Но теперь приходы Бориса Бобылева ко мне начали новую эру в жизни нашего домика: когда возвращался домой Борис, мы переходили к нему, зажигали камин, кто-то из нас шел купить вина, торт, и мы долго засиживались перед огнем, и все, кто к нам приходил, — его товарищи, приехавшие навестить меня Марина, Сережа — все присоединялись к нам. Марина читала стихи. Боря Бобылев восхитился ее стихами и ею, но и Марина была в восхищении от него, любовалась им, говорила ему нежные слова за меня, радовалась моему отдохновению. Как всегда, я ей все рассказывала, она слушала с жарким вниманием и со-

чувствием. Ее единение с Сережей не имело бреши, они принимали все единым дыханием, она была счастлива им и дочкой, звала меня к себе, утешала. С Сережей моя дружба крепла.

В наш особнячок на Собачьей площадке позвонил долговязый оборванный золоторотец*. Он был трезв. Спросил меня и передал мне конверт. Почерк был незнакомый. Нет, будто раз я уже читала:

«Дорогая Ася, — писал кто-то, — шлю Вам этого человека, не бойтесь ему доверить пятнадцать рублей. Он мне их передаст в сохранности.

Я попал в беду и срочно нуждаюсь в помощи. Прошу Вас, выручите меня. Я непременно верну их Вам.

Ваш Сергей Соболев».

Сережа Соболев! Мой знакомый по катку, подросток-юноша, такой чинный и вежливый! Тот самый, у которого я весной перед свадьбой была в больнице, тоже вызванная письмом, бродила с ним по большому саду, удивлялась ему и другим мужчинам в серых и синих халатах. Их лечили от пьянства. Не вылечили дружка отрочества, так изысканно ведшего меня за руку по льду, уговаривавшего учиться фигурному катанию, а не мчаться, как мальчишка, на беговых...

— Подождите минуточку, пожалуйста, — сказала я, с беглым любопытством оглядывая бородатого оборванца, — я сейчас к вам выйду!

Он остался во входном коридорчике парадного хода с застекленной стеной, а я бросилась назад в дом.

— Что это за тип? — встретил меня Борис, уже шедший мне на выручку. — Характерное лицо у него, между прочим. Герой Горького! Мелькнул мимо окна — и звонок. Я думал ко мне, из деревни... Он принес вам письмо?

— Читайте.

Борис прочел.

— Ася, ему надо дать денег, у вас есть?

*Так звали бродяг, отпетых людей.

— Есть. Я сейчас принесу.

Когда я вышла с деньгами, Борис оживленно беседовал с золоторотцем.

Глава 3

ПАПА У НАС. ВИЗИТ К НАМ ИРИНЫ ЕВГЕНЬЕВНЫ. КОРМИЛИЦЫ. РАССКАЗ НИНИ

Папа часто бывал у нас. Заходил, делая крюк, идя из Музея; справлялся, не холодно ли с наставшей осенней непогодой, распоряжался присылкой березовых дров первого сорта. Выносили Андрюшу, папа смеялся с ним. Спрашивал, не хочу ли я новое платье. Рассказывал о Музее.

Я показывала ему, как удалось в маленькой столовой, оставив вперед стол, поместить у стены, составив весь им подаренный мне гарнитур гостиной мебели красного дерева с медными прикладками (им выбранный мне без меня, с Александрой Олимпиевной) и за его чинные строгие очертания мне не понравившийся, о чем я так же чинно, из деликатности, молчала, благодаря и хваля. Поздней я сумела еще с одной перестановкой мебели при переезде — продать этот гарнитур в уверенности, что папа, раз увидав его утвердившимся у меня, о нем позабудет. Так и вышло. Правда, у меня очень билось сердце, когда он в первый раз после этой продажи, после исчезновения «Жакоба», вошел в нашу столовую, но, занятый своими мыслями, он, наоборот, нашел, что у нас все очень хорошо, даже стало как-то просторней, чем ему прежде казалось, а то что-то уж больно густо было наставлено. Я благодарно, в сердечной тронутости усаживала его за чайный стол.

Борис, не более папы замечавший все бытовое, никогда ни во что не вмешивавшийся в доме и хозяйстве, оживленно рассказывал папе что-то из прочтенного им в книгах. Папа слушал явно одобрительно и мягко, издали начинал разговор о необходимости систематического учения, о выборе факультета; расспрашивал о брате Бориса — Николае, студенте, виденном им на моей свадьбе, который понравился ему своей деловитостью. Потом, взглянув на часы,

медленно вставал, целовал меня, молодые люди и я проводили его до передней...

В подробностях рассказывала я Марине первый визит ко мне Ирины Евгеньевны: в парадном, несмотря на всю скромность, черном платье, вошла она к нам с Борей, взволнованная тем, что она впервые входит в дом своего женатого сына. Первенцу ее — Сергею Сергеевичу — шел уже двадцать седьмой год, Николаю Сергеевичу — двадцать третий, Боре шел двадцатый. И у него был сын!

Сюда примешивалось и другое волнение — от вины ее, что так долго она не делала шагов к знакомству со мной, бывшей еще моложе ее сына, поверив кем-то брошенной лжи, что мне — тридцать пять лет!

Теперь это была сама доброта, само внимание. (Тогда ли она подарила мне золотое украшение с бриллиантами?) Она и Мария Александровна подарили мне: одна — брошь с бриллиантами, другая — кольцо с бриллиантом. Они чудесно горели, рассыпая цветные искры из блестящих прозрачных граней. (Я любовалась этими искрами, но почему-то они всегда вызывали во мне, как и мамыны, приступ печали. Почему?)

Мать Бориса обходит наши маленькие, старинного стиля владения, все осматривает, хвалит, советует — деловито, любовно и просто, и мне, как и в те свидания с ней, делается хорошо, уютно, радостно, сложности слетают с души, как пыль, и в зажегшейся мечте о каких-то простых, добрых днях я хожу с ней, помолодевшая, повеселевшая, по комнатам, и мне жаль, что нет сейчас папы, чтобы порадоваться на мою жизнь. (В занятости папиной, в его новом директорстве после открытия Музея изящных искусств, в смуте моих дней так и не состоялось это, такое нужное знакомство... Мне и теперь — жаль. Теперь, когда их давно нет, да и меня почти нет уже...)

Помню ее, наклонившуюся над Андрюшей, распеленутым на кровати, любующуюся им и рассматривающую со вниманием его черты. Чужая, как я в семье Трухачевых, больше страдавшая в ней (от мужа), чем была счастлива, она со страстной привязанностью к своей родне — радостно улавливала во внуке сходство со своей родней.

— Клементьевский нос! — сказала она, с улыбкой выпрямляясь и взглядывая на меня. — И какие глаза! Сколько детей видела — редкие, Ася, глаза! — И, деликатно: — Похож и на вас, и на Борюшку!

А в дверях стояла маленькая Анна Ильинична — «старая няня», сложив, как всегда, на животе большие, жилистые, старые руки, темно желтевшие на белизне фартука, с умилением — и в то же время сохраняя достоинство дома — глядела на бабушку своего питомца, почтившую наконец сына и невестку своим посещением.

Через два месяца кормления грудью у меня внезапно пропало молоко. Мальчик кричал, не удовлетворяясь сладкой водичкой, негодовал, когда, по совету доктора, ему приготовили смесь сливок с водой, сахаром. Я решила последовать примеру Марины — взять кормилицу. Тогда были специальные заведения, где можно было выбирать подходящую женщину. Что они чрезвычайно капризны, часто командуют в доме, куда поступают, — это было мне давно известно не по одной наслышке: Марина, не смогшая кормить (болела), уже мучилась с кормилицей.

Я поехала к ней.

Марина встретила меня в таком же смятении:

— У моей неподходящее молоко — у девочки расстройство, кричит — больше невозможно терпеть! Поедем вместе в контору. Бросаешь? Нет молока? У меня совсем не было! И такая боль... Едем! Авось найдем каких-нибудь лучше моей! Девочка совсем извелась!

Началась пора мытарств: мы ездили, сговаривались, привозили, начинали привязываться, первые дни радовались наставшему миру — и снова случалось что-то, что нарушало его: заболел ребенок кормилицы в деревне, она уезжала со слезами от уже полюбленного ею, будто бы ее ребенка, неохотно расставаясь с хорошей сытой жизнью, подарками, вежливым обхождением, обещала вернуться.

Но Аля и Андрюша кричали, худели, и мы ехали за новой кормилицей. Иногда молоко оказывалось слишком жидким или не в меру густым, доктор советовал сменить кормилицу. Это мучение Мариного и мое продлилось

несколько месяцев, то она ко мне, то я приезжала к ней, и мы ехали всегда вдвоем, помогая друг другу в новой для нас беде.

Со мною же случилось следующее: через несколько дней после пропажи молока — оно ко мне вернулось. Доктор сказал: «На нервной почве пропало и может повторяться». А сын уже привык к кормилице, был здоров. И я поверила доктору, побоялась отпустить ее и вновь продолжить кормление (что единственно было надо, так как пропажа была в связи с рано вернувшимся периодическим женским заболеванием). Я же, не зная этого, неистово промучилась болью и жаром, смиряя приток молока...

Вот это, с виду не такое уж значительное обстоятельство, моя покорность ошибочному совету доктора, внесла грусть и тайную обиду в единственно твердую точку моей жизни — материнство: фактом приглашения в дом кормилицы у меня был отнят ребенок. Не к моей груди он теперь тянулся, не на моих руках засыпал, другая — во имя его здоровья — заняла мое место. Я перестала быть нужной моему сыну, другая стала нужна. Волной прихлынувшее в грудь молоко советом доктора, наполнив меня жаром, болезнью, болью, принудительно засыхало, засохло, иссыкло. Боли прошли, грудь развязали, два месяца кормления ребенка, умиленных и радостных, стали сном. Я снова — как девушка — тонкая и освобожденная от нежного труда матери, хожу по комнатам от книги к дневнику, захожу в детскую, подхожу, стою над Андрюшей на руках третьей кормилицы (вторая кормила недолго), любуюсь им и, вздохнув, лишняя здесь — ухожу к себе. Жизнь старой няни, первые недели Андрюшины проводившей со мной над ним, плохо спавшим, ночи, также изменялась: она, став тоже как бы не нужна, перешла жить вниз в кухню вместе с Устюшей. Вскоре Устюша собралась ехать на родину, потому что я потеряла ее паспорт и дала ей денег съездить домой «выправить» новый паспорт (до этого мы все, хозяева и гости, усердно искали Устюшин паспорт: я помнила, что положила его в книгу. Мы перебирали книгу за книгой — все их множество — и не нашли. А старую няню нельзя было отпустить из-за ее опытности с детьми, да и из-за ее старости.

Пришлось проститься с Устюшей. А когда она, благодаря за поездку на родину, где повидалась с близкими, показала мне свой новый паспорт, я взяла в руки какую-то книгу, рассеянно открыла ее — там лежал Устюшин паспорт, две недели бывший в доме «притчей во языцех» и постоянным занятием рук.

— Ася, — обратилась ко мне однажды Ирина Евгеньевна, — я должна вам сказать про Марию Сергеевну, — не пускайте ее к себе в дом ни под каким видом: она вас разведет с Борей! Помните мои слова.

Я горячо протестовала, уверяла, что Маруся меня любит, что я ее люблю... Не помогало.

— Помните мои слова! — повторяла мать Бориса. — Вы не знаете Марию Сергеевну...

В наставшей после прихода в дом кормилицы новой полосе одиночества я села за письменный стол. Всю сложность, всю нежность моих отношений с Борей Бобылевым, нашу удивительную бестелесную дружбу я вложила в тетрадь. Родилась повесть. Я не нашла ей названия. Теперь, когда приходил Бобылев, я читала ему эту повесть. Он ждал продолжения. Он восхищался написанным.

Повесть цвела, росла, разрасталась в целые заросли. Мне становилось легче дышать.

Иногда что-то из нашего с Борисом прошлого — шутиливость, веселая дружба — вдруг врывались вновь в наши дни. Как случилось, что мы оказались вместе в каком-то фантастическом магазине? Два этажа. Бесчисленные комнаты, полные музыкальных шкафов — вроде тетиного (дедушкой в Вене купленных часов-оркестра). Продавец — искусный в деле показа покупателям замысловатого музыкального товара — водит нас по этим бредовым инструментам уже более часа. Каких здесь только не было!.. Часа? Может быть — двух? Наш вопрос о чем-то недорогом, скромном (точно о чем — я забыла, может быть, о пианоле?), упав на плодородную почву продавцового таланта, дал такие всходы ответов, что через четверть часа мы, в его гипнотическом обращении, превратились в неких

владельцев музыкальных магнатов, для вкуса которых неудовлетворительны и дешевы три четверти фантастического товара. Только его меньшая часть — шкафы самые изысканные, баснословной цены, могут нам подойти; как персонаж зловещей гофмановской сказки, он зачаровывает нас все круче и безвозвратней. Мы лишены способности сопротивления. Наша воля, наш разум — парализованы. Речь — иссякла. Под повелительным красноречием гида мы загипнотизированно изучаем конструкцию нашей, уже почти решенной покупки: неужели в нее ухнет вся цена недавно проданного, к зиме, мотоцикла и оставшиеся от путешествия акции, мамини? Распахнутое чрево шкафа красного дерева, где поет оркестр скрипок, приковало нас к месту. Мы безгласны. Сказочная цена невероятного музыкального инструмента полнит нас ужасом. Я не смею взглянуть на Бориса, он — на меня. Паук-продавец опутал нас тончайшей паутиной лести, — это легчайший шелк, сияющий как солнечные лучи: мы — единственные покупатели, достойные этого инструмента! Он это понял, как только мы вошли в магазин. Наше понимание музыки, говорит он, вызывает необходимость этой покупки. Скрипичный шкаф — редчайшая вещь! Уника! Еще никто никогда...

Как вырвались мы из тенет этого редчайшего паука? Как сумели мы стряхнуть чары его гипноза? Этому помог только случай: продавца отозвали. Извиняясь, что он на мгновение отлучится, он — во взволнованной спешке — исчез. Тогда мы, просыпаясь от злого очарования, осмелились взглянуть друг на друга. В наших глазах, встретившихся, сверкал испуг: еще миг — и мы бы связали себя обязательством стать владельцами скрипичного шкафа-оркестра!

...Мы спаслись бегством. Мы вдохнули полным дыханием — только на улице. Мы летели по ней как Евгений от Медного Всадника. И за нами — казалось нам — неслись звуки скрипок.

Меня навестила Таня Тургенева. Она была замужем за Сергеем Михайловичем Соловьевым, другом Толи Виноградова. Выглядела очень, очень молодой «дамой», была счастлива,

прелестна и весела. Посидела она с нами у горящего камина. Вспомнили ли мы с ней гимназию? В те ли дни ко мне пришла и Галя Дьяконова. Я помню ее в нашем домике — как сновидение...

Глава 4 НИКОЛАЙ МИРОНОВ

...Жизнь приходит не с грохотом и громом,
А так: падает снег,
Лампы горят. К дому
Подошел человек...
М.Цветаева

Я возвращалась домой по пушистому снежку арбатским переулком, неся торт. На мне была черная плюшевая шубка, подарок папы. В окнах Бориса я еще издали увидела огонь. Лампа кидала мягкий отсвет неравно освещенных окон на снег, делавшийся золотистым. Ботинки весело топали по снежку. Минувя горести, безысходности и печали, мои восемнадцать лет дышали легко и радостно в этот зимний вечер, отчего-то беззаботный и светлый под черным ночным небом. Я позвонила. Кто-то бежал отворять по коридорным ступенькам. Боря Бобылев! Зеленая студенческая тужурка, добрый взгляд серо-голубых глаз, тонкие черты юношеского лица. Какая преданность в улыбке полного чистого рта. Мальчик мой! Мой чудесный друг... Юный, еще не коснувшийся бездн. Благословен да будет твой путь!

— Боря дома? У нас есть вино. Берите торт! Я немножко замерзла! Камин затоплен?

Я входила в крошечную переднюю, увешанную, густо, шубами.

— Миронов приехал! — сказал Бобылев, снимая с меня шубу. Его лицо сияло. Навстречу нам шел мой Борис, движеньем лба отбрасывая длинные легкие волосы, золотые. За ним был еще кто-то. Ниже обоих Борисов навстречу шел человек, незнакомый, тоже в студенческом. Но тотчас же

пропали и зеленый цвет формы, и рост, и факт незнакомства — были одни глаза, карие, широкие, длинные, и как ласточкины крылья — раскинутые черные брови. Они длинным взмахом своим продолжали взгляд, и это был один миг, но мои глаза утонули в нем, и рука обняла мою руку — большая, теплая, сдержанно-чужая рука. Я увидела прямой пробор черных волос, прямой большой нос и маленький рот, одновременно добрый и твердо сомкнутый.

— Миронов, — сказал он, и это одно слово не погрузилось в шум голосов, а подержалось в нем, как лодка на узоре воды.

Затем вечер пошел своим чередом, и первое впечатление, странность его — потухла, отошла куда-то назад, разумно и равнодушно, как случайное, недостоверное среди таких двух достоверностей, как Борис и его друг Боря, прочно живших в душе. Но я отметила и в этот, и во все следующие его приходы, что он совсем другой, чем они оба. Он меньше говорил, речь его была иначе построена, что говорил о вещах гораздо более простых, веселее и спокойней, чем оба его друга, и казался мне менее интеллектуальным. И был в нем покой каких-то более взрослых лет, чем их лета, а он был их возраста. Мне он много более чужд, чем они. В его широком, всегда неожиданном, отличном от их юморе было несходство с тем, что я любила. И держался от меня отдаленно, в этом не было возможности дружбы. Миронов — просто совсем другой человек, чем Борис и чем Бобылев. Я не совсем понимала их близость. Миронов часто говорил о Сибири, которую любил каким-то обожаньем, рассказывал о Байкале с таким затаенным восторгом, который был мне чужд. Позже Марина сказала мне о нем: «Миронов любит природу как-то вне своей души, какой-то одержимой любовью». В этих словах Марины был тот же оттенок далекости от такого, какой был во мне.

Но не помню, в первый ли вечер после вечера, камина, торта, вина засыпая, — или в другую ночь, я вспомнила вдруг из моего четырнадцатилетия то лицо, виденное с Мариной на спектакле в театре Корша: оно принадлежало человеку, стоявшему за роялем и глядевшему на ту,

которая играла, на женщину, несчастную в доме мужа, и которая потом, схватив канделябр, подожгла дом. Он глядел на нее над клавишами неотрывным, «неотвратимым взглядом»*. У него тоже был прямой пробор черных волос, были раскинуты брови над огромными темными глазами, лицо из сумрака глядело бледностью, худобой, резко сужено книзу. Это было лицо из сна. Пьеса называлась «Эрос и Психея».

Рождественские каникулы. Бобылев чаще бывал у нас — лекций не было. Почему в карнавальном маскараде я не помню ни Бориса, ни Миронова? (Я звала его «Николай Николаевич».) Марина и я шили костюмы: себе — два костюма пажа (шаровары, бархатные пелерины, береты со страусовым пером, чулки, туфли с пряжками). Пелерины (полуплащи) — темно-малиновые. У нас кудри и маленькие блестящие шпаги. Бобылев — Король, его одеяние зеленовато, на голове — картонная корона, оклеенная листовым золотом. Он очень хорош. Я не помню других костюмов, но с нами едут и Эфроны, и Пра. Куда?..

В какие-то незнакомые мне дома. Мы танцуем вальс. Марина в костюме пажа — восхитительна. Ее лицо римского отрока оживлено нежным румянцем. Она прелестно танцует вальс, преодолевая застенчивость. В ее румянце нет оттенка грубых румянцев: кирпичности. Ее щеки похожи на лепестки роз, дышащих легчайшей тенью малиновости, светлой. Мне чудится, за далью лет, Сережа в костюме принца. Но не более явно, чем сон.

Когда мне бывает тяжело, одиноко, смутно, я еду к Марине.

Мы, как всегда, много рассказываем друг другу, много смеемся. Идем в детскую, любимся Алей. Ее глаза еще много больше, чем были Андрюшины, светло-голубые. Аля плачет басом. Она очень упряма. С кормилицей опять нелады, снова придется ехать в контору. Она очень неряшлива, капризна, не умеет ухаживать за ребенком. В доме уютно. Маринина узкая комнатка в два окна — рядом с Алиной де-

* Как сказано у Тургенева в «Отцах и детях» об отце Базарова — у постели умирающего сына.

тской; наверху еще кладовая, в которой нет ничего, кроме веревок с Алиными пеленками. Кормление Марина бросила с большой радостью, оно ей не далось. Ей непонятна моя печаль, что пришлось бросить кормить, и я не говорю с ней об этом. В ее жизни все сейчас хорошо. Но во всем, что тяжело в моей, она мне сочувствует и всегда (и Сережа тоже) старается меня утешить.

Андрюшина кормилица — милая, ласковая, миловидная (помнится, Феня?) — вполне незаметно увезла из сундука почти все мое приданое.

Это было совершенно невероятно. Но, открыв сундук одним из ключей, которые я всюду бросала, я удивленно уставилась в его открывшиеся глубины: сундук был на три четверти пуст. Ни стопок полотняного, еще мамино приданого, белья, простыней с ее метками, ни материй — и разостланных и штуками, закатанными на палках, ничего из составлявшего главное содержимое большого кованого сундука. Прибежавшая на мой зов няня («старая няня») всплеснула руками. На нее было больно смотреть.

— Добросались связкой ключей! — причитала она. — Разве в нынешний век советов старших слушают? Сколько раз я вам говорила: спрячьте ключи! Нет!..

— Да что ж я, ключница, что ли, ходить с ключами и думать о них? — отвечала я. — Я же не Плюшкин (я вам о нем потом расскажу!) — но главное, няня, чтоб не узнал папа. Для него это будет беда — столько лет хранил мамино... Научите меня, как от него скрыть?..

— Она, она это, — шептала старушка, — говорила я вам: не раскрывайте при ней сундук! Нет, всем верите! А она...

— Но она же милая, добрая, я ее так полюбила...

— Вот она, добрая-то, на поверку и выходит подколотная змея... Ах, негодная! Хорошо, что вы-то мне верите, знаете — я господское, как свое, берегу, у графа Сергея Львовича все добро на моих руках было. Шестнадцать лет я у них прожила... А она, негодная, польстилась, да и на меня тень...

— Няня, перестаньте! У нее молоко пропадет со страху... Ее надо спросить потихонечку — мне Андрюша дороже!..

И вот, после беседы старой няни с кормилицей, у моих ног лежит молодая, кроткая, милая женщина — в рыданиях, не веря моему обещанию не отдавать ее в полицию! Отчаяние нас обеих — равно. Мое звучит так: «Умоляю вас, перестаньте плакать! У вас испортится молоко! Пожалейте маленького! Он-то чем виноват? Неужели ж вы мне не верите? Я же даю вам слово! Никто не узнает! И никуда я вас не отправлю, в деревню — тоже. Будете жить, как жили. Кормить. Но войдите же в мое положение: отец берег все эти вещи, еще моей матери, много лет! Мне они дороги — память матери! В вас же есть сердце?! Няня правильно выдумала: поезжайте с ней, куда вы их увезли, и что еще цело — будьте же честной! — привезите назад. Чтоб хоть не так пусто в сундуке было — чем я его наполню, если отец скажет: «Открой-ка, покажи материи мамины! Тебе надо шить платье!» Господи! Перестаньте же плакать, встаньте сейчас же, успокойтесь, умойтесь... Молоко пропадет!» Ее отчаяние так звучало: «Бес попутал! Сестра уговорила! Чтоб ей на том свете... Отродясь нитки чужой не брала!.. Нет, открой да возьми, спрячу, никто не узнает... Она ж мне как мать!.. Характер у ней — и не приведи Бог! Сгубила она меня, окаянная, пропаду я теперь в полиции, под каторгу меня подвела...»

Так мы дуэтом говорили — сколько хватило сил.

Они съездили на квартиру к сестре и привезли две вещи: рулон серебристой материи, уцелевший, и дешевую аметистовую (мою любимую, мной купленную) брошь. А молоко у Фени со страху пропало, и Марина снова поехала со мной в контору.

Наступал новый год: 1913-й. Нашим первенцам было — моему четыре с половиной месяца, Марининой дочке — без малого четыре. Уж горели их первые елки. Они глядели во все глаза на горение и блеск, еще не понимая. Через год это уж будет их праздник с радостно схваченными елочными игрушками. Эти елки — еще во мгле...

Был вечер, снег, метель. Вернувшийся Борис и Боря Бобылев (это мне позднее рассказывал Борис), выйдя из нашего домика, шли по тихому переулку.

Им навстречу из снежной смуты, из полутьмы, вынырнуло женское лицо. Увидав чье-то из их лиц, первое выплывшее из тумана-метели, она крикнула звонко и требовательно, колдовским правом гаданья:

— Как имя?

Но уже выплыло и второе лицо, оба на одной высоте.

— Два Бориса! — крикнули они в ответ, не уменьшая шага, летя по своему пути. Затем кто-то из них опомнился. Продолжая игру, мужской голос кинул вслед с тою же требовательной повадкой:

— А ваше имя как?

Из сомкнувшейся за нею метели донеслось явственно — и уже затихая, тоже — она спешила прочь:

— Анастасия!

Борис сказал мне, что это слово их потрясло, они шли плечо к плечу, молча, и каждый знал, что сердце рядом забило тем же волнением нежданности — и сужденного...

Они купили вина и долго пили его в тот вечер, не вступая в рассуждения о жизни, не дивясь и не споря, приняв голос как необъяснимую данность, как таинственный перст судьбы.

Марина встретила меня в состоянии такого смеха, что и мой приезд не остановил его. В другом углу комнаты, с толстой книгой в руках, слегка покачиваясь на длинных ногах, — Сережа хохотал все новыми и новыми взрывами.

Переждав пароксизм, я села слушать: Марина, отворачиваясь от изобретения блюд для обеда и ужина, заказывая прислуге еду на завтра, велела ей сделать номер такой-то второго блюда, дав ей (прислуга была грамотная) Елену Молоховца.

Покорная женщина выписала себе на бумажку этот следующий номер и пошла в лавку. В лавке нужного не оказалось; из лавки в лавку ходила бедняга, расстраиваясь, что опаздывает к обеду это будущее блюдо изжарить. Наконец, отчаявшись, в слезах возвратилась домой, но, доложив хозяевам случившееся, была поражена неожиданной для нее реакцией, объяснимой, видимо, их молодостью: они так смеялись, что падали.

В книге, распахнутой Сережей на заказанном, не глядя, номере жаркого, стояло: «Задняя часть дикого вепря».

Марина в своей комнатке во втором этаже на фоне стены с портретами Наполеона и его сына.

— Знаешь, температура у Сережи не в порядке, я так беспокоюсь, что опять вспыхнет процесс. Ему же нельзя заниматься — столько! — а он вбил себе в голову непременно весной сдавать на аттестат зрелости. Я донимаю, надо, конечно, но зачем же так скоро? Столько предметов, постоянное умственное напряжение... Я его уговариваю отложить на будущий год. Разделить труд на две зимы — не полгода, а полтора года, понимаешь? Ведь ему же мало лет, он же на год моложе меня, девятнадцать. Ты, конечно, знаешь, что он родился тоже двадцать шестого сентября?

— Ты уже ходила и говорила, столько уже понимала — а он только родился! Как это теперь странно кажется, правда?

— Он тоже очень рано начал говорить!

— А из них только он болеет туберкулезом?

— Нет, его старший брат — Петр — тоже...

— Он — актер, да? Что, он на них всех не похож, что ли, что они как-то странно к нему относятся?

— Не знаю. Может быть, оттого, что рано женился на какой-то неподходящей женщине, — она его не любила, наверное, то есть не так любила! Он давно уж живет отдельно...

— Лиля и Вера как-то никогда о нем не рассказывают, — сказала я, — как будто избегают говорить: плохого не хотят, а хорошего...

— Да-а... — Марина отбросила привычно свои уже отросшие, на концах выющиеся волосы, — пойдём Алю посмотрим, хочешь?

Мы стоим перед кормилицей, с важностью, ревниво глядящей на мать, держа великолепного ребенка с уже густеющими светлыми волосами. Над глазами обозначаются бровки.

— Хорошее имя я ей выбрала? — задумчиво говорит Марина. — Ариадна...

Каток Патриарших прудов. Тот же круг льда, та же будка, где желтеют трубы у рта музыкантов, и, может быть, играет тот же военный оркестр. В той же дрезденской длинной синей вязаной кофточке, на тех же норвежских коньках, беговых, я вышла на лед, и моя восемнадцатилетняя рука держит руку Бориса, моего упоительного партнера по льду. Я ее держала шестнадцатилетней рукой! Мы старше на два года, и в нашем доме (какое чудо с тех пор совершилось! Я тогда ничего о его доме не знала, теперь у нас общий дом...), — и в нем — разве это не чудо, тоже? — растет наш сын! Еще только шестой месяц, а он с плеча его держащей няни смотрит иногда таким величавым взглядом, так умно и серьезно — смотришь, и не верится...

Мы сегодня в первый раз с тех встреч на катке — вышли на лед. Прошлая зима — Берлин, Женева, Ницца, Трайас... Как давно! Кажется, не год прошел, а пять лет!

Да, тот же вальс! Будто коньки дрогнули под нами (точно ноги циркового коня!), руки сами легли крестом меж нас, и мы несемся по льду в такт музыке. Мы молчим (мы не молчали тогда!).

Острый прилив тоски неслышно сотрясает меня, — я беспомощно сжимаю Борисову руку. Он отвечает пожатием. Мы пролетаем мимо Коли Миронова. Его глаза неотрывно смотрят на нас. На Борисе та же шапочка, желтая, меховая, так же — чуть набок... Тот же пиджак. Те же кудри у меня по плечам. Что же, что же стало — другое? Но ведь я же люблю его! В тот вечер, помнится, и Боря Бобылев был с нами. Они тоже были на коньках, он и Миронов? Или только Борис и я?

Когда я осознала присутствие Миронова в моей жизни?

Когда я впервые сказала о нем Марине? Не в тот ли вечер, когда мы все четверо — Борис, его оба друга детства и я — пошли в театр смотреть «Идиота». Это был театр Незлобина. Он был рядом с Большим театром, слева (напротив Малого). Мне кажется, это одно из самых сильных впечатлений моей жизни. Они играли эту безумную вещь так, будто луч этого безумия пал на них со страниц Достоевского и они — три часа? четыре часа? — жили в нем. Настасью

Филипповну играла Жихарева, Мышкина — Асланов. Кто играл Рогожина — я не помню. Но это был Парфен Рогожин. А мы — мы — нас не было! (Как тому назад полтора года в Финляндии, когда Борис читал вслух первый том «Идиота».) Теперь я, обещавшая год его не читать, чтобы папа встал от болезни, недавно его дочетшая, — вошла в этот второй том, будто в домик на Собачьей площадке. И все перестало существовать...*

Вот мы четверо пятьдесят лет назад, восемнадцати- и девятнадцатилетние, сидим, не чувствуя кресел (земли!), забыв о театре, и живем меж Мышкиным, Рогожиным, Аглаей и Настасьей Филипповной до их конца.

Мы помним конец книги. Аглая, все пережив, ушла прочь от всех, за фанатиком проповедником. Лев Николаевич Мышкин вернулся в лечебное заведение, откуда, вылечась, ехал в начале романа. Он безнадежен. Он стал идиотом.

Нет, это не конец — послесловие. Конец — вот: затемненные окна большой (низкой?) комнаты. Вечер, ночь, утро? На полу, сняв с дивана составляющие его спинку подушки, пристроились — до окончания веков — Рогожин и Мышкин. Фон — занавесы алькова. Там над чем-то, что было их жизнью, жужжит муха. Там — недвижно.

Заикаясь (один), другой в начинающейся горячке — сидят вместе, шепчась, вспоминая. Тот садовый кривой нож. Ее. И хоть они живы еще, но и их уже нет, как ее. Жива одна муха над телом. И ночь слушает стук двух сердец человеческих над тишиной смерти.

Мы поднялись, не чувствуя ног, вместе со всем театром вышли в московскую ночь. Мы шли по своим судьбам, по своей смерти, по той тишине ночи. Четверка в одну упряжь впряженных коней, мы шли молча, и молча на нас с высоты Большого театра глядела четверка взлетевших, онемевших коней. Мы прошли пол-Москвы, не ища, как проехать, подошли к маленькому парадному домика № 8. Кто-то нажал кнопку звонка. Кто-то нам отво-

*Я на миг отвлекусь; недавно в России, пятьдесят лет спустя, поставили на экране первый том «Идиота». Второй — не поставили, без объяснения. Экрану он, может быть, не под силу? Зрители остались в положении, близком к моему в 1911 году. Прервалась участь людей на середине романа.

рил. Мы вошли. Кто-то снял с меня шубу, повесил. Глаза Миронова неотступно смотрели. Мой Боря или мой второй Боря зажег камин. Только пламя открыло наши глаза, отомкнуло уста. Оно нам сказала, что мы навек обречены друг другу.

Я вернусь назад, я забыла: 2 января 1913 года.

После той встречи двух Борисов и Анастасии в новогоднем гаданье, после маскарада, где Марина и я были в костюме пажей, после недель (месяцев?) дружбы с Борей Бобылевым я написала ему письмо. Это было, помнится, восемь страничек почтовой бумаги, и число — 2 января — стояло в начале. Помню это число до сих пор. Я жалею, что не помню это письмо как надо, потому что это был документ человеческой безысходной печали и нежности, голос Психеи, ищущей путь и в него уж не верящей. Это было воспоминанье о трагизме безнадежных бесед, о пожатии рук и тоске юных уст, не ищущих поцелуя. Это была встреча, и это было прощанье. И кончалось оно строчками Блока (которым я не увлекалась никогда так, как многие. Но эти слова мне звучали):

Но в камине дозвенели угольки,
За окошком догорели огоньки.

Камин — это было сердце нашего дома — Борисова, моего и его двух друзей детства. Это была печать к письму.

Я отослала его — и забыла, среди ежедневных метаморфоз встреч и прощаний, среди печалей и восхищений, забот и усталостей дня. Будет день, когда я его вспомню.

Приходила Маруся, сестра Бориса. Она была полна собой (своим несчастьем). Прелестна. Она знала друзей брата с детства (думала, что их знала), глядела мимо них, к будущему. Ей, как и многим из нас, оставалось недолго жить. Может быть, человек это подспудно знает?

Потом Боря Бобылев принес мне пузырек с белым порошком. Это был цианистый калий. Может быть, он и я захотим когда-нибудь, скоро? Мы говорили о том, почему нельзя умереть в вальсе? Исчезнуть, перестать быть? «Опьянение, опь-

янение...» — слова Милы и Нолли в сказках Вагнера «Кота-Мурлыки». Они летели на ланях над пропастью.

Я сижу на коленях перед горячей печкой и сую в нее лист за листом мою повесть, любимую, росшую, расцветавшую. Я ее кидаю в огонь, не сказав Бобылеву, который ее читает; с восхищением, повесть о всех нас. Я ее жгу, потому что схватила за сердце безумная жалость к моему Борису, холодному, одинокому, которому не могу помочь, потому что он отвергает помощь. Я все реже молюсь, все отчетливее отвергаю Бога, но я чувствую какую-то судьбу вокруг нас и в ее пасть — как непонятное, но несомненное приношение — бросаю то, что мне сейчас всего труднее от-дать, — эту стопку листков.

Они скручиваются в легчайшем танце темной воздушной скорлупкой — и их нет. Так не будет и нас. Тютчев. «Бесследно все — и так легко — не быть!»

Я встаю, радостная, с колен.

— Борис, в путанице чувств, лиц, взглядов, иронических и нежных слов я нашла один ясный поступок — отдала, ради вас, свое полюбленное создание. Это было так трудно! Но я решила и делала это в восторге. Это должно вам помочь! Вы разлюбили мои писанья, которые вы так слушали два года назад (еще нет двух!). Но их любит ваш Боря. (Это будет удар ему...)

— Зачем вы сделали это?! — сказал мне, узнав, Боря Бобылев в яростной горечи. Взволновавшись, ходил по комнате.

Я просила его надписать мне — его фотографию. Он надписал: «Пусть все сгорит! Б. Б.». Это ли было началом нашей размолвки?.. Как могла меж нас быть — размолвка? Я еще помню слова Бобылева: «Вы думаете, я потому страдаю, что вы стали более внимательны к Миронову, говорите не только со мной, но и с ним? Ася, я могу принять это! Но когда вы не мне теперь, а ему даете поддержать ваш браслет (когда браслет вам на минуту мешает) — вот это мне боль!!» («Как маленькие вещи — больше больших!» — писала я поздней, в моей первой книге...) С браслетом же (бабушкиным, золотым, состоявшим из крест-накрест то расходящихся, то смыкающихся вплотную звеньев — как резной заборчик)

было так: я никогда не позволяла то, что легко допускали многие женщины, — чтобы кто-то надевал и застегивал им ботинки. Поза мужчины, ставшего на одно колено перед женщиной и занятого ее обувью, была мне просто комична, безвкусна, немыслима. Я ботинки надевала сама, но в это время браслет, соскользнув к запястью, широкий вокруг него, — мешал; и я, перед тем как нагнуться, привычным движением снимала браслет и давала его Боре. Раза два, может быть, протянула его Миронову. Об этом и сказал Бобылев.

И была еще брошь, скромная, из трех аметистов, которую вернула мне после кражи Андрюшина кормилица. Аметист — по тогдашним календарным поверьям — «спасает от вина». Я не любила, когда Борис с друзьями пил вино. У камина, со мной, одной бутылки легкого десертного хватало на всех, с тортом. Но без меня, одни, молодые мужчины пили больше, могли выйти за предел. Никогда не выходили, но я чуждалась этого, не любила. И я давала Боре Бобылеву носить эту брошь — заколов галстук, «спасти» его от вина. Он был неосторожен: пил валерьянку — целым пузырьком, пробовал составы химических опытов... Так давно жил без матери!

Бобылев не был у нас несколько дней. Размолвка.

Я с Мироновым стою в цветочном магазине на Никитской, выбираю цвет гиацинта: лиловый, голубой, бледно-розовый? Мы едем к Боре, взбегаем по лестнице нового дома. Его нет. Комната не заперта. Мы ставим горшочек с гиацинтом на его стол, я пишу записку: почему не приходит? С радостным чувством, что протянута пальмовая ветвь мира, спускаюсь по лестнице. Мы никогда не говорим ни о чем внутреннем с Мироновым. Он рассказывает что-то веселое, странное. Иногда — о Сибири... На душе, как всегда, когда кто-то рядом внимательный, — легко.

Марина тончайшим образом понимает различие Бобылева и Миронова. Как я, она нежно заинтересована обоими. Понимает меня с полуслова. Она и Бориса любит, чувствуя всю трагичность невозможности прочных отношений с ним. Иногда она и Сережа приезжают к нам. Все сидим у камина, пьем чай, вино, едим сладкое. Говорим о наших детях, про-

ходим к Андрюше в детскую, смотрим на него, сравниваем его с Алей, рассказываем друг другу о всем новом в них за последнее время. На час все кажется хорошо, как должно быть, даже весело. Когда оживленное приветливое лицо Сережи, укутанное в высокий воротник дохи и в боярскую шапку, и нежное, как лепесток розы, Маринино лицо, из меховой шубки и шапочки, — спеша, исчезают во мгле вечера, — я всхожу по ступенькам парадного хода во мгновенном ощущении, что моя жизнь — фантазмагория, что я совсем одинока...

Туманно помню мое свидание с Галочкой, Галей Дьяконовой. Затем ко мне приезжает гостить из Тарусы подруга моих отроческих лет Кланы Макаренко. Она не понимает сложности отношений всех нас, ей у нас весело, ей нравится моя жизнь, эти милые молодые люди — мой муж и его друзья, я поддаюсь этой целительной простоте, отдыхаю с Кланей, молодею.

В ответ на гиацинт и записку Боря Бобылев пришел к нам; провели все вместе вечер, пили вино из недавно купленных на Кузнецком широких фужеров цветного, отливающего мыльным пузырем стекла; через соломинку. Не могу вспомнить: в этот ли вечер мы почему-то ждали, что Бобылев уйдет (он был смутный, несколько отдаленный, нервный), и после него пили вино — Миронов, Кланы, Борис, я, или был еще один вечер вскоре, когда Боря Бобылев пробыл с нами до позднего часа, ушел и мы легли спать? Память уж не вернет точности тех дней. Но обиду (за что?) ему этим вином после него — мы совершили. Никогда не узнаю, в последний ли его день.

Утром меня будят. Усталую, сплю. Просыпаемся вместе с Кланей. Голос, меня будящий:

— Вставайте скорей! Борис Сергеевич отравился!

— Какой?! — вскакиваю в ужасе.

— Бобылев!

— Жив?

— Нет. Умер!

Хватаю вещи, одеваюсь. Зуб на зуб. Четкое решение, тотчас же — туда. Одной. Опережаю Кланю, Миронова, Бориса,

бегу по улице. Пересекаю Арбат, вбегаю в Кривоарбатский. На какой-то этаж. Жизнь оборвалась. Замерла.

Боря Бобылев лежит на спине на кровати. Глаза закрыты, очень опухшие губы. Он отравился цианистым калием, он выпил слишком много. Это сказали студенты, жильцы квартиры — медики. Полтора часа жил, захлебывался кровавой рвотой. У них не было денег на кислородную подушку, и не знали адреса Бобылевых (где-то близ Арбата) — отец, мать, брат. Ни нашего — переулок по ту сторону Арбата. Горничная нашла мокрый от слез платок на (шкафу, комоде?). Придя поздно от нас, долго играл на скрипке. А когда выпил яд и не умер — вышел к студентам, сказал: «Товарищи, помогите. Я отравился». Сознательно выпил? Пробовал, как не раз уже рискуя, изучая свой организм? Никто ничего не знает.

Он лежит спокойный, как спит. Высокий лоб, над ним высоко темно-русые волосы. Неузнаваем рот, вздуты губы. Его руки! Лежат невинно, на одеяле. Стою, смотрю, слезы льются, побарываю всхлипы. Трясет.

Подхожу к столу, ищу письмо, мое. Чтоб не в чужие руки. Нахожу. Вот оно! Беру. У конца его, вбок от моей подписи, приписка карандашом, Борина: «Упрекать Асю в том, что она женщина — значит не понимать целой, иной части ее души». Читаю, складываю, возвращаюсь к кровати. Целую ли руку? Лоб? Оборачиваюсь: в дверях Борис. Стал в ногах, смотрит на друга молча, не сводя глаз. Долго стоим. За плечом его — догнал — Миронов. Стоим.

— Ну, с меня довольно! — говорит Борис, поворачивается, выходит. Миронов и я идем за ним. Давно ли мы шли после гибели Мышкина, Рогожина, Настасьи Филипповны? Гибель одного из нас...

Арбат. Почему-то весенний день. Идем тесно, молча.

Было 6 февраля 1913 года.

У нас. Комната моего Бориса. Камин. Мы трое. Кланы? Не помню. Мы сидим, как всегда, и тесная наша дружба, горем спаянная, безмолвная; возросшая нежность друг к другу есть замена присутствия Бори. (Их «Бобылик»...)

Борис подчеркнуто бережно добр ко мне. Я не таила от него любви Бори ко мне и моей к нему. Я не пряталась. Не

лгала. Не лукавила. Все было на виду, явно. Все было Борису ясно, любовь его друга Бори ко мне — так понятна, упрекнуть можно было, только если бы мы обманывали или если бы перешли черту. Мы не перешли ее, даже не подошли к ней. Ни Боря, ни я не тянулись друг к другу физически. (Трудно поверить? Но — так. Боря был юноша. Я — и до него, до Бориса так долго отвращалась физической близости. Перешла черту только для Бориса и с ним. В эту область никто мною не был впущен. Жена, я была верна Борису. И он это знал.)

Удивительно: смерть одного из нас бросила нас друг к другу. Мы трое у огня, который увел четвертого, стали драгоценны друг другу, заставив задуматься и опомниться, увидеть друг друга. И было странное чувство, что хоть Бори нет, а и он с нами в этом наставшем прозрении, в тишине и добре горя.

В эту тишину пришла вызванная Марина. Бледная, с закушенным ртом, с посветлевшими, заплаканными глазами — она села у огня, протянув к нему — погреть — руки.

— Он похож на Пушкина в гробу, — сказала она, — очень похож. Только — красивей! Его непременно снять надо. Не упустить — туда...

Кто ее свел к нему? Не знаю. Она слушает его смертную повесть, глаза — в огонь, и слезы капают из них неудержно. («Состояние ранености, — говорила она годы поздней о себе, — каменное лицо, и по нему истукански, идиотски текут слезы».)

Мы снова у Бори, все. Я не помню тех дней. Кто обмыл и одел его? Мать ли пришла, не любившая, от которой он ушел на квартиру; горничная ли?.. Как может это быть, что хоть полвека спустя — забыла имя ее, к которой потом, когда все стихло, «прошло», — я ходила и ходила по этажам, чтобы посидеть у нее, еще раз вспомнить его, его последнюю ночь, эту скрипку и этот платок, и слова студентам о помощи, и незнание никем адреса его матери и отца, и нашего, пока жил?.. (Узнали, когда умер!) Кислородную подушку, стоившую столько-то (чудится мне, 20 рублей). Мог бы остаться жив? Ходила к ней, потому что она жалела его больше, чем мать, и я, как с его сестрой, близ него жившей, хотела — ни-когда не забыть эту ночь... Но я ее имя — забыла.

Фотограф снял Борю в цветах. И, по желанию Марины, второй снимок — с одной розой у груди, у сложенных рук, у пуговицы студенческой тужурки. Роза была темна. Он действительно походил на Пушкина, но черты строже. Уже чуть опускался вспухший от яда рот. Сидя у огня, Борис сказал мне: «Ася, вы не виноваты ни в чем. И он вас любил...» Цветочный магазин на Никитской — тот самый, где покупала ему гиацинт. (Гиацинт был еще жив, на окне.)

Марина и я выбрали Боре большой металлический веночек незабудок, чтобы долго жил на могиле. Мы все почти не расставались. Почти не спали. В тот же день, на другой ли? до похорон ли? к нам пришла сестра Бориса — Маруся. Я ее с нами — не помню. Она пришла прямо к брату — «Мне надо поговорить». Мы вышли. Она заперлась с Борисом и час ли, полтора? — что-то ему говорила. Затем — ушла. После ее ухода Миронов и я, старая няня — не узнали Бориса; он сидел и глядел в одну точку. Затем взял зеркало и долго себя рассматривал, молча. Его лицо было пристально, что-то отсутствующее, выраженье безумного. Затем он встал и ушел, не сказав куда. И — пропал.

В наш дом пришла Ирина Евгеньевна, мать Бориса. На ней не было лица. Она обратилась ко мне с упреком: «Ася, я говорила вам: не пускайте Марию Сергеевну, она вас разведет с Борюшкой! Вы не послушали, не поверили! Он ушел. Не ко мне! Не приходил! Жив ли он? Я подниму на ноги всех, чтобы найти...»

Она была ласкова и добра ко мне. Верила. Удивлялась, что сын мог поверить сестре.

Я не помню подробностей похорон. Хоронили на Смоленском кладбище, далеко по правой горизонтальной дорожке. Были ли там могилы их близких? Я помню яму (песок? глину?). Весенний день. Плотную фигуру матери в шляпке, подростка-брата. Много чужих. Отца не помню. Он Борю любил, и Боря любил отца. Борис пропал до похорон, на похоронах не был. Нашли его неделю спустя.

Мы искали его у всех друзей, родных и знакомых. Нигде. С помощью ли полиции? Мать нашла его где-то далеко, на шестом этаже, взял комнату. Денег не было. Питался одной булкой в день.

Мать разубедила его в лжи сестры: та сказала ему, будто у меня с Бобылевым была физическая тайная связь, и из-за этой связи он умер. Маруся больше не появлялась к нам. Боря не возвращался, из-за стыда ли передо мной, что ушел, не спросив, что поверил, что лгу. Жил у матери — очень недолго: слег на операцию аппендицита в лечебницу Руднева (в Серебряном переулке). Я навещала его? Затем память путается. Знаю, что в двадцать лет Борису делали другую операцию — саркомы (на шее). Удачно. Не повторилась. После лжи обо мне мной так любимой Маруси Трухачевой я осталась одна с четырьмя дружественными близкими мне, в нашем домике: мой шестимесячный сынок Андрюша, старая няня, Миронов, не покидавший меня после исчезновения Бориса, ставший на мою защиту, и, наконец, утвердившаяся в доме пятая после меня кормилица, средних уже лет, Соня, привязавшаяся к Андрюше и хорошо относившаяся ко мне. Среди них я жила мои дни. Но и их мало прошло теперь в квартирке на Собачьей площадке: я не смогла там жить. Так тяжело мне было в тех комнатах, где бывал Боря Бобылев, где я помнила его то на диване, то у стола, то — идущего, улыбающегося, нежного, радостного, слушавшего чтение моих дневников и моей повести, любовавшегося Андрюшей, входившего и уходившего с Борисом... Чтобы справиться с этой смертью и жить дальше, быть матерью сыну, сестрой Марине, надо было переехать с той квартиры. Я сказала Миронову: «Мне надо другую квартиру. И надо — скоро, чтобы папа, придя, нашел уже все устроенным, чтобы не огорчать его ответами на вопросы, слухами. Папу надо щадить. Скажу, что удобней, что тут были недостатки — ему не нравилось, кажется, что все проходное и что окно столовой в потолке. Вы поможете мне, Николай Николаевич? Что Боря умер — папа слышал».

Мы нашли квартиру — тут же, за углом от Собачьей площадки, в Борисоглебском, дом № 6*. Квартира была большая. Шесть комнат, три передних — фасад первого этажа —

* В нем, но в другом, левом от ворот, флигеле с 1914 года поселилась Марина, когда я уже в нем не жила. Несколько лет назад этот правый флигель сожгли.

остались пустые. Я заняла три задних, с выходом во двор. Вещи перевезли. В два светлых окна длинная детская, в два окна темней (смежно) — моя. Полутемная побольше, с решетками на окнах, — столовая.

Тогда ли? — или еще раньше? — сын старой няни зачем-то (в семье ли понадобилась?) увез ее к себе. Ее место заняла пожилая, круглолицая, добродушная, толстая Маша, кухарка. Усколицая, полногрудая Соня с хитрым веселым взглядом носила красавца Андрюшу, показывавшего по ее учебе «где наши птиченьки?» (ручкой на стену, где она повесила игрушечную птичку). Он уже говорил много упорных, неясных полуслов, звонко кричал, сжимал кулачки, сердясь, и капризничал. Я на швейной машинке шила ему байковое пальтецо и шапочку для прогулок — зимой я боялась его выносить. (Я не сказала, что по старинке его свивали, и он был счастлив, выйдя из этих длинных повязок мученья — в платьица и кружевные простынки.) Манную кашу он ненавидел пылко и с ней боролся умело, научась дуть в дудку (на седьмом месяце, в восторге, в ликовании от звука), он дул в кашу, и она разлеталась в лицо нам с Соней и об стену. При этом он ликовал — особенно, и личико его было насмешливо. Его веселая детская, кажется розовая, залита была солнцем. В моей комнате, куда от него вела дверь, иногда было сумрачно, когда солнечных лучей в окнах не было. Там стоял диван, накрытый ковром, письменный мамин стол, маленький старый шкафчик старинного образца. На стене — портрет нашей юной бабушки, все те же, что на Собачьей площадке, парижские бра, венецианские бусы. Книжки. Казалось, что тут живут — давно. Папа приходил, но я его приходов не помню. Приезжали Марина, Сережа, одобрили переезд, устройство. Марина утешала, входила во все. Любовалась Андрюшей. Весной, в тепло, они встретятся с Алей. Аля уже больше его, говорит много слов. Кормилица Груша тоже уже прижилась.

Все дни после смерти Бобылева мы — Миронов и я, часто и Марина с нами — ездили на его могилу. Мы смастерили к кресту фонарь и зажигали каждый раз в нем лампадку; издали виден мерцающий огонек. На могиле был крест

и венки — наш с Мариной голубой, незабудочный, лежал на холмике (или висел на кресте?). Мы мало говорили, Мионов и я. Но знали, что дружба — навек. Ему было, может быть, стыдно за Бориса, меня оставившего. Он покидал меня только на ночь. Он помог с отысканием квартиры, с перевозкой и расстановкой вещей. Мы были очень усталые — от малого сна тех ночей. И мы не могли и тут рано лечь, все ходили по полутемным комнатам взад и вперед, вспоминали Борю, Бориса.

Брат Андрей, узнав, что у меня есть свободные комнаты, собирался занять их на время — он купил дом, хотел его перестраивать на свой манер (думал жениться, может быть? Жил с папой в Трехпрудном). Но, сказав, медлил. И Мионов не оставлял меня.

Была глубокая ночь. Мы ходили. Наши шаги отдавались гулко; казалось, кто-то где-то идет, но я ничего не боялась с Мироновым. Я чувствовала, что еще никогда никто не был так добр ко мне, так рыцарственен. Чувство горя о Боре, тоски по Борису, благодарность к Мионову — сливались в одно, наполняя сердце до верха.

(Нет. Я боялась себе сознаться, что смутно догадывалась, что Миронова я — люблю. Нельзя было теперь думать об этом, понять и назвать. Могила Бори, исчезновение Бориса затмевали и это.)

Но была глубокая ночь. Маша, Соня, Андрюша спали. Мы были одни. На повороте (бессчетном) по пустым полам передних ночных комнат (путь к ним был через столовую; начинаясь поперечно, — продольно, сбоку), Мионов сказал медленно, тихо, одновременно решение и безудержно:

— Ася, я должен сказать вам. Я думал. Я не могу ничего с собой сделать. Я вас люблю.

Это было признание? Или название беды еще новой? Кажется, так. Но голос его был полон такой силы (слова сознавались — в слабости), что, охваченная ею, как парус захвачен ветром, я ответила — а мы все шли и глядели вперед:

— Николай Николаевич! Я чувствую большой восторг от ваших слов, хоть мне — страшно. Мне кажется, что я вас люблю, тоже...

Даже и от самой меня скрыт тот миг. Я не помню его слов мне. Но я знаю, что движенья друг к другу — не было: меж нас была смерть и долг (мой к Борису). Но мы ходили, и счастье летело с нами, и ночь слушала нас.

Признание было — прощанием. Мы это поняли — оба. А на другой день, рассказав все Лидии Александровне, Драконе, я, вернувшись, полная ее предостереженьем и требованием — они и во мне звучали, — сказала Миронову, что он должен уехать. Написать отцу в Сибирь, чтобы тот ему выслал (он занимал пост на железной дороге) — билет. А пока чтобы перешел к Марине и не приходил ко мне. Он не спорил. Согласился. Мы теперь друг на друга не глядели. Любовь и восторг от нее делали все — легким, даже разлуку.

Не возьмусь передать речь Миронова. Марину, Бориса, папу, других — слышу. К его речи прикоснуться не смею — искажу. Без конца говорили мы, ходя по дому, в вечерние и ночные часы, когда все утихало; быт, как игральные кости в шкатулку, укладывался, потухал о ночь, все спали. Тогда — днем в недомолвках, во взглядах, в удержанном, в лихорадке, вздохе, просыпался наш разговор. У нас нет настоящего. Мы прощаемся (как тогда с Нилендером, когда уезжала с Борисом). И теперь я должна ехать с ним на хутор к отцу. И уеду. Чтоб не появился в минуту его оскорбленности, одиночества — второй холм на кладбище. Но у нас — за это — где-то во мгле, впереди — будущее!

Через годы? когда? будем вместе!.. И есть прошлое... И медовой струей, в деготь клеветы, в горечь дней, — рассказ Миронова мне о его первой встрече со мной: я вошла с мороза, кудри и снег. Глаза, лицо, голос. Он шел навстречу. Знакомят. Рукопожатие. Борина жена! Нет! «Маленький лорд Фаунтлерой!»! Любовь с первого взгляда — «Я вас полюбил навсегда, Ася...»

Он переехал к Марине, от нее узнавал обо мне. Ждал билета. Брат Андрей собирался ко мне. Борис выздоравливал (от первой операции). Я ждала к себе в гости папу, обещавшего в этот вечер прийти. Он не шел. На пороге стояла Маша, докладывая, что меня спрашивает пожилой господин.

Маша еще не видела папу. Я поспешила мимо нее — навстречу. В передней стоял грузный старик, мне незнакомый.

Он тяжело смотрел на меня, глаза были выпуклые. Мне показалось (в эту ли минуту? позднее?), что он нетрезв. Маша ушла. Мы были одни. Он ступил ко мне, переспросил мое имя. Я подтвердила. Я не догадывалась. Он шел, и я стала спиной к стене, лицом к нему. Это было в пустой комнате, первой, куда должен был, опоздав, войти папа. Полная этим ужасом, я вошедшего — не боялась. Должно быть, это было в лице. Он подошел и долго молча, близко мне глядя в глаза, стоял передо мной. Его старые руки, дрожа, поднялись, и он стал, не отводя взгляда, трогать ими, немного сжимать перекрестие концов накинутаго на мою шею боа — плоского, широкого, желтого, из куницы. Я думала только о папе — с ужасом о том, что же будет, если он сейчас войдет! Может быть, это, наоборот, было — недолго? Вошедший вдруг стал снижаться. Падать? Он опустился на колени и — снизу, сжав мои руки:

— Я — отец Бори Бобылева! — сказал он. — Я пришел к вам... Я не знал. Нет, я знал! Ася! Боря так о вас говорил... Он говорил: «Ася — святая!» — Он зарыдал. — Я люблю моего сына...

Я подымала его. Мы плакали вместе. Я забыла, что должен прийти папа. Он уверял меня, что Боря прав, я — дитя, и он верит, что я...

От него пахло вином. Но я не боялась, я была полна горем. Он говорил, что счастлив, что увидел меня, о которой так говорил его сын. Что мы — «вместе с вами — я и вы — поставим ему памятник на могилу».

Затем — сколько мы говорили? — он ушел. Я ходила теперь в дрожи по комнате. Папа в этот день не пришел. Я еле дожидала до утра. Утром я попросила Александру Олимпиевну передать к Марине — Миронову, что я прошу его ко мне прийти. Я больше никогда не видела отца Бори. Я ему раз звонила по телефону — о памятнике. Что-то не состоялось во встрече. Затем — я уехала из Москвы на лето. Потом были другие события и отъезд из Москвы — надолго. От Бориса? или еще от кого я услышала, что отец Бобылева шел ко мне с тем, чтобы меня убить.

Наступила весна. У меня еще был цел пузырек с цианистым калием — я, подержав его в руке, уничтожила.

Сколько у меня пробыл Миронов? Не помню. Он успокоил меня. В его любви, совершенно бескрайной, навек, все стало

снова легко. (Без него я уж перестала верить, что он — есть.) Из больницы пришел ко мне Борис. Я сказала ему о Миронове. К нему, как и в иные дни наши с Бобылевым, — вернулась любовь ко мне. Он смотрел на меня глазами 1911 года, уверял, что я не могу его любить (как и тогда). Но это были — часы. Затем он менялся, делался совершенно другой (в нем, может быть, вспыхивало недоброе к Коле Миронову?), но и это проходило, и еще что-то шло на смену. Я уставала ужасно. Жалость к нему (пережившему еще и физический нож, похudevшему) была вне мер. Я радостно сообщила ему, что Миронов скоро уедет. Говорила, что вновь будем вместе. (Говоря это, я внутренне умираю.) Он не верил. Я начинала плакать. Он смотрел на меня, как Леонардо на чертеж летательной машины или — на, может быть, рассеченный для изучения живой организм. Он ушел однажды наконец, со мной простясь, ласково, но я не пускала, не зная, куда идет, и до двери черного хода шла за ним (не сделает ли что над собой), залитая слезами, еле держась на ногах.

Он ушел. Онемев, устав до предела, я рухнула на диван и заснула. Я проснулась от тихого стука в окно: это был он. Вернулся? Я бросилась открыть. Он остановил меня не входя, на пороге: «Нет, я сейчас уйду. Я только хотел посмотреть, все ли еще вы плачете или уже успокоились? Вы спали. Прощайте. Я уйду». Я схватила его руки. Он вырвал их. Не слушал. Шаг стихал. Я рухнула в поток слез.

В Столешниковом переулке мою руку взяла цыганка. Насильно. Всплеснулся голос. Она мне сказала, что я пережила смерть, недавно. Умер молодой, светлоглазый. Меня любил... Я шла, вырвав руку. Была сияющая весна.

Брат Андрей переехал ко мне и заболел. Дал мне адрес: Вера Ивановна Топольницкая. «Съезди, скажи, что я болен. Не зови. Как хочет». Я поехала. Высокая белокурая, в слезах вышла ко мне:

— Мы любим друг друга, но у меня муж, ребенок. Приду, но...

— Не могу советовать, — сказала я ей, — но я только что пережила самоубийство друга. Берегите его. Обоих! Все очень страшно.

Вечером она приехала к Андрею. Я не знаю о них ничего.

Из дневника.

«Это было три года назад. В Москве стояла весна. В тихом Борисоглебском переулке в часовне горела лампадка перед ликом строгого святого. Я часто молилась ему, став на колени у окна, в одной из передних комнат, среди груды книг, лежащих на полу. Мне было восемнадцать лет. Андрюше было семь месяцев. Борис был где-то вдали — не то в больнице, не то у матери — наша жизнь с ним была порвана; во что сложится жизнь, что со мной будет, — я не знаю в своей жизни другой такой смутной поры.

Я была всеми брошена. Миронов, вставший тогда на мою защиту и полюбивший меня, — по просьбе моей только что уехал в Иркутск, и был еще туман от дней, от безумного напряжения разговоров, бывших с ним. И мои восемнадцатилетние плечи вынесли все без малейшей помощи — гибкостью, покорностью, чудом!

Смотрите, каким цветком распустился шатавшийся стебелек, склонявшийся ниц к Евангелию, к добру, перед лампадкой.

По вашим приговорам, по всеобщему осуждению, я, как по лесенке взошла наверх, — где прекрасно! — и солнце ласкает атлас моих лепестков, и небо широко надо мной!»

Борис и я ходим по тем комнатам, где я ходила с Мироновым. Поздно, темно. Наши шаги раздаются по пустым полам, и кажется, что кто-то ходит в дальней комнате. Мне жутко. Борис бледен. Его тонко очертанный профиль пронизан прислушиванием. Ноздри дышат — в волнении. Я взглядываю на него. Он думает о том же. Холод трогает наши сердца, шевелит волосы. Лицо Бориса становится почти вызывающим. (С таким лицом он пошел потом на войну. Но тут война объявлялась нам — незримо? Только одним слухом слышимая.) Кому из нас стало стыдно, что забыли, какой добрый был Боря, ушедший... Чьей доброй силой мы себя взяли в руки, пришли в себя?

Было 21 марта 1913 года. День отъезда Миронова.

Чудный весенний день. Не помню, как мы встретились, долго ли были вместе. С того пятьдесят один год. Я помню:

мы едем на вокзал в автомобиле. Я провожаю. Лицо любимей, нужней всех — рядом. Тот профиль — большой прямой нос, худая щека, выступ губ; твердый, юношеский еще подбородок. Темно-золотой родной глаз. То — поворачивается ко мне лицо нежной юношеской худобы, вверху шире, резко сужаясь книзу. Маленький, твердо и добро сложенный рот. И ни с кем не сравнимый, упоенный восторгом взгляд. Я не вижу глаз, я утонула во взгляде — их душе. Огромное сердце рядом полно мной. Мы в бездне. Из нее говорит голос:

— Ася, нам нельзя вместе жить, но мы умрем вместе. Я позову или вы позовете, где бы мы ни были. Вы думаете, я бы не мог совершить преступления, чтобы быть с вами? Но моя любовь так велика, что я могу всю жизнь быть в разлуке и быть счастливым, что вы — вдаль есть...

Ослепительный день весны. Все ближе, ближе вокзал. Я больше ничего не помню...

В новой квартире я прожила с февраля по июнь. Видимо, в эти месяцы Борису сделали операцию саркомы. Тот же известный Руднев. Опухоль была в шее, корни глубоки. Пришлось ради спасения от страшной болезни — задеть лицевые нервы; вынеся операцию в начале своего двадцать первого года, Борис вышел из лечебницы с несколько перекошенным ртом*. Борис шутил, что он теперь похож на старого морского волка, что его рту идет вниз висящая курительная трубка. Но глаза были надменно грустны.

Когда он вполне поправится, мы — он, Андрюша, Соня и я — поедem в Воронежскую губернию на хутор к его отцу. Я обещала это еще до операции, до отъезда Миронова, и обещанье сдержу. Еду не только я, ради меня и внука едет не всегда туда на лето ездившая Ирина Евгеньевна. Мне это ласково, я благодарна. Я встретила с Марусей, ее дочерью, простила ей ее непонятный (авантюристический?) поступок. Спросила, хочет ли она на хутор? Затем принялась убеждать ее мать, уговаривать, обещать, ручаться. Против воли, неохотно, но не желая мне отказать, мать согласилась. Состоялось свидание — мое с Марусей, приглашение к нам на обед. Маруся волновалась, вела себя мягко, умно.

*От второй жены Бориса, М.И.Кузнецовой-Гриневой, узнала, что брат Бориса Сергей собирался за это Рудневу «бить морду»...

Примирение состоялось. Маруся тоже поедет на хутор, где не была много лет.

Конец весны. Зеленые скверы, сады. Жарко. Андрюше и Але по девять месяцев. Великолепны оба. Каждая из нас, затаив ревность, их сравнивает, хвалит не своего.

Во дворе Мариного и Серезиноного дома свежая зелень берез и акаций. Солнце. Сереза снимает нас и детей стереоскопическим аппаратом. В волшебной шкатулочке с двумя круглыми стеклами замороженно застыли сценки жизни — дом, двор, тени от них и нас, наша молодость, младенчество наших детей. С нами сняты друзья Эфронов — Ася Жуковская и ее мать, Валерия Дмитриевна, обе — красавицы. (Через год снят Борис в военной форме вольноопределяющегося, в фуражке чуть набок, как полагается. Над ним, на полке — чучело филина. От профилей их на стене — тень.)

Какая весна! Все горит в блеске солнца. Трава густая и пышная, желтые одуванчики, и пахнет тополиными листьями, как тогда!

На веревках сушатся вещи, — память детства — запах нафталина, Груша красуется с Алей на руках. Аля говорит много слов. Когда в первый раз дети увидели друг друга, Аля откинулась, отобрав нацело руки, всю себя. Надменно озирая Андрюшу, который к ней бросился с Сониных рук, тянул ручки, восхищенно кричал. Кормилицы и те, роня важность, смеялись. Сереза ходил по двору с учебником, спрашивал про здоровье Бориса.

— Пиши чаще, Ася! — сказала Марина. Чужое место и — пережитое... Все-таки будет легче! Я буду всегда отвечать. Пришли коктейбельские снимки...

Перебарывая слезы, я передала привет Макс и Пра.

Часть девятнадцатая В ВОРОНЕЖСКОЙ ГУБЕРНИИ. В ПОДМОСКОВЬЕ. В МОСКВЕ

Глава I ПРИЕЗД В ЯРЦЕВКУ

...Воронеж. Белые двухэтажные и одноэтажные дома пушкинских и гоголевских времен, пирамидальные тополя мощными аллеями вдоль бульжниками крытых улиц, слепящая небесная синева и щебет птиц в густолиственных ветках — где это все уже было раз? И такая же расплавленная зеркальность в воздухе?

Ах, Феодосия, моя юность, свобода — с таким неизвестным, огромным будущим впереди... Год назад!.. Год? — Какое нелепое слово!

Жадно смотрю я, вывешиваясь за предел тарантаса, тарыхтящего по родным моему спутнику улицам, — встречаюсь ли я с чем? Прощаюсь? Сердце в груди поет, как колокол, все-таки горем... Узник в темнице! Как — случилось? Кто виноват?

Соня сидит во всей чинности, победившей всех предыдущих кормилиц, осматривает, одобряет Воронеж. На ее — не на моих руках спит мой первенец, прикрыв большеглазость свою нервными веками, вздрагивая во сне. И совсем отдельно от нас всех, столь разных — ее, младенца, меня, — Борис озирает (так недавно еще здесь мальчишеским взглядом) знакомые улицы, перебрасываясь словами с ямщиком, едем в меблированные комнаты Воищева, куда заворачивает за угол тарантас. Мы тут отдохнем, поедим, и Борис достанет автомобиль: полсотни верст по Задонскому шоссе

лошадьми — трудный, долгий переезд для Андрюши — а мы домчимся часа в полтора! И нас ждут. И так операция Бори, выздоровление затянули отъезд.

В смутных чувствах я еду на хутор отца Бори: начинать вхождение в семью, меня тогда не хотевшую, захотевшую, когда мне бы не быть в ней совсем. Долг везет меня молча, безропотно и безрадостно, глыбами завалив огромное и живое чувство, бившееся в час отъезда Миронова, долг нами же решенный — (всё вынесем! А Борис — не всё...) Не поняв, но приняв как железную необходимость. Надо так жить пока! Но зачем Воронеж? Зачем была вся мука этого года? Все попытки быть понятой, с осени (с самого переезда в маленький домик, для Марины сперва снятый — по ее, по нашему общему вкусу, за уют и старинность) все старание понять причины отдаления Бориса — сколько слез моих под его киданье дверей, уходы, не говоря, куда и когда вернется.

И зачем ушел Бобылев? Зачем ушла его юная жизнь и зачем из моей жизни ушло его понимание, такое чистое, без мужского, сжиманье моих рук, взгляд в глаза, зачем погасла эта восторженность его улыбки, радость наших ни от кого не скрываемых, лишенных грубости секса встреч? Я ему отдавала все так нужное Борису — все мое с детства исконное, наше с Мариной девическое, то, что Борис выбросил как ненужное еще там, в Трайас, оставив одну, беременную его ребенком, за мое откровенное слово о его брате — что ударить по лицу учителя на экзамене за не ту отметку обличает в нем грубого человека... Семейная спесь, о которой мне сказал папа, что это — люди другого круга? — Все совсем вообще непонятно, и я не знаю, как жить. Я еду радовать собой и его сыном — его мать и отца, может быть, ради меня впервые после нескольких лет съехавшихся на хуторе, — а я — что я им могу обещать? Борис любит Андюшей, красотой глаз, черт — сменой выражений лица — но где же здесь место мне? И поймет ли мой сын, как упрямо я шла на предсказываемую врачами смерть ради того, чтобы не дать смерти ему? Не будет ли мое дитя, этот маленький красавец, чужим, как его отец?

Это все проносится во мне, пока лошади, пробежав улочкой, останавливаются, тряхнув упряжью, перед ступенями

Воищева, и Борис помогает мне выйти из тарантаса, берет из рук кормилицы нашего сына, отвечая на поклоны и поздравления пожилого небольшого человека, вышедшего встретить гостей.

И вот уже позади и Воронеж, жарко мелькнувший своими Большой и Малой Дворянскими улицами, искупавший взгляд в прохладном трепете своих водопадных ветвей, — сгнули особняки, подъезды, сады парадных губернских улиц, погасли домики окраин, и пылит под мчащимися колесами дорога, как приток впадающая в шоссе, летящее от Воронежа в Задонск. Автомобиль пожирает пространство, любимую Борисову степь, — там, впереди, за каким-то их «Животинным лесом», за почтовой станцией Бестужево (как дорого было мне название ее год назад в Коктебеле, когда я надписывала его на конверте! Как она чужда мне теперь!) — там лежит оазисом посреди степи эта Ярцевка, где они все росли... Что думает сейчас Борис, глядя в окошко автомобиля, — вспоминает ли этот же запах бензина в Берлине, Женеве, Ницце? Или — что мешает ему быть со мной? То, что я рядом, а не на конце почтового пути брошенного в ящик письма? И почему же я — ведь ничего не боюсь! столько испытала! — рядом с ним? Почему не положу ему руку на плечо, не загляну в глаза, не пробуждаю его в наше с ним «вместе»? Отчего так легко переняла его каменность, не оспариваю? не снисхожу? Все горят в сердце его злые ледяные слова, не снизошедшие к пониманию моей муки о прошлом с ним. «Прошлое»? Сломанная картонка!? Узкими от тоски глазами оглядываю безотрадную степь, где поколение назад плакала Ирина Евгеньевна. Глухо бьюсь о непонятность того, зачем я Борису, зачем не отдал Миرونу, полюбившему? Все те дни повторял: «Ася, моя Ася...», а как вернулась — перестал повторять?

Гляжу и гляжу, стараюсь понять, что любили в этой степи казаки? Утраченным раем мерещатся мне за ее плоским круглым горизонтом холмы, качающие в ветре березовые шатры и кисти рябины, летний день детства, жасмин у маминых окон, сказочная ель старого сада.

— Там, налево, за этими заливными лугами, — Дон... — сказал, указывая рукою, Борис. Его уже чуть тронутое загаром лицо, высунувшееся из окна, было кинuto на синюю эмаль

над степью — резко очерченным профилем, золотые волосы шевелил ветерок, у очерка глаза с дрогнувшим веком была сейчас не синева — тьма, и у росчерка прямых губ тлела — скорбь? Горечь? И, как птица, раскинувшая крыла, пронзило меня еще раз — сознание его обреченности! Что и как убедило его в его близком конце?!

И вдруг, как это бывает, как было тогда, год назад, с парусом у открытого моря, все полотно моих о себе мук перелестнулось поворотом на 180 градусов — и вся я, со своим строем струн, натянутых на восторг и горе, повернулась в прожурчавшем степном ветерке — страстным вниманием к другой семье, другой крови — все они, там бьющиеся друг о друга, как я о них, ждущие нас на хуторе... Так мчался наш, сумевший не перевернуться баркас из открытого моря — к Сердоликовой бухте, к спасенью!

И в огненной жаре донской степи и нашего полета в мозг пронеслись слова Борисова брата Сергея — крестьянам ближних сел: «Когда начнется революция, вы мне первым сожгите вот то гнездо...» (указывая рукой на свой хутор).

Андрюша просыпался на руках Сони. Ее худощавое немолодое лицо оживилось:

— Приехали! — сказал Борис.

Автомобиль замедлил ход.

Длинный, красный дом вдали от шоссе, и перед ним — пирамидальные тополя. Это — Ярцевка, хутор Борисова отца. За домом — двор и молодой, трепещущий березами и дубами — лесок в рост человека. Это поднимается кустарник на месте сведенного и проданного моим свекром леса, за что на нем — гнев сыновей и недоуменье кроткой, но строгой женщины (да, это умещается в маленькой женщине, пожилой, худой, синеглазой, твердо принявшей учение Льва Толстого и давно отошедшей сердцем от своего насмешливого, с лукавинкой и озорством веселящегося в рассказах о прошлом супруга, умеющего заговорить любого за кипящим и откипевшим самоваром, переноса гостя в 80-е годы прошлого, девятнадцатого века — в свой, впрочем узкий, мирок бывшего лицеиста, в круг друзей и родных).

Зачем свел лес? А кто ж его знает — денег от этого в семье не прибавилось — может быть, из упрямства: а почему ж не свести? Сыновья не согласны? Но ведь хозяин — он? Леген-

дой цветут в устах сыновей два рассказа (впрочем, сыновья еще более насмешливы, чем отец!): что понадобились отцу деньги, чтобы выкупить наконец Петром Первым отнятую за участие в мятеже шкатулку с семейным гербом... — что в этом легендарном гербе — путает память с рисунком герба нашего с Мариной деда с материнской стороны — Александра Даниловича Мейна, полусерба. И, если верно помнила моя сестра Марина: ключ... Не знаю, что же жило в той туркменской шкатулке, которая стоила, говорят, — десять тысяч золотом; история запутывается, упирается в сказку и даже вовсе похожа на ложь! Цвел еще рассказ о любимце моего свекра гусаке Шипуне, отличенным за это самое шипенье, и о выстроенном — ему на эти лесные деньги — балагуром-отцом доме. Да, говорили они, настоящий дом просторного крестьянского типа с затейливой, в русском вкусе резьбой, по которому важно расхаживал и шипел Шипун. Но сколь близок к истине этот рассказ и как соотносится с той шкатулкой — решать не мне, тогда, в восемнадцать лет, попавшей в такой бабаягин клубок, что тонули в нем и Шипун, и подкрыльцовый лягушачий бог Быкака, выдуманный в пору их детства братьями Трухачевыми.

Но вплетаются в мое лето 1913 года и «Село Степанчиково» Достоевского — Фома Опискин, рождаемый мне в нашем флигеле в послеобеденные часы неподражаемым Борисовым голосом, и слабоумный старец — князь из «Дядюшкиного сна» — «Ваша шпага, князь, блеснет в лицо противника!..» — «Да, да! Блеснет, блеснет...»

Вплетаются и прогулки с прощенной мной сестрою Бориса, Марусей, с которой жарко в этом безлюдье. Дружу с одинокой, фантастической девушкой, и перекликанья — острота ума и тоска — брошенными словами (брат Бориса — Николай — я), и легенды о брате их Сергее, все не едущем из Воронежа, и письмо Марины из Коктебеля о Карадаге, о Сердоликовой бухте, о Максе и Пра, о том, как бесконечно жаль, что я не с ней и Сережей — а в общем, я брошена на единственную достоверность — кормилицу Соню и моего первенца. Ему одиннадцать месяцев. Он великолепен — озирает с Сониного плеча мир темно-серыми большими глазами. Он очень красив, очень капризен, очень настойчив,

очень привязан к Соне — забыл свое прошлое у моей груди, он не идет ко мне на руки...

Борис вышел сейчас с высоких ступеней крыльца нашего флигеля в предвечерний час; ружье через плечо, посвистывая, шагает в лес ли, по большаку ли к Животинному лесу, в эту ли необъятную степь, от которой пьянеет, — вольный как сокол. И, может быть, мимо избы когда-то любимой девушки, о которой не скажет...

Зовет, блестя довольными жизнью глазами, Соня — старый барин велел передать: чай готов, просят к столу. И вот я часами за чаем, все уже ушли, отпив чай, я одна не смею и терплю бесконечный рассказ веселого свекра (за терпение меня *презирает* свекровь — или мне *благодарна*?), мой рот замер в учливой улыбке вниманья, укусом стянувшей мне губы, мозг устал слушать, зубы устали жевать печенье (Сергей Николаевич отодвигает конченную нами коробку, подвигает новую — их счет бесконечен) — я уже не помню, о чем, когда началось, когда кончится, жду только избавленья — ужина, прихода других, но мне ясно, что я — единственная, кто слушает эти рассказы, жалость держит стяг моего воспитания, и, может быть, я отдыхаю — в роли невестки, гостыи, утерев свое «я»...?

Чуточку ясности: с задней, от шоссе скрытой стороны дома — поодаль, по правую сторону — приготовленный мне с Борисом и Соней с Андрюшей — флигель; взойдя на крутое крыльцо — маленькая проходная в одно окно; из нее влево — длинная просторная комната в два окна — наша спальня. Из проходной вправо — такая же комната — Андрюшина детская. Тут кровать Сони (с блестящими металлическими шарами, из Воронежа привезенная); с нее, играя с игрушками, Андрюша уже успел раз слететь, к своему негодованию и ее испугу. Сюда ежевечерне бабушка несет внуку в серебряном малом золоченом стаканчике — парное молочко от лучшей из лучших коров. Улыбкам и умиленьям нет конца.

Сын ключницы — четырехлетний Миша — сменяет в кувшинчике букеты лесных цветов. Я их ставлю на столы Боре, Соне в их комнаты. Меньший — в стакан, себе, на столик у окна, мною поставленный в проходной комнате. Это мой письменный стол. Тут — письма Марины, дневник. Я читаю

упрямо, помнится, Мережковского — «Александр I»... — (как тот объезжал полки «со своей прелестной улыбкой...» Но автор не мог меня приохотить к прелестному отцеубийце).

Влево от главного дома (где комната свекра, свекрови, столовая) — другой флигель на небольшом холмике, и за ним — пруд. В этом флигеле живет Николай Сергеевич.

С версту отступя назад по пути, которым мы с Борисом примчались, деревня (Бестужево?). И на версты, на десятки верст — степь...

Июль. Где Таруса? Детство, ты навсегда прошло? И камнем на душе, кладом зарытым «Николай Николаевич Мионов»...

Полумифический Миша*, фантастическое изобретение братьев Трухачевых — был, однако, реальным ребенком, бессменным свидетелем наших дней, непременно присутствуя в них по своей «должности» сына ключницы Ольги Михайловны (коей, несомненно, наперсницей стала бы моя Соня, останься мы тут дольше). Ольга Михайловна, статная, при всей подвижности еще молодых лет, по роли своей не походит нисколько на ключниц старых времен и на их «царя» — Плюшкина: она чистенько, к лицу одета, приветлива, хороша собой, голубоглаза, длиннолика; волосоруса. Она всегда улыбается, чем, верно, и пленила хозяина своего Сергея Николаевича и чем, верно, отвратила всех трех его сыновей. О медовых хитростях ее идут рассказы, но место ее в доме прочно, хоть ее не выносит, того не показывая, Ирина Евгеньевна и любезно обходит ее услуги Марья Александровна, именуемая «Масейкой».

Миша — белокурое невинное создание с кудреватými волосиками, успевающий всюду за матерью в пору ее по хозяйству чрезмерной занятости и во всех прочих местах, особенно близ старого хозяина (коему, впрочем, идет всего пятьдесят пятый год). Они почти неразлучны. Только когда задлится от обеда до ужина за чайным столом беседа, Миша по своей юности — исчезает. Прочти я до того «Братьев Ка-

* Сколько раз во все последующие годы Марина мне:

— Ася! Представь Мишу! Сереженька, смотрите!

И Сережа:

— А как бы об этом сказал Миша? Асенька! Ну пожалуйста.

рамазовых» — я бы поняла, как много о родословной Мишеньки сказано в имени, о нем вскользь брошенном Борисом или братом его Николаем — «Смердяков». (Тут же должна сказать, что против своего родства с Мишей Сергей Николаевич возражал до самой своей смерти.) Миша — маленький мальчик. Но у него огромная роль: жаркие рассказы о нем, ставшем персонажем из смердяковского царства — и кто же оспорит их? Когда Борис, исказив лицо в личико безмозглого идиотика, подняв до предела брови, сердечком — ротик, выкатив младенческие глаза, в которых окунуто сатанинское жало, изображает, как Миша пришел — в два годика — доложить «сталому балину» о своем верноподданном и хозяйском глазе, с тревогой спросив: «А где наши коловуски?» — вы видите этого Мишу!

Борис рассказывал о том, как трех лет Миша, в ответ на выраженное кем-то недоверие, произносит: «Побей меня Хлistosик», — и для усиления добавляет: «...камуском», — раздвув ноздри, глянул, испуганно приоткрыл рот, все с тем же идиотическим личиком — по вас идет трепет отворачивания, и вы просите перестать. Однажды, зайдя на чердак, кто-то из них, братьев, застал крошечную фигурку согнувшегося над фолиантом младенца, и как задрожал младенчиком-идиотиком притворившийся старичок, прикрывая «облозецку книзецки, а то — запылицца...» — чтобы не увидели — санскрит... Вы уже убеждены, уже чувствуете, что все на хуторе, кроме Сергея Николаевича, каждый по-своему, измучен присутствием Мишеньки. И еще вам преподносят ночную встречу Сергея Сергеевича — в степи — с Мишей: шел Сережа далеко от дома, ружье за плечом, своим богатырским шагом (он, как тот мужичок из «Войны и мира», отмахивал по восемьдесят верст в день и тоже не был высок ростом) — а навстречу ему — Миша. Глянул Сережа — и пошел по нему мороз. Когда волосы на голове зашевелились, не помнит человек, что делает — и Сережа услышал не испуганный, а испугавший его голосочек: «А вы, Селгей Селгеевич, лузецо-то наденьте облатно на плечико, а то в луках-то, неловен цас, — выстлелит»... И в ответ на громовое Сережино: «Ты что тут, паршивец, делаешь ночью?» — Мишин торжествующий ехидством смешок...

Миша стал уже давно действующим лицом в моей жизни, Борис давно уже мне его подарил: года два неистощимость трухачевской фантазии кормила ненасытимый на Мишу голод Марины и Сережи, трудно сказать, кого больше...

— Борис, Мишу! — и, отпрянув жестом старухи, метившей ведьмински под мотоцикл, Борис превращался в «младенчика с коловусками» во мановенье ока (кстати, я всю жизнь думала, что во «мгновенье» ока, не слыша и не понимая бессмыслицы, только вдруг недавно поняла — мановение...). Но моя фантазия не отставала, и появлялось уже мною сыгранное, второе Мишино лицо, и, оценив высокую марку подражательности в портретности сходства, Борис, в свою очередь, упивался рождавшейся новизной, неожиданными оборотами речи и интонацией — и уж в два голоса, друг друга перегоняя, мы рождали фантастическую бессмыслицу — Миша мог появиться, танцуя от каждой печки, высунуться из-за любого предмета, явиться с оценкой любого происшествия, от него нельзя было спастись! Перед зеркалом стоя, проверяя, похоже ли? — Сереженька, да смотрите же — Миша? — Марина старалась из всех неудачных гримас поймать ту, бесспорную, и печалилась, когда не выходило. Была рядом с этой игрой нашей невинна ее игра, вошедшая уже в привычку — звать Сережу «Левушка» (за то, как он изображал льва. Лев был не по-львиному уютным, в теплом юморе Сережиных улыбок, чесавшим у себя за ухом, как обезьяна, и глядевшим на Марину чудным преданным взглядом (со второго года жизни Аля, так на отца похожая, тоже «делала льва»).

И была тень Мишина так густа, что, видя его наяву живого, я осторожно обводила взглядом фигурку в матросочке и дивилась его кудряшкам, памятуя, что светлых волосиков у него на голове «всего два»... Недоверчиво косилась на него — вырос! — четыре года! (А в ту ночь, когда Сережа его увидал в степи — на версты вдали от дома — ему было — Борис слова эти бросил с вызовом — «полтора годика»... И когда, сев у колен Сергея Николаевича, Миша раскладывает свои кубики — азбуку, я вспоминаю суженный взгляд Бориса, эту позу Мишину оценившего как величайшее на свете притворство: на самом деле он знает санскрит!

Так велика сила творчества, повелевающая — явью? Впрочем, Миша снабжает фантазии о себе — щедро: мальчик ехидный, хитрый, скромный и ласковый, неприятный. (Что доказал полтора десятилетия спустя черной неблагодарностью, жестокостью отплатив Сергею Николаевичу — за любовь.)

Выразительно гляжу я на Бориса, этим прося его не уходить, дожидаться конца рассказа, когда будет удобно мне встать, не прервав свекра. Борис немо отвечает мне, что сейчас же начнется рассказ следующий, но мой беглый взгляд умоляет. Борис добр сегодня, садится, затем встает — «Ася, мы хотели дочитать главу», — я встаю, улыбаясь: «Да, непременно...» Спасены! Когда мы выходим мимо комнаты Ирины Евгеньевны и сенями во двор — ночь встречает нас черным сукном — ни зги! Не возвращаясь за фонарем, мы, смеясь, крадемся вдоль изгородей, щупая путь руками, спотыкаясь и оступаясь, — никогда более я не видела таких черных ночей...

Глава 2 ПРОЦЕССИЯ

Кто нам сказал об этом? Кто первый увидел процессию, идущую от деревни к хутору? Соня ли прибежала с Андрюшей на руках (он не спал) или сам отец Бориса пришел нам сказать, чтобы мы были готовы встретить идущих, что они идут к нам, «молодым», что это — обычай? Только помню, как при этом известии Борис сделал тщетную попытку выскочить из окна (поздно — его бы увидели те, от которых он хотел ускользнуть!), и помню, как, уча нас, где встать, Сергей Николаевич на крыльце нашего с Борей флигеля (мы еще не могли быть видны) — сыплет нам в руки серебряные монеты, среди них — серебряный рубль. И как важно, степенно, ничуть не смутясь, стоит на площадке крыльца Соня, точно ничего другого не делала за всю жизнь.

И только один Андрюша независимо и величаво взирает на непонятное мне, впрочем, не менее, чем ему.

Изогнувшись змеей, восходя от деревни чуть вверх к шоссе, шла стройная вереница людей, и теперь уже было видно, что

это идут женщины. Длинные платья, разноцветные, колыхались от шага, и, кажется ли мне, было пение? Может быть, нет (частушки воронежские все мои первые дни в Ярцевке доносились вечерами из деревни), передние несут что-то...

Зрелище было настолько торжественное, что Борису и мне, росшим в совсем иных настроениях (Сережин совет крестьянам — прежде всего сжечь их гнездо, наше с Мариной революционное в Нерви и Ялте), происходившее было просто страшно. До того не в духе времени.

Они подходили. Пройдя с шоссе, сошли с него и заворачивают к нашему флигелю. И за неожиданностью того, что я вижу, пропадает на миг странность всего происшествия и неловкость его. Не веря глазам, я смотрю на красавиц. Они несут на блюде каравай и соль на расшитых полотенцах — какая красивей? Левая? Правая? А за ними, сколько хватает мне зрения, — одна другой лучше? Как во сне! Театральная феерия! Господи! Ни в одном балете, ни в опере... Они видны мне теперь по крайней мере до трети длины процессии — их сверкающие глаза — очи! Их алые рты (все тонконосы!), и румянец их щек — это спелые яблоки! А бусы! Тяжелые их гирлянды лежат на белоснежных рубашках, схваченных стройностью цветных сарафанов — и вот все это остановилось, шелестя и шепчась, перед нашим крыльцом.

Дошли! Кто звал это шествие, фантастическое, что вырвало этих девушек, женщин из повседневности, оторвало от песен и плясок свободного часа? Как говорят их взгляды! Они пожирают нас... Борис не знает, куда деться. Я стою, улыбаюсь в мучительном ожидании — тоненькая, в белом платье, длинном, такая же молодая, только волосы у меня не косами, как у них, без затейливых головных уборов вьются, недлинные, у плеч... (Сказал ли кто? Или во сне мне их мыслями пронеслось — «Пришли посмотреть молодую... новорожденного!») Они говорят что-то — шелест и голоса, звон бус, скрещение взглядов, улыбок, весь парад осмотра меня с Соней и сына Борисова — и вдруг все это начинает кланяться — дружно и весело, а их голоса всего громче — передние, — несется певуче и патетично: «Мы — ва-а-ши, а вы на-а-ши...»

Нам в руки передают хлеб-соль. Уж Борис, чуя избавленье, сыплет в руки передних приготовленное отцом серебро.

Сыплю и я, утонув в изумлении от такой старинной патриархальности, просто немыслимой в революционные годы, восемь лет спустя после 1905 года, Спиридоновой, лейтенанта Шмидта...

Соня высоко держит питомца, теперь взгляды переведены на него, нет конца улыбкам, умилению, похвалам: «Уж и мать хороша!», «И жена и муж хороши, что говорить — пара!», «А сыночек уж всех одолел! Картинка!» Поздравления теперь — дедушке! Его счастьем, его удаче принимать у себя — таких! — сноху с внуком... И — поплыла в поклонах и поздравлениях в свой торжественный обратный путь, исполнив обычай отцов, сновиденная процессия красавиц. И тогда, сузив глаза на мое лицо, восхищенное, Соня, осудительно:

— Все, как одна, накрашенные! (Гневно.) Страмота! Нешто в театре служат? Нет, в нашей стороне такого не заведено.

— Страмота? (Я, негодуя.) Вы же не понимаете, Соня! Я, правда, не догадалась, но если так, то это же замечательно! И как сделано! Такой грим! Все — красавицы! Это же их мечта, Искусство! Сколько труда им было! Я за это люблю их еще больше...

Глава 3 ИЗ МАРИНИНОГО ДНЕВНИКА ЛЕТА 1913 ГОДА. ЖИЗНЬ В ЯРЦЕВКЕ

В то лето — из Марининового дневника.

«АЛЯ (записи о моей первой дочери)

Ах, несмотря на гаданье друзей,
Будущее непроглядно!
В платьице твой вероломный Тезей,
Маленькая Ариадна.

М.Ц.

Коктебель, 5 мая 1913 г., воскресенье (два года с нашей встречи с Сережей, Коктебель, 5 мая 1911 г.).

Ревность, с этого чуждого и прекрасного слова я начинаю эту тетрадь. Тебе один год, мне — двадцать один. Ты все

время повторяешь: «Лиля, Лиля, Лиля» (Елизавета Яковлевна Эфрон, тетя Али), даже сейчас, когда пишу.

Я этим оскорблена в своей гордости, я забываю, что ты еще не знаешь и еще долго не будешь знать, кто я. Я молчу, я даже не смотрю на тебя и чувствую, что в первый раз — ревную.

Это — смесь гордости, оскорбленного самолюбия, горечи, мнимого безразличия и глубочайшего возмущения.

Чтобы понять всю необычность для меня этого чувства, нужно было бы знать меня — лично — до 30 сентября 1913 г.»

У Сергея Николаевича — гость, сосед-арендатор. Упиваюсь его речью неповторимой, так блистательно повторенной мне уже давно в упоенных рассказах Бориса. Если бы не этот гротеск драгоценный (перл за перлом его речи — в тетрадь), я бы не высидела на этих моих «смотринах» невестки, лопнула бы по швам. Но и этот, ненужный Борису, как мне, мой экзамен, на другой день оказывается выдержанным: с эклищейским щегольством, насмешливым, но удовлетворенным видом свекр сообщает мне, что, по мнению приезжавшего, я «пришлась ко двору».

И в пустой, послечаевой час я опять слушаю Сергея Николаевича, рассказы про его молодость, еще до Ирины Евгеньевны, медленно поглощаю одного за другим персонажей его родных с материнской стороны, Губановских, выборы женихов его сестрами, узнаю, как в приданое за сестрой он отдал доставшееся ему по наследству большое имение Богучарово (такое упомянуто, помнится, в «Войне и мире?»), оставив себе маленький хутор Ярцевку. И, часа два спустя, устав от имен, лиц в том же голосе, оживленном, от гипнотически на меня глядевших, разгоревшихся от рассказа глаз седоватого усатого человека в очках, когда-то красивого, не похожего ничем на своих сыновей, я вкушаю образ Николая Львовича Трухачева, паршивой овцы в семье, дельца-проходимца, впрочем, не лишнего стати. Я уже не сижу, я медленно — от буфета к двери — отступаю от незамечающего рассказчика, и так, в темпе минутной стрелки, мы доходим с ним до дверей в сени, когда уже пали сумерки. Кто-то входит, его зовут. Он уходит. Чье-то лицо мне просияло

в сених, — теперь светлые глаза, лукавство и прелесть девицкой улыбки — Маруся: «Ася, пойдёмте гулять, хорошо?»

Мы выходим в открытую, как распахнувшееся окно, степь. Сумеречные краски — потухшим костром заката на мгновение переносят меня в Киммерию. Я ничего не могу полюбить здесь... Так было уже раз в моей жизни: мы с Мариной не полюбили санкт-блaziеновскую гостиницу, но зато как лазили по пригоркам, по густому кустарнику... Где я нашла мужской перочинный нож со множеством лезвий, штопором и видом какого-то города — выпуклым тончайшим очертанием на желтой поверхности металлической спинки, — как тогда во всем было счастье! Теперь... Мне мило идти рядом — она выше меня и тоньше. Маруся — она ведь тоже несчастная. Слушать ее гибкий, как стебель, голос, видеть — скоро угаснет вечер — мимику, родную сходством с Борисом, ее худого оживленного личика, слушать рассыпающийся, разбившийся стеклом смех, внезапный, как у брата. Она рада, что вырвалась со мной из родного дома, изгнавшего ее много лет назад — за что? Да за то же самое «поведение», которым (братьев ее) полон дом, и его не замечают, оно узаконено, мать прощает сыновьям — мужчины, и ничего не прощает ей: за то, что она — девушка — туда же, за братьями! Не они ли, родители, ей передали те же свойства — ну и свойства родни, которые бушуют в ее братьях, — за то, что она, еще девочка, тогда не сумела победить эти свойства, ее выбросили к хозяйке, в нанятую ей комнату, сделали изгоем!.. Что ж, она прожила и там, «девушка-женщина» на полной (от дома) свободе, решая и не решив до сих пор этой своей свободы — поступком. С четырнадцати по двадцать один год — гражданское совершеннолетие! Не найдя себе никого по плечу, по вкусу, женщиной не став! Марусе, как мне, страшен был шаг сближения, отвращал. Не переступила и, смеялась своим русалочьим смехом, одна!

Вчера мать сделала ей замечание, что она пришла после нашей вечерней прогулки с влажным от росы низом платья, и ее объяснения не помогли. «С мокрым хвостом — девушка»... Я смеюсь: «Ну, это-то пустяки, Марусенька! Об этом я поговорю с Ириной Евгеньевной! Мой-то хвост будет такой же мокрый, и виновницей — та же роса». И, свернув

из степи через шоссе в лесок, мы бредем по не скошенной еще траве, как в Тарусе, стегающей нас по ногам, и уже начинает хлюпать вода в наших парусиновых полуботинках — как когда-то с Мариной в Пачевской долине! — нам весело, мы — девчонки, подростки, так весело и свободно мне не было с самой Тарусы, с того лета, волшебного, 1909 года, с Кланей, с девочками Михайловыми, двумя Лидами, моими «дочками», с Гарей, Мишкой Дубцом, Пуделем, Молокососиком, с братьями Успенскими — все это сейчас с нами в этот безотрадный степной вечер, где даже и по дороге к Дону ни холмика, ни березки, а сколько их было по тем заливным лугам, окским — эти, прославленные, донские, пыреем поросшие, кормовой травой, не нужны мне, как и этот узкий Дон, без единой лодочки, без плотов, жутко темнеющий под осколком заката среди гоголевских? — может быть! — берегов... Протест! Жесточайший протест «девушек-женщин» стелется сейчас над донскими просторами, две рвущиеся прочь души в оковах тел и платьев с «мокрым хвостом» (у русалок — тоже!) бредут рука в руке по уже павшей мгле, прочь от отца с матерью... Как могла она, так тут плакавшая по своим костромским лесам — «Ася! Ни одного окна в этом доме нет, моими слезами не залитого...», — быть так суровой к своей дочери, несчастной из-за нее... А с села — песнь, девичья, еле-еле... Как небо высоко! И где-то кричит коростель.

И катим на другой день — Маруся и я — в легком шарабанчике в одну гнедую, рысью бегущую лошадку по шоссе — к соседям на хутора — ждут нас, желаютзнакомиться. Маруся убедила меня надеть мое лучшее — венчалное — платье (шлейф отрезан), чуть-чуть золотистое, с нежной белизной кружев, белые туфли, только волосы я не согласилась поднять с плеч — прической, — пусть свободно лежат, вьются и бьются в ветре, они — это все, что осталось от моей юности! И сама Маруся оделась во все парадное, что есть в ее скромном обиходе (стиснутая во всех мечтах и желаниях скудным ежемесячным содержанием), провела пушком пудреницы (тайна, запрет) по чуть загоревшим щекам, худеньким, улыбнулась себе в зеркало — почти хороша? Да, прелестна!.. Черный зрачок светлых глаз расширен, и остер кончик мелькнувшего в улыбке бокового зуба («клыка») —

что-то хищное сверкнуло у рта? Отводя газовый шарф, плещущий в ветре, что-то говорит мне, беспечное и насмешливое — и катит наша летящая жизнь к случайным встречам, людям, не знающим о нас ничего. (Почему запомнился так этот час наш на шоссе Воронежском и Задонском, наш смех, наше женское одиночество, наша никому не нужная юность, наша дружба, уже претерпевшая испытания, о которых не хочу вспоминать?) А солнце медленно катится в степь алым шаром, и золотистый туман веет ему навстречу, и Марусин шарф кружится над нами, как птица, — и вот уже оазис поместья, и кто-то выходит из дому нам навстречу.

Веселая чета «между юных и средних лет»: приветливая милая женщина, мать двух детей десяти—двенадцати лет и их красавец-отец, офицер во всем блеске «мужского очарования» и провинциальности, звон шпор и закрученный ус, шутки, смех, теплота гостеприимства и хлебосольства русского, время летит, но мы должны ехать, у нас еще визит — к их соседям.

Мы встаем, нас жарко удерживают — даже мальчик и девочка просят остаться, у них такие прелестные лица, Марусе и мне самим не хочется ехать, так тепла эта внезапная дружба! Эта целительная простота...

И еще час этой горячей ванны, смеха, острот, угощений, ухаживаний за гостями, и уже почти в темноте, провожаемые хозяевами, не хотящими никак отпускать, мы садимся в наш шарабанчик, свежий ветер дует нам в лицо, и мы едем, боясь опоздать домой.

— А к кому мы, Маруся? Я ведь не знаю...

— Сейчас увидите! — смеется Маруся, — не удивляйтесь только! А красив ведь он, да?

— Красив, но безвкусен, Маруся...

— Ася, вы бы не могли полюбить его?

— *Никогда!*

Прямо из темноты мы попадаем в такой жар объятий, в такую колоритную женскую — дамскую, провинциальную — речь, что не знаю, слушать или глядеть: нечто цыганское, но и украинское... в распущенных волосах, перевитых лентами, в россыпях бус и браслетов, в полумесяце золотых серег — и нога на ногу, и хохот, и папироса, и уже зазвенела

гитара под пухлыми пальцами в кольцах: «А мои ускакали! Ждали, ждали вас... со мной поскучайте! Что? И не думайте! Всего наготовили». И мы снова за чайным столом, вареньями, пирогами...

Ночь, едем.

— Любовница брата Коли! — шепчет Маруся.

— Господи! Никогда не подумала бы... Коля... Такой он, такой...

Насколько шумно, громко появляется в это лето в моей памяти оживление Сергея Николаевича, настолько стерто воспоминание в Ярцевке об Ирине Евгеньевне... Тихо, деловито, немногословно вела она где-то в своем покое и во флигеле кухни хозяйство, мелькала ее маленькая, худенькая фигурка в простом, строгом платье, проходила за ней тень высокой Марии Александровны, я даже не помню их голосов. Прожив тут два десятилетия, реже навещая хутор в последние годы, они сердцем были не здесь. И кроме как за столом в обед и ужин, за раздачей обильных и вкусных кушаний, я их вообще редко видела: зайду на минуту в блестящую чистотой, дышащую цветами комнату Ирины Евгеньевны, улыбнемся друг другу, она что-то любовно поправит на мне или проведет рукой по моим волосам, спросит о самочувствии, о Борюшке, об Андрюше, Соне... и пойдет день своим чередом.

Андрюша был веселым и добрым центром внимания деда и бабушки. Мы любовались, смеялись его проделкам, залихватому детскому хохоту, когда с ним играли, ему несли угощение, цветы, которые он пробовал тащить в рот — за красоту — и нещадно рвал, разбрасывая их кругом фейерверками; исполняли желания его кормилицы — и никто не знал, что эта наладившаяся в Ярцевке новая жизнь внезапно и так странно прервется...

Стоял июль — первые недели после смерти мамы в Тарусе восемь лет перед тем. Я не помню дождей на хуторе. Стояли попеременно: жаркие степные синие дни с деловыми краткими заездами кого-либо из соседей — и черным бархатом непроглядные ночи.

Иногда я шла одна в молодой лесок — забыть степь, вспомнить Тарусу. И ждала вестей от Марины. Где Миронов? Что с ним? Тишина...

Оно пришло, письмо со штемпелем «Феодосия», мелкой вязью разлив адресных строк. (До замужества так писали — как смешно теперь — Ее превосходительству Марине Ивановне Цветаевой, Ее превосходительству Анастасии Ивановне... — теперь мы писали друг другу Е.В.Б. (Ее высокоблагородию, как тогда называлось) и на фамилии наших мужей.

Легко шелестят в радостных пальцах мелконаписанные листки прохладной пергаментной бумаги с золотинкой у края и с Мариной любимой фиалкой у левого уголка — о — о! Как чудно! Падают из них льдинки фотографий — Сережа, Макс, Лиля, Пра, Марина, Майя Кювилье, Вера Эфрон, Пудель (Сокол, Володя), Ева и Миша Фельдштейны, Максим дом, лесенка, порыв ветра в молодых тополях, пирамидальных — мой живой, родной, дышать — не надышишься — Коктебель! Одним летом такой любимый, что стал в ряд с отрождения нашей Тарусой!

Будто меня тут навек запрятали, в безотрадность воронежской степи, как Ирину Евгеньевну четверть века назад... Стою, глаза в фотографии Коктебеля, и их не вижу от слез...

Марина! Макс! Серезенька... я — несчастна, — даром что терплю и молчу... — «Дорогая Ася...»

Маринин родной почерк, родные наши слова, родной тон... но я уже не могу больше, строки текут слезами, грудь разрывается — туда засунутой, преодоленной болью!

Борис! Отпустите меня на волю, я не нужна вам, вы только от гордости захотели меня вновь рядом, зачем страдает вдали без меня Миронов, зачем вы меня увели от Марины и по пути уже забыли меня... У ног тарусские иван-да-марья, лилово-желтые, трава, ветки леса... Восемнадцать лет! Тишина...

Перечла. Так мало о брате Бориса, Николае Сергеевиче. Как четко я позднее сравнивала его с Иваном Карамазовым! Сходство было, несомненно. Но подтвердить это рассказом мне не удается.

Каждый раз, как я встречаюсь с ним, я во власти очарования. Оно робко, не названо, хрупко — мне кажется? Может

быть, ничего нет? Возможно, мне тоже кажется, что он понимает, что я его понимаю? (как отражение зеркала в зеркале...) Провести рукой по лбу и глазам — все смелось?..

Совсем другой он казался мне на нашей свадьбе, я даже немного его чуждалась. Теперь я чувую, что он чувствует мои странные отношения с Борей. С ним таких бы не могло быть. Он строг, чинен, четок. (Жесток и он, быть может?..) Очень умен. Вдумчиво-печален. И идет от него холодок... У него волевая челюсть, чуть-чуть квадратная, хоть и худ. Красоты в нем нет, ни подчеркнутой Борисовой грации. Но когда он в комнате — его присутствие несомненно, и в этом присутствии — прозрачность. Точно внесли стеклянный кувшин — тихий блеск. Я бы могла любить его? Страшно в нем что-то. В связи с той женщиной... Боже!

И таинственно живет вдали, в городе, старший брат, Сережа. С этим именем в семье связано равное у всех, таких разных, уважение. Какая-то нежность вокруг его имени. Его любит отец, и иначе, чем тех. К нему не проявляет иронии. Борис говорит о нем мечтательно, бережно. Он — авторитет для Маруси (остальные братья — нет). С ним считается Николай Сергеевич.

Что я знаю о нем? Жил в Париже. Знает французский. Пишет стихи. Феноменальные с детства способности. Хранил у себя бомбы и прокламации. Участвовал в вооруженном восстании 1905 года. К нему нагрянули с обыском — но он успел, оповещенный, передать спрятанное в другие руки. Смело спасся прыжком в соседний двор, когда полиция была уже в доме. А теперь — пьет запоем. Здоровье разрушено. Ставит на себе крест. Такие дети — у Сергея Николаевича! Непонятно. Он настолько легкомысленнее их и понять их не в состоянии. Как же он их породил? Ему чуждо все то, в чем для них — трепет жизни. К философии, к искусству он глух. Ко всему, что чуждо, — ироничен. Не без злинки блеск его глаз под очками, когда речь о молодежи. Но свою молодость в рассказах лелеет — увлечения, дружбы, кутежи, веселье. Горделиво, порой с едкой желчью переносит он скрытое недружелюбие сыновей, младших. Одна мужская страсть их сближает, но и отделяет: страсть к спору. Но при мне сыновья еще ни разу с ним в спор не вступали, они явно

избегали отца, не желая, быть может, грубить, обличая его какую-либо несуразицу в споре. Он бешено спорит, зло сверкая глазами, и, встав, упирает яростно палец в стол. Тогда мне остро жаль этого человека. (Теперь, когда их всех давно нет, я одна осталась из них, из того молодого поколения и — из младшего — Андрюша, и где-то ответственным работником, кажется, жив Миша — как странно описывать их и их отношения той одной точки во времени, июля 1913 года, зная, как они один за другим умерли и погибли и что каждый из них испытал...)

И снова Борис читает мне вслух Достоевского. Бессмертного Фому Опискина, и я лежу, как год назад слушая Гюголя перед рождением Андрюши, и хохочем — как дети.

Снова Миша несет букетик цветов Андрюше, сопровождаемый дедушкой, зашедшим посмотреть наше житье-бытье, всем ли довольна. Снова бабушка несет в золоченом, старого серебра стаканчике парное молочко внуку.

Снова длинные золотые часы до ужина... И томление — усталость... А за окном уж опять желтизна надстепного заката, и невидимо спускается мгла.

Глава 4 РАЗРЫВ И ОТЪЕЗД

И опять вечер, и снова выходим с Марусей пройтись — сбросить день, в легкую свежесть и сгущающуюся синеву, и снова трава, недоскошенная у молодых деревьев, шелестит росой по нашим ногам и платьям, и я слушаю Марусин голос. Грассирующий, как голос братьев (а родители — никто...), и ночь сближает наши печали, кидает мост над иными сходствами вкусов, чтобы они не разошлись, как параболы, в бесконечность... Кто бы мог подумать, что этот мирный вечер повлечет за собой бурю? А она разразилась с предельной силой: Ирина Евгеньевна, еще раз обнаружив «мокрый хвост» у пришедшей с прогулки дочери, заявила ей, что она этого не потерпит, что такое поведение девушки... Маруся бросилась к братьям. К ним, таким «холодносердечным» — и что же? Оба брата приняли ее сторону

с такой силой, какой она не ждала. Впрочем, если мне память не изменяет, первой пошла для объяснения с ее матерью я, но потерпела фиаско: весь мой ласковый тон, все мое удивление, вся убедительность доводов...

— Но, Ирина Евгеньевна, мы с Марусей вместе ходили, не по шоссе же было гулять? Трава у тропинок мокрая, платья длинные, в чем же наша вина? Мое платье точно такое же мокрое было.

Все разбилось о несокрушимую уверенность моей свекрови:

— Вы, Ася, — другое. Вы — замужняя женщина, вам я не могу замечания делать. Но Маруся — девушка, и она должна знать...

— Маруся на три года старше меня! — не сдавалась я. Тщетно. Я ушла в слезах.

Николай и Борис оба пошли к матери. Их разговор с ней был бурным. На ультиматум их о свободе Маруси мать не пошла. Тогда нашла коса на камень: сыновья объявили, что уезжают из Ярцевки.

— Мы уезжаем, Ася! — просто сказал мне Борис. — Коля, Маруся, я, Вы, Андрюша и Соня.

— Уезжаем? Господи! Неужели нельзя уладить?

— Уладить? — сказал Борис. — Сережа один раз «уладил»! Подпер плечом буфет, раскачал и бросил его об пол, створками вниз, и фарфор, хрусталь — вдребезги! Жаль, его нет.

Я пошла в детскую — встретить лбом бурю Сониного безудержного гнева.

Один Андрюша мирно спал, ничего не зная, и над ним спали картинки и погремушки, уставшие за день, как и он.

Я пробую еще раз:

— Боря! Но неужели же не жаль вам папу и маму? Их же так обидит наш отъезд! Так ждали, все приготовили — так заботились.

— Я вас не неволю! Пожалуйста, оставайтесь! Мы с Колей уедем — мы уже сказали! И Маруся не останется тоже, конечно...

Соня плакала и укладывалась, я утешала ее, объясняла... Затем я пошла в большой дом. Оба — порознь сперва, затем — вместе, Сергей Николаевич и Ирина Евгеньевна на-

перебой пытались переубедить меня, остановить мои с Со-ней сборы:

— Пусть они уезжают! Они оба такие упрямые... Маруся кого хотите настроит! Ей ничего не стоит разрушить любой мир! Я вам говорил, что с самого своего детства она...

— Я же вам говорила, Ася, что Марья Сергеевна вас с Борей поссорит, еще осенью говорила вам, вы не поверили — а разве не из-за нее Борюшка ушел из дому, от вас, от меня, жил Бог весть где? И теперь...

— Ничего не понимаю! — всплескивает руками Сергей Николаевич. — Ну поссорились они с матерью! Возжа им под хвост попала — мальчишки! Вам-то с Андрюшкой зачем уезжать?! — Его голос дрожал.

Я понимала: и внезапное одиночество, и скучно без внука станет, и обида, и что скажут соседи... Жалость к ним двоим, из-за нас съехавшимся, жгла меня.

— Вы, Ася, уговорили меня, просили за Марью Сергеевну, чтобы ей сюда — теперь сами видите, что она в дом добра принести не может. А Борюшка погорячился, но если вы ему скажете: «Я останусь»...

— Я просила его, не слушает! А если я тут останусь, он на меня оскорбится! Опять пропадет куда-то... Ирина Евгеньевна! Вы же должны понять: он — мой муж, Андрюша — его сын. Я должна ехать.

Я ушла от них со слезами.

Жаркий, мирный, беспечный день протянул над задонской, воронежской степью синие крылья и колыхнет травку у входа в лесок, куда я вышла перед отъездом.

Короткие полуденные тени. По шоссе — пыль, в пруду — гуси, на скотном дворе — работы и суета неожиданных сборов в путь всего младшего поколения, упавшая в тонкий день, как камень, брошенный в пруд, — круги по воде...

Соня сумрачна, как невидимая над домом туча. Борис и Николай неестественно веселы. Маруся — насторожена, встревожена, не определит себе места в отъезде. Я умом понимаю, что поступок ее братьев — правилен, заступничество — благородно, а сердцем мне, как вчера, жалко ее, в час резкого объяснения матери с ней, так жалко сегодня — отца

и мать, старых, которым нашим отъездом наносится бесчестье — в их и так невеселую жизнь.

Меж мной и Борисом, как всегда, воздух полон стеклянных легчайших перегородок, они не дают мне войти к нему, окликнуть — живым, огорченным голосом, положить ему руки на плечи, чтобы мы, молодые гордецы, сильные, пожалели, как детей, — тех... им жизнь давших! Мое чувство не будет понято — истолковано как малодушие, сентиментальность... Ничего объяснить нельзя! У каждого человека — свое безумие, горькое от его одиночества, и мне не к кому сейчас пойти — и сказать! Поэтому я стою одна в лесу (чуть выше меня ростом!). В нем — тарусские ветки, в нем — мама, в нем — наше детство с Мариной. Ветки меня понимают, кланяются. Знают, по-своему, что завтра я уж не буду здесь...

И вот я стою в комнате Ирины Евгеньевны, перед ее синим, влажным от слез взглядом.

— До свиданья, простите меня, спасибо. Я не хотела вас огорчить, но я должна ехать... (Сердце бьется — как улучу миг? Улучила!) Схватила руку ее, поцеловала. И — к двери. Чтобы не зареветь. И — другая дверь. Я вхожу. Слезный туман. Усатый, старый, взволнованный — дед Андриюшин!

— Простите меня, спасибо за все — я бы хотела остаться — Боря едет, я не могу... — Нагибаюсь. Целую руку. Старческий мужской всхлип.

Глава 5

СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ. ДАЧА В КРАСКОВЕ

На чем, как мы ехали полсотни верст до Воронежа — совершенно не помню. Я снова вижу белые низкие здания, екатерининских еще времен, с полукруглыми окнами, и ряды пирамидальных тополей, сердце занято жалостью к оставленным старикам, тревогой о том, куда едем, как там все будет с Андриюшей и Соней, где найдем посреди лета жилье, будет ли хорошее молоко (уже ведь прикармливаем) — вся сеть материнских забот, павшая на восемнадцатилетние плечи, делает близкое будущее еще беспокойней.

Через все это — бесперывное наблюдение над Николаем Сергеевичем, коего вижу впервые так долго и близко: нет, он мало похож на Бориса — только отдаленное семейное сходство. Выражения лиц — совсем разные, в Николае Сергеевиче совершенно отсутствует в наружности — грубо сказать — поэтичность: цвет глаз и волос — обыкновенный, карий цвет глаз. Он — русский, и в чертах нет той ранящей, беспокоящей прелести, так горящей в Борисовых. Если есть в них сходство в часто по лицу проходящем веянии жестокости, то и оно разное: в лице старшего из них — холод ума, присутствие пристальной мысли. У Бориса... но о нем так трудно сказать!..

«Чувство, сама возможность связи с такой женщиной, — думаю я, — оторвано от ума Николая Сергеевича — две области в противоречии. У Бориса ум и странное его сердце слиты в какую-то общую трагичность судьбы, его страсть с семи лет к Лермонтову, упоенное повторение строф Тютчева — это буря лиризма внутри, и Дон Кихот, его любимый герой, должен быть совсем чужд Николаю Сергеевичу. Борис рвется от жизни, быта. Его по дню пронесит, как Агасфера в картине — Марка Шагала? Чурляниса? — стыдно, не помню — чьей. А брат его с жизнью справится и ее устроит. В них — разный дух!»

«Марине совсем чужд был бы Николай Сергеевич, — думаю я, — и как она любит Бориса!»

Но всё, занимавшее меня — тревога и наблюдения в пути — снялось вдруг неожиданно-негаданно в меблированных комнатах Воищева, где всегда останавливались Трухачевы.

Дверь открылась, к нам вошел Сергей Сергеевич Трухачев.

С этой минуты из меня, словно ветром, выметает дотопле бывшее, и в бой с моей любовью к Борису, мучительной и бесплодной, вступает с ним разительно сходный брат. Сходный, да! Но — трепет глаз, огромных, с тяжелыми веками, мягкий их взгляд, старших, усталых (он на десятилетие меня старше!..), тяжесть черт, обаятельная улыбка доброго рта, и над всем — утомленность, застенчивость, неучастие в жизни, никакого внешнего пыла, как в братьях; доброе и стесняющееся старшинство.

Он вошел — среднего роста, снял шляпу — но он уже отступает. Он здоровается, но его нет с нами. Его отгоревший пыл ореолом печали сопровождает его движения, и в нем, улыбнувшись нам, младшим (откуда-то примчавшимся, куда-то рвущимся, едущим) — соболезнование и просьба простить, что не может помочь, как мог бы, наверное, годы назад, во времена своей мощи. Это все — почти молча, в пожатии рук, в поклоне мне, в первый раз увиденной жене младшего брата, и в каких-то случайных — веселых? — словах приветствия; в том, как подошел к Андрюше, смотрит, играет с племянником, на него, по фотографиям детства, похожим; как любит, отступая от возможности брака себе, чужим браком... Сел, повернулся с вопросом к братьям и сестре: «Что там у вас случилось?» Слушает их рассказ, а сам кивает Андрюше.

И все сердце мое, все силы его, вырванные в этот час из Бориса, отданы этому человеку, на него так похожему — Борису через пять лет! И к ужасу своему — бой: Сергей Трухачев — Николай Миронов...

Ночевали ли мы в Воронеже? Нет, должно быть. Я бы помнила эту ночь. Отъезд шел, вероятно, в такой спешке, что все стерлось, кроме вошедшего в его быстротекущий поток Сережи, Сергея Сергеевича... Сергей Сергеевич! Я это имя встречаю ведь не впервые? — нет, нет! Так звали того человека в «Бесприданнице» Островского, кого полюбила Лариса, кому играла на гитаре, кому пела тот старый романс:

Нет сил таиться, я рыдаю,
Хоть сердце шепчет мне: скрывай!..
И я с тоскою повторяю —
Не покидай, не покидай!...

Звон струн, отброшенная гитара, взметнувшиеся косы — Театр Корша, Маринины шестнадцать, мои четырнадцать лет... (Все это — искрой в прозвучавшем имени.)

Куда-то мы шли, чего-то ждали, торопились, куда-то ехали, Соня и я собирали Андрюшу, передавали Марусе на руки! Куча багажа, разговор о билетах и поезде, приходы и уходы людей — и над всем не оставляющая нас ласковая

шутливость Сережи, его глуховатый родной голос, из которого улыбается одиночество, и из этого прощающего старшинства — такая теплота сдержанной нежности, такая грациозность печали, такая преодоленность всего, что мучает и отбрасывает в Борисе, что я плыву в этом голосе, в этом взгляде по какому-то блаженному потоку, и все страшно по безысходности, как было с Нилендером и с Luigi Levi, и тот же отходящий, как с ними, во тьму, поезд, за которым опять Борис... Да — и с Мироновым (я его еще ни разу не назвала «Коля», как говорю про себя) тоже был поезд, но почему, с ним прощаясь, — не было безысходности? С ним — мы верили в будущее!.. И вот снова, в четвертый раз, я отдаю человека — Борису, от себя отрываю ставшее дорогим без предела — а Борис...

И затем трепет беды,
Трепет сомненья и раскаяния,
И последний трепет — смерти,
Нас поглощавшей...

И снова вокзал, надо всем и за всем — вокзал, это любимое с детства наше с Мариной царство, гудки, мгла, шары фонарей, как луны, арки, своды, первый и последний звонок...

И озноб. Тот, тот самый, о котором мама в Нерви так до конца жизни и не узнала...

Вечер. Скоро уходит поезд. Как он сказал мне вдруг эти слова, подходя ко мне и Андрюше, слова, которые я теперь никогда не забуду, в которых мне — нестерпимая грусть и нежность, и родственность, и расставанье, любующееся... (Если бы мы не уезжали сегодня, он бы не сказал так!) — «Вы хороши, вы обворожительны, — и эти слова, с этим их грассирующим «р», он произносит так медленно, вложив в них больше, чем они выражают, — но ваш сын затмил... — он задержал голос и, как финал в музыке, — даже вас!..» Он стоит рядом, любясь Андрюшей, его прямым правильным носиком, полным (моим) ртом, и переводит взгляд на меня и встречает мою улыбку, и огромное крыло грусти и радости несется над нами, и вокруг колдует вокзал. Откуда-то пришел, спеша, Николай Сергеевич, что-то сказал Борису,

он ушел куда-то с Марусей, и Сережа мне: «Жаль, что вы уезжаете вместе с Борей, а то бы вы могли послать ему вслед телеграмму: «Поезд такой-то, номер вагона, такому-то: люблю, тоскую...» Я улыбаюсь ему и молчу. (Если б он знал все обо мне и Боре...) Что-то спрашивает меня Соня. Гудки, суета. Андрюша плачет. Бегут носильщики. У фонарных лун цвет, как у фонарей Сиу на Тверской в нашем детстве. И вот мы уже в вагоне. Уже был первый звонок! Сергей Сергеевич стоит на перроне, положив руку на обод нашего открытого окна, и говорит что-то то с одним, то с другим из нас. Каждый раз как не со мной — боль... На нем мягкая серая широкополая шляпа. Он широкоплеч, среднего роста. Его глаза улыбаются. Что будет со мной, когда перрон дрогнет, и все начнет отступать, и он останется там, а я...

Третий звонок! Поезд дрогнул, перрон...

Сергей Сергеевич идет, не снимая руки с окна, ускоряет шаг. Поезд идет быстрее. Тогда, прямо на меня глядя:

— Люблю, тоскую! — подняв голос над стуком колес и все-таки тихо. Подымает над головой шляпу, снял руку с окна...

Мне говорят что-то, меня окликают — стою лбом в стекло, чтоб не увидали лица, потрясенная, отсутствующая.

Почему не бросилась я к окну, не протянула ему на прощанье руку?.. Я ведь ни разу не подняла на него — не посмела — глаз.

Ночь. Поезд мчится. Борис, Николай Сергеевич и Маруся спят, а я выскользнула на площадку. В ветер, к себе, в себя, домой, в полет, в расставанье — осознать. Вспомнить. Хлебнуть то, о чем мне рассказывал два года Борис, добро упоминала Маруся, с восхищением и горечью говорила мать, с уважением, всерьез — отец! Сережа!.. Поезд мчит меня от него, но мы — вместе, в этой темной ночи с огоньками во мгле, мне дышится — у его плеча. Я ведь знаю, что он не забыл меня за эти часы, что обо мне думает, ко мне нежен, что я мимолетно согрела его...

Господи Боже! Не в моей власти было изменить мимолетность... Я бы сделала все для этого человека, и он бы перестал пить!.. Ветер хлещет меня из-под шарфа бьющимися волосами, дверь щелкает, кто-то стал рядом со мной.

— Это вы, Ася? Не простудитесь? — Николай Сергеевич. — Я хотел покурить, но если вам помешаю...

— Нет, пожалуйста! Я ведь сама курю. Не затягиваясь. А моя сестра Марина по-настоящему курит! И много. Запах сигар мы с детства...

— Ну, это не сигара!.. — При свете зажженной спички его наклонившееся лицо, освещенное, как портрет Рембрандта, — затяжка — клуб дыма — и он становится рядом.

И мы говорим о том, куда едем, об оставшихся на хуторе, о Марусе, о ее отрочестве, о них всех, о несправедливости матери, о их семье. Имя, мне дорогое, не произнесено, я влекусь услышать его, но страшусь, не надо: оно — моя тайна!.. Но Николай Сергеевич так добр ко мне, так внимателен — он что-то понял? Услыхал те слова? Видел мои слезы? Он-то многое знает обо мне и Борисе, знал Борю Бобылева. Он ведет себя сейчас как нежный и умный брат. В первый раз!..

— Вы не спали? — спрашиваю я.

— Не уснул, не мог. Так, думал...

И следующий час и через следующий застают нас за разговором. Внезапно распахнулись бездны — к чему меж нас? — понимания, но ум блещет, рапиры привычно скользят остриями об острия, и дружественный этот бой — горит. Говорил ли так с кем-нибудь этот гордец, усталый понимать больше, чем собеседник? Откуда он знал, что я все пойму? Мы же никогда с ним... И вдруг какая-то сытая гордость идет по моему лбу пеленой — что, друг? В первый раз поверил, что женщина может не хуже мужчины понимать? Но уж и нежность, и благодарность просыпаются в сердце — и потом он так вдруг похож стал на обоих братьев. И «р», эти же семейные интонации, — в нем что-то такое всплескивается — всплеснулось, что было в Борисе, в моем том девическом Б.С.Т. — в ту давнюю, в вечность ушедшую первую нашу весну. Покруживается голова — но я это ловлю и определяю моим «прославленным» интеллектом (тем, о чем Эллис мне в мои четырнадцать лет — «Вы умны, как три самых умных сорокапятiletних мужчины. В этом горе и трагизм всей вашей будущей жизни...») Я стою, не склоняясь к волнению, не даю себя в него — добровольно. Что-то Маринино сей-

час в том, как стою, опершись о стенку вагона, голову — высоко... Слушаю, спорю, соглашаюсь, парирую — так было со мной, когда, выпив в воде эфира, я писала повесть о себе и Боре Бобылеве, и мне так хотелось (казалось, что так) — умереть. (Но не этим ли блеском ума, не этой ли статью я вас завоевываю, Николай Сергеевич, не притворились ли воля и чувства мои — интеллектом*). О Боже, спаси меня от меня самой!.. Но когда прошел час, светает, и мы идем лечь — я в отчаянии говорю себе: «Что, успокоилась о разлуке?» Слезы отвечают: «Сережа, драгоценный друг мой, неужели я изменяла вам?»»

Квартира Трухачевых на Малой Грузинской, второй этаж, свет и синь во все распахнутые в московское лето окна. Во второй раз Москва принимает нас с Борисом среди лета — два года назад, покинув Коктебель для Финляндии, и теперь, оставив Ярцевку...

Вот об этом идет забота. Братья ездят по дачным местам, ищут дачу. Соня, Маруся и я остаемся готовить обед, смотреть за Андрюшей. Трюмо блеском зеркального дня отражают то одну, то другую из нас с нашим великолепным младенцем. Тут он бывал баловнем бабушки и «Масейки». Сейчас «Андрюшкой» его зовет одна Соня, критик взбунтовавшегося молодого поколения, завладевшего материнской квартирой. «Зубастая тетка Марья», как именует себя Маруся, зовет племянника «Дудак» (птица), хоть он на птицу совсем не похож. Это имя прилипчиво, получает права гражданства, и наш сын откликается на него, как и на «Андрюшок», — с той же величавой улыбкой.

Но то, что происходит затем, — исполняет Соню негодованием: братья, поговорив, решили исправить материнскую несправедливость к дочери, открыли сундук и, убедив сестру в том, что они отвечают — заставляют ее выбрать себе из вещей то, что ей хочется и что нужно. Что Маруся исполняет с трепетом двойственным: она так хороша в этих нежных вещах, ослепительных, старинных и вечных, что зеркала, ее отражающие, не узнают ее: Маруся? Диана Вернон вальтерскоттовская? (Из прочитанного Борей и мной в Райасе романа «Роб-Рой».)

* Тема «Переулочков» Марины Цветаевой.

Туча стрел (угроз), источаемая Соней, совпадает с удачей поисков: дача найдена — Красково по Казанской, и наш табор, замкнув сундуки и квартиру, трогается в дальнейший путь. Неужели в те дни я не урвала часа — зайти в Трехпрудный? — думаю я сейчас.

Красково, ряды дач с садиками и дачная улица между. Песок, деревца. Мне это, после Тарусы, — отсутствие природы. Где-то там косогор, речка, но Маруся, Соня и я мало ходим далеко от дома, занятые хозяйством и Андрюшей.

Мужчины носят воду и керосин. Мы заняты нашим женским делом — кухней, бельем. Устав, ложимся, берем книгу. Всего веселее за столом, где все собираемся и дружески поедаем, какой удался суп, вареный и жареный картофель, оладьи. Борис работает над винегретом, суя в него то, что совсем не подходит туда, по мнению Николая Сергеевича. Закипает изысканный спор. Затем оказывается, что забыли купить сметану. Идти за сметаной? Жара — и так хочется есть. Сметану легко заменить простоквашей — но простоквашу опрокинул соседский кот, к негодованию Сони: «Своих не держим, чужие шатаются!» В винегрет льется раствор уксуса, сахара и горчицы. После чего Соня вспоминает свое в Ярцевке забытое, удовлетворенное сверх потребностей — достоинство кормилицы, от природы всем оскорбленное. «От индюков от своих, да гусей, да цесарок уехали — не понравилось, на винегреты горчичные перешли, и людей кормите!..» — ядовито говорит она. Ее сумрачность зажигает меж нас зайчики смеха. На стол валяются мешки ягод, несут воду в мисках. Андрюша требует ягод пронзительным криком, его уносят, отчего крик делается угрожающим. Идем его утешать.

Изредка перебрасываемся — Николай Сергеевич и я, иногда и Маруся — замечаниями о нашей «коммуне». Борис уж опять погрузился в чтение «Пиквикского клуба», ушел к себе и из-за перегородки — взрывы его внезапного упорного хохота. Маруся со вздохом собирает гору тарелок, я — вилки, ножи, ложки. Николай Сергеевич берет ведра — нам и Соне воды, она несет самовар, надо купать Андрюшу. Скоро неделя, как мы здесь.

Так проходит и вторая неделя. Дни идут ужасно медленно, за заботами дня, вечера — без природы. Всюду — дачники,

садики, разговоры людей, непривычная тоска будничной толкотни. Ни холмов, ни степей — резные петушки дачных балконов, тут — куст отцветшей сирени, там — пара вознесшихся в облака сосен... Я жду письма от Марины — она потеряла мой след? Или я забыла написать на конверте «Крым», а просто одно «Коктебель»? И папа не пишет... Где Лёра? За границей, кажется? А где брат Андрей?

Глава 6 ВСТРЕЧА С ОТЦОМ. БЕДА С МИРОНОВЫМ. ОТЪЕЗД В МОСКВУ

В это время приходит письмо от папы, оповещенного нами о переезде, он собирается нас навестить. Он живет под Клином, в семье знакомого профессора, у них на пансионе.

В назначенный день мы встречаем его, торжественно знакомим с нашей дачей — сетью перегородок, делящих ее на комнаты. Не желая его огорчать чуждой ему, для него осудительной историей с Ярцевкой, мы говорим, что там было слишком жарко.

— Да, степные места... — уютно соглашается папа. — Помню, я в молодости как-то заехал...

Мы слушаем его добродушный рассказ. Пьем чай.

— Папа, а где Лёра?!

— В Англии, голубка.

— В стране ее бонны, старушки мисс Шпейер? Как интересно...

— Ездит, осматривает, побывала в Британском музее... Пишет, что очень довольна поездкой.

— А Андрей?

— Андрюша предпринял поездку по Европе. Хочет многое увидеть.

— Все разлетелись! Марина в восторге от Коктебеля... А как ты, папа, устроился? Хоть отдыхаешь немного?

— Отлично. Семья дружная, сын — студент. Сообщение удобное, стол — простой и здоровый. Работаю над подбором материалов к задуманной книге...

Николай Сергеевич вежливо и почтительно спрашивает о теме: папа оживляется, глаза его добро глядят на нас сквозь очки; он рассказывает о древнеримских храмах, об их архитектуре. Он будет писать о них.

Из Андрюшиной комнаты — кряхтенье, плач.

— А-а, крестник проснулся... — откликается папа и встает, — ну пойдёмте к нему, поглядим, как он вырос...

Соня, взволнованная присутствием папы, спешит надеть питомцу его первый мальчишеский костюмчик — штанишки и курточку. Расчесала золотистые волосики — наполеоновским мысом на лоб.

— Ну-ну-ну! — говорит папа ласково и смеется мирным, старческим смехом, глядя, как поставленный на пол Андрюша, без башмачков еще — в них он падает — в чулках проходит один-два шажка, колеблясь и очень стараясь.

— Молодец, молодец! — хвалит и умиляется дед. — Ну еще, ну вот так, за ручку... — И большой рукой своей — два обручальных кольца — как знакомы пальцы и ногти, какие родные... — бережно берет детскую ручку.

Но Андрюша делает слишком большой шаг, пугается, Соня быстро его подхватывает и сообщает, сияя, что идет второй зуб.

— Ах, уж второй зубоку нас... Ну, совсем молодец-молодцом!.. Но, однако, мне пора, — папа глядит на часы — те самые, с детства, папины!.. (Какая от них боль... В каких дебрях побывала душа моя с детства, а в его жизни, дважды прерванной смертью обеих жен, — чисто и ясно, как в куске хрусталя...)

Выходя, папа сует что-то в руку Соне: «На зубок»... Соня сияет.

Все мы, растроганные, почтительной семейной толпой, маленькой, идем провожать папу на станцию — Борис и Коля, стараясь поддержать, предупредить о корнях деревьев — идем через лесок. Ласково, по-сыновьи идут по оба бока его. Мы с Марусей — то вровень, то отставая. Я:

— Папа, как ты скоро идешь! Ведь доктора не велели тебе ходить быстро...

— Привычка, голубка...

Но до станции далеко, и попался тарантас. Садясь, папа чуть оступился, Борис успел его поддержать, и папа засме-

ялся, садясь, над своей неловкостью. Запах знакомый усов, как поседели... Поцелуй. Едет тарантас...

Мы возвращаемся, растроганные, домой.

И жизнь идет, и никто не знает, что ждет его, и в этом незнании мы с Марусей, как и все, заботимся о насущном хлебе, радуемся хорошо поджарившемуся картофелю, — а Борис, весело потирая ладони, ждет, на корточках, у приоткрытой печной створки, когда испекутся в золе отобранные из корзины клубни, и его острые черты, смеющиеся глаза, светлые волосы — фееричны в освещении пламени, догорающего. Николай Сергеевич, лежа на железной кровати, дочитывает книгу, Соня ворчит, что кончилась морская соль для детской ванны, укачивает Андрюшу, но Андрюша не хочет спать.

Я стою, усталая от кухонных дел, над примусом, перево-рачиваю оладьи, и мне кажется (сном) измышленьем фантазии тот вечер в Воронеже — как давно! Сережа давно, разумеется, позабыл те слова свои, нежные и прелестные, которые я не забыла, я в его жизни значу еще меньше, чем в жизни Бориса, и все течет по той реке нилендерова Гераклита, в которую нельзя вступить второй раз...

И так жизнь идет и идет, день за днем, Андрюша уже немного ходит, держась за Сонину руку, а ко мне не идет. Уж на деревьях — ранние желтые листики меж веток густой зелени, и в Николае Сергеевиче ничто ни на йоту не изменилось от того удивительного разговора на площадке поезда. Он так же сух, строг, сосредоточен в себе, и тот вечер прибавил к опыту Николая Сергеевича не больше, чем эта очередная книга. И зачем мы живем?

И снова время клонится к вечеру, и мы затеяли тесто для оладий, я пробую его густоту, подняв ложку. В это время открывается дверь, и в комнату входит Миронов. И земля уходит у меня из-под ног.

Он стоит и смотрит. Это длится всего мгновение, на встречу ему бросается Борис, что-то весело кричит Маруся, и из своей комнаты с пером в руке выходит Николай Сергеевич, приветствуя товарища брата.

— И как ты нас тут нашел — удивительно! Кто дал тебе знать о нашем переселении?

Бросив на скамейку рюкзак, Миронов уютно, беспредельно счастливо вынимает из него коробки консервов, заботливо укутанную бумагой бутылку портвейна и подает совет о том, как печь олады. «Самые замечательные олады делаются, собственно, из натертого на терке картофеля», — говорит он и искоса, застенчиво и упоенно бросает на меня беглый взгляд. И все куда-то рушится, комната перестает быть комнатой, и мы не на даче, а на корабле на берегу дикого моря, и быт — не будни, а авантюра, все полно смысла, и в одной интонации этого человека — обещанье нечеловеческого счастья! Он его держит руками — ему только не хватает — моих... («Я бы мог совершить преступление, чтобы быть с вами, — сказал этот голос двадцать первого марта по дороге к вокзалу, с которого он покорно меня покидал, — но моя любовь к вам так велика, что я могу всю жизнь любить вас вдали — и я счастлив!») И вот он вблизи, и я снова — я, во мне силы на десять жизней...

Поле, далеко за дачными улицами, помнится — над ними — взойдя ли холмистым рельефом, мы оказались в совершенном уединении равнины, тут не было кустов — один ветер, предвечерний, и по этому ветру, им гонимые, как от века все любящие, и им провожаемые, как стихией, бушующей, сами погруженные в тишину, мы идем, беззащитные перед собой, перед друг другом и перед счастьем, идем — быстро через траву, кочки — уходящим, рвущимся шагом, в двойном ритме сердцебиения. Мы идем, отряхнув ошибку своей разлуки, как прах... Те, которые не любят, живут призрачной жизнью — разговоров, споров и книг, дыша своим правом быть вместе, идти полем — этими рвущимися от всего, что внизу, шагами, медлящими в счастье, как птица медлит, раскрыв крылья в ветер, уносимая им... Своим правом быть вместе, дышать вместе — и ничего нам больше не надо — мы идем и пройдем вместе по жизни, как проходим по этому полю. Мы говорили, слова от нас уносил ветер. Уцелело только сказанное медленно, в каком-то страшном прислушивании, как дают клятву, зарок.

— Николай Николаевич! Помните: если когда-нибудь, хоть один раз, — он ведь сможет быть только первым, — вы от меня выйдете, хлопнув дверью, как уходит Борис, вас я не

пожалее, как жалела и жалею его: когда вы домой вернетесь, меня там уж не будет: исчезну, и вы меня никогда не найдете, не вернете уже — ничем...

И я помню, как совсем бессловесно он, сжав мою руку, не смея и не снисходя! — ответить, наклонив лицо к моему, поглядел мне в глаза.

Чуть нахмурия свои темные брови, он обнял взглядом все, что во мне хотело встревожиться, и смертельное обещание верности до конца было в нем, и такая отдача себя, и такое обещанье защиты, что было почти грозно — состоянье блаженства, и был твердо сжат его маленький, меньше глаз, кроткий и добрый рот. И улыбка в глазах — карих, как темное золото.

Тот же вечер. Дача, дачный садик, привязанные Борей нам с Марусей веревки для самодельных качелей. Я сижу на доске, маленькой, чуть достаю ногой землю, слабо покачиваясь, рука Миронова чуть водит веревку качелей. В синеве вечернего неба — звезда.

Мы сейчас пойдем и скажем Борису, что уезжаем — он должен понять! Господи, ведь я ему не нужна, он же меня не любит, ему нужна далекая Прекрасная Дама, Дульцинея Тобосская, ему никто не нужен вблизи! Ни мать, ни жена — эти имена ему принудительны, ему они звучат одной едкой иронией, он их — имена и людей за ними — сбрасывает с себя каждый день! Он только это и делает в дне! А мы — у нас нет другого выхода, он — правилен, так зачем же продолжать эту муку, бессмысленную для всех!

Я гляжу в лицо Миронову, крепче берусь за веревку качелей, ступней став на землю, останавливаю качанье — встать. Что-то: стук? звук? заставляет меня обернуться — лицо Миронова уже повернуто к дому: с крыльца, быстро на нас взглянув, сходит Борис. Он бледен. Он идет каким-то не своим шагом, минуя издалека нас, стремительно, молча. Он все понял, и он...

— Николай Николаевич, идите за ним! Не оставляйте его ни на минуту! Будьте с ним!

Миронов — молча взглянув и кивнув мне, без единого слова уходит, крупно ступая, перерезая садиком путь Бо-

рису. Теперь они идут, продолжая Борисов путь к калитке, — подошли — я голосов не слышу — вышли — шаги стихают.

Я стою, все еще держа веревку качелей. В вечеряющем небе — звезда.

— Ася (голос Маруси), к вам приехал знакомый! (Подходя ближе, тихо.) Высокий, с большой бородой. Блондин...

Но уж за ней выходил в садик второй муж Драконны, Владимир Аввакумович, Володя.

— Здравствуйте, Ася! Лидия Александровна о вас беспокоится. Она просила меня съездить, узнать, что у вас, почему вы здесь, что там произошло в этом Воронеже — в общем, вы ее знаете! — Рукопожатие. Маруся уходит в дом, а я рассказываю Володе о событиях в Ярцевке. Затем я показываю ему дачу, говорим о Борисе, о будущем — я с ним откровенна. Он много моложе Драконны, но он такой чинный и взрослый и так через нее уже привык к нам с Мариной, что — родной.

Маруся зовет пить чай, Соня ведет за ручку Андрюшу, ему завтра — год. Он очень хорош, и Володя по-мужски, немного медвежовато, любит его, попыхивая — мне помнится, в его рту — трубка. Володя уже давно у нас, он сейчас уедет, и я снова войду в круг тех вещей, из которых меня его приезд вывел, вернув в еще девические годы. Только на дне тлеет тревога о Борисе и Миронове, не возвращающихся. Володино присутствие помогало и укрепляло меня.

Стук двери, кто-то идет. Незнакомый голос, знакомый человек.

— Тут живут Трухачевы? Дача — он называет номер — идите скорей, прислали! Анастасию Ивановну, что ли! Там в трактире Миронов какой-то умирает...

Маруся нам вслед кричит что-то, чтоб не верили — выдумывают они там с Борисом — а мы с Володей шагаем за человеком, бежим.

Во дворе трактира, на земле, под большим деревом лежит Миронов. Глаза закрыты, лицо безжизненно-бледно, а над ним, на корточках, полунагибаясь к нему, Борис, и по его лицу — он пьян — бродит пристальное выражение осматривания, губы змеятся в улыбке. Таким я вижу его в первый раз.

Володя стал на колени, щупает пульс Миронова. Что-то делает с его головой, ее перекладывая, она безвольно движется в его руках, как неживая. Смотрит зрачки?

Руку в карман пиджака, внутренний.

— Так. Шприц, к счастью, есть! Нужно немедленно сделать впрыскивание камфары! — Повелительно обращаясь к нам, обступившим: — Сходите в аптеку! — он пишет рецепт: — Только бегом!

— Аптека — далеко! — чей-то голос. — Разве туда добежишь! Туда, небось, версты...

— Велосипед есть у кого-нибудь?

Володин высокий рост, властный голос. Ясно, что врач. Кто-то робко:

— Съезжу. Давайте! У меня тут у приятеля — велосипед.

Мы стоим и смотрим, как по наклонной тропинке летит, исчезает из глаз, велосипедист.

Володя опять стоит на коленях у недвижимого тела Миронова, снова ощущивает пульс. Покачал головой.

Борис ловит это движение, наклоняется ниже над другом, его улыбка — страдальческая гримаса. Володя не говорит ему ничего. Я стою в какой-то приостановке чувств. Я — зрение. Велосипедист исчез. Я — молюсь? Время остановилось.

Оно стало страданием, когда показавшийся вдали велосипедист — едет так бесконечно медленно! (Хоть и работает ногами изо всех человеческих сил, всем желаньем помочь товарищу, выпившему больше, чем можно.) Руки так нестерпимо медлят, передавая рукам камфару. В руках Володи столбик шприца наполняется лекарством так медленно, что я отворачиваю глаза. Но когда игла вошла в белую руку Миронова у завернутого выше локтя рукава и Володя, не вставая с колен, переждав, щупает третий раз пульс, удовлетворенно вздохнув, качает головой не в сторону лежащего пациента — время начинает лететь с головокружительной скоростью в круговороте решений, болей и осознаний.

Дальше — я перестаю помнить. Тут же ли перенесли Миронова на дачу? Сколько еще у нас был Володя? Помню, что он не раз взглядывал на часы.

Миронова положили в чьей-то — Николая Сергеевича? — комнате, на полу, на матрац, и Володя велел мне сидеть над

ним, пока не придет в себя, и через каждый час, по часам вливать ему в рот по чайной ложке крепкого черного кофе. Коля, как я мысленно назвала его, был теперь уже не так бледен.

— А теперь слушайте, Ася! — сказал мне Володя. — Вы завтра возьмете кормилицу и ребенка и уедете от них обоих, иначе... Вы понимаете? Это — от имени Лиды и моего. Уедете! На три месяца. Через три месяца дадите им ответ, с кем будете из них! Обещаете?

— Обещаю!

Борис сидел в своей комнате на полу и стрелял из маленького пистолета — в потолок. Не было ли дома брата, чтобы взять у него пистолет?

Володя уехал.

Я сдалась без борьбы, крупно перечеркнув, до поры, чувства. Потрясение последних часов привело меня к тому же исходу — тупику? распутию? — о котором сказал Владимир Аввакумович. Срыв Миронова с пути, на который мы было встали, он и я, за минуту до того, как мы увидели Бориса, мимо нас уходящего; его, Миронова, отчаяние, одолевшее стройность его рыцарственной любви ко мне; это вино, выпитое в час, требовавший высочайшей трезвости, овладения не одним собой — осознания будущего, готовности, если надо, ждать и терпеть еще, — увело его от меня, провело линию раздела между им и мной, переложив всю трезвость, все овладение — на одну меня. Я взяла их двумя руками в час, когда не стало там, на холме, времени над безжизненным его телом — как он мог заставить меня пережить это! — когда в этом теле с отлетавшей над ним душой смерть готовилась побороть жизнь (его и мою!) в вихре окаменевших чувств, в этом каменном вихре — рождалось дитя их — иное: разлука! То, что Володя назвал ее — был знак, что он — шел ли тем же путем, как и я, шел ли другим — но вот мы стоим в том же «Риме», у «катакомб», у единственного истока правды. Обещать Володе то, что он выразил, — было мне неизбежно.

И вот я сижу над недвижимым телом человека, дороже которого — Марина! — мне никого нет; час, и еще час, и еще.

Вместо вечера стала ночь (где та звезда, что стояла тогда над нами, над деревом у качелей?), и, не давая дрожать серебру чайной ложечки, подношу на ней к его рту коричневое длинное целительное озерко и вливаю его ему в губы, медленно возвращающиеся к жизни, дышащие все глубже и все ровней. И гляжу на него я, гляжу... Дом спит. Рассвет. Утро. Люди встали. Еще час, еще...

Я просидела над Колей Мироновым шестнадцать часов.

Какая добрая судьба прислала мне в дом Володю именно в тот час, когда он стал нужнее всех в этом доме? Бог?!

Миронов открыл глаза. Жизнь просыпалась в нем, он возвращался — и он узнал меня. Еще раз серебро ложечки коснулось его губ, впуская горьковатую влагу, — он все вспомнил, все понял, протянул мне руки. Выражение благодарности, вины и блаженства возвращения к жизни, обретения меня вновь — нельзя позабыть. Этот взгляд, полохнувший в меня после ночи над его отсутствием и немотой, руки в его руках, и — чтоб не было и минуты лжи и ошибки — я ему говорю, что все хорошо, все — как мы тогда решили, но что не сейчас. Расставание!

— Я сегодня уеду, и я напишу вам и Боре — через три месяца, день в день. Сегодня девятое августа, день рождения Андрюши. Ему год. Девятого ноября я пошлю вам письмо. Мы пойдем к Боре, и вы мне оба обещаете — эти три месяца не видаться: каждый из нас должен быть наедине с собой, чтобы понять все!

Я не помню самого разговора. Но он был, и они обещали, и настал какой-то удивительный день мира и нежности, что-то совсем нереальное, как будто с неба упавшее. Мы расставались с просветлевшей от пережитого душой.

Я ехала в Москву, в Трехпрудный. Папа — в Клину до осени. Никого в доме нет. Но Марина в Москву уже собирается, она приедет, мы будем вместе.

Соня укладывает вещи, я с Марусей и Андрюшей, он прелестен в своем новом костюмчике. Мы вышли в сад.

— Ася! — говорит Маруся. — Я никогда не поверю, что вы любите Кольку Миронова! Я и его знаю, он же — мальчишка! Я бы никогда его... Вы это просто вообразили!..

Я не спорю, улыбаюсь, иду молча, видя его лицо.

Глава 7
У ДРАКОННЫ. В ЛОСИНООСТРОВСКОМ

Дом в Трехпрудном. Начало осени. По знакомым мосткам — первые опавшие листья. Ветерок. По еще зеленой траве черным клубком промелькнул кролик, и пес громыхнул цепью у будки. Потянулся, стал — и страусовое перо хвоста мерно заходило приветливостью и лаской: он увидал меня. А я... меня нет! А есть — детство, детство и отрочество, и ничего нет, кроме них!

Ох, уйдите от меня все, оставьте меня одну с миром, я все позабуду, и все будет вновь, как в мои пятнадцать лет — прошло всего неполных четыре года!.. Я не хочу никаких чувств, ничего выбирать, ничего терпеть — потому что нет этих ценностей, ради которых можно отдавать свою жизнь, все меняется в руках, как у престижитаторов, все уходит из рук, от всего — одно только воспоминание, и ни в чем нет верности на земле!

Я смотрю, как Андрюша за руку с Соней сошел с мостков и идет к притаившемуся за лопухом кролику, тот испугался и бежит за угол дома, под тополя и молодые акации, где купой шумит и сейчас наш серебристый тополь, ветви которого приподымают, когда идет крестный ход... Как счастлив Андрюша! У него все впереди — и он ничего не знает! Под моей рукой шелковое ухо собачье, мокрый, теплый язык. И горит вдали — если отойти к мосткам — крест Палашевской церкви.

Марины нет! Марины нет! Если б Марина — о, вместе с нею так легко мы взвились бы в нашу ту жизнь! Но Марины нет. Я — как отрезанный сиамский близнец — одна в этом доме, где жила наша юность, и мне тяжело отвечать на вопросы Сони о прикармливании Андрюши, о том, когда ставить самовар для купанья его в морской соли, — хоть я свято блюду эти свои обязанности, даже и с педантизмом. Но тяжело мне в них! Они отрывают от меня этот дом, делают меня здесь — гостем, и как-то нереален час дня. Папы нет, Лёры нет, Андрея нет — с ними, может быть, я вошла бы в дом твердым шагом, а одна — с Соней, с маленьким сыном, таким, какой я была здесь... Соня, улыбаясь вновь обретенным комнатам

с их городским комфортом, своим, а не нанятым, оживает в положение кормилицы, как в Ярцевке, а не прислуги, как в Краскове, и радуется, что для работ «пониже» — вынести ванну, ведро, сбежать в лавку — есть дворник. Она не устраивает мне сцен...

В письме Марина спрашивала о наших планах с Борисом. Наши планы! Я теперь была свободна на три месяца по решенному обещанию и могла ехать с Мариной, а там — что будет...

После Маринино письма я жадно, бездумно отдыхала в эти дни в зелени двора Трехпрудного — не знала, что меня ждет. Я пошла к Драконне. Она звала меня. Володя куда-то уехал по делу. Она знает все. Она молча слушала меня и глядела, иногда качая головой. И снова звала приходить. В следующий раз она сказала мне, что Борис погибает, что мой долг — быть с ним!

Она не знала Колю Миронова. Она знала Бориса и находила, что мой уход от него — неоправдан.

— Вы же не хотите такой второй смерти, как того его друга? — говорила она. — Вы послушали моего совета весной, Ася, после прихода к вам отца Бобылева? И ваш Миرون уехал. И это было хорошо, что уехал, зачем же начинать все сначала?

Она смотрела на меня своими недоверчивыми зеленоватыми глазами в оправе темных век и темной тени под ними. Ее пышные, темные с серебринками, разбросанные в беспорядочном напуске волосы были все те же, что в мои четырнадцать лет, и голос с чуть запинаящимися, словно всегда сомневающимися интонациями был тот же. Приведи я Драконне Миронова — она, может быть, всплеснула бы руками и от волнения радости за меня, зардевшись своим прелестным румянцем, женским и материнским, сказала бы, что вот, наконец, человек, который поймет, сумеет, но Миронова не было. И я не сумела о нем рассказать, как и сейчас не умею! Даже то, что я звала его не именем в себе, а вот именно этим словом вроде «Миرونыч» (героический спасатель заточенного Иоанна Антоновича), бывшим мне непонятно, необъяснимо драгоценным, родным, ей казалось, наоборот, признаком чего-то внешнего и случайного.

И я ушла в еще большее одиночество, чем до прихода к ней.

Были жаркие дни. В Москве пахло яблоками, сливами у лотков и масляной краской у домов, которые красили и строили. С лесов пели «Дубинушку», и вспоминался почему-то Багров, убивший Столыпина, слова о его казни в газетах: «Тело провисело неподвижно в течение пятнадцати минут». Звонили ко всенощной. Были длинные вечерние лучи. Где была Галочка? Аня Калинин... Эллис со своим доктором Штейнером!? Марина молчала — значит, собирается ехать. Хоть бы скорей!

Одна Марина поймет меня! Она, как и я, знает и Бориса, и Миронова, ей ничего не надо объяснять. Она так хотела мне счастья весной после гибели Бобылева и ухода куда-то Бориса, она так не соглашалась с отъездом Миронова, так радовалась за меня и него!..

Соня звала меня к телефону. Голос Драконны:

— Ася, мне надо вас видеть. Вы непременно придете? Ну смотрите же! Я вас жду! Но если вы обманете...

Андрюша сладко спал, разбросав ручки, полуоткрыв пухлый рот. Вздохнув, я пошла в переднюю. Мне не хотелось никуда идти.

В синей гостиной Лидии Александровны было уютно, празднично и знакомо, и я оживилась сознанием, что меня зовут, я нужна. Драконна глядела на меня испытующими глазами.

— Ну что же, — сказала она, — вы поняли, что не имеете права оставить его? Вы-вы-вы же знали, какой это человек, все трудности его — не боялись? Рискнули жизнью ради его ребенка! А теперь, когда у вас такой прелестный сын, вы вдруг заявляете, что должны быть одна каких-то три нелепых месяца оттого, что у него трудный отец? Вы-вы-вы — такая сильная, вы оставляете человека, которому вы (пауза и, неуверенно) — нужны? — И собрав себя, таинственно угрожающе: — На это вы не имеете права! И я вам сейчас скажу, что вы должны сделать!

Она увлеченно и патетично встала, открыла дверь, и из нее, вслед за ней, вышел Борис, смущенный и милый, каким он умел быть. Он глядел на меня. Драконна соединяла наши

руки. (Он ли пришел к ней, чтобы вновь... она ли его увлекла, как хотела увлечь меня?) Она сияла, несла шампанское, подымавшееся через бокалы. Я молча пила свой.

Господи! Если гордец, такой, как Борис, пришел к Лидии Александровне и ждал, хотел свиданья, если он, без меня прожив — неделю? — пришел — то... есть ли у меня право хотеть свободы, исчезнуть, отдыхать, возвращаться в — себя? Значит, нет у меня этого права... Значит, мое освобождение — сон...

На другой день мы поехали с Борисом в Вифанию (близ Троице-Сергиево) — чтобы устроиться где-то в природе — нельзя было Андрюшу держать в городе. Совет поселиться близ Троице-Сергиево был дан Драконной или Лидией Дмитриевной? Мы ехали по железной дороге, оживление Бориса спасало, он вел себя как обычно, спорил по мелочам, и я утаивала вздох.

У Троице-Сергиево мы ничего не нашли, и пошли пешком в Вифанию — версты четыре. Монастырская гостиница стояла в живописном месте, напоминавшем Тарусу, имение Кампанари-Ладыжино. С Соней тут будет трудно мне из-за дикости места, ее капризов, да и нужное Андрюше — доктор, аптека — далеко, — подумала я и сказала Борису, что жить тут неудобно — глушь.

— А я могу жить только в глуши! — ответил Борис. Я пожалала плечами, но не согласилась, и мы уехали. Мы искали себе места еще и еще и, наконец, нашли в Лосиноостровской — две комнаты на отдаленной даче среди тощей березовой рощицы, но вблизи от всего, в быту нужного. Хозяйка — полная, с кисло-сладким лицом, старуха, акушерка, мещанка — была неприятна, но пришлось комнаты взять, и мы переехали в Лосиноостровское.

Борис, хоть не входил в быт и относился иронически к жару квартирных устройств, который был моим свойством, но его способность стилизовать все на свете, оттенок ироничности умели превращать любой кусочек дня в нечто то экстравагантное, то комическое, то безмерно уютное. Но в минуту, когда моя уставшая от наших сложностей душа доверчиво отогревалась в какой-нибудь его выдумке — он

вдруг брал себя назад нацело, оказывался на версту от того уюта, которым он, казалось, сейчас со мной дышал, и уходил — иногда фигурально, иногда — реально, в свой исконный отрыв и путь.

И когда я вспоминаю Лосиноостровское, эти облетающие в ветре листья, привиденья вечерних дач, тропинку к вновь созданному гнезду — мне помнится столько же бесприютности, одиночества и тоски среди них, как горячего, чуть горячечного уюта тех дней и мест.

То Борис, то я часто уезжали в Москву или уходили на станцию купить что-нибудь, задержавшись, и тот из нас, кто остался, — выходил по тропинке встречать, в ветер, в древесный шум, в гудки и свистки поездов, пролетавших за сетью ветвей по широко разлившемуся железнодорожному полотну. И было у нас смешное, нами выдуманное, теплое своей нелепостью слово, которое повторял возвращавшийся (смыслом — вроде урчания медведя, подходящего к своей берлоге, где ждет медведиха) — и это слово, полвека спустя, бродит вокруг меня тем медвежьим шагом и ускользает, как сон... Но ему сопутствовало другое слово, слово «сам» (оно было его сокращенной тенью, и шедший говорил его особенным, убедительным тоном, с тою интонацией, которой говорит с детьми и животными, что «сам» совпадало с шагом, близясь, радуясь, радуя, воплощая весь уют возвращения, тая свое основное тепло интимности именно в его непереводаемости на слух чьего-либо уха, кроме наших ушей. В такие минуты моему женскому естеству — этой рябине, по песне вечно хотящей прильнуть к дубу, — в каком-то обмороке памяти казалось, что так можно жить до конца, не вспоминая, и быть жарко благодарной судьбе.

Особенно хорош был вечер в комнатах с керосиновыми лампами, ветром за окнами, с засыпающим под пенье Сони Андрюшей, с лукавым, веселым лицом, с которым Соня на цыпочках отходила от детской кроватки и шла разогреть и принести ужин нам и себе — что-нибудь вкусное, удавшееся общими силами, по все тому же Молоховцу. И — книги, книги, ждущие нас, и раскрытая на ночь постель, ждущая Соню, — вековая прелесть семьи, воспетый поэтами в тьме жизни маяк очага...

И затем — настало другое: Борис, уехав, пропал на несколько дней, и мы с Соней были брошены в ветер, ночь, на чужую сладко-кислую старуху, кислота перевешивала сладость, и кралась к нам жуть, мы, как две рябины, качались сиротливо разными ветками над уснувшей младенческой веточкой, ветер выл, и начинала мигать лампа, в которой кончился керосин. Борис не шел — вечер, и еще, и еще. Как мог он так — предавать? Забывать, делать призраком то, что так поверилось явью?

Я вскоре узнала, что они продолжают встречаться с Мироновым, иногда пьют вино. И я переставала понимать все на свете.

Глава 8 СМЕРТЬ ПАПЫ

Когда приехала Марина в ту осень из Коктебеля? Как мы увиделись с ней? Как случилось, что все мы четверо — Лёра, Андрей, Марина и я — папины дети от двух браков — оказались под Москвой и в Москве, когда грянула весть о папиной болезни?

Это было 28-го (27-го? Я была в Лосиноостровском) августа, три недели спустя после приезда папы ко мне в Красково, его игры с Андрюшей и того, как мы провожали его — вся молодежь — на станцию, растроганные, в умиленном почтении.

С папой сделался припадок грудной жабы. Он был под Клином в той семье, где устроился на пансион на лето. Испугавшись, видимо, ответственности за исход серьезной болезни, папу отправили в Москву с тем самым сыном-студентом, о котором папа упомянул нам. Тряская дорога на лошади до станции, посадка и езда в поезде, доставка папы через булыжную Москву в Трехпрудный в автомобиле — было все то, чего было нельзя делать*. Папа, уложенный в постель, был в тяжелом состоянии, но когда я,

* Понял ли дядя Митя, что он с женой, так рьяно отговоривший папу от брака — ради заботы о нем — с Л.Д.Фальковской, поступил опрометчиво? Лидия Дмитриевна не допустила бы этого никогда.

узнав 28-го, приехала и вошла к нему в спальню, ему было уже лучше, он разговаривал, и доктор Зеленин (ассистент проф. Плетнева, который пользовал папу) дивился и хвалил папин организм, смогший вынести такие испытания во время сердечного приступа.

Марина и Лёра, брат Андрей, Александра Олимпиевна — все были в доме. Папа, как всегда, был добр, спокоен и терпелив.

В тот же ли день был мой разговор с папой, верней, его разговор со мной? Или я еще раз была у него на следующий день, 29 августа? (В те дни мы с Соней начинали понемногу переводить Андрюшу на молоко, и я следила за желудком, так как он часто болел).

...Папина — мамы с папой когда-то — спальня. Низкие потолки, прохлада, уют десятилетия знакомой комнаты. Папа лежит на давно, иначе, чем в детстве нашем, стоящей кровати, если войти из коридорчика — впереди у правой стены; если из кабинета — направо же, за дверью, столик, комод, сундук? Почти нет вещей. Четыре окна. Два напротив папы, — во двор, к мосткам, к сараю и кухонному флигелю; два по стене — в акации и тополя, где в детстве качали колодец. Лицо папы, родное, доброе, старое, сейчас больное и с близоруким взглядом от снятых очков. Руки поверх одежды. Пахнет лекарствами.

— Ася, — говорит папа тихим голосом (мы в комнате одни — я хожу по комнате медленным шагом, стараясь ступать бесшумно), — я слышал, что у тебя не ладится твоя семейная жизнь. Что же, можно исправлять ошибки. Вот я поправлюсь, и в этом году на зиму поеду в Италию. Там буду писать мою последнюю, вероятно, книгу об архитектуре древнеримских храмов. Поедем со мной — ты, крестник и няня. Там ты сможешь отдохнуть, поправиться. Потом займешься чем-нибудь, что выберешь, — будешь что-нибудь изучать; может быть, поучишься какому-нибудь прикладному художественному ремеслу... Пока я жив, — продолжает он, видя, что я согласно слушаю, не возражаю, — всегда будет у тебя с малюткой кров над головой и все, что вам надо для жизни. Обдумай, голубка... — И я подхожу и целую папу застенчиво и благодарно, и мы говорим об Италии.

Если это было 28-го августа, то 29-го я или еще раз приехала в Москву, или звонила по телефону, и мне ответили, что ничего тревожного нет. 30-го я собиралась ехать, но пошла позвонить. Был полусосенный, полулетний день, зелень веток сверкала солнцем, летели желтые листочки. Я сняла черную выгнутую колоколом трубку с коричневого выступа телефонного ящика. Номер 1-81-08!

Голос Марины:

— Я слушаю!

— Это я, Ася. Как папа?

— Ася, все кончено. Папа скончался.

— Господи!.. Когда, Марина!?

— Около четырех часов дня.

Я слышала слова, они были такие отдельные от всего. А их смысл не вмещался. Смысл их был отдельно от звуков, он рухнул и лежал неподвижно, прикрыв все.

Голос Марины:

— Ты сейчас приедешь или позднее?

— Сейчас. Только зайду домой, скажу.

— Приезжай!..

Я положила трубку на место, рука дрожала, везде была пустота. Идти бы — и понимать. Думать. Вспоминать. Стараться понять. Одной! Но надо было заворачивать в улочку, идти ею к даче, говорить с Соней. Я шла. Я помню ощущение какого-то огромного крыла, покрова сорванного; физически ли меня мотнуло? Или это было в сознании? Но я шла слабыми ногами: шаг медлил — точно шаг должен был что-то понять... Конечно! Папы нет. Нет папы!.. Слезы бессмысленно подымали грудь, по пути к глазам сбиваясь в какой-то страшный начавшийся беспорядок, непонятность, неоправданность. Кровь ли это была во мне, качнувшая меня бесприютностью такой ширины и силы, к которым я не была готова? «Около четырех часов дня...» — как мама!

Есть Марина, Лёра, Андрей. Но ведь и они не спасли... Папа ушел! Никто не может помочь! Его отсутствие только он мог заполнить.

Папа! Музей... «Мою, видимо, последнюю книгу...» Уже не напишет ее! Но в том месте, где после этих слов шел вой, — уже делалась каменная пустота, как в тот июльский день за

семь лет перед тем, когда Лёра, положив нам руки на плечи, сказала: «Умерла мама...», и мы молча пошли по траве.

Во время похорон и на кладбище тогда, при уходе мамы, чувств не было. И это снова начиналось теперь. Это была — самозащита? Потому что нельзя было думать о папе, помнить все, все вспоминать с детства, все величие его труда, всю трогательную простоту его жизни, его приезд в Красково, и как он остушился о подножку и засмеялся (и бодро, и старчески), и его сборы в Италию, когда смерть была за плечом... Не верил ей — жизни верил, что она одолеет! Еще дело успеет он, еще книгу напишет. А кто-то не захотел, чтобы так. Что-то встало на пути — и остановило. Невинность, детская, человека перед фактом наставшей смерти!

В папе эта невинность, кроткая, была вся, целиком (не часть, как у других...). Но ведь думать так — надо быть одному, никого не видеть, быть наедине — с Тем!.. А была трава у тропинки, Сонино лицо, ее слезы, мои распоряжения об Андрюше, необходимость сообщить Борису, поезд, московские улицы. И я даже не помню теперь, как я вошла в дом, где был папа — в спальне еще? Возможно, я совсем, нацело позабыла дом в те часы? Я помню папину смерть — в совсем другом доме: он полон людей, неизвестных. Зала? Это она? Все затянуто черным. Гроб стоит высоко, и папа в опекунском мундире (грудь — в золоте), о котором он так огорчился, что тот стоит *восемьсот* рублей... Он должен был оплатить этот чин, ему так не нужный, он — скромнейший человек, вечный труженик... Я не помню Марину. Лёра плачет. На ней что-то черное. На цыпочках проходит Андрей. Солнце по черной зале.

Елена Александровна Добротворская плачет навзрыд, глядя на папу в гробу, сложившего руки. Ее еле произносящий, прерывающийся голос: «Все заботы отошли...»

А лицо папы было не только спокойно — оно отдыхало, оно почти улыбалось. Выражение почти довольства, почти радости, в морщинках у уголков глаз, в тайне закрытого рта под седыми усами. Папа — спал. Ничего мертвого. Его большой лоб, лысина с добрым ободом седых волос, круглая голова, скромная, легшая на покой в подушку. Я потом долго, десятилетия спустя, подолгу в это лицо глядела — маска из

гипса, в верхнем ящике маминогo комода, оставленного мне в 1922 году Мариной, со мной жившая до дня, когда меня увезли из моей тогда сорокалетней жизни, все отняв — семейный архив, десятилетия писем, книги. В этой моей гражданской смерти погибла и маска папы.

...Столовая! Четыре раза в день
Сбираешь ты во всем друг другу чуждых,
Здесь разговор о самых скучных нуждах,
Безмолвен тот, кому ответить лень.

Далее шло описание этой чуждости, отрывочные вопросы и ответы, и конец —

Прощай, о мир, из-за тарелки супа!
Благодарят за пропитанье скупо
И вновь расходятся до ужина — враги?..

Это больно ударило папу. В поэтическом преувеличении была, конечно, неправда, никто из нас друг другу врагами не был, но чуждость стремлений (отцы и дети) и то, что мы «пошли не в папу, а в маму» (что тоже было только относительно верно) — жизнь потом доказала нашу трудоспособность, папины — в годы разрухи — нетребовательность к внешним условиям жизни и терпеливость, веселая, со стихами, друзьями, невообразимой едой — переносить все, что пришлось в голод. Наша — Марины и моя — двужильность вошла в поговорку. Мария Ивановна Гринева (тогда Кузнецова) — наш друг*: самая выносливая и по крови отца и по широкому веселому нраву русскому, и по юмору, у нас с ней общему, — говорила: «Если б я так много работала и так мало ела и спала, как Марина и Ася, — я бы давно умерла!» Правда, что и мама была спартанка, но болезнь скосила ее до лет испытаний...)

Я больше ничего не помню — ни похорон, ни кладбища Ваганьковского. Призрачная толпа, призрачный катафалк... Трафарет торжественных похорон в душе умер.

* Талантливейшая актриса «Эрмитажа», Камерного театра, «Летучей мыши», позднее — бесподобная чтица, драматург, писательница.

Папу похоронили слева от могилы маминых отца Александра Даниловича Мейн (шестьдесят три года) и матери (двадцать семь лет) Марии Лукиничны Бернацкой и могилы мамы — Марии Александровны Цветаевой, урожд. Мейн (тридцать семь лет). Папе было шестьдесят шесть.

Свежий песчаный холм, венки.

Это совсем близко от входа, налево, напротив начинающейся (крайняя стена) церкви кладбища...

Забываю: в сороковой ли день после смерти папы или чуть позже скончался его соратник по Музею изящных искусств имени Александра III — Юрий Степанович Нечаев-Мальцев, на средства коего было воздвигнуто здание Музея.

Марина с Сережей собирались в Феодосию, и я уговорила Бориса ехать и нам туда. Он соглашался легко, безразлично, — впрочем, Феодосию помнил любовно: там была в заросшем дворике цапля, у нее глаза, как рубины. И то, поллежаевское, море...

Я начинала укладывать вещи; вынута была та огромная корзина, которая пропутешествовала с нами по всей Европе. Я отбирала любимые книги. Но пусто было в душе. За последний год, с рожденья Андрюши, прошло, казалось, много лет.

Теперь я часто бывала у Марины. Мы ездили вместе к папе на кладбище. С этим нельзя было свыкнуться. Сколько раз мы с ним туда ездили к маме, служили панихиду...

Теперь папа сам лег в землю, рядом с мамой. А мы живем на земле... Тетя хочет лечь позади дедушкиной могилы, ее место выступом, длинным, под тою же оградой и часовенкой-крышей ждет ее. И нас ждет земля!..

Маринины стихи. Когда ее первый сборник в 1911 году вышел в свет, и в ее семнадцатилетних, 1910 года, стихах папа прочел «В чужой лагерь», в них строки:

Нет, вы не братья, нет, не братья,
Пришли из тьмы, ушли в туман,
Для нас безумные объятья —
Еще неведомый дурман...

И в «Новолунии» слова:

В эти месячные ночи:
Рвусь к любимому плечу...
Не спрошу себя: кто ж он?
Все расскажут твои губы,
Только днем объятья — грубы,
Только днем порыв — смешон... —

папа был смущен. Он об этом говорил с Лидией Александровной, нашей Драконной. Она, со своей в слова не ложащейся грацией, все же верно пыталась ему объяснить, что у Марины это не так, как кругом, не веяние времени, что Марина — исключительная натура и что та «высокая нота», которую Драконна всегда отмечала, так назвав нечто непререкаемое в нас и в маме (она знала ее по нашим рассказам), — не даст ей и здесь «быть, как все»...

Стихи «Столовая» наполнили папу грустью. Он ничего не сказал Марине, — но печаль свою поведал Драконне. Во втором Маринином сборнике 1912 года («Волшебный фонарь») папу обидело (Марине он ничего не сказал, ни мне, только Драконне) в стихах «На вокзале», мне посвященных, о моем в 1911 году отъезде за границу, в последней строфе: «И цветы кидали ей к подножью / Ветераны, рыцари, пажы»... Будучи самым старым из провожающих, папа было принял имя «ветеран» на себя. И при всей своей природной и философской скромности (его детище, Музей, — еще только ждало своей славы), слово «ветеран» в пылу трудов показалось ему — бесцеремонным? Дорогой папа! Мог ли он знать, что ветеранами Марина назвала наполовину «отлюбленных» его Асей юношей — Толю Виноградова, Сережу Юркевича... Думаю, что Драконна ему это, смеясь, сказала. Милый, милый папа! Как мало он увидел от нас ласки, вниманья — как я счастлива, что — за всех нас! — я несколько раз в последний год поцеловала ему руку! Как он смущенно отдергивал ее, скромный...

...Мы стоим и смотрим на его могилу, крест с его именем, на высохший песок, на опустившиеся венки. 1847—1913.

Молится ли Марина? Религия отошла у меня куда-то далеко, в постоянной печали и непонятности жизни... Наверное, я не молилась...*

Глава 9 ПОСЛЕ ПАПЫ. ТЬО. ПРЕДСКАЗАНИЕ ЦЫГАНКИ

Таруса, осень. Уже к вечеру закрываются стеклянные двери на террасу у Тьо — днем они раскрыты — там, за ними, ветер и облетающие высокие ветки, над ними кружат, крича, грачи. Их гнезда уже видны (летом — скрыты). Как в детстве, я прильнула к окну и гляжу, вспоминаю — вспоминаю — вспоминаю все осени прожитых лет. Я не звала с собой Борю — поймет ли он Тьо, умилился ли ею, как сумел привязаться к папе, — или будет скучать и пожимать плечами? На него — как найдет, не узнаешь! Андрюша — мал, он остался с Соней — Соня ведь его любит, как своего. Как они расстанутся? Ее зовут домой, она не сможет поехать с нами в Крым... Эти нужные и другие случайные (которые зовут праздными) мысли бродят во мне, как я брожу от окна к окну, от дедушкиного рояля — к его книжным шкафам с географическими полушариями, в маленькую гостиную в чехлах, с венскими часами-оркестром (стоячий шкаф, узенький, страсть Мариной юности, вальсы Штрауса). Среди мыслей — то, что так встревожило папу, говорившего мне о поездке Марины к Тьо год назад, — деловая часть моего приезда. Ответ отрицательный Тети на мою просьбу — дать мне, как она дала Марине, двадцать или сколько сможет тысяч — на переезд в Крым и туманные мечты о Сорбонне. Без папы мне будет ту же, а Борис... — я втайне мечтаю все-таки жить врозь, потому что нелегко и не знаю, верно ли — вместе... Тетя не может, у нее все — в бумагах в банке, она живет на дедушкину пенсию: «Когда Тьо умрет — все останет деточек, Ма-анино и Тьо... Но Тьо оставит Асе свой дом, два дома, сад...»

Я не огорчена нисколько, я исполняла какой-то долг, сделала это, может быть, для папы — его год назад разговор

* В 1914 году были написаны мои «Королевские размышления» — книга отчаяния и безверия.

со мной, что от меня зависело, сделала и почти не восприняла отказ. Господи!! Разве деньги могут помочь — в настоящем? Только так: для удобства путешествий, для внешнего. И я еще ласковей к Тьо, чтоб не думала, что я обижена. Говорим с ней о папе. Милый, дорогой папа! Он всю жизнь копил для детей, отказывая себе во всем, ездил во втором классе только в России, за границей — в третьем, редко брал извозчика — конка, трамвай и пешком, для моциона. Скопленное за жизнь распределил с трогательной отцовской заботой и справедливостью — у Марины и меня от мамы по пятьдесят четыре тысячи золотом, а Лёрина мама умерла внезапно, без завещания, и по закону ее дом, принесенный в приданое, дом в Трехпрудном — переходит к сыну и только четверть — к дочери. Папа, уравнивая нас (у сына — дом, у младших дочерей — наследство от матери), оставил Лёре сорок тысяч накопленных за жизнь трудами и экономией денег, а остаток — всем поровну, по три с половиной тысячи — четверым. И из них только мне — он это оговорил в завещании, зная, что я способна деньги бросать, — эти деньги по пять рублей в месяц — на сколько их хватит. (Моим попечителем вместо папы стал теперь брат Андрей. Говорим об Андрее (большом), об Андрюше маленьком, я показываю Тьо его фотографии. Тьо, надев дедушкины черепаховые очки, с умилением рассматривает его личико, темные большие глаза, полуоткрытый полный рот, четкий носик.

Андрюша! Я рассказываю Тете о маленькой Але. А за окном — свечерело, уже не видно грачей, веток, ветер шумит за окнами. Зажигаются лампы, так образцово и заботливо ухоженные, что даже нет и тени запаха керосина, — сверкают, как электричество, и Тетина служанка, старушка в белой наколке и белом фартуке, — вносит, улыбаясь, мурлыкающий, не хуже котов, самовар, начищенный, красной меди; варенье, печенье, шоколадные конфеты. А четыре кота, каждый по своим коврикам, замурлыкав себя в сон — спят...

Кто мог знать, что, когда я в следующий раз войду в дом Тьо, я войду с тринадцатилетним сыном, много спустя ее смерти. Умерла она у соседа-огородника, жила у него из милости; что в знакомых комнатах с покосившимися полами

будет детский сад; что я, уходя, сорву на память ветку лиловой сирени и никогда не вернусь в него?

Мой приезд в 1913 году к ней был последний, я больше никогда не увидела Тьо.

Но мы ведь не знаем будущего!

И еще думаю: если бы я тогда уехала с папой в Италию, где был Луиджи Леви, — кто знает, не встретились бы мы вновь с ним, после двух лет разлуки? Но тогда я не вспомнила о нем. Помнил ли он меня? Никогда ему не написала... Почему? Берегла его? От чего?

Маринин дом, Сережин кабинет — маленький, он — сын папиного в Трехпрудном. Но и здесь все уже распадается и меняется. Как начнет, наверное, в Трехпрудном, где Андрей что-то переустраивает по-своему (как в пятом акте пьесы: по-новому, отменяя старые традиции, вкусы) — Лёра говорила. Она очень сдержанна, Лёра, у нее не поймешь — «за» она или «против», в ее деликатности, уклончивой и скрытой. Но думаю, что и у нее скребет сердце где-то в глубине — не только у Марины и меня — от этих новых, в старом доме, затей... Но она любит младшего брата нежной, хоть и неявной любовью, жалея, что рос сиротой, и он так похож на ее и его мать (он-то не помнит матери, а Лёра хорошо ее помнит — ей ведь было семь лет...). И если Андрею станет немного веселей в переустроенном доме, с другой, по его вкусу, стильной старинной мебелью — что ж, отчего же нет?.. Так чувствует, верно, Лёра. А мы — Марина и я — как цепные дворовые псы Трехпрудного, сторожевые — только молча рычим, сжав зубы: наш дом, дом детства — мама, Эллис, Нилендер. Наша юность... Прочь из Москвы... В Феодосию, к Пра и Максус!

И в Маринином доме тоже все рушится: они уезжают, сдав дом на год каким-то людям по фамилии Чичеревы, у них частная психиатрическая лечебница. И от мысли, что в этих комнатах «поселятся сумасшедшие», как говорит Марина, — в ее юморе — оттенок Борисова, мрачного — ей уже этот дом стал, как мне кажется, тошным, — и хорошо бы его вообще продать... Но Чичеревы не хотят покупать, а других — искать нет времени, Сереже надо скорей устроиться на зиму и учиться, они выезжают на днях.

— Ася, — ты, значит, решила? И Борис согласен? Чудесно! Я начну искать тебе квартиру, чтобы от нас недалеко, Борису в общении с Сережей будет легче, ручней — вот увидишь — они же очень любят друг друга.

— Да... Может быть... — Вздох. Пауза.

Марина:

— А Миронов не пишет?

— Мы уговорились, чтобы не писать. Три месяца. Я же хотела врозь от них — и чтобы они — врозь. Одной! И в ноябре — написать им обоим. А Драконна — я же тебе говорила? — позвала Бориса, меня — или он к ней пришел, чтобы... — кто их поймет! Ты Бориса знаешь — гордец: я уехала, это ему трудно.

— Милая Драконна! — говорит Марина. — Она думала, так лучше... Ведь никто же не может понять, что мы... — Вздох.

— Если б он ушел, Марина, тогда бы это могло быть прочней. Его гордость бы не страдала! Понимаешь? Я совсем не чувствую, что он меня любит. Его та любовь ко мне — кончилась. Когда Боря Бобылев полюбил меня (новогодняя ночь, гаданье в буране — «Два Бориса» — «Анастасия...») — любовь вспыхнула — поневоле. И когда Коля — когда Миронов ко мне подошел вплотную — тогда Борис снова меня увидел, вспомнил: «Моя Ася»... а теперь, когда я вернулась — я ему опять не нужна.

— Ася! Ты будешь с Колей Мироновым, вот увидишь! Он тебя любит навек, как Сережа — меня... И ты будешь с ним счастлива! Не уходи! Скоро придет Сережа! Пойдем к Але!

Мы в детской. Аля стоит в кровати. Второй год. «Уже говорит «р»», — сказала Марина, Сережа добавил: «Почти чистое «ж»!»! Тонкий извилистый рот, красивый. Господи! Какие огромные глаза! Два настоящих горных озера! Голубых!

Брат Андрей (я пока живу у него, собираемся скоро ехать, укладываюсь) ждет Бориса и меня к обеду. Брат любит, чтоб все чин-чином — если сестра, значит, разливает суп... И чтобы без опоздания! Мне немножечко иронично от его барских мужских блажей! Но у каждого ведь свои...

Проводив Марину, я опаздываю в Трехпрудный. Андрей уже, знаю, злится. Спешу. В воротах — мою руку хватает цыганка. Я выхватываю:

— Мне некогда, не могу! Да и гадать мне — поздно!

— Ай-ай-ай!.. — Голубые белки глаз, черный огонь очей, полумесяцы серег, серебряных, и над сборами пестрой юбки до босых пяток — пушкинская? лермонтовская? шаль с плеч. Мой миг любованья принят за согласие. Взгляд на мою ладонь, горячий шепот: — Слушай меня, правду скажу! Два человека схоронила — ох, один молодой — уже время прошло. Вот, вот близко, горе твое — старый в землю пошел. Слушай, правду скажу! (Стою, замерев.) Два их любят тебя — блондин один, другой — черный! Думаешь, вдвоем едешь? Вещи укладываешь? Поедешь — одна! — Я уже тяну руку, но она, как и я, спешит: — Не будешь ты ни с блондином, ни с тем... С другим будешь...

Уж не слушаю, сыплю в темную руку мелкое серебро, бегу по мосткам. Сердце бьется.

— Ну-ну, опоздала, как всегда! Садись! (брат Андрей).

Он звонит, чтоб подавали обед. И они с Борисом продолжают разговор об охоте.

Вечером Борис мне:

— Я хочу поговорить с вами. Тут неудобно. Поедемте к маме.

Там, в своей мальчишеской комнате, пройдясь по ней.

— Ася, я хотел вам сказать... Нам надо еще раз попробовать расстаться. Если смогу без вас — я вам напишу: вы свободны. Если не смогу...

Сердце бьется.

Через три дня я уехала к Марине в Крым.

Марине был двадцать один год, мне — девятнадцать.

Часть двадцатая

ФЕОДОСИЯ

Глава 1

МАРИНА, СЕРЕЖА И АЛЯ. ДНЕВНИКИ МАРИНЫ

Остановилась ли я в Феодосии у Марины? Вдвоем ли с ней мы нашли мне квартиру? Или к моему приезду уже была найдена мне ею квартира на Бульварной улице, наискось от собрания. От нее было недалеко до нашей дорогой Итальянской — пройти всю улочку, соединявшую их. Марина жила в десяти минутах от меня, вверх по отлогой горе, на даче Редлих. Их родных фамилия была Rogozinskiе, хорошие знакомые Макса и Эфронов. С этими двумя семьями у Сережи и Марины завязались добрые отношения. Лишь бывая в Мариной квартире, знала их мало, а теперь помню только ласкового старика с седой бородой и старушку и еще имена — Володя Rogozinskiй, Лиза Редлих, — но помню я их смутно. Садик вокруг их низкого длинного домика был густой, уютный, веселый, и с холма был вид на море, далеко внизу, как когда-то в Ялте с Дарсановской горки. Это отдаленное сходство придавало моим приходам к Марине невысказываемую печаль, и то, что она была так счастлива с Сережей в веселом соседстве с незнакомыми мне людьми, веяло в мою жизнь одиночеством, как прохладным ветерком. Аля была более раннего развития, чем Андрюша, более говорлива, менее нервна и капризна, что даже делало веселым Маринин день.

Две (или три) комнатки, где жили Марина с Сережей, Алей и няней, были низкие, старенькие; старинная простенькая

мебель уютно радовала глаз пуфами, диванчиком, ламповым абажуром, картиной в поблекшей раме. Створки окон, распахнутые в низкие кусты, впускали в домик запах дрока — он звал в Коктебель. Под окнами носились маленькие лохматые собаки, Марина выбегала к ним, бросалась перед ними на четвереньки, брала на руки, несла Але, давала ей гладить, учила повторять их имена, добавляя к ним — «милый, милый»... Чуждавшаяся этих сцен пестрая кошечка, пренебрежительно фыркая, прыгала на подоконник, с него — в сад, на низкую каменную стенку, и, подобрав серые лапки, шурила на Марину с собаками желтые египетские глаза, ожидая, когда умчатся собаки, когда Марина опомнится и заметит ее, ждущую терпеливо, достойную по-настоящему ласки. Был еще дымчатый кот Кусака. Весь этот веселый надгородный мир, освещенный Мариниными светлыми подрезанными выше плечей, на концах вьющимися волосами, вместе с теплым осенним днем и сознанием неповторимой молодости жарко вливался в сияющие глаза Сережи, ставшего на пороге с Алей на руках, отражая свои огромные темные, аквамариновые — в голубых небесных Алиных. И уже звала старушка няню взять и нести сваренный ею обед, Сережа звал меня к столу — «все равно не отпустим!».

Входов в мою квартиру было два: с Бульварной улицы было парадное, невысокая лесенка вела прямо в первую мою большую комнату в два высоких белых окна. Она была проходная в меньшую, Андрюшину; та, в свою очередь, выходила в заднюю — столовую. Из нее была дверь в кухню к черному ходу, крутой наружной лестницей сходящему во двор, в другую улочку — дом был угловой, квартира снята без мебели, и мне пришлось купить самое необходимое: два-три стула, табуретки, кровати. На «толчке» (любимом месте прогулок Петра Николаевича Лампси, встретившего нас с Мариной как самый преданный друг) я купила сломанный старинный стул и верх книжного шкафа, тоже старинного. Их я поставила в своей комнате как друзей, чтобы на них любоваться, вспоминать свою юность в Трехпрудном. Чемоданы и корзины (столбиком друг на друга), покрытые куском цветного шелка, изображая комод, закончили убранство пустой высо-

кой белой комнаты. Жалея, что нет со мной старой няни, я, как и Марина, нашла местную, помоложе. Но, уходя надолго к Марине, боялась оставлять ее одну с ребенком — вдруг ей понадобится отойти, или что-нибудь с Андрюшей, или я буду нужна срочно? — и я взяла вторую прислугу, которая ходила за покупками, готовила и стирала (Марине готовили хозяйева).

Иногда Марина с Сережей приходили ко мне, приносили, как и я им, наши любимые лакомства — синий изюм и тугую, негнущуюся, давно висевшую в лавках фруктовую колбасу с орехами. Моя пустынная столовая оживлялась. Я несла с огня — мы готовили в высокой кирпичной побеленной печке — на угле кофе в изогнутом медном (по-татарски, по-турецки? на длинной металлической ручке) кофейнике, старом, тоже принесенном с толчка.

Сережа рассказывал что-то смешное, всегда неожиданное, с заключенной в рассказе доброй каверзой, я смеялась, как только с Мариной умела (позже — с Марией Ивановной Кузнецовой-Гриневой и с Майей Кювилье-Кудашевой); Марина сравнивала Андрюшины проделки с Алиными, вслушивалась в его длинные — с моего или няниного «плеча» — тирады рвущихся из него потоком непонятных слов, сличала их с Алиным говором — старательно, отдельными словами, обтачиваемыми ею, как на токарном станке. Говорила последние стихи, и мы их повторяли вдвоем раза три, пока я их могла сказать с ней все. Темнело. Они торопились; я шла проводить до поворота в их улицу. Уговаривались о свидании с Петром Николаевичем, спрашивали друг друга, не говорил ли Макс, когда приедет в Феодосию — и я шла домой. Иногда я доходила до угла Итальянской, стояла, смотрела и вспоминала мой тот приезд в Феодосию, в 1911 году, когда все было впереди с Борисом... Теперь все позади.

С моря дул ветер. Его шум и шум моря полнили душу каждый раз вновь заново, трепетом и в тот час, когда, казалось, усталость дня опускала крылья, прося забвенья, покоя, — в сердце всплескивалась забытая замороженная мощь — и не назад рвалась она, к оставленному, к утраченному, — а вперед — к незнакомому, которое:

...выстрелами на охоте,
И бубенцами троек

Зовете вы, зовете
Не выданный мной...

В тот час я снова стояла на пустеющей феодосийской улице, высоко подняв голову, гордо глотая горечь бывшего и сопротивляясь слабости, готовая лбом встретить будущее.

В эти минуты меня не узнал бы Миронов, поднимаемую крыльями туманной мечты о Сорбонне — изучением всех философов-отрицателей, всех с начала истории, с дней, когда жил Феогнид нилендеровский...

Не чувство влекло меня в эти часы — мысль, величье. И я была счастлива, что — свободна!

Но освобождение от личных шквалов судьбы, чувство радости от свободы и огромная усталость от пережитого в то время — отрывали меня и от Миронова. Я с тоской ждала письма Бориса, которым решится моя участь: сможет ли он жить без меня? Если нет...

В то время Марина вела записи об Але. Почти чудом через все события эпохи эти листки сохранились. В них Марина писала:

«Але 5-го исполнилось 1 год и 2 месяца... Она прекрасно узнает голос и очаровательно произносит “мама” — то ласково, то требовательно до оглушительности. При слове “нельзя” свирепствует мгновенно... Меня она любит больше всех. Стоит мне только показаться, как она протягивает мне из кровати обе лапы с криком: “На!” ...»

О ее глазах: «...когда мы жили в Ялте, наша соседка по комнате, шансонетная певица, все вздыхала, глядя на Алю:

— Сколько народу погибнет из-за этих глаз...»

18 ноября 1913 года Марина записывала:

«Вчера я кончила ей стихи. Завтра ей год и два с половиной месяца. Несколько дней тому назад она определенно начала драться.

Да, теперь она на вопрос “как тебя зовут” отвечает: “Аля”.

Аля! Маленькая тень
На огромном горизонте,
Тщетно говорю: не троньте,
Будет день...»

В декабре 1913 года:

«Сегодня я кончила стихи “Век юный”...

Когда промчится этот юный
Прелестный век...

30-го мы выступаем с Асей на балу в пользу погибающих на водах. Да, Але это будет интересно...

Когда на втором нашем выступлении я сказала перед стихами Але: “Посвящается моей дочери”, вся зала охнула и кто-то восторженно крикнул: “Браво!” Мне на вид не больше семнадцати лет».

Прошло еще полсрока, назначенного мной для письма Коле. Я не чувствовала себя готовой к нему. Сказать ему «нет» — было страшно. Это была бы ложь. Но не менее трудным было позвать его в это мое отдыхающее освобождение, в это вновь вернувшееся ощущение девичества, принадлежности не одному, а — миру... Как в детстве почти! Что, если он позовет! Куда-то в его жизнь, в которую я так смело вступала в тот вечер с качелями и звездой, который он превратил в стоянье над его полумертвым телом... Если б не прислала судьба Володю — шприц, камфару... Какие-то мои силы в тот час были — отняты. Я бы не смогла теперь поехать на его зов. Не было веры в него, той? Он не выполнил обещания не встречаться три месяца с Борисом... С ним, в его Сибирь, в снова — чужую семью, меня не знающую, не любящую? Вряд ли я так тогда думала — додумывала. Так — смутно чувствовалось... И ясней мне не рассказать о себе к часу начала дружбы с Максом. В этой не личной и все-таки теплой встрече была — правда.

Глава 2 МЫ И МАКС

Уже в тот миг, когда без малого два с половиной года тому назад Марина привела в мою комнату Макса, моим тогда шестнадцати годам, перевидавшим на своем кратком веку

множество самых разнородных людей, с первого взгляда вошел в душу взгляд, ни на чей не похожий, этого замечательного человека. Но я еще была девочка. Это было еще до первой встречи моей с Борисом Сергеевичем, вскоре после того вошедшим в мою жизнь, наполнившим и опустошившим ее. Теперь Макс встал на пороге моего — уже не отцовского, а собственного, печально-веселого одинокого очага — *после* моего замужества, в девятнадцать лет. И ни слова не спрашивая меня о пережитом, как будто этих трех лет не было, Макс стал на моем пороге — так, как если бы это было впервые, как если бы вообще никогда на него не вступал, — с него не сходя от века. Это вошла Душа, вглотившая и мою, и Маринину, и Серезину, Лилину, Майину, душу Пра — и свою, Душа, не заметившая порогов, начал и концов браков, идущая вольно, уверенно, гипнотически ласково по тенетам человеческих ошибок, переводя этот древний взгляд — Папа? — нет, еще древней, еще *роднее!* — на каждого, кто шел навстречу, и в его глазах жил, казалось, ответ на все вопросы, отстаивающиеся в человеке.

Большой кажется (а среднего роста), широкоплечий и толстый, как бывают коты и медведи, одетый во что-то, напоминающее заграничных мальчиков — куртка с карманами, короткие, под коленом схваченные подобием обшлага — брюки, гетры, горные башмаки. Он стоит на пороге моей комнаты, улыбаясь в свою пожелтевшую от солнца широкую, короткую, кудрявую бороду, широколицый, загорелый, мускулистый, мощный, как дерево, но совершенно лишенный тяжести, упругий и легкий, сросшийся со своим бесконечным хождением горными тропинками и киммерийской степью. Темно-русое руно его волос, густо-кудрявых, и такая же борода не дают увидеть границы его лица, большого, как Зевсово.

Он ничего не говорит. Он ждет терпеливо, пока я оденусь, отдам распоряжения няне и девушке, наклонюсь над спящим Андрюшей, и мы выйдем на вечерние феодосийские улицы, бродить — к морю ли, на мол, к генуэзским ли крепостям Карантина, по цыганской ли слободе или прочь от всего — в степь. Заходя за Мариной или за мной, он привык ждать, хоть иногда и сердится...

На окраине Феодосии дом Нины Александровны Айвазовской. Простор комнат, украшенных изысканной музейной старинной мебелью, огромные окна, раскрытые вдаль, и панораму Каффы – Ардавды, светящейся в закатных лучах.

Нина Александровна – пышная, рыжеволосая, немолодая – чем-то напоминает царицу Елизавету. Она очень добра, богата и любит искусство. Что именно она любит в нем – кто ж узнает... На ее стенах – огромные облака Богаевского, его свинцовые, дымчатые, окаймленные закатом дали, суровые линии и цвета Максовых акварелей, их вулканические холмы с заколдованным глазом озера и морские хляби под Карадагом и – нежные, прихотливые, мастерской рукой холодноватого (?) художника Латри, маленькие – темпера? акварель? еще какая-то техника? – блестящие под стеклом узкие натюрморты.

Нина Александровна Айвазовская любит собирать людей искусства, наслаждаться их обществом, угощать на славу.

Гостеприимная хозяйка, она живет «на широкую ногу» и купается в этой беспечной, позолоченной солнцем жизни, как Феодосия – в закатных лучах.

Нина Александровна не замужем, но у нее есть друг – пожилой богач-караим, один из семьи Крымов, давнишних феодосийцев. Он молчалив, благодушен, бессменный гость ее дома.

У рояля палисандрового дерева – полная женщина лет сорока, русоволосая; большие голубые глаза ее полуприкрыты веками, она поет старинный романс. У нее приятный, поставленный голос, в свое время она пела, сейчас живет в имении, в соседстве с именем Н.А.Айвазовской, Эссен-Эли и именем Николая Михайловича Лампси «Шейх-Мамай». Ариадна Николаевна Латри в свободные от хозяйства часы любит сесть за рояль и вспомнить юные годы. Она с мужем изъездила много стран, видела сокровища музеев и галерей, и воспоминания о них полнят ее благодарностью судьбе, к ней милостивой.

В уголку дивана карельской березы, цвет: чистое золото! – сидит ее муж, худощавый, темноволосый грек, художник Михаил Пелapidович Латри.

Звонок. Только что хозяйка впустила Макса и меня, как она вновь появляется на пороге передней, встречая новых гос-

тей: Марину и Сережу Эфрона. На Марине светло-синее атласное платье с маленькими алыми розами, они волнуются в рисунке зарослей. Платье шито по моде прошлого века — лиф в талию и длинные пышные сборки. Ее светлые, только что вымытые, наспех просушенные волосы светлой волной отрезаны у конца ушей и сзади прямой чертой, лежат на лбу густым блеском, чертой над бровями — ее обычная теперь прическа пажа.

Как она хороша! Ее чуть розовое лицо с правильными чертами, зелеными близорукими глазами высоко поднято от застенчивости, губы полуулыбкой отвечают на приветствия, она проходит по гостиной, и только одна я знаю, сколько мучения сейчас испытывает она, проходя между взглядами, на нее устремленными (в меньшей степени, но и я испытывала все это в отрочестве и юности, у Марины же это была мука тех ее лет). И если она теперь «расцвела» в такую красавицу, *вся* мука застенчивости ее *не могла* пройти от одного факта этой, хоть неожиданной в яви, но так долгожданной в мечтах метаморфозы! *Жало* застенчивости все равно в ней, кому это знать, чувствовать, как не мне. Ее все еще немного неловкие, волей замедленные движения (затишенная буря!) проводят ее между людей, кресел, диванов, секретеров, как драгоценную ожившую гравюру. И на ней, добрым гением у ее плеча, возвышаясь над ее стройным ростом, — темноволосый узколицый Сережа с его огромными, полыхающими умом, добротой и смехом глазами. В них тоже застенчивость, но ее гасит юмор, и надо всем — теплая грация доброжелательства, с которой он жмет, проходя, руки юношески теплым приветствием.

Облако счастья, окутывающее их двоих, полнит комнату наставшим праздником. «Казалось мне, весь белый свет, / Наш милый луг — и поле...» — пела Ариадна Николаевна и, оборвав строку, встала навстречу вошедшим. Ее просили продолжать. Но уже приглашала хозяйка в столовую, где сверкали хрусталь, вино, фрукты и где Макс, десять минут спустя изображая из себя Собакевича, осилив «осетра», тыкал вилкой в сухую маленькую рыбку... Нина Александровна, хоть была старше Макса, дружила с ним с давних лет, с тех самых ее юности и его отрочества, феодосийских, когда девицы на бульваре,

встречая Макса, просили: «Поэт, скажите экспромт! (Кто из них знал в те и в эти дни, что так мало пройдет лет, и в этом самом Крыму в дни военных бурь и разделенной надвое России Нина Александровна Айвазовская будет покидать в дни братоубийственных битв свой родной город, в то время как Макс, комиссар над всем искусством Крыма, будет спасать от разрушения картины и библиотеки...)»

Но уже Макс говорит стихи. Рука Макса, отведенная в сторону, аккомпанирует голосу как некий музыкальный инструмент. Приподнятая как ветвь — она расцветает шелестом листьев — и блаженством улыбки. Упоенье отдачи себя сотворенным строкам, отдаваемым тем, кто слушает, они веют над комнатой, над раскрытыми в тишь окнами.

В янтарном забытье полуденных минут
С тобою схожие проходят мимо жены...
В душе взволнованной торжественно поют
Фанфары Тьеополо и флейты Джорджиине...

Но мне стихи эти кажутся вычурными. Мне хочется других. И, словно почуввав это желание, Макс, докончив их, начинает совсем другое:

Ясный вечер, зимний и холодный,
За высоким матовым стеклом.
Там в окне, в зеленой мгле подводной
Бьются зори огненным крылом.

Гляжу на Макса, но перестала слышать — так бывает. Слышу вновь...

Ночь придет. За бархатною мглою
Стынут, бледны, полыньи зеркал.
Я тебя согрею и укрою,
Чтоб никто не видел, чтоб никто не знал...

— Хорошо дышать в больших комнатах! — радостно говорит Макс. — Помнишь, Марина, как у вас в антресолях в Москве я не смог быть совсем...

Уже разносит чай хозяйка, принимая из рук служанки золоченый фарфор с горками засахаренных фруктов, восточных сладостей, синих россыпей винограда, но Макс (так любит сладкое, как трехлетний ребенок) не замечает внешнего, ни кресел, меж которых встал. Шагнув медвежьим движением, задев одно из них, спохватясь — бегло улыбнувшись ошибке, обежав взглядом, зорким, нас всех, он уже плывет волнами иных вскипаний, и рука, охватив, как ваза, подымлет плоды.

Теперь я мертв. Я стал строками книги
В твоих руках...
И сняты с плеч твоих любви вериги,
Но жгуч мой прах...

Он — устал? Макс устал? Нет. Глазами Пана он увидел вдруг себя посреди людей, их — утомленье? (они — устали?) передается ему ветерком — дрожанье лесных ноздрей, и вот он уже в кресле, увидав лесной мед (уже лакомится) нацело, на одно мгновение променяв на мед нас. Это как раз тот миг, когда, выходя из колдованья звуков и образов, мы просыпаемся, из сна в сон.

Вечер идет. Снова поет Ариадна Николаевна, на диване под огромным полотном Богаевского — провалом в Киммерию под огнем клубящихся туч, Сережа и Михаил Латри прообразом пылающей Юности и сухо тлеющего огня Мужественности. Но уже идет наша очередь, уже Нина Александровна, Макс, увидев певицу, встающую от рояля, просят нас, наших голосов, сливающихся в унисон, ими до нас не слышанный. И вот незамеченное мое платье (вместе, вдвоем выбрали два цветных полыханья в лавке для магометанских паломников), два шелка, вспыхивающие рядом: Маринина синева, усыпанная алыми розами, окутанная в стройность и пышность: в моду сто лет назад, и мое — скромней, уже, высокая талия Первой Империи — темно-красные струи, мерцающие золотистым узором. Они вспыхнули — угасив? или умножив? стесненность наших движений, и ушли в тень уголка, где мы встали...»

Ритм — понижения, повышения голоса, волшебство любимых слов, — и как рукой сняло всякую тень застенчивости. Мы перестали воспринимать эту муку чужих комнат, чужих взглядов, и, когда начатые Михаилом Латри, поддержанные Ниной Александровной и Крымом, раздаются аплодисменты дружеского восхищения, мы, только перегнувшись (чтобы их прекратить), спешим продолжать стихи.

Идешь, на меня похожий,
Глаза устремляя вниз,
Я их опускала — тоже!
Прохожий, остановись...

Может быть, понимая, как фальшиво звучат нам после таких стихов светские похвалы, Макс говорит:

— Марина, «Когда очнулись демоном от сна Вы...»!

И мы начинаем «Байрону»... — «Я думаю об утре Вашей славы...»

Сколько на свете людей бредили Байроном, им восхищались. Но в стихах Марины — проникновение в трагедию его жизни, в его раннюю смерть. «Пушкину одному было суждено пасть от чужой руки, — писала она позднее, — что он сам никогда бы не умер, а жил бы и жил вечно...» Дело Марины было — оплакивание судьбы поэта, судьбы любимого, плач Ярославны — о каждом князе Игоре на земле. И о себе, заранее, никому не оставив чести *так* оплакать себя — в разгар юности, в час счастья!

Ночь, феодосийская ночь — неужели сейчас осень? Откуда же эта теплая синева, почти черная, звездная: чернота почти синяя, бездна небесная, льющая на город ветвями деревьев запоздалые летние запахи, как в ту июльскую, два года назад, ночь старокрымскую, когда мы на мажаре подъехали к дверям Сербиновых и та маленькая некрасивая женщина нам пела незабываемым голосом «Ночи безумные»?.. Но пахнет морем, в Старом Крыму его нет. И снова, как в Коктебеле, ветер с *моря*, безумный хмель юности вместо того, чтобы увянуть за прошедшие два года, рвет голову с плеч, плещет кудри и, после ощущения счастья — среди

друзей и среди стихотворного ритма, пробуждает — неужели только во мне, не в Марине? — вековую, звериную тоску одиночества, от которой — куда спастись? В звездные бесконечные глубины, в которых нет Бога, которые — еще год, еще пол — еще четверть столетия — поглотят нас навеки? Разве может меня от этого спасти Миронов? Может быть, пьют сейчас с Борисом вино...

Перекресток. Рукопожатия. Прелестное лицо Марины. Ей с Сережей — налево и вверх, мне — прямо. Макс? Он не чувствует, верно, у Нины Александровны или у Александры Михайловны Петровой, своего давнего друга, — а может быть, у Богаевских. Но он идет в обратную сторону — милый Макс! Он провожает меня мимо Азовского банка, куда мы приглашены на вечер — Марина и я, читать стихи. Заворачиваем в мою улочку. Трепет тополей, стройных, как свечи.

— Ася, — говорит Макс, — я зайду за тобой завтра, хочешь? Пойдем к морю и в степь... поговорим. Сейчас — поздно... Мягкая добрая рука Макса тепло жала мою...

Глава 3 У МАРИНЫ. РАЗГОВОР С МАКСОМ

Марина стоит, держа на руках Алю. Как они непохожи! На мое ли ей сообщение об этом или, поймав эту мысль в моем взгляде, Марина:

— Цыганка украла белокурого ребенка!

— Цыганка?

Но я не очень удивлена, понимая отлично, что дело не в том, что у Марины волосы русые. Дело — в стиле: на груди ожерелье, на руках — браслеты и кольца, и страсть к загару, и профиль римского отрока, и страстное: «Какой-нибудь предок мой был скрипач, / Разбойник и вор при этом...»

Аля — английское бэби! Светлая шерстка поверху высокого лба (куда только и успела дорасти), впервые подрезанная, густа. Темно-серые (польская кровь?) бровки проведены, как у прабабушки на портрете, словно тонкой кисточкой. Жадно, радостно дышат тонкие ноздри де-

тского носика (она придвинула личико к самому лику матери, играя любовно, рассматривая ее черты. Вырисованные губы трогательны взрослой своей красотой — на лице ребенка. Лохматая головка, круглая и тяжелая, как цветок, поднята над плечами в медвежьей-уютной пушистой кофточке.

Марины голова откинута, волосы резко отброшены, она влюбленно смотрит на дочь.

— Левушка, — зовет она, — Аля была сейчас так похожа на вас... Аля, сделай папе Леву!

Аля не делает. Она взасос целует Марину.

С книгой в руках входит Сережа:

— Мариночка, я столько занимался сегодня, что уже перестаю понимать! Он кладет учебник и потягивается, закидывает за голову руки.

— Левушка, отдохните! Скоро будем обедать. И после обеда непременно ляжете! А то снова будет температура!

Сережа подходит к низенькому окну, садится на подоконник, толкает дальше в кусты раскрытые створки и, оборотясь назад в комнату:

— Мариночка, Ася! Если я выдержу — я вам подарю — знаете что? — Он начинает с наслаждением выдумывать будущие подарки.

— Я знаю, Сереженька, что вы мечтаете купить Марине! — смеюсь я, — английский костюм, да? Ваш идеал — для жены... А Марина кормит вас кринолинами и цыганскими материями с разводами «Глазки и лапки» гоголевские, да?

И он их ненавидит... «с созерцательной печалью».

Марина вздыхает:

— Я себе шью из плюша с тигровым рисунком — то есть с леопардовым! — полупальто-шубку, легкую! И буду в ней, Левушка, ходить...

— Марина в английском костюме! Не могу ее себе представить, Сереженька...

— А знаете, как он бы ей шел...

Марина — мне:

— От Бориса нет писем?

— Нет.

— И ты ему тоже не пишешь?

— Не пишу...

— Левушка! Да, ведь правда, если бы Ася не выходила за Бориса замуж, он был бы ей чудный друг! Ему не надо жены! (задумчиво) — и тебе — мужа... Вы бы так замечательно дружили! И я уверена, когда вы будете жить врозь, все опять будет прекрасно! А вообще ты, Ася, — свинья: ты уже забыла Сережу Трухачева, а он...

Мы обедаем. После обеда Марина укладывает Алю, Сережа уходит заниматься.

— Уснула. Пойдем, скажу тебе последние!..

Огибаем дом, идем по заросшей тропинке, пес вьется у ног.

— Небо, как в Нерви, правда? Даже лиловое...

— Помнишь?

— Да.

— А тут хорошо, правда? Какая густота кустов! На этот камень встань — и море видно...

Два голоса в унисон:

— Как в Ялте...

Молчание. Двойной вздох.

Марина читала стихи, затем стали говорить о Сереже, Борисе, Миронове. Солнце переставило свои лучи с дома на тропинку. Мне уже было пора домой...

Я стою в садике Редлихов, в уюте затихших ветвей, тихий час, солнце. Я одна на горе.

...Сколько лет — с Ялты? Так, на Дарсановской горке стояла, с Мариной, покрывая тряпками Лайку. Бегала с Марусей Никоновой, с Асей Таргонской, с Ниной и Наташей Боровко, играли в «камушки», носились с Бобкой и Томкой. Семь лет назад! И все — день за днем, незаметно изменилось, как в волшебстве! И все проходит, как сон...

Вечер, ветер, мол. Макс и я. Как волны бьются! Какой нестройный шум! Ух, страшно! Одна бы я ни за что не постояла тут, ни минуты! С Максом — не страшно. Пока волна взлетает по каменному отвесу — выше нас!

Отступаем. Грохот, брызги. Волосы относит назад, они умывают лицо солью, плеском. Смеюсь:

— Макс, знаешь, мы сейчас как на той ужасной картине, студенческой: «Какая даль, какой простор! Взгляни, взгляни вперед» — Макс, мне было восемь лет!

Как я эти строки любила... Что делается с детьми и в отрочестве, что так можно захлебываться — безвкусицей?

— Это не только в отрочестве бывает! — Уютно, убедительно, с аппетитом, медленным, упоенным от юмора голосом, Макс:

— Мы шли по Парижу с Бальмонтом, и я сказал ему: «Константин! Ты же настоящий поэт, почему ты печатаешь столько, — голос Макса стал мед, — плохих стихов?» Он вспыхнул (в нем же ирландская кровь), и мне, через плечо, уничтожающе: «А ты знаешь, сколько я их не печатаю?»

— Какая прелесть! — кричу я в уют Максиного смеха и в волны, спасаясь от них и Макса, круто заворачивая назад, к земле, из моря, — он *чудный*, Бальмонт, да? А знаешь, что я люблю про море? Как Гончаров вышел на корабле в бурю на палубу. Величественная картина? Как «Девятый вал» Айвазовского? а Гончаров сказал: «Какое безобразие!» — и ушел в каюту. Тоже был душенька-человек...

Глава 4 ЧТЕНИЕ СТИХОВ

Феодосия предвоенных лет! Та, через фиту! Еще — в памяти Каффа, еще наполовину Ардавда. Полная уютных семейств, дружеских праздничных сборищ, ожидания гостей, наивного восхищенья талантом, готовая с первого взгляда на юный эскиз, с первого звука смычка, с первой строфы стихов венчать дерзновенного — словно Перикла народ; словно Капитолий Коринну.

Пышет жар еще керосиновых ламп. Еще горят в соседней комнате — свечи, еще собравшиеся умеют быть полны единым восторгом, жадно и радостно улыбаясь друг другу в предвкушении желанной амброзии. Еще запахнуты окна в ночь романтическую, еще юноши — застенчивы, мужи — скромны, еще мир юн до дней Ремарка, еще много лет до непомерных злодейств Гитлера. И вот в эти комнаты с за-

пахом моря и вышитыми картинами, с пузатым комодом и глубокими креслами входит Марина Цветаева. Как в золотистый фрак сто лет уже исчезнувшей моды, она заключила стройный рост в узкий лиф с длинными рукавами и от талии в пышность почти кринолинную. Идет с полуулыбкой, ее стараясь потушить непроходящим смущением, и уже полыхает в поднятом лице полунасмешливая — смотрят? судят? — горделивость — шатер, где привычно укрывается от всех подозрительно-надменное сердце.

Но ведь только я, ее полублизнец, это знаю, — читаю в ней, как в раскрытой книге. Под этой, от рожденья усвоенной позой (чтоб не осмеливались дразнить — в детстве, чтоб не осмеливались осуждать, не поняв, — теперь), — вся тоска, вся беспомощность сердца. О! Но все это — так совсем «зря» в этом феодосийском доме, где ее так ждут, так ждут стихов, где если не все, то многие уже ее видели и слышали, уже приняли ее в сердце, гордятся, что она — среди них. И это — как дуновенье счастья в комнате — несомненность. И, тая, как согревшийся снег, уже вновь вся другая Марина: вспыхнула женственной разнеженностью, ответной — прислушиванье — вдыханье любви — почти осязание ее... Как смотрят все! Как слушают, как ждали — как радуются... Это — маленький рай?

Это было время расцвета Марининой красоты. Цветком, поднятым над плечами, ее золотоволосая голова, пушистая, с вьющимися у висков струйками легких кудрей, с густым блеском над бровями подрезанных, как у детей, волос. Ясная зелень ее глаз, затуманенная близоруким взглядом, застенчиво уклоняющимся, имеет в себе что-то колдовское. Это не та застенчивость, что мучила ее в отрочестве, когда она стеснялась своей ею не любимой наружности. Встречая восхищение всех на нее глядящих, она излечилась от мук того недуга. Она знает себе цену и во внешнем очаровании, как с детства знала ее — во внутреннем. Но ни тени самоуверенности, так лелеемой в себе красавицами «бального», дешевого самодовольства. Ее женское только скользит, только реет.

Освещенный люстрами зал Азовского банка. Литературный вечер. И вот мы стоим вдвоем. Я знаю, что Марина не терпит сходства с собой — хочет во всем единственности, я подняла волосы кверху и вплела короной надо лбом ма-

мину косу. Мы сейчас совсем разные, только глаза, носы, рты похожие. И Марина выше меня. Она, как всегда, слева, я — справа, и ее во мне повторенный голос одногласно рождается в уже заворожившийся слух старинных феодосийцев... Тут и учителя, и мировой судья, и начальник порта, и служащие Азовского банка — и несть им числа. Им, в их сердце, в их одно сердце — переглянувшись, читаем — «Уж сколько их упало в эту бездну...», «В тяжелой мантии торжественных обрядов...»

Мы прочли теперь так хорошо известные стихи, начинающиеся строками:

Моим стихам, написанным так рано,
Что и не знала я, что я поэт...

Читали мы его в первоначальной редакции, где вместо строк:

Ворвавшимся, как маленькие черти,
В святилище, где сон и фимиам... —

было:

Ворвавшимся, как маленькие черти,
В поэзии великолепный храм...

Кончались они четверостишием, позднее в печать не попавшим, но не раз читанным нами в унисон:

Моим стихам, подобно поцелуям,
Раздастся многотысячный ответ,
Но вынесу ли я хвалу им
Пятидесяти лет?

Читали еще несколько стихотворений, затем недавно написанное, в котором были следующие строки:

Да, я, пожалуй, странный человек,
Другим — на диво!

Быть, несмотря на наш двадцатый век,
Такой счастливой!
Не слушая о тайном сходстве душ,
Ни всех тому подобных басен,
Всем говорить, что у меня есть муж,
Что он прекрасен!..

Я с вызовом ношу его кольцо,
Я в вечности жена, не на бумаге...

После стихов горят щеки, голос наш стал еще гибче, еще певучей и под столькими взглядами так застенчив.

Взволнованный до предела, пробирается к нам, не сводя глаз с Марины, учитель русского языка Дембовецкий (выпускающий или уже выпустивший — изменяет память) книгу стихов «Волокна и ткани», — рукопожатиям и восхищенью нет конца. Но, узнав, что он тоже поэт, Марина соглашается читать еще, только взяв с него обещание — после ее стихов прочитать свои. Рядом с ним стоит, молча, улыбаясь, — его друг, преподаватель рисования Учительского института, замеченный мною еще с начала вечера. За плечом Дембовецкого, среднего роста, некрасивого, широколицего, черты которого освещены счастьем, невысокая фигура человека в учительском вицмундире остро останавливает внимание. У него худое лицо, почти прозрачное, тонкие черты (что-то польское?), светлые глаза. По пышным темно-русым волосам он провел рукой — это движение смущенья; взгляд, на Марину устремленный, полон печали? И он ничего не сказал. Но что-то горит в нем, как огонь в прозрачном сосуде. Возле маленьких светлых усов — улыбка, нежная и все-таки едкая. И весь он застенчив — и все-таки смел, почти дерзок в этой явной мечтательности, такой нескрываемой улыбке взгляда. Сдержанный в ироничной прелести молчания. Он переводит взгляд с Марины на меня. Наши взгляды встретились.

Огромная волна чужой человеческой прелести, знакомое жало прельщенности... Я отвожу глаза.

Стоим, кланяемся неумело, уходим, возвращаемся. Мы всегда читаем на бис. Еще не смолкли голоса восхи-

щения, растроганности, как Марина, смущенно улыбаясь, ищет взглядом Дембовецкого.

— А теперь — вы! Вы обещали... И он, встав, вдруг изменился, весь собирается с мыслями. Стоит, строгий. И он начинает читать... Он, конечно, читал несколько стихотворений (мы просили), но я запомнила одно — и Марина его тоже запомнила и любила нежно, как что-то свое. И я помню его через шестьдесят лет. И я помню голос: не тембр, не низкий или высокий, но голос души мужской, вечный голос прощанья Эроса с Психеей, сужденное на земле. Вот что прочел Дембовецкий:

...Как странно расставаться навсегда!
Держать в руке тебе родную руку
И сознавать, что без следа
Утратишь все: и эту муку,
И этот час, и свет вот этих глаз...

Как страшно просто все в последний раз!
Как тяжело, как легко постичь разлуку,
Как странно расставаться навсегда!

И было так: все остановились — в комнате, в нас всех, как там, в его строчках, просто — без продолженья, как будто кончилось — все. И это было лучше, вернее голосов похвалы, раздававшихся. Похвала была меньше, чем та записка — молчанья. Но уже голоса слились в шум.

Простой конверт. Маленький, светло-синий, почтовый. На почтовом листе, линованном, всего полторы строчки, почерк Бориса: «Дорогая Ася! Вы свободны. Б.Т.»

Я не могу вспомнить, когда это было — за много ли до 9 ноября, дня, когда я обещала Миронову и Борису написать свое решение о них двоих. Я держу в руках этот почтовый лист, на котором сказано так мало, так много, и рука немного дрожит.

Вся взметнувшаяся боль — бывшего. Облик написавшего! Сросшесть. Но, не давая шевелиться и разрастись, — крылья свободы, покрывая боль, уж поднялись за спиной ви-

днем — Сорбонны?.. Марина, Макс! Их город! Марии Башкирцевой... Мамин... Только б подрасти немножко Андрюше... А Коля? Что я ему теперь напишу? И я чувствую, что так от всего устала, так блаженно мне отдыхать, что не надо сейчас никого в мою жизнь, даже Колю. Он — впереди. А пока я хочу быть одна, ни с кем и со всеми...

Мне кажется, что мне еще раз четырнадцать лет!

9 ноября я написала Миронову, что не надо решать сейчас ничего, это слишком рано. Надо нам еще побыть врозь и понять себя. Но может быть, это мое письмо 9 ноября, через три месяца после расставанья с ними обоими, было написано до письма мне Бориса? Это я не помню теперь.

Читаем стихи в здании «Азовского банка».

Таких оваций я не запомню за всю нашу «карьеру» с Мариной! Овацая тех, о ком, после, Марина:

В любом из вас, хоть в том, что при огарке
считает золотые в узелке,
Христос слышнее говорит, чем в Марке,
Матвее, Иоанне и Луке...

Того, кто нас провожал с того вечера, звали Давид Гольденбаум. Среднего роста, черноволосый (с начинавшейся лысиной?), всегда в позе полусогнутости (поклона?) с маслинами глаз навькате, всегда восхищенными (возвратившими нас назад ко временам Саши Кабанова). Он в эту ночь и надолго стал одним из наших самых пылких феодосийских друзей. Мы — нас было несколько человек — проводили Сережу и Марину на их гору, затем распрощались, но Давид пошел проводить меня и никак не мог дорассказать мне все, что ему хотелось, и мы все стояли у моих дверей, и я слушала его повесть о любимой им девушке. Он непременно должен был познакомить ее с нами, нас с ней — о, это удивительная девушка, Чарна! Он произносит это имя с каким-то благоговением, он говорит о ней, как о Непререкаемом — и я уже слушаю всею собой об этой — еще одной — на нас с Мариной похожей, как Мария Башкирцева, как Майя, как Галя Дьяконова и Аня Калинин, и зовут эту девушку — Чарна...

Сколько потом, в огромной, длинной жизни было этих друзей, братьев по Давиду Гольденбауму, принесших с собой свой рассказ о своей девушке... Эти далекие близкие души, теперь — лишь о их существовании. Нет, о их бытии! О том, что ни один русский не нес нам эту вековую повесть. Только сыны Давидовы!

Глава 5

ВЕЧЕР У БОГАЕВСКИХ. СТИХИ МАРИНЫ И МАКСА

Высокая просторная мастерская. Огромные окна. По стенам — словно залетели дымным закатным пожаром и застыли, войдя в тонкие деревянные рамы, — клубящиеся лиловые тучи, и, светлея и тая облаками, парит над вошедшим древнее киммерийское небо — над узкими полосками внизу простелившейся, смутной земли.

По стенам, как упавшие книжные полки, ряды стоящих в скромной замкнутости этюдов — всех величин. Это заботливая рука жены художника учреждает порядок в бурном творчестве мужа, скромного, замкнутого. Дом Богаевского — Дуранте.

Итальянский размах высот и размеров, света — тени — кисти! И германская чистота и гармония земного воплощения. Две крови в хозяйке дома — итальянская и немецкая — сама улица, где стоит дом, носит название Дуранте. Рано оставшийся сиротой встретил в юности золотоволосую — тосканское золото! — Жозефину, и в глазах ее — синих — был цвет утренней Адриатики. Детей у них нет, вдвоем идет жизнь.

Но друзей у Богаевских — весь цвет Феодосии, Крыма и обеих столиц. И руками трудолюбивой хозяйки, бережливой, умелой, искусной — в скромном доме художника цветут гостеприимство и хлебосоольство — два вечно благоуханных цветка.

Сегодня у них вечер — именины? День рождения? Мы с Мариной приглашены, но я не расслышала, чей праздник, а теперь стесняюсь спросить. Но за нами придет Макс — ему по пути с гор, и мы вместе пойдем за Мариной. Уже семь,

а я еще купаю Андрюшу. Сегодня суббота, я отпустила няню и должна сама его укачать. Хорошо, что Макс опаздывает! Я мечусь от ванночки к кувшину и к резиновым куклам, сын требует их в воду всех и, даром что не знает счет, — знает, какой не хватает и заливается отчаянным плачем. Уф, все в порядке! Ублажила, помыла — от морской соли ножки уже совсем прямые, упругие, личико ярко горит румянцем, широкие серые глазки хохочут, вытерт, укутан; девушка, чуть ворча, что няня рано ушла, убирает воду и ванну, а я пою второй год знакомое «аа-а, ааа...» и похлопываю по плечу — засыпает. Да, заснет он! Поднял гневный взгляд и — не так! Няня же по-иному напевает... он, «уча» меня, сердится: «ааа, ааа». И я, давя смех, угождаю... Спит. Стук — Макс!

Я сбежала по лесенке моего белого парадного хода, крича: «Максик, я сейчас»... Но вместо котообразной — медвежеобразной? ласковости перед распахнутой мною дверью на фоне желтого неба за Военным собранием стоял молодой Вергилий.

— Людвиг!..

— Здравствуйте, Ася. Я зашел напомнить — сегодня вечер у Богаевских. Вы могли позабыть. Я встретил на Итальянской Сережу, они с Мариной придут.

— И я тоже. И Макс! Спасибо, Людвиг! Макс должен сейчас прийти.

— Он в городе? Ах, нет? Через горы? Обещал? Наверное, скоро придет! Так я пошел, Ася?

Голубые длинные глаза Людвига лиловатые, чуть сгорбленный нос и чистый юношеский рот. Удивительное у него лицо. Он похож на те мраморные и чугунные бюсты Данте, которые выставлены в Москве в окнах Дациаро и Аванцо. Наверное, Данте похож на Вергилия. «И когда они вдвоём шли по Аду и по Чистилищу, они были как два брата — один как тень другого...» — проносится у меня в голове.

Входим к Богаевским. Уличка Дуранте темна. В двери в соседний дом — висячий фонарь, как близ Пушкина на Страстной площади. Как у венецианских подъездов... Макс еще на пороге: «Не опоздать нельзя было: когда за Асей заходишь, она говорит: «Макс, погоди, я только выкупаю Андрюшу...» А когда за Мариной зайдешь, она говорит: «Макс,

минуточку, я только вымою голову — и пойдем...» Наши протесты. Но Маринина голова озарена столь пышными волосами, что мне ясна ее спешка — их надо просушить. Наша страсть к пышноволосости не проходит, а растет вместе с нами. Знаю: ей сейчас легче пройти по освещенным комнатам торжественно-чистого дома (в наших — счастливых? печальных? немножечко бредовых домах никогда нет такой чистоты, парящей и бдящей, как в комнатах Ирины Евгеньевны и Жозефины Густавовны!). Когда идешь с плохо лежащими волосами — ты точно голый и ничем не защищен от людей. А когда волосы легким шатром рассыпаны вокруг головы и их дуновение — у щек, ты в них как в шапке-невидимке, они отводят глаз от твоего смущенья и неуменья идти, здороваться, кланяться, этой дурацкой муки, непроходящей с самого детства. И еще, может быть, оттого, что волосы эти наверняка красивы, и пока ими любуются, то не видят тебя — ни глаз, ни рта, которые смущаются и тоскуют. Даже просто идти легче, когда у тебя пышные волосы! Они точно несут тебя! Это девятнадцатый век утопал в пролетевшем по земле (пролетел!) романтизме, женщины носили у лица мощь кудрей, блеск падавших от висков локонов, вольных как ветер, золотистый, каштановый ветер... Как хороша Марина! В темном лиловом платье и аметистовом ожерелье, в ее прическе пажа. От черты волос над бровями еще зеленее глаза.

И над нею, над всеми нами — тучи, облака, кроны деревьев Богаевского и если даже скалы, кажется мне, то и они как будто отражены в каких-то небесных озерах. И почему-то помнится Римская кампания, та, что по пути к катакомбам, та, что словно волшебной кистью рассказана в отрывке романа «Рим» Гоголя, резцом запечатлена — в памяти.

Но нас зовут из мастерской — к столу. Это всегда мучительный Марине и мне миг. Во-первых, потому что совсем не хочется есть — разве может хотеться, когда ты в чужом месте, «в гостях», где столько всего и ничего толком не видно по близорукости, и это только в детстве тебе все давали мамыны, тетины, гувернанткины руки, в утраченном волшебстве слова «дома». В гостях ешь всегда то, что поближе, что под рукой, никогда не взглянешь в сторону, и это какой-то

закон, что рядом — всегда нелюбимое, и только потом узнаешь из случайного упоминания, что было что-то редкое и чудесное, что ты или по-детски любишь и никогда не ешь, или — что тебя именно им-то и угощали (сосед по столу, хозяева), а ты упорно отказывался, потому что стеснялся. И затем — столько людей, голосов, чужого (не твоего!) смеха, и, может быть, ты им смешной кажешься и они только от любезности тебя терпят — да и вообще! Только оттого тут хорошо, что они все добрые, и что тут Макс, и что хозяин сам такой же застенчивый...

Богаевский ходит меж гостей, невысокий, тонкий, в сером костюме; легкая седина тронула его волосы и пышные усы, длиннее, чем носят. Узкое лицо со впадинами у щек, длинный, неправильный нос и большие карие печальные глаза под тяжелыми веками, под густыми бровями. Он весь — скромность и благожелательность. Говорит очень мало и всегда остроумное, неожиданное. И его шутки очищены от тех привычных ироний и сарказма, какими блещет век.

Жозефина Густавовна, как бывает в Богом данных союзах, — противоположность мужу: стройный стан, правильные черты, синева сияющих глаз и — тосканская? Или глубина германских лесов — сказочная золотоволосость.

Молодость — позади. Но идет тихая победоносная зрелость. Еще далеко до заката, и жизнь — как полная чаша, поднесенная к благодарным устам.

Вот другая пара: певица Ариадна Николаевна и ее муж — художник, грек, один из потомков Ивана Константиновича Айвазовского. Жители одного из тех ближних имений, где в крымской степи клубятся по горизонту миражи меж маленьких татарских деревень.

И еще чета: Николай Михайлович Лампси и его супруга — Лидия Антоновна, урожденная Соломос. Лида Соломос! Та самая красавица из бедной греческой семьи, которою увлекалось в ее школьные годы столько гимназистов и приезжих столичных студентов, не мечтая даже о том, чтобы с ней познакомиться — так сдержанно и гордо она держала себя под строжайшей опекой пожилой матери. Теперь — одна из богатейших женщин города, хозяйка легендарной

красоты имения «Шейх-Мамай», где обычно живет. Но зимой вместе с мужем и детьми — в самой Феодосии. В правом крыле замкообразного дома Ивана Константиновича, что выходит фасадом на набережную, в ряд шумящих ветрами пирамидальных тополей. Их от низкой каменной стенки отделяет тротуар, а за стенкой — ряды рельс подаренной Айвазовским Феодосии железной дороги. За железным полотном — море, видевшее и генуэзцев, долго на крымской земле гостивших. А за морем — еще дальше — Турция с ее Стамбулом — Константинополем, куда — через так мало лет! отчалят под взрывы пороховых погребов корабли черноморского флота, увозя казаков, кубанский табак, часть русской армии, уходящей от Красной армии, ее настигающей. И будут среди покидающих, в страхе, родину — потомки Ивана Константиновича Айвазовского, среди них — Лида, — с мужем, с тремя детьми. Но никто не знает будущего!

Каштановые, чуть рыжеватые, «тициановские», как говорит Макс, волосы Лидии Антоновны причесаны просто — косой пробор, заложенные косы; взгляд ее близоруких чудесных карих глаз и улыбка доброго рта. Она прелестно одета, ее движенья медленны, в них природная грация, обаяние окутывает ее наподобие облака, и мы с Мариной влюбляемся в ее образ с первого взгляда. Это сама женственность, неотразимая, берущая в плен все мужественное и мальчишеское, что в нас есть. Она обращает на нас внимание, просит сесть к ней поближе. Ее муж — высокий худой человек, некрасивый. С юных лет знают Макса, дружны еще в юношестве, и их встречи, хоть и в доме известного художника, имеют характер непринужденности, присущей скорее студенчеству. Их связывает целая россыпь воспоминаний, столь дорогих сердцу в зрелые годы. Вот и еще гости, нам незнакомые. Посреди них еще одни глаза ласково приветствуют нас, еще одно лицо нам радостно улыбается, — мы уже были раз у нее с Максом: Александра Михайловна Петрова, соседка Богаевских по улице Дуранте, подруга Максowych гимназических лет.

Темные ее волосы серебрятся, карие глаза веселы, но в них, как и в интонациях ее низкого голоса, — привычная

нотка насмешливости и какой-то упрямой строгости — щепоткой соли в ее теплую русскую доброту. Она сейчас разговаривает с Сережей.

У рояля палисандрового дерева жена Латри Ариадна Николаевна. Она поет старинный романс. Мы много раз говорили одни стихи Марины, тогда написанные: «Восклицательный знак». Они не сохранились. Только в моей памяти. Увы, время стольких десятилетий унесло две строки. Мне пошел восьмидесятый год, и нет надежд вспомнить. Но если я не запишу их, то и остальные строки погибнут.

Сам не ведая как,
Ты слетел без раздумья,
Знак любви и безумья,
Восклицательный знак!
Застающий врасплох
Тайну каждого...
.....
Заключительный вздох!
В небо кинутый флаг —
Вызов смелого жеста.
Знак вражды и протеста,
Восклицательный знак!

Я запомнила убранство стола, изысканное и простое, мне чудится флорентийский фаянс, мне видятся темные тяжелые, изумительной расцветки и узора цветочные вазы, блещет в память хрусталь дружественных бокалов. Шутки парят над трапезой, брошенные в теплую ладонь Макса, как венецианские голуби... Макс парировал с тою мгновенной готовностью, которою сверкала речь Оскара Уайльда или пьесы Бернарда Шоу. Здесь парадоксы в ходу, ими полна беседа, и их узор так же трудно восстановить, как повторить сочетание запахов или рассказать сон. Им предшествовала целая жизнь встреч, событий, целая сеть прежде сказанного, и мы наслаждаемся этой беседой, потому что только в ней и дышится, ее узнаешь по дрожанью век, по улыбке вместо слов, по молчанью вместо улыбки, потому что только такое и любишь на всем земном шаре, в таком и родился, только оно

и понятно, все же остальное — удел справочника, спор течений с различных кафедр, именам которых и вопросам о них и ответам — место в энциклопедическом словаре. И еще я — почему? — запомнила, как цвет вина и свет канделябра, — руку гостеприимной хозяйки, угощавшей нас германскими, итальянскими, греческими и русскими блюдами — например: перламутровые овалы пополам разрезанных яичек крутых, с кругом желтка, растертого с горчицей и уксусом, сахаром, солью, вмазанного обратно в две половинки белка.

Мы читаем любимые слушателями стихи Марины, которые также тогда не были напечатаны:

В огромном липовом саду —
Невинном и старинном —
Я с мандолиною иду,
В наряде очень длинном...

Голоса одобрения. Я помню стоящего Макса, его взброшенную на уровень груди, полукругом обнявшую воздух ладонь и голос, гулкий и медленный, сладостно перечисляющий в упоенье овладевания, осознания, сравнения — «фанфары Тьеполо и флейты Джорджионе». Получасом спустя, после повторения нами просимых «Кастаньет», он еще читал свои стихи... Тихое, драматическое расставание с тою, которую он любил и отдал:

Здесь все теперь — воспоминанье,
Здесь все мы видели вдвоем,
Здесь наши мысли, как журчанье
Двух струй, бегущих в водоем...

Как хорош Сережа! Дал же Бог такого Марине! А Марина так же хороша, как он! Голова римского отрока? Не отвести глаз! Он о ней написал рассказ «Волшебница»...

— Левушка! Пора? Поздно — идем — Аля там, верно, без нас плачет, проснулась...

Мы выходим толпой. Темная осенняя ночь. Ветер с моря рвет дерево и качает венецианский висячий фонарь. Пер-

вой прощается Александра Михайловна, затем — Людвиг. Она живет в одном из соседних домов, он — где-то между Цыганской слободой и Карантином, у его матери, простой бедной женщины — домик. Еще раньше уехали (у них свой автомобиль) чета Лампси. Остальные идут вместе по Итальянской. Мы с Максом доводим Сережу с Мариной до их горки, Макс идет проводить меня.

— Макс, — говорю я, — Людвиг Квятковский все-таки очень удивительный человек! Как художник он *очень* талантлив?

— Очень. У него есть то, что...

— Я понимаю. Верю. Но он сам ни на кого не похож. То есть он похож на Вергилия и на Данте, но я не о том... Ты заметил, какой у него смех? Совершенно внезапный, посреди серьезного лица — и такой безудержный, точно он сам с ним катится и уже ничего нельзя удержать! Но это все пустяки. Я его спросила, верно, что он жил за границей и оттуда приехал из-за какой-то странной истории?

— Ты называешь странной — любовную историю? Твое *определение* — странное. Если молодой человек в шестнадцать лет увлекается молодой немкой, живя в Германии, — это совсем не странно. Было бы гораздо более странно, если бы он ею не увлекся! Это очень скучно, когда молодые люди увлекаются молодыми немками... — У Макса даже немного обиженный вид.

— Макс, ты — душенька!

— Да совсем нет, Ася! Скорее *наоборот* даже, — не совсем уверенно говорит Макс.

Мы заворачиваем за угол, и дувший в спину норд-ост волшебно стихает... Мы стоим у моего парадного. И вдруг ужасная усталость падает на меня. От всего. От людей, от себя, от шуток и от серьезности жизни, оттого, что целый день все отвлекаешься, отвлекаешься от одного в другое и в следующее — и ничего не собрать воедино. Знакомый озноб тоски летит по мне холодным трепетом. Сейчас Макс уйдет, оживление вечера кончится, и я опять одна со всеми вопросами, на которые нет ответа!

— Макс, человек сходит с ума от того, что он утерял какую-то точку своего сопротивления миру и мир его задавил? Мы когда-то с Борисом чертили схему о гениальности и сумасшествии.

— А ты уверена, что есть грань между сумасшествием и несумасшествием? — говорит Макс. — Так называемые нормальные люди — ведь это только...

— Макс, я же не шучу, а ты всегда...

— Я совсем *серьезно* говорю, Ася, — удивляется Макс, и в его удивлении что-то праздничное, парадное, — нет нормальных людей. Каждый человек ненормален. И каждый по-своему! Это и составляет прелесть жизни! — Максово большое, ненормально-большое лицо еще ширится от залившей его упоенной улыбки. — Неужели бы ты, Ася, хотела, чтобы все люди обо всем думали — одинаково?

— Ну, Макс, ты — опять?!

— Но послушай, Ася: ведь только *отклонения* от нормы делают какое-то нужное дело в мире. Если бы Врубель, если бы Жерар де Нерваль...

— Ну, ты и еще нацедишь десятки имен, и ты меня сейчас не понимаешь! Ты говоришь, где-то *сбоку*...

— Это потому, что ты принимаешь за главное — тень явлений, а не сами явления, и у тебя сдвигаются представления...

— Какие явления? *Какая* тень главного? Ты говоришь так туманно...

— Нет, я говорю очень ясно, — с редкостной готовностью говорит Макс, и он опять улыбается, и улыбается его борода, и нос, и глаза, близко в меня смотрящие — почти как в тот первый вечер в Трехпрудном, в зале у печки, когда Марина села за рояль и сказала ему, что мама мечтала, что она будет музыкантом, — и оттого, может быть, что все это такое большое, как какой-то Лесной царь, мне вдруг кажется, что это сама Природа, о которой я так ничего не понимаю и не принимаю, мне смотрит в глаза.

— Макс, а человек может — так, вдруг — сойти с ума? (В моем голосе — ужас.)

— Может! — удовлетворенно и ласково, почти уютно отзывается Макс. — Если он до того еще не смог сойти, — и это самое прекрасное, что может произойти с человеком! Только для этого человек и живет, Ася. Это и есть *те* главные вещи, от которых ты видишь тень...

— *Какие* вещи? *Какие* главные? — уже рассерженно повторяю я.

— Искусство... философия... религия, — говорит Макс острожно, почти нежно, почти торжественно, но он ошибся, наверное, что мне нужны эти его слова. Мне кажется, — он стоит от меня — очень далеко, точно шагнул назад. — И познавшие себя — в их свете... — говорит Макс — самое свое сокровенное?

Но я окончательно пробудилась в свое — тоже почти торжественное одиночество, и я говорю печально:

— Не понимаю, Макс... Мне это пустые слова...

— Это я и сказал тебе, — отвечает мне Макс убежденно-радостно, — а вот когда ты *проснешься* в них — тогда все вокруг так наполнится...

— Макс, поздно, иди, Александра Михайловна ждет — я все равно тебя не понимаю, но я очень тебя люблю...

Трепет пирамидальных тополей, стройных, как свечи.

— Ася, — говорит Макс, — я зайду за тобой завтра, хочешь? Пойдем к морю и в степь... Поговорим... — Мягкая добрая рука Макса тепло сжала мою.

Я вхожу к себе по моей чистой пустой лесенке, отворяю дверь. Лучи (луны?) фонарей? перерезали комнату — большую, высокую, большеоконную. Нет занавесок, и весь этот куб ночной тишины напоен светом. В детской, куда прикрыта дверь, тихо. Стою.

Если б не то, что Андрюша может проснуться, и я не уверена, что няня встанет его укачать сразу, спит крепко — мы бы ходили и ходили с Максом по улицам и говорили бы... Не о том, конечно, о чем только что, оно мне так бесполезно! Религия для меня — прошлое, думаю я, в детстве пылкое католичество и туманная вера отрочества. Макс не хочет понять, что мой пафос — в обратном, я хочу изучить всю философию с начала мира и найти ту струю отрицания, безнадежности, которая во мне, — найти ее в них, прежде живших... ощутить, что я не одна в этом, что были так же чувствовавшие, как я... Неужто я уже начала... нет, просто идти с Максом и слушать его рассказ о себе, то тихий и скорбный (таким ведь Макса никто не знает, все его привыкли видеть в блеске его парадоксов, веселым и жизнерадостным!), и потом он бы мне говорил о Париже, каким он его видит, и о всех странах, где был... совсем не хочется спать! Но я лягу. Только чуть запишу.

Алина няня отказалась готовить, с хозяйской готовкой у Марины что-то разошлось, и она просит меня, пока они как-нибудь с едой устроятся, — чтобы моя вторая девушка поготовила и на них. Отлично: Марина и Сережа будут каждый день приходить обедать, а я по Молоховцу буду делать что-нибудь особенно вкусное. Спать!..

Но в тот миг, когда голова коснулась подушки, — вдруг запах канатов, сетей — Таруса! И откуда-то, из самой тьмы детства — «Дети, овсяный кисель на столе»... — так непонятная нам тогда патетическая строка Жуковского... Но я уже сплю.

Максовы холмы, пологие, полоса заката и первые звезды. И тот самый сумрак, светло сгущающийся, который синезелено светлеет на Максовых акварелях в его Киммерии. О котором Байрон: «that clear obscurity» (светлая мгла).

Мы бродили, бродили, шли, шли и сейчас уже держим обратный путь.

— А сколько было лет Маргарите Васильевне, когда вы поженились?

Макс отвечает. Его голос тих. Он совсем другой, чем он был там, на море. Он так много мне рассказал о себе. Я взволнована этим новым видением его, таким неожиданным — в нем, из которого фонтаном летят парадоксы, в неутомимом сияющем мистификаторе сквозит, как звезда в зеленом сумраке, душа князя Мышкина, «Идиота». И сам шаг, которым я рядом ступаю, будто светлый от этого *рядом*, ноги идут по какому-то празднику — не по земле! Что-то священное сейчас над нами.

— А когда мы поселились вместе, ее родные подняли целую бурю: «За кого вышла — богема, разврат... из такой семьи, издателей Сабашниковых, ушла к этому ужасному человеку».

Макс точно передохнул, помолчал минуту и каким-то отсутствующим голосом:

— А ведь мы никогда не были мужем и женой с Марго...

— Где же теперь она? — говорю я. — Почему?

— Она полюбила другого. И я отдал ее тому человеку...

Идем молча. Это — цикады уже застрекотали?

И низко над холмом дрожащий серп Венеры,
Как пламя воздухом колеблемой свечи.

Глава 6
В ВОЕННОМ СОБРАНИИ. «УЕДИНЕННОЕ».
У А.М.ПЕТРОВОЙ. В ГОСТЯХ У ЛАМПСИ

Наступила зима. Падал и таял снег, дул норд-ост, по небу шли мартовские московские облака — и это все была Ялта, 1905 год, мои одиннадцать, Маринины тринадцать лет... Нам это было так явно — и так оглушительно грустно, так непонятно, что нам девятнадцать и двадцать один, что канули в вечность мама и папа, канули, как сон. И у нас — дети, и им через несколько лет будет, как нам тогда, на Дарсановской горке... Когда Марина — одна иногда — входила ко мне, встревоженная, отсутствующая, прислушивающаяся, и у нее были жалобные и пустые глаза — я знала, что она, как и я, не может смириться, что все прошло, проходит, не может принять — как бы она ни была счастлива — день как явь... В такой именно час родились те строки:

Уже над городом угас
Навеки этот день весенний,
И всюду удлиняет тени
Прелестный, предвечерний час.

Захлебываясь от тоски,
Иду одна без всякой мысли,
И опустились и повисли
Две тоненьких моих руки...

И мы, как в раннем детстве уже, по-прежнему, в один голос: «Помнишь?»

Подходил час обеда, они приходили вдвоем, поднимались иногда по ошибке по наружной лестнице черного хода, проходя ко мне через кухню, столовую и Андрюшину, любовались убранством моей комнаты, где почти ничего не было из мебели, но был какой-то свой стиль из половины (верхней) на пол поставленного шкафа, старинного, стола, покрытого ковром из сшитых коктебельских чадровых вышивок, золотых и одной серебряной. На стене — два этюдика Макса, несколько фотографий в багетных рамках, полукруглых, еще

из Трехпрудного, сломанного старинного стола, купленного мне на толкучке Колей Беляевым, и «фантастического комода» — трех друг на друга поставленных корзин, на которых висел кусок темно-красного с золотом шелка, оставшегося от платья, купленного под аркой в лавочке для паломников-мусульман, ехавших в Мексику...

От присутствия Сережи пропадала тоска, вспыхивал хрусталь смеха, на час и на два таяло одиночество, и, когда на стол подавалось ризотто по-итальянски или наш недавно ставший любимым (из Молоховца) суп с макаронами и сыром или с рисом, томатом, сметаной, а на третье — синий изюм и сухая фруктовая колбаса — делалось так легко жить, как будто ты где-то в Италии на берегу моря и ничего нет на свете, кроме искорок мандолины и *dolce far niente**.

Иногда они приносили Алю, и мы, держа детей на коленях, сравнивали их, таких разных: Алю — такую тяжелую, эффектную, медвежеобразную, уже густоволосую, и легкого подвижного Андрюшу, грациозного и беспокойного, со светлым пушком волос и тоненьким голоском. В Алином личике было уже сознание своей исключительности — ею все любовались, и ее речь была почти уже не детская, со звонким «р» (у Андрюши — длинные, захлебывающиеся тирады). Им было уже год с четвертью со старшинством Андрюши на три с половиной недели.

Затем они уходили, мой дом стихал, как подрезанный колос, и в наступавшей тишине рождалось только одно желание, одна страсть: дневник. Мой друг с двенадцати лет, книжка за книжкой. В нем в свою очередь рождались будущие «Королевские размышления», «Дым», лишь две всего в печать попавшие злополучные книжки.

Рождество? Не помню его. Конечно, делали детям елки, ходили в гости друг к другу. Елей не было (туи). И собирались ехать на Новый год к Максусу. Об этом пишет Марина.

Феодосия, 26 декабря 1913 г. Четверг.

Военное собрание. Зал, свет люстр. На высоких окнах спущенные белые — тремя полукругами — занавески, в сборках,

* Сладость ничегонеделанья (*итал.*).

как были в Трехпрудном в зале, только они не спускались, а висели наверху окон, и почему-то в детстве казалось, что они похожи на короны... Музыка. Военный оркестр, золото труб, как в круглой раковине-будке на Патриарших прудах в те волшебные (куда канувшие?) вечера с Б.Т. ...И сладчайшие, до самых недр потрясающие душу звуки старинного вальса. Военная музыка! То, что уводит тебя сразу из твоего дня — вперед, вдаль, в никуда, в жар и тоску изначальные, и в такую страшную нежность ко всему, что прошло, от которой некуда деться!.. И неизвестно, как жить...

Это концертное отделение. После антракта будет наше отделение, мы будем читать стихи. После того вечера в Азовском банке среди восторженных Давидов Гольденбаумов нас приглашают всюду. Много ушло. Из памяти — вечер в фео-досийском Собрании жив. Сколько лиц молодых и сколько из них — прелестных! Начало 1914 года.

И принимает, лепеча
В прохладные объятия —
Живые розы у плеча
И розаны на платье,

Уста, еще алее роз,
И цвета листьев — очи...
И золото моих волос
В воде еще золоче!

О день без страсти и без дум,
Старинный и весенний!
Девического платья шум
О ветхие ступени...

Это записано через два дня после Нового года 2 января 1914 года. После стольких стихов горят щеки, голос наш стал еще гибче, еще певучей и под стальными взглядами так застенчиво — ведь они же не знают нас, в первый раз видят! А внешнее — оно так приблизительно, так условно, все в нас может так легко быть понято совершенно неверно, наш

«успех». Совсем иной, чем по-настоящему должно было быть, и от этого по рукам и где-то внутри — озноб.

И отчего это тут, сомнение и тоска, которых так совсем не было там, в Азовском банке — там и мы были в одном восторге — это был восторг от стихов. Он — там — не был обидным. Без оттенка мужского — к женскому. Тут эти блистательные русские офицеры... Почему от их множества эти тоска и озноб?

Миг тишины — и словно все люстры рухнули разом, об пол! Рукоплескания... стоим, кланяемся. Кланяемся, уходим. Возвращаемся снова. Мы всегда читаем на бис.

Мы уходили счастливые: уж не женщин юных они проводжали, юноши в военных мундирах. Эти стихи Марины сделали из них — братьев. (Как там, в Азовском.) Но те были братья, а эти — мы их превратили в братьев!

Ледоходом весенним шел сломанный светский лед... Был февраль 1914 года.

А через еще шесть месяцев, в августе 1914-го...

Два дня я сижу, не отрываясь от книги, дочтя ее и перечитывая, как какой-то неведомый друг сидел бы, раскрыв мой дневник, читал сокровенные строки одиночества и печали, разговор мой с собой. Так — пять! четыре года! назад я не отрывалась от дневника Марии Башкирцевой. Нет, не так. В этом девическом дневнике, близком к моим грусти и отчаянию, было много и чуждого — тщеславия, избалованности и чрезмерного уже любования своей наружностью. — Да, у зеркала стоянье и я знала, как и Марина, но наше разглядывание своего отражения в нем сопровождалось горечью недовольства: Марина горевала о крепком, непоэтическом, неромантическом теле, о румянце, о недостаточно длинной шее — ей хотелось быть совершенно другой. И чтобы вились волосы... Я — у меня они вились. Но я была невысокого роста и с шестнадцати лет — не росла; это давало нашим стояньям у зеркала привкус печали, той, что по Марии Башкирцевой — «Всё, что не грустно — глупо...»; по моему пятнадцатилетнему дневнику — «Все течет к грусти, как по наклону сбегает капля воды»; по Борису Леонидовичу Пастернаку, годы спустя встреченному Мариной, потом мною* —

* Мариной в годы 1918–22, мной — в 23-м году.

О приди! Покусись потушить
Этот приступ печали, гремящий сегодня,
Как ртуть в пустоте Торичелли...

В этой торичеллиевой пустоте с гремящей ртутью печали мы прожили все свое отрочество (а детство? Не так ли?).

Книга Розанова «Уединенное» была безраздельно-родная. Ее писал старик, у которого было все позади, и от его упоминаний о семье, в которой он был кормилец, которая в нем отзывалась утомленьем и долгом, многолетней привычкой и благодарностью сроченности — в моем юном, хоть горьком, девятнадцатилетнем сердце пробуждался еще больший трепет — навстречу ему.

С первых же строк (по несколько на страницу) этого стариковского дневника сердце сжималось в ком, и по жилам потекла тоска такой жгучести, что становилось трудно дышать.

Из книги «Уединенное».

«...Как ни сядешь, чтобы написать то-то: сядешь и напишешь *совсем другое*. Между “я хочу сесть” и “я сел” — прошла одна минута. Откуда же эти *совсем другие* мысли, на новую тему, чем с какими я ходил по комнате, и даже садился, чтобы *именно* написать...

Секрет писательства заключается в вечной невольной музыке в душе. Если ее нет, человек может только «сделать из себя писателя». Но он не писатель...

Что-то течет в душе. Вечно. Постоянно. Что? Почему? Кто знает? — меньше всего автор...

(за нумизматикой)

Боль жизни гораздо могущественней интереса к жизни. Вот отчего религия всегда будет одолевать философию.

— Но это же слабость! Ошибка! — говорю я себе.

Два ангела сидят у меня на плечах: ангел смеха и ангел слез. И их вечные пререкания — моя жизнь.

(На Троицком мосту)

Мне и одному хорошо, и со всеми. Я и не одиночка и не общественник. Но когда я один — я полный, а когда со всеми — не полный. Одному мне все-таки лучше».

— Удивительно, — думала я, — как близко.

«Я решительно не могу остановиться, удержаться, чтобы не говорить (писать); и все мешающее отбрасываю нетерпеливо (дела житейские) или выраниваю из руки (книги). Эти говоры (шепоты) и есть моя “литература”. Отсюда сколько ошибок: дойти до книги и раскрыть ее и справиться — для меня труднее, чем написать целую статью. “Писать” — наслаждение: но “справиться” — отвращение. Там “крылья несут”, а тут должен работать; но я вечный Обломов.

И я утешался в этом признанном положении, на которое все дали свое согласие: что ведь вообще “мир есть мое представление”. По этому тезису я вовсе и не обязан “справляться” и писать верно историю или географию: а писать “как мне представляется”. Не будь Шопенгауэра, мне, может быть, было бы стыдно; а как есть Шопенгауэр, то мне “слава Богу”. То Шопенгауэра (пер. Страхова) и прочел тоже только первую половину первой страницы, заплатив три рубля, но на ней-то первую строкою и стоит это... “Мир есть мое представление”.

Вот это хорошо, подумал я по-обломовски. Представим, что дальше читать очень трудно и вообще для меня, собственно, не нужно».

— Душенька! — говорю я.

«Могила... знаете ли вы, что мысль ее победит целую цивилизацию... То есть вот равнина... поле... ничего нет, никого нет... и этот горбик земли, под которым зарыт человек. И эти два слова... “зарыт человек”, “человек умер” своим потрясающим смыслом, своим великим смыслом, стонущим... преодолевают всю планету и важнее “Иловайского с Аттилами”. Сесть на горбике и выть на нем униженно, собакой...»

— Сегодня же снесу читать — Марине!

Я бросилась к Марине. Марина отобрала у меня книгу, села за нее — и от нее встала в знакомом мне в ней книжном

бреду. Ее глаза были пусты и жалобны. Она отсутствовала. Она была там, в книге, с неведомым и от века родным человеком. Но на этот раз право первенства было явно мое: за стеной такого же волнения, которую по честности нельзя было брать. И я ей тянула мое письмо к Розанову — его зовут Василий Васильевич, и он живет в Петербурге. Сегодня Макс придет из Коктебеля, и я ему расскажу, — он, наверное, знает о нем, может быть, даже *его* знает?..

«Дорогой Василий Васильевич! Только что кончила ваше “Уединенное”. Вам 59 лет, а мне 19, но никакой разницы, потому что Вы пишете о том, что вне возраста, — о жизни и смерти и об одиночестве, и Ваша книга — самая родная, более родных мне — нет»... Так начиналось, примерно, мое письмо.

— Ты *нафочно* подписываешься не «Цветаева»? — спросила Марина, прочтя мое «А. Трухачева».

— Конечно. Мне не надо вовсе, чтоб он мне ответил как дочери папы. Папу он не может не знать. Посмотрим, отзовется ли на фамилию *неизвестную*...

— Молодец! Я бы так же сделала...

Спрошенный нами Сережа сказал, что В.Розанов — насколько он знает, сотрудничает в «Новом времени» и что его не жалуют за ум и своеобразие, за едкость суждений — ни в правых, ни в левых кругах — стоит особняком, ни с кем ему не по пути, критикует все и вся.

В тот же день пришел Макс. Он выслушал мое волнение и сказал, улыбаясь:

— Мне жаль тебя огорчить, Ася, но я думаю, что он тебе не ответит: Розанов — стар, перегружен литературным трудом, большая семья — сама же читала... «Папа, учебники...», «Папа, башмачки...» — и вряд ли у него станет сил отозваться... Не фыркай, Ася, сдержи свой нрав фокстерьера и на меня не бросайся...

— *Отвечит!* — сказала я...

Прошла неделя. Начала ли я уже поникать, когда почтальон передал мне два письма со штемпелем «Петербург».

Мелкий, без строк — еще беспорядочней, чем почерк Эллиса, — полупрямые, полукосые буквы, разорванные слова...

Первое, с простой маркой, было коротко. Второе — заказное, длинное — было послано вдогонку первому. Человек задыхался. «Настя, — писал он, сделав мне чужое уменьшительное из “Анастасии Ивановны Трухачевой”, — кто ты? Что ты пережила? Откуда такой *глубокий* тон в 19 лет?..» И взволнованные текли с его пера повелительно в слова — чернила, рождая каракули откровенья и дружбы, удивленья и интереса, беспорядочного рассказа о себе и вспышки вопросов — и мое безмерное, без названья, счастье в ответ. Я читала на ходу, вверх по короткой лесенке парадного хода, застыв на какой-то ступеньке, все позабыв, застряв на понятной, наспех прочтенной фразе, я читала, войдя к себе, держа на коленях Андрюшу, мне переданного няней, читала, когда он заснул, читала и перечитывала, перемежая своим ответным, перечитывала оба и вновь писала — и с трофеем поднималась по горе на дачу Редлих — к Марине.

— Марина! Письмо от Розанова! Два! Сразу! Вот Макс удивится! Помнишь, он говорил, что переписка если и будет, то что-нибудь вроде Мопассана и Марии Башкирцевой — недоразумения... Читай!

Марина прочла. Ее лицо пылало — за меня.

— *Теперь ты напишешь* ему «Цветаева»? — И уже не мне, а ему: — *Молодец!*

...Ночь. Сажу за дневником, отослав мой ответ Розанову, и я счастлива, как только может человек на земле быть счастлив. Другого счастья — не надо! Не хочу любви! Спокойности с одним, терема. Ни с кем! Со всеми! Вдохновенные дружбы, переключка тоски, мысль... Свобода! И писать и писать — дневник... Коля Миронов! Мы когда-нибудь будем вместе — я вас помню, но не теперь, нет...

Знакомый черный, потертый клеенчатый диван, полки со старым фарфором и вышитые картины в старых багетных рамах, ползущая зелень с подвешенных у окон горшочков и низкий звон гитары в пухлых руках Петра Николаевича — старинный романс, под ядовитый смешок Коли Беляева, чуть возмужавшего за два с половиной года знакомства, — как это все дорого и как невозвратно. Иное во всем своем постоянстве, раз я — другая, раз нет с нами Бо-

риса, раз канул в лету 1911 год... И как смешно, как ужасно, что я им кажусь все тою же — шестнадцать, девятнадцать лет — что знают люди о безднах, через меня прошедших, о неутолимой моей горечи? Так же молодо мое лицо, так же нежен румянец, так же вьются волосы, и так же остра привычная речь. Так же я глажу кота, тюленем легшего на колени, — но как страшно мне жить на свете! И еще страшной — умереть...

Пухлые пальцы перебирают струны, бритая голова в феске наклонилась, трогателен кончик круглого носа и черный ус, скоро он станет серебриться. Петр Николаевич стареет — и как может Коля так грубо над ним смеяться? Как чудовищно груба молодость... Как сказать ему о той хрупкой старушке, просившей меня ее перевести через Тверскую — трепет мой вести эту полуслепую, еще изящную, в старом пальтеце и драгоценной наколке — трепет моих ужаснувшихся жизни шестнадцати лет... Но, должно быть, и Марину с Сережей возмутил Колин тон. Сережа поддел его шуткой, и тот ежится под ней, а у Марины (откинулась на спинку дивана) лицо тонко разгневанное, — ах бы сейчас ее написал Николай Иванович Хрустачев...

Марина меряет Але две шубки — ярко-голубую и золотистую (мятый плюш) и два капора — в синем у Али глаза как провалины в утреннее небо; в золотом — как бледная бирюза. Обе шубки ей шьет портниха, Марина влюблена в свою дочь, и та отвечает ей тоже влюбленностью. Еще к году она гладила мать по голове — «ми, ми» (милая), смеясь своим гортанным особенным голоском (в Маринином определении «горленка»). Теперь она уже много говорит, весной Але полтора года. Она очень развита, четко говорит «р» (Маррина, Серрежа), знает много слов, обтачивая их волевым, звонким произношением. У нее гортанный голос.

— Ну, как Розанов — получил твое письмо? Еще нет ответа? Аля, стой прямо, я же меряю! Так не длинно? Она очень растет... Левушка, кончайте занятия и идем к Асе обедать... — И мы выходим в талый снег садика, в крымский февральский день.

Уют старых, как мир, вещей, вжившихся каждая в свой угол, сросшихся с полом, плечом прижавшихся друг к другу. Доброе колдовство зеркала, глотнувшего опрокинутый кусок комнаты, отрезавшего себе половину солнечного луча меж пузатым комодом, трельяжем и висячими часами с кукушкой, давно уже переставшей куковать.

Старенькое бюро-секретер с починенной крышкой и таким изогнутым стулом, точно он лебедем залюбовался на лебединое отраженье. Картины, картины, этюды, этюды и рамы с фотографиями прошлого века, первыми после дагерротипов. И, конечно, кресло, носящее имя Вольтера, скамеечка под ноги, и книги, книги, отборные и любимые, прожившие со своей хозяйкой целый человеческий век.

Комната Александры Михайловны Петровой встречает нас как давно не виденный друг. Мы входим в нее, как в летний день в пруд — с чувством отдохновения и блаженства, в эту гармонию света и тени, уюта и доброжелательства, в архитектуру солнечных лучей, падающих и во тьму старинных полотен, и в краски недавних киммерийских этюдов. Внимательный взгляд сероглазой хозяйки, крепкое рукопожатие.

Макс и Александра Михайловна — друзья, как уже сказано, с юношеских лет. Патриоты древних корней Феодосии, они встречались в ней год за годом, превращаясь незаметно и медленно во все более зрелых людей с уже серебриющимися висками. В Максиных кудрях, каштановых, седина незаметна: в гладких темных волосах его старшей подруги — она похожа на червлёный металл. И во всем существе Александры Михайловны, несмотря на ее ласковость и проникновенность, есть строгость — нечто, готовое на страстную гневность; четко и неподкупно здесь живут бок о бок черное «нет» и белое «да», червлёные друг по другу. Приветствуя входящих как друзей, готовая принимать и верить, она не теряет зоркости, не отступит перед необходимостью что-то оспорить, перед невозвратностью — осудить... Но уже, если проверил вас ее серо-синий, подолгу на вас лежащий, ждущий и приветственный взгляд — вы в этом доме — свой, и вам не будет отказа — ни в совете, ни в утешении, ни, если придет такой час, — в ночлеге, ни — в последнем рубле.

И какая-то медлит печаль в этом синем и ласковом взгляде. И смеется в ее низком голосе, мужественном, застенчивость. Но ничего нет в ней сходного с нашей Драконной, в которую проваливаешься кувирком и навеки.

Эта — не впустит; привыкла давать, не брать. Гордячка? Себя — не откроет. Сочувствия — не просит. О себе лично — никогда ни слова. Вся принадлежит людям, книгам, картинам. Не замужем, и не была. (В прошлом — трагедия? Чья-то смерть, с кем-то — разлука?)

— Макс, читайте нам новое, что написали, — говорит она, разнося чашки черного кофе.

И Макс покорно встает: «Осенью». Вихрь его «Осени» и его уносит с собой. Пляшущие строки радостно хлещут слух.

У скольких людей вся жизнь прошла в содружестве с Максом! Скольким он нужен и близок, как нам, как всем, кто его знает. Всем — кроме врагов! О, их много! Все, что есть на свете средненького, косного — *никакого!* Все, что ползает и кишит, все мещане — Макса не принимают на дух! Это — целый мир клеветы, жаркий поход любопытства и пошлости, смешков и хихиканья, неисчерпаемый, год за годом, рог изобилия лжи, высыпaeмый на кудри Макса, на его — котовую ласковость, в медвежий уют сказочности. Для этих «людей» Макс — не Пан, не «добрый колдун», не мудрец, не учитель, не друг — недруг! Он ходит не в длинной парусиновой рубашке, под которой такие же, до колен, от жары, штаны — а в нарочитом «хитоне» (без штанов) и не в самой ноской и легкой обуви (сандалиях), а в сандалиях-котурнах, чему-то подражающих, что-то доказывающих, и весь он — претензия и вымысел, и глубинная простота — манерность и выверт, и этому выдуманному Максy Волошину объявлена давно *война...*

Вот тут и стоят на страже — друзья Макса. Александра Михайловна Петрова — верный из верных друг. Потому и мы, с первого часа знакомства Макса в себя принявшие, здесь без вопросов и оговорок приняты, — дома. Когда после стихов Макса наступает черед читать нам — к нам оборачивается лицо столь же дружественное, готовое слушать и верить. И легко нашим душам — и голосам — с разбегу в свои,

в ее, в Максины, во всех, кто зорок и прост, строки: «Вы, идущие мимо меня / К не моим и сомнительным чарам — ...» и «Но помните, что будет суд...»*

Марина выслушивает похвалу, полунадменно-полузастенчиво шурясь, кивком напоминает мне следующее, и, от них ли уходя, от себя ли? — читаем...

Словно в стройную флотилию кораблей ворвался дерзкий парусник! — и дрогнули внезапным приветствием тихие воды, и побежали волнами — так зашумели кругом радостные восклицания, молча на диване сидевших художника Латри и певицы Ариадны Николаевны, Александры Михайловны, даже с места поднявшейся, и гул Максинаго одобрения, и Сережины теплые ноты — он уже отвечал на вопрос, когда это написано. И восхищенность одинаковостью голосов наших, и наши улыбки, всегда в какой-то тоске стеснения, желание прервать похвалы. Чем отвечать Марине на голый факт признания таланта, от нее неотделимого ни на миг, ни на шаг, — и чем нам двоим отвечать на всеобщее изумление о тождестве интонаций, повышений и понижений голосовых струй? Ведь это же тождество душ... Нет, не тождество, может быть, мы — и совсем те же, и — разные...

Мы быстры и наготове,
Мы остры,
В каждом жесте, в каждом взгляде, в каждом слове
Две сестры!..

Мы успели прочесть всего несколько строк, — а лицо Александры Михайловны полно такого внимания, такой... нежности, материнской.

А за окном — ночь.

В дневнике строки летят, обгоняя друг друга.
Некому ведь сказать, кроме тетради!

* Весь этот цикл был написан Михаилу Соломоновичу Фельдштейну. Не сохранились стихи и ему, и жене его Еве (портретные), и я их забыла — а сколько «раз» мы их говорили вдвоем!

В зимнем небе — весеннее облако, запах талой земли, как в Трехпрудном. Ветер, оттепель, ручьи с редлиховской горы, жгучий норд-ост с моря.

Марина встречает меня с Алей на руках. Аля ластится к матери, как светлая ангорская кошечка, обнимает ее, поворачивает ручками к себе Маринино лицо, гладит ее: «Ми, ми»... (Этот слог ясно помню, но, может быть, к началу весны Аля говорила и «милая» целиком и много лучше, а радостная тайна первого слога была куда раньше).

— Кончила сегодня «Пушкину»? Слушай! То есть я ведь их еще осенью кончила, но — изменяю.

Марина читает.

— Нравится? Лучше?

Прошу повторить. Впадаю. Повторяет еще — и уже в два голоса. Я — кое-где смолкая, прислушиваюсь. (Сколько — со творчества по час разлуки моей с Мариной! — годы и годы мы говорили стихи вдвоем. Я не видела их написанными, не держала в руках — принимая ее голос в мой.)

Марина отдала Алю няне, переходим в большую комнату. Чем-то напоминает она ялтинскую комнату нашей «Мартыси», Варвары Алексеевны Бахтуровой — только та была нарядней, светлей.

Дворец лицом к железной дороге, за которой море, за ним — Турция. Макс, Сережа, мы обе входим в широкие двери, и по ковру лестницы по вельможным покоем — навстречу идущей к нам с улыбкой радости Лидии Антоновне Лампси — когда-то скромной гимназисточки Лиды Соломос.

Не большая и не маленькая, как раз того роста, что должен быть у женщины столь женственной. Сама женственность идет нам навстречу, и движением ее мягких холеных рук, и улыбкой, и карим светом близоруких глаз, и природной способностью смущаться, не поборотой ни возрастом, ни богатством, — все чудесно в ней. Лицо с румянцем столь легким, что она почти — бледность, и над темными ласковыми глазами — пробор вьющихся у висков каштановых с рыжиной волос. Лицо широкое, черты не совсем правильны; но такая гармония в этом лице негордой красавицы, такое оба-

яние доброты в мягком взгляде, в чуть дразнящем, по-девически раздвоенном кончике носа, в улыбающихся губах, что перед нами истинная красавица — не оторвать глаз.

Это было в те благословенные времена, когда женщины в России — женщины культурного круга — не красили волос, потому глаз мог любоваться вволю, как любят природой. Прелестным рыжеватым волосьяным золотом. И уже ластилась к ней очаровательная девочка лет шести в локонах того же цвета, и та же бархатность была в ее золотистых глазах.

— Мариночка, моя дочка... — Любовно нежная рука матери гладит дочерние кудри, приглашая нас сесть.

Мы в огромной комнате или маленькой зале с улетевшим в высоту потолком, и я помню камин, и высокие окна, и мягчайшую старинную мебель, и хрусталь парящих музейных люстр, и раскрытые анфиладой двери, как в зеркале гаданья в новогоднюю ночь. Дом Айвазовского. И его потомок, муж гречанки Лиды Соломос, тоже грек, Николай Михайлович Лампси выходит к нам из анфилады зеркал. Высокий, худой, круглолицый, некрасивый и милый, такой душа-человек, что, взглянув на него, становится легко жить. Малоречивый, он берет не внешностью — покоем ума, добра и благожелательства.

И в памяти о том дне — тонкие золотые перила широких мраморных ступеней... были они, примерещились?

Какие-то нежные кушанья, фарфор, хрусталь... очень толстый веселоглазый мальчик в матроске — Мика, старший брат Мариночки. Он вошел смущенно — гости — в высокие двери, шагнул к нам — и тотчас же в зеркале вспыхнул второй Мика, и оба мальчика неловко поклонились. Увидев сестру, первый Мика подбежал к ней что-то шепнуть на ухо. Затем вспомнил, что шептать — невоспитанно, и под любящим укоризненным взглядом матери совсем потерялся. Но уж нежная рука поправляла воротник у его покрасневшей щеки, и золотой близорукий взгляд ласкал сына.

— Счастливая семья! — вздохом пронеслось во мне, как всегда ознобом о себе.

Я не помню подробностей нашего знакомства с семьей Лампси, но помню выражение лица Лидии Антоновны, с которым она глядела на нас с Мариной после чтения

нами в один голос стихов... Это была такая степень очарованности — нет, не то — зачарованности, такое навстречу, такой выход из себя в жажде приблизиться к тому, что ей вдруг в жизни встретилось — словно вздрогнуло дерево семейного счастья, дотоле бывшее ее жизнью, и сорвалось в ветер, нахлынувший в ветви его, словно раздались дотоле неслышанные песни — такие редкие, точно ты их слышал в детстве на какой-то забытой родине... Степень нежности ее к нам равнялась только степени ее для нас обаяния, в ней отозвалось для нас все прежде бывшее — и мы читали и читали, глядя на нее и на Макса, кивая Сереже, понимавшему нас без слов.

И я еще помню синюю ночь возвращения из этого замка. Сандрильоной пролетевшего волшебства. И еще — степь, через несколько дней, куда я — Марина не смогла почему-то — выезжала вдвоем с Лидией Антоновой в их автомобиле в предвечерний час. Не понимая, откуда взялось такое, она спрашивала и слушала, и я говорила о маме, о нашем детстве и потом о Борисе и о моей рухнувшей жизни, она держала мою руку, и был закат, и мы были так счастливы!..

Странно, даже неестественно, что я, любя Миронова, не делала после письма Бориса, давшего мне свободу, ни одного шага к соединению своей жизни с жизнью Коли. Он мне оставался самым желанным и значительным из всего испытанного, я знала, что буду с ним — никого мне другого не нужно! — только в его рыцарстве, тихой восторженности, благородстве мне дышалось и будет дышаться, — мы пройдем жизнь вместе и непременно вместе умрем, как мы, расставаясь, решили — если жизнь вместе не удастся, и мы будем любить друг друга вдали — то на зов умереть вместе другой откликнется отовсюду и в любую минуту — так верилось и ему и мне, и это было мне нерушимо. Но ведь Борис сошел с наших путей, я могла позвать Николая Николаевича — так он мне был до сих пор дорогим торжественно-чуждым именем Эроса, не ставшего Дафнисом, потому — от века сужденным и неразлюбляемым.

Но вот — я не звала. Не спешила — отчего? Только ли оттого, что так ужасно устала от двух с половиной лет отноше-

ний с Борисом и теперь отдыхала и втайне боялась заново начинать жизнь, страшась вновь ошибиться, оступиться в невылазную муку? Может быть. Но может быть, еще и то, что моя все растущая тяга к философии, мечте написать о философии отрицания и печали меня влекла вбок от личного чувства? Да, и это.

Макс! Его, мое таинственная, душа являла чудо понимания на всех поворотах мысли, хоть дух неизвестных его верований был мне чужд и на мое, из меня рвавшееся отчаяние не иметь веры и чувствовать безнадежность бытия — он смотрел с полуулыбкой, как старший, но эта его улыбка не раздражала меня, против его старшинства я не восставала. И то, что он был друг всем и после платонического брака с Маргаритой Васильевной не имел подруги, и то, что он вместо поздравления Марине и Сереже прислал «соболезнование» — во всем этом был особый и чем-то мне близкий смысл.

Я верила Макс — он со мной не спорил. Он тоже мне верил — в меня верил. (Может быть, в то, что я изменюсь, вырасту в его мир?) В его терпеливости, в его глазах — светлых, пристальных, дружественных — было вещее. Точно крыло было протянуто надо мной, и мне порой легко дышалось. Отдохновение от любви было во всем этом, что-то напоминавшее мои дни в Эсбо с Борисом над первым томом «Идиота», когда отступило наше личное в этом общем котле страданий — Ипполитовых, Мышкина и Рогожина, Настасьи Филипповны и Аглаи... И, не изменяя Миронову, — я не писала ему.

Читаю, точно дневник свой, — принесенную от Марины книгу с ее пометками, то есть что она подчеркнула, — «Уединенное». «...Я всегда шел в отворенную дверь, и мне было все равно, которая дверь отворялась. Но в какую угодно дверь я шел не по надежде, что Бог меня не оставит, но по единственному интересу к Богу, который со мною, и по вытекавшей отсюда безынтересности, в какую дверь войду. Я входил в дверь, где было «жалко» или где было «благодарно»... по этим двум мотивам все же я думаю, что я был добрый человек, и Бог за это многое мне простит». Читаю, думаю: «Так близко! Но как может он — душа такая близ-

кая! — верить в Бога? Как странно». Читаю: «Чувства преступности (как у Достоевского) у меня никогда не было: но всегда было чувство бесконечной своей слабости...»

Отрывалась я от книги Розанова, только чтобы где-то прочесть что-то о нем. Так я узнала о крайней бедности его детства и что семейная жизнь его сложилась неудачно (первый брак). Будучи женат вторично (гораздо более счастливо), он с содроганьем вспоминал о своих отношениях с первой женой. Она была значительно старше мужа, отличалась невыносимо сварливым характером и преследовала его совершенно неосновательной ревностью. В доме происходили бурные и дикие «сцены». Много позже я узнала, что это была Суслова, последняя жена Достоевского.

Учительство его тяготило; в нем, кроме «милых физиономий» и «милых душ» ученических, все было отвратительно, чуждо: «Форма, — писал он, — а я бесформен. Порядок и системы — а я бессистемен и даже беспорядочен. Долг: а мне всякий долг казался в тайне души комичным, и со всяким долгом мне «хотелось устроить каверзу», «водевиль» (кроме трагического долга)». Читаю и ликую моими двадцатью годами. Нашумевшая лекция Соловьева об Антихристе показалась Розанову просто скучной. Он реагировал на речь прославленного оратора весьма своеобразно — задремал и упал со стула.

Не в ту ли зиму я прочла «Братьев Карамазовых»? Что-то сливалось в Достоевском — с Розановым. Они оба стали мне необходимы. В письмах к Василию Васильевичу и его мне — мы писали о нужности встречи. Она намечалась на осень — я поеду к нему в Петербург. И еще один человек звал меня в этот мне незнакомый город — Мария Степановна Камкова, та дедушкина старшая сестра, которой я, по завещанию мамы, ежемесячно слала деньги. Камковой теперь было более восьмидесяти лет. Было немного страшно думать об этом создании.

Братья Карамазовы! Нет, не Алеша, конечно, меня захватил тогда и не благостный старец Зосима — Иван Карамазов! Это было как звук трубы — мои говорил он мысли, но четче, трезвее, зреее. И все больше влекло меня зревшее решение — теперь, год спустя после папиного плана ехать

со мной за границу, — ехать туда одной, с Андрюшей и няней, поступать на факультет философии. Марина слушала со вниманием и интересом, одобряла. (Ее философия не влекла. Ей звучала Поэзия!)

Глава 7 Н.И.ХРУСТАЧЕВ

Последняя холодная зимняя ночь — Итальянская, наша с Мариной любимая улица. Арка. Уже почти три года идет тут наша жизнь, то есть наши приезды сюда. Марина без меня была тут еще прошлым летом. Феодосия — родной город.

Мы возвращаемся с вечера, где вновь увидели Дембовецкого и Хрустачева, где мы читали стихи. Разнеженность от безоговорочного приятия нас — такими как есть — это так редко... Цибербиллеров — полон свет! В умиленности сродни Саше Кабанову, мы вышли из светлого тепла залы — в темную предвесеннюю ночь — группами, по двое, по трое, останавливаясь у чьих-то дверей, прощаемся и идем дальше. Разговор о Розанове. Кто-то из идущих узнал о моей переписке с ним, расспрашивает, я загораюсь от чьей-то родной души, как и я забывшей все над его «Уединенным», мы отстали (нас трое), мы еле успеваем догнать тех, что ушли вперед, и проститься на углу с Мариной и Сережей — им налево и в гору.

Застенчивая улыбка Марины в ответ на восхищение стихами, рукопожатия. И ветер в лицо, и бредем дальше, взволнованно говоря об «Уединенном»...

— А вы читали «Одиночество» Лозина-Лозинского? Нет, не Михаила — Алексея.

— Алексея? Того, что покончил с собой! Такая есть книга? А как же ее достать? (Я).

Один из спутников обещает. Вот и его подъезд. Хрустачев идет проводить меня...

Я не могу рассказать, как встречи в домах знакомых и возвращенья по зимним, весенним улицам перешли в то, что зовется любовью, как вошел в душу и сердце этот малень-

кий человек с тонким лицом, пристальным взглядом, нежной, едкой улыбкой, с беглым нерусским «р» (а русский из русских, Николай Иванович, с тихим говорком), и были в нем, от нервности, легкие запинки, и мне они звучали — музыкой).

Я не помню начала любви — ни слов, ни событий. Несомненность любви была в том, что с первого раза, увидев, я ощутила его родным и, встречая, радовалась, как празднику. Это было — пленение. Взял в плен, войдя в комнату, взглянув, пожав руку. Но не помню, как это случилось и как стало, что он тишайшим, как дуновение, голосом (в котором «р» хрупко серебрилось, как брошенные стеклышки соли) мне сказал — это, кажется, были стихи Северянина, безвкусицу стиля которого мы отлично, в двойной насмешливости, понимали: «Ты мне как-то странно понравилась / С первого робкого взгляда...» И как оно возросло до другой тональности строк через начало печально-шутливое, песенкой:

Я гостил в твоём сердечке
Только миг.
Это было возле речки,
Где тростник... —

до накала, колокольности, набата почти! — слома голоса, гудящего и прощающегося:

Ты в душе моей — как дома, навсегда!
И разрушит те хоромы
Кто, когда?..

Да, вот эта шутливость смертельная (как было в Серее Трухачеве) — привязывала крепче цепей... Это ранящее, себя обесценивающее старшинство, склонившееся на миг над моей ранящей? юностью (той самой, в Марининой любимой песенке, которая «прелестная», «стрелой пролетит», которой все «в неизвестности» «изменой грозит... (немыслимая упоенность на мгновенье прильнуть к ней — то вагонное, перронное, в миг уже движенья поезда — «люблю»,

«тоскую»... которое мне взрывало сердце...) вот оно снова со мной идет рядом, улыбается, нагибаясь, — братски, ничего не требуя, не прося, не ожидая, любуясь, утверждая, что я не могу полюбить — да и что за любовь, если я хочу только свободы и учиться философии в Сорбонне, а у него — жена, дочка Ма'р'иночка — и «р» ее имени брызнуло крошечкой хрусталия... И ночь, и рев моря...

Как всегда, когда в мою жизнь входила тревога от чувства к человеку, Марина настораживалась ко мне всей остротой внимания. Ей я говорила все — как себе. Она помнила Николая Ивановича, поняла с полуслова мою раненость им, глубину его прощающей — и все-таки навстречу идущей — нежности.

Из моей дружбы или любви всегда получалось некое трио. Но теперь, в счастье с Сережей, таком сложном и полном, в неразрывности понимания, в слившихся жизнях, в совершенном чуде их встречи Маринино откликание на происходящее со мной стало чуть-чуть иным: оно было как будто из какой-то дали теперь, точно она в счастье своем была много старше... Одновременно в ней пробуждалась память о тоске юности, и было столько же нежности, сколько ее жаркого, нам свойственного желания — утешить...

Наперекор всему! Наперекор непреложной констатации факта, что любовь и есть — разрыв-трава. Иначе: моя встреча с человеком пробуждалась в Марине — музыкой. И она брела меня провожать, в ночь, и это снова возвращался — Трехпрудный...

В тот день, когда Николай Иванович и я поняли необходимость проститься, потому что нежность росла, все сметающая (он заканчивал в тот день мой портрет), — я, уйдя от него, — пошла к Марине. С ношей своего нового горя, еще одного преодоления, расставания, ухода, исполнения закона жизни.

И снова я читаю Марине из дневника:

«— Да, упоительный человек. Но что тут возможно? Я ведь знаю, чего я хочу: только вот этого мига, когда мы вышли бы вдвоем на его балкон, откуда он провожал меня каждый день после писанья моего портрета — чужую, чужой. Все, чего я хочу, — укладывается в несколько часов времени.

И с этим прийти — невозможно. Что он чувствует ко мне и что думает? “Я гостил в твоём сердечке / Только миг...”»

— Стихи Северянина? — сказала Марина. — Он тебе их сказал?

— Да. Мы говорили о поэтах, современных. И он сказал все стихи эти до конца.

— Сегодня какой-то поразительный день.

Кратко: я счастлива.

Так много, что ничего не могу рассказать!

Всю ночь, бродя по городу, говорила с ним. В итоге этой бесконечной беседы мы вывели странную вещь: что мы друг друга не любим. Но по странной игре судеб, мы все же никак, никак не могли проститься, все держали друг друга за руки, и он целовал мои. И знаешь, Марина? — Все кончено!

— Нет, Ася. Ведь вы оба...

— Так трудно рассказать! Я записала в дневнике: “Страдаю ли я? Нет, может быть... Я весь день сегодня на людях. Жизнь сегодня идет галопом, точно помогая мне...”»

«Маленькое воспоминание: в тот час, когда я решала, ехать к нему или нет, он вдруг порывисто встал со своего стула на педагогическом совете и стал ходить взад и вперед по комнате, не зная, что с ним».*

— Марина, а потом он должен был ехать по делам в Симферополь. Я сказала ему, что приеду его проводить. Одна не хотела, — зашла за Колей Беляевым. И вот об этом — пишу:

«Выходим на крыльцо, где море и огоньки, и я предлагаю пройтись. Ночь прекрасна.

Я предлагаю дойти до вокзала, проводить Николая Ивановича. У меня сердце бьется. Четко звучит наш ускоренный шаг, четко бросил лорнет мне в глаза — волны и огоньки; я иду — на что, — я не знаю: может быть, на то, чтобы перечеркнуть Ирину из “Дыма”, на ходу уже — вспрыгнуть в поезд, кинуть руки на плечи...

Мимо нас, очень быстро, с грохотом, в дыме и сияя огнями, пронесится пассажирский поезд!..

Мы все же доходим до вокзала, раза два прогуливаемся по платформе, я с жадностью гляжу на те доски, по которым

* Напечатано в моей книге «Дым...»

он только что проходил... Он быстро мчится сейчас; может быть, стоит на площадке... Не судьба!»

— Он же ждал тебя, Ася... — задумчиво говорит Марина.

— И вот, последнее: «Ах, как я была права, говоря, что любовь никогда не кончается... Я все помню до последнего слова, все до последнего жеста, и эту папиросу из его рта, которую мне было так сладко, так сладко курить... И акации. И его голос, дразнящий и нежный, какую-то игру в любви, какую-то прелестную улыбку над тем самым, что и для меня и для него — было серьезным. Навек я запомнила мои утра у него, и затем его вечера у меня, и тот вечер на море с прожектором, и булочную, где я ела пирожки и пила молоко по дороге к нему, в серебристом платье...»

Той минуты, когда я сидела на подоконнике, утром 17 мая, простившись с ним, и, перевесившись в окно, глядела, как он уходит, и не чувствовала под ногами никакой почвы, и не видела никакого будущего, этой минуты, которой никто не измерил и которой ничем не вернуть, — этой минуты я никогда не забуду!»

Я закрыла книжку дневника, впереди был пустой лист — и мы помолчали обе.

— Жизнь — это только прощаться, — сказала я, — начинать еще раз все сначала... Нет! Ты же помнишь, как все было с Борисом — такой романтизм встречи! И как стало — потом...

— А Миронов? — спросила Марина и подняла на меня взгляд.

— Только он! Если когда-нибудь... Но мне страшно приблизить это — потому что если это изменится, тогда...

Помолчав, Марина сказала:

— Как я хочу, чтобы твой дневник был напечатан... Будет, конечно...

— Марина, я не знаю, как это сказать? Вот я пишу обо всем, много. Как идет жизнь. Все очень разное у меня. А Мария Башкирцева... такой ум и анализ, но одна книжечка до двадцати четырех лет! Как это случилось!

— А разве я не говорила тебе, что мне ее мать писала? — сказала Марина. — Что есть еще дневники, но они будут напечатаны только через десять лет после смерти матери. По

семейным причинам. Она не могла написать так мало за двадцать четыре года! Это просто отрывок из дневника...

Говорили(?), молчали(?), когда раздался стук в дверь.

– Войдите! – сказала Марина.

Дверь открылась, вошел маленький человек в сером. Он вновь в Феодосии. На его худом, тонком лице – резкие тени и улыбка, милее мне в тот час всех улыбок, освещала остроту черт и взгляда, в дружественном любовании скользнула по Марине, перешла на меня. Он шел и что-то протягивал. Это был мой лорнет... Я забыла его у него...

И блаженство часов втроем – он, Марина и я. И блаженство минуты, когда вдвоем вышли в ночь в шум моря, во вспыхнувшую в нас весну... Как мы празднуем наше прощанье!

Впереди – вся жизнь, без него – мне, без меня – ему. Мы ее отдаем собственными руками. За его плечом – доблесть семьи, им выстраданной. Его жена – хорошая женщина, она скоро приедет с его маленькой дочкой. Мне не надо ее мук! За моим плечом – какой-то неведомый ему Миронов, которого он никогда не узнает. И непонятность моей судьбы. И моя улыбка, им написана – он ее, придя на свою башенку, увидит в воздухе над мольбертом – улыбка, которой я отвергаю свое будущее счастье с тем повелителем, которого мне он предсказывает, которого я отодвигаю рукой...

И весенняя ночь (как смешно, что весна! Точно она может что-то прибавить нам сегодня!). Но она – прибавляет. Тот самый декорум, цветущий в строках. И мы пробиваемся через него (через еще и это препятствие!) в полость муки, что это – последняя ночь (не быв первой!) через ужас, что мы вновь вместе! И так счастливы! Через тепло тишайшего признания: «Лорнет – была слабость... Я не мог не увидеть Вас еще раз»... Он не отрывает губ от моих пальцев. Я не отрываю их от его губ. Ветер, чернота, пустота улиц. Он и я. И морской прибор.

Я помню день уже почти жаркой весны, панораму Феодосии с горы Карантина (искры сверкающих окон и штиль моря вдали, следящие, как раскаленное стекло, розоватое.)

Я стою на подобию балкона или выступа под окном башенки – мастерской Хрустачева, и, пересекая расстояние

между нами, косо лежит на полу его тень. Она не имеет цвета, только яркость, но ее очертания дышат и движутся, она живая. Она повторяет дорогие черты, худобу профиля, удлиняя его и еще заостряя, — таким он останется в памяти, когда, после сегодня, допоправив портрет, сойдет с горы проводить меня и мы простимся. В руке его — фотографический аппарат. На деревянной доске стола — стопка этюдов, роза в стакане, бутылка вина — и сумасшедшая сложность перекрестных света и тени, светлое сверканье стакана, еще более серебряного от воды, сияющей озаренными кольцами влажного ненасытного солнца, лежащего на стаканное дно всем блистающим великолепием и беспечным уютом, как ложится кружком кот.

Мой друг стоит и улыбается, тонкий, невысокий, руки за спину. И никак не могу снять его без тени. Теперь я снимаю его. «Этот миг никогда не повторится», — проносится во мне разящей, как нож, болью. И я ответно ему улыбаюсь, щелкнув затвором, опустив аппарат.

А за моим плечом, легко поднятое бесплотным объятием мольберта, светлеет женское очертанье, серебрится серое мое платье (жемчужный сумрак), и легкий румянец (преображенный в лепесток розы) сгущается в полноту губ, полудетских по огоньку смеха в уголках, своенравных, полуженских по какой-то печали... Зеленоватые глаза улыбаются недоверчиво, и их пристальная зоркость горько пронзает негу юности (лепестки роз и доброту губ, печалющихся в улыбке). Удивительный портрет! Будет жить (как Дориан Грей, как Мона Лиза, — века?) после меня, если пастель живучее юности и розовых лепестков*.

Бесплотное дитя любви, неутоленной и неутолимой, за тобой — фоном — художник бросил осенний ландшафт, золотистые кущи, кусок вековечных дубрав. Так и жизнь пролетит, как «Лазорские острова»**, и весна превратится в осень...

...Уже кончился тот миг, который «никогда не вернется»... уже нет на полу его тени, и солнце вылилось из стакана, сделав его темным агатом, и вместо светло-желтой розы, полу-

* Портрет погиб в моих вещах в 1937 г.

** Из стихов В.Маяковского.

выпавшей из стакана — кончиком последнего солнечного луча — горит рубином треугольник вина в рюмке. Из окна, только что жаркого, потянуло свежестью, и расставанье пошло грозно и просто, как враг к воротам города. И я — во мне — я — все дрожит от тягчайшего горя, которым воеет баба, прощаясь с едущим на войну... Я не узнаю себя. Что я сделаю, что скажу, что... — я встала.

— Мне надо идти...

Его рука бережно берет меня под руку, и шаги наши слышны легким шорохом, вниз по горе.

Глава 8

ВЕСНА 1914 ГОДА. ОТЪЕЗД НА ЛЕТО В КОКТЕБЕЛЬ

Как нежно старалась Марина меня утешить — разве это расскажешь... Оно не ложится в слова (хоть то были и слова, конечно, которые мне только она могла найти) — участившиеся наши встречи, мои приходы к ней, сидения в редлиховском садике с Андрюшей и Алей, часы забвенья среди них и природы. И стихи, стихи Марины. Это был знакомый бальзам.

Феодосия жемчужилась вдали, внизу, в расплавленном зеркале дня. Ритм стихов — отрывал. Не от него одного утраченного, — от себя, от себя, сегодняшнего горя — завтра оно станет тише!..

...И надо вернуться — к себе настоящей — неумолимой, той, в зеркале на Вильгельма Оранского похожей, к той, которая будет писать о философах отрицания и отчаяния, — в Париж, зарыться в книги и книги, в Петербург, к Розанову, к Макс, в родной Коктебель!

Макс! Исполнением какого-то закона жизни — он ушел именно теперь, в Феодосию. И я бросилась к дневнику, неизбежному другу, в письма к Розанову.

Наша переписка не сохранилась. Два-три письма уже более поздних лет и последнее его письмо ко мне весной 1917 года — я передала Горькому, после смерти Горького — не знаю их судьбу. Горький очень интересовался Розановым. Радостная за меня, тоже написала ему и Марина, с волне-

нием ждавшая экзаменов (на аттестат зрелости) Сережи, на подготовку к которым он столько положил сил, похудев и устав от малых часов сна. Марина в одном из своих писем к Розанову просила его о содействии в этом деле, сообщая, что директор феодосийской гимназии, от которого много зависело в судьбе Сережи, — пылкий поклонник Розанова. Знание о том, в какой трагической семье Сережа вырос, в отрочестве перенеся гибель матери и брата и ранний туберкулез, — могло заставить комиссию быть снисходительным к нему в убийственно-торжественной обстановке экзаменов. Эти письма Марины к Розанову сохранились, мне недавно, в 1964 году, довелось их прочесть*. Но думаю, что не понадобилось ничье заступничество за Сережу, талантливого и блестяще себя подготовившего, но в отрывке письма о нем сохранилось материнство Марининой заботы, ее вечный страх, что он надорвется и вновь рухнет в болезнь.

И вдруг — всегда вдруг случается — оказалось, что пришла весна; что зима, так недавно еще вчера тут бывшая, бушевавшая норд-остовыми крыльями, разверзавшимися с неба, — скрылась, стихла, — и с тех же небес, вековечно-детских, — спустилась нежная, лиловая жара, и город стал Неаполем, из всех окон, мотыльково блеснувших в стороны сверканьем крыл-створок, льется сплошная «Санта-Лючия», пересиливая все водопады гамм, вырвавшихся на воздух из плена.

Это было какое-то утро, когда я, встав точно на корабле, отплывающем от родных берегов, ощутила, что все бывшее, небывшее! — с Николаем Ивановичем — уже там, в остающемся, а я вновь плыву и плыву, и сама усталость моя — всегда отдавать, всегда расставаться — стала прозрачной, как льдиночка шпата... Передо мной стояло, вплотную подойдя, лето: лето, то есть Коктебель. Коктебель с Мариной и с Максом, с Пра, с Карадагом, Святой Горой, с Сюри-Кайя, орлами, морским прибоем, с духом вольности, мощи — Пра, Карадаг, Макс, — его живой, каменный профиль!.. Псы бродячие, дикие халцедоны и сердолики, скрип гравия под

* Как попали они в Литературный архив — не знаю.

легкой ступней в чувяке — одиночество и молодость, молодость, кричащая в ветер, что все прошло, ничего не было — все — заново, все — впереди!..

Мы жарко собираемся к переезду: списываемся о комнатах, ищем сколько-нибудь прочных нянь — старую? молодую? Решаем, что надо — молодых: чтобы не обижались на «условия» коктебельской жизни с хождением за обедом к Елене Павловне Паскиной, в татарскую деревню за козым молоком детям, с бубликами, брынзой, мешками черешен, абрикосов и груш — и с полным отсутствием быта (так драгоценного для всех няnek на свете...)

Таковые — нашлись. Они должны привыкнуть к нам, детям и дети — к ним...

У Марины уже почти все готово к отъезду, ей помогает Сережа...

Не в те ли весенние дни после Н.И. и был тот выезд в автомобиле с Лидией Антоновной Лампси далеко за Феодосию в степь, от которого в сердце остался такой уголок нежности? Я ей рассказала тогда о моей встрече с Борисом, о жизни с ним, о Боре Бобылеве и о Миронове, который живет так далеко от меня и ждет мой зов, а может быть, уже начал меня забывать — не пишет... Полюбил другую? Я совсем на него не сержусь, так легко — полюбить еще одну душу, жить в ее колдовстве — и это вовсе не колдовство даже, а общее волшебство жизни, вечный зов и вечный ответ на зов. Как же может быть иначе, если зов силен? Ведь вот я почти полюбила другого, отчего же он не мог встретить женщину, которой он так же нужен, как мне? Разве я сердилась, когда Галочка заинтересовалась Борисом и он посвятил ей галантные стихи? Как могло быть иначе? Если бы в комнате были Лермонтов и Бетховен, разве не к обоим у меня вспыхнула бы любовь?

— Все безнадежно в любви, как и вообще в жизни, и это такое чудо, что Марина так прочно с Сережей. Вы — с Николаем Михайловичем... — Лицо Лидии Антоновны серьезно, и нежно, и она дивится моим девятнадцати — ей, может быть, немного страшно оттого, что я говорю, но ей не в чем меня упрекнуть. Это — музыка Паганини, и она слушает ее, сжав мою руку...

И если еще где-то жива Лидия Антоновна, шесть лет спустя после того вечера покинувшая феодосийские берега под взрывы пороховых погребов, она, как та царица в лесу, помнит чью-то юную руку в своей и свою жажду охранить и спасти... И желтую полосу заката, и цвет степных трав, и наш полет, и ветер в лицо, и запах полыни...

Я не помню, в то ли лето у Али была юная круглолицая светлоглазая няня, или все еще жила у Марины кормилица Груша, полная, статная, озорная, красивая, та самая, что поспорила с няней-старушкой (одно время они жили вместе): кто из них больше любит Алечку, тот и выпьет ее мочу! Нянька была старая, но она приняла спор и, должно быть, обе пили мочу и, ничего тем самым не доказав, опять ссорились...

Но, забыв имя Андрюшиной (не Ксения ли?), помню ее хорошо: худенькая, остролицая, выше меня, кареглазая, она быстро привязалась к питомцу и не чаяла в нем души. Не могла наглядеться на него, горделиво сидевшего в высоком раскладном московском креслице, делавшемся — фокусом складывания — низким столиком со скамеечкой.

Характеры наших детей были совсем разные. Возраст их теперь, к лету 1914 года, был год и девять месяцев (Андрюше), год и восемь месяцев с неделей (Але). Аля — дипломатичнее брата, и с чувством собственного достоинства, явным, несмотря на малый возраст. И была в ней потенция к насмешливости? Откинув тяжелую лохматую головку, полуприкрыв веками упоительные глаза, она смеялась чуть свысока, ребенок очень раннего развития, она знала себе цену.

Андрюша был живее ее, легок в прыжках (Аля прыгала тяжело, всей ступней), тоньше, изящней, но Аля была ярче, эффектней. Казалось, она — старшая.

Была ли Аля нервным ребенком? Может быть. Но и нервною была другая. Андрюша был легко возбудим, сангвиник; от смеха быстро переходил к плачу. Начав ходить и говорить позже Али, стал вскоре изъясняться туманными фразами, настойчивыми и длинными тирадами. Теперь из них кристаллизировались слова, оставляя за собой кометные хвосты неясностей, понимаемых

только няней и мной. Аля выговаривала слова отчетливо-ясно, словно точила их на токарном станке. Помню их спор в саду Редлихов в ослепительный день весны. Подняв плотные ручки над головой, бежала Аля в коротеньком клетчатом платице, радостно визжа: «Камеска, камеска!», за ней по пятам следовал Андрюша, несогласно вторя ей: «Камесек, камесек!», на что Аля наставительно возражала: «Камеска!»...

Думается, Андрюша любил Алю больше, чем она его. В Але был холодок рассудительного английского бэби («Алиса в волшебной стране?»).

Я забыла сказать, что, когда Розанов узнал, что Трухачева (фамилия, которой я в первый раз подписывалась) — я только по мужу, что урожденная я — Цветаева, он радостно сообщил, что он вправе считать себя учеником папы, что слушал курс его лекций и никогда не забудет его ни как профессора, ни как человека. Это еще более сроднило нас. Он обещал прислать свои книги и ждал нашей встречи, — я обещала, что осенью, перед задуманным отъездом в Париж, приеду в Петербург. Он писал о своей усталости, старости, загруженности литературным трудом, о том, что везет воз большой семьи, дивясь раннему опыту жизни во мне, верил и, находя между нами много соответствий, считал меня родным человеком. Я искала и не находила его «Опавшие листья».

Наши сборы кончались. Я отпускала вторую прислугу, которую держала исключительно для тех часов, когда уходила из дома, чаще всего — к Марине, и когда могло понадобиться няне вдруг отойти от Андрюши, чтобы не оставлять его одного. В Коктебеле было много людей по соседству и сравнительно небольшие помещения — я могла обходиться одной няней.

Мы поселимся в двух отдельных комнатах в небольшом домике у Пра, у каждой — свой выход, свой каменный помост со ступеньками, подобие террасы.

Мой страх открытых низких коктебельских колодцев надо будет превозмочь тем, чтобы как следует напугать Андрюшу содержанием этих колодцев: «Там живут змеи», — я, таща его якобы в наказание к змеям, тем сделать их для

него злыми. Это был единственный способ предотвратить беду. Иначе он будет исследовать их сам и свалится. С его подвижностью и непослушанием уследить за ним было немыслимо. Марину колодцы так не пугали: Аля их будет сама обходить осторожно, органически ненавидя ямы. Трухачевская же безрассудная храбрость Андрюши была вне сомнения.

Как я увиделась с Александрой Васильевной Хрустачевой? Встретила ли я на улице Николая Ивановича, шедшего, обняв свою маленькую дочку «Ма-и-ночку» — как я помню это слово в его устах, интонацию несказанной нежности! И его рассказ о Павловском Посаде, где они жили и откуда он ждал их двух, и он уговорил меня зайти к ним? Или кто-то другой познакомил меня с ней? — Память бездействует.

Как она мне понравилась! Жарко, весело, просто, и какое спасительное открытие, что он — в хороших руках, что я за него могу быть спокойна. В лучшие материнские руки (кроме моих) я бы не сумела его передать... Был в этом и юмор, горький и озорной, и ироническое отступление в тень — как могло быть иначе с ним, кого я помнила — так моим... Но настоящая увлеченность образом женщины, мне противоположной — «широкой натуры», радостной, волевой, взявшей отродясь жизнь в руки! Женщиной со своей речью, своим «добрым русским говором», русской до мозга костей, открытой и ласковой, доверчивой, как должен быть человек доброжелательный и готовый на помощь. Вот это последнее роднит нас сестрински — и как могла бы я стоять у такой на дороге, которая явно ему более мать, чем жена. Бог отпускал меня — с миром! Она и сейчас (ее уж давно нет на свете) стоит в глазах: выше меня, полная, широколицая, искрящиеся весельем глаза, карие, чуть вверх, по-калмыцки, прямой пробор, темный. Что-то на ней из кустарного полотна: носит, верно, сарафаны. И несет в двух горстях их жизнь, с ним — нелегкую? Художник — хрупкий — и — больной...

И пришло — еще откровение среди привезенных из Павлово-Посада семейных фотографий — его портрет

в юности — еще прозрачней лицо, еще гуще волнистые волосы высоко и своевольно надо лбом, еще светлее глаза и оторванной взгляд — вбок, вверх, прочь от... — красота болезненная, притягательная вне мер — глаз не отрываю, утишаю сердцебиение, хлеще чем там, может быть, на рассвете, с подоконника свесясь... прощаюсь еще раз!

Еще раз над покидаемым городом — разлито это зеркальное полусеребро-полузолото солнца, и длинное, бросив оземь стволы тополей, теневое их повторение. Парный извозчик: балдахин, кидающий красноватую тень на лица няни, Андрюши, мое. Чемоданы, корзинки. Еще мы — в Феодосии. Но полчаса — и будет все — позади, все — заново, все неизвестно. Вдруг кажется на один миг, что ни на что нет сил...

Как заливаются птицы в ветвях! За полотном железной дороги пенным облаком — взрывы волн. А море до самой черты горизонта — темно-синее, как когда мы девочками в Ялте...

Часть двадцать первая

КОКТЕБЕЛЬ

Глава I

В КОКТЕБЕЛЕ У МАКСА. СЕРГЕЙ КОВАЛЕВ

1911–1914 годы! Три года! Много? Мало? Пустые слова! Нет – не пустые, но просто – слова! Разве они передают оголтелое стоянье на ветру, голову с плеч – и через тебя – как в резонаторе – жара воздуха, холод воды, взрывы пены, детство, Нерви, зелень Средиземного, разящая синева Черного моря...

Я? Я – мать мальчика, хозяйка няни, занявшая комнату, ищущая – где бы козьего молока, неразлучная со спиртовками, манной крупой и рисом, твердящая нилендеровы слова Феогнида, отвергающая любовь, как та, из пьесы «Passant»*. ...Что это все? И кому сказать, кто поймет? Этот хаос, раздробленность бытия? Все – живут, у всех – просто и складно. Только эта пушистая голова трескается от несовместимостей?! ...И, как всегда, одно слово, одно имя, один подарок: Марина! Мы снова здесь обе – те же! Как три года назад!..

Карадаг стоит нерушимо, и тень от родных уже гор лежит повелительно и беспечно, не признавая моей тоски. Они берут в плен. Явь – оглушает. Раны – зализаны.

Тем языком, песым, высунутым от жары, пес бежит косою побужкой, и от пса торжествует косяя бегущая тень.

Марина и я вышли с детьми на берег. Няни ушли в деревню за яйцами и молоком. Наверное, о нас сплетничают. Моя –

* «Прохожий» (*фр.*).

умнее, образованнее, Маринина — моложе, веселей, дерзче. И обеим не нравится Коктебель. Как хорошо, когда их нет! Дети бегают по камешкам, падают, хохочут, говорят бессмыслицы, и мы молодеем с ними. Когда няньки тут — мы делаемся старухами: учим их, как надо варить детям протертый овощной суп, одевать им всегда от жары пикейные шапочки.

— А знаешь, что такое дети? — сказала Марина, — это гири, привешенные к ногам, чтобы мы не улетали в облака!

Как ясно я помню девические Маринину и мою комнаты лета 1911-го у Макса и Пра — и лишь туманно вспоминаю свою 1914-го с няней и Андрюшей, Маринину же с Сережей, няней и Алей не помню совсем. Жили мы в разных домиках волошинского сада. Почему так густо и живописно стоит передо мной коктебельский быт 1911 года — еда за общим столом, лапша с луком, кофе, бублики с маслом, вкус татарского кофе в деревянной кофейне и прохладное счастье ситро?

Резцом юности, радости, свободы вырезано все это в романтике того лета... Но глухо молчит память о быте уже семейном — с детскими кастрюлями, няньками, их капризами. Оттого ли, что оно стало прозой и — терпеливо, но упрямо от него отвращалась душа?

Шел, вероятно, июнь, долгие жаркие дни, их было так много — а они в памяти как один день. Нет Марины — и не скажет она — так ли было тогда с ней? Думаю, что не так. Потому что она была счастлива, и в ее днях были веселье, беспечность, много смеха с Сережей (его добрый, лукавый юмор!) — отдых от одинокой юности в твердом знании, что она любима, что ее с пьедестала не снимет для Сережи — никто... Это давало еще ноту задира в острый, через плечо ответ, и еще немного надменности в лицо не поверившему врагу... и стихи, это вековечное счастье, солнце в солнце, рог изобилия!

Мой же друг, единственный после стольких утраченных, был — дневник:

...Альбрехта Дюрера гравюра вновь раскрыта,
и в меланхолию распахнуто окно...*

* Из моих дальневосточных стихов

Я бессовестно мало пишу об этом друге. Он занимал столько места в моей юности, в каждом дне, каждой ночи — столько часов в дне, столько сил, отданных — а что я о нем сказала? О волшебном взаимодействии меня и его, о том, как он помогал мне жить, о том, что он был неиссякаем в своих утешениях, возвращая мне с избытком силы, отданные на его создание, на его рост — плечо к плечу, висок к виску, на это взглядывание в себя, глаза в глаза, сходное с игрой в немецком пансионате, приблизя лоб ко лбу, глядеть в глаза друг другу, пока оба глаза не сливались в один — круглый, огромный, и это звалось «Enlenangen» (совьи глаза).

Этого друга не отнимал никто. Он не изменял. Не таял, как все. Этот зеркальный спутник, отразивший все горести, всю мимолетность радостей, улетающих, весь блеск бесед, всю тоску расставаний и все крепнущее вино отчаяния — жить без Бога, тобою же развенчанного, проходить по сердцам людей горьким ветром, виолончельным звуком прощанья — все ближе к жаждущей пустоте смерти, которая поглотит все... Этот миг, когда встаешь от тебя опустошенная и окрепшая... До следующего часа, когда снова наедине с тобой я вновь захлебнусь горем и радостью быть с тобой и иметь тебя у плеча, вдохновитель и слушатель, ковер-самолет, неразменный рубль, неповторимый и несравненный спутник. Теперь, когда уж много десятилетий я не пишу тебя — долго не писал вовсе, затем — сказки, повести, романы (и, наконец, мемуары, уцелели, только они) — я по-настоящему одинока — но еще помню восторг общения с тобою, таинственное создание, стоившее и дававшее мне столько волшебных сил...

Как Марина любила тебя! Как она восхищенно слушала твои страницы, всегда неожиданные, вечно-новые, по-сестрински влюблявшие ее в меня... И мы твердо знали тогда, что когда-нибудь позже, может быть в мои зрелые годы (в те, когда «взрослые» женщины «знают толк в кружевах» и блещут гордой осанкой) — я этот дневник издам — начну издавать том за томом, и отдам всем мою жизнь день за днем, ночь за ночью, горький хмель юности, любви, расставанья, возрождений, смертей, воскрешу жизнь, якобы уле-

тевшую, — и, конечно, загремит мое имя, как гремело имя Башкирцевой, только крепче и горше, честнее, полнее — потому что я ничего не прячу, все пишу, ничего не приукрашиваю, — и такого дневника «еще никогда не было», как сказала о нем Марина. Мария Башкирцева тщеславилась. Я — нет. (Мне было еще горше.)

Переpletенные тетради всех размеров и толщин — каждую новую моего дневника и следующую Маринину черновую тетрадь стихов мы обычно вместе шли выбирать — по деньгам, то кожаные, то коленкоровые черные или цветные книжки, то — просто толстые конторские, и уносили добычу — свежеспавшие типографией, зажатые в переплет кипы белых листов, куда — в их заманчивую пустоту — пойдут лететь строки, ползти страницы, бежать тонкой струйкой чернильные ручейки — затейливой мелкой круглой прямой вязью Маринины, круглые же, крупнее, немного вправо, беспорядочные — мои. Сколько было их, позади, стопок с моих двенадцати лет, когда, после смерти мамы, зародился дневник, и как было больно порой их раскрыть и войти в страницы, как входят в дом, в комнату, в душу — и уж нельзя оторваться, все брошено, все забыто — вновь цветут и мучаются тот день, тот человек, та беседа, тот город и те поезда... Живое кладбище с эпитафией из Маринино:

Путь над пламенным прошлым холодные плиты!
Разве сможем мы те хризолиты
Придорожным стеклом заменить?..

Это были живые могилы, наше, мое Camposanto. Тут жили все, кого мы встретили и любили, тут с первого вечера на катке по последнее письмо, давшее мне свободу, жил Борис, Б.С., Б.С.Т., эти три года, перевернувшие душу, улетевшие сном, оставили сероглазого мальчика, капризного, трудного красавца, повелительного и неласкового, струившего холодок отца. Повторялась «Une vie»* Мопассана, прочтенная у Оболенских**...

* «Жизнь» (*фр.*).

** В их имени.

В этом было еще различие мое с Мариной — у нее росла дочка, влюбленная в мать, несмотря на общую — Маринину и мою строгость воспитания — мы ненавидели распущенных капризных детей, презирая их с нашего раннего детства как враждебное, инородное, путавшееся в ничтожных привычках и прихотях. Воспитанные в спартанстве нашей нежно-суровой матерью (нежной — в лирике книг, германском и французском эпосе легенд, в звучанье рифм и души нашего дома при ней — рояля и суровой в требовании послушанья, выносливости, в презренье к изнеженности и причудам нарядов, всего внешнего), мы это же, с первых недель наших первенцев, переносили на детей наших — в иной век и в иные условия.

И тщетно тщится — да простит она мне эти слова — любимая мною моя сестра Лёра в своих записках о годах нашего детства явить мачеху свою, мать нашу, дурной нестерпимой женщиной — буду, голосом своим, еще сущим и смолкшим Марининым, — повторять, что она была нам не только терпима, а в каждом часе желанной, что с ней ушло вдохновенное тепло детства, понимание с полуслова, со взгляда, кровное, ни в ком больше не найденное в такой мере... Но тогда уже забрезжила в будущем ставшая трагедия наша с детьми нашими, у меня с сыном началась с первых лет его — весь был другой, с оттолкновением от всего цветаевского: весь шел в другую породу. Маринина же дочка, в коей слились две крови, друг другу близкие, в то время и много лет впереди! — была ей отрадой и любованьем, неся матери нежность и ласку.

В это лето в дневник шли больше всего мысли, мучившие меня: безнадежность всей моей жизни в целом, бессмысленность круговращения человека на земле, земли-шарика в пустоте дней, летящих к неминуемой смерти с нелепейшей сказкой — о Боге! Рождалась моя меньше чем через год вышедшая первая книга*. Я читаю ее через пятьдесят лет, продержавшись на земле только верой в Бога, тогда отвергаемого постулатами разума, — и никогда не могу прочесть

* «Королевские размышления» 1914–15 год. Выпущенные в количестве 500 экз., теперь, естественно, — библиографическая редкость. Отрицание возможности божества.

ни одной строки ее — без волнения. Она писана местами безукоризненным языком, и положения ее блестящи по логике, питавшей неверования Ивана Карамазова, и у Ницше положения эти оставили позади Заратустру, шагнув к безвыходности «вечного возврата». Но да поймут меня, семидесятилетнюю, верно те, кто пожелает утверждать, что я так писала и чувствовала потому, что «их (Ницше и Достоевского) начиталась». Я больше писала, чем читала. Марина:

...Что за книгой книгу пишешь,
Но книг не читаешь, умиленно поникши,
Что сам Бог тебе — меньшей ученик,
Что же Кант, что же Шеллинг, что же Ницше?

Она шутила, да. Но — с любовью, с признанием в близости...

Какого числа? Месяца? Но летом 1914 года было в Крыму полное затмение солнца. Оно было предсказано, и все мы готовили закопченные стеклышки. Ясно помню этот день. (Но одно смущает: у Андрюши была уже другая няня, ибо я помню ее реакцию на солнечное затмение. Когда же и как я переменяла ту? Заболела ли та, худенькая, грамотная, из Феодосии?) Няня, низкая, полноватая, деревенская, с отворачиванием смотрела на наши приготовления, — отказалась идти наотрез и ушла, охая и ворча, в глубину комнаты...

Затмение было в 1914-м? Умер друг-астроном, под рукой нет книги, где, наспех, узнать? Помню, я всегда говорила: «Андрюше было тогда один год десять месяцев»...

Если так — июнь 1914-го? Незадолго до никем не ожидаемого начала войны?

Ветром хлестнуло киммерийские сухие травы, и заголосили животные: мык коров смешался с неподобным ржаньем коней, закричали где-то в деревне козы, лай собак, перешедший в вой, перерезал окрестность, — я уже бежала, закрыв няню, по гравию сада с Андрюшей, высоко поднятым над плечом, боясь одного — опоздать!

Мы взлетели на кровлю (год назад без меня выстроенную над домом площадку с перилами) по водопадику сту-

пеней. Там было уже людно, почти тесно. Макс в своей длинной рубаше, со всегдашним веночком полынных стебельков на кудрях, густых, как тучи небесные, — эти кудри чуть шевелил летевший, метавшийся ветер. А уж по всему берегу с пятнами дач в садах, полосками дорог и разящим холодом моря что-то шло, чего не сказать, не забыть — несравнимое движение: кусты рвались за деревьями, деревья срывались с мест. Круче, шумнее: все полегло, и по этой страшной склоненности реяли ползучие сумерки, падающие так быстро, что все на кровле стоявшие стали вдруг феерическими фигурами с исчезнувшими, должно быть, тенями — сами — тени себя, на которых сверху падал разгоревшийся быстро, как деревенский пожар, закат, в который рушилось солнце. Прижатые к глазам темно-серые стеклышки проявляли его как луну на ущербе, и этот маленький непонятный (из-за него эта феерия?) кружок уже таял. А на нас — кучку людей — и на вдруг исчезающую окрестность, на агатом плеснувшее море падал вечер. Стремительно, ястребино уже угасал закат, и по куполу неба, от холмов в глубину брызнули волшебством звезды — рухнули, на мгновенье! — ночь — то есть простерлось крыло, совиное — и уже под рев животных, оголтелым оркестром, — гаснут испуганно звезды, и над очарованным берегом, дымно-синим, лиловым, спешно, запутавшись в метаморфозах, начинает вставать — солнце...

Восхищенные, в изнеможенье, оглушенные, мы стоим, опоминаясь — мы разговаривали? И в убегающем рассвете, обретая вновь все краски гор, бухты, моря — зелень, синеву, белизну вспыхнувших пеной волн и бег света по морским далям, вновь голубым и горящим, ветер, уже утренний, выпрямляя деревья, сметает все бывшее, как привидевшуюся паутину, в торжествующем возвращении ярко-тенистого дня! И голосок моего сына, чуть не отвертевшего себе голову на тонкой шейке, кричит звонко одно доступное слово, он повторяет за взрослыми: «Какая кла-са-та!» И наш смех в общем сердцебиении. И возвращенный гул голосов.

К Максy на дачу приехала молодая чета — Форрегер фон Грайфентурн (во вскоре написанном мною романе — по-

гибшем — им было дано имя Форрейтер фон Драхентурм). Марине и мне сразу понравился он, сразу же нет — жена. Дружески понравился, ибо нас не затронул собой, но был приятен, умен, мил, — близорукий (?), круглолицый, круглоголовый, бритый по-летнему, не худой, «непоэтический», веселый и, видно, удачливый, но остроумный и добрый, искренний и воспитанный, полюбивший сразу стихи Марины и в ответ чудесно изображавший Игоря Северянина — мы, конечно, подарили ему тот коктебельский миф о нем (о Серее Эфрон) и влюбились в его полупение.

Я помню две песни и две мелодии. Первая «Это было у моря, / Где лазурная пена...»

Мелодия была проста, словно из детской музыкальной шкатулки, и в ней было качанье волны. Вторая была нарочито манерна, все ноты прыгали, настаивая и дразня, и слова были:

Каретка куртизанки, в коричневую лошадь,
По хвойному откосу спускается на пляж.
Чтоб ножки не про-мокли, их надо ока-лошить,
Блюстителем здоровья назначен ю-ный паж...

Цилиндры солнцезащитные, причесанные лос-ко,
И дамбы туалеты пригодны для ви-трин.
Смеется кур-тизанка. Ей вторит солн-це броско.
Как хорошо в буфе-те пить creme de mandarin*.

Форреггер (звали его Николай? И Михайлович?) отлично сознавал сомнительный уровень северянинского стиля, но, исполняя полупение бесподобно, пленял слух двойным очарованием: исполнения и своей иронией к стиху. И мы обе мгновенно отзывались на эту веселую — звука и ума — грацию, стали всегда просить его повторить. Он с улыбкой, мальчишески обаятельной, полунаклонясь в нашу сторону, начинал с поддразнивающим: «Это было у моря...» И мы замирали. И теперь, полстолетие спустя, после всего страшного пережитого, я иногда, вдруг оглянувшись, одна ли —

*Мандариновый ликер (фр.).

в комнате или в каком-нибудь вечернем переулке, начинаю ту северянинскую — форрегеровскую мелодию, и свежесть ресторанно-лирического озорства слов смешно утешает сердце.

Жена, красотка, кареглазая, пышноволодая, совсем юная, вызывала восхищение невинносердечной Пра, доверчиво принимавшей ее «штучки» за чистоган. Мы, наверху, с первой интонации ее неуловимо-фальшивой разговорной манеры, как кошки у тинистого пруда, старались не показать — взъерошенности (тем разнясь от кошки). Она отвращала нас. И когда под громкий смех любующейся Пра, закинувшей свою великолепную маленькую седую голову мальчика в клубе папиросного дыма, услышали, как, отвечая на добротный вопрос Пра: «Как же вы готовите котлеты?» — стала тоном десятилетней избалованной девочки пояснять, что из сырого мяса она будет вынимать «жилки»... мы обе одним движеньем, покидая и королеву, и куртизанку, и общего их пажа, поднялись, точно неотложное вспомнив, и зашелестел гравий под ногами в чувяках, лица — в морской ветер...

— Какой чудный человек Пра! — опомнясь, сказала Марина, — она верит ее «непосредственности»...

— А он — очень милый, да?

— Очень.

Море взрывалось, как в Нерви...

С нами за стол на террасе садился еще один вновь приехавший — какой-то, сказали, студент из Петербурга — кажется, химик? Что-то глубоко неинтересное: чинный, как все петербуржцы, в белом кителе, смуглый, некрасивый, худой (это было единственно в нем приемлемое), темноволосый, молчаливый в меру и в меру любезный — никакой. Я видела его много дней и при взгляде на него испытывала скуку. Как он не шел к волошинскому дому — и как он сюда попал?

Были и еще художники (и один из них через много лет оказался Фальк — он встретился мне в Узком, доме отдыха Цекубу (бывшем имении Трубецких по Калужской дороге), и, когда нас познакомили, с удивлением и шутливым укором сказал мне (высокий, широколицый? смуглый и темноглазый):

— Как, вы не узнаете меня? Никогда не видели? А откуда же я знаю, что у вас сын Андрияша и что вы перед войной в двадцать лет собирались в Париж, в Сорбонну? И мы с вами так долго, до рассвета, пробеседовали на скамеечке у дома Максимилиана Александровича в Коктебеле...

Смущенно смеясь, я каялась в полном забвении и по сей день не пойму, как можно было нацело забыть (зажить, как заспать) собеседника, человека? Но — так. И вот как-то вечером на этой самой скамейке нас оказалось несколько человек, затем кто-то ушел, и со мной остался и разговорился тот самый петербургский студент. Его звали Сергей Иванович, а фамилия — Ковалев. Об этом ли будущем Париже зашла речь? Как перешла на серьезное и мне — сокровенное? Удивленная нежданном умом собеседника, я оживилась, и скоро оживление это перешло в глубокий интерес, в восхищение: этот сухой и чинный петербуржец понимал весь ход моих мыслей, ловил на лету реплику, предвидел вопрос и под корой сдержанности, под лоском воспитанности и холодка мне открылась душа, пламенно тоскующая, вопрошающая жизнь о смысле ее голосом, сходным с моим. Какая ирония, изысканная и горькая, какой протест, убийственно неотразимый ничем, что могла предложить жизнь, рдели в этом «скучном» человеке. И я не заметила его! Наши выводы совпадали в потрясающей закономерности. Все, что я, как ответ, отвергала, отвергал и он. Как и я, он старцу Зосиме с его малокровным Алешей противопоставлял его брата Ивана. Ему, как и мне, было нищенством и тщетой все пышные слова об «обществе», «человечестве», летящих вместе с Землей вокруг Солнца к некой будущей бессмысленной катастрофе — столь же произвольно-бессмысленной, как и отсутствие ее! Не утешало! Ничто! «Мир есть иррациональная очевидность», как позднее написал мне мой собеседник. И как это мне звучало! И как звучали ему мои сборы в Сорбонну, моя будущая книга о философах-отрицателях! Он загорелся ею.

— Как это все поразительно. Кто мог бы подумать... Такая юная женщина, — а знаете ли вы, сознаете ли, что вы будете первая женщина-философ? И вы так мало читали философов, собственно, не читали! Я бы хотел вам помочь на

этом пути... ваш ум, ваш талант — это же будет изумительная книга! — Вокруг нас уже все стихло, луна погасила берег, зашла за дом, море пропало. Шла глубина ночи.

Был какой-то мглистый час, море темно пропало в небе, их нельзя было различить. Но не с того ли начался разговор наш, что я припомнила, как однажды Алексей Николаевич (Толстой), когда мы стояли на берегу, глядя на большой низкий шар багровой луны, стоящий над морем, сказал:

— Представим себе, что мы — последние люди на земле перед концом света, что это — последний восход луны, наступают мгла...

И почему-то, когда он это сказал (я не люблю Алексея Николаевича, и Марина его тоже не любит, но он талантлив и владеет своим голосом), он сумел передать ужас этих последних людей...

И мне что-то Сергей Иванович ответил? И отсюда ли пошел виться ручей беседы — о земле, вертящейся в пустоте? О бесконечности, которую нельзя осмыслить, и о том, что нельзя осмыслить конца? На каких мостках над бездной встретились наши мысли? Только каким-то совсем незнакомым волнением всплеснулась эта бесплотная ночь! — Словно не мы говорили, а страсти наших мыслей, сходных, бросились навстречу друг другу в головокружительной схватке согласия, слияния, в изумлении, потрясенном признать себе тут равного, на высотах дерзостно горького одиночества, царственного доселе...

Но еще было одно, что делало эту ночь необычайной: мы отсутствовали как мужчина и женщина: этого знакомого, ненавистного транса, что берет тебя голыми руками и кидает в огонь, — не было. Собеседник не влек меня, и я не влекла его, так, по крайней мере, мне казалось. Как я была благодарна ему! И это было упоительно — свобода от тех чувств.

Ночь, сон всего побережья. Вдвоем и в такой безопасности! Безукоризненная сдержанность мужская — при уже слившихся наших умах в беседе — как это было ново, как чисто, лишено муты влечения. Что-то кристаллическое (в куске горного хрусталя, поднятом в Альпах) или когда смотришь в хрустальное яйцо, граненое, в бесчисленные,

закономерно-слитые в остром узоре искры огней). Каждое имя, называемое им или мной — Ставрогин, Иван Караматов, Кириллов, ибсеновы герои, чувявшие нашу бездну, космическую безнадежность бесконечности, которая поглотит все; нас, землю, над которой безутешно носится человеческая идея о Боге, небо, звездное, поразившее Канта, и вечный возврат Ницше (не в ту ли ночь я услышала впервые о вечном возврате от моего собеседника?), — все колдовало над нами в ту ночь под тихий плеск моря, не давая усталости проснуться и нас развести... Уже начинался рассвет, и где-то в деревне звуки начинавшегося нового дня... Я пошла к себе спать — перед утром (в этот чудный час, когда все еще спят и проснутся, как только ты уснешь), в час еще без теней и без шума...

В час, когда притаились и ночь и утро, слушая друг друга и себя. Я ложилась в блаженной усталости — от ночи такой беседы, небывалой еще, собственно, в моей жизни, от встречи (со скромным, чинным студентом-химиком!) с таким собеседником, от которого летела с плеч голова. Так понимать все! Безнадежность жить в бездне — то, чего никто не понимает, что никого не волнует (загипнотизированных каждый своим: скрипач — Скрипкой, актер — Театром, астроном — Астрономией) все с большой буквы), торговец — Мировым рынком, юрист — Правом), закрывая глаза на единственно важное: эту бездну, в которой мы зародились и погибаем и которая молчит о себе... «мир есть иррациональная очевидность»... Какое счастье (и как странно), что это не я сказала, что другой думал о том же и так же — такой (смешной?) подарок жизни: обрести близнеца «идеи», которая сдает тебя... И уже борол сон, и снилось уже что-то... и когда я проснулась — был день, шум моря, голоса, татары с чадрами, черешни и абрикосы, и мы шли с Мариной купаться, а перед вечером Форрегер пел Северянина, сидя по-мальчишески на перилах террасы, круглолицый, близорукий и милый, а потом смолк, и мы встали идти, а он (не хотел, чтобы шли?), дразня, испытывая, уже привстав для поклона:

— «Это было у моря...» (с озорной вкрадчивостью) — и мы, ответно ему улыбнувшись, остались...

Был день. Мы сидели, Ковалев и я, на краю обрыва и говорили о теософии. Я сказала, что хочу от Штейнера только ответа: можно ли в корне не желать существования и от бездны ли он спасает людей. Если на это следует «да» и «да» — то великолепно, и да пребудет теософия вовек! Оставьте Ивана Карамазова, больше ничего не прошу! А там хоть двадцать семь сфер!

Мой пример был таков: темная комната, в ней два человека, и каждому дана дверь с волшебным замком. За дверями — свет и Бог. Этим двум людям дана возможность, открыв волшебные замки, войти в свет. Не открыв замка, они падают в пропасть. И вот один открывает замок и идет в свет. Другой говорит так: «Да, меня, и комнату, и свет, и тьму, допустим, создал Бог. Но я не хочу идти к нему. Мне не нравится. Я брошусь вниз. Мне там будет лучше. Не трону замка!» — Вот и все!

Еще я думала вот о чем: завтра я возьму комок земли, сделаю из него шар и на него прикреплю много маленьких куколок, которые бы двигались сложнейшим механизмом, и все это на невидимой ниточке прикреплю к чему-нибудь, и другой, прекрасной, машиной приведу в движение. Шар будет лететь вот так: вокруг какой-нибудь лампы, которая будет его греть и освещать. Каждый, кто увидит мое изобретение, расхохочется и скажет: «К чему это? Вот странное занятие, вот выдумка!» А я скажу: «Нет, вы не понимаете. Я теперь всю жизнь буду смотреть на эту штучку, потому что я это создал и мне это интересно!» Мне скажут: «Брось, какой вздор! Всю жизнь, вот так занятие! Уж лучше воду решетом таскать, право! Ну да ведь завтра же бросишь!» Я думала об этом вчера.

Слушаю: «Поражаюсь совпадению наших мыслей! — сказал Сергей Иванович. — Поразительно... Увеличьте масштаб. Вдуньте дух в этих куколок, сделайте прочней механизм — вот вам и наше существование. Отделка исполнена лучшими ювелирами и художниками, вычурна, ослепительна, утонченно скомбинирована. Но основа всего — глупа. Почему же никто не хохочет и не говорит, что это — нелепая выдумка? Больно велико? Обратитесь к учебнику астрономии, тогда узнаете, как страшно мало?! И смеяться над такою выдум-

кой — из ничего создать что-то — очень логично. И затем: было ничто. Стало что-то. Но ведь когда-нибудь все вернется к первому состоянию, снова станет ничем? Как механизм испортится у моей машинки, так когда-нибудь и у вселенной сотрутся винтики. Ничто — что-то — ничто. Все стремится к первоначальному виду!..

— Вы превосходно пишете. И вы — женщина! Вам необходимо пройти школу философии, и тогда вы создадите книгу. Первая женщина-философ! — убежденно сказал Ковалев.

— Да, может быть, но школа эта дает мне только терминологию, изменить тут что-либо нельзя...

— Школа отточит мысль, — отвечал он.

И снова вечер, и снова разошлись кто куда, а мы, собеседник и я, на скамейке, будто не прекращалась беседа — и я цитирую на память страницы своего дневника (будущие «Королевские размышления»). Уже властней сегодня его голос, он (что-то не увлечен моей идеей Сорбонны) предлагает быть моим учителем философии. «Надо непременно пройти всю так называемую “школьную науку” — то, что читают с кафедр, — вам, с вашим умом, это будет легко — я могу быть вам гидом» (Любопытно! Забавно!) Но мне не нравится, что, только вчера узнав меня, Сергей Иванович осуждает мою московскую жизнь, убеждает, что я себя гублю, что она меня губит, что я должна бросить «всех этих писателей и поэтов», эту безрежимную жизнь — даже, может быть, богему отчасти — и должна «засесть за книги, от всего и всех отказаться, сосредоточить свои силы на одной философии» — и я уж смотрю на него неувовимо-ироническим взглядом, мне уже чуть-чуть скучно от этой «проповеди» и душно от чьей-то руки, наложенной на мою свободу — и не есть ли это опять тот насильный ошейник «дела», «специальности», то ярмо, которое мы вчера так осмеивали? Опять — заколдованный круг? Нет, вчера мне с ним было — лучше... Как скучно, что все учат: Эллис — Макс — тот.

— Я не люблю — луну... — говорю я, — лучи луны — да, но этот ледяной круг... А вы?

Жаркий день над отрогами Карадага, и мы вдвоем высоко в горах. Море — внизу, с извивами берега и Сердоликовой

бурхой, куда нас с Шаафом и Мишей несло на паруснике в ту бурю три года назад.

Я смущена. Мои движенья стеснены, мне не по себе, тоска тонкой струйкой обводит нашу прогулку, чем-то для меня — подневольную. Ирония и усталость уже обнимают меня. Зачем это случилось, что он, такой необычный друг-собеседник, вдруг стал меняться, как бывает в злых сказках Гофмана, как во сне, превращаясь во влюбленного человека, потерявшего силу и четкость, он, так пленивший меня в первый день? Даже вчера было лучше — когда был догматичен в своем восстании против «Москвы» во мне (петербуржец). Ничего и от петербуржца не осталось — влюбленный мужчина, как все (без малейшего, мне, обаяния... Как Марина бы меня сейчас поняла!). Он почти клянется — в страсти ко мне... почти молит — о близости. И еще более рассудочно, чем в тот первый раз, чем с Борисом — решив необходимость пойти на сближение ради того, чтоб человека не мучить и не биться о проклятый вопрос секса, а через него шагнуть, сохраняя достоинство человеческое, — я вторично (мгновенно!) решаю не отдавать борьбе времени, сил, сдаться (как кошка — в воду... раз уже надо плыть), пусть насытится этим во мне, раз ему и это во мне надо — лишь бы не утратить философа, палату ума, собеседника! И, вздохнув, я снимаю с пальца кольцо, обручальное, тем давая ему знак, обещание, — и бросаю его со скалы — вниз. Сверкнуло... и тотчас же смех, удержанный: он не понял, не увидел!

— Это что? У вас что-то упало? — сказал он.

Смех ли душил меня? Или горечь раскаяния (то колечко, из Борисова сделанное...), бесцельный романтический жест, идиотский. Тем, для кого он был предназначен — не замеченный... Но грация мига не дозволила холодности: раз уж в себе я решила на это идти — человек не должен был видеть, что собаке бросают кость... И, подавив вздох, я (сколько давала тоска минуты) старалась играть в нежность.

А в пейзажах Густава Доре, среди которых мы шли, жарко пылали тени в скалах, и синева была густа, как выпущенная на палитру краска, и над нами, в облаках (детских наших, альпийских), парили карадажьи орлы. И пахло детством. Вечером — обмануть же нельзя было!.. я пошла в комнату

Сергея Ивановича. Мне пришлось прийти еще раз! Он сиял. Я старалась не нарушить его иллюзии. Ждала же я только одного — дня его отъезда. Он близился. Марина утешала меня — что «скоро уедет». «Как я тебя понимаю!» — твердила она.

Из дневника 1914 г.

«Что то значит? Почему у меня всегда остается какая-то (в бесконечной глубине) тонкая ирония к тому, кому я принадлежала? И такое чувство, будто тот факт, что я ему отдалась, — ничем и никогда не сможет им быть мне отплачен, и даже, пожалуй, оценен. Словно отдача моего тела — факт настолько большой, что его не охватишь ничем. И смешно, что именно у меня, которая с такой легкостью и пренебрежением смотрит на этот вопрос, так не любит ему отдавать внимания!...»

Два слова, ошибочно мною употребленные, исказили все впечатление от моей книги «Дым» (1916); слово «всегда» и слово «с легкостью». Справедливость требует разъяснений: брак с Борисом, начатый, преодолев, при любви, дикий, психофизический страх сближения, ради него — его нервной системы, которой мое колебание и отказ в близости вредили: встреча с С.И. тем летом, когда я при полном отвращении к сближению с ним — на эту близость пошла, бросая кость собаке (его мужскому влечению ко мне) — ради скорейшего освобождения его от этой темы и возвращения к поразительному сходству в мировоззрении и философским беседам — мой ошибочный шаг, конечно. И третья завершенная сексом встреча, с отцом Гали, на которую я впервые решила пойти по простому влечению к человеку — нечто с виду «нормальное» после платонических дружб и влюбленностей. Вот что включалось в слово «всегда». Было же оно понято как «опыт женский» со всеми героями (!) моего бесплотного «Дыма», и в прессу Леонид Андреев дал обо мне статью, где (чуть ли не заглавие гласило?..) — «Кто-то погибает».

Слова же «с такой легкостью» в моих устах, после таких мук над этим шагом звучат просто иронией, горечью, озорс-

твом — после лейтмотива юности моей, весь «Дым» полнившего: «Только утро любви хорошо». Но лицемерие «общества» позволило иным криво истолковать и меня, и книгу, сочтя всех друзей моих, в ней упомянутых (!), за... любовников... И исправить уже ничего с «Дымом», создавшим мне ложную «славу», — не пришлось.

Увы, физическая связь и тут, как с Борисом, не вернула нас к тем беседам, к блеску ума. И когда настал день отъезда С.И.Ковалева, совсем не жалела, что он едет.

В нашей начавшейся переписке — было ясно его непонимание: он возвеличивал меня, писал о новом типе женщины, звал Геддой Габлер (героиней Ибсена)... Дело же было просто: я не верила в близость физическую и не любила его. Он писал о том, что, может быть, ребенок соединит нас, выражал надежду на это — я читала эту строку с содроганием. Но ловила иное в письмах, перечитывала места, где он писал о философии — писал блистательно! И где уговаривал меня бросить Москву, переехать в Петербург, где он сможет и сочтет за честь стать моим руководителем в изучении философии... Но я упорно мечтала о Сорбонне. Вскоре я сообщила ему, что мы оба свободны, что ребенка — нет.

Глава 2

МАСТЕРСКАЯ ВОЛОШИНА. ЮЛИЯ ОБОЛЕНСКАЯ. ВЕРЕСАЕВ. ПЕРЕЕЗД В ОТУЗЫ

Максина мастерская. Мольберт, этюды, пять полукруглых окон на море, выше, чем даже в церкви, и лесенка к книжным полкам, составляющим второй этаж, с узкой галереей, площадкой с диванами и столом, крышей над головой Таи-Ах, улыбающейся таинственной улыбкой, останавливающей его входящего, — стоишь, смотришь, вдруг забыв все... А морской шум — за фантастикой окон равномерен и бесчеловечен, как вечность, как смена ночи и дня, вечера, утра — покуда жив мир... и Максовы гости — кто-то приехавший, кто-то проезжающий, кто-то пришедший — слушают стихи.

— Максимилиан Александрович, еще! — говорит кто-то, и Макс, охотно, неумоимо и равнодушно к слушающим (?),

весь нацело перенесаясь от красок к звукам, — читает упорно и строго, как там — волны.

Когда люди, только что оторванные его строками от дня, заговорили, восхищаясь, участвуя, Макс стоял, полуулыбаясь в ожидании или готовности, и глядел пристально — учително? (это — терпенье?) светлыми, отсутствующими глазами поэта (слагающим следующую строку?), и, может быть, есть немного уже и усталости в этом крепком, как ствол коренастого дерева, теле, в этой сколько выдавшей, столько знающей голове...

Комната Пра. Как три года назад, отражение солнечного окна решеткой на полу, точно вход в волшебное детское царство. Все те же кресла, те же скамейки, шкафчики, полки — самодельные диваны, покрытые куском цветного полотна, кустарной дорожкой, заброшенные подушками. Стены — их нет: картины, этюды, фотографии и портреты в рамах, степной ковьль и шкафчики с коктебельскими камнями. Пра — одна, тот самый сказочный король, который с первого взгляда вошел в сердце — тому три года, сидит, маленькая, в своем расшитом шубуне (может быть, не король, а колдун?), в шароварах, нога на ногу, в сафьяновых сапожках. Седая грива подрезана у шеи, как у Листа, и старческая, бодрая еще рука стряхивает пепел папиросы. Орлиный профиль — на оконном стекле — как резцом. Я, как дома, брожу по комнате, то беря, раскрывая книгу, то всматриваясь в чье-то лицо на портрете, то любуюсь россыпью халцедонов и сердоликов. Молчать с Пра — так же хорошо, как разговаривать — это молчание легкое, дружественное. Она ничего не спросила меня о моей жизни, не упомянуто имя Бориса, но ее сочувствие — со мной.

Она ничего не скажет. Что могут слова? Будет молчать и курить; посмеется моей шутке, ласково взглянет — и знаешь, что она рада приходу, что ее сердце принимает тебя. А в моей руке — фотография, визитная, маленькая, в скромной рамке. Гляжу и гляжу — молодая женщина невысокого роста, в мужском костюме (верховом, со стеклом в руке). Светлые волосы, светлый взгляд, нос с горбинкой, горделивая и одновременно застенчивая прелесть девичества — из германской легенды? Узнаю ее тридцать лет назад, неуз-

вимую и ту же. А море за окном сверкает, и ровные взрывы волн — как сто и тысячу лет назад вторят нашему молчаливому единению.

Летом 1914 года у Макса гостила художница Юлия Леонидовна Оболенская, маленькая, худенькая, некрасивая, умная, обаятельная. Она была и живописец, и график, ученица Бакста, Добужинского, позднее — Петрова-Водкина. Пра прозвала ее Аладдином. Макс высоко ценил ее. Она много знала, писала стихи. Вот что Макс писал о ней своему другу художнику Константину Кандаурову: «Часто и подробно беседую с Юлией Леонидовной с очень большим интересом. Редкая начитанность по самым разнообразным вопросам. Открываю в ней все новые, неожиданные стороны».

Кандаурова я встретила в Москве у Эфронов, — помню его веселым, смеющимся, яркие глаза, рыжеватая борода. Кандауров был декоратором Малого театра, секретарем общества «Мир искусства». Приезжал ли он летом 1914 года в Коктебель — не помню, вскоре он женился на Юлии Оболенской и прожил с ней до конца своей жизни.

В те годы на дороге из Феодосии в Новый, к Коктебелю, у самого шоссе стоял домик писателя Викентия Викентьевича Вересаева. Еще в отрочестве я прочла его нашумевшую книгу «Записки врача», где была критика врачей, не всегда исполняющих свой долг. Впервые я увидела Вересаева — у Макса. Высокий плотный человек в потертом синем костюме. Ему понадобилась какая-то книга. Дружески поздоровались. Сквозь пенсне благожелательно, с сердечным вниманием смотрели его глаза на говорящего с ним. Мне показалось, что он похож на Чехова. Нет, сходства в чертах не было. Разве что в небольшой бородачке. Позднее я поняла, в чем было дело: и тот и другой были и писатель и врач, вот эта двойная внимательность к собеседнику — и врачебная и писательская — роднила Вересаева с Чеховым. Гражданская война застала его вместе с женой, верным его другом, в Коктебеле. В дальнейшие годы я встречала его в Москве, в доме Герцена на Тверском бульваре. Постаревший, удру-

ченный болезнью жены, он все же не оставлял литературный труд. Помню себя с ним стоящей в солнцем освещенной комнате в его квартире, где-то в переулках у Плющихи. «Я сейчас работаю над повестью о детстве нашем с братом, — сказал он. — Уже много написано. Эта работа меня очень увлекает». Долго ли он жил в Коктебеле? В последующие годы мне не удалось узнать. Но мне хочется упомянуть здесь еще об одних записках, напечатанных им в каком-то журнале. Назывались они «О смерти». Это замечательный материал врача и человека, факты, наблюдения и мысли о мужестве, отношении к смерти различных людей, встреченных им в жизни.

...Где жил тогда писатель, чье имя свяжется с этими местами? Еще не были написаны «Алые паруса», еще годы пройдут, пока автор их поселится в Феодосии. И десятилетия — пока в Коктебель придут люди искусства, чтобы тут воссоздать детство и юность Ассоль и, пустив по волнам, взять в объектив алый парусник Грея. Сказочная коктебельская бухта обняла их горами и морем — чтобы показать на высоко натянутом над залом и зрителями полотне, освещенном — словно с моря — прожектором.

А в любимой Грином Феодосии, в доме, где он жил, открыт волшебный музей его имени: его портреты, его книги о кораблях и кораблекрушениях, о мужественных суровых людях, о бегущей по волнам Фрэзи Грант. Музей парусников и шхун, где из угла залы выступает нос корабля, где живут морские фонари, и канаты, и подозрные трубы, унося с собой посетителей в карту Гринландии с новыми мысами и проливами, с городами Гель-Гью, Лисс, Зурбаган...

К А.Н.Толстому приехал племянник, студент, не понравившийся Марине и мне своей развязностью, и он тоже, должно быть, невзлюбил нас. Но сперва два слова о Толстом. Что-то было в его богемном барстве — хамское. Мы это остро чувствовали, отдавая должное его несомненной (и большой!) талантливости. Особенно отличался он как рассказчик — зоркий, насмешливый глаз, богатый юмором язык — пленяли. Знали мы, что его любит Макс. У него в то время была милая жена, Софья Исаковна, еврейка. Оба

они были героями повести под именами Артамошка и Епифашка. (К стыду своему путаю, кто был ее автор — Толстой?)

О жизни А.Н. мы слышали, что первым браком он был женат на акушерке и что (от нее?) у него была дочь, если не ошибаюсь, Марианна. Дружбы между А.Н. и нами — не было.

И вот однажды его племянник позволил себе по отношению к нам, за столом, какую-то грубость (я не помню ее). Мы оскорбились, вспыхнули (наверное, вышли из-за стола). Мы ждали извинения от студента. Он не извинялся. Мы считали, что А.Н. должен был на него воздействовать, но и этого не произошло. Тогда мы обе решили уехать из Коктебеля. Было жаль, даже очень, Коктебель был родным местом, но другого выхода не было. Сидеть за одним столом с этим хамом-студентом и не призвавшим его к порядку Толстым мы не могли.

Мы собрались очень быстро.

Теперь я не могу понять две вещи: явно, что не было с нами Сережи. Где же он был? И почему не уладил все Макс? Конечно, он уговаривал нас не уезжать, но мы не могли остаться. Марина решила ехать в Москву (значит, там был Сережа), я же выбрала для переселения — Отузы, береговые. Лишать Андрюшу еще месяца в Крыму я не могла. Марина собралась ехать со мной вместе, найти мне жилище. (Это было недели за две до неожиданного объявления войны.)

Отузы, между Коктебелем и Судаком (ближе к Коктебелю), делятся на две части: одна — на шоссе, другая — у самого моря (версты три? друг от друга). Их названия — Верхние и Нижние Отузы. Какая из них какая? Должно быть, та, что у моря — Нижние. Там мы с Мариной и выбрали место для меня на остаток лета 1914 года.

Разных вкусов на пейзажи, жилище, устройство — у Марины и меня никогда не было. С первого взгляда мы понимали, что — наше, что — нет. Никакой «комфорт» в месте при дороге и вдали от моря вообще не шел в счет, но и в тех Отузах, что близ моря, мы, спешно минуя «приличные» дачи с нарядными садиками и разговорчивой городской публикой, устремились вверх на холм (кто-то сказал, будто там что-то сдается в домике «Полештепе», хозяина там нет,

он в другом месте, живет там одна семья, ей поручено сдать комнату).

Легкими, веселыми, с детства привыкшими к горам в Альпах ногами мы вскарабкались по крутому подъему.

— Марина, как мне тут нравится...

— Мне — тоже! Что-то от Нерви. Воля — и море...

— И на Ялту похоже — на ту, дикую, с Чукурларом...

— Воображаю, как няне тут не понравится!

— Наплевать на нянь! Всю жизнь с ними считаться? Моя и в Москву не хочет! Я только и жду тот день, когда смогу одна с Алей справляться — она и так со мной все время! Только когда куда-нибудь идти надо... И еще — эти овощные супы! (дуэтом). Да и те они кое-как протирают! У тебя тоже? Я протираю сама! — И, в унисон: — Как тут чудно!..

Отлогая верхушка крутого холма — полуогороженный с одного края сад: два-три деревца. Открытый край недоконченной изгороди — спуск к морю, глубоко внизу синей глыбой со все тем же — серебряным столбом солнца, разбившимся в обе стороны вспыхиванием искр — даль.

Коктебель за хребтом Карадага — слева. Справа — неведомо что*. Позади нас (мы все не повернемся туда, закаменеет от радости высоты и далее) — дом — неказистый, под черепицей, с длинной (столбы) террасой. Мы наконец повернулись к нему: разница с Максиной (где столовый стол) террасой — ни веточки вьющегося винограда, ни признака жилья. Тихо. Не верится, что тут кто-то живет. Любопытствуя, мы пошли на разведку: позади дома — вход, на двери — замок, в окнах — что-то жилое. Значит, ушли. Марина повертывается ко мне:

— Здесь, хоть и дачи внизу, как край света. Здесь хорошо жить. Какая-нибудь лавочка должна быть, где они еду покупают. Если бы не Сережа, я бы осталась тут!

Кто-то из нас, с юмором (о себе? О Сиборе?). Вечером Сибор будет играть на скрипке.

— «Уймись, волнения страсти»...

— «Не искушай»...

Кто-то шел, слышались голоса. Нелегко дыша, подымалась женщина лет тридцати пяти—сорока, пышноволосяя,

* Судак.

средней полноты («милая» — двойное наше про себя определение). За ней, прыгая и толкая друг друга, — мальчик и девочка, лет десяти-одиннадцати. В голосе — улыбка:

— Дачники? Посмотреть комнату? Очень приятно. А то я совсем одна с ними. Хорошо здесь. Сердце, правда, немного... зато спокойно! Лавочка — под горой, почти — каждый день. Кругом — виноградники, винограду тут — уйма! Пойдемте, я вам покажу. Тут — контора, пуцелен добывают.

Мы обошли дом. Лицом к морю, конец той пустой террасы. Стеклянная дверь — поворот ключа — квадратная небольшая комната, окно на спуск с холма.

— Не мала вам? Ну, вот и отлично! Переселяйтесь, я скажу хозяину. (Она назвала цену.) Будем жить дружно. Мы — петербуржцы. Муж мой... (но ей, видно, не захотелось — о муже. Не от него ли отдыхалось ей тут?).

Пожав ее руку, дав задаток, кивая детям, мы сбегали с холма в знакомом чувстве, что жизнь покатила дальше по своему, нашему, рукой схваченному и сужденному — пути.

— Марина, что добывают?

— Я тоже поняла не очень. Запертую дверь на террасе — видела? Контора. Но ведь там только по субботам — она, по моему, сказала, приходят для расчета рабочие. Я слыхала, в Коктебеле роют что-то. Важно, что там не живут, только эта милая женщина... И что дети — хорошо, будут играть с Андрюшей!

— Марина, как жаль, что ты уезжаешь...

— Да, мы бы тут чудно жили! Но Сережа! И должен приехать в Москву его брат, Петя. Очень болен... Буду тебе писать! Ася, как хорошо, что ты освободилась от этого Сергея Ивановича, правда? Он тебе пишет? Пусть — пишет, но только не надо его...

Через несколько дней, простясь с Коктебелем, с Мариной, Пра, Максом, я переехала с Андрюшей и няней в Отузы. Уговорилась, где брать молоко, где — обеды и зажила под мирное ворчанье няни и лепет Андрюши, в ласковых встречах с соседкой Надеждой Олимпиевной. (Жалею, не помню ее фамилии. Попыталась бы ее разыскать.) Это была добрая и, видимо, несчастная женщина, тронутая некой чертой душевной оригинальности, в которой сплелись и спаялись ра-

зочарованность и мужественное отношение к жизни, почти веселая ироничность — в обаятельную и сдержанную ласковость. Мы встретились ненадолго, но мне с ней было легко. Коля и Люся были приятные дети.

Я не помню моих отузских дней, но мы, конечно, ходили вместе на море, может быть, за обедом. Андрюша, худенький и загорелый, привлекал внимание своей красотой и звонким, как колокольчик, голосом. Ему было около двух лет.

Сергей Иванович прислал мне книги Льва Шестова и некоторые из нечитанных мною — Ницше. Я читала в полном упоении. Писала в дневнике:

«...Я сегодня в первый раз — от другого получила точное объяснение Достоевского и Толстого. Эти слова — мои. Я хотела бы послать Шестову свою книгу с подобной надписью: "Г-н Шестов.

Прочтя Ваши книги, я осмеливаюсь Вам послать свою. Как говорит Шопенгауэр о читателе: «Мое последнее средство защиты — это напомнить ему, что он властен и не читая книги сделать из нее то или другое употребление. Она может заполнить место в его библиотеке, где, аккуратно переплетенная, несомненно будет иметь красивый вид. Или (это самое лучшее, и я ему особенно это советую) — он может написать на нее рецензию».

Г-н Шестов, или — милый мой друг, так же, как я, рвущийся к бездне (о, да не будут пустыми и громкими мои слова!), я жду Вашей «рецензии» — с радостью. Сколько строчек Ваших я подчеркивала и сколько полей исписала! Вам останется теперь повторить это с моей книгой, и — но пока, до свидания!»»

«Когда готов ученик, приходит учитель». И книги шли в руки: Достоевский, Розанов, Ницше — утверждая в замысле писать о них всех — о ранее живших, так и похоже думавших.* И все зрело — (накануне мировой войны, закрывшей границы!) решение осенью ехать в Париж изучать философию.

Я продолжала мечтать о Сорбонне и была занята обдумыванием повести о моей встрече с С.И.Ковалевым, начатой еще в дни его отъезда из Коктебеля, где я воскрешала

*О писателях неверующих.

блеск тех первых наших бесед о неприятии мира, об Иване Карамазове и Ницше — на скамейке у Максиного дома в те черные морские ночи. Я искала имени для этого нашего «ребенка», отбрасывая навязывавшееся и не нравившееся «Королевская игра».

Дни были жаркие. На холме было тихо. Я отделила шальями и чадрами кусок террасы и там утром и вечером с няней варила завтрак и ужин и часто писала письма и повесть. И туда — однажды, не Надежда ли Олимпиаевна? — принесла мне прочесть газетное известие об убийстве австрийского наследника и об объявлении войны — Германии. Царь заступился за обиженных славянских братьев. Сидя на террасе, я с волнением прочла манифест...

Борис? Сережа? Коля Миронов? Их возьмут на войну? Я было рванулась ехать в Москву тотчас же. Рассудив, решила ждать писем. И где Марина? Разумней было — дожить лето тут, где жизнь уже налажена. На еще один внезапный переезд как-то не было сил.

Глава 3 БУРЯ В ОТУЗАХ

На склоне тихого золотого дня, уложив Андрюшу, я с няней собиралась ужинать. С дачи Сибора таяли длинные звуки скрипки, будя воспоминания о вечерах в Трехпрудном, о любимых Марининых и моих пластинках Глинки (патефон с раскрытой, как лепесток лилии, темной деревянной трубой) — «Не искушай меня без нужды», виолончель...

Я стояла в моем уголке веранды, отделенной протянутыми меж столбов шальями и чадрами, за которыми я писала за столиком и где часто, в теплые ночи, спала. Тут же, на другом столе, мы готовили Андрюше еду и себе немудреный ужин. Разведя примус, я только что вылила на сковородку яйца, когда вдруг налетевший ветер, засвистев, сорвал парусом надувшиеся шали, смел со стола полетевший горящий примус, сковородку, тарелки, кастрюли. В поднявшемся скрежете, во внезапной мгле застучали, ударяясь о стол, о топчан, о меня куски снега и льда. Блеснула молния, и рух-

нул гром, точно загрохотали все горы. Я убежала в комнату, крича что-то насмерть перепуганной няне. Вместе с ней, напрягая все силы, мы еле притянули дверь в дверную коробку, и ключ щелкнул.

Но беда крепла: град бил в окно. Град! Градины гремели, как камни! Сейчас выбьет стекло — и буря ворвется в комнату, — Андрюшина кровать в двух аршинах от окна. — «Ч...т возьми этот Крым», — закричала я, мечась возле ребенка в раздранном бессилии, но, как молния, ударили няню мои слова.

— Бога вы не боитесь! — крикнула она в ужасе. — Нешто в таку погибель чертыхаются?! Люди молятся, а вы...

Слепящая молния, грохочущие раскаты, удар, точно по самому дому, снова молния — и отчаянный крик няни, прильнувшей к стеклянной двери: «Вся галерейка рухнула!»

Я бросилась к двери, но во тьме за ней ничего не было видно. Чтобы слышать друг друга, мы кричали. (А Андрюша сладко спал в своей постельке...)

Молния! Моментальным снимком — пустота, перед дверью, вместо веранды, на толстых столбах — груды развалин, куски черепичной крыши. Молниеносное продолжение («галерейки» — летней пристройки) — наша комнатка! Рухнет следующим ударом — на нас! Я кидаюсь к вешалке, срывая все, что на ней, и, бросив на Андрюшу, пытаюсь сразу забрать всю мягкую грудку и Андрюшу под ней. Спотыкаясь о что-то свесившееся, сгибаясь от тяжести, бегу к двери.

— Откройте! Дверь! Бежим! Нас задавит!

Причитая, споря, молясь все вместе, няня, натужась, повернула ключ рвущейся с петель двери, которую вышвырнуло наотмашь о стену, и мы выбежали, няня за мной — в ледяной хаос и тьму. Ноги, застревая в сыпавшемся из-под них, пытались бежать, — но куда? Шум, холод. (Я вспоминаю, не было мысли — куда, только — прочь.) Но уж не было сил: ноша гнула меня, комья града уж два-три раза попали по стриженной голове, мокрое платье облепило, свивая ноги. В этот миг блеснула молния, осветив распахнутые бурей двери в капитальную часть дома. Спотыкаясь и падая в наставшей тьме, мы бросились туда, проваливаясь меж обломков галереи. Свист, вой, грохот неслись с нами.

О счастье! Под ногой — пол!

Я упала вместе с моей ношей, запутавшись в какой-то одежде, и только тут проснулся в ворохах платьев, пальто — Андрюша, от падения со мной, на меня и, может быть, от жары на него наваленной — посреди ледяных вихрей.

Няня молилась, благодарила Бога, помогала мне расстелить вещи, устроить Андрюшу, затем мы стали ошупью двигаться в помещении конторы, стараясь уйти в самый дальний угол, щупая — нет ли где спичек, чтобы его осветить.

Блаженно отдыхая от пережитого, засветив найденный огарочек, мы располагались на ночь в чужом месте, бросив на произвол судьбы свое жилье, радуясь, что есть во что переодеться и чем покрыться, забыв, что нам нечего есть, прислушивались к будто стихавшему вою хаоса, за закрытыми с трудом дверями конторы*.

В это время послышались какие-то странные звуки и даже будто бы голоса Коли и Люси. Затем уже стало ясно, что они и Надежда Олимпиевна, мать их, зовут нас и что-то делают за задней стеной конторы. Они пробивались к нам.

— Помогите нам расшатать дверь, — глухо неслось оттуда, — у нас тоже все рухнуло, нас завалило снегом...

— Помогаем, сейчас сделаем...

Вскочив, с зажженным огарком няня и я отцарапывали заклеенную обоями дверь, несколько минут усилий с той и нашей стороны — дверь поддалась, и в открывшийся ход полувошли-полувползли через груды стекла и снега — измученная мать и двое перепуганных детей. Руки их были изрезаны разбитыми стеклами окна, через которое они, по колена в снегу, прокопались к заклеенной двери.

Обмывая окровавленные руки водой из конторского ведра, — воду няня поливала им из кружки, они приходили в себя, радуясь, что мы вместе. Гром и град стихали, молнии стали реже, мы улеглись на полу, кто на чем (Андрюшу мы уложили на стульях, он проспал весь ураган, проснувшись лишь ненадолго).

Мы уже засыпали, когда издалека, громче и громче, раздались раскаты.

— Что это? — сказал кто-то из нас. — Слышите?

* Окон в комнате не было.

Неслось растущее завыванье уже было стихавшего вихря.

Это было как раз когда я, глядя во мрак (огарок мы потушили), сказала себе:

– Я видела изначальный хаос. Я была в нем.

Хаос возвращался. Вой ветра креп, переходил в рев, Коля и Люся тихонько плакали, мать, не в силах их успокоить, сидела, приподнявшись на полу, как и мы. Мы придвинулись теснее. Как дороги были мы друг другу сейчас!

Няня шептала молитвы. Скрежещущий холод вновь рвался к нам в двери. Град бил о них и о ставни окон каменным ливнем. Свет молний то и дело озарял контуры, столы, шкафы и наше цыганское логово. Это была круговая горная буря, возвратившаяся – винтом между гор.

Странно сказать: страх, испытанный в начале первого действия, заставший нас в летнем помещении, потребовавший от нас активности, был легче перенесен нами, чем ужас возвратившегося урагана, застигшего нас в месте прочном, но в вынужденной пассивности. Неизвестность исхода, небывалость происходящего в черно-белом от снега мраке – отнимала надежду. И когда, в отчаянии, теряя веру в спасение, мы слушали утихание отлетавшего грома, мы уже не блаженствовали, как час назад, когда, сойдясь в безопасности, отдыхали от голосов хаоса. И когда, обессиленные, мы стали полусзасыпать, как щенята, на груди сырого, мягкого тряпья, но хаос возвратился в третий раз, с не меньшей силой, по закону винтовой бури, полуживые, в отчаянии от непонятности происходящего, мы уже не верили в то, что это когда-нибудь кончится. Мы уже ничего не ждали. Мы перестали понимать безопасность капитальной постройки. Что могло гарантировать ее в таких громовых раскатах, под такими потоками ливней и ударами льда?

Все стало зыбко, призрачно. Мы ждали конца. Наш конец казался возможней, чем конец изначального хаоса, окружившего нас.

Андрюша плакал. Коля и Люся – милые! – утешали его. Если бы мы помнили в ту бесконечную ночь надпись на кольце Соломона – «И это пройдет!»...

Буря прошла. Еще во мгле рассвета к нам постучали, и вошли с фонарями трое мужчин в сапогах, плащах, с гор-

ными палками. Один из них был с дачи Сибора. С них струилась вода. Они обходили отдаленные дачи — узнать, все ли живы, не нужна ли помощь. Провожая их, мы, став на пороге, не узнали ландшафта.

Все было серо-желтое, виноградники смыты, море на широкую полосу от берега — коричневое, мутное. По развалинам мы добрались до нашей комнатки. Она уцелела и была полна снега.

А когда совсем рассвело и встало солнце — предстала картина обезображенной, опустошенной долины: со всех подножий гор исчезли ковры виноградников, все было залито грязью, сады стояли привидениями побитых деревьев. По узкой дороге меж стенок садов, по которой нам приносили из Нижних Отуз почту, — теперь шла бурно коричневая река, и по ней, как в «Медном всаднике», плыли деревянные предметы утвари и обломки жилья и заборов.

Дачники разъезжались, то есть укладывались, ожидая сигнала сходитья, съезжаться на сборный пункт, откуда должны были нас отправлять партиями в Феодосию, Коктебель, Судак. Жаль мне было прощаться с Надеждой Олимпийной.

— Семьдесят лет не было такого горного урагана, — говорили о случившемся старики.

Мы уехали в Коктебель. Макса уже там не было — он еще в июне выехал за границу. Мы уехали к Пра.

Часть двадцать вторая МОСКВА. ПЕТРОГРАД. ВАРШАВА. МОСКВА

Глава 1 МОСКВА

Когда в конце лета 1914 года мы вновь оказались в Москве, это была уже другая Москва — военная. Шли маршевые роты. В наш дом в Трехпрудном, № 8, где мы родились и выросли, мы никогда не вернулись. Брат вскоре отдал его под лазарет для раненых, которых уже свозили в Москву. С уходом дома, где еще незримо с нами жили папа и мама, с началом войны, кончилась наша юность. «Ты, чьи сны еще не пробудны, / Чьи движенья еще тихи...»

В эту осень нам исполнилось — Марине двадцать два, мне — двадцать лет.

Мнения о длительности войны, как и отношение к ее «наружности», разделились. Многие тогда считали, что она скоро кончится, более зоркие умы — негодовали. Выехавший за границу перед самым началом войны М.А.Волошин слал матери, рискуя, — письма могли быть прочитаны, — обличительные антивоенные стихи; выступал с той же оценкой войны в Швейцарии Ромен Роллан. Мало сведущие в делах политики, мы ждали конца войны. Но была еще одна причина, по которой Марина не со всей мощью своего восприятия переживала те военные недели: помимо того, что еще никого из близких на войне этой не было, помимо того, что мы недооценивали ее, ожидая скорого

конца, Марина, приехав из Коктебеля, застала в Москве смертельно больного брата Сережи, умирающего от туберкулеза, Петра Яковлевича Эфрона, приехавшего из Франции. Это горе, горе его последних дней, нежной дружбы их, поглотило ее.

И был еще бытовой вопрос: где жить? Все как-то вокруг рушилось: дома в Трехпрудном не было, в ее доме на Полянке — чужие... Марина приехала с Полянки — расстроенная.

— Знаешь, Ася, оказалось, что эта больница не нервная, а психиатрическая... Они не хотят выселяться, Ч—ровы! Выселить их судом? Кто это будет? Сережа? Я? И въезжать туда после того, как там сумасшедшие жили? Я не хочу там жить! И потом — знаешь, я, когда вошла в этот дом, поняла, что он мне совсем чужой! И совсем он уж не так похож на Трехпрудный. В нашем простор был... было в нем *волшебство*... И какие-то запахи там чужие — мне даже страшно немножко сделалось — как мы там жили? Почему мне так не понравилось? Такое все сжатое, низкое... Ни за что не хочу там жить! Пусть там живут сумасшедшие! Правда? Им — все равно, там каждый в *своем* мире. А нам с Сережей все эти миры их теперь — на себя... Они будут нам сниться!

Марина близко мне взглянула в лицо. Глаза ее, с расширенными зрачками, глядели близоруко и гипнотически...

— У тебя сейчас глаза как у кота, — сказала я Марине. — Я очень рада, что ты не будешь жить в том доме. Я его никогда не любила, а только терпела, чтобы не огорчать тебя!

— И мне ничего не сказала. Ася, ты — свинья... Ты должна была мне сказать о нем — правду!

— По-моему, Сережа пробовал, чуть-чуть. Но разве ты бы послушала?

— Не послушала бы, конечно, нет... Но сколько можем мы жить у Лили и Веры? Если бы у тебя была квартира, мы временно у тебя пожили и искали бы... Но ты ведь тоже должна искать? Но только не будем искать в Замоскворечье, это совсем чужая Москва! Надо начинать искать. И я так рада, что Сережа сдал экзамены... Но теперь у него другая фантазия — сразу в университет. Смерть Пети так на нем отразилась, ему надо скорее домой куда-то, в покой... Опять затемпературил (вздых). Ну что же, завтра — начну. В пе-

реулках Арбата, Пречистенки, Поварской... Ведь Ч—ровы будут нам платить за этот дом! Как ты думаешь? Не очень аккуратно платят. Но все-таки платят. Вот это и будет идти на плату за квартиру. Зачем этот «собственный» дом?..

И опять началась эпопея поездок, дворов, милых и не милых переулков, переговоров с хозяевами, сравнений, где лучше, где просторней, где есть хоть тень сходства с Трехпрудным... Знакомства и разлуки с собаками и с кошками.

Глава 2 «МОЙ ДОМ!» (ДОМ В БОРИСОГЛЕБСКОМ)

Я нашла, скорее, мне попался особнячок в три комнаты, кроме передней, на улице, выходящий к Зоологическому саду, — Верхнепрудовая.

— Опять, как первая твоя квартира, где-то у Пресни? — сказала Марина. — Я понимаю, там недалеко мать Бориса живет, она так любит Андрюшу — и тебя любит, знаю... Нет, я хочу где-то в арбатской части Москвы.

И она продолжала искать.

Я уже перевезла свои вещи со склада Ступина, где они год стояли на хранении, в домике у Зоологического сада уже их расставила, когда ко мне ворвалась Марина.

— Ася, нашла! Нет, нашла уж по-настоящему! Вот это будет Мой дом! Это тебе понравится, знаю! Знаешь где? Борисоглебский переулок на Поварской! В двух шагах от того домика на Собачьей, с камином, откуда тебе пришлось выехать весной тысяча девятьсот тринадцатого.

— Но ведь я поселилась на каких-то два месяца, до отъезда на хутор с Борисом — именно в Борисоглебском! Какой номер дома *этой* квартиры?

— Дом *шесть!*

— Шесть? — сказала я пораженно. — Значит, это судьба! Неужели ты сняла *мою*, ту квартиру? Первый этаж, справа от ворот флигеля?

— Не первый, а второй и третий этаж! — сказала Марина радостно. — И не справа от ворот — *слева!*

И Марина стала рассказывать:

— Входишь — темно, потому что не горит лампочка. Ну, это вставим! Проходишь площадку — есть ли справа квартира, я не заметила, слева — есть! Начинается лестница; первый марш — площадка. Поворот, второй марш. И площадка (тут *горит* лампочка); справа — высокая дверь; двойная. По-моему, она красного дерева (я не видела еще красного дерева входных дверей). Очень похожа дверь на наши диваны: два — в гостиной и Сережин диван. Передняя какой-то странной формы, вся из углов — потому что одна дверь впереди, одна как-то наискось, стеклянная. Справа — темный коридор. Потолок — высоко... Тут все начинается! Дверь открывается — ты в комнате с потолочным окном (сразу волшебнo!). Справа — камин. И больше ничего нет. Я так вдруг обрадовалась, — но, знаешь, это не так, как — там. Это — серьезно. Я уже в этой комнате почувствовала, что это — *Мой Дом!* Понимаешь? Совсем ни на что не похоже! Кто тут мог жить? Только я! Сережа бы и то не согласился... Но и ему, и мне есть там *другие* комнаты, — слушай! Проходишь через эту потолочную комнату — а там темная, маленькая. Ощупью доходишь до двери — двери двойные, высокие — и вдруг ты в зале! Зала, понимаешь? Справа — окна. Во двор! Три окна. Это будет Алина детская — чудно! Они с Андрюшей могут тут бегать, как мы в зале бегали... И шары воздушные, красные и зеленые тут будут летать, как у нас — высоко... Помнишь, как у нас улетали?

— Еще бы!

— Тут будет Алино *детство*. А справа от высоких белых дверей — надо *назад* выйти — маленькая темная дверь. Я вошла — моя! Понимаешь? *Такая странная* комната — и такая *родная*... У окна (во двор, оно под углом с Алиным!), почему так получается — непонятно, я поставлю мой письменный стол. Больше ничего, собственно. Люстру повешу — я еще не купила! Куплю, маленькую, не пышную. Да, и диван — чтобы спать — у стены против двери, справа, за спиной, когда за столом буду сидеть. Тут стена как-то изгибается, непонятно — и справа углубление: здесь станет мамин книжный шкаф, и на нем — бюст Амазонки. Углубление нарочно для шкафа. Но встанет ли на нем Амазонка? —

вдруг засомневалась Марина. — Шкаф мамин очень высок... Его можно в Алину залу — вот и все! А на секретер — Амазонку! А окно мое — прямо в голубей; их на наружном подоконнике — тьма... Большая фортка. И такой уют в этой комнате — она маленькая, но в ней дух дома! Подожди, еще целый этаж! Да, вот это — МОЙ ДОМ. А Сережа — отдельно, как мы в детстве — наверху: ему тишина — заниматься... Чтобы попасть во второй этаж этой квартиры, — продолжала Марина, — надо пройти маленькую темную комнату, первую, с потолочным окном (позади остаются еще — моя, Алина — сколько это? Четыре комнаты) — выходишь в переднюю, а она неожиданно изгибается — и не резко, не поворот, а какие-то полукруглые стены — и подходишь к лешенке. Ее продолжение вниз — это выход на черный ход, а я говорю про ту, которая *вверх* поднимается. Я не помню, совсем прямая она, как у нас было в Трехпрудном, или там есть поворот. Если есть — он не резкий, а, как та стена передней, — округлый. Ты следишь? Наверху — площадка, верней, пол небольшой проходной комнаты. Направо — дверь к кухне, а влево две двери, одна за другой. От запаха кухонного. За ними, влево — Сережина комната. Ася, это знаешь что такое? По-моему, это каюта! Во-первых, в нее попадаешь не сразу, а тут еще какой-то переход, полутемный — преддверие. Иходишь по ступенькам — в разлатое, невысокое — антресольное — что? Мне показалось, тут должен быть иллюминатор; за ним — волны. И, может быть, это все — корабль... Да, что-то кораблинное есть в этой квартире — и *это* такая прелесть... Все комнаты — сами по себе, понимаешь? Это сборище комнат, это не квартира совсем! Как будто часть замка. Откуда-то ее пересадили в этот дом № 6! К Сереже надо внести диван — напротив двери, перед ним — стол. Все уже есть, красное дерево. Справа — окно. Такой глубины амбразурное — и выходит оно на крышу. В голубей! И оно *над* окнами Али... Но кажется, что высоко. Как мама мечтала, для воздуха...

И еще — кухня! Если от Сережи — и прямо. Знаешь какая? Совсем непохожая! Не кухня! Очень большая, тоже разлатая, в два окна — это все *направо*, и совсем непонятно, куда эти окна выходят — тоже во двор, должно быть, — но не

может же двор обходить все комнаты! Там должен быть другой дом, дом соседей... Ну, это все равно не понять! Такая квартира — будто ты в ней давно живешь, так все понятно, точно это все ты сам сделал... Как во сне! Как я давно его искала, этот *Мой Дом!*..

Я в этот же день пошла туда с Мариной. И — удивительно: точнее нельзя было описать его! Ходя по комнатам — я все *узнавала*, точно я тут уже — *второй* раз.

Только внизу, то есть во втором этаже, я спросила Марину, почему она не рассказала о самой первой комнате, которая находилась прямо напротив входной двери.

— А, — равнодушно сказала Марина, — это даже просто лишняя комната, мы ее, наверное, сдадим. И так хватает! Пять, кроме кухни! Совсем обыкновенная, не вписывается в эту квартиру. Комната-отщепенец...

Да еще наверху я обратила внимание на мало заметную дверку, между Серезиной и, на площадке, уборной.

— А это просто каморка! — отвечала Марина. — С окошком, правда, но до того мала — одна кровать или один стол — для чего такая нужна?

Кто мог бы поверить в тот день, что когда-нибудь я вспомню эти слова Марины, горький час жизни! Но будущего — кроме гадалок? — не знает никто.

Кончался 1914-й, наставал 1915-й. Что он готовит нам? Каждый год так восклицают люди, а если спросить, чего ждуть?.. *Anticipation*, чудесное английское слово! Предвозвестие, предвкушенье? Увы, война не кончалась. В дом в Трехпрудном свозили раненых, в доме Марины на Полянке, с такой любовью найденном, врачи лечили сошедших с ума людей...

Наши дети росли, им уже пошел третий год, они говорили, они столько уже понимали...

Обожаньем взаимным дарили друг друга Марина и Аля, Аля знала уже столько стихов... Но над домом их, войной обойденным, хранимым (Серезе по Университету была отсрочка), притаился другой страх, неумолимым молчанием отвечавший на Маринин вопрос: выживет он? Температура... Как наша мать, не хочет есть ничего, что борет

болезнь эту, *не может* принудить себя... Грозная память об ушедшем его брате бросала на все — тень.

Неутомимо следила Марина за режимом больного, за открытой форткой его на самой большой в квартире возможной высоте — тут исполнилась мечта нашей матери: «Когда мы вернемся в Москву, — говорила она нам и во Фрайбурге, и в Ялте, — я, дети, поселюсь *выше*, чем ваши комнаты, над крышей парадного, на чердаке, в мансарде. Окно будет открыто и в мороз, как в Leysin, там холодом облаков горных лечат туберкулезных...»

Сережина комната воплощала эту мечту, до которой не дожила наша мать, в Тарусе, в жару умершая, за полгода до московских морозов.

В комнате, похожей, по Марининым словам, на каюту, роль кровати играл старинный диван с гнутой спинкой красного дерева и гнутыми ручками; с кресел таких же сметалась и выбивалась пыль. Любимые его, мальчиком еще, полководцы: Суворов, Кутузов, Нахимов, Корнилов, герои Севастопольской войны — глядели со стен, со старинных гравюр багетных рам. Сережа не отрывался от книг. Такие же два дивана стояли внизу в столовой, у правой и у левой стены, над ними тоже гравюры. Полыхал огонь в камине, за высоким потолочным окном смеркалось, в высоких дверях, из темной проходной комнаты выбегала дочка Сережи — так на него похожая! Как и он, с огромного разреза глазами. Но в то время как его лицо, длинное и худое, делало темные его глаза почти неестественной, о болезни напоминая, величины, — Аля походила на английское здоровьем цветущее эбби светлой гривкой тяжелых пышных волос, на лбу челкой подрезанных, и, подняв к матери, поправлявшей дрова, глаза, светлее, чем голубые, гортанным голоском говорила:

— Мама, идемте в детскую, там сейчас *так* хорошо... посмотрите, как спит Кусака!

(Я не помню, с каких лет Аля стала звать мать — Мариной.)

В детской на трех окнах спущены занавески, и почти во всю ширь — серый с узором рыжих листьев ковер, ковер из маминой гостиной в Трехпрудном. Мамин книжный, орехового дерева шкаф торжественно стоит в левом углу. Он

оказался слишком высок, чтобы на него поместить бюст Амазонки. Амазонка смотрит вниз на Маринину комнату со старинного темного секретера, привезенного из арбатского антикварного магазина. Над кроватью Али — картины сверкают рождественским снегом, как кусок звездного неба.

— Марина, это *твоя* детская сохранилась?

— Чудом! Второе детство... Алечка, скоро спать пора. Няня где?

— Еще чуточку!.. Няня молоко в кухне греет...

Мы в Марининой комнате. Аля ластится о мать. Напротив двери, чуть вправо, над спартанским ложем — пружинный твердый матрац. На дощатой раме, крыт рыжим рядом — висит портрет Сережи, почти в натуральную величину.

— О, Магда закончила? — я, отойдя, чтобы лучше охватить взглядом. — Хорошо... Чудная кисть ее... и *очень* похож!

Сережа смотрел на нас, лежа в шезлонге, и была во взгляде его тишина.

— Марина, все твои мечты о твоём доме — исполнены? Какая удивительная люстра! Синяя...

— И за грош отдали — в ней по синеве — трещинка. Но правда — волшебная вещь?

— Секретер точно для этого угла был создан!

— Да, вещи сами идут в руки, когда их ищешь! — оживляясь от моей похвалы, отвечала Марина. — А лисы чучело вида?

— Как кошка свернулась, раковиной?

— Да, так спят...

— Мама, Кусака! — кричала, вырываясь от няни, Аля, отбиваясь от нянинных рук, ей не давая, перевалила в руки матери дымчатого серого кота.

— Аля, это не кот, это чудо какое-то... Он *все* понимает.

Марина целовала в голову Кусаку, выгибавшего шею, как лебедь. Закрывая за дочкой дверь, обещая прийти на ночь проститься, Марина сказала:

— А шарманку до сих пор не нашла... Можно подумать, я идиотка? Война идет, а я шарманку ищу... Но это же душа нашего детства, с ними уже не ходят по улицам, пусть играет Аля в этом углу!

— И Амазонка твоя будет слушать, наклонив к ней голову.

— Ах, Ася! — сказала, вдруг вся меняясь, встрепенувшись в свою тоску, Марина. — Я дописала вчера стихи старшему брату Сережи, Пете.

Она перебирала бумаги на девическом своем, в Трехпрудном ей подаренном папой, письменном столе — большом, мужском, нетемного дерева, с темно-красным сукном.

— Слушай: ...начало ты уже наизусть знаешь. Вчера я докончила:

Осыпались листья над Вашей могилой,
И пахнет зимой.
Послушайте, мертвый, послушайте, милый:
Вы все-таки мой.

Смеетесь! — В блаженной крылатке дорожной!
Луна высока.
Мой — несомненно и так непреложно,
Как эта рука.

.....

Глава 3 МАРИНА И ПЕТЯ ЭФРОН. МАРИЯ ИВАНОВНА КУЗНЕЦОВА

А я живу на новой квартире — на Верхнепрудовой, 6, вбок, влево от входа в Зоологический сад, если встать лицом к Большой Пресне. Особнячок, три комнаты. Там, впереди, жили (живут!) Трухачевы (Ирина Евгеньевна и сыновья). По озеру Зоологического сада мы катались поздно вечером 15 мая 1911 года — Борис и я, когда я ушла из Трехпрудного вместе с ним на глазах папы.

Москва полна ран и могил, никому не зримых среди переулков, садов, скверов. По ней моим (Марининым!) ногам — больно ступать, — но ступаем! Марина (по какой-то случайности?) сняла квартиру в Борисоглебском переулке, куда я переехала за один год с Собачьей площадки. Но этого мало — она сняла квартиру именно в доме, где

тогда поселилась (до лета) я — только в другой части дома: я жила справа от ворот в первом этаже, Марина — слева от ворот — во втором.

Тревога Марины о том, что Сережу могут взять на войну, была, видимо, позади, так как он поступил в Московский университет на филологический факультет (папы не было, чтобы порадоваться!) и, должно быть, студентов в начале войны не брали. Да никто и не ждал тогда, что так задлится, на годы, война.

Бориса и встреч с ним в первые дни в Москве я не помню. Может быть, он был еще в Ярцевке?

Другое встретило меня в Москве и поглотило — в рассказе Марины: ее встреча с Петей Эфроном, старшим братом Сережи, их короткая нежная дружба — и его смерть... Марины рана сочилась. Она говорила мне только о нем. Рассказы смешивались со стихами ему, их цикл рос.

Как год назад я рассказывала Марине о моей встрече с Сережей Трухачевым, старшим братом Бориса, так теперь она рассказывала мне о своей встрече с Петром, так похожим на Сережу, но молчаливее, но еще трагичней, потому что был в жизни несчастлив. А в дни их встречи — был при смерти. Она рассказывала мне каждое его слово, ей или при ней сказанное, передавая каждую интонацию, и я слушала, замерев, ее боль, все росшую от часа встречи (зачем так поздно!) до часа утраты, до лицемерия посмертной маски, торжествовавшей жизнь — в полуулыбке легших в покой черт — глаз, сомкнувшихся и не сдавшихся смерти губ. Могильный холм, в который врезался — прощаньем? — ее лоб, был тоже еще он... И он цвел в стихах, растя и грозя не умереть вовсе, заполняя ее существо.

Любя Сережу и Бориса, мы не могли не любить так на них походивших братьев, как Нилендер не мог не любить нас двух... Была ли эта любовь изменой? Кому?

Марина рассказывала о том, как она шла к Пете в первый раз, волнуясь и не зная, какой он, и как его увидела, и о чем они говорили, и как трудно ей было обедать у них. (Все это есть в ее стихах Пете.) О разящей прелести его лица и движений смертельно больного, борющегося, пробовавшего шутить, быть братски-галантным, не показывать, как ему тяжело...

Говорила о женщине, фривольной и бессердечной, бывшей ему женой, его бросившей. Об их маленькой дочке, умершей ранней весной (ее, крошечную, катал в нищей колясочке четырнадцатилетний Котик, в свою последнюю перед самоубийством зиму).

Все это ей было так дорого, что только мне она могла сказать все это, мне — в стихах, в вечность... о том, как за несколько часов до его смерти она, от него не уходившая, подошла к окну (или вышла на балкон?).

— Ася, в небе стояло огромное облако, и в нем была голова Пети. Его профиль. Как он лежал. Это было не сходство, а тождество — я стояла, не могла отвести глаз. Некому было показать, чтобы тоже увидели — я стояла и смотрела одна. Меня трясло. И облако — таяло, не плыло... Я вошла назад к нему, в комнату... — так она говорила, как в тихом бреде, и нельзя было ее отвести от боли никакой радостью.

Я благодарна ей за то, что она мне подарила себя в этом. До Пети она никогда не делала этого, все таила в себе — об умерших (Наде Иловайской, Анне Ивановне Изачик и не счесть их числа...)

После ее отъезда в 1922 году из Москвы маска Пети много лет жила в верхнем ящике бабушкиного комода вместе с маской нашего отца. Оба улыбались одной улыбкой — полуулыбкой смерти.

Но жизнь берет верх над смертью. Несколько недель спустя.

— Ася! — сказала мне Марина в одно из наших первых свиданий. — Борис ухаживает за одной знакомой Веры Эфрон. Актриса. Талантливая. Вера сказала, а она редко кого похвалит. Я ее видела. Невысокого роста, большие глаза. Прямой нос. Тонкий рот. Красива. Но я Бориса ей не отдам. Ни за что! Борис — твой. А она — Змеевна. Мария Ивановна Кузнецова. Играла в «Эрмитаже», у Суходольской, теперь, кажется, у Таирова.

— Господи! — удивилась я. — Почему так? Ведь мы — разошлись! И никогда вместе не будем.

— Почему же так? Не знаю. Не хочу этого! Он не будет с ней, вот увидишь!

— Марина, ты очень странная! А я — может быть, совсем не ревнивая? Мне даже интересно! Ты их видела вместе?

— Нет. Мне говорили. На «Трех сестрах», кажется, а может быть, в другой пьесе, в студии Комиссаржевской — она так играла, что Борис на весь партер крикнул: «Смотрите же на нее!..»

— Это еще интересней. Борис, такой каменный часто. Мы с ним были у Незлобина (с ним, с Бобылевым, с Мионовым...) — как Жихарева играла Настасью Филипповну — потрясающе! — но ничего подобного Борис не... — значит, еще лучше играла! Я бы хотела ее увидеть!

— Да? Правда? Это можно устроить, если хочешь. Она живет в оборотнике, с другой актрисой, армянкой. (Сама она — русская.)

Глава 4 ВОЙНА. ВЕСТЬ ИЗ ПЕТРОГРАДА

Война! Как ножом отрезало многих друзей. В каждой семье не хватало кого-то. Толя Виноградов, Сережа и Петя Юркевичи, Володя Цветаев старший, Сережины и Борины товарищи, Мионов — все уже были — кто в военных школах (Коля), кто (Володя Павлушков, врач) — в действующей армии. Маринин Сережа, как только что поступивший на филологический факультет Московского университета, не был взят, имея отсрочку («Отсрочку!»). Неужели война продлится так долго, что, окончив Университет, он еще попадет на войну? (Все кругом плыло, смешавшись в клубок непонятностей. Уже шли первые поезда с ранеными...) Зачем? За что? Кому эти смерти нужны? Победы! Царские! А народы должны погибнуть... Так кружились мысли, не смея искать выражения — потому что это была одна логика: семейная, женская. Так думали и мать Толи, и мать Сережи и Пети Юркевичей, и где-то там далеко, в Сибири, неизвестная мне мать Коли Миронова, его отец, может быть, его сестры... Но кому было сказать об этом? Была и гремела сейчас другая логика — мужская. Логика страны — слово «родина», которая сейчас Русь (этим

словом были испещрены газеты), побеждала, победоносно шла на Карпаты. И — что было всего удивительнее — этот ветер победных знамен так промчался по русской земле, что не слышно было возражающих голосов — тех, кто, казалось, могли возражать этому победоносному шествию. Споры партий, с детства нашего не смолкавшие, — смолкли. Или они шли — в подполье? Подъем национального чувства был в те дни так велик, что было (казалось?) единокордшие.

И немного прошло дней, когда на звонок, пойдя отворить сама, япустила Бориса — в военной форме. Погоны его были не похожи на те, что я видела на офицерах, и на мой вопрос Борис отвечал мне, что он идет нижним чином — вольноопределяющимся, так как у него законченного гимназического образования нет. (Он был исключен за дерзость учителю и не попросил прощения!)

Я смотрела на Бориса. Жалость была еще острее от невольного любования: он был так хорош — тот же! и незнакомый, в гимнастерке, схваченной ремнем, в галифе, сапогах, в новом очертании и цвете, и была ранящая строгость и чистота в отсутствии пышных волос вокруг шеи (назад знакомой волной отброшенных, золотившихся над высоким широким лбом). Остриженный, он казался еще худее, и его вбок надетая безкозырная фуражка странно и страшно единила его с толпами маршевых рот, уходивших мимо по улицам.

Борис, в военной форме, ходит по моим комнатам.

— Мама в отчаянии, что я пойду нижним чином, буду в солдатских казармах, — сказал он с нотой горькой иронии в голосе, — но я не могу не идти. То есть именно она потому в отчаянии, что я иду до срока, меня еще не призывают, но она не понимает, что я не могу не идти сейчас, зачем мне ждать какого-то призыва? Умирают те, кто не нужен. Я должен узнать, испытать судьбу!

Он был верен себе! Везде и всегда — бой с жизнью (отталкивание ее), чувство смерти в ней, зов к поединку, что-то «зловещее и прекрасное, как музыка Паганини» (по выражению Нилендера). И теперь, когда уже целый год мы были врозь с Борисом, когда он преодолел меня на своем пути,

живет вновь один, как теперь еще по-иному мучительно дорог он был мне, войдя на мой новый порог уже гостем и — прощающимся, избирая себе вместо меня маршевую роту, идущий на то поле битвы, где ждет смерть.

Иначе идущие! Взятые по призыву. Из них никто не шел «узнать о себе» — годен ли жизни? — каждый только того и желал, чтоб не умереть (пусть другие умрут!?), чтоб вернуться (!) к очагу. У Бориса не было очага — ни материнский, ни мой ему не стал опорой. Ни препоны к единственному, что шло в счет: сразиться с судьбой. Узнать свой удельный вес. «Умирает человек тогда, когда он не нужен жизни». Это было credo Бориса.

Возьмут ли Сережу Трухачева? Коле, по Университету, отсрочка. Из Петербурга, переименованного в Петроград, Сергей Иванович Ковалев сообщил о своем восторге «от всемирного действия»; он проходил в университете военное учение, собирался — как иначе, чем Борис — принять участие в войне. Он потрясаясь грандиозностью «действия народов», «масштабами»! И я, внутренне на него прищурясь, спрашивала себя, как могло в нем так измениться все — с лета, когда он так слушал мою будущую книгу о безысходности самого существа жизни в мировом пространстве (с привидениями или без привидений!) вокруг летящего шарика Земли, со ждущей нас смертью, с неприемлемостью идеи божества над нами и безутешность этой идеи... Теперь, оттого, что кто-то убил эрцгерцога на этом самом шарике посреди мирового пространства, он перестал исповедовать свое философское мировоззрение — «возвращение билета» на мировую гармонию — и восхитился... масштабами боев?! Собираясь на его приглашение в Петроград (который мы, многие, еще все звали Петербургом) и на зов Розанова, я, конечно, стремилась туда теперь только к Розанову — свидеться после стольких писем! С.И.Ковалев стал мне уже совсем чужим человеком. Я писала (кончала) повесть о нас, не находя ей названия (кроме «Королевская игра» — хотя и не нравилось, но было уже все равно!)

И спешно, потеряв из-за войны Сорбонну, я вместо Парижа записываюсь на лекции в университете Шанявского — по древней и новой философии. Вечерами на Миусской

пустой площади большой дом сверкал этажами огней. Читали профессора: Кубицкий, Рачинский, Густав Густавович Шпет, Виноградов.

Я не помню дат поездки в Петроград. Но в «Королевских размышлениях» под отрывками дневника, там напечатанными, стоят даты: «октябрь 1914, Петроград». Значит, устройство в Москве на новой квартире, начало лекций по философии заняли сентябрь и начало октября. Старая ли няня была у меня в это время? Да, но Андрюша — двухлетний темноглазый красавец в девочкиных платьицах с волосами вокруг шеи, светло-русыми, — мне помнится с другой няней, средних лет, городской, бывалой, которая учила питомца вежливости и научила его мне говорить «вы». Может быть, старая няня в то время вела хозяйство и жила в кухне? Я собиралась к друзьям в Петроград, и надо было быть спокойной за ребенка в мое отсутствие. В один из осенних дней до отъезда в наш особнячок позвонила средних лет дама с молодой спутницей. Я приняла их в первой из своих двух комнат (Андрюшина, третья, была отдельно, у парадного входа и только что поставленного мне телефона). Как удивительны секреты памяти, отнимающие в старости нужнейшие имена, адреса, дни и упорствующие на — вот номер телефона (в 1965 году!) 1914 года: Маринин — 5-25-81, мой — 5-26-48... Незримое чудо мозговых клеток-хранительниц.

Дама представилась:

— Хозяйка квартиры, где живет ваша родственница Мария Степановна Камкова, а это — моя дочь.

Я слушала — и не слушала: восхищенно и нежно глядела я на юное существо, озарившее золотом кудрей мою комнату. Виденье с английской гравюры прошлого века! Фарфоровый овал, синий блеск взгляда и несмелость, несветскость еще — при всем праве на то, чтобы осиять собой бал «света»... Я не запомнила ее имени — жаль. А мать ее тем временем говорила:

— Я воспользовалась случаем, что я в Москве, и зашла к вам, Анастасия Ивановна, от имени Марии Степановны. Она просила вам передать — да и я, собственно, заинтересована, как ее хозяйка... (Она замялась, видимо, стесняясь —

грубости мотивировки?) Знаете, хоть она и знает, что по завещанию вашей покойной матушки, где она упомянута, она и имеет право на завещанные ей суммы, и вы деньги ей высылаете — но, знаете ли...

— Опаздывают, да? Я не всегда в первый день триместра получаю полагающиеся мне по распоряжению мамы проценты с капитала, — отвечала я смущенно. — Вы знаете, я не могу тронуть капитал до сорока лет — и вот, когда я запоздаю получить, то, естественно, и отправить... Но я понимаю, Мария Степановна этих денег ждет, и я постараюсь не запаздывать более.

Как жадно слушала меня «хозяйка»! И как — не участвуя — глядела по сторонам ее спутница, переводила взгляд с книг, с белых бюстов на люстру... А ее мать говорила:

— Запаздываете — это ничего... Это мы понимаем! Но, знаете, в жизни всякое бывает! По закону-то по закону, а все-таки — вот я и задумала у вас побывать самой. Убедиться! Чтобы иметь уверенность. И я теперь — вижу... Теперь ее успокою — старый же человек, беспокоится, и ведь ей ничего, — неоткуда больше, вся надежда — на вас! Скажу, что у вас в мыслях нет...

Только тут я поняла, что она не решается выговорить: что я вдруг возьму да и перестану исполнять желание мамы, перестану помогать бедняге Камковой! После сказочного богатства — двадцать семь домов, после красоты тоже сказочной — жить в восемьдесят лет у «хозяйки» и дрожать, что не виденная ею внучка давно умершего брата, дочь давно умершей племянницы вдруг — бросит! Судись тогда с ней!

Стыд душил меня. Я кинулась в жар уверений.

— Да и не будь маминого завещания — разве я бы оставила в старости, в бедности дедушкину сестру? Скажите ей это! Прошу вас! Я как-то не думала, когда позже ехала в банк за процентами, что это промедление может вызвать такие мысли у Марии Степановны! Скажите ей.

Дама уже вставала. Она поняла и поверила. И спешила. Благодарила, прощаясь.

Я жала ее полную крепкую деловую руку и тонкие легкие пальчики ее дочки. Кивала им, улыбалась... И когда с последним словом моего обещания (что скоро буду в Петрограде —

и непременно извещу Марию Степановну, чтобы самой ей подтвердить) — закрылась за ними дверь, я еще постояла в прохладе стеклянного коридора, входного. Взволнованная: встречей с деловой человеческой жизнью — и с видением девической красоты...

Глава 5

БОРИС В КАЗАРМАХ. МОЯ ПЕРВАЯ КНИГА

Давно ли я в первый раз с Борисом входила по этой лестнице? А теперь — как чужая, как гостья... Я у свекрови. Но лицо Ирины Евгеньевны все то же, и те же ее слова «мой мальчик», «мой Борюшка», только в ее строгом и добром взгляде — еще больше грусти. (О нас, нашем прерванном браке? О том, что ее Андрюшок...) — Но сейчас не одна печаль в ее глазах, а тревога: Борюшку поместят в солдатские казармы, — там спят на полу, на соломе, там столько солдат... На полу!! Она узнавала:

— Только подумайте, Ася! Я объездила сегодня несколько мест — надо же хлопотать! Называла заслуги семьи — безуспешно! «Ничего сделать нельзя — закон! Раз он не имеет учебного ценза, не окончил гимназии — он идет нижним чином вольноопределяющегося!» А сегодня я, Ася, была в казармах — и что же я узнала? Боря бунтует солдат! Идти к генералу, требовать, чтобы без всякого учения (!) их сейчас же отправляли на фронт! — Маленькие сухие ее ручки дрожат в моих. — Ася, вы поедете к нему, поговорите?

— Сегодня же поеду! Сделаю все, что смогу!

— Скажите ему, что за это — за неподчинение — в такое время — военно-полевой суд! Завтра я у него буду...

Тихая, глубокая, как шкатулка, уютная старинная комната слушает нас. Портреты детей в рамах, затененный свет керосиновой лампы, и в углу — белая большая кровать под пологом.

И вот я вхожу с картонным футляром большого торта, бумажным мешком крымского винограда в Лефортовские казармы. Запах сырости и смазных сапогов. Солдаты... На полу, на соломе лежит, глаза в потолок, Борис. Встает мне навстречу. Что-

то ужаснувшееся, должно быть, в моем взгляде, потому что он усмехается. И учтиво, беря виноград и торт, с юмором:

— Не пугайтесь, Асенька, вы, конечно, такого не видели, но не это противно (хоть тут есть и мокрицы!). «Дисциплина!» — скандирует он непередаваемым голосом, — фельдфебель муштрует! А я хочу теперь на фронт!

И он ничего не слушает, что я говорю (и что говорит его мать), твердит свое. Военно-полевой суд? Пусть! Я им скажу.

Наши друзья, Марины и мои, Герцыки — Аделаида и Евгения Казимировна (их отец был поляк) жили в Кречетниковском переулке между Арбатом и Новинским бульваром. (Квартиры их я не помню; комнат было много). Аделаида (Адя) — обаятельная и волшебная, несмотря на свою глухоту и отсутствие красоты, тонкий и чистый поэт, — была мать некрасивого, умного мальчика Далика (Даниил), о котором она написала в журнал рассказ (там он звался Котик). Тема была ненаказуемость его; ее педагогические попытки им, по его оригинальной сущности, развенчиваемые. Евгения, подруга поэта Вячеслава Иванова, переводчица, умница — была похожа на ацтека — горбоносостью и чем-то в посадке головы, точно рвавшейся с плеч. За мужем она не была. Была, как и сестра, кроткая, но — острее, живее, и платья я на ней помню — лучшие. Она много читала по философии, но я чутьем чуяла, что моя (т.е. моя философская направленность) ей чужда. В их доме цвело слово «соборность», прочно жило уважение к религии, бывали (Бердяев, Булгаков), Вячеслав Иванов, Павел Флоренский.

И только один человек мне там звучал — Лев Шестов. Услыхав, что он там бывает, я пошла к ним с Мариной и с интересом смотрела издали на пожилого бородатого человека с печальными семитскими глазами. Это были очи. Я не хотела знакомиться, — в этом было что-то нарочитое. Но Евгения почти против моей воли познакомила нас и сказала ему о моей книге «Размышлений», которую я готовлю к печати.

— Все очень важно, чтобы вы ее прочли, Лев Исакович, то есть она не знает, что это ей очень важно, но вы поймете. Она очень талантлива, и вам будет интересно...

Я стояла, смущенная, и лицо менялось, вероятно, как у Марины, от протеста — к застенчивости. Шестов попро-

сил прислать ему мою книгу; мы условились, и я прислала ее ему. Дни, когда он читал, были днями большого волнения для меня. (Лев Шестов был единственный философ, в книгах которого был подход к «бездне», которой, по моим понятиям и чувствам, была объята и разбита жизнь...)

И не прошло и, может быть, двух-трех дней, как раздался телефонный звонок, и Шестов сказал мне, что сам привезет мне мою рукопись. Это уж было — событие! (Победа...)

С забившимся сердцем я вспомнила, как заспешил к Достоевскому Григорович, прочтя его «Бедных людей». И старый, усталый мыслитель, издавший уже столько книг, проводивший недавно на войну своего сына, переступил мой порог. Я не помню, о чем мы говорили, как долго. Я помню только несколько фраз:

— Ваша книга не совсем верно названа, — сказал мне Шестов, — это не королевские размышления. Было бы вернее назвать ее размышлениями королевского пажа... Вы молоды, вы позднее поймете мои слова. Но ваша рукопись должна пойти по всей России — и я предлагаю вам письмо мое о ней в любой толстый журнал.

Я смотрела на его старое, скорбное лицо, на печальные и добрые глаза. Мне было двадцать лет, и я ответила пылом этого возраста:

— Спасибо вам большое. Но я хотела бы войти в литературу самостоятельно...

Что он еще говорил? Помню: «Я вам оставлю мой телефон, я его не даю обычно — мешают работать... Подумайте...» Он записал номер и дружески жал руку. Больше я его не видела, не позвонила ему. Затем была весть о том, что сын его убит в бою.

Глава 6 ПЕТРОГРАД

«Туман, лондонский» — так говорят о Петербурге. Я вступаю в него в первый раз.

Нет, это не туман — туман стелется (вечером, над болотом — далеко на лугу в Тарусе). Это спущены завесы сверху,

а между этих завес, в них исчезая, снизу стелются им навстречу — очертанья домов. Не менее волшебного, чем Венеция! Стараюсь назвать — определить — не определяется. Поглощает. Состояние воздушного опьянения. И когда, так одолев несколько улиц, вхожу в дом, где живет Сергей Иванович (какое чужое имя: Сергей Иванович!), шаг по ступеням — четок, я в совершенстве владею собой. (Точно мне не двадцать лет — тридцать! Будто это не в первый раз. Мне сейчас ничего не трудно — все легко, как во сне). Однако я знаю колдовство, лабиринты жизни. Я говорю себе: «Помни! Что бы там ни произошло между вами — помни, что — вздор. Все — сон! Помни вот этот миг — в него возвращайся. Трагедии здесь — нет».

Звонок, высокие двери. Парадная, холодная, не московская передняя. Я не помню встречу. Я вижу себя за чаем в чьей-то столовой, среди чужих людей. Один из них — Сергей Иванович. Мне совсем легко на душе.

Разговор о войне — побеждаем! О раненых, об Австрии и Германии — о нашем доме, отданном под лазарет для раненых, — о Петрограде — Москве — все меньше времени для разговора с ним — а ведь есть о чем! — но я не могу запоздать к Розанову! Я так, кажется, и не узнала, кто эти люди — живет ли тут С.И. на квартире, родные ли это его — потому что, узнай я это тогда, я бы теперь это помнила. Я не помню о том вечере — ничего, кроме того, что я держу себя свободно и холодно (мне в этом помогает, что у меня голова как у мальчика — я летом остриглась). Отсутствие вьющихся волос вдоль щек, их шелкового ветерка над плечами освобождает меня от знакомого, как жизнь, ощущения женственности, развеваемого от себя подобного мягкому веянию — или музыке. Я — мужественна, почти весела, трезва — и готова к бою. Возле меня на чужом столе шумит самовар.

В его комнате в мой короткий визит разговор наш о войне — вопрос мой ему о «гигантских масштабах мирового действия» на летящем в мировом пространстве шарике, «действия», от коего у него, философа, «захватывает дух»? (Как у заправского «вояки»?) Перевесил «пол». «М» оттовейнигеровское? Отчего же я не потрясаю тем первым га-

зетным листком, прочтенным в Отузах? Отчего я не ликую, что мы, нападающие войска, «захватываем» Карпаты? Отчего я только вновь и вновь потрясаюсь звуком солдатских песен уходящих с ними — умирать? Воем баб на вокзалах, провожающих сыновей и мужей... Ах, должно быть, прав Вейнингер — в том, как смешано мужское и женское в человеке — и оно не больше ли истинного, неколебимого «М» характера во мне, «женщине», чем в нем, «мужчине», рабски откликнувшись на голос мужской плоти, так легко отдавшего ей свою философскую мысль... И, может быть, дремало и стлалось во мне, как тот туман петербургский, неявное подозрение — понимание, обвинение, что дважды он предал Мысль? — Плоти: не сумев остаться мне — другом, братом во встрече нашей — там, летом, захотев превратить нашу высокую — редчайшую на свете беседу в обычную любовную ночь... И теперь, отдав Мысль — «действию»! И не я ли была мужчиной истинным — в нашей встрече? Не споря «против шерсти» своей, не повлекшись к нему, пойдя ради него на сближение — собаке кость! — смирив женскую тоску о близости с нелюбимым...

Прожит всего один день — а кажется... Сейчас бы писать — без конца о встрече с Розановым, но жизнь гонит, ни часу, уже опаздываю к Камковой, — стыдно туда опоздать, к восьмидесятилетней, которая ждет. Откладываю до ночи, когда, прожив свидание с ней, для нее так важное, прямо от нее, без передышки — снова к Василию Васильевичу, и уж от него — домой, где смогу писать. К нему в сердце «Уединенного»... Как я уеду от него? Такой тоски и неестественности расставания не пережила с детства (с мамой, когда из Нерви она ехала в Рим к папе, а Муся и я оставались с Тьо в Бори-важе, нам было десять и восемь лет...)

Туман и озноб. Еле видны дворцы у остановки трамвая, где его жду, стерегу огонек за поворотом... Дождь? Запахи-ваю пальто, втягиваю шею, как птица нахохленная. Гляжу в двери, высокие, пугающие чуждостью, как в квартире Сергея Ивановича, откуда завиделся издали и шагнул мне навстречу — Василий Васильевич! Молниеносное, вне воли — глаза и душа — наблюдение: выше, чем думалось — среднего роста — ждала меньше, суше: больше, рыхлей. Лоб — вроде

папиного. Голова полуголая, как у папы. Те же узенькие очки на глазах... Но глаза...?! Нет, глаза — совсем непохожи. Слаще, но вместо папиного спокойного, почти радостного благожелательства — и у папы шире глядят — уже, острее и — хитрые, что ли?? и в этой неизбежной ему «хитрости» — тоска, и уже побарывают смущение и уже источают ласку — какие путанные, какие исстрадавшиеся глаза!

Из-за них — не сразу услышала голос. Из-за них — не сразу нашла свой. Задохнулась как-то, как будто охрипла вдруг. Кажется, о порог споткнулась? И враждебный свет, яркий, из чьей-то стереотипной столовой, которая оказалась — его. Щурюсь (неприлично к глазам — лорнет, не поднимаю) и от этого вижу еще смутней, чем чувствую. Нескончаемый переполох во мне. Но и не только во мне — в доме! Звуки шагов? Поспешное двиганье стульев? Отовсюду — люди. Девушки. Мальчик — подросток, головастый, на отца похожий. Но раздвинув (детей? стулья?) впереди — женщина. Пожилая, большая, добрая, настороженная, ласковая хозяйка. Мать детей и жена! Не понимающая. Читала ли мои письма? Чем встревожена? Какое глупое положение! И, в сердцах на себя, внезапная трезвость... Подымаю глаза — «воспитанные». С улыбкой — руку. Великолепно обузданный голос (совсем как Марина! О, ее нет сейчас):

— Цветаева...

Фамилия ли? Интонация? В нужный миг нужное движение к рукопожатию? Все стало в порядок: в миг, как в театре — вверх занавес!

Каждый актер — свое место. Нужные слова, и покой у стола, сразу ставшего столовым, и уже золото чая в светлом фарфоре — в моей руке. Не расплескать бы на блюде, ставя хрупкое сооружение на скатерть. Не потерять бы тон речи... (О, как, как ненавижу мещанство «семейного счастья», как хочется прочь, с ним, из дома, в туман...) Пропустила огонек за поворотом! Уже у плеча звонок трамвая. Еле успела вскочить.

Я ехала по теперь забытому адресу. Была ли то Петербургская (Петроградская) сторона или Васильевский остров? Эти два названия с того первого свидания с Петербургом живут в памяти. С трудом отыскала нужный мне — многоэтажный серый дом с мрачной аркой ворот, с унылым колод-

цем — двором, темным подъездом. Подымаясь по грязной лестнице черного хода, где пахло кошками и мелькали их худые тени, я с содроганием думала о том, куда я иду. Я еще никогда не говорила с восьмидесятилетним человеком, не знала, как держаться, что говорить. Память с детства хранила образ бездушной разодетой красавицы, холодно встретившей младшего брата...

Это все, что я знала. — Нет, еще то, что с ее разорения брат стал содержать ее.

Длинная лестница! В те года я летала по лестницам. Однако сейчас шла, замедля шаг. Было страшно. В беспомощности своей, хватаясь за молодость, силу, за противоположность тому, что я должна увидеть, я вспомнила ту! То виденье светлокудрое, с английской гравюры, хозяйскую дочку, меня в Москве навестившую... Может быть, она дома, и я увижу ее?! Я уже тянула ручку звонка. Но если вчера мой визит к Розановым произвел некоторое замешательство, то мое появление в квартире, где снимала комнату Мария Степановна Камкова, разразилось брошенной бомбой!

По коридору (длинному, темному) засновали, кто-то бежал сказать туда, в глубину, — мою фамилию, захлопали двери, раздались приглушенные голоса, и появилась хозяйка квартиры. Она была много скромней одета, чем когда приезжала ко мне, и было полутемно, но я узнала ее сразу по голосу, медово-взволнованному, которым она приветствовала меня.

Она стояла передо мной, благодаря за посещение, которое так обрадует Марию Степановну — «можно сказать, целую жизнь Вас ждала, входите, пожалуйста!» — и мы толкались, здороваясь, и я не увидела, как и откуда вышло в коридор то, что оказалось Марией Степановной. Оно тоже толклось, существо в чем-то темном, широком и до полу длинном, и щупало воздух руками. Я замерла.

— Где ты, Настенька? — прохрипело в волнении, откашливаясь, страшное видение старости, — что-то не вижу тебя! Я ведь слепну, — говорило оно глухо, у меня перед правым глазом — что черное сукно, а перед левым — что белый туман... — Поди ты ко мне, Настенька...

Я шагнула вперед, и дрожащие, в темных рукавах руки нащупали меня. Это было полубытье. Я нагнулась и поцело-

вала морщинистую, обвислую щеку. Но уже руки хозяйки, обхватив нас обеих, уводили в комнату. Только при дневном свете я увидела Марию Степановну. Это была очень маленькая, очень широкая и тяжелая старуха, одетая в невообразимое, точно снятое с чего-то большого, оно висело на ней где-то подобранными ворохами материй, темных, и колыхалось при ее движениях, как и тело ее, и его колыханье было самое живое в ней. Остальное уже наполовину перешагнуло — туда.

Лицо? — остатки черт. Лица не было. Я говорила, что — давно я в Петербург собиралась, как я рада, что мне наконец удалось ее навестить... Она слушала, понимала, должно быть, и тоже говорила о чем-то дрожащим, глухим голосом, давно утратившим все приметы, отличия — женского...

Я теперь вспоминаю: мы ведь не сидели. Стояли. Просто-яли так всю беседу. Сказала ли я, что у меня, к сожалению, мало времени, что меня ждут, я на мало приехала в Петербург? Я, может быть, говорила, что в Москве оставлен мой маленький сын... Что я, может быть, еще приеду? Наверно, вспомнила, чтобы утешить, мамин рассказ (имени «дедушка» о брате ее я не помянула каким-то звериным чутьем). «Как вы держали на руках маму... Затем вы уехали назад в Петербург и больше в Москве не были...»

Она слушала. Ее ничего не выражающее лицо, если можно назвать лицом сборище морщин с невидящими глазами, могло показаться и безучастным... Но только внезапно все ожило, исказилось, всхлипнуло, и я не успела понять... рухнуло передо мной на колени! И вслед за ней я — присев, согнувшись, напрягая все силы и не в силах поднять ее, — из дверей, из-за ширмы, из коридора — замершие в любопытстве, больше чем в любопытстве — лица!

— Настенька! — кричала, не подымаясь с колен, в отчаянии. — Обещай ты мне, обещай, внучка Настенька, похоронить меня, когда помру, в Павлове, где родные мои лежат...

И я, в отчаянии тоже:

— Что вы, Мария Степановна, живите! Да, да, конечно, обещаю, непременно, как вы хотите...

Шелест голосов, шепота... Хозяйкины руки помогают мне поднять с колен не встающую, и я, в ужасе от того, чем может

быть жизнь, не в силах более, предчувствуя освобождение ухода, скороговоркой, бодрой, чтоб заглушить бывшее:

— И буду теперь аккуратно присылать деньги, будьте спокойны, Мария Степановна! Тридцать рублей каждый месяц и сорок пять к Рождеству и к Пасхе, я никогда не нарушу волю моей мамы, вашей племянницы. Прошу вас, не волнуйтесь больше ни о чем. (Мы еще говорили? Не помню.)

Поцелуй, прощание, рукопожатия. Ух... точно ветром выметало меня из страшной квартиры (было это? Или сон — какое-то обращение из-за ширмы и дверей глядевшим, что, мол, все слышали теперь, чтобы больше не...).

Я летела с лестницы (вспомнив ли уже Василия Васильевича, который ждет? Сергея Ивановича, к кому еще обещала перед Москвой захватить? О кошку ли, из-под ног брызнувшую, споткнулась или наступила на кожуру из помойного ведра, рассыпавшегося? «Стойте, подождите!..» — кричал знакомый — чей? — голос, и, на бегу за рукав пойманная, я встала, в испуге.

Передо мной стояла хозяйка. Но ее лицо было ново.

— Простите меня! — шептала она (оглядываясь, нет ли кого). — Я вас обманула! Не квартирантка она мне — мать! Дочь я ей... не смела сказать Вам, думала, вдруг скажете: есть кому кормить ее! но вы... вам я в первый раз поверила, чело-веку! Верю вам! Ох, кабы вы только знали, что мы через нее испытали... Я ведь с детьми осталась от мужа, билась, как рыба об лед! Ведь у нас состояние огромное было — все она по ветру пустила, она, да папаша мой... Из-за нее маемся! Дочку мою видели? А что она терпит? И я здоровье в нищете потеряла — все из-за нее, верьте мне! Не сочтите, что я уж какая-нибудь такая. Только сил уж нет больше...

Но и мои кончались. Я жала ей руки, успокаивала, уверяла, благодарила за доверие, может быть, просила простить матери... И летела уже вниз с града ступенек, сыпавшихся под рвущимся бегом.

«И еще говорят, что Достоевский выдумывает такое, что — бредовый писатель! Вот бред — рукой подать!» — думала я, добираясь по широким и узким вечерним улицам до редакции, где, оставаясь подолгу работать, Розанов ждал меня. И несправедливо я вчера мысленно на его семью обруши-

лась — за ее кажущееся благополучие! За что? За любовь, в ней живущую? За заботу всех обо всех и о нем? За проклятую преданность жены его, матери его детей?? Мещанством назвала! Вот это было мещанство во мне, — жест, дешевый... И мелькнуло перед глазами личико одной из дочек его, запомнившееся. Без красоты милое, умное, худенькое... чем-то похожее — на него? Таня... А он похож — как родной брат! — на Федора Михайловича.

...Да и книги их — даром, что один — «беллетрист» (глупое слово!), другой — «публицист»? и философ — но дух идет тем же путем. В те же глубины. И больше ни в ком — только в них двух — такой соблазн, такая казуистика мысли. Встреться они... но, о таких винтовых лестницах уж не напишешь! Я пишу в семьдесят о себе двадцати, знаю, скажут: ретроспекция, выдумка! Так в двадцать человек, да еще женщина! — думать не может. А я отвечаю:

— Думала! И не будь этих дум — что бы меня, в двадцать лет, к нему привело, шестидесятилетнему? И что заставило бы его так ответить на мое письмо до того за год? Двумя письмами, второе — вдогонку. (Аси не зная — «Насте»). «Откуда такой глубокий тон? Что ты пережила?» Сразу на ты, презрев, отодвинув условности. На мое «девятнадцать лет» и «пятьдесят девять» — никакой разницы! «Я захлебнулась вами над вашим «Уединенным»...

И вот мы сидим вдвоем, в глубокой тихой редакционной комнате; он отбросил рукописи и книги — без конца говорим... Он слушает мой рассказ о моей будущей книге, я ее ему перепису, пришлю, и он не прерывает поток моего утверждающегося отчаяния, мое отвержение веры. Все знакомо ему. Понятно. И корни видны. Он не ополчается на мой протест против его веры, не спорит. Он берет мои руки и смотрит в глаза, и его усталый, живучий, старый и молодой, дряблый и закипающий голос — говорит то, что перо его, полгода спустя, написало мне на обложке «Уединенного» в ответ на мои, названные «королевскими» размышления: «Да, ты кончишь в монастыре, я теперь это знаю». И, может быть, уместно сказать здесь, что он напечатал о моей книге статью (в какой-то газете?), мне ее не довелось прочесть, что-то вроде: «Глядите — человек взошел на

колокольню и готов с нее сейчас броситься!» ...Единственное, что я позже запомнила об этой статье из его же слов. Часы идут, вечер, поздно. А мы все говорим, — не можем расстаться.

— А все-таки, Василий Васильевич, я чувствую, что я больше вам сил отдаю, чем вы мне! Что до конца, до самой глубины вы меня — не поняли. Нет, постойте, дайте сказать! Если бы поняли по-настоящему — вы были бы счастливы мной! Я была бы вам драгоценной находкой! А вы...

Он прерывал меня:

— Слушай, Ася, ты неправа. Ах, как ты неправа! Это — от молодости, от нетерпенья.... Пойми же меня: я стар! У меня — семья. Столько людей на мне! Разные возрасты. Столько работы! Не души во мне не хватает, как тебе показалось, а только сил... Времени!..

Я слушала, стараясь понять! (Весной в его старость! Эти слова я от него услышала — сказал их мне в наше свиданье в 1917-м, три года спустя.)

Мой последний день в Петербурге! Полдня — пока не смогу увидеть его — я провожу в семье, где остановилась, о которой еще не успела сказать: у самой старшей сестры Сережи Эфрон, Нюты (Анны Яковлевны Трупчинской). Она живет в Саперном, у них большая квартира и две дочки: Нюра, старшая, кареглазая, русая, и Лизок — белокурая. Совсем разные. Старшая — тихая, младшая — синеглазый огонь! Прыгает с размаху на человека и висит на руках держащего. Мать их — старшая сестра Лили Эфрон, на нее похожа. Но у нее голубые глаза. Ко мне очень добра, родственна. Необычайно приятная. Я отдыхаю с ней от всего. Мы идем по Невскому. Эрмитаж? Исаакий? Нет, никуда не хочу... Не для того приехала. Не надо! Когда-нибудь в другой раз...

И умная ласковая Нюта не спорит. Как мне хорошо с ней!..

Начало вечера. Мы снова долго сидели вместе в редакции. Я рассказала ему вкратце Маринину и свою жизнь. А теперь он идет показать мне улицу, где жил Достоевский. Он попробовал меня убедить, что счастье женщины — в семье, в любимом мужчине... Не захотела слушать! Я, может быть, мало женщина? Хватит мне, не хочу!

— Ты прочти мое «Люди лунного света» — понравится. И еще мне: — Нет, ты — не бархат, ты — шелк. Шелестящий шелк. В тебе есть тончайшая сталь — твой лунный свет!

Примечание: О Розанове с 1914 по 1917 годы мною была написана книга, дававшая его живым со всеми его сложностями (как даю Горького). Он шел, как по экрану, восхитился ею: «Сколько вздору писали: Розанов — циник, Розанов — то, другое, а ты в девятнадцать лет подошла и все поняла... Этой книгой ты утрешь нос всем непонявшим...», но я летом 1917 года после смерти второго мужа, М.А. Минца, и второго сына, Алеши, — уничтожила дневники за пять лет (с Бобылева) и многое, и книгу о Розанове в припадке отчаяния.

...Туман — густой. Диккенсовский. Темнота. Он ведет меня под руку. Тяжелый, сырой воздух, неуют мгlistых фонарей, редких. Безлюдье. Узкая улица (мне чудится мостовая — в гору, мост или — Кузнечный переулок. Он говорит: «Тут он жил, вот его дом!» Подымаю голову — и вдруг — трепет озноба. Испуг. Бредовая уверенность: я иду с Достоевским! Туман, огни — я схватила за руку Розанова... (и полвека спустя — я эту минуту помню).

Последний визит, перед поездом — к С.И. Ковалеву.

Высокие двери, улетевший в высь потолок. Худой и высокий человек, темноволосый, смуглый. Никогда мне не бывший близким. «Я хотел вам сказать, Ася, — я не хочу вас обидеть, но я разлюбил вас!» — «Правда? (я, удивленно). Вы в этом уверены? Ну, что ж... Это очень интересно! А впрочем, может быть, и не любили!» — из нашего разговора.

Через два часа я стою у окна в поезде, ночь, пролет... Курью. Петроград тает лунной мглой.

Глава 7 МАВРИКИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Мы с Мариной бывали у Герцыков. Марина была ближе с Аделаидой, я — с Евгенией. Но ее дружбы с Вячеславом Ивановым я не понимала. Я не понимала его, он мне казался

горд, неприятен. Лицо ксендза, венчик седеющих волос вокруг лысины, что-то сладкое и величественное — таким он казался мне тогда. И он был знаменит. Он приходил со своей молодой женой — падчерицею Верою, дочерью его умершей жены, писательницы Зиновьевой-Аннибал (ее книгу о детстве «Трагический зверинец», рассказ «Черт» — очень высоко ценила Марина). Вера была похожа, думалось мне, на св. Цецилию. У нее были «небесные» глаза.

Булгакова я не помню. Павла Флоренского видела, кажется, раз: согнутый, худой, горбоносый, смуглый, черный, что-то неуютное и обособленное. Бердяев, чудный оратор, блестяще умный, находчивый, имел в себе что-то детски-непосредственное и чистое. Судьба наделила его ужасным тиком, мешавшим его красноречию: внезапно вылетал судорожно язык, и движениями согнутых пальцев, его не касаясь, он гипнотически вгонял его назад, но его красноречие побеждало даже такой тик, и он держался с достоинством, просто, бодро и добро. Это был благородный человек.

Дружба Марины с Аделаидой все крепла. Со мной о мыслях моих Марина не спорила. Многие из них она разделяла, в другие — не вмешивалась. Она была в те года очень нежна ко мне. И в это время, как я ездила к цензору, пригласившему меня, чтобы выправить некоторые резкие выражения о божественности, которые «не допустит наш батюшка», или книгу придется арестовать, задержать, и с сожалением говорил о моей такой умонаправленности — «дочка Ивана Владимировича...» (но книгу все же пропустил), Марина посвятила мне стихи: «Ты мне нравишься: ты так молода...»

На пути из Варшавы, где я была с отчимом Гали Дьяковой Дмитрием Ильичом Гомбергом. Мы в обратном пути. Поезд.

Я вернулась в купе, взяла коробку шоколада и снова вышла с ней в коридор. У соседнего окна, спиной к нему, стоял господин в сером. Я подошла к нему. Молча протянула раскрытую коробку. Он очаровательно улыбнулся, изящно дотронулся до шляпы, с легким поклоном взял щипчики, ими взял маленькую конфету и, все так же улыбаясь, поблагодарил меня. Я стояла у своего окна, внима-

тельно выбирая конфету, слушая, как у меня бьется сердце, и не в силах не улыбаться. Пропустив секунд тридцать времени, он обратился ко мне с вопросом насчет города, куда я еду. Я ответила, что в Москву. Он сказал, что едет на несколько дней в Смоленск, а оттуда в Москву, где пробудет неопределенное время. Я узнала, что он архитектор и что сейчас дела в Варшаве — стали. Тут же он сказал, что у него в Москве есть друг, которого он бы хотел мне представить. Я согласилась. Беседа длилась.

Он сказал, что свой отъезд из Варшавы мог бы назвать бегством, трусостью, если бы... Я его прервала, сказав, что спастись от смерти — правильно и естественно, великолепно... Улыбаясь на мою наивность, он мне объяснил, что это не согласуется с чувством гражданина, что оставлять в опасности «свой город и своих женщин...»

— Потому что, не правда ли, если я имею мать, сестру и жену, я спасаю их; но если у меня их нет, то я обязан своими считать всех женщин, и тогда...

Легко, в полушутливой форме, у нас начался спор. Мы спорили о чувстве трусости и геройства, о спасении и спасении, о тех англичанах при гибели «Титаника», которые, сказав: *all right*, прыгнули в воду, уступив свое место женщинам. Тон его голоса был бархатен, уверен, но порой смущение прелестно пробегало по его лицу — когда ему приходилось подбирать слова. Он извинялся, сказав, что он — поляк. Тяжелые веки над большими глазами, красивый с горбинкой нос и обаятельная улыбка, скользившая по губам как бы неудержимо, и тогда его лицо становилось совсем юношеским; лицо было бритое, и была в нем — в некой орлиности черт — неизъяснимая, властная прелесть. Четкой чертой огибая надбровные дуги, черные брови оттеняли карий блеск глаз. Надо лбом возвышалась черная котиковая, высокая шапка...

Мы стояли наискось от дверей в наше купе и говорили. Дмитрий Ильич встал, стал на пороге, оглядел нас (блеснуло золотое *pinenez*) и вошел обратно. Минут десять спустя он запер дверь купе. У меня лицо не дрогнуло, и мы продолжали разговор. Мы говорили о Достоевском, об Иване Карамазове (я доказывала, что именно он, а не Алеша, был

любимым героем автора — но от этой любви было слишком больно, о ней было слишком трудно сказать вслух!). О философии. Я говорила искренно, но выходило парадоксально — у меня было слишком мало времени, слова шли скачками. Он слушал со вниманием, отвечал умно, тонко, схватывал мысль на лету. Вскользь он сказал что-то о русских женщинах — он их совсем не знает, и вот первая русская женщина, которая...

Поезд летит. Колеса стучат. Тише. Станция.

— Пойду посмотреть — говорю я и выхожу в тамбур. Через минуту он выходит тоже, поезд трогается, вскакивает проводник, колеса стучат, вечер прохладен и темен. На горизонте далеко — цепь огоньков. Мы говорим. Мои руки замерзли, холодно, ветер рвет платье и короткие волосы, открывая мой лоб. Я вынимаю из сумочки визитную карточку с адресом и телефоном и даю ее моему собеседнику, говоря, что если он будет в Москве... Он кланяется (ах, как досадно, с ним сейчас нет его визитной карточки) — «позвольте представиться» — Pan Noel... Он называет фамилию, которую я плохо слышу.

Мы говорим об атеизме, о Льве Шестове (он его читал), я обещаю ему подарить книги Розанова, рассказываю о выброшенном кольце. Он долго жил за границей, в России не был никогда. Говорим о забвении.

— Забвение! — говорит он, — если б мы не забывали, мы бы тотчас же умерли, мы бы не могли жить...

Я говорю о своем раннем замужестве, — ах, так это не муж мой? А он думал, что я еду с мужем.

— Нет.

Узнав, что моя бабушка была полька — урожденная княжна Бернацкая, он говорит (о, поляк!), что во мне не одна четверть крови — польской, как я сказала, а... Но я, несмотря на такую любезность — «предпочитаю быть русской». Уже около двух часов длится наш разговор. Я думаю о Дмитрие Ильиче с легкой тревогой (как он встретит меня? Как я войду? Что я скажу?). В ответ на мой рассказ о кольце он восстает против экспериментов, боясь, чтобы таким образом я бы всю жизнь не сделала экспериментом. Я смеюсь, возражаю.

— О, я люблю эксперименты, — говорю я. — Люблю, например, держать в руке коробку конфет и думать: предложу я конфет или не предложу?

Он улыбается. Я чувствую — словно волну его восторга, у меня от нее в голове — чуть туманно!.. — она меня обволакивает, да — неподдельная радость в его почтительном обращении со мной. Наконец, я подаю ему руку, говоря, что теперь я прощаюсь, потому что...

Когда я встала, уже день на половине, и мой вчерашний собеседник давно сидит в какой-нибудь столовой, пьет чай или говорит с кем-нибудь.

И после всего — люблю мне сидеть на дрянном московском извозчике и по изрытой мостовой ехать в свою улицу от Зоологического сада. И говорить с извозчиком (старик):

— Полиция-то чего смотрит? Все рессоры переломать можно!! А?

Жду пана Леона. Вчера он был у меня. Кто он? Он человек — не мысли, а дела. Он — великолепный герой романа, и очень умный. Он знает, что женщина — всегда только женщина, и рад тому, что не было среди них гениев (музыка, живопись — области, им открытые). Очевидно, что мир двигает не кто иной, как мужчина.

В жизни главное содержание — любовь. Она аналогична смерти, с нею нельзя бороться, и потому:

— Вы молоды! Вы еще — не любили! Это все были — суррогаты любви!

Я бессильно молчу, уронив на колени руки, поднося к губам папиросу, которая вспыхивает жадным огнем...

Он говорит, что я — ребенок, он не видит пламени моих мыслей. Он — из тех, которые говорят, что все изменяется и что и вы не знаете свою судьбу!

Несколько жестов, прелестных; красивый жест — подняв голову, глядеть сверху вниз; и дрожанье улыбки.

Это человек жизни, наслаждения, красоты, искусства, любви. Страсти!

Бориса уже нет в Лефортовских казармах. Он переведен в военную психиатрическую больницу. Находится на испы-

тании. Я еду туда. Он выходит ко мне в приемную, в которой почти нет мебели. Торт, привезенный ему, он еле воспринимает. Он оживлен какой-то незнакомой мне сосредоточенностью.

— Сумасшедшие — очень интересный объект для наблюдения, — говорит он, — и тут есть один тип, фамилия его — Кильдюшевский. Он совершенно убежден в том, что я — сумасшедший, а себя считает — здоровым! В то время как он — настоящий сумасшедший, а я совершенно здоров. Я здоров как бык, — повторяет он свою привычную поговорку, — и наши беседы достигают иногда высшей степени занимательности! Экспериментируем друг над другом. Кильдюшевский уверяет меня: «Не-ет, вы, батенька, настоящий сумасшедший», на что я ему говорю: «Нет, дорогой, я-то здоров, а вот вы — сумасшедший пятьдесят шестой пробы! Экспериментируем и над другими. Недавно я, встав из-за стола, взял мою мисочку, стал с нею идти вокруг стола. Смотрю — один встал и тоже взял миску. За ним второй, третий — и так все сумасшедшие! стали ходить вслед за мной вокруг обеденного стола с мисками в руках. И только энергичное вмешательство надсмотрщиков с трудом водворило порядок.

Я видала, что Борис совершенно поглощен сумасшедшими и их жизнью; он не отзывался ни на что вне больницы. С тяжелым чувством уехала я от него. И долго и по выходе оттуда он не переставал говорить о своем тамошнем спутнике, и имя Кильдюшевского так и осталось для него незабвенным.

В этот вечер мы уговорились с паном Леоном, что он привезет ко мне своего друга. Я приехала с лекции из Университета Шанявского и жду.

Как дома тихо!.. Впустившая меня прислуга снова пошла спать, няня вздохнула во сне; Андрюша, пробормотав, заснул, я одна не сплю — и не хочу спать после всей усталости поздних лекций. Сна — ни в одном глазу! Сейчас будет звонок телефона, и добрый, низкий, ласковый голос старшего спросит, вернулась ли я из Университета, не устала ли, можно ли ко мне с тем другом, о котором он мне говорил? Как странно наверняка знать, что именно так оно будет —

второй раз пережить сейчас то, что я только что пережила! И голос, конечно, покажется чуть иной — не так бодр, не так ласков? Какие-то незнакомые ноты... в этом и есть восторг жизни, ее тайна, что за ней не угнаться, она всегда впереди даже самого таинственного воображения...

Но жизнь что-то медлит сегодня. Уже десять, уже двадцать минут я дома, уже полчаса! Тихо.

Они — не придут? Я не увижу этого удивительного друга, его, в котором, как он сказал, слились князь Мышкин из «Идиота» и Ставрогин из «Бесов»? (И разве такое может быть?..)

Мне вдруг все кажется — сном. Ничего не будет? Я уже почти час дома! Уже ночь...

Но, однако, это просто невежливо так заставляя себя ждать — и не позвонить даже, что не придут! Зеркало отражает побледневшее лицо, усталое, чуть грустное. В этот миг раздается звонок телефона. Сердцебиение ли застилает голос? Или голос говорящего тих? Но это вообще не тот голос! Очень издалека, прохладой или смущением? — веет от медленных, с польским акцентом, слов:

— Мой друг Лев Матвеевич просил передать извинение и привет, его срочно вызвали телеграфом в Варшаву, он уехал, взяв с меня слово, что я позвоню вам.

— Спасибо. Мне жаль, что ваш друг уехал... А я уже давно дома и вас ждала.

— Я прошу извинить меня за поздний звонок, я не мог исполнить раньше поручение моего друга...

— Вы провожали его?

— Да. Сейчас уже поздно. Вы, верно, ложитесь — но вы разрешите мне быть у вас в другой день, вам удобный?

— Я сейчас не ложусь. Я ведь ждала вас с Львом Матвеевичем. Если вы можете прийти — я буду рада.

— В таком случае, если вы разрешите, я буду у вас через (пауза) полчаса.

Слова все так же медленны, от них веет задумчивостью и прохладой. Он не спешит. Нет тревоги. Тут какая-то сила? Я кладу телефонную трубку. Я стою на пороге своей — она одна в доме не спит — комнаты, трогаю шпанечек в стене — и зажигаюсь люстрой, всеми ее вспыхнувшими свечами

(или она — мной?). Лихорадочно, с четкостью сна, я оглядываю стены, картины, книги. Диван. Поправляю цветные подушки. Штору левого окна — загнулась. В зеркале лицо — горит. От люстры? Молодо. Ярко. Завивающиеся концы волос у плечей, золотой их изгиб у виска... За плечом нагнулась стена, окунулся в свет пейзаж Коктебеля; корешки книг. Как по-иному тихо, чем десять минут назад!

Ясное ощущение праздника: я вступаю в неведомую желанную душу. Еще раньше, чем она переступит порог.

Интонации голоса уже мучают! Обаяние чуть польского выговора... «Господи!» — говорю я, не слыша, что зову мне несуществующего Бога, но меня прерывает звонок.

— Не надо, не вставайте! — говорю я прислуге, было на звонок заворочавшейся. — Я отопру сама! Спите!

Лунный — или фонаря с улицы — мглистый свет, косо, через переплеты коридорных окон, моя тень через путаницу света и тьмы, мой быстрый шаг вниз по ступенькам, острый холод зимы, щелк замка — и я уже не одна, нас двое. Две улыбки, рукопожатие. Я почти не вижу его.

Свет белого шара, матового кронштейна передней освещает входящего невысокого человека в черном — оно щегольское? — скунсовый воротник — пальто (но я мгновенно отмечаю уют его в длинношерстном меху воротника и высокой шапки, узенькой, в густоте резко опущенных темно-рыжих усов, в бледности щек, каких-то сейчас усталых, худых, чисто выбритых; даже в трепете век, тяжелых, семитских, во взгляде больших — серых? — глаз, благожелательных и застенчивых. Словно он пришел меня успокоить, из ночи — зимы и жизни. Ничего не говорит, смотрит. Снял черную шапку — круглый абрис высокого, широкого лба, переходящего в лысину (ему на вид почти сорок, но от его друга знаю — ему тридцать лет!). Повесил пальто, за мной входит в мою комнату, в нежданный (забыла ее!) блеск люстры. Она не нужна сейчас. Я зажигаю настольную лампу, ее бледно-желтый шелковый абажур теплом озарил мой уют. Люстра увяла, стены вновь полутемные; смутно блестит угол стекла над сине-зеленым овалом киммерийского Максова озера. Я приглашаю сесть.

Праздник начат.

Был глубокий час ночи. Маврикий Александрович столь разительно не похож ни в чем на своего друга, недавно бывшего в этой комнате, что мне трудно было представить себе их вместе. Это были люди разных миров, противоположных восприятий жизни.

Деятельный, энергичный, живописный в каждом выражении лица, в утверждениях своих, жестких, Лев Матвеевич так и просился действующим лицом в роман. И фоном за ним виднелось «общество». Как трудно было мысленно увидеть то общество, где Маврикий Александрович был бы — «как дома». И удивительно подходил он к беседе наедине, в эти тихие, ночные часы с ждавшим его человеком! Словно он и не жил иначе, а только так, на глубинных нотах, в медленных высказываниях о продуманном и пережитом, во внимательном слушании собеседника. (Как мог Лев Матвеевич понять, что мы нужны друг другу? Так нужны...) Был ли он так одинок, как я во всем разнообразии моих друзей? Может быть, и на его сердце сейчас — просветлело? И как все это было бесконечно далеко от вопросов «М» и «Ж», так всегда на моем пути становившихся... Как свободен он был от маниакальных идей обо мне Бориса, от тяжелого тайного гнета многолетней любви ко мне Толи, и карикатурой на человека стал сразу, рядом с ним, герой моего женского эксперимента близости с тем, к кому это мое «Ж» — потянуло...

В комнате была музыка. Покой и гармония. В моей жизни такое — в первый раз.

Как долго я жила без него! Он меня ждал — тоже?..

Утро. Пробуждающийся гул города, правда, он начался еще в темноте — ведь зима. Но уже свет. Усталые (?) от волшебства беседы, мы расстаемся — для небольшого сна перед днем. В этом сне мы, может быть, вновь будем вместе.

Рождество. У Марины елка. Она стоит в Алиной детской, в когдатошней зале странной Мариной квартиры: большая, лохматая, неблаговоспитанная ель, вырванная из лесных дебрей, чтоб стоять и сверкать для Али и ее гостя — Андрюши. Ему — два года и третий месяц, она — на три недели моложе. Она плотнее и выше его, эффектней. Он — мельче, легче, изящней. Совсем разные! В Андрюше находят сходс-

тво с Борисом и со мной; в Але нет сходства с Мариной, со мной — ее смех не менее звонок и безудержен — тоже, звук его — мелодичней...

Сережа стоит у елки, высоко подняв на плече Алю. Она тянется к синему блеску шара.

— Вы ее уроните! — испуганно Марина.

— Боря*, там загорается ветка! (она его уже зовет «Боря»...)

Не слышно, что отвечает Борис (от пронзительной Андриюшиной дудки). Хочет, чтоб горело, чтоб пахло?

— Ася, узнаешь? — наклоняясь к моему уху, Марина: из-под нижней ветви — кусок зеленоватого коленкора и на нем — золотые звезды. Узнаю ли! Мама, елки, Трехпрудный... «Слава в вышних Богу, и на земли мир...» Кто завел мамину музыкальную шкатулку? Вальс.

Сокрушающая печаль — против чего? протестом. Мгновенный приступ тоски. Но он гаснет, исчезая, как сорванная с куста роза: в залу входит — чуть запоздал к торжеству — Маврикий Александрович!..

Рукопожатья. Трепет тяжелых век над добро-улыбающимися его глазами. Он много ниже Сережи и ниже Бориса (с Миронова?). Его лицо — самое некрасивое из наших лиц. Но я люблюсь, не отвожу глаз — прелестен!

Будто бы уже пожилой среди нас — почти на десятилетие старше. Лысое полушарие умной, доброй его головы, таинственное обаяние улыбки губ, не видных под полоской густых усов, темно-рыжих. Лицо широкое наверху и уже — книзу, щеки — худые, на которые от носа идут веснушки, крупный нос, какие-то добрые ноздри... как все знаю, чувствую издали, не видя, и эту застенчивость, побарываемую привычкой бороться с ней, и редкие слова, всегда впадал и нежданно-веселые и остроумные в этом тихом и внимательном человеке (как он напоминает мне — Богаевского!..). Как он дорог мне! Когда стал? Уже дорог! Уже нельзя его из моих дней вырвать — точно вторая елка зажглась с его приходом — да она просто до него не горела, раз могла так вспыхнуть — тоска... Праздник вошел с ним! Опора! Сила

*Борис Трухачев, с которым сохранились, несмотря на развод, дружеские отношения. — *Примеч. ред.*

перенести все: воспоминанья, красоту «соперницы», всю лавину мировой грусти, музыку, безнадежность, все...

«Это — любовь?» — спросила я себя трезво, во всем опьянении вечера, людей, счастья.

Маврикий Александрович крепко сжал мои пальцы дружеским, старшим, утешающим пожатием. В его молчанье — обещанье никогда не оставить меня на тоску жизни. Все заново!.. В нем еще одна вещь удивительна; говорит с Мариной, с Борисом, с Сережей и с Марией Ивановной — а знаю: он — неотрывно со мной!

Из дневника 1914—1915 годов.

«— Я позову его сегодня. Странно, что он был только что вчера? Пусть. Я скажу так: “Я соскучилась”. Ведь это правда. Я сегодня весь день думаю о нем.

Не подумав, я пошла к телефону и позвонила по первому номеру. Молчание. По второму. Он дома.

— Я слушаю (его голос, какой чужой!).

Меня не охватил холод, и я сказала спокойно — но голос был не мой: “С вами говорит Ася”.

— Здравствуйте.

— Здравствуйте. Я о вас соскучилась. Приходите ко мне сегодня. Ах, не можете? Как жаль. Да, я понимаю. Ну что ж, тогда — как мы условились?

— Да.

— До свиданья.

— До свиданья.

Мой голос тих и холоден, его — тих и смущен. Я подхожу к зеркалу, что-то во мне пылает, сердце бьется; я вхожу в комнаты, завешиваю окна, делаю вечер, сажусь писать.

Он едет вечером на вокзал. Ему сейчас — скверно. Пустяки. М.А.! Стоит ли! Все пустяки, все пройдет! А-ах, правда!.. Я спокойна, совсем, холодна, так о чем же? Скорее забудьте этот странный маленький инцидент и поверьте — я очень жалею, если вам причинила боль!

Ах, все вздор, все вздор, все... — вальс играет. Где-то не тут, а там, где все возможно, где мои любимые реки по-любимому текут вспять, — бал. Вы и я. Диадемы огней.

Я положила вам на плечо мою руку.

Ваша рука легко касается моей талии, качание, звон, тимпаны, фанфары гремят, вся музыка мира, сердце мое расширяется, бьется. Ваше холодное и милое лицо рядом с моим... Что это? Веселие? Смерть? Все кружится...

Короткий звонок телефона.

Снимаю трубку:

— Я слушаю.

— Это говорит М.А. (он, голос тихий).

— Очень приятно.

— Я хотел спросить — между десятью и одиннадцатью не поздно будет?

— Пожалуйста.

— Ну вот. Мне очень приятно.

— Я вас жду.

— Я буду (голос серьезный).

— До свиданья.

Кладу трубку. Не вижу няню, не вижу Андрюшу, мимо них мчусь в свою комнату, падаю перед диваном на колени и целую подушку, погружая в нее безумным жестом лицо!

Когда я, обманув всех, что меня не будет дома, что меня спешно вызвали на вокзал и что Новый год мне придется встретить, вероятно, на перроне, в ожидании опаздывающего поезда, вернулась (в одиннадцать часов) домой, М.А. был уже у меня.

Новый год мы встретили бутылкой литовского меда и курением разных папирос. Пили чай. Время шло. Я прочла ему мою сказку о человеке и кирпичиках (она ему очень понравилась) и несколько отрывков из дневника. То место, где я прошу меня оставить в покое и не учить меня жить, он назвал самым лучшим из всего, что я ему читала.

— Это удивительно, это прекрасно! — сказал он.

И когда, уже глубокой ночью, наш разговор стал до конца откровенным, я сказала ему о многом: о моем холоде, о глыбе льда, о том, что я иду к полной жестокости — в жизни, с абсолютно чистой душой. С ним удивительно то, что он так прекрасно понимает шутку, намек, иронию и сам так красиво и тонко шутит. Это ранит. Иногда он опускал голову в руки и так сидел, слушая.

— Сильный человек должен взять жизнь — так в руки, чтобы... пьянеть от нее! — сказал он. Он все понимает. Он сам такой.

Он говорил о своем непонятном равнодушии к жизни. Он очень, очень умен. Очень тих. Очень обаятелен. Очень неизвестен.

— Я, пожалуй, иду к тому, чтобы брать жизнь в руки, — сказала я, — по крайней мере, вот уж год, как я делаю всегда только то, что хочу...

— И продолжайте так поступать! — сказал он серьезно.

Я улыбнулась. Мы курили, молчали, потом снова начали говорить.

Когда в семь часов он встал, чтобы уходить, я просто и спокойно спросила позволения поцеловать его руку. Когда он сказал, что нет, я возразила с улыбкой:

— Но если я этого хочу? Вы что же, меня спасаете? Не стоит! Я ни за что не погибну! Но этим вы доставили бы мне — удовольствие.

Я стою, прислонясь к вешалке, не зажигая света. Рассвет. М.А. стоит передо мной в пальто, держа в руке книги и шапку. Я его вижу слабо, почти не вижу лица. Я вижу белый блик (лицо), окруженный чем-то черным (мех). Мы шутим. Мы все время шутим. Я устала. Он хочет идти. Я все не отпускаю его, он называет меня безжалостной принцессой — ведь он не успел отдохнуть до занятий. Я прошу его подарить мне золотой мячик, чтобы я им играла в саду, как в сказках. Я очень люблю мячики. Он просит меня начинать заниматься, говорит, что это ему будет толчком к тому же, а я говорю, что поеду его провожать на вокзал, когда его возьмут на войну, и на сутки приеду ухаживать за ним, если он заболит.

Когда я прощаюсь с человеком, мне всегда кажется, что я вижу его в последний раз.

Я не вижу его лица, но чувствую на нем улыбку.

Черный силуэт, белые пятна рук, держащих шляпу. Утро? Ночь? Все — призрак, все — сон. Мы выходим. Через косые vitreaux* стеклянного коридора падает ранний свет.

*Витражи (*фр.*).

Только что ушел М.А. Далеко — колокольный звон. Мне нечего записать. Ибо он — мой друг на всю жизнь, ибо я очарована им без остатка, и оттого так шутливы речи мои!

Как передать вас, переходы от шутки к серьезному, шутливое и серьезное — вместе, как мне рассказать тебя, ночь, час за часом... Как передать вас, очарование, прелесть его лица?

И беспорядок комнаты, запах папирос, массу окурков, упавших на пол, шкуру, отодвинутый стол с распахнутыми тетрадями и это короткое пожатие руки?

Я буду умна. Я скажу: я люблю его. Тут мне дастся право — оставить белым листок, ибо любовь — чувство тонкое, и мне простится...

М.А.! М.А.!

Думаю о нем. Мне хочется его видеть. Просто видеть его, слушать голос, смотреть (еле вижу от близорукости) на улыбку, шутить, парировать шутку, лежать на диване, помещивать чай, быть милой.

Люблю ли я? Я очень близка к тому, чтобы полюбить.

И что же я чувствую, если не любовь, тихую и бесполезную, когда он, опустив голову на руку, говорит тихим голосом:

— Я вообще мало думаю. Потому что тяжело — думать.

И буду ли я не права, если когда-нибудь — хотя все удержимо — встану, подойду к нему, опущусь на колени и молча буду целовать его руки?

Пили кофе, слушали музыку, курили. Я чувствовала, что смутность дня, поздность часа, слабость сердца с ним сделали то же, что со мной. Он был еще шутливее обыкновенного и шутил о вещах все более серьезных.

Я сказала, что хотела бы умереть в вальсе. Он ответил, что на это — он всегда был бы готов. На мой рассказ о том, что я пила эфир, он мне сказал, улыбаясь:

— Вы больше этого никогда не будете делать.

Я мешала кофе ложечкой, глядела на гроздья люстр. Он передал мне один свой сон, виденный им в самом начале знакомства со мной: я у него в гостях; я лежу на великолеп-

ном мягком диване и пью из синего граненого стаканчика ликер, а вдали, в самой далекой комнате, звучит оркестр музыки. Собираются гости...

— Но это еще — все будет! — сказал он, выпуская дым и следя, как он вьется над папиросой.

— Будет... — эхом повторила я, поднося к губам чашечку.

Но я вижу, что грубо и ясно описываю то, что было сказано тихо, шутливо, в клубах дыма, в клубах музыки, так тихо и так шутливо, что, может быть, и вовсе не было сказано.

Мы вышли и пошли пешком. Всю дорогу и у моих дверей мы продолжали шутить о вещах... почти что смертельных: о смерти, о войне, о расставании.

Да, вчерашний вечер был странен. Должно быть — он любит меня. Мне теперь кажется, что дни его смутны, как мои, особенно те, в которые, вечером, он меня увидит.

Я прислушиваюсь к себе — и — странно: сейчас я как будто спокойнее (меньше томления), чем вчера и третьего дня. Что это, довольство собой? Радость победы? Что это, я, кажется, готова почтить на лаврах? — И неужели, когда он меня полюбит, я буду его меньше любить? Ведь я знаю, что даже если он меня безумно полюбит, если «выпустит вожжи» (о чем мы все время шутим), то ведь это будет так же, как я, не иначе. Неужели я это забуду и почувствую ответственность и тоску? М.А.! Не любите меня! Не верьте мне. Не скажите мне великих слов, ибо я, наверное, их не пойму, ибо я жду только победы, ибо я недостойна своей королевской короны, ибо наступит миг — когда я не пойму ни жертвы вашей, ни легкости ее, ни глубины, ни вашей нежности, ничего не пойму, — миг, когда я перестану вас понимать, — только за то, что узнаю твердо, что вы меня полюбили!

Все это я говорю с высоты ума. Над всем этим я смеюсь моим женским сознанием.

Каждый из моих друзей и из женщин, любящих меня, хлопчет над моим будущим и стремительно устраивает мою судьбу. Я киваю, обещаю, соглашаюсь, да, это нужно, я понимаю...

Два часа ночи. Тихо. Все вы спите, мои друзья (кто в объятиях вам близких людей, кто один со сновиденьями), —

а в моей тихой маленькой комнатке верно горит огонь (по Андрееву: «Огонь в ночи опасен. Для тех, кто блуждает? — Для того, кто зажег»).

Я. Он. Да, ночь. Но не беспокойтесь: мы чрезмерно далеко друг от друга. Он на одном диване, я на другом. Где-то часы тикают... Удивительно — тихо. Удивительно — безнадежно. Удивительно — хорошо.

Как я хотела бы, чтобы вошел М.А., сел в кресло, мы бы курили... Вот это — веселье. Вот это — жизнь. Но что есть — помимо?

“Рухнули надежды” еще раз. Еще раз я, как в тумане, смотрю на Платона и Виндельбанда. Еще раз кладу на горячие глаза — руки, в моем “тихом” веселии. Еще раз я смотрю вперед с любопытством: как я умру? Сойду ли с ума? Что будет?

Мне так легко сорваться со всякой орбиты! Приблизить конец на много. Мудрость. Безумие. Как часто эти две вещи меняют места!

Что делать сегодня? Солнце горит. День пройдет. Земля летит. День — как весенний...

Подойти к полке, взять “Логику” Виндельбанда, искусственно наполнить свой день часами и получасами!

Что делать? Где правда? Где я сама?

Я провожу с М.А. ночи и вечера. Говорим. Скользят шутки и развиваются мысли, раздается смех, я лежу на диване, читаю дневник, потом я его закрываю, пьем чай, пьем вино.

М.А.! За все то зло, за всю ту печаль, которые я вам причину — разнообразием своих атрибутов — я бы хотела сейчас — взять в руки свои эту мозаику чувств и тут, у вас на глазах, бросить ее в огонь, оставив из нее то, что вам нужно.

Я хотела бы быть вашей матерью, вашей сестрой, вашим другом, вашей возлюбленной, если вы это хотите, — нет! Я хотела бы быть для вас чем-то, чем никто не будет для вас! Но невозможное — невозможно, все будет так, как должно, я, вероятно, окажусь хуже, чем вы и я сейчас думаем, — простите меня — и, если можно будет забыть меня тою, какой

я буду, вспомните меня, какая я есть. Вечер. Лампа. Диван. Рюмочка литовского меда. Два, три, четыре часа утра. Белая шкура. Разговор, тишина. Я говорю, что все безнадежно, что я не понимаю страсти, слитой с любовью, что любовь моя бесполезна и целомудренна, что я столько раз любила и так легко могу полюбить...»

Вскоре после моего знакомства с женщиной, которую любит Борис, с обаятельной и красивой, с Марией Ивановной Кузнецовой, мы вновь встретились у Марины. Комната, временно занятая у нее Борисом (почему он не жил у матери в этом времени — неясно), была свободна, и мы ушли с ней вдвоем туда, сели на диван и долго дружески говорили. Она все больше мне нравилась. У нее были чудесные интонации и необычайно заразительный, мелодический смех, чувство юмора и при русской широте натуры — глубокая и душевная тонкость.

Я рассказала ей все, что было полезно ей, о семье Трухачевых, о их фамильных чертах и о том, с чем было бесполезно бороться в Борисе. Она слушала вдумчиво, все понимала. Ревности я не чувствовала никакой. Наоборот, радостное волнение от того, что другая берет на руки его трудную жизнь и душу. Пусть будет ему радостней и веселей, чем со мной!

Мы провели весь день вместе, а часть ночи с Мариной, и я помню, как неудержимо мы втроем смеялись, лежа у Марины в комнате — на диване? на шкуре? И под утро, вдруг ощутив страшный голод, утоляли его — с большого плоского блюда клюквенным киселем с хлебом (?) — единственным, что, пойдя вверх по лесенке в кухню на разведку, отыскала в своем хозяйстве Марина.

Давно, с отрочества, с дней с моими подругами Аней Калин и Галей Дьяконовой, с поездки к Марининой учительнице французского, прелестной Елене Адамовне Гедвилло, не было у нас такого «втроем» с женской, родной душой. И потом стихи, стихи, которые нам читала Марина — до утра и которыми так восхищалась Мария. И какие-нибудь час-два сна перед началом дня...

Что я знала о Маврикии Александровиче? Семья жила небогато и стала совсем бедной, леча отца, внезапно ослеп-

шего: его понесли лошади и выбросили на повороте дороги. Он встал — слепой. Много лет лечили его, собирая средства, во всем себе отказывая. Вечером после трудового (и учебного) дня сходились вокруг одной лампы, экономя даже керосин. Наконец помощью родных, сложившихся, был из Индии выписан знаменитый целитель. Он предложил операцию. После двенадцати лет слепоты отец прозрел. В семье настал праздник. В изнеможении от перенесенных страданий, в блаженной радости смотрел прозревший на лица близких, на выросших за годы его слепоты детей... Однажды утром (прошли часы? дни?) он открыл глаза и ничего не увидел. Наставшая вновь слепота длилась до самой смерти.

У Маврикия Александровича была невеста — давно, ему не было еще двадцати. Ее звали Люцина. Она болела туберкулезом. Ей было восемнадцать лет. Чтобы произносить в ее имени надежду, ее называли Фелица. Она умерла на его руках. Он целовывал пену с ее умирающих губ. После он не любил никого. («Никого — до меня», — думаю я, слушая. Но он не говорил о своей любви ко мне.)

У него — мать. Она старого еврейского воспитания, хочет его брака только с еврейкой. Ей семьдесят лет. Есть сестра, замужняя, у нее двое детей, подростки. Он очень любит племянника и племянницу. У него сильные кровные чувства (по тому, как он говорит о матери и о детях). Есть два брата, старший — делец, владелец хлопковых плантаций в Средней Азии. Он старше Маврикия Александровича на шестнадцать лет. Младший служит в торговой фирме чайного дела Высоцкого.

Маврикий Александрович родился и жил в Польше. Окончил за границей два университета: в Брауншвейге и в Лейпциге. Имеет звание инженера-химика и инженера-технолога. И кончает в Москве — Высшее коммерческое училище. Живет с матерью от меня недалеко, в Николопесковском переулке (Арбат).

Теперь он бывал у меня ежедневно. Уже нельзя, не к чему было заставлять друг друга жить день — вдали. Дни слились. Он приходил после занятий и уходил поздно... Случалось, что уже — рано утром. Я рассказала ему — вернее, все расска-

звала ему всю свою жизнь. Он встречал у меня Бориса. Полюбил его, понял. Восхищался им. Нежно смеялся его фантазиям и причудам. Одобрял выбор его — Марию Ивановну. Все больше сближался с Мариной и Сережей и часто упоминал о друге своем — Никодиме Плущер-Сарна, которого хотел нам представить. И внимательно, тепло, пристально слушал о Коле Миронове — как о ком-то очень понятном и близком. Ни слова не было сказано между ним и мной об отношении друг к другу. Обо всем говорилось, об этом — молчалось. Тут была заколдованная черта.

Было утро. После целой ночи беседы — мы сидели всегда на разных диванах или я — на диване, он — в кресле (в ту ночь было что-то свежо) — он покрыл меня еще маминой белой шкурой ангорской козы. Я под ней задремала? Не помню. В окна — рассвет. Он стоит, наклонясь надо мной, не решаясь будить: заглянул мне в лицо, подойдя совсем тихо.

Сон ли это был? Или быть? Полусонным движением мои руки вскинулись ему на плечи. Его лицо — близко. Глаза трепетны. Я очнулась, садясь и снимая с его плечей руки? Не помню, мой жест — был? Приснился? Не знаю и по сей день.

Нежно укрыв меня, ничем не выдав волнения, он уходил. Встать, проводить его? Утвердив, что ничего не было? Остаться, не разрушая блаженства и, в утешенье от того, ибо не знаю — было или не было, взять себе право уснуть, недопроснуться? Я знаю, что эти оба желания — были. Я не знаю, что превозмогло. Мне кажется, я встала и вышла за ним в переднюю. Мне кажется, — я осталась лежать, слушая звук двери, прощальный его стихающий шаг... Я спала, а везде горели лампы, и утро за окном расцветало, празднуя первое призрачное объятие, которого, может быть, не было.

Глава 8 ПОЕЗДКА В ТУЛУ. ВСТРЕЧА С МИРОНОВЫМ. СКАРЛАТИНА

Звонок — в руке телеграмма: «Встречайте эшелон 37 (цифра) ждите Туле (число и маршрут части) Миронов». И день превращается в бред. Мечусь, складывая: смену белья,

мыло, щетку, порошок, книги дневника — читать Коле — он едет на фронт. Это наше — прощанье? Или встреча? Я поеду его провожать... Я жду Маврикия Александровича, позвонила ему по телефону, сказала, что еду.

— А у деточки хватит денег на дорогу? Туда и обратно? — спросил он в ответ, как часто говорил обо мне в третьем лице (как поляки).

— Думаю, хватит.

— Нет, может не хватить. Я привезу. Поезд отходит в... Хорошо, скоро буду.

Это было час назад. Я уже скучаю по нему. В который раз повторяю старой няне, что еду на несколько дней. Чтобы они хорошо запирались. Как одевать для прогулки Андрюшу — ветер, февраль. Если что — звонить Ирине Евгеньевне, она уже приехала из больницы (операция будет весной). Как я расстанусь с Маврикием Александровичем?? И как — там, перед фронтом — с Мироновым? Как бы не опоздать на вокзал!..

— И Ася ни о чем не должна беспокоиться! — говорит Маврикий Александрович. — Я все беру на себя... Сын будет здоров и весел. Я буду у вас каждый день.

Встал. Позади — волшебный прощальный ужин. В небе — закат, в руке — дорожная корзиночка, в кошельке — его деньги: я не успела в банке взять проценты, не застала брата — «попечителя» (я все еще несовершеннолетняя, и без его подписи мне деньги не выдают). Еще раз разорвало сердце зрелище отцовского дома, братниных преобразований в нем. Окна и ветви у бывшей детской, нашего «магического кабинета» — те же, и горит матовый шар лампы над роялем, у лица Бетховена, но уж ни папы, ни мамы, ни Марины, ни меня... и другая антикварная мебель, позолота старинных стульев, и другие трюмо в зале, чужие зеркала в ней!..

Наши руки — М.А. и мои — сжаты, как склепаны. Их сейчас расклепает звонок. Закат становится рыжим, и звонок раздастся.

...Один человек, легко прыгнув, остается стоять на перроне. Другого уносят колеса поезда. Глаза еще видят последние огоньки московские... Ночь!

Я приеду в Тулу за много часов до мироновского эшелона. Хорошо! Отдохну... Тула! Мама с Мусей ездили туда из Тарусы. И мы ехали — сюда на станцию Засаека хоронить Льва Толстого.

Тула. Ночь. Разливы путей, гудки товарных поездов, теплушки, эшелоны... Только здесь, вдали от Москвы (где, кроме идущих к вокзалам рот, так мало заметна война), я ощущаю ее вдруг, как распахнутую, накинутую на плечи шинель; ее запах, вес, обнимка ее тяжела; за полы, по ночам хлещущие спешкой, несогласованным с тобой шагом, — гонят, зовут, торопят — и в какой-то утере себя — привычного пробуждают в тебе тебя незнакомого до этой минуты, но важного, самого сейчас нужного, начинающего попадать в такт. И хоть мое сейчас дело — ждать, только ждать, но и это ожидание — новое, вписанное в военный ранжир этой ночи, вокзальной, именно сегодняшней, именно в Туле, через которую, в несбивающейся череде вчерашних и завтрашних, пройдет уже ожидающийся эшелон № 37. Его ждут, кроме меня, еще многие, тоже свой дом покинувшие по лассо-телеграмме, захлестнувшей и опрокинувшей день. С кем-то из них уже связала судьба — вопросом, ответом; в толчее и сумятице, в затянувшихся часах ожидания, переходящих уже в сутки, — перекидываемся словами, когда вновь и вновь узнаем друг друга, оставшихся после отправленных и исчезнувших. И все заново — не те усталость, голод и жажда, что там были — дома, все сдвинуто с мест, не узнано, познается впервые, подчиняется новому ходу часов, оркестровке звуков и продвижений, неиспытанной маяте железнодорожных путей, которым имя — война, и в ней все нет и нет — 37-го!..

Уже вспоминается, как полсуток назад со мной тесно, плечо к плечу, был Морек (так зову иногда, подражая Льву Матвеевичу, моего «нового» — навек! — друга), как звучали в ушах слова: «Не к Миронову бы на край света поехала, но — но мне сейчас ровно столько же, сколько ехать к нему — надо остаться с вами!»

Осмелев от близкой разлуки, я протягиваю к его рукам — свои, он сжимает мои пальцы, его веки дрожат, губы ста-

раются улыбнуться — глаза наши не могут расстаться — как же мы расстанемся? Дящееся рукопожатие заливает голову вином себя вдруг называющей крови... В этот миг мой друг делает легкое движение притянуть к себе свою даму — и — и мастерской повадкой танцора он начинает с нею — вальсировать! Как некогда с Мариной и Эллисом по темнеющей зале, они медленно кружат по ускользящему паркету — в ритм превращена нарушившая их мир телеграмма, она вальсирует с ними. Утерев было пол комнаты под ногами, я ужаснулась раскрывшимся безднам. «Ритмом, — как сказал Маврикий Александрович, — надо управлять»... И как первый поцелуй — в полусне, так и первое объятие — в танце. Мудростью мастера, оберегающего ее прежде всего — от нее самой, но она поникает, в позе ребенка, возле него на диване головой в его плечо, в его уже все осознавшие руки...

— Я люблю его — и люблю вас. Что мне делать?..

— Ася поедет. Ася должна ехать. А если Ася захочет — она вернется. Ничего страшного нет!

Он шутит, его светлые глаза дрожат под тяжелыми веками, у рта — мученье... Но я помню ту ночь — и те ночи, когда с Мироновым версты и версты по комнатам, после смерти Бори Бобылева. Темно-золотые глаза под ласточкиными крыльями бровей смотрят ей прямо в сердце.

Я отставляю стакан, крепкий чай выпит. 37-го все нет!

Я в Туле двадцать часов! Это — целая жизнь. Москва, Морек — сон. Я уж больше не вспоминаю. То была другая, совсем другая жизнь. А вот эту — я бы не сумела ему рассказать! Я в ней — в том, как сквозь кинематографическую спешку вокзала эти часы тащатся, — уже утратила обретенную драгоценность — ту жизнь с Морекком. Она стала сном. В этой напряженно-томящейся яви, колдовским поворотом пути, нет места Морекку. В ней бьется пульсом уж почти суточного бесплодного ожидания сердце Миронова. Его поезд идет. Он окажется в Туле внезапно. Как я ищу его, выходя на пути, среди поездов войны, так он будет искать меня — среди ожидающих в Туле 37-й эшелон.

Тридцать седьмой. Из всех цифр эти. «Тула» уже утерьяла свой смысл, одни звуки, полые, как труба. Это я спала, го-

лову на стол, меня будил кто-то? Пальма — все та же. Великий самовар — тот же, портрет в раме главнокомандующего великого князя Николая Николаевича... Его зовут как Колю Миронова!

Двадцать один час прошел, что я тут? Я обедала сегодня?

— Не помню... — «Ася ни о чем не должна беспокоиться, я все беру на себя. Сын будет здоров и весел. Я буду у вас каждый день!»

Снова сплю. Просыпаюсь. Гудки, эшелоны... «37-й — запаздывает!»... Морек — призрак, и Миронов — призрак. Я не верю, что увижу его. И когда я так стою на ветру и он треплет конец боа, прямо ко мне, шагом крупным и твердым, пооща в ветре полы шинели, переходит путь человек в военной папахе.

Я не узнала его! Вырос за полтора года. И нет черноты — папаха и весь в хаки. Черные — одни брови! Я забыла, что он так улыбается! (сердце падает). Что так сияют глаза: мрачной и восхищенной нежностью. Ставрогин и Мышкин! Я просто забыла Миронова! Стою, онемев. Не понимая. Я поеду сейчас с ним... Но на щите моем, как на щите и Марины, и нашей с Мариной матери, начертано слово «долг». И как там, в Москве, я вынула руки из рук Маврикия Александровича, чтобы сесть в поезд к Миронову, так теперь, тут, в его одиночном купе я не беру его руки, не даю себе воли, потому что должна вернуться назад. Мы не виделись полтора года — с того дня, августовского, в Краскове, когда я просидела над его недвижным телом шестнадцать часов, вливая ему через каждый час ложечку черного кофе. С того утра, когда он открыл глаза и узнал меня.

Я уехала в тот же день. И пока поезд, военный, уносит меня с эшелоном в сторону Белоруссии, рассказываю ему о себе. О себе и Борисе. О себе и Марине. О Марине и Сереже. О себе и Маврикии Александровиче — и не умею этого рассказать. Миронов слушает о другом, меня полюбившем — как он, на всю жизнь, как он — ничего от меня не требующем — и что он может понять? Но ему двадцать лет, и я с ним, и разве он когда-либо хотел иного? И разве он когда-нибудь понимал что-нибудь из того, что меня окружало? То есть вот именно он все понимал, и потому — «или

надо было сразу убить вас, как Рогожин Настасью Филипповну, — как он мечтательно шутит, — или любить вас, какая вы есть...»

И он наливает мне чай, ломает куски шоколада, вынимает закуски, утренний свет встречает нас как брата и сестру и как когда меж нами был Борис. Не прилегли, не сомкнули глаз. Я знаю, что мысль коснуться меня как женщины, сделать хоть движенье ко мне — кажется Миронову дикой: он так любит меня, так много больше, чем любят люди, что все кроме любованья и радости встречи — ему оскорбительно, чудовищно. Неприлично просто! Он прижал к плечу мою усталую за сутки ожидания его голову, целует, как отец, в лоб, уговаривает лечь спать.... А я говорю — с собою:

— Я бы могла никогда не расстаться с ним, но почему мне не надо приближаться к нему как к мужчине? Брось, — говорю я себе зрело, — просто вы оба надели броню и ходите в ней который год. И уверили себя, что «близость» меж вас — неестественна... Нет, он — моложе меня, и, продлись так долго, — мне, может быть, стало бы скучно?

У Миронова — ангина. Из соседнего купе к нам приходит его младший брат — Саша, они едут — Минск, Седлец — в Варшаву. Саша не похож на брата нисколько, круглолиц и некрасив (как мне кажется), светлой раскраски. Он приносит лекарство, сидит с нами недолго; закусываем, уходит.

Я читаю Миронову дневники. Он слушает упоенно, печально. (Почему я все зову его Николай Николаевич? Это — порог меж нас, так лучше. «Коля» — на эту интимность нет прав. А «Миронов», как я его зову про себя, — мне звучит романтично, волшебно, точно «Мирович» — и он на него похож: не сложил бы разве буйную голову за освобождение заточенного в крепости?)

А поезд идет и идет...

Мы едем уже двое суток? Я заразилась ангиной?.. У меня болит горло. Жар. Мы лежим друг напротив друга, на двух диванах купе и, еще смеясь, лечим друг друга. Но в то время как у него боль спадает и жар снижается, у меня то и другое — растут. Термометр показывает выше тридцати девяти, еще недавно было всего тридцать восемь (!), и я не могу глотать. Заботливые руки, большие и добрые, держат

у моего рта полоскание, — темно-золотые глаза глядят в мои с нескончаемой лаской... трепет тяжелых век над светло-серыми... вместо куда-то улетевших ласточкиных крыл бровей — светлые, вместо медвежьей гушины, черноты надо лбом — лысина — Морек!.. Глотать стало совсем нельзя, даже дышать трудно! Маленькая рука Маврикия Александровича держит у моего рта стакан... Почему так болят руки, ноги?.. Бред, я перестаю понимать, забываюсь, голова горит, как котел на огне.

— У нее сорок! — слышу я голос Миронова.

А поезд идет и идет...

И еще это имя — Лаврентий! Денщик, пожилой, добрый. Очень любит Миронова. Смоленск — приснился? Нет, в Смоленске были, когда была еще здорова, в первый день. Мчались в санках по городу, спеша пообедать в ресторан — и вернуться в поезд: Коля, Саша и я... «Минск»... Ничего не помню! В горле — нож. Тяжко дышать... А сараи растут, и нитка дрожит, распухает и, если еще распухнет — будет... смерть? Страшной смерти! Голова — в обруче. Качаю ее, тшусь приподнять, отогнать боль. Голос: «Сорок и шесть...» Чего сорок и шесть? Сараев! Они все растут — я хочу закричать, не могу. Кто сказал, что их сорок!? Сорок и — сколько? Сколько! Если узнать — спасение... Голос: «Я же сказал тебе: сорок и шесть, и ползет выше. К сорока одному!» Последним усилием воли понимаю ошибку, немо кричу: «К сорока семи...» (Из-за этой ошибки я гибну! Они позабыли, что после шести — семь... И сараи все перепутались, и не видно конца! Нитка пухнет..

— Вчера она мне сказала: «Из Седлеца дать телеграмму в Москву, Маврикию Александровичу — адрес есть, фамилия стерлась — карандаш! Он бы за ней выехал, понимаешь? Если я ее доведу до Варшавы — нам же приказ — на Жирардов!»

Я вдруг все слышу и все понимаю: «Минц!» — кричу я, но они не слышат. Потому что сараи — растут — ...Ааа! Ничего нет. Все.

Поезд все шел и шел, и стучали колеса, и стук их отдавался в моей голове. В проблеске помню — врача в белом халате, держит в воздухе мою руку. Потом опять ничего.

Спадал ли жар в испарине аспирина? Уже я стою на ногах, качаясь, в пальто, в шапочке, а рука вцепилась в корзинку, где дневники.

— Асенька, понимаете? (Это уже ясно — голос Миронова, Морека нет, он в Москве).

Седлец давно проехали. Я не хотела в Варшаву — там немецкие цепелины, с них бросают бомбы, зачем рисковать? Выбора нет.

— Ася, слышите? Поезд не идет дальше. Мы в пяти, в четырех верстах от Варшавы. Ротные командиры получили приказ вести солдат по казармам в Варшаву. Я вас поручаю Лаврентию. Он вас доставит в гостиницу, вызовет доктора. Вас ждет коляска, только чуть подниметесь на косогор. Иду! — кричит он кому-то назад и, спеша, мне (моя рука у его губ), — не бойтесь, все будет хорошо, жар уже меньше. Размещу солдат и буду у вас в гостинице (он называет ту, что я ему только что назвала — ту, где я была с отцом Гали до знакомства с Львом Матвеевичем). И вот уж Миронова нет. Но когда Лаврентий втащил меня с корзиночкой на холм — нет коляски! Ее взяла офицерская семья, пока мы влезали — уезжает, уже далеко... И вот четырехверстовая маята по пустому, тяжелому (качается...) полю, дурнота головы, заплетаются ноги и терпенье, русское терпенье Лаврентия, тащащего меня в полуохапке, как нянька — ребенка, медленно, как муравей кусок хвои. А я — муравей тоже: корзиночку с дневниками... И мне кажется, мы идем — года... Варшава была — как дымок, у черты горизонта. Она ползет навстречу тихо, как минутная стрелка. А мы все бредем и бредем... Временами меня нет. Сплю? Шагаю. Потянуло сумраком. День пропал. Это все тот же день? Огоньки — впереди. Шум. «Варшава!» — утешает меня Лаврентий. Я хочу улыбнуться. Огоньки уже ближе. А мы все бредем и дошли! Я сижу на крыльце у первых дворов города. Лаврентий ушел за извозчиком.

Гостиница, две комнаты. Лаврентий ведет меня во вторую, помогает снять шубу и ботинки, уносит их и идет вызывать доктора. Превозмогая боль горла и жар головы, я блаженно ложусь, слабыми руками открывая постель, в мягкое и широкое и тотчас засыпаю. Это не сон — бред, и сквозь

него, урывками, говорю с Лаврентием, ищу ему в записной книжке телефон Льва Матвеевича. И совершенно пружинно, как во сне, Лев Матвеевич оказывается на стуле у моей постели, как только я вновь открываю глаза. Затем он стоит рядом с кем-то, мне незнакомым, они озабоченно говорят о чем-то, и я слышу, еще не пугаясь, не понимая: «скарлатина»... Но слово буравит мозг, и когда я наконец постигаю, что это у меня скарлатина, с удивлением и отвращением я продолжаю сама, после доктора, осмотр начала груди под шейей и рук — в мелкой малиновой сыпи. В больницу? Не хочу. Может быть, можно заказать отдельный вагон — я хочу в Москву! Там в больницу. Не хочу в Варшаве. Так далеко от сына, война... Но ласковый голос Льва Матвеевича разъясняет мне, что такой вагон можно было оплатить только в мирное время — а в военное это немыслимо. «Вы же разумная женщина, вы должны переболеть здесь...» — «Наша лечебница Св. Станислава сделает для пани все, что надо, — говорит доктор. — И у нас хорошие доктора. Может быть, удастся положить вас в отдельный покоик...» Плача, сдаюсь. И тогда в Москву летят три телеграммы: Маврикию Александровичу, что не надо за мной ехать; матери Бориса, чтобы взяла внука к себе, с няней, Маше — оставаться в квартире.

Но это уже не доктор стоит с Львом Матвеевичем. Это — Миронов. Весть о скарлатине, больнице поражает его не меньше меня: он был уверен, что заразил меня ангиной. «Как же это может быть? Где же Ася могла — еще в Москве, значит! — Голос Льва Матвеевича: «Инкубационный период длится двенадцать дней...»

«Вздор, — думаю я, задыхаясь от боли горла, — это я играла в Туле с тем маленьким ребенком, больным, когда ждала эшелона». Споря по силе с ножом, вставленным в горло, счастье мысли: «Если б из Москвы не уехала, я бы заразила Андрюшу!...» И это смягчает боль. Это, и что Миронов сидит у моего изголовья и что-то мне говорит, долго... Глаза его глядят неотступно. Я — сплю? А они говорят. Его голос:

— Асенька, я иду. Больше нельзя. Я еще не расквартировал солдат... Мы только послезавтра выступаем в Жирардов — завтра я приеду в больницу!

Он целует руку, я рву ее, рассердясь:

— Вы заразитесь....

Глухо, снизу — из ресторана? — музыка. Как в Генуе, в гостинице, в детстве, в первый приезд в Италию... Миронов переступает порог.

Ночь. Голос Льва Матвеевича:

— Спите, Ася... Этот человек любит вас как-то... божественно и безнадежно... — И тихонечко гладит мои круче завившиеся кудри: — Ася ни о чем не должна думать, Морек уже получил телеграмму, мальчик в надежных руках, доктор обещал Асе отдельный покоик, рано утром карета приедет за Асей... И я буду навещать ее, исполнять все ее прихоти...

Его голос улыбается, как глаза, темно-карие, выпуклые под тяжелыми веками. Нос с горбинкой. Волевой рот... Снится мне — или я вспоминаю день нашего знакомства в вагоне? Колеса стучат, и мы стоим у окна...

— Зачем вы не сказали мне, что у вас сын — семи лет? Морек сказал мне... — И вам из-за него нельзя ко мне в заразное отделение!..

Но колеса стучат, голоса нет, и снова все пропадает...

Лечебница Св. Станислава на Вольской улице — на окраине Варшавы. Лучшие ее здания отданы под раненых. В одном из старых барачков с плохо заделанными окнами, где дуют февральские ветры и простуживаются больные, — scarlatinное отделение. Все это я узнаю много позже. Пока я, как сон, помню, как меня туда привезли, как переодевали в длинную холодную полотняную рубаху с завязками и халат, обували в плоские, как на мертвецах, туфли и как я с кем-то под руку, шатаюсь, с плывущей, как облако, головой, с ощущением отсутствия тела вхожу — не то слово — плывя, двигаюсь, точно водоросль в реке, через большую залу (?) с кроватями и оказываюсь в маленьком помещении, которое называют, меня с ним знакомя, — «покоик». Его, знакомя со мной — «пани офицера». Из чего я позднее заключаю, что привез меня туда Миронов. Как себя водорослью, так же плывущим, недостоверным — помню я и его — на чем-то настаивающим, виденьем, но, так как слова уплывают, то я их не помню, но им, добрым, качаю согласно головой. Я лежу и смотрю — настаивающими на том, чтобы видеть,

смыкающимися глазами — снизу вверх на уже уходящего, но все еще стоящего Миронова. Каждый раз, как я глаза открываю — это он. Как он чудно хорош! Глаза темно блещут, улыбаются, тревожатся, прощаются, страдальчески горят, незабвенно. «Если бы Коля ходил к умирающим, они бы не умирали»... Мрак, боль, мрак.

В ногах кровати сидит кто-то в белом, что-то спрашивает, очень ласково. Много польских слов. Какая долгая ночь! Он все тут. В чем-то меня убеждает, постоянно соскальзывает с русского на польский, спохватывается, переводя, умолкая, когда я перестаю быть, и снова оживая во мне, когда я, от боли горла и головы, просыпаюсь и благодарно гляжу на него. Я знаю, что он — доктор и, проваливаясь в потерю сознания, уношу с собой его наклоняющееся ко мне лицо, средних лет, красивое? очень доброе, бритое, с крупными чертами, меж которых темные тени — керосинового освещения? усталости? Будь я на десять лет моложе — я бы уносила в сон радость об ангеле-хранителе, — так неотступен, светел и добр он был. Он не отдавал меня боли: он что-то вливал мне в рот, в руке у него была блестящая, волшебная палочка, и к утру он наверняка превратился бы в бреду — в фею, но, должно быть, именно тогда он исчез. И это навек так и осталось в памяти видением, потому что — по необъясненным причинам — он больше никогда не вошел ко мне вновь, и, знай я это, я бы наверняка в тревоге бреда не уснула, а я засыпала с растущей надеждой, что с ним я выздорую от этой нестерпимой, похожей на смерть — так она была не похожа на жизнь — болезни...

Все это стало ясно — потом. Когда началось возвращение в жизнь, одолевшую боль, бред, страх, слабость. Через много дней. Пока же это было как на качелях: взлеты сознания и бреда, сменявших друг друга, по очереди садившихся ко мне на кровать. Маленькое белое привидение польской безгласной девочки с перевязанным горлом, опухшим, неподвижными глазами, вызывает безостановочную жалость: мученица. Жар у нее не спадает, она не ест и, думается, не спит: задыхается, не слышит — болят уши. Ее старшие брат и сестра уже выписались, и кто-то изредка ее навещает, но

она не выражает ничего навстречу — она полужива. Ко мне приставлена особая няня — Ягуся. Она возникла как явление бреда, но продлилась и в явь. Она носит мне с рынка четверти молока (узнав, что у всех в анализах — белок, я не стала есть мясной пищи), подает еду, убирает «покоюк». Ягуся — худая, светло-русская, невинная, бестолковая и веселая, как персонаж из комедии. Ходит она в полосатой юбке.

После тяжких дней, лишенных всего, чем мила жизнь, я тихо и жадно, благодарно любуюсь синим цветом Наташиного халатика и ее голубоватыми веселыми глазами, ее хрустально-звонким голоском, ее правильным слухом, завитками мелодии о белых акациях, которые снова цветут... Сержусь на вновья, хоть я уже говорила, что вредно, принесенные два яйца к завтраку и вместе со всеми пугаюсь гудения цепелина, когда он, жужжа, как гигантский шмель, кажется над самым двором больницы. Радостно жду Льва Матвеевича, который, несмотря на запрет мой, сегодня придет, и как девочка радуюсь оставленным мне апельсинам, которые начинаю сосать.

Я уже улыбаюсь нашим начальницам, напоминающим лозаннскую мадемуазель Люсиль и — мадемуазель Маргерит — они тоже ревностные католички, и, когда входят перед завтраком в черном с белым, с красным крестом — знаком их милосердия — в широких накрахмаленных белых растрехах головного убора, как на фламандских картинах, и становятся с теми, кто уже может стоять, на молитву, я чувствую себя девочкой и мир — детством. Повторяю польские слова, среди которых шла жизнь нашей с Мариной бабушки — маминой матери, Марии Лукиничны Бернацкой — «снеланье», «колация»... А в Москву едет письмо, поручающее Нилендеру править корректуру моих «Размышлений».

Лежу, вспоминаю последний миг мой с Мироновым, вернее, его — со мной. (Я не сразу осознала, что этот миг — был!) Миронов канул, исчез, казалось, в тот первый вечер в больнице, когда в бреду они все смешивались в одно: доброе, но оно исчезает, как проплывшая в аквариуме рыба, на ее место плывут другие, уже исчезая тоже: Коля,

Лев Матвеевич, тот доктор в белом халате — всех поглотил бред. И теперь, когда он прошел, я поймала в аквариуме еще одно, что наверняка было: прощальный приезд ко мне Миронова — перед выступлением с ротой в Жирардов, на фронт. Он стоит передо мной, у самой кровати и смотрит неизъяснимым взглядом. Он что-то говорит, но я слов не слышу, звук не доходит, я как-то опаздываю понять: связь слов нарушена, и надо сделать какое-то усилие, чтобы слова догнать и связать, и это именно то, чего не могу сделать.

Глаза! Те самые — и мышкинские и рогожинские, но они до того слились в нем, что вообще непонятно, как бывают другие глаза, то есть: как могут глаза выражать иное, чем выражали глаза тех двух, как могли глаза одного не выражать и того, что в глазах другого — только то и довлело, когда слились... *Жирардов!* Непонятное слово. Место встречи с флотилиями? С чередой тех цеппелинов германских, приближения одного из которых мы так всей палатой страшились... «Господи, спаси его!» Будь я способна сказать так... — но я знаю, что Бога нет..

Из польской малопонятной речи я с трудом, но все-таки разбираю, что в женской палате — недоумение: кто я, русская «пани офицерова²», которую навещает поляк и к которой с трудом допросился пропуска высокий человек в штатском платье, приехавший будто бы из Москвы. Он принят тоже как мой «пан» (потому что я так ему рада!), и не скоро поймут больные полячки, что его мне прислала сестра! Но, как одна, — те, что уже покончили с болью и стонами, они засмотрелись на темноволосого, улыбающегося красавца, застенчиво прошедшего по их палате, исчезнувшего в «покоюке». Сережа Эфрон, сияя аквамариновыми глазами, стал у меня в ногах — ему не велели ни к чему прикасаться — и сыплет на кровать из наклоненного рога избытка золотые шары апельсинов. Он кладет сверток вещей, которые мне могут понадобиться; среди них книги — «Вы скоро начнете читать, Асенька!..» — и рассказывает, как меня бросились искать родные и друзья, когда старая няня сообщила, что на несколько часов в Тулу поехавшая «мамочка наша который день как в воду канула», и — как боялись несчаст-

тъя, как пропала первая телеграмма — как волновались Драконна, Нилендер (с вопросами о корректуре), Маврикий Александрович, Ирина Евгеньевна...

— Все в порядке, Асенька, Андрюша у бабушки, ликует без ваших цветаевских строгостей (сказал Боря), он собирается ехать к вам!

— Милый, чудный Сережа! — говорю я. — Приехали! Как я рада... Но уходите сейчас же! Вы можете заразиться, заразить Алю... Умоляю вас, уезжайте скорее, расскажите Марине и Трухачевым, — мне лучше, а Варшава — это такой город, где может убить бомба, я буду так беспокоиться, пока вы не напишете из Москвы, что вы — дома! Это, собственно, безумие, что Марина вас отпустила, обещайте, что сейчас же уедете, а то я заболею опять! Старая няня у Борисовой матери? Пусть поцарствует Андрюша у бабушки и «Масейки» — только избалуют там мальчика! Сереженька, именем Али — идите! И поцелуйте от меня — всех!

Как сладко засыпать после ужина, в тишине, горло уже чуть чувствительно (голова не болит — тяжелая), вытянувшись отдыхающим телом в теплой прохладе простынь.

...Ягуся убавила свет в лампе, какие уютные тени... И моя бедная девочка, в первый раз раскутанная от компрессовых повязок горла, сегодня мне улыбнулась, когда я дала ей конфету. Ее нарывы стихают, она уже пьет молоко и так слушала, когда Наташа запела песни, а я еле-еле ей вторила — каким-то певучим шепотом... А у панны Ядвиги — прелестное личико! Юная героиня романа. Она мне рассказывает о польских писателях, мы говорили о Достоевском, — она любит стихи, внимательно слушала о Марине, и я впервые после болезни читала ей Маринины стихи. Она не могла понять, как мы говорим в унисон и в два голоса, но этого ведь никто не может понять.

Сестра шла по палате, — надо спать, ночь...

От Маврикия Александровича шли письма. Его круглый широкий почерк, фразы с польскими оборотами, обращение в третьем лице — успокаивающие слова, обещания за мной приехать, сообщения об Андрюше, о нилендеровской работе над корректурой — были радужным мостом к Мос-

кве. Он возражал против перепосвящения ему моей книги, уверял, что он этого не достоин, что обижать Сергея Ивановича... Не слушая, я отвечала, что никто не заставит меня снять ему посвящение, вся книга им прочтена и ему близка — а Ковалев? Зачем она ему в его увлечении мировой бойней, от которой у него, философа, «захватило дух!»

А после писем пришла посылка — чего там только не было! Сладости всех видов, теплый серый халат со шнуром, упоительно мягкий, как кошка, белая легкая вязаная кофточка с малиновым ободком у шеи, теплые туфли, книги стихов Северянина и заводной паяц, хлопавший кружками тарелок из него идущую музыку! Он переехал из моей кровати — в девочкину, вызвав восторг, внесший в ее выздоровление больший прилив сил, чем компрессы и полоскания. В то время как я, впервые решась тайком встать, в новом халате, расчесав круто завившиеся в жару волосы, озирала с порога палату; с кем-то заговорив, узнав, что опять белок в анализах, обещала поговорить с доктором о неверном при скарлатине питании. Но голова кружилась, пришлось лечь. И тогда раздались шаги, голос, знакомый смех и, кого-то уговаривая и отстраняя — «но позвольте, тут моя жена...» — легким шагом вошел в палату — Борис!

Сколько смеху, юмору и сарказма влетело в нашу больницу с непонятым мужем «пани офицеровой»! И — словно он не ко мне одной пришел, а ко всем, кто тянулся — с постели; многие — посмотреть, услышать — и понять, иные — превозмогая боль и температуру, прислушивались, переспрашивали, переводили друг другу сказанное, что неслось из открытой двери «покоица», улыбались, сочувствовали, участвовали, — так ярко, так всем принадлежал, так разителен был вошедший, словно спрыгнув волшебным со страниц распахнутого фантастического романа — такой... муж! И когда закрылась после первого визита за ним дверь, внимание ко мне окружающих удесятилось. Не только больных, а и самих сестер — настоятельниц лечебницы Св. Станислава! Такого еще никогда не видели здесь, за всю бытность католического заведения! Ну и русские! Пани Ядвига с интересом расспрашивала о Борисе, даром что красоточка и гордячка! И, ответно гордясь печальным родством порванного заму-

жества, я рассказывала польской девушке о наших двух русских семьях и о Миронове и мной решенной своей волей разлуке — ради ненанесения удара вот этому человеку, которого она только что видела. Я уже могла говорить и об этом, как о прошлом, гераклитовой рекой проструившейся болью разлуки с Маврикием Александровичем, моим настоящим (и будущим!).

И может быть, без слов поняла романтическая полячка — ровесница — мою боль о пропавшем на фронте Миронове, прорвавшемся ко мне в мой первый вечер больничный, так прощавшемся на другой день...

— Ну как, Асенька? Поправляетесь? — говорил, сев на стул у постели, Борис, с мороза потирая опущенные меж колен руки, смеясь, поддразнивая, играя, — Марина просила сказать вам, что вы, собственно, не имеете права болеть такой болезнью — самостоятельно, памятуя, как вы обе болели свинкой в пансионе, — кажется, немецком? если я не запамятовал, в Шварцвальде? — балагурит он, ни мыслью, ни сердцем не постигая, какой болью по мне скользят эти его галантно-отчужденные «кажется», «если я не запамятовал», в коих сквозил привычный его холодок свободы от всякого тесного соприкосновения, невозможность слияния (его коренное несходство с Сережей Эфроном, ставшим с Мариной — одно...). Но в тот миг, когда я, не откликнувшись сердцем на эту шутовскую чужого, уж готовилась провалиться в горечь, Борис, склонив голову набок, в настойчивой игре рушась в нее глубже, стал вдруг так похож на разбаловавшегося щенка, так умилителен, что, без промаха купив меня всю, с потрохами, уж не один рухнул в смех: мы делали друг другу «Мишу», скосив глаза на дверь, изображая Мишин страх перед кем-то, там притаившимся, перепрыгивая шутками один выше головы другого, — «настоятельница подслушивает нас лазговольщик»... — лепетал Борис, обессмыслив лицо, вытянув трубочкой рот, втянув голову в плечи, — «переводит на польский каленицу»... — вторила я, не отставая в зеркальном отражении лица Бориса. «А сицас они все волвуться сюда, схватят нас и как “живую улику”, — я продолжала, — повезут в сумаседский дом»... И кто знает, что случилось бы с нами на самом деле, застань нас кто-нибудь в такой

дуэтной беседе, если бы вдруг не показалась, как вызванный нами спиритический дух, сестра-монахиня во фламандском, крылатом, блиставшем белизной головном уборе с красным крестом на груди. Наши мгновенно потухшие (как погашенное дуновением пламя) лица обрели будничный смысл, и Борис, встав, уже приветствовал д'Артаньяновым поклоном вошедшую.

Она уже вошла. Тогда, обернувшись ко мне, Борис сказал назидательно и печально:

— А вы не заметили, Асенька, что все глупея и глупея за годы, Миша сегодня окончательно перевоплотился в Федю? — неуверенно закончил он...

— В Федю! — утвердила я восхищенно и, в страсти реализации: — Это его брат, да?

Но даже и не услышав, Борис отвел родство — одним тоном голоса:

— Мы присутствовали при рождении нового феномена, и отныне дух его будет сопутствовать нам. Миша удалился в неизвестном нам направлении.

— Борюшка! А вы Марии Ивановне делаете когда-нибудь «Мишу»?

— «Мишу»? — отозвался Борис, не отзываясь ни на суть вопроса, ни на мой очеловеченный тон. — Миша удалился уже давно. Как бледнеющий призрак в неизвестном нам направлении...

С каким-то чувством обиженности и скукой Борис передавал мне привет своей матери, уверения ее, что с Андрюшей все благополучно.

— Этот юный джентльмен, мой сын, — сказал он оживленно и встал, — несомненно обладает способностями циркача-акробата: он взлетает, держась за ваш палец, на любую высоту, и притом — мгновенно! Вас он забыл, как и подобает в сем мудром младенческом возрасте! От Миронова еще писем не было? — Он встал идти. — Что же касается Марии Ивановны, то сия дама просила передать вам привет.

И когда Борис вышел, обещая завтра прийти, быт больницы вечера рухнул на нас — стопудово: громкие — стоны, круче — храп, назойливее услуги Ягуси, молоко из четвертной бутылки показалось вдруг скисшим, и в палату ввели еле

стоявшую на ногах, с высокой температурой немку Берту. Я лежала и думала о том, почему ее, немку, пожалели более, чем мечущуюся в жару еврейку? Полячки ненавидят евреев больше, чем врагов -немцев? Какая невероятная национальная дичь?

Полдня — с обеда — мы все ждали Бориса, но он не пришел. Уехал? Неужели мог не зайти? Вечер тянулся без конца. От тоски ища отвлечения и, может быть, чтобы занять других, я, незадолго до того вызвавшаяся, уже встав на ноги, негодование и огорчение у сестер-монахинь моим невставанием на молитву, — вдруг перед «колацией» в то время, как все начали молиться, вышла в палату и, встав на колени, так простояла, сложив по-католически ладони. Но когда я стояла так, вместо веселья, которого я ждала себе от этой внезапной шутки, я оказалась внезапно во власти такой грусти воспоминаний о Лозанне, мосье л'аббэ и м-ль Жанн, которых уже, возможно, нет на свете, что, встав, окруженная с двух сторон монахинями в огромных белых чепцах, не сумела себя повести в ответ никак — ни весело, ни смущенно, а только слушала себе похвалы, почти — поздравления. Думали ли эти простые души, что обратили меня? Берта, большая, толстая, металась. Ее лицо пылало. Она не узнавала никого. На своей маленькой кровати моя девочка радостно принимала у себя гостя — годовалого мальчика на руках матери, заводила для него музыкальную игрушку — паяца.

Наташа, сев у меня на кровати, учила меня петь «в два голоса» — «Белой акации гроздь душистые / Вновь аромата полны». Голоса в мелодическом согласии полнили «покои» и палату. Вечер был долог, долог.

А на другой день пришел проститься Борис.

— Боря! Почему вы вчера не были? Все вас ждали...

— Со мной случилось маленькое приключение! — и он рассказал, как ушел с ротой солдат, примкнув к их песне, вышел за Варшаву и долго шел — они шли на фронт, — пока его не остановил командир. Разговор (допрос?), требование документов, выяснение личности — на это ушло много времени, и прийти в больницу он уже не успел. — Они ушли, а я остался, — сказал он, и была жесткая мука в его голосе.

Уйти за песней... В этом был весь Борис. И все сердце мое всколыхнулось — к нему. Я проводила его до дверей и стояла, растерянная, в тоске, его шаг стихал. Я легла и стала читать письма Марины и Маврикия Александровича. Они помогли мне победить дикий приступ тоски по Борису...

Цеппелины каждый день гудели над больницей, и мы ждали беды. Что стоит немцам бросить бомбу над нашими крышами. И кончится жизнь стольких больных и в соседних бараках — раненых, так борющихся за нее...

Как медленно поправляешься после этой страшной ямы, куда тебя ввергла случайность, куда тебя было совсем засосало... И как прекрасна жизнь, когда вылезает из этой ямы, — вдвое желанней! Как долго тянется день! Я одна из всех не ем ничего мясного, ни яиц, заменяя вредное — молоком и сладким, мне их приносит Ягуся, и, когда она возвращается, я, пока она надевает халат, вижу ее широкую, яркую, полосатую юбку из деревенского полотна, от нее — точно солнце в комнате! А Берта — умирает. Ее хриплые стоны, бред, где можно разобрать немецкие слова, раздаются так громко, что я тщетно пытаюсь читать стихи Северянина, строки падают ниц перед смертным страданием, которому я не могу помочь. В протесте перед нелепостью существования, которое кончается такой незаслуженной мукой человека, уходящего навсегда, я стараюсь отвернуться, отвлечься, победить «эту дурацкую жалость, которая ни к чему не ведет», засовываю пальцы в оба уха, читая вполголоса: «Тусклые ваши сиятельства! / Во времена Северянина / Следует знать, что за Пушкиным / Были и Блок, и Бальмонт», — но не помогают «Ананасы в шампанском», а вполне ясно предстают кошунством перед лицом смерти. И я перестаю читать. Я брожу, сердясь на себя, что не могу молиться за умирающую. Доктор, сестры. Все тщетно. У Берты началась агония.

Наутро я, вновь получив на завтрак два яйца, педагогически, перед доктором, зашедшим к моей девочке, кидаю их о пол. На его удивление (такая культурная женщина, москвичка!) я говорю в громком негодовании:

— Неужели вы не знаете, что нельзя ни яиц, ни мясных бульонов при скарлатине? А их дают каждый день! И горох!

Точно нарочно! и каждый день кому-нибудь делают анализы и обнаруживают белок! Только у меня его нет, потому что я пью одно молоко! Если не прекратится это безобразие — ведь больные же терпят добавочные страдания от этого дикого питания — я, приехав в Москву, напишу — непременно! в газету о том, что делается в варшавских больницах!

Доктор смущается, успокаивает меня, обещает поговорить, где надо...

— А простуды! Вы послушайте, как они кашляют! Разве им надо таблетки? Надо окна заделать как следует, как мое окно заделала Ягуся, купив ваты в аптеке! Вот ваша маленькая пациентка выздоравливает, а вы думаете, у нее не было бы после всех недель ее мук — еще и лимфоденита, если бы ей в шею дуло от окна день и ночь?

На другой день приносят вату, няни свивают ее в длинные полоски, и к ночи все окна женской палаты заделаны, и в оживленных беседах о непорядках больницы все выражают мне благодарность. Ко мне входит панна Ядвига.

— Женщины говорят, что если бы не ваша энергия и то, что вы никого не боитесь, что вы — москвичка, все бы продолжали болеть простудами и воспалением ушей, ведь по палатам (в мужской — то же самое!) — *ветер*...

— Раненые! Только о раненых заботятся! Им отдали хорошие здания, а нам — старый барак! Но мы — тоже люди, и нам нужна тоже забота! — негодуяще переводит она щебет польской палаты. На ужин вместо гороха принесли гречневой каши. Только одной Берте не было нужно уже — ничего.

Глава 9 ДОРИАН

Однажды на закате, когда все было янтарное, а тени казались синими, ко мне вошла одна из сестер-монахинь:

— Пани скучает! Пани не може муви по-польски, — дальше пошло непонятное. Стоявшая тут же Наташа, за два месяца болезни научившаяся понимать польский, перевела: меня навестит из мужской палаты — москвич. Он тоже уже выздоравливает и тоже скучает. Сестра исчезла.

— Ну, пусть приходит... — сказала я, довольно равнодушно юмористически воображая себе этого незнакомца, ненужного «москвича». Я только что собиралась писать Марине.

Но в дверях колыхнулось накрахмаленное крыло монашеского головного убора и, чуть ли не за руку, ввела в мой «покои» сестра-монахиня очаровательнейшего юношу. Он шел и смеялся, запахивая больничный халат, — он имел вид несколько упирающегося, — он поправлял светло-русые волосы, причесанные на косой ряд, бросая задлившийся взгляд на меня (я сидела в кровати в белой вязаной кофточке с малиновым ободком у шеи, в коротких русых, круто завившихся от жары кудрях). Монахиня указала ему на стул у моей кровати, кивая в знак доброго расположения, и бесшумно удалилась. Вошедший, все еще смеясь прелестным мальчишеским смехом, шагнул через янтарный луч, на миг утонул в нем, весь став золотистым, вышел из него, чуть отодвинул стул и сел, и контур его головы, шеи, плечей, худощавых, озарились золотой пылью.

Я не помню слов. Было много смеха, юмором пропитанных рассказов о палатах и больных, докторам, сестрах, он так же неожиданно, в пути, как я, заболел. И оказался вовсе не москвичом — петербуржцем. Звали моего гостя Николай Павлович Симанский. Он был призван (я забыла теперь, в какой род войск). Он должен будет догонять свою часть. Эта дурацкая болезнь, так неожиданно всему помешавшая...

Влюбленность началась сразу: одна из тех, что, питаясь зеркальностью отражения, возрастает в неудержимое качество несомненности, из подарка через какой-то час становится сужденностью, неотвратимой, как жизнь. Кто мог бы развести нас через тридцать минут беседы? Чем веселей она была, чем светлее наш смех, чем остроумней игра наших слов, тем больше вонзалась в сердце тоска близящегося расставания. У меня. Он казался моложе, и — петербуржец, воспитанный в богатой семье, баловень судьбы до мозга костей — что ему я! Так я думала, в горестной боли все чувствовать всегда первой, при первом шаге уже провидеть весь ход игры! В эту горечь я уже оступалась, когда Дориан (так я с первого взгляда назвала, в себе, вошедшего), откинув назад пленительным движением узкую голову:

— Ася! Вы позволяете себя звать так? Чудесное имя! А я не хотел ведь идти к вам, спорил с сестрой! Я воображал, что увижу «москвичку», жену какого-нибудь армейца, — они вас называли «пани офицера», даму в зените лет... — И мы смеялись дуэтом над миром армейцев и дам, над той человеческой жизнью, с которой «от рожденья, от века» не имели дела ни его семья, ни моя... И я слушала о его скрипке, он играет на ней с одиннадцати лет, о его друзьях в Петербурге, об изысканном мире музыки и искусства. Мне казалось — я всегда знала его. И, ударом в самую глубь сердца:

— Я знаю теперь, на кого вы похожи! Это было два года назад. Я первый раз его увидела в тысяча девятьсот двенадцатом, весной — три года. Он умер в тысяча девятьсот тринадцатом, в феврале. Я вам о нем расскажу. Да, у него был тот же род очарования, что ваше. Мужественность, неотделимая от женственности... Его звали Борис, Боря. Он был шафером на моей свадьбе, другом моего жениха. Мне было семнадцать лет, им — девятнадцать. Как жаль, что вы не увидели моего мужа, Бориса, — он недавно был здесь, у меня. Тогда бы вы больше поняли!

— Мне кажется, я понимаю... — уже не улыбаясь, с какой-то мимо летящей грустью сказал он, сел, подавшись вперед, обняв руками колена, и так, в позе внимания, преодолевая застенчивость, задумчиво слушал меня.

Уже отступило с окна, окрасив и затем смыв подоконник, солнце, уже покоик наш стал совсем голубым, потом — синим, потом и синева стала уходить... Мы говорили. Я рассказывала ему свою жизнь, с отрочества, говорила ему о Марине, вплетала ее стихи о нас. Ужин давно отужинали в палате, помолясь, и ложились спать, уже крепко спала моя девочка и куда-то пропала Ягуся — нас забыли! Свет керосиновых ламп уступил место полумгле ночников, дверь в наш покоик из палаты была притворена, а мы все говорили, не в силах расстаться, налюбоваться друг другом. Дориан — я его и в глаза теперь так называю — давно пересел со стула ко мне на кровать, он держал, как Боря Бобылев, мои руки и иногда целовал их, но ни одного движения лишнего, дерзкого, грубо-мужского. Мы были в состоянии зачарованности. Из нее не было выхода. Поцелуй был бы груб — не

нужен. Повторялось бывшее с Бобылевым. О, он слушал о Бобылеве в трепете понимания и восторга, и я дарила ему Миронова... (Кто же будет после слушать о нем?..)

Настала ночь — восхитительная тем, что нас позабыли — это было настоящее чудо в больнице полумонастырского типа, забыть мужчину в женской палате! Теперь ведь он и не мог уйти! Теперь он уж должен был дожидаться утра, выйти отсюда, как будто зашел утром за чем-нибудь! Узнать о здоровье пани!

Как мы смеялись! (Тихо, чтоб никто не услышал!) В этом необычайном происшествии мы не могли найти своей вины. Мы не хотели знакомиться, оба не хотели! Нас — заставили! Признать же себя виноватыми в том, что заговорились глубоко в ночь — не получалось. Эту беседу можно было прервать только насильно! Долг это был — их. Прерви они нас, войди — хоть Ягуся! — сказать, что — поздно, надо идти и ложиться — мы бы разошлись и легли, но и Ягуся исчезла (добрый гном!). Мы не виноваты! Как дети, веселились мы этой монастырской ночью, как духи, невинные в земном грехе! Мы, встретившиеся не так надолго — в палате больницы! в дни войны! жители разных городов, обретшие счастье побыть вместе волею... скарлатины! Ничего не ждали, ничего не требовали от судьбы! Мы жили вместе, и это и была вся возможная для нас жизнь вдвоем, эта ночь, которая сейчас кончится...

И уже нельзя развести рук... и уже бесконечно дорог мне этот чудесный юноша... А смущенье, в любованье, в состоянии счастья прижавшийся на единый миг лицом к моему, в ненасытимой бессловесной ласке, в восхищении встречи-прощанья! И я — материнской? сестринской? так хочется себя уверить, что так... рукой глажу его волосы и висок, другой рукой сжав его руку. Будущего — нет! Но час — наш, этот последний ночной час перед рассветом! Мы говорим — друг о друге и о себе ненасытимую правду, уже нельзя понять: это — счастье? горе? А за окном — как когда-то с Нилендером — утренняя заря. Я не знала тогда, что этот двадцатитрехлетний мужчина никогда не касался женщины, что само это слово — и тем, с кем он вел жизнь, — было одно зло... Я это узнала два года спустя. Победа моя была не над юношей — над противником женщин!..

А потом наступила жизнь: смех и страх, что же теперь будет, когда (кто первый? если б Ягуся! она в простоте душевной и в сочувствии, добром, старшей «молоденькой», в преданности мне, всегда ласковой, щедрой, благодарной ей за заботы, как-нибудь вывела бы Дориана из его заточения... но Ягуся не шла. Кто первый увидит и предаст огласке пребывание в течение целой ночи мужчины — в женском «покоюшке»?!

Мы сидели, не разнимая рук и невинные, как моя спящая девочка, невинные в том грехе, который прогремит по больнице, от которого нам не отвертеться, как мы бы ни повели себя, что бы ни говорили...

Но, должно быть, сама жизнь к нам была в ту ночь благосклонна — мое восхищенное сестринство? материнство? простерлось, естественно, до того, что моя участь меня сейчас тревожила меньше, чем участь бедного Дориана, коему за такое целомудрие, которое им и не снилось, — надо будет перед ними предстать грешником, закоренелым и «опытным» при такой его природной застенчивости! Ему, как кошка воды, чуждавшемуся изъявления чувств, надо будет сейчас, вот сейчас предстать гоголевским «кумом», лезущим из сундука «кумы»...

— Дориан! — вдруг остро прислушавшись к тишине палаты в голубых приливах из-за окна. — Я вас сейчас выпущу — пока большинство спит, а меньшинству почудится...

— Что почудится? — впал Дориан с неизгладимым юмором, вставая с кровати и давая встать мне, потому что я уже крадась к двери, приоткрыла ее, выглянула...

— Царство сна! — счастливо шепнула я, ведя его за руку. — Только умоляю — скорее! Шире шагайте! Как цапля! Меньше шагов... — И уже, осияв меня прелестнейшей из улыбок, он скользнул мимо меня к двери — до двери в коридор из палаты было шага три... О, как же у меня билось сердце! Исчез... Тишина!

Я рухнула в сон, как брошенный в воду камень... А когда я из сна проснулась, — мне Дориан показался видением, привидением, сном — но только не явью, не былью! И как счастлива я была тем, что это не сон, а быль, не виденье, а явь — разве это расскажешь? И понял ли бы это так все во мне понимавший Миронов? И понял ли бы М.А.?

«Да, — сказала я себе, неуверенная в Миронове в это утро. — М.А. понял бы, поймет!»

И была дрожь печали в глазах, причудившихся, мироновских, в неотвратившихся, затуманившихся глазах.

Но не так проста жизнь, как она мне показалась в то утро, и не так начисто мы ее победили в ту ночь: как? через кого? кто же был соглядатаем в то волшебное утро? До сестер-монахинь дошла весть о задлившемся визите пана Симанского, «москвича» — к «москвичке»... И мимо шепотов и шелестов польской свищущей речи палаты — о нас ли шептались? ко мне, отдохавшей, радующейся, вошла... самая старая из сестер, маленькая, согбенная годами (я ее впервые видела!) в сопутствии двух знакомых мне — тех, что радовались, когда я встала на колени на общей молитве! — стала она передо мной в грешном русском покое и, вперив в меня старческий укоряющий взор... и что только она говорила! как хорошо, что я по-польски так туманно понимала ее! Но конец речи я поняла: что какой-то пан (Миронов? Лев Матвеевич? Сережа Эфрон? мой Боря?) «забиет» пана Симанского, и это будет навек на моей душе! И, подняв руку к небу, старая монахиня плакала... Как я любила ее! Я что-то говорила по-русски, но ей не сумели перевести моих слов...

Был ли запрет продолжения знакомства двум русским в стенах польской монастырской больницы? Был ли он мне объявлен? Только пыл и горе старой монахини дошли до меня, речь мне не перевели... Дориан не шел — и что оставалось делать? Я написала письмо, и Ягуся с понимающим видом понесла его, прикрыв полотенцем. Ее худенькое пожилое лицо в морщинах было скромно и благожелательно. Я заподозрила ее в том, что ее душа без слов (польских, русских) знает правду о нас! Дориан ответил письмом такого чудесного стиля, который привел меня в полное восхищение, и так загорелась драгоценная нам переписка — как несказанно жалко, что от нее — ни следа!..

Сколько юмору! Нежности! Шуток над тем, что совсем не шутиливо, — и стихов (Марининых, Эллиса), и его тонких замечаний о них... Он выбирал слова простые, изысканные: изысканность ему была проста.

Но все пройдет, и проходит, кончилась и переписка, потому что однажды, поклонясь чуть смущенно обитательницам палаты, Дориан вновь переступил мой порог. И прелесть свиданий стала ежедневной. Но он чинно уходил — перед ужином.

Жизнь разделилась надвое, как «Записки Кота-Мурлыки» Вагнера: на одной стороне ее, с утра до послеобеденного часа отдыха, день шел с обитательницами палаты, в ожидании часа, когда придет Дориан, на другой стороне листка — он перевертывался его вхождением — были короткие часы с ним, поглощавшие палату, больных, мое с ними общение. И так пошла день за днем. Теперь уже не навещал меня Лев Матвеевич. Я получила от него письмо (или об этом мне написал Маврикий Александрович?). Вернее, что так (о том, что он должен был уступить требованиям жены, боявшейся заразы для мальчика). Да и я уже выздоравливала, опасность и боли прошли, заразительность же скарлатины увеличивалась именно в период шелушения кожи.

Из Москвы шли письма — от Марины, Ирины Евгеньевны, от Лидии Александровны Тамбурер, от Маврикия Александровича, от Нилендера, правившего корректуру моих «Размышлений», я же не отвечала им ввиду шелушения. Изредка я слала телеграммы. А за окнами распускались ветви деревьев, над ними в вышине летели цеппелины, из бараков выписывались раненые и поступали на их место другие, где-то там, за полями Польши, шла война.

Моя дружба с панной Ядвигой крепла, она то и дело ко мне заходила, у нее еще не кончились осложнения, у меня их не было. Скоро выпишется наша девочка, уже вновь хорошенькая и веселая. И Наташа скоро выпишется. Как жаль!

С кем я буду петь в два голоса, в длинные часы после обхода доктора и после ужина, когда еще не спят, ушел Дориан, и вечер пуст. Его пустота наполнялась звонкой печалью голосов, ритмически льющих мелодию медленно, по ступенькам, как льется вода петрозаводских фонтанов. Много их было, романсов и песен, и все-таки самыми любимыми оставались строки — слова тонули в напеве, старинном, как старинна весна: «Белой акации гроздь душистые... / Вновь ароматом полны...» Голоса медлили...

Слияние звука и слов своим совершенством делало больно сердцу. Больные слушали наш импровизированный концерт, и, мне кажется, их боли, их жар немного смиряться гармонией напева, засыпали в них, как засыпает младенец под колыбельную песнь. Только всплескивался чей-то бред, уже не подвластный пенью, кто-то стонал. Металась, не выздоравливая, молодая еврейка, со вчерашнего дня все звавшая мать... Может быть, их бытие с нами, их, которым мы с Наташей уже не можем помочь, давало еще большую глубину печали голосам нашим, бившимся о безысходность — «Утро туманное, утро седое»... — начинали мы другую мелодию, вступая в другой зачарованный сад осторожным движением, — и как могла двенадцатилетняя Наташа так понимать взрослые песни, так любить их — и так петь!.. Я помню голос ее — до сих пор.

Наше пенье было прервано: еврейке становилось все хуже, послали за доктором, мы вышли в палату. Ее рука упала с кровати, косы разметались, одна свесилась до полу, и однообразный крик ее повторял одно слово. Глаза ее были раскрыты, видела ли она что-нибудь?

А полячки хотели спать, и их ропот рос.

— Матку зовет! — говорили они зло.

Кто-то крикнул:

— Иди к матке своей и кричи там... Спать не дает!

Поняла ли я их слова по тону и жестам или мне их перевели?

— Как не стыдно вам, — сказала я, — человек мучается, а вы смеете на нее кричать? Сами, может быть, так кричать будете...

Но уже шел доктор, мы расступились.

— Чем объяснить, — спросила я панну Ядвигу, неодобрительно глядевшую на только что разыгравшееся, осуждая грубость среды, несходную со средой, ей привычной, — что они способны издеваться над умирающей? Умиравшую Берту они не затрагивали, хоть цепелины ее родичей над нами, и мы можем умереть от их бомб?

— Видите ли... — задумчиво и смущенно отвечала панна Ядвига, — то война — более временна и случайна... Ненависть же к евреям очень давнее явление, и...

Я не помню, что она дальше сказала.

Вокруг умирающей поднялась суета, столпились сестры. Смерть наступила внезапно. Руки теперь были вытянуты вдоль тела, глаза были закрыты, косы кто-то положил у плечей...

Прошел еще какой-нибудь час, и ко мне постучал Дориан. Я ждала его. Как много было во мне слов ему, как они рождались, как повелительно! Как уверенно я знала в себе мощь потрясти его виденным, как опрокинута во мне была — пережитым — его и моя почти кощунственная шутливость над всем, что звалось — серьезным. Все было серьезно во мне, не «звалось!» Зрелище смерти победило изысканность наших бесед, отвратило от всего сердце. Как к брату рвалась я — в него вложить достоверность случившегося, негодование о жестокости к умиравшей... Уже не было на кровати ни черных кос, ни желтых рук умершей, ее только что меж нас смолкшее тело, так величаво таинственно лежавшее, — унесли, и когда смеющийся, смущавшийся Дориан, запахивая сизый халатик, переступил порог, не сводя с меня глаз, — я не нашла никаких слов, чувства попрятались, как улитки в раковины, — я потеряла сражение, его не начав!

И уже летела через меня, сражая, стрела иной правды, которой воплощением вошел ко мне Дориан. «Смерть» — вот что я хотела сказать ему. Что иные права и силы были рядом с той — святотатственны! Вторая звалась — Жизнь... Ничего не хотела слышать она о сопернице, ничего не знала... Улыбалась, светилась и веяла.

— Дориан! — сказала я вдруг с ужасно забившимся сердцем. — Как я счастлива, что вы пришли!

Мне оставалось уже совсем немного до разрешения покинуть больницу. Меня водили брать ванны для ускорения шелушения. Письма стали реже, меня уже ждали в Москву. Мне жаль было уезжать от панны Ядвиги, Наташи, Ягуси, от сестер в крылатых белых чепцах. Кому обо всем этом расскажешь в Москве? От Миронова было всего одно письмо из Жирардова, сердце о нем было сжато страхом, и некому было об этом сказать.

Кончавшаяся болезнь, наставшая весна отдалили еще зимнюю встречу с ним — в прошлое. Эта встреча, прерванная жаром и бредом, имела в себе мало яви. Деревья за окнами уже шумели, через двери входило тепло, тянуло талой землей. Больные выписывались, поступали другие. Уже другой ребенок, грудной, томился в объятиях матери. Мою девочку увезли, она — дома, и с ней заводной паяц. Долго ли она будет помнить свои больничные дни среди веселых сестер и братьев? Жизнь не останавливается ни на минуту, от ее спешки и шума — холодно на душе! И что остается нам, дуралось мне, кроме забвения?

Волна смывает волну! Вот сегодня придет Дориан, и будут упоительные разговоры, и восхищенность друг другом, и нежность, и рассказы, рассказы. Мы никак не можем до-рассказать наши жизни друг другу; о, мы будем друг другу писать! Когда мы вместе — все бывшее тает, как дым. А когда мы простимся, настанет совсем другое, и Дориан — мне, Ася — ему станут дымом. Ибо над миром царствует опьянение, которое неслось на ланях с Милой и Нолли по краю пропасти в когда-то прочитанной сказке.

Узенькое лицо, текучесть черт юношеских, уклоняющиеся глаза, длинный их взгляд как-то сбоку мне вслед, светлый смех, закинутая назад, в застенчивости, голова с косым пробором русых волос, чуть вьющихся у висков.

Дориан Грей! В вашей жизни, такой от меня далекой, в вашем Петербурге, куда вы, может быть, никогда не вернетесь, потому что скоро поедете на войну, вы вспомните обо мне, сегодня так насытно вам нужной в водном волнении жизни, где волна смывает волну!

Меня выписывают раньше Наташи! Она стоит, спиной к окну, в синем коротком халатике, косы ее как-то грустно висят, тоненькие, вдоль щек, она грустно смотрит на мой связанный узелок, мы никогда не увидимся больше!

Но меня не зовут, медлят. Отъезд отсрочен до после обеда. Я еще увижу Дориана? Нет? Уж Наташа села в ногах моей бывшей кровати, и сквозь стоны вновь привезенных (они не знают, сколько выздоровело до них) над кроватями с неподвижными телами с завязанной шеей, с горлом, не могущим глотать, над пламенной болью голов, над бредом наша

песнь стелется свирельными звуками, рождающими весну. Два голоса разветвляются; Наташин выше и золотее, мой — ниже и, обнимая друг друга, неистовствуют в звуке прощания, в то время как слова уверяют, что «гроздь душистые вновь ароматом полны...»

Когда им принесут сегодня колацию, меня уже не будет здесь... Маврикий Александрович, значит, не приехал сегодня! Я буду одна в гостинице?

Я не помню, в палату ли вошел Маврикий Александрович или оказался ждущим меня у входа, когда я вышла из ванной комнаты и мне принесли мою короткую шубку светлого кудрявого плюша и коричневую бархатную шапочку. Он стоял и смотрел, улыбался, молчал, радовался. Он поднес к губам мою руку. Он взял мои вещи. За нами скрипнула дверь. И он уже слушал рассказ мой о Дориане.

— Я обещала ему, что перед отъездом из Варшавы навещу его, вы не против?

— Асенька обещала? Значит, приедет...

Я иду рядом с невысоким немолодым уже человеком в синеватом демисезонном пальто (зима прошла), в мягкой серой шляпе с полями. Знакомая, родная щека, худая, в веснушках, темно-рыжий ус. И светлый трепетный глаз под тяжелым веком. Может быть, Дориан нас видит в окно? Вдали Варшава шумит, гул города.

Андрюша здоров, весел, — Борис мне сказал, что он позабыл меня!

— Борис всегда шутит. Марина шлет вам привет, не знает, сможет ли вас встретить, Аля немножечко нездорова. Книга Аси — готова. Впрочем, об этом вам скажет Нилендер. Но Ася похудела и летом непременно должна отдохнуть в Коктебеле, у моря...

На другой день я приехала к Дориану. Смущенный, он шагнул мне навстречу, я так смело вошла в мужскую палату, глазами отыскав его, мы вышли в переднюю, нам было и радостно, и неловко — на нас глядели. Я стеснялась, — что, может быть, не так элегантно одета, как он ждал, и это ложное чувство отравило мне встречу. Может быть, такое же ложное чувство неудобства происходящего стесняло его? Я протянула руку, улыбаясь. Я не помню — он ее поцеловал?

— Пишите мне, Дориан. Мы уезжаем сегодня.

— А вы будете отвечать, Ася?

— Буду. Если бы я верила, я бы о вас молилась. Дориан, вы должны жить...

На вокзале в Москве нас встретили Лидия Александровна и Нилендер. Кто-то из них мне протягивал темно-красную розу. В руках у Нилендера был первый экземпляр моей книги о невозможности существования Божия и о безнадежности бытия, озаглавленной «Королевские размышления». На первой странице стояло: «Посвящается Маврикию Александровичу Минцу».

В Москве установилась уже теплая, солнечная весна.

Как вырос Андрюша за два месяца моих путешествий! Пополнел под неусыпной заботой бабушки. Стал капризнее, требовательнее. Отзыв няни о новой обстановке в людях был таков: «Люди, что говорить, хорошие! Ну уж больно балуют! Только что икон со стен не снимали — играть, ну все, что ребенок захочет!»

Дед, веселый, то и дело садившийся с ним к пианино, пересмотревший с ним тома и тома с иллюстрациями; строгая во всем, кроме желаний внука, души в нем не чаявшая бабушка со слезами, как в Ярцевке, прощалась со внуком. И скучно, верно, было Андрюше в маленькой нашей квартире после многих комнат бабушкиной. Но был разгар весны, во дворе пахло землей и тополиными почками, листьями, и он много гулял с няней и со мной. Я была счастлива, что мой внезапный отъезд спас его от заражения скарлатиной.

От Миронова шли редкие письма. Разобрать по ним, что делалось вокруг него, было трудно. Бориса я видела мало. Его мучило, что он не попал на войну. Он часто встречался с Марией Ивановной Кузнецовой. Если она была не в поездке, играла в Москве, у нее проводил вечера. Он с горькой иронией говорил о врачебной бумаге, положившей запрет на его военную службу, и не оставлял мечты все же на войне оказаться, обдумывая, как эту бумагу скрыть. Нечего говорить, что всех жарче встретила меня Марина.

По приезде моем, в одну из первых ночей, может быть, в первую, пока еще не забрала от бабушки Андриюшу, я заночевала у Марины и в подробностях, шаг за шагом, рассказала ей всю мою поездку, болезнь и весну в больнице в Варшаве. Как Марина слушала! Про нашу родную по матери маминую Польшу, про панну Ядвигу — Ягусю, про католичек — сестер милосердия, про ночь у меня Дориана, похожего на Борю Бобылева, и про приход ко мне самой старой сестры-монахини, убеждавшей меня, что «у пана Бога вшистке записано!»... и что мой пан муж «забьет пана» (Дориана)! — и как ей ничего нельзя было объяснить... Мы хохотали, как в детстве, и Марина рассказывала мне о том, что было в Москве без меня, когда я вдруг исчезла. Мы уснули, верно, на полуслове — рядом, на ее коричневом диване под огромным портретом Сережи, чучелом филина, под которым весной, в том еще Маринином доме за Москва-рекой, посадив Бориса, сняли их вместе — за сходство, под синей овальной стеклянной люстрой с хрустальными подвесками, сверкавшими, как в Трехпрудном на люстре, доставшейся мне. И под дымчатой шкуркой любимого Марининого кота Кусаки, смерть которого так оплакивала Марина.

— Я, конечно, ни минуты не допускала, что ты можешь умереть, — сказала она мне, — что мы умереть не можем теперь, вот так — я в этом совершенно уверена, но когда ты пропала, встревожились все.

И она слушала и слушала мой рассказ о пути с Колей, о болезни, Льве Матвеевиче, больнице и о Дориане, образ которого зацвел в ней почти как во мне из рассказов моих и из его обворожительных писем.

Мы сидим за столиком в «Альказаре». Продолговатая зала освещена гроздьями люстр, а по бокам, где на небольшом возвышении тянутся балконы с ложами, — стройные зонтики с висящими матовыми шарами — сотни маленьких лун.

Я вижу, как М.А. глядит на меня, он всегда на меня глядит, всегда наблюдает, — я, как всегда, делаю вид, что не вижу.

Занавес открыл эстраду; снова открыл. В голубом токе света стоят две женщины в световых с блестками платьях и поют — хорошо ли, не слышно за гулом голосов.

— Единственное, что меня может всколыхнуть настолько, чтобы я забыла о присутствии человека, — говорю я М.А., наклонясь через угол стола к нему, — это — музыка. Вот тот единый случай, когда я могу поистине непосредственно воскликнуть «ах», схватиться за голову, вцепиться пальцами себе в волосы... Иное все есть — игра. Самые внезапные жесты мои — бесконечно, бесконечно обдуманы.

Да. Одна я могу горько плакать под звуки шарманки, от книжки с рассказами детства, от ничтожных причин, — но я не позволю себе, сидя с вами в театре, перед самой потрясающей драмой, волноваться!

И в бледном свете померкшей залы мой спутник увидит мое лицо, как всегда, спокойным, и если он продлил взгляд, я, не оборачивая лица, скажу губам моим, чтобы они улыбнулись, — тонко, чуть-чуть иронически. И когда актер уронит на руки голову и у меня сердце безумно забьется, я опущу глаза, поправлю на платье складки, проведу рукой по цепочке часов и вздохну — ах, ей очень скучно! — так вы рассудите!

Фойе, в окне Театральная площадь и луны голубых фонарей.

Последний акт. Весь театр рыдает. С кем-то дурно. Рядом, опустив на руки лицо, плачет какой-то мужчина. Вижу в полумгле ваше лицо, за мной наблюдающее, и в ответ — фонтан чувств начинает бить во мне.

Есть одно, что я обожаю: его ритм. Ритм во всем. В поведении, в музыке, на страницах... Ритм жизни. Волну за волной. И ритм девятого вала!

— Вы знаете, что самое сильное в вас? — проговорил М.А. — Настроение вашего спутника.

— Зеркальность, — сказала я.

Но вдруг легко, еле касаясь слуха, зазвучал вальс, — мандолина, виолончель.

Это — струнный оркестр!

Милый друг, если вам случилось понять, что я весь вечер — играю и что во мне — пустота, — вы — сейчас — потёрпите фиаско! Ибо, отвечая на наши слова, смотря на эстраду, я все рвусь — куда? Я глубоко несчастна, я переполнена через край невероятными ощущениями, которых вам не узнать никогда!

Но что за веселие? Я видела нечто подобное в первый раз.

Столы и стулья были перевиты снопами и лентами серпантина, шуршащих и кидаемых беспрестанно. Играл оркестр. Посередине залы, в пустой круг вбегали, танцуя, какие-то женщины, они пели, вокруг них собиралась публика, мужчины передавали их друг другу, вальсируя. Воздух был полон дымом, духов, криков, возгласов, смеха — ах, это интересно, и очень! Это напоминает — разгул!..

Толстая дама, затянутая в ярко-синее платье из шелка, с сияющими гребнями в волосах и эспри, танцует весело, опершись о худого высокого господина. Звенит тамбурин, хохот. Брови мои чуть дрожат, легким недоумением. Дама, усталая, падает на стул, кто-то тянет ее за рукав, острый луч сверкает от камня ее гребенки. Серпантинны взвиваются, падают на столы, на пол, на плечи, на головы; лакеи спуют, музыканты играют польку, господин обнял даму; высоко подняв руку с стаканом, какой-то незнакомец — ораторствует.

Рядом с нами, за спиной М.А., трое: господин с бородой и наглым лицом, похожий на шулера, и две дамы; та, что ближе ко мне, маленькая, живая, в белом, с кудрявой прической, обернулась ко мне, поглядела осторожно и дружески, горячо блеснули ее глаза, губы дерзко, вкрадчиво улыбнулись, личико милое: в нем абсолютное отсутствие мысли, бархатность, беспечность, кошачья, хотя жизнь она знает в тысячу раз лучше, чем я, которая так прямо сидит с лорнетом.

За столиком, с правой моей стороны, — три дамы и господин. Та, что посередине, в темном, в маленькой черной шляпе с эгретом, с длинным овалом лица, чертами резкими и оживленными, — какие густые у нее и властные брови, какие быстрые жесты. Поволока тяжелых бархатных глаз, смех — она похожа на Джемму из «Вешних вод», кто она?

Ее кавалер — бритый, еще молодой, толстый, с низким воротником, из которого поднялась широкая противная шея. В его галстуке блестит бриллиант.

То и дело мы взглядываем друг на друга, она и я, и эти взгляды, мне кажется, тонко и непонятно придают нам обоим веселья. А там — визжит скрипка, грохочет бубен, творится какое-то безобразия, — М.А. и я — мы молчим. У меня горят щеки.

Дама в белом с кошачьей ужимкой вдруг оборачивается и, взмахнув белой ручкой, — ах, кольца! — бросает в меня серпантин. Улыбка трогает мои губы, я не опускаю лорнет и отвожу длинную красную ленту. Настойчивым и горячим движением она повторяет свой жест, — между нами всего два аршина — я тем же движением, чуть укоризненным, чуть застенчивым, не изменяя улыбки, мимо улыбки М.А., снова отвожу серпантин — мимо. В М.А. бросили розой. Я покачала головой, — как я себя мягко и строго держу! И (М.А. уже давно положил на стол мой блокнот) — продолжаю писать. Неучтиво?

Комнату наполняет вальс, знакомый до физической боли, переполняет ее. Дышать трудно.

Грянул оркестр. Танго. Смотрю, облокотясь о стол, на залу, все в дыму, все шумит, и вдруг — просветление: люди, визг, шум, музыка — что с ними? О чем мы? Кто мы? Отчего качаются наши ноги? Пол крепок! Почему мы сидим здесь, за вином? Ведь война!

Почему мы так странно-беспечны? Ах почему, почему нам дано понять, что все — сон и что Земля мчится в эфире, и почему, почему она мчится?

Земля кружится. И я — чувствую головокружение! Звуки мазурки. И вдруг — ничего не вижу, с трепетом поднимаю лицо, смотрю на М.А., пристально, чуть бледнею... Дым кругом, все танцует, все куда-то упало, — только: «Ты, я».

Потухла. Мерси! Папироса горит. Он говорит медленно:
— Вы думали о смерти?

Я улыбаюсь.

— Да. Но когда смерть превозможешь — приходит другое. Можно спичку?..

Рука француженки в кольцах лежит устало на шее соседа, тонкие пальчики, коготки блестят... Два часа ночи.

Глава 10

ДОКТОР РЕВИДЦЕВ. НА ВАГАНЬКОВСКОМ КЛАДБИЩЕ

Ирина Евгеньевна, мать Бориса, больна. Она ложится в лечебницу д-ра Ревидцева. Это у Мясницких ворот. У него заграничная аппаратура, блестящая чистота, первоклас-

сний уход за больными. У больных отдельные комнаты. Но не ради всего этого легла в ту лечебницу Ирина Евгеньевна: Петр Михайлович Ревидцев славится как изумительный диагност. Это талантливейший врач, и, говорят, обаятельный человек. У него особенный подход к пациентам.

Я навещаю свою бывшую свекровь.

Увы, исследования и наблюдения установили у Ирины Евгеньевны язву желудка.

— Эту болезнь так плохо лечат! — говорит она.

Боли и неверие в возможность излечения склоняют ее к мысли об операции. С кем посоветоваться из своих? Сыновья — могут ли они быть советниками? Молодежь... Муж — далеко, на хуторе. Да он же всегда со всеми спорит. Никогда, с юности не был с ними согласен ни в одном мнении о чем-либо, что ей ждать от его совета? Ясно, что противоположного тому, что ей кажется выводом разума. Он, конечно, скажет то, что и другие: лечиться, не спешить с операцией. А в решительном характере твердой и скромной его жены — мысль о долгом лечении, отвлекающем от обязанностей по семье и дому, по уходу за сыновьями — ей непривычна, враждебна. Тщетно пытается отговорить ее Марья Александровна. Тщетно предлагает ей д-р Ревидцев лежать в его лечебнице и пройти длительный курс лечения. Пытаюсь и я повторять их слова. Тщетно.

— Это только потеря времени, Ася. Нужны радикальные меры, как теперь говорят. Лечение только изнурит меня. Язва пока небольшая — операция ее удалит, и все.

Лицо Бориной мамы осунулось, волосы будто седее, синие глаза глядят скорбно; она так скучает по сыновьям!

— Вчера был у меня Борюшка...

Я иду к д-ру Ревидцеву. Я уж видела его раз в однокроватной палате Ирины Евгеньевны, и что-то тревожное, интимное отозвалось во мне при виде этого худого человека в белом халате, темноволосого, с бледным, чуть одутловатым, изможденным лицом. Я не говорила с ним. Он выходил и давал мне дорогу, и в каких-то словах, им договариваемых, дрогнуло трухачевское «р». Почему так пленительно всегда было мне (и, конечно, Марине!) грассирование? Иноземное выговаривание в русской речи этого звука! Что-то, ра-

зумеется, было в этой пленительности печально-смешное, что вызывало рассудком — иронию, как в том случае Мариной увлеченности воображенным именем (поздней оказавшимся Фридолин...). Не помогает рассудок! Тщетна ирония! Сердце сжато теплом мучительным, сладостным. Но сейчас, переступив порог докторского кабинета, я постигаю вдруг, кого мне смутно тогда напомнил Петр Михайлович (как его называет Борина мать) — Сережу Трухачева! Выше его, старше, темней волосы, и черты менее хороши, но — родной же брат! Тяжесть век над глазами похожего цвета (свинцового), гулкость голоса с искрами этого дрожащего «р»... Очарование, берущее в плен именно своею болезненностью — бледен, переутомлен и среди врачей как-то особняком, часто с ними не соглашаясь в диагнозе и этим талантом диагноза создавший себе врагов... обреченность! Стою, слушаю его мнение о возможности лечить язву Ирины Евгеньевны... а голова с плеч — в твердом знании: «Я бы могла любить этого человека...»

Вечером вдруг мы поехали на Ваганьковское кладбище. Было прохладно. Пресня, застава — сколько раз мы тут шли, Марина и я — с папой на мамину могилу!

Был закат. Кресты и памятники стояли по обе стороны дороги, как молодой лесок. Вошли в ворота. Вот памятник Корша, свертываем налево, и вот уж я вижу через чугунный узор часовни — посеревшие, когда-то белые могилы деда и бабушки; рядом — мамин черный, тяжелый камень с высеченным крестом, а за ним — желтый холмик с крестом, обвешанным съжившимися венками — могила папы. Ей полтора года.

Мы остановились перед ней, наискось от могилы мамы. Высокая береза, соседние часовни и решетки — все знакомо. Синий купол церкви над голыми ветвями деревьев, золотой крест. Где-то шаги. Тихо. Сыро. Закат. Я живо помню, как папа стоит, вот тут, склонив голову, слушая панихиду.

И помню, несколько лет спустя в осенний день (уж снег, ветер свистит и смеркается) мы, вдвоем с Мариной, ходим по кладбищу, ищем домик просвирни, спешим, — там и здесь — огонек лампадки... Гудки поездов, как в детстве,

и какое-то непонятное волнение — это было перед моим отъездом за границу. А в детстве мы уехали всей семьей — у мамы был туберкулез. И позднее, во Фрайбурге, мы бродили — мама и мы две, между немецких могил, читали надписи, вспоминали Россию....

Все прошло!

Длинный зовущий гудок. М.А. стоит, я держу его руку, легкий озноб бежит по мне — оттого, что я уже двадцать лет живу на земле, и остается, может быть, те же двадцать!.. Но теплым вихрем, неслышно и бурно, несется во мне, через все, сотрясая меня — радость. Я стою, с минуту, и говорю: «Ах, если бы вы знали, как и что я чувствовала еще очень недавно на кладбищах! Это была самая большая тоска моей жизни. А сейчас — ничего этого. Я к себе прислушиваюсь, я точно в саду. Внизу — земля, наверху — небо. Никаких жизней. Тут только вы и я и какой-нибудь сторож. Земля — как везде! Вот еще свежие могилы смущают, но и они... О! Здесь нет никого из тех, кого сюда клали, — ни папы, ни мамы, ни дедушки. Так, значит, и вправду из меня исчезает старое, если уж это...»

Вдалеке, в сыром воздухе вечера, послышалось нестройное, колыхавшееся волнами, солдатское пение. И шаг их стал слышен. Пение прорезал длинный свисток поезда. М.А. сжал мне руку.

Тут знаком каждый камень! Прачечная и лавочка, выступ тротуара, паяльная, меховщик... Оглянулась на зеленую церковь, и когда навстречу мне прошла девочка лет одиннадцати, в коричневом платье, с косой, я стала идти быстрее, чтобы не дать пробудиться тоске, тому, от чего никто не утешит, разве что... гимназисточка — стала бы смотреть, как на кирпичном доме горит солнце...

Если бы мне сказали несколько лет назад, что такого-то апреля 1915 года я буду идти по этим самым местам не Цветаевой, а Трухачевой, давно уже не живя с моим мужем и думая о мальчике почти трех лет, который говорит стихи и сказки, бегает, разговаривает со мной...

Мое прошлое так велико, что легко может затопить меня, уничтожить — реальностью бывших дней! Вот когда мне хо-

телось бы взять чьи-то руки и, целуя их, умереть, потому что все равно исхода нет, утешения нет, счастья нет, ничего нет, кроме мгновения, и все сотрется, все, все умрет!

Я не знаю, скоро ли опять с таким туманящим шумом ринется на меня мое прошлое, но я еще раз говорю: то, что мне дает крылья отрываться решительно от всего, и то, что мне тотчас же их подрезает, то, что меня обдаёт равнодушием и зажигает огнем, то, что меня потрясает больше всего, — это воспоминания.

И единственное стремление, после всего, — это припасть к чьим-то рукам, с бесконечно-горьким поцелуем, со всею жаждою моею к счастью, со всей ясностью моего ума, с просьбой простить и все же не в силах не повторить в этот миг, что все безнадежно, — и так умереть.

Я не верю ни во что, кроме мгновения: мгновение, которое было, мгновение, которое есть мгновение, которое будет. И когда-нибудь мы все будем в земле. И я, и все, кто меня понимали. И как ослепительно все будет цвести! И пчелы жужжать. И июль возвращаться.

Глава 11 ВСТРЕЧА С СЕРЕЖЕЙ ЮРКЕВИЧЕМ. СМЕРТЬ МАТЕРИ БОРИСА

Лето подходило. Мы обе собирались в Коктебель, к дорогим Макс и Пра, жалея, что туда по своим занятиям в Университете запаздывает Сережа и не сможет, быть может, совсем приехать Маврикий Александрович. Но туда собиралась Соня Парнок со своей сестрой Лизой Тараховской (она была близнец брата Валентина Парнаха — так он писал их фамилию).

Весну 1915 года я помню отдельными днями и событиями. После Варшавы я переделала комнаты, переведя детскую и столовую в мои бывшие смежные комнаты, а сама переселилась в Андриюшину, окнами на Верхнепрудскую. Тут теперь постоянно бывал Маврикий Александрович, часто приезжала Марина, и здесь меня навестил приехавший с фронта

Сережа Юркевич, друг моих шестнадцати, семнадцати лет, изменившийся, повзрослевший, пополневший. Он утерять прежнюю юношескую прелесть, но был ко мне нежно-дружественен, и была в нем чистая благодарная теплота за ту нашу юную встречу. Над белым кителем с золотыми военными пуговицами высилась его темно-русая голова, египетский профиль его был тот же, темной синевой глаза, но волосы были острижены. И было грустно мне ощутить эти три прошедшие года, и я тихонько удержала вздох. Ему я тоже была уж не та, в мои двадцать лет... О войне он говорил сдержанно, она сделала его строже и мужественней, но, казалось, это не та война, о которой с такой горечью, еле сдерживая отвращение, рассказывал, тоже врач, Володя Павлушков. Лицо Володи, обрамленное незнакомой, мелко кудрявой светлой бородой, постаревшее, измученное, было надменно; за этим выражением отчужденности от живших в тылу — была потрясенность фронтом.

«Раненые? — ответил он мне, — думаете, сострадание, милосердие? Вы, Ася, не были там. Я — хирург. — Он пустил клуб дыма из трубки. — Куча мяса — и лечим...» Он больше ничего не сказал. Мне почудилось, он на краю нервного заболевания. С впечатлениями войны Сережа Юркевич справлялся, Володя — нет. Оба были врачи.

Вскоре по моем возвращении Ирина Евгеньевна слегла, и ее положили в больницу, лечебницу д-ра Герцена на Никитской. Как случилось, что я у нее там не была? У д-ра Ревидцева я же ездила к ней. Ей сделали операцию язвы желудка. Сыновья навещали ее. Увы, она умерла...

Борис рассказывал мне о ней как-то странно. Ее младший, ее «Вениамин», любимец (хоть она глубоко любила и старших двух сыновей), как воспринял он мать в их последние встречи? Вероятно, он не умел рассказать. В соприкосновении с умиранием матери он был под мрачным ярмом смерти, гипнотически воспринимал ее. Это, может быть, отвлекло его от сознания и чувства, что умирает его мать. Но произнести какое-то последнее слово уверенности о Борисе и о членах его семьи — едва ли возможно: как только являлась уверенность, что ты разобрался в смуте определений и хочешь назвать итог, так этот итог исчезал, побежденный чем-

то совсем противоположным, неожиданным, и было стыдно за свою ошибку, такую грубую, куда грубее, чем то, в чем ты готовился кого-нибудь из них упрекнуть.

Я не могу объяснить себе, вспомнить, как могло случиться, что меня не было на похоронах матери Бориса, с которой у меня и после того, как я разошлась с ее сыном, оставались хорошие, теплые отношения. Я уверена: не уйди она, жизнь моя и Андриюшина через несколько лет после семейной катастрофы моего второго брака сложилась бы совершенно иначе. Но нельзя забегать вперед. На Ваганьковском кладбище появился свежий холмик с крестом и венками. Рядом было куплено место для ее подруги — Марии Александровны Ошурковой — Масейки.

Не знаю, к какому времени относится рассказ мне, позже, Марии Ивановны — может быть, именно к этому? Они шли вдвоем по какой-то пустынной московской улице. У дома во дворе, двух- или трехэтажного, Борис попросил подождать его. Задержался он долго и, выходя, очень просил извинения:

— Я был у подруги моей мамы, которая всю жизнь, до самой смерти ее, прожила с нами. И там я встретил мою сестру Марусю. Как она несчастна! — сказал он со страшной горечью. — До чего же она несчастна!

В рассказе Марии Ивановны упоминался снег. А скончалась Ирина Евгеньевна весной. Значит, этот случай был значительно позже.

Была ли Маруся Трухачева у умирающей матери? Насколько я помню — нет. Не посмела ли дочь или не захотела мать? Это мне неизвестно.

От всего этого, от всех горестей жизни я бросалась к Маврикию Александровичу и к Марине. Я была счастлива их дружбой, их пониманием друг друга. И был вечер, когда мой друг привел ко мне — и мы вместе пошли к Марине — своего друга Никодима Плущер-Сарна.

Был весенний вечер, когда мы встретились, и глубокая весенняя ночь, когда мы расстались. Мы вышли от Марины и пешком дошли втроем — Морек и Никодим — до моего домика — из Борисоглебского до Верхнепрудовой. Никодим был под глубоким очарованием Марины и ее стихов.

Мы расстались на рассвете. Помню лицо Никодима — узкое, смуглое, его черные волосы и черные глаза. На другой день мы обе получили по корзине цветов и его визитную карточку: Марина — незабудки, я — нарциссы.

Был синий вечер, воскресенье. Вдоль трамвайных рельс, запруженных вагонами, мерно шли войска, позвякивая чайниками, блестя штыками. Вдали раздавалась музыка, толпа бежала по обоим тротуарам, небо было ночное, синее.

Я держала одной рукой Андрюшу; его матросское пальто было так весело среди двигавшейся массы людей; извозчик ехал шагом... А я думаю о том, что, может быть, это будет его первое воспоминание, — змея трамваев, музыка, штыки, — как фантастично! — а у меня уж позади — целая жизнь, и быстро пролетит ее продолжение, все — сон. Люди идут на смерть, я слушаю музыку, небо в звездах, деревья Зоологического сада, весенний вечер, Андрюша, я. Бесприютно! Меня холодом пронзило это чувство, острое, как игла. Где вы все, мои друзья, защитники, не слышен вам мой голос!

Вот я и Андрюша, и больше нет никого. Мы едем вдвоем на извозчике, среди шумной, нестройной жуткой толпы, и мы оба — я в двадцать, он в два с половиной года — брошены на самих себя, в полную ответственность... Вечер ясен, звезды горят, музыка и топот солдат. Не ропщу, а только говорю: бесприютно...

Приближался мой отъезд в Коктебель. На нем настаивал М.А. Было лето 1915 года.

Часть двадцать третья

КОКТЕБЕЛЬ

Глава 1

ЧТЕНИЕ СТИХОВ СОФЬИ ПАРНОК

Лето 1915 года. Лето войны и, странно сказать, лето стихов. Съехались в далекий от военных действий Коктебель — почти мирный у «синего моря», у недрогнувших гор Марина, позднее — Мандельштам, София Парнок.

Макса Волошина, в доме которого все мы собрались, не было в Крыму: из-за границы он смог вернуться лишь в 1916-м; от него в письмах к матери из Парижа шли стихи — антивоенные, страждущие, негодующие. Голос Макса был одним из первых в России, звучавших стихом против братоубийства. Поэзии и прессе тех лет более свойственны были ультрапатриотические настроения, — это после успешного для русской армии начала войны в 1914 году, после побед на Карпатах, даже и после последовавших потом поражений, когда дрогнул патриотический пыл, но еще только — дрогнул.

Слышался и другой страстный голос, звучавший против войны, — голос Ромена Роллана.

Мы сидим на террасе Максиного дома, на открытом воздухе. Было нас — не помню точно — двенадцать — пятнадцать человек. Сегодня будет читать Соня Парнок. Марина высоко ставила поэзию Парнок, ее кованный стих, ее владение инструментровкой. Мы все, тогда жившие в Коктебеле, часто просили ее стихов.

— Ну хорошо, — говорит Соня Парнок, — буду читать, голова не болит сегодня. — И, помедлив: — Что прочесть? — произно-

сит она своим живым, как медленно набегающая волна голо-
сом (нет, не так — какая-то пушистость в голосе, что-то от дви-
женья ее тяжелой от волос головы на высокой шее и от смычка
по пчелиному звуку струны, смычка по виолончели...).

— «К чему узор!» — говорит просяще Марина. — Мое люби-
мое! — И, кивнув ей, Соня впадает в ее желание:

К чему узор расцветивать пестро?
Нет упоения сильнее, чем в ритме.
Два такта перед бурным болеро
Пускай оркестр гремящий повторит мне.
Не поцелуй, — предпоцелуйный миг,
Не музыка, а то, что перед нею, —
Яд предвкушений в кровь мою проник,
И загораюсь я и леденею.

Меняется Сонин голос, «стал черным», — определяю я;
и пока она говорит, в эту черноту вливается синева. Голос —
как вороненая сталь!

К нам долетит ли бранный огонь?
Крылаты лихие дела!
Ржет конь,
Грозный конь
Грызет удила.

И когда она говорит их до конца, не меняется голос, креп-
чает, но как изменился — ритм...

ФРИДРИХУ КРУППУ

На грани двух веков стоишь ты, как уступ,
Как стародавний грех, который нераскаян,
Господней казнию недоказанный Каин,
Братоубийственный, упорный Фридрих Крупп!
На небе зарево пылающих окраин.
На легкую шинель сменяя свой тулуп,
Идет кто сердцем щедр и мудро в речи скуп.
Расцветов будущих задумчивый хозяин...

Мерный звук моря, взрывы волн — служат аккомпанементом стихам. Соня стоит и смотрит вдаль. И, из нее зачерпнув:

Я не знаю моих предков — кто они?
Где прошли, из пустыни выйдя?
Только сердце бьется взволнованней —
Чуть беседа зайдет о Мадриде...

Когда она дошла до последней строки: «О, — говорю я, — чудесно! Но как же это сходно с твоим, Марина, — «Какой-нибудь предок...»

— Скажите вдвоем! — голос Сони.

— Ася, иди сюда! — мне Марина.

Прохожу, в полутьме, мимо кого-то сидящего и, встав рядом со вставшей Мариной (мы никогда не читаем стихов сидя, а Соня — читает, но это Соне идет):

Какой-нибудь предок мой был скрипач,
Разбойник и вор при этом.
Не потому ли мой нрав бродяч
И волосы пахнут ветром?..

Но больше, несмотря на похвалы, просьбы, удивления нашим совпадающим — до мельчайшей интонации! — голосам, Марина не соглашается читать:

— Сегодня Соня читает! Мы — слушаем!

Смотрю — каким контрастом с сестрой тоненький силуэт младшей, Лизы. Она меньше Сони ростом, легкая, подвижная, часто смеющаяся. Головка ее в черных, крупно-вьющихся кудрях грациозно наклонена. Большие ясные глаза — вниманием — устремлены на Соню. Узкое, смуглое личико Лизы — в последних лучах падающего на террасу солнца. (Нет, мы не знали тогда, что и она тоже пишет стихи. Позднее Лиза Тараховская стала автором известных книг для детей. Но это — годы спустя.) А сейчас — Соня, как гадалка, с легкой улыбкой в голосе:

Я люблю в романах все пышное и роковое —
Адский смех героинь, наполненный ядом клинок...

Но мы просим еще.

Как струна, задетая пальцем:

— Еще одно? — говорит Соня. — И хватит... — Помедлив, голосом, от нее отплывающим, легким:

С пустынь доносятся
Колокола.
По полю, по сердцу
Тень проплыла.

Час перед вечером
В тихом краю.
С деревцем встреченным
Я говорю.

Птичьему посвисту
Внемлет душа.
Так бы я по свету
Тихо прошла.

— Соня, еще одно! — говорит Марина. — Нас еще не зовут, скажите *еще* одно!

Тогда Соня, встав, бегло поправив «шлем» темно-рыжей прически, тем давая знать, что *последнее*, на ходу, в шутку почти что:

Окиньте беглым мимолетным взглядом
Мою ладонь:
Здесь две судьбы, одна с другою рядом,
Двойной огонь.

Двух жизней линии проходят остро,
Здесь «да» и «нет» —
Вот мой ответ, прелестный Калиостро,
Вот мой ответ.

Блеснут ли мне спасительные дали,
Пойду ль ко дну —
Одну судьбу мою Вы разгадали,
Но лишь одну.

Щелкнул портсигар. Соня устала? Ее низкий голос, чуть хриплый:

— Идем ужинать?

Тонкие пальцы с перстнем несут ко рту мундштук с папиросой — затяжка, клуб дыма. (А как часто над высоким великолепным лбом, скрыв короной змею косы, — белизна смоченного в воде полотенца — от частой головной боли!) Больше читать не будет.

Маринина дружба с Софьей Яковлевной Парнок продолжалась. Они появлялись вместе на литературных вечерах, увлекались стихами друг друга, и каждое новое стихотворение одной из них встречалось двойной радостью. Марина была много моложе Сони, но Соня прекрасно понимала, какой поэт вырастает из Марины.

Как эффектны, как хороши они были вдвоем: Марина — выше, стройнее, с пышной, как цветок, головой, в платье старинной моды — узком в талии, широком внизу. Соня — чуть ниже, тяжелоглазая, в вязаной куртке с отложным воротником. И помню я Соню не в тот вечер, а позже, в другие дни, когда она читала свое «Гадание»:

Я — червонная дама. Другие, все три,
Против меня заключат тайный союз.
Над девяткой, любовною картой, смотри:
Книзу лежит острием пиковый туз.
<...>
Будет любовь поединком двух воль.
Кто же он, кто же он, грозный король?..

Я была в восторге от Сони. И не только стихами ее я, как и все вокруг, восхищалась; вся она, каждым движением своим, заразительностью веселья, необычайной силой сочувствия каждому огорчению рядом, способностью войти в любую судьбу, все отдать, все повернуть в своем дне, с размаху, на себя не оглядываясь, неумная страсть — помочь. И сама Соня была подобна какому-то произведению искусства, словно — оживший портрет первоклассного мастера, — оживший, — чудо природы! Побыв полдня

с ней, в стихии ее понимания, ее юмора, ее смеха, ее самоотдачи — от нее выходил, как после симфонического концерта, потрясенный тем, что есть на свете — такое...

Глава 2 ОСИП МАНДЕЛЬШТАМ И ЕГО БРАТ АЛЕКСАНДР

Когда началось мое знакомство с Осипом Эмильевичем и его братом Александром, Марины уже не было в Коктебеле, ее дружба с Осипом Мандельштамом была позже.

Осип и Александр были крайне бедны, жили на последние гроши, всегда мечтая где-то достать денег, брали в долг у каждого, не имея возможности отдать. Александр делал это кротко, получал с благодарностью. Осип брал надменно, как обедневший лорд: благосклонно, нежно улыбаясь одно мгновение (долг вежливости), но было понятно, что брал как должное — дань дару поэта, дару, коим гордился, и голову нес высоко. Не только фигурально: мой Андрюша (ему в августе исполнялось три года) спрашивал меня тоненьким голоском: «Кто так вставил голову Мандельштаму? Он ходит как царь!»

Оба брата шутили с ним, уверяли, что Осип — Мандельштам, Александр же — Мандельштут, и Андрюша так их и звал.

Осип был среднего роста, худ, неровен в движениях — то медлителен, то вдруг мог сорваться и ринуться чему-то навстречу. Чаще всего стоял, подняв голову, опустив веки на ласковые в шутиливой беседе, грустно-высокомерные глаза. Казалось, опустив веки, ему легче жить.

Волос у него было мало — хоть двадцать четыре года! — легкие, темные, лоб уже переходил в лысину, увенчанную пушком хохолка. Горбатость носа давала ему что-то орлиное. И была в нем грация принца в изгнании. И была жалобность брошенного птенца. И он стал моим терзаньем и утешой. В несчетный раз я просила и слушала его:

Образ твой, мучительный и зыбкий,
Я не мог в тумане осязать.

«Господи!» — сказал я по ошибке,
Сам того не думая сказать.

Божье имя, как большая птица,
Вылетело из моей груди.
Впереди густой туман клубится,
И пустая клетка позади...

Александр деликатно и нежно любил брата (думаю, и Осип — его).

Все чаще просили мы Осипа Эмильевича прочесть любимые нами стихи «Бессонница. Гомер...». Крутые изгибы его голоса, почти скульптурные, восхищали слух. Видимо, он любил эти стихи, он читал их почти самозабвенно — позабыв нас...

Бессонница. Гомер. Тугие паруса.
Я список кораблей прочел до середины:
Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный,
Что над Элладаю когда-то поднялся.

Давно нет ни его, ни почти никого из его слушавших, но как вещь в себе жив в памяти голос, рождающий в воздух, в слух эти колдовские слова.

В быту у братьев все не ладилось, они часто болели, особенно Осип. Был на диете: ему бывали воспрещены обеды в береговой кофейне «Бубны», где встречалась знать Коктебеля за шашлыками, чебуреками, ситро и пивом, и как-то само собой вышло, что Осип стал в смысле каш и спиртовок моим вторым сыном, старшим, а об Александре стала заботиться Лиза, сестра Сони Парнок. Мы с ней пересмеивались дружески-иронически над своей ролью и весело кивали друг другу. Серьезных бесед я не помню. Осип был величаво-шутлив, свысока любезен — и всегда на краю обиды, так как никакая заботливость не казалась ему достаточной и достаточно почтительно выражаемой. Он легко раздражался. И, великолепно читая по просьбе стихи, пуская, как орла, свой горделивый голос, даря слушателям (казавшуюся многим вычурной) ритмическую струю гипнотически повелительной интонации, он к нам снисходил, не веря нашему пониманию, и похвале внимал — свысока.

Роль такого слушателя была мне нова и нежно-забавна — мне, росшей среди поэтов — Марина, Эллис, Макс Волошин, Аделаида Герцык, — но, увлекаясь образом Осипа Мандельштама, я играла в сестру-няню охотно, забываясь в этой целительной и смешной простоте от всех сложностей моей жизни.

...Когда я сидела на берегу, подошел Мандельштам и сообщил, что надо уезжать, так как вокруг началась холера. Мне сразу стало весело от какой-то перспективы отъезда, быстроты, новизны.

«Но куда ехать?» — решали мы; стали говорить об окрестностях Москвы, где бы можно провести последний летний месяц. Подошли брат Осипа, Александр, и Лиза, стали решать, ехать ли и куда. Они были спокойны и говорили, что отдельные случаи еще не есть эпидемия, что надо узнать, подождать, что у нас мало денег, чтобы срываться с места. Они были правы, я это сознавала. Но Осип Эмильевич в возбужденном состоянии настаивал на том, чтобы ехать тотчас же, к вечеру или завтра утром, в Москву, за Москву, в Финляндию. Его брат тоже с ним соглашался, хотя приехал только на днях и ему было жаль расставаться с морем. Они стали мне предлагать ехать в Финляндию, в изумительной красоты местности. Лиза не хотела спешить, к тому же ее удерживало несколько дел.

С того мига, как Мандельштам сказал, что надо ехать и — «едемте», — я почувствовала в себе целое море галантности, веселья, подъема, в котором я смело бралась утопить последствия своего необдуманного поступка. О холере я не испытывала серьезного страха. Ни за себя, ни за Андриюшу. Мы — умрем? Этого же не может быть!..

В Финляндию? Что же, можно и туда, только немножко далеко от города, где Маврикий Александрович, — но как было бы весело: иностранные говор и деньги, вспомнится Гельсингфорс... Я сидела на перилах, соглашаясь на все, ободряя Мандельштама и шутя над ним, защищая его от нападков брата и Лизы, стыдивших его за трусость.

— Все равно, — отвечал он, — здесь не смогу прожить этих дней, это будет пытка, да нет, я просто не вынесу!

Брат пожимал плечами. Лиза говорила, что, если бы у нее был такой сын или муж, она сошла бы с ума.

— Да оставьте его, — повторяла я миролюбиво, — это очень понятно: Осип Эмильевич уже видел однажды холерную эпидемию, и у него тяжелые воспоминания. Я понимаю. И к чему рисковать? Холера — болезнь смертельная.

Он же был в состоянии, совсем несхожем с моим, — подавленным, тревожном и требовательном, у него все время падал голос, и он не обращал на нас никакого внимания. Он хотел ехать во что бы то ни стало, и если мы не поедем, поедет один.

Лиза уговаривает меня подождать — поедем вместе, а он пусть едет один. Мандельштам на миг становится милым, и одна его улыбка, такая эгоистичная, но нежная (из-за изгибов губ!), и глаза милые, карие, и гордый подъем головы, и голос — убедительней слов, еще больше веселья в моих ответах.

Но каждый миг дело может повернуться так, что все решат ехать отдельно. Конечно, в общем — мне все равно... Только так, милое событие жизни, быстрой и преходящей. Как люди мелки, как холодны! И к чему мы сейчас говорим, если так легко каждому ехать — «куда ему надо»!

— Да, я должен сказать, что вы для меня не существуете теперь, а станете существовать с того мига, как мы уедем отсюда, — сказал Осип Эмильевич.

Это было *le comble du bonheur!* (венец всего!).

Мне было смешно и весело. Улыбаясь, он звал меня ехать, предложил разделиться на две партии: я и он, Лиза и брат.

Лиза возмущалась:

— Вы будете исполнять чьи-то капризы?

— Ничего, — мягко ответила я, — это можно — раз в жизни! Жаль же его пустить одного — смотрите, какой он грустный. Беденький! Ну не печальтесь. Решайте — и едем! Завтра так завтра! А теперь идемте пить вино, на прощание!

Мы пошли в кофейню. Как весело, как прекрасно было у меня на душе! Я вспоминала все отъезды моей жизни — но ни тени не мелькнуло во мне от жуткого чувства, что столько позади и что никто об этом не думает: «*Dunkle Zypressen, / Die Welt ist gar zu lustig / Es wird doch alles vergessen!*»*

* «Темные кипарисы, / Мир куда как весел, / Ведь все забывается (нем.).»

— Позвольте же вам повторить мою глупую поговорку, что через пятьдесят лет — ведь всюду оспа, скарлатина, холера — мы наверное будем в земле!

Мы сидим за мраморным столиком, мы решили ехать в Москву, а там уж увидим куда. Я сообщу Маврикию Александровичу, куда я еду, мы поедем в Тарусу, и если Осипу Эмильевичу там понравится, поселимся там. Ока! Чудно! Там лес. Купанье. Я там провела все детство. Едем? Пьем вино, красное. Шумит море. Мы его называем «шипящей дурой», от которой хотим уехать к тихим водам, которые умеют молчать. Плющ и цветы, обвившие столбики, качаются в ветерке. Жара ослепительная. Какая-то компания, за соседним столом, смотрит на нас.

Я, чуть сошурив глаза, смотрю вдаль, на море, на изгиб гор, думаю: «Вот этот миг — счастье. Полное. Кто поймет!»

Затем (чуть шумит от вина в голове, и ноги тонут в песке) идем узнать точно насчет холеры. Да. Тридцать случаев, из них шестнадцать смерти, это начинается эпидемия.

Обедать идем все вместе; я заказываю Мандельштаму кашу и яйца (он больше ничего не хочет, он слаб и взволнован). Прохожу спокойно взад и вперед, меж столиков. Все время идет разговор об ужасном характере Мандельштама. Он мне улыбается. Едем.

Лиза сидит за соседним столом с Головиными. Они говорят, что все это наши фантазии, что опасности нет, и тон их речи полон жалости к нам. Но жалость моя к ним — еще больше. За обедом происходит еще инцидент. Я предлагаю всем идти в горы, организовываю прогулку. Но Мандельштам говорит, что он слаб и в горы идти не может — только куда-нибудь совсем близко; да нет, никуда не пойдет. Я тотчас же предлагаю ему поездку на лодке. Брат его возмущен, его раздражает происходящее. Я катаю хлебные шарики, смотрю в окно, где качаются розы, улыбаюсь личику моего странного протеже, которое высоко поднято над столом, над нами, над миром — в картинном любовании собой?

Но когда мы идет по саду и он декламирует, вдруг мне кажется — и впрямь он на голову выше этих густых тополей и маслин — мягко падают глубокие и вычурные интонации, и глаза, покрытые веками, чуть мерцают.

О спутник вечного романа,
Аббат Флобера и Золя, —
От зноя рыжая сутана
И шляпы круглые поля.
Он всё еще проходит мимо.
В тумане полдня, вдоль межи...

Шуршит гравий.

Уговорясь с Кафаром о лодке, мы решили ехать на парусах (я четыре года не ездила, после той бури на море смертельно боюсь воды). Я подходила, переодевшись, к балкону обоих братьев, когда появились идущие в горы — они зашли за мной (я же их и звала). Я сказала, что не пойду, так как Осип Эмильевич устал. Иронические улыбки. Но что — я! Как хорош был он, когда на их вопрос, выраженный в форме приличной насмешки, ответил:

— Я слаб и идти не могу.

Он стоял, подняв голову, как всегда, с полузакрытыми веками, глядя на них холодно и спокойно. Чуть блистали глаза из-под век. Я стояла и любовалась.

Переглянувшись, посмеиваясь, поклонясь нам, однако, корректно ушли. Мы остались втроем. Было чуть неловко, чуть скучно. Пили чай.

Ехали долго. В Сердоликовой бухте я бродила с ним по камням, он говорил о своем друге, композиторе. Я была в этой бухте четыре года назад. Я смотрела на серые полосы моря и на замшевые очертания гор, далеко, золотых от заката, как на декорации. Ветра не было, и дорогу назад мы сделали на веслах. Баркас был тяжел. Мы глядели на звезды, появляющиеся по одной, затем — сразу, в бездонном, бездонном небе.

Я просила сказать стихи. Он говорил охотно, но равнодушно, не веря моему пониманию, и деликатно молчал

об этом. И в этом, новом для меня, положении, что меня считают простым человеком, а кого-то рядом — сложным, я чувствовала себя как в полусне, как в далеком детстве. Но было что-то сладкое в том, что я позволяю другому быть причудливым и не говорю о себе, и не думаю. Словно кто-то дал мне волшебного зелья, от которого я забыла, *кто я*.

И было странно — слушать о Петрограде, который я плохо знаю, который чужд мне, как ледовитый полюс...

Летают валькирии, поют смычки,
Громоздкая опера к концу идет.
С тяжелыми шубами гайдуки
На мраморных лестницах ждут господ.

Уж занавес наглухо упасть готов,
Еще рукоплещет в райке глупец.
Извозчики пляшут вокруг костров.
Карету такого-то! Разъезд. Конец.

Волны, тронутые багрянцем — еще недавно, померкли.
Брежжился берег.

В темной арке, как пловцы,
Исчезают пешеходы.
И на площади, как воды,
Глухо плещутся торцы...

Только там, где твердь светла,
Черно-желтый лоскут злится,
Словно в воздухе струится
Желчь двуглавого орла!..

Мандельштам лежал, в сероватом пальто, скрестив на груди руки, закрыв глаза, — был очень похож на Пушкина; пышные короткие бачки, бритое, худое лицо, очаровательная улыбка, слабость всего тела и рук, отвращение к могущей утопить воде и — через весь холод — какая-то детская ласковость и в холодном голосе мягкие интонации — вот что заставляло меня меньше смотреть на лицо Александра, во многом бывшего ко мне внимательнее его. Прекрасные

глаза у Александра — длинные, серо-зеленые, мягкие, близорукие, добрые. И брови, черные, как кистью проведены. Ехали тихо. Устали и ждали берега, то есть устали они, я — немного. Но день кончился трезво, и я вдруг почувствовала, что мне уже много лет... Двадцать два!

Когда подъезжали, зашел разговор о том, где ужинать. Я знала, что день кончен, но когда услышала, что Мандельштамы идут ужинать с людьми, которых я не люблю, я сказала, что буду ужинать с Лизой. Мне было глубоко наплевать на еду; я жила в эти минуты тончайшими чувствами жалости к ним — и глубоким собственным счастьем. Мы шли домой, а я думала о том, как все скучно, о том, что же это за странная вещь, моя жизнь, в которой я готова сорваться со всякой почвы ради вздора, фантазии, одной фразы — а фразы, суть фразы, вздор-вздор, и упадки вечно тут, со всей густотой своей тени!

Однако у дома Мандельштам сказал, что ему не хочется идти кушать одну кашу, а другого нельзя, я тотчас же предложила сварить ему кашу дома, он согласился. Я пошла домой, но не оказалось молока; не говоря ничего, прячась, через сад, забыв об усталости, я быстро пошла в кофейню, принесла молока и сварила подопечному кашу.

Ужинали. Пришли Головины, принесли вина, я достала остаток своего, пили. Говорили вздор, было весело. Мешали вина; уж было поздно. Яркая шаль Лизы, в цветах; в широком окне встающий Юпитер — и от него, как от луны, в море серебряный блеск.

Гости ушли. Мы собрались пройтись. Была ночь. В небе, черном, высоко стоял Юпитер, и отблеск его в море потух.

Выбегая с балкона, я спросила у Александра, который час. Он вынул часы, уронил и разбил стекло. Я первая подняла часы, но перевернула нечаянно стрелку, и сразу вместо полуночи стала половина второго. Смеясь и продолжая свою витиеватую речь, охваченная пафосом сего события, я легла с Аладдином (сеттер) на песок, говоря о том, как чудно сейчас случилась «ошибочка со временем».

С отъездом Мандельштам решил подождать несколько дней — он был утомлен поездкой.

...Мы не уехали никуда.

Конец лета. Близ феодосийского вокзала, в гостинице «Астория», перед поездом на Москву, отходящим ночью, Андрюша сладко спит на широкой кровати, няня укладывается. Со мной Осип Эмильевич. Он нас провожает на поезд.

Вечер. И в моем номере дверь на балкон, и внизу окна аптеки, весь берег затемнен: от моря, от турок. На столе в тяжелых шандалах, старомодных, горят две свечи. Передо мной в чем-то сером — тоненький силуэт. Голова поднята, он читает стихи. Я его на всю жизнь запомню. Из-под легкой гардины от ветра трепет свечей. Шум волн...

Глава 3

«ТРИУМФАЛЬНОЕ ШЕСТВИЕ» ДМИТРИЯ СМОЛИНА

И вот в какой-то ранний осенний день к Пра приехал на день молодой писатель Дмитрий Смолин. В военной шинели, небрежно накинутой на плечи, — не щегольской шинели тыла, которых так много вокруг, а фронтовой, боевой, надыхавшейся смерти, он ехал после ранения, изможденный, из лазарета. Он был белой вороной среди нарядных офицеров тыла. Глаза его глядели светло куда-то мимо. Он мало говорил. Вероятно, возвращался в часть.

И вдруг вся наша жизнь — с друзьями, любовью, стихами, природой — провалилась куда-то. Я потрясенно и жадно глядела на этого человека: он знал больше, чем все мы!

Я не вспомню — прошло более шестидесяти лет — как стало, что мы заговорили — у Пра? — что я узнала: он пишет книгу о войне. Как он пришел читать ко мне вслух эту книгу — он ее только недавно начал? — но вот что я помню.

Ночь. Он уже давно читает. Няня и Андрюша спят, посапывая, вздрагивая. Рев моря, ветер. Мы — в маленькой, белой, треугольной, почти пустой комнатке в глубине второго от моря дома, дома Пра. Ход к ней через каменную крытую площадку (под навесом второго этажа). Керосиновая лампа мигает от ветра, утлая жестяная лампа. Дмитрий Смолин читает блистательные страницы — книга горит ненавистью к войне. Ее сверкающее сарказмом название — «Триумфальное шествие». Он пишет пером едким, непобедимым, без

промаха, подняв завесу над триумфом побед, он открывает шествие искалеченных — без ног, без рук, без глаз, ползущих и стонущих. Книга похожа на книгу Ремарка, много позднее вышедшую, — «На Западном фронте без перемен».

Слушаю, замерев. Жизнь остановилась. Голос чтеца беспощаден. Мой восторг растет. Няня вздохнула во сне. Лампа гаснет. По синей коронке огня — красные искры. Лампа ли нас развела? Кончил ли он чтение? Он встал, собирает листки, натянул сползающую шинель.

— Когда ваша книга выйдет? — спрашиваю я наивно.

И тогда кривая улыбка трогает его рот:

— Никогда!

Я ступаю вперед, наклоняюсь, целую его руку. Он не успел отдернуть.

Мы выходим в темные сени. Дверь распахивается в ярый рев моря.

Уже рассвет? Рукопожатие. Человек в шинели исчезает за ближними ветками дерева.

Стою, смотрю вслед.

Много лет спустя — полвека с той ночи! — мне в доме художника Л.Е.Фейнберга передали привет от старого, как и я, Дмитрия Смолина.

Часть двадцать четвертая

АЛЕКСАНДРОВ

Коктебель — позади. Карадаг, Сюри-Кайя — вулканические уступы — потухших? — кратеров, готические пики и острия, с двух сторон обступившие плавный крутой полукруг зеленой Святой Горы, вечно синяя, из утреннего серебра рождающаяся, в вечернее золото тонущая черта моря, белая лента дороги, под горами сузившаяся в почти нить, — стрекот цикад, жара крымского дня — только что бывшая явью! — легла в покой, в вопросительный покой — сна...

Осень. Первые желтые листья в ветках железнодорожных деревьев, встревоженное переездом худенькое лицо «старой няни», узелок с баранками на ее коленях (к которому вдруг прицепилась моя, их ложным стыдом застыдившаяся душа, и его в своем добром «мещанском» достоинстве старости оскорбленно отстоявшая няня); непоседливый Андрюшок, льнувший к ней, ласковой и терпеливой, куда больше, чем к не выносящей детских капризов мне, и я об руку с моим драгоценным Мореком, таким же ко мне терпеливым, как старая няня к питомцу. Я гляжу на его лицо, чуть осунувшееся за лето военной службы, куда он, от меня в начале лета это скрыв, был взят; военная гимнастерка цвета «хаки» (слово из японской войны — бледно-серо-зеленоватое), с такими же погонами вольноопределяющегося на плечах, как у Бориса год назад до того, как его положили в психиатрическую больницу за то, что мучил солдат требо-

вать отправки на фронт без ученья. Но с Бориса этот наряд вовсе сняли, признав больным. На Морека, не взглянув на его почти три высших образования, — надели (не офицерский — потому что он еврей: в царской армии евреи не могут быть офицерами).

Узнав, что он будет служить за Москвой в учебной команде и ведать мыловаренным заводом, как химик, для полка, я переезжаю к нему в Александров.

Город (городок) Александров — бывшая Александровская слобода, где века назад царь Иоанн Грозный убил сына-царевича (картина Репина, о котором Макс написал целую книгу, обвиняя художника за перешедший пределы натурализм, за неискusstво и оправдывая того студента, который бросился на эту картину и пропорол ее ножом). Книга Макса прогремела по России, как некогда знаменитое «J'accuse»* Эмиля Золя.

Я стою над серой узенькой речкой, над которой унылые, серые в ряд, как во сне, как одна длинная линия — избушки — баня, оглядываюсь на скучные ряды лабазов со складами на висячих огромных замках, на подъем в гору, где за белой оградой — монастырь, а в другую сторону — за маленькой базарной площадью — кирпичный новый четырехэтажный дом Ивановых, где на четвертом этаже мы сняли три комнаты — справа по коридору Маврикий, слева напротив — я и рядом с моей — Андрюшина с няней. Я счастлива, что я с Мореком, но его целый день нет, дневник и материнские заботы об Андрюше не заполняют время, и я выхожу бродить одна по чужому тоскливому городку, где мне все чуждо. Солдатские песни режут воздух, им вторят железнодорожные гудки... Как помнится мне родной Коктебель, где все смывается морем, родная Таруса с голубым зеркалом Оки, любимыми утраченными холмами.

Как непохоже на Тарусу! В Тарусе мил каждый дом, каждое крыльцо — и сколько садов! Тут — садики. Ничто не бушует. После окских дубрав и берез по склонам холмов — чужие, как во сне, улицы степенных неведомых жителей. После диких ветров, родных, Коктебеля, сумеречных небес

* «Я обвиняю» (фр.).

с первой звездой над горами — навозная застойная жижа базарной площади, ряды лабазов и редкие — за угол завернул, пустота — прохожие. Вымер город. Одни солдатские песни трепещут и выются со свистом, и уходят на фронт поезда.

И снова я всхожу одиноко по лестницам на четвертый этаж, вспоминая петербургские дома — Ковалева, Розанова, Камковой; и почему с утра до ночи со мной нет Маврикия; ничего нельзя понять в моей жизни, в которой от меня оторван Миронов, брошен в ежечасную смертную опасность, и Марина оторвана, к ней надо ехать по железной дороге на каких-нибудь час-два...

У Маврикия есть хороший знакомый вольноопределяющийся, художник Малиновский, Александр Николаевич. Он сказал мне, что если я буду издавать вторую задуманную книгу, то к ней он сделает обложку. Выложив на бумагу мои мысли, собрав их из страниц дневника, я мечтаю собрать из его тетрадей все брошенные туда чувства, отплавившие мучения дня. У меня еще нет имени для этой будущей книги, но книга уже реет вокруг меня, она становится костылем, на который опираются мои в одиночестве и в тоске военного быта — дни.

В этой книге, как и в дневнике, я не буду таить ничего. Я никогда не хотела показать себя лучше, — лукавить; замысел дневника моего — писать одну за другой все мои правды, смену силы и слабостей, все достоинства и недостатки, всю дисгармонию ума, сердца, все, как оно есть. Этому замыслу, ему одному, я служу. Мне нет причин уклоняться от истины, ходить на ходулях: я ни перед кем не играю, я свободна, я не боюсь осуждения, я подставляю ему, как ветру, лицо. Я страстно хочу записать все, целую жизнь человека, сохранить все волны, бросавшие его челн, ничего не упустить в вечность. Страстное коллекционерство — глотание всего, что течет из вокруг — в душу, отзыванье Эоловой арфой на движение каждой воздушной струи, служение постоянной смене счастья и горя, смене сердец человеческих, их сравнению и упоению общения с ними, раз во всей вечности встреченной, — так, именно так это во мне звучало, во весь рост исконной патетики жизни неповторимой, единственной. Перед этим мешанское осуждение окружающих с их убогой «моралью» мне

казалось просто нулем. И перед этим нулем — лукавить, что-то таить, накладывать на себя — грим?

Ощущать грехом мой страх за Миронова и желание встречи? Кривить душой перед чудом моей жизни, Маврикием, полюбившим меня именно за мою безудержность и прямоту, за мое раскрыванье себя до последних глубин?

В моем ощущении жизни было, может быть, — да, что-то сомнамбулическое, в этом прислушивании к зовам чувств и людей? Но здесь я была не одна: Марина, Мария Башкирцева и м-м де Ноай, Марселина Деборд-Вальмор, Беттина Брентано.

Наши вечера после возвращения «ЭМА»* со службы — праздник. Тот самый, задлившийся, который начался с его первого прихода ко мне на Верхнепрудовую. Сколько нежности! Как стосковались за день! Сколько юмора в пересказах этого дня! Их хватало глубоко в ночь. Воссоздание прожитого — каждой мысли и каждого чувства, всех встреч и бесед с людьми, каждого воспоминания, каждой мечты каждого из нас — стало ежедневным занятием — костяком ежедневного возвращения друг к другу. Сколько шуток, тончайших! И в вечной неуголенности, потому что «аурами» друг друга (смешное слово мне, в моем горьком гордом материализме тех лет!) время сгорало, как мотылек на свече. Это счастье?

Мне минуло двадцать лет. И в один осенний день я узнала от доктора в Москве, что я беременна. Мы обрадовались оба как чуду: наш ребенок! Это было невероятно...

Лицо Маврикия, казавшееся рядом с моим — лицом отца, сияло не меньше, чем мое, юное. Это будет девочка. Ирина, конечно. Моя любимая, из «Дыма» тургеневского. Я вошла с этим счастьем к Марине. Она восхитилась. Поздравила. Одобрила имя. «Это вздор, что люди боятся иметь детей из-за войны. Его ребенок будет легче Борисова. Только как теперь быть с Борисом? Разводиться? Чудно! Напиши сейчас же Борису! Хочешь, я с ним поговорю?» — «Ну, зачем. Я — сама. Он поймет. Ему понравился Мор. Но ведь дело в том, что, если он возьмет вину на себя — ему семь лет запретят жениться! И Мария Ивановна...»

* Как некогда «Б.С.Т.» — инициалы, став драгоценным звуковым сочетанием, взошли над моей жизнью подобно звезде, так теперь инициалы М.А., слово «ЭМА» стало драгоценностью дневника — и жизни.

— Но ведь нельзя же, чтобы ребенок Маврикия был Трухачев? Развод нужен! — сказала Марина.

— Да. Но и мне не придется выйти за Мора, потому что он же еврей: он не может креститься, у него ветхозаветная мать...

Когда в 1915 году летом вышла моя книга, я получила очень глубокий, мастерски написанный отзыв писателя Александра Закржевского (литературный критик, автор статей и книг о разных писателях). Его пленяла смелость моей мысли, как и стилистическая форма, заключавшие в себе мои атеистические размышления, отвергавшие идею Божества, утверждавшие трагическое одиночество личности, непознаваемость души каждого.

Переписка наша длилась всю зиму 1914—1915 годов в Александрове. Я делилась ею с моим мужем и другом, ценившим все, что я писала.

Закржевский в те годы тяжело болел нефритом. Жил он, если я не ошибаюсь сейчас, в Киеве. Он писал мне о своей книге о Лермонтове, тогда вышедшей, и жалел, что не имеет ее, чтобы прислать мне.

Увидимся ли мы когда-нибудь, Закржевский и я? Дружба в письмах все крепла.

Консistorия. Мрачное здание в деловой части Москвы, торжественность лестниц и зал. Диккенс. Мы влетаем в него со всей грацией иронического озорства наших стилей и лет, для которых все, что закон, — юмор проформы.

Мы молоды. Мы хороши. Мы те же, что вошли когда-то в игорный дом Монте-Карло. Мы смеемся и шутим. Но мы подаем торжественное прошение о разводе. И чиновник, пожилой клерк, принимает нас за жениха и невесту того будущего брака, ради которого один из нас собирается расторгнуть «узы прежнего брака».

— Так кто же из вас... — он не договорил.

— Мы! Оба! Никакого прежнего брака...

— Позвольте!

Мы позволяем. Смеемся. Мы поняли! И стараемся его убедить. Он не верит. Это — немисливо. Небывалый факт. «Вы хотите расстаться? — чиновник смотрит на нас во все глаза. — У нас бывает, что супругам по двенадцати лет не уда-

ется продвинуть дело, потому что один из супругов не соглашается встретиться с другим на судеговорении!» А мы смеемся, как дети. И, пройдя все формальности, сбегает по лестнице чуть ли не за руку, как на норвежских коньках когда-то, а ошеломленный чиновник стоит у перил лестницы, провожая нас взглядом, как человек, еще недопроснувшийся, провожает свой сон.

Приемная врача. Уже вторая. Два известных хирурга констатируют, что боли в моем правом боку — приступ аппендицита (болезни, от которой я умирала в пять лет). И оба твердят в один голос, что необходим аборт.

Не соглашаюсь! (Лишиться ребенка ЭМА?) Но вопрос не так ставится: «Вы, сударыня, ребенка не выносите. И рождение его грозит смертью вам».

Еду еще до М.А. к Марине.

— Ася, поезжай к тому доктору — на «Р», у которого лежала Ирина Евгеньевна. Пусть он скажет.

И вот я в третьей приемной врача.

— Я, может быть, не по вашей специальности, но...

— А какая же это не моя специальность? — улыбается человек в белом халате, похожий на Сергея Сергеевича Трухачева.

— Вы — не хирург? А два хирурга мне велят делать аборт.

— Что же они находят у вас? — говорит Петр Михайлович Ревидцев, и его большие, свинцового цвета (Сережи Трухачева) глаза не улыбаются. Почти строг. Так он глядел когда-то, убеждая Ирину Евгеньевну не ложиться на операцию. А она легла — и умерла сразу после. И мне велят — и я лягу? И...

— Они говорят — воспаление отростка. Аппендицит. Я в детстве, в пять лет, была при смерти от этой болезни. Тогда это называлось воспаление слепой кишки.

Доктор просит меня лечь на кушетку и осматривает очень пристально, надавливает, отпускает, вновь нажимает. Встает:

— Можете встать. У вас нет того, что потребовало бы аборта. У вас совсем другое заболевание. Я вам пропишу таблетки д-ра Ю.Гурта и кофе из винных ягод. Вы будете кушать белый хлеб и белое мясо, и вы сохраните ребенка. Никакого аборта. Никакого аппендицита. У вас нервные спазмы.

И он описывает, каков у меня стул.

Я встаю, восхищенная. Гора с плеч! У меня будет Ирина — ребенок Маврикия, та, о которой я писала: «...и после всех (я не помню дословно) бесед, споров, теорий о жизни, лекций по философии, часов дневника, одиночества и смятений — будет у меня синеглазая дочка, — и какой прозой покажется мне вся ваша жизнь!»

— Я знала, что вы мне поможете! — говорю я, сияя и стесняясь своей радости. И я протягиваю ему руку, и я уж не знаю, кого я люблю сейчас — его за сходство с Сергеем Сергеевичем, за тот воронежский день и слова в час отходящего поезда, или того, кто спас мне сейчас дочку Морека, — но, когда рука подает мне рецепт, а глаза свинцового цвета смотрят прощально в мои, острым током нелепое знание: «Я могла бы любить этого человека...»

Над заборами городка Александрова Владимирской (папиной родной) губернии — ржаное золото осени, речка Серая подернута рябью, высоки белые монастырские стены, плавным блеском сияют в облачном вихре монастырские купола. Только один раз я вышла за город, но так сиротливо тянулось поле, и так гудели военные поезда, и был такой страх, что вдруг придет Морека и скажет, что он выступает с ротой на фронт, как тогда в Туле Миронов, и я останусь одна ждать вестей о «наступлениях и победах» — о судьбе самого удивительного человека на побегушках у царских прапорщиков и подпоручиков (потому что они — русские, малограмотные, а он — с тремя высшими образованиями, еврей...) О «Триумфальное шествие» Дмитрия Смолина! — как горит оно в сердце с первого дня войны!

Знаю, что тут у меня нет одиночества — все матери и все жены, бабы, воюющие у вокзалов необъятной России, так же ненавидят это «триумфальное» шествие, как я...

И если уж надо, чтоб был бой между странами, — почему нельзя, чтобы два богатыря сходились в поле, как прежде, почему должны за одного эрцгерцога, кем-то убитого, два народа заливать кровью поля?

Но когда вечером отворяется дверь и в скучный кирпичный «доходный» дом трактирщика Иванова входит бодрой, легкой походкой — после дня труда Маврикий Александро-

вич, мы с Андрюшей наперебой бросаемся ему навстречу по коридору, и Андрюша кричит: «Мавмиха, Мавмиха!!» — все срывается со своих скучных мест, все перестает быть насильственным, мрачным — одним взмахом тяжелых век над светлыми застенчивыми глазами; губы под темно-рыжей полоской усов дрожат в еще сдерживаемой улыбке, небольшая рука коротко, крепко сжимает мою.

— Асенька, эти пятнадцать копеек я принес вам! Их мне подала жена прапорщика, пославшего меня с поручением к ней.

Смеемся.

— Спасибо. Я сделаю из него брелок и буду носить на память о русской армии и ее «триумфальном шествии».

Шел второй год Марининой дружбы с Соней Парнок. Они посвящали друг другу стихи, часто виделись. Соня жила где-то в переулках Поварской, в первом этаже. В мои приезды в Москву мы часто бывали в ее уютной, полной ее очарования комнате, как когда-то бывали в ялтинской, тоже широкой, тоже в первом этаже, комнате «Мартыси», Варвары Алексеевны. Соня знала из Марининых рассказов всю нашу жизнь, детство с его переездами, поглощенность дружбами, горе разлук. Соня была родной человек. Быстрота и тонкость, *точность* ее понимания была таким подарком, который нельзя позабыть. Но и мы (я — от Марины, Соня от нее свою жизнь не скрывала) заглянули в бездну ее жизни, с юности отмеченную трагизмом одиночества, встреч и расставаний. Соне было более тридцати лет. В ее судьбе, тронутой крылом авантюризма, вернее *отваги*, в которую она бросилась вслед за полюбленным человеком в шестнадцать лет, была безудержность и безутешность, и она глядела на наши юные головы с чем-то даже более материнским, чем сестринским, и была горечь в ее нежности и любовании сквозь пыл сердца — некое насто-роже давно уже владевшей ею разочарованности. Словно ей никому не верилось. Словно уже прощалась. Уже подходила к горю укора, уж готовилась глядеть вслед — и было это «вслед» — отворачивание еще раз оскорбленной души, в гордости своей не сдающейся никакому удару, но вечно

ждущей его. И в стихах ее была чеканка мастера, хватка мужской руки.

Как позабыть мастерскую работу Крандиевской — бюст Софьи Парнок, — переживший ее в мраморе, — эти отвагу, дерзновение, скорбь в поднятых ресницах огромных, почти как у Сережи Эфрона, глаз с тяжелыми веками, владычество лба высокого и неженского, крылья ноздрей, как на ветру дышащих, властный рот и подъем головы, как будто уже готовящейся стать головой статуи, поднятость цветка на стебле стройной шеи и отброшенность вокруг этой шеи юношеского воротника, и выше всего — корону волос, в мраморе потушивших медь? Лучшая работа Крандиевской (руке которой совершенно не удалась Марина).

Придя однажды к Марине, я застала у нее друга Маврикия Александровича — Никодима, один раз весной побывавшего у меня; и вместе с Мореком и мной — у Марины. Его корзинка цветов, им ей тогда присланная, не оказалась пустой формой вежливости, и недаром были выбраны незабудки. Еще на пороге увидев его и немного растерянное, встревоженное лицо Марины, я ощутила знакомую атмосферу волнения встречи.

Не так ли было в вечер первого прихода к нам Нилендера, не так ли с Борисом, с Сережей?

Не понимая, но уже зачарованная, я села к ним на диван у маленькой фисгармонии — и началась, верней, еще волшебней и круче продолжалась беседа втроем (наш «магический треугольник!»). Никодим удивленно и радостно при всей своей подчеркнутой сдержанности — смотрел на нас, отмечая сходство и разницу. От Маврикия Александровича он много знал обо мне, о нас, путь был проложен, и я поняла, что он начинает любить Марину. Был ли он в первые встречи уже небезразличен ей? Не знаю, но не мог не захватить ее воображения этот своеобразный человек. Мне трудно его описать — я и далее не узнала его ближе — и потому что всегда немного стеснялась отнимать у него собой время, отдаваемое им Марине, и потому что не часто бывала в Москве в те ближайшие годы, которые прошли в Александрове и о которых я должна рассказать. Но тот вечер втроем я помню — он возвращал к Трехпрудному,

к годам отрочества и ранней юности, еще до наших встреч с Борисом и Сережей, когда мы никому не принадлежали и глядели на каждого, кого к нам влекло. К дням волшебной зачарованности собою и им, и — свободы. И вот вошел в Маринину комнату, полную старины и уюта, с чучелами двух лис, с чем-то вроде шарманки, гравюрами-портретами Наполеона и его сына, книгами, мужским письменным столом в углублении у окна, у которого она писала стихи и где курлыкали голуби, с синей странной люстрой, сизой шкуркой Кусаки — вошел человек, о котором мы знали только, что он — друг моего друга, и который не мог забыть Марину с того весеннего дня, когда ее впервые увидел. Он был худ, смугл, среднего роста (выше Маврикия), привычно-элегантно одет (элегантность эта не имела в себе ни одной иоты лишнего, ощущаясь как — лишь необходимое, и был он молчалив, и глаза его были темны, лицо — узко, и была некая внезапность движений — брал ли портсигар или вставал вдруг идти, и была в нем сдержанность гордеца, и было в нем одиночество, и был некий накал затаившегося ожидания, и что-то было тигриное во всем этом, и если иначе назвать — была ненасытность к романтике, хватка коллекционера и путешественника, и был он на наш вкус романтичен весь до мозга костей — воплощение мужественности того, что мы — в совершенно не общем смысле — звали авантюризмом, то есть свободой, жаждой и ненасытностью — и был он — показался (?) нам — родной брат! И от его папирос пахло сигарой. Той, вечной, о которой Марина — не о нем ли за стихами думая?

Запах; запах твоей сигары,
Смуглой сигары запах...

И, как в саму жизнь, в еще неиспытанное, мы провалились в Никодима в тот вечер, и Марина рассказала ему обо мне и Борисе, обо мне и Боре Бобылеве, обо мне и Миронове, и он все понимал, впивал, и случилось необычайное — но оно и не могло не случиться в тот вечер: только Марина стала кончать свой рассказ — вошла горничная, полька Соня, и сказала: «Барыня, вас и Анастасию Ивановну спрашивает офицер Миронов»...

Если и был романтиком Никодим, рассудок все же держал его в плену.

— Как! — сказал он после Марине. — Это на самом деле было для Аси и для вас неожиданно? Вы не знали, что он придет, когда о нем рассказали?! Прямо с фронта? И как раз в ту минуту! И уже, провожаемый Соней, через столовую под фонарем потолочного окна, навстречу мне входил через темную проходную Коля Миронов, и сиянье встречи вспыхнуло в Марининой комнате — зарницей. Все тот же! Уж потерта военная гимнастерка, и будто бы еще похудели щеки, а их и раньше не было — один остов лица, но те же глаза, темно-темно-золотые, широкие, длинные, тот же их взгляд — медленного и пристального любованья, восторга, преданности. Мои руки в его руках — моя рука у его губ — и жизнь моя провалилась куда-то — это все та же наша первая встреча в переулке Собачьей площадки; трех прожитых лет как не бывало, все — с плеч!

Были первые зимние дни, и мы на другой день поехали в Александров. Я страстно хотела знакомства их двух, меня любящих.

— Понимаете, Никодим, — сказала о нас Марина, — Ася не может решить, кого она любит больше: Миронова или Маврикия Александровича. Обоих! Их любовь с Колей длится уже несколько лет. Асина мука с Борисом, смерть Бобылева — она не могла бросить Бориса после гибели его друга, и она рассталась с Мироновым. А потом — война и встреча с Маврикием Александровичем. Но ведь она ни минуты не забывает, что Коля на фронте, что каждый его день — вы понимаете? И тут нельзя помочь! И она ни в чем не виновата!

Никодим молча курил, и его задумавшиеся глаза глядели отсутствующим взглядом. Затем он встал и прошелся по комнате — три шага от стола к шкафу, три — от шкафа к столу, мимо дивана с чучелами лис, мимо вечернего луча из окна под хрусталь синей люстры.

— Это все удивительно, — сказал он, — и ваш приезд — повернулся он к Коле, — в ту минуту, когда Марина рассказала о вас. Вы с фронта?

— Да, и всего на шесть дней.

— Вы не знаете Маврикия Александровича?

— Нет, то есть — мне Ася много о нем рассказывала, и мы тоже сразу после ее рассказов — поедем к нему.

Александров. Площадь, засоренная сеном; булыжники, грубые полуарки лабазов. Зимнее солнце. Коля и я. Мы идем в лавку купить вина и закусок. Морек еще на службе, я так по нему стосковалась за эти дни!

Коля ничего не спрашивает меня о нем, он чувствует мою связанность, новую — и куда большую, чем когда-то с Борисом. Он ничего не говорит. Он еще раз вошел в мою жизнь и принимает ее новую трудность, он не судит меня. Много горше, чем эта трудность, — надвигающаяся вновь разлука. Наше вместе — всегда праздник, а *легкости* в этом празднике никогда не было. Ее и не может быть.

Он вошел в лавку. «Такая она была, верно, и при Иоанне Грозном», — думаю я, трогая ботиком ледок замерзшего ручейка, и глажу черный плюш — папин подарок! — своей шубы и смотрю на свое отражение в окне лавки — там тускло поблескивает украшение моей маленькой бархатной шапочки — зеленоватые перышки в черном стекле. И меня качает чувство полета времени — жизнь *летит*...

Я не помню самой встречи Маврикия и Миронова, ни первой беседы. Я помню их совершенно невероятные, сразу установившиеся отношения дружбы и понимания, которые — без единой мысли о будущем наедине с собой — наполняли меня неиспытанным восторгом о них обоих. Случившееся казалось мне чудом. Ни тени вражды, ни ноты ревности друг к другу. Их любовь ко мне сроднила их в первый же вечер. Мой рассказ будет похож на вымесел, но он об истинно бывшем: снежное поле, и в санках, укутанные, мы мчимся под пушкинскими волнистыми туманами, сквозь которые пробирается луна.

Все вокруг — голубое, и все скользит и улетает, одни мы, трое, смотрим в глаза друг другу и держимся за руки, и жизнь с ее боями, командирами и солдатами, с ее русскими поручиками и еврейскими нижними чинами, с ее зверством войн, полями сражений, где горы без вины polegших на веки веков, — все отступило в нашем невероятном решении: они оба любят меня — Миронов уже столько лет — он не будет

убит — вернется! — и мы будем втроем, всегда. Вот как сейчас. Что может помешать этому?

Кто из нас говорил? Что? Кто первый сказал об этом? Ничего не помню. Мы летим и летим, невесомо по голубому снегу, ветер сносит слова с губ, пушкинский ящик, может быть, задремал, луна скрылась, все стало туман и сон, и усталые кони, может быть, повернули домой?

(Я теперь стараюсь понять и вспомнить, что я думала о себе и о них двух. И всплывают слова мне Льва Матвеевича о Миронове в Варшаве: «Он любит вас как-то божественно и безнадежно...» Миронов знал, что я — жена Маврикия, что ношу его ребенка. Он не заикнулся о каких-то своих на меня надеждах. Ни одним движением никогда он не повел себя со мной как мужчина. Маврикий никогда не потребовал от меня отречения от этой любви. Вот эта готовность к необычному и создала, должно быть, тот вечер.)

Поехали Маринас нами — с Мироновым (и Маврикием?) и со мной в тот зимний московский вечер в «Стрельну»? Знаю, что я не одна с ним была там. Это было во второй раз в Москве, за всю мою жизнь, — что я была в ресторане в России (в первый раз — в «Праге», где был заказан кабинет для нашего с Борисом свадебного обеда).

Я еще никогда не слыхала цыганского хора. Но этот волшебный хор, страсть, грусть, разгул — об руку с Мироновым, к которому рвалась душа и который через три-четыре дня уедет туда, где ужас и смерть, откуда так многие не вернулись, — это был предел того, что может вынести женщина. А мне был двадцать один год, ему — на год больше. Дочка Вари Паниной! Она сидит, маленькая, бледная, почти безучастная, почти неподвижная, и поет неповторимым голосом чье-то рвущее сердце прощание, чью-то начинающуюся — и продлится вовек — разлуку, и хор подхватывает мелодию жаром вдруг вспыхивающего костра, и уже ничего нельзя различить, где ты, где они, горит до самого тла сердце, а темные глаза Миронова неотступно смотрят в мои, и в руке чуть дрожит бокал, и звон двух коснувшихся друг друга хрустальных льдинок слышен в бушующем огне цыганского хора. А в душе — как льдинка в огне — о, и как же я люблю эту льдинку, о которую мы грелись, — Марина

и я, все девичество, мечтая даже умереть с ней — память о том, как, выходя из санок, нас с ним примчавших, он, поправляя саблю, блеснув застенчивым пламенем взгляда, бросил, помогая мне выйти, кончая начатую на бегу саней фразу: «...только платоническая любовь!..»

Юношественность, романтическая гордыня! Присягание верности и чистоте! Чуть подняв голос над звоном бокала, он впадает в пение хора — и все пропало: прошлое, будущее — в этом волшебном голосе, ничего в мире нет, кроме песен... (Я не случайно два раза подряд употребила слово «волшебный» о хоре и о голосе моего друга). Только почти два десятилетия спустя я узнала то, чего не знал и он сам: что в нем текла цыганская кровь: отсюда и колдовство его голоса, переданное ему матерью отца, цыганкой, жившей в Москве, в Грузинах, от которой дед его потерял голову, женился, имел детей. Этого родства стыдилась мать моего друга — немка, и его от детей скрыла, и они росли в убеждении, что они — русские по отцу и имеют в себе немецкую кровь матери — кровь же цыганки из хора от них была скрыта. Но и дети их, и их внуки — *все* несли наследие бабушки и прапрапрабабушки — волшебство глаз, длинных, широких, нечеловечески выразительных, и кто — голос, полный колдовского очарования, кто — звериную густоту волос, кто — (так было с сестрой Миронова, с которой судьба свела меня через несколько дней с того цыганского вечера) — неповторимый в иных народах, у полурусской и полунемки — до старости кошачье-неслышный, лисьи-грациозный шаг.

Поглощенная другой темой — власти надо мной Миронова с первого взгляда, его веселым молчаньем, рыцарственностью, сумасшедшей романтикой преданности и тем, как он встал на мою защиту, когда Борис, поверив клевете обо мне, ушел из дому — я, должно быть, не сказала ни разу о том, как он пел — еще там, на Собачьей площадке, в зимние вечера, у камина, может быть, и под гитару Николая Александровича Зубкова, товарища Николая Сергеевича, или просто один. Только чуть подняв голос над тишиной или над разговором, он в какую-то йоту мгновения зачаровывал всех и вся и, сам вспыхнув этой таинственной кровью, становился одно с песней, пропадал в ней...

...На заре туманной юности
Всей душой любил я милую...

Так этими двумя строками легла в меня любовь ко мне Николая Миронова, так я носила ее в сердце, на нее откликалась, так ее вспоминала и вспоминаю полстолетия спустя.

...А цыгане пляшут! Жгут пол! Пропали в звоне монистов! Ничего не слышно от колдовьего топота, легкого, как бег коз по горам, — ничего не видно, кроме глаз и волос, глаз, зовущих из бездны в бездну, рук, кинутых в воздух, как крылья, кос, вьющихся змеями, — и все горит в пламени крика и стоны, зова и прощального целования, в неистовстве встречи и расставания ее и его! И, чуть наклоняясь ко мне через угол стола, мой друг смотрит на меня неотступным взглядом, его уста молчат, глаза — улыбаются? Коля Мионов, три года назад — студент-юрист, сейчас — офицер русской армии, волшебным голосом вторит волшебному хору цыганскому, не зная, что он — цыган...

Не знаю и я. Не знала того и Марина — не узнала, может быть, никогда, если только в 1933 году я не написала ей в Париж об этом открытии — но письма мои к ней, наверное, не сохранились. А ведь она любила Миронова, и о цыганах столько написала, и кормилица-цыганка ее выкормила колдовым своим молоком...

...На другой ли день мы — Мионов и я — вновь в Александрове с Маврикием Александровичем. В его комнате. Капризника и красавца Андрюшу, не отрывавшегося от сабли, няня увела спать.

Мы троим. Ужин, вино. Беседа. В смятенье я гляжу на Морека, пленительного мне в каждом движении. Он ведь совсем некрасив. Но как он прекрасен! И вот, вдруг, в наш тройной мир, в обещанье будущего счастья вместе, их двоих возле Аси, которую они любят навек и хотят одного: ее счастья, Мионов встает и, в упор на меня глядя, начинает петь свой прощальный зов...

Заклятье! Безумие кидает он в мирный дом, охапку зажженной соломы, и все вспыхнуло: занавесы — окна и двери.

Мелодия избитой (?) песни в его приоткрытых губах — она огонь, и первое слово, длинное как меч, разрубает нас троих — надвое!

«Без-у-мно люб-лю, — поет он голосом Эоловой арфы, — Не от-дам Ни-кому... Целый мир погуб-лю, И с тобо-о-ю ум-ру...» — и стены моей второй семьи, бывшие мне деревьями рая, зашатались, горят...

В дневнике помню свой горький вопрос кому-то: «Миронов — ЭМА!». Я должна выбрать? Их любовь ко мне сходна, все понимают и ничего не хотят себе. Все вынесут для моего счастья! Счастья! Пустое слово! Что я должна сделать?»

«Поплыть по течению неуловимых вещей? Светлые глаза — темные глаза. Ирония природы! У Миронова большие руки. У «ЭМА» — маленькие. Поплыть по течению неуловимых вещей? Выбрать размер рук?!»...

Зимний вечер следующего дня? Мы — Миронов и я — поехали в студию Художественного театра на площади генерал-губернатора (напротив гостиницы «Дрезден», где в 1911 году я останавливалась летом с Борисом). Шла пьеса, думается, Гейерстама «Гибель «Надежды»». Игра — безупречна. Застрахованная «Надежда», утлое судно, хитро обреченное погибнуть, идет в море для выгоды владельца, и команда обречена. Молоденький Баренд, узнав о готовящемся, отказывается идти в море. Он мечется, хватается за двери, за стол, за кровати.

«Я не хочу погибнуть в грязном вонючем море»... — кричит он в смертном ужасе, в диком негодовании. Но его хватают, ведут насильно: договор о нем подписан родителями, не знающими, что судно обречено. Хозяин заставляет своих жертв идти на корабль. Весь театр — одно бьющееся горем сердце.

Миронов и я не сводим со сцены глаз. Смерть — главная тема начала нашей любви, трепет страниц дневника моих тринадцати лет — ритмический крик всех лучших стихов Марины; Миронов мне когда-то: «Если бы вы входили в дома, где есть умирающие, — они бы не умирали!» С Мироновым мы поклялись друг другу: жизнь нас разводит — но зов нам останется! Позовем друг друга! Вместе умрем! Смерть, что взяла Бобылева, его могила, где мы зажигали лампадку. Смерть, что стоит за плечом Миронова, едущего снова на фронт!

Как три года назад, вчетвером, два Бориса, он и я — вышли ночью из незлобинского театра, досмотрев «Идиота» Достоевского, и шли молча, не заметив дорогу, пешком в домик на Собачьей площадке, прожив смерть Настасьи Филипповны, так теперь, вдвоем, мы выходили из студии Художественного театра (я — не вспомнив, что это был мамин театр, оба — забыв все) и, не видя зимы и Тверской, идем к Марине в Борисоглебский, где она ждет нас, встречает, и мы долго сидим втроем.

— Ася, я оставляю тебе свою комнату! — говорит она. — А Николай Николаевича ты можешь устроить в столовой, там постелено ему, как всегда! Сережа поздно читает, я пойду к нему наверх. Доброй ночи!

Она уходит наверх. Я лежу на Маринином диване, Миرون сидит рядом. Так сидел Боря Бобылев возле меня на Собачьей площадке.

— Поздно! Я пойду, Ася! Спите...

Не слушая:

— Вы не погибнете, Николай Николаевич! Вы вернетесь! Я в этом уверена!

Но как я ни старалась сделать свои слова сильными, — они слабо прозвучали ему.

— Уговариваете, как Баренда? — только сказал он, и голос дрогнул улыбкой. Это был (моей гордыне?) удар хлыста.

Все, что было в жизни моей — смертью, и все, что в смерти живет, — все вспыхнуло очерком молнии. Так предстает человеку — долг. Миронов встал. Поцеловал руку:

— Я иду, Ася?

— Оставайтесь...

Когда Маврикий Александрович позвонил наутро из Александрова узнать о моем здоровье и когда меня ждать, горничная Соня, меня почти не знавшая, считавшая Миронова моим женихом или мужем, ответила в телефон:

— Анастасия Ивановна с Николаем Николаевичем еще не вставали. И Марина Ивановна еще спят.

Это мне много позже рассказала Марина.

Я провела с Мироновым, от него не отрываясь, его последние дни перед фронтом. Марина много была с нами.

Об этих днях мне трудно писать. Мы снялись на прощанье — Коля и я. Фотография эта — он в офицерской шинели, я — в черной плюшевой шубе. Его черный прямой пробор, ласточкины крылья бровей, взгляд бездонный и добрый, напряженно-счастливый взгляд. Мои русые вьющиеся волосы. Лица своего не помню. Мы много ездили по Москве по каким-то его делам. Не расстались ни на минуту. Вокзал близился. И настал. Я ничего не помню — как тени, его сестры — сестра? Кто-то из них (откуда мне доносилось?) меня ненавидит... Все некогда, все неважно — я с ним. Невозможно: Коля уезжает на фронт. Все существо мое — с ним. И я не могу с ним ехать. Я должна вернуться к Маврикию. Я ношу его дочь? Как и я, Коля как-то мимо своих — мать? — входит в вагон со мной. Мы в блаженстве. Мы вместе. Теперь моя жизнь — его письма. Я не знала, что такое — бывает. Что человек может так глядеть. Так говорить. Быть так нежен... В этой оглушающей новизне *принадлежания* человеку отходит его поезд. Я стою соляным столбом.

Маринины не было на вокзале. Я бы очнулась — скорей. И назад. К другому долгу. Я еду, мертвая, в Александров. Поезд идет три часа. Ночь. Я еду, расщепленная надвое. Часть меня (целое!) счастлива в первый раз в жизни. Но его нет. Я несчастлива. И все-таки это могло бы быть счастьем: его именем... Но все это глубоко окунуто в мертвую, вторую меня: я еду назад к мужу, которого сейчас не помню. Я виновата — вины не чувствую. Их было двое — стал один. Он уехал. А я должна вернуться к другому, в мой, мне пустой дом. Ледяная ночь. Извозчьи санки трясет. Голубые барашки в небе. Легче, кажется, умереть. Гляжу вверх.

Дом Ивановых. Подымаюсь в четвертый этаж. Открывает Морек.

— Я принадлежала Миронову.

Тихий голос:

— Я знал.

— Пожалуйста, заплатите извозчику, у меня не было мелочи. Он ждет.

— Сейчас сойду.

Он сходит по лестницам, а я иду в свою комнату, рядом с детской, тихо, Андрюша и няня спят. Он вернулся, как

всегда, помог мне раздеться, уложил меня, поставил рядом еду. Бережно укрыл и тихо ушел к себе, в комнату через коридор напротив.

Много позднее я узнала о нем — что в ту ночь что-то случилось с его совершенно здоровым сердцем, что врачи определили как — порок клапана?

От Миронова шли письма. Он звал меня «моя ласточка», писал, что каждая моя жилка уже не моя, а его. Письма его были на «ты». Безгранично нежны. Я не могла их скрывать от Маврикия, и они причиняли ему очень большую боль. Но ни одного слова неприязни к сопернику, ни упрека — мне. В этом медленном лечении, в ангельском терпении и заботливости я понемногу возвращаюсь к нему и в себя.

Медленно я стала понимать свою вину, спорить с собой, осуждать себя. Реже писать на фронт, возвращаться душой в дом. Время шло.

В один зимний день Маврикий Александрович пришел с радостной вестью: мы переезжаем в отдельный домик — на Миллионную улицу, он стоит в конце Староконюшенной, его сдают старички Лебедевы, бывшие учитель и учительница, там перед домом — лужайка, Андрюше будет где погулять. Покинуть кирпичный дом трактирщика, оказаться в особнячке, в природе! Мы с жаром принялись за переезд.

Заботливость Маврикия Александровича ко мне в быту была чисто отеческая, и его внимание, даже в мелочах, было поразительное. Он ничего не давал мне делать, даже налить себе чаю. Все делал он даже к столу — салат, бутерброды, и нес их мне с такой радостью, как мать ребенку, и как они были вкусны!

В новом месте, куда мы переехали, были клопы в старом доме. Морек вывел их в один день, принеся составленное (он был химик) снадобье и помазав перышком по углам и трещинкам обоев. Везде все чинил, устраивал, все успевал. У нас теперь было четыре комнаты, и шли они так:

Кухня	Столовая	Угловая
Спальня	Уб.	Детская
Парадная		
Сад	Вход	

Из кухни был ход в столовую, маленькую, из нее в угловую, оттуда в детскую, из нее в коридорчик — переднюю и к парадному ходу, по ту сторону передней была самая большая — моя или наша. Туда Морек заказал по моему рисунку деревянный диван с высокой спинкой овального очертания и со ступенькой к высокому широкому сиденью. Тут был большой стол перед длинным окном с занавесками. Я полюбила наш уютный домик. Андрюша весело бегал по комнатам. О нем надо теперь рассказать.

Андрюша был очень красивый мальчик, но в глазах его была затаенность, лукавство. Он был ласков, но нежности в нем не было. В его детской прелести (он был очень грациозен, я водила его в платьицах, и все принимали его за девочку) был налет холодка, Борисова. Однако, когда он увидел в кухне гуся с отрезанной головой, он пришел в неистовство: топал ногами, кричал: «Ему шейку больно, шейку...» — в яростном негодовании на нас, допустивших, сделавших такую несусветность, на наше непонимание этого. Сама потрясенная его горем, я увела его, дрожащего от рыданий, утешая, как могла. (И этого, к прошлому веку отошедшего, где в последнем десятилетии были корни его родителей, я уже не увидела за все детство — у его детей, тупо принявших в жестоком двадцатом веке, где мог появиться Гитлер, закон насилия — как закон: без дрожи смотрели на пауков и мух.) Андрюша, поставленный в угол, драматически наполняя дом криком: «Ника-да-а босе не бу-уду, ника-да-а бо-се...» — был застигнут мной (я разносила выглаженное белье Мору, себе, в детский комодик, и мой путь Андрюша предрешил, а я для чего-то повернула обратно) во внезапно измененной им интонации тех же слов, посыпанных золотой пылью насмешливости и забавы, превратил стон в скороговорку: «Никада не буду, никада не буду! Как смисно...» — после чего, опознав меня, вновь предался драматизму «раскаяния». Когда же я, желая вызвать настоящее в нем раскаяние, начинала излагать ему его грех — прекрасные глаза его делались еще темнее и непроницаемей, он глядел на меня исподлобья критически.

Так прошло месяца три. Таяло, был март, когда пришла весть из Москвы, что приехал Миронов. Я стала собираться. Сказала, улыбаясь, Маврикию:

— Теперь вы, кажется, можете быть за меня спокойны?.. И мое положение...

Но когда я, переступив, нет, еще на пороге Мариной комнаты увидела Миронова — все прошлое мое с ним произошло, и я пошла в его руки, как голубь, не ощутив ни на миг, что делаюсь коршуном над другой моей жизнью и что жизнь с меня спросит ответ.

А у Марины сидел Тихон Чурилин, человек, так и оставшийся для меня и теперь незабвенным, в судьбу которого мы трое — Марина, Коля и я — вкрутились, как винт в винтовую нарезку, — и уж стало нельзя различить, где он и где мы.

Мне навстречу вставал полусогнуто, как Нилендер, и долго держал мою руку и близко глядел в глаза восхищенно и просто, в явной обнаженности радости, проникновения, понимания, человек в убогом пиджачке, в заношенной рубашке, человек мироновской масти, но в полтора раза старше, черноволосый и не смуглый, нет — сожженный. Его зеленоватые в кольце темных воспаленных век глаза казались черны, как ночь (а были зелено-серые). Его рот улыбался и, прерывая улыбку, говорил из сердца лившиеся слова, будто он знал и Марину, и меня, и Колю целую уж жизнь, и голос его был глух. И Марина ему:

— Я вас очень прошу, Тихон, скажите еще раз «Смерть принца» — для Аси! Николай Николаевич, попросите и вы, эти стихи — чудные! — Тихону: — Вы чудно их говорите...

И не встав, без даже и тени позы, а как-то согнувшись в ком в уголке дивана, точно окунув себя в стих, как в темную глубину пруда, он начал сразу оторвавшимся голосом, глухим, как ночной лес:

Ах, в одной из стычек под Нешавой
Был убит немецкий офицер,
Неприятельской державы
Славный офицер.
Схоронили гера, гера офицера
Под канавой, без музы́ки,
Под глухие пушек зыки.
Где тут было, где тут было
Хоронить врага со славой,
Лег он под канавой.
Но потом топ-топ-топ —
Прискакали скакуны,
Встали, вьются вокруг канавы,

Как вьюны.
Окружили,
Тело взяли гера,
Гера офицера
Наперед.
Гей, народ!
Гей, народы,
Становитесь на колени пред канавой,
Пал тут принц со славой.
Держат принца наперед,
Тело взяли,
Топ, топ, топ —
Поскакали
Дале.
Так в одной из стычек под Нешавой
Был убит немецкий ихний младший принц,
Неприятельской державы
Славный принц.

Глухой голос стих. Тихон Чурилин сидел, опустив голову, свесив с колен руки, может быть, позабыв о нас. Но встал тут же, прошел по комнате — где недавно прошел так Никодим Плущер-Сарна — три шага вперед, три — назад — от шарманки к дивану с чучелами лис и Кусаки, мимо синей хрустальной люстры. Мимо маленькой картины, маслом, в тяжелой раме — лунная ночь, на снегу — волк (мамина когда-то работа). Позади, под луной, под всей высотой небесной, в немыслимом голубом безлюдье — волчьи следы.

Наша жизнь! Огни дружбы и любви, страсть к старинным вещам, любимые книги... И стоит между нас затравленный человек, нищий поэт, шагнувший из сумасшедшего дома.

Мионов смотрел мимо меня, где-то потерявшимся взглядом. Марина, лежа, курила, лицо исчезало в дыму.

Стихи Марины — Тихону Чурилину:

Не сегодня — завтра растает снег,
Ты лежишь один под тяжелой шубой.
Пожалеть тебя. У тебя навек
Пересохла губы.

Тяжело ступаешь и трудно пьешь,
И торопятся от тебя прохожие,
Не в таких ли пальцах садовый нож —
Зажимал Рогожин?

А глаза, глаза на лице твоём,
Два обугленных прошлолетних круга —
Видно, отроком в невеселый дом
Завела подруга.

Далеко в ночи по асфальту трость,
Двери — настезь в ночь под ударом ветра,
Заходи, гряди, нежеланный гость,
В мой покой пресветлый.

Сборы на фронт Миронова, «Весна после смерти» Тихона, «Триумфальное шествие» Дмитрия Смолина, слова Владимира Аввакумовича Павлушкова «Война — грудa мяса — и лечишь ее, режешь...» Торжественные, напоенные темной таинственной горечью строфы Осипа Мандельштама — где найти силы, слова воскресить вас — этой ночью, в мои семьдесят лет, и где было найти путь нам, весне перед смертью?

И я писала в дневник: «Но я не была виновата, что жила в мире, где добро одному — значило зло другому, где добро всем — значило зло одному».

Чурилин недавно вышел из сумасшедшего дома и издал книгу стихов «Весна после смерти». Ее большой формат, рисунки Натальи Гончаровой, пейзажи «с того света» — сумасшедшее и талантливое — все слилось в одно с ее автором, взявшим нас троих в плен. Я не помню в те дни Сережу. Шел 1916 год. Тогда ли он уже ушел братом милосердия на войну? Его с нами я тогда не помню. Как-то отступила и дружба Марины с Соней Парнок. Еще не бывал у нее тогда Осип Мандельштам. Все заполнил и заполнил Чурилин. Мы почти не расставались ту, может быть, неделю, те — 10 (?) дней, что я провела в Москве в начавшемся безумье всех нас вокруг Чурилина. Он читал свои стихи одержимым голосом, брал нас за руки, глядел в глаза близко, непередаваемым взглядом, от него веяло смертью сумасшедшего дома, он все понимал, любил Марину, Колю, меня, говорил, что я — розо-

вый мрамор, рассказывал колдовскими рассказами о своем детстве, отце-трактирщике в Лебедяни, о первом пробуждении стыда в мальчишке, о матери, которую любил страстно, страдальчески; и я писала в дневник: «Был Тихон Чурилин, и мы не знали, что есть Тихон Чурилин — до марта 1916 года»?..

Он был беден, одинок, мы кормили его, ухаживали за ним.

Нет, я вспоминаю: Тихон читал нам повесть о своем детстве — жгучую повесть, где были разверсты бездны касания ребенка к тайне плотской любви.

От страниц кружилась голова. Все в ней было непереносимо, как непереносима сама жизнь. У истоков стояли мы, в те дни брошенные друг к другу, и было все совершенно голо и просто в своей безысходности, и то, что религия, которая была нам далека, зовет грех — было нам чистотою и неизбежностью в отношении к любимому. *Иное* — в нашем состоянии тогда, показалось бы трусостью и мещанством.

Мне трудно говорить о тех днях. Миронов и я поехали в Александров. Увидев нас вместе, Маврикий Александрович все понял и ничем не выразил своего отчаяния. Он встретил нас как добрый хозяин, не сказав мне ни слова упрека. Затем я снова уехала с Колей в Москву. Мы пробыли вместе несколько дней до его отъезда на фронт. Мы не расставались и по многу часов проводили с Мариной и Тихоном, с его книгой «Конец Кикапу».

Красота физического облика Миронова в те дни достигла вершины. Мундир подчеркивал, украшал его мужественность. Не одна я — и Марина, и Чурилин не могли оторвать от него глаз. И пришел час отъезда. Дитя ли во мне придало мне сил, мужества?

Поезд отошел. Я вернулась к Маврикию. Я чувствовала свою вину ровно настолько, насколько не чувствовала ее. Прошло еще время. И однажды Мор пришел ко мне с лицом светлым, новым:

— Все кончено, Асенька, — сказал он. — Теперь я совсем ваш. Я поборол то: я хотел принести яду, отравить вас, ребенка, себя. Я справился. Я люблю вас и вас никогда не оставлю.

И я вернулась к нему. Не сразу, но — прочно.

Кончился март, наступил апрель. Окна сливали свои хрустальные дворцы, пальмовые заросли, густо-звездное сверкание, они утекали, как Ундины, ручейками, и за посветлевшими комнатами вдруг оказались богатства, о которых мы не подозревали всю зиму: там по мановенью жезла вспыхнули почками кусты под моим широким, разлатым (точно обычное положили боком) окном и стали одеваться листьями, назвав себя смородиной и крыжовником, чем-то интимным, родным, детским, тарусским, от чего шли слезы в глаза — по невероятности откровения, что тут, в чужом, сером военном Александрове, где я все жду и жду Морека, а он все не идет, где Андрюша с няней все ходит гулять по заснеженным улицам, еле двигаясь меж сугробов, — те же запахи идут из земли, как во дворе Трехпрудного, и Андрюша, вылезши из шубки, в матросском пальто и берете залихватно хохочет, топчась на льдинке сосулек, и следит за пружинными воробьями, резиново прыгающими по берегу луж, и за ним и кустами и чуть густеющими деревьями — вдруг обозначилась большая липа (та липа Тью, за которой рыжела песком Игнатовская гора) — та, лангаккерновская, под которой мы: мама, папа, двенадцатилетняя Маруся и я — обедали в мирном германском Шварцвальде — века назад... Весна расцветала медленно и будто беспечно, нас вовсе не замечая, исходя солнцем, талой землей, первой травкой, и там, где столько месяцев была просто вьюга над чужими горами снега — оказался нам вдруг подаренный сад... И ему вовсе не надо было сравнения с Тарусой, с Шварцвальдом — он был и пребывал александровским... Это только мы не знали его...

Жизнь расцветала во мне, но и приближалась мысль о смерти; ребенок все сильнее двигался, у него уже был вес. Тайна сада была уже тайной будущей Ирины, моей...

Начиналось лето. Я уговорилась с Александрой Олимпиевой, что скоро приеду в Москву и поселюсь с ней в свободной (бывшей Борисовой) комнате у Марины — недели за две до ожидаемых родов. Еще полная памяти о папе и благоговения перед ним, она согласилась. Беспокойная, суетливая, недоверчивая к отношению людей к себе, она была добрым и благородным человеком, несмотря на едкий язык

и ежеминутное зоркое приглядывание к поступкам и словам возле нее находившихся.

Маврикий Александрович по телефону справлялся о моем здоровье. На время моего отсутствия вместо меня поселилась в Александрове Марина — с Алей, и фотография Андрюши в белой, расшитой крестиком рубашечке и Али с браслетом на ручке относится к этому времени. В Маринином доме (то есть в квартире в Борисоглебском) было тихо и пусто, ее комнаты были заперты. Вход в комнату нашу был прямо из передней. (Тут мы просидели полночи с Марией Ивановной, говоря о Борисе).

Я забыла сказать, что в последнее время Борис иногда приезжал к нам в Александров, ночевал у нас, дружно разговаривал с Маврикием Александровичем, рассказывал о Марии Ивановне, ее успехах в театре. Но он бывал чаще, когда она уезжала в поездки, — скучал. Он все не оставлял мечты попасть на фронт, возвращался к этому упорно, искал путей обойти свой белый военный билет и возвращался к воспоминаниям о Кильдюшевском. Сергей Сергеевич тоже собирался на фронт — они переписывались. Миронов, получая от меня письма все реже, молчал тоже подолгу. Жизнь шла.

Шел июнь. (О нем — Маринина «История одного посвящения», приезд к ней в мое отсутствие Осипа Мандельштама, их беседы и хождения по Александрову, и — под чудесным пером ее — встает Осип Эмильевич.)

Я не сказала, что незадолго до моего отъезда, услышав, что я ищу вторую прислугу (в 1916 году начались очереди за белым хлебом, керосином и крупами, и я с одной прислугой, с русской печью, мытьем полов в четырех комнатах и кухне, со стиркой и стоянием в очередях — не справлялась), — пришла сама, встала на порог женщина. Странное мрачное лицо ее с неправильными чертами, жар уклончивых темных глаз — ничто не располагало к ней. Но она не уходила:

— Я пришла к вам работать, — сказала она, — девять лет служила у священника в нянях. Возьмите меня. Я не боюсь работы, а только я не люблю жить, чтобы другая была. Отпустите ее, я справлюсь.

— Что вы, — отвечала я, — у нас такая хорошая пожилая женщина, честная, работающая. Нам ее помощь нужна.

— Честная? — усмехнулась пришедшая. — Все они честные! Знаю я их!

Я не согласилась отпустить Машу, но Надю — взяла.

По паспорту оказалась Надежда Алексеевна Борисова, девятнадцати лет (!). На вид ей было лет тридцать пять. Стало легче, иногда не я должна была идти в очередь и стоять у русской печи с ухватом или стирать в отсутствие Маши — это было мне, беременной, уже не по силам. Но когда вдруг пропали вещи и оказались (Надя «нашла») под подушкой у Маши и та, расплакавшись, попросила расчет, стало ясно, что Надя пойдет на все, чтобы согнать вторую, а Маша уперлась — «уйду»... мне ничего не оставалось, как ее отпустить и оставить Надю, у которой в руках работа кипела и которая чудно играла с Андрюшей, привязавшимся к ней вскоре не меньше, чем к «старой» няне, за которой приехал сын и увез ее. Так не удалось мое намерение, мечта оставить ее у себя насовсем, жить «на покое», только приглядывать за порядком в доме, оставив черную работу — молодым. Марина очень любила «старую няню» и где-то в записках своих отметила влияние ее языка на Андрюшу; что он не говорит «сказала», «говорила», а «мне стала няня сказывала»... Ей очень нравилось это слово в трехлетнем рту.

Я не говорила бы так подробно о Наде, если бы она не сыграла поздней роли в моей жизни. Но об этом потом.

Пока же, может быть, то, что я так поздно разобралась в Наде, принесло вред Андрюше — она, как я позже узнала, учила его лгать и вообще навела много смуты и беспокойства в семью. Иногда она жаловалась мне, что Андрюша ее укусил. Возмутясь, я звала его, спрашивала: «В какую ручку ты укусил няню?» Он отвечал. «Дай мне твою ручку! Вот здесь?» — и я кусала его, осторожно следя за ним, — когда ему станет больно.

— Плачешь? Вот и ей было так больно! Укусишь ее — снова тебя укушу!

Может быть, этого не надо было. Но кто же нас учит воспитывать? — однако раза через три Андрюша бросил кусаться. Сознвался он только, когда нельзя было отказаться. Был тонок в лукавстве. Упорно делал недозволенное, нелегко сдавался. От новой мне роли судьи и следователя я уставала. Сколько влияния на него было Нади — трудно учесть.

Любимой книгой Андрюши с трех лет стала книга Золотой библиотеки «Макс и Мориц» Буша (а с восьми — забегаю вперед — Гек Финн и Том Сойер. Я же превращалась медленно, но легко — и в его глазах твердо — в марктвенновскую тетю Полли).

Борис приезжал к нам в гости, подолгу засиживались Маврикий, он и я, и Маврикий бывал у Марии Ивановны, когда ездил в Москву, и они его тепло принимали. Впрочем, Борис и Мария Ивановна еще не поселились вместе: она тогда много бывала в поездках, снималась для кинематографа с Можухиным и Лисенко, и Борис лишь бывал у нее.

Старички Лебедевы, наши хозяева, жившие в другом своем доме рядом — наш дом был, должно быть, флигель — дивились, как я позже узнала, приездам Бориса к нам. Нам же отношения наши — дружественные теперь и ровные — казались естественными. И не помню месяцев точно, не знаю когда, но Борисова мечта все же исполнилась — кажется, с помощью Миронова он все же оказался на фронте, и это случилось в то самое время, когда близился вызов нас на судоговорение по делу о нашем разводе. На фронте он, конечно, забыл об этом, а вскоре и я махнула на дело о разводе рукой. Моя и Маврикия дочь должна была, по отсутствию Бориса, явиться на свет по паспорту моему — Трухачевой, и этому уже было нельзя помешать. Он изредка писал и в письмах с теплым юмором упоминал о прибывшем туда, по его хлопотам, Пашке Ливенцове; приятель — чудаковатый, смешной, его детства, которого он очень любил.

Но я не сказала о Борисе и Андрюше. Еще много ранее его трех лет, когда Борис приходил к нам на Верхнепрудовую (Андрюше было два года), после годовой разлуки — ясно обозначилось их сходство не только физическое (наружностью он походил и на меня), а — внутреннее: движения, неуловимость, даже походка, легкость и грация какого-то психологического свойства. Борис это сразу почувствовал и, любуясь красотой сына, его ловкостью (прыгать, лазить), гордился им. Он дарил ему игрушки, бывал с ним у матери, и понимали они друг друга, отец и сын, как-то совсем особенно, без слов. И был Андрюша светловолос, как отец, до пяти-шести лет. Далее цвет волос стал моим. Цвет глаз не был ни Борисов, ни мой — свинцовый. Черты были правиль-

ней и отцовых, и моих — он был красивее нас. Не сохранилось ни одной фотографии, передававшей его красоту. Цвет лица был нежен, серые, темные глаза — велики, прелестный рот. Но не было в его лице той остроты взгляда, серьезности, чего-то почти рокового, что поражает в фотографии Бори восьми лет — выражение Борисово разбавилось моим, стало веселей, беспечней.

Что касается того, как я воспитывала Андрюшу, — Борис порой негодовал, видя строгость мою, стоянье сына в углу, наказания, — их детьми не наказывали, они делали что хотели. Но, пожив с ним с неделю, позднее, в Андрюшины шесть лет, он увидел трудные черты его и сказал Марии Ивановне: «Половину того, что я говорил о драконовых методах воспитания Аси, я должен взять назад». У меня же не хватало терпения.

Но не всегда он порицал меня. Помню его другие слова, мне сказанные. Видя, как я ревностно исполняю все, что надо вокруг ребенка — уход, чистоту, заботы о здоровье — в этом я была много зрелее, чем в вопросах психологического воспитания, — Борис выразил свое одобрение, сравнивая меня с Мариной, по его мнению, не так следящей за Алей, как надо, как слежу за Андрюшей я.

— Вы — прекрасная мать! Куда лучше, чем Марина в роли матери!

Я эти слова воскрешаю не в порицание Марины и не знаю, был ли он прав, так говоря, а лишь затем, чтобы не ушли в забвение его слова уважения мне и признания во мне доброго после — не раз — осуждения меня. Пусть останется живо все так, как было.

Не надеюсь на память свою и скажу ли об этом в другом месте — главному о человеке местовсегда. Из всего, что я позже узнала о фронтовой жизни Бориса, я запомнила больше всего то, что из троих — Миронова, Сергея Сергеевича (?) (или дело шло о Пашке Ливенцове?) и Бориса, вызвавшихся ходить на разведку к врагу, Миронов ходил туда двенадцать раз, Сергей Сергеевич (или Пашка?) больше, не помню сколько, Борис же побывал там тридцать семь раз, пока уж не смог, попав в больницу с нервным параличом. Так он оставался собой и на фронте; бросал жизни вызов, испытывал свою судьбу.

Итак, я жила с Александрой Олимпиевной в пустой квартире Марины (значит, в 1916 году Сережа Эфрон был уже на войне), а Марина вместо меня жила в Александрове с Алей и Андрюшей.

Вот стихи ее тех дней, написанные там в нашем домике:

Белое небо и низкие, низкие тучи,
Вдоль огородов — за белою степью — погост,
И на песке вереницы соломенных чучел
Под перекладами в человеческий рост.

И, перевесившись через заборные колья,
Вижу: дороги, деревья, солдаты вразброд,
Старая баба — посыпанный крупной солью
Черный ломоть у калитки жует и жует...

Чем прогневили тебя эти серые хаты,
Господи! — и для чего стольким простреливать грудь?
Поезд прошел, и завыл, и завыли солдаты,
И запылел, запылел отступающий путь...

Нет, умереть! Никогда не родиться бы лучше,
Чем этот жалобный, жалостный каторжный вой
О чернобровых красавицах. — Ох, и поют же
Нынче солдаты! О, Господи Боже ты мой!

Эти стихи помечены 3 июля 1916 года.

Был живой день, Марина шла, дышала, сидела с тетрадью у окна моей комнаты. Через восемь дней после рождения моего второго ребенка. Теперь это мертвая, как ее тело, дата в сборнике стихов (16-й, 61 год). (Сборник «Избранное»).

Для сверки взяла эту голубую книжку издания 1961 г. — и вот вижу свою ошибку: у меня в рассказе о Чурилине сказано, что тогда Марина не знала еще Осипа Мандельштама, не дружила с ним. Аберрация памяти: стихи Мандельштаму:

Никто ничего не отнял —
Мне сладостно, что мы врозь —

помечены февралем 1916 г. Встреча же с Тихоном моими собственными словами «и мы не знали, что есть Тихон Чурилин до марта 1916 года» — была, следовательно, после, а не до дружбы с Осипом Эмильевичем (то есть месяц спустя).

И «Откуда такая нежность?» (ему же) — писаны 18 февраля 1916 года.

С апреля 1916 года начинается цикл стихов Блоку, которого Марина если и видела, то с ним так и не встретилась... Цикл стихов, четыре из коих 1916 года, а последнее «Без зова, без слова» — 22 ноября 1921 года. Верность души!

Восьмым июля 1916 года помечены стихи Москве. Они написаны тоже еще в Александрове, настолько помню, потому что я, поболевав, немного задержалась в московской больнице, а приехав, застала у себя в Александрове Марину — после 5 июля* во всяком случае. Но это — предположение. Наверняка же — в Александрове в дни ее у меня, когда приехал туда Осип Эмильевич — написано «Белое небо и низкие, низкие тучи».

Москва! Какой огромный
Странноприимный дом,
Всяк на Руси бездомный,
Мы все к тебе придем.

Клеймо позорит плечи,
За голенищем — нож.
Издалека — далече
Ты все же позовешь.

На каторжные клейма,
На всякую болезнь —
Младенец Пантелеймон
У нас, целитель, есть.

А вон за тою дверцей,
Куда народ валит, —
Там Иверское сердце
Червонное, горит.

* В этот день было десять лет со смерти мамы.

И льется аллилуйя
На смуглые поля...
Я в грудь тебя целую,
Московская земля!

8 июля 1916 г.

9 дней спустя были Мариной написаны стихи, которые мы без конца говорили в унисон нашими двумя сливавшимися в один голосами — целый год почти, до дня разлуки, оторвавшей нас друг от друга на несколько лет.

В огромном городе моем — ночь,
Из дома сонного иду — прочь,
И люди думают: жена, дочь,
А я запомнила одно: ночь.

Июльский ветер мне метет путь,
И где-то музыка в окне — чуть.
Ах, нынче ветру до зари дуть
Сквозь стенки тонкие груди — в грудь.

Есть черный тополь, и в окне — свет,
И звон на башне, и в руке — цвет,
И шаг вот этот — никому вслед,
И тень вот эта — а меня — нет.

Огни — как нити золотых бус,
Ночного листика во рту — вкус,
Освободите от дневных уз,
Друзья, поймите, что я вам — снюсь.

Удивительно, моя жизнь шла, мои дни тянулись один за другим, в ожидании родов — вечера, дни, утра, каждый час чем-то наполненный — и я, много лет спустя, не помню о них *ничего*: помню, что у нас с Александрой Олимпиевной стояли на столе большие блюда клубники, ее вкус во рту, ее изобилие и, смутно, мой вопрос: «Почему говорят, что «виктория» — не клубника? Ведь такая же ягода, только много крупней...»

Вероятно, в Москве — был июнь — бульвары и скверы шумели деревьями, было жарко, кое-где пахло масляной крас-

кой, на лесах где-то пели «Дубинушку», и все больше и громче шел толк о царице, посылающей в Германию — сахар (?), белую муку (?) — врагам!.. Уже дрогнуло увлечение патриотизмом, померкли победы, уже прогремели сперва шепотом, имена Мясоедова и Самсонова, генерала, чьи солдаты погибли в Пинских болотах... И ползло по России слово «измена» — и, конечно, как гарь все это осаждалось в душе каким-то помпейским пеплом — но картина дней растаяла в памяти, они прошли как дым. А «виктория» — не королева английская, одно из первых детских воспоминаний, а та, ягода, крупнее клубники, на продолговатом блюде, горой, все стоит на столе бывшей Борисовой комнаты в квартире Марины, уехавшей в Александров.

И у меня вдруг начинает болеть спина.

И начинается, несмотря на серьезность момента, юмористическая сцена между мной и Александрой Олимпиевной: в ответ на мое — уже опытом тронутое сообщение: «Это, наверно, начинаются роды», — ее, а не мой, испуг, ее старания торопить мои сборы, волнение и негодование даже в ответ на мое полуироническое — дух противоречия — промедление. Зная, что она никогда не рожала, и осмеливаясь судить по моему опыту четыре года назад (единственному), я холодно-важно поддразниваю ее своим наполовину сыгранным спокойствием, убежденная и убеждая ее в том, что «...это ведь не скоро, что вы волнуетесь? Это же так долго длится, пока начнется по-настоящему, а лечебница Юрасовского — рядом». Но ее жизненный опыт, зрелый, оспаривает мой молодой задор, она спешно собирает заранее приготовленные в корзиночку вещи, укладывает, торопит, идет за извозчиком. Чуть подрагивая от неизвестности, охлаждая невольную дрожь неким терпким приглядыванием к себе — сбоку (как одинока женщина в этот таинственный во всей своей прозаичности час!), я схожу с лестницы и выхожу в Борисоглебский переулок. 25 июня, 6 часов дня.

Извозчик — пожилой и был бы, верно, уютный, согласись я сесть в пролетку, но я не соглашаюсь, и начинается сцена горько-юмористических пререканий между ним и мной. Александра Олимпиевна, я не помню, может быть, держит нейтралитет? Допуская в своей невинной встревоженности, что я, может быть — и права?

— Поезжай тихонечко, — пытаюсь я убедить этим интимным «ты» и дружественностью тона непонимающего извозчика, — я пойду по тротуару, а если станет хуже — я сяду.

— Я с вами по-божьи! А вы, — обиженно говорит извозчик, оскорбленный за себя и за лошадь, дергая вожжи, повернув ко мне бородатое лицо в синей шапке, — не торговался, сразу повернул, к крыльцу подал...

— Ну пойми: ты очень мне помогаешь, что едешь рядом.

— За что ж деньги брать, коли я седока не везу? — продолжал обижаться извозчик.

— Ну, мне нельзя сейчас по булыжникам, понимаешь? Но если мне вдруг понадобится сесть, — я сяду...

А потом, почти уж у самой лечебницы Юрасовского, куда меня к доктору водил Маврикий Александрович, я зачем-то присела на тумбу у тротуара, не слушая испуганные слова Александры Олимпиаевны, боявшейся, что вдруг сейчас — тут...

Она была так почтительно привязана к папе, и Маврикий так ей меня поручал. Но, помедлив, переждав боль, я встала и дошла под руку с ней до Юрасовского по Арбатскому переулку, и мы расплатились с извозчиком, и она ввела меня в двери лечебницы.

И все пошло обратно первому разу: вместо целой ночи медленных мук, к утру стугтившихся, — неуспевание передохнуть. Ребенок шел так стремительно, что мне была предписана мука добавочная: опасались разрывов, и мне был отдан приказ:

— Ребенка удерживать, при каждой потуге начинать дышать глубоко.

Это было противоестественно. Мне хотелось потужиться, чтоб помочь, как было в первый раз — в руках концы полотенца, закинутого через край того, на чем я лежала, — было так хорошо... Ох, как трудно! Гляжу на стеклянный шкафчик с — лекарствами (?), пинцетами(?), щипцами(?) (это все, что я помню об этой комнате) — и как помню первую, ту! И шум ветвей за распахнутыми окнами в ночь... Тут все кончилось в три часа. Но каких! Полочки шкафа, блестящего, туго сплелись с мыслью: «Если долго так — и не выдержать, выпьешь что-нибудь с этой полки!»

И все-таки, как и в первый раз, не кричала. И когда вдруг с шелестом что-то из меня скользнуло, и был голос д-ра Салина, похвалившего, что я — молодец, нет разрывов, вдруг раздался другой, которому я еле поверила: сколько раз ходила по горе в монастырь к монашенкам, вышивавшим приданое моей дочке, отделанное розовыми лентами, и розовое атласное одеяльце — женский голос:

— Поздравляем вас с сыном!

И мое:

— Не может быть!

И когда на другой день, узнав от Александры Олимпиевны, что я у Юрасовского, Морек приехал, пришел и услышал, что сын, — он, мною убежденный в Ирине, удивленно воскликнул:

— Да не может быть!.. *Сын?*

Так родился мой второй сын Алеша и лег во все розовое, девическое.

Он был менее красив, чем Андрюша — глаза уже, светлее, не так ровно и правильно очерченный нос, головка — меньше и весь незаметнее, но нечеловеческая доброта отца и кротчайший из характеров передались ему полностью, он почти не плакал, засыпал, не требуя укачивания. И что было всего лучше — Андрюша полюбил его самым нежным образом, может быть, даже еще нежней, чем «старию няню»!

После рожденья его я болела сильнее и дольше, чем после первых родов. Поднялась температура, матка не сокращалась, и каждое кормление сопровождалось болями. Однако прошло, и дней через десять меня выпустили из лечебницы, за мной приехали Маврикий и Надя, и наш приезд в Александров — Алеша во всем «Иринином» — был праздник. Марина поздравляла меня и хвалила Алешу, а я, увидев над ним две за десять дней позабытые пропорции голов Андрюши и Али, поражено говорила Марине:

— Какие у них огромные головы!

— Как у карликов, да? — вторила Марина, сразу поняв мое ощущение. — Ложись скорее! Какое будет тебе блаженство лежать на своей широкой постели, и все тебе будут служить!

За окном сверкало лето, шумела лангаккерновская липа, Мор хлопотал над необыкновенным салатом, в русской печке пекли сдобный хлеб.

В доме стало тесно, и Марина, быть может, уже на другой день уехала к Сереже в Москву. Ранее я писала, что не помню Сережу с нами во время моего второго приезда к Коле Миронову и знакомства с Чурилиным — но, видимо, он еще был с нами (или уезжал в первый раз ненадолго), так как я вспомнила о фотографии, ныне утраченной, где сняты в моем саду в Александрове группой — Марина, Сережа, Аля, Морек, Андрюша и я. Мор и Сережа стоят, мы сидим. Я в моем тогда любимом тонком темно-зеленом пальто, купленном с Борисом за границей, которое я надевала теперь, в уже сильно заметной беременности, как халат. Положения моего было тогда не менее семи месяцев, значит, это было в начале или середине мая, мы сняты на фоне зеленых кустов и деревьев. И еще вспоминаю: когда Марина тою же осенью, ранней, приезжала ко мне, томясь началом второй беременности, она беспокоилась еще и об уезжавшем или только что уехавшем Сереже — он шел братом милосердия на войну. В те уже смутные дни в России, и без Сережи, в разлуке с ним, ее мучившей, и в тревоге за него, второй ребенок был не ко времени. Но аборта она не хотела, его не сделала, а только тяжело и грустно переносила беременность, много лежала, курила... И может быть, лучше от всего отдыхала со мной и Маврикием, в нашем мирном домике, в тихом городке вместо Москвы. Тут только издали слышались солдатские песни с проходящих на фронт поездов, и не видно было маршевых рот, как на московских улицах, уходивших со штыками и чайниками, — и была родная русская природа, благословенная всегда.

Помню себя с Алешей на руках и прижавшей к своему плечу голову Андрюши, старающейся присесть так перед зеркалом на комод в детской, чтобы оно отразило нас троих. Любующейся моими сыновьями в зеркальном и солнечном блеске — двумя безднами темно-серых, больших глаз старшего, блестящей каемкой уж на лоб легших золотистых волос, его тонким носом, полным ртом — засмеялся лукаво (и как добреее лицо его в смехе! как хорош!) — и нежной го-

ловкой младшего, уже сознательно улыбающегося младенческими губами; длинные, иного, уже разреза, чем у Андрияши, светлые глазки Алеши освещают личико исходящей из них искрящейся добротой; легкий, светлее братниных волос, пушок надо лбом — он скоро завьется кольцами! — он уже хорош, прелестен — при отсутствии братниной красоты. «Это мои дети», — говорю я себе и стараюсь уловить сходство в них со своим лицом, с разрезом темно-зеленых (?), желтых (?) глаз, алых губ с уголками — у Марины такие же, — в которых замерли и улыбка, и грусть... С моими русыми, с золотыми искрами, вьются на концах, у висков, почти до плеч свободно лежащими, пышными и легкими волосами.

«Это мои сыновья... Какой будет у Марины ребенок? Неужели сын? Неужели дочь вторая, как у меня второй сын? Ну и пусть назовет... Ирина!»

Марина спросила у меня:

— Ася! Ты будешь еще добиваться дочери? Ты же хотела Ирину... Если ты это имя себе хочешь, я не назову так, выберу другое имя!

И мое ей — смеясь и со вздохом о неисполнившемся:

— Называй Ирина!

Вскоре после рождения Алеши вышла моя вторая книга «Дым, дым и дым».

Летний — и начало осени — Александров: пышный, без ухода растущий, заросший маленький сад, увенчанный огромной липой, ягоды на кустах и на яблоне; легко, как кошка, туда залезает Андрияша. Хохоchet в ответ на мой зоркий страх, на крик «нельзя выше!» и стояние рядом. И как только я отойду, погляжу вбок — он по веткам, как птица, исчез в листве — и я уж вцепилась в его платице — кругом негодуют: четыре года мальчику скоро, а волосы до плеч и платье — кокетка, оборки, как девочка!

— У него есть и костюмчики! — огрызаюсь я раздраженно.

И он так похож на «Ирину», так нежен наружностью! Дайте же мне налюбоваться — все равно уйдет к своим лошадам и пушкам от кукол — а пока играет в куклы — взасос...

Окно — разлатое — настезь, в кусты. Щебет птиц. В городке я бываю, только когда в очередь за крупной или белым хлебом и сахаром. Варим в тазу, как в детстве в Тарусе, ва-

ренье. Сегодня — вишневое. Его любит Марина, завтра придет. Мор готовит восхитительный винегрет, несет его в сад, будем ужинать на столе под липой. Придет Малиновский — он доволен, что мне нравится его обложка к моему «Дыму» (четыре цветов книги — белые, светло-серые, темно-серые и темно-лиловые: по ним он построил узорчатую кайму и в ней — розу). Я разослала «Дым» всем друзьям.

Жарко! На поляне учебные чучела для стрельбы. Алеша спит. Ясный золотой вечер.

В день рождения Андрюши (исполнилось четыре года) я его одела «Ириной» — в белое кружевное платьице (он теперь уже чаще ходил одетый как мальчик) и, к его веселью, надела ему парик из маминой косы, который я носила за год до того, обрившись после скарлатины (пока росли снова кудри). Прелестной картинкой порхал Андрюша по дому. Улучив миг, он схватил в кухне косарь, которым кололи лучину, и мальчишеским взмахом, вообразив косарь саблей, опьянев от радости, порезал себе пальчик. Пальчик перевязали, косарь отняли, и в горьком юморе о неудавшейся мне Ирине платье сменили (должно быть) на мужской наряд...

Год назад, в три года, Андрюша не вполне еще осознал дарованную мною ему на этот день волю: делать что хочет. Но в четыре — зато! Ну и дела! Не было ни минуты покоя: он повез меня на вокзал, и я битый час, если не два, стояла с ним на перроне, переходя по путям «смотреть, как колесики велтятся». На мою тоску и просьбы ехать домой — он безжалостно отвечал: «Мой день лоздения. Вы обессяли!»

С утра до ночи он отдавал приказания, зорко следя за их исполнением, отыгрываясь за год строгостей и запретов. Когда был накрыт парадный чайный или ужинный стол, он выразил желание, чтобы его перенести «в сад под большую липу», что мы с Мором исполнили. Но разочарование ли изменило настроение Андрюши или взяло верх лукавство? «А теперь мне хоцеца, стобы кусали в комнате...» — неумолимо сказал он. И мы потащили все яства назад в дом.

«Мавлиха», как он звал Маврикия, ходил по его приказу колесом и пробовал (грации танцора это почти удавалось) стоять на голове. И, вспомнив, что ему в течение года запрещается купать кукол, разливая по детской воду, а разлитую — заставляют вытирать самому (и негодование свое

в такую минуту, оскорбленный крик: «Я не нянька, стобы вытирать лузи глянзными тляпками!») — он в этот день наслаждался водой без последствий тряпок всласть и докупал все игрушки свои до поздней ночи.

Тихо, чтобы не разбудить Алешу, которого нежно любил, спрашивал напускным голосом: «А котолый час? До двенадцати есье долго?» Героически не сдаваясь сну и не сдавая позиций. И уснул без чего-то двенадцать, на коврике у постели над потопленными во всевозможных сосудах игрушками.

О любви к нему Маврикия можно судить по одному случаю: в печке загорелись дрова, положенные Надей в отопленную, закрытую духовку — для сушки. Все спали. Дым повалил в дом. Мы проснулись на крик сонной Нади: «Горим!» Мор, вскочив со сна, побежал не к Алешинной, своей крови, кровати, а к Андрюше. Я — к Алеше, и мы, кутая их, бросились через переднюю в парадное, где воздух был чист. Андрюша платил ему ответной любовью.

О воспитании мальчиков наших Мор говорил: «Русское воспитание в гимназиях негодно. Кончится война, они подрастут. Мы уедем в Англию, их отдадим в колледж. Там им дадут здоровое мужественное воспитание. Ася согласна?»

От Бориса с фронта шли редкие письма. Он был под начальством подпоручика Миронова, и в строки его вкрадывались неувимые нотки иронии к товарищу детства и юности. Тоска же моя по Миронову жила где-то глухо в неисследимой глубине, я о ней молчала. Переписка наша замерла. Кормя Алешу, я видела Марину лишь в ее приезды ко мне. Жизнь в доме шла мирно, прерываясь лишь иногда моими вспышками раздражения от усталости от работ по дому и кормления. Надя подолгу выстаивала в очередях, принося слухи о недовольстве в народе, о ропоте против царя и царицы: о нем, сменившем главнокомандующего великого князя Николая Николаевича, дядю своего — собою, при неспособности быть полководцем (шли поражения). Об Александре Федоровне, помогающей провизией родной ей Германии — врагу? В отсутствие Нади я стояла у русской печи с ухватами, мыла полы, стирала. Не хватало сил, а ночью, — просыпаясь к Алеше, — сна. Я худела. Это мучило Маврикия, раздраженность же моя причиняла ему боль. Он утешал меня, как мог, всегда ровный, отечески заботливый

в каждой мелочи. Приходя со службы, тотчас начинал помогать, засучивал рукава, становился к корыту, укладывал отдыхать, запрещал мыть полы.

Мор чаще меня бывал в Москве и, приезжая, ложась, рассказывал о подробностях своей поездки, каждое слово сказанное, каждую мысль и свою тоску по мне без меня. Видясь с братом Яковом, на шестнадцать лет старше его, дельным человеком, он говорил мне, — вложенные им в дело брата двенадцать тысяч дадут доход, и он сможет обставить мою жизнь как надо. Его мучило бессилие помочь мне сейчас, не имея заработка, по его низкому положению в армии, как еврея. Я понимала, что такого друга мне не найти вовек, я любила его, томилась в его отсутствие, оживала при нем, но не могла заставить себя возобновить с ним, после рождения Алеши, физическую близость. После Миронова, тех нескольких дней с ним, я не могла вновь вступить в близость с Маврикием — мне это казалось ложью, ему я лгать не могла. И он, должно быть, все понимал и молчал, ни разу не упрекнул меня в — если это было так — женской жестокости к нему. Он вставал ночью, нес мне Алешу, покрывал мне плечи пиджаком, когда было свежо, и укладывал меня, как ребенка.

Обо всем этом и о многом еще я однажды — Марина ночевала у меня и мы легли вдвоем — поведала ей; она слушала с тонким вниманием, понимала меня хорошо.

Жизнь делалась трудна. В лавках пропадали продукты. Все дорожало. Пришлось отпустить прислугу, обходиться няней. Я уставала от работы по дому, готовки еды, топки печей и кормления Алеши. Маврикий, приходя с работы, становился за корыто, мыл полы. Няня стояла в очередях за хлебом, крупой, керосином. С войны шли невеселые вести.

В эту зиму Майя Кювиле вышла замуж за молодого князя Кудашева. Мне не случилось, живя в Александрове и в ту зиму кормя Алешу, знать его. По рассказам о нем Сережи и Бориса, особенно Бориса, с ним дружившего, и, позднее, Марии Ивановны, он был ничем не похож на Майю; сдержан, молчалив, замкнут, но в высшей степени порядочный, благородный человек. Именно это благородство к нему привлекло Бориса. О том, каков этот брак, — я не знала, отрывочные же рассказы о нем не давали пищу уму. Помню слова портнихи Анны Ивановны, кем-то в Москве порекомендованной мне

для поденного шитья на дому и у меня прожившей недели две, обшивая меня и мальчиков (сшившей на зиму Андриюше прелестную коричневую шубку польской поддевочкой с черными бранденбургскими на груди и оторочкой из черного плюша и такую же шапочку, в которой он казался будущим литовским магнатом. Шубку он, в изменившиеся времена Гражданской войны и голода, доносил лет до девяти, до коротких до невозможности рукавов и локтей в заплатках — за не изменявшее в ней тепло). Анна Ивановна, полная домовитая женщина, обладавшая даром красочной речи со своеобразным построением фраз, дарила следующий очерк:

«Я еще работала у княгини Кудашевой, у старухи — не, та душа человек, дама благородного происхождения, княгиня. А уж невестка ее, молодая-то «княгиня» — я и у ней шила — ох уж и вообразила о себе! Лежит на диване, а перед ней на столе в двух серебряных подсвечниках свечки горят! Смотрит она мимо свечей — *мечтает!* — а во мне так все и закипело: ты чего, думаю, сударынька, валяешься-то при свечах? Добро б вышивала либо мужу белье чинила — голландского-то полотна не накупишься в военное время! Или не видишь, как свечи-то оплывают? Ведь шесть гривен горят...»

Мой ответ: «Майя — поэт, она пишет стихи — может быть, рифму искала...» — не произвели на Анну Ивановну впечатления.

У Майи родился сын и рос с помощью бабушек, больше — старой княгини. На мать похож не был...

Когда батюшка смог прийти к нам на дом крестить Алешу, Маврикия не было, он был на службе. Не будучи религиозен, он не придавал значения тому, что считал, как и я, обрядом, и раз это требовалось для имени и законных бумаг, не был против. Но, может быть, вспомнил в тот день свою мать семидесятилетнюю, приверженную к своему закону еврейку, и ее — узнай она, что его сына крестят, — горечь? Он не раз говорил мне с грустью о том, что не может меня свезти к ней, потому что я — разведенная-неразведенная жена другого и православная. Но когда он, придя, застал нас уже после крестин за обеденным столом, то сел рядом с батюшкой, добрым старым священником, и подкладывал ему пирога и закусок и подливал вина. Я написала это, и мне кажется, что я вспомнила: Мор на службе в тот час не был,

а ушел из дому до свершения обряда крестин по неловкости своего положения: кто он был? отец? но отцом в официальных бумагах значился Борис Сергеевич Трухачев, мой законный муж (объяснять священнику, что виною этого — действующая армия, помешавшая судоговорению и разводу?). Дело обошлось в молчанье на эту тему, общей ласковостью и уютом сумеречного уже часа. Старушка в черном, сытая и веселая, уходила за батюшкой, унося кадило и прочие церковные принадлежности, а Алеша сладко уснул, не дождавшись баюканья Нади, занятой, — на игрушках, без капризов и слез — «военный ребенок».

Крестным отцом Алеша был записан Розанов. Этому предшествовала переписка его со мной и со священником Александровской церкви. Василий Васильевич просил в виде исключения записать его, отсутствующего, крестным отцом. В то время присутствие крестного отца было обязательно, если крестили мальчика, крестной матери — если крестили девочку... Он писал, что обременен трудом и приехать не может. Батюшка согласился. Розанов, которому я много писала про Маврикия Александровича, радовался за меня. Он писал о том, что евреи бывают двух типов — шумные и тихие. «Бог благословил тебя тихим евреем», — писал он мне. И далее: «Я мысленно целую сонную руку Маврикия». На весну мы уговорились в письмах, что я поеду в Петербург для свидания с ним. Я мечтала о поездке в Петроград. Там были друзья. Еще одного человека хотела я увидеть там: Дориана. Мы изредка обменивались письмами. С нашей встречи в Варшавской больнице прошло почти два года. Мне шел двадцать третий год.

Шла зима.

Год назад я с тоской ждала писем от Коли. Уже год? Чувство двоилось. Неужели всего год? Когда же случилось, что бинокль повернулся другим концом? Все о нем и тех днях казалось так ужасно далеко... В душе был мир — но какой-то не до конца теплый. Цвела в нем мечтательность, плыли воспоминания, и всего достовернее было ощущение, что мне очень много лет. И я с тайным восхищением вспоминаю слова, убежденные, Николая Ивановича о том, что жизнь и мечта совершенно друг от друга отделены. «Как он прав!» — думалось мне. И царствовал тогда над моим как-то задумав-

шимся, похолодевшим внутренним миром образ женщины из кинематографической картины, виденной вместе с Мариной, взявшей надолго за сердце: звали ее лэди Гремион, и все о ней было — сон. Начало картины было светло, весело — сад из английского романа и двое в юной любви. Она умирает внезапно, и он, опустошенный, в тоске, едет в далекие страны, стараясь найти забвение и не находя его.

Годы идут. Что-то было в нем от Никодима — худоба, смуглость и чернота, европейская сдержанность, суховатость и яростность неутоленной тоски.

Где-то в стране, раскаленной и экзотической — пальмы, ступени, изысканность и холодная роскошь, он встречает женщину в строгом костюме, видимо, приехавшую лечиться, потому что за ней всегда следует пожилой лакей с клетчатым пледом.

Оба они молчат, и молчит их увидевший иностранец, начинающий ходить за ними, как тень: дама необычайно похожа на его умершую жену. Но так похож луч луны на погасший луч солнца. Ни любовных встреч, ни пыла мужских объяснений. Все — как сон: она понимает, что он ее любит, и ничем не открывает себя. Его страсть растет. И в день, расцветший меж них, как Виктория Регия, он входит, оживший, в отель, где она живет. Ее нет. На вопрос лакей с глубоким поклоном передает ему — конверт. На конверте ли, на листке ли, в него вложенном? или это сообщение старика-лакея? «Ее светлость уехала на пароходе «Химера» неизвестно куда». На море шторм. У горизонта — дымок еле видного парохода. Лодка героя борется с волнами, бессильно тщась догнать пароход. Он, конечно, погибнет. И так погибает «мы». Лэди Гремион стала неким символом моей жизни, я ощущала себя ею. При Маврикии все это блекло, но, оставаясь одна (очень редко), я смотрела вперед без надежды и радости, ничего не додумывая, ощущая только свой, вдруг ставший большим, возраст. Было ли это предчувствие того, что случилось с М.А.?

Переписка с Закржевским продолжалась. Он все тяжелее болел; писал: «...боли, как будто сняли с креста». Его комната была сырая, это ухудшало нефрит. Он мечтал, чтобы я прочла его книгу о Лермонтове, — запомнилось. Он не рас-

ставался с моей книгой. Его письма на маленьких листках мелким кудрявым почерком были полны восхищенья моей мыслью. Я читала их, стопка росла, и садилась ему отвечать. Потом они стали реже. Болезнь крепла. Он писал о том, как трудно преодолевать мучения. Об одиночестве. О счастье от моих писем — на краю жизни. «Почувствуйте мою радость, — писал он, — она, как последняя звезда в ночи»... Затем он смолк.

— Асенька, — сказал однажды Мор, неся толстый журнал, — Закржевский умер. Вот некролог о нем. Незадолго до смерти о его бедности, таланте, страданиях узнала великая княгиня, перевезла его в теплое светлое помещение, окружила заботой. Но было поздно. Не плачьте, Асенька, вы дали ему много радости... Спасти же его было нельзя...

В некрологе с кратким очерком жизни Закржевского стояло: «Уже, может быть, тогда больной, всегда одинокий, он проводил лето у дальних родных в маленьком городке над Окой. «Алес» — это слово ножом вошло в грудь. Раненая, я металась от Мора к письму Марине, к Клане Макаренко: «городок над Окой» — Таруса! Алес Закржевский, мои четырнадцать лет!

И он не узнает, что я его знала, любила... О, как же жестока жизнь!

Если бы я знала, получая его письма, что его кто-то звал «Алес» (мое увлечение им, бледным, молчаливым, в компании на тарусском бульваре под духовую музыку). В плаще и берете. Помню, как он улыбнулся однажды девочке в очках и кудрях, как сидел, размышляя, опершись на палку, смотрел вдаль. Алес — то давнее имя, а я писала ему — «Александр Карлович»...

Десятилетия прошли. Мне девятый десяток лет. Но чувство сожаления об этих двух «встречах» с ним живо.

Из писем Бориса к М.И.Кузнецовой:

«Дорогая Маруся! Пока все шло благополучно, но теперь-то, вероятно начнутся мои злключения.

Я в Воронеже, где и погибну в нищете и разврате.

Б.Т.»

«Милая Маруся! Я не знаю, вырвусь ли я в среду на Страстной. Здесь люди лежат и чуть ли не ½ года ждут операции, комиссии или справки. Порядков нет, докторов нет, сестер нет, больных — чуть-чуть было не сказал — тоже нет. Вот до чего заторопился. Одним словом, здесь ничего нет и быть ничего не может. Больных привозят, одевают, выдают халаты, запирают и раздевают навсегда» (Письмо во время царской войны 1914–17 гг.).

«...Папа питает ко мне два чувства: бешенство и нежность. Первое мне безразлично, второе — противно. Говоря обо мне, он пенится, со мной — впадает в сладкий тон.

Но все же я сделал — как ты хотела: у меня не было с ним ни одного скандала, даже неприятности».

«Милая Маруся! В 6 часов вечера я поднял свой последний бокал за Ваше здоровье. Мое купе пусто, я — один. В вагоне почти никого, и я расхаживаю по коридору «оружьем на солнце блистая...»

«Милая моя Марусенька! Сижу в комнате у Марины. Буду здесь спать. Ночую и у князя и даже у старой княгини*. А, каково?..»

«Милая моя Мусенька! Второй день, как я в Александрове.** Сегодня уеду. Ужасно хочется тебя видеть».

Все вещи мне пришлось сложить у Марины — М.А.*** уезжает. Привези, не забудь что-нибудь из Японии...»

«Дорогая Маруся! Встретил приветливо меня только Сережа, папа — сносно, а Коля с таким зловещим холодом, от которого я уже давно отвык.

О сердце! Ты — друг и вечный спутник и учитель влюбленных, волшебных садов Гименеевых, кузнец, чья золотая цепь незрима и легка, — подай спасительную помощь или разбейся и прекрати сон мученья. Не ты ли, связав судьбу свою с безжалостным капризом иного, столь холодного и жес-

* У мужа Майи и его матери Кудашевых.

** Значит, гостил у меня и Маврикия.

*** Маврикий Александрович.

тогого сердца, — теперь бессильно. Умолкни. Или хладное дуло в руке стократ влюбленного безумца, безутешного печальною разлукой, прервет твою нить...

Так думал я, предавшись нежным сентиментам в зеленом павильоне, сидя на низенькой скамеечке, обитой атласом, и наблюдая, сколь много пользы в разумном попечении садовника Федьки над клумбами и аглицким газоном, самой природе произвести можно. И ленистой рукою со сбившимся кружевным манжетом, из-под лилового камзола, черешневою тростью водил по желтому песку, чертя любезное слово “Мария”.

О, Мария! Даже самые зефиры, прекратя усладительное и тончайшее дуновенье свое, как бы боясь легким выющимся прахом усыпать драгоценное сие очертание, еще и еще раз могли бы подсказать разуму, даже весьма непросвещенному, сколь велика соразмерность судеб натуральных и человеческих. За сим размышлением о близости природы и человека, уже бессмертным Жан-Жаком предрешенным, меня и застал пакет Ваш из “Тайги”.

Милая Мусенька, ты опечалена, плачешь, что с Тобой? Как бы я хотел быть с Тобой! Сейчас мне хотелось бы развлечь Тебя моим письмом, утешить, успокоить.

Или ударить в бандуру, потрянуть стариной, вспоминая славное казачество? Где оно, где это время? Когда Россия была еще степью, а по степи рыскал серый волк, а бывало, и «красная шапочка». Когда люди делились на разбойников, попов, холопов и бояр, когда на площадях рвали ноздри и свистела плеть, а в лесах была “воля” хмельная, опасная, молодецкая вместо “свободного управления гражданских и пр. и пр. прав, присяжных судов, учредительного собрания”. Нет, видно, помолчать старому деду. А ну, как — на чужом пиру похмелье! Бог с ней и с бандурой, и с песнями и со всякими прибаутками. Благо, что откроют шинки...»

От Василия Васильевича пришло письмо, содержание которого возмутило Маврикия Александровича. Это была эротическая фантазия, в воздух, безымянная и так изложенная, как, может быть, можно изложить ее другу своего пола — но никак не женщине.

— Как он смел! Вы почти втрое его моложе! Он — старик, почти дед вам! Делиться с вами!

Я же восприняла письмо иначе:

— Просто он чувствует меня равной себе и понимает мое мужское начало! — сказала я полуравнодушно, полуюмористически. — Только не учел, что в этой области, как и во всякой, «у каждого барона своя фантазия» и что мне его фантазии — не нужны.

Он, конечно, уже испугался или раскаялся в том, что отослал такой бред, интимный, но я его успокою.

— Вы хотите писать ему, отвечать на эту гадость?

— Ни единым словом, конечно, — сказала я, разрывая письмо в клочки и заботливо впихивая их в конверт, — кажется, все. Может убедиться, что оно все к нему вернулось. Это то, что ему сейчас нужно.

И я отослала письмо, прося Маврикия ничего не писать ему. (Может быть, скажут — странно, что я вообще показала это письмо — мужу, отцу моего ребенка? Не показать чего-нибудь, не сказать, скрыть — было мне совсем невозможно. Я рассказывала ему каждую мысль, каждое чувство, как и он — мне). Ответ от Василия Васильевича пришел скоро. В нем было всего несколько слов. Они были написаны на клочке, наспех, среди работы: «Прости меня, грешного старика. Как мог я так забыть!» И совсем уж крупно:

— Ты благородная, Ася!

Понять, почему Андрюша старается есть волосы оленьей шкуры, при органическом отвращении к еде, было нельзя. Стоило не усмотреть за ним — и он, лежа лицом вниз на белом толстом меху с ледовитой подпушкой, уже выгрызал пути длинных стоячих стеблей толстой щетины. Стоя затем в углу, отшлепанный и заливаясь плачем, он отколупливал обои и под ними куски глины с известкой, которыми упивался. Детский врач Сергей Петрович Соколов, уютный старик, живший в своем доме, балконами и террасами напминавшем дом Добротворских в Тарусе, коричневостью же — наш дом в Трехпрудном, прописывал ему порошки-заменители («требуется организм»), но к ним Андрюша относился пренебрежительно. О том, что летом он хитро и страстно пытался, зарываясь лицом в коктебельские камушки, наполнить ими рот, уподобляясь Демосфену, я, кажется, писала. Никакие наказания не помогли. И только младенческая не-

винность Алеши, еще не подверженная подражанию, спасала меня от напряженной слежки за *двоими*, что было бы почти не по силам. Надя ухаживала за младшим питомцем с нежностью. Легкость ухода за ним умиляла ее. Уменьшительные имена и шуточные прозвища ласкательного свойства и интонаций раздавались в детской с момента его просыпания. Андрюша, в ком чувство юмора было развито необычайно, на весь дом смеялся ладушкам и лепету брата, изобретая ему ответы на фантастическом языке. В детской были часы моего мирного женского счастья. И только когда жизнь стихала в лунной залитой детской — просыпался вздох...

И тогда начинался дневник.

В той, трехпрудной, тоске, я ждала приезда Марины, носившей ребенка в каком-то покорном недоумении, подчас, по-цветаевскому врожденному оптимизму заинтересовываясь — какой же он будет, дочь? сын? и мы, как годы назад, выбирали имена мужских и женских созвучий. Вспоминали, как у меня удивительно получилось с именами и характерами сыновей, когда-то в каком-то — тогда полужутом предчувствии «загаданных» себе в Коктебеле (в 1911 году).

Жила тогда у Макса и Пра женщина средних лет с двумя сыновьями, близнецами, должно быть, — буйным Андрюшкой и тихим Алешкой лет десяти-одиннадцати. Глядя на них и оба эти имени любя, я сказала себе: «Так у меня будет два сына, и я их так назову...»

— Точно ты знала, что именно Андрюша у тебя будет бурный и трудный — помнишь, как наша мать мучилась с Андрюшей? — говорила Марина, лежа на спине на диване, рассматривая клубы папиросного дыма, — и какой ласковый и легкий был его брат? И у тебя точно так получилось...

Помолчав, она говорила мне окончание новых стихов, — как папиросный дымок надо ртом, они подымались к имени Никодима, и я просила ее сказать еще раз те, мои любимые ему, первые —

«Аймек Хуарузи» — «Долина роз»,
Еврейка, испанский гранд.
И ты, семилетний, очами врос

В истрепанный фолиант.
Аймек Хуарузи, так в первый раз
Предстала тебе любовь,
Так первая книга твоя звалась,
Так тигр почуял кровь...

— Дориан пишет? — спрашивала Марина. — Ты мне последнее его письмо читала? Да, помню, прелестное... Я бы хотела его увидеть! Ты поедешь к нему? То есть к Розанову? Я понимаю — когда откормишь Алешу? Поезжай, непременно... Ася, жизнь проходит совершенно как сон, ты об этом пишешь в «Дыме» — и ничего нельзя удержать... От Сережи давно нет писем. Это такая ежедневная мука...

— Мариночка, ведь он же брат милосердия, тебе можно все-таки мучиться меньше, чем если бы он был как Борис и Миронов, — не мучай себя, судьба должна быть к нему милостива...

— Ася! Никто не знает судьбу... Когда ночь подходит и сны начинаются — я боюсь ее, как за углом человека. Я пишу ночью, так легче, ложусь, когда уж совсем нет сил... Ты любишь ночь? Когда все спят... я только ночью — совсем настоящая, а ты? Да, я понимаю, у тебя сейчас другая пора. Ты кормишь, тебе надо спать... Знаешь, я уверена, ты *никогда* не уйдешь от Маврикия, и он никогда не оставит тебя. Как меня — Сережа... Вчера Аля складывала какие-то созвучия, легко применяла рифмы, — по-моему, она будет писать стихи...

— Пойдем есть варенье, — говорила я вдруг, — твое любимое, малиновое, я столько его наварила! Мы давно не ели, Надя пекла сдобный хлеб!

— У вас есть еще белая мука? Продается? А в Москве, по-моему, нет...

Андрюша, услышав о варенье, оживясь, примчался прыжками.

— Малина! — кричал он Марине, стараясь сказать «р», — ты любис малину? Я тозе буду ее есть...

Стихи Макса! Война была всюду. Почти все страны, кроме родной по детству Марине и мне Швейцарии, втянуты в войну — она ночью и днем над нами и вокруг нас, но стихи

Макса отразили ее совсем по-иному. Не война — еще раз — как в каждом газетном листке — в них прозвучала, а Максина душа в ней, Максина сердце, широкое и жаркое, как он сам. Листки трепещут в руке — читаю их на ветру, а уж слезы идут к глазам, горло стискивает их ком, и вот уже ничего не видно, туман над строками. Макс, родной Макс! Почему его — и так давно — нет с нами! Будь он тут, сейчас легче бы вдвое жить!

Дети мои весело играли на коврикe в детской, залихватый смех Андрюши, болтающего с Алешей, невообразимо-звонкий набор слов звенел по дому. Прислуга ушла в очередь за хлебом. Я лежала у себя на диване, мне делалось все хуже, голова плыла, в глазах темнело, в висках стучали болевые молотки. Я не сразу поняла: угар. Не сообразила и того, что дети его не чувствуют, сидя на ковре: внизу его не было? Чувствуя, что теряю сознание, я думала о другом: дети одни, кухня заперта мной изнутри, ни Мор, ни прислуга не смогут войти. И если я потеряю сознание — что будет с детьми? Последняя мысль. Думала ли я еще что-то, пока сползла на пол и доползла к двери, моля судьбу дать мне доделать то, что единственно было необходимо... Закрываются у тебя глаза или нет: ухитриться сбросить крюк с двери в кухню, чтобы смогли войти; крикнуть, позвать Андрюшу сил не было. От висков, под щеками к шее что-то тянуло, кисло. Голова была — котел шума. Как я приподнялась? Что нашла достаточно длинное, чтобы поддеть крюк, высоко надо мной, доползшей? Он упал. Стук падения был громом блаженного освобождения, с каким я упала назад, на пол, что — исполнено, дети не пропадут. Смерть? В этот ли миг или позже уже пошла рвота? Я очнулась высоко на диване, что-то стучало о зубы, лилось в рот, я старалась его отвернуть, чтобы не захлебнуться. Не сравнимые ни с чьими по доброте, заботе, тревоге за мою все еще плывшую в боли голову, длинные широкие глаза Мора смотрели в мои. Вопросы своего не услышав, я ответ услышала:

— Оба сына здоровы. Их угар не коснулся, Асенька может не беспокоиться... Асенька должна это выпить и тихо лежать.

Что-то глотая, я старалась догадаться, как в детстве: чем пахнет в комнате? Запах казался — синим. Лимон? Нашатырный спирт?

В комнате было очень холодно, дверь в кухне была нараспашку. Мор встал и, закрыв ее, укутывал мне плечи. (С днем угара я запоздала: это было еще, когда были у нас две прислуги). Не Надя, а та, другая, несла мне Алешу:

— Плачет... Кормить — обождете?

Снова зима на дворе, и на земле Рождество, снова тащат из лесу елку и украшают ее, как в детстве, золотыми шуршащими цепями, Надя принесла из церкви восковых тоненьких свечей, и я роюсь в старых картонных коробках с сияющими шарами в папиросных бумажках и вате, на них кусочки обгорелых елочных веточек, осыпавшихся: прилипли к металлическому раструбику с петелькой с капнувшим на нее воском, и мне страшно глядеть на эту бурую веточку, в ней что-то от меня, что? Андрюша — сын завладел хлопущкой и колдует над ней, как когда-то Андрюша-брат, и просит, чтобы я купила ему пистолет с пистонами (а я еще чую запах пистонов, которыми стрелял брат в нашей детской, вижу плоские бумажные кружочки пистонов в круглой коробочке).

Да, я знаю, что сейчас — не над этим стоять, занемев, а над тем, что по земле гремят пушки и везут поезда убитых и раненых, но мое сейчас — над той обгорелой веточкой, над поколеньем прожившей хлопущкой, над новым Андрюшей с пистонами — тоже наклоненье над ужасом — без войны уходящей жизни, быстротечность ее в кажущемся благополучии немногим менее ужасна, чем фронт. Только тише — но это тишина той же смерти. Детство в Андрюше не то, что было во мне.

Когда с волнением Мор и я распахнули дверь в коридорчик, где мимо топившейся печки должен был к нам войти, шагнув через порог, Андрюша — в ослепление елочной — трехпрудной! — красы, от которой у меня на двадцать втором году бьется сердце, — мой четырехлетний сын входит в Рождество беспечным мальчишеским шагом, красавец в темном бархатном костюмчике, и произносит — словно

даря нам — одно сдержанное трухачевское слово, рассматривая, не выходя из себя, елку. «Визу!» — говорит он. И два дня нашей таинственной подготовки в закрытой комнате к его елочному волнению — падают, как карточный домик. «А, барабан!» — говорит он, хватая что-то — и елка меркнет в оглушительном треске палочек по натянутому кожаному кружку.

Впрочем, я опоздала на год. Это было за год до того в этой комнате, в дни, когда я ждала — еще не скоро — Алешу и тосковала по письмам Миронова. «Визу!» было — в три года. В четыре он уже говорил чисто. Да, теперь Андрюше четыре года, он смело тянет к огонькам ручки. За запушенными снегом окнами носилась вьюга, а в моей с Мором комнате, самой большой в доме, сияло сверкание елки, зажженной. Надя держит на руках Алешу, ему полгода. (И уже когда Андрюша, разрушая мою мечту, что он будет, как его отец, грассировать, подбежал ко мне утром, торжествуя, что не вышло по-моему (хоть, несомненно, любит больше отца, чем меня) и в лицо мне, выговаривая впервые «р» вместо «л» чисто, как я, как каждый — «Тра-ра-ра-а!...»). Елка горит. Я держу на руках Алешу. Я не жду писем Миронова...

Надя прибежала домой в волнении. Ее черные пылающие — никогда не глядят в лицо — глаза прыгают: «Докторов дом горит! Сергея Петровича! Команда приехала — да что уж там. Тако пламя рази водой зальешь? Хозяйка бегаёт, шка-тулку, кричит, ищите! А хозяин-то в больнице с больными занимался, за ним побегли, пришел, вот так стал — и глядит. Дом его, дом горит, народ бегаёт, пожарникам помогают, а он глазами уставился и стоит. Ровно ума решился!»

Надин рассказ оказался точным: доктор Сергей Петрович пришел полчаса спустя после начала пожара и простоял еще полтора — без движенья, пока остались от комнат и стен — печи. Тогда его кто-то взял под руку и увел. И тогда началось мое горе: тридцать лет в нем прожила семья — в два часа все сгорело. Он стоит, «хозяин», всеми покинутый. Никто не подумал о нем, пока не стали торчком одни печи. «И меня там не было, я не позвала его к нам, не увела от лицемерия горя... Старого седого сироту, оставшегося, как те печи, от веселого, доброго, детского доктора. Я бы

нашла слова убеждения, утешения. Наш дом бы мог стать его домом, бездомного...» Я ходила по дому, горя, как тот дом, в позднем раскаянии: не побежала сразу на пожар... Ничто не утешит!

В обед пришел Мор. Он утешил: он был там и звал к нам д-ра Соколова. Тот отказался идти, остался стоять у огня.

Я не помню, когда пришла весть об убийстве Распутина. Что он был приближен ко двору — все знали. Достоверного — ничего. Шептали, что великие князья были против него, хоть он и лечил царевича. Но шире листка газетного донеслась и ширилась слухами молва: Юсупов (Сумароков-Эльстон) и один из великих князей залучили Григория Распутина, угощали отравленными пирожными. Не подействовало. Тогда пошла иная, неожиданная и для них расправа: убили и тащили огромное тело в прорубь. На льду осталась калоша...

С этого — началось. Как, между прочим, он и предсказывал: «Пока жив, будет жива династия». С убийства Распутина закачался — молвой — трон.

Имя Ленина дошло в Александров позднее, уже перед весной.

Незадолго до весны 1917 года вернулся с фронта Борис. Мор привез мне от Марии Ивановны адрес нервной больницы, куда он был доставлен в нервном параличе. После тех тридцати семи (тридцати девяти?) хождений, добровольных, в разведку. У него висела рука, не действовала нога, и половина лица отнялась. Таким его навещала Мария Ивановна. Я смогла поехать, когда кончала кормить Алешу. В феврале начала отлучать его от груди. Покормив утром, уехала до ночи, — думаю, так. Борис уже поправлялся, был худ, нервен, ироничен — все тот же. Лицо начинало двигаться, одной рукой подымал другую; шагал, таща ногу, смеясь над своей походкой. Через несколько недель он стал приезжать к нам.

Надя не любила Бориса. Он ей платил тем же. Вежливо ее сторонясь, мне выражал удивление, как я могла такой женщине — «сей молодой лэди с лицом королевы Макбет» — поручать детей. Иногда он стилизовал ее под русскую ведьму, указывая на «феноменальное несоответствие

ее двадцатилетнего возраста с наружностью сорокалетней преступницы». Но привязанность к ней Андриюши, невероятная трудоспособность и совершенная честность перевешивали в те дни дальнорукость Бориса. Да и негде было искать в то время «другую» — все шли работать «на оборону». И, удивляя порой вспышками дурного нрава, внезапным капризом, припадками непонятного смеха (была умна и чутка к юмору) — Надя царствовала в доме со мной наравне.

Борис засиживался с Маврикием глубоко в ночь, беседуя о фронте, о листовках, призывавших солдат бросать оружие, и о братаниях с немцами. Мелькали мне мало знакомые имена выступавших в Думе: Родзянко, Милуков, еще кто? Имя Пуришкевича, бывшее до того синонимом фигляра, начинало звучать по-иному. Слухи о готовящемся дворцовом перевороте в пользу кого-то из молодых великих князей. Мне несли покормить на ночь Алешу, я засыпала под разговор о фронте и революции. Днем о том же говорили навещавшие нас художник Александр Николаевич Малиновский и друг Сережи Эфрон — офицер Саша Говоров.

Были первые весенние облака.

Я ехала по Александрову, помнится, свернув с Миллионной улицы к нашей, Староконюшенной, на извозчике. Извозчик ли, повернувшись на облучке, что-то рассказывая, прохожий ли, проходя, кому-то? — не вспомню, кто из двоих: «До Бога высоко, до царя — далеко...» (половицу). Вдруг молнией осветив тучи дней: кто-то из них — прохожий (?), извозчик(?): «А царя-то и нет...» (вполголоса).

— Нет? (удивленно, я).

Затем события пошли так, что я их уж не воскрешу. (И о них, в точной последовательности, столько книг!). А я подхожу к рубежу моих личных потерь, за которыми все затуманилось, у которых поставлю точку в повествовании.

Весть о недовольстве членов Государственной думы, слившаяся со все растущим ропотом народа, проигрываемая война, неспособность правителей, «чехарда» снимаемых и назначаемых министров. Впрочем, все это предшествовало тому дню с извозчиком и прохожим. И весть об отречении царя от престола за себя и за сына в пользу брата, великого князя Михаила. Весть: отречение того. (Того, что был

в негласной ссылке за морганатический брак.) На заборе — газетный листок: «Царь не в ставке уже». «Бывший царь находитя в городе Пскове. На свободе, но всеми покинутый». И вот тогда стихи Марины — царю:

Помянет потомство еще не раз
Византийское вероломство Ваших ясных глаз,

Ваши судьи — гроза и вал!
Царь, не люди — вас Бог взыскал!
Но нынче Пасха по всей стране,
Не видьте красных знамен и во сне.

Царь! Потомки и предки — сон.
Есть — котомка, коль отнят — трон.

(Легенда об Александре I, Федоре Кузьмиче?)

День. Москва. Марина, Аля и я пробираемся пешком с Ярославского вокзала (от меня, из Александрова) в Борисоглебский, к Марине. Устали. Трамваи не ходят. Улицы запружены толпами. Красные флаги и красные полотнища с лозунгами над толпами, как хоругви над крестным ходом. Песни, крики. Ничего не слышно. Грузовые автомобили, переполненные людьми — женщины в платках, мужчины в фуражках, кепках и без — то несутся, то, остановленные скоплением народа, медленно пробираются вперед.

Местами еще стоят городовые, их разоружают, бьют, хватают, тащат, увозят. Оглушенные криком, давно не ев, мы присаживаемся отдохнуть перед Большим театром на скамейке в сквере. На бледном личике Али ее огромные голубые глаза смотрят, не понимая, в толпу. «Алечка, отдохнем», — говорит Марина. Четверка коней над театром взвилась высоко в небе. Марина в темно-малиновой шубке.

Должно быть, в марте, переведа, по совету докторов, Алешу на молоко (кормление очень изнурило меня, я была нервна и худела, и Алеше шел девятый месяц, он был здоровый ребенок — как и отец, никогда ничем не болел) — я ехала отдохнуть в Петроград. Свидеться с крестным отцом

Алеши — Розановым и с Дорианом. Остановилась я у старшей сестры Сережи — Нюты, Анны Яковлевны Эфрон, по мужу Трупчинской, в большой квартире в Саперном переулке. Ее муж, революционер, Трупчинский, высокий бородастый человек, пустил меня ночевать в свой кабинет, и ночью я слышала сквозь сон телефонные разговоры, его распоряжения — куда и сколько лошадей... Утомленная, я спала. В начале апреля Марина ждала роды, я тревожилась. Вспоминала ее лицо, усталое, в сквере на Театральной площади, после нескольких верст — во многих местах не пропускали, мы шли назад, ища путь через толпы, и так оглушал крик! Беременность ее была уже около восьми месяцев. Хоть бы вторые роды были, как у меня, короче первых! (Первые ее длились трое суток!...) Нюта, высокая, темноволосая, синеглазая, похожая на Лилию, тепло расспрашивала о Марине. Ее прелестные дочки Нюра и Лизок — кареглазая и синеглазая — оживляли дом детским счастьем. Нюта заботливо кормила меня, отпуская на день странствий.

Свидание с Розановым! Мы не виделись два с половиной года. Встречаемся как родные. В его кабинете беседа нескончаема. Его умиленное лицо, любованье мной, старческая гордость быть моим другом — к нему ведь, шестидесятидвухлетнему, приехала я, двадцати двух лет!

— Ты — моя весна! — говорит он и хочет непременно со мной сняться на память, и мы идем, смеясь, к фотографу, но когда карточки готовы — я ему на них кажусь непохожей.

— Разве ты такая?! (и он говорит мне о моей женственности, а я слушаю и не соглашаюсь). — Я мужественная! — убеждаю я его, во мне столько мужских черт, женственность — только оболочка моя, мне настолько лучше за дневником — собеседником, чем в женских чувствах, о которых я пишу в моем «Дыме», что они — «дым, дым, дым...».

— Вам потому так и хорошо со мной, что я вам — товарищ и спутник, и когда мы бродим по улицам — разве вы не чувствуете, что мы как два бурша — старый и молодой, из гофманских сказок? А мужские и женские чувства — это же куда мельче, и длятся они так мало!.. У Лермонтова это стихом лучше сказано!

Он уверяет меня, что я сделала его молодым и что, будь он и внешне молод...

— Думаете, польщена? Не в коня корм! Бог с ней, с такой молодостью! Вы бы так быстро меня потеряли! Мне с вами именно хорошо, что вы не молодой, умней молодых и все знаете, что вам ничего не надо объяснять.

И я говорю ему об Эллисе, сказавшем, что мой ум — горе всей моей будущей жизни. Тогда он рассказывает мне, как для моего ума он исходил вчера пол-Петербурга, ища — у букинистов и у друзей — первую свою философскую книгу «О понимании» — так он хотел мне ее подарить, но ее не нашлось нигде.

А весеннее небо города разорвано синевой тучи, и облака пронизаны снопом света. И уже надо проститься, мне через два дня возвращаться, Маврикий требует, чтобы я собиралась с детьми в Крым, к Максиму — поправиться после кормления. Он мечтает взять отпуск и хоть на две недели приехать и сам туда. Макс вернулся из-за границы, в Коктебель скоро начнут съезжаться на лето. А сегодня мне надо в Лугу, там живет Дориан, я ему обещала увидеться, не видалась два года.

Розанов едет проводить меня на вокзал, мы берем билет, я обещаю к ночи вернуться:

— Дориан проводит. Незнакомое место? Ну и что ж, я езжу одна с шестнадцати, ничего не боюсь.

Но Розанов трогательно, как отец, поручает меня кондукторше, поясняя, что я не от мира сего, чтобы меня никто не обидел.

— Это он — не от мира сего, а не я... — спорю я, а кондукторша матерински улыбается, уверяя, что путь до Луги короткий и что все хорошо, солдаты в окна не лезут, как по другим дорогам.

Дориан! Короткая весна моей жизни, каким-то я вас увижу?

За Лугой путь к нему долог, путан и, когда я уж на месте, я долго ищу его по офицерским баракам и когда наконец нахожу — его нет, он в отсутствии, где-то, за ним идут, разыщут, найдут, приведут.

Я окружена группой молодых офицеров, они заинтересованы столь нежданной гостьей, что-то во мне говорит за то, что тут нет тривиально-любовных мотивов, но они, должно быть, обо мне от него не слыхали, потому что моим

приездом — удивлены. Я это чую и несколько озадачена — почему он не предупредил, что я собираюсь приехать, как было условлено в письмах? Но события в стране, которыми дышат все, разговор о них захватывает нас с такой силой, что вскоре тема моего приезда — Дориан — отодвинута в сторону, я читаю стихи Марины царю, слушаю их рассказы о том, что их скоро перебросят во Францию, жизнь сейчас полна неизвестностей и опасности больше, чем в регулярных боях. И когда входит Дориан — я его помню в больничном халате и не сразу его узнаю — первое, что он видит — мою окруженность его сверстниками, их пылкую заинтересованность мной. Что-то в нем мне не по душе. Он стесняется, но прежде — наедине — это так нежно нравилось, а его стесненность при людях — чем-то меня оскорбляет, я беру насмешливый тон. В нем — он как бы извиняется перед ними за мое тут присутствие? Опоздал почтой! Часа два назад и они стеснялись, но час беседы о судьбах России сблизил нас, они забыли, что я — женщина, и не ему стесняться меня. Его неуменье держать себя кажется мне унижительным (ему и мне), неуместным. Почему они через час стали со мной как друзья, приняли наравне в мужской круг, поняли мой интеллект? Почему им стало со мной легко и свободно? В это время кто-то (начала фразы я не расслышала) в ответ о каком-то мальчике:

— Ну, уж если Николай Павлович начнет о хорошеньких мальчиках...

— Что? — говорю я, подымая прямой и немилый взгляд — и чувствую, что мне пора — пора — пора отсюда! (Так с тех строк дневника о том часе запомнила свою запись, хоть дневники погибли, и с того прошло почти пятьдесят лет...).

Для приличия посидев, я встаю ехать — поздно, в Петербурге меня ждут, путь далекий. И тогда очень просят остаться — Дориан и все, и я еще остаюсь — немного. Беседа идет не смолкая, в тот день я приобретаю двух новых друзей, особенно неотступно слушающих. И я еще читаю стихи.

А на улице — дождь (?) или просто весенняя свежая мгла (?), и, простясь, выйдя вдвоем из тепла и света, мы вдруг оказываемся в плену у вновь возродившейся дружбы — а когда достигаем вокзала, узнаем, что поезд идет еще через два-три часа. Холодно, неприятно. Дориан и я входим в гостиницу

и там, не зажигая света, сидим на диване в луче фонаря с улицы и говорим, говорим... нам жаль, что мы, возможно, больше никогда не увидимся? Что «век юный – прелестный» летит стрелой? Что мы мимо в чем-то чопорной встречи в один миг сказали друг другу: «Вы постарели». – «И вы тоже.» Может быть, мне жаль, что волшебная нежность Дориана, его драгоценная сдержанность – ларчик, открывавшийся просто – его гомосексуализм? И, может быть, не смотря на широту моих взглядов и на ощущение своей, еще более крупной победы над ним – мне его все-таки за что-то тут – немножечко жаль?

Мы сидим, два птенца, прижавшись друг к другу на ветке – диване, голова Дориана у моего плеча, я его чуть баюкаю, не называя именем ничего, его усталое личико мило мне, как тогда в Варшаве, в покоике, а ночь черна, страна на краю событий, скоро Дориан будет во Франции, где я с Мариной была... И гудки паровозов рвут душу на части, скоро меня увезет поезд –

Чем прогневили Тебя эти старые хаты,
Господи! И для чего стольким простреливать грудь?
Поезд прошел и завыл, и завыли солдаты,
И запыллил – запыллил отступающий путь...

В начале весны, в апреле, должно быть, в Москву приехал с фронта Миронов. Мы увиделись у Марины. Я держала себя для нее неожиданно спокойно.

– Ася, ты с ума сошла? Коля вошел – а ты – неужели не притворяешься? – сказала она мне. – Нет. Мне самой интересно. Земля из-под ног не уходит... – с немного наигранным холодком отвечала я. Свиделись, но чего-то в нас не хватало... Помню, как мы сидим на каком-то вокзале, пьем кофе, и я говорю ему:

– Знаешь, Коля, тебе надо жениться... – Мой голос чуть ироничен и холоден, мне кажется – мне сто лет, – я буду крестной матерью...

Что он мне ответил? Не помню...

В мае Маврикию с трудом, по знакомству, удалось достать мне с детьми и Надей купе I класса – в Феодосию. Было

время возвращения солдат с фронта, полные вагоны брались с бою, лезли в окна. Я никогда еще не ездила в I классе — только в ту ночь, хоронить Льва Толстого. С Максом и Пра списались. Мор очень радовался, что я еду с детьми отдыхать: от кормления я похудела, устала. Он мечтал и сам приехать туда, взяв полагавшиеся ему дни отпуска.

Мор помогал мне укладывать вещи, перемогаясь какой-то странной болью в боку. Но храбрился и доделал нужное до конца. Правый бок! Я настояла и поехала с ним в Москву к докторам. Было ли это, когда уже вещи были готовы, корзинки с (по фунтам, в очередях накопленными) крупами и мукой увязаны, и мы вместе выехали, уже с детьми, в Москву? Два — одни из лучших хирургов в Москве — Руднев (оперировавший Бориса) и Спизарный — сказали одно и то же? Маленькое раздражение аппендикса, в операции нет необходимости, клизма из ромашки и полежать. А Маврикий мучился, еле шел. Был серый. Узнав, что он никогда не болел, ничем, — доктора поясняли, что вот потому так и воспринимает организм — боль... Третий врач, двоюродный брат Мора, подтверждал то же самое. Мы остановились у Марины. Вещи были уже на вокзале — вечером отходил поезд.

— Асенька, — сказал мне Маврикий, — мне надо лечь, а тут, в проходной комнате, неудобно. Мне надо лечь — у матери. Там будет уход, и мать мне нельзя обидеть. Это совсем близко, проводите меня на извозчике. И ни о чем не беспокойтесь, мать сделает все, что надо, и все пройдет...

Я сказала, что не могу уезжать, когда ему плохо! Он взволновался:

— Так пропадут билеты, вторично мне их не достать, надо о детях подумать, и я буду о вас мучиться, это же хуже, — ну, будьте разумной, не разрушайте из-за пустяшной болезни благополучие целой семьи! И через две недели я к вам приеду...

Я плакала. Он не сдавался. Он обещал, что его кузен даст мне телеграмму в Харьков — опытный полковой врач. На станцию, до востребования.

— Если будет хуже, вы вернетесь. — И на мое «не могу»: — А какой вам толк оставаться? Ведь мать вас не знает, ей семь-

десять лет, она — против брака с русской, вы же все знаете... Я не могу вас туда привести — подвергнуть недолжному, поймите!..

В слезах я везла его на извозчике. Не сдавалась:

— На вас лица нет, вам больно, как я поеду?..

Тогда Мор, в отчаянии, вдруг привстал на сиденье, лицо его изменилось от муки движенья:

— Асенька, если вы мне не обещаете, что уедете, я сейчас же выпрыгну из пролетки! — в ужасе, я схватила его за руку, обещая и плача. И еще пять минут я была с ним. Ввела его во второй (?) этаж большого дома в Большом Николопесковском. Он позвонил. «Простите меня!» — сказал он (а может быть, «Не сердитесь!»).

Глаза его смотрели в мои. За дверями уже близился шаг. Мы поцеловались, я опустила вуаль на лицо, чтобы меня не увидели, и, плача, бросилась вниз...

Никодим обещал мне устроить дело с харьковской телеграммой.

Я выехала с Надей и детьми в тот же вечер, 15 мая. Марина провожала меня. Перед отъездом в те дни свиделись мой второй сын и вторая дочка Марины, Алеша с Ириной — одиннадцати месяцев и шести недель. Алеша ласкал ее ручками в Алиной детской.

В Харькове телеграммы не было. Я начала успокаиваться. В Феодосии я остановилась в гостинице, ожидая вестей, в Коктебель не выезжая. Пришла телеграмма: «Самочувствие хорошее. Болезнь протекает нормально». Как отлегло от души!

Была весна, кажется, цвели акации. Море шумело. Посадив сыновей на извозчика (парного, как всегда в Феодосии), вспоминая 1911 год тут, и 1913-й и 1914-й, я поехала в Учительский институт узнать адрес, где живут Хрустачевы. Ко мне вышел Николай Иванович, взволновался, обрадовался. Любуясь, смотрел на детей моих — красавца Андрюшу и хорошенького Алешу. Оба были в красном, в соломенных шляпах. Андрюше было четыре с половиной, Алеше — без малого год.

День прошел вместе, он, Хрустачев, пришел к нам в гостиницу, я читала ему дневник, пошли к морю. Рассказала ему

все о Маврикии и Миронове. Он слушал потрясенно: «Ася! Если б я был на месте Маврикия Александровича, я бы... убил вас!» Худенькое постаревшее лицо его, когда-то любимое, милое и ныне, было обращено ко мне с горячим упреком и все же — с каким-то тайным сочувствием (?).

Море шумело, как три года назад. Так мы у него стояли в те вечера... Голова моя немного кружилась.

24-го мая 1917 года от Марины пришла телеграмма: «Гнойный аппендицит. Положение серьезное, немедленно выезжай». Я бросилась к Хрустачевым, перевезла к ним детей и Надю и кинулась на вокзал. Меня посадили через окно. Как я ехала? Не помню.

В Москве меня встретила на вокзале Марина с вестью, что Мор умер, вчера были похороны.

— Торопились, чтобы ты не успела!

Пробыла в Москве, как в бреду, пять дней, еле все понимая. Марина и Драконна не оставляли меня. Затем могила М.А. — и поезд — я выехала назад в Крым к брошенным там детям.

Ехала и вспоминала Маринин рассказ:

— Я видела его, Ася, за тебя пошла. Не пустить меня — не посмели! Знали, что ты едешь и что я — твоя сестра. Очень худ. Лицо, измученное болью, но выражение — покоя. Изменился. Обозначился профиль, горбинка... Стояла и плакала. Как идиотка. Знала, что ты не увидишь его... И он помнил тебя, Ася! Помнил тебя и Алешу. Он первыми имена ваши поставил в списке людей, которым пойдут его деньги. Ты, Алеша, затем Лев Матвеевич (сколько-то ему был должен... И мелкие долги). Таня сказала мне, жена Никодима.

У него тысяч десять—двенадцать золотом в делах старшего брата, Якова... Написать тебе? Нет, не мог... Пропустили время операции, все ошиблись! Даже прокол в прямую кишку не сделали, чтобы гной мог выйти... Умер от перитонита, воспаление брюшины, гной прорвался туда. Ты не плачь... Ася! — говорила Марина, — мы все умрем! Береги детей, его Алешу... Значит, такая судьба!..

Вспоминала, как ездила в Александров с мужем сестры Морека, Лихтенштулем. Он ехал взять вещи Морека! Я все

отдала*. Каким чудом попало ему письмо Мора — Борису о рождении Алеши, как он, Лихтенштуль, изменился в лице... Как грубо себя вел, забирая вещи, мне намекал, что я ведь дружила с первым моим мужем, что, может быть, Алеша — bastard**, но Марина и Малиновский, и друг Сережи Эфрон — Саша Говоров стояли на страже и не допустили, чтобы я ему отдала найденное письмо, — это ж тебе для Алеши нужно, пойми! — повторяла мне тихо, упорно Марина.

Но для Алеши жизнь не оказалась нужной — он умер через семь недель после отца: Мор 24 мая старого стиля, Алеша — 18 июля 1917 года, от дизентерии. В Коктебеле, у Пра и Макса... Хворал пять дней (тоже не хворав никогда!). Еще накануне — улыбался... Тихо болел!

Хотели сделать солевое вливание, я звонила в Феодосию. Ответ был: нет раствора. Московский врач за два часа говорил: кормите его тапиокой! А Алеша не открывал рта...

Макс был со мной неотступно. Утешал, читал мне Евангелие. Я не хотела слушать. Не верила. Вера пришла позднее.

Шли и тянулись дни, когда умереть, без них двух, сразу ушедших, было, казалось, легче, чем жить. Но мне было двадцать два года, и на другой день после смерти Алеши заболел Андрюша. Я выехала с ним в Феодосию, вызвала телеграммой Бориса. Он привез последнюю тысячу, оставшуюся от матери. Я ее, разумеется, не взяла, провожая его к Марии Ивановне.

Болезнь длилась четыре месяца. «Ася, — писала Марина, — ты идешь сейчас по пустыне. Ее надо пройти, ты пройдешь. Сделаю все, чтобы приехать к тебе, может быть, поселимся на зиму в Феодосии. Жди меня. Ты *должна* жить».

Она приехала, побывала со мной. Уехала навстречу Сереже, к детям в Москву.

Борис умер от сыпного тифа без малого в 26 лет. Похоронен в Старом Крыму. У Марии Ивановны осталась дочка Ирина... В том же году умерли Маруся Трухачева и, по слухам, Сергей Сергеевич. Тоже от сыпного тифа.

*Кроме пиджака, который Мор мне накидывал на плечи в холодные ночи, когда я кормила Алешу. И часы — сыну.

** Незаконнорожденный (нем.).

Чувствуя близость смерти (кто из них — брат или сестра — умер раньше? В том же 1919 году — Борис и Маруся), она позвала жену своего любовника, которой разбила жизнь. Когда та вошла, у Маруси от волнения как-то стали глаза выходить из орбит. Она поручила ей свою дочь (отец которой был муж последней). Вскоре Маруся умерла. Ниночка воспитывалась у своего отца и Анны Ивановны Великопольской.

О Сергее Сергеевиче в том же 1919 году дошла весть: его видели слабого на ногах, в тифу, переходящим из лазарета (в другой?) в шинели, накинутой на плечи...

И умер в нищете Розанов.

Моя разлука с Мариной длилась до мая 1921 года, Троице-Сергия.

Похоронен Алеша в Коктебеле, рядом с матерью Макса, Пра...

На этом я кончаю рассказ.

Часть двадцать пятая

МОСКВА

Глава 1

СНОВА С МАРИНОЙ

После моего расставания с Мариной прошло три с половиной года. Когда наша письменная связь упрочилась, она прислала мне через ехавшего в мои края (друга и поклонника ее стихов, служившего в Красной армии) В.А.Бессарабова письмо с вызовом меня в Москву на работу, машинописный сборник стихов 1917–21 годов «Юношеские стихи», мне посвященный, переправленный на старую орфографию (красными чернилами ее рукой) – и пуд белой муки – продать на дорогу.

Я эту книгу поручаю ветру
И встречным журавлям.
Давным-давно – перекричать разлуку –
Я голос сорвала.

Я эту книгу, как бутылку в волны,
Кидаю в вихрь войн,
Пусть – странствует она – свечой под праздник –
Вот так: из длани в длань.

О ветер, ветер, верный мой свидетель,
До милых донеси,
Что еженощно я во сне свершаю
Путь с Севера на Юг.

Май 1921 года. Путь, загражденный Гражданской войной, был свободен, но ехать мне с восьмилетним сыном пришлось девять суток. Ехали в теплушке вместе с другими, кому посчастливилось достать пропуска. Мой пропуск был дан прямо до Москвы, а по пути, в Мелитополе, как сообщили слухи, требовали добавочного на Мелитополь. Нас могли высадить, — и куда бы мы делись, сорвавшись с места и не доехав до своего? Миг был страшен. Зажав в руке бумагу с магическим словом «Москва», я пригнулась за ворохом багажа, прижав к себе сына; фонарный луч, шаривший по головам, скользнул мимо нас — мы облегченно вздохнули: беда миновала. Москва — наша. В радости мы, успевшие купить, как и спутники, за гроши, мешочки соли у соляных берегов, уступили один старику, которому не досталось, горько плакавшему. Увы, наши пищевые ресурсы кончились к Харькову, и без малого треть пути мы ехали сын — впроголодь, я — голодная. За двое суток без хлеба, с одной водой. Андрюша съел кем-то подаренное крутое яйцо. Мы старались не глядеть в сторону нашего старика, роскошествовавшего. На соль, умело и жадно вымениваемую — хлебом, салом, ветчиной и чем-то еще... (яйца, огурцы, колбасу — все давали на остановках за соль, нами ему в его плач уступленную) — и ни единой крошки он не дал Андрюше в его голод, хоть знал, как давно и дешево отдали мы свою соль и что едем без пищи.

Но не новость было и это за годы скитаний без работы или с работой, еле оплачиваемой в послевоенной разрухе, после выжженных войною и солнцем дорог, с которых мальчик заносил в дом белый порошок для игры (оказавшийся динамитом), после охоты за пресной водой для питья, фурункулезов и лежанья в госпитале — все теперь казалось легко, когда Москва близилась, Москва и Марина! Со смерти Маврикия Александровича и Алеши кончалось четыре года.

21—22 мая (в Николин день?) мы подъехали к Москве.

Поезд остановился за Рогожской заставой. Как помню я этот час! Ливень и то, как в просвете меж его струй блеснула искра купола Храма Спасителя, и снова его заволочло, и как мы чудом, на отложенные для этого гроши, наняли ложевные, в Москву ехавшего, и, взгрузив на него наш жидкий

багаж (все, что могли поднять наши четыре руки, — остальное из уцелевшего скарба было брошено у друзей), — мокрые до нитки, мы въехали в еле видимую за струями ливня Москву.

Может быть, вспомнилось бы детство и отрочество, въезды осенью из Тарусы на знакомые улицы с золочеными вывесками кренделей у булочных и трактиров Садовой, но ливень, обращавший улицы в реки, отбивал память.

Вперед, вперед! К Марине! — было единственное, что горело во мне. Андрюша, как всегда в беде, мужественный и легкий, был хороший спутник и друг. И когда мы у подъезда Борисоглебского, втащив свои узлы и подобие чемоданов во второй этаж, увидели запертую на висячий замок, но видную сквозь дверную щель и цепочку — Алю — больше брата ростом и ее дивные* глаза, услышали ее гортанный голосок: «Марина скоро приедет» — был миг почти полного счастья, не испытанного так давно!..

Вот шаги по лестнице — и входит Марина.

— Ася, ты? Андрюша! — падает на цепочке замок.

Марина! Она стоит под тусклым потолочным окном, я стою перед ней и смотрю — сквозь невольное смущение встречи, сумятицу чувств и привычку их не показывать (создающую добавочную, может быть, трудность — сущей в самом существе встречи) — жадно узнаю ее, прежнюю, и ее — новую, неизбежно незнакомую за незнамо протекшие годы. Щеки мне видятся желтые — и опухшие, что ли? Постаревшее лицо, стесняющееся своего постарения? знакомой манерой взгляда светлых, чуть сейчас сощуренных глаз вглядывается в меня. Миг молчания? Но слова уже идут — и ее, и мои, потому что труднее чем говорить — молчать, и никто из нас не хочет обидеть другую и, может быть, оттого, что дети там, за спиной, встретились проще, высокий голосок Андрюши звенит в рассказе о чем-то — нам легче еще один миг — осваиваться. Но вот уже какая-то интонация прорвала муть стеснения, что-то сказалось первое из настоящих глубин, и знакомая легкость уже на-

* Не терплю это слово. Но оно мне звучит 1) в песне моей юности «Дивный терем стоит» и 2) здесь, о глазах Али, равных диву, а еще потому, что слово «дивное» мне видится голубым и «чудным» (от «чудо») заменимо не может быть.

чавшегося общения стелет под ноги — трап. О да, трап, конечно, над той глубиной лет, врозь прожитых с людьми, о которых будет только рассказ, когда они — плоть и кровь дней, в нас — наше рукопожатие только проба пера. Оно пойдет, перо, писать по бумаге, наша новая жизнь начинается, уже началась, дети хохочут о чем-то, и мы уже тащим вещи через открытую в эту новую жизнь дверь — но уж скользнули легкие различия в наших голосах и движениях, в письмах рвавшихся только к сходству, настаивавших на нем. Но уже полный ход вопросов и утверждений, уж я знаю, что меня давно ждут Ланн с женой, друзья моего 1919 года, мы сегодня пойдем к ним, на моей новой работе мне будет хорошо — хороший паек, завтра я увижу нового друга Марины — старого князя Волконского.

Я не сразу, конечно, увидела трущобу, в какую обратилась за годы голода и разрухи квартира Марины, за семь лет до того любовно устраиваемая ею и Сережей, снятая за странное расположение комнат в разных этажах, показавшаяся им колодцем уюта и волшебства старины. Но уже грянуло в устах Марины слово «самогонщики» о жильцах, занявших верхние комнаты, уже — в падавшем свете дня я различила темные вороха сдвинутых к стенам — вещей? теней? обломков, и уж привыкал шаг к чему-то хрустевшему под ступней под великолепно-равнодушный, полный юмора голос Марины: «Не обращай внимания. Давно не мету...» — «А разбитый фонарь потолка?» — «Давно тоже. Не помню уже, что и когда. Но один раз туда провалился пудель. Как залез — неизвестно. Еле вытащили». (И смех резче прежнего, вольней и отрывистой, и в его глубине — тоска.) Соседняя — без окон, проходная комната была пустей прежнего: «Да, гарусский рояль продан. За пуд черной муки. Пришлось. Тут хаос — не наткнись. Красное дерево все порублено, только Сережин диван сохранила. После Ирины я с Алей у Лили жила, в ее крохотной комнатке, печурку топила железную, сюда ходила рубить на дрова диваны и кресла. Нет, впрочем, дедушкин диван тоже еще цел — у Али».

И мы входим в бывшую залу. Алину детскую, где когда-то горела елка, и на ней встретились шесть с половиной лет назад Борис и Маврикий, Мария Ивановна и я.

Тут тоже просторней: исчез с пола огромный ковер Трехпрудного, серый с темно-желтыми листьями. За серой гладью годы тусклых паркетных плит — кровать Али, над ней — картинка. Три высоких окна открыты в еще дующий ливень, в гул летней Москвы. Но вот, повернув назад, мы входим в заветную дверь Мариной комнаты: что изменилось тут? — мало. Нет, что-то ушло — шкаф? Да, мамин книжный шкаф. Но стоял секретер — корабль, и стол все тот же у того же окна, и треснувшая синяя люстра с поредевшими хрусталами. Серезин портрет, в овале личико герцога Рейхштадтского и серая шкурка Кусаки. И пыль — живое царство скалочной, точно столетней пыли. И бюст Амазонки.

— Ася, вы, конечно, голодны. Аля, принеси — там есть хлеб. И поставь на огонь суп с бараньей ногой. И еще есть пшенная каша. Андрюша похож на Бориса! Господи, до сих пор не верю! Не могу свыкнуться. Мария Ивановна еще там? Приедет? Дочка ее какая? На кого похожа? Светлая, как он?

И, ломая и режа большой кусок хлеба, раздавая, подвигая тарелки с супом, она рассказывала вперемежку — как всегда бывает после разлуки — ближнее, давнее, большое, случайное.

— Не помог никто. Когда умирала Ирина, Никодим катался в колясках со своими дельцами. Была одна мороженая капуста. Чтобы детей взяли в красноармейский приют, я должна была подписать бумагу, что это беженские дети, что я их нашла у своей квартиры. Взяли, и там их кормили. Но Ирине уже было поздно... Ешь, Андрюша, еще ешь. И ты, Ася. Академический паек! Мне дали его после смерти Ирины — насмешка... Пять раз в день я напихивала Алю пшенной кашей — больше ничего не было. Спасла Алю за счет Ирины. Двоих — не могла. Аля, как более крепкая, выжила. Три болезни сразу: чесотка, малярия, воспаление легких. Аля, не смей оставлять в тарелке. Ешь все! Кажется, уже солнце?

На Марине был коричневый с татарским узором шунун, такие делала Пра; в талии стянутый ремнем, длинная темная юбка, на ногах — проношенные линялые туфли.

— Мариночка, я умею делать туфли из материи, с подошвой из бечевки — очень крепкие; сделаю тебе непременно! (с восторгом, я).

— Правда? Спасибо. Не стоит трудиться, старье — есть... (равнодушно, Марина).

Я слушала. Голова чуть покрывалась от давно не испытанной сытости. На Андриюшиных щеках проглянул румянец.

— У него сонные глаза, — весело сказала Марина, — рано уложим их, запрем дом и пойдем к Ланну. Дождь? Чепуха. Я шла по воде — босиком. Легче. Даже приятно. Так глубоко — иначе все равно не пройти...

Странное зрелище являла собой Москва в тот наш первый день в ней после четырех лет отсутствия! Вряд ли я узнавала улицы, ставшие потоками, оглушительно слетавшими в решетки подводных стоков, но их бурно заменяли следующие, и им не было конца. Мы шли босиком, как и многие, кроме нас, и был везде смех и взмахи обувью в воздухе, и не помнилось ничего в этой внезапной метаморфозе города — ни разрухи, ни голода, ни прожитых лет Гражданской войны и военного коммунизма — было вдруг настоящее детство: невиданность и веселье.

Мы не шли, мы летели. Разорванность туч над нами, мчавшихся, как мы, был провал в беспечность, и, вступая в покатуемую реку Столешникова переулка, поворачивая вслед за Мариной к Ланну, я упрямо помнила: Николин день! (где Миронов?).

И вот уж чинная лестница давно мной не виданных многоэтажных домов. И в ответ на звонок — Господи, существуют звонки! — на пороге тонкий изогнутый силуэт Евгения Ланна, его профиль, безумно в свой час Мариной и мной любимый, извилистость, горбоносость, взлетающая в нежной — над своей радостью иронией. Поцелуй, церемонный, Марининой и моей руки, чернота почти до плечей отросших волос — и за ним облик строгого ангела — улыбка золотых глаз, каштановый строгий пробор: Александра Владимировна Кривцова, его жена.

И вот мы за чистым чайным столом — чашки с блюдцами, тарелочки, хлебница и в молочнике — молоко, — все как встарь. И это, наверное, сон снится — на тарелке горка хлеба, намазанного — маслом? И другая тарелка — с повидлом. И настоящий, как в детстве и юности, чай. В стаканах — золотым столбиком. Как рады нас угостить! Не «угос-

тить» — кормят! Несет нам жена Ланна на тарелках по куску настоящей яичницы, а чай из золота стал светел, как те опалы, что мы собирали на берегу Коктебеля два года назад, они оба и я, когда мы ничего (тоже уже два года) не знали о Марине. Пьем, едим, разогретые — о, не одними едой и питьем — кейфуем «тогдатошной» изысканной речью, полузабытой за годы боев и разрухи. Глаз пирует — видом стройных рядов книг, с полу до потолка закрывающих стены, ухо мое, как в симфонию, погружается в нежное дружество общения после дней и ночей в теплушках, страха быть высаженными и голодного живота, лишенного даже корки. Дружба! Чей-то в хаосе за порядок строго бьющийся дом, это — вместо русского «ладно», и профиль Диккенса со стены — волшебный уют старины... Они оба продолжают учиться английскому, уже хорошо знают его. Будут переводить Диккенса.

И — стихи! Марина читает, и я, занемев, слушаю ею прожитое без меня.

Благословляю ежедневный труд.
Благословляю еженощный сон.
Господню милость и — Господен суд.
Благой закон — и каменный закон.

— Ася, я тебе это не посылала? А это?

Не самозванка — я пришла домой,
И не служанка — мне не надо хлеба.
Я — страсть твоя, воскресный отдых твой.
Твой день седьмой, твое седьмое небо.

Там, на земле, мне подавали грош
И жерновов навешали на шею.
— Возлюбленный! — Ужель не узнаешь?
Я ласточка твоя — Психея!

Марина поднесла ко рту потухшую папиросу, вынула из сумки, висевшей через плечо, зажигалку, долго крутила, рывками, колесико — не загоралась. Ланн подносил ей спичку; но уже засинел, заалел жиденький огонек фитилька, Марина нагнулась с папиросой сразу к двум огонькам. Она дунула на

спичку и закрыла привычно керосиновый фитиль, собиравшийся быть — ночником? — передернула ремень у плеча и, затягиваясь, прошла по комнате.

Она продолжала:

Как правая и левая рука —
Твоя душа моей душе близка.
Мы смежены, блаженно и тепло,
Как правое и левое крыло.
Но вихрь встает — и бездна пролегла
От правого — до левого крыла!

— Стихи восемнадцатого года! — сказала она отсутствующе, с холодком, — «Глаза», — и был неуловимый вызов в ее интонации.

«Все та же застенчивость», — подумала я, пока она начала:

Привычные к степям — глаза,
Привычные к слезам — глаза,
Зеленые — соленые —
Крестьянские глаза!..

Марина замолчала, мы переждали — не скажет ли еще, — заговорили. Хвалили. Просили читать.

— Что-то все давние в голову идут! Тоже восемнадцатого года. (Не затем ли говорит это, подумалось мне, чтобы подчеркнуть: не Ланну — другим...)

Марина уже читала:

Чтобы помнил не часочек, не годок —
Подарю тебе, дружочек, гребешок.
Чтобы помнили подружек мил-дружки —
Есть на свете золотые гребешки.
Чтоб дружочку не пилося без меня —
Гребень, гребень мой, расческа моя!

— Вот еще что могу сказать, — Марина, став в полутени высокой настольной лампы, ее тусклого цветного абажура, — коротенькое... — И, отведя руку с зажженной папиросой, и над ней шел дымок:

...Простите меня, мои горы!
Простите меня, мои реки!..

И сразу, не дав себе передохнуть, совсем другим темпом, другой интонацией, тем же колдовским своим голосом, — медленно, после той струнной спешки:

Восхищенной и восхищённой,
Сны видящей среди бела дня,
Все спящей видели меня,
Никто меня не видел сонной.

И оттого, что целый день
Сны проплывают пред глазами,
Уж ночью мне ложиться — лень,
И вот, тоскующая тень,
Стою над спящими друзьями.

Кто-то из нас — не Ланн ли, сказал, что эти последние — лучшие из сказанного сегодня. И было немножко скрытой иронии в движении головы Марины в сторону говорившего, словно она хотела — могла — оспорить похвалу. Словно, как гильз в сумке, был у нее нескончаем запас — лучшего! — на просьбы «еще», она не сказала ни слова, кроме краткого «хватит!» — и села поближе к лампе, раскрыв на коленях свою «почтальонскую» сумку, и под нашу беседу стала набивать табаком — палочкой вроде тампона — гильзы. Стихов Ланна, трудных, нелирических, неуютных — «филологических», я совершенно не помню. Помню, были о них стихи Майи Кювилье-Кудашевой 1919 года.

Уже ночь. И, прислушиваясь, не шумит ли дождь, вынимаем из теплых туфель, нам в передней подсунутых, согретые в них ноги, обуваясь в принесенную сухой обувь. Встаем идти. И неожиданно в моих руках пакет «для Андрюши». Хмурясь, чтобы не было слез, и смеясь, чтоб не плакать, уклоняю глаза в тень.

— Теперь адрес наш знаете, Ася, будем вас ждать. С Мариной, с Андрюшей, одну — как и когда захотите. И подумаем о переводе с французского и немецкого, надо как-то начинать жить по-иному... Хватит пережитого?

Рукопожатия, улыбки — и в разверстый луч света — градом ступеней наши четыре ноги. Еще что-то крикнули нам, наш ответ — и уже синяя майская ночь над Москвой, точно не было ни ливня, ни поездов и теплушек, ни войн, ни отрезанных боями городов, ни разлук, от которых годы — у стольких! — замершее сердце, казалось, уже разучилось биться.

Дети спали. Мы легли вместе, но до утра не уснули. Говорили о том, что было, ночь напролет. И хоть в нее улеглись годы гибели близких, смерти детей наших, разочарования в друзьях и зачарованность новыми, — как она была коротка!

Дети все спят.

Я не сказала, что, — думаю, в первый же день, — Марина спросила меня о Сереже. Коротко, отведя глаза — слишком страшен был ей ответ — она все-таки вопрос выговорила.

— Сережа в твоих краях был?

— Был.

— Ты его видела?

— Видела. Но — давно.

И тогда то, единственное, что довлекло:

— Что слыхала о нем? Жив? Только правду говори...

— Говорю правду: не знаю. Достоверного — ничего.

Не достоверен был слух, что «какой-то Эфрон расстрелян в Джанкое». Кем? Никто не знал. И не знал никто, который из двух Эфронов, там бывших: оба красавца и оба темноволосы. Не родня. И об этом я, конечно, умолчала. Я боялась, что он. Были же дни, когда город занявший друг Майин — батько Иван — оказался потом — в том самом Джанкое — «предателем» и казнен. Но кого и что он предал — никто не знал. Да и предал ли? Под горячую руку и ему попадавшие гибли. Не у ног ли Майи лежали матери, молившие за своих сыновей? Кто в те дни — тачанок Махно, анархистов, зеленых, в дни, когда «генералы, как писалось, кладут себе в карман, как спичечные коробки, города» в занимаемых и оставляемых землях, среди сумятицы наступлений и отступлений, кто мог понять и знать судьбу человека?

Марина смолкла, замкнулась в настороженном горе — и о Сереже мы замолчали обе. Помня стихи Марины «Плач Ярославны», дошедшие до нас чудом через войну, ко мне

и моим друзьям — Леониду Ландсбергу, Ване Морозову, Сереже Соколову*, — я страшилась их истинности и тем менее могла о них говорить.

Из Марининых ран — всей череды ее юности — судеб книжных героев, кумиров ее или встречных — это была самая тайная рана, кровоточащая в каждом часе. Догадывалась ли она — по моей сдержанности, что я что-то слыхала, чего не говорю ей? Так легла между нас молчаливость, имя которой не зналось.

И, в стороне от этого — прямо из котла нужды и заброшенности прожитых без Сережи и меня лет, падали искрой в пепел дома слова о друзьях:

— Понимаешь, жалели за то, что я, пиля дрова, себе прорвала... платья. За платья жалели! Не за время, которое я тратила на дрова, у стихов отнятое! И как многие — стоя, жалели и сокрушались, глядя на мой хаос, на голод, на всю мою жизнь — вместо того чтобы взять из рук пилу — попилить, пока я допишу акт — одной из моих пьес о Казанове, Лозэне... В общем все, почти все отзывались — «петухивами». О «Петухиве» я тебе расскажу. — И спешно, то есть так: — Был маленький мальчик. Отца и мать убили, он стоял один в кровати (на Украине) и молился за папу и маму — и за «моих петухив» («петухов» — по-малороссийски). Это — первоначально. Потом это слово стало уже нарицательным, воплощая все искаженное, ненастоящее: петухивное. Можешь нечто подобное увидеть и у меня в бывшей столовой — висит на стене, — пойдем!

Мы встали. Марина зажгла коптилку. На стене в состоянии затемненности торчал невообразимый остаток чего-то: мебели? полки? крючка? держалки для полотенца? покрытый матерчатым клоком когда-то темно-серого цвета, цвета диккенсовского тумана. Явление сие казалось люто воплощенной фантастикой. Трагическая огромная уродливая тень.

— Не узнаешь? Лиса — когда-то. Чучело. Остов. Шкуру я продала. Нашлись покупатели! (Интонацией надменной иронии.) Все продала, что брали. Мамин портрет, помнишь? В гробу! Страшный. Я хотела — раму, пыталась вы-

* Всех их теперь давно нет в живых — 1965 год.

драть его — но так вделано, точно склепано. Так и отдала, с рамой. Старьевщик брал с сомнением. Все смотрел. «Старик? Нехороший старик!» Не догадался, что лицо мертвое!

Тон Маринин был — как полет с горы. В нем, в смехе, сопровождавшим его, был холодок — к слушателю (в данном случае — ко мне), вызов и — равнодушие.

— Ничего не жаль, не надо! Фотографий наших в рамках — реликвий мне — нет!

Затяжка, другая. Отрицанье суда над собой! Я стояла, пораженная зрелищем — метаморфозы. И не подымался голос к укору. Ясный императив бесплодности сказать: «Как ты могла маму» — держал мой рот крепко. Как понял наблюдающий глаз Марины мое молчанье — не сумею сказать.

И был еще один жест, замеченный днем, — полутотсутствующая ужимка? с которой, почти не участвуя в разговорном, Марина, вдруг уставя куда-то глаза, потирая руку о руку, как некое невнятное резюме, звучавшее похоронным маршем, произносила слова, совсем дико в ее рту звучавшие: «...Такие делишки...»

В какой дали она должна была быть от тех, при ком их впервые сказала, и от тех, при которых шло повторение столь чужеродных «слов» — чтобы она могла их при ком-то сказать? (Ужели могла бы и наедине!?)

Мне виделся почти жаркий день осени, когда почти четыре года назад, в свой приезд ко мне в город далекий, где и она хотела со мной остаться (в Максовом городе), там мы жили с ней за несколько лет до того... Она с нами, семьей Хрустачевых и мной, сидела у маленького пруда в тени дерева, и в луче заходившего солнца был на эмали неба вырисован ее профиль камеи и легкое — как венецианское золото бус — дуновение волос у виска, и легкий румянец у рта, застенчивый... Лепесток розы! и эту девическую (а Але было четыре) радость от восторженных слов о ее красоте — художника и друга моего Н.И.Хрустачева, когда-то меня любившего, мой портрет писавшего. И обод маленькой темно-лиловой бархатной шляпы амазонки с серым легким страусовым пером. Эта розовость! Нежность! Робость! Застенчивость! И ее теперь колдовской зоркий взгляд, отеки щек, желтых, за щекой жуется корка. Да, — печать прожитых лет, — «такие делишки...»

Та же ночь. Дети спят. В темную, проходную к ним, комнату притворена дверь. Лежим рядом на Маринином диване; когда-то он был крыт рыжим полотном; теперь оно слиняло, смеркло, стало цвета старых шкафов и шкатулок. Над нами — Сережин портрет в багетной раме. Он полулежит в шезлонге, в белой рубашке с отложным воротом, смуглый, юный; яркие, огромные глаза глядят в комнату, в которую он столько раз входил. Глядят из того неведомого таинственного далека, которое зовется «разлука», молчание о потерявшейся, затихшей судьбе. Так затихает звук. Так затих наш день.

Спят дети — его дочь и Борисов сын, — и в простлавленной темноте майской ночи, успокоившейся после небывалого ливня, все отступило, стало нереально, и какие-то иные измерения скользнули в окно, распахнутое над летним двором с потухшими окнами. Или это Ланн своим колдовским появлением в нашу жизнь, в «двойную», в разные годы, уже отгоревшую к нему любовь, этим почтительным поцелуем рук наших, этим жестом отбросить темную прядь с бледного извилистого лица Мефистофеля; зеленой курткой, — камзолом со старинной картины, этим тайным огнем в усталом ироническом взгляде, этим нерусским «р» — словно введя на корабль — свел нас с трапа застенчивой неловкости, на котором мы встретились? (И имя его романтическое — «Евгений»...) Нет, не так отводил густую четкую темно-каштановую прядь с ясного лба Сережа, семнадцатилетний, улыбаясь с полотна благостной улыбкой больного. Этому, как и нам, под тридцать, и этот — изведал все... Голос Марины в ночи кажется глуше, что-то в нем от теней затонувшей в сумраке комнаты:

— Понимаешь, Ася, это были два чудных юноши. Два друга. Совсем разные! Павлик Антокольский, чем-то напоминавший Павла Первого, некрасивый (прекрасен!), тонкий, легкий, стремительный (как Коля Миронов). Чудесные стихи у него! А Юрий Завадский, актер, режиссер — красавец. Высокий, светлый. Талантливый в каждом движении — увидишь его в «Принцессе Турандот», достану тебе через Павлика контрамарки, пойдешь с Андрюшей. Наша дружба — та, тех дней! — длилась какие-нибудь недели, но это был совершенный сон! Мы почти не расставались. Просто не выходило

расстаться! Теперь редко видимся, жизнь метет, как метель (размела) — но это друзья настоящие. Слушай стихи! И она прочла «Два ангела, два белых брата...» Потом — «Я помню ночь на склоне ноября...» — Завадскому. На миг смолкла. Прислушалась к чему-то в детской? И тем же тихим потоком усталого голоса: «Сегодня снова Диккенсова ночь...»

Втянула дым папиросы. И, выпуская его на волю:

— Это давно, Ася, было, почти три года назад... А вот это — не так давно... «Проста моя осанка, / Нищ мой домашний кров»... Это я, впрочем, кажется, посылала тебе с Бессарабовым...

Я хотела сказать, как мы все — там — читали эти стихи, как я их им читала, но огонек папиросы жадно загорелся огоньком в темноте, и Марина продолжала:

— А вот это примерно того же времени:

Мой путь не лежит мимо дому — твоего.
Мой путь не лежит мимо дому — ничьего.
А все же с пути сбиваюсь (особо весной!),
А все же по людям маюсь, как пес под луной.

Она сказала стихи до конца. И на одном дыхании, просто, как неизбежное сейчас, здесь: Сереже —

Писала я на аспидной доске,
И на листочках вееров поблеклых,
И на речном, и на морском песке,
Коньками по льду и кольцом на стеклах,

И на стволах, которым сотни зим,
И, наконец, — чтоб было всем известно! —
Что ты любим! любим! любим! — любим! —
Расписывалась — радугой небесной...

— Ну, и, если хочешь, — последнее, недавнее. Из цикла «Ученик». — (Марина не сказала — Волконскому, но я поняла: ему). Поняла еще в первой, нет, перед первой строкой по насторожившейся своей — ежом — шкуре: из того растворенного внимания, в котором молча глотала стихи — движением слуха, трезво приготовившегося к враждебности.

Быть мальчиком твоим светлоголовым,
— О, через все века! —
За пыльным пурпуром твоим брести в суровом
Плаще ученика.

Я дослушала и — через силу:

— Хорошие. Ты — уверена в них?

Ответ? Его не было.

— Не спишь?

— Что ты!

— Тебе удобно лежать?

— Очень.

— Буду тише, а то дети что-то ворочаются...

Голос Маринин тих. Лежим плечо к плечу.

— Марина! Я такого ребенка, как Аля, никогда не видала...

— Да. Все говорят...

— Да, моя «Метель». Так я назвала одну свою пьесу. Я мало пишу стихов, отдельных, тянет к пьесам в стихах, прочту тебе. О Казанове. Там Генриетта в придорожной гостинице пишет кольцом, алмазом, на стекле окна — вензель... Ах, Ася, разве расскажешь все! — Прочтешь мои «Переулочки», искушение — высотой...

...Комната совсем темна (это идут те минуты, которые Пушкиным: «...заря сменить другую спешит, дав ночи — полчаса...»)

Лежим, глаза в ночь. Марина говорит, я слушаю:

— ...Сонечка Голлидэй! Актриса Театра Вахтангова. Разве расскажешь? Это — целая жизнь... Неотразимое обаяние... Благородство! Я тебе покажу, в старый, полупустой альбом вставила фотографию: маленькая, худенькая, огромные глаза, светлые и две длинных великолепных косы. Как талантлива была! Могла бы стать — мировой! Трагическая судьба... — (Спросила ли я — и не помню ответа? Или, поняв без вопроса, что смерть, смолчала?)

...Борис Бессарабов (он не застал тебя, жаль), — ну, ты его тут увидишь — юный, мужественный, а румянец — детский, или, как бывает у девушек, «кровь с молоком». Настоящая русская душа! Так ко мне привязался! Красноармеец. Как понимает стихи! Друг. Все сделает, что, увидит, нужно. Ред-

кий человек. Да. А другие — поживешь, увидишь: я окружена петухивами. Даже не хочется имена называть. Женщины, в большинстве, увидав, что трудна жизнь, — вышли замуж, поклонились добытчику. Другие — сменили мужей на более выгодных... Я в пустыне жила. Изредка — оазис, и все. Я очень очерствела, и не жалею. Многие чувства оказались, при взгляде на них, сентиментальностью? ...Я почти совсем разуверилась в людях! А ты?

И тут я начинаю, кинув голос в ночь, а Марина слушает:

— Петухив. Это я понимаю! Но вот ты назвала уже столько! Бессарабов, те двое — ведь люди? Сонечка... Ну, хорошо! Образ, жертва. Подтверждение правила! Но вот называешь же и друзей в пустыне: ну, пусть Никодим не собой оказался — то есть именно собой, а не тем, кому были стихи... «Казался одним, оказался — другим...» — как эхо, безучастно в воздух, Марина. — Ну, а Коган, Гольдманы? — сама говоришь — настоящие. Разве это не те библейские праведники, ради которых уцелевал город? От огненного дождя... Герцыки — и сколько их там у меня, друзей! Сколько всего было... Сколько Мария Ивановна перенесла — тоже от петухивов! Целые семьи их на себе волокла, но — как Виктория Регия! Таких женщин мало, как и твоих Бессарабовых! Но они и есть! Не поклонились добытчику! О себе говорить странно, — но и у меня был смешной случай с татаринном, мне сказавшим: «Мучаешь себя, под окнами ходишь в немецкой колонии, голодная, кофту, платье последние вымениваешь на молоко — сына прокормить! Зачем? Приходи вечером, все у тебя и у сына будет — и платья, и яйца, и масло и молоко...» Так это даже не петухив, дурак просто — он же не виноват! И даже резко ответить ему не смогла, жалко дурака было... Сережу Соколова увидишь — тоже редкость, как Бессарабов. Ничего не ждал от меня, знал, что люблю — другого (а этот другой — другую). Я лежала одна в доме, в степи, в ящуре — болванская такая болезнь — от чабанской брынзы — жар, голова, как котел, завеса слюней, как у идиота, и весь рот в пузырях — ни еды, ни питья. И всех заразишь, подойти боятся. Дом-то чужой! Валиной матери. Засыпала, теряла сознание — одна. (Валя уехал в Старый Крым за доктором или лекарством, с Ольгой Васильевной.) Марина, какая женщина! Она, конечно,

колдунья! Нечеловеческой силы. И обаяния. Я первая от нее потеряла голову. И ввела в дом и их подружила. Одно время это было – втроем, магический треугольник. Но в любви одна сторона всегда потом выпадает, а те двое – в одну, закон! Разве они виноваты? Я долго возле них жила, чтобы не сразу их бросить, чтобы он понемногу от меня отвыкал. Но потом, вдруг – в день моего двадцатипятилетия – я проснулась в себя – и сказала: я уезжаю! И из этого чудного сада – ты его помнишь – я выехала в ту степь с миражами ислам-терекскими – я попросила у него лошадей – как они оба меня просили остаться! Он мне сказал: «Поймите, это – болезнь. Но она пройдет! И я к вам вернусь!» Я знала, что он не вернется! И ведь я все-таки могла перенести расставание, я же на него не сердилась! А она от одной гордыни не смогла бы перенести... Знаешь, Марина, я ни в одном человеке не встретила столько зла и столько добра, как в ней! Она была ясновидящая. И она помнила свои прошлые существования. (Макс тоже в них верит, Рудольф Штейнер, антропософия, теософия – я не очень верю в их учение, но...) Когда она рассказывала Вале и мне – была лунная ночь под Троицу, стеклянный коридор был устлан сеном, в комнату светила низкая рыжая луна – и она говорила о том, как она жила, все мы жили при Мэровингах, Валя был Хильперик I, она, при дворе, Фредегонда, а я была его жена, Асмаведа, и она разлучила нас – она так говорила – как в трансе. Нельзя было не верить: чувством. Хотя голова говорила, что – вздор... Да, я вот – когда я уже собралась с Андриюшей, и Валя в отчаянии велел мне насыпать мешки муки, белой, картофеля, овощей, она выбежала за мной в аллею, где розы – помнишь, – там, дальше могила семнадцатилетней сестры Вали – Сильвы (обломанная колонна, обвитая гирляндой роз, мраморных...), был ветер, с армана несло половой (см., все ли здесь так), такой жаркий был день... – я смолкла на миг, в него провалясь, и Марина не прерывает, ждет, когда вынырну. – Она протянула мне руки, Ольга Васильевна, и сказала: «Возьмите его – я уеду! Я его вам возвращаю! Я не могу перенести ваш отъезд!» Разве я когда-нибудь забуду ее глаза? Они были совсем безумные, светлые, в них почти были слезы (красный ободок, так у заплаканных глаз), она была

святая в эту минуту... Мы обнялись, я жала ей руки, это помогло мне уехать из дома, где я была счастлива два года, от Вали, который меня спас от тоски по Маврикию Александровичу и Алеше, из той пустыни, о которой ты писала мне, что я через нее пройду. Как бы я прошла без Вали? Я бы, кажется, не прошла.

— Я бы никогда не поверила, что ты от Вали уйдешь, что он отпустит тебя из этого волшебного сада, где мы прожили тогда те несколько осенних дней... — говорит Марина. — Я никогда больше не увижу такого сада... Деревья из золота, золотой дождь, золотой ковер на земле... И огромные груши, розовые, как яблоки в раю... И профиль Вали помню: как с медали, и черного его коня... (Может быть, мне сейчас кажется, что после этих слов был легкий шорох втягиваемого папиросного дыма и затлевший кружком, огненным, пожираемый дыханьем, осыпающийся в этот огонь табак).

Вороной, Рапид. Слушай, если я еще не забыла, — этот отрывок появился в крымской газете, на тонком светло-зеленом листке: В.П.Зелинскому...

Вот он идет через мир,
со своей фантастической лошадю,
они вылиты из одного куска.
О, будь то человек,
уж наверное сумрак не скрыл бы
так совершенно цвета одежды,
— и за меньшим ростом на этой лошади
не скрылась бы черта горизонта,
он ехал бы по земле —
Ах! я не вижу земли под его конем
— мрак, мрак —
я не вижу небес за его плечами — мгла...
А там, где стая птиц пролетела шумящей сетью, —
заря, заря, заря, заря, заря...

И как это уже далеко, Марина! Но разве я позабуду Валю?
— Нет, не забудешь. Валю забыть нельзя...
— У меня живет его — маслом — картина — розоватая от солнца копна, алый луг, а за ними — глыбы темного леса. Он у Машкова учился — смотреть упоительно. И натюрморт:

банки (стекло), сливы, разбросанные по скатерти, яблоки, груши, айва, кувшин (глина) татарский – синева, лиловая, на складках скатерти... И еще – московский хлеб: в голод будто его ешь! Если б не эти холсты – жизнь бы заставила все это стать – сном... – Его чудная золотистая голова... – словно во сне, Марина.

Нет, мы не спим – а утро уже просыпается, за окном засинело, и холодком потянуло по нашим плечам. Еще раз просыпаюсь, возвращаясь в рассказ:

– Я начала про Сережу Соколова... В ящуре, в жару, в мýке этого горящего рта я забылась, одна в большой комнате. В ней жил в детстве Валя... Вдруг просыпаюсь – ночь. Горит затененный ночник. Кто зажег? Прислуги боялись заразиться, не шли. Вижу – в ногах кровати сидит Сережа, сторожит меня. Встает, наклоняется надо мной: «Что Асе дать? Чего хочется? пить?» (как Морек...) И просидел надо мной без сна всю ночь, а ведь устал, издалека приехал на велосипеде... До утра, пока Валя не привез ляпис, и тогда стало делаться легче. От ящура умирают, но вот – не судьба. Сережа будет в Москве, поступит в Университет. Комсомолец. Сын священника. У него чудный отец! Сережа и тебе дров нарубит и паек притащит, Сережа – не петухив...

Марина, если бы те дни записать – все как было – из них, даже из четырех-пяти была бы целая книга, как «Идиот». Мы – Валя, Андрюша и я – ехали по той татарской степи, где когда-то бродили, без сил расстаться (все наше начало), везя мне и сыну пропитание на место, мной избранное, – потому ехали, что расстаемся. Что я восстала – устала – вспомнила себя. Чего больше? Чаша была полна через край. Но я не знала, что встречу Ланна, и что там Майя, которая с первого взгляда потеряет голову от Вали, и... что я буду ей тайком от Ольги Васильевны устраивать свидание с Валею. Потому что Майя по Майиной стремительности сразу захотела – умереть. Вот из тех дней вышла бы книга! Она была, эта книга, только ее никто не записал... Но она во мне!

...А потом, когда все уехали, остались Ланн и я. И его жена. И моя любовь к Вале. И мое внезапное осознание, что он оставил меня. Оставил! Хоть и умолял не уезжать – но ведь пошел на свидание с Майей! Послушал меня! Дал лошадей! И уехал с Ольгой Васильевной... И были море, Пра, Макс.

И я шла на могилу Алеши, и от Сюри-Кайя вдруг пошли — над самым Алешиным крестиком — такие, Марина, лучи алые! алое золото! — веером во все стороны, в полнеба... Это Алеша встречал меня после двух лет отсутствия!

На его холмике эти наши с ним полчаса я была совершенно счастлива — без Вали, без Ланна... Это был — рай!..

Вечером, у Макса, я сказала, что сегодня третий день моего двадцатипятилетия, и мы пили вино, и я видела только Ланна. Он был в темно-зеленом, и я была в темно-зеленом, мне это показалось — как символ. После Валиных «васильки — глаза твой», как пела ему Мария Ивановна, и его (моих!) волос, золотых (и ты их помнишь) — Ланн был — чернотой и лицом — родной брат Мефистофеля. Он ничего не знал: ни меня, ни Вали, и он так был похож на Бориса — он был он, и это была судьба. Он говорил с другими, читал стихи. Я много пила вина. Когда мы прощались, я поцеловала ему руку — он не успел отнять! Потом, как сказал мне Макс, «ты плыла от берега в открытое море и смеялась Ундининым смехом, и я звал тебя, ты не слушала, и я должен был войти в воду, чтобы вернуть тебя...» Я боюсь воды — и не боялась нисколько! Мне было так горько, так весело плыть...

— Подожди! Ты слышала? В детской!

Мы обе прислушались — плач? Я соскочила с дивана. В детской Андрюша во сне метался. Я укрыла его. Кашляет. Может быть, жар? Напрасно я не поставила ему горчичники. Возвращаюсь из ночной синева трех высоких окон в Маринину полумглу. Мы снова легли рядом.

— И что же? — сказала Марина. — Что?

— Несколько вечеров вместе, последняя ночь — до утра. Нет, я писала тебе — на близость мы не пошли. Зачем? У него жена... Они уезжали. Мы не могли расстаться. Прощались. Простились!

Я просидела ночь в его руках. Рядом, как два погибающих перед девятым валом. Слушали, каждый — себя — и друг друга... Так понимали все — что было бы, всю неизбежность разлуки, даже будь он свободен и не любил я — Валю... И, как море шумело, так не было громко страданье его жены всю ночь, что он был со мной, — ее сердце билось с нашими, той же тоской, только еще горше. Такое не могло у нас быть счастье. Как можно было на него пойти? Урвать у судьбы?

Снизойти до этого было бы только низостью. На это мы не могли пойти: стояли каждый перед лицом своей страсти — той, которую необходимо смирить. Смирили! — Я почти засмеялась, горьким оскалом, в темноту комнаты, того моря, во тьму двух прошедших лет... (Взахлеб шли слова о той ночи восторга и горя, сумасшедшего счастья быть вместе, вдвоем, перед лицом — прощанья. Перед Доблестью, в которой сейчас расстанемся — отдаем друг друга...) — Смирили! Простились! Вот и вся наша любовь...

— Колдовской человек он! — сказала Марина. — Мучительный и восхитительный, как Борис. Только ты все же другая, чем я... Но...

«Она хочет сказать, что она вопрос о “другой” — иначе решает...» — гипнотически пронеслось во мне. Но миг пронесся в молчании, и ни одна из нас не сказала другой — ничего. Она погружалась в воспоминание и, из него вынырнув, сказала созерцательно, как старшая (чем он), как уставшая (от него):

— У Ланна одержимость исследовать все в чувстве, все — с открытыми глазами, анализ... Мне это — не нужно, тяготило, как лишнее... Но, конечно, таких людей нет — измельчали. Он — из Средневековья...

И опять без слов ее мне показалось, что она — от Александры Владимировны — далека. То есть — не восхищена ее образом рядом с ним, как я. Передо мной стояло золотоглазое лицо, худое, застенчивое, как виденье девушки из леса и как ангелы Росетти и Боттичелли, глядящие прямо в душу. Она сделала то, чего не смогла бы я, не вынеся душу Бориса. Эта — вынесла! И несет. Она мне немногим менее дорога, чем он... Те вечера, что она его ко мне отпускала! Разве это можно забыть?

...И не спрашивала. Но чуяла: во встречах их с Мариной возобладали другой ряд чувств. И «соперница» — она Марине предстала соперницей — была сметена с пути...

— Я тебе посылала стихи ему? — спросила она, чуть подвигаясь, — ляг глубже, ты на краю... Вместе с тем — «Господь, ко мне! / ...То на одной струне / Этюд Паганини...» — Вот это: «Не называй меня никому, / Я Серафим твой, радость на время. / Ты поцелуй меня нежно в темя / И отпусти во тьму»...

— Чудно, — сказала я, — а ведь у него действительно портретное сходство с Паганини... Писала я тебе, что Ланн говорил: «На юге Цветаева, на севере Цветаева» — что не уйти от нас. Шутливо, конечно. И о наших детях сказал: «После их детей ни на каких детей не взглянешь...»

Я рассказала ему, как Андрюша аттестовал его, очень тонко, после одной беседы моей с Евгением. Сказал мне — так: «Вы — в такую глубину заходили (может быть — «забирались»), что другие никто ничего бы не поняли! Но вы еще глубоче говорили, чем он...» А однажды, семи лет, Андрюша прибежал ко мне, точно за ним гнались, и мне:

— Ася! Бесконечность! Вы — понимаете (в ужасе и в надежде, что я скажу «да, понимаю, и ты, когда будешь большой, поймешь»). Но я сказала, что никто не понимает, что этого понять нельзя... Да, Ланн был к Андрюше очень внимателен. Аля, конечно, более вундеркинд, чем он, но и у него, несмотря на мальчишество, бывает удивительное понимание. Но тут же он может поразить непониманием и быть как все.

— Аля с Бальмонтом разговаривала как взрослая, он просто дружил с ней, ей было шесть с половиной лет, а через минуту она могла скакать с мячиком и кричать бессмыслицы вроде «бабабаба»...

Я тебе потом Алины стихи почитаю — тогда, еще при Бальмонте писала о Марии-Антуанетте и кончала творительным падежом: «Раскатами Марсельезы / Скатилась голова...»

Необычайное чувство слова! О «Медном всаднике»: «Летишь, серебряными подковами расплескивая мостовую...» А о «Евгении Онегине» (я дала ей прочесть в шесть с половиной лет и спросила ее впечатление) вот точные ее слова: «Блистательно, но не пылко. Видно, так писал, себя тешил», — и ускакала на одной ноге...

Ася, и ты больше, с девятнадцатого года, не увидалась с Вале́й? — от этого ее вопроса что-то точно передвинулось в комнате, стало темнее, точно рассвет помедлил и окунулся в ночь.

— Нет, увиделась. Очень скоро. Вскоре я получила письмо от Вали и Ольги Васильевны. Они умоляли меня приехать к ним. Потому что Валя в припадке отчаяния выпил (специально достал) прививку брюшного тифа, испытать свою

судьбу после меня. Не мог жить, метался. И тяжело переболел. И вот, выздоравливая, стал звать меня. Была осень, с Андриюшей я не могла ехать. Я оставила его у Пра и поехала на два дня в тот райский сад, где ты была и где два года жила почти что «хозяйкой», в таком счастье. (Валя, Марина, во многом был почти как Маврикий Александрович — точно его сын или младший брат: такая нечеловеческая внимательность! Все, перед чем я в Борисе стояла, как в тупике, тут нацело отсутствовало: ежеминутное понимание! Но ведь ты и сама его помнишь...)

Была осень. В доме топили соломой, я шла к его (к нашей!) комнате мимо жерла печи, где вспыхивали и угасали огненные вороха. (Мы их так любили, сидеть перед печью и смотреть, как новые охапки загораются — в огненный пепел...) Валя лежал. Как они оба меня встретили! Опасность уже миновала. Это был праздник. Они уговаривали остаться. Я смеялась. Валя встал для меня, мы сели на пол у печи, потом — у другой, долго. Целая маленькая жизнь втроем... От ночи остался один кусочек, хорошо, я так устала, что только немного плакала. Потом я уехала.

Я ехала по той степи, которую он извездил на Рапиде, я всегда выходила его встречать... Писала о ней в моей повести «Чудесное дитя» (там есть про нашу встречу, то волшебство, которым он меня спас из моей пустыни). Я ехала и все повторяла ту строчку, которой кончалось описание миража с татарской деревней Ортай, когда мы еще в 1911 году с тобой ехали, с Максом. «И недвижно висит, как распластанная в воздухе птица, жара...» Этой строчкой я с Валею прощалась.

— Ну, а потом что было? — спросила Марина, шевельнув головой у моей, и ее волосы легли мне на щеку, точно мои, — ты осталась на зиму в Коктебеле?

— Нет, там было трудно с едой Андриюше и с дровами. И не было зимних комнат. Мы зимовали в Судаке, где нападали зеленые. Там они на нас не напали, а позднее на Судак, когда мы лежали, в голод, в Красном Кресте.

Город защищал чехословацкий отряд, им руководил русский. Их было двадцать семь человек, кажется; они отбили нападение трехсот зеленых. Те перерезали провода, овладели банком, почтой. Красный Крест, где мы лежали с Анд-

рюшей, был в самой зоне огня. Пули свистели. Это было так сразу — в палатах захлопнули ставни, но мне надо было идти через двор, и я ощутила страх. Трусость. Я боялась идти мимо пуль.

Было много убитых за больницей. Во дворе был убит молодой отец двух детей, приехавший навестить их и больную жену; только выбежал во двор — наповал. Сколько я видела горя за эти годы! В нем притушилось мое.

— Чем ты жила в Судаке? Вещи уж ничего не стоили.

— Да их уж и не было! — сказали мы, как встарь, в унисон — и тихонечко, в унисон, рассмеялись — унисону ли или концу вещей?

— Продала последние кофты с шитьем и ночные рубашки, нижние юбки, мамины — носила их под окнами в немецкой колонии, выпрашивая Андрюше молоко. Так мало давали!.. А когда кончились вещи и ничего не было, кроме кулька просшей картошки, мы слегли. Соседка носила нам каждый день чайник воды — пресной! на вес золота — колодцы были только в колонии. Двадцать минут по горной тропинке — я уже не могла, фурункулез замучил, вся в нарывах, не могла дотащить ведра. Екатерина Николаевна Калецкая — упоительная женщина, из Петербурга, как я, в Крыму застрявшая, умница и красавица, у самой больные мать, дядя и девочка, а носила нам с питательного пункта суп (лук и мука; остаток жижи мы оставляли в тарелке, чтоб в нее окунать компрессные тряпки — у Андрюши началось желудочное, у меня боли справа — помнишь, тоже были в детстве? Друг другу ставили компрессы, приподымаясь, кровати стояли рядом. Жара... Питье из чайника (кипяченого!) Екатерина Николаевна цедила по крошке, как серебро, — она же свое нам отдавала, тащила воду семье, и не всегда ей давали в колонии...

— Вы ели один этот суп?

— Были еще сухари, кончились. Картошка (мелкая, зеленая, старая, ушла в хвосты, отростки, как змеи, там уж нечего было есть). Лежали двенадцать дней. Были на очереди в Красный Крест. И вот — (о тех праведниках, которыми уцелевал город в Библии!) послушай: лежим, и вдруг, на лиловом фоне совершенно генуэзского неба — рука, коричневая, шорох за окном, и на подоконнике что-то

зеленое. И рука исчезла. Я кое-как слезла, дотащилась до окна: просто ослепнуть — на лопухе (и где она лопух-то русский, тарусский нашла на раскаленном морском берегу?) аккуратный овал, как их продают, фунт сливочного масла, толстый и свежий. Розоватый. Глаза — не поверили: масло! Этим маслом мы и спаслись, с сухарями — дожили до Красного Креста, нас туда потом свели под руки, и мы там пролежали около двух месяцев. Что же оказалось? Старушка, чья-то няня (мальчика, с которым до болезни играл Андрюша) узнала, что мы оба лежим больные и без еды. Она связала носки, понесла их в колонию (наши, русские немцы), продала носки за фунт масла и поставила его нам на окно.

— Какой такт! Не зашла! Не смутила! — сказала Марина.

— И хоть бы знакомая! И в глаза ее не видала!

— Совершенно святой поступок! — упоенно и строго сказала Марина, — ну, а Валя не знал о твоей нужде?

— Когда его мука и овощи кончились — нет, мы их еще ели, почти год, — он написал, предлагая мне денег. Я отказалась. Работы же не было (пока не пришел Наробраз). После Красного Креста есть было совсем нечего. Я продала все, что было — корыто, таз, все остатки «хозяйства», и мы погрузились на пароход в Феодосию, где были Петр Николаевич и Елена Николаевна Потапенко, Хрустачевы и где я надеялась найти хоть урок.

— А Герцыки? — спросила Марина.

— Герцыки нам помогали, сколько могли, без них мы бы умерли. Но у них самих было трое детей, Аделаида, Евгения, их мачеха, старая няня детей и не встающая с постели много лет Люба Жуковская. Мы обедали у них каждый раз, как бывали, они нам давали сухих груш, сухих яблок...

— Волшебный человек Аделаида, — говорит Марина, — и какая душа: кристалл! Помнишь, как она, первый раз войдя к нам в антресоли в Трехпрудном, восхитилась старинностью, увидев какой-то лоскут ситца — голубой, с розанами, — воскликнула: «И как идет сюда, мил-лая, эт-тот старинный ат-гласс».

— Да, Аделаида, Евгения — чудные... И был еще один человек, в Судаке застрявший, — профессор Кудрявцев, геолог. Его статьи — в энциклопедии, петербуржанин, старик. Стал

совсем нищий, спал где-то на стульях. Голодный... Иногда приходил к Герцькам, ко мне, я, пока еда была, его угощала. Большой чудак, атеист. Мне бы встретить его лет за пять до того, восхитилась бы! Теперь я его очень жалела (и за эту атеистическую непримиримость еще больше...) И вот, он пришел проводить меня на пристань, осенью, вечером, в жуткий ветер. И принес мне последнее, что имел: новую, тонкую, прежних своих времен, мужскую рубашку из льно-батиста! Чтобы я ее в Феодосии продала: «Вам с ребенком на первое время!» Я еле его умолила взять рубашку назад и беречь на свой черный день. Обиделся, совал мне ее... Но как я могла взять! Я над этой рубашкой ревела.

— У тебя какие-то другие люди были, — сказала Марина с задумчивой горечью, — а у меня — ублюдки. И петухивы. Я от такого совсем отвыкла. Глотку друг другу рвали!

— Нет, знаешь, это так: два типа людей (я в Судаке шутила): виноторговец, богач, про бутылку (пустую) — «О, бутылка стоит триста рублей!» А обнищавшая старуха с горьким смехом мне: «А что теперь деньги стоят? Что такое триста рублей? Это ж одна пустая бутылка!» Ох, как разны люди живут в нужде и как она показывает человека...

— А как в Феодосии было? При белых? — спрашивает Марина.

— Та волшебная, довоенная Феодосия... восемь лет назад, десять лет — еле нашла комнатуху — бывшая кухня. Кирпичный пол, окно на море, в одну раму. В норд-ост. Жуть... Я на ночь его затыкала матрацем — кто-то дал, пожалел. А дверь так рвало с петель, что я ее, ложась, замазывала по всему очертанию замазкой. Хрустачевы дали много — и я ее мазала густо, шлепками, чтоб стихли дыры, откуда несло и выло. И каждый вечер — блаженная минута, когда, поборовшись, дверь затихала, облепленная, и маленькая железная печь начинала давать жару... Норд-ост с моря свистел в углы, где отваливался сенник в амбразуре окна, но печь побеждала его, раскаляясь железом, и мы засыпали вдвоем на единственной койке, прижавшись друг к другу. Это был маленький рай!

— А что вы ели?

— О, это — поэма! Я повесила объявление, что даю уроки языков — и ко мне поползли родители отстававших учени-

ков. Девочка, дочь важного человека, худенькая, бестолковая, застенчивая, я сама больше, чем она, волновалась, а она меня боялась, такая нелепость... Двое мальчиков в другом конце города — Беппо и Ваня. Армяне, что ли? Круглоглазые, черные, смешные, учение ненавидели, как врага. При виде меня убегали во двор, а их нянька кричала: «Бессовестные! К вам францужанка идет, а вы — стрекача? Вот папаше скажу!» Но я учила ревностно, хоть с тоской — и через две недели ко мне потекли — дрова, мука, масло, сахар, давно забытый. Был еще подросток, веселый и тупоумный, самый богатый из всех. И Андрюша начал толстеть, розоветь, я пекла на печке оладьи. И пришло твое первое письмо. В пору моей дружбы с Леонидом Ландсбергом. Он мне дал последние стихи Мандельштама — знаешь? — «И горят, горят в корзинах свечи...»

— Замечательный поэт Мандельштам... — сказала Марина, — и еще есть один — я его всего раз видела и слышала, как он читает. Пастернак. Ни на кого не похож. Благороден! И очень талантлив... Запомни фамилию — Борис Пастернак.

— Запомню.

— Леонид Ландсберг — как рассказать о нем, Марина? Этот человек заморозил бы тебя с момента, как вошел бы сюда. Он — калека и несет свое калечество с такой грацией, как ни один здоровый человек свое здоровье. В пять лет он упал, и у него стал расти горб. Он пролежал в гипсе девять лет! До четырнадцати. Туберкулезный процесс удалось остановить, но он встал горбачом, на две коротких слабых ноги — костыли, потом палки. Он мне по плечо. Бритая голова, чудесные тонкие черты, потрясающего ума глаза, нежнейшая улыбка, широкие плечи и длинные руки — верх высокого человека и не сгибающиеся в бедре немощные ноги. Он не может сидеть. Он или полулежит, откинувши торс, опираясь на руки, или стоит, опираясь на палки. Он никогда не говорит о своих болезнях, не рассказывает о тех годах. Редчайший собеседник, понимание — с полуслова. Воспитанность, доброжелательство, оглядывание на каждого, кому надо помочь. Бесперебойный ум, блистательная, Марина, речь. Упоение — слушать. Безошибочно берет те слова, те эпитеты, которые желанны слуху. Первосорт-

ный вкус — во всем. И такая радость жить у этого ежедневного многолетнего мученика, такой восторг к стиху, такое увлечение мыслью и формой ее выражения, что быть в его обществе — наслаждение. Привлекает к себе — всех. Незабываем. Неотразим. Его ирония! Его смех! И его затаенная ярость на мещанство, тупость и жадность людей. На петухов твоих! Ему всего двадцать один год. Юрист, студент в Харькове. Семья! — мать, сестра — в Феодосии.

Я была первой женщиной в его жизни, и, конечно, позор, что я его бросила, что не смогла ограничить свою жизнь даже таким человеком. Другая должна прийти и стать рядом — до смерти. Но мы — друзья навсегда и никогда не отойдем друг от друга. Ваня Морозов и Сережа Соколов — его друзья, и нам было хорошо вместе. Они приходили, и мы читали твои стихи и письма, и твой сборник юношеских... был для них подарок, как мне, они уже знали его наизусть, когда я уезжала — особенно Леонид и Сережа. Ваня — тот немного лукав и надменен, хотя кажется простецом и веселым. Ваня — не до конца чей-то (мой — тоже). Он оставляет себе уголок, куда не впускает. Сережа может не впустить только в свою задумчивость, в которой сам бродит, не разобравшись, но он на каждого отзывается, как Леонид. «Себе на уме» Ванино — как раз то, что его от них отделяет, им оно тоже какой-то оттенок мещанства...

Марина, как я хочу, чтобы ты их увидела! Больше всех — Леонида, конечно. Но именно он вряд ли сможет в Москву... Этот человек — музыка. Он любит меня, как любил Бобылев, как Дориан, как Маврикий. С ним совершенно невозможно расстаться. Он неисчерпаем, как мы... Миронов, Валя? Нет, те любили все же — себя. Этот — нет. Но я хотела тебе... о Старом Крыме, маленьком городе, где умер Борис. Там была семья Эрк — отец (педагог), мать (урожденная Бобринская), сыновья, дочери. Когда мать была молодая, ей предсказали, что все ее дети погибнут и она останется с одной младшей (при нас этой Асе было лет восемь). И вот на наших глазах предсказание начало исполняться: старшая, красавица, — пропала без вести. Старший сын Коля застрелился в ту нашу зиму при нас из-за любви к армянской девушке, которая ему отказала. Второй — Толя, ученик еще,

добрый, невинный, попал в пекло Гражданской войны, кем-то расстрелян. Отца взяли — умер в тюремной больнице от тифа. При нас она оставалась с двумя младшими — тринадцати и восьми лет, сын и дочь. И была еще средняя дочь, Сусанна, мрачная и таинственная, как цыганка. Влюбилась сперва в Валу, потом в Бориса. Что-то было в ней самой обреченное, и это предсказание, так мерно беспощадно исполнявшееся на бедной Александре Андреевне, уже кидало тень на судьбу Сусанны... Не знаю, что с ней теперь, и, может быть, уже скоро мать останется с Асей — сын подрастает, кто знает, что ждет его... А она совсем сгорбилась, лицо уже глядит в землю, хоть не так много лет — и такая душа! Такой доброты, редкой, и всю жизнь мучилась с мужем — вспыльчивым, трудным, и что еще ей предстоит? Да, я забыла: старшая, Муся, — нашлась, приехала, но уехала снова в какой-то далекий город — и молчание, и снова потерян след... Вот и лето, последнее мое в том райском саду, — вокруг Вали как-то все загоралось — Ольга Васильевна, и Сусанна, и Майя, и была еще шестнадцати лет — Таня, институтка из Керчи. Мы знали ее девочкой, и вдруг она приехала в институтской форме, темно-лиловой с белым фартуком, в нарукавниках, с заложенной русской косой, за год ставшая уже девушкой. Прелестной! И потеряла от Вали голову. Меня они все любили — и Сусанна, и она, но ненавидели Ольгу Васильевну. И вот, когда я в день моего рождения, в двадцать пять лет, поднялась ехать, Таня в негодовании на Валу за меня, за измену, сказала, что едет со мной — от Вали, которого любила первой любовью (уехали на одной мажаре) — назад к совсем нищей матери, из рая, где довольство, красота, горы фруктов, миражи среди всего этого. Вот такой характер, такая воля и доблесть открылись в этом керченском институтском цветке... Разве это забудешь? И была еще Наташа Вержховецкая в Старом Крыму — некрасивая, умная, фантастическая, чудные писала стихи... Она напоминала мне Черубину де Габриак. Сейчас вспомню стихи, посвященные проходимцу-художнику Федору:

...Но воздух чист, и неба нежны краски,
Не уезжайте, мистер Теодор!..

О Петербурге:

...Летний сад, обнаженный и страшный,
Эти мощные липы в цвету,
Фонари под вуалью туманной,
И храпенье коней на бегу,
И бесшумно скользящие санки,
И ночами покрытые дни,
И над гладью холодной Фонтанки
Инженерного замка огни.

— Хорошо... — сказала Марина, — что с ней?

— Не знаю... Ее судьба тоже всегда где-то у сердца... И Екатерина Николаевна, та, что нам носила воду, отнимая у своей семьи, сколько она потом спасла людей в смутные дни, когда в Феодосии бушевал батько Иван, которого расстреляли потом в Джанкое... Ее роль была сходна с Майиной тогда.

— А Макс? — спросила Марина.

— Макс спасал всех. Когда были в беде одни — скрывал их. Приходила беда другим — шли искать приюта к нему. Ведает охраной памятников искусства Крыма.

— А Пра?

— Пра болеет. Встретила ее весной, когда проезжала через Коктебель (я поехала на Пасху свидеться с Екатериной Николаевной в Судак). Пра шла по берегу моря медленно, тяжело дыша.

— Астма? Как у Макса?

— Нет, эмфизема. Я спросила ее: «Пра, что передать друзьям? Еду в Москву». — «Скажи: дух еще бодр, плоть немощна...»

— Как узнаю лаконизм Пра!.. Я ей напишу непременно. Аля — ее крестная дочь.

— Пусть и она напишет! Пра так обрадуется. Аля же чудно пишет! Прямыми, круглыми буквами.

— Еще бы в восемь лет плохо писала! Она пишет с четырех лет.

Из детской слышался сонный кашель. Я пошла дать Андриюше лекарство. В темной комнате меня шатнуло. Я вспомнила, что не сплю, как надо, уже десятую ночь.

— Ася, скажи мне — я понимаю, что тебе трудно говорить об этом, — сказала Марина, — но я же ничего не знаю о Борисе, только что — в первую эпидемию тифа. Какой тиф?

— Сыпной. Я расскажу тебе, но по-настоящему ты узнаешь все от Маруси (Марии Ивановны). «Его бред, — она сказала, — это была бы целая книга...»

В ответ Маринин голос дрогнул горечью, и в ней была нежность:

— И в бреде верен себе...

— Я запомнила только несколько фраз его из ее рассказа. Он умирал не у Вали, то есть не в Босалаке (Бузулак по-татарски значит «Темный сад»)...

— Как странно! А в моей памяти, — прервала Марина (и я поразилась: говоря, я только что подумала: «странно, что темный, когда кажется таким светлым...») — он навсегда остался светлым, — сказала Марина, — видением золотой осени...

— Не в Босалаке, а в Старом Крыму, в доме, который мы с Валей сняли. Когда он пошел работать на гончарный завод (первая и последняя его работа) — мы перевезли Марию Ивановну с Ириной к себе, а он приезжал на субботу и воскресенье. И вот однажды — была невероятная погода — дикий мороз с ветром. Я шла вечером в коровник что-то сказать Наташе, которая пошла доить нашу Домаху, меня хлестнуло — пройти всего два шага — таким бешеным порывом холода, что я побежала, и мысль: «Вот о таком ненастье народ сказал: «В такую погоду добрый хозяин и собаку на улицу не выгонит»... Через час к нам громко застучали, и вошел Борис. Какой-то неузнаваемый. Одет-то он был жидко, не укутан, лицо было страшное. Он шагнул и протянул мне пакетик, мягкий в бумаге и марле: «Тут сахар...» И глухим голосом: «У меня сорок». Не веря, надеясь, что он шутит, я подняла руку к его лбу: лоб был холодный. От сердца отлегло, но Борис сказал беспощадно: «Сорок градусов, может — больше. Я все двадцать пять верст ехал *снаружи* мальпоста, не осталось места внутри».

Больше я ничего тогда не узнала, тайно думая, что — преувеличение. Его гиперболы ты знаешь. Мария Ивановна уже раздевала его, ужасалась, хлопотала, слушала. Я пошла разогревать еду. Потом от Маруси узнала: он ехал больной,

почти не мог стоять, отказался в больницу. Думала, воспаление легкого. Сыпь высыпала накануне смерти. И воспаление, и тиф. Он умер через сорок дней, сердце не вынесло жара. До кризиса. Те слова мне: «Сорок» и про тот сахар — было последнее. В свою комнату Мария Ивановна входила только кормить Ирину — жила в большой, в Валиной мастерской, где мы положили Бориса на широком самодельном диване (мать Вали нам ничего не хотела дать, когда мы уехали). На диванных подушках. Потом их сожгли во дворе. И этот бред нам потом...

— Он без сознания умер?

— Вот в том-то и дело. Врач говорил: «Не слушайте, не обращайтесь внимания. Он без сознания». — «Вы так думаете?» — отвечал Борис.

На вопрос Маруси Кайзер говорил: «Это тоже из подсознания... С такой температурой больной не сохраняет сознания...» — «Как вы больны, доктор!» — говорил Борис.

Что я запомнила из рассказа Маруси?

«Я умираю, потому что после всего, что мне теперь открыто, я бы уже не мог жить». Потом: «Я бы написал такую книгу, в которой бы все было — людям. И была бы другая жизнь. Но эту книгу нельзя написать, ее бы не сумели простить».

Ему все казалось, что за ним гонятся, его клюют, его убивают. Потом начался бред, что он умер. Что сначала умирает нос, потом лицо. «Вас не шокирует мой трупный запах?» Потом был припадок. Он бился головой о стену и так страшно кричал. Мы не могли выносить. Все, даже Маруся, вышли из дому, стали во дворе. Я бежала за доктором, шнурки башмаков мотались, незавязанные. Кайзер был на работе, я бежала к другому. Доктор Карга. Он отказался идти (боялся заразы). Другой, тоже восточный, моложе, пришел, сделал укол морфия. Борис стих. Потом он попросил настойчиво священника. Кайзер не говорил про смерть, лечил, надеялся. Борис утверждал, что умрет.

— Я буду лежать высоко. На горе. Здесь когда-то умер человек, оставил сына и дочь. И я умру так же: сын и дочь. Затем сказал: «Ровно через два месяца войдут войска», не сказал какие. И ровно через два месяца после него — предсказание исполнилось. И насчет горы, но я об этом потом... Пришел

отец Федор, исповедал и причастил. И после этого тяжелый бред о носе, трупном запахе, бой со смертью — кончился. Борис стал совсем тихим, и все складывал пальцы крестом. И он говорил: — до болезни еще, играя с Ириной (ей было четыре месяца): «Когда же вам будет пятнадцать лет, чтоб я мог целовать вам церемонно ручку?» Как он Андрюшу любил... Да, около четырех месяцев — потому что после Бори уже, всего какие-нибудь две недели спустя, приехал к нам Сережа, и были крестины Ириночки. Он был крестный отец, я — крестная мать. Бориса уже не застал — только пошел к нему на могилу.

Что еще он говорил? — Это Маруся рассказывала: глядел на облака в окнах, высокие, перистые, и сказал: «Вот мы там все. И «Бобылик». Там, высоко. И оттуда уже вернуться нельзя...» И был радостный. Марина, он умирал в комнате, где была елка, когда к нам приезжал, выносили к огонькам Ирину, было так уютно, так весело. Борис всегда вносил с собой Диккенса. И на Рождестве мы ели не в маленькой столовой, а в мастерской, у дивана, где он болел и умер. Я до сих пор вижу, как он — знаешь его жест — потирал быстро-быстро ладонь о ладонь, танцевал по комнате и напевал деланным басом «Золотой, как солнце, сальтисон» (перед этим кололи свинью, и Наташа делала колбасы). Как он любовался Андрюшей! Ириной...

— Ирина на Бориса похожа?

— Не знаю, не очень, но и на мать не... Глаза, впрочем, синие. Увидим поздней. Все шутил: звал свое старое пальто — «дипломат»... Я все отвлекаюсь. Я должна тебе дорассказать. В то время у Вали было очень мало денег — жили только тем, что в доме. Берегла я — на случай нужды — его охотничьи сапоги, их продать. Валя болел туберкулезом, здоровья была капля. Я дрожала над ним. Работы же не было, такие, как мы, — мучились. Борис промочил ноги, с того, может быть, началось воспаление. Ходил он в единственном, что осталось — в тех своих коньковых башмаках, на которых в пору нашего полета с ним на норвежских были приклепаны коньки. На работе ему, кажется, обещали дать обувь, но ведь обещанного три года ждут. И вот — ужасная вещь, Марина: Валя хотел ему подарить охотничьи сапоги, а я удержала Валу: «Это последняя вещь — продать вам на усиленное пи-

тание». Когда Борис слег, Валя подошел к его раскрытой двери (дальше я его не пускала, мы еще не знали, чем он болеет, но сыпняк кругом уже вспыхнул) и сказал ему: «Боря, когда вы поправитесь, я вам отдам свои охотничьи сапоги, у вас тоже маленькая нога, они вам будут как раз». Но слышал ли Борис, я не знаю, и что ответил в бреду и ответил ли. Может быть, уже было поздно ему понять! Как мне с этим жить — я не знаю.

Марина, молчавшая все время, слушавшая, перебила меня почти громко — громче, чем я, вполголоса, говорила:

— Ася, не мучай себя. Ты же не виновата. Такое время было — Валя тоже, над тем же висел на волоске. Та операция его, про которую ты мне писала, когда он мог и не перенести наркоз... Он же был как ребенок твой, а у Бориса все-таки уже была Мария Ивановна, он сошел с твоих рук...

Та убедительность, с которой говорила Марина, уже была сомнительна. Ее жар меня крепче утешить... Еле сдержав горловой комок, укрепив голос, я прорвалась в ответ:

— Маруся и он, они оба были нищие. Из-за беременности она бросила театр, в пути их обокрали — два чемодана с ее платьями, его единственным хорошим костюмом, со всем, что у них было. В «на хранении» им туда наложили сору и кирпичей. Оставалось еще денег немного — Борис их держал в пальто и лег на станции отдохнуть, им покрывшись. Пальто сняли. Они приехали, когда я жила в Босалаке, но я еще платила за ту маленькую квартиру на Карантине, над цыганской слободой, — там они поселились, еще до его гончарной работы. Маруся рассказывала после него: «Не могу забыть, какой он стоял в очереди за водой, к водокачке, среди карантинских баб, в старом пальто, худой, с этим точеным лицом. Без перчаток, руки красные от холода, ни на кого не похожий — трагическая фигура...»

Чтоб уж все кончить — когда Маруся легла в больницу, я с Андрюшей приехала к Борису на неделю. Варила еду, носила ей в кувшине кисель. Когда она встала, мы выходили из родильного отделения. Борис вел ее, а я несла запеленутую Ириночку. Оглянулась — в дверях весь женский штат, в халатах вышел на нас смотреть: в городе знали, что Борис в Федосию приезжал ко мне — женихом... Не понимали.

Марина, мне все кажется, что что-то мне помешает и я не дорасскажу тебе. Но не могу держать нить, сбиваюсь. Эти шесть дней, которые Боря болел, кричал, говорил, метался от невероятной боли головы (Кайзер сказал, что если бы он выжил, он не был бы уже прежним, что лучше для него — была смерть), это были не дни, а один бесконечный день или вообще времени не было. Ночью, наверное накануне, — я вошла, закрывшись простыней (я берегла Андриюшу и Валю и не входила), и перед его диваном, прощаясь и молясь, положила земной поклон. Он лежал на спине, профиль высоко на подушке, и на голове — она казалась совсем маленькой — лежал большой, закутанный в белое пузырь со льдом. «Боря, Ася пришла», — сказала ему Мария Ивановна. Он услышал. Но ответил тихо: «Ася? Какая Ася?» — и больше не сказал ничего. Последние его слова...

— Ася, не мучай себя! — сказала Марина. — Ты сделала для него все, что могла...

— За месяц до смерти мы шли по улице, и он говорил со мной так дружески, так тепло...

— И вот это запомни! — гипнотически твердо сказала Марина, я подвинулась, так как, привставая, сползла, — а эти слова в бреду... Ты хотела еще про священника? Или доктора? Ты и писала неясно что-то.

— Да, об обоих. Тот доктор, который не пошел к Боре от страха, потом, после дезинфекции дома и нашего перехода в другой, — снял этот дом, в нем заболел сыпным тифом и умер от него в той самой комнате, куда не пришел и где умер Борис. А отец Иоанн Концевич — я пошла к нему о похоронах, — узнав, что сыпной тиф, смутился, сказал, что хоронить на городском кладбище негде, что надо наверху, на татарском, — так исполнилось Борино предсказание — и панихиду служил поодаль от могилы, не подошел, пока не закопали. И он тоже вскоре умер — от сыпного тифа...

Хоронить пошла одна Маруся. Во дворе жгли все, на чем лежал больной Борис, комнаты поливали дезинфекционной жидкостью. Валя надзирал за этим, а я спешно должна была увести детей в гостиницу, где мы сняли комнату. Я шла с Наташей, мы несли Ириночку, Андриюша шел рядом. Знаешь, нельзя было понять, как он перенес смерть отца. Когда

Алеша умер, он проявил яростный гнев, что его похоронили, я тебе говорила. Об отце, которого очень любил, молчал. Только несколько дней спустя вдруг вышел из-за шкафа, где долго сидел, спрятавшись, и сказал, точно продолжая говорить с кем-то... «Ходил большими шагами, сам наливал чай. А теперь — нет! Как странно...»

Последнюю ночь до похорон втроем (Валя, Маруся и я) сидели на кроватях в спальне, рядом с детской. Маруся говорила мне, что на кладбище пришла Сусанна Экк. Она стояла у забора, где и священник, пока закапывали. Она смешалась, может быть, с виденьем какой-то женщины, старой, черной, как цыганка, которая вышла откуда-то на дорогу, по которой, подпрыгивая на ухабах, возчик гнал телегу с гробом (было ненастье, свистел ветер, уже вечерело). Маруся говорила об этом с такой тоской, таким ужасом, я этого не могу повторить. Скачущая телега с гробом, небо в тучах, вой ветра, ее одиночество с Борисовым телом, от которого оторвался дух, и эта невесть откуда взявшаяся старуха. Бориса похоронили на холме над Старым Крымом. На татарском кладбище, голом. Боря умер в феврале, как Бобылев, шесть лет спустя. Без малого двадцати шести лет...

— Ты так рассказывала, так все вижу — и все равно не верю, что это было, что Бориса нет, — сказала Марина.

— И скоро после его смерти приехал Сережа — да, ведь мы вернулись еще в тот день из гостиницы, раз мы в той комнате, в мастерской, крестили Ириночку... Те дни — как туман. Сережа недолго был. Я пошла работать в библиотеку. Мы жили на другой квартире уже, и Мария Ивановна с нами. В библиотеке я и встретила Ольгу Васильевну. И все это началось — дружба, любовь и отъезд в Босалак, и то лето втроем, и мой отъезд в Коктебель к Максусу, Ланн и все, что я рассказала уже...

— Ты хотела еще о Наде. Как это все было.

— Надя обожала Алешу. Чудно за ним ходила. Алеша вдруг заболел. Он болел всего пять дней, легко. Доктор не предрекал смерти. А я испугалась сразу — он никогда не болел, как Маврикий. Я боролась со смертью, как могла: как для Бориса сожгла рукопись о Бобылеве (и так он обиделся!.. он ее так читал) — и после него все дневники за пять лет — чтоб тоже испытать безвозвратность — я собрала все напи-

санное с тех пор, четыре года дневников, книгу о Розанове, начатую книгу о России и стала рвать, не говоря Наде, что делаю. Это было самое дорогое, и я должна была отдать его Алеше. Судьба! Выкуп! Ты понимаешь?

— Понимаю.

— Я же не верила в Бога! Но это не помогло. Огня не было. В море бросить — вернется. И толки. Я топила в помойном ведре и носила на помойку, много...

— Книгу о Розанове ты, конечно, не должна была жечь, это уже не твое было...

— Я это тоже подумала, но испугалась, что пожалела что-то. Испугалась Судьбы. Я думала ее умиловать. За два часа до смерти врач зашел (я была в аптеке) и сказал Наде: «Его надо кормить тапиокой!» — а он не открывал рта. Хотя еще за два дня сидел на руках, улыбался... Но я поняла, что плохо, — и рвала, и рвала... За стеной жила женщина — Елизавета Ивановна Старынкевич. Мы ей отдали Андриюшу, передавали ему куриный бульон с курицей в кастрюле. Когда с Алешей начались судороги — она пришла и стала распоряжаться. У нее точно так же умирал ребенок, умер, она пыталась спасти Алешу горячей ванной, я слушалась, еле понимая. Ванна не помогла. Алеша умирал. Надя плакала, она тоже поняла, когда начались судороги, что это конец — какой-то ее питомец прежде так умер. Макс сидел рядом со мной, обнял меня, утешал, говорил, что это вовсе не смерть, а второе рождение... Но я тогда совсем не понимала его, и позже, когда он пытался читать мне Евангелие, я так не хотела слушать. Он читал: «Сеется в тлении, восстает в славе...» Меня эти слова возмутили, и такие они мне тогда были ненужные, непонятные. Я говорила ему: «Я не хочу это слушать, мне не надо никакого восставания, ни славы — я хочу живого ребенка». А Макс все старался мне объяснить. С Надей мы проспали вместе ночь до похорон на одной постели, она сказала: «Это я погубила Цыпашу (она его так называла), шла барыня по берегу, ела вишни из кулечка. Алеша потянулся к ним, я сказала: «Нет, не давайте, нам мама не позволяет немывтые», а она говорит: «Ну что ему от двух вишенок сделается» — и дала, я позволила, и он съел». А до Алешки за два-три дня умер Алик, сын художника Курдюмова, двух с половиной лет, тоже от дизентерии. Из

татарской деревни завезли ее — ходили за больными и тут же рвали ягоды и везли на продажу. Помнишь, Леонид Иванович Гончаров? Актер, кажется, еле выжил. Но умерли наши два мальчика. И могилки рядом, под Сюри-Кайсей.

Отец Алика говорил жене: «Чего плачешь? Алик же не может умереть!» После его смерти сошел с ума, его увезли. Алик тоже в белой панамке ходил, как Алеша, милый мальчик, так его помню, Марина, за несколько дней до болезни я любовалась как-то особенно Алешей, он тянул мне ручки с Надиного плеча, они уходили на берег, а я в комнате варила им цыпленка. Алеша был такой прелестный, чуть загорев, нежно порозовел, серо-голубые глазки, длинные, яркие, а волосы — кольцами, легкие, золотые — у Андрюши совсем прямые... И у Али. Ирина была, как Алеша, кудрявая, тоже кольцами — наши вторые дети. И оба ушли!

— А помнишь в тысяча девятьсот семнадцатом, перед моим отъездом, Алеша увидел маленькую Ирину и так ликовал и гладил ее ручками.

— И мы не знали, что они уйдут оба.

— Да, о Тьо! Узнав, что умер мой второй муж, она мне прислала — я успела еще получить из банка — пятьдесят рублей, обещала прислать еще и такое трогательное письмо написала.

...Я ей ответила, кажется, и больше ничего не слыхала о ней.

— Тетя умерла от голода в тысяча девятьсот девятнадцатом году, — сказала Марина, — у соседа-огородника, кормившего ее капустой, — у него больше ничего не было. Андрей зашел, когда ездил к Добротворским в Тарусу, она узнала его, обрадовалась, нашла, что он возмужал, похорошел, заплакала, — но не о себе — о себе молчала — о нем, что он не забыл ее и зашел. Ничего не просила — худая, как спичка! (его слова), ни на что не жаловалась и все повторяла: «C'est la volonté de bon Die!» («Это Божья воля!») — Настоящая героиня! Старая, умирая с голоду после стольких лет в богатстве, стольким помогая вокруг — сама помнишь, всему уезду — учила детей бедняков, покупала им коров, лошадей — вот один и вспомнил добро, взял к себе, когда у нее отняли дом и все вещи, книги, рояль — все, что дедушка наработал...

— Те часы-оркестр, наши детские вальсы Штрауса!

— И два шкафа, книжных, помнишь — с картами полушарий. Там были дедушкины французские книги, которых мне еще не давали читать... и рояль.

— А куда делся портрет бабушки? Перед которым у Тети всегда стояли цветы?

— Кто же знает! Не взяла же она его к огороднику в хату! Да и вряд ли бы дали взять. Пропал. Он на нем так похож был — как стоял в вагоне, когда его, больного, везли за границу, и мы с ним, маленькие, прощались!

— Ах, Ася, Бог с ними, с портретами! Людей сколько погибло за годы... Мне уже ничего не жаль, ничего не надо, никаких реликвий.

— Вот странно — сказала я, — а у меня, наоборот, чем больше теряю, тем больше ценю воспоминания.

— Да ты и людей еще любишь, а я... Я так видела, во что они превращались, и так легко, от первого жизненного толчка, как цепляются за благополучие, сколько оказалось мещанства... Ася, мы опять отвлеклись. Поздно, и тебе надо спать. Уже светло, ты с дороги — но я хочу про Надю понять. Она же у меня, после тебя, жила долго, — я писала тебе, что она выкрала у меня все твои фотографии, а вообще — честная, ничего не брала. Как ты ее отпустила?

— Это целая эпопея, когда-нибудь расскажу подробно, а главное, — она, по-моему, ненормальна. Вызывала у Андриюши эти его рецидивы болезни, давала пить эфир, снег с сахаром, лгала, что у него припадки, — хотела всячески меня удержать дома. Ненавидела Валу. И Бориса не любила — помнишь? Любила только Маврикия и меня. Но спасибо за такую любовь! Когда Валя на улице заболел — приступ аппендицита — она знала, что это та болезнь, от которой погиб Морек — и я его привезла к себе, на горку над Цыганской слободкой, в ту квартирку, где потом жили Борис с Марусей — квартира его родителей была далеко, и они были за городом — Надя в мое отсутствие положила лежачему больному! — толченого стекла в протертую рисовую кашу — представляешь, что с ним и со мной сделалось, когда у него поднялась температура? Преступница. Я тогда, таясь, помолилась. Схожу с ума? Я же не верила!

Валя выжил. Врач волновался. Велел масляную клизму, еще что-то... Но я уже не могла с ней жить.

Раз она, без меня — мне это с негодованием рассказал при ней Андрюша — бросила на пол мамину — помнишь? — желтую деревянную подставку под часы и наступила на нее каблуком.

— Дорожную? С фиалочкой?

— А когда я ей сказала, что — кончено, я куплю ей билет и отправлю ее (тогда еще — ехали), она стала клясться, что без меня жить не будет, бросится под поезд. Но я ее все-таки отправила, и с Андрюшей дала ей проститься только через оконное стекло. Какое-то только наполовину понятное чувство опасности в ней, глубокого недоверия. Страх даже...

— И подумать, что она так любила наших детей! — сказала Марина, — твоего Алешу, мою Ирину! Лицо сорокалетней сектантки, эти пламенные ее черные глаза. И негритянские губы. Это был настоящий друг в доме, и она ничего не ценила, полное равнодушие к деньгам! Даже к еде. И — как в воду канула, уже года два...

— Марина, я хотела еще — о той пустыне. После Мора, после Алеши. Мне кажется, эти дни — не пройдут. Они все еще во мне. Тот домик на горке, Надя, Андрюша, я (до Вали). Кто мог знать, что в мою жизнь придет — такое? Я была навсегда одна, после Мора. Нищета. Последние запасы еды. Разруха. Длющаяся Андрюшина болезнь. Жара. Лиловое небо, черта моря внизу. Я ежедневно ходила на базар покупать что-нибудь, искать цыпленка — он ел только бульон и блюдечко черничного киселя. Тянул к нему руки — худые, как палки. Во дворе старуха катала из антрацитной пыли и навоза — шарики для мангалов. Память о Море и об Алеше день и ночь. Их никогда не будет. Я жила и под землей с ними. Это было как сумасшествие. Это не могло длиться. Но я этого не понимала. Каждый день — был год. И начинавшаяся война, снова отделившая меня от тебя. Это кончилось в один день — в тот, когда девятнадцатого августа тысяча девятьсот семнадцатого года я у Петра Николаевича увидела в первый раз Валу. И два года счастья. Такого!

— Ася, как вы могли разойтись? Как он мог...

— Да, вот. Я об этом. Два года, потом прошлое — призрак, и я снова в эту пустыню вступила.

Судак, 1919-й год. Никто никуда не мог выехать: зеленые, нападения, голод. Надежд не было. Люди опускались, сходили с ума. Горы и море. Мы их ненавидели. Черепицы. Собак — и тех не было — изредка. И опять жара, лиловая, и память о Вале, и ни тебя, ни Миронова, ни Мора и Алеши, бесхлебье, нарывы — та пустыня, опять! Я отказалась от помощи Вали — но в гордости, в горечи все же был упрек: твое — «Жить приучил в самом огне. / Сам бросил в степь оледенелую...» Как хорошо, Марина, что все проходит, что и это прошло...

— К тебе дошло мое письмо, где я писала о смерти Ирины? В марте тысяча девятьсот двадцатого.

Они и сейчас перед моими глазами: два письма тех лет — ко мне от 17 декабря 1920 года и к поэтессе Вере Клавдиевне Звягинцевой и ее мужу, написанное в феврале 1920 года, которые привожу не полностью.

«В феврале этого года умерла Ирина — от голоду — в приюте, за Москвой. Аля была сильно больна, но я ее отстояла... Ирине было почти три года — почти не говорила, производила тяжелое впечатление, все время раскачивалась и пела. Слух и голос были изумительные. — Если найдется след С. — пиши, что от воспаления легких... Мы с Алей живем все там же, в столовой. (Остальное — занято.) Дом разграблен и разгромлен. — Трущоба. Топим мебелью. — Пишу. — Не служу, ибо после смерти Ирины мне выхлопотали паек, дающий возможность жить. Служила когда-то 5 ? мес. (в 1918 г.) — ушла, *не смогла*. — лучше повеситься.

Ася! Приезжай в Москву. Ты плохо живешь, у вас еще долго не наладится, у нас налаживается, — много хлеба, частые выдачи детям — и — раз ты все равно служишь — я могу тебе (великолепные связи!) — устроить чудесное место, с большим пайком и дровами. Кроме того, будешь членом Дворца искусств (дом Сологуба), будешь получать за грош три приличных обеда...»

«Москва, 7/20 февраля 1920 г.

Друзья мои!

У меня большое горе: умерла в приюте Ирина — 3 февраля, четыре дня назад. И в этом виновата я. Я так была за-

нята Алиной болезнью (малярия, — возвращающиеся приступы) — и так боялась ехать в приют (боялась того, что сейчас случилось), что понадеялась на судьбу. Помните, Верочка, тогда в моей комнате, на диване, я Вас еще спросила, и Вы ответили «может быть» — и я еще в таком ужасе воскликнула: “Ну, ради Бога!” — И теперь это совершилось, и ничего не исправишь. Узнала я это *случайно*, зашла в Лигу спасения детей на Соб. площадке, разузнать о санатории для Али — и вдруг рыжая лошадь и сани с соломой — кунцевские — я их узнала. Я взошла, меня позвали. — “Вы г-жа такая-то?” — Я. — И сказали: “Умерла без болезни, от слабости”. И я даже на похороны не поехала — у Али в этот день было 40, 7... сказать правду?! — я просто *не могла*. — Ах, господа! — тут многое можно было бы сказать. Скажу только, что это *дурной сон*, я все думаю, что проснусь. Временами я совсем забываю, радуюсь, что у Али меньше жар или погоде — и вдруг. — Господи, Боже мой! — Я просто еще не верю. — Живу с сжатым горлом, на краю пропасти. — Много сейчас понимаю: во всем виноват мой авантюризм, легкое отношение к трудностям, наконец, здоровье, чудовищная моя выносливость. Когда самому легко, не видишь, что другому трудно. И — наконец — я была покинута! У всех есть кто-то: муж, отец, брат — у меня была только Аля, и Аля была больна, и я вся ушла в ее болезнь — и вот Бог наказал...

Другие женщины забывают своих детей из-за балов — любви — нарядов — праздников жизни. Мой праздник жизни — стихи, но я не из-за стихов забыла Ирину — я 2 месяца ничего не писала! И — самый мой ужас! — что я ее не забыла, не забывала, все время терзалась и спрашивала у Али: “Аля, как ты думаешь...?” И все время собиралась за ней, и все думала: “Ну, Аля выздоровеет, займусь Ириной!” — А теперь поздно...»

— Ты Москву год назад не узнала бы. Теперь увидишь, жить можно. Тогда — ничего не было. Голод. У нас была только мороженая капуста. Нас с Алей подкармливали иногда Гольдманы, иногда мы бывали у Коган. У нее был роман с Блоком, растит его маленького сына. Светлоглазый и кудрявый — в отца. Увидишь, я тебя к ним сведу. И муж — благо-

родный человек, знает и воспитывает как своего. Верней, как сына Блока! Немолодой уже. Прелестная женщина. Его поклонница. Но Ирину я никуда не могла водить, и чем ее было кормить? Приносили ей, что удавалось достать, но этим ведь не прокормишь. И если ее одну оставлять — она подползала к капусте, приходилось привязывать на чем-нибудь длинном, но чтобы она не могла до капусты достать. Топилась ведь одна комната...

А вот Лиля и Вера что выдумали? Вместо того чтобы помочь — могли! все жили лучше меня, я одна была брошена, как собака — они вздумали мне предложить, чтобы я им отдала — насовсем! без права взять ее назад, когда станет легче — Ирину! Осмелились! Была вилка под рукой, я пустила ее в Лилю — пролетела мимо. И ушла от них. И вот тут мне помощь оказалась Надя.

Она увозила два раза Ирину к себе в деревню — и та ожидала на хлебе, лепешках, на каком-то деревенском вареве — начинала ходить, говорить. Но долго она не могла ее держать там, возвращалась и привозила ее, и снова Ирина переставала ходить и говорить, а только раскачивалась, сидя в коляске, и пела — у нее был прекрасный слух... В приюте, за Москвой, я их навещала. Но когда Аля заболела сразу тремя болезнями, мне пришлось ее взять. Лилия тогда мне уступила свою комнату в Мерзляковском — там буржуйка, ее топить легче, чем у меня, и я привезла Алю и поселилась с ней у Лили. Спасти обеих я не могла — нечем было кормить. Я выбрала старшую, более сильную, помочь ей выжить. Ирину в приюте все-таки кормили, как красноармейских детей, что-то варили им, и я ее там оставила. Алю везла на телеге, укутав во вшивую шинель. Я шагала рядом, долго, далеко, не знаю, сколько верст. В огромных чужих валенках, стоптанных. Снег — глубоко. Голова кружилась. Лошадь была тоже слабая, мне не дали сесть на телегу, да и не села бы, лошадь жалко...

В последний раз я видела ее в большой, как сарай, комнате, она шла, покачиваясь, в длинном халатике, горела лучина. Я лечила Алю, топила буржуйку креслами красного дерева, она начала поправляться. И однажды в очереди я узнала от бабы, меня узнавшей, что Ирину накануне похоронили... Подходит, всматривается: «А вы не Ириночкина ли мать бу-

дете? Мы ее вчера схоронили...» На могилу ее я не поехала, потому что не могла оставить больную Алю. Потом мне дали академический паек... И я говорю Але: «Ешь! Пойми, что я спасла из двух — тебя, двух не смогла. Тебя выбрала».

Что я могла сказать? Я молчала. Потом, отвлекая:

— Да, Марина! Я хотела спросить: так ты подружилась с Бальмонтом? Как можно было подумать после первого его прихода, когда мы притворялись дурочками!

— Нет, именно тогда уже можно было понять, что друг. Помнишь, он, уходя, сказал своим мяукающим голосом: «В этот дом я буду приходиться...» Очаровательный человек. Умилительный. Ни в чем ни на кого не похожий. Рыцарь. И вся его нищая семья вторая... Мирра, его жена — прелестна. Ничего не умеет, практичность — вроде нашей. Но все переносит так грациозно и так его любит... Отдадут последний кусок. В таком неустройстве жили, органическом...

— А ты говоришь, нет людей! Что с ними теперь?

— Они уехали. Не знаю, как теперь там живут, на Западе без денег еще трудней, чем у нас без специальности. Хороша «специальность» — поэт!

— А Завадский? А Антокольский? Их тебе упрекнуть не в чем?

— Упрекнуть? (рассеянно или же углубленно, что то же!) Нет... Но проходит, отгорает... когда так горят. Павлик женат, занят театром. Завадский — уже знаменит.

(Вот все, что запомнилось из слов Марины о них. После ее отъезда, среди хаоса брошенных ею пачек книг, писем, листов, не успевших попасть в печь, к самогонщикам, я прочла и запомнила первые строки давнего письма Антокольского — тонким прямым почерком: «Марина! Вы — золотая птица моей Судьбы...»)

— Чтобы уже все окончить — утро уж! — я тебе не рассказала о Тигре, — сказала Марина, — ты ведь получила его письмо в начале Гражданской войны? Проскочило? Он мне говорил, что ты не ответила. Отчего? Он так ждал... Умер в прошлом году. В том же своем «Метрополе», где жили тогда все царские эмигранты, — от чахотки.

— Умер! Господи! А я-то надеялась его увидеть. Почему не ответила? Знаешь, Марина, его письмо пришло как раз в те

дни, когда у меня лежал, свалившись, Валя, когда Надя ему насыпала толченого стекла в рис, когда ходили врачи и я не отлучалась от Вали — отлучилась раз — она тогда и насыпала. Я просто не могла взять перо и писать, отвлечься, перенестись назад, так горел день, час. Решался вопрос об операции. Я читала его письма и плакала, рассказывала Вале о нем, и как-то все это было в одном — он, ты, я. Тигр, мама, его болезнь, смерть Алеши и Мора, твой голод, Ирина, какой-то один ковш горя и счастья, и почему-то так и не вышло — письмо.

...А он ждал — видишь, не надо жить так, как хочется, как кажется, надо сурово делать то, что надо, а я...

— Ася, ты не грусти. Знаешь, я не уверена, что Тигр — то, что ты думаешь, то, что любила мама. Может быть, он был таким тогда, а теперь — я тебе расскажу о нем. Слушай! Постарел, конечно, но не очень. Облик примерно тот же. Меня его приход взволновал, конечно. Что он так помнит маму, что искал и нашел меня, о тебе так спрашивал. Мама ему, прощаясь, нас поручила — чтобы следил за нами после нее, не упустил из виду. Он не мог, потому что был за границей до революции, а как приехал, стал искать нас. И пришел. Говорил мне по-прежнему «ты». Рассказал, что он после Нерви жил в Цюрихе и что звал туда маму, и она колебалась, он хотел, чтобы она оставила папу и стала его женой. Мама любила его, но долг, привязанность к папе и жалость, как оставить его, бросить такого доброго, старого, благородного. И был день, когда он ее ждал в Цюрих — помнишь, мама нам вскользь сказала, что мы, может быть, переедем туда? Так вот, в этот день он вместо мамы получил ее телеграмму — «Забудьте меня, не могу разбить жизнь мужу». И осталась в Нерви. Потом он уже женился на Ольге Осиповне, помнишь ее? (Мне кажется, ты все сползаешь, лежишь на краю, подвинься ко мне.) И родился Казик. Мама их навестила в Париже, шутила, что вот и у него, у орла (он так себя звал — «свободный орел») — гнездо. Да, так вот, что-то мне в нем не понравилось. Претенциозность какая-то. Все хотел, чтобы я его звала «Тиче»*, а я вовсе не собиралась его так звать. И какая-то фамильярность в нем, безвкусица.

* Учитель (*англ. teacher*).

Но сказал: «В тяжелые минуты жизни дух твоей мамы витал вокруг меня...»

— Так и сказал? Атеист?

— Да. Это — тронуло. Но знакомства я не продолжала, не захотелось.

— Какая печаль, Марина!

— Да, конечно, печаль...

Где-то ночные стуки, глухие... Кто может сейчас стучать? Папироса чертит огненную дугу, и во тьму падает приглушенный голос:

— Ася, слушай... «К тебе через сто лет»... недавние:

К тебе, имеющему быть рожденным
Столетие спустя, как отдышу, —
Из самых недр, как на смерть осужденный,
Своей рукой — пишу:

Друг! Не ищи меня! Другая мода!
Меня не помнят даже старики,
Ртом не достать! Через Летейски воды
Протягиваю две руки...

И стихи длились — в вечность... Было тихо. Где-то — в кране? — прожурчала вода.

— Это один из самых сильных твоих стихов, — сказала я, до конца дослушав.

И, выговорив, вся сжалась — зачем сказала? Но Марина ответила просто:

— Я эти стихи люблю...

— Я забыла тебе сказать, Марина, что в те дни болезни Валя, когда он лежал у меня «на горке» в том нищем домике, а богатые родители навещали его, ничего не понимая во мне, в нас, мне — одновременно с письмом Тигра пришло — прорвалось — письмо от Коли Миронова. Тебе не удивительно теперь, ты его после видела, но тогда, в дни Гражданской войны... Письмо было из тюрьмы, передал с кем-то...

— У кого ж он сидел?

— У добровольцев. Он же был одним из первых красных офицеров. Ждал расстрела, то есть допускал, что так.

Писал: «Не горюй обо мне. Если будут вести на расстрел, буду помнить о тебе. Я спокоен». И если даже это были слова... письмо дает только их. Во всяком случае, в такой ситуации (и в унисон, как в детстве, мы обе: «Хорошие слова написал...») Какая эпоха, Марина! Коля — красный, Борис — везде чужой, здесь и там. Говорил мне с отвращением, с брезгливостью о карательных отрядах добровольцев, но и к красным не льнул.

— Да, — сказала Марина, — Макс — везде дома, всем говорит свое, — ничье! — убежденно и радостно. Борис — ему не с кем было бы говорить в наше время. Он должен был жить при трех мушкетерах. Или — в Средние века, может быть... — И, вдруг: — Ася! Ты ничего не спросила, и я не сказала: Трехпрудный! Дома нашего давно нет! Разобрали (в восемнадцатом году, кажется) на топливо. Начали соседи, докончила по бревнам типография шестнадцатая, бывшая Левенсон. Стоял брошенный дом... А теперь пустырь. Пройди, постоишь... Я шла, не зная — случайно. Даже качнуло, так странно. Одни тополя, и тех мало. Какие-то обломки взяла, не знаю, куда засунула...

— Господи! — только сказала я. Слов — не было. Нашего дома нет? Совсем! Нигде?

Бездомность наша обрела, наконец, право быть.

— Да, Марина, одну маленькую горечь из прошлого. Александра Михайловна Петрова — помнишь? Как она нас принимала, любила... Макс — друг. Что-то до нее дошло из моих трудных отношений с матерью Вали. Мать Вали, собственно, — хороший человек, она когда-то сидела в крепости, столько сделала для крестьян, но на нее нападали скупость припадками. В старости. (Сильва, умершая семнадцати лет, с ней боролась, ее осуждала ожесточенно.) У Вали с ней бывали тоже вспышки. Она вдруг заподозрила, что я имею какие-то имущественные расчеты на них — я! Ну, Бог с ней. Валя ответил ей, что я ему спасла жизнь, что я ему дороже всего. Ультиматум ей. Я восстала против такого поворота дел, мы уехали в Старый Крым. Может быть, тогда Александра Михайловна что-то услышала? И она, вместо того чтобы — если уж так — мне поставить вопрос ребром, — так она, друг Макса, человек нашего толка, меня, тоже друга

Макса, не только не защитила, как мы бы ее защищали, а стала на сторону осуждавших, со мной обошлась холодно. Мы перестали у нее бывать. Грустно.

— А ты не зашла к ней, Ася, когда голодала, когда уехала от Вали и их богатства, когда отказалась поздней взять от него денег?

— Нет, не зашла...

— Напрасно!

— Не захотелось, Марина, Бог с ней... Такая тоска была в этой раскаленной крымской пустыне с начала Гражданской войны... Керенский, Корнилов, даль к тебе, непонятность всего, смерть Бориса...

И потом — весь этот ужас войны... Семьи, в которых один сын — у белых, другой — у красных! Старую крестьянку спросили, кто же лучше для нее из проходивших войск, — отвечает: «Акто их знает? И те, и те через овсы скакали, и те, и те казаны с печки снимали...» Это — внизу. А вверху! Старик военный, за столом (объявили регистрацию всех, у красных служивших, и я тоже поехала на приказ в город) — уничтожающе:

— Почему вы продолжали работать у большевиков?

— Я не продолжала! — дерзко.

— Почему же вы приехали на регистрацию?

— Потому что я работала у большевиков! Я у них начала работать! По своей книжной специальности, в библиотеке!

До того я в мальпосте разговорилась со старичком, который напоминал мне Василия Васильевича. Педагог. О книгах, о литературе. Вроде как подружились. Потом, при белых, у него оказался их штаб. Я закрывала читальню, когда уж по улицам скакали передовые части. Понесла в Наробраз ключ. А там — двери, столы — настесь, никого. Как сон! И вот пришедшие начали расправляться — у кого-то бороду вырвали, кого-то ведут, поймали, бьют... И опять — вроде регистрации, вызовы, телесные наказания, — учительница, за то, что при красных учила детей в школе, двадцать пять ударов шомполами... Ищут моего начальника по Наробразу и его помощника. Одного, говорят, нашли. Будут бить? Иду к тому старичку. Теперь — важная птица! Говорю:

— Ловят двух, с кем я работала. Устройте — у вас штаб, вас послушают — чтобы их не тронули пальцем. Если их будут

бить — я потребую для себя того же! Продежурю у дверей там, где били учительницу и других. Узнаю о их судьбе у одного, кого с ними вызвали, художника (мужа Ольги Васильевны).

Наверно, папа помог! Тот старик знал, чья я дочь. Рассыпался в уверениях, что будет исполнено.

— Ну, смотрите! Если не хотите, чтобы били меня...

Проводил до ворот, поцеловал руку.

— Вы новая Жанна д'Арк... — И я полдня продежурила. Ну, тех не тронули, не обманул.

Но вообще... «и те через овсы скакали...» — как сказала крестьянка.

Послышалось что-то невнятное, точно голос издалека.

— Марина, спишь?

Молчанье. Заснула на полуслове, как мы всегда засыпали. И только тогда я, в трезвости внезапного огляда на комнату, увидела, что она почти светла. Уже был утренний светлый четырехугольник окна, и был светлый звук птичьего щебета, и был утренний холодок, только по углам еще таился синий рассвет, за шкафом, шарманкой, чучелами двух лис, за портретом Сережи и гравюрой Наполеона II, в пыли и во мгле — упрячилась майская ночь.

Тихо, чтобы не разбудить Марину, я сползла с дивана и вышла через темную комнату — в детскую. Там, за тремя голубыми небесными окнами залы расцветал день, золотя тишиной первых лучей косо брошенным узором стены. В двух постелях над крепко спящими детьми ликовал сон. Он был густ, как мед, сомкнувший ресницы и рты. Он был густ, как миновавшая ночь пересказов минувшего. Густ, как густа жизнь, которой не пересказать, сколько ее ни рассказывай...

Я постояла, слушая стук сердца. Но хотелось есть, голова кружилась, я почувствовала, что сейчас упаду. Больше не было в этот час прав длить бдение, подслушивание, подглядывание утра, первого утра в Москве после четырех лет отсутствия. Как тень, я вернулась в полутемную Маринину комнату и легла рядом с ней.

Она шевельнулась. Я подняла голову, чтобы еще раз ее увидеть. Понять, ощутить: Марина! Я — с ней. Мы — вместе, как в детстве. После всего, что было! Она лежала на правом

боку, волосы были со щеки откинуты, глаз закрыт и вокруг него — тень. Чуть вздрагивала дыханьем ноздря, равномерно. «Какой гордый рот...» Это была моя последняя мысль. В этом сне, в то утро мы были счастливы вместе, как в детстве.

Глава 2
ЖИЗНЬ МАРИНЫ. НАШ ДОМ. ЛЁРА. ДРУЗЬЯ.
ДРАКОННА. АНДРЕЙ

Может быть, потому, что первый наш день был неразрывен вместе и перешел в ночь, а та — в новый день, я не сразу и не знаю когда — поняла, что Марина для встречи со мной вышла из своей жизни, что эта жизнь идет — и пойдет, как до меня, сколько она ни писала в письмах ко мне о необходимости встречи и жизни вместе — жизнь пойдет врозь. Правда, мое сознание сразу же уловило в Марине какие-то наставшие перемены, что-то, через что «не перейдешь». Но, может быть, я тут приписала волнению и всегдашней застенчивости — больше, чем было надо. И только через много времени я поняла, что не только прошедшие врозь годы стоят между нами, — хоть мы, казалось, и рассказали друг другу в первые ночи, в наши без малого двадцать девять и двадцать семь лет, «все». Колдовство было, может быть, сильнее и проще: между нас стоял человек. И о нем Марина говорила мне мало и скупно, как бы оберегая тему от моего понимания — ревниво и гордо желая этого понимания — избежать. С этим человеком она меня познакомила — в той же своей пылью заросшей волшебной комнате, где были когда-то Миронов, Сережа, Борис, Мандельштам, Соня Парнок, Чурилин, откуда вышел развенчанный Никодим, над которой веял образ Маврикия Александровича. Мне навстречу из кресла встал, чинно, князь Волконский.

Это был высокий, черно-седой человек, и единственное, что я признала в нем — это была «порода». Но, как мне показалось и продолжало казаться, — это было все. То есть — в нем были и ум, и достоинство, и воспитание, но теплоты, души, сердца — ? Из краткого рассказа Марины я знала, что

их первая беседа по телефону была почти хамством со стороны сиятельного гостя. Как и то, что ее горбом, терпеливо несшим такое начало, была куплена эта дружба и его уважение, с которым он посещал ее, благодарный за ее героический труд – переписывания его сочинений!

«Быт и бытие» звалась его книга – очередная из его книг – философа и театрала, оригинального, европейского масштаба, мыслителя и causeur (собеседника). Не оценить Мариной верности в увлечении его обликом – Волконский умом не мог. И воспитание привело его к некоему минимуму отношения (для него – максимуму). С ролью Марины в этом «союзе» я никогда не смирилась – и это (а, конечно, не личная моя ущемленность в том, что он у меня отнял Марину) отвратило меня от него. – Марина не позвала меня в его приход – вторично, и я не сделала ни единой попытки сближения – и осторожно избегала темы о нем. Цикл «Ученик» («Ремесло»), ему посвященный, был написан, конечно, не ему, а воображаемому князю Волконскому.

И фоном всем метаморфозам, вместо лиловости тихого осеннего утра над Феодосией, – эта, трущобой ставшая, старинной украшенная когда-то квартира... Даже трудно этот фон Мариной жизни – сказать: к стенам двух первых проходных комнат (бывшей столовой и темной, где жил до пуда черной муки за него – коричневый тарусский рояль) отодвинутые обломки и залежи мусора, не убираемые, не вынесенные на помойку в течение многих лет. Меж них отметалась дорожка – пройти в задние комнаты, к Марине и к Але, над ними царил все еще не изрубленный – реликвией – Сережин диван, унесенный сверху из его комнаты, где теперь владычествовали самогонщики (скандальная хмельная семья, не задевавшая прямо Марину лишь от некоего страха к ней, непонятной, с поднятой головой живущей среди такого, равнодушно не задевавшей их).

Тут, перед бывшим камином, себя забывшим нацело и навеки, жил маленький очажок огня, печурка, варившая, как колдовское зелье, – Маринину фасоль (почти единственную пищу ее, добываемую любой ценой на Смоленском рынке), ее черный кофе в татарском феодосийском медном кофейнике и Алины муки: каши, и посредине, под потолочным окном, за небольшим некрашеным столом в трущобе произ-

растали стихотворные пьесы о Лозэне и Казанове под дым вручную набиваемых табаком гильз.

И вот этого моя — наивность? природная ласковость? мечтавшая о диккенсовой перемене всего в один час, — не стерпела. Видеть Марину в такой несусветной грязи! Пусть она ходит в шушуне и ремне с сумкой через плечо (радость мальчишек) — это стиль, если надо. Но грязь... и я кинулась в первый же ее уход из дому — убирать: рьяно, просто чистить, мыть, мыть и гладить маленьким заржавленным утюгом — полотенца, наволочки, рубашки, чтобы хоть отдаленно-белыми стали! Посуду! Паркет! Я не успела сделать и половину, когда вернувшаяся Марина — равнодушно? Нет, за меня стесняясь (зачем?! бесполезно, насильно ей навязать — что? то, что ей совершенно не нужно!).

— Знаешь, Ася, я благодарна, конечно, ты столько трудилась, — но я говорю: мне *это совершенно* не нужно!.. Тебе еще предстоит столько для себя и Андрюши, — и (уже негодуя и протестуя): — *Не трать своих сил!*

И был, как привкус душевной тоски за ее каждым движением, рассказом, так тут было чувство обиды, глухой, ей мной нанесенной в этих наволочках и рубашках, полотенцах, паркете. Я не повторила своего навязанного труда. Еще чуть сжалась, уже предвидя разлуку, близившуюся. И эти приходы Волконского, и чувство, что я мешаю. И все-таки сквозь все это один вопрос не смолкал: в чем же разница наша? Разве меньше пережила я в огне Гражданской войны, в голодных болезнях, в утрате моих самых близких? С какого-то перепутья Марина и я шагнули по разным дорогам — и ужели теперь не шагать по одной, как встарь?..

Военное учреждение, куда меня вызовом на работу устроила Марина, помещалось на Никитской, ходить мне туда было близко. Школа грамоты, которую мне поручили устроить, не была мне трудна после работы в Феодосии по организации народных читален. Но и в ней был элемент фантастики, присущей тому времени. Что-то нереальное было в сборищах старых и пожилых женщин, которых я должна была учить чтению и письму. Мне было двадцать семь лет. Это были мои матери по возрасту, и, будь я лучше одета, имей я за душой что-нибудь, — моя настойчивость в намере-

нии их учить грамоте непременно показалась бы им барством: потому что они — не хотели учиться. Две трети или три четверти их жизни прошли без участия букв, и остаток ее никак не стремился к буквам. Буквы представляли им нечто столь же ненужным, как и недостижимым, и были юмор и усталость в их голосах, покорно тянувших слоги, из этих букв складываемые. «Мы не рабы» — бесконечно медленно усваивали они. «Мы не бары» — гласила следующая строка. Но я, хуже их одетая и очень вежливая, жившая среди недоступных им книг, мирила их с буквами. В их глазах двоялось уважение ко мне и жалость к моей невеселой работе. Это строило между нас — мост. Сваи же этого моста были реальны, понятны: все мы — они за подметанье и мытье полов с часами учебы, я — за уроки им — уносили из ворот громко звучащего учреждения, где сновали по глубокому колодцу двора красноармейцы, паек, состоявший из хлеба, талонов на получение овощей, селедок, крупы, жиров, мыла и спичек, и обещание к зиме — дров. Это было то, что давало приблизительную сытость, оставляя однако часы и часы на по-иски приработка.

Марина говорила мне о знакомстве с пожилым профессором Коганом, с которым между всех своих разношерстных знакомств вела дружбу. Слышала я и о желании увидеться со мной старшей нашей сестры Лёры, не виденной мною еще до Александрова, и какой-то был слух о Дмитрие Ильиче, отце Гали Дьяконовой, и о друге Маврикия, будто бы узнававшем, устроена ли я (фамилия его была Зайдман, он ведал чем-то в Московской кустарной промышленности). Намечалось свидание с братом Андреем, шел слух о Володе Цветаеве, сыне умершего за год до того дяди Мити. Быт Марины, Волконский, Алина детская, где дети противились салу, в них насильно нами вгоняемому, — среди обломков игрушек Аля и Андрюша, жара московского лета, мои угрюмо-добрые бабы, чтившие меня и презиравшие грамотность. И Маринин упорный стихотворный труд — вот летние дни 1921 года.

— Она так богата, что вообразила, что — больна... — сказала мне Марина о какой-то знакомой издательнице. И в юморе — взлетевшая бровь.

Часто в рассказе о ком-то, как горько-юмористическое резюме — «ублюдок». (В более добрые минуты — «петухив...»)

В своих встречах с Волконским она, как в шалаш из сплетенных ветвей дремучих лирики и романтики, пыталась скрыться от точившей ее тоски о Сереже. Где он? Что с ним? Как он, с пятнадцати лет больной недугом века, уведшим нашу мать и столько с ней в те годы лечившихся, как он вынес годы войны, голода? Жив ли он? Этот озноб никогда не оставлял ее — он сжигал. Медно-желтое ее лицо с глазами, никогда теперь не глядевшими прямо и весело — всегда вбок и вдаль, всегда, как она писала, «в апофеозе папиросы», дымом закрывавшееся, как тучами месяц, казалось, рвалось прочь — от всех.

Этой тоски не могла, конечно, затушить ни радость свершившейся наконец нашей встречи, быстро окунувшейся, споткнувшейся? о разницы у нее и меня. Но после каждого расхождения, спора (о воспитании детей, о каком-нибудь случае, по-разному воспринятом) — вслед за ними шло чувство вины Марины передо мной за резкость. И какой-то знак внимания и любви.

Что-то разное в наших характерах отразилось разницей в наших отношениях — к быту. Я, как ни упрощала нужда процессы вокруг еды и одежды, все же старалась бодро и весело, сколько хватало их при истощенности и усталости, — отстаивать привычный модус. На это уходил, сверх работы, день. На дневник оставались тощие часы сна. Марина и день и ночь отдавала труду над стихами. Привычный быт вокруг ребенка она давно и безвозвратно забросила, приравнивая Алю к себе. Она требовала от нее большего спартанства, чем я — от Андрюши. Упорно и сурово откармливая ее после Ирины, она вернула ей здоровье. Чуть моложе Андрюши, Аля выглядела старше и крепче его. Может быть, в разнице, скоро сказавшейся в деле ухода за детьми, сыграл роль еще факт Андрюшиного тяжелого бронхита, которым он заболел почти сразу после приезда из Крыма. Так или иначе, несогласия в том, что надо и что не надо, — обозначились с первых же дней. Но крепко стояло на ногах наше сходство, ни с кем иным не разделяемое в такой мере, что Марина и я давно забыли — отмели — отменили ночь как сон. Мы не ложились спать, как прежде. Работа шла вне часов.

Засыпали глубокой ночью, часто под утро, когда уже руки не двигались, глаза закрывались.

С презрением смотрели мы на жизнь людей, по-прежнему живших. Резкая разница в обеспеченности нас окружавших и брошенности нашей держала еще выше *наши* головы. Казалось, мы не только легко приняли трудности наставших лет, но даже будто охотно сжились с ними. Задор, переходивший в гордыню, был, конечно, у Марины горше — гордость ей всегда была свойственна. Но и я, с детства не очень здоровьем блиставшая, на диво многим справлялась с полуголодным житьем, скудным сном и тасканьем всего, что тогда на плечах — и не только на них — в дом вносилось. Помню, как однажды зашедший к Марине Н.А.Бердяев — широкоплечий, высокий человек — не поверил, что те два толстых метровых бревна, что лежали на полу, связанные веревкой, были пронесены через всю Москву и втащены по лестнице — мной, худенькой, бледной женщиной.

— Это просто невероятно! — сказал он. — Я бы не смог!

— Я двадцать восемь раз отдыхала, присаживаясь у крылец, — отвечала я с юмором, — бревна качали меня, как адовы крылья, но я не упала ни разу!

— Ася с Брянского вокзала тащила их, — сказала Марина, — там даром сбрасывают возчики то, что тяжело лошадям, женщины рано утром их стерегут — и потом тащат через Москву...

Яркие, темные глаза Бердяева, философа-идеалиста (имевшего в Москве квартиру, жену, приличный по тем временам быт), вежливо, дружески, сочувственно смотрели на чудовищную картину разрухи, явленную в доме Марины. Через год он с плеядой близких по духу был выпущен за границу.

Наши дети: им было без двух и трех месяцев девять лет. Аля — рослая, стройная, с густыми, у шеи подрезанными русыми волосами, с невероятными по величине светло-голубыми глазами походила — подъемом пышной головки на стройной шее — на некую Викторию Регию среди обычных цветов и детей. Это была красавица. Но гортанный ее голосок таил самосознание и насмешливость. В глубине взгляда было лукавство, Марину она обожала, но ей нередко приходилось (как и Андрюше от меня) плакать от суровости ма-

тери. В страстном выражении привязанности ее к Марине мне казалась доля игры и лести. Матерью она любовалась, гордилась, но и боялась ее; гордость ее часто терпела от Мариной строгости, с трудом верилось, что она прощает матери так легко, как это показывала.

Андрюша, тоже очень красивый и раннего развития ребенок, явно боролся со мной, часто плакал гневными слезами и нежен бывал, лишь ложась спать, прощаясь на ночь. Он играл в куклы, сочетал в себе женственность и мальчишество.

Алины — рост, тяжелая от густых волос голова, тяжесть черт, громадность глаз — это было другое измерение, рядом с которыми Андрюшино изящество, легкость, подвижность, колокольчатый голосок, рассыпчатая золотистость волос, легких, грациозность улыбки прелестного рта и мгла широко раскрытых больших темных глаз над тонким прямым носом — было как бы явление из других зрительных и слуховых областей. Он был полон волшебного обаяния, которое мешало дознаться до его сердечного холодка, до того (Борисова, отраженного в сыне) предела, за которым лежало нежданное, непонятное — в ответах, в поступках и в умолчании, о которое можно было биться — бесплодно. Но этих трудностей никто, кроме меня и Марии Ивановны, в нем не касался, для всех он был просто грациозный красивый мальчик, привлекавший и очаровывавший. Я сама постоянно им любовалась. Он ходил и на отрока Варфоломея с васнецовской (нестеровской?) картины («Явление»), и на в четырнадцать лет погибшего царевича Алексея (красавца). И все же в присутствии Али он очень терял. И его вундеркиндство было тоже другого типа — он иногда изумлял; она — поражала.

Хоть Андрюша был ловок и увертлив в моем быту с ним, но в обществе насмешливой Али он был невинен — тою несравненной Борисовой чистотой благородства — верней, благородством чистоты, являвшейся всегда как подарок, как откровение и как укор суду над ним. И была в этой чистоте застенчивость, скорлупа ее таившая, отвергавшая похвалу. В то время как лукавство Али шло лабиринтами, запутывая за собой ходы, как за ее тезкой и прародительницей Ариадной. Нить ее путей — ума, сердца, казалось, была в руке Марины, — но, может быть, и это было обманом зрения и талантливостью ее, уже полуженской (полузащитно-детской)

игры. Рядом со сложностью соотношений Марины с девятилетней Алей мой уют и моя борьба с Андрюшей были — просты. Меж нас бой был явен, почти не прекращаясь (может быть, ему просто был нужен отец?). Меж них зрительно все было неясно, тревожно, необычайно.

Раннестъ Алиного развития умственного, талантливость ее рисунков, тонкость ее слуха к стиху — потрясали. Но в ее обожании матери мне (и не только мне, как я позднее узнала) чувствовалась фальшивая нота. Ее, однако, Марина (в те годы, по крайней мере) не сознавала совсем. Обе они — даже от нас с Андрюшей — были отделены завесой ревности: Марина ревновала дочь к каждому, Аля ревновала мать. Но жизнь — щедра, слепа, берет и дарит и мешает все краски. В детской — сливался в один наш негодующий крик на детей: вскрыты залежи пшенной каши, обоими засунутой по углам.

И вот на том месте, где когда-то был покрыт травкой двор наш, Трехпрудный, — между домом, флигелем и сараем (а в нем — санки, оставшиеся от исчезнувшего коня); где кипела родником жизнь — «Когда мы еще были дома, / Когда тополя цвели, / Когда в дождевой пыли / Мы кружились под рокотом грома» — я стою одна, став старьевщиком и, роаясь в мусоре, древесной пыли, обломанных кусках кирпичей, подбираю — нашла один и другой — блестящие кусочки кирпичиков — снизу грубо рыжий, сверху — бело облицованный, с синей каемочкой, обрывающейся... Нет сомненья! Это — клочок нашей печки из детской, только там было синее по краям, уютное, как игрушка. (Внизу печи был один белый блеск, парадный, торжественный). Бережно, как ювелирную драгоценность, кладу в карман два кусочка: один — Марине, другой — себе. Обломок дерева, маленький, в нем гвоздь.

...Ком штукатурки, шерстка пакли... Последние могикане когдатошнего уюта — как страшны они в моем наклонившемся к ним старьевщицьем одиночестве, посреди всем равнодушного пустыря. Прохожие, спешащие мимо, — я так равнодушна к ним, к их — недоумению: что я делаю здесь, откуда унесено все. Я стою и в воздухе меряю, прикидываю, вычисляю, перемериваю глазную ошибку: где кончался дом и шли трава и мостки, где — наискось — поворачивали они

к кухне, где была — деревья исчезли — собачья конура. Так, вот там были ряды акаций с желтыми цветочками. Здесь выступ дома, лесенка черного хода? Где же тогда шкатулка парадного, полосатая, белая с красным? Закрываю глаза — все стоит. Открываю их — ничего. «Это кладбище!» — понимаю я вдруг в кажущемся освобождении от тоски, безымянности. Легче, когда назовешь!

Летний вечер тих. Призрак залы, люстры, рояль. Кажется, будь ненастье — было бы легче. В тишине и тепле катастрофа уничтоженья — страшней... Хорошо, что есть долг, память о сегодняшнем дне. Что надо куда-то идти, добывая, что-то делать... А то бы — не перенести — пустырь! (Много лет спустя на том месте построили четырехэтажный кирпичный дом. Я, живя с 1921 года по 1937 в Москве, избегала ходить Трехпрудным. А когда в 1959-м я впервые вновь там прошла, на месте, где мы родились и росли с Мариной, стоял совсем другой дом: в нем было 6 этажей, и его выросший, как во сне, в сторону, бок образовал угол на бывший там переулок. И прошло еще много лет, пока я узнала, что было: в войну тот, четырехэтажный, был разрушен бомбой. И построили, не зная, что строят по предсказанию Марины, — дом в шесть этажей.

Домики с знаком породы,
С видом ее сторожей,
Вас заменили уроды
Грузные, в шесть этажей...

Предсказанье поэта — пророчество...

— Ты, Настаська? — знакомый, Господи, как давно не слышанный голос, смеющийся, и в сумрак под потолочным окном входит — Лёра! Все та же! Нисколько не изменилась, кажется мне, пока я спешу ей навстречу. (Чем объяснить, что некоторые моменты жизни, как поплавки на воде, как плоты — все плывут бок о бок, будто они не прошли тому назад много лет. Их зеркальное отражение в памяти полнолично владевает над душой, отвергая Гераклитову протекающую реку, в которую не вступаешь дважды. Не вступаешь? — смеется Память, — да я стою в ней!..)

Лёра идет мне навстречу, невысокая, в чем-то светлом, и я запоминаю — до моих восьмидесяти восьми лет — ее маленькую, круглую, из белого тюля шляпу со стоящим над нею эспри. Ее смуглое лицо, родные черты, зеленоватая тень глаз, и какая-то неповторимая ее ужимка дразнящего смеха, гримаска рта, через миг становящаяся поцелуем, рукопожатием (как знакома маленькая крепкая рука), тормошением меня, похлопыванием по плечу и вопросами — как, что, где — и — «Ну, дай-ка я на тебя погляжу, ну, покажись, какая стала... Худющая! А так — ничего, — живая, скажите пожалуйста! И твой это такой большой мальчишка? Приехали! Молодец! Знаешь, многие бы не вынесли, что пришло тебе. Настаська, ты — молодчина...»

Я не помню, была ли при этом Марина. Думается, ее не было. И в протекшие без меня годы — вряд ли я ошибусь, сказав: они если и виделись, то — случайно. Друг у друга они не бывали. (О брате Андрее Марина — мне: «Заходил несколько раз. Всегда неожиданно. Так, присядет, поговорит... «Я пошел». Мог ли помочь, когда я с детьми голодала? Не знаю, может быть, и не мог — но у него дома — костюмерша из Камерного театра. Не видала ее — говорили. Знаешь, мужчины обычно — в руках в таких случаях? Впрочем, называли еще раньше — тоже из Камерного — Уварову. Ту раз видела — пепельные волосы, пышные, голубые глаза. Мила... Но не знаю, ведь врут тоже». — «Где он работает?» — «Точно не знаю. Что-то по картинам, по старине. Говорят, знаток. Ты непременно с Андрюшей к нему сходи, о тебе спрашивал. Тебе-то поможет, думаю. Уж тебе не помочь! Два мужа умерли... Все пропало, и ни кола ни двора! За серебро в закладе и бриллианты твои он, по-моему, первое время вносил, а потом... О тебе слышно не было — выкупить, возможно, и не мог, Ася! Все прахом летело, я — на все махнула рукой!

Андрей хоть и скуп, но добр и Андрюшу, наверное, пожалеет. Как-то Але подарил — браслет. Покажу. Чудак он, Андрей, но что-то в нем трогает... Да, Ася, у меня сохранилась в сейфе одна твоя рукопись. Повесть «Скарлатина» — вспоминаешь? И книга с надписью Коли «О подражании Христу» Фомы Кемпийского... Да, такие дела... В маленьком сейфе у меня уцелели...» — И — подавленный вздох и отсутс-

твующий взгляд. И — за стол с тетрадами и листами, с черным кофе и коробкой гильз, с рассыпанным табаком.

... Чердак — каюту.

Моих бумаг божественную смуту...

В моих руках толстая голубая растрепанная тетрадь. «Скарлатина, или Власть». Повесть. 1915 год. — Дориан, Коля, Маврикий... Сердце — в ком и на части. К кому — с этим? Марина уже ушла в свою тетрадь. Кому повем печаль мою? (О — кому?) Мне Судьба сохранила Колин подарок — «О подражании Христу». Небольшая, коричневая, с потертыми углами, кожаная, старая, как мир, книга. Да, ее я буду читать... Но ведь Коля был неверующий? Был? Но и есть... Где-то, «глухо, далеко», как писал Тургенев о Лизе Калитиной и Лаврецком... Но о Коле мне не хочется говорить с Мариной. В 1919 году он был здесь — «Ворвался с огромной чудной собакой! Тот же! Точно молодость с ним вошла. Без конца бродили. Потом — канул. Год назад я узнала: женат, дочка».

Мне Марина не сказала, из деликатности (?) — не помню — или сказала: «Дочку зовут — Марина». (Не Ася! — только и отозвалось — во мне.) И — ни слова. Ни вопроса. Уже после ее отъезда раз, в ее записной книжке — сокровенная ей о Коле строка. Моя рука, не дрогнув, закрыла странички — и не тронула их до моего отъезда* еще через пятнадцать лет. И канула их встреча — навеки. «Не мне подсудно, Богу! Коля...» — подумалось мне тогда.

С моей встречи с Колей Мироновым весной 1917 года (за два, может быть, месяца до моего отъезда с детьми в Крым и до смерти Маврикия и Алеши) тогда, в 1921 году, шел пятый год. Прошло еще двенадцать, и в 1933-м (о котором не буду писать) ко мне вошел Миронов, после шестнадцати лет. Не в теме ход и смысл нашей встречи (оставшейся, победив страсть, дружеством) — сейчас. Здесь я только о том, что я и его не спросила — о 1919-м, с той собакой. Раз Марина — вскользь, осторожно... Он — тоже мне не сказал — и разве мой вопрос был бы уместен? К чему? Мне ли, с ним нарушившей ради верности этому чувству мой второй брак,

* Ареста в 1937 г.

разорвавшей сердце Маврикию, — упрекнуть его за то, что — любовь бросила его и Марину друг к другу? Была ли это измена? (О да! Бóльшая, чем женитьба.) Нет! Не о нас ли написано о первой любви к человеку в стихотворении Марины «Втроем» —

Так же изменчивы, так же нежны,
Тот же задор в голосах,
Той же тоскою огни зажжены
В слишком похожих глазах...

Они пощадили меня оба — в их мне, об этом, молчании. И об имени его дочери я не сказала ему ничего: ответила на пощадку — пощадой. Но на мою верность Миронову (за измену Маврикию) Бог законом возмездия неминуемо, как дыхание жизни, — мне послал смерть и Маврикия, и Алеши. Это я накрепко знаю до сих пор. А Марина — после моих слов ей о прохладе моей в 1917 году — встречи с Колей — даже и получила, собственно, право на свободу своей встречи с ним...

В Милютинском переулке, в большом дворе при католической церкви, стоял флигелек, в нем жила Лёра. Я поехала в него с Андрюшей в летний день, и это было как сон: костел — память о Лозанне, и другое воспоминание — о дне моего отрочества, когда я была в этом или соседнем дворе на именинах у моей учительницы Марии Исидоровны, маленькой седой старушки с мелкокудрявыми волосами, которая приходила в Трехпрудный давать мне уроки, когда я после смерти мамы училась дома, готовясь в третий класс. В гостях у нее были мальчик и девочка, и нас угощали шоколадом из больших чашек и тортами, а потом мы играли в этом дворе в игры, бегали, прятались.

...Как недавно это было! И как это может быть, что моему сыну почти столько же лет... Но он другой, я ему это не могу подарить, слиться с ним в этом воспоминании, как мы сливались с мамой в ее рассказах о ее детстве, мой тот день ему совсем не нужен, он будет нетерпеливо скучать, слушая... Прочь, вперед! Я спешила к Лёре — опаздывала — заспешила еще больше — забыться во встрече с ней, но, только перешагнув порог ее — меня колыхнуло продолжение сна:

вещи Трехпрудного, запах Трехпрудного — и еще боль: Марины нет, и их расхождение с Лёрой не введет ее в эти комнаты, где бы она — хочет не хочет! — вдохнула наш дом... чашки! ...Темно-красный диван с черным клеенчатым ободом, осенью 1911 года мы сидели на нем так часто, и Борис, и Сережа с нами... обоих их взяла судьба: одного — смерть, другого — жизнь, непонятная, тоже, может быть, уже ставшая смертью.

Лёрин родной голос колдует, чай с молоком, сытное вкусное угощение — но боюсь, что Андрюша совсем иначе все это видит, чем я, не знает, кто мне Лёра и ее добрый друг — большой, веселый, заботливо нас кормящий, светлоглазый, густоволосый — он тоже не изменился с тех лет, когда еще не было на свете Андрюши.

Говорили, говорили, я рассказываю о мытарствах прожитых лет, они оба слушают молча, со сдержанной — чтоб не обидеть — добротой, и уже крадется тоска, что сейчас надо встать и идти — опять в свою жизнь, неустроенную, непонятную, из этого уютного мирка с картинами, скатертью, мелочами прошедшего — бисер, дагерротип, альбом и та самая — она! — подушка, где на атласе рукой Лёры, в детстве, цветы... И вот я уж встаю и прощаюсь, Лёра все сует и сует в руки пакетики и свертки, конфеты Андрюше, и зовет приходить, и хлопает меня по плечу. Зелень ее глаз — цвета Марининых. И стал этот Лёрин мирок моим — хоть и редким отдохновением, год за годом, несколько раз в год.

Я не помню, у Марины ли живя в то лето или позже, я увидалась с братом Андреем. И свиданья не помню: увидев Андрюшу, худого и бледного, он предложил мне приходить брать обед для него (и на двоих хватало!), и я долгое время ходила к нему. Жил он тогда где-то в районе Садовой. Помню, как я раз, спеша, налетела на не замеченную по близорукости веревку, преграждавшую путь, и полетела, разроняв глиняную банку, в которой носила суп, и тарелки — но чудом не пролила или только шла за ней — потому что урона и горя не помню.

Андрея я часто не заставляла, еду мне наливала его дама, З.Н.на, бледная, полная брюнетка. По воскресеньям мы всегда обедали у них, Андрюша расцветал от сытости и вида краси-

вых старинных вещей, а я наблюдала и не понимала отношений брата и З.Н.: она таила раздраженность, он же был явно небрежен с ней, почти враждебен. Ко мне и Андриюше З.Н. была любезна и даже, может быть, сердечна, хотя, наедине со мной, говорила о том, что им материально трудно, намекала на какие-то неудобства. Но отказаться от их помощи я не могла.

Андрей больше изменился, чем Лёра. Ему теперь шел — тридцать второй год (ей — тридцать девять). Он стал совсем взрослый, суше, хуже; жестче выражение губ, короче наблюдающий взгляд. Ушла из него юношеская прелесть, придававшая его чертам романтичность и сходство с юными генералами 1812 года — теми, которым Марина посвятила стихи. Волнистые темные волосы его не колеблются при движении надо лбом, они короче, почти лежат у висков. В его застенчивости окончательно поселилась угрюмость. Он молчаливее, не поддразнивает, не шутит, только спрашивает кратко и после ответа долго молчит — подбирая вопрос?

Еще чуждее мы. Присутствие ли З.Н-ны мешает ему о себе рассказать или не хочется, но его гостеприимство так малословно, что мне в его присутствии — тяжело. Это почти аудиенция, и я невольно стремлюсь к минуте, когда, простясь, перешагну порог, с горечью и недоумением памяти о стольких годах — все детство и часть отрочества! и часть юности... проведенных под отцовским кровом. Как — да и зачем — напоминать ему о моих подругах, им увлекавшихся, о вечерах в нашей зале в мои шестнадцать, семнадцать, его двадцать и двадцать один год... Жизнь стала суха и горька, трудна и для какой-то степени сытости требует всех сил человека (а от него еще и необходимости уделить от себя — вот мне и Андриюше...) Мне трудна (почти физически, плечам) благодарность, которую я чувствую за обед Андриюше, и деньги, изредка, молча из кармана вынимаемые и даваемые мне. Я становлюсь Камковой, которой дает помощь брат?

Смутно я чувствую, что он не совсем понимает и, может быть, не одобряет моей одинокой жизни со случайным трудом, не дающим мне «прожиточного минимума», как теперь говорят. Слово «паек», из моего рта не выходящее, в его рту не живет. Тип труда, им себе выбранный в стране, воз-

рождающейся к культурным началам (он работает в Музее сороковых годов и считается, говорят, знатоком, связан с Главнаукой и РАБИСом) дает ему другие возможности, чем мне. На столе его не роскошно, но добротнo, строго, «как должно быть», — те предметы питания, к которым он привык с детства (оно идет, разумеется, с рынка) и от которых Марина и я давно отвыкли. Работает он, может быть, не меньше моего, но «по специальности», и это делает его быт совершенно иным. Мой и Маринин революционный быт с ночами без сна, с хлебом, как радость, «жирами» — как достижение и с огромной потерей сил и времени для убогой стирки, для таскания на себе дров, овощей, кирпичей для (неужели будет она, кирпичная?) печки — к брату Андрею не был на порог впущен. То, что казалось, с улыбкой (в нем, юноше), «вельможным», осталось и ныне. Но, зорко исследуя необходимость, он помогает — кому в получении труда, кому — вот мне — и деньгами. Марине? Почему он не помог ей в голод, в годы болезни детей и смерти Ирины? Слыхал ли он о них? Мне неясно. После Ирины Марине дали академический паек, позволяющий жить скудно, но без службы в госучреждениях. (О своих попытках служить там — ею написан рассказ «Мои службы».) Смутен слух, но он при Маринином презрении к законности, может быть, и был явь — что ею была продана Андреем к ней на время поставленная мебель его знакомых, был слух об объяснении об этом Андрея с Мариной, но на эту тему Андрей молчит. Знаем, что Сережи нет, где он — неизвестно. Знает он, что Маврикий Александрович умер в 1917-м скоропостижно, что Борис умер в первую эпидемию сыпного тифа. Он не спрашивает меня, но (это, впрочем, пришло несколько месяцев спустя) глухо, должно быть, считает, что мне бы ради Андрюши следовало «устроить свою жизнь». Но он не выговаривает этого, а продолжает звать обедать, обещает сшить Андрюше шерстяной костюмчик и поговорить в Музее русской старины, не будет ли мне там работы. Стараюсь, чинно улыбаясь, из-за Андрюши, не подпустить — всем усилием воли! — уж давным-давно просятя, рвутся — слез к глазам. И, выйдя, еще на лестнице, оживая, сыну:

— Наелся? Сколько котлет съел? Две? Не врешь? А суп — две тарелки? Молодец! И два куса пирога?..

Глава 3

ВИНОГРАДОВ. НИЛЕНДЕР И СОЛОВЬЕВ. МОЯ РАБОТА

— Ася, сказала мне Марина, — я забыла тебе рассказать про Толю Виноградова. Знаешь, какой пост он сейчас занимает? Помнишь, как папа его опекал, устраивая на службу в Румянцевский? Так он теперь директор там*. Очень важен стал. Его все боятся. Тебе непременно надо к нему пойти — противно? Преодолей себя для Андрюши, советую. Ему ничего не стоит тебя хорошо устроить, тем более, что ты уже работала в Феодосии в библиотеке — неужели он посмеет тебе отказать? Столько лет любви к тебе... И пойди непременно с Андрюшей! Он такой красавец, таким «маленьким лордом» выглядит.

— И он маленьким так восхищался им. С фронта, в 1915-м писал мне о нем: «Я не знаю более прелестного ребенка...» — Иди прямо на дом — у него квартира почти рядом с Музеем. Женат. Я писала тебе — одевает жену как куклу, ботинки ей зашнуровывает. Я ее не видела, но кто-то мне говорил. Да, недавно сын родился. Толя может тебя на любое место устроить, чудный паек тебе дать — он там царь! Должен же он вспомнить, как бедным студентом его туда папа взял! Пойдешь? Интересно, как будет... Вы сколько лет не виделись?

— Лет шесть...

— А завтра мы с тобой пойдем к Гольдманам. Чудная семья, друзья настоящие. Очень нам с Алей помогали все эти годы. Когда туго приходилось, сколько они нас кормили! Мать — увидишь ее, старше нас, но выглядит молодо — само сердце! Такт, доброта... Две дочери двенадцати и семи лет. А мальчик — я уверена, ты тоже это скажешь, — очень похож на Андрюшу, когда он был маленький. Глаза темно-серые, прямой нос, пухлый рот, я сразу сказала: маленький Андрюша! Живут в Брюсовском — близко. Отца их с ними сейчас нет, за каких-то знакомых попал. Тех выслали, а его — «проверяют». И когда беда стряслась — она молодец! — не растерялась, семью ведет, как при нем. Его выпустят уже скоро, наверное, — умница-юрист. Ума палата! Завтра пойдем к ним. Это будут тебе друзья, как мне.

* Теперь это — Ленинская библиотека.

— Пойдем. А как Драконна, Марина?

— Ты разве у нее не была?

— Была на другой же день! Не застала.

— Все та же, но постарела очень. Ей тоже пришлось нелегко. Сейчас с ней сын. Вернулся с войны. Кажется, женится. Что-то не очень подходящее. Трудно ей будет жить с такой женщиной. Такие дела... — и Маринин отсутствующий взгляд.

Руку на плечо восьмилетнему сыну, подхожу к тяжелому каменному зданию близ бывшего Румянцевского музея. Парадная лестница. Высокие двери. Утишая сердцебиение, нажимаю кнопку звонка. (Эта кнопка, хладная к пережитому, к годам голода, к взрыву пороховых погребов, обстрелу берегов из орудий, бегству армий, нападению «зеленых», высадке «анархистов», привезших — из Турции — на базар орехов и турчанок (предлагая их за недорого в домработницы), кнопка звонка в квартиру Толи Виноградова, любившего меня с моих четырнадцати лет, взрывает во мне — не хуже тех погребов, пороховых, память о юности... Но уже шаги. Отпирают. Силуэт полной высокой женщины. Руку на плечо сыну, говорю, став на пороге:

— Могу я видеть Анатолия Корнелиевича? Он дома?

— Как о вас сказать?

— Анастасия Ивановна Цветаева.

— Сейчас скажу. Подождите.

Уходит. Стою, замерев. Это та, которой он зашнуровывает ботинки? Успела увидеть полный овал щеки, каштановую прядь. «Что-то милое». За дверями в комнату гуденье голов. Возвращается.

— Анатолий Корнелиевич просит вас в кабинет.

Вспыхнув прежним румянцем: не вышел, не встретил! Смеет меня — официально! И, не успев додумать — входим — рука на плече сына — в кабинет многолетнего друга.

Не хочу обвинить, человека давно нет на свете — не помню: встал навстречу? привстал? остался сидеть у письменного стола? Помню голос человека, не поднявшего глаз:

— Чем могу служить?

И рука — знакомая рука с длинными холеными ногтями (сколько раз я, девочкой, шутила над ними!) — перебирает бумаги. И вдруг...

В голове моей на мгновение смешалось: не узнал? Не слышал фамилии? Просто не видит меня? Но в настойчивости, с которой не подымал головы от бумаг, была уже нарочитая дерзость?

Не снимая руку с плеча сына — и на него не глядит! — слышу мой голос совсем от себя отдельно:

— Мы недавно вернулись в Москву; я ищу работу. Я работала в библиотеке, по устройству народных читален. (Передохнула, глотнув слюну.)

Может быть, скажи я ему: «Толя»... — и дальше не пришлось бы говорить? Но я не могла сказать «Толя» — этому человеку.

— Может быть, вы могли бы взять меня на работу? Вы ведаете библиотекой?

Пальцы — шесть лет их не видала, как их узнаю... сколько раз они несли мою руку к губам для поцелуя — переложили бумагу. Человек глядит мимо меня и Андрюши:

— Видите ли, у нас сейчас нет набора работников, штат полон. — Пауза. — Может быть, в будущем...

— Но я ищу работу *теперь*.

— К сожалению, теперь мне нечего вам предложить.

И в то время, как я, уже оживая в юмор, себе: «Аудиенция кончена?» — я слышу из соседней — или соседней с соседней — комнаты тихий колыбельный напев.

Я встаю. Эта напевность ли размыкает мое состояние потрясенного изумления, рождает в моей интонации свободу и немного игры?

— У вас, кажется, сын родился, я слышала... Как назвали?

— Георгием.

— А! Из стихов Марины?

Обронил орел залетный перышки,
Родился на свет Егорий —
Свет Егорушка...

Он встает. Я смелею, но все больше насмешливости, хоть и теплой от близости детской. (Этот ребенок мог быть мой!)

— Может быть, покажете сына?

— Его сейчас кормят... Впрочем, я погляжу.

Он выходит и тотчас же входит. Все держа за плечо своего сына, я вхожу в большую комнату, где высокая женщина встает, держа ребенка. Из пеленки — посапывающее личико с закрытыми (засыпает) глазами. Улыбка матери. Одно доброе слово:

— Спит...

И моя улыбка, и рукопожатие, и — обертываюсь — отца нет в комнате. Как! Исчез, не простясь?

Но, чтобы жизнь не предстала еще раз сном, страницей из «Эликсиров сатаны» Гофмана или булгаковской «Диаволиадой», Анатолий Корнелиевич, директор Ленинской библиотеки, оказывается, как и я, в передней. Сейчас он не может не видеть меня. Видит и меня, и Андрюшу. С тою же грацией отсутствующего чиновного человека он продолжает не осознавать меня. Не узнавать. Как сумел во все время аудиенции — не назвать: ни Ася, ни Анастасия Ивановна, никак. И все же, в мгновенной щедрости? в свободе освобождения? я протягиваю нечеловеку руку. Он молча, знакомо до боли сделав (ладонь — чашечкой, тыльную сторону руки — горбиком) пожимает мою, и так и не заметив «прелестнейшего» (его письмо) в мире ребенка, Андрюшу...

— Недели через две, если зайдете ко мне на работу, я постараюсь узнать, — мой кивок — и выходим, и за ним затворяется дверь.

— Не горюй, Ася, — мне сказала Марина, — просто он оказался петухивом — и все. Одним петухивом больше. Сколько их я видала за эти годы! Познакомлю с Петром Семеновичем Коганом, он тебе достанет перевод — больше посидишь дома с Андрюшей. Подальше будет от беспризорников. У нас на лестнице — и у всех — ночевали. Зима придет, — увидишь — все ступени сплошь, еле пробирались с Алей между них. Для мальчика — большой соблазн: едят колбасу, хлеба вдоволь, и водку пьют (самогон, конечно). Были случаи, что уходили к ним — из недостаточно сытых семей... А военную свою службу — храни, ведь не каждый день. Для пайка. Жаль, Герцыков нет. У них большие литературные знакомства — для переводов. Впрочем, еще есть Гершензон. Я слышала, он отмечал твои «Королевские». И к Бердяевым тебе надо пойти, очень гостеприимны. Завтра получаем академичес-

кий. Аля, где у нас наволочка, маленькая, для пшена? Аля, да неужели ты не видишь, что перекипает фасоль? (Повышая голос.) Тряпкой! Бери тряпку!

Жалобный голосок Али, повернувшей к печурке головку (цветок на тонкой шее), нисколько не умилил Марину. Она раздражилась еще больше:

– Ненавижу эту неумелость, это презренное барство – не схватить, не сообразить... Сколько бьюсь в ней над этой медленностью – робость? лень? не пойму! При ее уме!.. Не моя, не наша порода! Держи. Ставь. Сережа умеет все!

Холодком прошло по мне это «умеет»: знаю ведь, что она, говоря это, содрогнулась, настояв на нем, оттолкнув «умел».

И – отвести ее прочь от – кидаюсь в свою «говорильную машину». Намеренно горячо:

– Не понимаю молчания Вани Морозова – ни слова ни о вещах моих, у него оставленных, ни о том, когда приедет в Москву. Обещал привезти. Там – маленький самовар, его бы можно загнать на рынке.

– Жаль, Ася. Где теперь самовары? Кусок прошлого. Сохрани для уюта как символ, сказочный персонаж...

– И Мария Ивановна не пишет. Она же так хотела вырваться сюда тоже! С девочкой путь тяжел будет – может быть, не одна поедет? Еще Миндлин бился за выезд, есть такой поэт Эмиль Миндлин, похож на Мандельштама в юности, но красивей и мягче.

– Талантлив?

– Не знаю. Есть удачные стихи, но, думаю, от умения понимать – как надо. Есть ли настоящий талант?.. Мне интересно, Мариночка, понравится ли тебе Ваня? Лоб и глаза – замечательные. Что-то от Владимира Соловьева. И умен. А кончик носа раздвоен, как у Максима Горького, есть лукавство, себе на уме.

– К тебе привязан?

– Думаю, да. Леонид – больше. Леонид – настоящий друг, навсегда. Как он понимает твои стихи! Каждую строчку! Каждый эпитет встречает как подарок, упивается: тобой, Мандельштамом... Но он в Москву вряд ли вырвется, там – родные. Калека, один не может.

— Ася, Ваня приедет — сделай торт из черной муки, сала, повидла. Ты так хорошо умеешь. Отпразднуем его приезд.

Я забыла рассказать об одном происшествии, когда мы еще жили у Марины: о встрече со вдовой профессора Дювернуа. Это было на улице вблизи Союза писателей. Кто-то назвал мою фамилию — она тотчас же отозвалась, оживилась, сказала, что знала мою мать, назвала себя. Это была грузная старуха, когда-то красивая, темноглазая, с чем-то вроде седых буклей из-под головного убора, как будто — француженка. В ней смесь светской дамы и нищей, и, может быть, этим смешением, резавшим глаз, она и приворожила меня. Ее речь, свободная и быстрая, была пересыпана французскими выражениями, она даже часто переходила на французский, говорила на нем свободно и тронула меня своим несчастьем. С первых слов она созналась, что голодна. Мы проходили мимо кофейни «У Грека», известной старым москвичам: павильон посреди Тверского бульвара. Тогда он еще действовал. То, что я его помнила с детства, что мы бывали там с мамой — взволновало меня, и — я ли предложила ей зайти туда? Нет, вряд ли, в те дни нужды я бы не решилась на это! Должно быть, она, движимая голодом и еще полная привычками барства, зазвала меня туда. По счастью, у меня было немного денег, и, не смея ей отказать, я решила, что и Андрюше чашка кофе с кусочком хлеба будет полезна, не говоря о том нежданном удовольствии, какое это доставит ему. С бьющимся сердцем я вошла в кофейню, дорогу мне по памяти мамы.

Мы сели за круглый белый мраморный столик под навес чего-то вроде гигантского зонтика. Старуха Дювернуа, видимо, тут нередко бывавшая, с некоторой даже светской развязностью заказала кофе с молоком и сдобным хлебцем? подобием пирожного? Я с тревогой мысленно сосчитывала, хватит ли мне заплатить и, только попробовав из Андрюшиной толстой белой чашки — ложечкой горячее (на сахарине) сладкое зелье, подвинула его Андрюше, когда мадам Дювернуа, быстро выпив, попросила еще. Ее, видимо, знали подавальщицы и не торопились выполнять просьбу. Я шептала Андрюше, чтобы он скорее пил, порывалась встать и расплачиваться, когда, вынув на ладонь медяки, моя гостыя уже требовала еще чашку кофе. И вдруг, сломав голос, она стала

жалобно просить еще чашку, протягивая худую с длинными пальцами руку, уверяя, что она голодна. Но ей не давали кофе, и ее тон мгновенно из униженно-просительного, нищенского стал негодующим, угрожающим. Я поняла, что она ненормальна. Встав, я звала ее, уговаривала, брала ее под руку, обещала пойти домой и принести к ней на дом еды — и мне как-то удалось увести ее из злополучной кофейни «У Грека». Но что нас дальше ждало — было не лучше: проводив ее, мы зашли к ней. Какие-то мрачные мужчины и женщины в неопрятных халатах спорили громко.

Помни одно, что несчастная голодна, что она — вдова профессора, знала маму, что мой долг — принести ей что-то из дому, я, обещая скоро вернуться, опрометью бросилась с Андрюшей к Марине. Но Марина удивила меня:

— Ася, что ты делаешь? Отнять у детей для какой-то сумасшедшей старухи?! Да их тысячи тут! Как хочешь, конечно, снеси что-нибудь, но я бы никогда не понесла!..

Однако я спешно накладывала в судок вчера сваренной каши с подсолнечным маслом, и мы уже летели назад с Андрюшей к ожидавшей нас.

Старуха встретила меня очень странно. Осмотрев и обнюхав кашу, она пропустила нас в большую, неизмеримо заставленную мебелью комнату, где на всем был слой пыли, придававшей всему сказочный вид. А затем, улыбнувшись насмешливо и враждебно, она начала кричать:

— Принести мне кашу на растительном масле! Не на сливочном! Видно, что вы росли без матери! Я... я...

Но я, уже перепуганная за Андрюшу еще более, чем за себя, в паническом ужасе от вида безумия, с которым не справиться, как-то изловчилась пробраться, толкая его впереди себя, к двери — и вытолкала в коридор... И тогда, вытряхивая кашу (о, съест после меня!..) в первую попавшуюся на столе посуду, я говорила: «Простите — это все, что было. Сливочного у нас нет!..» — и мы летели со ступеней деревянной лесенки под ее крик; мне казалось, что сонм ведьм гонится вслед... Мы еле отдышались на Поварской.

— Вот видишь... — сказала Марина.

Шестиэтажный дом в Брюсовском переулке на Большой Никитской. Подымаемся — Марина, дети и я — лифт не

действует, о лифтах забыли, а нам оно безразлично; когда еще были лифты, избегали, ходили пешком (с того ли дня это в нас утвердилось, когда в 1903 году мама в лифте, остановившемся меж этажей в гостинице лозаннской, пробыла так, кажется, полчаса?) — стучим — звонки уж давно легенда, редко где — в правую дверь верхнего этажа. Старушка, худая, в морщинках; острый взгляд, приветливая улыбка, опрятный фартук. За ней, как бы к ней прирастая, к русской пушкинской няне — еврейский мальчик, красавец лет двух. Продолговатое личико, пепельно-золотые волосы, длинные, серые, ласковые, лукавые глаза, прямой нос, полный рот.

— Ну, что (Марина, присев перед ним, мне.) я тебе говорила! Похож? Вот, Марфуша, сын моей сестры Анастасии Ивановны, — Шура очень похож на него, когда он был маленький...

Марфа, ревниво прижав к себе своего питомца, несравненного ей, несравнимого, смотрит зорко, не без тревоги, но и без одобрения, на чем-то ей приятного мальчика, такого большого рядом с ее любимцем и правда чем-то похожего. Уважение к Марине автоматически переходит на меня с первого взгляда, ласково зовут входить:

— Поменьше вас будет сестрица, и похудей из себя, — а сходные... — Старушечий взгляд обнимает, рассматривая: — Алечка, это твой братец?.. Пойдемте, давно не были, Лизавета Моисеевна все говорит:

— Забыла нас Марина Ивановна...

Высокие потолки когда-то богатой квартиры. Идем анфиладой. Андрюша, такого давно не видавший, сияет оживленным вниманием. Нам навстречу — невысокая смуглая женщина, сама милога, само сердце. Карий взгляд улыбочив, и девическая застенчивость в моложавой, почти сорокалетней матери трех детей: две девочки, постарше наших и помоложе, встают нам навстречу в большой комнате, где над обеденным столом огромное пятно на месте упавшей с потолка штукатурки. Голос Марфы:

— Дивуетесь? Как же не диво? Намедни только отобедали — и как по головам не попало? К домоуправу пошли, а он: «И у меня, — говорит, — такая картина!» Бессовестный... Картина. Был бы дома Михаил Юрьевич, рази бы он так сказал?

Но хозяйка смеется... Зовет к столу, спрашивает о пути из Крыма, о здоровье, хлопочет с Марфой, как всех накормить. Аля с девочками уж у стола с книгами. Их огненные темные глаза, темные волосы так прелестны рядом с русалочьей наружностью Али. И вот мы за супом, а за ним — картофельные котлеты с настоящим грибным соусом, а за ними — кисель — цвета настоящего киселя из Трехпрудного, а за ними — чай, сахар, хлеб, опьянение сытости, чьей-то заботы, истинной действенной доброты... Круглое лицо Нади, похожей на мать, и на нее непохожее, видно в отца, узкое личико семилетней Жени, кудрявой, пышноволоосой, — воскрешает дни Ани Калин. И, взглянув на мать, понимаю, на кого же она похожа: Лидия Антоновна Лампси, Феодосия, 1913 год, 1914 год... Господи! Еще есть на земле ласка, щедрость, гостеприимство? Как-то даже кружится голова...

— Помнишь, Марина, — сказала я, входя с Андрюшей в комнату с потолочным окном, — я тебе рассказывала про такого человека, который пишет стихи, любит твои, мечтает с тобой познакомиться?

— Ммм... (И Марина, впустив меня и Андрюшу, оторвавшись от тетради, — отсутствующе!)

— Прости, я тебе помешала.

— Это его сестра вас так хорошо встретила и кормила?

— Да, и вот сегодня — я бы не заметила, то есть не увидела бы — Андрюша увидел: когда мы вошли, она быстро спрятала в шкаф белую булку...

— Ну и наплевать на нее... Пусть ест свою булку!

— Да, но я была такая усталая, и я же не видела этого — я осталась у нее, и мы пили чай, ели. Зачем я осталась? Она, верно, бедней, чем она в первый раз показалась, мы ей были в тягость...

— Просто жадная!

— Я ведь не есть к ней пришла, а о брате ее узнать — он дал мне ее адрес. Он должен был скоро ехать в Москву. Это тот, с которым я в Красном Кресте познакомилась, лежал там с двумя детьми, после смерти жены, и больной, я его уговаривала, утешала... Он совсем опустил руки. Он не верил тогда, что мы выйдем когда-нибудь из больницы — и куда

идти? Ехать некуда, пути заграждены. Я боюсь, что он и тут не сумеет устроиться; дочка его очень слабая... Он очень любил жену, так тосковал... Был совершенно беспомощен. Не верил моим уверениям, что уедем, что будем в Москве. И вот — едет! И все-таки не придется мне бывать у его сестры.

— Не ходи. Ну ее! Скоро паек получим.

— И я на днях получу: селедки, если они опять ржавые, сменяем на молоко.

Марина вела жаркую переписку с Максом Волошиным. Он писал ей о голодающих писателях Крыма, об усилиях хоть как-то наладить им помощь, о трудности справиться с этим своими силами. Наконец он прислал письмо, просящее помощи из Москвы.

Вот отрывки из ответного ему письма Марины:

«Москва, 7 ноября 1921 г. Мой дорогой Макс — оказия в Крым! — сразу всполошилась, бросила все дела, пишу. Во 1-х — дань благодарности и низкий поклон за Серезу. 18 января 1922 г. будет 4 года, как я его не видела... Получив твои письма, подняли с Асей бурю. Ася читала и показывала их всем. А когда дело дошло до Луначарского, пригласили меня в Кремль. Шла с сердцебиением. Положение было странное, ведь случай был странный: накануне дочиста потеряла голос, ни звука, только “и” вроде верхнего “си” (si) у Патти!.. Но не пойти — обидеть, потерять право возмущаться равнодушием, упустить Крым!

...Большая пустая белая дворянская зала, несколько стульев, рояль, велосипед. Наконец, через секретаря: видаться вовсе не нужно, пусть товарищ напишет. Бумаги нет, чернил тоже. Пишу на чем-то оберточном, собственным карандашом. Доклад, ввиду краткости, слегка напоминающий декрет. Пишу про всех отдельно. Судак и отдельно Коктебель. Дорвалась наконец до вас с Пра: «больные, они в пустом доме!» — и... — вдруг иронический шепот Волькенштейна (моего провожатого): “Вы хотите, чтобы их уплотнили? Если так, вы на верном пути!” Прекращаю. Доклад кончен, хочу вручить мальчишке в куцафейке и вдруг — улыбаюсь прежде, чем осознала! Удивительное чувство (быть в присутствии *личности*). Ласковые глаза: “Вы о голодающих

Крыма? Все сделаю!» Я вдохновенным шепотом: «Вы очень добрый». — «Пишите, пишите, все сделаю!» Я в упоении: «Вы ангельски добры!» — «Имена, адреса, в чем нуждаются, ничего не забудьте, и будьте спокойны, все будет сделано!»»

Поварская № 10! Тот самый дом! Он стоит на Поварской так просто, так по-прежнему, точно это не 1921 год, а 1909 год, мне пятнадцатый год, Марине семнадцатый, и мы, выскочив из санок, идем к нашей Драконне... (Сегодня я завела к Гольдманам Андрюшу, забегу за ним после занятий в школе грамоты и могу позволить себе зайти, как встарь, к Лидии Александровне, одна! Точно девочка!)

И я вхожу в сон: та же самая лестница, те же высокие входные двери, — та же передняя, только она полутемная. И, уже схваченная за руку Драконной, вхожу в ту же приемную: синюю! Как она поблекла! Но диван все так же торжественно вычурен, окружен такими же креслами, и овальный стол блестит темным блеском, будто не замечая лет... Вместо люстры горит керосиновая лампа, но на ней — абажур! Абажур. Какое-то непонятное слово! Но мы уже в другой комнате; миновав кабинет — блеск стекол и сверкание инструментов — мы в задней, знакомой? Нет, все переставлено, сжато, еще не поняла, что... Глаза в глаза смотрим друг другу и держимся за руки, и смеемся оттуда хлынувшей радостью встречи, из тех лет!

Постарела!.. Как-то спущены плечи, поределье волосы, полуприжаты к вискам, и как тогда в черных было горение седины, так теперь в седине немножечко темной тени. Вместо смуглого легкого румянца — ровная желтизна. Но глаза — о, как в той сказке Эллиса! — «Но глаза... но глаза были те же...» Уже катится волна юмора через силу эмоции, уже она тащит меня на старый сине-поседелый турецкий диван, и, смеясь, старая! девическим смехом, подняв брови в ужимке удивленья и критицизма: «Ну, я скажу вам! Вот это — да! Это марка!»

И мы просто хохочем, растеряв слова, позабыв все (как хохотали — Сережа, Марина, я у Петра Николаевича Лампси, сползая с черного клеенчатого дивана — века назад...) И уже она меня тащит к столу и что-то говорит и не договаривает. Взглядом через плечо — в ту закрытую комнату, где

живут ее сын и невестка. (Шура!.. женат! Господи Боже! Из стенного незнакомого шкапчика вынимаются масленка с кусочком масла, молочник, хлеб и блюдо с повидлом. И — из недр, под начатую и непрекращающуюся беседу — соусник, в нем — компот. И кейфуем!

— О! Я к вам с таким известием — подумать только! Сегодня встретила на Тверской Марию Ивановну Сизову, которой Лев Львович посвятил — помните?

Буря затихла! Снова колонны
В бездне дрожат золотые,
Снова к нам взоры твои благосклонны...

— Какая память! Вы все еще стихи помните, Ася... И по-прежнему с Мариной их говорите вдвоем? А я — все забыла — не то что стихи, а... — ...брови треугольником вверх, и взрыв застенчивого смеха, — вообще — все... Ну, и что же эта Сизова?

— Эллис — знаете кто? Кардинал! Но это слово мое, точно из пушки выстреленное, получает совсем неожиданный отклик:

— Кардинал, — повторяет Драконна совсем будничным или от вящей задумчивости тоном, — а я всегда так и думала, что он... должен быть — кардинал! Кардинал! — повторяет она совсем созерцательно-умиленно, — этто — замечательно, собственно, что он — кардинал! — И вдруг фыркает на меня с негодующим юмором:

— Я вижу, что вы совсем не так думаете! Вы, Ася, не понимаете этого человека! Кем же он, по-вашему, должен был сделаться, если не кардиналом??

Драконна просит стихов. Я начинаю — читаю, что помню, Маринино.

— Ну, еще одно, Ася, последнее!

— Господи, я опоздаю в мою школу грамоты! Да я, кажется, все сказала, что помню, из новых Марининых и из Эллиса...

— А как же я останусь без стихов? Кто же мне их прочтет? Они же — все — не могут сказать... стихов! Они говорят совершенно другие вещи...

Нас опять душит смех. И, минуя рассказ о прожитом, — это в другой раз — входим как в реку, в последнюю ее волну на сегодня, — Эллиса — «Самообман».

— Чудесно! — говорит она, — это же замечательно, «он ее никкогда не любил»! Так вы больше не говорите в унисон стихи с Мариной? Такое чудо это было — и кончилось? Да, все чудеса кончаются... И вы опоздали. И куда же вы сейчас пойдете в вашу школу? Политграмоты? Кто же вас там учит? — и медленно, на мое: «Я учу!» — «Вы? (с сомнением.) Вы учитесь? И кого же вы учитесь политграмоте!?

— Простой грамоте. Буквам!!

— А!.. — умиротворенно сказала Драконна, точно она только этого слова и ждала — «буквам»! — И они будут читать буквы! Подумайте! И потом — книги... (Совсем уже умиленно...)

— Ну, насчет книг — это я сомневаюсь немного... Они как-то не верят в книги, хоть и полюбили меня...

— То есть как вы сомневаетесь? Вы же их учитесь!

— Да, но они не хотят учиться! А одна говорит: «Все буквы — на одно лицо, почему так сделали?» Они говорят, что без букв прожили век.

— Да, вот это... Это вот их размышление может помочь им — не выучиться... — сказала она.

— Нет, там есть несколько женщин и средних лет, те стараются. Прочтут слово — взволнуются — «И как это так хорошо получается? Даже в пот бросило!» Эти меня трогают, и я тоже очень стараюсь. Но когда который урок старые люди не могут усвоить буквы, а когда прочтут их — теряют смысл слова, — я не знаю, что делать.

— А я знаю! — сказала Драконна, целуя меня. — Вы должны искать другую работу, а им дать другого учителя, строгого!..

— Марина, — сказала я, вернувшись после урока грамоты (где меня так матерински жалели мои учащиеся: «Молоденькая, да худенькая, и так с нами мучаетесь, ай полегче-то работенки не дали вам?»), — ведь я ничего не спросила Драконну про Володю? Он жив?

— Умер. И хорошо, что не спросила. Тяжело умирал. Я не помню — сыпной тиф? что-то с мозгом. Все бредил войной. Не перенес — хирург, в самом пекле...

— Так вот оно что... Вот почему она так изменилась. Бедный Володя! Как вижу его! Высокий, и что-то в нем деревянное было. И это его оперение, белокурое, почти белое. Борода — а казалось, что бакенбарды.

— Он мне всегда казался седой... Вельможа.

— Да, и старый. Еще студентом! Помнишь, он занимался весной, в Трехпрудном. К экзаменам, в моей комнате... Какая короткая оказалась его жизнь...

Умер! Ведь он спас Миронова тогда, в 1913-м, в Краскове. Я его никогда не забуду!

— Ася, слушай, тут приходила такая Евгения Максимилиановна Звенигородская, они живут на Плющихе. Уезжают на лето. Узнала о тебе. Предлагает, не вселишься ли в квартиру до их приезда? Конечно, решай, как хочешь, живи тут, но у тебя нет угла, лепись на диване в детской или под потолочным окном... Там ты могла бы отдохнуть — комнату они тебе оставляют большую. И кухню. Балкон — над Москва-рекой... Себе госпожа! Воздух для Андрюши, свет... Подумай! Она зайдет за ответом. Еды я тебе дам. Паек получили. Решай.

Что-то больно сжалось внутри. Скрывая, я надавила больнее, сыграла разумность, простосердечие, сказала, что «хорошо». Та женщина спешила. Я собрала свой скарб, и мы понесли его, Марина и я, по Арбату. На углу что-то выпало, мы подобрали. От Марины не скрылась моя тоска. От меня — что она чувствует себя виноватой... «Но ей будет легче без меня, с Волконским, — сказала я себе, — моя неприязнь к нему мешает Марине в их беседах...»

— Ася, приходи! Слышишь?

Вот жизнь и понеслась снова дальше...

В 7-м Ростовском переулке круто над Москва-рекой стоит высокий дом. Его фасад выходит на реку; вход с заднего фасада. Мы вошли в парадное, казалось, в первый этаж, но, когда подошли к одному из окон, — оказались на такой высоте над берегом и рекой, что вряд ли это был второй этаж, должно быть — третий...

Комната, в которой я с Андрюшей поселилась, принадлежала сестре хозяйки квартиры — Евгении Максимилиановны. Сестра эта была в отъезде, и Евгения Максимилиановна

новна тоже была уже на отлете. Туманно помню ее комнаты, из моих одна была угловая, светлая, увешанная бесконечным количеством ее собственных портретов всех видов и величин. Марина шепнула мне, когда хозяйка вышла из комнаты, что муж ее до сих пор в нее влюблен и все годы, пока еще были фотографические принадлежности, снимал ее. «Он считает ее красавицей». Мельком до их отъезда я увидела и его. Он показался мне красивее, чем она; среднего роста, тонкий, ясноглазый, скромный и сдержанный, мужественный. Мне почему-то подумалось: «Вот такой должен быть Гумилев»... Они уехали, и мы остались вдвоем в этой «надмоскворечной» квартире — Андрюша и я.

Наша комната была длинная. Я не помню обстановки. Был стол, за ним я ночами писала дневник. Еще в Феодосии я начала писать сказки, и в это лето в этой странной комнате родилась — может быть, лучшая из, далее, множества моих сказок (теперь погибших), сказка «Скрипач».

Чаще всего я отводила Андрюшу к Гольдманам и шла на работу. Но иногда оставляла дома, беря с него слово и угрожая наказанием за непослушание — не подходить к реке. Однажды, вернувшись с работы вечером, я застала его на площадке, трепетно ждавшего меня и испуганного:

— Я не мог быть один там, — сказал он мне тихо, прижавшись, радуясь концу одиночества. Острая жалость к нему, протест против нашей неустроенной жизни... но что можно было изменить в ней?

Моя служба давала нам хлеб, селедки, немного крупы, мыла; селедки я частично меняла на Смоленском рынке на молоко. Но сыты мы не были — я, во всяком случае. Нужен был приработок. И я стала шить кукол в надежде, что сумею продать их на рынке. Просиживала глубоко в ночь. Затем за большим окном начинали сереть, желтеть, алеть небеса, по реке шел золотой металлический блеск. Андрюша спал. Изнемогая от усталости, я любовалась волшебными существами — созданием моих рук.

Марина приходила и все приносила и приносила мне и Андрюше что-нибудь из еды, или из одежды, или из хозяйственных вещей. Ведь мы все основное продали перед отъездом из Судака, чтобы оплатить пароходные билеты

в Феодосию осенью предыдущего года. Те же необходимые для быта вещи, которые раздобыли в последнюю зиму в Феодосии, оставили, уезжая, у знакомых Вани Морозова, положась на его обещание, что он скоро их привезет, а он не ехал, и у нас было только то, что мы смогли — я и Андрияша — привезти.

Марина несла и несла; приходила, садилась на подоконник над Москва-рекой, смотрела на мою жизнь, что-то рассказывала, утешала, обещала сделать ту или иную попытку для лучшего моего устройства в Москве, что-то узнать, кого-то попросить или принести еще что-нибудь из мне нужного, уцелевшего среди хлама и разгрома ее житья, удерживала вздох — (о себе ли? обо мне?), повертывалась к реке под окном, — она текла так похоже на нашу Оку в Тарусе, с минутой молчала, и вдруг:

— Хочешь? Последние мои стихи, еще не совсем их окончила...

Или внезапно вспоминала, что — «надо идти». Она иногда оставляла Алю у Лили или у кого-нибудь из знакомых*. Я ее провожала до Плющихи по коротенькому переулку, мы шли молча, жалея одна другую, тщательно это скрывая, не называя случившуюся разлуку — еще одним новым маленьким горем, и я знала, что Марина чувствует себя виноватой в этом — передо мной. Но я так понимала ее желание жить одной и быть во всем независимой, — другой ведь всегда стесняет своим присутствием и привычками, и совсем на нее не сердилась за предложение перейти на время в эту квартиру — она же и обо мне старалась, чтобы мне иметь тоже свой собственный угол, чего мне не было у нее. И все-таки все эти рассуждения не снимали с меня понимания, что она мучится, что я снова оказалась не «дома», что ее дом мне моим не смог стать, что я в когда-то родной Москве, потеряв всех: Бориса, М.А., Валу, Миронова, — оказалась как на каком-то необитаемом острове — даже без уюта угла, без вещей маминых, мне дорогих, пропавших на складе Ступина, туда мной поставленные из квартиры на Верхнепрудовой перед отъездом в Александров — книги и мебель трех

* Не помню, были ли еще в Москве писатель Борис Зайцев и его жена Вера, ее друзья.

комнат, мамины вещи. И весь обиход четырех комнат в Александрове было нельзя в послевоенную разруху везти по железной дороге, никто на это не давал теперь прав. Даже для поездки туда что-нибудь увезти самой — требовался пропуск; и где и когда было его хлопотать в наших по горло занятых днях? Без вещей, без угла, мое одиночество без Леонида, Сережи, Вани. Марина старалась скрыть свою жалость ко мне, но это была рана, и кровь раны сочилась в каждом ее обращении ко мне.

— Ася, — сказала она мне однажды, — знаешь, Нилендер живет совсем близко, возле Румянцевского музея. Он дружит с Толей Виноградовым, хорошо устроен, он будет рад увидеть тебя и Андрюшу, встретит гостеприимно... Он живет вместе с Сергеем Михайловичем Соловьевым — с Таней Тургеневой Соловьев давно разошелся, она от него ушла, — его брали, он заболел психически, его отпустили, он теперь католический священник, Нилендер его приютил.

Пойди непременно. Таню я как-то встретила — все такая же, оживленная и как девочка, глаза такие же синие, — а сколько перенесла! Даже страшные вещи. У них три дочери, все красавицы — две таких крови — тургеневская, соловьевская! — и самая из трех красивая, самая любимая (может быть, это теперь так кажется?) — умерла. И отец был виной ее смерти. Ей было лет — шесть? — она перенесла скарлатину и была очень слаба, надо было ее очень беречь. Таня должна была идти по делу — груз семьи ведь на ней был, и она сказала Сергею Михайловичу, чтобы он смотрел за ребенком, и пошла. А он лежал спиной к комнате и читал своих греков. Зачитался, забыл. А девочка сошла на горшок, слабая, и как села, может быть, задремала? и была долго так, а в комнате был сквозняк... Продуло — воспаление легких, смерть. Ему не простила Таня. Не смогла быть с ним. Ушла. Удивительно, как она после этого изменилась так мало внешне. Холодок только острее в ней стал, через смех...

...И вот еще один нырок мой в прошлое. С восьмилетним сыном (скоро девять!) вхожу в комнату человека, не виденного мной с тех самых волшебных, моей второй встречи с ним (осень 1911-го) дней. То есть, может быть, и встретила — у Драконны или на улице, но интимно не говорила.

Он Бориса почти не знал, Маврикия — тоже, прошло десять лет! Вхожу к человеку, которого мы, Марина и я, любили первой любовью в декабре 1909 года.

Вхожу, улыбаюсь, представляю сына, жму руки, какие-то посторонние люди, немое изумление о том, как изменился Соловьев — за лет... двенадцать? что не видала его: совсем другой человек! ничего даже сходного! — зоркий взгляд (боковой!) в сторону Владимира Оттоновича — вижу, узнаю, тот же!.. и, здороваясь, — не гляжу и не вижу его: раболепное служение застенчивости. Непереносимость фальши, *ненужность* встречи! Отвращение (вся шерсть — дыбом) к любезности, — нет, не то слово... к сострадательности, с которой встречает тебя когда-то любивший, тебя, постаревшую, с сыном прошедшую годы нужды... Это желание — помочь! Накормить! То, что в другом месте тронуло бы, согрело... тут... Как в «Эрос и Психея» — тем канделябром сжечь этот сострадательный дом! Накормить! Тщета! Один раз накормить! Не спасая от голода завтра! Пожалеть! Какая фальсификация чувства! Ту, которую когда-то любил! И — уж в вихре эфемерных вещей, напущенных в мир Вельзевулом, — к горлу клубок! Цветаевская, мейновская гордыня... может быть, и бернацкая кровь — той, двадцатисемилетней бабушки? Каким-то лассо тоски неожиданно обертывается час. И, может быть, ушла бы — до чая, до накрытого нам стола — если б опять не застенчивость (несовпадение накала тайных чувств с нищетой какого-то «действия») — и не жалость, постоянная, ноющая, — зерно материнства — сын так радуется, входя к приветливым людям, так нуждается в баловстве еды, встречаемой в 1921-м только в гостях... Если бы не всепроницающая задумчивость, колдовская линза анализа, обводящая все, что с тобой происходит, горит спокойствием, беспощадным, всеутоляющим... Но уже было мне ясно, что иная замороженность холодит и горячит сердце, тронутое иной тревогой. ...Совсем другой человек! даже ничего сходного — в черной длинной сутане, с серебряной головой (волосы Владимира Соловьева), с черно-серебряной бородой Гаршина, с гаршинскими страдальческими глазами. Видение... человеческой муки, чистой и отрешенной, среди стесняющихся, рассуждающих, путающихся в себе — нас... И тогда,

обеда взглядом комнату, — вдруг облегчающий вздох! Окна, двери, стол, полки книг... Словно бы с потолка — свет или музыка? Все размыкается, легко и согласно, проникновенно и просто, и летучей мышью в угол — гордыня! Какой позор только что был здесь! Во мне! Пылал пламенем... Дружеский хлеб, хлеб сочувствия и помощи, священный, оттолкнуть — как же глубоко зло в сердцах наших!

Гляжу ясно на соловьевского друга, и он уже стоит рядом. «Ася...» — смотрит проникновенно и просто неисчерпаемым взглядом... Желтые глаза, треугольники бровей, резкая тень у щек... *Нилендер!*..

Горькая ирония, с которой в тот вечер говорили они о Толе Виноградове, показывала, что его песенка среди друзей — спета: он был мне рассказан как отъявленный карьерист, больного самолюбия и дешевого тщеславия человек. Уже дошла к ним весть о моем визите к нему, о им поздней сказанном: «Мне в библиотеку нужны не юбки, а штаны» (эти слова, впрочем, мне передал кто-то другой). Не помню — Соловьев или Нилендер — старались мне отсоветовать идти к нему, как собиралась, на службу. Но я хотела попытать судьбу. Моя прежняя «власть» над ним в долгие годы нежной нашей дружбы заявляла свои права. С трудом верилось, чтобы Толя действительно отказал мне... в работе! Зная, что я — вдова, что у меня сын. И опять: отказать мне в настоящей беде неустройства после того, как папа много лет продвигал его, студента из бедной семьи!

...И вот ночь, я пишу сказку. Что помню о ней, одной из потом любимых моих сказок? Увы, ни фавулы, ни хотя бы всех действующих лиц. Я читала ее во всех дружественных домах, вызывая интерес, восхищение... Чтобы ныне, сорок четыре года спустя ее создания, не могла ее даже пересказать.

...Старинная Германия. (Гамбург. Жива только строчка: «В Гамбурге Людвиг сел на корабль») Людвиг? Не Людвиг Квятковский, не реминисценции прошлого, а любовь к этому имени. В сказке оно было присвоено персонажу романтическому — скрипачу, который сходит с ума. Его сестра, кроткая диккенсовская Ильза, и злая колдуньеобразная бабушка, фрау Луиза, — шьют на продажу кукол. Дошитые, они оживают — я это знала по своим ночам с ними, по жуткому

мигу, когда, взяв куклу в руку, уже знаешь: в нее вселилась душа! Глаз (второй), переглянувшись с первым, зажег бессмысленность того — смыслом, и уже не ком тряпок в руке, а существо... И немного жутко перед рассветом, в зеленоватом предутреннем небе за окном, с коптилкой, — испортилась бережно мной с Крыма хранимая баночка — пятисвечник — изобретенье Сережи Соколова, мне преподнесенное для писанья дневника, горевшая (в баночке — керосин) как крошечный канделябр... с коптилкой, при гаснущем огоньке которого торопливо доделывалась кукла... Но как ни стараюсь я вспомнить кукол сказки, я помню только китайского императора и императрицу, их слуг и Фламинго, разочарованного мыслителя. А ведь их было много! ...Старуха, она собиралась их нести на рынок, но корзина, в которую она, их собрав, положила, оказалась пуста! Узнав о своей судьбе быть проданными, куклы — бежали...

Сказку мне пришлось прервать: до утра оставалось немного, а идти завтра не в чем, самодельные тряпичные туфли порвались в лоск, — надо было кончать начатые: уже скроен и сшит верх из двойной коричневой тряпочки и у картонной толстой подошвы нарощены — раковиной на нее пришитым шпагатом — два ряда, чтобы выше подошвам — «каблуки». Веревочка, начатая в середине, обходит себя туго, кругами, глаз упоенно следит через усталость, как плавно толстеет «каблук», и радостные руки спешат — игла, наперсток, суровые нитки — благообразить (первая уж к концу!) подошву — все лучше и лучше шью! К Марининому рождению преподнесу ей крепкие, новые... Когда я закончила вторую подошву и пришила к обеим верх, было утро. По Москве-реке шли серебро и золото, от них нельзя было оторвать глаз. Я лежала на подоконнике, засыпая, будя себя, а сказка во сне продолжалась — за куклами шла погоня, и была Италия и скрипач Паганини, я видела площадь Св. Марка и голубей так отчетливо... но скрипач превратился в Толю, мест в библиотеке не было, и там, где стоял только что лев на колонне, была комната красноармейского корпуса, и старуха читала, водя пальцем: «Мы не рабы...»

Когда я в тот день, войдя во двор между военных корпусов, увидела моих старух, собравшихся вокруг стола с буквами, — это было что-то вроде главы гофманской сказки —

после такого же сна. «Как хорошо, что они это ощущают явью!» — подумала я, почувствовав легкий толчок в сердце... (может быть, это был тот шаг, когда во мне зародилась будущая сказка, написанная немного позднее, которую я окрестила «Бред»?) ...И бред трепыхал летучемышьими крылами, и от них множились тени: я (заведя сына в шестой этаж к Гольдманам) входила в Румянцевский музей, превратившийся в Ленинскую библиотеку. Та несомненность, которая есть тождество, глухо и немо очнулась во мне, менее всего жданная, сердцебиением: «Это все уже было когда-то, ты входила по этим ступеням»... — «Да! — отвечал скачущий ритм сердца, — к папе, лет четырнадцати, пятнадцати». Справа узкое окно высоко в стене, внизу — ларь и какие-то признаки «гардероба», все — молниеносно, как боль в зубе или в виске. На языке психологии это, видимо, называется «Я узнала окно». Я уже шла вверх по лестнице, широкой, ласково-знакомой, как солнечным лучом, покрытой мимолетающей памятью о когда-то. В ушах стоял отпечаток только что спрошенного и услышанного:

— Анатолий Корнелиевич здесь?

Мой черед: жест руки с длинными ногтями приглашает войти. Вхожу. Свет, окно, книги, стол. Вполоборота ко мне статуя директорского достоинства. Взгляд мимо меня:

— Сожалею, что бессилён помочь вам в работе: штат полон по-прежнему. Ничего не сумею. — Молчание. Стою и молчу. Чуть дрогнувшим голосом, он: — И мне кажется, работа библиотекаря вам вредна: у вас же сильная близорукость...

Усмехаюсь еще заметно: выдал себя, голубчик! Вспомнил! Узнал!..

— Ну, знаете ли... когда дело идет о заработке... (Иронией дрогнула Маринина, моя бровь.)

Кивнув, выхожу из директорского кабинета. Процессия людей и бумаг продолжается. Схожу по означенной лестнице — так сходил по ней разгневанный юноша — Александр Мейн, мой дед. Добро гляжу я на бедных гардеробщиков, только что в струнку стоявших. Есть среди них старики, помнящие моего отца. Перед ним не стояли в струнку!..

Память ведет меня далее, на несколько лет вперед. Виноградов пережил неприятности по службе, уже не был

директором бывшего Румянцевского музея. От его матери, случайно ее встретив, я узнала, что он тяжело, нервно болел — но нашел выход в связях с литературой, возобновил юношеские опыты и увлеченно пишет большую историческую вещь.

Однажды я шла по Моховой после работы. Мне навстречу шел Толя. Кивая, ускоряя шаг, даже раскрыв руки в приветствии. «Асенька! — сказал он, беря меня под руку, ласково поворачивая идти с ним. — Наши будут так рады... Мама... Увидите моих детей... Идемте пить чай с тарусским вареньем!»

Мы пошли. Он жил в другой квартире, недалеко. Был действительно чайный час, все были в сборе: мать, сестра, Маринина подруга Нина, жена Толи и двое детей, лет четырех, пяти — сын, дочь. Меня встретили радостно, шумно, — расспросы... Мешая чай с малиновым вареньем, я весело — они привыкли издавна к моим оживленным рассказам — начала очередной о том, как в тяжелые годы я пришла к другу нашей семьи просить работы в учреждении, которым он ведал. И как друг отказал, вроде даже и не узнал меня. «А затем, — сказала я, — годы спустя я шла по улице, встретила того человека, он уже не ведал тем учреждением, он меня сразу узнал, вспомнил имя и позвал пить чай, как в старые добрые времена, когда еще с Мариной росли и бывали в его семье...»

Лицо сестры шло пятнами. Мать глядела мне прямо в глаза. Жена тревожно взглядывала на мужа. Только дети баловались, толкая друг друга, и их не останавливал Толя... Над столом царило тяжелое молчанье. Жизнь, наклонясь над нами, глотала неповторимый миг.

...Тот подросток с вышитым воротом парусиновой рубашки, его длинные голубые глаза... Вечер в саду Добротворских, гирлянды цветных фонарей с зажженной свечой, и я, семилетняя, пьющая этот таинственный взгляд — первая встреча!..

Но уже вскочив, легким шагом окружая сидящих, я трепала по голове Толю.

— Ну, а теперь, — сказала я смеясь, — положите мне варенье из крыжовника! Оно из вашего тарусского сада?

...И годы — до отъезда моего из Москвы — я бывала у Виноградовых.

И снова водяное сиянье Москвы-реки под окном, и снова сын спит, поев пшенной каши с куском ржавой селедки (не захотела нынче молочница на Смоленском рынке дать за них молока...), и снова летняя ночь, не замечая, что не ко двору, льет по берегу и в окно старинное июльское благоухание. И вновь — пишется, расцветает сказка...

А скрипач Людвиг (пьяница? игрок? — позабыла) унес из дому пальто, продал — и горько плачет сестра его — кроткая Ильза: «Бабушка! Такое новое еще! такое хорошее! с таким бархатным воротником...» И уже заструились, как фосфор в реке Гераклита, как речения Соломона в Екклесиасте — размышления задумчивого Фламинго, только вчера дошитога загадочной фрау Луизой: перышки из лилового бархата и розоватого шелка, бисеринки (алмазы) глаза, только ноги тонки, гнутся на слабой проволоке, от них по всему оперенью — Гамлетова печаль.

...Как случилось, что на тот же корабль, куда скоро придет Людвиг, пробрались и за канатами спрятались бежавшие из корзины куклы? Горе! Китайскую императрицу прижало чем-то к стене, и в ее животе — тряпичная рана. И вся царственность супруга бессильна помочь... О! Это близится революция, весь народ изменил им. Только одна служанка верна...

Спешу в школу грамоты, стараясь, чтобы усталые после дня труда пожилые ученицы мои не успели испытать искушенья улизнуть домой, пользуясь темнотой огромного двора между красноармейских корпусов. Я вдруг останавливаюсь на узком тротуаре Большой Никитской, и — точно ветром сметает мой день Москвы 1921 года — мне навстречу, волшебным жестом приветствия раздвигая руки — узнала! — идет моя молодость, подруга 1910 года той Москвы, довоенной, гимназической, невинной и радостной — Нина Мурзо! Может быть, увидь я ее со стороны за минуту, я зорко отметила бы — постаренье, разницу ее лица с тем, семнадцатилетним! — но эта улыбка радости! грациозное счастье встречи зажигает черты ее тем же трепетом смеха,

какой озарял их в зале Трехпрудного, когда подходил к роялю на звук ее пения брат Андрей, когда впереди была вся жизнь! в сердцах наших шестнадцати, его двадцати лет... Мы стоим, и целуемся, и жмем руки, и смотрим друг другу в глаза: ее, карие, темные, длинные, с тяжелыми веками мерцают тепло и влажно, и так же мал — меньше глаз — рот... И уже она ведет меня за собой, к себе, в ту, вдруг вспомненную в мельчайших подробностях — квартиру за нотным их магазином, где я бывала почти с первых дней встречи с Борисом. И только тогда я опоминаюсь и, скача через «города и годы», говорю ей о том, как спешу, как приду потом непременно, — и слова летят, отрывистые, случайные, капли переполненной чаши: «Не уезжала совсем из Москвы?» — «Странствуешь все?» — «У Марины!» — «Уроки чего — музыки? пения? Выступаешь?» — «Так смотри же, не обмани! Жду! С мужем тебя познакомлю...» — и канула юность, бегу по стемневшей Никитской, перебегаю, мелькает жерло переулка с одиноким, где-то вдаль, огоньком, и пудовая усталость недоедания, недосыпания — на плечи.

Но когда мои бедные, не менее меня уставшие сподвижницы, пальцем водят по строке, сияются прочесть и запомнить, что эта вот буква — «Б», а та — такая похожая — «мягкий знак», я вдруг взвиваюсь в некий талант объяснителя, жар колышет наше собрание, и на крыльях летит урок, вдруг зажегшийся пламенем, — оттого ли, что я хорошо пояснила? оттого ли, что меня ждет Нина Мурзо? И вот я вхожу усталой стопой в мою юность: маленькие комнатки с высокими потолками, рояль, портреты в тяжелых рамах, и с одного из них сошедшая пополневшая, постаревшая, но все та же мать Ниночки — Евгения Александровна! Ее зоркий, добрый, знакомый взгляд, благородно постаревшая, пышная северная красота, знакомый голос:

— Сколько лет сколько зим, Асенька... Сколько пережили мы все... ведь много лет не видались! Володя наш, вы знаете? — умер... мы вас потом из виду потеряли — вы ведь где-то не в Москве жили? Да, да, дошла до нас эта весть, что вы потеряли мужа, второго... Кто-то сказал Нине... Ну а сын? сын! хорош, наверное? Маленьким красавец был, — Ниночка говорила — на отца похож? Приводите! А мы — а у нас... — и жи-

вое дыханье вещей, сплотившихся, как их хозяева — люди. И Нинин муж, высокий, худой, темноволосый, с округлым бритым худым лицом, дружески беседует со мной, будто знает меня годы, — так добр, внимателен, дружелюбен этот верный преданный человек, спутник моей Нины...

Наклоняясь над блюдцем московского чая, откусывая хлеб с повидлом, я слушаю пережитое ими за годы и не умею рассказать о своем: так путана моя жизнь рядом с течением их жизнью, так полна она непонятной тоски.

Господи, как хорошо мне среди этих моих друзей и как добро и щедро дало провиденье им — вместо ушедшего — другого доброго и внимательного человека, столько лет уже идущего с ними об руку и так искренне беседующего со мной...

И мне снова пришлось прервать сказку, в этот раз надо было дошивать пару кукол — я хотела наутро нести их на рынок, две пары: китаец и китаянка, которых я в «Скрипаче» превратила в императора и императрицу Китая (в 1921 году предсказав там революцию), куклы в сказке бежали от народного гнева, в их понятии названного изменой своему властелину. Они были уже дошиты несколько дней назад; теперь я шила принца и принцессу европейского образца, из сказок Перро и Гримма: или из самой детской из всех детских сказок «Спящей красавицы»: голубой обрывок сатина стал одеяньем кавалера; путаница белых шелковых ниток, невесть какой старины из Марининых залежей хаоса, — обрела форму крошечного страусового пера на берет, и серым конусом серебряно блеснула шпага — заостренный, на клею, картонный кусочек; и в сборочку собранный, пеной придворного платья, кусочек атласа обтянул тонкий торс его дамы в ватном напудренном парике. Но еще надо было, зарисовав, вышить лица. А на усталую голову нельзя было отваживаться рождасть глаза: в них была тайна взгляда, оживавшего вдруг — только при настороженной трепетной лихорадке работы. Были еще кусочек хлеба и блюдечко пшенной каши. Изобразив их торжественным подкреплением, я взялась за кукольные лица, и когда, одолев их, ими заворожилась, было уже утро. Москва просыпалась, над крышами

шли дымки, подымаясь в розовые облака, и Москва-река плыла окской зарею...

Но я так устала, что ничего, кажется, не могла больше, кроме как глядеть в глаза куклам: это наше гляденье друг в друга было настоящее волшебство, оно гнало усталость. И было еще всегда искушение — не нести продавать, когда так удались куклы, — детям отдать их! Але — принца с принцессой из Гримма, Андрюше — китайцев. Сердце на миг замирало. Но суровая трезвость прекращала блажь: да, будет счастье! Но надо купить сала Андрюше, а его купишь только на рынке. На каше без масла и ржавых селедках ребенка растить нельзя. И трезвость взяла верх: постояв над ним, — он так чудно спал, разбросав руки, закрыв глаза, — как хорош! как покойно, глубоко дышит полный полуоткрытый рот, легкое золото — длинней, чем носят мальчики — волос рассыпано на подушке, и такая заря в комнате... Только бы лечь сейчас, завесив мешком низ окна. Но именно потому, что так хочется — этого нельзя себе позволять. Иначе о чем же Марине сказал Ланн обо мне: «Тогда в Крыму это было движение по кругу, теперь это уже — навеки, путь...» Такое о себе надо заслуживать.

Я вышла, чуть покачиваясь от усталости, тихо-тихо приотворив дверь, замок щелкнул. И пошла по утренней, спешащей, суровой, деловой, голодной Москве. Плющиха, Смоленский. И вот наступил бред: все смотрели на мою корзиночку кукол, и никто не купил ни одной. А так страшно было их предлагать, стыдно... Все такое нужное, суета, торг, а я с куклами. Мой час бесплодного хождения с ними был мукой. Я упорствовала, не сдавалась, надеялась... Тщетно! И тогда я побрела восвояси, без сил.

— Ася, — сказала Марина, — пойдем к Вере Звягинцевой, она зовет завтра. Будут ее друзья. Она — милый человек. Пишет стихи — неплохие. Есть очень хорошие строки. Пойдешь? Ты ведь из-за своего частичного неустройства никуда не ходишь, а в Москве — концертов, вечеров литературных — множество! Сколько кафе, «кабачков» поэтов... Ты Есенина любишь?

— Мало знаю. А ты?

— Талантлив очень. Так пойдем?

Я не помню, было ли это в пору моей жизни у нее или когда я жила в 7-м Ростовском. Вернее первое. В 7-м Ростовском я бы не оставила Андрюшу одного вечером в пустой квартире. А детей с нами у Звягинцевой не было.

Был поздний летний вечер; на Поварской пахло цветущими липами, и мягкая душистая мгла была весома. Мы шли, прорезая ее собой. Мы шли? Не то слово — сколько я помню себя и Марину, мы никогда не ходили медленно, а как-то всегда летели, обгоняя идущих, — торопясь ли дойти туда, куда шел путь, или опаздывая? а может быть, по переполненности наших дней, инстинктивно стремясь успеть еще и еще куда-то. Молодость наша мне вспоминается как один долгий, доверху и сверхверху перегруженный людьми, чувствами, спешкой куда-то, встречами и делами — день. Отдых, промедление, замедленность были мне органически непонятны, иначе говоря — враждебны. Жизнь ощущалась нами как ритм лихорадки, и был на каждом дне налет бреда. Все, что мы в мире любили, с нами несло в ненасытном полете. И разве не с нами в ногу летело время, единственное мерило жизни, поглощавшее ненасытно вчера и сегодня предвкушавшее завтра? Что возражало нам? Могло возразить одно — религия, но, не отвергая ее уже в те годы, мы ею тогда не утолялись. Полет земли влек нас, мы его ощущали.

И горчайшую быстротечность всего, и неповторимость мгновенья, и разлуку — разлуку — разлуку — ежечасную, неотвратную, как единый земной закон.

Итак, мы пролетали ночной полуголодной Москвой, все те же... — и не те же уже, как годы назад тут шли, страшась и надеясь вдруг увидеть Нилендера, когда «Фонарей безутешные точки / Загорались сквозь светлую мглу...»

Таким огоньком был тот вечер похода к Звягинцевой, тоже зачем-то нас звавшей, созывавшей друзей, — от той же, быть может, тоски... от которой и писала стихи. Я их позже читала — да и нам она их читала в тот вечер, и Марина читала свои. Это было где-то в Замоскворечье, я не помню никого из тех, кто там был, кроме самой Веры — худой, в чем-то голубовато-зеленоватом; ее узкое личико, не успевшее потерять весь свой румянец, его еще оставалось немного, золотоволосая голова (тогда молодые женщины волос не

красили, цвет был — чистоган). И горячий блеск мечтательных и печальных ее глаз, и горячую ручку в рукопожатии, близкий взгляд в глаза (близорукость?) и радость увидеть, кроме Марины, еще одно ее «издание» — меня.

Москва тех лет! Полусытые люди, рвущиеся слушать стихи, бегающие на концерты, ломящиеся на доклады, диспуты, лекции, — чудесный русский народ!

Говорили стихи, пили чай, что-то ели, заботливо, с трудом приготовленное. И обратный полет — втроем (она пошла провожать нас), может быть, с кем-нибудь, но четвертого я не помню. И был над Москвой рассвет.

Я брела и брела — теперь и тени полета не было — и, наконец, остановилась. Ужели я так устала, что коротенький путь домой от Смоленского рынка мне уже так тяжел? Стою, смотрю. Как во сне, другие дома, другая ширина переулка. Да я не туда пошла с рынка! Заблудилась. Где я? Какая-то совсем другая площадь... Совсем незнакомое место. Господи! Только этого еще не хватало, чтобы отсюда идти искать дом! Сил уже совсем не было. Слезы шли к глазам. Кто-то шел. Отводя взгляд, я спросила название площади. В стороне был пышный бульвар.

— Зубовская, — обронил уходивший.

Тогда я села на тротуарную тумбу: ноги не держали меня. Китайцы и принцы, торчащие из корзиночки, делали миг еще нелепей. Тогда — каким-то остатком здравого смысла — пришла мысль: отсюда недалеко до Нилендера, кажется... Они с Соловьевым, верно, встали и завтракают. Возможно, и для Андрюши мне дадут что-нибудь. И я пошла вперед. Должно быть, бывает на свете какая-то цепь неудач, несчастные дни. Они были дома, но, только перешагнув порог, я поняла, что не надо было идти к ним. Ни единым движеньем, ни словом это не было мне показано. Усадили, поили чаем, мазали повидлом ломти хлеба, и был на блюде наколот, мелко, голубоватый сахар (а не как на рынке все утро кричали: «Есть безвредный, настоящий, есть германский сахарин»...) Но в воздухе стояла не моя, а их усталость. И были провалы молчания. Чай был как слезы. И только одно утешало: «Больше я не приду сюда...»

Кто-то настойчиво стучал в мою дверь. Я открыла — и отступила на шаг, так неожиданно было появление этого человека. Он был все тот же — смуглый, среднего роста, в широкополой черной шляпе, и пристальный взгляд так же улыбался, как шесть лет назад на Верхнепрудовой (куда вскоре вошел и вытеснил собой эту ошибку моей жизни — Маврикий Александрович). На меня глядел, крепко сжав мою руку, не выпуская ее, отец Гали — Дмитрий Ильич. (Я его не встречала с поездки в Варшаву, — во время ее я познакомилась в коридоре вагона со Львом Матвеевичем — с чего так странно три дня спустя началось мое знакомство с Маврикием.) Видный и отлично устроенный член коллегии города Москвы.

— А-а-а... — должно быть, прочувствованно проговорил он и, улыбаясь еще глубже, острее: — Теперь я постараюсь найти путь дать знать Гале, что Ася — нашлась...

Я попросила войти; разговор завязался. Узнав о моей нужде, он задумался. Но когда я чуть насмешливо, верней недоверчиво, попросила его мне помочь тем, чтобы купить — достать, может быть, где-нибудь, по знакомству? — сапожные инструменты — «я научусь шить обувь, увидите, я и сейчас шью летнюю, из парусины, бечевок... у меня ловкие руки, с детства всегда что-нибудь мастерила, мать хотела меня в Строгановское училище... это будет мне такой приработок, ремесло такое нужное сейчас»... — гость мой помялся-помялся, почесал фигурально в затылке, больше уже не глядел так прочувствованно и, по-моему, больше не приходил. Мечта стать сапожником осталась мечтой.

Но, может быть, этот визит явился причиной моего, в будущем, переезда к матери Гали — Антонине Петровне — в комнатку, когда-то «для прислуги» — за кухней, в бывшей их квартире (мною описана Галина комната, золотисто-розовая, перед ее отъездом к жениху ее Полю Элюару). Квартира теперь была общая, коммунальная, но родителям Гали удалось отстоять себе: отцу — его кабинет с колоннами, матери — одну из комнат по коридору. Золотисто-розовости прежней буржуазной жизни потонули в разрухе еще не созданного нового быта голодной Москвы: отопление не действовало, электричество не горело, сам Дмитрий Ильич

и Антонина Петровна (давно уже не муж и жена, сохранившие друг к другу только одну иронию) жили, как он мне сказал, только временами в Москве, часть же месяца — за городом, в некоем Марфино, где чем-то ведал ловкий в материальной жизни отец Гали. Мать тоже работала там. Мне и сейчас неясно, как им удалось сохранить за собой ту крошечную комнатку, давшую нам приют осенью и зимой. Только право их на нее было явное, иначе жильцы, густо населившие большую квартиру, не потерпели бы меня с мальчиком и одной минуты.

В квартире, как описано Ильфом и Петровым о годах тех, шла непрекращающаяся грызня. Лида, младшая сестра Гали, уже была замужем за актером МХАТа А.А.Гейротом и жила у него.

Но я забежала вперед. Пока еще было лето, и вечером, ночью я наслаждалась покоем в хозяевами покинутой квартире в 7-м Ростовском, над Москвой-рекой, изредка бывала в благословенном уголке уюта и мира — у Лёры и по воскресеньям — в непонятной семье брата Андрея, походившей скорее на насильственное соединение двух неизвестно чем державшихся друг за друга, чем на добровольный выбор быть вместе. Впрочем, и у Лёры в доме поселилось непонятное и враждебное: она встретила на улице нашу бывшую горничную Машу, торговавшую подсолнухами и плохо устроенную: пожалев, пустила ее к себе пожить в первой проходной комнате — комнат было две — и через некоторое время Маша заявила, что искать себе другого жилья не собирается, тут остается, и грозила подать в суд и отвоевать себе комнату «насовсем» — а Лёра с мужем — два преподавателя — вдвоем пусть живут в задней. Лёра, всю жизнь отвращавшаяся от скандалов и хамства, была насильственно ввергнута в необходимость бороться за свое право против нахальства той, которую она считала хорошей, веселой и мирной, когда та жила в нашем доме. Марина, приходя ко мне, часто рассказывала о самогонщиках, занявших верх ее бывшей квартиры, о их пьянстве, беззакониях и ненависти к ней, не пускающей их еще более распространиться, держащей всегда свои комнаты на замке. Домоуправление, пившее вместе с самогонщиками, точило зубы на смелую надменную жиличку, имев-

шую охраной Всероссийский союз писателей, бывший до-
моуправлению — не по зубам.

...Стук в дверь. В парадную. Громче. Еще громче. Вскочив,
распахнув свою, стою перед закрытой входной, слушаю.
Там тоже — слушают. Голоса глухие — и снова кто-то во всю
мочь — кулаком. В легкой дрожи неожиданности подымаю
голос:

— Кто там стучит? Что нужно?

Мужской голос:

— Открывайте, гражданка.

Другой, тоже мужской:

— Из домоуправления я.

— Не стучите, ребенка разбудите! Открываю.

Звук ключа, приоткрытая дверь. Она раскрыта в тот же
миг и во всю ширь. Входят двое, трое. Передний:

— Здесь гражданин К.? (называет мне неведомую фами-
лию).

— Никакого тут нет гражданина. Я одна. И мой сын, маль-
чик.

Вполоборота один — другому, вполголоса. Советуются.
Один, снимая с плеча винтовку, ставя ее в угол:

— Придется... — далее в смене их голосов — путаница. В ней
различаю слово «засада».

— Вот что, гражданка. Ваш документ, проверим — и мо-
жете, если хотите, лечь. Мы тут устроимся и побудем у вас.
Нам нужен один человек, который тут значится.

Я насмешливо, даже весело:

— Долго же вам придется его ждать! Я тут второй месяц,
ни одной души не видела. Хозяйка квартиры уехала, пустила
меня — сторожить.

— Вы нам не нужны. Человека ищем. Живет в вашей ком-
нате.

— То есть я живу в его, так, что ли?

— Где он сейчас? Что знаете о нем? Говорите правду.

— В первый раз о нем слышу. От вас. От хозяйки квартиры
слыхала, что в этой комнате живет ее сестра. Ни про какого
мужчину не слышала.

Так длился некоторое время разговор. Убедясь, что я здесь
чужой человек, просмотрев мои документы, пришедшие

перестали меня спрашивать, говорили мало, между собой. Было утро.

И начался день, проснулся Андрюша, и тут оказалось, что меня не выпускают никуда: ни на рынок сменить селедки на молоко, ни даже на работу, где я должна была получить хлеб и крупу.

На все мои доводы мне ответили только одно слово:

— Закон!

И пришлось смириться. У нас было только немного каши; хлеба не было. Казалось, это даже удивило наших сторожей: что нет никаких запасов. Я разделила кашу сыну на два раза, было растительное масло. Сама, подогрев кипяток, выпила его — с сахарином.

Андрюша ликовал, что так мало каши — и нисколько ненавистного сала, и к вечеру стал оживлен, как трех лет в Александрове, когда д-р Соколов дал совет для его аппетита — перестать кормить его по часам, уговаривать — «проголодается и наестся в кухне щей и каши»...

— И можно совсем не обедать и не ужинать? — спросил лукаво восхищенный Андрюша.

— Можно!

И на четвертые сутки полного голодания (пил одну воду) ребенок сей был вновь приведен к д-ру осунувшимся и возбужденным, еле поверившему случившемуся и, разведя руками, сказавшему: «Ну тогда — тогда — сделайте ему куриную котлетку» — и рутина продолжила бытие. Похудеть до ночи восьмилетнему Андрюше теперь не удалось, но возбужден без еды и от необычной обстановки он был очень и тонким голоском словоохотливо беседовал с нашими «гостями», больше походившими на хозяев. Однако когда, выпущенный на балкон, он был пойман ими на том, что спускал по бечевке бумажки, его гулянье балконное было ими тотчас же и резко прекращено, и он был водворен в комнату. Спорить было тщетно: должно быть, подозрительные умы осаждавших нашу квартиру подумали, что под видом детской игры подаются исчезающему гражданину К. таинственные знаки. Убедить их в ложности такой догадки было не в моих силах, доказать им, что я впервые от них услышала о его существовании, я не могла. Я была занята более плодотворным делом: найдя у себя мешочек отрубей, бросилась валять

из них рассыпающиеся, но все же «лепешки» и жарить их на остатке растительного масла. На такой пище мы «безбедно» прожили два дня.

Я не помню сейчас, что же ели стерегшие неведомого К.: никто не входил в и не выходил из квартиры. Если бы они ели на наших глазах, я бы помнила — что. И трудно предположить, чтобы они не покормили хотя бы ребенка, так явно невинного в своем голоде! Остается допустить, что и они, как и мы, при исполнении своих невеселых обязанностей жили у нас — без еды... Поведение их с нами, кроме запретов выходить из парадной двери или даже на балкон, было вполне дружественное, насколько это было возможно.

Стояли жаркие дни, за окнами нашей комнаты и кухни горел к вечеру таявший блеск летнего неба, отраженный в реке, и над всеми нами расположилась скука вынужденного бездействия: я даже не могла войти твердой стопой в сказку, писать ее в нежданно подаренном времени. А время не шло, а ползло. На третий день отруби кончились. Осада же не снималась. Я начала роптать.

— Что же мне, голодом морить ребенка из-за вашего гражданина К., которого я в глаза не видала? Есть-то он должен? Мне на работе лежит мой паек, я его заработала!..

Но в ответ мерно, как метроном, неумолимо, как молот по наковальне, падали слова:

— Нельзя. Закон!

И тогда один из них, наиболее находчивый и хозяйственный, предложил в наше распоряжение россыпь чужого лука на кухне.

— Жарьте его — мы отвечаем! — сказал он.

И мы стали жарить в скудном количестве густой жидкости, уже кончавшейся в бутылке, — чужой лук. Наконец терпение проводивших засаду иссякло: за почти три дня никто не пришел. И тогда наши «гости» ушли. О, как мы бросились вон из дверей!..

Первый человек, к которому я пошла, выйдя из трехдневного заточения, была, конечно, Марина.

— Все-таки свинство, если Максимилиановна знала, что мужа ее сестры ищут, не предупредить об этом. Но может быть, и для нее это будет неожиданность. Даже наверное!

(В Москве и не такое бывает!) И все-таки лучше, пожалуй, будет тебе с такой квартирой развязаться — она скоро должна приехать, бросить квартиру все-таки неудобно...

— Да я и не думаю об этом, — отвечала я смеясь, — авось не придут больше! Но Антонина Петровна предлагает комнатку в Трубниковском, и я думаю, что мы переберемся туда!

До засады или после была одна ночь Марины у меня? Был конец лета. Она засиделась поздно, и не захотелось идти. У Лили или Веры Эфрон была ли? Или мы, уложив детей, тихо переговаривались над их сном? Я помню наш долгий разговор и его печаль, и нашу двойную усталость, и то, как одна заря потухла в одном конце Москвы-реки и затем началась другая, с другого конца ее вновь вспыхнувшей зеркалом ленты, и как было это глубоко под окном, откуда тянуло холодом, и как мне было хорошо вдруг снова с Мариной после стольких лет с другими людьми — с ее родной кровью, так похоже бьющейся в жилах, с ее родным голосом, с ее пониманием всего с полуслова... Что-то от прежнего юного опыта было в этой беседе, вдвоем над красой летних ночи и утра, отраженных в реке... Она читала стихи, и потом мы засыпали, она — на окне, я — не помню на чем...

И вот снова ночь, летняя, снова я одна, сын спит, и снова я на корабле волшебства и фантазии отчаливаю от пристани жизни. (Еще раз я ходила на рынок, Смоленский, тщась получить денег на хлеб. Хлеб! он же — 1921 год! — представляется пряником...) — но никто — хоть весь народ любовался моим искусством! брали в руки, ахали, качали головами, щупали драгоценные сияющие сказкой платица, камзолы, головные уборы — никто не открыл кошелек — чтоб эту сверкающую красу себе в дом — ни одной копейки! И я решила больше не шить кукол ночами, раздать Андрюше и Але к их дням рождения и к елке — всех моих волшебных детей — пары китайцев, принцев — принцесс, крестьянина и крестьянку — шварцвальдцев и мальчика с девочкой в старинных нарядах.

С помощью Петра Семеновича Когана (худого некрасивого человека с седеющей головой, пенсне на карих глазах и усами кота), доброго, участливого и переутомленного до

последней степени циклами лекций по литературе и количеством хлопот о неустроенных людях, и с помощью Гершензона, знавшего мою первую книгу о философии отрицания (1915 г.), и Вересаева, знавшего меня по Коктебелю, шли хлопоты о принятии меня в члены Союза писателей.

— Стоит, — сказала Марина, — когда-нибудь и пособие дадут, и дров выпишут, а на собрания их ходить можно редко. В этом крике их ты все равно ничего не поймешь — группировки, ссоры, склоки... А пьют... Там у них, в доме Герцена, — ресторан, вся писательская братия там питается и пьет. Может, и есть талантливые, но каждый только себя признает быть достойным членом Союза, а другие сюда, по его мнению, затесались как-то случайно. Как правило, они не читают друг друга, каждый — себя... Это, конечно, о мелкой сошке. Есть среди них писатели и, может быть, люди, но мне — некогда, мне надо писать, кончать пьесы и собирать сборник «Версты».

Должно быть, в 1921-м я была принята в Союз писателей с зачислением на биржу труда; в профсоюз было трудней: по какой-то непонятной причине получался круговорот: на биржу труда зачисляли того, кто числился в профсоюзе, а чтобы стать на учет Профсоюза, надо было числиться на бирже труда. Как это обходили, как обошла я? Помню только дни и дни в очереди, усталость ног и толстый том Жорж Занд «Графиня Рудольштадт» (по-французски). Я успела его дочитать, пока стала членом того и другого.

Хитросплетения этого романа с тайными масонскими ложами, героическими таинственными людьми и путаницей событий украсили долгий процесс становления на учет гражданского труда. Только тут я поняла, как приятен был военный уклад моей первой в Москве службы и насколько там больше порядка и простоты. Я теперь работала в Москустпроме, ультраделовом учреждении, куда меня устроил знакомый Маврикия Александровича, Арнольд Эммануилович Зайдман, уже давно, по слухам, порывавшийся мне помочь. Но о нем — впереди, ибо он и его учреждение и моя в нем служебная роль явились темой сказки, сперва названной «Сон», затем переименованной в «Бред». А сейчас я хочу сказать вкратце о двух домах, где я ту осень и зиму бывала: о Бердяеве и о Гершензоне.

Бердяев — блестящий оратор, умнейший и деликатнейший человек, держался благожелательно, но, может быть, по застенчивости, по той же деликатности — отдаленнее, чем простой в обхождении Гершензон. У Бердяева было парадней; у Гершензона — бедней, проще. У Бердяева была красавица жена: невысокая, полная шатенка; длинные серые глаза, коса надо лбом — короной. Говорили, что она — католичка, и ревностная. Гершензон — маленький, борода-тый, черно-седой — меня встретил приятельски, оживленно и добро, охотно взялся помочь, был словоохотлив и деятелен. Но одно меня поразило (поздней я узнала, что так делается во многих семьях): за столом ему подавалось отдельно — лучше, чем всей семье; добавочная каша в отдельном котелке, помнится. Мне стало стыдно и грустно. Но он был кормилец жены, сына и дочери, и, может быть, я не права была в моем чувстве. Как большинство культурных людей в 1921 году, он жил совсем другой, чем мы, жизнью — лекций, диспутов и докладов, библиотек, процветающих, не смотря на нелегкий быт.

«...В Гамбурге Людвиг сел на корабль». Куклы, сбежав с базара, незаметно, в сумерках, в суете матросов и пассажиров проскользнули на тот же корабль и плывут вместе с ним... И гремит китайская революция, раненая в живот императрица прячется за кучей канатов, в то время как ее бессильный супруг молит проходящих о помощи — тщетно! — в толпе народного гнева и праздных гуляющих пассажиров никто не видит его и не слышит — так он кукольно мал со своим горем, ненужным и смешным великанам, его окружавшим, — разве куклы имеют право на боль?

А Фламинго! Сколько мудрости он изрек во время начавшейся бури, смешавшей в отчаянии людей с куклами под свист вздымающегося тайфуна, который Китай шлет вслед кораблю... И под весь этот рев и грохот плачет маленькая служанка императрицы, родившаяся из тряпок — японкой, твердо знающая, что ей остается одно: харакири...

...И ее тряпичные руки всей силой в них вставленной проволоки, воли и долга пытаются отцепить у принца его саблю — удастся ли ей? ...Разве отдаст гриммовский принц из «Спящей красавицы» свою шпагу для чуждого инозем-

ного зверства? ...Но и буря проходит, как все, и вот мы на площади в Венеции, она зовется — площадь Святого Марка, где меж голубей, с них ростом, кормятся крошками хлеба высадившиеся на берег куклы.

Над Лидо — лунная ночь! ...Мечется Людвиг со скрипкой, по стене — его тень... Он взмахнул смычком, он — Никколо Паганини!..

Глава 4 У РОДИТЕЛЕЙ ГАЛИ ДЬЯКОНОВОЙ. РАССКАЗ МАРИИ ИВАНОВНЫ. МАЙЯ КУДАШЕВА

Память обрывается сразу. Ни переезда, ни того, как я оказалась на другой службе, — начинается другой сон.

Мы живем на седьмом этаже в Трубниковском переулке в бывшей квартире Гали Дьяконовой (3—4 классы гимназии Потоцкой, с 1907—08 годов. Эта квартира — с 1914). Мы живем в крошечной комнатке, где на столе стоит железная печка; налево за дверью — кровать, направо, напротив нее, за печкой — окно. Оно безнадежно сломано, заклеено, где нет стекол — бумагой, картоном, и, хоть заботливо затянуто тряпками и замазано старой замазкой, данной кем-то из родных, от него дует немилосердно, и Андрюша, жестоко простудившийся, кашляет день и ночь. У него жар. И ставлю ему горчичники — круговые — на спину и грудь, — и он терпит, потому что слезлив только по пустякам; в беде — мужественен; и ему уже девять лет. Он лежит и вырезывает ножом из дерева очертания фламинго, точь-в-точь как на деревянной игрушке, кем-то принесенной.

Нас навещает Антонина Петровна, мать Гали Дьяконовой, постаревшая и худая, приносит Андрюше немножко хлеба, репку или морковки — она живет где-то, где есть огороды.

Рассказывает мне о Гале, ее муже, их вилле, о Париже, о ее дочке Сесиль (ей шесть лет), показывает ее фотографии — темноглазая, круглолицая, с огромным бантом в темных волосах, с большим мячиком или с плюшевым медведем, фотографии блестят, как темные льдинки, от них веет щегольским аппаратом, за плечом Сесиль — подстриженные сады, посыпанные гравием дорожки.

Пока нет больших морозов, Антонина Петровна ночует в своей нетопленной комнате, предупредив, что когда зимой приезжает в Москву, то спит в нашей комнатке, в которой есть печка; в эти ночи мне придется уходить спать в ее комнату, а она ляжет вместо меня с Андрюшей, пристроив ему ложе на корзинках. Я жду этих морозных ночей — с содроганьем.

Из Феодосии приехала наконец Мария Ивановна! Она ютится где-то у сестры, иногда у тетки и везде мешает с трехлетним ребенком. Потеряв свой гардероб (его украли три года назад), она устраивается с трудом на работу в театр, ходит встревоженная, угнетенная бессильем сносно устроить ребенка, неприветливостью родных, равнодушием, с которым ее встречают в театрах, где все новые люди, где уже не помнят ее играющей с Мозжухиным и Лисенко, так шедшей в гору. Ее карьера прервалась рождением дочки; ребенок связал руки, девочка капризна, трудна и мало привязана к матери, которая обожает ее.

С Марией Ивановной приехали Майя и чета Благих — литератор Дмитрий Дмитриевич и его жена — Софья Рафаиловна, детский доктор, знакомые мои по Феодосии, и Эмиль Миндлин, тот поэт, чем-то в наружности похожий на Мандельштама, о котором я рассказывала Марине. Он быстро и легко заинтересовал стихами Марину, она приняла его в своем хаотическом жилье как гостя. И Мария Ивановна рассказывала мне, как она видела Марину, стирающую, на столе оттирающую рубашку Миндлина, и как это ее возмутило.

— А этот наглец считает, что так и надо, — негодует она.

У Марии Ивановны очень пылкое сердце. Она любит Марину и презирает Миндлина. Я говорю ей, что мне кажется, «Пустоты отроческих глаз» посвящено ему. И мы жалеем Маринину ошибку, потому что знаем: то, что она вообразила о нем — нисколько не похоже на правду...

— Маруся, я все слушаю — и не верю, что Бориса — нет... — сказала Марина. — О всех мытарствах ваших после Бориса слушаю, а сквозь ваш рассказ — чувство: Борис жив! Вот откроется дверь — и войдет. Я бы совсем не удивилась... Мне кажется, я никогда не поверю в его смерть!

Помолчали.

— Вот что я еще хотела рассказать вам, Марина, — говорит Мария Ивановна, — как Сережа гостил у Айвазовских в имении. Ходил по саду, огромному — фруктовые рощи, большой дом, старинный, и он стал мечтать: «Если бы я мог привезти сюда Марину и ходить с ней по этому саду, все ей показывать, а потом спокойно сказать ей: «И вот это, Мариночка, все — ваше...»

Как раненый зверь, вскочила Марина, не сдержав волнения, — и я не знаю, что бы она сделала, но Мария Ивановна вскричала со странной уверенностью:

— Марина! Я бы голову дала отсечь, что Сережа — жив! И вы встретитесь... Дала бы отсечь — без раздумья!

И Марина благодарно, шутливо:

— Вот эту вашу каштановую, чудную голову... Ну, и чем же все ваши мытарства кончились?

— Я переехала в Феodosию. Вскоре пришли красные. Меня взяли в театр, который начал организовываться при Наро-бразе. Ох, вот что я еще должна непременно вам рассказать, — говорит она вдруг увлеченно, присаживаясь ближе; глаза ее светлы под тонкими полукругами бровей, и взгляд их остер, и немножко смеха — предчувствия смеха в уголках глаз и у губ, — о моей встрече с Майей у моря. Хотите?

— Еще бы! — всплеснулся Маринин голос, — я так люблю Майю...

— Кончился у меня спектакль, а я после каждого спектакля так соскучусь об Ирусеньке — вечный страх, будто что-то случилось, — она же одна осталась с глухими старухами (вдовой и дочерью художника Фесслера, ученика Айвазовского); заплачет Ируся — они не услышат! Рвусь домой! Но меня остановила толпа матросов, человек шесть-семь. Слышу — кому-то назад: «Которая лучше? Эта? Вы! Айдайте, гражданка, с нами! Играть в наш клуб!» Не слушают, окружили, увлекают меня к тачанке. Пара коней, усадили — и вихрем! В Сарыголь. Версты три. Ввели, усадили в зал:

«Подождите, сейчас мы выступать будем, потом вы!»

«Да где же, говорю, пьеса? Скетч, что ли? Ознакомьтесь! Суфлер есть? Будка суфлерская где же? Под суфлера ведь придется играть?!»

Не понимают.

«Ну, пьесу несите!»

«А никакой пьесы! Что хотите — играйте, какую-нибудь роль — знаете? Вы — актриса...»

И вот я сижу целый час, а они выступают. До хрипоты! Ночь... Что с Ирусей? Наконец идут.

«Ну, твоя очередь!»

Полный зал. Матросы и женщины. Шум... Что же мне делать? Такого еще со мной не бывало! Был у них граммофон — завели его, вышла на сцену, стала частушки петь. Гогот, аплодисменты... Потом стала плясать. Русскую! Ну, тут такое поднялось в зале, а у меня всего с собой что шалька была на голову, цветная. В неподходящем платье. Но как выхватила белый платочек, пошла — точно весь зал загорелся! И ведь вот, Марина, удивительно: только унывала — откуда что взялось? Никогда, кажется, так не плясала — русская стихия, своя! Ведь свои парнишки — матросы...

Ну, уж успех был! Кричат «бис»... а у меня сил нет! Вытолкнули ко мне «актера». Генералом одет. Сидит и молчит. Я подошла, стала играть его кухарку. «Ах, красавчик ты мой!» Чмок его в щеку (отдышалась) — и снова пляшу!

Тут Марина стала так смеяться, что пришлось прервать. Сперва только я вторила, а потом как подкошенная рухнула и Мария Ивановна в наш смех. В какой-то костер смеха! Из него выбираясь, вцеплялся в рассказ голос:

— А потом фук — свет погас! И все разбежались... Шум, топот, крик — и все стихло! А я одна шарю по стенке, где дверь. Куда выйти? И такая меня досада взяла, такая обида — все про меня забыли, а я голодная, усталая, верстах в четырех от дома! И ребенок один... Ползла, ползла по стенам в темноте, наконец-то вышла наружу. Мрак. Дороги не знаю. Но шум моря, какой-то блеск... На них и пошла. Пойду, думаю, морем, по извилинам берега, — хоть и дальше, но все же дойду! Волны брызжут, усталость, еле переставляю ноги. Вдруг — свистки. Голос: «Стой! Куда идешь? Откуда?» Говорю. Не слушает. «Иди за мной! Проверять личность». Ведет. Солдат за столом сидит. Объясняю:

«Матросы меня увезли, я в их клубе играла, видите, морда в гриме?»

«Не знаю, играли вы или нет, утром выясним!»

Кричу:

«Да у меня ребенок один. Гасилку заденет — сгорит... Вы отвечать будете! Не держите — все равно убегу, всю улицу подыму криком!»

Грим показываю. Ну, отпустил. Иду дальше. Из-за туч луна поднялась. Феодосия. Забрезжилось... Снова свист, окрик: «Кто и куда? До утра задержать!» Сидит брюнет с усиками. На все, что я говорю, он мне:

«Гражданка, вы мне мешаете».

Но я не смолкала:

«Вам хорошо, мужчинам, поработали, покушали — и гулять пошли! А я вот ребенка родила и с ним мучаюсь!»

«Гражданка, вы мне мешаете!»

«И буду мешать! Ребенка вы не рожали, не знаете, что это, а я...»

«Гражданка, вы мне мешаете! — И вдруг как закричит: — Вывести ее вон! Пусть идет!..»

И я побежала. Бегу и реву, а впереди — тоненькая фигурка, ближе — Господи! Неужели — Майя? Нет, не она...

Иду, вся в слезах, до того усталая, и такая тоска по Ирусе, такое отвращение к морю — шипит рядом о камешки; к этой ночи — и вдруг Майин голос:

«Маруся! Ты? Ты откуда? Как чудно, правда? Луна! Море! Ночь... Ты откуда идешь?»

«Матросы увезли в Сарыголь...»

Она восхищенно:

«А я каждую ночь так возвращаюсь. Начальнику уроки французского — он только в двенадцать освобождается... правда, чудно?..» (И мне так стыдно стало за себя, ноющую рядом с ней. И так весело вдруг!..)

«А почему же ты, Майя, босая?»

«Там ручьи. Разуешься — и опять ручей. Я и пошла так...»

— Узнаю Майину авантюристическую породу, — сказала нежно Марина.

И долго, долго мы говорили с Мариной в тот вечер.

Майя где-то там, в семье своих друзей Тарасевичей, и я долго не вижу ее. К Благим я хожу, Соня устроилась дет-врачом в Союз писателей на Тверском бульваре, зовет, гостеприимна, весела, угощает; я заходила к ним до болезни Андрюши, теперь почти никуда не хожу — с работы скорей

домой, — топить, кормить, лечить. Спешка дня мешает частым свиданьям с Мариной и Марией Ивановной. Марина приходила ко мне. Парадный вход, как во многих домах в те годы, был забит наглухо, ходили по черному ходу — семь этажей вверх, держась за тощие железные перила, и попадали в кухню. Как я помню один ее приход ко мне, не коротенький, деловой — и такие бывали — а, как встарь, на часы, с долгим разговором о самом главном — и в этот раз самым главным оказалось наше коренное несходство с детьми нашими, горечь двух поколений, двух типов восприятий и действий. Как ни блестящи были ум Али, ее чувство слова, ее талантливость, ее яркая несравнимость с другими детьми, но в дне, в ее реакции на все бытовое (что в трудности своей являлось в те времена экзаменом души и воли), так несходна была она с пылкой, суровой, быстрой, как огонь, матерью, так медленна, вяла, уклончива, так явно другой породы в отдаче (неотдаче) себя, что иногда привычное раздражение матери перерастало уже в иное — в осужденье, оттолкновенье, выражаемые, как у меня с Андрюшей, в словах презрительных, резких, уничтожающих. Это было непедagogично, непохоже на разговор с ребенком именно потому, что глядело дальше, видело вперед, и уж не воспитание тут шло, а подсчет и суд, бой с противоположным, чем в нас, неутомимых, с иным началом — с ленью, береженьем себя, с взваливанием на другого, то есть с самым презренным в мире и самым враждебным — нам. Андрюша был только ленив. Он был добр, и эгоистом он не был.

Что чувствовали наши дети, все это о себе слыша, под наш горький о них суд? Кто знает? Может быть, ничего вовсе не слушали, отвлекаясь, болтая друг с другом о чепухе, заливаясь смехом — наверное, так. Потому что если б могли они иначе воспринять такую о них беседу — она бы не понадобилась, не родилась, ибо было бы к чему апеллировать, сходному с нами, в них пылкому, вспыхнувшему, готовому за себя дать ответ... А именно этого и не было: была глухота. Вата — там, где должен был быть пожар: согласия или несогласия, в конце концов, все равно, лишь бы пылало... Не пылало в ответ! В Андрюшином наклоненном лице со взглядом исподлобья было одно упорство не участвовать в страдании,

вызванном им, уклониться, отвязаться, прыгал в голое свободное от ответных чувств мальчишество, незаконное, безответственное.

В Алином прелестном личике с явной небесностью взгляда огромных светлых глаз была некая по дали разлившаяся — тоже уклончивость, туманность, лукавая, даже с внутренним вздохом неспособность зафиксировать себя на остроту действия, пробуждения. И в жаркой речи в тот вечер об этом Марины находили утоление мои сомнения о том, как воспитывать Андрюшу, и мы говорили в два голоса, перемежая и перебивая друг друга, — о детях наших, игравших в уголку во Фламинго и других моих кукол? — а ветер выл за осенним окном и трепетал бумагу, заменявшую стекла, и вспыхивал и дрожал ночник.

И за всей этой неглавной Мариновой болью безмолвно пылала другая, главная — отсутствие Сережи, неизвестность о нем, страх допустить, что его... — ...Плач Ярославны!

Марина и Аля уходят. Марина стоит на пороге кухни, и мы говорим почти в темноте. Вот она вышла на площадку, и я за ней, и мы говорим. Андрюша остался внутри, ждет горчичников, Аля в теплом пальто, из которого выросла, стоит рядом с Мариной. Договаривая последнее, вся — отрыв, вся — прочь, вся — от! захлебнувшаяся горем быть собой среди себе не подобных, с крылами стихов за плечами, не видными тем, кто кругом, она поворачивается внезапно, сурово и властно. Миг осознания спешки, позднего часа, холода — крепче, привычной рукой, Алин башлык вокруг шеи — прощальные слова мне. Рукопожатие.

И их drobный шаг вниз, с семи этажей, в провал, еле свешившийся. И моя голова, как нагнутое веткой яблоко, прижатая к перилам, стремящаяся — вслед.

Ночь.

Любопытно, что я не помню ни одного человека из живших в этой квартире, прожив с ними осень и часть зимы. Вымело их из души, верней, не вмело. Но отчетливо помню страшные ночи, когда, приехав, Антонина Петровна шла ночевать к Андрюше, где, дымя, тлела печка. А я шла ночевать в ее нетопленную комнату, от которой она мне давала ключ. Он щелкал — и я входила в мученье!

Воздух был густ от холода. Все в нем застывшие предметы — кровать с когда-то красивым дорогим изголовьем, горевшая морозом, беспощадно блестя металлом; стол, заваленный неразобранностью давнего некогда; предметы различного обихода, сваленные грудями между стульев, шкафов, у стен — все плавало во льду беспощадной несогреваемости. Принимая меня в себя — до утра, я должна была медленно превращаться в них, стать насквозь холодной, воплотив в себя дух комнаты — неутешность.

Я ложилась одетая, в валенках, на кровать, покрывалась своей черной, когда-то папой подаренной плюшевой шубой, на которой не было лица. Ноги в огромных сбитых валенках еще были немного теплые, но они уже переставали жить — и час за часом, через почти лесное замерзание, делались неподвижны, как чурки, холодя кору валенок. И тогда они начинали ныть, как зубы. Я садилась, снимала валенки и растирала их по очереди, засовывая растертую назад в ее заскорузлый футляр, пока не задохнусь от напряжения. Это продвигало время, ночь укорачивалась с точной медленностью часовой стрелки, и это было не сравнение, а тождественность. Стрелка была воображаемая, у меня не было часов. Иногда я грызла корку, это утешало своей «домашностью» в страшном чужом мире холода. Иногда я забывалась: сон борол холод. С верха шкафа в комнату и на меня смотрел ледяной, в чугуне, черный бюст Данте. И было в нем что-то сходное с «Вороном», — ...Never more...* Эдгара По...

Утром, покормив Андрюшу и блаженно согревшись у печи, что-то поев, я шла на работу. (Как во сне, я забыла переулочек в центре Москвы, где был Москустпром!) Я занималась какими-то проверочными подсчетами в Калькуляционном бюро. Им ведала женщина в английской кофточке и в пенсне, презиравшая меня и «тонко» скрывавшая это из-за ее подчиненности Зайдману, моему покровителю. В плату мы получали паек нержавеющей селедок, мешочки крупы и фунтики давно забытого сахара, хлеб и еще какие-то нежданые артикулы полузабытой еды, и мы жадно их уносили. Все это (а главное, мое мучение — калькуляции) было так похоже на бредовый сон, что не долго оставалось

* Никогда (более) (англ.).

одной явью: я стала писать сказку обо всем этом. И тогда мне стало легко жить. В сказке я была не я, а пятнадцатилетняя девочка (кудри — мои), Зайдман, Арнольд Эммануилович (точно такой, как был: маленький, плотный, воплощение энергии (в сказке же — всемогущества), круглолицый, глаза навывкате, шаг пружинный и легкий, почти беззвучный, сапожки черно блестя — в нем было что-то неуловимо автомобильное и нескоро сказалось, но оказалось, что он — король жуков, автомобильный король, американский король. Это — втайне, а с виду здесь было обычное бюро, и единственное, что тут, как в яви, — женщина-калькулятор; ее нельзя было ни выдумать, ни преувеличить, так преувеличена и выдумана она была. И еще — действующие лица — снежинки, верней буран, заметавший Москву в часы, когда, сжав под мышкой хлеб и селедки, служащие спешили домой по Никольской, переназванной Ветошным переулком, и исчезали во мгле. А потом, как автомобильный рожок, был вызов всех — в стеклянное бюро начальника (всех, кроме девочки. Она сидела одна с калькуляциями). Экстренно обсуждалось — кого сократить, пришло «сокращение». Что было за стеклом — неизвестно. Но девочка, что-то быстро, тайно вписывавшая в тетрадь, спрятанную под калькуляции, записала в свою (она тоже писала) сказку, что американский король хлопнул рукой по столу и, оспаривая всеми, особенно женщиной-калькулятором выдвинутую кандидатуру на сокращение, крикнул: «Девочка — останется!» — и хлопнул рукой по столу, по красному листу картона — «И там, где ладонь коснулась гневно картона, блеснула зелень сукна». А когда на другой день стали выдавать... макароны! — начальник вдруг с порога крикнул девочке: «У вас есть тара? Вам дадут макароны!» — и исчез.

Это были годы, когда Грин писал свой бредовый рассказ о Торговых рядах и о крысах. Когда родилась «Диаволиада» Булгакова. Как счастлива была бы я настоящим человеческим счастьем, знай я о них! Но все приходит поздно и становится не собой...

Я стою возле печи, поправляю качнувшуюся трубу, борясь с дымом, от которого задыхается кашлем Андрюша, вспоми-

наю разговор с братом Андреем, он сказал: «Знаешь, у меня нет времени заниматься всеми твоими делами. Тебе надо выйти замуж! Чтобы вернуть Тетин тарусский дом, поднять все бумаги за несколько лет, найти ее нотариальное завещание — надо затратить по теперешнему времени — целый капитал. У меня его нет. Да и что тебе делать в Тарусе? Те, кто советуют это, говорят, ничего не зная.

Работы подходящей ты там не найдешь, сдать дом тебе не позволят. Денег на ремонт его — у тебя нет. Брось думать об этом — мало ли что у кого было. Если б ты еще не уехала, а то — тебя нет, мне — некогда, вносить в заклад за все твое серебро — денег не было, до каких пор их вносить? Тут Гражданская война, ты не пишешь, где ты — неизвестно, — оттого и вещи твои, мебель на складе пропала — ведь это не два месяца, а года! Взять ее — а куда? Места-то нет... А потом — национализировали, а может, с торгов пошло... Тут не до этого было, когда голод в Москве был! У меня и дом так из рук ушел, разобрали по бревнам... Уезжать не надо было, тогда мы, может быть...»

Я ему говорю: «Так у меня же дети там оставались, когда я приехала к мужу по Марининой телеграмме, я же надеялась его в живых застать... Всего пять дней тут была, на могиле его, и пыталась узнать о его смерти, не оставил ли он мне письмо... Сперва говорили, что список какой-то был — кому он сколько должен (у него десять или двенадцать тысяч золотом было в делах брата) и на первом месте в списке будто бы стояли я и Алеша, а потом сказали, что списка нет, выдумка... я не стала входить в это, а кинулась назад к детям, а потом отрезали путь бои...»

В общем, судьба! И Ваня не едет, обещал привезти вещи, брошенные у его друзей — и не пишет... Все пошло прахом! Еще есть надежда на то, что оставлено в Александрове — там же много вещей маминых — и книги — но нет сил (времени нет!) хлопотать пропуск...» — «А вы напишите туда, вы говорили, что хозяева дома, где вы жили, — старики, честные... Хоть узнаете, как и что, — может, весной съездите с кем-нибудь...»

Я так и сделала. Каково же было Маринино и мое изумление, когда в ответ пришло с нашей милой Староконюшен-

ной улицы письмо Лебедевых, перепуганное и взволнованное. Они писали: «О каких же вещах Вы пишете, Анастасия Ивановна, когда Ваша сестра Марина Ивановна написала нам, что Вы назад не приедете, потому что убиты горем и что все Ваши вещи Вы просите передать Надежде Борисовой, Вашей бывшей няне, нам известной. Она и приехала с этим письмом, с отцом своим из уезда, и мы им все отдали, по распоряжению вашему и Марины Ивановны, и она тогда же с отцом все от нас увезла...» Вдвоем, Марина и я, над этим письмом сперва возмущались подлостью Нади, потом огорчились тем, что все мамино пропало — и на складе Ступина, и тут — память... А потом махнули рукой и смеялись, как ловко Надя обошла Лебедевых, какая же она оказалась мерзавка, после стольких лет преданности, казалось... Какая странная вещь — жизнь...

— Воровала у меня только твои фотографии! — сказала Марина. — И так вспоминала Алешу — и Ирину мою любила, жалела, возила в деревню два раза, откармливала... Ничего, Ася, проживем — я уверена, тебе будет академический паек... вот увидишь!

В Москустропме случилось с сокращением штатов так, как было написано в сказке, как та девочка про себя и про короля жуков написала. Только она не знала — это была туманность сказки, почему ей покровительствует этот король американский: Америка в представлении девочки была — большое сборище жуков, душой же каждого жука был автомобиль. На самом деле я знала причину надо мной покровительства — Арнольд Эммануилович Зайдман знал Маврикия Александровича — может быть, от Никодима слышал, вероятно, и о моей печальной судьбе в 1917 году — потерять на протяжении шести недель и Маврикия, и сына его. Теперь, узнав, что я в нужде, считал долгом поддержать меня. Он ни разу не заговорил со мной о Море, ни о чем интимном; держался совсем официально. Но я чувствовала его руку над собой так прочно, что мне порой, несмотря на всю трудность моих дней, делалось почти весело, почти сказочно уверенно, что он — это крыло, простертое надо мной. Он его не снимет и в суете учреждения, в стуче машинок, в головокругительности цифр, бумаг (я впервые узнала жур-

налы входящих и исходящих бумаг, и хоть моя начальница меня презирала, но я старалась — для Зайдмана, как он для меня: из всех сил от благодарности, чувства врожденного).

И была нежность у меня к нему; что он — начальник мне непонятного дела, такой занятой, такой и вправду чем-то на американца похожий, такой четкий, краткий в распоряжениях, до мозга костей деловой, и вот старается помочь мне, такой во всем ему противоположной, антиподу своему — это уже было сказочно, сказка рождалась из повседневности моей службы совсем органично, с неизбежностью геометрических чертежей. Но еще сложнее: поведение Зайдмана было ультрасовременно; он был воплощением НОТа (научной организации труда); его жесты, неожиданные появления, целесообразность всего, что он делал, деловая сухая элегантность одежды — френч, галифе (или бриджи), щегольство сапожков. А в его глазах — крупных, навывкате — была семитская грусть, печаль в мировом масштабе, и она пылала и обжигала с такою же ровной силой, с какой он, от нее на ходу отвращаясь, старался ее скрыть. Он входил — и сказка входила с ним; она была его тень. Удивительно ли, что она ложилась в тетрадь упоительными страницами, не хуже, чем о сошедшем с ума скрипаче? И я была просто счастлива те недели (и месяцы?), что я прослужила под этим крылом, лицезрела его — в почтительном умилении, огорчаясь только тем, что ничем и никогда не смогу ему оказаться полезной, ему помочь, его от чего-то спасти — я, лучше всех его понимавшая в каждый час дня!

Мария Ивановна поведала мне новое материальное горе, коснувшееся и меня: перед отъездом из Москвы Борис, не зная куда деть вещи их бывшей квартиры (Ирины Евгеньевны), обстановку многих комнат (братья сказали — «давай, куда хочешь»), а сестры Маруси не было в Москве, она жила в Новохоперске в незаконном браке с тем самым соседом по Ярцевке, который ей летом 1913 года так сразу понравился в наш визит к нему и его жене — в тот летний вечер, когда мы ехали к ним на шарабанчике, — так вот, в спешке отъезда с Марией Ивановной и труппой театра, где она служила, Борис поставил все эти вещи к знакомым, предложившим ему бесплатно (оплачивать их стоянье на

складе он не мог) — большую залу свою. Туда были врезаны и втиснуты вся мебель квартиры на Малой Грузинской, пианино и сундуки Ирины Евгеньевны, полные драгоценнейших вещей. И вот теперь, когда Мария Ивановна пришла к этим людям, — «Понимаешь, какими же мерзавцами они оказались! Сказали: «У нас все забрало ГПУ, ничего нет!» И я было поверила, а когда уходила, на черную лестницу побежала соседка и говорит: «Меня не выдавайте, но врут они, врут, ГПУ у них ничего не забирало, они все эти годы жили на ваши вещи, только на днях выносили ваше пианино!» — Ты подумай! Я так для Ирины с Андрюшей надеялась на эти вещи, они бы выросли в сытости и одеты были бы — ну, пусть бы хоть часть вернули — знают же, что два голодных ребенка, — так ни сочувствия, ни сожаления... Даже не предложили никакой помощи, в гости не пригласили с детьми... а как живут, — ты бы посмотрела!»

— Милый Борис, чистый, отрешенный, — говорила Маруся, — как он им верил! Я шла с лестницы, и ноги подкашивались — уже не знаю, от того ли, что вдруг ослабела, не ела давно, или от горя за Борю — что и после смерти люди с ним расправляются, его детей обездолили, Дон Кихота Ламанчского...

В сказке девочка вошла в бюро короля жуков: «Это правда, что сокращение меня миновало?» Дама так сердится, кричит, что я ей не нужна... Король жуков поднял на нее круглые глаза. Они горели, как фары: «Вы остаетесь». И он снял телефонную трубку. В том, что зовется явь, было так: я вошла (в первый раз) в стеклянные створки круглого сооружения — кабинет Арнольда Эммануиловича — «Точно крылья жука...»

Он встал мне навстречу. Его глаза были впервые теплы, как он ни старался быть холодным. Он протянул мне тетрадку.

— Я прочел вашу сказку. Спасибо. Это хорошая сказка. В ней — правда. И наша жизнь в действительности — сказочна... наша страна...

Я отважилась:

— Простите, вопрос: в деле о сокращении я близка или далека от истины?

— Вы угадали довольно точно. Разговор был очень близок к тому, который вы описали.

Зазвенел телефон. Он снял трубку.

Я вышла из кабинета.

Глава 5

НА НОВОМ МЕСТЕ. ВЕСТЬ О СЕРЕЖЕ. ГЛАВКУСТПРОМ. В.ВЕРЕСАЕВ. СЕРЕЖА СОКОЛОВ. ПЕЧЬ

А Гераклитова река течет, и мы уже не живем в Трубниковском, а — волей судьбы и вниманием брата Андрея — переехали в квартиру его знакомых в Мерзляковский переулок. В этот переулок Муся ездила в детстве с мамой в музыкальную школу Валентины Юрьевны Зограф-Плаксиной. Приятель Андрея — адвокат (присяжный поверенный — член коллегии защитников), занимается вечерами живописью. Он поляк, его зовут Казимир Антонович Томашевский. Этот гордый пан — худой, горбоносый, светловолосый когда-то, теперь — посеревший, полон чувства собственного достоинства, подозрительности к другим, юмора по отношению к повседневности, женат на пра(?)внучке Рылеева, жгучей брюнетке цыганского типа с раскатистым «р», в первый же день наш у них закатившей мужу скандал: «Богды-хан! Отдыха-а-а-е-т!», но это был лишь темперамент, беспокойный и шумный; мужа она любила (это был второй муж), любила и берегла, и жизнь их была своеобразно колоритна.

У них сын Игорь, года на два старше Андрюши, живший в интернате. Они отдали его туда ввиду его ненормальности; учиться в обычной школе он не мог. Но были у него большие способности к рисованию; сын художника — он пошел в отца, — рисунки его были зрелы, точны, давались ему шутя, — в будущем — талант, но он ленился учиться, не придавал цены этому дару. Отец присматривался к нему в редкие встречи зоркими своими сощуренными глазами, стараясь понять — выйдет ли из этого неудачного сына художнический толк.

У матери Игоря, Елены Викентьевны, от первого брака была дочь Маня, жившая с отцом. Материнством Елена Ви-

кентьевна не блистала и рассказывала о дочери юмористические сценки, темой коих был капризный нрав девочки: и делала она это с холодком, будто говорила о постороннем — девочка, например, увидав на Кузнецком куклу в окне магазина, требовала, чтобы ее ей купили тотчас же (кукла была огромна и стоила невероятных денег). В ответ на отказ Маня легла на тротуар, крича, что без куклы не встанет, — и так далее. Теперь Маня была уже взрослая, изредка навещала мать, курила, беседуя с ней о том о сем, и отношения их были довольно хладны.

В искусстве Томашевский был очень знающ и имел собственное мнение обо всем, относясь к современной живописи назидательно-отрицательно, и благоговел перед великими мастерами прошлого. Был он умен и очень красноречив, с некоторым налетом маниакальности. Со мной у него скоро установились любопытные отношения: придирчивый и резкий в быту, ввязываясь в каждую мелочь обихода по следам жены, поддерживая ее на каждом шагу против жильцов, он иногда останавливался со мной в коридорчике, или просторной кухне, или темной проходной комнате, куда выходили наши двери, и вел со мной пылкий и длительный разговор об искусстве, пуская в ход свои жесты заправского юриста, шаг вперед, шаг назад, ладонь к груди и вновь императивный жест в сторону противника — радуюсь вспомнить сорок четыре года назад, что я не позволила себе ни разу его оборвать или отмолчаться перед началом такой беседы, как бы грубо он ни обрывал меня в бытовых недоразумениях, создаваемых его не злой, но вздорной женой. Двуликость этого Януса я приняла без критики. Квартира когда-то им принадлежала полностью, роскошно обставлена, устлана коврами, и, засунутые в две комнатки, они чувствовали жильцов врагами.

Когда Елена Викентьевна вышла замуж за Маниного отца, ей было шестнадцать лет. Он был прокурор. Второй муж (адвокат) встретился ей в еще молодые годы. Разборчивого и горделивого поляка она пленила своим цыганским типом, в котором процветала и днесь. Только теперь ее черные волосы уже на висках седели, и на голове она носила сомнительного вида тряпочку, в которой готовила на примусе обеды и кипятила как-то особенно завариваемый чай,

а еще — с другой тряпкой в руке — мелькала взад и вперед, вытирая пыль со старинного дивана красного или палисандрового дерева и таких же кресел первой их комнаты, увешанной картинами в рамах и уставленной — по полочкам — золоченым старинным фарфором. Там же стоял и мольберт хозяина. Жизнь свою Казимир Антонович делил на две части с точностью часового механизма: до вечера он был юрист, на работе и дома, принимая клиентов от — и до... С последним клиентом хозяин нашей квартиры превращался в художника: на свою худую изможденную голову, почти лысую, он надевал темно-зеленый берет и садился писать картины или портреты, оживляясь, отворял на звонок знакомому, служившему ему моделью, — и начинался творческий миф.

Брат Андрей иногда приходил к Казимиру Антоновичу, и они чинно сидели на старинном диване в их узенькой гостиной и беседовали за стаканом чая о живописи. Я там не бывала, только видела их мельком в приоткрытую дверь; я была на целую ступень вниз Андрея в представлении Томашевских — была бедна, плохо одета, зачумлена работой и спешкой — выпала из той приличной жизни, которою жили они. Андрей, уходя, заходил ко мне на недолго, для приличия садился, что-то спрашивал, глядел на красавца племянника и уходил, вынув из внутреннего кармана денег и молча мне их протянув. И я шла по коридорчику проводить его в двойной тоске — униженности и умиленности тем, что меня жалеет, а может быть, помогает по чувству долга? И не было ни одного простого родного слова меж нас: чужая душа — потемки.

Комната, в которой мы жили, была последняя (то есть вторая) по коридору справа, и в нее входили мы через небольшую темную комнату, заставленную вещами Томашевских. Наша комната (отданная ими нам добровольно, поскольку лучше мы, чем невесть кто; и я получила ордер на нее в городских инстанциях) — была пуста, только висели на стенах две огромных картины — одна в тяжелой раме круто нависала над чем-то, на чем мы спали, и изображала Каина, голого, из тьмы разметавшегося по темному полотну. Я ее ненавидела, но долго терпела, пока, наконец, сказала, что ее не хочу — боюсь, что упадет на Андрюшу и его убьет. В ответ пошла мне ненависть, выра-

женная дуэтом крика мужа и жены, обвинявших меня в обмане — «комната была вам дана в таком виде, вы видели, что ее убрать некуда...» Я выдержала натиск, настояла, картину унесли, но долго еще жила с нами зловещая женщина в темном, брюнетка с пылающими черными глазами, в огромной черной шляпе — Елена Викентьевна. Портрет походил формой на трюмо, женщина была во весь рост. И в тот день, когда я попросила унести ее, — «боюсь, что сын разобьет стекло, которого невозможно купить», отношения между нами дрогнули ощутимо. Вражду ко мне напитало еще то, что вскоре — в самый сочельник перед новым, 1922-м годом, пришла с Ириной Мария Ивановна и поселилась у нас: ей некуда было идти. В этот самый вечер она, придя домой, то есть к сестре, где жила, узнала, что вещи ее и кровать Ирины вынесены в сарай.

— У меня гости, мне тесно, — сказала ей сестра Тоня (талантливейшая актриса театра импровизации «Семпарашите», веселая, обаятельная женщина), — у тебя есть Марина и Ася, иди к ним!

Развешивание в комнате Ирусиных простынок вызывало негодование, вешать же их в кухне было еще невозможней. Мебели у нас не было никакой; на чем мы спали — я не помню. Марина ли извлекла из своего хаоса подобие кроватей, они ли дали нам на чем лечь? Стола не было лишнего и у Марины. Она дала мне ящик, проструганный и аккуратный, я радостно везла его за веревочку как санки, и на нем, что-то подложив, мы теперь ели. Посреди комнаты стояла железная печь, добытая у кого-то; трубы же я, купив на Смоленском, перетаскивала с помощью Андрюши к нам на четвертый этаж, и печник за мзду, моему карману почти непосильную, протянул их по коридору из дымохода, подвесил к сочленениям простынки, куда стекала черная жирная гарь.

Сколько времени прожила у нас Мария Ивановна с дочкой — я не помню. Прошло наше нищее Рождество с откуда-то принесенной хвойной веточкой, украшения принесла Марина, принесла серой муки (отрубей?), сала и сахара, и я сварила «торт».

На Новый год купила Андрюше на рынке фунт черного хлеба — в его полное праздничное владение, нарезала его ку-

сочками, положила на тарелку, а соседи (третья семья в нашей четырехкомнатной квартире) — Абрам Львович Цыпкин и его жена — дали Андрюше на блюде сахарного песка, и он, жмурясь, как кот, от блаженства, поглощал медленно, чтобы растянуть на подольше кусочки темного, как шоколад, хлеба, обвалянного в серебристом сладком лакомстве. «Как вкусно»... — говорил он.

Моей новой радостью была дружба Марины и Марии Ивановны. Они нежно полюбили друг друга. Но вскоре пришел Людвиг и предложил Марии Ивановне свою комнату, каким-то чудом полученную. Она, натерпевшись с Ириной у сестры и у тетки, кажется, согласилась. И мы снова остались одни — Андрюша и я. Наши хозяйева кричали на меня, как только я «превышала права» — ставила что-нибудь в кухне (готовила и на примусе, плита не горела) или в темной проходной комнате. «Вы, как раковая зараза, распространяетесь по квартире!» — негодовали они.

Марина, приходя, возмущалась:

— Как ты можешь терпеть такое? Я бы им ответила! Ты же имеешь в квартире такие же права, как они!

— Я так устала, Марина, от них, от всего... — отвечала я почти равнодушно.

Марина получила от Эренбурга из-за границы весть, ее возродившую: Сережа жив! Она прилетела ко мне как на крыльях.

— Ася! — сказала она, сияя, — теперь я в Москве не останусь! Я уеду к нему! Я уверена, меня выпустят! У меня есть знакомства: Коган, та издательница, кое-кто из писателей... Дадут поручительство, я продам все, что есть, и уеду! Ася! Ты подумай — он жив!

— О, Марина! Как я счастлива за тебя! И за него! Какая с плеч ноша! А ведь я от тебя скрывала — теперь я могу сказать: был слух, что в Джанкое расстрелян некий Эфрон; Сережа или другой, Петр, однофамилец. Тот — тоже говорили — красавец (хоть, конечно, не такой, как Сережа...). Кто расстрелял — тоже было неизвестно, там многие были. Анархисты? Красные? Зеленые? Махновцы? Никто ничего не знал...

— Спасибо, что не сказала!

И в празднике нашей радости только одно не было вспомнено: я, остающаяся... Вновь без Марины! Без Маврикия, без Коли, без Вали — и без нее...

— Продвину сразу все, что пишу, и будет к весне четыре книги: два сборника лирики, «Царь-Девница» и «Конец Казановы»! Лозэн сейчас не пойдет...

И теперь о работе: как случилось — не помню: что-то случилось, разлилось, и я была передана из Москустпрома, от Арнольда Эммануиловича, — в Главкустпром, где его не было (какая утрата!) и где был совсем другой человек: Ной Ноевич.

Я теперь сидела в большой комнате среди других служащих и уже лучше разбиралась в дебрях входящих и исходящих бумаг. Я и сейчас не совсем понимаю, что это, собственно, было за учреждение: называлось Главкустпром, но почему-то моя там работа относилась к Компомголу (Комиссия помощи голодающим), и именно по этой линии я подчинялась Нюю Ноевичу.

Был он разительно похож на тогдашнего сподвижника Ильича — Троцкого, и был 22-й год, то есть еще нескоро это имя и наружность стали в стране одиозными. И Ной Ноевич, проходя мимо нас и давая распоряжения, пользовался уважением и авторитетом. Ко мне относился, думаю, вопросительно, не понимал, что я такое в этой смеси кротости и дерзких ответов, нетребовательности и надменности? Но боюсь, что это уже колдовала надо мной моя «девочка» из сказки «Сон»: это лучи ее юности, путаности и внезапных еще полудетских выходов пробуждали мою усталость, недокормленность, недосыпание — к чему-то фантастическому в поведении.

И я не совсем иногда знала, где она, где я, как не знала границ между Арнольдом Эммануиловичем и американским королем жуков. А между тем вокруг нас происходили настоящие, вне сказок, события, но были и они похожи на бред: «представители с мест», главным образом с Волги, привозили вести о случаях людоедства, и были эти гонцы с мест возбужденные и стремительные в рассказах, и им трудно было говорить об этом в тоне официального сообщения.

Мой шеф передавал мне иногда какие-то срочные бумаги, и я мчалась с ними к кому-то на подпись, затем мне выписывалась путевка в Кремль (комиссия, где я работала, числилась при ВЦИКе), и я ехала с пакетом вниз по Тверской, к месту, где — еще была или уже исчезла — Иверская часовня. Странно, что я ехала, помнится, не в автомобиле, коих уже была полна деловая Москва, а в коляске, в которую была впряжена лошадь. И была эта лошадь темнее гнедой, и я ужасно ей радовалась, но была ли у меня корка хлеба, чтобы и она мне порадовалась, — не знаю. И мы ехали с ней в Кремль.

Я ничего не помню там, кроме тишины площади и строгости зданий, в двери которых входили люди с портфелями, и я вспоминала детство и нас с папой перед Царем-колоколом и Царь-пушкой. Входила по точному адресу, передавала пакет и ехала назад в Главкустпром. На обед я варила в железной печке картошку в моем судакском коричневом котелке и ела ее без хлеба, с одной солью, от усталости и от спешки не снимая с нее шкурки, — горячее, соленое и насыщавшее — это было все, что нужно. И было во всем этом ужасное одиночество и тяжелая грусть.

Но и дома шло то же: Казимир Антонович рассказывал о судебных процессах, где звучало то же слово «людоедство». Оно шло с Волги. И однажды он показал фотографию: чинно, как снимаются мещане и крестьяне, руки на коленях, глаза навывкате, — сидели пожилые муж и жена, а у их ног лежало что-то невнятное и одновременно ясное, как в бреду: кучка костей, и над ней — кудрявая белокурая головка девочки с закрытыми глазами. Это было снято для судебного процесса, и были это отец и мать девочки, ее убившие и ею питавшиеся (ей было десять лет) и застигнутые в тот момент, когда готовили для засаливания бочку. Это была явь.

Я была теперь снова уже немного старше, чем в Москустпроме, и эта старшесть была — печаль. Пока надо мной было крыло Арнольда Зайдмана, таинственно мне протянутое через годы, я себя было, после лет испытаний, ощутила вновь молодой и фантастически (под фантастическим крылом) сильной. К Ною Ноевичу я относилась — никак: привычно — благожелательно, как к каждому, за меня он не стал

бы бороться, и хоть я уже прошла через инстанции приема и на биржу труда, и в профсоюз, но память об очередях туда была еще свежа и не грела. Но я долго проработала там, всю зиму. Помню себя сбегавшей по лестнице Главкустпрома и бегущей в одном платье в соседний дом (постройку в русском стиле) — Кустарный музей. Я ловлю чью-то подпись и иду навести справку в Музее. На мне черное в сборку сатиновое платье с безрукавным корсажем из синего старого, как мир (диванная подушка, уцелевшая?) полотна, рукава — черный сатин, по низу платья — две синие (с узором) полосы. Платье — мой труд и изобретение, из старья. Луч солнца, бег и в луче тонкая старая цепочка (длинные звенья, серые), лорнет? Не может быть. Ключи? Весна.

Ко мне постучался Абрам Львович, сосед — высокий, круглолицый, добродушный, несмотря на деловитость: смущенно, но настойчиво:

— Анастасия Ивановна, от вас ко мне мышь перебежала. Возможно, у вас продукты какие-нибудь в незакрытом виде хранятся? Знаете, неудобно... Жена...

— Продукты? — отвечаю я беспечно в несколько залихватском тоне, весело смотря в глаза Абраму Львовичу. — А у меня нет продуктов! Чисто!

Сосед с минуту смотрит на меня, потом уже неуверенно, для очистки совести перед женой:

— Но мышь бежала из-под вашей двери...

— Так она оттого и бежала из-под моей двери, что там ничего не нашла! Она к вам бежала, домой! Это ваша мышь, Абрам Львович!

Но мне не хочется далее так говорить с соседом — он добрый и щедрый, часто подкармливает Андрюшу то тем, то другим, и мне стыдно за мой тон.

Он улыбается, я улыбаюсь тоже, и мы расходимся по своим углам.

В начале нэпа, после Компомгола, я переводила с немецкого «От рабочего к астроному» Бруно Бюргеля, и в ожидании гонорара в течение семи месяцев мы с Андрюшей жили без хлеба, с одной сушеной картошкой, и отец Гали Дьяконовой нам несколько раз (узнав об этом) привозил настоящей

картошки и в придачу — моркови и свеклы по несколько килограммов. Какой это был праздник! И вот настал наконец день, когда после редкой долгой переписки моей с моими феодосийскими друзьями пришла короткая весть от Вани Морозова: «Дорогая Ася! Еду к вам, все устроено, пропуск получен, собираюсь в путь». И несколько строк о друзьях и приветях от них. Я радостно пришла к Марине:

— Марина! Ваня Морозов едет!

— Правда? Ну, я очень рада... Посмотрим на Ваню! Бери муки, вчера дали в пайке, ничего, что серая, какого-то жира выдали, сахару только мало — ничего! Сахарину добавим!

— И сделаем торт! У меня можно, если хочешь!

— Отлично! И вещи твои привезет, наконец! Я уж Миндину поручала, если поедет туда, — хотел... Ася, слушай, я получила письмо от Макса, читай.

И я прочла — родным почерком Макса, прямые, суженные буквы — страшную весть: и в Крыму — людоедство, люди людей засаливают в бочки. Соседи Герцыков, татары, всю жизнь почитавшие отца и его боявшиеся, убили его, зарезали, как быка, засолили и долго питались им...

— Марина! Я помню их отца! Высокий, строгий — они у него по струнке ходили... Какой ужас!

— Читай дальше.

Читаю — о Герцыках: голодают. Варят суп из травы. Еле стоят на ногах. Двенадцатилетний Даля вечером вышел на крыльцо и завыл, закричал: «Накормите — или убейте...»

— Даля, говорю я, — такой умный, раннего развития, в десять лет писавший дневник, интересовавшийся моим дневником... Он был всегда крепче и жизненнее младшего, Ники, — тот был слабый, изнеженный, его звали «Le petit prince»*... И, наверное, что было в доме — шло ему. Далю перевели уже на положение взрослого. Там же еще девочка — лет шесть ей — Вероника**.

— А мать ее, Люба Жуковская... все лежит? — спрашивает Марина. При тебе лежала?

— Плашмя. И руки все меньше двигались. Сначала еще подзывала дочь, поправляла на ней что-нибудь, даже силилась

* «Маленький принц» (фр.).

** Дочь Любы Жуковской и Владимира Казимировича Лубны-Герцык.

вязать ей что-то... А теперь уж, верно, совсем неподвижна — и как Евгения за ней ходит? Она же сама так слаба, вечно болеет грудью... Когда Аделаида жива была, они вдвоем ее таскали в ванну? А теперь... Да, Марина! Я забыла тебе рассказать: вчера я звоню Борису Александровичу Шпаро — тому, кто погибал после смерти жены в Красном Кресте в Судаке, которого я утешала, билась над ним, возрождала ради детей его к жизни, — он работает в Наркомпроде и, кажется, женится — мне надо было узнать у него о ЦЕКУБУ — и он мне: «Я удивляюсь вам, Анастасия Ивановна, я так занят, а вы меня отрываете...» Я швырнула трубку. Молодец! Петухив оказался...

Переутомление росло. Я писала, что Марина и я более не ложились спать вечером, а ложились, когда задлившийся в ночь день наконец иссякал. И бывало это так поздно, что уже не было сил раздеться — засыпали в чем были, вне постели. (Да и постели-то не было: постелено без дивана, кровати, как волк в углу берлоги). Я в кухне Томашевских, в вальенках на холодном асфальтовом полу, над корытом: стираю и сплю. Еле оттертые, вышитые красным петухи кем-то подаренного холщового полотна тонут во всплеске вспененной мыльной воды... сплю.

И вот однажды, встав от работы Компомгола в большой холодной комнате, где я на железной печке варила мелкую картошку в шелухе (другие все-таки приносили из дому какие-то пакетики — я старалась не глядеть в их содержимое — ведь уже начался нэп, где-то открывались магазины, и у людей были деньги...), я потянулась... От усталости и от слабости стала у стены, прислонилась. Вокруг за столами были другие служащие, шел даже, что-то мурлыча, умученный делами помощи голодающим Ной Ноевич — и я внезапно ощутила, что схожу с ума. Зорко слушая что-то о себе: «Уже по ту сторону?» Ошпаренная ужасом, тихим, я стояла и думала?.. Нет, говорила себе: «Если приду домой, Андрюшу во двор не выпускать — может быть, уже не выйду за ним! Пусть — дома...» Какой-то головной озноб тряс страхом, что я — уже не я. Страх — себя...

Как я вышла из этого состояния? Помолилась ли сквозь провал сознания? Обо мне кто-то? Час этот помню почти полвека спустя.

Когда позже уже заболела, слабая от переутомления, Марина сказала обо мне: «Асю надо кормить. И чтоб спала. Но сойти с ума — нет, не сойдет никогда: будет анализировать себя — и тем спасется».

Узнав, что я живу на одном служебном пайке и помощью Марины, не получаю академического пайка, что еще только начаты обо мне Гершензоном, Коганом и Бердяевым хлопоты перед Секцией научных работников, Викентий Викентьевич Вересаев вдруг принес мне львиную долю своего академического пайка. Он втащил ее на четвертый этаж, сам уже пожилой и слабый, и смущенно, добро тыкая мне в руки что-то в бумаге и кусок мешковины? из него — баранью кость с длинным скосом сырого мяса, и мы долго держали под чем-то огорченные руки, на которые тонко сыпалась из прорвавшейся газеты крупа... Мы стояли в слабо освещенной передней, и Вересаев не хотел входить, как я, тронутая до слез, ни звала.

— Не могу, не могу, спешу очень... Поздно... В другой раз!

Так и не вошел, а сходил медленно полутемной лестницей, глуше и глуше шагая, пока не стукнула внизу дверь. А я все стояла и плакала, облокотясь о перила, каюсь, что мало, недостаточно поблагодарила... ведь у себя отнял, у своих... Для тех дней (еще до начала нэпа) это был редкий поступок. Я даже не была его другом, мы были только знакомы, встречались в писательских кругах.

И потом — бурно назад, где уже из темного узкого коридорчика сияло, что-то почуяв, оживленное Андрюшино личико — мне навстречу...

...Поздно кончился в тот вечер пир над жаркой от варки и жаренья печки, железной, и грел сердце морозный пакет между рам окна — отложенное на завтра Марине.

Ваня Морозов приехал! Он стоит в моей комнате, все тот же, какой-то невинный и вольный в этой ему незнакомой Москве, деревенский паренек со лбом и глазами Владимира, лукавинкой раздвоенного кончика носа — и я молодею, мы держимся за руки, смеемся, и все вдруг легко вокруг: вместе! Наша встреча смеется и во дворе, где я уже не одна, нестерпимо долго маленькой пилкой (когда не хочу отрывать от стихотворных работ Марину) пилю бревно, — дзинь-

дзинь — вперед-назад, легко, как по маслу, и уж птичьим крылом в воздух колун, стук-стук, а я только подбираю в охапку откиннутые звонкие четвертушки, восьмушки и — не тащусь, а почти взлетаю черной лестницей на четвертый этаж. И на раскаленном железе умелыми взмахами — тонко раскатанные лепешки из отрубей, чуть мукой скрепленные, — хватай (сгорят!), и так же на другой бок — ничего, что внутри сыроваты, зато теплые, свежие... и горячий сахаринный чай!

А беседа! А сборы к Марине! У нее будем делать торт! Только поздно ночью, вдруг:

— Ваня, а мои вещи? Вы их...

...Не давая продолжить:

— Ася, не мог! Книги свои оставил! Понимаете? Давка, не сесть... Да я с пересадкой... Видите — вот привез всего — и кивок в угол, где маленький чемоданчик.

— Ну, раз Ваня книги оставил...

— Я там Миндлина видел, говорит, Марина Цветаева мне поручила, должен привезти!

И в волшебной Маринойой комнате, в полумгле, всем по куску «торта» и черный кофе под говор детей, наш говор — о Москве и о Крыме, и стихи Марины, стихи Макса, воспоминания, воспоминания, праздник!

Ваня прожил у меня недель около трех. Я ухаживала за ним, кормила, вместе писали письма Сереже и Леониду, вечерами он рассказывал мне о своих «хождениях по мукам», так он, шутя, звал походы по инстанциям устройства на биржу труда. Был в поисках подходящей службы. Я выдерживаю лбом ядовитые насмешки Томашевских о проживании у меня «жениха» — а мы с Ваней (увлечения прошлого не начав) были теперь только друзья. Но стал Ваня часто не приходит ночевать, иногда возвращался сытый, стал нервный, уклончивый, раза два я уж снова возилась с дровами — одна. Затем у меня заболело, как в детстве, как в Судаке, в правом боку. Я слегла, притаясь в страхе припадка аппендицита. Надо перележать. Ваня не шел дня два. Девятилетний Андрюша, приученный ко всему в хозяйстве, вызвался раскатать занесенную на днях Мариной муку, нарезать лапши (себе). Нам обоим — сварить кисель — «Вам, Ася, кисель можно!» (клюквы дала Нина Мурзо, крахмал в газетный фунтик — Гольдман Елизавета Моисеевна).

Да, но кто же затопит печь? Мне — встать нельзя, ребенку поручить — не решалась. В этот миг постучались — Ваня.

— Ванечка, Бог вас послал! Скорее, дружок! Все ушли (соседи), воскресенье, а я болею. Зажгите печь, дрова есть, Андрюша сейчас...

— Знаете, Ася, в другой раз — охотно. Но сегодня (Ваня заволновался) — никак. Я устроился на службу, мне товарищ дал угол, и пришел за своими вещами. Очень занят! Я только сегодня могу на рынке присмотреть нужное, немного обзавестись... Вы простите, Ася, иду! — Он уже пробирался к дверям.

— Ася, Абрам Львович пришел, — весело крикнул Андрюша, — он зажжет! Я уже раскатал лапшу!

И после ухода Вани мы грустно и весело поели: Андрюша обед из двух блюд своего рукоделия, я — Андрюшин кисель. Но когда я пришла к Марине с вестью о поведении Вани Морозова:

— Мариночка! Ведь это ж почти из Евангелия: вдова и ребенок, и болезнь...

Марина прервала меня:

— Ася, выгони Ваню — и мы сделаем торт!

Из Феодосии пришло письмо от сестры Петра Николаевича Лампси, Елены Николаевны Потапенко: оставшаяся в Феодосии (брат от нее уехал), она голодала, просила пойти к ее бывшему мужу, писателю Потапенко. Я зашила в мешочек несколько килограммов (фунтов?) сушеной картошки и послала ей. И пошла к ее мужу. Он жил в доме Герцена, где я бывала у Благих, где видела Мандельштама и брата Сони Парнок, Валентина Парнаха. Ко мне вышел худой, весь серый старик. Смущенно он отвечал, что Елена Николаевна, собственно, так недолго была женой его... «И у меня семья, понимаете ли, я ничем не смогу помочь, к сожалению...» Он действительно сожалел. Я ушла.

Уезжая из Феодосии, я оставила Елене Николаевне большое, вязанное кремовыми толстыми нитками трехпрудное мое девическое одеяло, работы нашей экономки Елены Николаевны Вязьмитиновой, ушедшей затем в монастырь. На нитки распустить и продавать мотками. Больше у меня ничего не было ценного. Но я задумала пустить на службе подписной лист «в помощь голодающей, бывшей жене пи-

сателя Потапенко». И пошла с листом по столам и комнатам Главкустпрома. Люди читали, слушали о ней и жалели, давали — кто меньше, кто больше, редко отказывали.

Я радовалась! Хоть на хлеб! Может быть, выживет... Пока вдруг некий Х, поправив пенсне:

— Это что? С кем согласовано? Кто уполномочил вас? Где ваша касса? Кто мне поручится, что вы эти деньги...

И кругом все притихло, и я, как кот прижав уши — откровенно говорю: испугалась. Я не помню, что говорила, но лист, согнув, спрятала, прекратила мое путешествие по столам и, дрожа за собранное, прямо со службы — на почту и — как ликовала, когда деньги сдала переводом! Посланы! Она их получит! А если меня призовут к ответственности — вот вам квитанция! Я работаю в Помощи голодающим! А там — хоть трава не расти!

А от отца Вали (Валя и Ольга Васильевна уже уехали) письмо слезной почти благодарности: мы с на днях приехавшим Сережей Соколовым, рассказавшим мне, как отец и мать Вали голодают, послали им, собрав по друзьям, съестную посылку, а до того Сережа по письму моему свез им перед отъездом мою ручную швейную машину — пусть хоть за мешок — или пуд! — черной муки продадут, как Марина — рояль! Я плакала над письмом благодарности их. Мать Вали, меня считавшая тогда «интересанткой», — оправдала меня теперь...

Должно быть, в письме Зелинских значилась просьба пойти к Вере Фигнер и напомнить ей о Екатерине Борисовне, урожденной Тумановой (Валиной матери), сидевшей вместе с Фигнер в крепости за дело 1-го марта*, — сказать, что она голодает, дать адрес. Я видела Фигнер в Союзе писателей, коего уже была членом. Ее строгий облик — высоко прибранная прическа, синее дорогое платье и то, как она терпела свою ногу вытянутой, приземлившись перед ней женщин, застегивающих ей ботинки, — давали мне мало надежды на сердечный действенный отклик. Та Вера Фигнер, в ряду Вер Засулич и Марий Спиридоновых, героинь Маринино отрочества, превратилась в строгую старую даму, привыкшую, увы, к почестям... Но я пошла.

* Не ошибаюсь? — Покушение на Александра II?

Дом где-то на Воздвиженке? Переулок. Важный вход. Квартира. На звонок открывает пожилая сухая женщина. Смотрит строго. Вхожу. Передаю поручение.

— Сестры нет дома. Я ей передам. Но, насколько я помню, Туманова мало пробыла в крепости, ее роль в деле 1-го марта была небольшая, ее выпустили раньше, чем сестру... Я не знаю... простите, у меня котлеты горят!

Они жарились и подпрыгивали на сковороде, и на блюде их был ворох... Как пахли! Почти голова закружилась. Я откланялась и поспешила уйти.

— Я передам сестре, и, если она решит нужным, она даст знать. Вы ваш адрес тоже оставили?

Дверь хлопнула.

— Если б я жарила столько котлет — я бы одну — предложила! — думала я, спеша по зимней Воздвиженке. — Нет! сестра не даст знать...

Не дала. Сколько прожили Зелинские — я не знаю. Только слышала я, что бывшие их крестьяне привозили им что могли: муки, овощей. Жалели их, старых, никогда работников своих не обижавших.

Приехавший Сережа Соколов безотказно помогал мне: пилили дрова, он колол, не давал мне тащить их наверх; мастерил игрушечные «канделябры» из крох-жестянок, где горело до семи керосиновых фитилей в трубочках (фитили выдвигались!). Он помог воплощать начало огромного задуманного дела — постановки кирпичной, вместо железной, печки: тащил со мной со Смоленского аршины железных труб другого диаметра (чтоб не дымила печь!), обещал «загнать» мои узкие трубы, когда мы их снимали. Успевал забежать к Марине помочь с дровами — и, всегда веселый, с неистощимым юмором, так смеялся, закинув маленькую голову на высокой шее, высокий, сильный. Мрачнел, говоря о Ване, качал головой. И сиял, рассказывая о Леониде. Вещи мои хотел взять — те не дали: возьмет Миндлин.

Не знаю, встретились ли Сережа Соколов и Борис Бессарабов: что-то в них было общее. Они были преданны Марине и мне, не мечтая ни о какой близости, жертвенно отдавая время и силы... Только был Борис — красив и был весь

в действии. Сережа более мечтателен, и в нем — тяжелая задумчивость, сменявшая его веселье. Она, годы спустя, и погубила его. Что случилось с Бессарабовым — не знаю.

А Марина была неузнаваема: вся на отлете. Стремительна, собранна, как натянутая стрела. Дело о ее отъезде двигалось по инстанциям. Коган помогал и другие. Она увидит Сережу! После «Плача Ярославны...»

Яростно откармливала Алю, пихала в нее все съестное, что могла раздобыть, и Аля толстела на глазах. А Марина была все так же желта, только глаза ее не были никогда потухшие, как я замечала у нее летом, до вести от Эренбурга о Сереже, блестели сосредоточенным блеском.

Соколов устроился в крошечной комнатке в одном из соседних домов — в Столовом переулке. Притащил мне все кирпичи, нужные для печи, потом был вызван на снеговую повинность домоуправом, простудился и слег. Как он горевал, что не успел мне поднять на четвертый этаж кирпичи! Умолял меня подождать до завтра, сложить во дворе за угол дома, покрыть старым мешком — завтра он встанет и мне их внесет!

Я его успокоила, обещала, дала лекарство и через полчаса начала таскать кирпичи — сколько могла поднять в мешке, — вверх по черной лестнице. Как могла я рискнуть такой драгоценностью и его трудом? На плечах их доставила во двор... Тяжелы кирпичи! Но когда их несешь для печки... и несешь, чтобы не нес больной... Сколько раз я взшла? Сколько крику я вынесла от «хозяев», что сорю из мешка, разношу грязь!

— Вы как раковая зараза распространяетесь по квартире... — вновь ядовито заявлял Казимир Антонович, и, как на суде, как перед залой — шаг назад, руку к сердцу и тотчас же, загибая первый палец: — Сперва — калоши в проходной комнате, затем (загибая второй палец) — из подвешенных банок сажа на голову, с труб. Теперь кирпичная пыль разносится по дому! Спрашивается, когда это кончится? Что еще ожидает живущих с вами?

— Тося, иди ужинать... — звала жена.

Я летела за последней охашкой.

Печная эпопея продолжалась! Я нашла печника. Он жил близ моей бывшей военной службы во дворе, в подвале. Большой и странный человек, со своей речью, своими мнениями и особенной своей судьбой. Он жил один с шестилетней дочкой, жена умерла? ушла? и это хозяйство с уходящим на работу хозяином и шестилетней хозяйкой хватало меня за сердце каждый раз, как я приходила туда. А я ходила несколько раз, каждый — в надежде, что последний, а его все не было — или ушел, скоро придет, или — не возвращался, и я часы и часы, бросив Андриюшу и свой «дом», с девочкой в чужом доме ожидала единственного печника, согласившегося поставить мне печку. И печь эта, благодаря трудности все для нее добыть — дверку, колосники, плиту с кружками и, наконец, слово, от которого захолонуло в груди, — «духовка»! Это слово вымолвил в какой-то счастливый час встречи печник (дочка, успокоясь, что отец пришел, стала сразу ребенком и, поев с блюда каши, села рисовать, свесив с плеча косичку и высунув от усердия язычок) — «Ася, язык!» — мне мама когда-то в той давней, как сон, — была ли она? — жизни... И когда, наконец, через много дней духовка была добыта у жестянщика после жестяной эпопеи — настал день, торжественный, как почти день рождения, — когда отец девочки вечером, после работы, наказав дочке спать, ушел ко мне и всю ночь клал мне печку — и кончил ее класть — почти к утру... Эта ночь была — опьянение!

И казалось, что дружба наша над кирпичами, чугуном и железом — дружба на всю жизнь, и как рассказать его жалость ко мне и мою — к нему, эту ночь над растущим детищем? Андриюша, усталый от восторга и лицемерья, уснул, и прошло еще много часов печникова труда и моего прислуживания, и в заолодавшей комнате (уже два дня как старая была вынесена, трубы сняты), в глиной пахнущем сооружении, как на таинственном жертвеннике, запылал огонь... Он пылал и шумел, утихал, накалял печь и трубы, Андриюша спал, блаженно раскинувшись, печник собирал свой мешок с молотком, дощечкой, по которой он штукатурил (соколом и еще чем-то), и, остановясь у порога, любуясь:

— Дым-то не идет? Ты боялась...

И мы двое, по коридору, от труб вверх теперь затепленному, крадемся как воры, чтобы не разбудить спящих, он — идти, я — закрыть за ним дверь...

Лепешки из отрубей пеклись в духовке, волшебной, на другой же день, а после них в ней же сушилась обувь — валенки, поочередно, и однажды я не туда (там еще что-то сохло), а в протопленную печь, в глубину, где уже можно было держать руку, засунула Андриюшины мокрые (таяло!) башмаки. Он болел и их не надел бы наутро. А вечером что-то мне упорно мешало класть дрова, но я запихала их чуть косо, зажгла — пошел дым... Чем-то пахло, но вскоре стихло, а когда открыла задний кружок — замерла в отчаянии: там стояли золотые, раскаленные башмаки: миг — и рухнули в пепел.

Так пришла в нашу бедность — беда... Долго не смог выходить Андрияша: башмаки были единственные, а купить их было нельзя: в магазинах обувь давно уж не продавалась, искать на рынке — откуда ж деньги? И было благородство Бориса в его сыне: видя, как я плачу, как себя проклиная — он не упрекнул меня.

Дверь отворяется, и входят Марина и Ланн. Андрияша не видел Ланна более двух лет, с осенних ветров Коктебеля. Тогда его черные волосы были — короткие крылья, теперь это кудри до плеч. Мой девятилетний сын, отступя, — восхищенно и созерцательно, как его отец:

— Искуситель!

И я, восхищенно смеясь:

— Сын Бориса встречает Ланна! (широкий сопровождающий жест).

И, хоть палата ума — и где же такие палаты? — все же поднял брови в недоумении — пантомима! Марина, поясняя:

— Из «Принцессы Брамбиллы» в Камерном! И, отступив тоже на шаг, мне — мимо Андрияши и Ланна — ...а знаешь, ведь действительно похож...

Спектакль — гордость Таирова!

Этот вечер в моем новом жилье — в памяти. Стихи — Нежность — Дружба — Вдохновение — Воспоминания — пламень и гул печки — и снова Стихи... Это был Вечер в Плаще...

Глава 6
ИСПЫТАНИЕ. АНДРЮША ТРУХАЧЕВ.
ПРОЩАНИЕ С МАРИНОЙ

Что это было — нечто противоестественное. В революционной Москве! И все-таки каждое слово, которое я сейчас расскажу, — правда, чудовищная, и все же — явь, было. Не комментирую. Пишу — и почти полвека спустя — одним удивлением. И мой сын, единственный из со мной бывших, хоть не любит связанные с детством воспоминания, конечно, помнит то, что я расскажу.

После сгоревших Андриюшиных башмаков, золотых, страшным виденьем рухнувших в пепел, он долго не мог выходить из дому. Узнав это, Маринина знакомая, ставшая затем моим многолетним другом, Шура Зенковская, фантастическое, одержимое, волшебное существо с трагической невероятной судьбой (теперь давно умершая), повезла нас с Андриюшей в старых Валиных сапожках, ему свободных, куда-то — в АРА, к знакомой, служившей там, в надежде, что, по ее просьбе, мне, в придачу к выданной через Союз писателей посылке АРА (рис, сахар, сало, какао, рыбные консервы, долго кормившие нас), — выдадут на босого сына обувь. Обуви в тот день там не было, но обещали, а пока дали шерстяные носки и записали имя и размер ноги, и мы, простясь с Шурой, на радостях впервые позволили себе роскошь — сесть в недавно вновь появившийся в Москве трамвай.

Выйти мы могли у Никитских ворот, возле нашего переулка.

Андриюша, с детства не ездивший в такой роскоши, стал, как часто дети, на сиденье на колени, прильнул лицом к запотевшему стеклу, дуя и расчищая себе «окошечко», чтобы видеть полетевшие назад дома. Ногам его в новых толстых носках было тепло в промоченных (была оттепель) сапогах Вали Зелинского, но один из них еле-еле, может быть, и не тронул, а только мог тронуть, двинувшись, пальто рядом сидевшей дамы. Это была именно дама (как уцелевшая в буре революционных дней?). Вдруг, отпихнув мокрый сапожок мальчика, дама вскричала в негодовании, и полились из ее рта слова, сказочные по мракобесию, — в трамвае революционной Москвы.

— Убери свои ноги! Этого еще не хватало! Пачкать мужицкими ножищами пальто *дамы!*

Ее рука сжатым в ней зонтиком грубо отодвинула Андрюшин сапожок. В ту минуту моя рука, без единого с моей стороны слова, остановила взмахнувший зонтик. И — опустила его.

И тогда началось! Я не могу повторить потока. Но это кричала разнuzданная буржуйка — в советском, 1921 года, транспорте, и вот что я запомнила из потока (которому молча внимал трамвай!)... «Пришли со своей Волги, нищие, голодающие! Наводнили Москву! Идите назад, на вашу Волгу! Да знаешь ли ты, — крикнула она мне, — что такое зонтик дамы? И смеешь ли своими грязными руками его хватать?»

Молниеносное виденье Сытинского переулка, и во мне пронесся ответ, — но я его уже отвергла: «Наш дом тут, в Трехпрудном, дом отца — профессора Московского университета...»

— Сударыня, — начала я, — вы...

Но уже сорвавшись со скамьи, стоя на своих сапожках перед оравшей дамой (которую не остановил никто!), мой девятилетний сын, мальчик в старом пальтишке и башлыке, закричал громче дамы, весь красный, как индейский петух, в гневе прекрасный, сверкая на нее трухачевскими, цветавскими глазами:

— Как ты смеешь так говорить с моей матерью?! — гремел на весь трамвай его задохнувшийся голос. — Да знаешь ты, кто она? — и он кричал и кричал, и дамин ор стих — она, как и весь трамвай, как-то ахнула от неожиданности, — но я всей силой рук — а он вырывался — зажимала ему рот, — не видела его никогда в таком состоянии и боялась за него, за себя, потому что уже раздалась голоса: «Остановить трамвай! Высадить их!» (ах — нас! — не ее...). В голове мешалось... К счастью, трамвай, подлетев к остановке на середине бульвара, стал. И, теряя еще полбульвара полета, оплаченного, я — за плечо Андрюшу, — толкая его перед собой, прыгнула с подножки в густую снежную грязь предвесеннего дня.

Мы шли, я — еще в дрожи пережитой непонятности, смиряя в себе все поднявшееся, а Андрюша, уже отойдя, тянул ноги, отставая, меся грязь, и вид у него был — скучающий...

И мне стыдно сказать, как о многом, мной в жизни сказанном, сделанном, что я, вмиг вознегодовав, не удержала себя,

а посмела его упрекнуть в его повседневной медлительности... Но пусть знает он, если я умру вдали от него, если кто-нибудь когда-нибудь ему прочтет это, — что я до смерти не забуду его подвиг в тот день, его крик той — на «ты», его защиты, его рыцарства! Оно покрывает все, что потом пришлось мне испытать, пусть он это знает наверное.

— Какая ты странная! — сказала, негодуя, Марина. — Почему ты не остановила трамвай, не вызвала милиционера, не составила акт? Был же хоть один красноармеец в трамвае, в шлеме! Не заявила, что ты — член Союза писателей, не повторила ее слова о Волге? Но какой же у тебя молодец Андрюша! Борисов сын...

В Маринину квартиру в Борисоглебском был стук молотка (детского, деревянного, когда-то серебряного) — на веревочке, — на пороге стоял сияющий, предвкушающий холю Миндлин. Но Марина стояла на самом пороге. Оглядев его чемоданчик...

— Где Асины вещи? — спросила она коротко.

— Я... я забыл их — в Феодосии! — краснея, пробормотал Миндлин.

— А я вас — в Москве!

Дверь захлопнулась.

Эта запись по памяти с Марининых слов. Более мы поэта этого не видали.

Наступила весна. Мать товарища игр Андрюши по соседнему переулку — Абраши Гольдберга, убедила меня, что мальчиков надо отдать в новую школу, куда принимают за художественные наклонности — Абраша уже поступил и ходит туда. Она говорила так увлеченно. Я дала себя увлечь и пошла.

Где это было? Не помню. В больших пустых комнатах сидели заведующие: Наталия Сац и молодой человек, имя которого мною забыто. Не Григорьев ли? Они же — экзаменаторы.

Экзаменов было два. Чем отличился мой сын у Наталии Сац — я не помню. Экзамен второй (у мужчины) был следующий:

— Что бы ты сделал, если б сюда вошел тигр?

Ранее чем в мгновение ока очутился экзаменуемый на верху высокой распахнутой двери.

— Молодец! — ответил экзаменатор. — Он принят.

И он записал: «Трухачев, Андрей, 9 лет».

Но не было башмаков. Ноги промокли, он слег надолго с бронхитом и не поступил в эту школу.

Пасха 1922 года. (Уже нэп? У соседей ветчина, масло, колбасы... Телефон несет вести о латуни — пеньке — еще чем-то необычайном... — частная торговля, разрешенная в стране, видоизменяет жизнь окружающих пластично и быстро. Но у нас все по-прежнему.)

И однако в предпасхальный вечер, в Страстную субботу, ко мне раздастся стук, и в комнату входит, как в книге Диккенса, человек, несущий пакеты. Он их ставит на стол, сообщая: «От Андрея Ивановича и Зинаиды Николаевны». И уходит.

Стою, занемев: кулич! Пасха! Уйма крашенных яиц! конфеты!

И затем, как в волшебном сне — да простит Провидение, что я позабыла — откуда — из нескольких мест! От Драконны? Нины Мурзо? От семьи профессора Яковлева Алексея Ивановича, молодого когда-то друга и ученика папы? Шуры Зенковской? Стол (и откуда, как, когда появился стол?) — завален. Расставляю, смеюсь, плачу, Андрюша пробует, нюхает, сияет...

И на другой день — или ночью еще? — входят Марина и Аля, и мы целуемся трижды.

— Ася, это какое-то чудо! Это тебе за терпенье и кротость!

И мы пьем и едим — ветчина, сыр, сдобный пирог, торт — но превыше всего — кулич! Пасха! Яйца!

— Ася! Аля, ведь правда — мы давно ничего подобного не видели, ну ни у кого, у богачей даже... Это просто сон! Смотри, они все перемазались даже... О, я расскажу Сереже про эту Пасху!

Ночевали ли они у нас? Томашевские принимали гостей, несли и нам угощение...

Звонили ли в 1922 году пасхальные колокола? В первый день Пасхи пришел Ваня Морозов, христосоваться.

— Знали, в какой день будете впущены! Ну, похристосоваемся...

В другой день бы другой был прием.

Ваня смеется дерзко:

— Я знал...

И, кажется, это был его последний приход ко мне. За все пятнадцать лет моих в Москве.

О! Кто входит ко мне! Какая радость, какое тепло сердцу! Катя Калецкая! Судакская Екатерина Николаевна! Она едет в Петроград и, вспомнив ту, год назад, Пасху, когда я приехала к ней в Судак из Феодосии, — повторила эту радость сегодня! У нее так мало времени, это было так трудно устроить... Мы держимся за руки, смотрим друг другу в глаза. Она, как всегда, смотря испытующе-вопросительно, глубоко-глубоко своими большими прекрасными голубыми глазами, улыбается добрым и умным ртом, и — молчим, потому что все понимаем... Радость! Сходство! Уверенность, что — что ни скажи и — будет понято сразу и полностью — и как иначе, когда она — сама грация, грация ума, грация сердца, не отступающая ни перед каким испытанием, лишь бы быть верной тому единому, что в жизни довлеет, — чистоте, неисчерпаемости чувства... Где же тот человек, что оценит ее по достоинству? Неотступающую, неуступающую ее душу, испытывающую и услаждающуюся правдой человеческого общения... Если бы я знала тогда, какой муж, друг ей будет подарен, — как я бы за нее ликовала... (Так уже скоро — Олег Александрович Спенглер!)

Вот она стоит передо мной, полная, легкая, женственная, в ореоле каштановых волос, стремительная и неожиданная в каждом движении, как музыкальная лирическая мелодия, которой нет законов, кроме самой музыки, которая сама есть закон.

А солнце льется в окна, пасхальное, детское, вечное, и у нас еще несколько часов на жизнь вместе — до неумолимого поезда...

Переутомление мое растет, я худа, и голова часто кружится. Я вчера затеряла на службе бумагу, искала ее полдня. Ной Ноевич мной недоволен.

Стирка — ночами, неприятности из-за нее с Томашевскими, пуды картошки и капусты, на которые вдруг выдают

талоны, и некогда бежать искать Сережу, и тащить по два пуда приходится самой. Идешь — и качаешься. Глаз дергает мелко-мелко. Иногда кажется, что больше уж не смогу... Надо Андрюшу учить, а он болен — и Маринин, Маринин отъезд! И снеговая повинность.

И внезапно приходит Андрей, брат:

— Знаешь что? Поезжай-ка ты под Звенигород, у меня там знакомые, отдохни, ты устала, а мне понадобится твоя комната. Я перевезу сюда диван, кресла, стол... А тебе — договорился с Юлией Федоровной (немка, мать моего знакомого) — будет там картошка, и овощи, и мука. Как-нибудь проживешь. Денег на жиры и на хлеб я дам, уплачу за путь туда и за комнату...

Мне кажется, я во сне. — Но в неслыханность отдыха и природы — отчаяние: не провожу Марину! Не пробуду с ней ее последние дни тут... Брат торопит. Марина счастлива за меня. А я и улыбаюсь, и плачу.

— Ася, ты подумай! Река! И деревья! Как Андрюша поправится! А приедешь — тебе передадут ключи от моих комнат, и поселишься у меня, я говорила о тебе в домоуправлении... Я у себя селю для тебя — Шенгели. Поэт — знаешь? Ну конечно, знаешь, по Крыму... Это благородный человек, он сохранит тебе мои комнаты: мою, столовую и проходную. Я поселю его с женой (красотка, пустая, вообразила себя Наталией Гончаровой, его — Пушкиным, дура — Бог с ней!) — в Алиной детской. Тебе это защита от самогонщиков. Я тебе передам ключи. Все будет заперто в моей комнате. Поезжай, Ася! Я тебе буду писать, и ты — мне...

И пока она и я собираемся, Марина все приходит и приходит, все будто в последний раз, — и опять идет и несет на прощанье: то книгу, то фотографию, то мешочек крупы, сухарей, то платье, то — «Как же забыла — шушун, Приный*. Носи! Не стесняйся! Пусть дураки смеются! И вот ремень, с ним очень складно...» У меня в руке — и на него мои слезы — коричневый Маринин коктебельский кафтан...

Гляжу на нее — сердце рвется. Именно так — трудно дышать. Уезжает! И снова разлука! Когда увидимся? Увидимся ли!..

* От слова Пра (мать Макса Волошина).

...Лицо римского отрока. Точно на меди профиль, глаза — светлые, колдовские... «Вещая птица, отлетающая в чужие края!» (эти слова мною записаны о Марине — в те дни...)

Мы простились, Марина ушла. Уж в совсем последний! И вдруг ночью почти — стук:

— Ася, прости, поздно. Я тебе кольцо принесла. Перстень! Смотри — хороший... я его долго носила. Носи!..

Бережный, сдержанный поцелуй, рукопожатие.

— Проводи меня! До угла. Там — не страшно... Светлей, а тут — ни одного фонаря. Раз он жив и нужна ему — жутко... Ты прости меня! Ничего не могу с собой сделать...

— Мариночка! Я совсем не боюсь! Я так рада — еще немного с тобой...

В последний наш вечер Андрюша, снимая со стены картину, вколотую ржавой иглой, воткнул ее себе в руку — и рука стала краснеть и синеть, пухнуть... Он дрожал, не давал к ней коснуться. Глаза в слезах были стеклянные, жар? Брат Абрама Львовича, Моисей Львович зашел ко мне:

— Вы врача сейчас вечером не найдете. Это начинается заражение крови. Сода у вас есть? Я дам. Ставьте компресс и каждые полчаса меняйте. Только так спасете ребенка.

Я просидела над сыном до пяти часов утра. К утру ручка была прежняя.

В дни сборов Марины к отъезду она рассказала мне:

— Иду по Кузнецкому, а по другой его стороне — Маяковский. Народу — мало. Увидел, узнал. Кричу ему: «Здравствуйте. Еду на Запад, что передать там?» — «Передайте, что правда — здесь!..»

В Звенигороде мне передали от Марины конверт с надписью: «Асе и Андрюше на молоко». Там были деньги. Под надписью была нарисована голова кота, ушастого — и большие усы у кота.

Сборы. Страх: как поеду? На мою просьбу проводить меня с Андрюшей до места, брат Андрей ответил: «Не могу, занят. Чепуха: в шестнадцать лет одна по Европе ездила, а теперь в Звенигород боишься?»

— В семнадцать, — сказала я.

— Ну, в семнадцать. Провожу, посажу, а там сама доедешь.

Я доехала. И вот новый сон: домики близ графской церкви, и в одном из них — худая высокая седая Юлия Федоровна, немка, вдова профессора, мать Андрюшиного приятеля.

Я ничего не помню об этом лете — ни кто и как вел хозяйство, ни быта. Только: немецкие беседы с Ю.Ф., ее кролики и коты, уют, красота берегов над Москва-рекой, церковь — и тоска о Марине, тоска о Тарусе, Оке, одиночество... Как с Андрюшей ходила на его детскую рыбную ловлю, — с моста — первые песчари, закат, молоко (на Маринины деньги) и страх отрезанности от Москвы. Уют бесед с Юлией Федоровной и с молодой «матушкой», ее сын Коля, юноша, его рассказы о дружбе с графскими детьми.

И радость, что сын учится немецкому — читает со мной, говорит с Юлией Федоровной (со мной — вывертывался, убегал). А потом... Брат не слал денег, ни писем, еда кончилась; как в Судаче, осталась проросшая картошка мелкая — и я в один прекрасный день собралась в Москву. Шла пешком. Что-то тащила, с Андрюшей? Не помню. И в Москве — недовольство брата о комнате в Мерзляковском (ему — нужной), протесты Томашевских против моего водворения (но я прописана там, и ордер...). Моя растерянность — и Марины нет, уехала! И — эпопея о ее квартире (очень вкратце о ней скажу).

Ужас ситуации был как раз в подробностях. Итак: Марина уехала, бросив квартиру на Георгия Шенгели и его пустую хорошенькую жену («Тебе в помощь»). Я застала проходные комнаты в хаосе — вне слов: книги, письма, фотографии, все на полу и в разбросанных сундуках, фотоаппарат и стереоаппарат украдены. Требование ко мне — уборка. Я с Андрюшей до одиннадцати часов вечера вынесла (двенадцать? Может быть, восемь — не меньше) мешков мусора и обломков за несколько лет. И петухива (его робко «примерила» маленькая девочка — не конь ли?). Теперь думаю, как могла вынести, не сохранить себе? Затем самогонщики потребовали, чтобы открыла Маринину комнату — да и не открыв ее, я не смогла бы войти. Шенгели за меня не вступался. Я была как в бреду. А когда я сняла замок и вошла, самогонщики заявили, что эта комната — их, кричали, грозили; маленький милиционер робко что-то говорил и ушел. Пришел

пьяный домоуправ и, напирая на меня, кричал (прижал к стене), грозил. Тогда я пошла наверх, где самогонщики мне разрешали занять крошку-комнату рядом с бывшей Сережиной. Я пошла таскать туда вещи, Маринины. Но тут Шенгели мне заявил, что эту комнату он бережет для своей сестры. Пока я упрекала его, что он выживает меня, Маринину сестру, из ее гнезда, его жена, надев шляпу, соломенную, с лентами, типа XVII—XIX века «корзиночкой», пробежала мимо, крича мужу: «Ночуй здесь с ней!» (Это оттого, что он было растерянно мне предложил остаться до утра). Тогда я связала два узла, что смогла нести, — и вышла в 11.30, в ночь, с Андрюшей, голодным (за день с утра ему кто-то дал блюдечко ягод, клубники). Шатаясь от голода и усталости, пошла назад в Мерзляковский, страшась: а вдруг не впустят? Я же сказала, что перееду к Марине... Впустили. Шенгели дал двадцать рублей на перевозку мебели — потом потребовал назад эти деньги.

В Мерзляковском мы прожили пятнадцать лет. Вот и все.

Париж приближается. Его свинец, серебро, перламутры-тучи, лучи, дымки над маревом крыш — подступают все ближе, тая вширь, разливаясь и разбегаясь — навстречу летящему поезду. Сердце бьется той настоящей, так в детстве знакомой радостью, которой нет ни названия, ни предела. Свидание!

Меня встретил Сережа, Маринин муж. «Марина, Асенька, ждет вас дома! — Она с Муром. Аля помогает ей по хозяйству. Вы не узнаете Алю, — огромная!» — «А Андрюша...» Идем, сияя, перебивая друг друга. Мы не виделись столько лет!

Мы едем с вокзала на вокзал, минуя Париж. Марина с семьей живет за Парижем — в Медоне. Это — маленький городок. На улицах мало народу. Сады. Мы спешим, быть может, удивляя прохожих нашим летящим шагом: Марина нас ждет! Сейчас я увижу ее, не виденную пять лет! Это наша первая такая долгая разлука — мы расставались только раз, на три с половиной года, и то показались они — десятью!

Avenue Jeanne d'Arc, 2. Дошли!

Подъезд. Лестница. Через три ступени! Но рука не успела дотянуться к звонку — дверь уж открывается навстречу, два лица обозначаются в сумраке входа. Узнаю Маринины черты — в верхнем; но сразу, точно кто подкосил ноги, — я уж в три погибели, на корточках, перед Муром. Как неве-

роятно хорош! Русые кудри, крупная голова, — маленький великан! Как похож на мать!.. Умиление перехватило голос. Вскокиваю. Рукопожатье. Марина! Какой чудный! Он *очень* похож на тебя! Но, прерывая наш взгляд друг в друге, третье лицо над плечом Марины — голубые огромные глаза, улыбка на две косы: Аля! Алечка! Какая большая! И как на отца похожа!.. Только глаза светлей!

Сережа ставит мой чемоданчик, мы проходим по комнатам: их три (ни одной проходной), передняя и маленькая кухня. Газ.

Марина изменилась. Определить чем — трудно. Старше стала — конечно. Ей скоро тридцать пять лет. Отошла желтизна ее трудных лет. Но легкая смуглость — осталась. Все еще похожа на римского юношу — большой лоб, нос с горбинкой, твердый абрис рта. Вокруг светло-зеленых глаз кожа у нее стала как-то темнее, что делает ярче цвет глаз. Все так же курит и чуть щурит глаза, но вместо московского (коктебельского) шушуна (кафтана, охваченного у пояса ремнем) и почтальонской сумки через плечо, из-за которой (под презрением полыхнувшим Марининым взглядом) бежали за ней мальчишки по Борисоглебскому переулку, она теперь вынимает папиросу из кармана сизого хозяйственного фартука, в котором она несет из кухни кофейник. Мур, идущий за ней, ласкающийся и об отца, и об Алю, похож на маленького медведя — плотный, тяжелый, как Марина была в детстве, еще тяжелей и плотней. Тоже в парижском фартучке, сизом. Цвета его и широких и длинных — не наглядисься — глаз. Голова — в крутых кудрях, пепельных! Необычаен!

— Его здешний доктор зовет «Le Petit Cossak»*, — говорит Марина, — а костюмы ему я покупаю на шестилетнего! Парижане — мелкие дети...

Я зорко смотрю на Марину, не видя в ней нашего общего с ней нетерпенья, одинакового у нее и меня к нашим первенцам. Она совершенно другая с Муром: мягкая.

Еще перемена: Марина научилась вязать. Вяжет все прямое: шарфы, даже одеяло, шерстяное. Толстым костяным крючком.

* Маленький казак (*фр.*).

Первые часы — вперемежку рассказы и вопросы обо всем сразу: Москва, Сорренто, родные, Горький, Ока и Средиземное море (год назад, в 1926-м, я ездила с сыном Андрюшей в Тарусу, где не была с 1912 года, с года наших свадеб). О Марфеньке, Соловье, Максе, жене Макса, о последних днях в Москве, о Венеции, Флоренции, Риме, и — через каждые пять минут — «Алексей Максимович»... И Марина мгновенно загорается к нему ответною, интимною, нежною благодарностью — за меня.

— Я ему напишу, непременно! Поблагодарю за тебя.

— Он твои стихи хвалит. Хотя и спорит со многим. Он все понимает! Восхищается прозой Бориса, «Детством Люверс». Это — волшебный человек, Марина...

— Я понимаю! Помнишь, как его мама любила? — Еще бы! С этого и началось, наверное, мое отношение к нему...

— Сережа тоже очень любит его. Хотел бы с ним встретиться. Мне — не удастся: дети.

— Он ведь хотел тебя пригласить в Сорренто, но я бы тогда не увидела всех вас...

За столом случилось у Марины и Сережи разочарование: была подана с трудом ими купленная, никогда не покупаемая телятина, в мою честь, поджарена, с золотистым картофелем, — а я уже почти пять лет оказалась вегетарианкой.

— Мы едим только конину — дешевле! Знаешь, Ася, непременно свезу тебя в Версаль, — сказала Марина, — может быть, даже завтра. Сережа поедет в Париж, а мы с Алей и Муром — в Версаль.

Так и решили.

На другой день мы поехали в Версаль. Тихий маленький городок. Знаменитые фонтаны в этот день бездействовали — только на открытках я увидела пенистые их взлеты *Grandes eaux**. Мы шли, рассказывая друг другу о пяти годах нашей разлуки, когда вдруг Марина схватила за руки Мура и кого-то из нас — Алю или меня, кто был рядом с ней, и почти бегом кинулась через спокойную площадь: вдали показался автомобиль.

— Марина, что ты? — удивилась я.

— Неужели ты не боишься автомобилей? — спросила она меня с еще большим удивлением, облегченно следя, как ма-

* Большие воды фонтанов (*фр.*).

шина пронеслась мимо нас. — Я их не выношу! И неужели ты вправду поедешь одна в Париж, если Сережа не сможет ехать? Совсем не боишься движения? Я никогда не бываю одна в городе — не могу. Еще двое так боятся ходить в Париже, как я: Бальмонт и Керенский.

— Керенский? Господи!.. После всего! Так он жив?

— Жив. Ему рассказали про то, как во время дождя какой-то студент перенес на руках через лужу старуху. Она обернулась и сказала: «А я — Вербицкая...» Керенский, не оценив юмора сцены, сказал с горькой грустью: «А меня — уж больше не будут носить на руках...»

— С Бальмонтом встречаешься?

— Дружны. С ним и с его второй женой. Чудные люди! Совершенно сумасшедшая семья. (Тонем одобрения.)

— А он помнит первый приход к тебе в Борисоглебский? Когда мы его разыгрывали. Представились дурочками.

— Помнит!

— А он понял, что мистификация?

— Может, и понял. А может, почувал что-то. Уходя, он же сказал — помнишь? — своим мяуканьем, — Бальмонт ведь мяукает: «Мне здесь понравилось! Я буду приходить в этот дом». Нищая семья. И веселая в нищенстве.

Разговаривая, мы остановились перед дворцовой оградой. Как далекое привидение, стоял дворец. Лиловое августовское — или уж начался сентябрь — небо жгло деревья, камень здания и нас. Мы прошли городком и вышли в горячий и влажный лес. Пахло, как в России, грибами, лесной сыростью. Мур рвал маленькие синеватые цветы, похожие на фиалки. Похожие на его глаза. Когда он подымал их на мать — взглядом доверья медвежонка к медведице, казалось, что на земле — счастье. Что не будет конца лесу, его запахам, дню той встречи, после пяти лет... Дружба с Горьким, такая внезапная, такая «странная» — в своей высшей естественности!

Вечером Марина лежала на своем диванчике, где спала (в ее комнате я помню только диван, ее стол и книги), и, пуская папиросный дым — а на глазах ее были слезы:

— Ты пойми: как писать, когда с утра я должна идти на рынок, покупать еду, выбирать, рассчитывать, чтоб хва-

тило, — мы покупаем самое дешевое, конечно, — и вот, все найдя, тащусь с кошелкой, зная, что утро — потеряно: сейчас буду чистить, варить (Аля в это время гуляет с Муром), — и когда все накормлены, все убрано — я лежу, вот так, вся пустая, ни одной строки! А утром так рвусь к столу — и это изо дня в день...

Темно-золотые короткие Маринины волосы разбросаны по подушке, голос борется с слезной судорогой. Я стою у стены, с жадной уйти в нее — бессильная помочь. Пять лет назад, в хаосе борисоглебской квартиры, давя быт своим отлетающим шагом, в дикости послеголодных лет, — насколько она была крепче и бодрее, чем в этих чистых комнатах, в фартуке, у газовой плиты...

В те дни Марина прочла мне незадолго до того написанную «Поэму Воздуха». Она показалась мне поразительной, полной каких-то душевных познаний. Это была самая отвлеченная вещь из всех Марининых стихов. Но Марина сказала о ней слова совершенно конкретные:

— Знаешь, я попыталась описать, что бывает со мной, когда я после черного кофе — засыпаю... Точно куда-то лечу, — это еще не сон, — трудно объяснить словами...

Тогда ли вспомнилось — или теперь вспоминается, как Марина в детстве рассказывала, что во сне — летает. «И никогда на такой высоте, чтобы пугаться, — говорила она позднее, — лечу невысоко над землей, легко... Чудесное состояние!»

Помню рассказы Марины о Мережковском и Гиппиус, о Бунине. Она не любила их.

— Они — в самом правом крыле эмиграции, среди уже тех ограниченных, которые до сих пор решают, какой великий князь будет царствовать — Кирилл или еще кто-то. Когда монархов уже не может быть. Они держатся особняком, необычайно гордятся! каждый — собой (хоть бы — друг другом!). — Голос Марины дрожал неуловимой игрой иронии. — Меня — не выносят. Я прохожу — не кланяюсь. Не могу. А Бунин — так высоко несет себя — как на блюде! Сам перед собой благоговееет. Он один «великий писатель земли Русской». Смешно!* Когда было тут, в Париже, вы-

* Позднее я слышала, что Марина изменила мнение о Бунине, в его семье бывала.

ступление Маяковского, зал был полон. Но знаешь, как его встретили? Полным молчанием. Все эти ничтожества! Ни одного аплодисмента. Тогда я встала и одна обратилась к нему, приветствовала его. Должен же был кто-нибудь такому русскому поэту в зале, где сидят русские, faire les hommages de la maison*.

— Ты молодец, Марина!

Чуть ли не на другой день после поездки в Версаль внезапно и бурно заболел Мур. Марина уложила его, вызвала доктора. Скарлатина. Это название звучало нам — ужасом. И вот оно пало на дом! На Мура, маленького великана. Как взволновалась суровая, стойкая Марина! Как нежно она ухаживала за ним! Отсылая Алю, оберегая ее от заразы. Но, конечно, не уберегла. Через несколько дней слегла Аля. Как я вернусь к Горькому, с опасностью завезти заразу его внучке Марфеньке? Дочка его, Катюша Пешкова, умерла в 1906 году именно от последствий скарлатины. И, боясь передать инфекцию — письмом, я *должна была* не писать. А писем мне из Сорренто не было, ни ответа на мою телеграмму. Я была как ножом отрезана от Италии и не знала, что делать: близился конец моего отпуска. Еще ближе был срок французской визы. Мне приходилось ездить хлопотать о продлении в Париж и Версаль.

Утро в Париже. Длинные тени домов и деревьев, солнечные косоугольники света, синяя, серебряная прохлада над проснувшимся городом, которого голос — гул... В оркестровке его прозрачный трепет всего: крик мальчишек, звон мяча, скрип тележки, запряженной осликом, у дверей молочной, шорох ветвей, свист автомобильных колес, струящихся за поворотом, и шум площадей, бульваров, крик поездов gare du Sud, gare du Nord... Дожидаясь назначенного мне в учреждении часа, осматриваю город.

Тихо течет в каменных стенках Сена, и в маленьких лавочках по набережной сверкают в чьих-то сомневающих руках настоящие и поддельные драгоценности — как в тот день, когда, за пятнадцать лет назад, я тут купила Марине запоздалый свадебный дар — недорогое ожерелье...

* Непереводимое французское выражение, обозначающее: выразить уважение, оказать гостеприимство.

Деревья над рядом садов с чугунными узорами решеток шумят, качаясь, как пинии Нерви, как березы Тарусы. Не вижу ни листьев деревьев, ни названий улиц на перекрестках, ни нарядов людей, к счастью, не различает глаз близорукий, ни призывов реклам на высотах прославленной башни Эйфеля. И когда я, поборов отвращение к высоте, въезжаю по одной из ног башни Эйфеля — в лифте? — над Парижем, — *другая* синева, туманная, мне, близорукой, виднее, чем видят зоркие люди, *другая* даль, серебристая, как в пустынях — миражи. И не оттого ли в близоруких глазах праздник зренья, что — не видно подробностей, ненужностей, что, как сказала Марина:

И губельно глядеть на мир
Неблизорукими глазами!

В часы, когда больные Аля и Мур спали, когда не надо было делать для них что-нибудь: «Мне душно среди Сережиных друзей, — говорила Марина, лежа на своем узком диванчике, волосы разбросаны по подушке, струйка папиросного дыма вьется среди ее слов. — Я хочу быть свободной — от всего. Быть одной и писать. *Утро — и день*. Ну, вечер — уж все равно, силы к вечеру спадают. Тогда — пусть уж и люди, могу с ними говорить, даже слушать, когда *дело* сделано. Даже *оживляюсь* (от благодарности, что *они* не пришли *раньше*, что дали мне — писать. Они же — не виноваты!). Но *выходит* наоборот: жизнь съедает у меня утро и день, а вечером еще люди! Можно прийти в *отчаяние* — и я прихожу. И никто не виноват, — не виноваты же *дети*. Аля и так сейчас не учится, чтобы быть с Муром. Это *тоже* лежит на мне. Я как будто бы виновата. Но *больше*, чем я делаю, — я не могу. Ребенок должен гулять утром, днем. Один он на воздухе быть не может. Значит — с Алей. И все должны быть сыты. Значит, я иду на рынок и готовлю. Сережа работает — где и как может. В издательстве. Устает очень. Он все эти годы *очень* болел, ты же знаешь. — Огненная точка папиросы вспыхивает, туша пепел. — Заколдованный круг!

— Может быть, в России было бы легче? — пробую я вмешаться в это отчаяние.

— У меня нет сил ехать... все заново? Не могу. Я ненавижу пошлость капиталистической жизни. Мне хочется за *предел* всего этого. На какой-нибудь остров Пасхи? Но и там уже нет тишины, первозданности, как на тарусском луку, на холмах, где березы, в детстве. Всюду уже может прилетать аэроплан — и на остров Пасхи! *Некуда* от людей укрыться... Ты — добрее меня, наверное. Ты еще *любишь* людей? (С опаской, как о чем-то непонятном или уж очень молодом, говорит Марина. Полувопрос. И спеша не упустить мысль.) А я уже *давно* ничего не люблю, кроме животных, деревьев... Аля — в трудном переходном возрасте. Она *очень* талантлива. Очень умна. Но она — вся другая. Мур — мой. Он — чудный. (Последнее слово мы сказали в один голос, как в детстве и отрочестве.) — И Марина улыбкою в мою: — Тебе он нравится?

— Еще бы! Он совершенно *необычаен*.

— Нет, я не знаю, — отвечает Марина, — он менее необычен, чем Аля была в его годы. Аля была — *сплошной* блеск! Ты же помнишь... Но он — в меня. Родное. И он куда меньше говорит, чем Аля в почти три года, — но он *понимает*! Кто знает, какой он будет.

— Это самый обаятельный ребенок, Марина, какого я знаю. Как он глядит! Художник Милиоти от его карточки — без ума! И он добрый ребенок. Но и Аля очень добра — так она с ним, в ее годы... *Дети* твои — два чуда. Это ты помни! Подрастут — и тебе будет легче...

Вздых.

Видела я героя «Поэмы Горы» — К.Б.Р.

Таким — немного таким, только с лицом жестче и темнее — я представляю себе Андрея Болконского. Но этот человек был тронут крылом польской прохладной пленительности. Невысок, тонок. Обращение Марины с ним было дружески равнодушное, она с ним мало говорила. Марина рассказала мне, что она способствовала его браку и подарила невесте белое платье.

Еще я помню в тот приезд к Марине, в нашу с Мариной *последнюю* встречу, в 1927-м (обе мы были *уверены*, что еще будем вместе...), — слова Марины:

— Последнее, что я приняла из техники, — это *поезд*. Он мне *вошел* в пейзаж. С детства. Все следующее, что мне не органично, — мне чуждо. Я должна была жить — сто лет назад. *Самое* позднее! Я *поздно* родилась. Может быть, я *тогда* — могла бы быть счастливою...

Я не сказала, что в первую ночь, а может быть, и в не одну, мы легли вместе на Маринин диван и долго говорили, глубоко в ночь. О прошедших пяти годах. О Москве, о друзьях, о Бретани, об океане, куда они еще поедут. О Горьком — о Нерви, через которое я пролетела поездом, где мы жили десяти и восьми лет с мамой, о герое «Поэмы Горы», — о чем только *не!*

Марина мне рассказала, как она ездила в Лондон дать вечер стихов, как пришли и англичане, и русские. Как после окончания к ней подошел высокий светловолосый человек (с бакенбардами?), назвался родственником, Бернацким. *Тогда* ли (или это уже в письме позже, *если* дело шло уже не о Лондоне, а о Париже) она рассказала, что была с ним в семье Бернацких. Там древняя старуха ей рассказала, что бабушка наша Мария Лукинична Бернацкая встретилась с дедушкой (Александром Даниловичем Мейном) на балу, что была с ним несчастна...

— Ася, Лондон — волшебный. Старые дома, улицы, туман, — живой Диккенс.

Марина казалась мне много старше, чем какую я помнила ее в Москве в 1922-м. Кровны были ее строки:

Уж немногих я зову на ты.
Уж улыбки забываю важность...
То — вдоль всей голосовой версты
Разочарования протяжность.

С двумя людьми я в Париже в те дни увиделась: это были Илья Эренбург и муж моей гимназической подруги Поль Элюар. К Эренбургу я поехала с Сережей. Илья Григорьевич жил в небольшой квартире, скромно. Книги, книги. Помню его сходящим по узенькой лесенке (внутри комнаты, как бывает в художественских мастерских и как было в Коктебеле у М.А.Волошина, где я впервые, давно, видела

Эренбурга. Только теперь за окнами было не Черное море, а сизый и радужный в солнце, осенний Париж). Илья Григорьевич был *худой* и почти такой же, каким я его помнила: тот же пристальный, умный взгляд карих глаз, та же речь, зоркие, бросаемые как бы нехотя, замечания. Думается, курил трубку.

Помню темные прекрасные глаза его жены, грациозной и молчаливой, ее бледное, худое лицо, пробор темных волос. Марина не поехала с нами. Она избегала поездок в город, почти патологически боясь уличного движения.

Моя гимназическая подруга Галя Дьяконова в 1914—1915 годах, двадцати лет, уехала к своему жениху Paul Eluard (Eugene Grindel) через минированное море; как это ей удалось устроить — не знаю. Редко помню что-нибудь деловое. Но этот факт был. Познакомились они еще в 1912—1913 годах в санатории за границей, куда Галю отец отправил лечиться у нее начинался туберкулез. Она много рассказывала мне об Элюаре в последующие годы в Москве.

Галя встретила меня у одного из парижских отдаленных вокзалов. Мы не видались около двенадцати лет, но узнали друг друга сразу. Ушла из ее лица девическая стройная тонкость. Вместо кос была незнакомая мне пушистость подвитых волос, ширивших ее узкое лицо. Но голос! Но глаза! Те же — узкие, чуть китайские, карие, с длинейшими ресницами. Этим глазам Поль Элюар посвятил одну из своих молодых книг «*Ses yeux*» — страницы были полны набросков Галиных глаз. Эту книгу я теперь, приехав к Гале, держала в руках.

Перекидывая страницы, смеясь и задумываясь, я слушала Галин рассказ о их — весьма необычайном — браке. О том, как несколько лет назад ее муж уехал — один — на остров Таити, и она жила в Париже одна. Затем она поехала к нему. Теперь они уже давно снова вместе. Отношения сложные. Не всегда легко. Но расстаться не удалось: вросли друг в друга. Он — необыкновенный человек.

У них дочь Сесиль. Ей двенадцать лет. Сейчас она гостит у бабушки, его матери.

Я рассматриваю альбом, фотографии, где Сесиль во всех видах — дома, в саду, со всеми своими живыми и игрушечными друзьями — зверями. По блеску карточек разбросаны

темные кудри Сесиль, ее пышные банты, ее плюшевый гигантский медведь, и чем дальше я листаю, тем она худее и выше, тем таинственнее становится лицо девочки, в котором таятся и Галя, и Элюар, смесь двух наций. У нее круглое — худеет — личико, темные глаза.

Скоро приедет домой Поль Элюар.

Элюар — коммунист.

— Он очень много работает, — говорит Галя, — я много бываю одна или с Сесиль. И знаешь, я устаю: у меня в саду столько роз — я тебе нарву букет, увидишь какие! С ними очень много возни. Все сама поливаю.

Я слушаю, смотрю вокруг — их комнаты похожи на музей: Элюар — страстный коллекционер редкостей. Остались в памяти деревянные и каменные скульптуры: идолы, божки, статуэтка Будды да прозрачная, как хрусталь, лошадка, но о ней впереди. Я вживаюсь в эту незнакомую, через Галю уже близкую, жизнь, которую я, так случайно встретив, правом двадцатилетней дружбы, завтра, может быть, навсегда покину, стараюсь понять новую, когда-то знакомую Галину жизнь. Элюар — мне через Галю уже родной: я о нем столько и так давно слышала, и он не может обмануть моих ожиданий.

И вот он входит. Ниже ростом и не те волосы — светлей, но чем-то очень сходный с Маяковским. Пронзительный взгляд — ума и печали.

Улыбка. Рукопожатие. И с первых минут — разговор, как с родным. Точно годы друг друга знали!

Я позабыла — не удастся прежняя беглость — французский язык; иногда споткнусь, потеряю — ловлю слово, но проходит час, другой, третий, слова летят назад, как птицы в гнездо, мне делается все свободнее, все веселее и роднее. Галя, верно, радуется, глядя на нас, — своей сдержанной, тонкой и гордой радостью — она у нее сейчас двоякая.

В дружественном темном, глубинном взгляде Элюара — внимательность и ума, и сердца. Он слушает мой рассказ о Марине, о Горьком. Заинтересованный и ею, и им, он ловит мои слова о них, как ловил обитателей своей коллекции редкостей, которой он населил дом.

— Ваша страна в самом деле удивительна, — сказал он мне среди нашего — без малого сутки длившегося — разговора, —

я никогда не мог с *французскими* женщинами говорить серьезно, свободно, с полным знанием, что понят. Так я говорю — из женщин — всего во второй раз в жизни. В первый раз это было с моей женой, Галей, во второй раз — с вами. И обе вы — русские!

Он показал мне свою коллекцию. Я похвалила светившуюся, хрустящую лошадку. Он протянул ее мне.

Напрасно я, смутясь, отнекивалась, говорила ему, что это — обычай восточный, не западный, что я себе не прощу, что похвалила неосторожно... Он настоял.

Галя нарвала восхитительный букет разноцветных роз, благоухающих, горевших каплями влаги. «Мы тебя отвезем на вокзал на нашей “телеге”».

Мур уже выздоравливал, Аля еще болела.

Из Сорренто — молчание, нет визы для въезда в Италию.

На мое дорожное, в Турине собственноручно сданное на почте, письмо я тоже не имела ответа.

В свете этих тревог, неизвестности о ближайшем будущем (может быть, придется, ввиду наступающего конца отпуска и французской визы, ехать в СССР, не захав в Италию, не увидев Горького...) и болезни в Маринином доме — мимолетный поход в Лувр был тревожен и краток. Серый, как помпейская лава, тяжелый, мрачный дворец впустил в свои просторные лабиринты мой спешный шаг. И я ничего не помню из Лувра, кроме Моны Лизы — Джоконды: возвращенная из своего похищения, реставрированная, она полуулыбалась, и сердце дрогнуло от ее взгляда, как дрожало и от *первого* взгляда, в мой первый приезд в Париж... в 1912-м.

В моих поездках в представительство я встретила Абрама Марковича Эфроса, заместителя директора Музея Изыщных искусств, знакомого мне еще и ранее, по Союзу писателей. Он издавна дружески относился ко мне, не раз помогал как члену Союза, выхлопывал мне в трудные времена пособия, старался ввести меня в штат Музея (там я с 1924 года работала внештатной). Когда опасность в доме Марины миновала, дети уже поправлялись, мы пошли по парижским музеям, — он так много знал, в Париже был как дома, и мне с ним было интересно и спокойно, — тревоги стихали, сложности хлопот и ожиданий таяли, все — на пол-

дня, пока я была с ним, приходило в порядок, все казалось проще, ясней. Его здравый смысл, зоркий, трезвые и твердые советы — делали вдруг терпимой мою странную парижскую жизнь, мое положение птицы на ветке.

Помню этаж под крышей, где в маленьких старых комнатах мы рассматривали модели стариннейших кораблей. Пласты осеннего парижского солнца золотили полы и стены, и модель корабля делалась на миг андерсеновской в штиле солнечного луча.

Где-то пили гренадин. Было жарко, Абрам Маркович расспрашивал о Горьком, о Марине. Был синий осенний день.

Мы побывали и в музее Grevin, где восковые куклы стараются воскресить ушедших в вечность деятелей французской истории. Велика ли их художественная ценность — судить не берусь.

А вестей из Сорренто — все не было. Я пошла в Notre-Dame, поднялась на крышу, обошла в ее глубоких, как колодцы, углах всех химер, глядела с ними на серебристую голубизну парижских далей.

Из внешней жизни Парижа запомнила: через арку Etoile за час в 1927 году проходило 3000 автомобилей.

Марина часто упоминала о Чехии — сердцем возвращалась к ней. Жилось Марине с Сережей там, под Прагой, три (думается) года «не жирней», чем в Париже, может быть, еще трудней в смысле работы, еще скудней в смысле пищи. Но нежность Марины к Чехии осталась до конца ее дней (цикл стихов к Чехии против фашизма). Она говорила мне о доблести чехов, о скромном величии этого народа, о их тихой, мирной жизни, напоминавшей Шварцвальд нашего детства. О их страстной любви к родине. О природе Чехии, которую она полюбила и несет в себе, как — Россию. О их реках, холмах, деревьях. О лесе, где они жили...

А над домом снова назрела туча: Марина слегла. Ее как подкосило: scarlatina! В тридцать пять лет! Сережа и я испугались. Болезнь началась и шла — бурно. Марина стонала, бредила. Аля уже вставала. За Муром надо было смотреть. Марина попросила меня перейти ночами к нему. Я спала на полу на матрасе перед его кроватью. Мур был уютен и кроток.

— Ты прислана мне в помощь, — сказал мне Сережа, — что бы я делал сейчас без тебя! Работу бросить — нельзя, сестру милосердия нанять — не на что. Какое счастье, что ты — здесь! Удивительно прямо! — как будто нарочно все так сложилось, чтобы ты — из Москвы — *через Сорренто!* — оказалась в эти трудные для нас дни — тут! После *стольких* лет разлуки...

Мы в четыре руки ухаживали за больными. Было несколько дней, опасных для Марины. Она болела тяжело, мы боялись: *как повернет болезнь?* Во внутренней настроженности, стихнув, как-то притаясь перед жизнью, моля о Маринином выздоровлении, прожили мы эти несколько дней, слушая ее стоны, видя, как она мечется, теряя сознание, или спит, тяжело, лицом в стену.

Но, видно, судьба пожалела нас: как радостно было в эти дни выздоровления! Аля, бледная, уже была на ногах. Осунившийся Мур, вновь уютный медвежонок, лез на постель к матери.

И вот — так же просто, как ее так долго не было, — *пришла весть*: в ответ на мой вопрос к Алексею Максимовичу, не боится ли он моего приезда для внучки из-за скарлатины, не ехать ли мне прямо в СССР, Горький просил передать, чтобы я ехала в Сорренто.

А на другой день так же просто, как мне долго отвечали: «Нет визы», — мне ответили: «Виза пришла».

Судьба поворачивала рычаг — вновь. И сразу проснулось то, что дремало в дни ожидания и уже привычки к дому: ужалила страстная боль расставания с Мариной. Вся тревога! *Когда* вновь увидимся! (*Увидимся* ли?) Но на это мое нутро, веря в жизнь, отвечало: *о, увидимся!* (Как хорошо не знать будущего!)

Мне удалось найти дезинфекционное учреждение; с большими хлопотами, потерей времени и сил вещи были обезврежены. Возникал вопрос: а то, что на мне? Я сама?

В заботе и страхе о Марфеньке я придумала способ: перед самым поездом взять в ванном заведении ванну, а то, что на мне, — окунуть в таз с денатурированным спиртом. Выжму и буду спокойна.

Многие смеялись потом над моей — считали это дикой — выдумкой. Но я хотела быть чистой перед Тимошей — Надеждой Алексеевной Пешковой, матерью Марфы.

Солнечное — через парижскую дымку — осеннее утро. Вот он, отъезд...

Марина в первый раз встала. Слаба. Бродит по дому. Может быть, встала, чтоб сделать максимум для моих проводов. Ехать на вокзал она, конечно, не в силах. Сережа проводит меня. Бродит — еще потому, что так легче скрыть боль расставанья. Ни слова слабости от нее ко мне, от меня — к ней: семейная статья.

Больше балласту —
Краше осанка!

Аля уклоняет глаза. Мур смотрит печально и взросло. Сережин голос:

— Ну, Асенька...

Я подхожу к Марине. Улыбаемся. Рукопожатия. Чинный, бережный поцелуй.

Потупленные глаза. В висках от страха *себя* — молот.

Два голоса, теплые, вежливые слова. В унисон:

— Пиши же...

Мы уже у самой выходной двери. Полутьма. В ее ласке я переступаю порог.

В Париже, в ванной комнате, я едва не задохнулась, выполняя мой план: пары литра спирта в жару наполнили комнату. Этого я не учла. Почти теряя сознание, я рванулась к форточке; шатаюсь, дохнула ветром. Опьянение стало от меня кидаться толчками. Еле помня себя, я, не вытираясь, оделась и с мокрым свертком, с кружащейся головой вышла на улицу. Там меня ждал Сережа. Пытаясь смеяться, я рассказала ему происшедшее. Он крепко вел меня. Мы зашли в кафе Régence, под навесом на воздухе выпили крепкого кофе.

Запах железнодорожной гари, крик поездов. Дорожная лихорадка. Узкое лицо Сережи, его поднятая над головой шляпа, свет его огромных добрых глаз. Улыбка. Высокий

Встреча с Мариной

его силуэт. Рядом, ниже, — Р. Он в последнюю минуту поспел к поезду, привез мне от Марины — письмо! Пожелания, прощанья.

Поезд дрогнул. Идут рядом. Последние мои им слова:

— Приезжайте в Россию! — Гляжу во все глаза — *запомнить*.

Конверт. И апельсины. (*Такая трата, Марина!*)

Слезы застилают глаза. Читать не могу. *Мешают!*

«Милая Ася... — Строчки прыгают... — когда вы ушли, я долго стояла у окна. Все ждала, что еще увижу Тебя, на повороте, — вы *должны* были там — мелькнуть. Но вы, верно, пошли *другой* дорогой!.. Бродила по дому, проливая скудные старческие слезы...

«Твоя М. Ц.»

Знакомый характерный завиток нашего «Ц» — и пустой низ листка.

«Отъезд — как ни кинь — всегда смерть» — слова Марины.

Начиная запись о конце жизни моей сестры Марины, я сознаю всю ответственность труда вспомнить, собрать, изложить все с наибольшей точностью: что предшествовало вести о ее смерти, которую от меня два года скрывали, как осторожно, частями мне шла о ней правда, как — когда я смогла — поехать в город ее беды, что я там узнала и как собрала по каплям рассказы о ней — от людей, Марину без меня знавших.

Я обошла всех, кого успела застать, и все тщательно записала.

Лето 1943 года, в разгар войны, я была на Дальнем Востоке. Я пыталась сесть в поезд на станции Известковая. Но не смогла, вернулась назад. И вот тут мне дали письмо. Я давно не имела писем. Оно было от старшей сестры моей Лёры, маленькое письмо из Тарусы. Как я обрадовалась! Сперва об одном, о другом... Потом слова: «Муси, автора «Волшебного фонаря», нет на свете. Сын ее где-то на Кавказе, с Союзом писателей».

Я прочла, перечла — и в негодовании: «Вздор! Слух... Марина не могла умереть!»

Не поверила! Все во мне — все живые силы, как мускул, напрыглись против этой нелепой вести! Этого *не могло* быть!

Теперь, когда она здесь, на родине, мы будем наконец вместе, — и теперь бы она вдруг — умерла? Просто Лёра от нее далеко, война, все в разброде, мало ли что выдумают!

Я сложила письмо. Но тайная тревога терзала. Я стала писать всем, спрашивать. И пока все — до одного — молчали, я (судьба была по-своему милостива!) — двадцать дней, все более под гипнозом мысли, спрашивала у судьбы одно: Марина ходит по земле — или... Я глядела на траву, у нее спрашивала. Вертикаль — или... но я договорить не могла. Так я ждала обуха или избавления — двадцать дней.

Если бы я могла наблюдать и думать в те двадцать дней, когда отравы сомнений понемногу проникала в меня, я бы, может быть, сама подготовила себя к той вести, которая, отбрасывая вертикальность Марины, не шла, как и в том сне за два года до этих дней в Хабаровске: в начале сентября 1941 года я увидела сон, от которого проснулась потрясенная. В этом сне была весть о смерти — имени я не произнесла, не в силах признать, что мне такое приснилось, отодвигая весть, наяву усмиряя то, что во сне произвела на меня эта весть. Не называя, я, однако, не смогла определить его иначе, хоть обезопасив отдаленным определением, как «самая близкая женщина». Но я восстала против во сне пережитого, разметала его явью — нет, не явью, не происходившим в яви, в тот день, а *состоянием* яви, стряхнув его как *непереносимое*. Назвав недостоверным и невозможным, оттолкнула, чтобы продолжать жить. Это было за два года до вести.

Вся природа моя не приняла этот сон, так не захотела его запомнить, что мне удалось это позабыть на два года, должно быть, когда в 1943 году прорвалась весть в письме Лёры. Я никогда не узнаю наверное, но, может быть, увиденный сон совпал с числом ухода Марины. Так внезапен он был и не вызван ничем, ее касающимся. По трепетной доброте Лили Эфрон я о гибели Марины узнала только два года спустя.

Замерла — потому что, отнегодовав на нелепость неверной вести, я стала в своей уверенности сомневаться: и вот в это двойное ожидание переезда и в ожидании ответа (от тех, кто в ответ — молчал о Марине) жизнь внезапно изме-

нила мою судьбу. Как — здесь не место рассказывать. Вот тогда-то и пришла весть. Телеграмма.

Я раскрыла листок. Он был розов. В нем две строки:

«Марина погибла два года назад тридцать первого августа. Целуем ваше сердце. Лиля, Зина». (Лилия — сестра Мариного мужа Елизавета Яковлевна Эфрон. Зина — ее подруга — Зинаида Митрофановна Ширкевич. Ныне — обоих нет в живых.)

В мой смертный час я не забуду текста этих двух строк. Я стояла, и листок я держала в руке. Глотала и не могла доглотнуть слова текста. Их каменную непоколебимость. Я бы, может быть, долго так простояла, бережа задлившуюся минуту их чтения, над которой стоять было лучше, чем шагнуть куда-то с листком. Но мимо шли, и, в невозможности, чтобы спросили, увидели слезы, которые бесполезно текли, я рванулась прочь от дверей, от дома и пошла вбок, на пустой, пологий холм. Ничего еще не поняв, ударенная по голове смыслом листка, я ходила вокруг холма, возвращаясь и возвращаясь.

Только с одним теперь была возможна слиянность — с травой, которая — теперь я узнала — выше Марины, над... Навсегда слита с землей Марина, *уже два года...* Двадцать дней я запрашивала траву. Трава молчала, берегла. И меня, и тайну. Судьба хочет, чтобы она мне была открыта теперь.

Нет Марины. Я ее *никогда* на земле не увижу.

Степень ужаса этого расставания я описала за много лет до того в моей книге «Дым, дым и дым», в дни, когда Марине было двадцать три года, а мне двадцать один и когда она была гораздо здоровее, чем я. Но я не могла предвидеть, что не смогу *проститься* с Мариной в ее последний час на земле. Что только через девятнадцать лет я смогу вступить ногой на кладбище, где ее положили.

«Маринина смерть будет самым глубоким, жгучим — слова нет — горем моей жизни», — писала я тогда.

«Больше смерти всех, всех, кого я люблю, — и только немного меньше моей смерти.

Как я смогу перенести, что ее глаза, руки, волосы, тело, знакомое мне с первого года жизни, — будет в земле, я не знаю. Это будет сумасшедшее отчаяние. И от этого кто спа-

сет меня! Уж лучше бы ей увидеть мою смерть — она бы, может быть, лучше справилась.

Вот то единственное событие во всей жизни, которое, разбив всю меня, все мои свойства, все мои «ах, что я такое!», «Какая я странная!» — рухнет все в этот час. Полная победа факта над моими свойствами!

Вот когда я смогу ворваться в безумии в комнату, забыть всех, все, биться об пол, целовать ее, будить, не пускать ее гроб в землю.

Мой голос (у нас одинаковые голоса, мы говорили вместе стихи, совпадают все нюансы, как будто говорит один человек) жутко покажется мне половиной расколотого инструмента.

Я с ужасом спрошу себя, как же я буду жить? Как, если бы мы были сросшиеся и ее отрезали от меня. Я не буду странная. Я буду как все в этот час. А ко всем остальным умершим я подойду, вполне сохраняя себя. И в то же время — мы удаляемся друг от друга, по дорогам жизни. *Но ее лицо и тело я в землю отпустить не смогу».*

«Погибла!» Катастрофа автомобильная? — потому так страшилась она автомобилями... Два года! А я жила. Два года — и не догадалась. Когда Лиля что-то плела пером, непонятное, о Марине, о Муре в редких открытках, кончая на полуслове, будто продолжит в следующей... Но как я могла заподозрить, не зная, когда и теперь, узнав, — не верю. Я Марину никогда не увижу? Я должна без нее жить?

Но это все — потом. В этот час я все ходила кругами, благодарная, что одна. Каждый шаг — боль. Это помню. Мысли — пришли потом.

...Я перечитывала Лилины письма. Родная, добрая Лиля! Она подарила мне два года жизни — скрыв. Господи, как погибла Марина? Теперь, не поджидая больше ответов от всех (друзей, родных, писателей), умоляя сообщить правду, я писала одной Лиле Эфрон. Я ждала ответа на вопрос, как погибла Марина. Ждала четырнадцать дней. Он пришел. Это была телеграмма. В ней было три слова. Почтальон, несший ее, верно, счел ее выражением дочерней, сыновней заботы о матери — вопросительных знаков в телеграммах не ставят. «Как наша мама». Я прочла их, заледене-

вая. Они означали: «Повесилась...» («Наша мама» — мать Лили, Веры, Сережи Эфрон, Елизавета Петровна Дурново-Эфрон — повесилась в 1910 году в Париже, пятидесяти четырех лет, на том же крюке, где ее четырнадцатилетний, младший, Котик.)

Теперь я знала все. Так, Судьба не ударила меня обухом, а в тридцать четыре дня постепенно ответила мне на мое смятение, вызванное письмом Лёры: двадцать дней сомнений и страха, подготавливавших. Обух. Я помню мелкую дрожь, наставшую во мне, отразившуюся в розовом листке телеграммы, когда все вдруг рухнуло какой-то отвесной стеной.

И еще четырнадцать дней незнания: погибла! Автомобильная катастрофа? Бомбежка? *Отчего* уже раз с Мариной бывшее неудачное самоубийство в семнадцать лет мне, тридцать четыре года спустя, не приходило и не пришло в голову (что именно так погибла)? Второй обух был меньше, легче. Но он добил какой-то стержень в душе. Теперь я могла ждать вестей — «подробных». Они не замедлили. От той же Лили — и как я благодарна Судьбе, что из ее рук я получала и получала вести о том, что было с Мариной и ее близкими — с 1939 по 1941 год. Я понимала теперь, что означали в ответ на мои первые требования о правде после Лёриного «нет на свете» — Лилины медлительные открытки с нескончаемым содержанием, все еще надеявшиеся от меня — скрыть...

О, это не слабость была! Не ее — и не о моей шло дело! И не ложь. Будь я в Москве и приди я к ней, она минуты бы не терпела! Схватив и прижав к груди (то, чего не может быть ближе никакого слияния на земле!), она бы тотчас обрушила на меня правду. Но — издалека...

Открытка кончалась: Мура Марина обож... конец глагола был неясен, словно бы стерт расстоянием, — и все мое близорукое зрение, прильнувшее, не могло различить букв: «ала» или «ает»? Зрение было как натянутый лук. А вторая или третья открытка не шла. Я уже знала, что Мур, как все мальчишки, бывал с матерью груб, но она все прощала. Что вместе все пробыли два месяца, с июня 1939-го по август, в августе уехала Аля, жили на даче — втроем; в октябре

выбыл Сережа. И Марина переехала с Муром в Москву, работала, переводила. Дальше повествование не шло...

Это было месяц назад. Теперь я узнала и дальше, но ничто не кидало луч — на последнее. Ведь его же никто не знал! И, ходя на работу и приходя с работы, научив нескольких взрослых людей каким-то английским правилам и выражениям, ежедневно, как спасательный круг, мне кидаемый, в жаре преподавания (гипнотически, вещь в себе, во мне жившей) (я теперь учила и десятилетнюю девочку, ко мне все более привязывавшуюся в добром доме матери и отца), шли уже месяцы с первой вести, но ежедневное просыпание было все тем прыжком сознания: Марины, о жизни которой я, как о своей, знала почти полвека, — нет!

Что я помню о тех годах?.. Я не помню почти ничего. Была женщина в кино. (Я в первый раз после Марины видела зрелище.) Она сидела передо мной, молодая и тонкая, и фигура ее напоминала Марину. Эта — жива, а Марины — нет и не будет! На экране пляшут. А Марина никогда не увидит пляски. Ни этой и, никогда, другой.

И жизнь моя останавливалась. В этой остановленности прошли годы. Их было четыре.

Я должна рассказать еще о военном времени, о письме.

Внутреннее неистовство, в котором я жила и которое ежедневно боролась, имело в себе одну совсем непонятную точку: вопрос — как через все страдания Марина могла уйти, ушла, не оставив ни одной строчки — мне. Принужденная обстановкой мне не писать последние годы, она ведь уходом своим размыкала причины молчания! Почему же не написала мне ни одного слова? Не могла же она не знать, чем мне будет ее исчезновение! Протянуть мне один листок! Это же был бы мост между нами, мост через смерть. Я бы жила с ним, с этим листком, ожидая, когда придут, тоже, к ней. В той безутешности, в которой шла моя жизнь, — какое это было бы *утешение*! Смерть ее не была бы полна. Один уголок ее был бы живой, одна строка бы горела и грела. Она оставила меня среди льда. Это не было ей обвинение. Это был вопрос, и лютость его отнимала дыхание. В этой невозможности додохнуть так и надо будет жить, до смерти?

Глаза не просыхали. Была цепь снов о Марине и ее смерти. Я их записывала и слала Але, с которой у нас теперь шла переписка. Ее, как и меня, долго берегли от страшной вести, скрывали. Она отвечала мне из своего далека, с Севера, во всю мощь эфроновской доброты, всем талантом цветаевской манеры письма, в нем и после Марины живой.

Мешал неразрешенный вопрос, меня ни на один день не оставляющий: как могла Марина уйти, меня не окликнув? Я ведь теперь знала, что она оставила письма: Муру, Сереже и Але и семье поэта Асеева (поручила им Мура).

И вот то, что случилось, что я сейчас расскажу, я считаю великим чудом, напоившим мою безысходную жажду узнать о ее молчании. (Здесь опять, как в тех двадцати + четырнадцать дней, в медленности подготовки к ни с чем не сравнимому горю – ни со смертью матери, ни отца, ни со смертью моего второго мужа, ни со смертью первого мужа, мне Судьба *откликнулась*.) Произошло невозможное: пришло письмо от Марины. Прощальное. Перед самоубийством... Написанное тридцать четыре года назад, в ее семнадцать лет, – мне, пятнадцатилетней. Это письмо, где-то хранимое ею все годы, не уничтоженное, попавшее в руки второго мужа Марии Ивановны, мне переслала (копию его, дрожа над оригиналом) Мария Ивановна Гринева именно в те дни, когда я вопияла к Судьбе об одной строке, листочке... И листочек пришел.

Я не сказала о том, что я с вести о Марининой гибели начала увеличивать, в карандаше, пришедшие мне фотографии: двадцати пяти лет в аметистовом ожерелье на фоне инкрустированного (кто говорит – кресло, кто – шкаф) полукруга; тридцати пяти лет, в $\frac{3}{4}$, в крупноклетчатом платье с черной овальной брошью: последняя – сорока шести-сорока семи, с уже седой головой, с открытой шеей и ниткой граненых бус.

Я работала над ними ночами. Работала с сеткой, точно. В тот вечер, получив письмо, не имея возможности с ним уйти – и где же читать его? – я должна была его читать – в доме. Я сделала единственное, что могла. Я стала на колени на своей койке, спиной к комнате, лицом к большому портрету Марины, мной карандашом увеличенному с ма-

ленького (это был ее двадцатипятилетний портрет, лицо почти в натуральную величину), и так, плохо видя от слез, прочла, в сорок девять лет, девичье письмо мне Марины. Я о нем (в 1910 году написанном) *никогда* не слыхала и не знала, что оно было. Прошло с того чтения тридцать девять лет, и Судьба в новом шквале событий эту копию письма и через четыре года полученный оригинал — у меня отняла. Я приведу письмо кратко, по памяти. Я не уверена, но мне кажется, что оно начиналось не «Дорогая», а «Милая Ася!».

Марина писала о невозможности жить далее, о решенности вопроса, прощалась и просила меня раздать ее любимые книги и гравюры — шел список и перечисление лиц. Было названо имя Драконны (Лидии Александровны Тамбурер), Вали Генерозовой (по мужу Зарембо) и старшей сестры нашей, с которой она уже год была в ссоре (ей, помнится, были гравюры, вывезенные из Парижа), и, наверное, еще были имена, но я их сейчас позабыла. Я не помню и себя, своего имени; определила ли и мне она что-то (может быть, Марина считала, что всё, кроме сказанного, будет, естественно, мне?). Но я помню строки, лично ко мне обращенные: «Никогда ничего не жалея, не считай и не бойся, а то и тебе придется так мучиться потом, как мне». (Эти слова я тоже привожу не совсем дословно, но три глагола — не жалеть, не считать, не бояться — *были* в этих строках.) Затем следовала просьба в ее память весенними вечерами петь наши любимые песни, в дни «Зимней сказки», нашей первой любви к Нилендеру, — мы пели в то время немецкую наивную любовную песенку: *Kein Feuer, Keine Kohle* («Никакой огонь, никакой уголь») и другие немецкие и французские песни. «Никогда не бойся меня, я к тебе никогда не приду». «Только бы не оборвалась веревка! А то — недовеситься — гадость, правда?» Эти строки я помню дословно. Из последующего, из последних строк четвертой узкой длинной странички (Мария Ивановна переписала страницу в страницу, как в оригинале) были слова, росшие, пока я их прочитывала, — до гигантских размеров. В них и в слезах хлынувших, в их нечеловеческом уже утешении я утонула, перестав видеть их в схватке блаженства

и горя, и не знаю, что было сильнее: «*И помни, что я всегда бы тебя поняла, если была бы с тобою*». И подпись. Эти слова Мариной даны мне — навеки, я с ними живу сорок лет.

Но я еще скажу о портретах. Самый трудный из них и из всех — их было около двухсот, мною за годы на Дальнем Востоке сделанных (карандаш и пастель — розданы) с натуры и увеличенной фотографии, был карандашный в $\frac{2}{3}$ человеческих лица — портрет Марины седой. Я делала его ночь напролет и затем вновь и вновь дорабатывала, пока не ожили малейшие складки лица, образовавшие у глаз и у губ улыбку: любезную и страдальческую, застенчивую и тающую — может быть, и не улыбается вовсе? Я работала — до темноты в глазах. Я не могла закончить. Оно все оживало и оживало, лицо, оно втягивало мой взгляд. Я заставила себя *отойти*, потому что... что-то начиналось такое, что было уже на границе с волшебством?

Я стояла, опустив руки, ночь без сна сияла во мне каким-то хрустальным прикосновением, а может быть, это был звук подошедшей к плечу старости. И уже подымалась из недр моих и ее — Марина:

После бессонной ночи слабеют руки,
И глубоко равнодушен и враг, и друг,
Целая опера в каждом случайном звуке,
И на морозе Флоренцией пахнет вдруг...

После ночи с Мариной я еле шла.

Спустя те дни я получила первое письмо — короткое, прямым, быстрым, причудливым почерком, незнакомым, но что-то напоминавшим... Оно начиналось: «Милая Ася! Вам пишет Мур. Я помню Вас...» (Шло воспоминание о моем приезде в Медон в 1927 году из Италии, от Горького. Ему тогда было без малого три года...)

Это было — окликание. Я ответила Муру радостно и тепло. Пришло второе письмо. (Был ли он уже взят в армию? 1 февраля 1944 года ему исполнилось девятнадцать лет.) Первое было из Москвы (второе — было из армии), он жил у Лили, тетки его по отцу, поступив в Литературный институт и для заработка — художником-оформителем на завод (это я уз-

нала от Лили). Оно было длинней, на трех или четырех, большого формата, страницах, дружественное. Но была в нем непонятная странность: он называл в нем свою мать, умершую, инициалами «М.И.». Повторенные в письме два или три раза, они останавливали внимание и отвращали. Ни одного слова о горе, его постигшем. Меня поразили контраст теплой дружественности ко мне и отсутствие ее — к матери. Поза? Зачем, перед кем, в ответ на мое точащее кровью письмо тоски по Марине!

На какое-то письмо (память мне изменяет) Мур мне ответил словами: «Спасибо, Ася, за Ваши письма. Это — единственные из мной получаемых, которые написаны настоящими чернилами. Остальные все — разбавленной водичкой» (водой? — А.Ц.). Следующее его письмо было из армии, описывался ремонт бани, было немного иронического юмора над невоенным этим делом, и — помню, оно или, быть может, четвертое, но последнее мною полученное, кончалось так: «Мне надоела эта снотворная работа полкового писаря, и я выступаю на днях пулеметчиком или автоматчиком с маршевой ротой. Моя звезда стоит высоко, я верю в мою судьбу».

То же самое он написал сестре своей Але. И замолк навсегда.

Осталось последнее. О слове «Елабуга». Еще задолго до первых слов о Марине и Муре (в письме Лёры) я, в столовой, где было в тот час мало народу, услышала (говорили двое мужчин, что-то рассказывая друг другу) слова: «город Елабуга». Я обратила внимание на звучание, мне что-то в нем понравилось, повеяло какой-то стариной, мягкостью и уютом. Затем — забылось...

Еще раз вышло оно на мой путь. В руки пришла книга в переплете о девице-кавалеристе Дуровой, рассказывавшая всю ее жизнь: кончалась она сообщением, что в старости та жила в городе Елабуге, на реке Каме, где и умерла, и похоронена на елабужском кладбище. «Может быть, на одном — с Мариной?» — подумала я тогда.

При свидании с моей племянницей Алей в 1947 году я предложила ей ехать в Елабугу искать могилу Марины.

— На могиле у мамы я должна сперва побыть одна, — отвечала Аля, — побыть с ней наедине. Но, найдя ее, я обещаю вам свезти вас на мамину могилу. Сейчас ни у вас, ни у меня нет денег, и мне надо устраиваться на работу.

Мне пришлось согласиться.

Жизнь вновь сделала невозможной эту поездку — с 1949 года по 1958-й. В том году мы вновь свиделись. Мне было уже шестьдесят четыре года. Аля жила в Москве, работала, имела с подругой дачу в Тарусе. На мое повторенное ей желание ехать искать могилу Марины Аля ответила мне — слово в слово — то, что сказала за одиннадцать лет. Уважая ее желание, я вновь покорила.

Прошло еще два с половиной года. По хлопотам Музея изобразительных искусств, основателем которого был отец, я получила пенсию, и у меня оказались пенсионные деньги за два месяца.

Была осень, шли последние рейсы по Каме. Я решила не ждать больше. Аля в это время в Тарусе болела. Мне шел шестьдесят седьмой год.

Был октябрь 1960 года, когда наконец я смогла осуществить давно задуманную поездку в Елабугу.

Со мной согласилась ехать Софья Исааковна Каган, мой давний (с 1922 года) друг.

Елабуга стоит на берегу Камы. Наведя справки, мы поехали поездом до Сарапула, оттуда — парходом.

В Елабугу мы прибыли под вечер. Встреченный нами на парходе курсант милицейской службы Иван Х., узнавший цель нашей поездки, проводил нас в гостиницу и устроил там в двух комнатах для приезжающих по служебным делам.

Была ночь. В соседней проходной комнате остановилась женщина, наутро оказавшаяся художницей Татьяной Радимовой. Узнав, зачем мы приехали, она взволновалась. О Марине она слыхала; позднее, в Москве, показала нам этюд улицы, где жила в 1941 году Марина. Свинцовое небо, маленькие дома, осенний вид.

А наутро нам в гостинице сказали:

— Вас спрашивает милиционер.

И с улыбкой в парадной форме к нам вошел наш вчерашний пароходный спутник — Иван Х.

Он предложил нам помощь в поисках, очень старался, расспрашивал тех, кто мог помнить.

Но это *не привело* ни к чему.

Тогда он предложил дать объявление в газету — не помнит ли кто-нибудь из жителей похороны Марины, не может ли указать могилу.

Не имея на это полномочий от Союза писателей, мы, помнится, это предложение отклонили, решив обойтись своими силами.

То, что мы перед отъездом в Москве узнали от поэта Вадима Сикорского (по телефону), оказалось неточным; пройдя по его указаниям по улицам Елабуги, мы не нашли ничего сходного с его объяснениями. Это было естественно — прошло девятнадцать лет... И, как оказалось потом, улицы были переименованы.

Стояла безотрадная осень. Серое небо, серая Кама, вдали серый город. Отчаявшись найти дом, где жила Марина, мы шли наугад, спрашивая прохожих, давно ли они в городе, были ли тут в 1941-м, в начале войны, не помнят ли о такой смерти приехавшей с Литфондом в эвакуацию писательницы, не знают ли, где она жила.

Ответы были отрицательные. Но судьба помогла — одна из опрошенных женщин, пожилая, задумавшись, припоминая, повела нас за собой.

Мы пришли на старую улицу, зовущуюся теперь Ворошилова, в дом 20 (в 1941 году — улица Жданова, дом 10). Одноэтажный домик, одна квартира, где, как и тогда, жили муж и жена Бродельщиковы — высокий, худой, седой Михаил Иванович и его маленькая пожилая жена Анастасия Ивановна (моя тезка). От нее мы узнали, что Марина, спросив ее имя и отчество, сказала: «Анастасия Ивановна? У меня сестра Анастасия Ивановна...» Так за десять дней до смерти Марина в последний раз назвала меня.

Вот что рассказали нам бывшие хозяева Марины: когда точно приехала Марина в Елабугу, они не знают. У них в доме она появилась дней за десять-двенадцать до смерти. Вошла с другими писателями и еще с порога, увидев за занавеской отдельную комнату в два окна, сказала: «Эту комнату беру я!» (значит, у нее еще *была* воля к жизни...)

Кровать отдала сыну, сама устроилась на диване. Искла работу. Хотела продать столовое серебро. Поехала на пароходе в Чистополь. Оттуда вернулась расстроенная. И дня за два до смерти был у нее с сыном крупный разговор. Что говорили — хозяева не поняли, говорили они не по-русски.

Объявили субботник. Вместо матери, которой было сорок восемь (Георгий был несовершеннолетний, шестнадцать лет), пошел он. Пошла и хозяйка дома. Муж ее собрался на рыбалку. Спросил Марину:

— Подомовничаєте, Марина Ивановна?

Она обещала.

Когда первой в дом вернулась хозяйка, дверь сеней была заперта, хоть не на щеколду. Ее удалось открыть — она была изнутри густо замотана веревкой. Войдя, она увидела Марину. Она висела невысоко над полом, на гвозде, вбитом вбок в поперечную потолочную балку, на тонком крепком шнурке.

Двор наполнился народом. Снял ее с петли прохожий. Положил и пошел дальше.

Когда сын пришел домой, его не пустили. Он спросил — почему? Узнав о самоубийстве матери, он не захотел войти в дом — и ушел.

На похоронах хозяева не были. Был ли сын — они не знают. Марину, покрыв простыней, повезли в морг. В Елабуге он зовется усыпальницей. Там она лежала до похорон.

Узнала: сын пробыл в городе еще дней пять. Разобрал вещи, крупу отдал хозяевам. Взял один мешочек сахара. Много вещей ношенных и белья — оставил, сложив в узел, разрешил взять хозяевам.

— Мы обрадовались — то время трудное было, война, ничего не достать, а у нас был маленький ребенок, — сказала хозяйка, — но я не унесла узел, оставила его там, где он был. А потом пришли какие-то два знакомые Георгия (из-за них сын ссорился с матерью), стали рыться в вещах и на глазах унесли узел с собой. У меня же не хватило смелости сказать, что вещи обещаны мне. Бог с ними... Мы были очень расстроены этой смертью... и столько ходило людей и милиции, — мы от всего устали...

Хозяин Михаил Иванович, высокий, с правильными чертами лица, любитель чтения, расспрашивал нас о Марине, ее семье, ее стихах.

Когда Марина погибла, на кухне стояла сковородка с жареной рыбой: должно быть, для Мура.

У меня не сохранилось копии письма Марины к Муру и, не решаясь недостоверно его приводить, напишу то, как запомнилось: кажется, оно начиналось: «Дорогой Мур! Прости мне (далее слов не помню). Безумно тебя люблю, но я — тяжело больной человек. Дальше было бы хуже».

Письмо небольшое. В конце были слова: «Если когда-нибудь увидишь Сережу и Алю — скажи им, что я любила их до последней минуты».

«Дорогие Сережа и Аля, — начиналось второе письмо, длинное, — простите мне причиняемое вам горе...»

Мур уехал в Ташкент через Москву, где передал своей тетке Е.Я.Эфрон архив матери.

Сын! Задолго до рождения Мура он был задуман ее горделивой мечтой. Раньше! Еще нашей матерью: сын Александр, именем в деда, в обожаемого ею отца. Но родилась — Марина. За нею — я. Болезнь помешала надеяться на сына. Наша мать умерла в тридцать семь лет. Через поколение Марина повторила путь матери: дочь Ариадна и опять дочь — Ирина.

Прошло восемь лет. Из них четыре Марина не знала, жив ли ее муж.

В 1921 году, услышав, что он жив, собираясь к нему, Марина сказала Марии Ивановне Кузнецовой-Гриневой:

— Еду, Марусенька, у меня будет сын Георгий!

— Сын? А может быть — дочь?

— Нет — сын. Вот увидите!..

1 февраля 1925 года у Марины родился сын Георгий, «Мур» — сокращенное от «Мурлыка», уцелевшее до его конца. Так он подписался в девятнадцать лет под своим письмом мне на Дальний Восток, и меня уважением тронуло то, что, выросши, он это имя от себя не отбросил, как обычно отбрасывают интимные детские имена в ложном стыде подростки.

Первую фотографию Мура я получила от Марины из Франции в его годовалом возрасте: голыш, крепкий, он

сидел на песке, цветом — негр, на берегу океана, расширив светлые глаза, поразительно недетского взгляда, и рано означенные черты его были красивы и правильны. «Оцени негритянские белые «ладони»», — писала Марина, явно имея в виду резко-светлые ступни ног, в сторону повернутых.

Позже, когда детское лицо было уже обрамлено крутыми светлыми кудрями: «Твой Наполеонид», — писал Марине о нем Пастернак.

Я увидела его — и три недели видела его в Париже в 1927-м, вместе с матерью за ним ухаживая (болел скарлатиной) в два года и восемь месяцев. Об этом я уже рассказала. Он очень походил на Марину, весь в Цветаевых, от Эфронов было обаяние недетской мягкости, Марине в детстве не данной. И рост (Марина покупала на него одежду на шестилетних парижских детей) — «И еще расставляю!»

Как ласков он был к матери, как, мурлыча, лез к ней на диван!.. Куда и когда это исчезло? Сразу ли — и с какой болью — это заметила мать? И совсем — совсем другой, новой матерью к нему была Марина! Ни тени той требовательности, какая была к Але... Вся материнская женственность, незнакомая мне в ней, светилась в ее сдержанно-умиленном, тающем в восхищении взгляде.

Марина была счастлива.

...Не дословно, по памяти привожу о нем рассказы — в письмах Марины.

«У него удивительно взрослая речь, — писала она мне несколько лет спустя, — чудно владеет словом. Мужественен. Любит говорить не как дети. И совсем иначе, чем Аля. Хочет всегда стать на что-то, повыше, “чтобы слушали”...»

Когда ему было восемь лет, Марина писала: «Очень зрел. Очень критичен.

“Марина, — сказал мне Бальмонт, — это растет твой будущий прокурор!”»

После двух дочерей обретенный сын. Исполнившаяся мечта! Гордость матери. Напоминающий не «Орленка», не сына, на которого походил его отец, Сережа, — на отца, на кумира Франции, о ком песня Гейне «Во Францию два гренадера / Из русского плена брели...». Исполненный ума

и таланта, родившийся в ее струю! Красавец! Волевой, как она... В тринадцать лет начавший составлять антологию современной французской поэзии...

Да... Но о нем в десять лет мать писала (после похвал уму и познаниям): *«Душевно неразвит...»*

Ему было четырнадцать, когда он приехал в Россию. Был 1939 год. Я мало знаю о нем в следующие два года. Он проучился до войны в седьмом и восьмом классах. Девятый — должен был бы учиться в эвакуации. Теперь ему было шестнадцать лет. Был конец августа. На днях начиналось учение. Все в нем возмущалось от этой мысли: здесь, в этой Чухломе, — учиться? Это был бунт.

Слыша мое нерушимое утверждение, что Марина ушла из жизни не потому, что не вынесла сгустившихся обстоятельств в окружавшей ее жизни, можно подумать, что я не отдаю себе отчет в том, что ее окружало.

Это неверно. Я все понимаю, все учла, все себе представляю отлично: вынужденная разлука с мужем и дочерью (с тех пор прошло уже два года). Война. Эвакуация.

Я имею сведения, что Марина много тяжелее других восприняла объявление войны, неожиданно вспыхнувшей на территории ее Родины, где она могла надеяться укрыться от пережитого на Западе. Она ждала, что сюда война не придет. Что она, казалось ей, погубившая ее любимую Чехию, не дойдет до ее России.

Марину охватило то, что зовут панический ужас. Жива память о том, как она подходила к чужим людям, об эвакуации говорившим еще до официального ее объявления, прося взять ее с сыном с собой: *«Я в тяжесть не буду, у меня есть продукты, есть заграничные вещи... Я могу быть даже домработницей...»*

Она рвалась прочь из Москвы, чтобы спасти Мура от опасности зажигательных бомб, которые он тушил.

Содрогаясь, она сказала Н.Г.Яковлевой: *«Если бы я узнала, что он убит, — я бы, ни минуты не медля, бросилась бы из окна»* (они жили на седьмом этаже дома 14/5 на Покровском бульваре). Но самая зажигательная сила зрела в Георгии: жажда освободиться от материнской опеки, жить, как он хочет.

Моему другу и редактору Маэли Исаевне Фейнберг рассказывал Константин Федин, как к нему пришла Марина Цветаева, умоляя его не допустить, чтобы ее разлучили с сыном, — детей этого возраста отправляли в эвакуацию от родителей отдельно. И вот они вместе. Сына не отняли. Что рядом с этим все трудности жизни? Но он бунтовал. Он не хотел жить в Елабуге. Она против его воли вывезла его из Москвы. У него там был свой круг, друзья и подруги. Он грубил. Марина переносила его грубости замершим материнским сердцем. Как страшно было его представить себе без ее забот в дни войны! Он же еще часу не жил без ее помощи. Он не понимал людей. Свел в Елабуге дружбу с двумя явно неподходящими, невесть откуда взявшимися молодыми мужчинами, много старше его. Он не желал слушать. Он не хотел лечить хроническое рожистое воспаление ноги. На каждом шагу спорил. К его тону она привыкла за последние два года без отца — терпела. Все видевшие их рассказывают о ее необыкновенном терпении с ним. Все говорят, что «она его рабски любила». Эти слова я слышала от разных людей.

Перед ним ее гордость смирялась. Его надо было дорастить во что бы то ни стало, сжав себя в ком. Она *себя* помнила в его годы — разве она не была такой же? «Он молодой, это все пройдет», — говорила она на удивленные замечания знакомых, как она, мать, выносит такое обращение с собой. Рядом с их *вдвоем* среди окружающего — все было легко.

Знаю: приезд Марины в Чистополь был безрадостен (свидетельство Ф.Бархиной, свидетельство К.М.Асеевой). Марина очень хотела остаться в Чистополе, где были все писатели и где был Асеев, с которым она виделась один раз в Москве и к которому она сразу, по приезде в Чистополь, пришла. (По словам вдовы Н.Асеева, Ксении Михайловны, ее муж был болен и на собрании, где решался вопрос о прописке Марины в Елабуге, не мог быть. Муж ее прислал, по ее словам, записку, в которой он поддерживал просьбу Марины о ее прописке в Чистополе.)

Позднее я узнала, что на том писательском собрании *было решено дать* ей прописку в Чистополе.

В материальных условиях жизни война уравнила Марину со многими. И до войны она была в тяжелых условиях, а теперь те, что жили в своих дачах, в комфорте, в эвакуации оказались в равном с нею положении, как она, ютились в чужих комнатках. Но если им эти комнатки были внове, то Марина жила так уже много лет; и в деревнях под Прагой, и летами (когда удавалось выехать из Парижа) на берегу океана в комнате с примусом и без стола, на котором бы можно писать.

Даже двери не было в той комнате, в Елабуге, которую оставила за собой, вместо двери — деревянная занавеска. Но стояли кровать, диван, стол — достаточные ей с сыном в тот час. С сыном! Вот что ей довлело, что осталось ей от всей жизни. Сын, которого она иступленно любила. Он был с ней!

С ней он был и в Голицыне, в комнатке в доме Лисициной с одной курсовкой на двоих. С нею он оказался и в эвакуации — она отстояла его от отдельной отправки с писательскими детьми-подростками. *Он был с нею.*

Рядом с этим все вопросы о внешнем устройстве были второстепенны.

Многие, Марину не знавшие, утверждали, что Марине было отказано в месте судомойки в столовой писателей в Чистополе и что это послужило толчком к концу. *Этого не было!* Теперь мы узнали, что и столовой такой не было, что дело происходило совсем иначе: Марина была в чьем-то доме вместе с Верой Васильевной Смирновой, как о том она рассказала М.И.Фейнберг; зашел разговор о том, что надо бы организовать столовую на паях. Каждая из женщин говорила о том, что она умеет делать. Марина сказала:

— А я буду мыть посуду. — И, взяв лист бумаги, тут же написала: «Прошу принять меня в судомойки. — Марина Цветаева» — и отдала ее Вере Васильевне. Почему эта записка и сохранилась в архиве В.В.Смирновой. (Та же В.В.Смирнова сообщила Марине, что прописка ей разрешена.)

Никакой столовой еще не было.

Марина руки не опускала. «Если не устроюсь в Чистополе, — сказала Марина, вернувшись из Чистополя, хозяйке дома, Анастасии Ивановне Бродельщиковой, — поеду в совхоз, там поищу работу!»

Эти слова были ею сказаны почти вплотную к концу.

Что же случилось? Последним решающим толчком была угроза Мура, крикнувшего ей в отчаянии:

«Ну, кого-нибудь из нас *вынесут* отсюда вперед ногами!»

В этот час и остановилась жизнь.

«Меня!» — ухнуло в ней.

Его смерть! Единственная соперница! Ее одной она испугалась, как вчера хотела для прокорма сына ехать за город, так сегодня прозвучало его: «За предел! Туда! Насовсем!» Дать свободу — единственное, чего он хотел!

В отчаянном крике сына матери открылась *его* правда: «вместе» их — кончилось! Она уже не нужна ему! Она ему *мешает...*

Все связи с жизнью были порваны. Стихов она уже не писала — да и они бы ничего не значили рядом со страхом за Мура. Еще один страх снедал ее: если война не скоро кончится, Мура возьмут на войну.

Да, мысль о самоубийстве шла с ней давно, и она об этом писала. Но между мыслью и поступком — огромное расстояние.

В 1940 году она запишет: «Я уже год примеряю смерть. Но пока я нужна». На этой нужности она и держалась. *Марина никогда не оставила бы Мура своей волей, как бы ей ни было тяжело.*

Годы Марина примерялась взглядом к крюкам на потолке, но пришел час, когда надо было не думать, а действовать — и хватило гвоздя.

Я вижу, как в тот час все стало вдруг просто: скорее — уйти... Перебежать ему путь к смерти! Только это, это одно.

Все сложности жизни кончились. Ни войны, ни стихов, ни отверженности, ни одиночества. Решенность. Неизбежность только *этого* шага. Он был единственный друг! В ясности, вдруг наставшей, было освобождение от всех дел, всех забот. А сыну без нее станет лучше! Сироту — не оставят...

Перо не дрожит в руке. Марина пишет Асееву. У Асеева есть жена. Есть сестра жены. «Берите его и растите как своего. Он достоин».

Мать подписывает дарственную. Свою последнюю драгоценность. А он им не нужен. С людьми — мир. Пишет прощальные строки сыну. «Прости меня. Безумно тебя люблю, но дальше было бы хуже». О муже и дочери: «Если ты когда-нибудь их увидишь, скажи им, что я любила их до последней минуты».

Третье письмо: «Дорогие Сережа и Аля, простите мне причиняемое вам горе, но...»

— Дальше этого письма не читал никто, — сказала мне Елизавета Яковлевна Эфрон. — Мур увез его с собой, для них.

С 1911 года, когда Сережа ей рассказал о смерти брата и матери, она несла в себе память об этих двоих, ему — значит, ей — самых родных! Не семнадцатый год был брату Сереже, а всего четырнадцать лет, когда он повесился. В ту же ночь мать повторила поступок сына. Исполни Мур свою угрозу — Марина сделала бы то же. Но Марина была много счастливее той матери, счастливее на целую жизнь! Уходя, как та мать, она уходила бесконечно иначе: сохранив сыну жизнь!..

Скажут: «Брошенные в пылу ссоры слова мальчишки дико было принять всерьез!»

Что были бы Марине — прозвучи они ей *тогда* — рассудочные рассуждения посторонних? Как сомнамбула прошла бы она в своем горе сквозь их слова... Котик, веселый мальчик, круглолицый и синеглазый, совсем ребенок, шагнул в смерть и увел мать. *Что* было этим двум матерям: увещания людей? В нестерпимости дня надо было только одно — спешить!

...Меньше всего я возлагаю вину за смерть Марины на Мура: если бы это было так, я бы не переписывалась с ним (это все, что я тогда, в моем положении, могла делать) — не ждала бы так встречи с ним: я слишком отчетливо понимала жгучий узел, связавший их двух! И можно ли обвинить человека в шестнадцать лет за слепую страсть поступков и слов?!

Все, что от матери шло, что он органически принимал в детстве, — теперь, когда он казался себе взрослей всех, было ему нестерпимо. Оттолкновенье дошло до того, что он уже не звал ее матерью: М.И. Даже в страшное время *после* Марины, когда ему было восемнадцать лет, все еще бо-

лела недолеченная в шестнадцать нога, голодая в Ташкенте в девятнадцать лет, из армии он осмелился о матери мне написать: «М.И. всегда оставляла за собой право на этот поступок». Меня назвал «Милая Ася». (Откуда было в нем это имя? Из туманной памяти двух лет девяти месяцев в Париже, во время его скарлатины?)

Я ответила ему со всей прямоотой, всем пылом Цветаевых, призывая к порядку, прижав к стене, требуя ответа за беззаконие этого названия матери, подняв все слова, посланные мне в тот час в помощь, требуя осознания случившегося — и всем горем моим ожидала — долго — ответа. Не дождалась: его часть перевели в другой адрес, неведомый, и я читала и перечитывала последние слова письма: «Мне надоела снотворная работа полкового писаря, и я на днях выступаю с маршевой ротой... Моя звезда стоит высоко, я верю в мою судьбу».

Над Елабугой, над плавно подымающейся отлогой горой, темнеет полоска кладбища. Она даже издалека длинна, а когда к ней приближаешься, она, разрастаясь, становится почти лесом и напоминает мне священную рощу на картине, которую Марина и я знали в детстве. «Остров мертвых» Бёклина. К нему ведет широкая дорога. Мы шагали по ней — Соня Каган и я, дорога вилась, делаясь уже и уже, пока не превращалась в светлую нить у самого верха горы.

Кругом — домики, под ногами — пыль. Изредка нас обгоняла машина. Мы кончили долгий путь. Узор черной железной решетки, справа — кирпичное здание, полукруглое — видно, часовня. Мы вошли в ворота.

Слева от нас стояли старые деревья, с них ветер рвал листву. Она осыпалась.

Вот и конец кладбища, то есть всего в один ряд несколько могил. И сторожка сторожа. Мы подошли к ней. Вышла женщина средних лет. Ее фамилия оказалась — Кропоткина. Она пояснила, что работает сторожем после смерти мужа, что в те годы, о которых мы ее спросили, был тут сторожем ее муж и что она не знает, где может быть та могила, которую мы ищем. Но она добавила, что может нам показать могилы 1941 года. Она пошла с нами.

Все кладбище Елабуги простирается *влево* от входа. Таким образом, настойчивые указания всех, кто был в 1941 году в Елабуге, *о правой* стороне кладбища, следует понимать так: *повернувшись* влево от входа и видя всю площадь кладбища перед собой, идешь по правому его боку, вдоль низкой каменной стенки. В левой стороне кладбища — лиственные деревья, в правой — хвоя. Мы шли под соснами.

— Видите, — говорила Кропоткина, — вон в том углу, по задней стене кладбища, — могилы тридцать шестого, тридцать седьмого года. Сюда ближе — тридцать восьмой, тридцать девятый, сороковой. И вот уже сорок первый — тут и ищите. — Она ушла.

Оттого ли, что страшно было удостовериться, что не находили могилу, мы, мне кажется, прошли до конца кладбища и шли медленно назад по годам захоронения — 36-й — 41-й; недалеко от правой стенки возле близлежащих могил — несколько молодых осин, почти кустарник. Листки трепещут. Мы проходим от могилы к могиле, нагибаясь, стараясь угадать, почувствовать, но они почти все одинаково низки и немы, без имен. На одной, помню, камень, снятый, видно, со стенки (за которой в тумане Елабуга); на нем черной краской — имя? инициалы? — Забыла. Если бы так поступил Мур (Георгий) на похоронах Марины — одно «М.Ц.», одно «Ц.», мы были бы уже у цели. Я старалась почувствовать, *какая* из могил, поросших листьями земляники, сейчас уже почти сухими, — *какая?..* Но не берусь решить: *эта? та? Может быть — эта?* Признаков — никаких. Только листы земляники, о которых в стихах Марины «Прохожий»:

Сорви себе стебель дикий
И ягоду ему вслед.
Кладбищенской земляники
Крупнее и слаще нет...

Поэты не говорят зря.

Но земляника разрослась по нескольким могилам. А сейчас мне вспоминается, что, может быть, мы не сразу пошли к Кропоткиной, а сперва одни ходили по кладбищу, наде-

ясь — вдруг — прочесть на какой-то могиле хоть какой-то словесный признак... Отходили друг от друга, бродили и снова сходились. Я свою спутницу вижу в длинном темном пальто и глубоко сидящем берете — то над тем крестом, то над той дощечкой. Перекликаемся. Ветер рвет ветки. Мы в сосновой роще.

И снова предсказание Марины:

Веселись душа, пей и ешь,
А настанет срок —
Положите меня промеж
Четырех дорог...
Там, где во поле во пустом
Воронье да волк —
Становись надо мной крестом
Раздорожный столб...
Не чуралася я в ночи
Окаянных мест,
Высоко надо мной торчи.
Безымянный крест...

Но и креста нет. Мы снова в правой стороне, у низкой стенки, с которой Мур, шестнадцатилетний тогда сын Марины, не снял в тот час камень, забыв, что придем мы. Впрочем, говорят, он тут и не был.

Мы спускаемся по отлогой горе, обратный путь проще. Глухая окрестность провинциального города, маленькие, низкие домики. Улицы — то широкие и пустынные, то узкие, вбок.

Гляжу пустыми потерянными глазами на окна домов. Этот дом стоял, и мимо него шла Марина. Ей, которую мы ищем девятнадцать лет спустя после ее тех десяти дней, было тоскливо, как нам. Она искала комнату, потом искала работу. По этой улице она прошла в последний раз, решая, что кончена жизнь.

Если бы она знала, что мы приедем и будем искать следы ее жизни и смерти, — сколько нас еще будет... перерешила бы она? Нас не было... улицы — и она. Мы каждый день бывали на кладбище. Сколько имен, сколько крестов, па-

мятников, могильных камней! А имени, которое мы так ищем, — нет. Марины нет. Исчезла.

А может, лучшая потеха
Перстом Себастиана Баха
Органного не тронуть эха,
...Прокрасться, не оставив праха
На урну...

Все сказано ею самой!

Наши поиски тщетны? Мы не знаем. Мы *будем* искать. Один раз, должно быть в последний, мы въехали на кладбище на автомашине. Она прыгала по камням, качалась. В первый раз (в последний) мы въехали быстро, легко той дорогой, по которой долго, устало всходили к исчезнувшей на горе Марине.

С кем ходили мы по уже ставшему почти родным знакомому кладбищу, говоря о возможности вскрывания могил, опознавань? Кто-то сказал нам, что шесть лет тому назад вскрывали могилы, ища кого-то родного, чтобы схоронить рядом.

Мужчина рассказывал:

— Трех отрыли — мужчину и двух мальчиков. Как положены — так и лежат: костюмы, тела, все. Песок, ветер. Высоко...

(Если бы вскрывать могилы, я уверена, что опознала бы... Волосы седые, короткие. Но друг наш, московский профессор Гиллерштейн, говорил, что едва ли... Он с кем-то вез одной матери прах ее сына, без уверенности, что везет *его*.) Не верится. Разве не узнал бы из пяти, из десяти могил — крайних, хоть в два ряда к правой стенке, — свое, родное, несомненное, которое всю жизнь знал? Неужто мое чутье было бы меньше собачьего? Но не это я говорю Соне Каган — иное: что не чувствую права рыть землю, зарытую, перевозить то, что сошло туда, чудовищно успокоясь. Соня же говорила:

— Надо!..

...А может, лучшая победа
Над временем и тяготеньем

Пройти, чтоб не оставить следа,
Пройти, чтоб не оставить тени
На стенах...
Может быть отказом
Взять? Вычеркнуться из зеркал?
Так: Лермонтовым по Кавказу
Прокрасться, не встревожив скал...

Всюду, куда мы приходили, я делала снимки, взяв с собой из Москвы мой простенький шкатулочный аппарат. Я отдавала пленку фотографу, жившему возле моста, пожилому маленькому татарину Гафисову. Он был удивительно вежлив и добр ко мне, узнав причину моего приезда. Он работал и, может быть, жил у моста, через который не раз проходила Марина, идя на свою квартиру за десять дней своей елабужской жизни. Я благодарна судьбе, что в эти дни она послала мне такого помощника, усердного и почтительного к сути моих скорбных снимков. Казалось, я бы и не смогла отдавать мои пленки в иные руки... На другой день, когда я заходила, он уже нес мне проявленную пленку и отпечатанные снимки, никогда не обманув, не заставив ждать. Спасибо ему.

Не найдя могилу, я написала об этом Але. Я получила неожиданный ответ: «Так Вы все-таки поехали в Елабугу! Так знайте же: я никогда не поеду в Елабугу. Мама для меня там нет. Мама для меня в ее творчестве, в ее книгах».

Я ответила Але: «Почему же ты мне не сообщила, чтобы я более не ждала тебя, что твое отношение к Елабуге изменилось? Это был твой долг. Как жаль, что у твоей матери были такие необыкновенные дети: сын не был на похоронах, дочь никогда не поедет на могилу. Лучше было бы ей иметь обыкновенных детей, которые бы принесли ей на кладбище полевых цветов...»

Теперь Софья Исаковна Каган и я были заняты телефонными разговорами с Москвой. Мы старались получить хоть какие-нибудь добавочные указания в помощь нахождения могилы. Мы шли на почту, маленькую, провинциального типа, и это тоже как-то облегчало разговор. Как могли бы мы вести его, будь вокруг блеск столичной почтовой залы с густой людской суетой! Тут почти никого не было.

Мы звонили Юде, дочери Софьи Исаковны, поручая ей переговорить с тем и тем. На другой день она передавала нам ответы опрошенных. Их было немного; почти никого не было из живших тогда в Елабуге. Но вот ответ женщины, хорошо знавшей Марину. «Удивляюсь, кому нужно ворошить все это, — сказала она, — прошло столько лет...» Писатель Вадим Сикорский помнил *только*, что у правой кладбищенской стенки. Всех сердечнее оказался отец Вадима Сикорского, сказавший Юде: «Все мы тогда были в таком состоянии в этой эвакуации... Ничем не отметили могилу — даже цветов не принес никто из нас, — это ужасно...» Как эти слова сочетать со строками ко мне Али о том, что никто из семьи их, кроме Вадима, тогда в Елабуге не был, — не знаю. Остается предположить, что старшее поколение Сикорских приехало в Елабугу и *ходило* на могилу? Или *и не пошли* туда *после* похорон? Вадим говорил о Марине сердечно.

Из подробных, возбужденного тона по телефону длинных рассказов Вадима (мне, в Москве) я запомнила, что Марина очень отличала его из всех окружающих.

— А мне тогда было девятнадцать лет, я ничего еще не понимал; не понимал, что такое Марина Ивановна и почему она отдает мне внимание и время... Может быть, она предчувствовала, предугадывала, что я потом буду писать стихи? Мы много ходили с ней, и она много со мной говорила... А когда все это случилось (я был в кино), открылась дверь. Голос крикнул: «Кто тут Сикорский? Выйдите сюда!» И мне сказали о гибели Марины Ивановны. Вечером Мур сказал мне, что придет ко мне ночевать. Я сказал ему: «Ты в этой истории играл такую паршивую роль, что следовало бы не пустить тебя к себе... Но приходи, жду». Потому что он был очень груб с Мариной Ивановной... Но эту первую ночь он все время вскрикивал во сне и метался...

Придя вновь на кладбище, я принесла сделанную мне на заказ в мастерской металлическую дощечку, где в пустой мастерской после работы молодой рабочий вывел черной краской по слою белой масляной краски:

«В этой стороне кладбища похоронена Марина Ивановна Цветаева, род. в Москве 26 сентября ст. ст. 1892, † в Елабуге 31 августа 1941 г.»

Придя на кладбище, мы стали искать крест. Удивительно: у церковной стены стоял только один крест, и он был Марининового любимого цвета — старый, зеленоватой бирюзы. Он был из металла — тяжелый, хотя небольшой. Поднять и нести его мы не могли. Кропоткина позвала паренька, который понес его и закопал по нашему указанию *между* четырех неизвестных могил 1941 года. В месте меж них, узком, где уже не смогут копать могилу, чтобы не задеть чужой.

В этот ли день у нас были принесены цветы или мы принесли их в следующий раз — я не помню. Но на снимке у подножья креста лежат цветы. И есть еще снимок прибежавших с нами за крестом детей (внуки Кропоткиной, сторожихи). Они стали у креста, и я сняла их на память — и затем из Москвы выслала Кропоткиной фотографии.

Дощечку паренек прикрепил к кресту проволокой. Крест возвышается над уровнем земли на небольшую высоту, вкопанный глубоко для крепости. Что-то в конфигурации перекладин креста напоминало мне староверов, раскольников и боярыню Морозову, о которой Марина писала стихи и которая по духу ей была сродни.

У нас не было ни времени, ни сил поискать на елабужском кладбище, где похоронена девица Дурова, участница наполеоновских войн.

Я сфотографировала у ворот кладбища ставшую с одной стороны Сою Каган, с другой — застывшую на миг, в профиль, собаку, приبلудную. Марина так любила собак, и собака пришла.

Затем Софья Исааковна заболела. Очень впечатлительная с юности, она не вынесла тяжести и напряженности этих дней. Да еще и простуда. Она осталась в гостинице, а я продолжала поиски одна.

Я прошла по всем следам Марины. И все продолжала снимать и носить пленку Гафисову. Я так боялась, что он не успеет к отъезду. Я сняла улицу, вид на дом Бродельщиковых, силуэт церкви. И другую церковь, по пути с кладбища, в городе — крупным планом. (Церковь была заперта, ее видела, проходя, Марина.) Я шла в больницу в надежде найти врача, может быть, помнившего смерть Марины, кого-нибудь из тех, кто давал справку, составлял акт. Больница была

далеко, за какими-то пустотами. Увы, и там тоже не удалось установить ничего. Я прошла путь в усыпальницу — по колеям, мимо старых деревьев. Улицы были почти пусты.

Во дворе я стояла, смотрела. Сюда привезли гроб. Я не помню, говорила ли я с кем-нибудь в этом дворе. Дома по его краям одноэтажные, маленькие.

Стоит телега. Тихо. Дневной час. Было, может быть, так же, когда привезли Марину.

Я искала следы похорон по учреждениям, зарегистрировавшим их. 31 августа была запись о похоронах. Их взял на себя Мур. В графе была его роспись — своеобразный почерк — прямой, довольно узкий, неровный. Почерк много писавшего, а ему было шестнадцать лет. Этот же почерк я нашла в милиции, в паспортном столе. Там рукой Мура была внесена запись их прописки с Мариной. Это было за десять дней до дня, когда Марина, все обдумав, написав прощальные письма, прекратила свою жизнь.

Мы собирались ехать. Надо было спешить, со дня на день могло прекратиться пароходное сообщение. Я очень боялась, как бы что-нибудь не помешало Гафисову закончить отпечатывание последних снимков к отъезду, и, подойдя, увижу замок. Что я тогда буду делать?

Но Гафисов был на месте, протягивал мне сырую еще пленку. Успел ли он мне ее наутро отпечатать? В Москве ли я сделала это? Но должна сказать о снимках. Все удались, кроме одного — внутреннего вида сеней. Он не вышел совсем. Начисто чернота. Ее последнее жилище, в которое она вышла из комнат, чтобы не испортить сыну и хозяевам, — его она унесла начисто, не оставила нам. Правильно ли я сделала, что пыталась снять? Думаю, да. Попытаться — было мое право.

Мы простились с Бродельщиковыми, с высоким седым Михаилом Ивановичем, с маленькой доброй его женой, в те дни видевшими Марину.

Я ничего не помню: ни как брали билеты, ни как собирались, как ехали. Наш обратный путь был с последним в ту осень 1960 года пароходом «Владимир Короленко».

Я увозила землю с кладбища и песок с пристани Елабуга, чтобы хранить и раздать друзьям. Но кто возьмет — или как

предложить такую печальную память? Если зашить — в ладанку? Мы поделили с Соней горсть сухих кладбищенских листьев, среди них — земляничные...

Серая, осенняя Кама, прибрежные птицы чайки, реющие над палубой, косые струи, бегущие от парохода с пенным журчанием, печальные осенние пристани. Крутые ржавые берега, о которые полощется сталь камских вод. Тут девятнадцать лет назад ехала с Муром Марина, еще надеясь на жизнь. Она не вернулась. Соня Каган и я возвращались, ее не найдя.

Столько часов мы ехали, но я ничего не помню. Холод, в пальто и шапках, на палубе, люк, лесенка. Каюты — но память смешала обе (туда и назад) в одну. Нет, в одной очень стучал пароходный винт, сотрясая ночь и сон. Во второй (первой?) винт тише, сон — глубже. Еще была (почему?) пустая столовая, где мы что-то ели, радуясь, что почти одни. С грузом печали от дней в Елабуге. И пачка фотографий, повторивших Маринин путь.

В Москве мы через Вадима Сикорского позвали к Соне и Юде Каган в Молочный переулок детского писателя А.А.Соколовского, в 1941 году подростком находившегося в Елабуге со своей матерью, детской писательницей Н.Саконской. О том, что она начинала дружить с Мариной, — мы слышали, как и о том, что смерть Марины тяжело повлияла на ее сына. Ему в тот год было тринадцать-четырнадцать лет. Мать его умерла.

Он говорил о теплых отношениях между Мариной и его матерью и о Муре, которого не видел после смерти Марины. Теперь этот давно выросший подросток сидел перед нами. Держался он просто и дружески.

Мур передал ему свои слова к Марине, сказанные в пылу раздражения: *«Ну уж, кого-нибудь из нас вынесут отсюда вперед ногами!..»*

Беспощадно грубые слова шестнадцатилетнего Мура прозвучали в материнстве Марины — приказом смерти — себе. Услышанные мною через девятнадцать лет, прозвучали мне — *откровением* о настоящем существе ее смерти: ее самоубийство — в сумасшедше завязавшемся узле их, вдвоем, за-

брошенности в чужое место меж чужих людей, сжатых войной, одиночеством, — было жертвенным.

Ее смерть *его* от смерти — удержит. Наступал деловой час бесстрашия. Кто мог спасти его от него самого, кроме нее? Нельзя было терять ни дня!

Уходила, чтоб не ушел *он!*

Искала работы, намеревалась продать столовое серебро, поселясь в найденной комнате. К ней подошла смерть — в неистребимой серьезности. Отвести ее рукой, обойти — означало подвергнуть опасности смерти самого близкого человека — сына. Этого она не могла.

Так меня, верящую, что жизнь надо терпеть до конца, озарило знание тех *Марининых* дней. Страшным шагом ответила на неразумные слова сына — чтобы не сделал этого он.

Любовь к сыну помогала ей упорно искать работу. Ей все еще верилось, что, как в детстве его, они — одно. Но когда в роковой час его горделивой угрозы, что, по несогласию его: их жизнью в Елабуге *он* может уйти в смерть, — открылись ее глаза на сына: он уже не одно с ней! Оттолкнув мать, он может шагнуть в смерть. *С этой* соперницей — спора нет. Вырос! В отчаянии выбирает себе *другую* спутницу! Спора — нет. Ей, его заслонив, отдать *себя*. Устраниться с его пути. Дать полную от себя свободу. Что могло быть полней? Жить без него? Это она не могла. Рассуждать некогда. Выход найден! О, как надо было спешить!

В 1941 году, накануне эвакуации Литфонда, Марина с сыном собиралась к отъезду. Мне передали рассказ подруги ее дочери Али — Нины (фамилии не узнала). Она застала Марину, в смятении укладывающую в чемодан вместе — нужное и ненужное, расстроенную тем, что Мур не хотел ехать, спорит с ней. Она спасала его от смерти. Он же еще был мальчик! Спасала.

Ее просьба, настойчивая, не носить парижского костюма, беречь его до окончания школы, потому что такого по тем временам «не достанешь», раздражала его. Мур давно уже вырос (был ростом с отца) и, вероятно, не рос более, вещь надо было сохранить. Он не хотел. Переходный возраст его не мирился с лишениями и неудобствами, вызванными

эвакуацией из Москвы. Наперекор всем окружающим, из Москвы выехавшим в эвакуацию, он стремился из эвакуации в Москву.

Она ему все прощала. Она глядела вперед, на того, кем он *будет*. Для себя сознавая все — позади, она жила мечтой его будущего. На упреки сына, что она не умеет ничего добиться, устроиться, она в горькой надменности, на миг вспыхнувшей гордости, бросила сыну: «Так что же, по-твоему, мне ничего другого не остается, кроме самоубийства?» Но это был вызов, на который Мур ответил: «Да, по-моему, ничего другого вам не остается!»

Слова эти были после гибели Марины рассказаны им самим тогдашним товарищам его по Елабуге.

Но слова эти не вызвали в матери реакции: она понимала, что они возникли в пылу разговора. Что в своей глубине он любит ее — она знала. Но «кого-то из нас» — это было совсем другое! Не о ней, а о нем... Это была не просто дерзость мальчишки...

...Так уже не нужна ему мать... Кончено! Огромная усталость должна была в этот миг пасть на Марину. Потрясенный ее уходом, он не повторит ее шага... Пусть живет он, юная ветвь! Ему открыты все дороги, а ей...

Кончена их жизнь вдвоем, их единство, что оно и было-то коротко, только в его *младенчестве*! С детских лет мужественный, он давно рвался из ее рук. Крайний эгоцентризм, вспоенный всеобщим — и прежде всего ее — восхищением, жар таланта (к перу и кисти), холод ума и самосознания, упоенье собой, знание себе цены — отстраняло его от того, что зовется «дом». Уже ничья воля не могла дозвель над ним — только своя.

Будь с ним мужчина — отец его, — может быть, он помог бы? Но женщину-мать сын уже отметал от себя. Не довлекла. Но она была тут, ее дыхание, ее несогласие со многим в его поведении, *ее* воля в дне. То, что было ее жизнью с ним, *завота*, для него было *насилие*. Он задыхался.

«Марина испуленно любила Мура!» — слышала я не раз от видевших ее в 1939–1941 годах в Москве. Она помнила себя в семнадцать лет, свою попытку самоубийства. Он был — сколок с нее. Их сходство, в нем бившееся, и невоз-

можность для него понять это, его удаление от нее в эти дни — решало все неожиданно и просто. *Успеть* спасти его, молодое цветущее дерево, от молнии смерти. Я вижу, как все просветлело вокруг нее — в момент решения. Нет, не решения. В преддверии решения есть всегда колебание — да или нет. Тут ей была неизбежность.

Я чувствую это и теперь всем своим существом, нашей общей душой, поняв сужденность *тогда* ее шага. Его жертвенность. В *этот* миг, я знаю, какой еще свет тронул ее сердце: после нее его жизнь сразу устроится, его, вдруг осиротевшего, не оставят, ему помогут. Так думала мать о сыне. Но не совсем так решила жизнь: сын два года окончания школы был голоден. О мечте досыта наестся хлеба он две зимы (1941—1943) писал своей сестре.

Меня хотят уверить, что Марина ушла — и оставила сына! — оттого что не вынесла тяжести жизни.

Но от нищеты Цветаевы не погибают.

Да, ее любовь к сыну была так велика, что если б ее заковали в цепи, а он бы ей говорил: «Ты мне нужна», — она бы и веса цепей не ощутила.

Марина ушла, чтобы не ушел Мур.

Сомневаться в этом могут лишь люди совершенно иного уровня, неспособные понять натуры Марины, ее неистовость, ее абсолютизм, — *своей* меркой мерящие!

Ее усталость росла. Она устала еще во Франции, где от нее отвернулись после ее публичного приветствия Маяковского, — она мне писала об этом; ее мало печатали. Она еще в 1934 году задумывала уйти из жизни, но ее удерживал сын.

«Мне все эти дни хочется написать свое завещание, — писала она А.Тесковой из *Ванва*, 21 ноября 1934 года. — Мне вообще хотелось бы не быть. Иду с Муром или без Мура, в школу или за молоком, — и, изнутри, сами собой — слова завещания. Не вещественного — у меня ничего нет — а что-то, что мне нужно, чтобы люди обо мне знали: *разъяснение*».

С 1939-го по 1941 годы, оставшись одна с Георгием, она жила блистательными стихотворными переводами. С войной они кончились, лопнули как детский воздушный шар.

Отъезд в неизвестность с людьми незнакомыми, неимение на кого опереться, чужие случайные люди. Елабуга, маленький захолустный город.

Пастернак чувствовал какую-то вину перед Мариной:

Что сделать мне тебе в угоду —
Дай как-нибудь об этом весть,
В молчанье твоего ухода
Упрек невысказанный есть.

Но если бы не только, а если б все писатели мира захотели бы преградить ей путь к ее шагу — она бы их отстранила. В *этот* час она прошла бы сквозь них, как сквозь тень... И я бы не удержала ее. На ходу своем она сжала бы мне руку, молча. Зная все, что я бы рвалась ей сказать. Полная своим рвением, не слыша меня в этот час...

В 1960 году, может быть и позднее, я встретила с Ниной Герасимовной Яковлевой, которую, по словам знавших их дружбу, Марина очень любила. И читала! Знакомство их началось в Париже. Нина Герасимовна была переводчицей. Помнится, переводила Бальзака.

В те ли годы в Париже встретились и подружились Марина и Нина Герасимовна Яковлева? Не знаю. Но рассказ о Марине ее был — нескончаем, неумолчен. Я приходила к ней в дом, если не ошибаюсь, № 9 по Телеграфному переулку возле Главпочтамта, и мы проводили вместе вечера. Как много она рассказывала о своей дружбе с Мариной! Тут, в Москве, — о ее последних месяцах. Нина Герасимовна помогла ей устроить переводческую работу в Гослитиздате. Марина в Москве занялась переводом с тех пор, как рассталась с мужем и дочерью (осенью 1939 года). Одна, с четырнадцатилетним сыном, она жила на свой заработок переводчика. Переводила грузин (Важа Пшавела и других грузинских поэтов) по подстрочникам. Особенно осталась в памяти поэма «Этери» — о любви принца к простой девушке и их смерть — подобная Ромео и Джульетты. Высота мастерства перевода — вне похвал.

После Голицына, где Марина прожила несколько месяцев с Муром — на квартире (Коммунистический проспект, дом

Лисициной), она в Москве поселилась у Елизаветы Яковлевны Эфрон, в крошечной проходной комнате; рядом, в такой же маленькой комнате, жила сама Елизавета Яковлевна с подругой — Зинаидой Митрофановной Ширкевич. Затем Марина снимала комнату в квартире по Покровскому бульвару, 14/5, квартира 60.

— Марина жила от меня очень близко, — рассказывала мне Нина Герасимовна, — и когда она уходила — как не хотелось расставаться! И я шла ее провожать. А затем — она меня, и снова я... Она очень мне доверяла. Все говорила мне о себе. Сын с ней был груб, но она ему все прощала. Она так любила его! Он был очень красив. Высок, статен. Ему было всего шестнадцать лет, а он выглядел взрослым и соответственно держался. Очень самостоятелен был. Но она всегда страшно за него беспокоилась, а он раздражался на это. У него было хроническое воспаление ноги, рожистое, она настаивала на лечении и сама лечила его, а он не хотел. Конечно, он был эгоист, но кто же не эгоист в его возрасте?

Да, Марина страдала. Но все прощала ему! Она помнила себя в юности, а он был так талантлив и образован. Он знал таких поэтов, как Валери, тонко разбирался в таких писателях, как Кафка и Сартр, знал их книги... Марина была *счастлива*, что у нее такой сын, она им *гордилась*! Он великолепно знал литературу, столько читал... но трудно сказать, какое у него в душе было отношение к матери, понимал ли он, кто она. Он производил впечатление *холодного* человека. Как она звала меня с собой в эвакуацию. Как уговаривала. Но я не могла, Анастасия Ивановна, я должна была ехать в Сибирь, куда *дочь* моя эвакуировалась, и я поехала с ней. Было такое время, мы были так растерянны, так страшно было расстаться мне с дочерью... Но и с Мариной страшно было расстаться. Я только позднее поняла, что этим решением я потеряла и дочь и Марину. Дочь скоро умерла от тифа, а Марины *уже* не было на свете... Я не представляю себе, чтобы она *при мне* это сделала, — я бы *не дала* ей сделать это, мы *так* понимали друг друга...

Я слушала, смотрела и верила: кто, как не Марина, мог оценить и полюбить эту доблестную, талантливую, умную,

добрую женщину? В ней была стать, то, что так ценила Марина. И в ней я чувствовала — отвагу. Какое-то особенное свойство смелости и достоинства в ее синих больших глазах, в ее несколько гордом лице. И она уже была сердечно больная, но и к этому она относилась храбро. Это была, несомненно, *личность*, что не так часто встречается среди женщин, и это восхищало Марину...

...Мне бесконечно жаль, что смерть Нины Герасимовны прервала нашу дружбу. Сколько я бы еще узнала о Марине из этих полных любви воспоминаний.

В 1961 году *перед* выходом Мариной голубой книги стихов к моей сестре Лёре (ей шел восьмидесятый год) в ее домик в Тарусу пришел студент-киевлянин, поклонник творчества Марины. Он прочел Маринин рассказ «Кирилловны» в сборнике «Тарусские страницы», кончающийся словами (привожу по памяти): «Если мне суждено умереть в другом месте, я хотела бы, чтобы на одном из тарусских холмов, которыми мы в детстве ходили к Кирилловнам, мне поставили камень из тарусской каменоломни с надписью: «Тут бы хотела лежать Марина Цветаева». И он решил ее мечту выполнить. Накопив в Киеве денег, он приехал в Тарусу, был у властей, рассказал цель своего приезда им и начальнику каменоломни, тот дал, даром, коричневый камень в $\frac{3}{4}$ тонны весом. На нем, по его словам, каменотесы вырезают текст, теперь дело за транспортом.

Лёра и я посоветовали студенту ставить камень не на видном месте и не в маленьком кладбище, как он хотел, где могилы художника Борисова-Мусатова и семьи Вульф, а ближе к домам Лёры и Али, как бы семейно. Я советовала поставить камень в уголку Лёриного участка (Аля была в Латвии, без нее было нельзя ставить у нее, но когда вернется — стоило только перенести угол забора, Лёра была согласна — и камень оказался бы в углу Алиного сада).

Но студент — ему было всего двадцать четыре года — прямо хотел ставить камень возле могилы Борисова-Мусатова, хоть я объясняла ему, что на кладбище такой мемориальный камень ставить нельзя. Того же держалась и наш друг, профессор З.М.Цветкова. Мы опасались и шума вокруг камня, и многолюдства, но — энтузиаст — не послушал

и камень перевез (с трудом — часть пути лошадьми, часть машиной). Когда каменотесы заканчивали надпись, вокруг собралась толпа тарусян, критикуя их работу и замысел студента, стали вносить свои «предложения». «Рабочие хотели бросить работу, я еле их уломал», — рассказывал он, придя к нам тревожный и огорченный. Мы же, этого ожидавшие, жалели, что он нас не послушал...

А в это время в Латвию уже летели Але телеграммы, ее знакомые сообщали, что без нее неизвестные ставят Марине «Памятник».

Это грозило уже — недоразумением.

В дождливый час я с киевлянином и моей четырнадцатилетней внучкой Ритой спешили осмотреть Маринину мечту. Камень — терракотовый гранит (около $\frac{3}{4}$ метра длиной, более $\frac{1}{2}$ метра шириной, около $\frac{1}{4}$ метра высоты) — лежал наискось по неровной земле у входа в ограду маленького кладбища. Надпись, если не ошибаюсь, была в кавычках (как цитата), и под нею — «М.И.Цветаева». Как часовые — хмурые под дождем березы, внизу плыла, как в нашем детстве, Ока.

Назавтра предстояло решить — передвинуть или не передвинуть — в ограду камень.

— У меня такое чувство, что кто-то придет, поставит под камень рычаг, опрокинет его надписью вниз — и станет простой камень! — сказала я студенту.

Видя расстроенность его после стольких трудов и усилий, я пыталась успокоить его:

— Не горюйте, вы сделали, что могли! Вы Маринину мечту — исполнили! Вот же он стоит — камень с тарусской каменоломни на холме над Окой, как она хотела. Он стоит тут уже сколько? Третий день? Еще постоит... Важно, что *он поставлен*. Люди об этом знают. А сколько простоит — если не помешают, — уже не так важно!

— Я сфотографировал его, — сказал студент, — чтобы хоть память осталась...

На другой день, по просьбе дочери Марины, Ариадны Сергеевны Эфрон, от цветаевской комиссии, членами коей были Эренбург, Паустовский, пришел в райсовет властям протест по поводу установки камня.

Дальнейшая судьба камня была такова: за ним приехала машина, его с трудом погрузили, повезли по холмистому пути, меняли транспорт (подробно не знаю, так как я с Ритой уже уехала), снова везли и наконец сбросили в какую-то яму — возле не то автостанции, не то гаража. Там он и лежит поныне, должно быть.

...Через двенадцать лет после такой истории с камнем ко мне в Москву приехал из Воронежа еще один энтузиаст и поведал свою мечту: он прочел рассказ Марины «Кирилловны», напечатанный в «Тарусских страницах», и решил попытаться исполнить ее мечту — поставить на тарусских холмах камень с надписью: «Здесь хотела бы лежать Марина Цветаева».

— Поскольку, волею судьбы, могила Марины Ивановны так далеко от мест ее детства и юности, пусть хоть такой мемориальный камень будет ей поставлен, по ее желанию, над Тарусой...

— Этот вопрос надо решить с дочерью Марины, — ответила я (помня, что камень первого мечтателя ставили в отсутствие Али). Я не хотела разочаровывать приехавшего: что не удалось тогда, может, удастся теперь? Предупредить о неповторении ошибки студента будет еще время, если дело начнет налаживаться. Сестры Лёры уже не было на свете, я была одна с воспоминанием о неудаче, — пусть попытает счастья, как говорится в русских сказках о добром молодце... После свидания с Алей воронежский поклонник творчества Марины писал мне, что она указала на трудности, ему предстоящие, дала ему ряд советов, и он намеревался начать исполнение своей попытки. Но, видимо, трудности оказались серьезными — о постановке камня не слышно.

Один приезжавший из Елабуги педагог, не раз мне писавший и работавший в Елабужском педагогическом институте, сообщил мне, что уже старые Михаил Иванович и Анастасия Ивановна Бродельщиковы продают дом и новый владелец будет его перестраивать.

— Столько лет, — говорили они, — ходит народ и ходит, приезжают издалека многие, как не пустить... Расспрашивают — а мы что знаем? Всего десять дней она с сыном у нас

прожила, время было тяжелое, у каждого своя забота... В сени входят, в дом просятся, и тот гвоздь им покажи, где беда случилась, — так вы уж, пожалуйста, его заберите от нас, мы так и скажем — забрали...

— И я взял и привез его, — сказал приезжавший, — куда мне его передать посоветуете?

— Думаю, дочери. Пусть останется у нее в архиве горькая реликвия*.

Так он и поступил!

Весной 1966 года, будучи в Доме творчества в Голицыне (я просила Литфонд устроить меня именно туда, где Марина жила с Муром, и уже много лет езжу туда. Прохожу по саду, которым они шли, поднимаюсь по их лесенке, гляжу на камни, у которых сидела Марина. Родной дом для меня), я решила встретиться с Серафимой Ивановной Фонской, заведовавшей в Маринины дни этим Домом.

Меня проводили до ее дачи. Я вошла в калитку. Навстречу мне двинулась высокая седая женщина. Она ждала меня.

— Как похожа! — воскликнула она. — И та же летящая походка!

Вот что она рассказала мне (здесь запись лета 1966-го и лета 1967 годов):

— Когда Марине приносили молоко, она сахару положит в молоко и идет в кухню варить тянучки. Мур любил сладкое. Целую глубокую тарелку наварит и несет. А Мур *сразу* съедал! Молодой! С матерью Мур резок был. Только требовал! Не помогал матери ни в чем, никогда. Избалованный, да! Красавец! Ходил в синем костюме. Щеки розовые, матовые... Хорошо! Но — не понимал мать, груб был. Марина Ивановна иногда от него плакала — отвернется, тихо... Говорила: «Он — молодой, у меня это все прошло давно, а он ведь еще...» Все прощала ему! Мур был совсем другой, чем мать, он был далек от нее, он *только* требовал. А она была

* 5 сентября 1981 года Вячеслав Михайлович Головкин, заведующий кафедрой университета в г. Элиста, написал мне о продаже дома М.И. и А.И. Бродяльчиковыми и о том, что в свое время он передал на хранение Ариадне Сергеевне Эфрон и домовую книгу, в которой точно указаны даты пребывания в Елабуге М.И.Цветаевой и Г.Эфрона (запись сделана Г.С.Эфроном).

очень хрупкая. Она не возражала, она его *слепо* любила... Она против него была маленькая, какая-то серая. И уже впалая грудь, но вся летящая как птица! *Немножко* выше, чем вы, Анастасия Ивановна, она была... Нет, нет, не высокая, нет!

— А бывала Марина радостной когда-нибудь? — спросила я Серафиму Ивановну.

— Бывала, когда Мур был веселый. А Мура здесь Крымов сдерживал. Обнимет Мура и пойдет с ним. А она улыбается вслед, радуется, что такой человек, как Крымов, занимается с Муром.

...Был у них страшный скандал с Муром, и он ушел — чтобы уехать в Москву. И она ему вслед крикнула: «*Мур! Я не выдержу! Вернись!*» Но он ушел. Она металась, как птица в клетке. Он не жалел мать, в этом возрасте нет жалости, она приходит поздней.

Марину Ивановну очень любила сестра Г.Чулкова, Анна Ивановна Ходасевич. И смерть ее тяжело переживала.

А Крымов про нее говорил: «Этот дорогой инструмент пострадал от всех дорог...» (Я не успела записать, как у колдунца Крымов, что-то делавший, попросил: «Качните, Марина Ивановна...» — и как она налегла, слабо... И он: «Не надо, я сам...»)

Через год я уже не застала Серафиму Ивановну, как подряд два года. Она умерла от болезни сердца.

В 1967 году вдова Ноя Григорьевича Лурье дала мне спisać воспоминания его о Марине. Вот они:

«Зимой 1939—1940 годов, живя в Голицыне, я ежедневно встречался с Мариной Цветаевой, которая, как и я, одно время жила*, а затем столовалась в Доме творчества. Марина Ивановна любила говорить, говорила интересно, подчас весьма язвительно. Помню ее импровизированные, совершенно блестящие, беспощадные наброски портретов Андрея Белого и Ремизова. У нее была злая хватка мастера, голос — громкий, резкий. Но за уверенностью тона и суж-

* Ошибка многих вспоминающих о встречах с Цветаевой в Голицыне. В Доме творчества М.И. не жила, но постоянно бывала в нем, и поэтому многие считали, что она живет в доме.

дений чувствовала растерянность и страшное одиночество. Мужа и дочери с ней не было, с сыном у нее, по моим наблюдениям, не существовало общего языка. В глазах этой седой женщины с незаурядным лицом иногда вдруг появлялось такое выражение отчаяния и муки, которое сильнее всяких слов говорило о ее состоянии.

После обеда, после ужина я часто присаживался возле нее. Она рассказывала о жизни русских писателей за границей, о своих встречах с Маяковским, которого считала большим “органически революционным” поэтом, но почему-то не очень счастливым, несмотря на то что у него, казалось, было все, что нужно для счастья: согласие с временем, талант, дерзание.

Марина Ивановна, по-видимому, ценила эти наши беседы, огорчалась, когда я, случалось, проводил досуг не с нею, играл в шахматы и т.п.

Одна наша встреча особенно запомнилась. Как-то, проработав с утра часа три, я после завтрака предложил Марине Ивановне пойти погулять.

День был чудесный: солнечный, безветренный, при легком морозце. Мы долго бродили сначала по террасе, а затем по заснеженному лесу, лишь изредка обмениваясь несколькими словами. Зная по себе, какой целительный покой приносит душе подобная прогулка, я старался не отвлекать мою спутницу разговорами. Но душевная неурядица, тревожившая эту замечательно одаренную женщину, была, видимо, слишком велика, чтобы ее успокоить такими средствами.

— Нехорошо мне, Ной Григорьевич, — неожиданно заговорила она со свойственной ей прямоотой и резкостью. — Вот я вернулась. Душная, отравленная атмосфера эмиграции давно мне опостылела. Я старалась общаться больше с французами. Они любезны, с ними легко, но этого мне было мало. Тянуло домой. Но смотрите, что получилось. Неужели я здесь оказалась тоже чужой, как там?

Я пытался ее успокоить: со временем, надо надеяться, трудности пройдут. Она была безутешна.

— Боюсь, что мне не справиться с этим...

На обратном пути, когда мы уже вступили в поселок, нам встретился старик, очевидно из местных жителей, коре-

настый, сильный, с очень выразительным умным лицом. И вдруг Марина Ивановна, глубоко задышав, жарко, почти в бредовом состоянии, прошептала: “Какой он зрячий! Я его, как Родину, люблю...”

Вдова писателя Николая Яковлевича Москвина Татьяна Николаевна Кванина вспоминает:

«Мы с Николаем Яковлевичем Москвиным в конце сентября или в октябре 1939 года (точно не помню) приехали в Голицыно.

В день нашего приезда завтракали мы с опозданием, и завтракавших было всего два-три человека, а вот к обеду (если тут всегда все за одним общим большим столом) собрались почти все обитатели Дома. Когда все уже сидели за столом и начался перекрестный разговор, в комнату вошла немного выше среднего роста худощавая женщина со строгим, чуть замкнутым, но очень выразительным лицом.

Необычны были и широкие серебряные браслеты на запястьях ее рук. Держалась незнакомка как-то подчеркнuto прямо, и во всех ее движениях чувствовалось горделивое достоинство. За ней шел рослый красивый мальчик лет четырнадцати-пятнадцати.

Это была Марина Ивановна Цветаева с сыном Муром.

Марина Ивановна села в середину стола и сразу стала центром всеобщего внимания и интереса. И хотя сама она говорила мало, но все, что говорилось за столом, адресовалось только ей, говорилось только для нее.

Я еще не знала, кто передо мною сидел, но ощущение, что вижу человека, к которому слово “незаурядный” применить мало, родилось тут же: это был человек особый, высочайшей породы. За всю мою жизнь и прежде и потом такого ощущения я не испытывала ни от одной встречи.

После обеда все пошли гулять. Центром всего и всех попрежнему была Цветаева. Ходили по какой-то заросшей травой дороге, через какие-то небольшие полянки с редкими деревьями. За одним из поворотов я увидела одинокое деревце, — юное, прямое, ровное. Проходя мимо, погладила его (деревья часто кажутся мне очеловеченными). Как оказалось позже, то, что я погладила дерево, заметила

М.И., и *это* (что для М.И. примечательно) положило начало нашим дружеским отношениям, если можно так назвать стеснительное преклонение с моей стороны и дружеское расположение со стороны М.Цветаевой, со свойственной ей способностью приукрашивать и идеализировать людей, ей чем-то симпатичных.

В первом же ко мне письме от 17 ноября 1940 года Марина Ивановна пишет:

«...это письмо идет издалека. Оно пишется целый год — с какой-то прогулкой — с каким-то особенным деревом (круглой сосной?) — по которому Вы узнавали *den Weg zurück** “Такое особенное дерево...”. Ну вот, Таня, если у Вас хватило Ваших больших глаз — на его особенность, может быть, хватит и на мою. Что касается деревьев, я в полный серьез говорю Вам, что каждый раз, когда человек при мне отмечает: данный дуб — за пряность, или данный клен — за роскошь, или данную иву — за плач ее, я чувствую себя польщенной, точно *меня* любят и хвалят, и в молодости моей вывод был скор: этот человек не может не любить меня»**.

На другой день или через день после первой прогулки М.И. пригласила Николая Яковлевича и меня к себе. Жила она у кого-то на квартире, а завтракала, обедала и ужинала в Доме творчества.

Комната ее нас поразила своим хаотическим беспорядком: все лежало вперемежку, на виду. Но и тут, в Голицыне, и особенно в Москве, скоро стало понятно, что в этом беспорядке свой порядок и смысл. М.И. прекрасно помнила, где что лежит, не тратила ни секунды, доставая нужное. А лежало все сверху, как я поняла, потому что М.И. не желала тратить времени на открывание и закрывание ящичков и шкафов, на напоминание, что где: тут все было видно. Неопрятности в этом “беспорядке” не было.

А вообще к М.Цветаевой с привычной, обычной меркой и оценкой ее поступков *ни в коем случае* подходить нельзя, — она стояла *над* повседневностью. Например, почти не замечала, когда вы ей что-нибудь приносили, даже очень ей

* По дороге назад (нем.).

** Здесь и ниже привожу только выдержки, точками обозначаю пропуски. Оригиналы писем находятся в ЦГАЛИ.

нужное, но так же просто, не придавая этому никакого значения, могла отдать что-то свое, даже ценное.

В этот первый наш приход (впрочем, как и во все последующие) Марина Ивановна читала нам свои стихи. Читал ее стихи наизусть и Н.Москвин — он знал их множество. Одно из его любимых было: “Здравствуй! Не стрела, не камень Я! — Живейшая из жен...”

Позже в письме от 22 марта 1940 года к Н.Москвину М.И. “обыгрывает” строчки из этого стихотворения. Она напишет:

«Ах, жаль, Вас нет, потому что —

Я сегодня в новой шкуре:
Вызолоченной — седьмой.

А шкура — самая настоящая. Баррранья, только не вызолоченная, а высеребренная, седая, мне в масть, цвет талого снега, купила за 70 р. в местном сельмаге, в мире реальном это воротник, огромный... Я все люблю самое простое, и своего барррана не променяла бы ни на какого бобра.

Эта шкура — Вам в честь.

До свидания — не знаю когда, но *всегда* — с огромной радостью».

А выше в этом же письме Марина Ивановна пишет Николаю Яковлевичу: «Я о Вас скажу по-настоящему, я к Вам очень привязалась». И эти слова в письме — не простая любезность. Когда мы уже вернулись в Москву, а Цветаева была еще в Голицыне, она доверяла Н.Я. какие-то свои дела, телефонные справки, а когда у нее случилась неприятность с денежными расчетами с Литфондом за питание в Доме творчества (об этом уже писали), то она именно Н.Я. в тот же день (28 марта 1940 г.) послала большое письмо, в котором подробно описывает все происшедшее, пишет о всех своих сомнениях, о заработках и пр. Марина Ивановна ничего не просит, чувствуется, ей просто нужно поделиться, и вот одним из первых, о ком она вспомнила, был Москвин. А ведь мы были так мало знакомы... Все это говорит об одиночестве, о поисках друзей, но тогда мы этого не поняли.

Я знаю, что Н.Я. и ездил к разным людям, и звонил, пытаясь добиться, чтобы положение с курсовками, которое быс-

тро, в один день, уладилось, было оформлено официально (“М.И. так психологически будет легче”, — говорил Н.Я.). К сожалению, ничего из этого не получилось — помешали какие-то бухгалтерские правила.

М.Цветаева (в конце этого же письма к Н.Я. (от 28 марта 1940 г.), думая, что ей придется уехать из Голицына, пишет (в общем-то опять об одиночестве):

«Этим кончается целый период моей голицынской жизни: вся совместность. Жаль для Мура. Для себя — не очень, последнее время все было очень сухо — не сравнить с нашим временем, просто: у меня не было ни одного человека, которому бы я радовалась, а без этого мне и все сорок не нужны».

Николай Яковлевич относился к Марине Ивановне с нежной почтительностью, с оттенком светскости. Со мной у нее отношения складывались более домашние, что ли: иной раз (редко) она просила купить что-то, достать (см. письма М.И. ко мне), и бывала я у М.И. одна чаще, чем вместе с Москвиным. (А в общей сложности всего этого было не так уж и много.)

Как правило, при наших встречах (когда я бывала без Н.Я.) говорила больше М.И. Я слушала. Видела: Марине Ивановне надо выговориться (понимала, что отсюда и письма ее к нам, особенно те, которые передавались мне в руки). Темы же разговоров были разные. Чтобы не быть голословной, привожу, как один из примеров, выдержки из моего письма к Москвину от 7 декабря 1940 года.

«...Рассказывала о муже, дочери, о Муре, о Париже, о Пастернаке. Обо всем вразброд и поверху. Читала стихи о Маяковском... Рассказывала о своих переводах с польского. О том, как в подстрочнике нашла ошибку, не зная языка... Разговор весь был несвязанный и сильно сдобренный горечью (понятной в ее положении). Вдруг неожиданно спрашивала обо мне: кто у меня есть из родных? Почему много работаю? Кто живет в Казани? Чем занимаюсь?.. “Ну, а где во всем этом радость? Чего вы больше всего бы хотели в жизни? И в какую хотели жить эпоху?..”»

Надо сказать, что обычно обо мне и Москвине Марина Ивановна ничего не спрашивала. А если и спрашивала, слу-

шала рассеянно. Она или рассказывала коротко о каких-то заботах дня, или велся разговор, подобно приведенному выше, или на отвлеченные темы (что такое человек? К чему все? В чем смысл всего?). Создавалось впечатление, что шла какая-то тревожная переоценка вопросов, давно уже решавшихся еще в те длинные вечера юности с Сонечкой (Софьей Евгеньевной Голлидэй). Кстати, обращение М.И. ко мне в некоторых ее письмах, как к Тане и как к Сонечке, или упоминание имени Сонечки, в какой-то мере, как мне кажется, является отголоском этих наших разговоров с ней: вечера в 40-х годах напоминали ей вечера 20-х («...Вам ведь пишет старая: молодая я, — та, 20 лет назад — точно этих 20 лет и не было! Сонечкина — я!»), письмо от 17 ноября 1940 года). В письме от 25 мая 1941 года: «Милая Таня, Вы совсем пропали — и моя Сонечка тоже — и я бы очень хотела, чтобы Вы обе нашлись».

Иной раз мы просто молчали. Если Мур был дома, шли гулять, чтобы не мешать мальчику заниматься. Но и когда молчали, М.И. меня не отпускала. Видимо, очень уж грустно и одиноко у нее было на душе.

О Муре в письме от 7 декабря 1940 года я пишу Москвину: «Он стал очень высокий, худой, прозрачный какой-то и красивый. Большой такой, что даже на “Вы” называть неудобно. Шутя сказала ему, что прямо хоть новое местоимение выдумывай...»

Мне нравилось, что Мур был учтив: когда я приходила, он никогда не садился, прежде чем не сяду я. Если при разговоре с ним я вставала и подходила к нему, он неизменно вставал.

Ему было, конечно, предельно трудно в этот период. Все новое: страна, уклад жизни, школа, товарищи. Все надо было узнавать вновь, найти свое место. А тут еще переходный возраст: повышенная раздражительность, нетерпимость к советам (не дай Бог, приказаниям!), болезненное отстаивание своей самостоятельности и пр., пр., короче, все то, что, как правило, появляется в эти годы у растущих.

Видела Мура я вообще-то мало: его или не было, или он собирался уходить. Но по разным мелочам нетрудно было понять, что этот мальчик сам не рад своей раздражитель-

ности и резкости, стыдится их, жалеет М.И., а вот сдержаться не может.

Как-то М.И. уходящему Муру хотела поправить кашне (на улице было холодно), Мур вспыхнул, сердито дернулся, резко отвел ее руку и резко сказал: “Не троньте меня!” Но тут же посмотрел на мать, потом на меня, и такое горестное, несчастное лицо у него было, что хотелось броситься с утешением не к М.И., а к нему, к Муру. Слышала я однажды и как Мур, уходя, в коридоре в ответ на какие-то слова матери (видимо, просьбу прийти пораньше), сказал: “Вот увидите, уйду и не вернусь!” Ну и, конечно, вернулся.

Марина Ивановна прекрасно понимала все, что происходит с Муром, его характер...

Для меня теперь ясно (к величайшему сожалению, только теперь!), что у М.И. была страстная, неистребимая потребность в это время чувствовать около себя людей, относящихся к ней добро, *ценящих* ее, просто проявляющих к ней человеческое участие. В ответ она сразу же загоралась ответным чувством симпатии, вкладывая иной раз в это все свое сердце, идеализируя всё и вся. А вот одиночество для нее было нестерпимым. Вот строки из ее письма ко мне:

«Таня! Не бойтесь меня. Не думайте, что я умная, не знаю что еще, и т.д. и т.д. и т.д. (подавите все свои страхи). Вы мне можете дать бесконечно много, ибо *дать* мне может только тот, от кого у меня бьется сердце. Это мое бьющееся сердце оно мне и дает. Я, когда не люблю, — не я. Я так давно — не я.

С Вами я — я. ...Моя надоба от человека, Таня, — любовь. Моя любовь, если уж будет такое чудо, его любовь, но это — как чудо, в чудном, чудесном порядке чуда. Моя надоба от другого, Таня, — его надоба во мне, моя нужность (и если можно, необходимость) — ему, поймите меня раз навсегда и всю — моя возможность любить в *мою* меру, т.е. *без меры*.

Вы мне нужны как хлеб — лучшего слова от человека и не мыслю. Нет, мыслю: — *как воздух*... Радость от присутствия, Таня, — страшная редкость... Вы, Ваш голос мне — радость. Этого я, кажется, здесь не могу сказать никому... Мне почти со всеми сосуще-скучно... какое одиночество, когда после такой совместности вдруг оказываешься на улице, с звуком

собственного голоса (и смеха) в ушах, не унося ни одного слова, кроме стольких собственных.

Ведь что со мной делают? Зовут читать стихи. Не понимая, что каждая моя строка — любовь, что если бы я всю жизнь вот так стояла и читала стихи — никаких стихов бы не было. “Какие хорошие стихи!” Ах, не стихи — хорошие.

Да, недавно одна такая любительница стихов, глядя мне в лицо широкими глубокими глазами, мне сказала: “Ах, почему Вы такая... равнодушная, такая разумная... Как вы можете писать такие стихи — и быть такой...”

“Я только с Вами *такая*, — ответила я мысленно. — Потому что я Вас не люблю. (И что-то очень резонное — вслух)».

А вот в том же письме ко мне (в 1918 году Бальмонт познакомил М.И. с одной поэтессой. Потом они не виделись 22 года. В 1940 году встретились). М.И. пишет:

«Я совсем не знала, кого увижу, и так хотелось — любить! И я просидела с ней три часа, мы говорили с ней о бывших друзьях и временах, мы как будто люди одного мира, она умная, мне очень преданная, пишет стихи, и — Таня! я *ничего* не почувствовала, ни малейшего волнения, ни притяжения, и у меня был ледяной, разумный, даже резонный голос (Таня, в эту минуту Вам за нее больно. Нет, пусть Вам будет больно *за меня*, потому что она-то все равно счастливая, потому что она меня любит, а дело в том, все дело в том, чтобы мы любили, чтобы у *нас* билось сердце — хоть бы разбивалось вдребезги! Я всегда разбивалась вдребезги, и все мои стихи — те самые серебряные сердечные дребезги).

Таня, у меня с той вчерашней гостьей общие корни, и мы одного возраста, и она тоже пишет стихи, и — Таня, я к ней ничего не почувствовала, а к Вам — с первого раза — все».

Я привожу сама спокойно все эти лестные для меня строки потому, что ко мне они относятся лишь косвенно: М.И. обладала, как известно, поразительной способностью придумывать людей. Но вот характер М.И. эти строки, как мне кажется, раскрывают довольно четко: и страстную тягу к людям, и ее одиночество, и ни на что и ни на кого не похожее своеобразие. Повторяю еще раз: с привычными мерками к миру Цветаевой, по моему глубокому убеждению, подходить нельзя.

В 1939 году мы с М.И. встречались совсем мало. В 40-м (особенно во второй половине) довольно часто. В 41-м, перед самой войной и в начале войны, и совсем не встречались. Последнее письмо от М.И. я получила от 25 мая 1941 года. В эвакуацию поехали в октябре в Казань.

Такие неровные и не очень частые встречи объяснимы. Время было трудное. Разные беды, сложности были в семьях родственников, близких друзей, и моих и Москвина. Была я в это время и очень занята (я преподаватель, работала в одной из военных академий). Все время казалось, что с невероятным напряжением несешься куда-то, и груды забот, недоделанных дел мешали остановиться, подумать не спеша обо всем толком. Поэтому трудно было разобраться и понять в полной мере все стороны жизни М.И., недавней нашей знакомой. Мы знали о ней в общем-то так мало.

Гипнотически действовали и разные знаменитые фамилии писателей, которые М.И. упоминала в разговорах. Казалось, что там есть и прочные дружеские связи, и надежная защита. А ничего этого не было. Марина Ивановна была, как нам стало это понятно слишком поздно, ужасающе одинока. У всех нас были родственники, друзья, близкие по духу, проверенные в разных трудных житейских ситуациях.

У М.И. не было никого. И когда настала такая минута, когда положение показалось безвыходным, когда сил не стало, поддержать было некому.

А одиночество при всем том, что выпало на ее долю, было непереносимо. У нас у всех, так или иначе причастных к судьбе Цветаевой, не хватило настоящей доброты, человечности, внимания, участия, если хотите — ума: потерять, не сберечь *такого* человека?! Где были все мы?!

Под конец приведу несколько строчек из моего письма от 30 июля 1979 года к товарищу, интересующемуся М.Цветаевой: «Родина для человека — это *дом*. Для Марины Ивановны, несмотря ни на что, Россия была *домом*. Вернулась она *домой* и, невзирая ни на что, чувствовала себя *дома*, хотя и не могла понять многого ни вокруг себя, ни в людях, с которыми встречалась, что понятно».

И вот еще. Однажды, гуляя, мы сели с М.И. на скамеечку (была такая заветная скамеечка). М.И. в этот день была чем-

то расстроена, были какие-то трудные хлопоты, возможно был резок Мур. Чтобы отвлечь от всего, я стала рассказывать забавные, и трудные, и трогательные истории из столкновений моих с мальчишками и девочками вечерней школы, где я недавно по совместительству с основной работой проработала год. Вся эта ребятня (примерно ровесники Мура), кто без отца, кто без матери, кто без тех и других, работали и учились, опекали младших сестер и братьев, к этому отчаянно озорничали, а иной раз хулиганили, но в общем были чудесным народом. Рассказывала я М.И. не в первый раз (историй было неисчерпаемо много), и она, как и всегда, слушала эти истории с большим вниманием. Потом мы долго молчали. А потом М.И. негромко сказала:

– Хорошо, что я здесь!

– Где? – спросила я (подумав: не в Голицыне, а в Москве, имея в виду сегодняшние ее хлопоты).

– В России! – сказала Марина Ивановна.

Наверное, кому-то конец моих записей покажется нарочитым. Но это правда. Так это было. И слова эти – не только настроение минуты. Но об этом разговор в другой раз».

Летом 1940 года известная пианистка Мария Веньяминовна Юдина работала над сборником песен Шуберта. Ей нужны были переводы текста стихов, на которые написана музыка. Узнав от Г.Г.Нейгауза о Цветаевой, Мария Веньяминовна решила обратиться к ней. Вот ее краткий рассказ об этой встрече.

«...Темноватая мансарда, нескладная лестница к ней, сразу охватывает атмосфера щемящей печали, неустроенности, катастрофичности. Отчужденное взаимное приветствие; вижу пожилую, надломленную, немощную женщину, стараюсь быть просительной и любезной, учтивой; сажусь на кончике стула, показываю Шуберта. “Если уж – то только Гёте”. – говорит Цветаева. “О, конечно, это самое прекрасное”, – отвечаю я и предлагаю “Песнь Миньоны” и “Арфиста” для начала. Она рассеянно соглашается, я спешу уйти... (А мне бы к ногам ее броситься, целовать ей руки, облить их слезами, горячими, горячими, предлагать взять на себя то или иное ее бремя.) Трудно мне самой понять, почему я была так замкнута, даже равнодушна. Оправ-

дываться ни к чему, то был грех недостатка любви, а также литературной культуры...»

Самой крепкой и нежной дружбой 1940–1941 годов Марины, надо думать, была ее дружба с искусствоведом Еленой Ефимовной Тагер и мужем ее, литературоведом Евгением Борисовичем Тагером. Марина часто у них бывала, они принимали близкое участие в жизни ее и Мура. Глубокое и тонкое душевное понимание, им свойственное, с которым и я два десятилетия позднее радостно столкнулась, не могло не скрашивать ее смурную и тревожную в то время жизнь. Его краткий рассказ я хочу привести здесь.

«Однажды, в ходе беседы о том, как работает Марина Ивановна над стихотворными переводами, я спросил: “Так вы стоите за вольный перевод?” – “Вольный? – мгновенно парировала Цветаева. – Значит, существует *невольный*? В таком случае я, конечно, за вольный”. Другой раз, послав к нам какую-то девушку с запиской, она приписала в постскрипуме: “Обласкайте девочку, она – душенька, и даже “Душенька” – Психа – Психея».

Я привожу эти высказывания не ради их каламбурного изящества, а потому, что в них молниеносно – как в осколке зеркала – отразился весь внутренний строй Цветаевой, – и как личности, и как поэта.

“Душенька” – слово житейского повседневного обихода. Но Цветаевой этого мало: она раздвигает его смысл – встает “Душенька” с большой буквы (поэма Богдановича) – душа – Психея. Слово вырастает, воздвигается, громоздится, или, быть может, наоборот, разверзается глубь, открывается скрытое дно. И все творчество Цветаевой дышит этой неукротимой жаждой вскрыть корень вещей, добиться глубинной сути, конечной природы явления. Вот в “Поэме Конца”:

...Последний гвоздь
Вбит. Винт, ибо гроб свинцовый.

Обычной гробовой крышки недостаточно для губительной темы “конца”, немислимого разрыва. Необходимо большее, непреодолимое – “свинцовый гроб”!

Вся Цветаева — в этом стремительном беге вглубь, в тайную суть вещей. Как-то, когда зашла речь о ее “Федре”, я спросил, сближалась или отталкивалась она в своей пьесе от “Федры” Расина или Эврипида? И неожиданно услышал: “Меня это совершенно не занимало. Для меня существуют лишь две книги: “Русские сказки” Афанасьева и... — она назвала какой-то немецкий компендиум (забыл автора), — свод античной мифологии”. А гораздо позднее я прочел у нее в “Доме у Старого Пимена” следующее многозначительное признание: “...все миф... не мифа — нет, вне мифа — нет... миф предвосхитил и раз навсегда изваял все”.

Это не нужно понимать буквально — не в завороченности мифологией и фольклором тут дело (и, уж конечно, не во вкусе к стилизации), а в тяге к истокам, к первозданности, к тем основам, что скрыты от обычного взгляда под толщей всевозможных напластований. И это не только черта художественного метода Цветаевой, но и существо ее мировоззрения. Даже словесное обозначение, словесная оболочка скрывает то первичное, “живое” начало, к которому неудержимо рвется Цветаева.

Стихи Цветаевой подчас трудны, требуют вдумчивого распутывания хода ее мысли. Но ничто не было ей более чуждо, чем орнаментальная игра со словом, поэзия смутных намеков, любой вид импрессионистической невнятицы. То же и с ритмом. Мощь и богатство цветаевских ритмов ни с чем не сравнимы. Но как далеки они от зачаровывающей, музыкальной ворожбы. Ее нагромождение ударных слогов, ее тире, ее бесконечные enjambement — переносы — как бы призваны вбить кол в слово, пригвоздить читателя к смыслу, к содержанию.

Начала, казалось бы, противостоящие друг другу, взаимоисключающие — с одной стороны, невероятная, бурная, взрывающаяся эмоциональность, а с другой — столь же невероятно острая, всепроникающая, пронзительная мысль, — все это сплелось в Цветаевой в неразрывное целое. И это не только черта ее творчества, но и всего ее духовного строя и даже внешнего облика.

Я познакомился с Мариной Ивановной в декабре 1939 года, ринувшись в голицынский Дом творчества фор-

мально для работы над книгой, а по существу, чтоб встретиться с Цветаевой. В первый же день я увидел ее в проходной комнате около столовой: “Как я рад приветствовать вас, Марина Ивановна”, — сказал я. “А как я рада слышать, когда меня называют Марина Ивановна”, — отвечала она.

Никогда раньше не видел я ни самой Цветаевой, ни ее портретов, фотографий. И воображению — довольно наивному, как я сейчас понимаю, — рисовался образ утонченно-изысканный, быть может, по ассоциации с альтмановским портретом Ахматовой. Оказалось — ничего подобного. Никаких парижских туалетов — суровый свитер и перетянутая широким поясом длинная серая суконная юбка. Не изящная хрупкость, а — строгость, очерченность, сила. И удивительная прямизна стана, слегка наклоненного вперед, точно тающего в себе всю стремительность ее натуры.

Должен сказать, что ни на одной фотографии тех лет я не узнаю Цветаеву. Это не она. В них нет главного — того очарования *отточенности*, которая характеризовала всю ее, начиная с речи, поразительно чеканной, зернистой русской речи, афористической, покоряющей и неожиданными парадоксами, и неумолимой логикой, и кончая удивительно тонко обрисованными, точно «вырезанными», чертами ее лица.

Нет нужды напоминать о тягостной драме, обрушившейся на Цветаеву после возвращения ее на родину. Драматизм этот переоценить невозможно. И тем не менее парадоксальным образом Цветаева одновременно, впервые, пожалуй, оказалась окруженной атмосферой такого восторженного поклонения, которого она была лишена всю свою жизнь. В Голицыне она царила по вечерам среди восхищенной писательской братии, и в Москве к ней тянулись, знакомства с ней добивались все подлинные ценители поэзии.

Елена Ефимовна Тагер, моя жена, скончавшаяся год назад, приезжала в Голицыно, и после знакомства с ней в заснеженной березовой роще Марина Ивановна сказала врезавшиеся в мою память слова: “Ваша Люся — замечательна: сама сила — сама буря, сама чистота!”

Помню, как однажды позвонила к Елене Ефимовне Лиля Юрьевна Брик и сказала, что Кирсанов страшно хочет увидеть Цветаеву, и поэтому она просит, чтоб Елена Ефимовна

позвала к себе в гости и Цветаеву и Кирсанова. Елена Ефимовна так и поступила. Пришел Кирсанов с женой и впился глазами в Цветаеву. К сожалению, собственных слов Цветаевой никто не записывал. Мне уж приходилось сетовать: “Гениев мало, а Эккерманов еще меньше”.

Однажды и сама Цветаева написала мне в одном из писем:

«Дорогой!

Меня хвалят и славят, но — *ничто* не льстит моему самолюбию, и *все* — моему сердцу (ибо последнее у меня есть, а первого — нет). Звоните, зовите, приходите».

Да, самолюбия бездарности, страстно заинтересованной во внешнем признании, у Цветаевой, всегда знавшей цену своему гению, не было. Но сердце не могло не откликаться на несшиеся к ней токи восхищения, благодарности, любви. И некоторым, правда слабым, утешением может нам служить то обстоятельство, что какое-то время в конце своей жизни Цветаева ощущала себя в “живом русле” этой благодарной любви.

Но — увы! — этот ореол преклонения был слишком воздушным и отнюдь не способствовал улучшению материального положения. Помню иронию, с какой рассказала мне Марина Ивановна об одном известном поэте, которого просили походатайствовать о ней в Союзе писателей. “Мне ходатайствовать о ней перед Союзом писателей? — патетически воскликнул поэт в «благородном» самоуничижении. — Это *Марина Цветаева* может ходатайствовать обо мне перед писательским миром!”

Между тем положение Цветаевой все ухудшалось. Вначале ей давали переводить Важа Пшавела, а затем уже второстепенных белорусских, еврейских поэтов.

Неудачно окончилась и попытка Цветаевой издать сборник собственных стихов; внутренний рецензент издательства его забраковал.

Уже после войны в конце 40-х годов ко мне попал машинописный экземпляр этого сборника. На внутренней стороне переплета Елена Ефимовна записала следующие слова Цветаевой:

«Человек, смогший аттестовать такие стихи как формализм, просто бессовестный.

Я это говорю *из будущего*.

М.Ц.»

В Голицыне лет пять назад мне рассказала женщина, бывшая в то время в Чистополе, о своей встрече с Мариной незадолго до ее конца. Марина искала, кому продать привезенную из Парижа шерсть.

“Я должна сто рублей, и мне надо срочно их отдать. Кто бы купил у меня? Это очень хорошая шерсть...” — “Она стоит, может быть, и тысячу рублей, — сказала я, увидев шерсть, — но не знаю, к кому бы вам пойти...” — “Нет, мне нужно хотя бы сто рублей, я их должна заплатить...” Я назвала ей семью, по тем временам более состоятельную, и мы расстались».

Все, что и *как* делала Марина для своей решенной цели, было обдуманно. Собранность, спешка, зоркость видны в ее действиях. Надо ли портить людям — дом? Может быть, был и крюк в доме, но она увидела в сенях крепкий гвоздь с широкой шляпкой и не веревку взяла — они были, а крепкий тонкий шнурок. Чтобы не увидели висящее тело сквозь стекло из сеней в кладовку и параллельное стекло из кладовки во двор, она первое завесила куском материи («А то недовеситься — гадость, правда?» — из ее письма мне в 1910 году...).

Веревками она замотала дверь обо что-то в стене, хотя был запор, но зачем же ломать запор бедным хозяевам — в военное время все так трудно достать. А пока снаружи разматывают целый ворох затянутых веревок — смерть доделает свое дело.

Она не ошиблась. Ничего не упустила. Всесторонне, человечно готовилась, и, может, была вдохновенность в ее действиях — она делала только *самое* нужное.

Оспорить можно — все. Оспорят и это.

Я знаю все, что мне возразят, по-своему искажая и перетолковывая рассказанную здесь правду. Эти люди не знали Марину...

Мур после Елабуги уехал в Ташкент. В Ташкенте Мур голодал: в каждом его письме к сестре тема голода звучала громко. Однако он окончил там девятый и десятый классы отлично и был первым (его сочинение по русскому было лучшее).

Об этих годах Мура мне в 1978 году в Коктебеле рассказал знавший его в Ташкенте поэт Валентин Берестов. Я попросила — записать. Вот его запись:

«С Муром (Георгием) Эфроном меня познакомила в Ташкенте в начале 1943 года Анна Андреевна Ахматова. Она, как мне помнится, опекала Мура, стараясь делать это незаметно, и ей хотелось, чтобы у него были товарищи среди ровесников, особенно пишущих.

Мур где-то задержался (кажется, он жил в том же дворе, рядом с площадью Карла Маркса, где на первых порах жила и Ахматова), я пробыл у Ахматовой в этот вечер необычно долго. Видимо, Анна Андреевна не впервые ожидала Мура, беспокоилась о нем и выглядывала во двор. Однажды она увидела там девушку, которая ждала Мура уже несколько часов, и это ей не понравилось. Если он сам не влюблен в эту девушку, то зачем ему, юноше, нужно, чтобы она влюбилась в него? Девушку, конечно, можно понять: Мур красив.

Он читал мне страницы из своих дневников. Он был как-то не по-русски аккуратен, и его рукописи выглядели как книги с пронумерованными страницами, с полями и, помнится, без единой пометки. В дневнике была понравившаяся мне запись об Ахматовой, рассуждения о будущем Европы после победы (Мур надеялся, что дружба между союзниками сохранится и в мирное время). Запись высказываний встреченных им знаменитых людей. Все это должно было пригодиться для его будущей работы. Он писал одновременно два романа, один — из французской жизни, другой — из русской. Мур мечтал посвятить всю свою жизнь пропагандированию (это его слово) французской культуры в России и русской — во Франции. Мур стремился объективно изображать чью-то чужую жизнь, непохожую на его собственную. Четко, довольно подробно и без тени лиризма.

Запомнился мне порядок в его комнатке в книгах, в бумагах.

В беседах мы совсем не касались наших собственных судеб. Иногда он цитировал стихи своей матери, так же как и стихи других поэтов. Я не говорил с ним о ней.

Однажды мы целой компанией ездили на машине, которую один из нас каким-то образом заполучил на воскресенье, в весеннюю степь за великолепными тюльпанами. Помню, там мы впервые услышали, а потом и сами запели знаменитую “Землянку” на слова Суркова: “Бьется в тесной печурке огонь”.

О своем быте мы с Муром ничего друг другу не рассказывали, но его комнатка, скромная, но незалатанная одежда, талоны в столовую, где можно было встретить немало известных людей, стоящих с судками за супом и вторым блюдом, в которое всегда входила кормовая свекла, по-разному приготовленная, — все это означало, что кто-то похлопотал за сына Цветаевой.

В Муре всегда чувствовались независимость и присущая этому возрасту энергия самоутверждения.

1.Х. 78. Валентин Берестов».

Приехав в Москву, Мур поселился у своей тетки по отцу — Лили Эфрон, поступил в Литературный институт на вечернее отделение и для заработка — художником-оформителем на завод. Ему было восемнадцать с половиной лет. У Португалова сохранилась пьеса Мура, новаторского типа.

1 февраля 1944 года ему исполнилось девятнадцать лет, и его призвали в армию. Письма от него были до лета 1944 года. Затем он смолк. Позже и Аля, его сестра, и я запрашивали Наркомат обороны. Ответ гласил, что Г.С.Эфрон не числится ни в списках раненых, ни в списках убитых, ни в списках пропавших без вести.

И только в 1975 году в № 8 журнала «Неман» появилась статья подполковника С.В.Грибанова, проделавшего большую работу по следам Георгия Эфрона. Она называется «Строка Цветаевой». И статья С.Викентьева (псевдоним Грибанова) в журнале «Родина» (№ 3 за 1975 г.), там и портрет — скорбное лицо девятнадцатилетнего Мура. Выросши, видимо, переосмыслил уход матери. Вспоминал мать...

Подполковник, военный корреспондент, любитель творчества Цветаевой, С.В.Грибанов поднял все сохранившиеся с тех

лет документы, пересмотрев огромное количество бумаг, по многу месяцев сидел в военных архивах, нашел людей, в боях знавших Мура. Их отзыв: «В бою — бесстрашен».

Последний его бой был 7 июля 1944 года — о нем он накануне сообщил своей сестре Але: «Завтра — в бой». Больше от него вестей не было. В этом бою, в лесу, гоня фашистов, он был тяжело ранен и «отбыл в медсанбат». Близ этого места есть могила неизвестного солдата. Были ли другие смертные ранения в бою том? Останется ли имя этого солдата — неизвестным или там встанет имя Георгия — сына Сергея Эфрона и Марины Цветаевой, покажет время.

Спустя полгода, в 1975 году, я получила письмо от Станислава Грибанова.

В этом письме С.Грибанов писал мне, что сын лейтенанта Якова Хозяинова, участвовавшего в том же бою вместе с Георгием Эфроном, сообщил ему: «...я побывал недавно в деревне Друйка и Видзах, где в начале июля 1944 года вел боевые действия 437-й стрелковый полк... 17, 18, 19 августа мы находились в г. Браสลаве, и в военкомате были найдены списки о захороненных и картотека отца со всеми данными. Мне сообщили, что на памятнике в Видзах будет выбита фамилия отца...»

В архиве ЦГАЛИ сестра Мура Аля оставила десятки документов и писем этого многотрудного поиска С.Грибанова. С.В.Грибанов свои сведения о Георгии Эфроне передал Витебскому горвоенкомату сначала в областной военкомат, затем в Браславский районный военкомат. Прошло еще три года. И вдруг из Браслава написали, что место захоронения Георгия Эфрона подтвердилось. И была получена справка от районного военкома, помеченная 13 февраля 1978 года, в которой было написано:

«Уважаемый тов. Грибанов С., по Вашей просьбе высылаю фотографии памятника, установленного на месте захоронения советских воинов и в их числе Г.Эфрона. Имена остальных воинов нам неизвестны».

Вскоре и я получила фотографию: близ деревни Друйка на фоне голых ветвей под снегом стоит обелиск над могилой. На нем надпись:

ЭФРОН

Георгий Сергеевич
погиб в июле 1944

Кто захоронен с ним вместе? Может быть, мы еще узнаем эти имена...

...Глаза не отрываются от камня на фотографии. Только сейчас я *поверила* в его смерть...

Десять лет спустя моей поездки в Елабугу Союз писателей Татареспублики поставил Марине большой гранитный памятник на елабужском кладбище — на месте, отмеченном мною в 1960 году, с надписью: «В этой стороне кладбища похоронена Марина Ивановна Цветаева...» (следовали даты рождения и смерти). Союз писателей Татареспублики, к сожалению, первой строки этой надписи не повторил. А ведь в будущем, может быть, будет уточнено настоящее место могилы Марины — у правой стенки кладбища.

Но к символическому памятнику поэта люди давно уже протоптали тропинку по отлогому холму, идут вверх к высоко лежащему кладбищу, к надписи на граните: «Марина Цветаева».

Мне восемьдесят восемь лет, а Марине исполнилось бы осенью этого года девяносто.

Послесловие

С семидесятилетия Марины начались вечера ее стихов и доклады о ней. Изданы книги «Избранное» (1961), том стихов в издательстве «Советский писатель» (1965), «Мой Пушкин» (там же), книга ее переводов. Книга стихов в Малой серии. Журналы печатают ее статьи, очерки, письма. Недавно вышел ее двухтомник. Стихи ее и прозу переводят на разные языки.

Марина Цветаева — это имя звучит сейчас во всем мире.

...Теперь, когда в моду вошли актерские вечера чтения стихов Марины Цветаевой, где прежде всего нарушается ритм стиха, — не могу не сказать о ее нелюбви к актерскому чтению. О том чувстве ее и моем — неловкости от лицемерия ложной экспрессии — не только лица, но телодвижений, себе при этом позволяемых исполнителями. Поэтому я перестала на этих вечерах бывать.

Помню случай, когда, читая Маринины стихи «Какой-нибудь предок мой был скрипач...», актриса при словах «Еще я думаю, что нож...» как бы схватила в воздухе этот предмет и, продолжая строку «Носил он за голенищем...» — сунула его, слегка изогнув стан, во что-то невидимое на примерном уровне воображаемого сапога. Эффектно, но — недопустимо! А далее идут строки: «И не однажды из-за угла он прыгал как кошка гибкий...» Почему же не изобразить прыжок? Пора вспомнить слова Марины: «Сдержанный человек — значит, есть что сдерживать!»

Примечания

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АЦ – Анастасия Цветаева

АЦ, Атор – Цветаева А. Атор. М.: Современник, 1991.

ВС – Марина Цветаева в воспоминаниях современников: Кн. 1. Рождение поэта; Кн. 2. Годы эмиграции; Кн. 3. Возвращение на родину. М.: Аграф, 2002.

И.В.Цветаев создает музей. – И.В.Цветаев создает музей. М.: Галарт, 1999.

Лубяникова Е. Бабушка Тьо – Лубяникова Е.И. О Сусанне Давыдовне Мейн (Бабушка Тьо) // На путях к постижению Марины Цветаевой. М.: Дом-музей М.Цветаевой, 2002. С. 20–27.

МЦ – Марина Цветаева

МЦ. Неизданное. Записные книжки – Цветаева М.И. Неизданное. Записные книжки: В 2 т. М.: Эллис Лак, 2001.

МЦС – Цветаева М.И. Собрание сочинений: В 7 т. М.: Эллис Лак, 1994–1995.

Саакянц А. – Саакянц А.А. Марина Цветаева. Жизнь и творчество. М.: Эллис Лак, 1999.

Соснина Е. Музы – Соснина Е.Б. Музы Трехпрудного переуллка. М.: Дом-музей Марины Цветаевой; Иваново: ИД «Референт», 2005.

Цветаева В. Записки – Цветаева В.И. Записки // Безо всякого вознаграждения. Иваново: ОАО Изд-во «Иваново», 2005.

Эфрон Г. – Эфрон Г.С. Письма. Изд. 2-е. М.: Дом-музей Марины Цветаевой; Болшево: Музей М.И.Цветаевой, 2002.

Чтецы и чтицы в пылу своего чтения забывают в зале слушателей. Ведь они — живые существа, одаренные умом, чувством, *вкусом*. И еще — способностью довообразить вещь. Слушая, они принимают в отверзшуюся душу, в некую лабораторию своих «ума — чувства — вкуса» — то, что они слышат, и там все дорабатывают. Если же «выдать» залу до остатка все накипевшее в чтеце — что делать залу? Самые ценные слушатели такому — сопротивляются.

Что же делать понимающему слушателю на актерских вечерах ее имени, что делать — с *ритмом*, с мелодикой Мариинного стиха, отмеченными для нас — композитором, когда почти каждая строка актерского чтения искажает даже и не столь тонкий, особенный, а просто сам стихотворный ритм?

Пусть задумаются над словами С.С.Прокофьева и моими — чтецы (чаще — чтицы!). Я признаю их талант, дар голоса — но что тут возможно, кроме совета изучить сложную инструментовку стихов, за которую они берутся, — чтобы не быть искажителями стиха...

И вспоминаются мне слова вдовы Горького, Екатерины Павловны Пешковой, сетовавшей на не *читавшего* Алексея Максимовича, а игравшего свои вещи, как в театре. *Чтецы* должны читать.

— «Талант! — говорила Марина мне в 1927-м, в ее зрелые (35) годы. — Талантом гордиться — нечего! Он — от Провидения и от родителей. Нам остается только трудолюбие. Труд! Один талант не даст ничего! Талант плюс труд, только!» И это не были слова: ее черновые тетради испещрены вариантами. Над каждым четверостишием она работала, как каменщик над стеной. Ее строки воздвигнуты ею, как каменные башни, даром что певучи стихи...

Вот это бы надо понять юным поэтам!

Отрочество и юность Продолжение

Часть шестнадцатая. ПУТЕШЕСТВИЯ ПО ЕВРОПЕ. В МОСКВЕ

С. 7. «Птицы ли тебя нацелбтали...» — из стихотворения АЦ «Моей бабушке по матери — польке, Марии Бернацкой» (см. в кн.: АЦ. Мой единственный сборник. М.: Изограф, 1995. С. 48–49).

С. 9. *Stara Miasto* — исторический центр Варшавы, почти полностью разрушен во время Второй Мировой войны, потом восстановлен.

«Муви» (от польск. *mowa*) — речь.

С. 14. ...*вдохновенного ордена — францисканского!*.. — Францисканский католический нищенствующий орден был создан Франциском Ассизским в Италии в 1207–1209 гг. и утвержден папой в 1223 г. Францисканцы жили не в монастырях, а в миру, странствовали, проповедовали.

С. 15. ...*уса взлетевшего высоко», надменного полукольца...* — из поэмы МЦ «Чародей».

После пожара, погубившего антропософский храм в Дорнахе. — Здание деревянного всемирного центра антропософии «Гётеанум» в Дорнахе (Швейцария) было подожжено и полностью сгорело в ночь на 1 января 1923 г.

С. 16. *Эллис? Неужели — он?* — Перед собором Св. Петра АЦ видела другого человека в карете. Эллис не принял священнического католического сана. См. далее.

Марию Ивановну Сизову, образ сказочной чистоты в рассказах Эллиса 1908–1910-х годов. (Я у него тогда была «Девочка в черном», она — «Девушка в белом».) — Эти образы из произведения Эллиса «Канатный плясун». Из письма Эллиса к М.И.Сизовой известно, что он планировал на 26 февраля 1909 г. чтение «Канатного плясуна» у К.Метнера (см.: Писатели символистского круга. Новые материалы. СПб.: ИРЛИ РАН (Пушкинский Дом), 2003. С. 329).

...мне говорил С.А.Цветков... что Эллис умер монахом в католическом монастыре. — Эти слухи не соответствовали действительности. В комментарии к исследованию Ренаты фон Майдель «“Спешу спокойно”: К истории оккультных увлечений Эллиса» сказано: «Увлечение Эллиса католицизмом было наиболее стабильным компонентом его мировоззрения, и нередко приходится встречать утверждение, что за рубежом он принял римско-католическое вероисповедание. Это утверждение... пока не документировано... а в письме к Бердяеву от 17.06.1939 Эллис категорически отрицал

факт своего перехода» (см.: *Нечаев В.П.* В поисках прошлого // *In memoriam: Исторический сб. памяти А.И.Добкина.* СПб.; Париж, 2000. С. 47–48)» (Новое литературное обозрение. 2001. № 51).

С. 17. ...*владения Бонивара, в Шильонский замок!*— Шильонский замок (середина XIII в.) находится рядом с Монтрё. Женевский приор Франсуа Бонивар, сторонник реформации церкви, был заточен в подземелье замка по приказу герцога Савойского, который был защитником католичества. Прикованный к столбу, Бонивар провел в замке целых четыре года, пока его в 1536 году не освободили бернские протестанты. Байрон написал свою поэму «Узник Шильонского замка» после трех дней затворничества там в камере. Поэма основана на реальных исторических фактах.

С. 22. ...*весть о близкой свадьбе Марины и Серезжи.*— Свадьба МЦ и Сергея Эфрона состоялась 27 января 1912 г.

С. 23. *«Люди лунного света»*— т.е. люди доминирующего страстного начала.

С. 24. *«Во всем разлитое таинственное зло...»*— из стихотворения Ф.И.Тютчева «*Mala Agia*».

С. 25. ...*мать Марии Башкирцевой...*— Башкирцева Мария Степановна (урожд. Бабанина). МЦ в письме к А.В.Черновой 25 апреля 1925 замечает: «Я в 1912 г. долго переписывалась с ее (М.Башкирцевой. — С.А.) матерью... Теперь мать ее, наверное, умерла (в Ницце)» (МЦС. Т. 6. С. 675).

... *«бесследно все, и так легко — не быть!»*— строка из стихотворения Ф.И.Тютчева «Брат, столько лет сопутствовавший мне...».

С. 26. ...*Герострат жжет Эфесский храм?!*— Мифологический герой Герострат сжег в своем родном городе Эфесе (Малая Азия) в 356 г. до н.э. храм Артемиды Эфесской (считался одним из семи чудес света) для того, чтобы, как он сознался, увековечить свое имя.

С. 27. *И.Г.Эренбург поправил мне 1912 год встречи Гали Дьяконовой с Элюаром на 1913-й. В этой поправке я сомневалась... в эту зиму леченья Гали она встретилась в санатории с Полем Элюаром.*— И.Г.Эренбург прав. В книге И.В.Свирина «Гала и Сальвадор Дали» об этом сказано: «В самом начале 1913 года Гала спешно выезжает из Москвы. Ее путь лежит через Париж, в котором она, впрочем, задержится не больше чем на пару часов, потом Давос...» (Минск: Современный литератор, 1999. С. 36–37), а в книге Доминик Бона «Гала — муза Дали» читаем: «В июне 1913 года она навсегда уезжает из санатория» (Смоленск: Русич, 2002. С. 38) и далее: «В апреле 1914 года Поль и Гала, излечившись, выписываются из санатория» (с. 38, 45).

Дом ученых— название кооперативного жилищного товарищества в советское время, а не Московского Дома ученых.

С. 29. ...*в пальмовое королевство Монако...* — С XV в. Монако было известно как княжество. В 1524—1641 гг. находилось под испанским господством, с 1793 по 1814 гг. — в составе Французского королевства; затем в основном под французским протекторатом, однако правил им не король, а князь; эта монархическая по сути форма правления сохраняется по сей день.

С. 35. *«Кому-то гремят раскаты»* — из стихов *Марины*. — Строка из стихотворения МЦ «И кто-то, упав на карту...».

С. 39. *А вокруг черепа с дырами глазниц...* (*Лермонтов*, «*Боярин Орша!*») — Имеется в виду следующий фрагмент из поэмы М.Ю.Лермонтова: «Громаду белую костей / И желтый череп без очей / С улыбкой вечной и немой, / Вот что узрел он пред собой...»

С. 41. *Бёклин писал свою картину... мама видела свое будущее, глядя на репродукцию этой картины...* — Бёклин Арнольд (1827—1901), швейцарский живописец. Известно, что особенно любимы М.А.Цветаевой были его работы «Вилла на море» и «Остров мертвых».

С. 42. *«Ты — как круг полный и цельный...»* — из «Поэмы Горы» МЦ («Послесловие»): «Ты как круг, полный и цельный: / Цельный вихрь, полный столбняк. / Я не помню тебя отдельно / От любви. Равенства знак».

С. 43. *Тоя Виноградов, бородастый студент, писавший мне, еще четырнадцатилетней: «Я люблю вас давно...»* — Об этом эпизоде подробнее см. в главке «Несколько слов о друзьях писателях» (АЦ. Страницы памяти // Даугава. 1986. № 11. С. 120).

С. 55. *«Неразлучной»* — имеется в виду стихотворение МЦ «Неразлучной в дороге».

С. 56. ...*икона «Взыскания погибших»*. — Чудотворная икона «Взыскание погибших» приплыла по Волге к Саратову в 1666 г. и была явлена местному воеводе Кадышеву. В настоящее время чудотворный образ «Взыскание погибших» находится в Самарском Покровском кафедральном соборе. Один из наиболее почитаемых списков с иконы можно видеть в московском храме Воскресения Словущего в Брюсовом переулке.

С. 59. *Бастьен Лепаж Жюль* (1848—1884) — французский живописец. Писал реалистические и исторические картины, а также портреты.

«И так умереть, в двадцать четыре года, на пороге всего!» — В «Дневнике» М.Башкирцевой от 26 августа 1884 г. есть такая запись: «Так вот он, конец всех этих треволнений! Столько стремлений, столько желаний, столько проектов, столько... чтобы умереть в 24 года на пороге всего!..» (М.: Искусство, 2001. С. 529).

«Мне слишком трудно подниматься по лестнице»... — Запись от 20 октября 1884 г. Через одиннадцать дней, 31 октября, Мария Башкирцева умерла.

«Митинг» — эта картина находится в Музее д'Орсэ (Париж).

С. 60. *Павлушков Владимир Аввакумович* (1883—1920) — врач. В 1919—1920 гг. был главным врачом Кунцевского госпиталя. Поддерживал знакомство с сестрами Цветаевыми. О его разрыве с МЦ см. ее письмо к Е.Я.Эфрон от 22 августа 1913 г. в кн.: *МЦ*. Неизданное. Семья: История в письмах. М.: Эллис Лак, 1999. С. 157—158.

С. 62. *Бобылев Борис* Сергеевич (1892—1913) — студент химического факультета Московского университета.

Миронов Николай Николаевич (1893—1951), служил в 15-м гренадерском тифлисском полку. О нем пишет АЦ и в романе *Амор* (с. 118—126, 320—322). Также см. о нем в предисловии к публикации Ст. Айдиняна: *АЦ*. Николай Миронов / Новый мир. 1995. № 6. С. 146—160.

С. 63. *Ламанова Надежда Петровна* (1861—1941) — российский художник-модельер. Автор рациональных форм бытового костюма. В частности, ею сделаны костюмы к спектаклям МХАТа и других театров, к фильмам «Аэлита» (1924), «Александр Невский» (1938) и др.

С. 66. *Церковь... в селе Всехсвятском...* — Князь Иван Милославский, родственник царя Алексея Михайловича, выстроил в 1683 г. церковь «Во имя всех святых», в связи с чем село с «боярским двором» стало называться Всехсвятским. А.Н.Радищев называл Всехсвятское конечным пунктом своего «Путешествия из Петербурга в Москву».

Туда со мной Лидия Дмитриевна отправила... — Речь идет о Л.Д.Фальковской.

С. 67. *...церковь числится при убежище престарелых воинов...* — Московское Александровское убежище увечных воинов находилось вблизи Всехсвятской рощи, при аптеке имени князя Владимира Александровича Долгорукова.

С. 68. *Н.А.Зубков* — Николай Александрович Зубков, студент Императорского технического училища.

С. 69. *...Колей Татищевым... молоденький граф...* — Здесь речь может идти о Николае Константиновиче (р. 1896), или Николае Дмитриевиче (1896—1985), или Николае Владимировиче (1888—1918) Татищевых (см.: *Татищева М.Д.* Графы Татищевы в XX веке //Русский родословец. 2002. № 1(2)).

С. 71. *Андрей... снял дом в имении Раечки Оболенской, подруги Лёры.* — Речь идет об имении Алферово близ Лопасни в Калужской губер-

нии. Раиса Оболенская — институтская подруга В.И.Цветаевой (см. о ней: *Цветаева В.* Записки. С. 134; *МЦ.* То, что было // *МЦС.* Т. 5. С. 102).

С. 72. ...первой жертвовательницей... — Речь идет о получении в 1895 г. 159 тысяч рублей от душеприказчиков купеческой вдовы В.А.Алексеевой, что «...позволило расширить программу будущего музея. (Условием получения этих денег было присвоение музею имени Александра III)» (см.: *Аксененко М.Б.* Иван Владимирович Цветаев. 1947–1913. К 150-летию со дня рождения: Краткий научно-биографический очерк. М.: ГМИИ, РГГУ, 1997. С. 8).

С. 73. ...памятник, которым вряд ли заблестало имя скульптора... — Автор памятника Александру III скульптор-монументалист и художник Александр Михайлович Опекушин (1838–1923).

«Стоит комод, на комод, обормот, на обормоте шапка». — Эта народная присказка перекочевала из Петербурга и сочинена была по поводу другого памятника Александру III, работы скульптора Паоло Трубецкого. Стоял он на площади перед Николаевским (позже Московским) вокзалом, после революции перенесен во внутренний двор Русского музея. Однако тяжесть как отличительная черта обоих памятников — сходна.

...Марина дала художественное (эротическое, как ей свойственно) описание открытия Музея. — См. об этом очерк МЦ «Открытие музея» (*МЦС.* Т. 5. С. 166).

С. 74. *Сидоров Алексей Алексеевич* (1891–1978) — член-корреспондент Академии наук СССР, российский историк искусства, книговед, библиофил, коллекционер. В Музее изящных искусств работал с 1914 по 1921 гг. и в 1927–1936 гг. был заведующим гравюрным кабинетом.

Андреева-Шилейко Вера Константиновна (1888–1974) — историк искусств, научный сотрудник ГМИИ им. Пушкина с 1912 г., старший помощник заведующего отделом скульптуры Средних веков и эпохи Возрождения, затем заведующая отделом западно-европейского искусства. (В 1926 г. ученый-востоковед Владимир Казимирович Шилейко, получив у Ахматовой развод, женился (третьим браком) на В.К.Андреевой.)

Малицкая Ксения Михайловна (1890–1969, указ. М.Б.Аксененко) — искусствовед, специалист по испанской живописи XVII–XVIII вв.; научный сотрудник ГМИИ им. Пушкина с 1912 г., с 1940 г. — заведующая отделом искусств стран Европы и Америки.

Шервинский Василий Дмитриевич (1850–1941) — известный в Москве той поры врач. Но не «сердечник» (т.е. кардиолог), а терапевт.

С. 75. *Помню... Надежду Александровну Сытенко (подругу мамы).* — Крестная мать МЦ, жила в Москве в Мамонтовском переулке близ Тверской улицы. В отделе рукописей ГМИИ сохранились три письма Н.А.Сытенко к И.В.Цветаеву (Ф. 6. Оп. I. Ед хр. 3866—3868).

...восстание туркменских князей, стоявшее им при Петре I владений и княжеского герба... — В Фонде Воронежского Дворянского депутатского собрания в Госархиве Воронежской области находятся материалы о роде Трухачевых. Об этом см. статью-исследование В.И.Битюцкого «Воронежская дворянка Анастасия Цветаева» (личный архив Г.К.Васильева). Трухачевы действительно внесены в шестую часть родословной книги Дворянства Воронежской губернии, где сопричислено древнее благородное дворянство. Однако ни о княжеском гербе, ни о «туркменском» происхождении, ни о бунте там речи нет. Там род их идет от ратника Богдана Трухачева, служившего царю Федору Алексеевичу в XVII в.

...сановитого старичка в золотом мундире... — Об этом см. в письме С.Я.Эфрона к В.Я.Эфрон от 7 июня 1912 г.: «В Москве я был и на открытии Музея, и на открытии памятника Александру III. В продолжение всего молебна, а он длится около часа, я стоял в двух шагах от Государя и его матери... На открытии были все высшие сановники. Если бы ты знала, что это за разваливающиеся старики! Во время пения вечной памяти Александру III вся зала опустилась на колени. Половина после этого не могла встать. Мне самому пришлось поднимать одного старца-сенатора, который оглашал залу своими стонами» (*МЦ. Неизданное. Семья: История в письмах.* М.: Эллис Лак, 1999. С. 133—134).

С. 76. *...в черном профессорском сюртуке...* — Судя по кинохронике братьев Пате, И.В.Цветаев был в мундире с шитым золотом воротником и обшлагах, при шпаге, ленте через плечо, с треуголкой.

С. 77. *...державшего наследника все время длившегося торжества.* — Здесь АЦ немного изменяет память, либо она просто художественно обобщает увиденное в тот день. Судя по кинохронике фирмы братьев Пате, где запечатлено прибытие императора Николая II в Музей изящных искусств и его отбытие оттуда, царевича Алексея там не было. По воспоминаниям А.А.Сидорова, Иван Владимирович прямо говорит: «Нам сейчас сообщили, что на открытии музея наследник, конечно, не может быть...» (И.В.Цветаев создает музей. С. 374). Однако АЦ действительно видела его в тот же день на открытии памятника Александру III, в двух шагах от Музея, отсюда это небольшое смещение в повествовании. С.Я.Эфрон в письме к В.Я.Эфрон писал: «На открытии

памятника я видел наследника... Хорошенький, худенький, с грустными глазами мальчик. Жалко его» (МЦ. Неизданное. Семья: История в письмах. С. 133–134).

...другого мальчика с другим дядькой — Гринева с Савельичем. — Персонажи повести А.С.Пушкина «Капитанская дочка».

...Ольга и Татьяна... — Ольга Николаевна Романова (1895–1918), великая княжна, старшая дочь императора Николая II; Татьяна Николаевна Романова (1897–1918), великая княжна, вторая дочь императора Николая II.

...Мария и Анастасия... — Мария Николаевна Романова (1899–1918), великая княжна, третья дочь императора Николая II; Анастасия Николаевна Романова (1901–1918), великая княжна, четвертая, самая младшая дочь императора.

С. 79. ...слова... прочтенные мною в папиной биографии, написанные недавно моей сестрой Лёрой... — Имеется в виду рукопись В.Цветаевой «Жизнь для науки и славы Родины. Профессор Иван Владимирович Цветаев» (1961).

Часть семнадцатая. В МОСКВЕ

С. 88. Они дом продали, а потом дедушка Тете стал в Тарусе искать усадьбу... — Здесь допущена неточность: дом не был продан, потому что не принадлежал А.Д.Мейну, он просто квартировал у А.Ф.Ганешина в доме № 15 по Неопалимовскому переулку. Об этом подробнее см.: Лубяникова Е.И. Бабушка Тьо. С. 20.

С. 101. ...Марининых Тезеев и Афродит, Федр, Ипполитов, Ариадн.— Мифологические античные герои из драматических произведений МЦ — Тезей и Ариадна из трагедии «Ариадна»; Федра, Тезей, Ипполит из ее «Федры».

Адриана (*Adrienne Lecocq*) — героиня оперы Франческо Чилеа «Адриенна Лекуврёр», либретто композитора по пьесе Э.Скриба и Э.Легуве. Действие происходит в Париже в 1730 г.

С. 102. ...по Молохову... — Речь идет о книге Елены Молоховец «Подарок молодым хозяйкам». Крайне популярная кулинарная книга в начале XX в., содержащая больше 4000 рецептов.

С. 104. Солянка. Белые корпуса воспитательного дома, построенного Екатериной. — Речь идет о городской усадьбе XVIII в. (ул. Солянка, № 12), где было и родовое отделение при Воспитательном доме с платными одноместными номерами-палатами. Здесь в 1917 г. МЦ родила вторую дочь Ирину.

Холмогоров Сергей Семенович (1874–1952) — доктор медицины, приват-доцент Императорского московского университета. Директор родовспомогательного заведения в Москве.

С. 105. *У Мензбира, да?* — Мензбир Михаил Александрович (1855–1935), ученый-зоолог, профессор, академик АН СССР. Речь идет о книге «Птицы России» в 2 т. (М., 1893–1895).

Сабайон — подливка из взбитых с сахаром яичных желтков, вина и пряностей.

С. 106. *...остались вдвоем, кроме собаки, началась жизнь по Джерому К. Джерому...* — Обыгрывается название известной комической повести этого английского писателя «Трое в лодке, не считая собаки».

Шларифенланд — немецкая сказочная страна, где надо только лежать, открыв рот, а маленькие птички в своих клювиках будут приносить вкусную еду и класть ее прямо в рот.

С. 107. *Она пахла порошком Бертольда Шварца.* — Бертольд Шварц (наст. имя Константин Анклитцен, прозвище Шварц получил за свои занятия химией) родился в начале XIV в. во Фрайбурге, в Брейсгау, монах немецкого францисканского ордена; по преданию, около 1320 г. изобрел порох.

С. 109. *...дед из «Детства» Горького.* — Речь идет о дедушке писателя, старшине нижегородского красильного цеха В.В.Каширине (ум. 1887). У него Алеша Пешков жил вместе с матерью в 1871–1872 гг. Те годы стали основой автобиографической повести М.Горького «Детство».

С. 110. *...играли как в биль-бокэ...* — Прав.: бильбоке (*фр.*) — старинная французская игра, которая заключается в следующем: берут небольшой шарик и толстую нитку или шнурок длиной 40 см, один конец приклеивают к шарiku, а другой — к донышку стаканчика или привязывают к ручке кружки. Это и есть бильбоке. Играют несколько человек. Надо подбросить шарик вверх и поймать его в стаканчик или кружку. За это начисляется одно очко. Ловить шарик полагается по очереди до промаха. Промахнувшийся передает бильбоке следующему за ним игроку. Победителем становится тот, кто первым наберет условленное количество очков.

С. 111. *Читаю «На радость».* — Ниже приведен фрагмент одноименного стихотворения. Оно было написано МЦ во время ее поездки с С.Эфроном в уфимские степи.

«В светлом платьице, давно знакомом...» — Ниже приведен фрагмент из пятого стихотворения МЦ цикла «Ока».

С. 117. *...я достаточно начиталась Жука «Мать и дитя»...* — Речь идет о книге известного в дореволюционной России врача В.Н.Жука.

Примечания

С. 121. *Поздравляю — с сыном!* — Трухачев Андрей Борисович (1912–1993), инженер-строитель. В 1937 г. был арестован вместе с матерью в Тарусе. См. о нем: АЦ. Памятник сыну // Памятник сыну. М.: Дом-музей Марины Цветаевой, 1999. Он — прототип мальчика Сережи в романе АЦ «Амог». Упомянут в произведениях МЦ «История одного посвящения», «Октябрь в вагоне» и др.

С. 123. ...*рассказ о Пушкине...* — Этот рассказ не сохранился.

Молодость

Часть восемнадцатая. МОСКВА

С. 133. *Толстой Сергей Львович* (1863–1947) — старший сын Л.Н.Толстого, композитор, писал романсы на стихи Пушкина, Фета, Тютчева. Занимался и литературной деятельностью — писал рассказы из народной жизни, очерки. Был одним из учредителей Музея Л.Н.Толстого в Москве, принимал участие в комментировании Полного собрания сочинений Л.Н.Толстого. Оставил книгу воспоминаний «Очерки былого» (М.: ГИХЛ, 1956).

...*дом в Хамовниках...* — Известно, что Л.Н.Толстой не любил этот дом за его «шумную, суетливую, отвлекавшую часто от работы жизнь» (см.: Булгаков В. История Дома Льва Толстого в Москве. М., 1948).

С. 134. *Софья Андреевна Толстая* (урожд. Берс; 1844–1919) — дочь врача Московской дворцовой конторы, в 1861 г. сдала экзамен в Московском университете на звание домашней учительницы. Жена Л.Н.Толстого (с сентября 1862 г.).

Одиннадцать человек, кажется, их было... — У Л.Н.Толстого детей было действительно одиннадцать: Сергей (1863–1947), Татьяна (1864–1950), Илья (1866–1933), Лев (1869–1945), Мария (1871–1906), Петр (1872–1873), Николай (1874–1875), Варвара (родилась и умерла в ноябре 1875), Андрей (1877–1916), Михаил (1879–1944), Алексей (1881–1886).

С. 135. ...*в калькоманиях...* — Так назывались тогда переводные картинки (*устар.*).

С. 136. *Беттина* — имеется в виду Беттина Brentano (в замуж. Беттина фон Арним; 1785–1859), немецкая писательница.

В рассказе «Волшебница»... — Это заключительный, седьмой, рассказ книги, посвященный МЦ, которая выведена в нем под именем Мары.

С. 137. ...*я прочла целую книгу Мопассана в имени Оболенских...* — Речь идет о романе Ги де Мопассана «Жизнь», в др. переводах — «История одной жизни».

С. 140. ...комната Сергея Николаевича, их отца... — Сергей Николаевич Трухачев (1852—1932, указ М.Смирновым), землевладелец, юрист, почетный мировой судья Задонского округа. Имел 288 десятин земли, место его «экономии» — село Сенное Ксизовской волости Задонского уезда, в 12 верстах от почтовой станции Бестужево. Оставив службу, поселился в деревне Ярцевке Сенновской волости.

Николай Сергеевич Трухачев (1887—?). Упомянут в книге АЦ «Дым, дым и дым».

С. 142. ... «Фотография Асикритова»... — Речь идет о фотоателе Д.Асикритова на Тверской ул. в Москве.

С. 143. ...о младшем, она тихо произносит: «Мой Вениамин»... — Здесь АЦ изменяет память. Вениамином И.Е.Клементьева называла своего младшего сына Владимира Сергеевича Трухачева (р. 1894), рано умершего (см. *Битовцкий В.И.* Воронежская дворянка Анастасия Цветаева // Личный архив Г.К.Васильева).

С. 144. «Масейка» — Мария Александровна Ошуркова, компаньонка матери Б.Трухачева, дочь купца из города Иваново-Вознесенска Владимирской губернии. Замужем не была.

С. 153. *Родилась повесть. Я не нашла ей названия.* — Эта уничтоженная автором повесть без названия имела дневниковый, автобиографический характер. Подобная судьба постигла несколько произведений АЦ. Среди них — повесть «Скарлатина», книга о В.В.Розанове. Эти «уничтожения» имели для нее жертвенный характер и сопровождали самые трагические моменты в жизни.

С. 155. «...Жизнь приходит не с грохотом и громом...» — В МЦС (Т. 1. С. 327) дан вариант этого стихотворения, начинающийся так: «Рок приходит...». Что в нашем случае приведен именно вариант, убеждаемся, сравнив текст стихотворения, данный в МЦС, с текстом, опубликованным в МЦ. Стихотворения и поэмы: В 5 т. Т. 2. (N.Y.: Russica Publishers, 1980. С. 255).

С. 157. «*Эрос и Психея*» — пьеса польского драматурга Юрия Жулавского, шедшая на сцене Московского частного театра Ф.А.Корша.

С. 161. ... «*Задняя часть венфра*». — Об этом эпизоде подробнее см.: Кузнецова (Гринева) М.И. Воспоминания // ВС: Рождение поэта. С. 78—79.

С. 164. ...голос Психеи... — Здесь: голос души.

«Но в камине дозвенели угольки...» — из стихотворения А.А.Блока «В углу дивана».

С. 165. *Мила и Нолли* — героини одноименной сказки Н.П.Вагнера (см.: Вагнер Н.П. Сказки Кота-Мурлыки. М.: Паллада, 1992. С. 41—53).

Примечания

С. 174. «*Маленький лорд Фаунтлерой!*»! — Образ, памятный сестрам Цветаевым с детства. Он стал своего рода «паролем» любви АЦ и Н.Миронова. См. стихотворение АЦ «Все, как в старинной балладе поэт...», посвященное Н.Миронову (в кн.: АЦ. Мой единственный сборник. М.: Изограф, 1995. С. 53).

С. 177. *Из дневника*. — Фрагмент из второй книги АЦ «Дым, дым и дым» (М., 1916. С. 175). Как и во многих других, не оговоренных в примеч. случаях, приводится автором без изменений, дословно.

Часть девятнадцатая. В ВОРОНЕЖСКОЙ ГУБЕРНИИ.

В ПОДМОСКОВЬЕ. В МОСКВЕ

С. 180. ...комнаты *Воищева*... — Имеется в виду старая гостиница, принадлежавшая наследникам гласного Городской думы М.А.Воищева в Воронеже. Находилась на ул. Среднемосковской линии, д. 10.

С. 182. ...за почтовой станцией *Бестужево*. — Находилась на Задонском тракте.

...лежит оазисом посреди степи эта *Ярцевка*... — Деревня Ярцевка Сенновской волости. Находилась в 39 верстах от Задонска и в 40 верстах от железной дороги; имела 12 дворов. (Памятная книга Воронежской губернии за 1892 год. Указ. В.И.Битюцким).

С. 184. ...«*Ваша шпага, князь, блеснет в лицо противника!*...» — «Да, да! Блеснет, блеснет...» — Неточно цитируется 7-я глава повести Ф.М.Достоевского «Дядюшкин сон»: «Ваша шпага блеснет в глаза клеветнику или дерзкому, который осмелится обидеть мою Зину?» — «Ну да, блеснет...» — бормотал князь».

С. 186. *Полумифический Миша*... — Об этом вымышленном inferнальном младенце у А.Н.Толстого есть такая запись в дневнике за 1911—1914 гг.: «О муже Аси Цветаевой, который 2 недели говорил голосом развратного младенца» (в кн.: Толстой А.Н. Материалы и исследования. М.: Наука, 1985. С. 304).

С. 191. «*Ах, несмотря на гаданье друзей...*» — из стихотворения «Аля». Они были вычеркнуты МЦ и не вошли в позднюю, более известную редакцию, начинающуюся словами: «— Аля! — Маленькая тень...»

С. 192. ...имение *Богучарово* (такое упомянуто, помнится, в «*Войне и мире*»?)... — Родовое имение Хомяковых Богучарово находится в Тульской области. В романе Л.Н.Толстого это имение принадлежало Болконским.

Николай Львович Трухачев (1861—1939?, указ. М.Смирновым) — штабс-капитан.

С. 195. ...*приветливая милая женщина, мать двух детей...* — Речь идет об Анне Ивановне Великопольской.

С. 197. ...*Пудель (Сокол, Володя)*... — Владимир Александрович Соколов (1889—1962), артист Камерного театра, киноактер, с 1920 г. в эмиграции.

...*Ева и Миша Фельдштейны*... — Ева Адольфовна Фельдштейн (урожд. Леви; 1886—1964), первая жена М.С.Фельдштейна, брак с которым продлился с 1909 по 1918 г. Фельдштейн Михаил Соломонович (1884—1939) — юрист, профессор-правовед, переводчик Макиавелли, во втором браке был женат на В.Я.Эфрон. С 1934 по 1938 г. работал в ГБЛ. Репрессирован. К нему обращены стихотворения МЦ «*Мальчиком, бегущим резво...*», «*Я лежу сейчас ничком...*».

С. 203. ...*проносит, как Агасфера в картине — Марка Шагала? Чурляниса?* — *стыдно, не помню — чьей.* — Это картина Марка Шагала. Так, А.Ф.Лосев пишет: «...сопоставленность предметов мы находим, например, у Шагала, у которого шествуют, как бы по воздуху Агасферы...» (Лосев А.Ф. Диалектика мифа. Одесса: Инга, 1999. С. 25). Агасфер был осужден Богом на вечные скитания за то, что не дал Христу отдохнуть на пути к месту распятия.

С. 204. «*Нет сил таиться, я рыдаю...*» — старинный романс, цитируется также в книге АЦ «Дым, дым и дым».

С. 210. ...*письмо от папы...* Он живет под Клином... — Об этом В.Цветаева писала: «На лето 13-го года договорила я ему в усадьбе знакомых, под Клином, тихую комнату рядом с террасой и отсутствия всяких хозяйственных хлопот...» (Цветаева В. Записки. С. 200)

С. 221. ...*Багров, убивший Столыпина...* — Имеется в виду убийство российского премьер-министра П.А.Столыпина в Киевском оперном театре 1 сентября 1911 г.

С. 222. ...*в Вифанию (близ Троице-Сергиево)*... — Речь идет о Спасо-Вифанском Преображенском монастыре близ Троице-Сергиевой лавры, основанном богословом, философом, митрополитом Платоном (Левшиным).

Лосиноостровская — название станции в ближнем Подмосковье по Ярославской железной дороге.

С. 225. ...*доктор Зеленин...* — Зеленин Владимир Филиппович (1881—1968), терапевт, академик АМН (1944). Один из основоположников отечественной электрокардиографии.

С. 228. «...*Столовая! Четыре раза в день...*» — из стихотворения МЦ «*Столовая*».

Кузнецова Мария Ивановна (во втором браке Балагина, литературный псевдоним Гринева; 1895—1966) — вторая жена Б.С.Трухачева.

Примечания

Эрмитаж — Московский театр «Эрмитаж», организованный антрепренером, меценатом Я.В.Щукиным в 1892—1895 гг.

С. 229. ...чуть позже скончался его соратник по Музею... Юрий Степанович Нечаев-Мальцев... — Это произошло 6 октября 1913 г.

Часть двадцатая. ФЕОДОСИЯ

С. 236. ...квартира на Бульварной улице... — Ныне в Феодосии там находится Музей-квартира сестер Цветаевых (теперь ул. В.Коробкова, д. 13).

...вверх по отлогой горе, на даче Редлих. Их родных фамилия была Рогозинские... — Имеется в виду дом Редлихов на Карантинной горке в Феодосии. В ноябре 1913 г. М.Волошин писал Ю.Л.Оболенской: «В Феодосии поселились Марина и Сережа. Устроились они на горе у тетки Рогозинского (Редлихов). Те их увлечением» (МЦ. Неизданное. Записные книжки. Т. 1. С. 462). Рогозинские — Рогозинский Владимир Александрович (1882—1951), архитектор, инженер, его жена Рогозинская Ольга Артуровна (урожд. Лаосеон, 1888—1971); тетка Рогозинского — Редлих Алиса Федоровна (1868—1944), пианистка.

Лиза Редлих — Елизавета Павловна Кривошапкина (урожд. Редлих; 1897—1988), художник-график, автор воспоминаний «В Феодосии» (Дружба. 1983. № 5).

С. 237. Дрок — род растений из семейства бобовых.

...дымчатый кот Кусака. — Кот МЦ, которого она вывезла из Крыма. Ему посвящено стихотворение МЦ «Собаки спущены с цепи». У МЦ есть о нем такая запись: «С Алей вместе подрастал котенок — серый, дымчатый — Кусака... И вырос он почти человеком. Это была моя великая кошачья любовь. Его шкурка до сих пор висит у меня на стенке — ковриком» (МЦ. Неизданное. Записные книжки. Т. 1. С. 462).

С. 238. «...выстрелами на охоте...» — из стихотворения МЦ «Цветок к груди приколот». Здесь приводится вариант строфы, ср. с МЦС: «Выстрелом на охоте / И бубенцами троек — / Зовете вы, зовете, / Нелюбленные мной!»

С. 240. «Когда промчится этот юный...» — из стихотворения «Быть нежной, бешеной и шумной...». АЦ дает название стихотворения, которое отсутствует в МЦС.

...30-го мы выступаем с Асей на балу в пользу погибающих на водах. — 30 декабря сестры Цветаевы выступили на балу, а 31-го поехали в Коктебель к М.Волошину встречать Новый год.

С. 242. *Нина Александровна Айвазовская* (урожд. Нотара; 1867–1944, указ. Д.Лосевым) — феодосийская землевладелица, племянница художника И.Айвазовского.

Каффа — название Феодосии в Средние века.

Ардава — древнее название Феодосии, означает «семь богов».

Боговский Константин Федорович (1872–1943) — художник, график.

Латфи Михаил Пелопидович (1875–1941) — художник, график, керамист. Внук и ученик И.Айвазовского. Один из основателей Нового общества художников Петербурга. В 1905 г. поселился в Крыму в имении Баран-Эли под Старым Крымом, где создал мастерскую для живописи и керамики. В начале 1900-х гг. заведовал Феодосийской картинной галереей. В 1920 г. эмигрировал в Грецию. С 1924 г. жил в Париже, организовал декоративно-художественную мастерскую.

...из семьи *Крымов*... — Из этой семьи известны Арон Яковлевич Крым, много лет бывший в Феодосии городским головой, и Соломон Самойлович Крым (1867–1936), член Первой государственной Думы, отузский помещик, в 1918 г. возглавлял Крымское правительство (указ. Д.Лосевым).

...*Эссен-Эли*... — Речь идет о русско-немецком селе Ичкинского (Феодосийского) района Эссен-Эли Малый. Есть также Эссен-Эли Большой — село Бабенково.

...именем *Николая Михайловича Лампси «Шейх-Мамай»*. — Имение неподалеку от Старого Крыма. Ныне село Айвазовское.

Ариадна Николаевна Латфи (урожд. Арендт; 1876 — после 1920).

С. 244. «*В янтарном забытье полуденных минут...*» — из первого стихотворения цикла «Облики» М.Волошина.

«*Ясный вечер, зимний и холодный... Ночь придет за бархатною мглою...*» — из стихотворения М.Волошина «В мастерской».

... «*фанфары Тьеполо и флейты Джорджионе*». — Строка из первого стихотворения цикла «Облики» М.Волошина.

С. 245. «*Теперь я мертв. Я стал строками книги...*» — из одноименного стихотворения М.Волошина.

С. 246. «*Идешь, на меня похожий...*» — из одноименного стихотворения МЦ.

...к *дверям Сербиновых*... — См. о них очерк АЦ «Ночи безумные», посвященный О.Н.Сербиновой, в кн.: АЦ. Неисчерпаемое. М., 1992. С. 197–203.

«*Ночи безумные*» — романс на стихи А.Апухтина, музыка А.Спира.

С. 247. *Александра Михайловна Петрова* (1871–1921) — педагог.

«*Какой-нибудь предок мой был скрипач...*» — неточная цитата из одноименного стихотворения МЦ.

С. 250. ...венчать дерзновенного... словно Капитолий Коринну. — Коринна — главная героиня романа французской писательницы Ж. де Сталь «Коринна, или Италия», где описан триумф поэтессы Коринны, покорившей импровизацией толпу итальянцев на Капитолии.

С. 252. «Уж сколько их упало в эту бездну...» — из одноименного стихотворения МЦ.

«В тяжелой мантии торжественных обрядов...» — из одноименного стихотворения МЦ.

«Моим стихам, написанным так рано...» — из одноименного стихотворения МЦ.

«Да, я, пожалуй, странный человек...» — начало стихотворения МЦ «С.Э.» («Я с вызовом ношу его кольцо...»). Здесь приведены строки первоначального варианта.

С. 253. Дембовецкий Василий Эдуардович (1883–1944, указ. Д.Лосевым) — поэт, педагог. См. о нем: Лосев Д. Счастье в кочующих звуках: Возвращение Василия Дембовецкого // Крымский альбом. Феодосия; Москва, 1998. С. 190–211.

...книгу стихов «Волокна и ткани»... — Имеется в виду кн.: Дембовецкий В. Волокна и ткани. Феодосия: Изд. Н.М.Нич, [1914].

С. 254. «Как странно расставаться навсегда...» — В памяти АЦ сохранилась большая часть стихотворения, однако после второй строки следует еще фрагмент «Последний раз! — когда прощальный час, / Слагая сердцу горестный рассказ, / Как бы струит от звука к звуку / Грустящий шепот “никогда”...» (См. полный текст этого стихотворения в кн.: Крымский альбом. Феодосия; Москва, 1998. С. 207).

С. 255. «В любом из вас, хоть в том, что при огарке...» — из стихотворения МЦ «Евреям».

С. 256. ...встретил... Жозефину... — Речь о Жозефине Густавовне Богаевской (урожд. Дуранте; 1877–1969). Судьба этой женщины трагична: она оставалась в оккупации. Немцы вывезли ее на самолете в Германию. После разгрома гитлеровской Германии она попала в зону репатриации союзников и попросила отправить ее в Италию. Но Богаевскую репатриировали в СССР, и десять лет она отбыла в лагерях. Во время хрущевской оттепели была освобождена и реабилитирована. Затем поселилась в Старом Крыму, в Феодосии. См. о ней подробнее в статье В.Астаховой «Спасенные шедевры: Неизвестные страницы жизни галереи И.Айвазовского» (Планета Диаспор. 1999. № 9, 26 августа).

С. 258. ...в отрывке романа «Рим» Гоголя... — «Рим» был впервые напечатан в журнале «Москвитянин» (1842. № 3) с подзаголовком «Отрывок».

«Восклицательный знак» — это стихотворение приведено в МЦС по тексту «Воспоминаний» АЦ.

«Здесь всё теперь — воспоминанье...» — из 7-го стихотворения цикла «Письмо» М.Волошина.

С. 263. ...чертили схему о гениальности и сумасшествии. — Схему эту они чертили по книге Ц.Ломброзо «Гений и помешательство».

С. 264. *Врубель* Михаил Александрович (1856—1910) — живописец, керамист. В конце жизни сошел с ума. Образ его картины «Пан» (1899) МЦ использует в очерке «Живое о живом» для характеристики образа М.Волошина (МЦС. Т. 4. С. 162).

Жерар де Нерваль (наст. имя и фамилия Жерар Лабрюни; 1808—1855) — французский поэт и прозаик. Покончил жизнь самоубийством.

С. 266. ... «Дети, овсяный кисель на столе»... патетическая строка Жуковского... — из перевода В.А.Жуковского идиллии И.-П.Гёбеля «Das Habermuss».

О котором Байрон: «*that clear obscurity*» (светлая мгла). — С этого выражения начинается роман АЦ «Амог». Буквально: «этот ясный мрак» (англ.).

А сколько было лет Маргарите Васильевне, когда вы поженились? — Они поженились в 1906 г., М.В.Сабашниковой было 24 года.

С. 267. «Уже над городом угас...» — АЦ дает более ранний вариант первой строки стихотворения «Над Феодосией угас...», как они читали его вместе с МЦ.

С. 269. «И принимает, лепеча...» — из стихотворения МЦ «В огромном липовом саду...»

С. 270. «Всё, что не грустно — глупо...» — Это фраза из «Дневника» М.Башкирцевой: «Но в этом мире всё, что не грустно, глупо, и всё, что не глупо, грустно» (М.: Искусство, 2001. С. 95).

С. 271. «О приди! Покусись потушить...» — из поэмы Б.Л.Пастернака «Разрыв». Цитируется не совсем неточно: «Помешай мне, попробуй. / Приди, покусись потушить / Этот приступ печали, / Гремящий сегодня / Как ртуть в пустоте Торичелли...»

С. 272. «Мир есть мое представление». — Перефразируется известное название «Мир как воля и представление» философского сочинения А.Шопенгауэра.

...важнее «Иловайского с Аттилами». — Историк Иловайский был ярким антинорманистом в теории происхождения Руси (см. кн.: *Иловайский Д.* Начало Руси. М.: Алгоритм-Чарли, 1996).

С. 273. Папу он не может не знать. — Известна статья Розанова, посвященная памяти И.В.Цветаева (Новое время. 1913. 19 сентября; см.: *Розанов В.В.* Памяти Ивана Владимировича Цветаева //

И.В.Цветаев создает музей. С. 346–349), однако АЦ говорила автору примечаний, что, по ее мнению, в этой статье портретно дан сам Розанов, а не ее отец.

«Новое время» — политическая и литературная газета. Выходила в 1868–1917 г. В 1876 г. ее издателем стал А.С.Суворин, превративший газету в одну из самых популярных в России.

...думаю, что он тебе не ответит... — О В.В.Розанове у МЦ есть такая запись от 12 февраля 1914 г.: «Последние вечера мы с Асей думаем о Розанове. Ах, он умрет и никогда не узнает, как безумно мы его понимали... Но я знаю как безнадежны письма к таким, как он, и не могу вынести тоски в ожидании письма, которое — я знаю! — не придет» (МЦ. Неизданное. Записные книжки. Т. 1. С. 34–35).

С. 275. *Николай Иванович Хрустачев* (1883–1960, указ. внуком художника Д.Н.Ряузовым) — художник, участник объединения «Мир искусства». Жил в Феодосии (с 1913 по 1922 г.). Преподавал в Феодосийском учительском институте, с 1914 по 1916 г. читал лекции на учительских курсах в Симферополе и Феодосии. В 1919–1921 гг. заведовал отделом искусств Феодосийского отдела народного образования. С 1920 г. стал членом Феодосийского союза художников, руководимого К.Ф.Богаевским. В Феодосии организовал Музей, Народный театр, Художественную школу. Часто гостил в Коктебеле у М.А.Волошина, создал его портрет. См. о нем в альбоме: *Хрустачев Н. Живопись и графика*. М.: Астрей, Галерея «Стиль», 2006.

С. 277. *Для этих «людей» Макс...* — Имеется в виду круг курортных ретроградов-моралистов, враждебно относившихся к М.Волошину, долго возглавляемый М.А.Дейшей-Сионицкой (1859–1932), оперной певицей. См. об этом: *Вербасев В. Невьдуманные рассказы*. М.: Худ. лит., 1968. С. 148–149.

С. 278. *«Вы, идущие мимо меня...»* — из одноименного стихотворения МЦ.

«Но помните, что будет суд...» — из стихотворения МЦ «Идите же! — Мой голос нем...»

Весь этот цикл... Не сохранились стихи и ему, и жене его Еве (портретные)... — Среди сохранившихся стихов МЦ в сборнике «Юношеские стихи» имеется несколько стихотворений, обращенных к М.С.Фельдштейну, однако они не выделены автором в цикл, «портретных» же стихотворений, которые могли бы быть обращены к нему и его жене, в настоящем сборнике не обнаружено (указ. Е.И.Лубянской).

«Мы быстры и наготове...» — из первого стихотворения цикла «Асе» МЦ.

С. 279. *Кончила сегодня «Пушкину»!* — Речь идет о стихотворении «Встреча с Пушкиным». Возможно, АЦ приводит его «черновое», первоначальное название.

«*Мартыся*» — Варвара Алексеевна Бахтурова, домашняя учительница сестер Цветаевых в Ялте, позже в Москве, преподавала историю, географию, арифметику.

С. 282. *Марине и Сереже прислал «соболезнование»*... — МЦ об этом писала: «В ответ на мое извещение о моей свадьбе с Сережей Эфроном Макс прислал мне... — самые настоящие соболезнования, полагая нас обоих слишком настоящими для такой лживой формы общей жизни, как брак» (МЦС. Т. 4. С. 191).

С. 283. ... *Суслова, последняя жена Достоевского*... — Аполлинария Прокофьевна Суслова (1839—1918), возлюбленная Ф.М.Достоевского (с 1861 по 1866 г.) и жена В.В.Розанова (с 1880 по 1887 г.). Суслова не была последней женой Достоевского, последняя жена (с 1867 г.) — Анна Григорьевна Достоевская (урожд. Сниткина; 1846—1918).

... *лекция Соловьева об Антихристе показала Розанову просто скучной*. — В.В.Розанов не раз писал о своем неприятии Владимира Сергеевича Соловьева (1853—1900). «О С-ве то только интересное, что “бесенок сидел у него на плече” ... Загадочна и глубока его тоска; то, о чем он молчал. А слова, написанное — все самая обыкновенная журналистика (“бранделясы”»)» (Розанов В.В. О себе и жизни своей // Уединенное. М., 1990. С. 111). См. также вставную «Краткую повесть об Антихристе» в эсхатологическом этюде В.С.Соловьева «Три разговора...»

С. 284. *Цибербиллеров — полон свет!* — Здесь фамилия служит обобщением всех евреев.

... *читали «Одиночество» Лозина-Лозинского?* — Лозина-Лозинский (полн. фамилия Любич-Ярмолович-Лозина-Лозинский) Алексей Константинович (1886—1916), поэт, прозаик, критик. Сборник путевых очерков и рассказов «Одиночество» не опубликован (хранится в Институте русской литературы (Пушкинском Доме). Ф. 161).

С. 285. «*Ты мне как-то странно понравилась...*» — из стихотворения И.Северянина.

«*Я гостил в твоём сердечке...*» — из стихотворения И.Северянина «Только миг».

... «*преlestная*», «*стрелой пролетит*»... «*изменой грозит*»... — Отрывки из песни Н.Коншина (музыка А.Гурилева) «Век юный, прелестный, / Друзья, улетит; / Нам всё в поднебесной / Изменой грозит. / Летит стрелой / Наш век молодой; / Как сладкий сон, / Минует он».

Примечания

С. 285—286. ...«люблю», «тоскую»... — Здесь намеренно повторен лирический пассаж слов брата Б.Трухачева, Сергея.

С. 286. ...*ау него— жена...* — Речь идет о Хрустачевой Александре Васильевне (урожд. Хитрово; 1886—1943). В браке с Н.И.Хрустачевым с 1907 г.

...*дочка Ма'р'иночка...* — Марина Николаевна Хрустачева (1909—1975, указ. Д.Н.Рязовым), экономист.

С. 290. *Удивительный портрет!* — Портрет АЦ, о котором идет речь, сохранился только на фотографии комнаты АЦ, в которой она жила до ареста в 1937 г. в Мерзляковском переулке в Москве.

...*как «Лазорские острова»...* — Имеется в виду стихотворение В.Маяковского «Азорские острова». Азорские острова (*с португ. «острова ястребов»*) — это вулканы, поднимающиеся со дна океана. Их склоны покрывают вечнозеленые субтропические леса и плантации бананов, апельсинов, абрикосов, виноградники.

С. 292. *Марина в одном из своих писем к Розанову просила его о содействии...* — Имеется в виду письмо МЦ от 18 апреля 1914 г.

С. 293. *Елена Павловна Паскина* (урожд. Теш; 1869—?), держала в Коктебеле столовую для дачников.

...*Галочка заинтересовалась Борисом...* — Речь идет о Г.Дьяконовой.

С. 296. ...*рассказ о Павловском Посаде, где они жили...* — В Павлово-Посаде с 1908 по 1913 г. Н.Хрустачев был преподавателем Реального училище.

Часть двадцать первая. КОКТЕБЕЛЬ

С. 299. «...*Альбрехта Дюрера гравюра вновь раскрыта...*» — непубликовавшийся фрагмент из стихотворения АЦ. Оно было забыто писательницей и не вошло в ее единственный поэтический сборник.

С. 301. «*Пусть над пламенным прошлым...*» — из стихотворения МЦ «Зеленое ожерелье».

С. 303. «...*Что за книгой книгу пишешь...*» — из стихотворения МЦ «Асе».

Затмение было в 1914-м? — АЦ вместе с обитателями дома М.А.Волошина наблюдала с башни мастерской солнечное затмение 8 августа 1914 г.

С. 304. *Форрегер фон Грайфентурн* — имеется в виду Николай Михайлович Форрегер (наст. фам. Грейфентурн; 1892—1939), барон, впоследствии режиссер и балетмейстер.

С. 305. ...*сразу понравился он, сразу же нет — жена.* — Софья Форрегер (ок. 1895—?), актриса. В письме к В.Я.Эфрон из Коктебеля 6 июня

1914 г. МЦ отмечала: «...Есть молодая пара: милый, беззаботный 20-летний муж — безобидный, слегка поверхностный, и 19-летняя жена — хорошенькая, вульгарная, с колоссальным апломбом... Молодой человек — австриец по происхождению, готовится к режиссуре, пишет сказки, прелестно (до слез!) поет Игоря Северянина, подражая ему, но сам неглубок, хотя одарен» (МЦ. Неизданное. Семья: История в письмах. М.: Элис Лак, 1999. С. 179).

«*Это было у моря...*» — Неточное цитирование одноименного стихотворения И.Северянина: «Это было у моря, / Где ажурная пена...».

«*Каретка куртизанки, в коричневую лошадь...*» — из стихотворения И.Северянина «Каретка куртизанки».

С. 307. *Сергей Иванович Ковалев* — студент-химик Петербургского университета; с ним АЦ познакомилась в Коктебеле в 1914 г. Ею первоначально была посвящена ее книга «Королевские размышления», позже переадресованная посвящением М.А.Минцу.

С. 316. ...*Макс писал о ней своему другу художнику Константину Кандаурову...* — Письма эти хранятся в Институте русской литературы (Пушкинском Доме) (Ф. 562; 2763). *Кандауров* Константин Васильевич (1865—1930) — живописец, театральный художник, секретарь объединения «Мир искусства».

...*домик писателя Викентия Викентиевича Вересаева.* — Вересаев (наст. фамилия Смидович; 1867—1945) Викентий Викентьевич, писатель. Ему принадлежал участок земли и небольшой дом в Коктебеле.

Еще в отрочестве я прочла его нашумевшую книгу «Записки врача»... — О своей книге «Записки врача» (1902) В.В.Вересаевым сказано: «Я буду писать о том, что я испытывал, знакомясь с медициной, чего я ждал от нее, и что она мне дала, буду писать о своих первых самостоятельных шагах на врачебном поприще и о впечатлениях, вынесенных мною из моей практики. Постараюсь писать все, ничего не утаивая, и постараюсь писать искренне».

С. 317. *Я сейчас работаю над повестью о детстве нашем с братом...* — Речь идет об очерке Вересаева «Юные годы» (см. в его кн.: Литературные портреты. М.: Республика, 2000).

...*показать на высоко натянутом над залом и зрителями полотне...* — Речь идет о кинофильме режиссера А.Птушко «Алые паруса» (1962).

...*музей его имени...* — АЦ посетила феодосийский музей А.Грина в день своего 90-летия 27 сентября 1984 г.

...*милая жена Софья Исаковна...* — Имеется в виду Софья Исаковна Дымшиц-Толстая (1884—1963), живописец и график.

Примечания

С. 318...героями повести под именами Артамошка и Епифашка. (*К стыду своему, путаю, кто был ее автор — Толстой?*) — Речь идет о персонажах сказки А.М.Ремизова «Зайка».

...первым браком он был женат на акушерке... — Речь идет о браке А.Н.Толстого с Юлией Васильевной Рожанской, у них был сын Юрий (он умер в три года от менингита уже после развода родителей).

...дочь, если не ошибаюсь, Марианна. — Марианна Алексеевна Толстая-Дымшиц (1911—1988), дочь С.И.Дымшиц-Толстой, а не первой жены А.Н.Толстого, Ю.В.Рожанской. Марианна стала второй женой начальника штаба Военно-воздушной академии им. Н.Е.Жуковского, Е.А.Шиловского, которого оставила ради писателя М.А.Булгакова его первая жена, Елена Сергеевна.

С. 319. *Сибор* (наст. фамилия Лифшиц) Борис Осипович (1880—1961) — скрипач. Был одним из организаторов Московской народной консерватории. Заслуженный артист РСФСР.

Часть двадцать вторая. МОСКВА. ПЕТРОГРАД. ВАРШАВА. МОСКВА

С. 329. ...склада Ступина... — В 1918 г. склады Ступина, где хранились вещи АЦ, были революционными властями конфискованы.

С. 333. *Leysin* — имеется в виду курорт в Швейцарии.

С. 334. ...бюст Амазонки. — Гипсовый бюст, подаренный И.В.Цветаевым, находился еще в доме в Трехпрудном переулке.

...висит портрет Серезжи... Магда закончила? — Магда Максимилиановна Нахман (1888—?), художница, автор портрета М.Цветаевой (1913) и С.Эфрона (1916).

С. 335 «Осыпались листья над Вашей могилой...» — из шестого стихотворения цикла «П.Э.» МЦ.

С. 336 ...и как трудно ей было обедать у них. (*Все это есть в ее стихах Пете.*) — Об этом в стихотворении из цикла «П.Э.» «День августовский тихо таял...», где есть такие строки: «Я героически боролась. / — Мы с Вами даже ели суп! — / Я помню заглушенный голос / И очерк губ». И еще: «Вы эту помните беседу / Про климат и про букву ять. / Такому странному обеду / Уж не бывать».

С. 337...бывшей ему женой, его бросившей. — Речь идет о Вере Михайловне Эфрон.

Об их маленькой дочке, умершей... — Елизавета Петровна Эфрон (домашнее прозвище Ластунья; родилась и умерла в 1909). Ей МЦ посвятила стихотворение «Его дочке».

С. 338. ...*в студии Комиссаржевской...* — Ф.Ф.Комиссаржевский, брат великой актрисы, в 1910 г. организовал студию в Москве, открыв при ней в 1914 г. Театр имени В.Ф.Комиссаржевской.

...*у Незлобина...* как *Жихарева* играла *Настасью Филипповну...* — Речь идет об актрисе Елизавете Тимофеевне Жихаревой (1875—1967). Спектакль «Идиот» шел в театре К.Н.Незлобина (1913) в инсценировке Ф.Комиссаржевского.

Она живет в оборотнике, с другой актрисой, армянкой. — Имеется в виду Елена Васильевна Позоева (1893—1977), актриса Камерного театра.

С. 340. ...*записываюсь на лекции в университете Шанявского...* — Имеется в виду Московский городской народный университет им. А.Л.Шанявского. Открыт по инициативе и на средства либерального деятеля народного образования генерала А.Л.Шанявского (1837—1905). Закрыт в конце 1918 г. в связи с реорганизацией системы народного образования.

С. 341. *Кубицкий А.В.* — профессор историко-филологического факультета Московского университета, переводчик с древнегреческого «Метафизики» Аристотеля.

Рачинский Григорий Алексеевич (1853/9—1939) — известный филолог, переводчик произведений Ф.Ницше, Г.Мопассана и др.; последователь Вл.Соловьева; играл видную роль в московском Религиозно-философском обществе.

Шпет Густав Густавович (1879—1937/1940) — философ, последователь феноменологии Э.Гуссерля. Профессор МГУ; вице-президент Российской академии художественных наук (1923—1929). Репрессирован.

Виноградов Павел Григорьевич (1854—1925) — историк, специалист по истории европейского средневековья. Профессор МГУ (с 1884 г.). С 1917 г. — в эмиграции, профессор Оксфордского университета.

С. 342. ...*полагающиеся мне по распоряжению мамы проценты с капитала...* — Соответственно составленному И.В.Цветаевым «Отчету по опекунству над малолетними Мариной Ивановной и Анастасией Ивановной Цветаевыми за 1909 год» каждой из сестер принадлежал капитал в процентных бумагах государственной ренты — Марине 61 700 рублей, Анастасии — 61 300. Вместе — 123 000 рублей. (ОР ГМИИ. Ф. 6. Оп. II. Ед. хр. 15).

С. 344. *Флоренский Павел Александрович* (1882—1937) — философ, математик, ученый-богослов, разрабатывал учение о Софии (Премудрости Божией) как основе осмысленности и целостности мироздания.

...*Евгения почти против моей воли познакомила нас...* — Об этом читаем в очерке Е.Герцык «Лев Шестов»: «Есть такая девочка, то есть она уж писательница напечатанная, вот (подсовываем ему «Королевские размышления», «Дым, дым...»), она умоляет познакомить ее с вами, вы сыграли огромную роль в ее жизни. Придете во вторник? И вот мы их оставляем вдвоем, и Ася, часто мигая светлыми ресницами близоруких глаз, говорит ему что-то умное, острое, женственное» (см. кн.: *Герцык Е.* Воспоминания. М.: Московский рабочий, 1996. С. 111). Заметим, что к тому времени книга «Дым, дым и дым» еще создана не была, так что речь могла идти только о «Королевских размышлениях».

...*о моей книге «Размышлений»...* — Имеется в виду книга «Королевские размышления».

С. 345. ...*как заспешил к Достоевскому Григорович, прочтя его «Бедных людей».* — Речь идет об известном литературном эпизоде: весной 1845 г. Некрасов и Григорович прочли рукопись Достоевского «Бедные люди» и поспешили к Белинскому со словами: «Новый Гоголь родился...»

С. 353. ...*Нюра, старшая, кареглазая, русая...* — Анна Александровна Трупчинская (1909–1980), художник по росписи фарфора, чертежник, потом геофизик (указ. Е.И.Лубянской).

...и *Лизок...* — Елизавета Александровна Трупчинская (в первом браке Седых; 1910–2005, указ. Е.И.Лубянской), агроном, преподаватель.

С. 355. ...*падчерицею Верою, дочерью его умершей жены...* — После смерти второй жены Вяч. Иванов женился на ее дочери от первого брака, своей падчерице Вере Константиновне Шварсалон (1890–1920).

Зинovieва-Аннибал Лидия Дмитриевна (1866–1907) — писательница, вторая жена Вяч. Иванова.

...*ее книгу о детстве «Трагический зверинец»...* очень высоко ценила *Марина*. — Об этой книге рассказов МЦ написала позже в воспоминаниях «Живое о живом»: «...не забыть восхитительной женской книги “Трагический зверинец”» (МЦС. Т. 4. С. 169).

Булгаков Сергей Николаевич (1871–1944) — философ и богослов. Упомянут в воспоминаниях МЦ «Живое о живом» и «Пленный дух».

...я *ездил к цензору, пригласившему меня, чтобы выправить некоторые резкие выражения о божественности...* — Речь, в частности, идет о замене в тексте «Королевских размышлений» утверждения «Бог безнравственен» на «Бог вне нравственности», с чем АЦ согласилась (свидетельство АЦ автору примечаний).

...с сожалением говорил о моей такой умонаправленности... (но книгу все же пропустил)... — См. об этом в очерке АЦ «Мой путь к религии» (Россияне. 1995. № 11–12. С. 12).

«Ты мне нравишься, ты так молода...» — имеется в виду стихотворение МЦ «Асе» (1914).

Дмитрий Ильич Гомберге (ум. в 1960-х гг.) — присяжный поверенный, близкий друг АЦ.

С. 357. *Ran Noel* — так анаграммой на первые часы общения с АЦ скрыл свое имя Лев Матвеевич Гринблат, архитектор, друг М.А.Минца. Сцена их знакомства дана АЦ в кн. «Дым, дым и дым» (М., 1916. С. 90.).

...княжна Бернацкая... — «Бернацкие — старинный дворянский род шляхетского происхождения внесен в одну из частей книги княжеских родов Смоленской губернии» (МСЦ. Т. 7. С. 302). Также в статье «О Сусанне Давыдовне Мейн (Бабушка Тьо)» исследователь Е.И.Лубянникова пишет, что А.Д.Мейн «по праву рождения был внесен в 6-ю часть (древнее дворянство) дворянской родовой книги Петербургской губернии...» (На путях к постижению Марины Цветаевой: сб. докладов. М.: Дом-музей Марины Цветаевой, 2002. С. 42).

С. 362. *Маврикий Александрович* Минц (1886–1917) — инженер-химик, гражданский муж АЦ.

...многолетней любви ко мне Толи... — Т.е. А.К.Виноградова. См. об этом также: АЦ. Родные сени //Звезда. 1981. № 12. С. 154.

...герой моего женского эксперимента... — Речь идет о Д.И.Гомберге.

С. 365. ...сказку о человеке и кирпичиках... — Эта сказка упомянута в книге АЦ «Дым, дым и дым», не сохранилась.

С. 369. ...по Андрееву: «Огонь в ночи опасен. Для тех, кто блуждает? — Для того, кто зажег». — АЦ приводит фрагмент из драмы Л.Н.Андреева «Черные маски». Точнее текст звучит так:

«Первая маска. Безумный Лоренцо слишком ярко осветил свой замок.

Вторая маска. Огонь среди ночи опасен.

Первая маска. Для тех, кто блуждает?

Вторая маска. Для того, кто зажег» (Андреев Л. Черные маски // Шиповник. 1908. Кн. 7. С. 48).

Виндельбанд Вильгельм (1848–1915) — один из главных представителей неокантианства.

С. 370. Елена Адамовна Гедвилло — преподавательница французского языка в гимназии М.Г.Брюхоненко в 1909 г. МЦ упоминает ее в письме (1930) к французскому поэту и критику Жану Шюзвилю:

«Мадемуазель Guedwillo любила стихи и молодость» (МЦС. Т. 4. С. 419).

С. 371. ... в торговой фирме чайного дела Высоцкого. — Русское чайное Товарищество «В.Высоцкий и Ко», поставщик двора Его Императорского Величества. Основано в 1849 г. В Москве магазин этой чайной фирмы располагался на ул. Мясницкой, 19, в доме, фасад которого стилизован в китайском стиле.

С. 372. *Плуцер-Сарна* Никодим Акимович (1883—1945, указ. Е.И.Лубянской) — коммерсант из Варшавы, друг М.А.Минца, друг и возлюбленный МЦ, знакомство их относится к 1916 г., адресат целого ряда ее стихотворений, созданных в 1916—1918 гг. О нем МЦ сказала, проставляя в сборнике «Версты» ему давнее посвящение: «...сумел любить эту трудную вещь — меня» (цит. по: Саакянц А. С. 793).

С. 376. ... портрет в раме великого князя Николая Николаевича... — Романов Николай Николаевич (младший; 1856—1929), великий князь, генерал-адъютант, генерал от кавалерии. Верховный главнокомандующий с августа 1915 г. по март 1917 г.

С. 377. ... точно «Мирович»... — Имеется в виду Мирович Василий Яковлевич (1740—1764), подпоручик Смоленского полка, пытавшийся освободить из Шлиссельбургской крепости императора Ивана VI Антоновича. Казнён.

С. 389. «Белой акации гроздь душистые...» — романс на слова А.Пугачева, музыка неизвестного автора.

С. 390. «Тусклые ваши сиятельства...» — из стихотворения И.Северянина «В блестящей тьме».

С. 392. *Николай Павлович Симанский* — скорее всего, речь идет о сыне дворянина Павла Александровича Симанского, жившего в Санкт-Петербурге, Кузнецкий, 14 (см.: Весь Петербург. 1913. С. 577).

Дориан — ассоциация ведет к герою романа О.Уайльда «Портрет Дориана Грея».

С. 403. ... в «Альказаре». — Ресторан «Альказар», который находился на Триумфальной площади в Москве.

С. 406. *Ревидцев* Петр Михайлович (Пейсах Моисеевич) — врач, приват-доцент. Ему в романе «Амог» посвящена целая трагическая глава «Еще испытание», где говорится о разорении его клиники и сумасшествии доктора (См.: АЦ. Амог. С. 308—315).

С. 410. *София Парнок* — Парнок (псевд. Парнок) София Яковлевна (1885—1933), поэтесса, близкая подруга МЦ. Ей посвящен цикл стихотворений МЦ «Подруга».

... со своей сестрой *Лизой Тараховской*... — Елизавета Яковлевна Тараховская (1891—1968), поэтесса, переводчица, детская писательница, драматург.

...брата Валентина Парнаха... — Валентин Яковлевич Парнох (впоследствии Парнах; 1891—1951), поэт, переводчик, журналист, танцор, историк балета.

Часть двадцать третья. КОКТЕБЕЛЬ

С. 414. ...или стихи — антивоенные, страждущие... — Откликом М.Волошина на Первую мировую войну были стихи, составившие впоследствии его сборник «Anno mundi ardentis», в котором он выступил как пацифист.

С. 415. «К чему узор расцветивать пестро?..» — из одноименного стихотворения С.Парнок.

«К нам долетит ли бранный огонь?..» — из одноименного стихотворения С.Парнок.

Фридриху Крупну. — Приведен фрагмент сонета С.Парнок.

С. 416. «Я не знаю моих предков, кто они?..» — из одноименного стихотворения С.Парнок.

«Я люблю в романах все пышное и роковое...» — неточно цитируется стихотворение С.Парнок «Я люблю в романе все пышное и роковое...».

С. 417. «С пустынь доносятся...» — стихотворение С.Парнок.

«Окиньте беглым мимолетным взглядом...» — стихотворение С.Парнок

С. 419. ...знакомство с... его братом Александром... — Александр Эмильевич Мандельштам (1892—1942), библиограф.

«Образ твой мучительный и зыбкий...» — стихотворение О.Мандельштама.

С. 420. «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...» — из одноименного стихотворения О.Мандельштама.

...в береговой кофейне «Бубны»... — Это кафе принадлежало греку А.Г.Синопли.

С. 423. ...с Головинскими... — Федор Александрович Головин (1867—1937), председатель 2-й Государственной думы. Расстрелян. Его жена — Ольга Федоровна Головина (1890—1974, указ. В.П.Купченко и Е.И.Лубянской).

С. 424. «О спутник вечного романа...» — из стихотворения О.Мандельштама «Аббат». Последняя строка приведенного фрагмента отличается от известного текста: «Среди колосьев спелой ржи». Здесь, видимо, приводится более ранний вариант.

С. 425. «Летают валькирии, поют смычки...» — из одноименного стихотворения О.Мандельштама.

«В темной арке, как пловцы...» — из стихотворения О.Мандельштама «Дворцовая площадь».

Часть двадцать четвертая. АЛЕКСАНДРОВ

Впервые эта часть «Воспоминаний» была опубликована на правах рукописи отдельной брошюрой под авторским названием «Александров» (2001) Литературно-художественным музеем М. и А. Цветаевых в Александрове, затем в альманахе «Александровская слобода» (Вып. 2. Александров, 2005).

С. 429. *Святая Гора* — высшая точка берегового хребта Карагач близ Коктебеля.

С. 430. ...*царь Иоанн Грозный убил сына царевича...* — По свидетельству АЦ, порой тень той смерти через века ощущалась сестрами Цветаевыми, когда они жили в Александрове.

...*Макс написал целую книгу...* — Имеется в виду его книга «О Репине» (М., 1913).

...*кирпичный новый четырёхэтажный дом Ивановых...* — Дом сохранился до наших дней на ул. Красной молодежи, № 7. Принадлежал до революции александровскому трактирщику Ефиму Никифоровичу Иванову (1870—1942, указ. внучкой Н.П.Ефремовой).

С. 431. ...*вольноопределяющийся, художник Малиновский, Александр Николаевич* (ум. в 1920 г.). — Вольноопределяющийся в царской армии — это добровольно поступивший на военную службу после получения высшего или среднего образования и несший ее на льготных условиях.

У меня еще нет имени для этой будущей книги... — Имеется в виду вторая книга АЦ «Дым, дым и дым».

С. 432. *Марселлина Деборд-Вальмор* (1786—1859) — французская поэтесса.

С. 433. ...*писал мне о своей книге о Лермонтове...* — Речь идет о кн.: *Закржевский А.* Лермонтов и современность (Киев, 1915).

Консистория — в дореволюционной России подчиненный архиерею коллегиальный епархиальный орган с церковно-административной и церковно-судебными функциями.

С. 436. *Спасибо. Я сделаю из него брелок...* — Сказано из «него», поскольку имеется в виду «пяتيالтынный», т.е. монета достоинством в 15 копеек.

С. 437. *Крандиевская Надежда Васильевна* (1888—1963) — скульптор, третья жена писателя А.Н.Толстого.

С. 438. «Запах, запах твоей сигары...» — из стихотворения МЦ «Запах, запах...»

С. 440. ...мы мчимся под пушкинскими волнистыми туманами, сквозь которые пробивается луна. — Реминисценция к стихотворению «Зимняя дорога» А.С.Пушкина.

С. 441. *Дочка Вари Паниной!* — Ее дочь тоже была певицей.

С. 444. *Шла пьеса, думается, Гейерстама «Гибель “Надежды”»*. — Речь идет о драме в четырех действиях «Гибель “Надежды”» голландского драматурга Германа Гейерманса, а не шведского писателя Густава Гейерстама. Премьера спектакля состоялась в 1913 г. в Первой студии Московского художественного театра, находившейся на Триумфальной площади.

С. 447. ...мы переезжаем в отдельный домик — на Миллионную улицу... — Ныне Военный переулок, д. 6, где находится Литературно-художественный музей М. и А. Цветаевых в Александрове.

Лебедевы — Алексей Андреевич Лебедев (1860—1919), учитель математики Александровского приходского училища, и его жена, Анна Федуловна Лебедева (1870—1932).

С. 449. *Чурилин Тихон* Васильевич (1885—1946) — поэт. О нем см. очерк АЦ «О Тихоне Чурилине», представляющий собой обработанный фрагмент «Воспоминаний» (Неисчерпаемое. М.: Отечество, 1992. С. 41—43).

«*Ах, в одной из стычек под Нешавой...*» — Этот фрагмент стихотворения приведен АЦ по текстам стихов Т.Чурилина, списанным ею у поэта Григория Петникова в Старом Крыму 18 октября 1969 г.

С. 450. «*Не сегодня — завтра растает снег...*» — Стихи МЦ, посвященные Т.Чурилину. Замечается разночтение с текстом, опубликованным в МЦС. Так, здесь в шестой строке «И торопятя от тебя прохожие», а не «прохожий» в единственном числе.

С. 451. ... «*Весна после смерти*» Тихона... — Эта книга вышла в московском издательстве «Альциона» в 1915 г.

Гончарова Наталья Сергеевна (1881—1964) — живописец, график, сценограф. С 1915 г. жила за границей.

С. 452. ...*Тихон читал нам повесть о своем детстве...* — Речь идет о книге: *Чурилин Т.* Из детства далечайшего: Главы из поэмы (1916). Посвящено МЦ.

...с его книгой «*Конец Кикапу*». — Книга вышла в московском издательстве «Лирень» в 1918 г.

С. 455. *Надежда Алексеевна Борисова* — няня сына АЦ Андрюши Трухачева в Александрове, затем в Москве, потом в Крыму, после стала няней у детей МЦ Ариадны и Ирины. См. МЦС. Т. 4. С. 137—148. См. о ней также в романе АЦ «Амог» (с. 148 и далее).

С. 456. ... «Макс и Мофиц» Буша... — Имеются в виду короткие рассказы-анекдоты о двух шалопаях, сопровождаемые авторскими рисунками Вильгельма Буша (1832—1908), немецкого поэта и художника, скульптора, создателя жанра комиксов.

Мозжухин Иван Ильич (1888—1939) — киноактер. Работал в провинциальных театрах, затем в московском Введенском народном доме. Первые роли в кино исполнил в 1911 г.: скрипач Трухачевский («Крейцера соната» — по Л.Н.Толстому), Ставрогин («Николай Ставрогин» — по роману Ф.М.Достоевского «Бесы», 1915), князь Касатский («Отец Сергей» — по Л.Н.Толстому, 1918). В 1920 г. эмигрировал.

Лисенко Наталия Андриановна (1880—1969) — киноактриса. Жена и партнерша И.И.Мозжухина. В 1904 г. окончила студию МХТ. Играла в провинции, в московском театре Корша. В кино с 1915 г. Умерла в эмиграции, в Париже.

С. 458. «Белое небо и низкие, низкие тучи...» — стихотворение МЦ.
«Никто ничего не отнял...» — из одноименного стихотворения МЦ.

С. 461. *Мясоедов* Сергей Николаевич (1865—1915) — жандармский полковник. С 1901 г. — начальник Вержболовского отделения Санкт-Петербургской Варшавской ЖПУ железной дороги. В 1909 г. назначен в распоряжение военного министра. Начальник агентурной разведки в штабе 10-й армии генерала Сиверса; в феврале 1915 г. арестован в Ковно и обвинен в государственной измене. Повешен как шпион.

Самсонов Александр Васильевич (1859—1914) — генерал от кавалерии, командующий 2-й армией Северо-Западного фронта, был окружен, вместе с двумя корпусами своей армии в болотах Восточной Пруссии осенью 1914 г., покончил с собой.

...лечебница Юрасовского... — Родовспомогательная лечебница Ивана Константиновича Юрасовского находилась в Большом Николопесковском переулке, д. 4, на 1 этаже. Дом принадлежал жене врача, Н.В.Юрасовской.

С. 464. ...я вспомнила о фотографии, ныне утраченной... — Теперь эта фотография общеизвестна.

С. 468. ...вышла замуж за молодого князя Кудашева. — Сергей Александрович Кудашев (ум. в 1919 г. в Туапсе от брюшного тифа).

С. 469. ...с черными бранденбургами... — Витые шелковые шнуры, шпивавшиеся спереди на верхнюю одежду.

С. 471. *Виктория Регия* (от латин. victoria — победа и regius — царский) — кувшинка с огромными листьями и большими благоухающими цветками. Открыта в 1836 г. Р.Шомбургом в Южной Америке.

Названа в честь Виктории, английской королевы, интересовавшейся ботаникой.

С. 472. *Из писем Бориса к М.И.Кузнецовой...* — Фрагменты писем Б.С.Трухачева к М.И.Кузнецовой ранее не публиковались.

С. 473. ... «*оружьем на солнце блистая...*» — начальная строка из известной одноименной песни «Оружием на солнце сверкая» популярного сочинителя и исполнителя В.А.Сабинина.

С. 476. «*Аймек Хуарузи*» — «*Долина роз*...» — из стихотворения МЦ «Аймек-гуарузим — долина роз...».

С. 482. ...*офицер Саша Говоров*. — Александр Сергеевич Говоров (1891 — после 1964). В РГАЛИ в фонде МЦ (Ф. 1190. Оп. 2. Ед. хр. 262) хранится фотография его скульптурного портрета работы Н.В.Блажкова с автографом А.С.Говорова (1964).

С. 483. «*Помянет потомство еще не раз...*» — из стихотворения МЦ «Царю — на Пасху».

С. 485. ...*первую его философскую книгу «О понимании»...* — Имеется в виду кн.: *Розанов В.В. О понимании. Опыт исследования природы, границ и внутреннего строения науки как цельного знания*. М., 1886.

С. 487. «*Чем прогневили Тебя эти старые хаты...*» — из стихотворения МЦ «Белое солнце и низкие, низкие тучи...».

С. 491. ...*каким чудом попалось ему письмо Мора — Борису о рождении Алеши...* — Лихтенштуль старался ради части наследства найти доказательство, что Алеша не сын М.Минца. Он приехал с АЦ в 1917 г. в Александров, где она чуть не отдала ему письмо Минца, служившее доказательством отцовства, однако из соседней комнаты появились возмущенные МЦ и офицер А.С.Говоров и не позволили увезти письмо. Правда, узнав о смерти мальчика, Лихтенштуль все же переживал (из устного рассказа АЦ автору примечаний).

Татиока — название некоторых сортов крупы саго.

С. 492. *И умер в нищете Розанов*. — Об этом подробнее см.: *Иванова Евг. В.В. Розанов. Письма 1917–1919 годов // Литературная учеба*. 1990. № 1. С. 70–88.

...*до мая 1921 года, Троице-Сергия*. — 22 мая 1921 г. (в Николин день) АЦ прибыла с сыном Андреем в Москву.

Часть двадцать пятая. МОСКВА

С. 493. *Б.А.Бессарабов* — Борис Александрович Бессарабов явился прототипом героя поэмы МЦ «Егорушка». См. о нем записи МЦ «Большевик» (МЦ. Неизданное. Записные книжки. Т. 2. М., 2001.

С. 240–241). Подробнее о нем см.: Катаева-Лытжина Н.И. Большевик и Марина Цветаева // Катаева-Лытжина Н.И. Прикосновения: Статьи разных лет. М.: Дом-музей Марины Цветаевой, 2002. С. 124–140.

...машинописный сборник стихов 1917–21 гг. «Юношеские стихи», мне посвященный... – Сборник стихотворений МЦ 1913–1915 гг., при ее жизни не публиковался.

«Я эту книгу поручаю ветру...» – из одноименного стихотворения МЦ.

С. 495. «Дивный терем стоит» – название свадебной песни, автор слов которой М.Глинка.

С. 496. Ланн (наст. фамилия Лозман) Евгений Львович (1896–1958) – писатель, поэт, переводчик английской литературы. Известны четыре стихотворения, посвященные МЦ Ланну. Им вдохновлена и ее поэма «На Красном коне».

С. 498. Александра Владимировна Кривцова (ум. 1958) – переводчица, жена Евг. Ланна.

С. 499. Будут переводить Диккенса. – В частности они перевели: «Приключения Оливера Твиста» (А.В.Кривцова), «Тайна Эдвина Друда» (Е.Л.Ланн), «Посмертные записки Пиквикского клуба», «Жизнь Дэвида Копперфилда, рассказанная им самим» (Е.Ланн совместно с А.Кривцовой).

«Благословляю ежедневный труд...» – из одноименного стихотворения МЦ.

«Не самозванка – я пришла домой...» – из одноименного стихотворения МЦ.

С. 500. «Как правая и левая рука...» – стихотворение МЦ.

«Привычные к степям – глаза...» – из стихотворения МЦ «Глаза».

«Чтобы помнил не часочек, не годок...» – из одноименного стихотворения МЦ.

С. 501. «...Простите меня, мои горы!..» – из одноименного стихотворения МЦ.

«Восхищенной и восхищённой...» – из одноименного стихотворения МЦ.

Стихов Ланна, трудных, нелитературных... – В РГАЛИ в фонде МЦ (Ф. 1190. Оп. 2. Ед. хр. 2) находится автограф стихотворения Е.Л.Ланна «Ролланд», сохранились также его стихи «Ангелы откровения», «Четыре коня апокалипсиса» «Христос», «Смерть поэта», «В руки Бога», «Непокой» (Ф. 1210. Оп. 1. Ед. хр. 133, 134).

С. 502. ...батшко Иван... – Один из главарей банд «зеленых», действовавших в Крыму.

С. 503. *Леонид Ландсберг*. — О нем АЦ рассказывает подробно в романе «Апог» (с. 295–299).

Петухив — ободранное чучело лисы в квартире МЦ (в доме № 6 в Борисоглебском переулке), своего рода иронический и мифологический тотем жилища.

С. 505. *Антокольский* Павел Григорьевич (1896–1978) — поэт. См. кн.: *Гений памяти: Переписка А.И.Цветаевой и П.Г.Антокольского / Сост. и примеч. Г.К.Васильева и Г.Я.Никитиной*. М.: Дом-музей Марины Цветаевой, 2000; *АЦ. Воспоминания о Павлике Антокольском // Наука и жизнь*. 1986. № 5. С. 78–81. См. о нем у МЦ в «Повести о Сонечке».

Завадский Юрий Александрович (1894–1977) — режиссер, актер, народный артист СССР (1948). С 1915 г. актер студии Вахтангова, затем — МХАТа. С 1924 г. руководил основанной им театральной студией. С 1940 г. — главный режиссер Театра им. Моссовета. См. о нем у МЦ в «Повести о Сонечке».

С. 506. «*Два ангела, два белых брата...*» — строка второго стихотворения МЦ из цикла «Братья».

«*Я помню ночь на склоне ноября...*» — строка первого стихотворения МЦ из цикла «Комедьянт».

«*Сегодня снова Диккенсова ночь...*» — строка из стихотворения МЦ «Диккенсова ночь».

«*Проста моя осанка...*» — из одноименного стихотворения МЦ.

«*Мой путь не лежит мимо дому — твоего...*» — из одноименного стихотворения МЦ.

С. 507. *О Казанове*. — Речь идет о пьесе «Приключение». Казанова Джакомо (1725–1798) — итальянский международный авантюрист, автор «Мемуаров», главный герой пьес МЦ «Приключение» и «Феникс». Образ Казановы часто встречается в ее стихах, прозе и переписке

«*...заря сменить другую спешит, дав ночи — полчаса...*» — из поэмы А.С.Пушкина «Медный всадник».

Сонечка Голлидэй — Софья Евгеньевна Голлидей (1894–1934), актриса, чтица, ученица Вахтангова, подруга МЦ в 1919–1920 гг. Ей посвящен стихотворный цикл МЦ «Стихи к Сонечке» и очерк «Повесть о Сонечке».

С. 508. *Коган* Петр Семенович (1872–1932) — историк литературы, критик либерально-марксистского направления.

Гольдманы — Елизавета Моисеевна Гольдман (урожд. Штейншнейдер; 1884–1920), жена адвоката Михаила Юрьевича Гольдмана (1880–1939). В очерке МЦ «Чердачное» есть такая запись: «Гос-

пожа Гольдман, соседка снизу, от времени до времени присылает детям супу и сегодня насильно “одолжила” мне третью тысячу» (МЦС. Т. 4. С. 534).

Разве это не те библейские праведники, ради которых уцелевал город? От огненного дождя... — Речь идет о библейском сюжете, где рассказывается, что, когда праведный Лот с дочерьми покинул город Содом, волею Господа начался огненный дождь, город уничтоживший (Быт. 19:15–27).

Валя уехал в Старый Крым... — Имеется в виду Валентина Иосифовна Зелинская (прозвища Валёк, Панич; 1892–1928), художница. См. о ней: *Купченко В.* Странствие Максимилиана Волошина. М.: Logos, 1997. С. 288; *Волошина М.С.* О Максе, о Коктебеле, о себе: Воспоминания. Письма. Феодосия; Москва: ИД «Коктебель», 2003. С. 227–229. В романе АЦ «Амог» выведена в мужском роде как Андрей Павлович, начиная с гл. 3 и далее.

Ольга Васильевна Астафьева (урожд. Тимофеева; 1886–1974) — близкая подруга М.С.Волошиной (см. упоминание о ней в письмах МЦ (МЦС. Т. 6. С. 194, 196) и в романе АЦ «Амог»).

С. 509. *...а я была при Мэровингах...* — Меровинги, первая династия франкского государства в Галлии, получили название от короля Меровеха или Меровея (448–457), господствовали 481–751 гг., ослабили свое могущество междоусобицами и должны были уступить власть дому Каролингов. Ср.: *Тьерри О.* Рассказы о временах. М., 1848.

Хильперик I (Хильперих) — франкский король в 561–583 гг., все правление его прошло в конфликтах из-за стремления к захвату чужих земель; женился на Фредегонде, убившей его первую жену Галесвинту, что повлекло за собой долголетнюю войну с Брунгильдой, сестрой убитой.

Фредегонда (около 545–597) — королева Нейстрии с 567 г., жена Хильперика I. Была в непримиримой вражде с австразийской королевой Брунгильдой.

...а я была его жена, Асмаведа, и она разлучила нас... — Однако женой Хильперика была не Асмаведа, а Фредегонда. Значение же слова «Асмаведа» иное — в ведический период по специальному указу царя устраивались жертвоприношения, к ним готовились весь год; приносили в жертву коня; такое жертвоприношение называлось Асмаведа. И роль АЦ в отношении Астафьевой действительно жертвенна, она отказывается от Зелинской, уступает место другой.

С. 510. *«Вот он идет через мир...»* — стихотворение в прозе АЦ. *Машков* Илья Иванович (1881–1944) — живописец.

С. 513. *Я тебе посылала стихи ему?* — В письме МЦ к АЦ 17 декабря 1920 г. приводится стихотворение «Не называй меня никому...» (МЦС. Т. 6. С. 192).

«Господь, ко мне!..» — из стихотворения МЦ «Короткие крылья волос я помню...».

«Не называй меня никому...» — из одноименного стихотворения МЦ.

С. 515. ...в моей повести «Чудесное дитя»... — Для этой повести АЦ взяла название одноименной сказки Э.Т.А.Гофмана. Пропала при аресте АЦ в 1937 г.

«И недвижно висит, как распластанная в воздухе птица, жара...» — строка, которую вспомнила АЦ из повести «Чудесное дитя».

С. 516. *Екатерина Николаевна Калецкая* — жительница Старого Крыма, близкая приятельница АЦ и ее сына Андрея. Жила ранее в Петербурге. Героиня очерка АЦ «История одного портрета» (газ. «Миссия». 1993. № 1. С. 10).

С. 517. *Люба Жуковская* — Любовь Александровна Жуковская (в замуж. Герцык; 1890—1943, указ. Т.Н.Жуковской), жена Владимира Казимировича Герцыка, брата поэтессы Аделаиды Герцык.

Кудрявцев Николай Васильевич (1855—?) — географ, ботаник, геолог. Профессор Петербургского университета. В 1880 г. участвовал в Мурманской экспедиции, прошел по маршруту Кандалакша—Кола, собрав значительную ботаническую и геологическую коллекции.

С. 519. «*И горят, горят в корзинах свечи...*» — из стихотворения О.Мандельштама «Венецкой жизни мрачной и бесплодной...»

С. 520. ...отец (педагог)... — Андрей Александрович Экк был учителем и директором школы в Старом Крыму. О представителях семьи Экк см.: *Кутченко В.* Странствие Максимилиана Волошина. М.: Logos, 1997. С. 281, 282, 349, 385.

С. 521. *Верховоецкая* Наталья Александровна — упоминание о ней см. в романе АЦ «Атог» (с. 190). См. также письмо МЦ С.Эфрону (МЦС. Т. 6. С. 135).

С. 523. ...то есть не в Босалаке... — Речь идет об имени, которое принадлежало Екатерине Борисовне Тумановой, чья дочь В.И.Зелинская была подругой АЦ.

С. 524. *Кайзер* Валентин Карлович — специалист по внутренним болезням, врач 1-го Московского городского туберкулезного санатория им. Н.Д.Четвериковой в Сокольниках, преподаватель медицинского факультета Московских высших женских курсов.

Карга Сим Самойлович — известный врач.

С. 525. ...крестины *Ириночки*. — Имеется в виду Ирина Борисовна Трухачева (1918, по паспорту 1923—1980). О ней см. в письме МЦ

к АЦ от 17 декабря 1920 г., а также в письме МЦ к М.И.Кузнецовой от 16 марта 1921 г.: «Приветствую и люблю Вашу дочку, — дай Бог ей счастья!...» (МЦС. Т. 6. С. 193, 200).

Сальтисон — жаркое старинной кухни: набитый всякой всячиной свиной желудок.

С. 529. *Елизавета Ивановна Старынкевич* (1890—1966) — филолог, литературовед, педагог.

Курдюмов Валерий — художник. Известна его картина «Приготовление к вахтпараду при Павле I» (Государственная Третьяковская галерея).

С. 530. *Но умерли наши два мальчика. И могилки рядом, под Сюрик-Кайей.* — Умерли в 1917 г. Алик Курдюмов и Алеша Минц-Цветаев, похоронены на старом Коктебельском кладбище.

С. 533. «*Жить приучил в самом огне...*» — из стихотворения МЦ «Вчера еще в глаза глядел...».

...о смерти Ирины? В марте тысяча девятьсот двадцатого. — Ирина Сергеевна Эфрон (1917—1920), вторая дочь МЦ. Умерла от голода в Кунцевском детском приюте в середине февраля.

С. 534. *...иногда мы бывали у Коган. У нее был роман с Блоком...* — Речь идет о Надежде Александровне Нолле-Коган (1888—1966), переводчице, жене П.С.Когана. Познакомилась с МЦ осенью 1921 г. (указ. Е.Б.Коркиной). К Нолле-Коган обращен цикл «Подруга» (1921). Сохранилось письмо АЦ к Н.А.Нолле-Коган от 1927 июля 1928 г. (РГАЛИ. Ф. 232. Ед. хр. 266).

...растит его маленького сына. — Так МЦ ошибочно считала в 1920-е гг. Позже, в ее письме к В.Н.Буниной от 20 ноября 1933 г., читаем: «...Вы мне напомнили Блока, когда он узнал, что у него родился сын (оказавшийся потом сыном Петра Семеновича Когана, но это неважно: он верил)...» (МЦС. Т. 7. С. 261).

С. 535. *...Лиля и Вера... они вздумали мне предложить, чтобы я им отдала — насовсем! без права взять ее назад, когда станет легче — Ирину!* — См. об этом письмо МЦ к АЦ 17 декабря 1920 г.: «В феврале этого года умерла Ирина — от голода — в приюте, за Москвой. Аля была сильно больна, но я ее отстояла. — Лиля и Вера вели себя хуже, чем животные, — вообще все отступились» (МЦС. Т. 6. С. 190).

С. 536. *Мирра* — Мирра Константиновна Бальмонт (1907—1970), поэтесса, вторая дочь К.Бальмонта, от третьего брака (с Е.Цветковской). Умерла в эмиграции, во Франции.

...его жена — прелестна. — Имеется в виду Елена Константиновна Цветковская (1880—1943), третья жена К.Д.Бальмонта. Она была, как о ней говорила АЦ, «его неотступной тенью» в скитаниях.

...строки давнего письма Антокольского... — Это письмо неизвестно.

С. 538. *«К тебе, имеющему быть рожденным...»* — из стихотворения МЦ «Тебе — через сто лет».

С. 539. *...типография шестнадцатая, бывшая Левенсон.* — Имеется в виду Т-во скоропечатни А.А.Левенсон, поставщик двора Его Величества. Типография находилась в Трехпрудном переулке, д. 5; там была напечатана книга АЦ «Дым, дым и дым».

...с матерью Вали. — Имеется в виду Екатерина Борисовна Зелинская (урожд. Туманова, в первом браке Гамкрелидзе; ок. 1853—1937), революционерка, жена Иосифа Викторовича Зелинского (ок. 1857—1928), народовольца. О ней также в кн.: *Волошина М.С.* О Максе, о Коктебеле, о себе. Феодосия; Москва: ИД «Коктебель», 2003. С. 229.

С. 541. *...у одного... художника (мужа Ольги Васильевны).* — Имеется в виду Константин Николаевич Астафьев (псевд. Астори; ок. 1890—1975), с 1920 г. в эмиграции.

С. 542. *Волконский Сергей Михайлович (1860—1937), князь — театральный деятель, художественный критик, беллетрист, мемуарист. Внук декабриста С.Г.Волконского и начальника III Отделения А.Х.Бенкендорфа.*

С. 543. *Цикл «Ученик» («Ремесло»)...* написан... князю Волконскому. — Кроме этого цикла стихов, МЦ посвятила Волконскому и статью-апологию «Кедр», где рассказала о его книге «Родина», третьей части мемуарного цикла «Мои воспоминания».

С. 544. *...стихотворные пьесы о Лозэне...* — Жизни Армана-Луи де Гонто, герцога де Лозэна (1747—1793) МЦ посвятила пьесу «Фортуна». Его мемуарами МЦ пользовалась в своей работе над этой пьесой.

Военное учреждение, куда меня вызовом на работу устроила Марина... — Имеется в виду Центральное Управление Путей Военных Сообщений (ЦУПВОСО). В своей «Автобиографии» АЦ писала: «С 1921 года по 24-й год работала в ЦУПВОСО в СЦСУ, в Главкустпроме» (архив автора примечаний).

С. 546. *...как она писала, «в апофеозе папиросы»...* — из стихотворения МЦ «Когда-нибудь, прелестное создание...»: «Забудешь ты мой профиль горбоносый, / И лоб в апофеозе папиросы».

С. 548. *...на отрока Варфоломея с васнецовской (нестеровской?) картины «Явление»...* — Имеется в виду картина «Видение отрока Варфоломея» М.В.Нестерова.

С. 549. *«Когда мы еще были дома...»* — из стихотворения МЦ. Не входит в МЦС. Полный текст см.: *Волконский Ю.Г., Лебедева М.С.* Ранние стихи М.Цветаевой в архиве В.Я.Ионаса // На путях к постижению М.Цветаевой. М., 2002. С. 40—41.

С. 550. «Домики с знаком породы...» — из стихотворения МЦ «Домики старой Москвы».

С. 551. *Уварова* Елена Александровна — актриса Московского государственного Камерного театра.

Фома Кемпийский — имеется в виду Томас Хемеркен (ок. 1379—1471), немецкий монах и священник, член духовного союза «братьев Общей жизни», предполагаемый автор трактата «О подражании Христу».

С. 552. «...Чердак — каюту...» — из первого стихотворения МЦ «Когда-нибудь, прелестное создание...» цикла «Але».

С. 554. *З.Н-на, бледная, полная брюнетка.* — Имеется в виду Зинаида Николаевна, первая жена Андрея Ивановича Цветаева.

С. 556. *...в Музее сороковых годов...* — Бытовой музей сороковых годов XIX века — памятник московского дворянского быта. Создан в 1920 г. (как филиал Государственного исторического музея) в доме А.С.Хомякова (Собачья площадка, д. 7; дом разобран при прокладке Нового Арбата). Основа музея — сохранившееся имущество Хомяковых, пополнившееся предметами быта и искусства из других московских особняков и подмосковных усадеб. После ликвидации музея в 1929 г. его фонды были переданы в ГИМ. См.: *Шапошников Б.В.* Бытовой музей сороковых годов. М., 1928.

Главнаука — Главное управление научными, научно-художественными и музейными учреждениями, существовало в составе Наркомпроса РСФСР с 1922 до сентября 1933 г. (в 1930 г. было переименовано в Сектор науки).

РАБИС (Всерабис — Всесоюзный профессиональный союз работников искусств) — массовая профессиональная организация в СССР.

С. 557. *...сын родился.* — Юрий Анатольевич Виноградов (погиб в 1943 г.), младший офицер Красной армии.

...как бедным студентом его туда папа взял! — Штат был полон, и И.В.Цветаев взял А.Виноградова на должность сотрудника вне штата и без оклада: «Это бесплатное сотрудничество началось с 1909 г. и продолжалось изо дня в день полных шесть лет до 1912 г., когда я окончил университет и поступил на штатную должность младшим помощником библиотекаря», — пишет А.К.Виноградов в Автобиографии (РГАЛИ. Ф. 1303. Оп. 1. № 299). Т.е. поступил уже после ухода И.В.Цветаева с поста директора Румянцевского музея (в 1910 г.).

С. 559. «*Обронил орел залетный перышки...*» — начало поэмы МЦ «Егорушка». Точнее: «Обронил орел залетный — перышко. / Родился на свет Егорий-свет-Егорушка...»

С. 560. ...*высокая женщина встает...* — Имеется в виду Елена Всеволодовна Виноградова (урожд. Козлова; 1900—1975), первая жена А.К.Виноградова; она помогала ему в переводе художественных произведений с французского языка, была библиотечным работником.

С. 560. *Гершензон* Михаил Осипович (Мейлих Иосифович; 1869—1925) — литературовед, публицист. В 1917 г. Гершензон стал одним из организаторов и первым председателем Всероссийского союза писателей, куда с его и Н.Бердяева рекомендации вступила АЦ.

С. 561. *Миндлин* Эмилий Львович (1900—1981) — писатель, поэт. Сестер Цветаевых он вспоминает в своей мемуарной книге «Необыкновенные собеседники». Книга содержит неточности. В рецензии «Размышления над книгой А.Саакянц “Марина Цветаева”» АЦ пишет: «Миндлин! В своей книге он так расписал свое с Мариной знакомство, что оно представлено — вроде — годами. А длилось оно один месяц или, может быть, полтора» (Звезда. 1987. № 8. С. 182—187).

С. 562. *Дювернуа* Александр Львович (1840—1886) — профессор-славист. См. о нем: *Соболевский А. А.* Л.Дювернуа // Журнал Министерства Народного Просвещения. 1886. VI; А.Л.Дювернуа // Исторический вестник. 1886. V.

С. 564. *Марфуша* — прислуга Елизаветы Моисеевны Гольдман. О ней, о ее роли в этой семье см. в кн.: *Катаева-Лытжкина Н.И.* Прикосновения. М.: Дом-музей Марины Цветаевой, 2002. С. 47—63.

С. 565. *Круглое лицо Нади...* — Надежда Михайловна Гольдман-Гальперина (р. 1908), окончила факультет французского языка МГУ. В 1929 г. вышла за И.Р.Гальперина, позже профессора института иностранных языков, составителя англо-русских словарей. Ее рассказ о МЦ и АЦ приводится в кн.: *Катаева-Лытжкина Н.И.* Прикосновения. С. 47—63.

С. 569. ... «он ее никогда не любил!» — Имеются в виду строки из стихотворения Эллиса «Самообман»: «Что в тебе целый мир люблю, / Я тебя — никогда не любил!».

С. 571. *Еще в Феодосии я начала писать сказки...* — В Феодосии в 1921 г. создана, например, символическая «Сказка о девочках-великанах», вошедшая в кн. АЦ «Сказки» (М.: Гиль-Эстель, 1994).

...*сказка «Скрипач».* — В опубликованную авторскую версию романа «Амог» сказка о татарском скрипаче Я.Эфенди (Я.Шефферединов) попала лишь в кратком фрагментарном изложении.

С. 572. ...*его жена Вера.* — Вера Алексеевна Зайцева (урожд. Орешникова, 1878—1965).

С. 573. ...*с Таней Тургеневой Соловьев давно разошелся, она от него ушла... умерла. И отец был виной ее смерти.* — Об этом см. у АЦ «История

одной судьбы» (газ. «Одесский вестник». 1993. № 197, 18 ноября С. 8), см. также: *Соловьев С.М.* Детство: Главы из воспоминаний / Вступит. ст. Н.С.Соловьевой //Новый мир. 1993. № 8. С. 179.

С. 574. *Гаршин* Всеволод Михайлович (1855–1888) – писатель, участник русско-турецкой войны. Страдал припадками душевного расстройства, покончил жизнь самоубийством.

С. 577. *Виноградов пережил неприятности по службе, уже не был директором бывшего Румянцевского музея.* – А.К.Виноградов оставался заведующим Румянцевским музеем и библиотекой с 11 марта 1921 г. по 24 ноября 1924 г.

С. 578. *...но нашел выход в связях с литературой...* – Стал создавать труды, посвященные творчеству Стендаля и Мериме, как, например, «Мериме в письмах к Соболевскому» (М., 1928), «Стендаль и его время» (М., 1938) и др.

...возобновил юношеские опыты... – Имеются в виду неоконченные произведения «Повесть об очарованном книжнике» и «Девочка со скрипкой», которую он читал однажды, по словам АЦ, в доме Цветаевых в Трехпрудном, и др.

...и увлеченно пишет большую историческую вещь. – Возможно, речь идет о книге «Мериме в письмах к Соболевскому» (1928).

...двое детей, лет четырех, пяти – сын, дочь. – Речь идет о Юрии Анатольевиче (см. примеч к с. 557) и Надежде Анатольевне (р. 1923), искусствовед, авторе научных трудов, книг по восточному искусству.

С. 579. *...скача через «города и годы»...* – Здесь обыгрывается название романа К.Федина «Города и годы».

С. 580. *Володя наш, вы знаете? – умер...* – Речь идет о брате Евгения – Владимире Федоровиче Мурзо.

С. 581. *...в 1921 году предсказав там революцию...* – Имеется в виду революция в Центральном Китае (12 апреля – 15 июля 1927 г.).

С. 582. *Звягинцева* Вера Клавдиевна (1894–1972) – поэтесса, переводчица. См. письма к ней МЦ (МЦС. Т. 6. С. 148–156).

Ты Есенина любишь? – Сергею Александровичу Есенину (1895–1925) посвящено стихотворение МЦ «Брат по песенной беде». Также в стихотворном цикле «Маяковскому» МЦ создает в стихотворении «Советским вельможей...» (6) воображаемый поэтический посмертный диалог между поэтами – застрелившимся Маяковским и повесившимся Есениным.

С. 583. «*Фонарей безутешные точки...*» – из стихотворения МЦ «Встреча».

С. 586. *Гейрот* Александр Александрович (1882–1947) – заслуженный артист РСФСР (с 1933 г.). В 1911–1912 гг. играл в Старинном

театре в Петербурге. В 1924–1935 гг. – актер МХАТа 2-го. В 1913–1923 и 1935–1947 гг. – в труппе МХАТа. Он был блестящим исполнителем эпизодических ролей. Его искусство было отмечено оригинальностью, иронией, остроумием.

С. 591. ...*Вересаева, знавшего меня по Коктебелю...* – В октябре 1918 г. во время революции Вересаев уехал из Центральной России в Крым, в Коктебель, где хотел пробыть три месяца, а прожил три года.

Там у них, в доме Герцена... – Этот ресторан описан в романе М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита».

...*собирать сборник «Версты».* – Этот сборник вышел двумя изданиями с разным составом: в первый вошли стихи, написанные с января 1917 г. по декабрь 1920 г., всего 35 стихотворений (М.: Костры, 1921), во второй «Версты. Вып. I» вошли стихи 1916 г. (М.: ГИЗ, 1922).

Должно быть, в 1921-м я была принята в Союз писателей с зачислением на биржу труда. – Точная дата зачисления неизвестна: архив Всероссийского союза писателей не сохранился. Он был уничтожен в 1941 г., когда к Москве подходили немецкие войска.

...«*Сон*», затем переименованной в «*Бред*». – Сказка АЦ не сохранилась.

С. 592. *У Бердяева была красавица-жена...* – Имеется в виду Лидия Юлифовна Трушева (1874–1945).

...*кормилец жены, сына и дочери...* – Речь идет о Марии Борисовне Гершензон (урожд. Гольденвейзер; 1873–1940), сестре известного музыканта А.Б.Гольденвейзера; сын – Сергей Михайлович Гершензон (1906–1998), выдающийся генетик, академик АН Украины (1976); дочь – Наталья Михайловна Гершензон-Чегодаева (1907–1977). Написала биографию отца «Первые шаги жизненного пути: Воспоминания дочери Михаила Гершензона» (М.: Захаров, 2000).

С. 594. ...*чета Блажих...* – Дмитрий Дмитриевич Благой (1893–1984), литературовед, член-корреспондент АН СССР (с 1953 г.), профессор МГУ (с 1943 г.), и Софья Рафаиловна Благая – деятельная помощница Д.Благого «в выверке текстов». Об этом он пишет с благодарностью в статье «От редактора», опубл. в кн.: *Батюшков К.Н. Сочинения.* М., 1934.

...*рассказывала мне, как она видела Марину, стирающую, на столе оттирающую рубашку Миндлина, и как это ее возмутило.* – М.И.Кузнецова-Гринева крайне отрицательно относилась к Э.Миндлину. АЦ рассказывала также, что однажды на улице М.И.Кузнецова-Гринева, встретив Миндлина, со скандалом пыталась снять с молодого человека штаны, унесенные им, по ее словам, у ее знакомого.

...мне кажется, «Пустоты отроческих глаз» посвящено ему. — Речь идет о стихотворении МЦ «Отрок», которое действительно посвящено Э.Миндлину.

С. 595. *Фесслер* Адольф Иванович (1826—1885) — бывший подданный Австрии, принявший российское гражданство, ученик Айвазовского, лучший его копиист.

С. 597. ...*в семье своих друзей Тарасевичей...* — Глава семьи — Лев Александрович Тарасевич (1868—1927), врач, микробиолог, профессор Медицинского факультета Московских высших женских курсов, преподаватель Московского городского народного университета имени А.Л.Шанявского. В советское время — академик АН УССР. Его жена Анна Васильевна (урожд. Стенбок-Фермор) — сестра бабушки Сергея Кудашева, сына М.Кудашевой. Подробнее см. в кн. *Медзмариашвили Г.* «Я жив благодаря ей...» (М., 2000. С. 80).

С. 599. ...*Плач Ярославны!* — Цикл из трех стихотворений МЦ (МЦС. Т. 2. С. 7—8).

С. 601. ...*Грин писал свой бредовый рассказ о Торговых рядах и о крысах.* — Речь идет о рассказе А.Грина «Крысолов», где крысы изображены мистическими существами, которые могут принимать человеческий облик.

Когда родилась «Диаволиада» Булгакова. — «Дьяволиада» М.А.Булгакова была написана в 1923 г., опубликована в 1924-м (Недра. № 4).

С. 602. *Чтобы вернуть Тетин тарусский дом, поднять все бумаги за несколько лет, найти ее нотариальное завещание...* — Дом так и не был возвращен АЦ по завещанию, ныне в этом доме находится Музей семьи Цветаевых (открыт в 1992 г.).

...*разобрали по бревнам...* — Имеется в виду дом в Трехпрудном переулке, завещанный Андрею Ивановичу и Валерии Ивановне Цветаевым.

С. 603. *Ваша сестра Марина Ивановна написала нам, что Вы назад не придете, потому что убиты горем...* — В письме МЦ к А.А. и А.Ф. Лебедевым, найденном в их семейном архиве значительно позже, об этом не говорится. Вот его текст: «Многоуважаемые г-да Лебедевы! Согласно поручению моей сестры Анастасии Ивановны Трухачевой, прошу Вас выдать ее вещи (в ящиках) и мебель Алексею Антоновичу Борису. Марина Эфрон. Москва 27-го декабря 1918 г. 8 марта 1919 г.» (МЦС. Т. 6. С. 148).

С. 605. ...*обездолили, Дон Кихота Ламанчского...* — Т.е. обездолили надмирного, непрактичного, неприспособленного к жизни человека — Б.С.Трухачева.

С. 609. ...*сестра Тоня*... — Антонина Ивановна Кузнецова, актриса существовавшего в Москве в 1919—1937 гг. театра импровизации «Семперанте».

С. 611. ...*два сборника лирики*... — См. примеч. к с. 591.

«*Царь-Девича*» — сказка в стихах. Впервые отдельным изданием вышла в московском ГИЗе в 1922 г.

...«*Конец Казановы*». — В 1922 г. в московском издательстве «Созвездие» вышла книга «Конец Казановы. Драматический этюд». Это только третье действие, выпущенное издателями отдельно против воли МЦ. Полностью эта пьеса под названием «Феникс» была опубликована в журнале «Воля России» (Прага. 1924. № 8—9).

Главкустпром — при ВСНХ в 1922 году был образован Главкустпром, а на местах — его местные органы.

С. 612. *Иверская часовня* — часовня Иверской иконы Божией Матери у Воскресенских ворот с XVII в. была самой чтимой московской святыней. Свой окончательный вид она получила в 1791 г., когда ее перестроил Матвей Казаков. В 1929 г. была закрыта и снесена. И только в ноябре 1994 г. Патриарх Алексий II освятил закладку Иверской часовни. Менее чем за год ее восстановили, и с октября 1995 г. часовня вновь была открыта.

Об Иверской иконе Божией Матери МЦ писала: «А вон за тою дверцей, / Куда народ валит, / Там Иверское сердце, / Червонное, горит...»

С. 613. *Кустарный музей* — Торгово-промышленный музей кустарных изделий Московского губернского земства. В 1885 г. С.Т.Морозов построил здание (Леонтьевский пер., д. 7) в русском вкусе и открыл в нем этот музей в русском стиле. Позже он получил название Музей народного искусства НИИ художественной промышленности.

Компомгол — Комиссия помощи голодающим. Комиссию организовал М.Горький; в нее вошли известные ученые, писатели, общественные деятели: С.Прокопович, Е.Кускова, М.Осоргин, Б.Зайцев, С.Ольденбург и др. Председателем Компомгола был председатель ВЦИК М.И.Калинин. Почти все участники Компомгола были арестованы, и в 1923 г. комиссия была ликвидирована.

...я переводила с немецкого «От рабочего к астроному» Бруно Бюргеля... — Бруно Бюргель (1875—1948), немецкий писатель. Его книга в переводе АЦ вышла в Петрограде в 1923 г.

С. 614. *Двенадцалетний Даля*... — Даниил Дмитриевич Жуковский (1909—1938, указ. Т.Н.Жуковской), старший сын Аделаиды Герццк и Дмитрия Евгеньевича Жуковского.

Ника — Никита Дмитриевич Жуковский (1913—1995, указ. Т.Н.Жуковской), их младший сын.

Там же еще девочка... Вероника. — Вероника Владимировна Герцык (1916—1976, указ. Т.Н.Жуковской).

С. 615. *Наркомпрод* — Народный комиссариат продовольствия.

ЦЕКУБУ — Центральная комиссия по улучшению быта ученых при Совете народных комиссаров РСФСР. В 1921—1931 гг. председателем Комиссии был известный администратор от литературы, корреспондент А.М.Горького, коммунист А.Б.Халатов. У МЦ упомянута как КУБУ в ее очерке «Мой ответ Осипу Мандельштаму» (МЦС. Т. 5. С. 690).

...в кухне Томашевских... — Речь идет о семье соседа АЦ по коммунальной квартире адвокате Казимире Антоновиче Томашевском, художнике-любителе.

С. 617. *...вместе писали письма Сереже и Леониду...* — Т.е. Сергею Соколову и Леониду Ландсбергу.

...«хождение по мукам»... — Реминисценция к названию известного романа-трилогии А.Н.Толстого.

С. 619. *Интересантка* (устар.) — лицо, руководствующееся в своих поступках исключительно личным расчетом, корыстью, выгодой.

...за дело 1-го марта... — Покушение на Александра II-го? — Действительно, так называемое «Дело 1 марта» касается 1-го марта 1881 г., дня убийства императора Александра II в Петербурге террористами, членами партии «Народная воля» Желябовым, Перовской, Кибальчицем, Рысаковым, Гельфманом, Михайловым. Приговорены к смертной казни.

С. 623. *«Принцесса Брамбилла»* — этим спектаклем-каприччо Камерного театра по сказке Э.Т.А.Гофмана было положено начало линии арлекинады в творчестве А.Я.Таирова, который, категорически отказавшись тогда от постановки «современной» по идеологии пьесы, поставил масочное карнавальное действо. См. о нем: *Еленев Н.* Кем была Марина Цветаева? // *ВС.* Годы эмиграции. С. 18—21, 23.

С. 624. *Шура Зенковская* — Александра Александровна Занковская, дочь (от третьего брака) известного путешественника. Александра Николаевича Занковского и Эммы Гартнер.

...с трагической невероятной судьбой... — Имеется в виду тот факт, что у А.А.Занковской во время беременности обнаружили аппендицит и операцию, во время которой она скончалась, ей делал муж. Он покончил с собой в тот же день, похоронены они в общей могиле (указ. З.Н.Плавинской).

АРА — *ARA* (сокращенно от *англ.* American Relief Administration — «Американская администрация помощи») была создана для оказания помощи европейским странам, пострадавшим в Первой ми-

ровой войне (руководитель — Г.Гувер). В 1921 г. в связи с голодом в Поволжье деятельность «АРА» была разрешена в РСФСР.

С. 626. *Сац Наталия* Ильинична (1903—1993) — режиссер, драматург, музыкант, педагог, народная артистка СССР, создательница детского театра (1918), который первоначально имел название Государственный детский театр при Наркомате просвещения.

...молодой человек, имя которого мною забыто. Не Григорьев ли? — Имеется в виду Сергей Григорьевич Розанов (1894—1957), драматург, педагог, режиссер, зав. литературной частью Московского театра для детей (указ. Р.Н.Сац и З.Д.Мясниковой).

С. 628. *Олег Александрович Спенглер* (р. 1899) — гидролог, работал в Государственном гидрологическом институте в Ленинграде. Автор многих научных работ, в том числе статей по рекам и озерам зарубежных стран, подготовленных для 3-го издания Большой Советской энциклопедии. Автор мемуарного очерка о жизни в Санкт-Петербурге в начале XX в. (Нева. 2005. № 8). Также Спенглер автор книги «Слово о воде», представляющей собой своеобразную компактную энциклопедию природных вод (Л.: Гидрометеиздат, 1980). Один из героев очерка АЦ «История одного портрета» (газ. «Миссия». 1993. № 1. С. 11).

С. 629. *Шенгели* Георгий Аркадьевич (1894—1956) — поэт, переводчик, теоретик стиха.

...поселю его с женой... — Имеется в виду Манухина Нина Леонтьевна (1893—1980), поэтесса, вторая жена Г.А.Шенгели.

Встреча с Мариной

С. 639. *...какой великий князь будет царствовать...* — Об актуальности подобных споров свидетельствует факт выпуска книги бывшего сенатора Н.Н.Корево «Наследование престола по основным государственным законам» (Париж, 1922).

...Кирилл или еще кто-то... — Имеется в виду великий князь Кирилл Владимирович Романов (1876—1928). В 1922 г. объявил себя в эмиграции блюстителем Российского престола, а в 1924 г. — императором всероссийским.

С. 641. *«И гибельно глядеть на мир...»* — Двустрочие из раннего не сохранившегося стихотворения МЦ, фрагмент записан АЦ по памяти.

Серезжа работает — где и как может. В издательстве. — В 1926—1928 гг. С.Я.Эфрон работал в редакции евразийского журнала «Версты», одним из основателей которого он являлся.

Примечания

С. 642. ...героя «Поэмы Горы» — К.Б.Р. — Имеется в виду Константин Болеславович Родзевич (1895—1988), участник Гражданской войны, агент-разведчик иностранного отдела НКВД. С 1922 г. во Франции. Возлюбленный МЦ. Герой ее «Поэмы Горы» и «Поэмы Конца».

С. 643. ...была... в семье Бернацких... — См. подробнее об этом посещении в письме к В.Н.Буниной от 24 августа 1933 г. (МЦС. Т. 7. С. 248).

«Уж не многих я зову на ты...» — из стихотворения МЦ «Завораживающая! Крест...»

С. 644. ...прекрасные глаза его жены... — Имеется в виду Любовь Михайловна Эренбург (урожд. Козинцева, 1900—1971), художница.

Этим глазам Поль Элюар посвятил одну из своих молодых книг «Ses yeux»... — «Ses yeux» (с фр. «Ее глаза»). Известно стихотворение П.Элюара «Уклончивые глаза» в сборнике «Град скорби», посвященное Г.Дьяконовой. Он также автор книги «Щедрые глаза».

...гостит у бабушки, его матери. — Г.Дьяконова держала дочь большей частью вдали от себя.

С. 646. Абрам Маркович Эфрос (1888—1954) — искусствовед, литературовед, театровед, переводчик. С 1911 г. выступал как художественный критик, эссеист. В 1917—1929 гг. — музейный работник.

...старался ввести меня в штат Музея... — Усилия эти не увенчались успехом.

С. 647. Гренадин — сладкий красный сироп из граната, содержащий алкоголь.

...в музее Grevin... — Музей восковых фигур Гревен в Париже. Основан в 1882 г.

С. 649. «Больше балласту...» — из четвертого стихотворения МЦ цикла «Стихи к Пушкину».

С. 650. «Милая Ася...» — Письмо приводится АЦ по памяти, не сохранилось.

Последнее о Марине. Елабуга

С. 653. Лето 1943 года... я была на Дальнем Востоке. — Т.е. в сталинском лагере, описанном ею в романе «Амог». В устье Амура, близ города Амурска, на острове Крохалева установлен каменный памятный знак (работы А.А.Реутова), на котором слова: «Труженицам Амурлага. 1935—1956. С ними трудилась и Анастасия Ивановна Цветаева, русская писательница впечатляющей судьбы. Ее жизнь останется совестью нашего общества» (указ. Г.Я.Никитиной).

...пыталась сесть на поезд на станции Известковая. — В очерке «О Марине, сестре моей» АЦ пишет: «Моего заключения прошло шесть лет, оставалось еще четыре. Эти годы прошли без переездов, на станции Известковой».

С. 655. *Зинаида Митрофановна Ширкевич (1895–1977)* — подруга Е.Я.Эфрон.

«*Мафрина смерть будет самым глубоким, жгучим — слова нет — горем моей жизни*»... — Из книги АЦ «Дым, дым и дым» (см.: АЦ. Собрание сочинений. М.: Изограф, 1995. Т. 1. С. 184).

С. 656. *...я писала одной Лиле Эфрон.* — Имеется в виду письмо АЦ к Е.Я.Эфрон от 11 августа 1943 г., где говорится: «Я боюсь, что Вы от меня скрываете дурные вести, п.ч. знаете, какой удар для меня было бы получить их достоверно» (Нева. 2003. № 3. С. 189).

С. 657. *...Елизавета Петровна Дурново-Эфрон повесилась в 1910 году в Париже, пятидесяти четырех лет, на том же крюке, где ее четырнадцатилетний, младший, Котик.* — Тут допущена неточность: К.Я.Эфрон повесился на трубе в ватер-клозете, мать же его Е.П.Эфрон — рядом в столовой, а не «на том же крюке». Об этом см.: МЦ. Неизданное. Семья: История в письмах. М.: Эллис Лак, 1999. С. 22–23.

...в августе уехала Аля... — «В ночь на 27 августа в “Новый быт”, к дому № 4/33, подкатила машина. Обыск, арест, и утром — увод Ариадны» (*Саакянц А. С.* 686). АЦ пишет «уехала», имея в виду и свой арест — в советские годы, когда создавались «Воспоминания», более откровенно писать об аресте человека по политической статье было нельзя.

...в октябре выбыл Сережа. — С.Я.Эфрон «выбыл», т.е. был арестован 10 октября 1939 г. в Болшеве, на даче НКВД, там же, где и его дочь Ариадна.

С. 658. *И Марина переехала с Муром в Москву...* — МЦ и Г.Эфрон выехали в Москву 8 или 10 ноября 1939 г. (см.: *Саакянц А. С.* 687).

...я теперь учила и десятилетнюю девочку... — Об этой девочке, Лизе Симуни, также см.: АЦ. Лиза и Дёша // Аврора. 1987. № 12. С. 45–52.

Принужденная обстановкой мне не писать последние годы... — Об этом в Автобиографии АЦ (архив автора примечаний) сказано следующее: «Осенью 1937 г. была арестована. Репрессирована до 1956 г. (10 лет ИТЛ в ДВК, и ссылка в Сибири). В 1959 г. реабилитирована». Т.е. АЦ пробыла в тюрьмах, лагерях и ссылке в общей сложности 22 года.

С. 659. *Она отвечала мне из своего далека.* — Имеется в виду письмо А.Эфрон к АЦ от 1 октября 1943 г., в котором сказано: «О маминой

смерти я узнала так же, как и ты. Так же писала и писала без конца, и муж и Лиля отделялись неопределенными, но правдоподобными фразами, пока наконец не написали мне все» (см.: *Вальбе Р.Б.* Марина Цветаева в письмах сестры и дочери // Нева. 2003. № 4. С. 162).

...оставила письма... семье поэта Асеева (поручила им Мура). — Об этом в письме к Асееву: «Дорогой Николай Николаевич! Дорогие сестры Синяковы! Умоляю вас взять Мура к себе в Чистополь — просто взять его в сыновья — и чтобы он учился. Я для него больше ничего не могу и только его гублю. У меня в сумке 150 р. и если постараться распродать все мои вещи. В сундучке несколько рукописных книжек стихов и пачка с оттисками прозы. Поручаю их Вам. Берегите моего дорогого Мура, он очень хрупкого здоровья. Любите как сына — *заслуживает*. А меня — простите — *не вынесла*. МЦ. Не оставляйте его *никогда*. Была бы без ума счастлива, если бы он жил у вас. Уедете — увезите с собой. *Не бросайте!*» (МЦС. Т. 7. С. 710). А.Эфрон считала Н.Асеева повинным в гибели матери. См. об этом: *Белкина М.* Скрещение судеб. М.: Благовест; Рудомино, 1992. С. 486.

...пришло письмо от Марины. Прощальное. — Это письмо не сохранилось.

...второго мужа Марии Ивановны... — Имеется в виду Александр Самойлович Балагин (псевдоним, наст. фамилия Гершанович; 1894—1937), поэт, драматург. В 1915—1926 гг. — сценарист, актер, режиссер на разных кинофабриках.

...начала увеличивать, в карандаше, пришедшие мне фотографии... — Кроме хорошо известного портрета, увеличенного с фотографии МЦ, где она на фоне полукруглой узорной спинки кресла, сохранились и несколько небольших, так же увеличенных карандашом фотографий МЦ и А.Трухачева, сына АЦ, привезенные из лагеря. Ныне они находятся в фонде Дома-музея Марины Цветаевой в Москве.

С. 661. «*После бессонной ночи слабеют руки...*» — из стихотворения МЦ «*После бессонной ночи слабеет тело...*»

...«Милая Ася! Вам пишет Мур. Я помню Вас...» — Это письмо не сохранилось.

Был ли он уже взят в армию? — В армии Г.Эфрон, судя по его письмам к сестре А.Эфрон, находился с начала марта 1944 г. (См.: *Эфрон Г.С.* 172).

...поступив в Литературный институт... — Осенью 1943 г. Г.Эфрон был зачислен в московский Литературный институт. В его личном деле имеется рекомендация А.Н.Толстого (РГАЛИ. Ф. 632. Ед. хр. 2557).

С. 662. ...называл... свою мать... инициалами «М.И.». — Так же, инициалами, отстраненно, сообщает он Е.Я.Эфрон о гибели матери. Он пишет 11 сентября 1941 г.: «Дорогая Лиля! Я думаю, что до Вас уже дошла весть о самоубийстве М.И., последовавшем 31-го числа в Елабуге. Причина самоубийства — очень тяжелое нервное состояние, безвыходность положения — невозможность работать по специальности, кроме того, М.И. очень тяжело переносила условия жизни в Елабуге — грязь, уродство, глупость» (Эфрон Г. С. 29).

«...я выступаю на днях пулеметчиком или автоматчиком с маршевой ротой...». То же самое он написал сестре своей Але. — В письме А.Эфрон от 17 июня 1944 г. Г.Эфрон пишет: «В конце мая я уехал с маршевой ротой на фронт, где и нахожусь сейчас» (Эфрон Г. С. 64).

...книга... о девице-кавалеристе Дуровой... — Надежда Андреевна Дурова (1783—1866), первая в Российской империи женщина-офицер. В гусарском полку Дурова назвалась Александром Соколовым, участвовала в Прусской кампании 1806—1807 гг. Под именем Александра Андреевича Александрова в Отечественную войну 1812 г. она принимала участие в нескольких сражениях, стала ординарцем М.И.Кутузова и вышла в отставку в чине штаб-ротмистра. Последние двадцать лет своей жизни Дурова провела в уединении в Елабуге. Книга, о которой упоминает АЦ, это, возможно, роман Д.Л.Мордовцева «Двенадцатый год» или повесть Я.С.Рыкачева «Надежда Дурова».

...похоронена на елабужском кладбище. — Но не на том, где МЦ. Памятник Н.Дуровой восстановлен.

При свидании с моей племянницей Алей в 1947 году... — А.С.Эфрон освободилась 27 августа 1947 г., работала в Рязани, преподавала в художественном училище, в том же году приехала навестить АЦ, которая тогда была у своего сына А.Б.Трухачева в Вологде. 22 февраля 1949 г. А.Эфрон вновь была арестована и сослана в Красноярский край.

С. 663. Жизнь вновь сделала невозможной эту поездку — с 1949 года по 1958-й. — Имеется в виду новый срок заключения АЦ и ее ссылка в Сибирь. Реабилитирована в 1959 г.

Софья Исаковна Каган (1902—1994) — геолог, вдова философа М.И.Кагана.

Радимова Татьяна Павловна (1916—2000) — заслуженный работник культуры РСФСР, член МОСХа, дочь известного народного художника-передвижника, поэта П.А.Радимова.

С. 664. Сикорский Вадим Витальевич (р. 1922) — поэт, прозаик, переводчик. Одно время работал заведующим отделом поэзии в журнале «Новый мир».

...на... улицу, зовущуюся теперь Ворошилова, в дом 20 (в 1941 году — улица Жданова, дом 10). — Ныне это улица Марины Цветаевой.

Бродельщики — Михаил Иванович (1893—1973) и Анастасия Ивановна (1898—1973), хозяева дома в Елабуге, в котором повесилась МЦ.

С. 665. ...говорили они не по-русски. — Разговор шел на французском языке.

С. 666. «Дорогой Мур! Прости мне (далее слов не помню). Безумно тебя люблю, но я — тяжело больной человек. Дальше было бы хуже». — Полный текст письма МЦ сыну см. в МЦС (Т. 7. С. 709): «Мурлыга! Прости меня, но дальше было бы хуже. Я тяжело больна, это уже не я. Люблю тебя безумно. Пойми, что я больше не могла жить. Передай папе и Але — если увидишь — что любила их до последней минуты, и объясни, что попала в тупик» (31 августа 1941 г.).

«Дорогие Сережа и Аля, — начиналось второе письмо, длинное, — простите мне причиняемое вам горе...» — Сведения об этом письме не подтверждены. Г.Эфрон в своем «Дневнике» пишет: «Оставила три письма: мне, Асееву и эвакуированным» (*Эфрон Г.С. Дневники: В 2 т. М.: Вагриус, 2004. Т. 2. С. 7*).

С. 667. ... «Твой Наполеонид», — писал... *Пастернак*. — См. письмо Б.Пастернака МЦ от 3 февраля 1927 г., где есть такие строчки: «Не легко мне далось это молчанье. Особенно больно было открыть его вслед за получением Мур'овой карточки и не успеть сказать тебе, как он великолепен в своей младенческой надменности и насколько действительно — наполеонид» (*Цветаева М., Пастернак Б. Души начинают видеть... Письма 1923—1933. М.: Вагриус, 2004. С. 283*).

...о ком песня Гейне «Во Францию два гренадера / Из русского плена брели...». — Имеется в виду баллада Р.Шумана на стихи Г.Гейне «Два гренадера». Об этой песне МЦ пишет П.Юркевичу: «К<a>к бы мне хотелось быть сейчас в столовой и слушать «Два гренадера»» (*МЦС. Т. 7. С. 715*).

С. 668. ...в этой Чухломе, — учиться? — Имеется в виду не город Чухлома, уездный город Костромской губернии на берегу Чухломского озера; здесь это название — слово нарицательное, обозначающее глухую провинцию.

С. 669. *Мазль Исаевна Фейнберг* (Самойлова, урожд. Хургина; 1925—1994) — известный литератор, редактор текста «Воспоминаний» АЦ (изд. 1971, 1974, 1983). О ней и ее семье АЦ написала очерк «В те счастливые дни...» (см. : *АЦ. Неисчерпаемое. М.: Отечество, 1992. С. 87—93*).

...свидетельство *К.М.Асеевой*. — Имеется в виду Синякова Оксана (Ксения) Михайловна (1893—1985), автор воспоминаний.

С. 670. ...в Голлицыне, в комнатке в доме Лисициной... — «Ей сняли часть комнаты в избе, отгороженную фанерной перегородкой, не доходящей до потолка. Электричества в доме не было» (Саакянц А. С. 688).

Вера Васильевна Смирнова (1898–1977) — писательница, автор пересказа для детей преданий древних греков («Мифы древней Греции»).

«Прошу принять меня в судомойки...» — Письмо от 26 августа 1941 г. (МЦС. Т. 7. С. 709). Подробнее об этом письме и о приеме на работу в Чистополе см. в очерке: Чуковская Л.К. Предсмертие // ВС: Возвращение на родину. С. 178–205.

С. 671. В 1940 году она запишет: «Я уже год примеряю смерть. Но пока я нужна». — Текст МЦ из записной книжки передан АЦ в сокращении: «Я год примеряю смерть. Все — уродливо и — страшно. Проглотить — мерзость, прыгнуть — враждебность, *исконная* отвратительность *воды*. Я не хочу пугать (посмертно), мне кажется, что я себя уже — посмертно — боюсь. Я не хочу — умереть, я хочу — не быть. Вздор. Пока я нужна...» (МЦС. Т. 4. С. 610).

С. 672. ...круглолицый и синеглазый... — К.Эфрон, судя по сохранившимся фотографиям, был скорее длиннолицым, чем круглолицым, как и его старшие братья.

С. 676. «А может, лучшая потеха...» — Здесь и далее фрагменты из стихотворения МЦ «Прокрасться».

Гиллерштейн Соломон Григорьевич (1896–1967) — профессор-психолог.

С. 678. ...отец Вадима Сикорского... — Самуил Борисович Болотин (1901–1970), поэт, переводчик, отчим В.Сикорского. В момент самоубийства МЦ не был в Елабуге, но потом с женой приехал и жил там с начала 1942 г. (см.: Громова Н. Дальний Чистополь на Каме. Москва; Елабуга, 2005. С. 128).

С. 679. ...боярыню Морозову, о которой Марина писала стихи... — «Боярыней Морозовой на дровнях / Ты отвечала Русскому Царю» — строки из первого стихотворения цикла «Москве».

С. 681. ...детского писателя А.А. Соколовского. — Имеется в виду Александр Александрович Соколовский (1925–1979). См. о нем в кн.: Эфрон Г.С. Дневники: В 2 т. М.: Вагриус, 2004. Т. 1. С. 484, 558).

...детской писательницей Н.Саконской. — Нина (Антонина) Павловна Саконская (1896–1951), писательница, давала также частные уроки музыки в школе.

С. 682. ...рассказ... Нинь... — Имеется в виду Нина Павловна Гордон (урожд. Прокофьева; 1908–1996), автор мемуарного очерка о МЦ «Меня она покорила сразу простотой обращения» (см. ВС: Возвращение на родину. С. 5–16).

С. 684. *О мечте досыта наестся хлеба он две зимы (1941–1943) писал своей сестре.* — Свидетельства о голоде, испытанном Г.Эфроном, находим в письме к А.Эфрон от 20 декабря 1942 г.: «С 1941-го по 1942-й желудок выступил на первый план, в первый ряд забот и проблем...» Также в письмах к Е.Я Эфрон от 21 июля и от 22 сентября 1942 г. он пишет: «В течение июня месяца я находился в почти абсолютно голодном состоянии... Я и так голодаю, я болею, я лежал в больнице, я хожу с нарывами на руках и опухшей и наболевшей ногой...» (Эфрон Г. С. 50, 70).

...от нее отвернулись после ее публичного приветствия Маяковского... — Об этом МЦ писала В.Маяковскому 3 декабря 1928 г.: «Дорогой Маяковский! Знаете, чем кончилось мое приветствие Вас в “Евразии”? Изъятием меня из “Последних новостей”, единственной газеты, где меня печатали...» (МЦС. Т. 7. С. 350).

С. 685. «Что сделать мне тебе в угоду...» — из второго стихотворения Б.Пастернака цикла «Памяти Марины Цветаевой».

Нина Герасимовна Яковлева (урожд. Бернер; 1888–1967) — переводчица. Арсений Тарковский встречался с МЦ у нее в доме в Телеграфном переулке в Москве.

Помнится, переводила Бальзака. — См., например: Бальзак О. Избранные сочинения: В 4 т. Т. 3: Блеск и нищета куртизанок. М., 1967. Интересно, что комментарии сделаны Ириной Лилеевой, приемной дочерью Андрея Ивановича Цветаева.

...Важа Пшавела... поэма «Этери»... — Об этом переводе читаем в книге А.Саакянц: «Эта поэма о страданиях и гибели влюбленных царевича и пастушки-сироты слишком далеко отстояла от того, что волновало Цветаеву, раздражала из-за плохого подстрочника и вдобавок удручала размером...» (Саакянц А. С. 706).

С. 687. ...перед выходом Марининой голубой книги стихов... — Речь идет о сборнике: МЦ. Избранное / Сост. и подгот. текста Вл.Н.Орлова. М.: Гослитиздат, 1961.

...пришел студент-киевлянин... — Имеется в виду Семен Островский, студент филологического факультета Киевского университета, установивший камень с надписью. Об обстоятельствах, связанных с установкой камня см. в кн: Эфрон А. С. «А душа не тонет...». Письма 1942–1975. Воспоминания. М., 1996, — где опубликованы ее письма к члену Комиссии по литературному наследию МЦ Вл.Н.Орлову от 7 и 15 августа 1962 г.

«Если мне суждено умереть в другом месте... хотела лежать Марина Цветаева». — Точнее: «Но если все это несбыточно, если не только мне там не лежать, но и кладбища того уже нет, я бы хотела, чтобы на одном из тех холмов, которыми Кирилловны шли к нам в Пе-

сочное, а мы к ним в Тарусу, поставили с тарусской каменоломни камень: «Здесь хотела бы лежать МАРИНА ЦВЕТАЕВА» (МЦС. Т. 5. С. 97).

Борисов-Мусатов Виктор Эльпидифорович (1870–1905) – художник. Жил один сезон на той же даче «Песочное» под Тарусой, где жила и семья И.В.Цветаева, там он и умер 26 октября (8 ноября) 1905 г. В письме к Б.Пастернаку от 28 августа 1975 г. Ариадна Эфрон отмечала такой интересный факт: «...в комнате, отданной детям, долго еще выступали после всех побелок и окрасок следы кисти Борисова-Мусатова: последнее время своей жизни он работал лежа, стены и потолок комнатки в мезонине служили ему палитрой» (см.: Мир Паустовского. 1998. № 11/12. С. 135).

...и семьи Вульф... – Имеются в виду профессор минералогии и кристаллографии Ю.В.Вульф (1863–1925), его жена, пианистка, младшая сестра жены В.Д.Поленова, В.В.Вульф (урожд. Якунчикова; 1871–1923), их сын, пианист В.Ю.Вульф (1894–1933), художница Е.Н.Вульф. Члены этой семьи похоронены на старом тарусском кладбище.

Цветкова Зоя Михайловна (1901–1981) – филолог, известный специалист по английскому языку и литературе, профессор Института иностранных языков. АЦ написала о ней очерк «Воспоминания о моей подруге Зое Михайловне Цветковой» (М., 1992).

С. 688. *...внучкой Ритой...* – Имеется в виду Маргарита Андреевна Мещерская-Трухачева (р. 1947), переводчица-синхронистка с английского языка. Старшая внучка АЦ. Живет в США.

...от цветаевской комиссии... – В Комиссии по литературному наследию МЦ Союза писателей входили также А.Эфрон, А.Саакянц, Вл.Орлов, И.Эренбург, М.Алигер и др.

С. 689. *Там он и лежит поныне, должно быть.* – Это не так. Камень был вывезен и распилен, стал ступенями от частной дачи к Оке.

...приехал из Воронежа еще один энтузиаст... – Имеется в виду В.И.Битюцкий.

Один приезжавший из Елабуги педагог, не раз мне писавший и работавший в Елабужском педагогическом институте... – Имеется в виду Вячеслав Михайлович Головки (р. 1944), тогда молодой филолог, затем – историк русской литературы и литературный критик, доктор филологических наук, профессор; заведующий кафедрой истории русской и зарубежной литератур Ставропольского государственного университета; автор книги «Через Летейски воды: Марина Цветаева в воспоминаниях, письмах и документах» (2007).

С. 690. *...гвоздь им покажи...* – В 1972 г. В.М.Головки передал этот гвоздь, по совету АЦ, А.С.Эфрон. О том гвозде существует стихот-

ворение побывавшего в 1970 г. в Елабуге поэта Евгения Евтушенко «Елабужский гвоздь».

Серафима Ивановна Фонская (урожд. Журавлева; 1897—1967) — заведующая голицынским Домом творчества. Рассказ Фонской, помещенный в первое издание «Воспоминаний» АЦ, частично не соответствовал действительности — оттого, по словам АЦ, был сокращен для последующих изданий. В статье «О книге Виктории Швейцер» АЦ написала: «...я не повторила рассказ о Марине Фонской, так как она, старая и больная, возможно, спутала даты и некоторые случаи тех лет» (Независимая газета. 1992. 21 мая. С. 7).

С. 691. *А Мура здесь Крымов сдерживал.* — По иным свидетельствам, в частности по мнению Н.И.Катаевой-Лыткиной, писатель Юрий Крымов (Юрий Соломонович Беклемишев; 1908 —1941) не был в то время в Голицыне.

Анна Ивановна Ходасевич (урожд. Чулкова, в первом браке Гренцион; 1887—1964) — первая жена В.Ф.Ходасевича (с 1916 г.).

Ной Григорьевич Лурье (Ноях Гершелевич; 1886—1960) — еврейский писатель, драматург. В письме к Л.В.Веприцкой от 3 февраля 1940 г. МЦ называет Лурье «моим добрым гением» (МЦС. Т. 7. С. 670).

С. 693. *Николай Яковлевич Москвин* (наст. фамилия Воробьев; 1900—1968) — писатель-романист. С 1942 по 1944 г. работал в отделе печати Совинформбюро. Вел семинар прозы на кафедре творчества в Литературном институте имени М.Горького.

Татьяна Николаевна Кванина (1908—1997) — преподавательница русского языка и литературы. См. о ней в «Дневниках» Г.Эфрона. Ее воспоминания «Так было» в полном виде см. в кн.: *ВС. Возвращение на родину*. С. 78—92. Полные тексты писем к ней см.: МЦС. Т. 7. С. 702—706.

С. 695. «*Я сегодня в новой шкуре...*» — из стихотворения МЦ «Здравствуй! Не стрела, не камень...»

С. 698. «*Таня! Не бойтесь меня...*» — Строки из письма МЦ к Т.Н.Кваниной от 17 ноября 1940 г.

С. 699. ...*Бальмонт познакомил М.И. с одной поэтессой.* — Имеется в виду Ольга Алексеевна Молчанова (1898 — ок. 1978), малоизвестная поэтесса, почти не публиковалась.

С. 701. *Но об этом разговор в другой раз.* — В тексте «Так было» Т.Кваниной ее воспоминания об МЦ кончаются: «Но это уже другая тема». В приводимом АЦ тексте есть сокращения и незначительные разночтения.

Мария Вениаминовна Юдина (1899—1970) — пианистка, музыковед, профессор Московской консерватории. Ей посвящен очерк АЦ

«Три встречи с Марией Вениаминовной Юдиной (18–19 ноября 1980)» (АЦ. Неисчерпаемое. С. 251–253).

Нейгауз Генрих Густавович (1888–1964) — выдающийся педагог, профессор Московской консерватории, народный артист РСФСР (1956), создатель фортепьянной школы солистов-исполнителей, самый яркий из которых — С.Т.Рихтер.

«*Песнь Миньоны*» — приводится в романе Гёте «Годы учения Вильгельма Мейстера». Известна в переводах Л.А.Мея, А.Н.Майкова, М.Л.Михайлова. МЦ отказалась от осуществления этого перевода.

«*Арфист*» («*Кто с плачем хлеба не вкушал...*») — стихотворение из романа Гёте «Годы учения Вильгельма Мейстера». Было переведено МЦ по просьбе М.В.Юдиной. Существует также перевод Л.А.Мея.

С. 702. *Елена Ефимовна Тагер* (урожд. Хургес; 1905–1981) — искусствовед, жена Е.Б.Тагера. Сохранились ее краткие записки, в том числе о воспоминаниях АЦ 1960–1970 гг. (РГАЛИ. Ф. 2687).

Евгений Борисович Тагер (1906–1984) — литературовед, доктор филологических наук. Познакомился с МЦ в 1940 г. в Голицыне. См. ее письма к нему (МЦС. Т. 7. С. 675–678). О взаимоотношениях с Е.Б.Тагером МЦ пишет в письмах 1940 г. к Л.В.Веприцкой (МЦС. Т. 7. С. 669). В РГАЛИ (Ф. 2887. Оп. 1. Ед. хр. 43) хранятся письма к нему АЦ 1970–1982 гг.

С. 703. ... «*Русские сказки*» *Афанасьева*... — Александр Николаевич Афанасьев (1826–1871), этнограф, фольклорист, историк, правовед и журналист, собрал и обработал множество сказок, легенд, былин.

...назвала какой-то немецкий компендиум (забыл автора), — свод античной мифологии. — Имеется в виду книга Густава Швоба «*Прекраснейшие сказания классической древности*» (см.: *Тагер Е.* К ней тянулись, знакомства с ней добивались // *ВС: Возвращение на родину.* С. 60–67).

С. 704. *Лилия Юрьевна Брик* (урожд. Каган; 1891–1978) — деятель культуры, гражданская жена В.В.Маяковского. Сестра Э.Триоле.

Кирсанов Семен Исаакович (1906–1972) — поэт.

С. 705. *Однажды и сама Цветаева написала мне в одном из писем...* — В МЦС текст этого письма отсутствует.

...об одном известном поэте, которого просили походатайствовать о ней в Союзе писателей. — Речь идет о поэте Н.Асееве. Об этом прямо говорится в воспоминаниях Е.Тагера «К ней тянулись, знакомства с ней добивались».

...внутренний рецензент издательства... — Имеется в виду Корнелий Люцианович Зелинский (1896–1970), литературный критик, литературовед, доктор филологических наук (1964). Г.Эфрон пишет

Примечания

в письме к Е.Эфрон и З.Ширкевич от 3 апреля 1942 г. в связи с приездом в Ташкент К.Зелинского: «...Корнелий Зелинский, сейчас же поспешивший мне объяснить, что инцидент с книгой М.И. был “недоразумением” и т.д.; я его великодушно “простил”» (Эфрон Г. С. 41).

С. 707. *Берестов Валентин Дмитриевич* (1928–1998) – детский поэт, писатель, переводчик, автор воспоминаний об А.Ахматовой.

С. 708. *Португалов Валентин Валентинович* (1913–1989) – поэт, переводчик, был репрессирован, работал на Колыме в КВЧ (культурно-воспитательной части) Центральной больницы для заключенных, где в то время был фельдшером В.Т.Шаламов. Упоминается в рассказе Шаламова «Афинские ночи».

Грибанов Станислав Викентьевич (псевд. Викентьев; р. 1935) – писатель, военный историк, журналист. В своей книге «Полгода из жизни капитана Карелина: Повести и документальный триптих» (М.: Воениздат, 1990) он рассказывает «об обстоятельствах гибели и боевом пути» Г.С.Эфрона, приводит его письма к родным, говорит о своих встречах с АЦ и А.Эфрон. Материалы его изысканий по судьбе Г.Эфрона хранятся в РГАЛИ (Ф. 1190. Оп. 2–3. Ед. хр. 300).

Послесловие

С. 711. ... том стихов в издательстве «Советский писатель» (1965)... – Речь идет о книге: МЦ. Избранные произведения / Предисл. Вл.Орлова, подгот. текста А.Эфрон и А.Саакянц. М.; Л.: Советский писатель, 1965. (Большая серия Библиотеки поэта).

... «Мой Пушкин»... – Книга вышла в том же издательстве в 1967 г. с предисловием Вл.Орлова, текст и комментарии готовили А.Эфрон и А.Саакянц.

...книга ее переводов. – Речь идет о книге: Просто сердце: Стихи зарубежных поэтов в переводе Марины Цветаевой / Сост. и примеч. А.Эфрон и А.Саакянц. М.: Прогресс, 1967.

Указатель имен

- Абрам Львович **2**, 613, 618, 630
Абрикосов А.И. **1**, 35, 750
Аванцо Д. **1**, 417 421, 606, 778; **2**, 257
Август Сильный **1**, 549–550
Августа Ивановна **1**, 25, 549–550, 747
Авенариус В.П. **1**, 370, 773
А-вы, семья **1**, 138–139
А-ва И. **1**, 138
Аграфена **1**, 394
Адам, швейцар **1**, 372
Адамович Г.В. **1**, 696
Адлер А.А. **1**, 353, 771–772; **2**, 75, 134
Ажерон А. **1**, 342–343, 345–348, 350, 459
Айвазовская А.Н. **1**, 802
Айвазовская Н.А. **2**, 242–247, 727
Айвазовские, семья **2**, 595
Айвазовский И.К. **1**, 647, 649, 802; **2**, 250, 259, 260, 281, 595, 727, 728
Айдинян Ст.А. **1**, 5–16, 776; **2**, 717
Айлин **1**, 204, 541
Аксаков С.Т. **1**, 786
Аксененко М.Б. **1**, 16, 754, 766, 780, 790, 792; **2**, 718
Александр I **2**, 482–483
Александр II **1**, 755, 764; **2**, 619, 756
Александр III **1**, 12, 233, 256, 760, 764, 766, 768, 775; **2**, 71, 72, 76, 229, 718, 719
Александр Иванович **1**, 124
Александра, няня АЦ **1**, 23–24
Александра, кухарка в Тарусе **1**, 345, 397
Александра Васильевна **1**, 124, 352
Александра Олимпиевна – см. Галдина А.О.
Александра Федоровна, императрица **2**, 67, 76, 467
Александрова Н.В. **1**, 774
Алексеева В.А. **1**, 233, 764; **2**, 72, 718
Алексей, дворник **1**, 530, 707, 789; **2**, 100
Алексей Михайлович, царь **2**, 717
Алексей Николаевич, цесаревич **2**, 77, 548, 719–720
Алексей Петрович, царевич **2**, 77
Алексий II **2**, 755
Алес – см. Закржевский А.К.
Алигер М. **2**, 765
Алферова А.С. **1**, 351, 354, 388, 771
Альберт, король **1**, 791
Аля – см. Эфрон А.С.
Алябьев А. **1**, 761
Амалия **1**, 194, 201, 206
Амичис Э. де – см. Де Амичис Э.
Анастасия Николаевна, великая княжна **2**, 77, 720
Ангуло Кончитта **1**, 211
Ангуло Кармен **1**, 211
Андерсен Г.Х. **1**, 52, 87, 125, 242, 509, 647, 787
Андреев Л.Н. **1**, 131, 292, 300; **2**, 313, 369, 737
Андреева В.Л. **1**, 130–131
Андреева М.Ф. **1**, 294, 769
Андреева Т.Л. **1**, 130
Андреева-Шилейко В.К. **2**, 74, 718
Андреевы, семья **1**, 70, 77
Андроников И. **1**, 483
Анига **1**, 259
Анна Ивановна, портниха **2**, 468–469
Анна Ильинична **2**, 151
Антокольский П.Г. **1**, 7, 8; **2**, 505, 536, 745, 748
Антон, дворник **1**, 529; **2**, 100
Анциферов Н.П. **1**, 354, 772

В указатель включены имена реальных лиц, встречающиеся в тексте обоих томов. Имя М.И.Цветаевой в нем отсутствует, поскольку оно упоминается едва ли не на каждой странице книг.

- Анциферова А.Н. **1**, 354
 Апухтин А.Н. **1**, 795; **2**, 72
 Аракчеев А.А. **2**, 104
 Арети **1**, 240, 259
 Аристотель **2**, 735
 Ариша, горничная Цветаевых
1, 131, 141, 142, 148, 149, 156, 167,
 172, 173, 456
 Арним Б. фон **1**, 392, 587; **2**, 432,
 722
 Арнольд, пансионер **1**, 164, 166
 Архангельский А. **1**, 762
 Арцеулов К. **1**, 802
 Арцыбашев М.П. **1**, 498, 566
 Асеев Н.Н. **2**, 659, 669, 671, 760,
 762, 767
 Асеева К.М. **2**, 669, 762
 Асикритов Д. **2**, 142, 723
 Асмус **1**, 270
 Ассизский Ф. **2**, 714
 Астафьев К.Н. **2**, 541, 749
 Астафьева О.В. **2**, 508, 509, 511,
 514, 515, 521, 524, 528, 539, 541,
 619, 746, 749
 Астахова В. **2**, 728
 Атрохина З.Н. **1**, 16
 Афанасьев А.Н. **2**, 767
 Ахматова А.А. **2**, 707, 718, 768
 Ахрамович В.Ф. **1**, 780

 Бабаев П.А. **1**, 751
 Багров Д. **2**, 221, 725
 Бадмаев П.А. **2**, 77
 Байрон Дж. Г. **1**, 586; **2**, 246, 266,
 729
 Бакович Ф. **1**, 578
 Бакст Л.С. **2**, 316
 Балавинская З. **1**, 373, 442
 Баллестриери Л. **1**, 421, 422, 779
 Бальзак О. **2**, 685, 764
 Бальмонт К.Д. **1**, 383, 559, 623, 775,
 776; **2**, 250, 390, 514, 536, 638, 667,
 699, 748, 766
 Бальмонт М.К. **2**, 536, 748
 Барановы **1**, 479
 Баратынский Е.А. **1**, 795
 Барбат М.В.М. **1**, 803
 Барнетт (Бернетт) Ф.Э.Х. **1**, 755
 Бартельс И. **1**, 36, 208, 751
 Барто М.В. **1**, 23, 54, 123, 185, 249,
 277, 461, 498, 533, 746, 765
 Бархина Ф. **2**, 669
 Барятинский А.В. **1**, 762
 Баскаков Е. **1**, 602–603
 Бастьен-Лепаж Ж. **2**, 25, 59, 716
 Батый **1**, 296
 Батюшков К.Н. **2**, 753
 Бах А.И. **1**, 354, 772; **2**, 676
 Бахман, пастор **1**, 533, 540–542,
 545, 792, 793
 Бахман, его жена **1**, 532–533, 541–
 542, 543, 554
 Бахман Г. **1**, 533, 541–542, 546, 551
 Бахман С. **1**, 533, 541–543, 546, 551,
 554
 Бахманы, семья **1**, 540, 546, 546, 550
 Бахтурова В.А. **1**, 289, 294–296, 299,
 300, 303, 305, 306, 328–329, 379,
 487, 500, 577; **2**, 279, 436
 Башкирцева М.К. **1**, 370, 495, 516,
 527 534, 538–539, 586, 639, 681,
 684, 773, 790, 791, 808; **2**, 25, 54, 59,
 255, 270, 274, 288–289, 301, 432,
 716–717, 729
 Башкирцева М.С. **2**, 25, 288, 715
 Бек В. **1**, 536–537
 Бекетов А.Н. **1**, 781
 Балагин А.С. **2**, 659, 760
 Белинский В.Г. **2**, 736
 Белкина М.И. **1**, 745; **2**, 760
 Белозерский, врач **1**, 159, 163
 Бельый А. **1**, 436, 492–493, 511,
 515, 559, 699, 774, 776, 780, 788,
 794; **2**, 15, 62, 691
 Беляев Н. **1**, 647, 649, 653–655, 802;
2, 268, 274, 287
 Бем Д.А. **1**, 407, 420, 777
 Бенкендорф А.Х. **2**, 749
 Бенц Б. **1**, 16, 250, 251, 765
 Бенц К. **1**, 16, 250, 765
 Бенц Э. **1**, 16, 250, 251, 765
 Беранже П.Ж. **2**, 75

- Бердяев Н.А. **2**, 344, 547, 591, 592, 616, 714, 751, 753
 Берестов В.Д. **2**, 707–708, 768
 Берия Л.П. **1**, 762
 Бернар С. **1**, 480, 491, 518, 519, 523, 525, 586, 785, 789; **2**, 101
 Бернацкая М.Л. — см. Мейн М.Л.
 Бернацкие, семья **2**, 758
 Берта **2**, 389–391, 398
 Бертран А.-Г. **1**, 778
 Бессарабов Б.А. **2**, 493, 506, 507, 508, 620–621, 743–744
 Бетховен Л. ван **1**, 40, 48, 243, 247, 284, 399, 349, 527, 703, 729, 740, 741, 805; **2**, 293
 Бёклин А. **1**, 167, 171; **2**, 41, 673, 716
 Бизе Ж. **1**, 756
 Битюцкий В.И. **2**, 719, 723, 724, 765
 Бишоф, преподаватель музыки **1**, 207, 212
 Блаватская Е.П. **1**, 767
 Благая С.Р. **2**, 594, 597, 753
 Благие, семья **2**, 618, 753
 Благой Д.Д. **2**, 594, 597, 753
 Блажков Н.В. **2**, 743
 Блок А.А. **1**, 623, 777, 781; **2**, 390, 459, 534–535, 723, 748
 Б.М. — см. Зубакин Б.М.
 Бобрищев-Пушкин А.М. **1**, 797
 Бобылев, отец Бобылева Б.С. **2**, 146, 169, 170, 174–175, 220
 Бобылев Б.С. **2**, 62, 64, 67, 68, 116, 137, 146–147, 153–157, 159–160, 162–173, 176, 181, 207, 208, 220, 221, 234, 293, 338, 375, 394, 403, 438, 439, 444–445, 520, 525, 717
 Бобылев Ю.С. **2**, 147
 Бобылева, мать Бобылева Б.С. **2**, 146, 169, 170
 «Бобылик» — см. Бобылев Б.С.
 Богаевская Ж.Г. **2**, 256–259, 262, 728
 Богаевские **2**, 256, 257, 260
 Богаевский К.Ф. **1**, 638, 644; **2**, 245, 247, 256–258, 363, 727, 730
 Богарне Ж. **1**, 406, 421
 Богданов В.И. **1**, 795
 Богданова М.М. **1**, 123, 249, 458, 759, 782
 Богданович И.Ф. **2**, 702
 Богомолов И.С. **1**, 749
 Богомолов Н.Н. **1**, 14
 Бодлер Ш. **1**, 383, 412, 436, 680
 Болотин С.Б. **2**, 678, 763
 Бон Д. **2**, 715–716
 Бонапарт — см. Наполеон I
 Бонивар Ф. **1**, 224; **2**, 17, 715
 Борисов А.А. **2**, 754
 Борисов-Мусатов В.Э. **1**, 482; **2**, 687, 765
 Борисова Н.А. **2**, 454–455, 463, 467, 476, 477, 479, 480, 487–490, 528–532, 537, 603, 741
 Борман Г.Н. **1**, 61, 754
 Боровко Наталья **1**, 285, 295, 306; **2**, 249
 Боровко Нина **1**, 301, 306; **2**, 249
 Боттичелли С. **1**, 503, 705; **2**, 513
 Брабец Э. **1**, 501, 514
 Брандт А. **1**, 58–59, 439
 Брандт Р.Ф. **1**, 58–59, 754
 Брандуков А.А. **1**, 578, 795
 Брем А.Э. **1**, 693; **2**, 138
 Brentano Б. — см. Арним Б. фон
 Брик Л.Ю. **2**, 704, 767
 Бринк П. **1**, 236, 238, 239, 330
 Бринк Э. **1**, 236, 239, 330
 Британник **1**, 803
 Бродауф, семья **1**, 555
 Бродауф Ф.М. **1**, 545, 555, 792, 793
 Бродельщикова М.И. **2**, 664–665, 679, 680, 689, 690, 762
 Бродельщикова А.И. **2**, 664–665, 670, 679, 680, 689, 690, 762
 Брунгильда **2**, 746
 Брюль **1**, 791
 Брюсов В.Я. **1**, 383, 434–436, 496, 559, 697, 699–700, 780, 786
 Брюхоненко А.Н. **1**, 560, 793
 Брюхоненко М.Г. **1**, 493, 559–560, 793; **2**, 737
 Б.С.Т. — см. Трухачев Б.С.

- Булгаков В. **2**, 722
 Булгаков М.А. **1**, 759; **2**, 344, 601, 734, 753, 754
 Булгаков С.Н. **2**, 355, 736
 Булгакова Е.С. **2**, 734
 Бунин И.А. **1**, 343; **2**, 639
 Бунина В.Н. **1**, 760; **2**, 748, 758
 Бургер Л. **1**, 240, 241, 251, 263
 Бухтеев **1**, 61, 370
 Буш В. **2**, 456, 742
 Быстринина (Быстренина) И.В. **1**, 723, 806
 Бэлла, подруга Е.Я.Эфрон **1**, 625, 800
 Бюргель Б. **1**, 7, 613, 756
- Вагина **1**, 561
 Вагнер Н.П. **1**, 762; **2**, 165, 397, 723
 Вагнер Р. **1**, 27, 691, 747, 805
 Важа Пшавела **2**, 685, 705, 764
 Вайдман К. **1**, 223
 Вайдман М. **1**, 203, 206, 223
 Вайолетт **1**, 203
 Валевский, друг Трухачева Б.С. **1**, 721–722
 Валери П. **2**, 686
 Вальбе Р.Б. **2**, 760
 Ваня, племянник няни Цветаевых **1**, 23, 86
 Ваня, родственник Монаховых **1**, 346–348
 Варгин В.В. **1**, 750
 Васильев Г.К. **1**, 761, 773; **2**, 719, 723, 745
 Васильева Л.Н. **1**, 746
 Васнецов В.М. **1**, 45, 778
 Вассер Г. **1**, 240, 242, 253, 259
 Ватсон М. **1**, 331, 342
 Ватто А. **1**, 574
 Вахтангов Е.Б. **2**, 745
 Вебер А. **1**, 279
 Вебер В.Ф. **1**, 278, 284, 767
 Вебер О.Ф. **1**, 279
 Вебер Ф.Д. **1**, 278, 279, 281, 767
 Вебер, семья **1**, 280
 Вейнинггер О. **1**, 694, 805; **2**, 23, 110, 347
- Великопольская А.И. **2**, 195, 492, 725
 Венденфляе **1**, 163
 Веприцкая Л.В. **2**, 766, 767
 Вера Никитична, компаньонка Мейн С.Д. **1**, 304, 307, 315
 Вербицкая А.А. **1**, 786
 Вергилий **1**, 666; **2**, 257, 263
 Верди Дж. **1**, 48
 Вересаев В.В. **1**, 89; **2**, 314, 316, 591, 616, 730, 733, 753
 Вержховецкая Н.А. **2**, 521, 525, 527, 747
 Верлен П. **1**, 383
 Верокио А. **1**, 599, 741, 788, 798, 799
 Вероника, дочь Жуковской Л.А. **2**, 614
 Вертоградский А.И. **1**, 493–494, 709, 806
 Верхарн **1**, 383
 Веселовский А.Н. **1**, 561, 611, 793
 Веселовский Ю.А. **1**, 793
 Веснин В.А. **1**, 727, 808
 Ветка, друг Шпагина А.П. **1**, 471
 Викентьев С. — см. Грибанов С.В.
 Виктория, королева **1**, 26; **2**, 743
 Виндельбанд В. **2**, 369, 737
 Виноградов А.К. **1**, 138, 377, 391, 406, 440–443, 453, 455–459, 463, 467, 468, 490, 492, 497, 502, 503, 504, 515, 601, 606, 700, 705, 706, 709, 713, 714, 720, 760, 767, 774, 782; **2**, 62, 154, 230, 338, 557, 573, 575–578, 716, 737, 750–751, 752
 Виноградов К.Н. **1**, 774
 Виноградов П.Г. **2**, 341, 735
 Виноградов Ю.А. **2**, 341, 557–560, 578, 750, 752
 Виноградова Е.В. **2**, 558–560, 751
 Виноградова Н.А. **2**, 578, 752
 Виноградова Н.К. **1**, 377, 391, 440–443, 455–459, 467, 705, 706, 774, 782; **2**, 578
 Виноградова Н.Н. **1**, 377, 441, 705, 713–714; **2**, 338, 578

- Виноградовы **1**, 377, 443, 700, 701, 708, 740, 742, 783
 Витге С.Ю. **2**, 75
 Вноровская **1**, 358
 Вова — см. Курдюмов В.В.
 Воищев М.А. **2**, 180, 724
 Волконский С.Г. **2**, 749
 Волконский С.М. **2**, 496, 506, 542—544, 546, 570, 749
 Володин, портной **1**, 373
 Володя — см. Миллер В.
 Волошин М.А. **1**, 7, 488, 579—584, 586, 591—592, 602, 613, 618—628, 631—638, 644, 645, 648, 651—655, 657—663, 665—666, 669, 723, 727, 795, 796, 797, 800, 801, 803; **2**, 179, 184, 197, 233, 236, 240—247, 249—250, 255, 256, 257, 259—268, 274—279, 281, 291, 292, 29, 299, 304, 307, 311, 314—320, 322, 326—327, 410, 414, 421, 430, 476—478, 485, 488, 491, 492, 504, 509, 511, 512, 515, 522, 528, 529, 539—540, 566, 614, 629, 643, 726—727, 729, 730, 732, 733, 739, 746, 749
 Волошина (Кириенко) Е.О. **1**, 619—620, 622—623, 627, 629—630, 634—635, 644, 646; **2**, 157, 179, 184, 197, 233, 241, 292, 295, 299, 306, 315, 316, 320, 326, 327, 410, 427, 476, 488, 491, 492, 497, 511, 512, 515, 522, 566, 629, 657, 659—662, 666, 723, 727
 Волошина М.С. **1**, 637; **2**, 746, 749
 Волконский Ю.Г. **2**, 749
 Волькенштейн В.М. **2**, 566
 Вольский **1**, 762
 Вольф М.О. **1**, 216, 497, 747, 755, 762, 763
 Востросаблина А. **1**, 341, 342, 358, 771
 Востряков **1**, 697
 Врубель М.А. **1**, 579; **2**, 264, 729
 Вульф, семья **2**, 687
 Вульф В.В. **2**, 765
 Вульф В.Ю. **2**, 765
 Вульф Е.Н. **2**, 765
 Вульф Ю.В. **2**, 765
 Высоцкий В. **2**, 371, 738
 Вязьмитинова Е.Н. **1**, 410—411, 455—457, 461, 480, 485, 487, 577
 Гааз Ф.-И. **1**, 89, 757
 Гаврино, мать Тамбурер Л.А. **1**, 379
 Гайдн Ф.И. **1**, 40, 48, 703
 Галдина А.О. **1**, 592, 619, 707, 716, 728, 738—739, 742; **2**, 63, 65, 66, 68, 69, 75, 123, 124, 175, 225, 453, 458, 460, 461—463
 Галесвинта **2**, 746
 Гальперин И.Р. **2**, 751
 Ганешин А.Ф. **2**, 720
 Ганзен А. **1**, 802
 Ганон — см. Ханон
 Гапон Г.А. **1**, 254, 299, 766
 Гарибальди Дж. **1**, 149, 196, 295; **2**, 52
 Гарин-Михайловский Н.Г. **1**, 13
 Гартнер Э. **2**, 756
 Гаршин В.М. **2**, 574, 752
 Гарька — см. Устинов Г.И.
 Гауптман Г. **1**, 758
 Гауф В. **1**, 29, 229, 267, 553, 645, 679, 766
 Гафисов, фотограф **2**, 677, 680
 Гебель И.-П. **2**, 729
 Гедвилло Е.А. **2**, 370, 737—738
 Гедин С. **1**, 239, 245, 764; **2**, 138
 Гейерманс Г. **2**, 741
 Гейерстам Г. **2**, 444, 741
 Гейзе П. **1**, 122, 759
 Гейне Г. **1**, 433, 491, 527, 748; **2**, 667, 762
 Гейнике Н.А. **1**, 407, 777
 Гейрот А.А. **2**, 586, 752—753
 Гейс Ю. **1**, 750
 Гельфман Г.М. **2**, 756
 Генерозова В.К. **1**, 331, 344, 770; **2**, 660
 Гераклит **1**, 504, 507, 509, 513, 516; **2**, 26, 212, 550, 606

- Герб **1**, 161, 162, 163–165, 166, 168, 170, 174, 177, 179, 180, 184, 188, 210, 237, 277, 283
- Гермоген **1**, 758
- Герострат **2**, 26, 715
- Герцен А.И. **2**, 316, 591, 618
- Герцен П.А. **2**, 411
- Герцык А.К. **1**, 579, 583–584, 586–589, 602, 699, 796; **2**, 344, 355, 421, 517, 518, 614, 615, 747, 755
- Герцык В.В. **2**, 614, 756
- Герцык В.К. **2**, 747
- Герцык Е.К. **1**, 587–589, 796, 797; **2**, 344, 354, 517, 518, 614, 736
- Гершанович А.С. — см. Балагин А.С.
- Гершензон М.Б. **2**, 592, 753
- Гершензон М.О. **2**, 560, 751, 753
- Гершензон С.М. **2**, 560, 591, 592, 616, 753
- Гершензон-Чегодаева Н.М. **2**, 592, 753
- Герье В.И. **1**, 746, 749, 752
- Гесслер А. **1**, 244, 765
- Гехтман Б. **1**, 561
- Гехтман Е. **1**, 561, 603
- Гехтман М.Л. **1**, 723, 807
- Гёте И.В. **1**, 169, 392, 491, 495, 587, 729, 750, 762; **2**, 701, 767
- Гиллерштейн **2**, 676, 763
- Гиляровский В.А. **2**, 778
- Гишпиус З.Н. **2**, 639
- Гитлер А. **2**, 250, 448
- Глинка М.И. **1**, 577, 761, 795; **2**, 117, 258, 729
- Говоров А.С. **2**, 482, 491, 743
- Говсеева А. **1**, 561, 611
- Гоголь Н.В. **1**, 370, 377, 399, 497, 768, 791; **2**, 117, 258, 728
- Голенищев В.С. **1**, 427, 499, 780, 786
- Голицын **1**, 478, 784
- Голлидэй С.Е. **2**, 507, 697, 745
- Головин Ф.А. **2**, 739
- Головина О.Ф. **2**, 739
- Головины **2**, 423, 426, 740
- Головки В.М. **2**, 689–690, 765
- Голубев Б. **1**, 535–536
- Голубев В.В. **1**, 561, 794, 799
- Голубкина А.С. **1**, 778
- Голубков С.С. **1**, 23, 746
- Гольбах **1**, 254
- Гольдберг А. **2**, 626
- Гольденбаум Д. **2**, 255, 256, 269
- Гольденвейзер А.Б. **2**, 753
- Гольдман Е.М. **2**, 557, 564, 617, 745–746, 751
- Гольдман Н.М. **2**, 564, 751
- Гольдман М.Ю. **2**, 746
- Гольдманы **2**, 508, 534, 557, 571, 577, 745
- Гомберг Д.И. **1**, 48, 772, 777; **2**, 355–357, 379, 545, 585, 737
- Гомер **2**, 420, 739
- Гонкур Ж. **1**, 370, 527, 681, 773
- Гонкур Э. **1**, 370, 527, 681, 773
- Гончаров И.А. **1**, 680; **2**, 250
- Гончаров Л.И. **2**, 530
- Гончарова Н.Н. **2**, 629
- Гончарова Н.С. **2**, 451, 741
- Горбов Н.М. **1**, 410, 777
- Горбов С.Н. **1**, 410, 777
- Горбов Я.Н. **1**, 409–410, 416, 442, 777
- Горбова Е.Н. **1**, 416, 442
- Горбовы, семья **1**, 409, 410, 599
- Гордон Н.П. **2**, 682, 763
- Городецкая Е.Е., вдова Лурье Н.Г. **2**, 691
- Горчаков С.Д. **1**, 478, 784
- Горький М.А. **1**, 6, 137, 292, 300, 305, 313–314, 318, 333, 384, 523, 724, 768, 768, 769; **2**, 27, 109, 148, 291, 561, 637, 638, 640, 643, 647, 648, 712, 721, 755, 756, 766
- Готгельф Л.К. **1**, 16
- Готье В.И. **1**, 406, 413, 417, 497, 777
- Гофман Э.Т.А. **1**, 29, 87, 122, 125, 267, 630, 675, 748, 752, 790; **2**, 312, 560, 576, 747, 756
- Гофман Ю. **1**, 90
- Грейфле, учитель в пансионе Бринк **1**, 241, 263
- Грейц Р. **1**, 748

- Грибанов С.В. **2**, 708–709, 768
 Грибоедов А.С. **1**, 748
 Григ Э. С. **1**, 40, 48, 29, 365, 392, 773
 Григорович Д. **2**, 345, 736
 Григорьев **2**, 626, 757
 Григорьев С.Г. **1**, 354, 407, 772;
2, 626
 Гриднева Елена – см. Генерозова
 В.К.
 Гримм В. и Я. **1**, 52; **2**, 581, 582
 Грин А.С. **2**, 317, 601, 733, 754
 Гринблат Л.М. **2**, 355–360, 362, 374,
 379, 380, 381, 396, 397–403, 441,
 585, 737
 Гринева М. – см. Кузнецова М.И.
 Громова Н. **2**, 763
 Гронковская Е.Б. **1**, 746
 Груша, кормилица Али **2**, 179
 Грушка А.А. **1**, 59, 426, 754; **2**, 74
 Губер Г. **2**, 757
 Гудден **1**, 747
 Гуль Р. **1**, 784–785
 Гуляев А.П. **1**, 121, 141, 145, 147,
 178–179, 758
 Гумилев Н.С. **1**, 796; **2**, 571
 Гуно Ш. **1**, 777
 Гуревич Е. **1**, 386
 Гуревич П. **1**, 386
 Гурилев А. **1**, 804; **2**, 731
 Гурт Ю. **2**, 434
 Гурфинкель Ю.И. **1**, 7
 Гус **1**, 11
 Гуссерль Э. **2**, 735
 Гюго В. **1**, 223, 370, 392, 416, 491,
 495, 778
 Дагмара **1**, 543–544, 554
 Дали С. **1**, 771; **2**, 27, 715
 Данте А. **1**, 66–67, 228, 246, 730,
 755; **2**, 56, 257, 263, 600
 Даццаро **1**, 417, 421, 606, 778; **2**, 257
 Де Амичис Э. **1**, 155, 231
 Деборд-Вальмор М. **1**, 587; **2**, 432,
 740
 Девриен А.Ф. **1**, 751
 Дейша-Сионицкая М.А. **2**, 730
 Дельвиг А.А. **1**, 761
 Дембовецкий В.Э. **2**, 253, 254, 284,
 728
 Демская А.А. **1**, 753
 Денисов М. **1**, 476–477, 784
 Денисьев А. **1**, 756
 Дервиз В.Н. фон **1**, 323, 330, 331,
 342, 344, 351, 770, 771
 Державин Г.Р. **1**, 799
 Джек Потрошитель **1**, 26, 747
 Джемисон Ц.В. **1**, 751
 Джером К. Джером **2**, 106, 721
 Дживелегов А.К. **1**, 585, 796, 797
 Дживелегова Е.А. **1**, 585
 Дживелегова М.А. **1**, 585
 Джорджионе **2**, 244, 262, 729
 Диккенс Ч. **1**, 331, 335, 678, 763,
 804; **2**, 9, 30, 92, 433, 499, 505, 506,
 525, 627, 643, 744, 745
 Дмитриев И.В. **1**, 256, 766
 Дмитриева Е.И. **1**, 578, 582–583,
 795, 796; **2**, 521
 Добкин А.И. **2**, 715
 Добротворская Е.А. **1**, 82–83, 309–
 310, 320–321, 324, 351, 480, 756,
 767; **2**, 74, 227
 Добротворская Л.И. **1**, 82, 89, 109,
 121, 309–310, 323, 334, 341, 345,
 451, 367–368, 393, 397, 398, 399,
 403, 523, 526, 757; **2**, 112, 115
 Добротворская Н.И. **1**, 82, 109, 121,
 323, 351, 397, 399, 757
 Добротворские, семья **1**, 9, 79, 82–
 83, 104, 109, 110, 112, 134, 138,
 309, 321, 323, 324, 350–351, 375,
 377, 397, 399, 402, 472, 479, 480,
 533, 565; **2**, 71, 102, 105, 578
 Добротворский А.И. **1**, 82–83, 109,
 111, 121, 323, 324, 345, 351, 367,
 393, 398, 480, 526, 757
 Добротворский И.З. **1**, 79, 82–83,
 310, 315, 318, 324, 350, 480, 756,
 784
 Доброхотова А.И. **1**, 165–166, 168,
 170, 177, 183–187, 210, 277, 290,
 313, 371, 561, 762

- Добужинский М.В. **2**, 316
 Долгоруков В.А. **2**, 717
 Донателло **1**, 799
 Дора **1**, 246
 Доре, фотограф **1**, 733, 739, 740
 Доре Г. **1**, 66, 228, 644, 730, 755;
2, 312
 Дориан — см. Симанский С.П.
 Достоевский Ф.М. **1**, 91, 604, 605,
 659, 679, 681–684, 686, 687, 781,
 798; **2**, 28, 39, 61, 162, 184, 199,
 283, 303, 321, 345, 351–354, 357,
 724, 731, 736, 742
 «Драконна» — см. Тамбурер Л.А.
 Дрейфус А. **1**, 26, 747
 Дубец М. — см. Филиппов М.М.
 Дубровкин Р. **2**, 788
 Дузе Э. **1**, 493
 Дулькевич Н. **1**, 795
 Думбадзе И.А. **1**, 287, 294, 768
 Дункан А. **1**, 747, 807
 Дурново П.А. **1**, 801
 Дурова Н.А. **2**, 662, 679, 761
 Дьяконов В.И. **1**, 360, 773
 Дьяконов И. **1**, 365; **2**, 586
 Дьяконов Н.И. **1**, 360, 391, 408, 773
 Дьяконова А.П. **1**, 360, 408, 772;
2, 585–586, 590, 593–594, 599
 Дьяконова Е.И. **1**, 341–343, 358–
 365, 371, 376–377, 390–391, 392,
 408, 414, 420, 442, 456, 561, 602,
 721, 738, 771, 773; **2**, 10, 22, 26–
 27, 31, 62, 128, 155, 167, 221, 255,
 293, 355, 370, 379, 545, 585, 586,
 593, 613, 644–646, 715, 732, 738
 Дьяконова Л.И. **1**, 360, 409, 586, 772
 Дымшиц-Толстая С.И. **2**, 317, 733
 Дювернуа А.А. **2**, 562–565, 751
 Дюма А. (отец) **1**, 798
 Дюран М.О. **1**, 353
 Дю Фур, врач **1**, 211
 Дюрер **2**, 299, 732
 Евгения Николаевна — см. Вязми-
 тинова Е.Н.
 Еврипид **2**, 703
 Евтушевский В.А. **1**, 296, 300, 769
 Евтушенко Е.А. **2**, 766
 Екатерина II **1**, 42, 611, 716, 799;
2, 104, 720
 Еленев Н. **2**, 756
 Елпатьевский С.Я. **1**, 280 281, 282,
 306, 767
 Ермолай, св. **1**, 758
 Есенин С.А. **2**, 582, 752
 Ельцова М.Ф. **1**, 476–477, 784
 Е.Н., балетмейстер **1**, 369, 409
 Екатерина Николаевна **2**, 522
 Ефремова Н.П. **2**, 740
 Жанн, кузина сестер Лаказ **1**, 207,
 213–214, 237, 371; **2**, 389
 Жанна д'Арк **1**, 90, 724; **2**, 541
 Желиховская В.П. **1**, 263, 767
 Желябов А.И. **2**, 756
 Женья, дочь кухарки Александры
1, 316, 319
 Жихарева Е.Т. **2**, 338, 735
 Жозефина — см. Богарне Ж.
 Жув Т. **1**, 7
 Жук В.Н. **1**, 117, 721
 Жуковский Н.Е. **2**, 734
 Жуковская А. **2**, 179
 Жуковская Л.А. **2**, 517, 614, 747
 Жуковский В.А. **1**, 750, 752, 753,
 756; **2**, 266, 729
 Жуковская В.Д. **2**, 179
 Жуковская Т.Н. **2**, 747, 755, 756
 Жуковский Д.Д. **1**, 344, 588, 614,
 755, 797
 Жуковский Д.Е. **1**, 587, 797; **2**, 755
 Жуковский Н.Д. **2**, 614, 755
 Жуковский П.В. **1**, 45, 753
 Жулавский Ю. **2**, 723
 З.Н-на (Зинаида Николаевна)
2, 554, 555, 750
 Забалуевы **1**, 589, 600
 Завадский Ю.А. **2**, 505, 506, 536, 745
 Зайдман А.Э. **2**, 545, 591, 600–601,
 603, 604, 606, 611, 612
 Зайцев Б.К. **2**, 572, 755

- Зайцева В.А. **2**, 572, 751
 Закржевский А.К. **1**, 396–397,
 439–440, 469, 475, 776; **2**, 433,
 471–472, 740
 Занд Ж. **2**, 591
 Занковская А.А. **2**, 624, 627, 756
 Занковский А.Н. **2**, 756
 Западов **1**, 11
 Засулич В. **2**, 619
 Захарьин Г.А. **1**, 62, 141, 338, 414–
 415, 491, 778
 Захарьин С.Г. **1**, 415
 Захарьина А.Г. **1**, 464
 Захарьина Е.П. **1**, 414–415, 462,
 465, 491, 778, 785
 Захарьина О.Г. **1**, 464
 Захарьины **1**, 414–415, 459, 462, 551
 Звенигородская Е.М. **2**, 570–571,
 587, 589
 Звягинцева В.К. **2**, 533, 582–583,
 752
 Зеленин В.Ф. **2**, 225, 725
 Зеликина Е. **1**, 355, 359
 Зеликины, семья **1**, 360
 Зелинская В.И. **2**, 508–512, 514,
 515, 520, 521, 523–528, 531–533,
 537–539, 611, 619, 624, 746, 747,
 749
 Зелинская Е.Б. **2**, 508, 540, 619, 747,
 749
 Зелинская С.И. **2**, 509, 539
 Зелинский И.В. **2**, 749
 Зелинский К.Л. **2**, 705, 767–768
 Зелинские, семья **2**, 619
 Зинаур Э. **1**, 240, 241, 251, 263
 Зиновий Грацианович, сосед в
 Ялте **1**, 283, 286, 288, 291, 306
 Зиновьева-Аннибал Л.Д. **2**, 355, 736
 Зограф-Плаксина В.Ю. **1**, 39, 40,
 751; **2**, 606
 Золя Э. **1**, 528; **2**, 131, 424, 430
 Зорин Н.М. **2**, 64–65
 Зосима **2**, 307
 Зубакин Б.М. **1**, 7
 Зубков Н.А. **2**, 68–69, 116, 442, 717
 Зябкина Л. **1**, 469, 471, 485, 783;
2, 134
 Ибсен Г. **1**, 126, 173, 686, 687, 758,
 773, 781; **2**, 309, 314
 Иван Х., курсант милиции
2, 663–664
 Иван, батько **2**, 502, 522, 744
 Иван IV Грозный **2**, 430, 740
 Иван VI Антонович **2**, 220, 738
 Иванов, трактирщик **2**, 435, 446
 Иванов А. **1**, 352
 Иванов А.А. **1**, 755
 Иванов Вяч.И. **1**, 589; **2**, 344, 354,
 736
 Иванов Г.В. **1**, 12
 Иванов Е.Н. **2**, 740
 Иванова А.В. **1**, 707
 Иванова Евг. **2**, 743
 Иванова Е. **1**, 124, 352, 707
 Иванова М.В. **1**, 123–124, 249, 352–
 353, 420, 707, 765
 Ивановичи И. **1**, 748
 Ивановы **2**, 430, 740
 Изачик А.И. **1**, 372, 430, 495, 773;
2, 337
 Изачик В.Б. **1**, 760, 773
 Изачик В.В. **1**, 138, 760
 Иловайская А.А. **1**, 160, 163, 181,
 252, 758, 761
 Иловайская В.Д. — см. Цветаева В.Д.
 Иловайская Н.Д. **1**, 82, 160, 161,
 163, 168, 252, 311, 396, 431, 495,
 526, 757; **2**, 337
 Иловайская О.Д. **1**, 82, 757
 Иловайские, семья **1**, 82, 369, 520,
 565; **2**, 75
 Иловайский Д.И. **1**, 35, 40–41, 69,
 80, 85, 141, 143, 252, 370, 418,
 427, 750, 751, 756; **2**, 272, 729
 Иловайский С.Д. **1**, 82, 160, 161,
 163, 252, 311, 396, 431, 526, 757
 Ильина Н. **1**, 358, 561
 Илья, дворник **1**, 330, 359, 376, 378,
 418, 529; **2**, 100

- Илья Николаевич, племянник
Фальковской Л.Д. **2**, 67
- Ионас В.Я. **2**, 749
- Истомин В.И. **1**, 277
- Йорданс Я. **1**, 755
- К.Р. — см. Романов К.
- Кабанов А.Н. **1**, 571, 573, 585, 586,
794; **2**, 255, 284
- Кавальери Л. **1**, 174, 175, 762
- Каган М.И. **2**, 762
- Каган С.И. **2**, 663, 673, 676—679,
681, 761
- Каган Ю.М. **2**, 681, 768
- Кадышев, воевода **2**, 716
- Казаков М.Ф. **2**, 755
- Казанова Дж. **1**, 597; **2**, 503, 507,
544, 745
- Казик — см. Кобылянский К.В.
- Казимир Антонович — см. Тома-
шевский К.А.
- Кайзер В.К. **2**, 524, 527, 747
- Калашников В. **1**, 548—551
- Калеоне Б. **1**, 788
- Калецкая Е.Н. **2**, 516, 628, 747
- Калин, мать Калин А.С. **1**, 363
- Калин А.С. **1**, 360, 362—367, 371, 377,
384—385, 388, 391, 392, 407, 415,
418—420, 442, 456—457, 477, 481,
493, 551, 640, 721, 738, 772; **2**, 10,
62, 221, 255, 370, 565
- Калин Г. **1**, 364
- Калин С., отец Калин А.С. **1**, 363
- Калин М. **1**, 364, 366, 385
- Калинин М.И. **2**, 755
- Калиостро **1**, 597
- Камжалов В., конькобежец **1**, 501,
786
- Камкова М.С. **1**, 42, 54, 123, 249,
752, 765; **2**, 283, 341—343, 347,
349—351, 431
- Камкова, дочь Камковой М.С.
2, 341—343, 349—351
- Кампанари Д.Ф. **1**, 403—404, 479,
484, 776
- Кампанари Маргарита Д. **1**, 403—
404, 484, 776
- Кампанари Марина Д. **1**, 403—404,
484, 776
- Кампанари М.Л. **1**, 403—404
- Кандауров К.В. **1**, 638, 723, 801;
2, 316, 733
- Кандыкина М.И. **1**, 279, 280,
284—285
- Кант И. **1**, 605, 677; **2**, 29, 303, 309
- Карбоньер, сестры **1**, 285, 289, 306
- Карга С.С. **2**, 524, 747
- Карла, соученица Цветаевых **1**, 217
- Карлейль Т. **1**, 6, 90, 757
- Карлова В. **1**, 533—536, 578, 598;
2, 62
- Каролус **1**, 543—544, 554
- Каргашев **1**, 509
- Кагаева-Лыткина Н.И. **2**, 743, 751,
766
- Катя, служанка у Добротворских
1, 83, 309, 323, 351, 402
- Кафар, рыбак в Коктебеле **1**, 659
- Кафка Ф. **2**, 686
- Качалов В.И. **1**, 681, 781
- Каширин В.В. **2**, 721
- К.Б.Р. — см. Родзевич К.Б.
- Кванина Т.Н. **2**, 693—701, 766
- Квятковский Л.Л. **1**, 638, 644, 666,
723, 801; **2**, 257, 263, 575
- Келлер, экономка **1**, 235, 236, 239,
251
- Кемпийский Ф. **2**, 551, 750
- Керенский А.Ф. **2**, 540, 638
- Кёсбет, учительница английского
языка **1**, 237, 239, 240, 243
- Кибальчич Н.И. **2**, 756
- Кильдюшевский **2**, 359
- Киприянов С.П. **1**, 530, 790
- Кириенко-Волошина Н.А. **1**, 627,
800
- Кирилл Владимирович, великий
князь **2**, 639, 757
- Кирилловны (Аксинья, Мария)
1, 109, 110, 138, 687, 758, 766

- Кирпичникова **1**, 331
 Кирсанов С.И. **2**, 704–705, 767
 Киселев Н.П. **1**, 780
 «Киска» — см. Мария Генриховна
 Клавдий, римский император
1, 803
 Клейн Р.И. **1**, 38, 45, 256, 374, 499,
 751, 753, 765, 766, 786; **2**, 75
 Климова Е.М. **1**, 16, 756, 757, 774,
 783, 784, 805
 Клодт М.П. **1**, 47, 385, 753; **2**, 23
 Кобылинская С. **1**, 503, 504
 Кобылинский Л.Л. **1**, 67, 378,
 381–382, 394, 412–414, 428–429,
 431–432, 434–438, 444–452, 457,
 481, 488–490, 495–496, 503–505,
 507–508, 511, 515–517, 532, 561,
 571, 611, 613, 680, 701, 703, 738,
 740, 755, 774, 775, 778, 780, 781,
 782, 788; **2**, 14–16, 26, 56, 62, 207,
 221, 233, 273, 311, 375, 396, 421,
 485, 567–569, 714–715, 751
 Кобылянская О.В. **1**, 762
 Кобылянский В.А. **1**, 160, 161–165,
 170, 171, 172–177, 179, 180–181,
 232, 596, 588, 646, 680, 686, 761,
 762, 764; **2**, 53, 536–538
 Кобылянский К.В. **1**, 232, 764;
2, 537
 Ковалев С.И. **2**, 298, 307–314,
 320–322, 340, 346–347, 351, 354,
 386, 431, 732
 Коган П.С. **2**, 508, 545, 560, 590, 616,
 621, 745, 748
 Кожебаткин А.М. **1**, 780
 Козеко Н.А. **1**, 779
 Кознов М.П. **1**, 425, 457, 517, 779
 Колоножников **1**, 460
 Кольбе Р. **1**, 792
 Колька — см. Монахов Н.
 Кольцов А.В. **1**, 804
 Коля, племянник няни Цветаевых
1, 23, 86
 Коля, юнкер **1**, 65
 Комиссаржевская В.Ф. **2**, 338, 735
 Комиссаржевский Ф.Ф. **2**, 735
 Кони **2**, 109
 Концевич И. **2**, 527
 «Кончитта» — см. Эфрон Е.Я.
 Коншин Н.М. **1**, 802; **2**, 731
 Коппэ В. **1**, 223, 224
 Кораблева А. **1**, 407
 Корево Н.Н. **2**, 757
 Коркина Е.Б. **1**, 802; **2**, 748
 Корнель П. **1**, 223
 Корнилов В.А. **1**, 277; **2**, 333, 540
 Короленко В.Г. **1**, 372; **2**, 680
 Корш Ф.А. **1**, 429; **2**, 156, 204, 408,
 723, 742
 Космински А. — см. Джек Потро-
 шитель
 Котик — см. Эфрон К.Я.
 «Кот Мурлыка» — см. Кричевский
 Б.Н.
 «Кошечка» — см. Доброхотова А.И.
 Кочеткова Г.К. **1**, 757, 783
 Крамер М. **1**, 193, 194, 203, 206
 Крамской И.Н. **1**, 573
 Крандиевская Н.В. **1**, 439, 781;
2, 437, 740
 Кранф Х. **1**, 241, 251
 Красовская Э.С. **1**, 16
 Крашевский Ю.И. **1**, 793
 Кржижановский Г.М. **1**, 762
 Кривцова А.В. **2**, 496, 498, 499, 512,
 513, 744
 Кристиан, знакомый АЦ **1**, 543,
 548, 551, 555, 617
 Критский А., св. **1**, 317
 Кричевский Б.Н. **1**, 165, 174, 177,
 179, 184, 188, 210, 216–217, 236,
 277, 762; **2**, 21
 Кронштадтский И. **1**, 90
 Кропоткин П.А. **1**, 801
 Кропоткина, сторож **2**, 673–674,
 679
 Крузенштерн Н. **1**, 442
 Крупн Ф. **2**, 415
 Крым А.Я. **2**, 727
 Крым С.С. **2**, 727
 Крымов Ю.С. **2**, 691, 766
 Крымы, семья **2**, 242, 727

- Крынкин **1**, 129
 Ксения, няня Андрюши **2**, 294
 Кубелик Я. **1**, 576–577, 794
 Кубицкий А.В. **2**, 341, 735
 Кублановская Н.А. **1**, 16
 Кудашев С.А. **2**, 468, 473, 742
 Кудашев С.С. **2**, 754
 Кудашева М.П. **1**, 723, 724–727, 807;
2, 197, 238, 241, 255, 468–469,
 473, 501, 502, 511, 521, 522, 594–
 595, 597, 754
 Кудрявцев Н.В. **2**, 517–518, 747
 Кудрова И.В. **1**, 806
 Кузнецова А.И. **2**, 609, 610, 755
 Кузнецова (Гринева) М.И. **1**, 804;
2, 178, 228, 238, 335, 337–338,
 364, 370, 372, 388, 402, 412, 432,
 454, 456, 457, 472–474, 481, 491,
 496, 497, 508, 512, 523–527, 528,
 531, 548, 561, 594–597, 598, 604–
 605, 609, 610, 659, 660, 666, 723,
 725, 743, 748, 753, 760
 Кузнецова Т. **1**, 799
 Кукольник Н.В. **1**, 795
 Куприн А.И. **1**, 343, 778
 Купченко В.П. **1**, 796, 800, 803; **2**,
 739, 746, 747
 Курносов **1**, 360
 Куропаткин А.Н. **1**, 254, 766
 Курдюмов А.В. **2**, 529–530, 748
 Курдюмов В. **2**, 529, 748
 Курдюмов Вс.В. **1**, 157, 160, 171,
 186, 187, 761; **2**, 52, 530
 Курдюмова, жена Курдюмова Вс.В.
2, 530
 «Курица», «Курочка» **1**, 164, 166,
 174, 177, 179, 184, 188
 Кускова Е.Д. **2**, 755
 Кутузов М.И. **2**, 333, 762
 Кювилье М. – см. Кудашева М.П.
 Кювилье М. **1**, 725–726
- Л’аббэ **1**, 192, 195, 196, 198, 207,
 209, 214, 222, 223; **2**, 19, 389
 Лабзова А. **1**, 407
 Лаврентий, денщик **2**, 378–380
- Лавров А. **1**, 748
 Лавров П.Л. **1**, 769
 Лагерлёф С. **1**, 231, 495, 587; **2**, 14
 Лаказ Л. **1**, 191, 192, 195, 196, 198,
 199, 206, 213, 222, 237; **2**, 20, 383
 Лаказ М. **1**, 191, 192, 194–196, 199,
 203, 206, 210, 211, 215, 222, 237;
2, 18–20, 383
 Лала **1**, 194, 201
 Ламан Г. **1**, 793
 Лампси Л.А. **2**, 259, 260, 279, 280,
 281, 293, 294, 565
 Лампси Марина **2**, 280
 Лампси Мика **2**, 280
 Ламанова Н.П. **2**, 63, 75, 717
 Лампси П.Н. **1**, 645, 647, 653, 656,
 661, 667–668, 678, 691, 802; **2**, 75,
 237, 238, 274, 275, 532, 567, 618
 Лампси Н.М. **1**, 802; **2**, 242, 259, 260,
 280, 293
 Лампси, семья **1**, 647, 802
 Ландсберг Л. **2**, 503, 519, 520, 561,
 573, 617, 745, 756
 Ланина А. **1**, 332, 771
 Ланина Варя **1**, 332
 Ланина Вера **1**, 332
 Ланн Е.Л. **2**, 496, 498–501, 505,
 511–514, 528, 582, 623, 744
 Ласточкин А.А. **1**, 50, 58, 753
 Латри А.Н. **2**, 242–243, 245, 259,
 261, 278, 727
 Латри М.П. **1**, 802; **2**, 242, 245, 246,
 278, 727
 Лебедев А.А. **2**, 741, 754
 Лебедев Б.И. **1**, 693, 715–716, 805
 Лебедева А.Ф. **2**, 741, 754
 Лебедева М.С. **2**, 749
 Лебедевы, хозяйева в Александрове
2, 456, 603, 741, 754
 Лев Борисович **1**, 578, 592–595
 Лев Матвеевич – см. Гринблат М.Л.
 Левенсон А.А. **1**, 586; **2**, 539
 Леви О.А. **1**, 534, 790
 Леви Л. **2**, 41–49, 50, 54, 55, 72, 142,
 205, 233
 Левитан И.И. **1**, 756

- Левичев И. **1**, 800
 Легуве Э. **2**, 720
 Ледуховская М.С. **1**, 751
 Лена, горничная Цветаевых **1**, 707–708, 710, 716
 Лёнка – см. Монахова Ленка
 Ленин В.И. **2**, 416, 481
 Ленька «Молокосос» **1**, 470–471, 477, 485, 520; **2**, 194
 Ленька «Пудель» **1**, 470–471, 477, 481, 485, 520; **2**, 194
 Леон **1**, 203, 206
 Леонардо да Винчи **1**, 590, 604–606, 607, 668, 680, 684, 687; **2**, 48, 58, 61, 176
 Лермонтов М.Ю. **1**, 6, 138, 483, 496, 513, 514, 526, 527, 601, 605, 610, 684, 706, 730, 787, 789, 799, 805; **2**, 39, 203, 235, 293, 433, 471, 484, 677, 716, 740
 Лёра – см. Цветаева В.И.
 Лесков Н.С. **1**, 684, 705, 793
 Лессинг Г.Э. **1**, 433
 Лесючевский **1**, 11
 Ливенцов П. **2**, 456, 457
 Лиза, дочь акушерки Цветаевой М.А. **1**, 124
 Лилеева И. **2**, 764
 Лиль Р., де **1**, 769
 Линдер М. **1**, 440, 593, 781
 Линский К. **1**, 748
 Липеровская С.И. **1**, 343, 377, 393–394, 771, 806
 Липеровский Л.Н. **1**, 709, 806
 Липши Ф. **1**, 799

 Лисенко Н.А. **2**, 456, 742
 Лисенко Н.Г. **2**, 456
 Лисицина А.Ф. **2**, 670, 686, 763
 Лист Ф. **1**, 598, 601, 605, 691, 805; **2**, 315
 Лихтенштуль **2**, 490–491, 743
 Лозина-Лозинский А.К. **2**, 284, 731
 Лозина-Лозинский М. **2**, 284
 Лозэн А.-Л. **2**, 503, 544, 611, 749
 Локк Дж. **2**, 677

 Ломброзо Ч. **1**, 546; **2**, 729
 Лонкьер А. де **1**, 16, 462–467, 468, 471–472, 551
 Лоор, подруга Мейн С.Д. **1**, 127, 141
 Лоренс Т. **1**, 416, 778
 Лосев А.Ф. **2**, 725
 Лосев Д. **1**, 802; **2**, 727, 728
 Лохерер Л. **1**, 240, 253
 Лубны-Герцык В.К. **2**, 614
 Лубяникова Е.И. **1**, 16, 744, 746, 749, 751, 752, 754, 756–761, 763, 767, 775, 783, 786, 798, 801, 806; **2**, 713, 720, 730, 736, 737, 739
 Луженовский Г.Н. **1**, 768
 Лужина Е.Ф. **1**, 282, 285–287, 290, 291, 297
 Лужина М. **1**, 282, 285–291, 299, 304, 306
 Лукутины **1**, 509, 787
 Лукулл **1**, 261, 767
 Луначарская Т. **1**, 241–242, 358
 Луначарский А.В. **2**, 566
 Лунц О.О. **1**, 80, 215, 232, 762, 764; **2**, 537
 Лурье Н.Г. **2**, 691–692, 766
 Люба – см. Монахова Любовь
 Любимов А. **1**, 806
 Людовик II Баварский **1**, 26, 125, 747; **2**, 10
 Людовик XVI **1**, 27, 225, 763
 Людовик XVII **1**, 763
 Люитпольд **1**, 747
 Лютер М. **1**, 556
 Люцина **2**, 371
 Лямин М.С. **1**, 624, 625, 629, 653, 654, 657–662, 665, 666, 800; **2**, 312
 Ляхова И. **1**, 331, 342–343; **2**, 101

 Магницкий Л.Ф. **1**, 25, 747
 Майков А.Н. **2**, 767
 Майдель Р. фон **1**, 788; **2**, 714–715
 Макк **1**, 216
 Макаренко К. **1**, 468–469, 473, 475, 478, 481, 485, 521, 783; **2**, 167–168, 194, 472

- Малиновский А.Н. **2**, 431, 466, 482, 491, 740
 Малицкая К.М. **2**, 74, 719
 Малларме С. **2**, 788
 Мало Г. **1**, 125
 Мальмберг В.К. **1**, 790
 «Мамака» — см. Маркова А.А.
 Мамонтов В. **1**, 7
 Мандельштам А.Э. **2**, 419, 421, 423, 425, 426, 739
 Мандельштам О.Э. **1**, 699; **2**, 414, 419—427, 451, 454, 458—459, 519, 542, 561, 618, 739—740, 747
 Манджини, врач **1**, 154—157, 163, 167, 169, 172, 291
 Манефа Николаевна **1**, 300, 769
 Манухина Н.Л. **2**, 629, 757
 «Манюсь» — см. Лужина М.
 Маня — см. Цветаева М.А.
 Маня, дочь Томашевской Е.В. **2**, 606—607
 Маральяно П.О. **1**, 157, 163
 Мариле **1**, 228, 764
 Мария Васильевна — см. Иванова М.В.
 Мария Генриховна **1**, 130—134, 136, 139—142, 165, 177, 196, 313, 371, 561, 759
 Мария Исидоровна **1**, 332; **2**, 553
 Мария-Луиза **1**, 406
 Мария Николаевна, великая княжна **2**, 277, 720
 Мария Федоровна, императрица **2**, 76
 Марья, стряпуха **1**, 360
 Маркова А.А. **1**, 32, 368, 749
 Маркс А.Ф. **1**, 783
 Маркс К. **2**, 707
 «Мартыся» — см. Бахтурова В.А.
 Марфенька, внучка Горького А.М. **2**, 640, 648—649
 Марфуша, прислуга Гольдман Е.М. **2**, 364, 564—565, 751
 «Масейка» — см. Ошуркова М.А.
 Массне Ж. **1**, 740
 Матосьян А. **1**, 191, 193, 210, 214, 218, 220, 222, 251; **2**, 21, 22
 Матосьян О. **1**, 191, 193, 220, 222, 223, 251; **2**, 21, 22
 Маша, горничная Цветаевых **1**, 92, 131, 167, 456; **2**, 586
 Маша, кухарка у Трухачевых **2**, 172, 173, 174, 455
 Маша, служанка у Добротворских **1**, 323, 402
 Машков И.И. **2**, 510, 746
 Машковцев Н.Г. **1**, 696
 Маяковский В.В. **1**, 697, 699; **2**, 16, 290, 631, 640, 684, 692, 732, 752, 764, 767
 Медзмаришвили Г. **1**, 807, 808; **2**, 754
 Мей Л.А. **2**, 767
 Мейер К., **1**, 228, 234
 Мейер, его жена **1**, 229, 234
 Мейер К., его сын **1**, 228, 229, 231, 764
 Мейер М. **1**, 228, 231, 234
 Мейер, семья **1**, 266
 Мейн А.Д. **1**, 22, 35, 41—44, 45, 48, 52—54, 56, 61, 81—82, 85, 96—98, 125—128, 137, 185, 256, 317, 321, 349, 387, 399, 401, 461, 596, 745, 746, 751, 754, 759; **2**, 184, 229, 342, 349, 577, 643, 720, 737
 Мейн М.А. — см. Цветаева М.А.
 Мейн М.Л. **1**, 41—42, 74, 75, 90, 128, 321, 385, 549, 716, 717, 751, 755; **2**, 7, 26, 132, 229, 357, 383, 574, 643, 714, 737
 Мейн С.Д. **1**, 41, 42—44, 53, 54, 61, 79, 81—82, 85, 95, 96, 98, 104, 107—110, 127, 137—138, 141, 170, 176, 177—179, 181, 188, 189—191, 195, 199, 201, 209, 213, 258, 262, 277, 304—305, 307, 309, 311—313, 318—321, 323, 339, 345, 398—402, 462, 478—479, 518, 519, 523—524, 532, 744, 746, 751, 754, 763; **2**, 87,

- 88, 95, 102, 132, 229, 231, 233,
347, 453, 602, 713, 720, 737
- Мейс, воспитательница **1**, 237,
241–243
- Мельников-Печерский И.И. **1**, 459,
705
- Менделеев Д.И. **1**, 407
- Менделеева Л.Д. **1**, 777
- Мензбир М.А. **1**, 693; **2**, 105, 721
- Мережковский Д.С. **1**, 16, 232, 604,
680, 798; **2**, 186, 639
- Мережковский С.И. **1**, 16, 232, 764
- Мериме П. **2**, 752
- Меровинги **2**, 509, 746
- Мессала Барбаг М.В. **1**, 803
- Мессалина **1**, 659–660, 803
- Метнер К.К. **2**, 714
- Метнер Э.К. **1**, 780
- Мечников И.И. **1**, 797
- Мещерская-Трухачева М.А. **1**, 11; **2**,
688, 765
- Микеланджело Б. **1**, 514, 788
- Миллер А.Е. **1**, 150–151, 153, 154,
161, 163, 167–168, 170, 232, 279;
2, 52
- Миллер В.А. **1**, 150–155, 158–160,
161, 162, 165, 166–168, 170, 172,
175, 177, 179, 180, 182, 187, 188,
196, 215, 232, 237, 276, 279, 294,
347, 437, 503, 646, 761; **2**, 52, 53
- Миллер Ж.А. **1**, 151–152, 154, 155,
161, 167, 187, 196; **2**, 52, 53
- Милиоти В.Д. **2**, 642
- Милль Д.С. **1**, 677
- Милославский И. **2**, 717
- Мильо Б. **1**, 195, 197, 218, 223, 225
- Мильтон Дж. **1**, 729, 808
- Милоков П.Н. **2**, 482
- Миляев **1**, 509
- Минаев Д.Д. **1**, 755
- Миңдлин Э.Л. **1**, 12; **2**, 561, 614, 626,
751, 753–754
- Минский Н.М. **1**, 355, 357, 772
- Миңц А.М. **2**, 354, 463–470, 475,
476–481, 483–484, 487, 489–491,
494, 510, 512, 528–530, 532, 537,
552–553, 591, 602, 603, 605, 743,
748
- Миңц М.А. **2**, 254, 360–380, 385,
387–390, 395–398, 401–406, 409–
413, 423, 429–454, 456, 462–475,
477–479, 481–482, 485, 487–491,
494, 496, 511, 515, 520, 528, 531,
533, 542, 545, 552, 553, 556, 572,
574, 585, 602, 603, 611, 733, 737,
743
- Миңц, мать Миңца М.А. **2**, 371,
488–489
- Миңц, семья **2**, 371
- Миңц Я.А. **2**, 468, 490
- Мирович В.Я. **2**, 377, 738
- Миронов А.Н. **2**, 377
- Миронов К. **1**, 762
- Миронов Н.Н. **2**, 62, 146, 155–157,
162–179, 181, 182, 186, 196, 197,
204, 205, 212–218, 220, 221, 234,
239, 247, 249, 255, 274, 281, 282,
288, 289, 293, 322, 338, 363, 372–
384, 387, 394–396, 399, 402, 403,
431, 432, 435, 438–452, 456, 457,
464, 467, 468, 477, 480, 487, 490,
498, 505, 520, 533, 538, 539, 542,
551–553, 572, 611, 717, 724
- Миронов, его отец **2**, 338
- Миронова, его мать **2**, 338
- Михаил Александрович, великий
князь **2**, 482
- Михаил Юрьевич **2**, 564
- Михайлов М.Л. **2**, 767
- Михайлов Н.И. **1**, 783
- Михайлов Т.М. **2**, 756
- Михайлова А.Н. **1**, 470, 476, 481,
485, 519, 783; **2**, 194
- Михайлова О.Н. **1**, 476, 485, 519;
2, 194
- Миша – см. Монахов М.
- Миша, родственник Волошина –
см. Лямин М.С.
- Миша, сын ключницы Ольги Ми-
хайловны **2**, 185–189, 199
- Мишка, племянник Ивановой М.В.
1, 707

- Мнухин Л.А. **1**, 15, 775
 Модестов В.И. **1**, 780, 790; **2**, 78
 Модестова А.В. **1**, 433, 780; **2**, 78
 Модестова А.Д. — см. Модестова А.В.
 Можжухин И.И. **2**, 456, 742
 Моисей Львович **2**, 630
 Молоховец Е.И. **2**, 102–103, 106, 107, 160, 223, 266, 720
 Молчанова О.А. **2**, 699, 766
 Молчановы, семья **1**, 396–397
 Мольер Ж.Б. **1**, 493
 Моммзен Т. **1**, 539, 791
 Монахов М.С. **1**, 313–314, 345–348, 350, 394–395, 453, 456–457, 770; **2**, 114
 Монахов Н. **1**, 313, 394, 396, 456
 Монахов С. **1**, 313, 345, 396, 456
 Монахова Лёнка **1**, 313, 316, 318, 323, 342, 345, 347, 394–395, 453, 456–457
 Монахова Любовь **1**, 394, 396, 456
 Монахова М. **1**, 313
 Монахова С. **1**, 313, 395
 Моника, повариха **1**, 154
 Мопассан Ги де **1**, 534, 790, 791; **2**, 137, 274, 301, 722, 735
 Мордовцев Д.Л. **2**, 761
 Морозов И. **2**, 503, 520, 561, 562, 572–573, 602, 614, 616–618, 627
 Морозов Н. **1**, 801
 Морозов С.Т. **2**, 755
 Морозова Ф.П. **2**, 679, 763
 Москвин Н.Я. **2**, 693–696, 700, 766
 Мот Фуке Ф., де ла **1**, 44, 752
 Моцарт В.А. **1**, 40, 299
 Мур — см. Эфрон Г.С.
 Мурзо В.Ф. **1**, 563; **2**, 580, 752
 Мурзо Е.А. **2**, 62, 580
 Мурзо Е.Ф. **1**, 563, 708; **2**, 62, 67, 69, 581, 752
 Мурзо Н.Ф. **1**, 561–564, 566, 585, 600, 607, 612, 701, 703, 708, 721–722, 740, 742, 794; **2**, 62, 67, 68, 69, 579–581, 617, 627
 Муромцева Н.А. **1**, 47, 753
 Мюттель Е.К. **1**, 334–336, 339, 345, 348
 Мюттель П.К. **1**, 335–336, 339
 Мясникова З.Д. **2**, 757
 Мясоедов С.Н. **2**, 461, 742
 На М. **1**, 521–522
 Навроцкий А.А. **1**, 784
 Навроцкий Г. **1**, 462–464, 491, 783, 785
 Наградская Е.А. **1**, 786
 Надежда Олимпиевна **2**, 319–322, 324, 326
 Надсон С.Я. **1**, 794
 Надя, служанка у Цветаевой А.И., см. Борисова Н.
 Назаревский А.В. **1**, 530, 790
 Найденов С.А. **1**, 780
 Нандо, рыбак в Нерви **1**, 152, 153
 Наполеон I Бонапарт **1**, 90, 406, 416, 436, 491, 494–495, 559, 566, 690, 778; **2**, 24, 54, 60, 63, 94, 161
 Наполеон II **1**, 405, 406, 416, 491, 586, 690, 777; **2**, 60, 161, 497, 541
 Нарышкина А. **1**, 65
 Наташа, пациентка больницы **2**, 383, 385, 391, 397, 398, 400
 Нахимов П.С. **1**, 277, 767; **2**, 333
 Нахман М.М. **2**, 33, 735
 Незлобин К.Н. **2**, 162, 735
 Незлобины, семья **1**, 726
 Нейгауз Г.Г. **2**, 701, 767
 Некрасов К. **1**, 459
 Некрасов Н.А. **1**, 139, 286, 333, 341, 496, 527, 789
 Некрасовы, семья **1**, 459
 Нерваль Ж. де **2**, 264, 729
 Несмеянова, соученица МЦ **1**, 119, 125, 158
 Нестеров М.В. **2**, 749
 Нечаев В.П. **2**, 715
 Нечаев-Мальцев Ю.С. **1**, 45–46, 257, 269, 499, 753, 766; **2**, 76, 79, 229, 726
 Нефедовы, семья **1**, 80
 Никитина Г.Я. **1**, 761; **2**, 745, 759

- Николай II **1**, 719
 Николай Николаевич, великий князь **2**, 376, 738
 Никонов А.С. **1**, 284, 287, 768
 Никонов С.А. **1**, 284, 768
 Никонова М. **1**, 284, 285, 287, 290, 292, 294, 305; **2**, 249
 Никонова Н.В. **1**, 284, 287, 293
 Никоновы, семья **1**, 278, 284, 285, 286, 292–293, 297, 305
 Нилендер В.О. **1**, 492, 501, 502, 505–512, 514–516, 525, 527–528, 532, 536, 538, 559, 561, 567, 571, 574, 588, 589, 603, 611, 613–616, 626, 639, 697, 699, 701, 703, 705, 706, 736, 737, 739, 742, 785, 787; **2**, 10, 26, 43, 64, 131, 142, 174, 205, 212, 233, 239, 336, 339, 385, 397, 401, 402, 437, 449, 573, 574, 575, 583, 584, 660
 Нилендер С.М. **1**, 787
 Нильсен А. **1**, 592, 710, 798
 Нина, дочь Трухачевой М.С. **2**, 492
 Нина, подруга Эфрон А.С. **2**, 682
 Ницше Ф. **1**, 173, 781, 804; **2**, 303, 309, 321, 735
 Нич Н.М. **2**, 728
 Ноай А.Э. де **1**, 587, 797; **2**, 432
 Ножников Б.П. **1**, 278, 282, 291, 292, 297, 301, 767, 768
 Ножников, конькобежец **1**, 501, 786
 Ной Ноевич, начальник АЦ **2**, 611–612, 615, 628
 Нолле-Коган Н.А. **2**, 534–535, 748
 Носик Б. **1**, 808
 Оболенская Р. **1**, 65, 561; **2**, 71, 717
 Оболенская Ю.Л. **1**, 723, 807; **2**, 314, 316, 726
 Оболенские, семья **2**, 137, 301, 722
 Образцов А. **1**, 535
 Огарев Н.П. **1**, 772
 Одоевцева И.В. **1**, 777
 Октавия **1**, 803
 Олгаржевский П.К. **1**, 805
 Ольга Михайловна **2**, 186
 Ольга Николаевна, великая княжна **2**, 77, 720
 Ольденбург С.Ф. **2**, 755
 Ольхин А.А. **1**, 795
 Опекушин А.М. **1**, 749; **2**, 718
 Орландо, рыбак в Нерви **1**, 152, 153
 Орлов Вл.Н. **2**, 764, 765, 767, 768
 Орловская Е.Н. **1**, 354, 371–372, 385, 392, 420
 Осип, старик в Тарусе **1**, 394
 Осман Абдула оглы **1**, 799
 Осоргин М. **2**, 755
 Оссорно М. **1**, 219–220, 225, 330
 Островский А.Н. **1**, 728; **2**, 204
 Островский С., студент из Киева **2**, 764
 Остроумов А.А. **1**, 140, 760
 Ошуркова М.А. **2**, 138–140, 144, 150, 186, 196, 208, 385, 407, 412
 Павел I **2**, 505
 Паганини Н. **1**, 615, 794; **2**, 25, 43, 293, 339, 513, 576, 593
 Павловская О.А. **1**, 16
 Павлушков В.А. **2**, 60, 62, 215–218, 240, 411, 451, 569, 717
 Панина В.В. **2**, 134, 137, 441, 741
 Панфилова А. **1**, 803
 «Паппер М.Я.» – см. Эфрон В.Я.
 Парнах В.Я. **2**, 410, 618, 739
 Парнок Е.Я. – см. Тараховская Е.Я.
 Парнок С.Я. **2**, 410, 414–419, 420, 436–437, 451, 542, 618, 738–739
 Паскина Е.П. **2**, 293, 732
 Пастернак Б.Л. **1**, 8, 699, 808; **2**, 270, 519, 667, 685, 696, 729, 762, 764, 765
 Пате, братья **2**, 719
 Патти А. **2**, 566
 Паулине, фрейлина **1**, 242, 243, 245, 247, 259, 261, 263, 265
 Паульсон Э. **1**, 561
 Паустовский К.Г. **2**, 688, 765
 Пердризе Т. **1**, 193
 Переверзев О. **1**, 759
 Перегудова В. **1**, 770–771

- Перепелкина З.Д. **1**, 793
 Перовская С.Л. **2**, 756
 Перро Ш. **1**, 52, 754; **2**, 581
 Петипа М. **1**, 754
 Петников Г. **2**, 741
 Петрашевский М.В. **1**, 683
 Петр I **2**, 75, 77, 184, 719
 Петров А.А. **1**, 796
 Петров В.А. **2**, 70
 Петров-Водкин К.В. **2**, 316
 Петрова А.М. **2**, 247, 260, 263, 265, 276–278, 539, 727
 Петрова Л. **2**, 70
 Петр Семенович – см. Коган П.С.
 «Петух» – см. Герб
 Пешков М.А. **1**, 293, 294–295, 301, 305, 768
 Пешкова Е.А. **1**, 293, 294–295, 301, 306, 318–319, 386, 627, 775, 769; **2**, 640
 Пешкова Е.П. **1**, 293, 305, 318–319, 386, 768, 775; **2**, 712
 Пешкова Н.А. **1**, 295; **2**, 649
 Пешковы, семья **1**, 293
 Пинкертон Н. **2**, 105
 Писарев Д.И. **1**, 527, 789
 Писемский А.Ф. **1**, 684
 Плавинская З.Н. **2**, 756
 Платон **1**, 534, 647, 747; **2**, 369
 Платон (Левшин), митрополит **2**, 725
 Плевако **2**, 109
 Плетнев Д.Д. **2**, 225
 Плущер-Сарна Н.А. **2**, 372, 412, 413, 437, 439, 450, 471, 490, 497, 542, 603, 638
 Плущер-Сарна Т. **2**, 490
 По Э. **1**, 362, 384, 773, 775; **2**, 600
 Поздняков Я.Л. **1**, 500
 Позен фон **1**, 550, 793
 Позоева Е.В. **2**, 338, 735
 Полежаев А.И. **1**, 605, 803
 Поленов В.Д. **1**, 45, 77, 126, 174, 320, 345, 470, 479, 755, 759
 Поленова Е.А. **1**, 756
 Поленова М.В. **1**, 78, 756
 Поленова Н.В. **1**, 78, 756
 Поленова О.В. **1**, 78, 756
 Поленовы, семья **1**, 470
 Поливанов Л.И. **1**, 378, 774
 Поливанова Е.К. **1**, 402–403
 Поливанова М.К. **1**, 402–403
 Поликовская Л.В. **1**, 787
 «Полканыч» – см. Мюттель П.К.
 Поляков Л.С. **1**, 23, 746
 Поляков М.Л. **1**, 322–323, 770
 Поляков С.А. **1**, 780
 Полякова З.Л. **1**, 23, 322, 746
 Полякова Р.Л. **1**, 322
 Помяловский И.В. **1**, 749
 Португалов В.В. **2**, 708, 768
 Поссарт Э. **1**, 52, 247, 249–250, 255, 313, 754, 765
 Посылина Е.Н. **1**, 801
 Потапенко Е.Н. **1**, 648–651, 802; **2**, 517, 618–619
 Потапенко П.Н. **1**, 649–650, 802; **2**, 517, 619
 Потоцкая В.В. **1**, 328, 331, 351, 354, 358, 420, 439, 442, 560, 703, 770; **2**, 593
 Пра – см. Волошина Е.О.
 Прево А. **1**, 597
 Преториус **1**, 103, 107–108, 115, 117
 Пригожий Я.Ф. **1**, 795
 Прокопович С.Н. **2**, 755
 Прокофий Васильевич, сосед в Ялте **1**, 282 283, 286, 288, 299, 304
 Прокофьев С.С. **2**, 712
 «Пудель» – см. Соколов В.А.
 Пруст М. **1**, 10
 Птушко А. **2**, 733
 Пугачев А. **2**, 738
 Пуришкевич В.М. **2**, 482
 Пушкин А.С. **1**, 33, 34, 138, 148, 165, 286, 372, 496, 527, 536, 605, 623, 690, 699, 730, 749, 758, 762, 799; **2**, 48, 86, 123–124, 169, 170, 235, 246, 257, 279, 390, 425, 629, 720, 722, 741, 745

- Радимов П.А. **2**, 761
 Радимова Т. **2**, 663, 761
 Радищев А.Н. **2**, 717
 Разин С. **2**, 145
 Райт О. **1**, 590, 797
 Райт У. **1**, 590, 797
 Расин Ж. **1**, 223, 493; **2**, 703
 Раскин Дж. **1**, 90, 757
 Распутин Г.Е. **2**, 77, 481
 Рассветова (Разцветова) А.Н. **1**, 805
 Разцветов А.П. **1**, 71, 805
 Рауль **1**, 203
 Рафаэль С. **1**, 71, 787
 Рачинский Г.А. **2**, 341, 735
 Рахманинов С.В. **1**, 487
 Рахманинова Е.Н. **1**, 487—488
 Рая, подруга Лёры **1**, 333
 Ребикив В.И. **1**, 651, 802
 Ревидцев П.М. **2**, 406—408, 411, 434, 738
 Редлих, семья **1**, 651, 802; **2**, 236, 249, 274, 295, 726
 Редлих А.Ф. **1**, 802; **2**, 726
 Редлих Е.П. **2**, 236, 726
 Редлих Э.М. **1**, 802
 Рейхштадтский герцог — см. Наполеон II
 Ремарк Э.М. **2**, 250, 428
 Рембрандт Х. ван Р. **1**, 739
 Ремизов А.М. **1**, 691, 734
 Ренан Э.Ж. **1**, 126, 132, 174, 320, 759
 Репин И.Е. **1**, 573; **2**, 430
 Реут **1**, 240, 241, 263
 Реутов А.А. **2**, 758
 Ревер Р. **1**, 155, 159, 163, 164, 168—169, 385, 395
 Римский-Корсаков **1**, 48
 Рита — см. Мещерская-Трухачева М.А.
 Рихтер И.П.Ф. **1**, 370, 773
 Рихтер С.Т. **2**, 767
 Rogozinskaya O.A. **2**, 726
 Rogozinskiye, семья **2**, 236, 726
 Rogozinskiy V.A. **2**, 236, 726
 Роденбах Ж. **1**, 412
 Родзевич К.Б. **2**, 642—643, 758
 Родзянко М.В. **2**, 482
 Рожанская Ю.В. **2**, 318, 734
 Розанов В.В. **1**, 10, 680, 776; **2**, 23, 271—275, 282—283, 284, 291, 292, 295, 321, 340, 346, 347, 351—354, 357, 431, 470, 474—475, 484, 485, 529, 540, 723, 729, 731, 743
 Розанов С.Г. **2**, 757
 Розанова А. **1**, 306
 Розанова В.Д. **1**, 352
 Розанова Т.В. **1**, 352
 Розмахова Е.И. **1**, 783
 Ройге Х. **1**, 792
 Роллан Р. **1**, 724, 807; **2**, 327, 414
 Романов К. **1**, 755
 Романов Н.И. **1**, 59, 426, 754
 Романовы **1**, 131
 Росетти **2**, 513
 Ростан Э. **1**, 405, 525, 777; **2**, 89
 Ростопчина Е.П. **1**, 277, 767
 Рубинштейн Н.Г. **1**, 47, 753
 Руднев **2**, 171, 178, 488
 Руссо Ж.Ж. **2**, 18, 474
 Ручковский С.Н. **1**, 759, 783
 Рыкачев Я.С. **2**, 761
 Рылеев К.Ф. **1**, 784
 Рысаков Н.И. **2**, 756
 Рюккерт Ф. **1**, 752
 Рябов Н. **1**, 514
 Рязузов Д.Н. **2**, 730, 732
 С-лен С. **2**, 61
 Саакянц А.А. **1**, 804; **2**, 713, 751, 759, 763, 764, 765, 767, 768
 Сабашникова М.В. **1**, 581, 635, 795; **2**, 266, 282, 729
 Сабинин В.А. **2**, 743
 Савельева Н.В. **1**, 803
 Савостьянов И.Т. **1**, 35, 500, 750
 Савостьянова И.В. **1**, 35, 750
 Садовский Б.А. **1**, 492, 748, 785
 Саконская Н.П. **2**, 681, 763
 Сакулин П.Н. **1**, 773
 Салиас Е.А. **1**, 684, 804
 Салин **2**, 463

- Самарина **1**, 439
 Самсонов А.В. **2**, 461, 742
 Сандер, врач **1**, 545, 549
 Сараджев К.К. **1**, 6
 Сараджев Н.К. **1**, 6
 Саровский С., св. **1**, 89
 Сартр Ж.П. **2**, 686
 Сац Н.И. **2**, 626, 757
 Сац Р.Н. **2**, 757
 Саша, сын акушерки Цветаевой
 М.А. **1**, 124
 Сведенцев И.И. **1**, 748
 Свенцицкий В. **1**, 762
 Свет Инна см. Ватсон М.
 Свириг И.В. **2**, 715
 Свифт Дж. **1**, 781
 Северянин И. **1**, 623, 800; **2**, 285, 287,
 305, 309, 386, 390, 731, 733, 738
 «Северянин И.» — см. Эфрон С.Я.
 Севостьянов — см. Савостьянов И.Т.
 Севостьянова — см. Савостьяно-
 ва И.В.
 Семен — см. Монахов С.
 Сен-Пьер М. де **1**, 7
 Сенкевич Г. **1**, 370
 Сербинов Н.И. **1**, 655
 Сербинова О.Н. **1**, 655, 803; **2**, 727
 Сербиновы, семья **2**, 246, 727
 Сервантес М. **1**, 677, 679
 Сергеев-Ценский С.Н.
 Сергей, садовник Тети **1**, 399—401
 Сергей Александрович, великий
 князь **1**, 745, 776
 Серпинские В.Я. **1**, 703—704, 740,
 805, 806
 Серпинская Н.В. **1**, 704, 806
 Серпинская Н.Я. **1**, 703—704, 740,
 805
 Серпинская С.Я. **1**, 704
 Серпинские, семья **1**, 703, 707, 708,
 721
 Сеченов И.М. **1**, 693
 Сибор Б.О. **2**, 319, 322, 326, 734
 Сиверс Ф.В. **2**, 742
 Сидоров А.А. **2**, 74, 719, 720
 Сизова А.И. **1**, 772
 Сизова М.И. **1**, 429, 778; **2**, 16, 568,
 714
 Сикорские **2**, 678
 Сикорский В.В. **2**, 664, 678, 681,
 761, 763
 Сикстель Л.Б. **1**, 566—569, 573, 575—
 576, 595, 597, 680, 720, 794; **2**, 43
 Симанский Н.П. **2**, 391—397, 399—
 403, 470, 477, 484, 485—487, 520,
 552, 738
 Симанский П.А. **2**, 738
 Симуни Е. **2**, 658, 759
 Синопли А.Г. **2**, 739
 Синякова К.М. — см. Асеева О.М.
 Синяковы, сестры **2**, 760
 Сиу А.А. **1**, 35, 497, 750; **2**, 206
 Скиталец С.Г. **1**, 9
 Скотт В. **1**, 226, 763; **2**, 208
 Скребицкий А.И. **1**, 772
 Скриб Э. **2**, 720
 Смирнов Ж. **1**, 533, 535, 598; **2**, 62
 Смирнов М. **2**, 723, 724
 Смирнова В.В. **2**, 670, 763
 Смирнова Л.М. **1**, 753
 Смолин Д.П. **2**, 427—428, 435, 451
 Соболев С. **2**, 137, 148—149
 Соболевский А. **2**, 751, 752
 Соколов, врач **2**, 558
 Соколов В.А. **2**, 197, 725
 Соколов С.П. **2**, 475, 480—481, 503,
 508, 511, 520, 573, 576, 606, 617,
 619—621, 629, 756
 Соколов, его отец **2**, 511
 Соколов С.А. (Рафаил Кречетов)
1, 711, 806
 Соколовский А.А. **2**, 681, 763
 Сократ **1**, 27, 747
 Солдатенков К.Т. **1**, 426, 779
 Соловьев Вл.С. **1**, 440—441, 781;
2, 62, 283, 561, 574—575, 731
 Соловьев Вс.С. **1**, 440, 601, 781, 798
 Соловьев С.М., историк **1**, 440, 781;
2, 62
 Соловьев С.М. **1**, 440, 492, 503, 515,
 781, 794, 798; **2**, 62, 154, 573, 584,
 751—752

- Соловьева Н.С. **2**, 752
 Сологуб Ф.К. **1**, 610, 799; **2**, 533
 Сомов К.А. **1**, 668, 690, 805
 Соня, горничная **2**, 445
 Соня, няня у Трухачевых **2**, 172, 173,
 178, 179, 183, 184, 185, 189, 190–
 191, 196, 200, 202, 204, 206, 208,
 209, 211, 212, 215, 219, 221–224,
 225–227, 231, 257, 439, 446, 468
 Соня – см. Монахова С.
 Соснина Е.Б. **1**, 744, 749; **2**, 713
 Спенглер О.А. **2**, 628, 757
 Спизарный **2**, 488
 Спири И. **1**, 764
 Спиридонова М.А. **1**, 289, 299, 495,
 768; **2**, 191, 619
 Spiro A. **2**, 727
 Сталь Ж. **2**, 728
 Старынкевич Е.И. **2**, 529, 748
 Стендаль А. **2**, 752
 Степняк-Кравчинский С.М. **1**, 343,
 771
 Стессель А.М. **1**, 254, 766
 Столыпин П.А. **2**, 221, 725
 Струнников Н. **1**, 786
 Студенская Е.М. **1**, 748
 «Субстанция», служанка в гостини-
 це **1**, 675, 676, 678, 679
 Суворин А.С. **2**, 730
 Суворов А.В. **2**, 333
 Сумароков-Эльстон – см. Юсу-
 пов Ф.Ф.
 Сурков А.А. **2**, 708
 Сулова А.П. **2**, 283, 731
 Сухова А.Ф. **1**, 768
 Сухово-Кобылины, семья **1**, 804
 Суходольская Е.М. **2**, 337
 Сысоева Е.А. **1**, 755, 764; **2**, 231
 Сытенко Н.А. **1**, 23; **2**, 75, 719
 С.Э., возлюбленный Цветаевой
 М.А. **1**, 122, 411–412, 461, 715
 Тагер Е.Б. **2**, 702, 704–705, 767
 Тагер Е.Е. **2**, 702–706, 767
 Таиров А.Я. **2**, 337, 623, 756
 Тамбурер А.Л. **1**, 380, 774; **2**, 62, 126,
 568
 Тамбурер Л.А. **1**, 378–380, 382–384,
 390, 406, 408–409, 412, 427, 428,
 441, 487, 503, 516, 517, 564–565,
 589, 590–591, 613–614, 696, 701,
 704, 706, 713, 717, 719, 734, 740,
 742, 774; **2**, 51, 53, 60, 62, 75, 104,
 122–123, 126, 127, 174, 215, 217,
 220–222, 230, 234, 277, 385, 397,
 402, 558, 490, 567–570, 573, 627,
 660
 Тамбурер Л.С. **1**, 378, 774
 Тамбурер С.Л. **1**, 380, 774; **2**, 126, 558
 Танеев С.И. **1**, 751
 Тания, институтка **2**, 521
 Тарасевич А.В. **2**, 754
 Тарасевич Л.А. **2**, 754
 Тарасевичи **2**, 597
 Тарасов Е.М. **1**, 355, 772
 Тараховская Е.Я. **2**, 410, 416, 420–
 422, 426, 738
 Таргонская А. **1**, 285, 301, 306;
2, 249
 Тарковский А.А. **2**, 764
 Тассо Т. **1**, 729
 Татищев Н., друг Трухачева Б.С.
2, 69, 116
 Татищев Н.В. **2**, 717
 Татищев Н.Д. **2**, 717
 Татищев Н.К. **2**, 717
 Татищева М.Д. **2**, 717
 Татьяна Николаевна, великая
 княжна **2**, 77, 720
 Татьяна, кухарка **1**, 411, 530
 Твен М. **2**, 456
 Тебераш М. **1**, 193, 194, 203, 206
 Телешов Н.Д. **1**, 28, 244, 292
 Тель В. **1**, 90, 244, 245, 765
 Терезинет **1**, 218
 Терье А. **1**, 773, 808
 Тескова А.А. **2**, 684
 Тетя – см. Мейн С.Д.
 Тиберий **1**, 748
 «Тигр» – см. Кобылянский В.А.

- Тимиргазен А. **1**, 800
 Тимирязев К.А. **1**, 790
 Тихонравов Н.С. **1**, 791
 Толстая В.Л. **2**, 722
 Толстая М.Л. **2**, 722
 Толстая С.А. **1**, 570–572; **2**, 134, 722
 Толстая С.И. **2**, 317, 734
 Толстая Т.Л. **2**, 722
 Толстая-Дымшиц М.А. **2**, 318, 734
 Толстой А.К. **1**, 559, 680, 794
 Толстой Алексей Л. **2**, 722
 Толстой Андрей Л. **2**, 722
 Толстой А.Н. **1**, 488, 723, 776, 784,
 785; **2**, 308, 317, 318, 724, 734, 740,
 756, 760
 Толстой И.Л. **2**, 722
 Толстой Л.Л. **2**, 722
 Толстой Л.Н. **1**, 121, 569–573, 585,
 627, 680, 747, 777, 794, 802, 806;
2, 105, 133–134, 163, 183, 321,
 374, 488, 722, 724, 742
 Толстой М.Л. **2**, 722
 Толстой М.Н. **1**, 785
 Толстой Н. **1**, 785
 Толстой Н.Л. **2**, 722
 Толстой П.Л. **2**, 722
 Толстой С.Л. **2**, 133, 158, 722
 Томашевская Е.В. **2**, 606, 607, 609,
 621
 Томашевские **2**, 608, 617, 627, 628,
 631
 Томашевский И.К. **2**, 606
 Томашевский К.А. **2**, 606, 607, 608,
 612, 621, 756
 Тоня – см. Барто М.В.
 Топольницкая В.И. **2**, 176
 Торричелли **2**, 729
 Трей Г.Т. **1**, 539, 792
 Трепов Д.Ф. **1**, 286, 768
 Третчлер Г. **1**, 237
 Триоле Э. **2**, 767
 Трирогова Н.А. **1**, 407, 777
 Трофимов А. **1**, 782
 Троцкий Л. **2**, 64
 Трубецкие **1**, 6; **2**, 306
 Трубецкой П. **2**, 718
 Трупчинская А.А. **2**, 353, 484, 736
 Трупчинская Е.А. **2**, 353, 484, 736
 Трупчинский **2**, 484
 Трухачев А.Б. **1**, 7; **2**, 54, 121–124,
 125, 127–128, 134, 139–140, 144,
 147, 149–152, 157–159, 166,
 167, 171–173, 177, 178, 179, 181,
 183, 184–185, 189, 190, 196, 199,
 200–202, 204–209, 211–212, 215,
 218, 219, 221–225, 231, 236, 237,
 238, 241, 257, 265, 267, 268, 274,
 284, 291, 294–299, 303, 307, 318,
 320–325, 329, 330, 341, 343, 350,
 359, 362, 365, 376, 380, 385, 388,
 401–403, 410, 413, 419, 421, 427,
 430, 436, 443, 446, 448, 453, 454,
 455–458, 463–466, 469, 475–480,
 482, 489, 491, 494–495, 497, 498,
 501, 502, 505, 509, 511, 512, 514–
 516, 517, 519, 522, 525, 526–529,
 531, 532, 544, 545–549, 551, 553–
 557, 559, 560, 562–565, 567, 570–
 571, 573, 574, 577, 582–584, 588,
 590, 593, 594, 597–599, 600–601,
 606, 608–610, 613, 615–617, 618,
 622–623, 624–627, 629, 630–632,
 637, 722, 741, 747, 760, 761
 Трухачев Б., ратник **2**, 719
 Трухачев Б.С. **1**, 599–602, 604–605,
 607–615, 616–617, 619, 623, 626,
 630–631, 642–643, 646–647, 651–
 652, 658–659, 654, 661, 662–671,
 673–695, 700–704, 709, 713–715,
 717–722, 724, 732, 734–738, 742,
 798, 804, 805; **2**, 7–26, 28–33, 36–
 37, 40, 42–48, 50, 52–70, 76, 81,
 102–119, 122, 123, 127, 128, 131,
 134, 137–151, 153, 155–156, 159–
 160, 162–163, 165–179, 180–190,
 192–193, 196–209, 211–212, 214,
 215, 218, 220–224, 227, 229, 231,
 233, 234, 238, 239, 240, 241, 247,
 248, 254, 255, 269, 281, 293, 301,
 312, 313, 314, 329, 335–340, 343,
 344, 358, 359, 362–364, 370, 372,
 376, 377, 380, 385–390, 393, 396,

- 401, 402, 406–408, 411, 429, 430,
432, 433, 437–439, 444, 445, 448,
453, 454, 456, 457, 461, 468, 470,
472–474, 477, 481–482, 491, 492,
496, 497, 505, 512, 513, 515, 520,
523, 524–528, 531, 539, 542, 548,
556, 572, 574, 580, 594, 604–605,
623, 723, 725, 732, 743, 754
- Трухачев В.С. **2**, 141, 723
- Трухачев Н.Л. **2**, 192, 724
- Трухачев Н.С. **1**, 664, 677, 720; **2**, 63,
68–69, 139, 140–141, 149–150,
184, 186, 187, 196–200, 203, 205,
209, 211, 212, 215, 407, 442, 473,
723
- Трухачев С.Н. **2**, 183–184, 185, 187,
192, 193, 196, 200–202, 407, 473,
723
- Трухачев С.С. **1**, 664, 677, 720, 803;
2, 139, 140–143, 150, 178, 183,
184, 187, 198, 199, 202–206, 249,
285–286, 340, 407, 408, 434, 435,
457, 473, 491, 492, 732
- Трухачева И.Б. **2**, 491, 497, 523–524,
528, 594–596, 597, 609, 610, 747
- Трухачева И.Е. **1**, 673, 701–702,
713–714, 805; **2**, 7, 56, 67, 132,
134, 137–144, 150–153, 170, 178,
182, 186, 193, 196, 197, 199, 200–
202, 208, 258, 329, 335, 343, 373,
385, 397–408, 411–412, 434, 491,
604–605, 723
- Трухачева М.А. — см. Мещерская-
Трухачева М.А.
- Трухачева М.С. **1**, 714–715,
719–721, 722, 740, 742, 806; **2**,
139, 140–141, 153, 164, 170, 171,
178–179, 184, 193, 194–196, 199,
200–201, 206, 208, 209, 211, 214,
218, 412, 491–492
- Трухачевы **2**, 150, 208, 370, 719
- Трушева Л.Ю. **2**, 592, 753
- Тураев Б.А. **1**, 782
- Тургенев И.С. **1**, 338, 344, 640, 680,
753; **2**, 157, 552
- Тургенева А.А. **1**, 571–575, 794; **2**, 15
- Тургенева Н.А. **1**, 575, 794
- Тургенева Т.А. **1**, 561, 573–575, 585,
597, 794; **2**, 154, 573, 751
- Турчанинов С. **1**, 535
- Тьерри О. **2**, 746
- Тьеполо **2**, 244, 262, 728
- Тьо — см. Мейн С.Д.
- Тютчев Ф.И. **1**, 790; **2**, 24, 25, 26,
165, 203, 262, 715, 722
- Тютюнов Н.А. **1**, 770
- Уайльд О. **1**, 429, 591, 780; **2**, 128,
261, 738
- Уварова Е.А. **2**, 551, 750
- Улай, разбойник **1**, 475, 784
- Уланд Л. **1**, 433
- Ульрих **1**, 229
- Ульянов А.И. **1**, 768
- Успенская В.Н. **1**, 482, 484
- Успенская Н.Д. **1**, 473, 482, 784
- Успенская С.Н. **1**, 482
- Успенская Тамара Н. **1**, 483–484
- Успенская Татьяна Н. **1**, 483–484
- Успенский А.Н. **1**, 473–475, 476,
482–484, 519–522, 525, 784;
2, 114, 194
- Успенский Н.М. **1**, 473, 784
- Успенский С.Н. **1**, 473–475, 476,
482–483, 519, 520, 784; **2**, 194
- Устинов Г.И. **1**, 470–472, 475, 477,
481, 485, 520–523, 525, 783;
2, 112–115, 194
- Устюша, служанка у Цветаевой А.И.
2, 91, 102, 104–111, 116, 119, 124,
152–153
- Уэзерелл Э. **1**, 759
- Фальк Р.Р. **2**, 306
- Фальковская Л.Д. **1**, 564–565, 717,
734, 794; **2**, 51, 63, 66, 75, 222, 224,
717
- Фармаковский Б.В. **1**, 789
- Фаулер И. **1**, 240, 241, 251
- Федин К.А. **2**, 752
- Фейнберг Б.Е. **1**, 625, 629, 666, 724,
800

- Фейнберг Л.Е. **1**, 625, 629, 666, 723, 800; **2**, 428
- Фейнберг М.И. **1**, 11, 12; **2**, 669, 670, 762
- Фейнберг С.Е. **1**, 625, 723–724, 800
- Федин К.А. **2**, 669, 752
- о. Федор **2**, 524–525
- Федор, художник **2**, 521
- Федорченко А. **1**, 6
- Федька, садовник **2**, 474
- «Федось», жених Лужиной М. **1**, 282, 285, 287, 290, 291, 299, 304
- Фельдштейн Е. **2**, 197, 278, 725, 730
- Фельдштейн М. **2**, 197, 278, 725, 730
- Феня, кормилица Трухачева А.Б. **2**, 158, 159, 166
- Феогнид **1**, 509, 516, 787; **2**, 239
- Фесслер А.И. **2**, 595, 754
- Фет А.А. **2**, 722
- Фехнер Г. **1**, 258, 259, 265, 544
- Фигнер В. **2**, 619, 620
- Филипосьян А. **1**, 191, 193, 214, 220, 222, 223, 251
- Филиппов И.М. **1**, 35, 208, 421
- Филиппов М.М. **1**, 470–472, 475, 477, 485, 520, 523, 526, 783; **2**, 114–116, 194
- Фихте И.Г. **1**, 677
- Фишер К.А. **1**, 30, 748
- Флобер Г. **2**, 424
- Флоренский П.А. **2**, 344, 355, 735
- Фонвизин Д.И. **1**, 439, 684
- Фонская С.И. **2**, 690–691, 766
- Форрегер фон Грайфентурн, семья **2**, 304–306
- Форрегер Н.М. **2**, 305, 309, 732–733
- Форрегер С. **2**, 306, 732–733
- Фосс В.А. **1**, 299, 769
- Фосс, семья **1**, 299
- Фрам, гувернантка Курдюмова В.В. **1**, 159, 171, 187
- Франс А. **1**, 486, 742; **2**, 10
- Фредегонда **2**, 509, 746
- Фьораванте Н. ди **1**, 765
- Хакевинкель Д. **1**, 239, 243, 259
- Халатов А.Б. **2**, 756
- Халютина С.В. **1**, 807
- Хайни **1**, 543
- Ханаков А.В. **1**, 761, 771, 776
- Ханон Ш.Л. **1**, 137, 760
- Харкевич В.К. **1**, 769
- Хексельшнайдер Э. **1**, 744, 792
- Хельмут **1**, 543, 548, 550–552, 554, 617
- Хильперик I **2**, 509, 746
- Хоберле А., служанка в гостинице **1**, 266, 270
- Ходасевич А.И. **2**, 691, 766
- Ходасевич В.Ф. **1**, 696, 800; **2**, 767
- Хозяинов Я. **2**, 709
- Холледерер Б. **1**, 259
- Холмогоров С.С. **2**, 104–105, 117, 721
- Хомяков А.С. **2**, 750
- Хомяковы, семья **2**, 725
- Хрустачев Н.И. **2**, 275, 284–291, 292, 293, 296–297, 470, 489–490, 504, 730, 732
- Хрустачева А.В. **2**, 289, 296, 732
- Хрустачева, дочь Хрустачева Н.И. **2**, 289
- Хрустачевы **2**, 289, 490, 518
- Цапок Г. **1**, 6
- Цветаев А.В. **1**, 768
- Цветаев А.И. **1**, 9, 24–25, 28, 29, 32, 36, 40, 41, 49, 50, 52, 55–59, 62, 65–69, 71, 72, 75–76, 80, 82, 85, 90, 93, 95, 97–99, 101, 102, 103, 107, 111, 112, 118, 121, 131, 138, 140, 141, 142–143, 145, 158, 201, 215, 258, 280, 281, 287, 288, 311, 317, 318, 321, 323–324, 328–330, 334, 335–338, 353, 354, 374–376, 388–389, 391, 392, 402, 417, 418, 423, 424, 431, 432, 441, 444, 452–453, 458, 460, 470, 477, 487–490, 498, 516–518, 523, 532, 536, 537, 538, 540, 541, 553, 562, 564, 590, 595, 695, 703–704, 707–709, 721–722, 735, 737, 740, 758, 764, 772; **2**, 24, 51, 56, 60, 62–63, 68–69, 70–71, 78, 85, 87, 123, 146, 173,

- 174, 176, 210, 219, 224, 225–227, 232, 233–235, 327, 351, 554–556, 580, 586, 602, 606, 608, 629, 717, 750, 754, 764
- Цветаев В.В. **1**, 9, 44–45, 348, 752; **2**, 67
- Цветаев В.Д. **1**, 145, 280–281, 337–338, 353, 367, 460, 461, 761, 772; **2**, 30, 545
- Цветаев В.П. **1**, 121, 367, 759
- Цветаев Д.В. **1**, 45, 145, 280, 330, 340, 427, 460–461, 565, 723, 752, 761, 771; **2**, 34, 36, 74, 224, 545
- Цветаев Д.И. **1**, 45, 145, 761
- Цветаев И.В. **1**, 9, 10, 18, 24, 32, 35, 41, 44–49, 58–59, 62, 69, 72, 79, 83, 84, 89, 90, 96, 108, 111, 116, 118, 121, 125, 128, 131, 136, 142, 143, 146, 148–149, 156, 159, 164, 168, 172, 173, 176, 191, 200, 209, 215, 226, 231, 233, 234–235, 244–245, 249, 255–258, 262, 266–273, 275, 280, 282, 287, 288, 296, 304, 306, 311, 317–318, 320, 323–324, 327–328, 334–336, 344, 348–351, 353, 359, 367, 369, 373–374, 378, 381, 386–389, 393, 409–411, 413–415, 420, 424–427, 429, 433, 441, 452–453, 457, 459–461, 465, 470, 477, 488–489, 494–495, 498–500, 526–527, 529–530, 523–533, 539–540, 543, 544–545, 554–557, 564–565, 573, 581, 585, 590, 592, 596, 597, 611–612, 669, 689–690, 695, 701, 707, 717–719, 721–723, 735, 737, 742, 744, 745, 749, 750, 752, 753–754, 756–758, 760, 764, 765–767, 776, 779, 782, 786, 789, 790, 792, 798; **2**, 7, 10, 29, 34, 37, 54, 56, 62, 63, 66, 67, 68, 70, 74–79, 90, 93–97, 123, 127, 134, 149, 171–175, 181, 210–212, 218, 224–233, 241, 273, 295, 327, 337, 347, 348, 408, 625, 713, 719, 720, 725, 729–730, 734, 735, 750
- Цветаев П.В. **1**, 45, 55, 121, 367, 752
- Цветаев С.П. **1**, 121, 397, 759
- Цветаев Ф.В. **1**, 45, 55, 123, 368, 752
- Цветаева А.Д. **1**, 338, 367, 368–369, 460, 771
- Цветаева Александра П. **1**, 121, 367–368, 458, 759, 773, 782
- Цветаева Антонина П. **1**, 367–368
- Цветаева А.Ф. **1**, 123, 368, 759
- Цветаева В.В. **1**, 397
- Цветаева В.Д. **1**, 32, 48, 49, 63, 65, 71, 72, 337, 412, 418, 489, 559, 716, 722, 740, 749; **2**, 24, 26, 74, 96, 123, 232
- Цветаева В.И. **1**, 24–25, 29, 32, 36, 37, 38, 136, 61–66, 69, 71, 74, 76, 80, 81, 103, 106, 110, 116–118, 120, 121, 124, 130, 136, 141, 142, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 155, 156, 161, 164, 167, 168, 173, 176, 179, 188, 196, 201, 215, 258, 262, 279, 280, 287, 288, 299, 311–313, 321–324, 327–329, 333, 334, 337, 340, 344–345, 347, 349, 353, 354, 367, 370, 373, 374, 388, 389, 406, 412, 418, 424, 430, 433, 443, 456, 489, 495, 498, 516, 561, 564, 570, 590, 594–596, 605, 609, 693, 695, 596, 715–716, 730, 735, 740, 741, 744, 746, 749, 756, 757, 760, 772, 790, 805; **2**, 71, 75, 79, 85, 87, 116, 123, 210, 219, 224–227, 232, 233, 302, 542, 545, 550, 551, 553–555, 586, 653, 654, 657, 687, 689, 713, 717, 720, 725, 754
- Цветаева Е.В. **1**, 348
- Цветаева Е.Д. **1**, 338, 367, 368–369, 460–462, 771
- Цветаева Е.Е. **1**, 145, 280, 281, 338, 340, 369, 373, 461, 565, 761; **2**, 75
- Цветаева Е.М. **1**, 746
- Цветаева Е.Н. **1**, 368
- Цветаева Евгения Ф. **1**, 368
- Цветаева Екатерина Ф. **1**, 368
- Цветаева К.С. **1**, 397, 776
- Цветаева М.А. **1**, 8, 16, 18, 22, 25–34, 39–40, 41, 42, 46–49, 50, 52–

- 55, 58, 61, 62, 63–69, 72–77, 78–79, 81, 84, 85–93, 95, 97, 102, 103, 105–108, 110, 112–114, 116–128, 130–134, 136–143, 144, 146–149, 150, 154–159, 162–168, 170–181, 187, 191, 194, 196, 197, 200, 204, 208, 209, 215, 225, 226–234, 235, 238, 244–250, 253, 255–258, 261, 264–273, 275–278, 280, 282–284, 287–289, 291–294, 296–324, 327–331, 340, 341, 345, 347–349, 351, 359, 364, 366–367, 385, 387–388, 401, 411–412, 415, 420, 424–425, 433, 444, 458, 463, 467, 480, 491, 497, 498, 533, 541, 549, 559, 564, 586, 596, 670, 703, 715, 717, 728–732, 734, 740, 741, 745, 753, 755, 758, 759, 764, 765; **2**, 23, 26, 41, 53, 56, 74, 83, 123, 135, 140, 142, 184, 225, 227–229, 327, 333, 342, 363, 374, 383, 408, 497, 537, 538, 572, 578, 606, 622
- Цветаева Н.Ф. **1**, 368
 Цветков С.А. **2**, 16, 714
 Цветкова З.М. **2**, 687, 765
 Цветковская Е.К. **2**, 536, 748
 Цибарт Л. **1**, 764
 Цирес А.Г. **1**, 723, 807
 Цирес М.Г. **1**, 723, 807
 Цыпкин А.Л. **2**, 610, 613, 630
 Цыпкин М.Л. **2**, 630
 Цыпкина **2**, 610, 613
- Чайковский С.А., **1**, 717, 718, 734, 806; **2**, 64, 67, 119
 Чайковский П.И. **1**, 48, 60, 284, 564, 580, 754, 794
 Чаплин Ч. **1**, 781
 Чарская Л.А. **1**, 263, 785
 Чегодаев П.В. **1**, 426, 779
 Чепелевская П.И. **1**, 756
 Чернова А.В. **2**, 715
 Чернова Н.В. **1**, 767
 Чернышевский Н.Г. **1**, 344
 Черубина де Габриак – см. Дмитриева Е.И.
- Честертон Г.К. **1**, 530, 790
 Четверикова Н.Д. **2**, 747
 Чехов А.П. **1**, 28, 292, 300, 769; **2**, 316
 Чехова М.П. **1**, 769
 Чилеа Ф. **2**, 720
 Чингисхан **1**, 296
 Чинизелли **2**, 35, 103
 Чириков Е.Н. **1**, 28, 244, 292
 Чистяков М.Б. **1**, 732, 747–748
 Чичеревы, семья **2**, 233
 Чоглоков М.И. **1**, 751
 Ч-ровы **2**, 329
 Чудинов С.В. **1**, 416, 777
 Чуковская Л.К. **2**, 763
 Чулков Г.И. **2**, 691
 Чурилин Т.В. **2**, 449–452, 459, 542, 741
 Чурлянис М.К. **2**, 203
- Шааф А.Г. **1**, 657–658, 803; **2**, 312
 Шаврин В.В. **1**, 353, 772
 Шагал М. **2**, 203, 725
 Шагинян М.С. **1**, 11
 Шаламов В.Т. **2**, 768
 Шаняевский А.Л. **2**, 340, 359, 735, 754
 Шапошников Б.В. **2**, 750
 Шахов А.И. **1**, 641, 801
 Шварсалон В.К. **2**, 355, 736
 Шварц А.Н. **1**, 425–427, 457, 499, 526–527, 540, 555, 564, 590, 597, 669, 717, 723, 779, 789, 792; **2**, 74
 Шварц Б. **2**, 107, 721
 Швейцер В.А. **1**, 796; **2**, 766
 Швоб Г. **2**, 703, 767
 Шевлягин С.И. **1**, 693, 805
 Шевяков С. **1**, 755
 Шеллинг Ф.В. **1**, 677; **2**, 303
 Шенгели Г. **2**, 629, 631–632, 757
 Шервинский В.Д. **2**, 74, 718
 Шестов Л.И. **2**, 321, 344–345, 357
 Шехтель Ф.О. **1**, 778
 Шидловский И. **1**, 767
 Шиккерт, владелец «Русского пансиона» **2**, 52–53, 55

- Шилейко В.К. **2**, 718
 Шиловский Е.А. **2**, 731
 Шиллер Ф. **1**, 392, 605, 729, 765
 Ширкевич З.М. **2**, 655, 686, 759, 768
 Шмидт П.П. **1**, 289, 297, 299, 495;
2, 191
 Ш-н В.В., знакомый Адлер А.А.
1, 353
 Шницлер, адвокат **1**, 546
 Шольц И. **1**, 240
 Шомбург Р. **2**, 742
 Шопен Ф. **1**, 40, 48, 284, 299, 392
 Шопенгауэр А. **1**, 677, 679, 804;
2, 10, 138, 272, 321, 729
 Шоу Б. **2**, 261
 Шпагин А.П. **1**, 469, 471, 472, 485,
 520, 783
 Шпагина Л.П. **1**, 469, 485, 520, 783;
2, 194
 Шпаро Б.А. **2**, 615
 Шпейер, барон Цветаевой В.И.
1, 32, 38, 749; **2**, 210
 Шпет Г.Г. **2**, 341, 735
 Штангеев **1**, 767
 Штейнер Р. **1**, 613–614, 740, 778,
 799; **2**, 14–15, 26, 50, 221, 509
 Штольценберг **1**, 160, 163
 Штраус И. **1**, 524, 757; **2**, 231
 Шуберт Ф. **1**, 48, 299, 577, 777, 795;
2, 701
 Шуйский В.И. **1**, 145, 761
 Шульман **1**, 127
 Шуман Р. **1**, 40, 48, 299, 703; **2**, 762
 Шура, двоюродный брат Дьяконо-
 вой Е.И. **1**, 391–392
 Шуров С.П. **1**, 425, 457, 779
 Шюзвиль Ж. **2**, 737
- Щепкина-Куперник Т.Л. **1**, 441, 782
 Щукин П.И. **1**, 429, 591, 780, 790
 Щукин Я.В. **2**, 726
- Эврипид – см. Еврипид
 Эдисон Т. **1**, 284, 333, 590
 Эйнем Ф.Т. **1**, 35, 497, 730
 Эйфель А.Г. **2**, 41
- Экк А.А., отец **2**, 520–521, 747
 Экк А.А., мать **2**, 520–521
 Экк Ася **2**, 520, 747
 Экк Анатолий **2**, 520–521
 Экк Н. **2**, 520
 Экк С. **2**, 521, 528
 Экк, семья **2**, 520, 748
 Эккерман И.П. **2**, 705
 Элиот Дж. **1**, 758
 Эллис – см. Кобылинский Л.Л.
 Элюар Гала – см. Дьяконова Е.И.
 Элюар П. **1**, 359, 360, 771; **2**, 27, 31,
 585, 643–646, 715, 758
 Элюар С. **2**, 593, 644–645, 758
 Энни **1**, 242, 243, 251, 253, 259, 262
 Эренбург И.Г. **1**, 6; **2**, 27, 610, 621,
 643–644, 688, 715, 767
 Эренбург Л.М. **2**, 758
 Эрлангер А. **1**, 280, 768; **2**, 30
 Эфенди Я. **2**, 751
 Эфрон А.С. **1**, 13, 21, 745, 748, 766,
 783, 797; **2**, 98, 126–128, 132, 134,
 136–137, 148, 151, 157–159, 161,
 167, 172, 179, 191–192, 232, 236–
 239, 240, 247, 248, 249, 262, 266,
 267, 268, 275, 279, 291, 294–296,
 298–299, 319, 330–335, 362, 353,
 385, 401, 454, 457, 458, 464, 477,
 483, 489, 495–497, 502, 504, 507,
 514, 530, 533–536, 543, 545–549,
 551, 557, 561, 563–565, 582–584,
 590, 598–599, 621, 627, 629, 635–
 637, 639–642, 646, 648, 649, 657,
 659, 662–663, 666, 667, 672, 677,
 678, 682, 684, 686–690, 708, 709,
 726, 741, 759–760, 761, 762, 764,
 765, 767, 768
 Эфрон А.Я. **1**, 640, 728, 801; **2**, 484
 Эфрон В.М. **1**, 802; **2**, 337, 734
 Эфрон В.Я. **1**, 12, 624, 626, 628, 629,
 631, 640–641, 648, 651, 654, 663,
 666, 701, 723, 728, 806; **2**, 93, 116,
 161, 197, 328, 337, 534, 590, 657,
 718, 720, 725, 732–733, 748
 Эфрон Г.С. **1**, 14; **2**, 635–642, 647–
 649, 653, 656, 657–659, 661–662,

- 665, 666–668, 669–673, 674, 675, 677, 678, 680, 681, 682–684, 685–86, 690, 691, 693, 696, 697, 698, 701, 702, 707–710, 713, 759, 760, 762, 763, 764, 766, 767, 768
- Эфрон Г.Я. **1**, 640, 801
- Эфрон Е.П. **2**, 337, 734
- Эфрон-Дурново Е.П. **1**, 631, 640, 801; **2**, 337, 656–657, 672, 735, 759
- Эфрон Е.Я. **1**, 631, 640, 643, 653–654, 701, 723, 728, 800, 802, 804, 806; **2**, 93, 116, 161, 192, 197, 241, 328, 484, 496, 535, 572, 590, 654, 655, 656, 657, 662, 666, 672, 708, 717, 748, 759, 761, 764, 768
- Эфрон И.С. **2**, 489, 496, 497, 530, 532–536, 537, 603, 605, 666, 720, 741, 748
- Эфрон К.Я. **1**, 631, 640–641, 801; **2**, 136, 337, 672, 759, 763
- Эфрон П.Я. **1**, 640–641, 728, 801; **2**, 161, 320, 328, 335–337, 734
- Эфрон С.Я. **1**, 12, 619, 620, 623, 626, 627–629, 631, 637–644, 646–647, 649–654, 656–657, 665–671, 673, 679, 685–687, 689–695, 701, 703, 710, 711, 713, 714, 715, 721, 724, 732, 735, 741, 742, 745, 800, 801, 804; **2**, 18, 31, 32, 54, 55–57, 61, 66, 70, 73, 76, 80–89, 91–97, 100–101, 112, 114, 124–128, 132, 135–137, 147, 148, 160–161, 179, 184, 186, 187, 191, 197, 229, 232, 233, 234, 236, 237, 238, 241, 243, 245, 247, 248–249, 255, 261, 262, 263, 266, 268, 273, 275, 278, 279, 281, 282, 284, 292, 293, 299, 305, 318, 320, 328, 330–336, 353, 363, 364, 376, 384, 385, 387, 396, 403, 437–439, 451, 458, 464, 468, 477, 482, 484, 491, 496, 502, 505, 506, 525, 528, 541, 542, 543, 546, 556, 561, 567, 595, 599, 610, 627, 632, 635, 637, 641, 643, 647, 648, 649, 657, 658–659, 666, 667, 672, 715, 718, 720, 721, 726, 731, 734, 747, 757, 759, 762
- Эфрон Я.К. **1**, 640, 801
- Эфроны, семья **1**, 722, 723, 726, 728; **2**, 13, 157, 179, 236, 316, 667
- Эфрос А.М. **2**, 646–647, 659, 758
- Юдаев И., конькобежец **1**, 501, 786
- Юдина М.В. **2**, 701, 766–767
- Юлия Ивановна, крестная мать АЦ **1**, 23
- Юлия Федоровна, мать знакомого АЦ **2**, 629, 631
- Юм Д. **1**, 677
- Юнг **1**, 760
- Юнге, семья **1**, 620, 800
- Юнге Э.А. **1**, 800
- Юнкерс **2**, 34, 36
- Юрасовская Н.В. **2**, 742
- Юрасовский И.К. **2**, 461, 463, 742
- Юркевич, семья **1**, 700, 708, 742
- Юркевич П.И. **1**, 386, 493, 708–709, 775, 776; **2**, 338, 762
- Юркевич Сергей И. **1**, 377–378, 493, 704, 706, 711, 774; **2**, 230, 338, 410
- Юркевич Софья И. – см. Липеровская С.И.
- Юрлиман **1**, 212, 217
- Юсупов Ф.Ф. **2**, 481
- Юхневич, семья **1**, 533
- Юхневич В.М. **1**, 498, 533–534, 786
- Юхневич М.К. **1**, 498, 533–534, 786
- Юшкевич С.С. **1**, 289, 293, 769
- Ягода Г. **1**, 769
- Ягуся, няня в больнице **2**, 383, 385, 388, 390, 391, 393–396, 399, 403
- Ядвига **2**, 385, 386, 391, 397–399, 403
- Языков Н. **1**, 761
- Яковлев А.И. **1**, 59, 426, 754; **2**, 74, 627
- Яковлев И.Я. **1**, 59, 426
- Яковлева Н.Г. **2**, 668, 685–687, 764
- Янковская Рита – см. Ляхова И.
- Янчук Н.А. **1**, 545, 792
- Ярошенко **1**, 385; **2**, 23
- Ярхо И.Л. **1**, 28, 748

Содержание

Отрочество и юность (продолжение)

Часть шестнадцатая. ПУТЕШЕСТВИЯ ПО ЕВРОПЕ. В МОСКВЕ	7
Глава 1. Варшава. Берлин	7
Глава 2. Швейцария	17
Глава 3. Французская Ривьера. Монте-Карло. Расставание	23
Глава 4. Одна в Варшаве. Букет в цирке. Рим. Катакомбы. Флоренция. Встреча с Галей Дьяконовой	34
Глава 5. Luigi Levi	41
Глава 6. Венеция. Нерви. Париж	48
Глава 7. Снова Москва	60
Глава 8. Возвращение Марины	70
Глава 9. Открытие Музея	72
Часть семнадцатая. В МОСКВЕ	80
Глава 1. Дом на Собачьей площадке	80
Глава 2. Поиски романтического гнезда	87
Глава 3. Находка. Дом в Замоскворечье	92
Глава 4. Лето. Марина	98
Глава 5. Лето. Приготовление пудинга. Гаря Устинов. Рождение сына	101
Глава 6. Аля. В гостях у Марины	124
<i>Молодость</i>	
Часть восемнадцатая. МОСКВА	131
Глава 1. Наш дом	131
Глава 2. В гостях у матери Бориса. Семья Трухачевых. Боря Бобылев. Сережа Соболев	137
Глава 3. Папа у нас. Визит к нам Ирины Евгеньевны. Кормилицы. Рассказ няни	149
Глава 4. Николай Миронов	155

Часть девятнадцатая. В ВОРОНЕЖСКОЙ ГУБЕРНИИ. В ПОДМОСКОВЬЕ. В МОСКВЕ	180
Глава 1. Приезд в Ярцевку	180
Глава 2. Процессия	189
Глава 3. Из Марининоного дневника лета 1913 года. Жизнь в Ярцевке	191
Глава 4. Разрыв и отъезд	199
Глава 5. Сергей Сергеевич. Дача в Краскове	202
Глава 6. Встреча с отцом. Беда с Мироновым. Отъезд в Москву	210
Глава 7. У Драконны. В Лосиноостровском	219
Глава 8. Смерть папы	224
Глава 9. После папы. Тьо. Предсказание цыганки	231
 Часть двадцатая. ФЕОДОСИЯ	 236
Глава 1. Марина, Сережа и Аля. Дневники Марины	236
Глава 2. Мы и Макс	240
Глава 3. У Марины. Разговор с Максом	247
Глава 4. Чтение стихов	250
Глава 5. Вечер у Богаевских. Стихи Марины и Макса	256
Глава 6. В Военном собрании. «Уединенное». У А.М.Петровой. В гостях у Лампси	267
Глава 7. Н.И.Хрустачев	284
Глава 8. Весна 1914 года. Отъезд на лето в Коктебель	291
 Часть двадцать первая. КОКТЕБЕЛЬ	 298
Глава 1. В Коктебеле у Макса. Сергей Ковалев	298
Глава 2. Мастерская Волошина. Юлия Оболенская. Вересаев. Переезд в Отузы	314
Глава 3. Буря в Отузах	322
 Часть двадцать вторая. МОСКВА. ПЕТРОГРАД. ВАРШАВА. МОСКВА	 327
Глава 1. Москва	327
Глава 2. «Мой дом!» (Дом в Борисоглебском)	329
Глава 3. Марина и Петя Эфрон. Мария Ивановна Кузнецова	335
Глава 4. Война. Весть из Петрограда	338
Глава 5. Борис в казармах. Моя первая книга	343
Глава 6. Петроград	345
Глава 7. Маврикий Александрович	354

Глава 8. Поездка в Тулу. Встреча с Мироновым. Скарлатина	372
Глава 9. Дориан	391
Глава 10. Доктор Ревидцев. На Ваганьковском кладбище	406
Глава 11. Встреча с Сереей Юркевичем.	410
Смерть матери Бориса	
Часть двадцать третья. КОКТЕБЕЛЬ	414
Глава 1. Чтение стихов Софьи Парнок	414
Глава 2. Осип Манделштам и его брат Александр	419
Глава 3. «Триумфальное шествие» Дмитрия Смолина	427
Часть двадцать четвертая. АЛЕКСАНДРОВ	429
Часть двадцать пятая. МОСКВА	493
Глава 1. Снова с Мариной	493
Глава 2. Жизнь Марины. Наш дом. Лёра.	
Друзья. Драконна. Андрей	542
Глава 3. Виноградов. Нилендер и Соловьев. Моя работа	557
Глава 4. У родителей Гали Дьяконовой.	
Рассказ Марии Ивановны. Майя Кудашева	593
Глава 5. На новом месте. Весть о Сереее.	
Главкустпром. В.Вересаев. Серееа Соколов. Печь	606
Глава 6. Испытание. Андрюша Трухачев.	
Прощание с Мариной	624
Приложение 1	
<i>Встреча с Мариной</i>	633
Приложение 2	
<i>Последнее о Марине. Елабуга</i>	651
<i>Примечания</i>	713
<i>Указатель имен</i>	769

Литературно-художественное издание

**АНАСТАСИЯ ЦВЕТАЕВА
ВОСПОМИНАНИЯ**

*В двух томах
Том 2*

Редакторы Е.В.Толкачева, В.П.Кочетов
Мл. редактор Д.В.Савиных
Художественный редактор Т.Н.Костерина
Технолог С.С.Басипова
Оператор компьютерной верстки А.Ю.Бирюков
Оператор компьютерной верстки переплета В.М.Драновский
Корректоры А.В.Данилкина, Г.В.Заславская

Подписано в печать 08.12.2008

Формат 60х90/16

Тираж 5 000 экз.

Заказ №

ООО «Бослен»
107259 Москва, Бухвостова 1-я ул.,
д. 12/11, стр. 17-18

Электронная почта:
vagrius@vagrius.com

Отпечатано на ОАО «Нижполиграф»
603006, Нижний Новгород, ул. Варварская, 32